Круглая Радуга

Томаса Пинчона

Посвящается

Ричарду Фаринья

(на русский язык переводил С. Огольцов)

Оглавление

Предисловие переводчика

Так хочется же, даже при всей неизбежной невозможности, заранее зная, что не постичь до самого конца, а только лишь в меру одухотворённости собственной испорченности, да, знать об этом (и терзаться—сдюжит ли?)... но хочется всё равно, хочется так, как ничего из возможного никогда не смогло хотеться... хочется приобщиться к чему-то действительно стоящему...

В 1975 «Круглая Радуга» Томаса Пинчона не удостоилась высшей литературной награды США, Пулицеровской премии. Премиальный комитет вынес решение, что данное произведение читать невозможно... И я их очень даже понимаю: некоторые страницы заставляли отложить книгу на пару дней, а то и больше, пока улягутся позывы проблеваться. А порой отталкивал её, чтобы выжить и не задохнуться от хохота... То вдруг, среди мультяшных потасовок, врезаешься в монолит невыносимой горечи, что плющит тебя напрочь, как удар под вздох, и не даёт дыхнуть, ну разве что совсем чуть-чуть и мелко так, и сердце стискивается ужасом от неизбежности всего этого, от неотвратимости быть частью людей и никуда от этого не деться, не оправдаться, а только ждать пока попустит, ждать без слов, без слёз — всё выжато давно, а зря, вдруг бы помогли сейчас... ну может быть...

Немалое число читающих американцев из поколения в поколение продолжают задаваться вопросом: "А что она вообще такое Круглая Радуга Томаса Пинчона (Gravity's Rainbow by Thomas Pynchon), и о чём?" И я их очень даже уважаю за нескрываемую любознательность. А внутренне уже и не пытаюсь отойти от изумления: с каких таких пор столь необъятная прорва всего стала умещаться в отдельного индивидуума, как видим на примере автора Радуги? Да разве мыслимо такое?

Литературоведы, как самая гуманная прослойка гуманоидов, не подвели, не бросили опупело охреневающих читателей на растерзание измывательской тусовке метастазирующих метатез, но бросились на выручку – спасательно и всесторонне цеплять на Радугу разъяснительные бирки: "экстраваганца", "пик пост-модернизма"... И многим, кстати, полегчало... Ну не в смысле будто понятней стало, а просто с отклассифицированными спокойней как-то... ведь когда если незнакомый зверь, но с биркой, оно хотя и страшно, однако как бы и не настолько всё же... или всё-таки как?

На всякий, изложу своё, посюбугорное, понятие, в первую очередь и скорее всего для себя же.

По форме своей, Круглая Радуга являет собой атом в молекуле полимера необратимо возникающего в процессе своего безудержного синтеза (сам не врубаюсь что это за херню я только что сморозил, но вроде как ничего себе, впечатляет). И покуда ядро помянутого атома сосредотачивается в XX-м веке всемирной истории, его электроны, в силу своей непоседливости, носятся по более широким орбитам, прихватывая впечатления из "до" и "после". Пассажи из прошлого потрясают ёмкой передачей неведомых доселе граней, а зачерпнутые из будущего... ну, во всяком случае, вас предупреждали...

С содержанием всё обстоит намного проще – это 7,6 сотен страниц поэмы в прозе (и не только) о сути темы затронутой и излагаемой неуловимыми формами Круглой Радуги (абсолютно ей соответствующими), перемежаясь отголосками эха из иных, сопряжённых молекул цепочки из-за вертлявой привычки электронов переходить от

ядра к ядру соседствующих атомов в непредсказуемых рокировках... Говоря короче, данное произведение содержит потрошилово всех людских изнанок, на основании чего выносится высшая, но справедливая мера человечеству в целом и, вместе с тем, становится ходатайством об амнистии, условно, раз в своих недрах оно способно вынашивать Творцов подобных Томасу Пинчону.

Мои личные впечатления от Круглой Радуги и отношение к ней же?.. Ну это как если тебя заглотала галактика похожая на белого кашалота, а потом бы испустила: "Свободен!" и вот теперь побалтываешься тут, оглаушенный, средь зыби волн эфира, как амбра выкаканная уплывшим Моби Диком... Нет! Хочу обратно! Туда где тошно, смешно, плачно, восторженно, противно, изумительно...

Возможно ли сие? Хотя бы по знакомству? А то возьму и обойдусь без позволения, графоману закон таки не писан, он может тупо переписывать текст под видом типа как перевода... Перевести? Ха! Губу раскатал. Иди бабульку переведи через трамвайные пути, а для галактик переход не предусмотрен. Галактика не вмещается в шляпу.

Ну может быть, кой-какие клочки поддавшиеся постижению... заполнить оставшийся досуг составлением аппликации... с учётом разности культурных (гм!) корней, образовательного уровня и слабой совместимости моих стабильно шизоверченых круговоззрений с параноидеальной призматичностью его отражения картины мира... как дань уважения Маэстрищу.

2020.10.02, *Езнагомерь*

1

Не Совсем Ноль

Природа не знает уничтожения; ей ведомо лишь превращение. Всё, к чему меня привела наука, и продолжает учить, усиливает мою убеждённость в продлении нашего духовного бытия после смерти.

—Вернер фон Браун

* * * * * * *

Всё ближе визг и скрежет с неба. Такое уже случалось, но никогда ещё с подобной неизбежностью.

Всё уже слишком поздно. Ну да Эвакуация ведётся, но это лишь пустая театральщина. Освещение вагонов отключено. Повсюду беспросветный мрак. Там над ним несущие конструкции купола, допотопные как железные кровати двуспально-королевского размера и, где-то совсем уж высоко – стекло, чтобы проникал дневной свет. Но вокруг ночь. Жутко представить даже как рухнут эти стёкла—и уже очень скоро—улётное зрелище: хрустальный дворец вдрызг и в дребезги. Но посреди темени полнейшей, где не видать ни зги, где только   грохот незримой лавины обрушения.

Тут, в спец вагоне из двух уровней, в глубинах бархатного мрака, он сидит без курева, ему передаётся трение металла не в одной, так в другой из сцепок, резкие выхлопы пара, вибрация вагонной основы, напряжённость и скованность всех прочих набившихся сюда же, слабаки, стадо овец из тех, что прохлопали момент своей удачи: пропойцы, ветераны до сих пор контуженные в артобстреле двадцать лет тому, проныры в стильных костюмах, шаромыги, замызганные дамы с выводками неимоверного количества детей втиснутых среди всей прочей всячины, в которую впряглись и волочат к спасению. Угадываются лица только кто поближе, да и те линиями серебристых очертаний, словно в видоискателе или лица ВИПов за пуленепробиваемой зеленью стекла в несущихся по городу автомобилях...

Тронулись. Катит вереница, оставляет вокзал, покидает центр города, тянется через его изнанку, районы запустения. Может уцелеем? Лица обёрнуты к окнам, но спросить не хватает духа, вслух не рискуют. Заморосил дождь. Нет, это не избавление, а неотвязное погрязание—их опутывают узы арок, потаённые входы в трухлый бетон, что лишь манят надеждой на подземный туннель… какая-то конструкция из почернелой древесины медленно плывёт над головой, рассеивая перегар угля давно минувших дней, запах керосинных зим, воскресений иссякшего уличного движения, неощутимого, как у кораллов, живого роста, но вот пошли виражи поворотов, одинокие разъезды с кислым налётом отсутствия подвижного состава постукивают мимо, обросшие ржавчиной, что пробивается сквозь заброшенность этих дней погружённой в отблеск, особенно на рассвете, синих теней, что хотят перенять её и вернуть продвижение к Абсолютному Нулю… чем дальше, тем более убогий вид… развалюхи тайных стойбищ нищеты, названия, что он в жизни не слышал… обваленные стены, а крыш всё меньше, и всё меньше шансов на промельк огонька… путь, вместо того чтоб слиться с широкой магистралью, становится ещё раздолбанней, пустыннее, всё круче заворачивает в теснотищу и, как-то чересчур враз и резко, они под последней аркой: тормоза

хватают намертво, аж подбросило. Это приговор, который обжалованию не подлежит.

Поезд остановился. Здесь тупик. Всем беженцам сказано сойти. Они движутся заторможенно, но не противясь. Надзирающие, в кокардах свинцового цвета, делают своё дело молчком. А вот и огромный, потемнелый от древности отель, железный придаток путям и разъездам, по которым их сюда привезли... Шары фонарей свисают с опор в тёмно-зелёной краске, чуть не дотягиваясь до загогулин жестяных карнизов, не включались веками… толпа движется без ропота, без кашля, по коридорам прямым и практичным, как проходы крупного склада… бархатистая чернота перегородок направляет движение: пахнет постарелой древесиной, заброшенными коридорами, что вечно под замком, но вот теперь открыты вместить нахлынувшие души, веет холодом штукатурки, крысы здесь вымерли все до единой и только лишь призраки их, застыв как рисунки в пещере, втиснуты в стены упрямым свечением… беженцев отправляют партиями, на лифте—дощатую подъёмную платформу без ограждений вдоль краёв тащат вверх старые смолёные канаты, что текут в ручьях блоков со спицами отлитыми из чугуна в форме *Ss*. На каждом из этажей беженцы гуськом сходят на коричневый пол… тут тысячи этих тихих комнат без света….

Кто-то замирает в отрешённом ожидании, другие уже делят невидимое помещение между собой. Ну и темнотища, да, хотя чего уж, кто будет глазеть на интерьер, если уж докатились до такого? Под ногами похрустывает застаревшая грязь города, напластования всего, что город изрыгал, чем запугивал, лгал своим детям. Как будто кто не слышал этот голос, такой весь задушевный из себя типа как только между нами: «Да ты и сам--то не верил, что спасёшься. Ладно, не юли, нам таки всем уже известно кто мы и что. Да кому нужно спасать *тебя*, дружище...»

Выхода нет. Лежи и жди, тихо лежи, не шевелись. Визг с неба не смолкает. Когда случится, то будет темнота или с каким-то своим светом? Свет наступает до или после?

Но ведь уже светло. И сколько минуло уже с рассвета? Всё это время свет лился в дом вместе с утренним воздухом, что холодит сейчас его соски́: вот уже начал различаться сброд перепившихся гуляк, и в форме, и без, в обнимку с пустыми или недопитыми бутылками, кто-то свесился со стула, другой свернулся калачиком в нетопленном камине, те вон разметались на диванах, поверх затоптанных ковров, в шезлонгах на различных уровнях громадного зала, храпят и сопят на все лады вторящим самому себе хором, покуда свет Лондона, зимний тягучий свет, ширится в вертикальных переплётах окон, растекается по слоям вчерашнего дыма, что до сих пор свисает, редея, с навощённых балок потолка. А

разлёгшиеся по сторонам горизонталы, товарищи по оружию, разрумянились типа такой себе компашки Голландских мужиков, которым снится как они воскреснут минуты через две.

Он в звании Капитана, имя – Джеффри («Пират») Прентис. Поверх него тёплое одеяло расцветки шотландского тартана оранжево-ржаво-алого. У черепа его такое ощущение, словно тот отлит из металла.

Прямо над ним, на высоте четырёх метров, Тэди Блот вот-вот выпадет через дыру, которую кто-то в грандиозном бзике выбил пару недель назад в эбонитовых дощечках балюстрады хоров. В полной отключке, Блот постепенно свесился через прогал головой, руками, туловищем, единственное, что всё ещё удерживает его там наверху, это узкий фужер для шампанского вопхнутый в задний карман и оттуда за что-то как-то там зацепился—

И тут Пирату удаётся принять сидячее положение на своей узкой холостяцкой койке и зыркнуть вверх. Вот же ужас. Просто ужасно бля… сверху доносится треск материи. Спецтренировки для исполнения особых заданий развили в нём мгновенность реакции. В прыжке из койки, он ударом ноги посылает катнуться её на колёсиках в сторону падения Блота. Рухнувший Блот шмякнулся тютелька-в-тютельку посередине под звучный звяк сеточных пружин. Одна из ножек отлетела прочь. «Доброе утро»,– отзывается Пират. Блот кратко улыбнулся и тут же засыпает, уютно завернувшись в одеяло Пирата.

Блот также квартирует в этом мезонине воздвигнутом в минувшем веке неподалёку от Набережной Челси. Творец его, Коридон Росп, поддерживал знакомство с Розетти, носил визитку и увлекался культивацией фармацевтических растений на крыше возведённого здания (с недавних пор традиция возродилась стараниями молодого Осби Фила), чрезмерно изнеженных для холодов с туманами и, как правило, возвращавшихся виде фрагментарно специфичных алкалоидов в слой почвы поверх крыши, куда помимо этого пошло удобрение от троицы призовых Вессекских свиноматок, которых там держал восприемник Роспа, а впоследствии опавшие листья разнообразных декоративных деревьев трансплантированных на крышу последующими обитателями, плюсуясь к добавкам из недопереваренной пищи отрыгнувшейся либо выблеванной там же тем или иным утончённым эпикурейцем—всё это затем перемешалось лемехами смен времён года в почти полуметровое напластование невероятнейшего чернозёма, на котором вырастет что угодно, да хотя бы и бананы даже.
Пират, доведённый до отчаяние   дефицитом военной поры на бананы, решил оборудовать на крыше оранжерею под стеклом и уговорил друга летавшего по маршруту Рио—Асунсьон—Форт-Лами, прихватить для него саженцы банана, три

или хотя бы парочку, в обмен на фотокамеру германского производства, как только Пирата забросят туда парашютом на следующее задание.

Пират прославился своими Банановыми Завтраками. Отбоя нет от желающих вкусить, ломятся сюда со всей Англии, даже аллергики или у кого крайняя банановая несовместимость желают хоть одним глазком взглянуть—поскольку взаимодействие бактерий в почве из органических колец, цепочек и сетей так понаверченных, что и Всеведущий концов не сыщет, даёт фруктам расти до полуметра, да невероятно, но факт.

Пират стоит в туалете и ссыт,   в голове полная свобода от любой, даже малейшей мысли. Затем упрятывается под шерстяной халат, который носит наизнанку для недосягаемости кармана с сигаретами, хоть оно не слишком помогает и, в обход тёплых тел приятелей, пробирается к высоким Французским окнам, выскальзывает в холод снаружи, а когда тот шибанул по пломбам в его зубах, чуть постанывает на подъёме по винтовой лестнице кругами подымающейся в сад на крыше, где он на миг замирает уставясь на реку. Солнце всё ещё ниже горизонта. Похоже и сегодня продождит, но в воздухе покуда что необычайная прозрачность. Громада электростанции и нефтеперегонный за нею проступают чётко: трубы, сифоны, башни, колонны, вьющиеся клубы пара, дыма….

– Ххахх!– Пират проследил как выдох его безмолвного рёва всплывает над парапетами, «ххахх!» Верхушки крыш в утренней пляске. Гигантские вязки его бананов, сияюще жёлтых, влажно зелёных. Приятелям там внизу снится Банановый Завтрак. Этот начисто драенный день обещает стать не хуже всякого прочего—

Ой ли? Далеко на востоке, у самого дна розоватого неба что-то сверкнуло, очень ярко. Новая звезда, почти неразличимая. Он, опершись на парапет, всматривается. Полыхнувшая точка обернулась уже белой вертикальной чёрточкой. Наверное где-то уже над Северным морем… не ближе… внизу ледяные поля и холодное пятно солнца….

Что это? Раньше не такого не было. Но Пират всё равно знает что. Он видел фильм, всего пару недель назад… это след испарения. Вон поднялось уже на ширину пальца. И это не самолёт. Так вертикально самолёту не подняться. Это новая и пока что Самая Секретная ракета-бомба Немцев.

– Получите и распишитесь,– это он произнёс или только подумал? Он затянул потуже истрёпанный пояс халата. Средний радиус действия этой хрени 200 миль. Но разве можно различить след испарения за 200 миль, а выходит что да.

О? Никаких о: за дугой поверхности земного шара, к востоку, там солнце, только что взошло над Голландией, подсветило выхлопные пары ракеты, все эти капли, кристаллы, заставило заблистать и через море….

Белая чёрточка, резко, оборвала своё восхождение. Прекратилась подача горючего, выгорело, как там по-ихнему… Brennschluss. У нас таких нет. Или засекречены. Основание линии, точка старта, начало уже теряться в алеющей заре. Но ракета шарахнет тут прежде, чем солнце взойдёт для Пирата.

След, смазанный, слегка порванный натрое, завис на небе. Сама ракета, уже как чисто баллистический снаряд, взвилась выше. Теперь уже невидима.

Может надо что-то сделать… дозвониться в штаб в Станморе, пусть засекут её радарами над Проливом—нет: нет времени, правда нет. Меньше пяти минут от Гааги сюда (успеешь лишь дошагать до чайной на углу… чтобы свет солнца согрел планету любви… времени ни на что не осталось.) Выбежать на улицу? Предупредить остальных?

Собирай бананы. Он топает по чёрному компосту в оранжерею. Чувствует как подпёрло срать. Ракета, на высоте в шестьдесят миль сейчас, наверно, достигла пика своей траектории… начинает падение… сейчас….

Каркас пронизан дневным светом, молочные стёкла благодушно лучатся вниз. Откуда тут быть зиме—даже такой—достаточно суровой, чтобы старить это железо с его подвывом ветру или темнить эти фрамуги укрывшие другую пору года продлённую обманом?

Пират взглядывает на свои часы. Не от чего засечь. Поры лица начинает пощипывать. Стирая все мысли—как тренируют командос—он шагнул во влажную теплынь своей бананной, начинает сбор самых спелых и лучших в подставленную полу своего халата. Позволяя себе лишь вести счёт бананов, голоного ступая между их висячих вязок, этих жёлтых канделябров посреди тропического сумрака….

Обратно в зиму. След взлёта исчез бесследно с неба. Кожу Пирата покрыл пот холодный до почти точки замерзания.

Какое-то время тратится, чтоб закурить сигарету. Он не услышит как долетит эта хрень. Скорость её превышает скорость звука. Сначала видишь вспышку. Только потом, если всё ещё жив, докатится рёв приближения.

А если попадёт в точку—ах нет—вся эта жуткая масса сверху, вмажет по черепу в самое темечко...

Нахохлив плечи, Пират несёт свои бананы по винтовой лестнице.

* * * * * * *

Через патио под синим кафелем, в дверь кухни. Процесс идёт на автопилоте: включить американский блендер, что прошлым летом выиграл у Янки в покер, ставки выкладывать на стол и сразу, на севере где-то, теперь уж не вспомнить… Нашинковать бананы крупными. Засыпать кофе в кофейник. Достать банку молока из холодильника. Пюре «наны в молоке». Прелестно. Я исцелю все пьянкой вымученные желудки Англии... Кусочек марга, нет, ещё не завонялся, на сковородку. Начистить ещё бананов, порезать вдоль. Марг шкварчит, эти длинные туда. Электропечка шандарахнет и взорвёт всех нас в один прекрасный день, ох, ха, ха, как пить дать. Начистить бананы целиком для гриля пока разогреется. Где те зефиры...

На кухню прибрёл покачиваясь Тэди Блот, голова укутана одеялом Пирата, поскользнувшись на кожуре банана шлёпается на задницу. «Самоубился»,– бормочет он.

– Немцы это за тебя сделают. Угадай что я видел с крыши.

– Как летела та V-2?

– А4, да.

– Я видел через окно. Минут десять назад. Странно смотрится, нет? С тех пор всё тихо, а ты слышал? Наверно, недолёт. В море, что ли.

– Десять минут?– пытается свериться со своими часами.

– Не меньше.– Блот сидит на полу, продёргивая кожуру в отворот своей пижамы типа бутоньерки.

Пират идёт к телефону и таки звонит в Стенмор. Придётся пройти обычную долгую рутину, но он уже и сам сомневается в увиденной им ракете. Господь её сдёрнул ради него из безвоздушного неба, как стальной банан. «Прентис на связи, у вас там пикнуло что-то из Голландии только что? Ага. Ага. Да, мы видели.» Так вот и пропадает в человеке охота любоваться восходами. Он кладёт трубку. «Потеряли её из виду над береговой линией. Полагают, случай преждевременного Brennschluss».

– Не кисни,– говорит Блот отправляясь вспять к разбитой койке.– Будут ещё и другие.

Старый добряк Блот всегда найдёт, чем утешить. Выжидая секунду-другую, на случай если перезвонят из Стенмора, Пират думал: пронесло, Банановый Завтрак спасён. Но это всего лишь отсрочка. Не так ли. Конечно, и другие будут, и любая

может угодить в него. Никто, по обе стороны фронта, не знает сколько их ещё будет. Или просто не смотреть в небо?

Осби Фил стоит на хорах, держит один из самых крупных бананов Пирата таким макаром, чтобы тот торчал из ширинки его полосатой пижамы—другой рукой наяривает по желтушному боку, сыплет к потолку триоли на 4/4 для встречи рассвета нижеследующим:

А ну, оторви-ка свою жопу от пола,

(пожуй банан-чик)

Зубы почисть и вперёд, на войну!

Взмахни на прощанье Родине спящей,

Мечтам пошли воздушный поцелуй,

Скажи Мисс Гренки́д,

У тебя не стои́т,

И не встанет до самой Победы,

у-юй,

Но мир придёт и всё пучком попрёт,

(пожуй банан-чик):

Вино шипучее,

Девульки жгучие—

Тут только и делов осталось совершить—

Пару-другую Немчур победить,

Ну, так сверкни ж пошире,

Улыбкой лучшей в мире,

Сколько можно повторять—

Пора тебе от пола жопу оторвать!

Там есть ещё и второй куплет, но не успел резвящийся Осби Фила перейти, как навалились гурьбой и надавали по шее, отчасти даже и тем самым жёлтым бананищем: Бартли Габич, ДеКаверли Пакс, и Морис («Саксофон») Рид, не считая прочих остальных.

На кухне, зефиры с чёрного рынка плюхают в сироп залитый в верхнюю ёмкость пароварки Пирата, и вскоре начинают там же пузырится по-крупному. Кофе доходит. На деревянной вывеске пивной, оторванной однажды в дерзком налёте средь бела дня, что учинил пьянющий в стельку Бартли Габич, которая всё ещё

хранит витиеватую надпись МАШИНИСТ И КОЛЕНВАЛ, Тэди Блот крошит бананы здоровенным равнобедренным ножом, из-под нервного лезвия которого Пират одной рукой отгребает блондинистое крошево в вафельное тесто упругое от свежих куриных яиц, тех самых что Осби Фил выменял на равное количество мячиков для гольфа, которые в эту зиму встретишь даже реже, чем свежие яйца, а другой рукой сбивает фрукты, без лишнего напряга, проволочным венчиком, покуда сам Осби Фил, хмуро и часто прикладываясь к виски Бочка-69 разбавленное с водой в четверть-литровой бутылке из-под молока, присматривает за бананами на сковороде и в гриле. У выхода в синее патио стоят ДеКаверли Пакс и Жокин Стик возле масштабированной модели вершины Юнгфрау из бетона, которую неизвестный энтузиаст моделировал и воссоздавал ещё в середине 20-х, покуда ему не дошло, что она уже не пролезет ни в одну из дверей, и хлещут склоны знаменитой горы красными резиновыми грелками набитыми кубиками льда в целях производства ледяной крошки для бананового фраппе Пирата. Из-за их однодневной щетины и всклоченных волос, и глаз налившихся кровью, и перегара в прерывистом дыхании, ДеКаверли и Жокин вроде пары опустившихся богов, которые—хер поймёшь с какого перепугу—приебались к этому сраному леднику.

По всему мезонину, вчерашние собутыльники выпутываются из одеял (кто-то всё ещё пердит в кошмарном сне, где его сбросили на парашюте), ссут в раковины в ванной, уныло смотрятся в вогнутые зеркальца для бритья, шлёпают воду, без особо ясного плана зачем, на свои головы редеющих волос, впрягаются в постромки портупеи, кремят обувь от дождя, что будет идти днём, рукой чьи мускулы уже в изнеможении, напевают обрывки популярных песен, которые не совсем помнят, вылёживают, думая будто греются, в полосах нового солнца, что пробивается в оконные створки, пытаются говорить о службе, к которой придётся приступать уже меньше, чем через час, служаки и вояки, зевают, колупаются в носу, рыщут по тумбочкам и полкам в поисках опохмелки от всего того, чем отключались накануне.

И вот по всем помещениям расходится, сменяя застойный дым ночи, перебивая алкоголь и пот, хрупкий, райски-банановый аромат Завтрака: роскошный, обволакивающий, чарующий сильнее, чем цвет лучей зимнего солнца, покоряющий не животной остротой и обилием, но изысканной сложностью сплетения своих молекул, передающих магический секрет, благодаря которому—пусть и не часто, но так вот напрямую, Смерть посылается нахуй—живая генетическая цепочка оказывается в состоянии хранить в своих лабиринтах какое-то из людских лиц на десять-двадцать поколений… как раз такая вот увековеченность-в-структуре и позволяет этому утреннему банановому запаху струиться посреди войны, превозмогать, одолевать. Ну почему же не распахнуть все окна и позволить, чтоб этот добрый запах разошёлся по всей Челси? Как амулет от падающих с небес предметов...

Со стуком придвигая стулья, перевёрнутые гильзы от снарядов, скамеечки, оттоманки, банда Пирата окружает побережья громадного трапезного стола, остров южных морей за пару тропиков от промозглых средневековых фантазий

Коридона Роспа, заставленного сейчас, по всей своей плоской маковке из тёмно-волнистых линий полированного орехового дерева, банановыми омлетами, банановыми сэндвичами, кастрюльками с варёными бананами, пюре из бананов в форме вставшего на дыбы британского льва, бананы смешанные с яйцами в тесте Французских тостов, выдавленные из кондитерского мешка поверх бананового бланманже в кремовую вязь слов C'est magnifique, maisce n'est pas la guerre (как сказал некий Француз наблюдая самоубийственную Атаку Бригады Лёгкой Кавалерии), которые Пират экспроприировал для персонального девиза… высокие флаконы с тягучим бледным банановым сиропом для смазывания банановых вафлей, гигантский стеклянный кувшин, где кубики нарезанных бананов настаивались ещё с лета с диким мёдом и мускатными орешками, а теперь, этим зимним утром, из него черпаются кружки пенной банановой медовухи… банановые круассаны, банановые пельмени, банановый джем, банановый хлеб и бананы обожжённые на пламени коньяка многолетней выдержки, который Пират прихватил с собой в прошлом году из винного погреба в Пиренеях, где ещё была подпольная рация...

Прозвучавший трезвон телефона враз прорезал шум в комнате, все похмелья, чесание задниц, звяк блюд, обсуждения дел, едкое хмыканье, своим сдвоенным металлическим бзд-бзденьем и Пират знает, что это наверняка ему. Блот, которому ближе всех, снял трубку, вилка с нанизанным bananes glacées элегантно зависла в воздухе. Пират зачерпнул медовухи напоследок, чувствует как скатывается она в его горло, словно само время, время той летней безмятежности, он сейчас проглотил.

– Твой работодатель.

– Это нечестно,– стонет Пират,– я ещё не делал утреннюю зарядку.

Голос, который он слышал всего лишь раз—в прошлом году на брифинге, руки и лицо спрятаны тенью, аноним среди десятка других совещающихся—говорит Пирату об адресованном ему послании, которое дожидается его сейчас в Гринвиче. «Доставлено весьма сюрпризным образом»,– голос повышен и раздражён,– «ни один из моих знакомых так не умничает. Мне всё доставляется почтой. Извольте явиться и получить, Прентис.» Трубка резко брошена, разговор окончен, и теперь Пират знает где упала ракета сегодня утром, и почему не было взрыва. Вот уж действительно, входящая почта. Он уставился сквозь бастионы солнечного света, возвращаясь в трапезную к остальным, что наслаждаются своим банановым изобилием, густое насыщение их изголодалых нёб утратилось в ходе разделявшегося с ними утра. Разобщены на сотню миль, вот так, одним махом. Одиночество, даже в сетях войны, при желании может поймать его за слепую кишку и стиснуть, в точности как сейчас, по-хозяйски.

Пират снова по ту сторону окна, наблюдает завтрак чужаков.

Через мост Воксхол-Бридж его увозит в зелёной обшарпанной Лагонде его денщик, капрал Вэйн. С поднявшимся солнцем, утро кажется ещё холоднее.

Облака и впрямь начали собираться. Команда американских сапёров вывернули на дорогу, топают расчищать какие-то руины поблизости, и поют:

Колотун зверюга вредный:

Холодней, чем титьки ведьмы!

Холодней ведра

пингвиньего дерьма!

Холодней, чем шерсти клок

на жопе зимнего медведя-шатуна!

Холодней, чем колотый ледок

Под бутылкой шампанского вина!

* * * * * * *

Нет, они только прикидываются народниками, но меня не провести, они ж из Ясс, отродье Кодреану, фанатики Железной Гвардии… за него убить готовы—у них ведь клятва! и меня убили бы… Трансильванские мадьяры, умеют порчу насылать… шепчут среди ночи… Ну вот тебе и здрасьте-пажалста, хе-хе, снова наплывает на Пирата его Состояние, когда совсем не ждёшь, как обычно—тут позволительно упомянуть факт, отмеченный что в досье Пирата Прентиса как странный дар—ну в общем, проникновение в фантазии посторонних: способность даже, брать бразды правления ими, а в данном случае всё это тут только что намыслил румынский эмигрант-роялист, который вскоре может пригодиться. Контора считает этот его дар крайне полезным: в наше время умственно несдвинутые лидеры и прочие исторические фигуранты нужны как воздух. Куда удобней, чем всякие там банки, притирания, необходимость открывать кровь для избавления от обступающих тревог, иметь кого-то, кто возьмёт на себя их грёзы, что изнуряют их средь бела дня… кто поселится в уютной зелени их тропических схронов, под ветерком овевающим их бунгало, выпьет вместо них что им бы стало лишним, направит прямиком, без отклонений ко входу их присутственных мест, не допустит, чтоб их невинность пострадала больше, чем она и без того уже натерпелась… в ком вместо них воспрянет эрекция от возбуждения непрошеными мыслями, которые по мнению докторов не совсем здравы… кого будет охватывать страх перед тем, что не должно страшить их… и здесь уместно вспомнить слова П. М. С. Блакета: «Война не место, где позволительно поддаваться порывам эмоций». Вот и мурлычь про себя тупой мотивчик, которому тебя обучали, да постарайся хуйни не напороть:

Да—я—тот

Самый, кто бредёт

сквозь их фан-тази-и!

Переживаю вместо них—

Даже когда на девушку я вла-зи-ю—

Приходится мне думать за других,

Я знаю наперёд

кому придёт черёд…

[И тут вступают тубы, баритоны и тромбоны в единой октаве]

И мне по барабану, что опаааааснo это, ты чётко знай одно:

Опасность – крыша, с которой гробанулся я давным-давно—

А когда придёт мне каюк,

ты не слишком печалься, друг,

А помочись на мой надгробный камень,

Тем пивом, что ты задолжал мне,

И—вперёд!

Тут он и впрямь пускается выплясывать туда-сюда, высоко вскидывая колени, покручивая тросточку с набалдашником из головы, носа и шляпы-котелка В. С. Филдза, ну чисто тебе доктор магии, покуда оркестр играет второй припев. И это всё сопровождается фантасмагорией, в кинематографическом смысле, льющейся на экран поверх голов зрителей на тонких перепонках аккуратного поперечного сечения цветка Виктории, что смахивает на профиль шахматного коня, фривольный в определённой мере однако без вульгарности—а вот пошли скакать вперёд-назад, чик-трахк, кадры столь мгновенно меняющие ближний / дальний планы и в такие непредсказуемые масштабы, что временами у тебя ум за разум спотыкает, как говорится. Мелькают сцены из Пиратовой карьеры в качестве подставного фантазёра, пролистываясь вспять к тем временам, когда повсюду он носил в себе знак Юной Бесшабашности переходящий в явно избыточную хромосому Симптома Дауна, точняк по темечку. С какого-то момента он начал уже понимать, что некоторые эпизоды в его снах принадлежат не ему. Не потому что к этому, уже наяву, подводил скрупулёзный анализ увиденного, нет, он просто знал. И пришёл день, когда ему встретился, в самый первый раз, истинный хозяин сна, который он, Пират, видел: это случилось возле фонтанчика питьевой воды в парке, у очень длинной шеренги скамеек, где чувствовалось присутствие моря сразу же за ухоженным рядком невысоких кипарисов, мелко дробленый серый камень дорожек казался таким мягким, что хоть вздремни на нём, как на вислых полях шляпы федоры, тут-то и подошёл этот расхристанный заслюненный ханыга, на которого и глянуть жутко, тормознулся рядом и начал глазеть на двух Девочек Гидов пытавшихся отрегулировать напор воды фонтанчика. Они перегнулись, без умысла, милые нахалюшки, показывая белую полоску края

полотняных штанишек, складочки младенчески пухленьких ягодиц шарахают по Генитальному Мозгу, уж как ни сбивай резкость. Бродяга захихикал выставляя палец и, оглянувшись на Пирата, проговорил нечто из ряду вон: «Гля! Девульки водичкой заигралися… а ночью у тебя забулькает, а?» При этом он уставился на одного лишь Пирата, навпрямки... В общем, Пирату уже снилась эта реплика, слово в слово, в позапрошлое утро, перед тем как проснулся, она стояла в списке призов Конкурса ставшего опасным и многолюдным из-за толпы нахлынувшей из схождения улиц нарисованных углём… тут он не совсем запомнил… но теперь, перепугавшись до смерти, он ответил: «Убирайся, или я позову полицию.»

На тот момент момент проблема была снята. Однако рано или поздно наступит время, когда ещё кто-то заметит его дар и он понадобится тому кому-то—у него случались и собственные затяжные сны, в духе мелодрам Эжена Сю, где его похищают банды дакойтов или сицилийцев и пользуются им в неудобосказуемых целях.

В 1935 случилась его первая проба покинуть условия какого-либо сна—произошло это по ходу его Киплинговского периода, куда ни глянь сплошь зверовидные Фази-Вази, дракункулиас и Восточная болячка гуляют среди личного состава, пива нет месяцами, радиосвязь глушат другие державы, что раскатали губу править этими чёрными, Бог его знает зачем, все анекдоты насточертели, и как Кэри Грант втихаря крадётся подсыпать возбудителя… не говоря уже про Араба с Большим и Жирным Носом, тоскливая классика известная каждому британскому томми… что ж удивляться, что однажды в четыре пополудни, под жужжанье мух, с глазами нараспашку, среди вони гниющих дынных корок, под звуки единственного в подразделении граммофона и записью «Смены караула» Сэнди МакФерсона на его органе, что крутилась в 77-миллионный раз, Пирату ничего не оставалось как составить сочный Восточный эпизод: плавно перемахнув через ограду, податься в город, в Запретный Квартал. Там наткнуться на оргию устроенную местным Мессией, которого пока что не признали, и как только глаза ваши встретились, понять, что ты его Иоанн Креститель, его Натан из Газы, что тебе суждено возвестить ему его Божественную сущность, объявить его остальным, любить его как простой любовью, так и во Имя того, Кем он является… исполнению подобной фантазии никто не соответствовал лучше, чем Х. У. Лоф. В каждом подразделении найдётся хотя бы один такой Лоф, тот самый Лоф, который вечно забывает, что мусульмане не очень любят, чтобы их фоткали на улице… тот самый, который одолжит у тебя рубаху, а когда у него кончатся сигареты, найдёт в твоём кармане начатую заначку и выкурит в столовой на общем обеде, а вскоре потащится к столам взвода суданских арабов осклабясь во весь рот и обратится к их сержанту на ты и по имени, по братски. Ну и бесспорно, ошибкой Пирата стало признание своей причастности к этой фантазии Лофа, о чём чересчур скоро стало известно старшему командованию. Заносится в досье и, как следствие, Контора, в Их неустанном поиске способных устраивать дела, вызывает его в район Уайтхолла понаблюдать его трансы поверх столешниц под синей бязью и жутких бумажных игрищ, как его глаза закатываются задом наперёд в его голове для прочтения давних, глипто-древних письмён в своих собственных глазницах...

Первые пару раз не сработало. Фантазии улавливались чётко, но принадлежали мелкой сошке. Однако Конторе терпения не занимать, Они приверженцы Прицела на Будущее. Наконец, в один истинно Шерлок Холмсовский лондонский вечер, на Пирата явственно пахну́ло фонарным газом в тёмной улочке и посреди тумане материализовалась гигантская органоподобная форма. Осторожно, шаг за шагом чёрных ботинок, Пират направился к этой непонятности. Та заскользила ему навстречу по камням мостовой медленно, как слизняк, оставляя в улице позади себя след с непонятно слизистым отблеском, отнюдь не туманного происхождения. В разделяющем их пространстве оставался пешеходный переход, который, будучи несколько проворнее, Пират пересёк первым. В ужасе, он отшатнулся, попятился обратно через весь переход, однако опознания подобного рода необратимы. То был гигантский Аденоид. Размером с собор Св. Пола и продолжал час от часу расти. Лондон, а возможно и вся Англия, оказались в смертельной опасности!

Помянутое лимфоидное чудище однажды перекрыло носоглотку лорда Блатрарда Осмо, возглавлявшего на тот момент Отдел по Нови Пазар в Министерстве Иностранных Дел, созданный типа неясной епитимии за британскую политику в Восточном Вопросе на протяжении предыдущего столетия, поскольку на указанном неясном санджаке какое-то время вращались судьбы всей Европы:

Никто не-знает-где на-карте,

Кто-б-мог подумать всё пойдёт-с-того?

Но всякий серб иль монте-негро-ец

Только и ждут, что грянет наконец—

О, милая, пакуй мой сак-вояж,

И прикури сигару мне потолще,

Шли письма до востр-ебо-вания,

Чтоб получал я точно:

В сан-джак Но-ви Па-зар,

Экс-пресс Вос-точный!

Тут строй хористок, аппетитно молоденьких, вызывающе танцуют канкан в меховых гусарских шапках и ботфортах, пока в соседней сфере лорд Осмо претерпевает ассимиляцию со стороны собственного разбухающего Аденоида, ужасающая трансформация клеточной плазмы, совершенно необъяснимая с позиций эдвардианской медицины… и весьма скоро шляпы цилиндры усеивают всю площадь Мейфэйр, запах дешёвых духов, лишённый своих носительниц, висит вкруг фонарей пивных Ист-Енда, а Аденоид всё так же бесчинствует, однако

не заглатывает любую подвернувшуюся жертву, нет, у злобного Аденоида имеется общий план, согласно которому ведётся отбор определённых лиц—с учётом предстоящих выборов, ширящегося невысказанного недовольства в Англии, ввергающего Министерство Внутренних Дел в истерические случаи болезненной нерешительности… все в полной растерянности… проводиться попытка эвакуации Лондона, чисто для галочки, чёрные фаэтоны цокотят через старинные мосты в муравьиной процессии, наблюдательные аэростаты зависли в небе. «Замечен в Хэмстед Хит, просто сидит и типа как дышит, что ли… в себя, обратно…» «Что-нибудь вроде звуков вам слышится?» «Да и это просто жуть… вроде как великанский нос захлёбывается соплями… подождите, сейчас оно… начинает… о, нет!. о, Боже, я не могу описать, это просто чудовищ—»,– провод оборван, связь прекратилась, аэростат взмывает в лазурь рассвета. Прибывают команды из Лабаратории Кавендиша, обтягивают Хит громадными магнитами, терминалами электро-арок, чёрным железом панелей управления со множеством экранов и тумблеров, подтягивается Армия в полной боевой, в бомбах начинка из новейшего смертельного газа—Аденоид взорван, убит электрошоком, отравлен, там и сям отмечаются изменения его формы и цвета, жёлтые жировые узлы торчат выше деревьев… под вспышки фотокамер Прессы, необъятный зелёный псевдопод ползет к боевому кордону и вдруг шшлёп! Сметает весь наблюдательный пункт потоком какой-то отвратительно оранжевой слякоти, которая переваривает несчастных—но вместо криков только хохот, им это по кайфу...

Задача Пирата/Осмо наладить связь с Аденоидом. Ситуация стабилизировалась, Аденоид заполняет весь парк Сент-Джеймс, исторических зданий больше нет, правительственные офисы передислоцированы, но до того хаотично, что связь между ними крайне ненадёжна—почтальонов на их маршруте перехватывают твёрдо-пупырчатые щупальца Аденоида бежево-лоснящегося цвета, телеграфная связь прерывается по малейшей прихоти Твари. Каждое утро лорду Блатрарду Осмо приходится одевать свой котелок, брать брифкейс и отправляться к Аденоиду со своей ежедневной нотой-démarche. На это у него уходит так много времени, что он начал запускать дела по Нови Пазар, МИД озабочен. В тридцатые, доктрина баланса сил была ещё достаточно сильна, дипломаты поголовно заражались балканосисом, любая станция на развалинах Оттоманской империи кишела шпионами под именами гибридных иностранцев, закодированные сообщения на дюжине славянских языков татуировались на обритых верхних губах агентов, где те затем отращивали усы, заново сбриваемые уполномоченными для этого офицерами-криптологами и пластические хирурги Конторы производили пересадку кожи поверх шифровок… их губы превращались в палимпсесты неоднократных секретных посланий во плоти, иссечённой неестественно белыми шрамами, по которым они узнавали друг друга.

Нови Пазар, каким-то образом продолжал оставаться croix mystique на ладони Европы и МИД вынужденно обратился в Контору за помощью. Контора знала кому поручить.

Каждый день на протяжении 2½ лет, Пират отправлялся в Сент-Джеймс Парк проведать Аденоида. Он чуть не чокнулся. Хотя ему и удалось разработать ломаный диалект, на котором они с Аденоидом могли общаться, его всё же весьма ограничивала нехватка носовых полостей для правильной фонетики, так что общение превращалось в изнурительные мытарства. Пока они на пару сморкались взад-вперёд, алиенисты в чёрных длиннополых костюмах, последователи доктора Фрейда, на которого Аденоиду было, в общем-то, чихать, стояли на приставных лестницах вдоль его отвратительного грязно-серого бока и лопатами вбрасывали новейший чудо-препарат, кокаин—белую субстанцию подтаскивая коробами, по очереди, на ряд приставных лестниц, откуда та расшвыривалась по колышливому гландоподобному, посыпая бактерии с токсинами гнусаво пузырящиеся в его кавернах, без всяких видимых последствий (хотя как знать что ощущал при этом Аденоид, не так ли?)

Однако лорд Блатрард Осмо наконец-таки мог уделять всё своё время Нови Пазару. В начале 1939, его обнаружили утонувшим при загадочных обстоятельствах в ванне наполненной тапиоковым пудингом в доме Небезызвестной Виконтессы. Нашлись такие, кто усмотрел в этом руку Конторы. Минули месяцы, началась Вторая Мировая война, прошло ещё несколько лет, из Нови Пазара никаких вестей. Пират Прентис спас Европу от Балканского Армагеддона, который кошмарился старикам и те метались на своих ложах в беспробудном ужасе пред его грандиозностью—но только не перед второй мировой, разумеется. Впрочем, в тот период Контора позволяла Пирату только гомеопатически крохотные дозы мира, чтобы он не пошёл вразнос, однако бы и не отравился ими.

* * * * * * *

У Тэди Блота обеденный перерыв, но иного ли наобедаешь примятым банановым сэндвичем в обёртке из провощённой бумаги поверх прочих необходимостей в его стильной планшетке—крохотная шпионская фотокамера, коробочка тянучек, ментоловых пастилок на основе стручкового перца Для Мелодичности Голоса, солнцезащитные очки по рецепту, в золотой оправе как у генерала МакАртура, пара серебряных щёточек-расчёсок в форме пылающего меча ГКСЭС, подарок Мамы, который он находит весьма изысканным.

В это полное измороси зимнее утро он направляется в здание серого камня, недостаточно крупное или историческое, чтоб упоминаться в каком-либо путеводителе, в двух шагах от площади Гросвенор, чуть в стороне от официальных воинских маршрутов и коридоров через столицу. Когда печатным машинкам случается прервать свой стрекот (8:20 и прочие мифические моменты), а в небе не гудят американские бомбардировщики и уличное движение вдоль Оксфорд-Стрит не слишком интенсивно, можно даже услышать чириканье зимних птиц снаружи, слетевшихся к кормушкам, что понаставили девушки для них.

Плитки мостовой скользки туманом. Это середина дня давящей сумрачности, табачного голодания, головой боли и тяжести в желудке, миллион бюрократов усердно составляют планы смерти и некоторые даже осознают это, многие уже оприходовали вторую или третью кружку или фужер, что создаёт тут определённую ауру отчаяния. Но сейчас, минуя вход обложенный мешками с песком (временные пирамиды воздвигнутые для излишне любопытных), Блоту не до этого всего: он слишком поглощён подготовкой возможных оправданий, если его застукают, хотя это вряд ли, просто на всякий...

Добродушная, резинкожвачная, девушка-очкарик на контроле приглашающе махнула ему подыматься дальше по лестнице. Адъютанты в плотно-шерстяном расходятся вдоль коридоров по совещаниям, замы-завы, час-другой прихлёбывать по глоточку, дремать, и его, в общем-то, не видят, он тут примелькался, ну-этот-как-его, они тут вроде с Оксфордской, Лейтенант что работает в конце коридора в ТОТСССГ...

Старое здание поделено распорядителями трущоб войны. ТОТСССГ сокращение от «Технические Отделы Трансакций Союзных Сил по Северной Германии». Это сеть прокуренных закоулков бумаготворчества, в данный момент почти безлюдная, с высокими, как надгробные камни, пишущими машинками. На полу замызганный линолеум, окон нет: электрический свет жёлтый, дешёвый, безжалостный. Блот заглядывает в кабинет своего старого друга по Колледжу Исуса в Кембридже. Лейтенант Оливер («Тантиви») Махер-Маффик. Никого. Тантиви и Янки вышли на обед. Отлично. Достаём камеру, включаем настольную лампу, рефлектор направляем так, чтоб...

Должно быть такие же загородки по всему ЕТВД: три нищенские стенки прессованной фанеры исцарапанно-кремового цвета, даже своего потолка нет. Кроме Тантиви тут размещён его американским коллега, Лейтенант Тайрон Слотроп. Столы их поставлены под прямым углом, так что и не не взглянуть в глаза друг другу, пока не скрипнешь стулом на 90°. Стол Тантиви аккуратен, у Слотропа же жуткая свалка, где и сам чёрт ногу сломит. Он не расчищался до столешницы с 1942. Навал слежался, слоя скрепились вкраплениями бюрократической молофьи, что упорно просачивается к самому дну миллионами своих крошечных завитушек от красной с коричневым стирательной резинки, карандашной стружкой, лепёшками ссохшихся пятен чая или кофе, следами сахара и Домашнего Молока, в супесь примешаны пригоршни сигаретного пепла, мельчайшие волоконца чёрных лент для пишмашинки, выколупанные и брошенные тут же, канцелярский клей в процессе разложения, кусочки аспирина размолотые в пыль. Затем следуют россыпи скрепок, кремней для зажигалки Зиппо, резиночек, канцелярских скоб, сигаретных окурков и скомканных пачек, случайно затесавшиеся спички, кнопки, огрызки ручек, обломки карандашей всех цветов и оттенков включая так-жутко-трудно-где-найти гелиотропный и горчичный, Гладкий Вяз Таблетки Тэя от Горла, присланные мамой Слотропа, Нэйлин, аж из Массачусетса, кусочки лент, бечёвок, мела… всё покрывает слой забытых циркуляров, корешков от коричневых продовольственных талонов, телефонных номеров, неотвеченных писем, истёртых листов копирки, и тут же

размашистые наброски аккордов укулеле для дюжины песен, включая «Джонни Дюбэ нашёл розу в Ирландии» («У него попадаются неплохие аранжировки»,– уверяет Тантиви,–«ну как бы американский Джордж Формби, если возможно такое представить».– Но Блот решил, что лучше не пробовать.) Пустая бутылочка тоника для роста волос «Кремль», затерянные кусочки пазла различных форм, где представлены часть карего левого глаза Ваймаранера, бархатные зелёные складки халата, сизые разводы в отдалённой туче с нимбом оранжевого взрыва (вероятно, закат солнца), заклёпки в обшивке Летающей Крепости, розовая внутренняя сторона ляжки обиженной девушки с настенного постера… пара старых Еженедельников Разведывательной Информации при армейском разведуправлении, штопором свившийся завиток лопнувшей струны укулеле, коробочки бумажных звёзд с липким задом для маркировки разными цветами, части развинченного фонарика, крышка от круглой коробочки обувного крема Нагета, в которую Слотроп иногда заглядывает за своим размытым медным отражением, всевозможное количество справочников из библиотеки ТОТСССГ в конце коридора—технический словарь немецкого языка, Специальный Справочник или План Города изданный МИДом—и обычно, если не утащили или не выброшен, номер Новостей Мира тоже где-нибудь воткнут—Слотроп заядлый любитель чтения.

На стене у стола Слотропа прикноплена карта Лондона, которую Блот сейчас фотографирует свой миниатюрной камерой. Его планшетка распахнута и по загородке начинает расплываться запах бананов. Может закурить для маскировки? Тут не проветривается, а то догадаются, что кто-то заходил. Ему потребовалось всего четыре экспозиции, чихк-чик-трак, ух до чего уже наловчился —кто-то заглянет, просто роняешь камеру в раскрытую планшетку где банановый сэндвич смягчает падение, маскирует подозрительный звук и заснятую кассету данных, столько всего и сразу.

Жаль, что тот, кто платит за эту маленькую шалость, не раскошелился на цветную плёнку. Интересно, велика ли разница, но Блот не знает кого можно спросить. В звёздах наклеенных на карту Слотропа представлен весь спектр, начиная с серебряного (с пометкой «Каролина») в одном созвездии с Глэдис, зелёная, и Катариной, золотая, а взгляд переходит на Алису, Делорес, Ширли, парочка Сэлли—тут в основном красные и синие—гроздь возле Тауэр-Хилла, фиолетовый сплошняк вокруг Ковент Гарден, туманность перетекает в Мэйфэйр, Сохо, и дальше к Вимбли и наверх к Хэмпстед-Хит—в любом направлении расходится это небесное мерцание частью отклеившихся звёзд из Каролин, Марий, Анн, Сюзан, Элизабет.

Но возможно цвета клеились как попало, без кодировки. Может даже и девушки не настоящие. От Тантиви, после нескольких недель расспросов невзначай (мы знаем, что вы учились вместе, но задействовать его было бы рискованно), Блот может только доложить, что Слотроп работает над этой картой с прошлой осени, примерно с того времени как начал выезжать как представитель ТОТСССГ на обследования разрушений в местах попадания ракет-бомб—и в разъездах по местам, где погуляла смерть, у него явно находиться время приударить за

девушками. Если имеется некая причина клеить эти бумажные звезды каждые пару дней, то он о ней не распространяется—похоже, это не для посторонних. Карту видит один только Тантиви и тот относится к ней со снисходительностью дружелюбного антрополога: «Некая разновидность безвредного Янковского хобби»,– отвечает он своему другу Блоту. «Может, чтоб не потерялись. У него и вправду довольно напряжённая общественная жизнь.» А затем начинет делиться историей про Лорейн с Джуди, про гомосексуального констебля Чарльза, пианино в мебельном фургоне, или эксцентричный маскарад с участием Глории и её всё ещё аппетитной мамочки или о ставке в целый фунт на игру Блеквуд-Престон в Норт-Енде, про бесстыдную версию «Тихой ночки», и судьбоносный туман. Но ни одна из этих тем не развеет туман недоумения тех, кому докладывает Блот.

Ну вот. Дело сделано. Планшетку застегнул, лампу выключил и поставил где была. Может успеет перехватить Тантиви в МЕХАНИКЕ И КОЛЕНВАЛЕ, самое время для дружеской кружки. Он покидает фанерный лабиринт в слабом жёлтом свете, против течения возвращающихся девушек в галошах, Блот неприступно неулыбчив, нет времени на шлёпы-щекотульки, знаете ли, ему сегодня ещё и работу надо сдать.

* * * * * * *

Ветер изменился, дует с юго-запада, и барометр падает. Чуть за полдень, а стемнело будто вечер уже под этой массой дождевых туч. Сегодня была долгая идиотская гонка к нулевой отметке, но как всегда смотреть не на что. Говорят, это случай взрыва в воздухе с недолётом, горящие куски ракеты рассеялись на многие мили, главным образом в реку, а тут всего один кусок, неизвестно какой формы, да и тот взят в оцепление оцепили ещё до приезда Слотропа, самая плотная охрана из всех, что он вообще встречалась, и самая недружелюбная. Мягкие, линялые береты на фоне шиферных туч, «стэны» с глушителями, поставлены на стрельбу очередями, усищи поверх рта покрыли верхние губы, угрюмы—Американскому Лейтенанту даже и взглянуть нельзя, нет, не сегодня. ТОТСССГ, конечно, бедный родственник для разведки Союзных Сил. Но хоть на этот раз не только Слотропу от ворот поворот, он с холодным удовлетворением пронаблюдал как его ровню из ТехИнформа, а вскоре и шефа того же отдела, который прирулил на своём Волсли Воспе качать права, спровадили не солоно хлебавшими. Ха! Ни один из них не ответил на дружеский кивок Слотропа. Не повезло, ребятам. Однако приставала Тайрон торчит тут по прежнему, раздавая сигареты Лаки Страйк, ну хоть прикинуть что к чему.

Что там за графитовый цилиндр сантиметров пятнадцати в длину и пять в диаметре, на котором только лишь малость закоптилась зелень армейской краски. Вот и всё, что уцелело при взрыве. Как и планировалось, наверняка. Внутри не иначе как бумаги. Старшина руку обжёг, когда попробовал поднять, его крик «ёб твою!» вызвал смех среди рядового состава. Все ждали прибытия Капитана Прентиса из УСО (эти грёбанные ублюдки никогда не торопятся), который вскоре

и прибыл. Слотроп полюбовался со стороны—обветренное лицо, здоровенный жлоб. Прентис забрал цилиндр и укатил, сеанс окончен.

В таком случае, прикидывает Слотроп, ТОТСССГ мог бы, хотя хули толку, подать пятьдесят-пять-миллионный служебный запрос в УСО, с просьбой сообщить о содержимом цилиндра и, как всегда, не получить ответа. Нет, всё окей, он не в обиде. УСО игнорирует всех, а все игнорируют ТОТСССГ. А и что с того, вообще? Это его последняя ракета на какое-то время. Хотелось бы насовсем.

Сегодня утром в его корзинке «входящее» был приказ о временном откомандировании его в какой-то госпиталь в Ист-Енде. Никаких пояснений кроме копии предписания ТОТСССГу о его переназначении «в рамках тестовой программы ОПБ». Что ещё за тесты? ОПБ это Отдел Политической Борьбы, он посмотрел по справочнику. За этим что-то большее, чем стандартное дерьмо психометрического теста, наверняка. Но хоть какая-то перемена от этой рутинной охоты за ракетами, которая уже приелась.

Когда-то Слотроп старался. Нет, серьёзно. Во всяком случае, ему так кажется. Многое из того, что было до 1944 уже малость в тумане. Первая волна Блица вспоминается как полоса сплошной удачи. Всё что Люфтваффе сбрасывали и близко не падало рядом с ним. Но с прошлого лета они перешли на эти бомбы-роботы. Идёшь себе по улице, в постели только-только заснул и тут нежданно этот пердёжный звук над крышами—если он продолжается, доходит до пика и звучит дальше, ну так это класс, это уже проблема кого-то следующего… но если двигатель смолк, Джексон, берегись—начала падать, подача горючего прекращена и у тебя 10 секунд, чтоб определиться чего бы ты хотел напоследок. Ну в общем, тоже ничего. Понемногу втягиваешься, начинаешь делать маленькие ставки, на шиллинг-два, с Тантиви Махер-Маффиком, что за соседним столом, куда ахнет следующий падла...

Но с сентября пошли ракеты. Эти ёбаные ракеты. К этим сукам невозможно приспособиться. Никак. Впервые он с удивлением обнаружил, что он по настоящему боится. Начал больше пить, спать меньше, курить одну за одной, чувствовать, что его типа как подставили. Боже, нельзя же, чтоб так продолжалось...

– Кстати, Слотроп, у тебя уже одна во рту.

– Это от нервов,– Слотроп всё равно прикуривает.

– Ну, хотя бы не мои,– упрашивает Тантиви.

– Две за раз, видал?– переставляет их, чтобы смотрели вниз, как клыки в комиксах. Лейтенанты уставились друг на друга сквозь пивные тени, день углубляется за высокими холодными окнами МЕХАНИКА И КОЛЕНВАЛА и Тантиви подмывает рассмеяться или фыркнуть, О, Боже, по ту сторону деревянной Атлантики их стола. Атлантики тут под завязку хватало за последние три года, и в ней штормило зачастую круче, чем в той, которую некий Вильям,

первый трансатлантический Слотроп, пересёк много поколений предков тому назад. Варварство в одежде и речи, буйство в поведении—в один ужасный вечер пьяный в стельку Слотроп, гость Танвити в великосветском клубе Юниор Атенем, допрыгался, что их обоих выставили оттуда, за фланговую атаку на ДеКаверли Покса с клювом чучела совы нацеленным на сонную артерию Покса пока тот, загнанный на бильярдный стол, пытался всадить турняк кия Слотропу в глотку. Увы, происшествия подобного толка случались довольно часто: однако доброта – надёжный корабль в подобных океанах, Тантиви всегда рядом, краснеет и улыбается, а Слотроп диву даётся, что в самых крутых передрягах Тантиви ни разу его не подвёл.

Он знает, что с ним можно говорить обо всём. Это касается не только текущего докладах об амурах с Нормой (ямочки на плотных ножках как у девчонки из Седар Рапидз, штат Айова), Марджори (рослая, элегантная, танцует в строю хористок в Ветряной Мельнице), или про странные события субботней ночи в клубе Фрик-Фрак, Сохо, логово низкопробной репутации расцвеченной плывущими лучами различных пастельных оттенков, с плакатиками запрещается или джитербаг не танцевать, для отвода глаз всякого рода полиции, военной или гражданской, хотя что такое «гражданская» в наши дни, которые нет-нет да и заглянут, и где недавно, ну это вообще ни в какие ворота, блядский сговор какой-то, когда Слотроп зашёл, как условлено, встретиться с одной, но увидел двух, на пару, и ракурс точно под него, над синим шерстяным плечом машиниста 3-й статьи, под голой миленькой подмышкой девушки, что замерла, откинувшись в танце линди-хоп, кожа с оттенком лаванды, которая как раз проплывала в луче, тут-то и накатила паранойя, лица их обеих двух начали к нему разворачиваться...

Эти две юные леди помечены серебряными звёздами на карте Слотропа. Должно быть, в те оба раз у него был серебристый настрой—сияющий, звонкий. Цвет звёзд, которые он наклеивает, это просто для передачи его настроения, от фиолетового до золотого. Он не распределяет их по рангам—ничего подобного! Да никто и не видит эту карту, кроме Тантиви, к тому же, Исусе, они поголовно прекрасны… бутончики или листва, посреди города этой его зимы, в чайных, в очередях, повязавшись платками, вздыхают, шмыгают, хлопчатобумажные ножки на мостовой, голосуют машине, печатают на машинках, помечают файлы, в помпадурах, жёлтыми ростками карандашей, он их находит—дамочек, девулек, красотулек с грудями в обтяжечку—да это малость перебор, возможно, но… «Ведомо мне, в миру есть любовь необузданная и дикие увеселения»,– проповедовал Томас Хукер,–«как есть дикий чабрец и иные травы; но мы взлелеем сад любви, сад радостей, насаждаемых Господом нашим». В точности так же и произрастает сад Слотропа. Утопает в незабудках, лозинках, в душистой руте—и повсюду эти лилово-жёлтые, как засосы, анютины глазки, целуй-меня-скорей...

Он любит рассказывать им про светлячков. Английские девушки вообще без понятия про светлячков и это, пожалуй всё, что Слотроп в точности знает про Английских девушек.

Карта ставит Тантиви в тупик. Её не спишешь на обычную охоту американского горлопана за охочими двустволками, это скорее рефлекс на пустоту в своём-пацане, рефлекс, который Слотроп не может подавить и продолжает лаять в пустую тишь лаборатории, в извилистые ходы гулких коридоров, хоть это уж давным-давно не нужно и вся братва отправлены на вторую мировую найти свою смерть. Слотроп и вправду не любит говорить о своих девушках: Тантиви приходится подводить его к теме дипломатическими уловками, даже теперь. На первых порах Слотроп, с чудаковатым джентльменством, вообще её не касался, покуда не понял насколько Тантиви застенчив. Ему дошло это, когда тот попросил найти ему подружку. И примерно в то же время, Тантиви разглядел насколько Слотроп одинок. Во всём Лондоне ему, похоже, не с кем было поговорить, кроме бесчисленного множества девушек, которых он после почти что никогда и не встречал, поговорить хотя б о чём-нибудь.

И всё же Слотроп ведёт разметку свей карты ежедневно, с тупой упёртостью. В лучшем случае, она дань течению изменчивых перемен, из которых—посреди нежданных разрушений с неба, загадочных приказов, что прибывают из тёмных бдений ночи, да им просто делать там нечего—он запечатлевает миг оттуда-отсюда, дни снова холодают, иней по утрам, ощущение груди Дженифер под холодной шерстью свитера, когда прижал, чтоб чуть согреться в пропахшей угольным дымом прихожей, дневную унылость которой ему никогда не узнать… чашка вскипевшего бульона, капля упала на колено и обожгла, пока Айрин, голая как и он, в потоке солнечного света сквозь стекло, проверяет бесценные нейлоны, один за другим, отыскивая пару без затяжек, каждый чулок вспыхивает в свете сквозь зимние шпалеры за окном… голоса модных Американских певичек звучащие в нос из бороздок на диске через обшарпанную иглу маминой радиолы у Алисон… обнявшись для тепла, шторы затемнения на окнах, никакого света кроме огонька их последней сигареты, Английский светлячок, колышется в капризном курсиве слов что ей захотелось написать, но прочитать их он не может...

– И что дальше?– От Слотропа ни звука.– Эти две твои морячки… когда увидели тебя...– И тут он замечает, что Слотроп, вместо того, чтоб продолжить рассказ, дёргается. Да он дрожал и перед этим, тут холодно, но не настолько же.– Слотроп!

– Я не пойму. Исусе.– Даже интересно. Такое дико странное ощущение. Никак не получается сдержать. Подымает воротник своей курточки, втягивает ладони внутрь рукавов и сидит так какое-то время.

Вскоре, после паузы, с прыгающей сигаретой: – Их не слышно, когда на подходе.

Тантиви знает кто эти «они». Он отводит глаза. Недолгое молчание.

– Конечно, не слышно, у них скорость больше скорости звука.

– Да, но—я не про то,– слова вырываются между волнами дрожи.– Те другие, Фау-1, их ведь слышно. Так? Может у тебя есть шанс увернуться. Но эти сперва

взрываются, а и уж потом слышишь, что летят. Если тебя не убило, тогда уж не услышишь.

– То же самое и в пехоте. Сам знаешь. Никогда не слышишь ту, которая в тебя.

– У, но—

– Считай, что это такая большая пуля, Слотроп. С плавниками.

– Исусе,– зубы клацают,– ты умеешь утешить.

Тантиви, встревоженно склоняясь сквозь запах конопли и коричневый сумрак, теперь больше обеспокоен содроганьями Слотропа, чем личными страхами, ему ничего не остаётся кроме известных ему способов как-то развеять или попытаться снять их.– Может тебе стоит проверять места, где они взрывались...

– Зачем? От них же ничего не остаётся. Не так разве?

– Я не знаю. Даже немцам вряд ли известно. Но это для нас отличная возможность обскакать ТехИнформ. Ну что скажешь?

Вот так и начал Слотроп расследования «случаев» V-бомб. Когда отгремят. Первым делом—каждое утро—кто-то из Гражданской Обороны направлял в ТОТСССГ сводку о вчерашних взрывах. Она доходила до Слотропа в последнюю очередь, он отцеплял список адресатов уже исчирканный карандашными метками и шёл заводить стареющий Хамбер на стоянке, чтобы отправиться в свой обход, Святой Георгий после факта, является разгребать помёт. Зверюги Немецкого производства вдрызг, фиг найдёшь хоть осколок, потом составлять пустые заключения в своих блокнотах—трудотерапия. Когда ТОТСССГ начали извещать пораньше, он поспевал ко времени работы поисковых групп—шёл следом за мускулистыми собаками-ищейками КВС в запах штукатурки, в шипенье истекающего газа, в гущу расщеплённых обломков и провисающих сетей арматуры, к безносым рухнувшим кариатидам со ржавчиной уже проступившей вокруг гвоздей, с ободранной отделкой, взмах запылённой руки. Пустота под пришепётывающими обоями с павлинами, что распустили хвосты на лужайках у домов в Георгиевском стиле, давным-давно, у вечнозелёных падубов… к крикам требующим заткнуться, где торчащая рука или белизна кожи дожидалась их, выживший или жертва. Когда его помощь не требовалась, он стоял в стороне, молясь, поначалу, Богу, как положено, впервые с прошлого Блица, чтобы жизнь победила. Но слишком многие умирали и вскоре, не видя смысла, он бросил.

Вчера случился хороший день. Нашли ребёнка, живого, маленькая девочка полузадохшаяся в клетке убежища Морисона. Пока сбегали за носилками, Слотроп держал её маленькую руку, синюю от холода. На улице лаяли собаки. Когда она открыла глаза и увидела его, первое, что сказала: «Жвачка найдётся, друг?» Два дня под завалом, без жевательной резинки—всё, что он мог предложить *Гладкий Вяз* Тэя. Он чувствовал себя идиотом. Прежде чем её унесли, она всё равно поцеловала его руку, её рот и щека в свете фонариков

холодные как иней, город вокруг сразу обернулся огромным заброшенным холодильником, запах кислятины и никаких тебе больше сюрпризов внутри, никогда. И тут она улыбнулась, совсем слабо, и он понял, что именно этого и ждал, ух-ты!—улыбка Ширли Темпл, которая сразу перечеркнула всё, среди чего они её нашли. Глупее не придумаешь. Он телипается на оконечности лавины своего рода, 300 лет янки на западных болотах, и не способен ни на что помимо хрупкого перемирия с их Провидением.

Разрядка напряжённости. Каждая из руин, которые он ежедневно обшаривает, это проповедь о суетности. Недели за неделями, но ни малейшего осколка ни одной ракеты, показать насколько непередаваем акт смерти… Духовное Продвижение Слотропа: мирской Лондон его просвещает: заверни за любой угол и окажешься внутри параболы.

У него появилась навязчивая идея ракеты, на которой написано его имя—если они и впрямь решили его кончить («Они» охватом своих возможностей далеко выходят за пределы нацистской Германии), то это самый надёжный способ, и им ничего не стоит написать его имя на каждой, верно?

– Да такое может пригодиться,– позабавлено взглядывает на него Тантиви,– крутой финт, особенно перед наступлением, знаешь, просимулировать что-то в таком роде. Полный верняк. Назови это «боевая паранойя» или типа того. Но—

– Кто симулирует?– закурил сигарету, встряхивает чубом в дыму,– блин, Тантиви, послушай, не хочу тебя расстраивать, но… я уже переслужил четыре года, пойми, это может случиться в любой момент, в следующую секунду, сейчас, враз… блядь… просто нуль, просто и того меньше… и...

Нет ничего, что он бы мог посмотреть, пощупать руками—вдруг газы, взрыв, а после никаких следов… без предупреждения, Слово тебе на ушко, а дальше вечная тишь. Помимо неуловимости, помимо грохота и грома небес разверстых, это полное издевательство и ужас перед обещанной ему, с Немецкой стопроцентной точностью, смертью, которой смешны тихие подначки Тантиви… нет, это не пуля с плавниками, Асс… не Слово, не то Слово, что разрывает день к чертям...

Случилось это в пятницу, вечером, в прошлый сентябрь, сразу после работы направлялся к станции Подземки на Бонд-Стрит, голова занята предстоящим уик-эндом и его двумя морячками из Морской Службы Гражданской Обороны, те самые Марджори и Норма, которых надо держать по раздельности, чтоб не узнали друг про друга, и в тот момент, когда он сунул палец в нос вытащить козявку, вдруг с неба, за много миль позади него, memento mori резкого мощного взрыва, докатился как громовой раскат. Ну не совсем гром. Через пару секунд, но уже спереди, шарахнуло вновь: чётко и громко, над всем городом. Взят в скобки. Не робот-бомба, и не Люфтваффе. «И не гром»,– удивился он вслух.

– Какая-нибудь блинская газомагистраль,– женщина с коробкой для ланча, с глазами припухшими после рабочего дня над машинкой, задела его локтем, проходя мимо.

– Нет, это Немцы,– её подруга всколыхнула свои блондинные кудряшки под клетчатым головным платком и отмочила жуткий номер: вскинула ладони к Слотропу,– по нему целили, Немцы обожают толстых, пухленьких Американчиков.– Тут она ущипнула его щеку и подёргала туда-сюда.

– Привет, шикарная,– сказал Слотроп. Её звали Синтия. Он успел взять её номер телефона прежде, чем она помахала по-ка, уносимая волнами толпы часа пик.

Это был один из лондонских великолепно железных дней: тысячи дышащих труб соблазняли жёлтое солнце, завлекали бесстыже. Такой дым, он больше чем дыхание дня, больше чем мощь темноты—это имперское присутствие преисполненное жизни, движения. Люди пересекали улицы и площади, направляясь во все стороны. Автобусы пробирались, сотнями, по длинным бетонированным мостовым завозюканным годами безжалостной эксплуатацией на износ, в серое марево, жирно-чёрное, красно-свинцовое, алюминиево-бледное, меж груд обломков высотою с двухэтажки, вписываясь в повороты к магистралям, где битком военных колонн и других высокорослых автобусов, грузовиков с брезентовым верхом, велосипедов и авто, у каждого тут своё назначение и своя точка старта, всё плывёт, иногда голосует, и над всем над этим загазованная руина солнца посреди дымовых труб, аэростаты противовоздушных заграждений, линии электропередач и печные трубы, коричневые, как старинные деревянные панели в домах, коричневость темнеет, через минуту обратится чёрным—наверное, истинный момент заката—вот ваше вино, вино и отдых.

Было ровно 6:43:16 по Британскому Военно-Летнему Времени: небо, как тугой барабан смерти, ещё гудело после удара, а хуй Слотропа—что такое? да точно, загляни в его армейские трусы, налился эрекцией, вот-вот торчком вспрыгнет—Боже праведный, а это вдруг с чего?

В его истории и, вполне возможно, помилуй его Господи, в его досье отмечалась повышенная чувствительность к происходящему в небе. (Но эрекция-то с чего ?)

На старом аспидном сланце надгробного камня на кладбище Конгрегационалистской церкви дома в Минчборо, штат Массачусетс, рука Господа возникает из облака, края изображения кой-где изъедены двумя столетиями смен огня и льда в долоте времён года, а надпись такова:

В память Константа

Слотропа, что умер Марта

4-го 1766 г., на 29-м

году от роду.

Смерть есть природе долг,

Я уплатил, и ты заплатишь.

Констант видел, и не только лишь в своём сердце, эту каменную руку из мирских облацей, указующую на него, края её лучатся невыносимым светом над шёпотом его реки, над синевой широких склонов его Бёркшира, каковую узрит и сын его, Верайбл Слотроп, да и все в роду Слотропов, так или иначе, все девять или десять поколений коих, коли обратятся вспять, к истокам, укорачиваясь ветвями: все до единого, за исключением Вильяма, самого первого, лежат под опавшими листьями, под мятой и лиловым дербенником, под прохладными вязами и тенистыми ивами на кладбище у края болот, в давней степени гниения, щелочения, ассимиляции с землёй, под камнями, на которых представлены круглолицые ангелы с собачье длинными носами, зубастый череп Смерти с провалами глазниц, масонские знаки, вазы цветов, пышные ивы, стоячие и преломлённые, истёкшие песочные часы, лик солнца рассветного или закатного, что заглядывает, на манер «здесь был Килрой», поверх горизонта, и строки мемориальных стихов, от простых рубленых строк, как для Костанта Слотропа, до широкого размера Звёздного Знамени, как для м-с Элизабет, жены Лейтенанта Исайи Слотропа (ум. 1812):

Смерть ненасытная меня скосила,

До часа, когда вновь Христос приидет

Чад Его спасать, как сказано в Писании о Нём,

Мой плач услышь, читающий сие,

Злато не сделает вечным твоё бытие.

Ткацкий стан Господа не прекращает дела своего,

Наши пути следуют нитям любви Его.

Вплоть до дедушки текущего Слотропа, Фредерика (ум. 1933 г.), который с присущим ему сарказмом и желчностью стибрил эпитафию у Эмили Дикинсон, не указав автора строк:

Мне некогда было дожидаться Смерти,

Она любезно дождалась меня.

Каждый из них, в порядке очереди, платил надлежащий долг природе, оставляя излишки следующему звену в цепи продолжения имени. Они начинали как мехоторговцы козлиными шкурами, как засольщики и коптильщики бекона, перешли на стеклопроизводство, стали выборными людьми, строителями дубилен, карьеров мрамора. Округа на многие мили превратилась в некрополь

серый от мраморной пыли, той пыли, которую вдыхали призраки из-под всех тех псевдо-античных монументов, что увозились куда-нибудь ещё, по всей Республике. Всегда куда-нибудь ещё. Деньги исхитрялись найти лазейки и сочиться прочь из портфелей акций куда более хитроумными путями, чем любая генеалогия: то, что оставалось дома, шло на земельные участки леса, чьи зелёные массивы таяли акрами за один повал, превращались в бумагу—туалетную бумагу, банкноты, газеты—орудия или источники дерьма, денег и Слова. Ни один Слотроп ни разу не был занесён в Социальный Регистр, не удостаивался членства в Сомерсет Клубе—они тихо делали своё дело, ассимилировались с динамичностью жизни, которая охватывала их так же плотно, как после их смерти стиснет земля церковного кладбища. Дерьмо, деньги и Слово, три американские истины питающие американскую мобильность, призвали Слотропов, навеки пристегнули их к судьбе страны.

Однако они не процветали… почти всё добывалось упорством—хотя и это всё начало скисать примерно в те же времена или того около, когда Эмили Дикинсон писала:

Паденье дьявольски нелёгкий труд,

Ведётся постепенно, кропотливо—

Никто не согрешает в одночасье,

Тут дребезги нужны, чтоб поскользнуться,

И всё-таки они держались. Обычай остальных был прост, его знал каждый—застолби, разработай, выжми всё, что возможно и – двигай на запад, там всегда найдёшь. Но из какой-то устоявшейся инерции, Слотропы оставались на востоке, в Бёркшире, извращенчески—рядом с затопленными карьерами и холмами из-под вырубленных лесов, которые они оставили, как подписанные признания вины, по всей этой коричневой, как давняя солома, плесневеющей, ведьмацкой стороне. Прибыли падают, семейство непрестанно разрастается. Доход от немногих разных трестов опять-таки вкладывался, семейными банками в Бостоне, каждое второе или третье поколение, в какой-нибудь следующий трест, в затяжном раллентандо, в бесконечной серии едва ощутимого, год от году, умирания… но никогда до полного нуля... Депрессия, грянув, засвидетельствовала процесс. Слотроп рос среди холмов иссякшей деловой активности, каменные ограды вокруг усадеб безмерно богатых, полумифических обитателей из Нью-Йорка, вновь превращались в зелёную пустошь или усыхали на корню, все хрустальные окна, до единого, перебиты, все Харриманы и Витни в отъезде, газоны позарастали для сенокоса, осенний сезон уже не пора фокстротов в отдаленье, лимузинов и фонарей, а всё тех же привычных цикад опять, опять яблок, ранних заморозков изгоняющих колибри прочь, восточных ветров, октябрьских дождей: и только зимы неизменны.

В 1931, год большого пожара в Аспинвол Отеле, юный Тайрон навещал свою тётушку в Леноксе. Был апрель, но секунды две, проснувшись в непривычной комнате от топота больших и маленьких ног вниз по лестнице, он подумал что это зима, потому что часто в такой же час папа или Хоган будили его и, закутавшись, всё ещё смаргивая в холод остатки сна наблюдали северное сияние.

Охренеть, до чего они его пугали. Что если эти сияющие занавеси сейчас распахнуться? Что покажут ему призраки севера, усыпанные драгоценностями?

Но это была весенняя ночь, небо переливалось красным, тёмно-оранжевым, в долинах выли сирены пожарных машин из Питсфилда, Ленокса, Ли—соседи стояли на своих крылечках, поглазеть на ливень искр осыпающих крутой склон… «Как метеоритный дождь»,– говорили они.– «Как угольки на четвёртое июля...»– шёл 1931, отсюда и сравнения такие. Головешки падали пять часов кряду, дети давно заснули, а взрослые пили кофе и рассказывали друг другу какие пожары видали они в другие годы.

Но это что за сияние? Какие призраки командуют тут? Что если в следующий момент всё заслонит кромешная ночь, контроль утрачен и занавеси распахиваются показать зиму, которую никто и представить не мог...

6:43:16, БВЛВ—вот когда небо так именно и распахнулось, вот-вот лопнет, его лицо очертилось уже этим светом, сейчас исчезнет всё и он себя утратит, как постоянно приговаривали там, где он вырос… стройные шпили церквей на всех тех осенних склонах, белые ракеты готовые к запуску, всего несколько секунд обратного отсчёта, розовые окна вбирают воскресный свет, который одухотворяет и омывает лица проповедников толкующих о благодати, они клятвенно твердят, да именно так оно и происходит—да и великая длань света протягивается книзу из облацей...

* * * * * * *

На стене, в орнаментальном бра тёмной меди, горит газовый факелок, ровно и чуть напевно—подрегулирован до уровня, который учёные прошлого века нарекли «чувствующим пламенем», невидимое у основания, на выходе из трубки, оно зависает в паре дюймов выше, бледнеет кверху ровным синим светом маленького мерцающего конуса способного реагировать на малейшие изменения давления воздуха в комнате. Он помечает гостей, когда те входят и удаляются с одинаковым любопытством и сдержанностью, словно за круглым столом ведётся некая азартная игра. Круг сидящих не отвлекается, им оно не мешает. Никаких тут тебе бледных рук или фосфоресцирующей смазки.

Офицеры Кемрина в парадных бриджах в клеточку, синих обмотках и Шотландских килтах забредают, беседуя с Американцами срочной службы… заглядывают и священнослужители, гвардейцы Местной Обороны, Пожарной Службы, прямиком после смены, складки шерстяных кителей отягчились дымом,

каждый жалуется, что не прочь бы поспать часок-другой, и выглядит соответственно… антикварно Эдвардианские леди в шёлковом крепе, выходцы из Вест-Индии мягко оплетают гласными цепочки неподатливых Российско-Еврейских согласных… Большинство минуют священый круг по касательной, кто-то остаётся, потом и эти некоторые расходятся по другим помещениям, не прерывая хрупкую медиума, что сидит ближе всех к чувствующему пламени, спиною к стене, рыжевато-каштановые волосы плотно приглажены, высокий лоб без морщинок, тёмные губы движутся то гладко, то спотыкаясь:

– Трансектировавшись в сферу Доминуса Блисеро, Ролан обнаружил, что все знаки ополчились на него… Огни, которые он изучил также хорошо, как один из присутствующих здесь, расположение их и перемещение, переметнулись вдруг на противоположный край, все в танце… в неуместном танце. Ничего подобного привычному продвижению Блисеро, ничего нового… отчуждён… а ещё Роланд ощутил вихрь в той мере, которую смертная оболочка никогда ему не позволяла. Открыл, что это так… переполняет радостью, что стреле доступно менять своё направление. Ветер длился год напролёт, год за годом, но Роланд проникался лишь мирским ветром… он хочет сказать, его личностным ветром. Однако… Селена, ветер, ветер отовсюду...

Здесь медиум прерывается, чуть молчит… лёгкий стон… момент тихого отчаяния: «Селена, Селена, ты ушла?»

– Нет, дорогой,– на её щеках полоски от недавних слёз.– Я слушаю.

– Всё упирается в контроль. Причина всех трудностей: в контроле. Он впервые проник внутрь, поймите. Контроль размещён внутри. Уже нет надобности пассивно дожидаться «внешних сил»—сворачиваешь в любой ветер. Словно…

– Рынок больше не нуждался в управлении Невидимой Рукой, но уже мог создаваться самостоятельно—свою логику, импульс, стиль, изнутри. Перенос контроля внутрь стало ратификацией уже свершившегося де факто—что вы отринули Бога. Но тут же впали в ещё бо́льшую и более опасную иллюзию. Иллюзия контроля. Будто А может контролировать Б. Полностью. Так не бывает. Всё лишь происходит, А и Б не имеют реальности, они всего лишь наименования частей, которым предопределено существование в неразрывности...

– Гонит белиберду Успенского,– шепнула леди протискиваясь мимо, под руку с портовым грузчиком. Запахи дизельного топлива и духов Sous le Vent, смешавшись, струятся рядом пока они проходят. Джессика Свонлейк, цветущая девушка в форме рядовой ВТС, учуяв довоенные духи, взглянула вслед, фнн, наряд не меньше, чем гиней в 15 и целую кучу талонов сверху, наверное, из Харродс и на мне смотрелся б куда лучше, уж это точно. Леди, обернувшись вдруг, улыбается поверх плеча, ты так уверена? Боже, неужто она услыхала? Ну в таком-то месте почти наверняка.

Джессика стоит неподалёку от стола для сеанса с пригоршней дротиков дартс в ладони, которые бесцельно выдернула из доски на стене, голова наклонена чуть-чуть, над коричневым воротником виднеется ложбинка в её шее и верхние позвонки из-под прядей светло-каштановых волос ниспадающих вдоль её щёчек. Латунные тельца согретые её кровью, подрагивают в её ладони. И она уже тоже, поглаживая кончики их оперения, как бы впадает в лёгкий транс.…

Снаружи, из восточных районов, докатывается приглушённый взрыв очередной ракеты-бомбы. Окна дрожат, пол вздрагивает. Чувствующее пламя ныряет увернуться, тени поперёк стола приплясывают, темнея, к комнате напротив—тут оно высоко подскакивает, втягивая тени вспять, и исчезает вообще. Газ шипит в скудно освещённой комнате. Милтон Гломинг, бакалавр Кембриджа с отличием, десять лет назад, прекращает стенографировать, чтобы подняться и пойти перекрыть газ.

Похоже, самый момент для Джессики метнуть дарт: всего один. Волосы встрепенулись, груди классно так подпрыгнули, каждая под своим плотным лацканом. Посвист воздуха, шмяк: точнёхонько в центр. Милтон Гломинг вскидывает бровь. Его ум, постоянно занятый сбором соответствий, думает, что ему подвернулось ещё одно.

Медиум, уже в раздражении, начинает выходить из транса. Всякому же ясно что сейчас происходит по ту сторону. Для этого сеанса, как и для любого другого, необходим не только родственный круг в этом мире, но и основополагающая четырёхсторонняя согласованность, которая не должна прерываться ни в одном из своих звеньев: Роланд (дух), Питер Сачса (контроль), Кэрол Эвентир (медиум), Селена (жена и уцелевшая). Где-то там за гранью усилий, плутаний, всплесков белого шума в эфире, эта целостность начала распадаться. Расслабление, поскрипывание стульев, вздохи, откашливания… Милтон Гломинг чиркает в своём блокноте, резко захлопывает.

Вскоре Джессика начинает прохаживаться. Роджера нигде не видно и она не знает понравится ли ему, что она его искала, а Гломинг хоть и застенчивый, но не такой скукотный как некоторые другие из друзей Роджера...

– Роджер говорил, что теперь вы посчитаете все слова, которые записывали и составите какие-то графики,– приветливо, предотвращая любую реплику о том броске дарта, который она предпочла б замять.– Они у вас только про сеансы?

– Машинальные тексты,– напряжённый общением с девушкой, Гломинг хмурится, кивает.– Ну ещё пара случаев с реакциями видж-доски, да, да… мы пытаемся разработать вокабуляр кривых—понимаете, определённые патологии, характерные конфигурации—

– Я как-то всё это не очень—

– Ну если вспомнить принцип Зипфа о Наименьшем Усилии: если мы спроецируем частотность слова Пи суб эн на ординату эн на логорифмических

осях...– бормочет в её молчание, она и изумлённой грациозна,– то мы, конечно же, получим что-то наподобие прямой… однако, у нас есть данные, которые предполагают и кривые при определённых—условиях они, ну, фактически, совсем другие—шизофреники, например, показывают определённую стабильность в верхней части, а затем прогрессирующую крутизну, как бы в форме лука… я думаю с этим другом, ну с этим Роландом, мы имеем классическую паранойю—

– Ха,– это слово ей известно.– Мне показалось, вы оживились, когда он сказал «ополчились против».

– «Против», «наоборот», да, вас бы удивила частотность этих слов.

– А какое самое частое слово,– спросила Джессика,– номер один по вашим записям.

– То же самое, что и всегда в собраниях для дел такого рода,– ответил статистик, словно каждый знает, что это «смерть».

Пожилой волонтёр службы оповещения воздушных налётов, накрахмаленный и хрупкий как тонкая кисея, приподымается на цыпочки заново зажечь чувствтвующее пламя.

– Кстати, а где это ваш молодой безумец?

– Роджер с Капитаном Прентисом,– неопределённый взмах руки.– Как всегда: непонятные Микроплёночные Манёвры.

Включённый в какой-то из дальних комнат, через запретную игру в зернь, слои дыма и говорильни, Фолкмэн с его оркестром Апачей доносится из приглушённой волны Би-Би-Си, коренастые пинты и стройные рюмки для шерри, зимний дождь в окна. Пора заклейки щелей, газовых обогревателей, тёплых шалей от холода ночи, коротай её со своей молодой леди или старым Голландским ромом, или как тут, в Сноксоле, в хорошей компании. В этом убежище—истинный, пожалуй, уголок покоя, из весьма немногих рассеянных в этом долголетнем военном времени, куда собираются не в очень-то военно-оборонительных целях.

Пират Прентис так это и воспринимает, косвенно, в виде классовой нервозности, он несёт свою улыбку среди всех тут собравшихся как боевую фалангу. Её он перенял в кино—та самая зловредная ирландская ухмылка, с которой Денис Морган взводит курок, когда стволы клыкастых жёлтых крыс начинают изрыгать чёрные дымы, перед тем как он их всех положит.

Эта усмешка нужна ему так же, как он нужен Конторе—которые, и это всем известно, используют кого угодно, предателей, убийц, извращенцев, негров, даже женщин, лишь бы добиться того, что Они хотят. Сперва, Они не слишком-то верили в полезность Пирата, но затем, по ходу дел, Они очень даже убедились в этом.

– Генерал-Майор, как вы можете поддерживать такое.

– Мы следим за ним круглые сутки. Физически, расположение он не покидает, это точно.

– Значит у него есть сообщник. Каким-нибудь гипнозом—наркотиками, я не знаю—они выходят на его подопечного и транквилизируют. Бога ради, вы ещё начните следовать гороскопам.

– Гитлер так и делает.

– Гитлер человек одухотворённый, а мы с вами просто наёмные работники, не забывайте...

После первого всплеска интереса, количество клиентов назначенных Пирату поубавилось. На текущий момент, его нагрузка вполне приемлема. Но ему не этого хочется. Они не поймут, эти джентльменски муштрованные маньяки из УСО, ах, весьма мило, Капитан, трандёж командных совещаний, шарканье ботинками, очки, какие сейчас носят в правительстве, превосходно и вот бы показали это как-нибудь у нас в клубе...

Пират хочет быть своим среди Них, хочет их грубоватой любви с запахом отличного виски и табачного блэнда Латакии. Он хочет свойского понимания, а не этих заумных шибздиков и рационально долбанутых в этом Сноксале, такие преданные своей науке, такие терпимые, что только тут (вот что и достаёт по полной) единственное место во всех пределах империи войны, где он чувствует себя не окончательным чужаком.

– Это вообще непостижимо,– говорит Роджер Мехико,– что у них на уме, в голове не укладывается, Закон о Ведьмовании, принят 200 лет назад, это обломок из совершенно иной эпохи, тогда и мыслили по другому. И вдруг в 1944 по нему осуждают направо и налево. Нашего м-ра Эвентира,– указывает на медиума, который в другом конце комнаты болтает с Гевином Трефойлом,– могут в любой момент повязать—вломятся через окна и увезут особо опасного Эвентира в тюрьму Скрабз за-попытку-применения-заклинаний-в-целях-принуждения-покойных-особ-раскрыть-их-тогдашнее-местопребывание-и-чем-занимались-с-живими-на-тот-момент-лицами, Боже мой, докатиться до настолько идиотского грёбанного фашизма…

– Полегче, Мехико, ты опять теряешь старую добрую объективность—человеку науки это не к лицу. Это уж совсем не по-научному.

– Осёл. И ты за них. Как ты мог не почувствовать ещё на входе? Тут необъятная трясина паранойи.

– Это мой дар, кто спорит,– зная, что скажет резкость, Пират пытается сперва загладить,– но не знаю готов ли я к настолько разнообразным её проявлениям...

– А, Прентис.– И бровью не повёл. Терпимость. Ах.

– Ты бы заглянул как-нибудь, пусть доктор Грост проверит на своей ЭЭГ.

– Ладно, как только найду время,– неопределённо. И тут уже проблема безопасности, пустая болтовня пускает корабли на дно, он не может быть чересчур уверен, даже насчёт Мехико. В текущей операции слишком много кругов, внешних и внутренних. Список доверенных лиц сокращается, с продвижением, кольцо за кольцом, к центру, Инструкция Уничтожить постепенно охватывает каждый обрывок, лишнюю запись, ленту с печатной машинки.

По его прикидкам, Мехико изредка обеспечивает поддержку свежей мании Конторы, известной как операция Чёрное Крыло, своей статистикой—анализирует данные чуждой морали, например—выходя за пределы обязанностей на своём предприятии, вот как в этот вечер, Пират служит посредником между Мехико и своим со-комнатником Тэди Блотом.

Ему известно, что Блот куда-то ходит что-то снимать на микроплёнку, а потом передаёт, через Пирата, молодому Мехико. А дальше, надо полагать, в «Белое Посещение», где размещается общее агентство известное как ПРПУК, Психологические Разведывательные Проекты по Ускорению Капитуляции. Про чью капитуляцию речь, ни гу-гу.

Пират не исключает возможности сотрудничества Мехико с одной из сотен тех скользких меж-Союзнических программ наблюдения, что расплодились в Лондоне с момента расквартированию тут Американцев и нескольких эмиграционных правительств. В их среде интересоваться Германией просто неуместно. Каждый оглядывается через плечо, Свободные Французы составляют планы мести предателям в Виши, Люблинские коммунисты сводят счёты с Варшавскими теневыми министрами, Греки из ЭЛАС подсиживают роялистов, мечтатели невозвращенцы всех языков надеются волей, кулаками, молитвами восстановить королей, республики, самозванцев, анархических однодневок усохших ещё до жатвы… некоторые гибнут, жутко, безымянно, подо льдом и снегом бомбовых кратеров в Ист-Енде, до весны не докопаться, другие хронически пьяны или занаркотизированы, чтоб прожить ещё один день повтора почему-то потерь, в основном, теряют остатки своих душ, уж сколько там и было-то, всё меньше способны довериться, погрязли в нескончаемой болтологии, в ежедневной самокритике, в призывах к тотальной бдительности… но кто тут самый чуждый иностранец, по мнению Пирата, если не этот наёмник без родины, которого он видит в своём зеркале, самый жалкий из всех эмигрантов...

Ладно: допустим Они втянули Мехико в какое-то византийское упражнение, возможно, с Американцами. Может быть, с Русскими. В «Белом Посещении» предназначенном для психологической войне, найдётся по паре от чего угодно, бихевиорист слева, последователь учения Павлова справа. Пирата это не касается. Но он замечает, что с каждой переданной микроплёнкой, энтузиазм Роджера заметно нарастает. Нездоровая тенденция: у него такое ощущение

будто он способствует наркотической зависимости. Он чувствует как его друга, его временного друга военного времени, используют для чего-то не очень приличного.

А что он может? Если бы Мехико захотел поговорить об этом, он бы нашёл возможность, в обход их бдительности. Его сдержанность, в отличие от Пиратовой, объясняется не механикой Операции Чёрное Крыло. Это больше похоже на стыд. Сегодня, когда Мехико брал конверт, он отворачивал лицо, глаза метались по углам комнаты, рефлекс покупателя порнухи... Зная Блота, наверное так и есть, дружеский визит молодой леди к хорошо накачанному молодому человеку, в нескольких позах—куда здоровее, чем всё заснятое на этой войне… по крайней мере, жизнь...

Вон девушка Мехико заходит в комнату. Он замечает её мгновенно, чистота вокруг неё, дым и шум отступают… так это он уже и ауру начинает различать? Она заметила Роджера и улыбнулась, огромные глаза… тёмные ресницы и никакой косметики, во всяком случае Пират не различил, волосы валиком, до плеч—ну на кой ей сдалась та зенитная батарея? Ей бы работать в столовой для рядового состава, разливать кофе по чашкам. И тут вот он, просто старый пердун и придурок, таит щемящее чувство, да просто любовь к ним обоим, которая не просит ничего, лишь бы они остались в живых, но он легко замаскирует её другими словами «забота» ну или там «привязанность»...

В 1936, Пират (она говорила «с апреля Т. С. Элиота», хоть это была более холодная пора года) полюбил жену управляющего. Тонкую, как вёрткий стебель, девушку по имени Скорпия Мосмун. Её муж Клайв, эксперт по пластмассам из Кембриджа, работал На Империал Кемиклз. У Пирата, профессионального вояки, случился год или два передышки для гражданской жизни. Как раз в ту пору и появилось у него ощущение, когда служил к востоку от Суэца, в местах типа Бахрейна, где пиво пьёшь разбавленным твоим же по́том посреди неизбывной вони нефти-сырца из Мухарака, а к заходу быть в расположении—всё равно 98% заражены венерическими болезнями—палимое солнцем, замызганное подразделение для охраны шейха и нефтяных денег против любой угрозы к востоку от пролива Ла-Манш, сексуально озабоченный, дурея от укусов вшей и тепловой сыпи (мастурбировать в подобных условия утончённая пытка), постоянно на взводе—вот через это всё и просочилось к Пирату неясное подозрение, что жизнь его как-то обходит.

Невероятная чёрно-белая Скорпия подтвердила немало фантазий Пирата про Английский гламурный высший свет с шёлковыми ножками, который, как он чувствовал, для него был за семью замками. Они встретились, когда Клайв уехал в срочную служебную командировку—ну это ж надо!—в Бахрейн. Такая симметричность снимала чувство вины в Пирате, отчасти. На званых вечерах они притворялись незнакомыми, хотя она так и не научилась владеть собой, если нежданно замечала его в другом конце комнаты (где он пытался казаться таким же как все, словно не был всю жизнь наёмным работником). Ей казалось трогательным его невежество во всём—в званых вечерах, любви, деньгах—чувствовала себя великосветской и отчаянно заботилась сберечь этот момент

мальчишества в его имперски вышколенном, уже устоявшемся (ему исполнилось 33) быту, в его пред-Аскетизме, эту его, как Скорпия определила, последнюю любовь—хотя сама была слишком молода, чтобы знать это, понимать, как понимал Пират, про что на самом деле поётся в песне «Танцы в темноте»...

Он старательно ни разу ей об этом не сказал. Но порой это такая мука не упасть к её ногам, зная, что она не оставит Клайва, с криком, ты моя последняя надежда… если не ты, то больше уж ни разу... да разве ж ему не хотелось, вопреки всяческим ожиданиям, отбросить скудное расписание человека Запада… но как может человек… где ему вообще начать всё в возрасте 33-х… «Так это самое время»,– засмеялась бы она, не так от раздражения (это было бы смешно), сколько от забавности нереальной проблемы—сама же шла враспыл от его маниакальной непрестанной безудержности, о, как берёт, раскладывает её (потому что туже, чем когда дрочил в армейскую фланель в Персидском Заливе, щемящий ошейник любви стискивал его сейчас, его хуй), и слишком неукротим, чтобы она не поддалась этому безумию, так ведь и вправду же слишком чокнутый, чтоб это считалось изменой Клайву...

Чертовски удобно для неё, как ни крути. Роджер Мехико проходит сейчас через почти всё то же самое с Джессикой, в их случае Тот Другой носит имя Бобёр. Пират всё видит, но никогда не говорит об этом с Мехико. Да он ждёт посмотреть так ли всё кончится для Роджера, как для него, какая-то часть его, которую никогда не радует зрелище облома кого-то другого, стоит за победу Бобра и всего того, что стоит за ним, как и за Клайвом. Но другая часть—второе «я»?— которую он не спешил бы назвать «честной»—похоже и впрямь желает Роджеру того, что он, Пират, проиграл...

– Ты и вправду пират,– прошептала она в их последний день—никто их них не знал, что это последний день—ты нагрянул и увёз меня на своём пиратском бриге. Девушку из хорошей семьи и честных правил. Ты меня изнасиловал и теперь я – Красная Сука Открытого Моря...

Симпатичная игра. Пират не прочь, чтобы она придумала это пораньше. Заёбывая свет того последнего (уже последнего) дня в сумерки, ебля час за часом, слишком поглощены любовью, чтобы распасться, они заметили, как снятая комната мягко покачивается, потолок скосился и стал на метр ниже, лампы поколыхиваются в своих оснастках, какая-то часть уличного движения по набережной Темзы обернулась солёными криками над волнами, звоном корабельного колокола...

Но позади, за спиной их пригнувшегося морского неба, ищейки Правительства шли по следу—всё ближе, катера настигают, катера и скользкие гермафродиты-законники, агенты с ловкостью рук, устроят всё для её безопасного возвращения, и не будут настаивать на его казни или поимке. У них железная логика: нанеси ему тяжкую рану и он очнётся и придёт в себя, вернётся к правилам этого мира, старого вкрутую сваренного яйца, к его расписаниям для превращения ночи в ночь компромисса...

Он расстался с ней на станции Ватерлоо. Там была праздничная толпа провожающих Фреда Ропера с его хором Чудо Карапузиков на имперскую ярмарку в Йоганесбурге, Южная Африка. Карапузики в тёмных зимних одеждах, в щегольских сюртучках и приталенных пальтецах, бегали по всей станции, глотали свои предотъездные шоколадки и выстраивались рядком для новых снимков. Белое как тальк лицо Скорпии в последнем окне, напротив последнего входа, ударило его в сердце. Всплеск хохота и пожеланий счастливого пути грянул от Карапузиков и их поклонников. Что ж, подумал Пират, наверно, подамся обратно в армию...

* * * * * * *

Сейчас они едут на восток, Роджер всматривается поверх руля сгорбившись как Дракула, в своём Бербери, Джессика в миллионах крохотных капелек, мягкой сетью осевших на её плечах и рукавах тинно-зелёной шерсти. Им хочется быть вместе, в постели, в любви, а вместо этого на восток, к югу от Темзы встречаться с каким-то высокопоставленным вивисекционистом прежде, чем часы на башне Тауэра пробьют час ночи. И когда только мыши набегаются в эту ночь, кто знает, но когда они уже навек набегаются ?

Её лицо на фоне затуманенного дыханием окна обернулось ещё одной туманностью, ещё одним свето-фокусом зимы. За нею прокручивается белая дроблёнка дождя. «Почему он лично выходит собирать своих собак? Он ведь администратор, нет? Не может, что ли нанять какого-нибудь парнишку или типа того?»

– У нас их называют «служащими,»– отвечает Роджер,– и я понятия не имею почему Пойнтсмен делает то, что делает, он последователь Павлова, милая. Член Королевского Научного Общества. Откуда мне знать про таких шишек? Такие же непонятные как тот сброд в Сноксоле.

Они оба на нервах в эту ночь, хрупки как листовое стекло после неправильного отжига, готовы пойти вразнос от малейшего прикосновения в скулящей матрице стресса—

– Бедный Роджер, бедный ягнёночек, попал на такую бяку войну.

– Ну ладно,– его голова трясётся в пене «б» или «п», что отказывается взорваться,– уууx, какая ты умная, да,– Роджер в бешенстве, руки бросили руль, помогая словам выйти, «дворники» ползают по стеклу, прищёлкивают,– когда-никогда вы сбиваете робота-бомбу, ты и твой друг, бесценный Нутрия—

– Бобёр.

– Точно, тот самый, да ещё весь тот небывало боевой дух, которым вы так славитесь, но что-то не слышно, чтоб вы сбивали ракеты, ха-ха!– выдаёт свою

самую пакостную улыбку, жмурит глаза и морщит нос,– не больше, чем насбивал я, не больше Пойнтсмена, ну и кто теперь лучше кого, дорогуша?– подпрыгивает вверх-вниз на коже сиденья.

К этому моменту рука её протянута, вот-вот коснётся его плеча. Она опёрлась щекой на свою руку, волосы рассыпаны, сонная, смотрит на него. Не может подыскать достойный довод против неё. А так старался. Свои умолкания она использует как поглаживания рукой, отвлечь его, внести тишину в углы комнат, на покрывала, столешницы—где придётся... Даже в кино, когда смотрели ту фигню *Нам По Пути*, в день их встречи, он видел каждое белое движение её свободных от перчаток рук, кожей чувствовал малейшее подрагивание её оливково-янтарных, её кофейных глаз. Он израсходовал литры растворителя, щёлкая своей неизменной зажигалкой Зиппо, её обугленный фитилёк, мужественность уступает бережливости, укорочён до крохотного кончика, голубое пламя вспыхивало на самом кончике в темноте, в самой разной темноте, проследить как меняется её лицо. При каждой вспышке, новое лицо.

И случались моменты, особенно в последнее время—когда лицом к лицу настолько, что никак не отличить которое из них чьё. Оба одновременно чувствовали странное недоумение… типа как нежданно увидеть самого себя в зеркале… а сверх того того чувство единения… оно появлялось после—через пару минут, через неделю, тут не угадать, и им доходило, когда уже не вместе, отчего это Роджер и Джессика сливались в единое существо не подозревавшее даже, что оно существует… В жизни, которую он клял, раз за разом, за то, что в ней оказалось нечто не поддающееся научному подходу, оно стало первым, самым первым реальным волшебством: данностью, от которой невозможно отмахнуться.

Всё случилось по схеме именуемой в Голливуде «крутой съём», в Танбридж-Веллз, в самой его сердцевине 18-го столетия, Роджер гнал свой подержанный Ягуар, а Джессика на обочине в неотразимой схватке с раздолбанным велосипедом, тёмно-шерстяная юбка зенитчицы задрана его рулём, совершенно неуставная чёрная резинка и ясный жемчуг ляжек там где кончаются чулки цвета хаки, ну—

– Ну ты даёшь, красотка,– провизжав тормозами,– Тут тебе не закулисье Старой Мельницы, знаешь ли.

Она это знала. «Гм»,– упавшая прядка, щекоча её нос, внесла больше, чем обычно, едкости в её ответ:– «Я и не знала, что пацанят пускают в такие места».

– Как видно,– уже научившись не замечать подобных замечаний по поводу своей внешности,– девочкам из твоего звена скаутов, ещё никто не позвонил.

– Мне двадцать.

– Ура, тогда имеешь полное право прокатиться на этом Ягуаре аж до Лондона.

– Мне в другую сторон. Почти в Гастингс.

– Ну тогда туда и обратно.

Убирая волосы со своего лица:– «А матери твоей известно, как ты ведёшь себя, когда не дома?»

– Война моя мамаша,– провозглашает Роджер Мехико, склоняясь, чтобы открыть дверь.

– Это что-то странное,– маленькая заляпанная туфелька повременила на подножке.

– Ладно, милая, не задерживай при исполнении задания, оставь велосипед где есть и аккуратней со своей юбкой, когда садишься, я не хочу докатиться до непроизносимого акта здесь, на улицах Танбридж-Веллз—

И тут падает ракета. Круто, круто. Взрыв, глухие раскаты. Довольно далеко в городе, чтоб оказаться опасной, слишком близко, чтобы она преодолела сотни миль между собой и незнакомцем: в долгом взмахе, балетном, её чудный круглый зад поворачивается усесться на сиденье рядом, волосы в мгновенном взлёте, рука оправляет армейскую юбку под себя, словно крыло, пока гудят отголоски взрыва.

Ему мерещится торжественно шишковатое что-то, глубже или переменчивей чем облака, подымается к северу. Прижмётся ли мило она к нему, ища защиты? Он вообще не ждал, что она сядет в машину, хоть там ракета или нет, поэтому сейчас на Ягуаре Пойнтсмена включает заднюю вместо, да, въезжает на велик, с хрустом превращая его в полный металлолом.

– Я в твоей власти,– вскрикивает она.– Совершенно.

– Гм,– Роджер наконец-то справляется с коробкой передач и, танцуя по педалям, уфыркивает, фррр, в сторону Лондона. Но Джессика не в его власти.

Ну а война, она и впрямь ему мать, выела все мягкие, уязвимые вкрапления надежды и бахвальства рассеянные, под слюдяными прослойками, в минерале серо-каменной сути Роджера, унося их прочь, с их всхлипами, своим серым потоком. Уже шесть лет постоянно тут, куда ни глянь. Он давно забыл свой первый труп или когда впервые видел умирающего. Слишком долго длится. Кажется целую жизнь. Город, где он бывает теперь наездами, приёмная Смерти: тут ведётся весь конторский учёт и отчётность, контракты подписаны, дни сочтены. Ничего от величественной, полной садов и приключений столицы, которую он знал в детстве. Он стал Упрямым Молодчиком в «Белом Посещении», пауком прядущим свою сеть из чисел. Ни для кого не секрет его неуживчивость с остальными сотрудниками его отдела. Но кому под силу такое? Они тут все дикие таланты—ясновидцы и чокнутые волшебники, телекинетики, астралоходцы, собиратели света. Роджер всего лишь статистик. Ни разу не видел пророческого

сна, не посылал телекенетических сообщений, никогда не касался Другого Мира напрямую. Если там что-то есть, оно должно отражаться в экспериментальных данных: не так ли, в числах… единственное для него средство как-то приблизиться и осознать. Что ж удивляться его отчуждённости в Отделе Пси, где на весь подвальный коридор у каждого какой-то сдвиг как минимум в 3 сигмы? Исусе, попробуй тут не стать отрезанным ломтем!

И потом эта явная потребность каждого из них, которая его просто бесит… Ладно, это и его потребность тоже. Но попробуй подвести научное обоснование чему-то «духовному» когда тобою правит собственная смертность, никак не поддающаяся статистическим счислениям квадратами чи, под перелистывание карт Зенера, в паузах между глухими, напряжёнными словами медиума? Чуть успокоившись, он утешает себя мыслью, что непрестанные попытки делают его смелее. Но ещё чаще, он клянёт себя, что не занят разработками контроля взрывов, или составлением графиков Стандартизированные Показатели Поражения Цели на Тонну для соединений бомбардировщиков… да что угодно вместо этого неблагодарного барахтанья в болоте неуловимой Смерти...

Они подъехали к зареву над крышами. Пожарные машины с рёвом несутся мимо, в том же направлении. Это гнетущий район кирпичных улиц и немых стен.

Роджер тормозит, пропуская толпу сапёров, пожарных, соседей в тёмных пальто поверх ночных одежд, старушек у которых, в их ночных грёзах, найдётся сокровенное местечко для пожарников… нет, пожалуйста, не лезьте на меня с этим Шлангом… о, нет… ну хотя бы сняли эти свои жуткие резиновые сапожищи… а-а да да так—

Солдаты стоят через каждые несколько метров, разреженное заграждение, малость потустороннее. Битва за Британию никогда ещё не велась настолько формально. Джессика замечает угольно-чёрный Паккард в боковой улице, полон гражданскими в тёмных костюмах. Резкая белизна воротничков из тени—

– Кто они?

Роджер пожимает плечами, «они» для них достаточно:– «Не слишком дружелюбная компашка».

– Кто бы говорил!– Но улыбка их привычно заученная. Было время, когда его работа малость её бесила: блокнотики о летающих бомбах, как мило… И его раздражённый вздох: Джес, не считай меня бездушным научным сухарём...

Жар стягивает их лица, глаз обжигающая желтизна, где струи хлещут по огню. Лестница, уцепившись за край крыши, колышется в резких судорогах. Наверху, напротив неба, фигуры отблескивают медью, машут руками, сходятся передать приказы. Полквартала сметено, яркие лампы подсвечивают спасательным работам в угольно чёрных обломках, от машин и прицепных насосов тянутся брезентовые рукава раздутые давлением, торопливо подключённые брандспойты хлещут звёздами холодных струй, свирепо холодных, что вспыхивают жёлтым в

прыгучем пламени. Откуда-то по радио доносится женский голос, спокойная девушка из Йоркшира, посылает другие подразделения в другие части города.

Когда-то Роджер и Джессика, может, и остановились бы. Но оба они выпускники Битвы за Британию, оба призывались в чёрную утреннюю рань полную криков о помощи, в тупую инерцию брусчатки и брусьев, в глубокую нехватку жалости в наступившие дни… К тому времени: как вытаскиваешь энную жертву, или часть энной жертвы из энной груды обломков, сказал он ей однажды, злой, усталый, это уже перестало его задевать… значение эн может оказаться разным для каждого из нас, но извини меня: рано или поздно...

И поверх изнеможения от всего, у них ещё и это. И пусть они не до конца вышли из состояния войны, но по крайней мере нашли начала тихого отхода… у них никогда не находилось ни времени, ни места поговорить об этом, что может даже и не нужно—но оба знали чётко, лучше быть вместе, в обнимку, чем обратно к бумагам, пожарам, хаки, железу Фронта в Тылу. И что на самом деле Фронт в Тылу просто обман и фикция придуманная, не слишком-то умно, чтобы разлучить их, превратить любовь в труд, абстракцию, неизбежную боль, злую смерть.

Они нашли дом в закрытой зоне, под аэростатами заграждений южнее Лондона. Город эвакуированный в 40-м, всё ещё «управляется»—всё ещё в списках Министерства. Роджер и Джессика заняли место незаконно, вопреки им самим неизвестно чему, чего они и не узнают, если не будут пойманы. Джессика привезла старую куклу, морские раковины, саквояж её тётки с кружевными панталончиками и шёлковыми чулками. Роджеру удалось загнать пару куриц, чтобы насестились в пустом гараже. Когда они тут встречаются, кто-нибудь из них не забывает привезти живой цветок, или пару. Ночи полны взрывов и гула моторов транспорта, и ветра, который с рассветом доносит до них остатки запаха моря. День начинается с чашки горячего и сигареты за маленьким столом с поломанной ножкой, которую Роджер починил, временно, коричневой проволокой. Разговоров немного, только прикосновения и взгляды, улыбки друг другу, перебранки на прощанье. Всё так несущественно, голодно, холодно—параноидальные страхи редко когда позволяют зажечь камин—но им хочется сохранить это,до того хочется, что берут на себя, впрягаются безоглядднее, чем вся пропаганда когда-либо требовала от них. Они любят друг друга. И пошла она, эта война, нахуй.

* * * * * * *

Сегодняшний улов, чьим именем станет Владимир (или Илья, Сергей, Николай, смотря что вздумается доктору), осторожно крадётся ко входу в погреб. Эта раздолбанная дыра должна вести туда, где глубже и безопаснее. У него есть память, или рефлекс, о том как он спасался в такую же темноту от ирландского сеттера пропахшего угольным дымом, который набрасывается без предупреждения… в другой раз от своры детворы, а совсем недавно от нежданного огня и грохота, кирпичи рухнули и пришибли его левую заднюю (всё

ещё приходится вылизывать). Но в эту ночь угроза выглядит по-новому: вместо жестокости систематическая вкрадчивость, с которой ему не приходилось ещё сталкиваться. В здешней жизни всё напрямую.

Накрапывает дождь, изредка шевелится ветер. Приносит какой-то непонятный ему запах, он от роду не бывал к лаборатории.

Это запах эфира, что исходит от м-ра Эдварда В. А. Пойнтсмена, ЧККХ. Лишь только пёс исчез за рухнувшей стеной, мелькнув прощально кончиком хвоста, нога доктора проваливается в разинутую белую пасть унитаза, которую, отдавшись весь охоте, он не углядел. Теперь склоняется, нескладно, выдёргивает унитаз из прилегающих обломков, бормочет проклятья всем разиням, не имея в виду себя конкретно, и хозяевам разрушенной квартиры (если их не убило взрывом) или кто там ещё не вытащил этот унитаз, который, похоже, крепко-таки вцепился...

М-р Пойнтсмен подтаскивает ногу к разбитой лестнице, бьёт слегка, чтоб не спугнуть собаку, об нижнюю половину стойки перил из морёного дуба. Унитаз в ответ дзенькает, деревяшка трясётся. Издеваетесь—ну ладно. Он садиться на ступеньки уходящие в открытое небо и пытается стащить с ноги эту хреновину. Не подаётся. Ему слышно, что невидимый пёс, постукивая когтями лап, нашёл убежище в погребе. И никак же не втиснуться в унитаз, чтоб развязать этот ёбаный ботинок...

Поправив окошечко своей вязаной лыжной шапки, чтоб удерживалась за нос, хоть и щекотно, м-р Пойнтсмен решает не поддаваться панике, встаёт и вынуждено ожидает пока восстановится циркуляция крови, обратно наполнит все миллионы своих капилляров посреди этой моросящей ночи, отрегулируется до правильного баланса—затем прихрамывая, побрякивая, бредёт обратно к машине за помощью молодого Мехико, который, как он надеется, не забыл привезти электрический фонарик...

Роджер и Джессика только что нашли его, затаившимся в конце улицы из шеренги домов. V-бомба, в чьих разрушениях он вёл охоту, срезала четыре жилища, аккурат четыре, как хирургическим скальпелем. Попахивает преждевременно угасшими дровами, пеплом промоченным дождём. Уже огородили верёвками, постовой молча опирается на дверь уцелевшего дома, после которого и начинаются развалины. Если он с доктором и перекинулись хоть словом, то сейчас ни один не подаёт вида. Джессике видны два глаза неопределённого цвета в окошечке лыжной шапке, смахивает на средневекового рыцаря в шлеме. С каким чудищем пришёл он сразиться в эту ночь за своего короля? Руина ждёт его, уходя склоном вверх, к задним стенам, в неразберихе штукатурной дранки, в бесцельных связях стропил—обломки пола, мебели, стекла, кусков штукатурки, длинные лохмы обоев, расщеплённо ломанные балки: обжитое гнездо какой-то женщины, разорёно в пух и прах, брошено на растерзание ветру и тьме. Глубже в развалинах отблеск меди кроватной стойки; вкруг неё захлестнут чей-то лифчик, довоенная белая прелесть из кружев и сатина, зацепился просто... С краткой

болью, которую ей не сдержать, вся жалость сохранившаяся в её сердце летит к нему, как к маленькому зверьку, запутавшемуся и позабытому. Роджер открывает багажник машины. Двое мужчин шарят там, находят большой брезентовый мешок, флакон эфира, сеть, собачий свисток. Она знает, что ей нельзя плакать: что непонятные глаза в вязаной окошечке не станут ради её слез отыскивать Чудище с ещё большим рвением. Но эта бедная затерянная беззащитная вещица… ждёт в ночи под дождём свою владелицу, чтобы вся комната собралась снова вокруг воедино...

Ночь, полная мелкого дождя, пахнет промокшей псиной. Пойнтсмен, похоже, на минутку отлучился. «Я сошла с ума. Вместо того, чтоб в эту минуту где-нибудь обниматься с Бобром, смотреть как он раскуривает свою Трубку, я тут с этим егерем или типа того, и с этим спиритуалистом, этим статистиком или что ты вообще такое—»

– Обниматься?– Роджер вот-вот разорётся.– Обниматься?

– Мехико.– Это опять доктор, на ноге унитаз, вязаный шлем наперекосяк.

– Опаньки! Ходить не мешает? Наверняка, да… сюда, просуньте в дверь, ага, так, хорошо,– закрыв снова дверь вокруг лодыжки Пойнтсмена, Роджер привалился к бедру Джессики,– теперь тяните, со всей силы, сколько можете.

Думая *молодой прохиндей* и *издевается сволочь*, доктор подаётся назад, кряхтит, унитаз проворачивается туда-сюда. Удерживая дверь, Роджер внимательно уставился в место заглота ноги.– «Сюда бы немного вазелина, тогда бы мы—что-нибудь скользкое. Стоп! Держитесь так, Пойнстмен, есть способ…» Он уже под машиной, импульсивный молодчик, отыскивает заглушку картера, когда Пойнтсмен, наконец, в состоянии выговорить:– «Нет времени, Мехико, он убежит, он убежит».

– Точно,– опять на ногах, нашаривает фонарик в кармане.– Я напугаю его светом, а вы поджидайте с сеткой. Сможете дойти? Нехорошо, если свалитесь, или ещё что, когда он рванёт смываться.

– Ради бога,– Пойнтсмен побухивает вслед за ним в руины,– не напугайте его, Мехико, тут не сафари в Кении, он нужен нам близким к норме, насколько возможно.

К норме? К норме?

– Ясно,– откликается Роджер, сигналя ему фонариком, короткий-длинный-короткий.

– А ну посмотрим,– бормочет Джессика, на цыпочках за ними вслед.

– Давай, приятель,– уговаривает Роджер,– тут для тебя бутылочка эфира.– Открыв флакон, помахивает перед входом в погреб, потом включает свой лучик.

Пёс выглядывает из старой заржавелой коляски, скачущие тени от его головы, язык болтается, на морде крайне скептическое выражение.– Так это ж м-с Насбом!– вскрикивает Роджер, точь-в-точь как это делает Фред Ален в передачах Би-Би-Си, по средам.

– А шо, ты може думал шо то Лесси?– отвечает пёс.

Роджер чувствует крепкий запах паров эфира, начинает свой осторожный спуск в погреб.– «Давай, приятель. Всё кончится скорее, чем ты думаешь. Пойнтсмен просто хочет посчитать сколько капель слюны ты накапаешь, вот и всё. Маленькая прорезь у тебя в щеке, красивая стеклянная трубочка, что тут такого страшного, а? Иногда звонок трезвонит. Романтика лаборатории, тебе понравиться».– Эфир, похоже начал на нём сказываться. Он пытается заткнуть флакон, делает шаг, нога проваливается. Расшатываясь из стороны в сторону, он хочет нащупать за что ухватиться. Крышка выскакивает из флакона и навеки в мусор на дне разбитого дома. Над головою крик Пойнтсмена:– «Губка, Мехико, вы забыли губку!»– Вниз скатывается бледный круг с коллекцией складок с припрыжкой в свете фонарика.– «Шустрый парняга»,– Роджер пытается словить двумя руками, щедро расплёскивая эфир вокруг. Наконец, он обнаруживает губку в свете своего фонарика, пёс наблюдает из коляски малость в растерянности.– «Ха!»– льёт эфир намочить губку и смыть холод с рук, пока не опустел весь флакон. Держа мокрую губку двумя пальцами, шатается в направлении собаки, подсвечивая своё лицо из-под подбородка, чтоб скорчить, как ему кажется, вампирскую рожу.– «Момент—истины!»– Он резко бросается. Пёс отпрыгивает в сторону и пулей на выход, пока Роджер валится со своей губкой в коляску распадающуюся под его весом. Расплывчато, сверху доносится вой доктора:– «Он убегает, Мехико, поспешите!»

– Иду-иду!– стискивая губку, Роджер выпутывается из младенческого транспорта, сдёргивает его с себя, как рубашку, выказывая, как ему кажется, хорошую спортивную подготовку.

– Мехико-о-о-о,– чуть не плача.

– Прааааильно,– Роджер с трудом взбирается по остаткам погреба наружу опять, где он видит как доктор подкрадывается к собаке широко распахнув сеть над своей головой. Дождь упорно заливает на этот этюд. Роджер заходит с тыла для захвата животного в клещи там, где стоит упершись лапами в обломки, скаля зубы, вжимаясь в кусок задней стены, который ещё не рухнул. Джессика ждёт, чуть с любопытством, руки в карманах, курит, наблюдает.

– Эй!– Орёт постовой:– Вы! Идиоты! Подальше от той стены. Она ни на чём не держится.

– Сигаретка найдётся?– спрашивает Джессика.

– Он щас паабежит,– вскрикивает Роджер.

– Бога ради, Мехико, осторожней.– Укореняя каждый свой шаг, они движутся вверх по склону по хрупкому равновесию развалины. Это сложная система рычагов готовая рухнуть и накрыть их в любой момент. Всё ближе подбираются они к намечнной дичи, что отрывисто водит мордой глядя то на доктора, то на Роджера. Он угрожающе рычит, хвост непрестанно хлещет по тесным бокам угла, в который они его загнали.

Когда Роджер заходит с фонариком сзади, пёс, какая-то схема в нём, припоминает другой свет, что в последние несколько дней появлялся позади— свет, после которого следовал оглушительный взрыв бурлящий болью и холодом. Свет сзади явная смерть / человека с сетью наизготовку можно обойти—

– Губка!– визжит доктор, Роджер бросается на пса, который рванулся в направлении Пойнтсмена и прочь на улицу. Пойнтсмен вскрякнув вскидывает свою заунитаженную ногу, промахивается, замах разворачивает его кругом, сеть расширена, как антенна радара. Роджер, с рожей полною эфира, уже не может сдержать свой полёт—доктор завершает полный оборот вокруг своей оси, и он врезается в него, получив неслабый удар унитазом в ногу. Оба охотника валятся, сеть накрывает их сверху. Трещит перебитая балка, падают куски промокшей штукатурки. Стенка над ними, лишённая всякой опоры, колеблется.

– Убирайтесь оттуда!– орёт постовой. Но усилия парочки под сеткой лишь раскачивают стенку всё сильнее.

– Нам конец,– трясётся доктор. Роджер пытается взглянуть ему в глаза, проверить он это всерьёз или как, но в окошечке лыжной шапки только белое ухо и кайма волос.

– Давай покатимся,– предлагает Роджер. Им удаётся скатиться на пару метров ниже, пода стена валится в обратную сторону. Им удалось вернуться к Джессике не причиняя дополнительных разрушений.

– Он туда убежал, в ту улицу,– сообщает она, помогая им выпутаться из сетки.

– Ладно,– вздыхает доктор,– это не имеет значения.

– Да, но ведь только начали,– доносится от Роджера.

– Нет, нет. Достаточно.

– Но чем вы тогда замените собаку?

Они снова в пути, Роджер за рулём, Джессика между ними, унитаз вытарчивает в полуоткрытую дверь, когда пришёл ответ:– «Наверное, это знак. Должно быть, мне следует сменить направление».

Роджер искоса взглядывает на него. Молчи, Мехико. Постарайся не думать что это может означать. В любом случае, он тебе не начальник, оба подчинены

Бригадному Генералу в «Белом Посещении» так что типа как бы ровня. Но иногда —Роджер взглядывает поверх тёмно-шерстяной груди Джессики на вязаную голову, оголённый нос и глаза—ему кажется, что доктору от него нужно больше, чем просто содействие или добрая воля. Доктору нужен он сам. Как кому-то хочется собаку редкой породы...

Тогда зачем он тут и помогает умыкнуть ещё одну собаку? Что за незнакомец, настолько чокнутый, сидит в нём—

– Вы возвращаетесь сегодня, доктор? Мне нужно ещё подвезти юную леди.

–Нет, останусь в городе, а вы можете отогнать машину обратно. У меня разговор к д-ру Спектро.

Сейчас они подъезжают к длинной кирпичной импровизации, Викторианское изложение того, что когда-то, давным-давно, выливалось в готические соборы—но которое, в свой черёд, родилось не из потребности взбираться посредством подгонки подвернувшихся путаниц к некоему Богу в апогее, но скорее из-за неясного сдвига цели и сомнений относительно местоположения Бога (а у некоторых даже в его существовании), из жестокой цепи осязаемых моментов и невозможности вырваться вне их, что и низвело порывы зодчих из зенита к страху, к бездарному бегству, в любом направлении, к тому, что индустриальный дым, уличные экскременты, тоннели улиц без окон, гудящий лес кожаных приводных ремней, текучие терпеливые теневые государства крыс и мух, представили как шанс на милосердие в тот год. Закопчённый кирпичный спрут известный как Госпиталь Св. Вероники Истиного Лика респираторных заболеваний и нарушения функций толстой кишки, один из обитателей которого д-р Кевин Спектро, невролог и последователь учения Павлова.

Спектро, один из семи изначальных владельцев Книги, и если вы спросите д-ра Пойнтсмена какой, он лишь презрительно поморщится. Она переходит, таинственная Книга, от одного со-владельца к другому, на еженедельной основе, так что теперь, как понял Роджер, неделя Спектро, которого могут навестить в любой час. Остальные, по Пойнтсменовским неделям, точно так же являлись в «Белое Посещение» среди ночи. Роджер слышал их взволнованный заговорщицкий шёпот в коридорах, осторожное топанье их обуви, как танцы пуантов по мрамору, что нарушают сон твой и не стихают удаляясь, голос Пойнтсмена и походка всегда выделяются из остальных. Как он прозвучит сейчас с унитазом на ноге?

Роджер и Джессика оставляют доктора у бокового входа, в котором тот растворяется, не оставляя ничего кроме дождя, что льётся со всех скатов и завитков надписи вдоль перемычки.

Они сворачивают к югу. Огоньки приборной доски в тёплом мерцании. Фары раздвигают мокрое небо. Стройная машина трепещет вдоль дорог. Джессику клонит в сон, поскрипывает кожаное сиденье. в котором она свернулась. Дворники

на лобовом стекле сметают дождь ритмичными яркими дугами. Начало третьего, пора домой.

* * * * * * *

В недрах госпиталя Св. Вероники они усаживаются рядом, напротив палаты Военных Неврозов, как водится по их вечерам. Автоклав переваривает тонкий перезвяк своей порции стальных рёбрышек. Пар всплывает в сиянии лампы на гибкой шее, что временами становится нестерпимо ярким, и тогда по нему прочерчиваются их тени, с чётким контуром и, мелькнув, пропадают. Но оба лика исполнены привычной сдержанности, оттянуты вспять в аннуляцию ночи.

Из тьмы палаты, приоткрытый шкаф каталога болей, где каждая койка отдельный файл, доносятся вскрики, придушено краткие, как от холода металла. Кевину Спектро придётся раз десять за эту ночь брать свой шприц и колоть в темноте, утихомиривая Лису (это его общее имя для любого пациента—дай три круга бегом вокруг здания, ни разу не подумав о лисе, и сможешь излечить что угодно). Пойнтсмен всякий раз останется сидеть и ждать возобновления их беседы, радуясь передышке в этом полумраке, потёртый отблеск золочёных букв на книжных корешках, пахучий кофейник в осаде тараканов, зимний дождь в водосточной трубе за окном...

– Не очень хорошо выглядишь.

– А, тот старый ублюдок, он меня довёл. Каждый *день* схватываемся, Спектро, я уже не...– хмурится вниз на свои очки, которые протирает рубашкой,– в этом чёртовом Падинге больше, чем могу *понять*… всегда подбросит какой-то ещё свой… старческий сюрпризик.

– Он же старше. Имеет право.

– Ну, *это* я б ещё стерпел, но он такой, чёрт побери—такой *ублюдок*, он никогда не спит, всё *придумывает* как бы ещё…

– Не сенильность, нет, я имею в виду его должность. А Пойнтсмен? У тебя ведь нет ещё его приоритетов, не так ли? Ты не станешь рисковать там, где он может. Ты же лечил их в таком возрасте, тебе наверняка знакомо это их… *самодовольство*...

Собственная Лиса Пойнтсмена ждёт, где-то в городе, военный трофей. В тесном пространстве этого кабинета заключена пещера оракула: восходящий пар, сивилловы вопли из тьмы… Абреакции Бога Ночи...

– Мне это не нравится, Пойнтсмен. Если хочешь знать.

– Отчего же нет?– Помолчал.– Неэтично?

– Да, ради бога. А *это* этично?– подняв руку к двери в палату почти фашистским салютом.– Нет, я думаю об обоснованности эксперимента. Не нахожу доводов. Тут всего один человек.

– Этот Слотроп. Ты знаешь о нём. Даже Мехико считает… о, самый обычный. Предзнание. Психокинез. У них свои проблемы, в той шарашке… но предположим, у тебя появился бы шанс изучить по-настоящему классический случай… некоей патологии, превосходный образчик механизма...

В одну из таких ночей Спектро спросил:– «Если б он не был одним из подопечных Ласло Джамфа, твой интерес к нему остался бы таким же настойчивым?»

– Ну, конечно.

– Хмм.

Представим ракету, чьё приближение ты слышишь лишь после её взрыва. В обратном порядке! Аккуратно вырезанный кусочек времени… пара метров плёнки прокручивается назад... взрыв ракеты, что падает быстрее скорости звука—потом из этого нарастает рёв её падения, догоняющий то, что стало уже смертью и огнём… призрак в небе...

Павлов увлекался «идеями противоположности». Назови это группами клеток в коре головного мозга. Они помогают различать боль от удовольствия, свет от тьмы, властительность от покорности... Но потом, каким-нибудь способом—истощи их, травмируй, подвергни шоку, кастрируй, пошли в какую-то из их сумеречных фаз пребывания вне границ своего бодрствующего состояния, вне «эквивалентных» и «парадоксальных» фаз—и ты ослабишь эту идею противоположности, и вот тебе параноидальный пациент, который был бы господином, но теперь чувствует себя рабом… который был бы любим, но чувствует себя обойдённым в этом мире и «я думаю»,– пишет Павлов Жанету,–«что именно *сверхпарадоксальная* фаза является основой ослабления идеи противоположности в наших пациентах». Наши сумасшедшие, наши параноики, маньяки, шизоиды, моральные уроды—

Спектро качает головой:– Ты ставишь реакцию прежде стимула.

– Вовсе нет. Сам подумай. Он гуляет и может чувствовать их приближение *за несколько дней*. И тут рефлекс. Реакция на что-то пребывающее вокругуже сейчас. С нашим чересчур огрубелым строением, нам не дано *ощутить это*, а вот *Слотроп может*.

– Так это уже экстрасенсорность.

– А почему не сказать «ощутимый намёк, который мы не замечаем». Нечто присущее всегда, нечто доступное рассмотрению, но никто не догадывается. Зачастую в наших экспериментах… По-моему, М. К. Петрова первой заметила это… одна из женщин, когда всё это только ещё начиналось… уже одно

размещение собаки *в лаборатории*—особенно в наших экспериментах по неврозам… один вид испытательного стенда, лаборанта, случайная тень, лёгкий сквозняк, какой-то намёк, который нам никак не определить, оказывается достаточным, чтоб довести её до сумеречности.

Вот так же и Слотроп. Предположительно. Вот он в городе, достаточно окружающей атмосферы—предположим, рассматривая войну как лабораторию, а? Когда взрывается V-2, понимаешь, сперва взрыв, потом звук её падения… таким образом, нормальное течение стимулов обращено вспять… так что он может свернуть за какой-то угол, войти в некую улицу и по неясной причине вдруг почувствовать...

Вступает тишина вылепленная высказанными мечтами, криками боли за соседней дверью выживших в ракетных бомбёжках, детей Бога Ночи, голосами распятыми в затхлом от медикаментов воздухе. Молят их Повелителя: рано или поздно придёт абреакция, для каждого, для всех в этом стылом измученном городе...…как будто снова пол типа огромного лифта взмывает вместе с тобой к потолку—воспроизводя, теперь, среди разлетающихся во все стороны стен, кирпич, штукатурка сыпятся вниз, твой мгновенный паралич от смерти подступившей окутать и оглушить, *я не знаю, док, наверно я отключился а как пришёл в себя её уже не было всё горело вокруг моя вся голова в дыму*… и вид твоей крови бьющей из висячего обрывка артерии, обмёрзлый шифер крыши осыпавший твою кровать, тот поцелуй в кино недоконченный, тебя скрутило и два часа, захлёбываясь болью, смотрел на смятую сигаретную пачку на полу, и слышал крики из других рядов, но не мог шевельнуться… неожиданный свет затопивший всю комнату, жуткая тишь, ярче любого утра сквозь одеяла истончившиеся как марля, ни малейшей тени, только неописуемый рассвет в два часа ночи… и... этот сумеречный прыжок, эта капитуляция. Где сливаются идеи противоположности и утрачивают свою противоположность. (А у Слотропа действительно предчувствие ракетного взрыва или же такой *деполяризации*, этой невротической «растерянности», что переполняет палату в эту ночь?) Сколько ещё раз, прежде, чем случится, сколько таких приливающих повторений, повторных переживаний взрыва *и страха отключиться*, потому что отключаешься настолько окончательно, откуда мне знать, доктор, что я очнусь? и ответ *доверься нам*, после ракеты, полная пустопорожность, пустое актёрство—довериться вам?—и вам обоим известно это… Спектро чувствует себя шарлатаном, но продолжает… просто потому что боль не утрачивает реальности.

А те, кто, наконец-таки, сдаются: из каждого катарсиса восстают новыми детьми, без боли, без «я» на один удар пульса Отделённого От… чистая табличка, бери и пиши, рука с мелком зависла в зимнем сумраке над несчастными палимпсестами из людей, что содрогаются под казёнными одеялами, утопая в слезах и соплях горя настолько реального, оторванные от такой глубины, что изумляет, кажется необъятнее их взаправдашней...

О, как вожделеет Пойнтсмен к ним, милым деткам. Его серые трусы вот-вот лопнут от тяги без обиняков, воспользоваться их невинностью по-мирски, вписать

в них новые слова себя, свои собственные мечты коричневой Реал-Политик, некая физическая простата в постоянной жажде любви обещанной, ах, лишь намёками, *пока что*… как искушающе уложены они рядами на своих железных койках, в девственных простынях, такие безыскусно эротичные малышата...

Автобусная станция Св. Вероники, их раздорожье (по прибытии на эту имитацию паркета с нашлёпками жевательной резинки зашарканной до черноты, в пятнах ночной блевотины, светло-жёлтой, прозрачной как флюиды богов, выброшенные газеты или пропагандистские листки никем не читанные, серповидно разодранные, засохшие выколупанные из носа козявки, чёрная копоть, что мягко поколыхивается внутрь на каждое открытие дверей…).

Тебе приходилось ждать в таких местах ранним утром, когда в зале начинает белеть, ты уже знаешь расписание Прибытия наизусть, заполнив пустую память, пустое сердце. И знаешь откуда бежали эти дети и что в этом городе их некому встречать. Ты впечатляешь их своей воспитанностью. Но как знать, вдруг *смогли* всё же они различить сквозь неё твою пустоту. До сих пор не смотрят тебе в глаза, их тонкие ноги не знают покоя, в обвисших вязаных чулках (всё эластичное ушло на нужды войны), но так очаровательны: пяточки *без устали* тарабанят по холстяным сумкам, обшарпанным чемоданам под сиденьем деревянной скамьи. Репродукторы под потолком объявляют отправления и прибытия на английском, потом на других, языках эмигрантов. Дитя этой ночи прибыла сюда после долгой дороги, не спала. Глаза её красны, платьице смято. Пальтишко служило подушкой. Ты чувствуешь её изнеможение, чувствуешь невозможную необъятность всей спящей округи, которую оставила она позади, и на минуту ты и впрямь бескорыстный, бесполый… думая лишь о том, как оградить её, ты Охранитель Путников.

За твоей спиной длинные, длиною в ночь, очереди мужчин в униформе медленно продвигаются прочь, пиная свои вещевые сумки, по большей части молча, к дверям выхода в бежевой краске, но у края коричневее в неровной кривизне пятен от прощаний с поколением рук. Двери открываются не часто, чтобы впустить холодный воздух, выпустить пересчитанную шеренгу мужчин и снова закрыться. Водитель или клерк, стоит у дверей проверяя билеты, пропуска, отпускные удостоверения. Друг за другом мужчины шагают в совершенно чёрный прямоугольник ночи и исчезают. Пропали, война ухватила их, следующий предъявляет свой билет. Снаружи гудят моторы: но не как транспорт, скорее смахивают на гул какого-то стационарного станка, наполняют землю дрожью на очень низких частотах, доходят мешаясь с холодом—предупреждают, что снаружи ослеплённость, после яркого внутреннего освещения, саданёт тебя как нежданный удар….Солдаты, моряки, матросы, лётчики. Один за другим, пропадают. Те, кто курил, могут продержаться на секунду дольше, слабый уголёк качнётся оранжевой дугой, раз, другой—и нету. Ты сидишь, смотришь в полуобороте на них, твоя замурзанная сонная малышка начинает жаловаться, но тут уж ничего не поделаешь—как могут твои похоти вместиться в один и тот же белый кадр с таким великим, таким бесконечным отбытием? Тысячами шаркают дети в эту ночь через эти двери, но редко в какую-то из ночей войдёт хотя бы

даже один, домой, в твою продавленную, затруханную койку, к ветру от нефтеперегонного, к ближним запахам плесени на мокрых осадках кофе, кошачьему дерьму, к линялым свитеркам с аппликациями кучей в углу, где какой-нибудь случайный жест, зверушка или объятие. Эта бессловесно протаскиваемая очередь… уходят тысячами прочь… только заплутавшая ненормальная частица, случайно, движется против общего течения...

И как он ни надрывался всё, чего Пойнтсмен смог добиться на данный момент, это осьминог—да, гигантская каракатица из фильмов ужасов по имени Григори: серый, слизистый, в непрестанном движении, подрагивающий в своей временной загородке у волнолома в Ик Регис… ужасный ветер дул в тот день с Канала, у Пойнтсмена в его лыжной шапке-маске глаза мёрзли, д-р Поркиевич, отвернул воротник своей шинели, в меховой шапке на самые уши, дыханье обоих отдаёт дохлой рыбой, ну на кой чёрт Пойнтсмену это животное?

И уже сам по себе приходит ответ, в начальный миг безликое бластблаблу, но тут же разворачивается, приобретает формы...

Помимо прочего, *сказанного* Спектро в ту ночь—да, это в ту ночь—было:– «Мне только вот интересно, ты бы так же упорствовал без всех тех собак. Если бы твоими субъектами всё время были люди».

– Тогда тебе пришлось бы предлагать мне парочку—ты это *всерьёз*?—гигантских осьминогов.– Доктора в упор смотрят друг на друга.

– Мне интересно что бы ты делал.

– Мне тоже.

– Бери осьминога.– Он имеет в виду «оставь Слотропа»? Напряжённый момент.

Но тут Пойнтсмен засмеялся хорошо известным смехом, который служил ему верой и правдой в профессии, где слишком часто всё заходит в полный тупик.– «Мне *постоянно* советуют завести животное.»– Это он о том, что много лет назад, один коллега—уже покойный—сказал, что он стал бы человечнее, теплее, если бы завёл свою собаку, вне лаборатории. Пойнтсмен попробовал—видит Бог—это был спаниель по кличке Глостер, довольно приятное животное, пожалуй, но попытка не продлилась и месяца. Что окончательно вывело его из себя, эта собака не умела корректировать своё поведение. Могла открыть двери настежь впуская дождь и прыгающих насекомых, но не закрывать их… перевернуть мусор, нагадить на пол, но не убрать—разве сможет *кто-нибудь* ужиться с такой тварью?

– Осьминоги,– уговаривает Спектро,– спокойно воспринимают хирургию. Способны пережить массированное удаление мозговой ткани. Их безусловная реакция на добычу весьма надёжна—покажи им краба, ХРЯСЬ! выскочило щупальце, и в дом, отравить и переварить. И, Пойнтсмен, они не лают!

– О, но. Нет… цистерны, насосы, фильтры, особая еда… может всё это годится для Кембриджа, такая прорва всего, но тут все такие скупердяи, должно быть из-за проклятого наступления Рундштедта… ОПВ отказывается финансировать что-либо без немедленной тактической выгоды—чтоб окупалось ещё на прошлой неделе, знаете ли, или того раньше. Нет, осьминог слишком заумно, даже Падинг не пойдёт на это, ни сам лорд с манией величия.

– Их можно обучить чему угодно.

– Спектро, ты не дьявол,– вглядываясь внимательнее,– или всё же? Тебе известно, мы нацелены на звуковые стимулы, весь упор этой программы по Слотропу должен быть на реверсивно слуховые… Мне случалось видеть мозг одного-двух осьминогов, дружище, и не подумай, будто я не заметил те здоровенные оптические доли. А? Ты пытаешься всучить мне визуальное создание. Что можно видеть, когда те штуки падают?

– Свечение.

– Чего?

– Огненно красный шар. Падает как метеор.

– Чепуха.

– Гвенхидви видел такой однажды ночью, над Дептфордом.

– Чего *мне* хочется,– тут Пойнтсмен склонился в центр сияния лампы, его белое лицо уязвимее голоса шепчущего над блеском шпиля коробки со шприцами поставленной посреди стола,– что мне действительно нужно, так это не собаку, не осьминога, а одного из твоих чудных Лисов. Чёрт побери. Хотя бы одну лисичку!

* * * * * * *

Что-то бродит по городу Дыма—хватает стройных девушек, милых и гладеньких как куклы, целыми пригоршнями. *Их жалобные крики*… их жалобный кукло-писк… лицо одной из них вдруг очень близко и хлоп! поверх устремлённых глаз спадают кремовые веки с щёточкой жёстких ресниц, громко захлопнулись, гулкий стук свинцовых грузиков бамкает в её голове и тут же распахиваются глаза Джессики. Она пробудилась вовремя, чтоб услыхать завершающие отголоски эха прокатившегося вслед за взрывом, сурово пронзительный, зимний звук….Роджер на миг проснулся бормотнул что-то вроде «ёбаный дурдом» и вновь провалился в сон.

Она потянулась, маленькая слепая рука ощупывает тикающий будильник, потёртый плюшевый живот её панды Майкла, пустую молочную бутылку с алым цветом молочая из придорожного сада за пару миль отсюда: тянется туда, где должны быть её сигареты, но их там нет. До половины из-под одеял, зависает

она между двух миров, белое, гимнастическое упражнение посреди этой холодной комнаты. А, ладно… она оставляет его в их тёплой норе и продвигается дрожа ву-ву-ву в зернистой темноте по скованным зимой доскам пола скользким, как лёд, под её голыми ступнями.

Сигареты её на полу гостиной, остались между подушек перед камином. Одежда Роджера валяется вокруг. Затянувшись и жмуря один глаз от дыма, она прибирается, складывает его брюки, вешает рубашку. Потом проходит к окну, подымает штору затемнения, пытаясь рассмотреть сквозь затянувший стёкла иней что-нибудь там, в снегу, следы оставленные лисами, кроликами, давно бездомными собаками, птицами, но ни одного человечьего. Пустые полосы снега тянутся прочь среди деревьев к городу, чьё название она всё ещё не узнала. Сигарета спрятана в ковшике ладони, скрыть огонёк, хотя затемнение отменили несколько недель назад, оно уже часть другого времени в другом мире. Моторы поздних грузовиков ревут в ночи на север и на юг, самолёты наполняют небо гулом, потом перетекают к востоку в какое-то более-менее затишьее.

Может им лучше переключиться на отели, на заполнение форм и проверку наличия при них биноклей и фотокамер? Этот дом, город, арочное скрещенье Джессики и Роджера, всё так беззащитно перед германским оружием и Британскими законоуложениями… не то, чтобы ей тут страшно, но всё-таки пусть были бы люди вокруг, и чтоб это действительно было городком, её городком. Прожектора можно оставить, для ночного освещения, и аэростаты тоже, как толстопузые приятели утра—всё, даже дальние взрывы пусть остаются,лишь бы не приближались… не надо ещё никому умирать… почему нет? Просто возбуждение, вспышка и грохот, приближение летней грозы (жить в мире где такое красит день), всего лишь добрый гром?

Джессика всплывает над собой, взлянуть на себя смотрящую в ночь, парить в широкобрючном, широкоплечном белом, атласногладком на её обращённых в ночь боках. Пока что-то не ударит слишком близко, они в безопасности: в их чаще сребросиних стеблей с наступлением темноты дотягивающихся до туч – прикоснуться или развести, зелёно-коричневые массы в униформе, под конец дня, окаменев, глаза неотрывно уставились вдаль, на колонны к передовым, к предначертанным судьбам, которые, и это так странно, не имеют отношения к ним двоим тут… ты не врубаешься что идёт война, идиотка? да, но Джессика тут в пижаме своей сестры, а Роджер спит голяком, при чём тут война?

Пока не коснётся их. Пока что-то не грянет. Каляки-маляки оттянут время, чтоб успели укрыться, ракета ударит прежде, чем они услышат её приближение. Нечто библейское или же жуть из древних северных сказок, но никак не Война, не битва добра и зла из ежедневных радио-новостей. И почему бы, ну, не продержаться…

Роджер пытался объяснить ей статистику V-бомб: различность распределения, с высоты полёта ангела, над картой Англии, и шансы их двоих, если рассматривать отсюда, снизу. Она почти поняла, разобралась в его уравнении Поиссона, но

просто до конца не улавливала—её каждодневно вынужденное спокойствие и чистые числа, чтоб они сошлись. Как-то всё выскальзывало.

– Почему твои уравнения только для ангелов, Роджер? Почему мы не можем повлиять снизу? Какое-нибудь ещё уравнение, чтоб мы находили безопасное место?

– И угораздило ж меня попасть,– его дежурный сочувственный ответ,– в среду статистических невежд! Это невозможно, милая, при постоянной средней плотности попаданий. Пойнтсмену даже и настолько не доходит.

Ракеты распределяются по Лондону как предписано учебниками про уравнение Поиссона. Данные продолжают поступать и Роджер всё больше начинает смахивать на предсказателя. Персонал отдела Пси провожают его взглядами в вестибюлях. Его так и подмывает объявить в кафетерии или что уж там оно такое, никакое это не предзнание… оно мне надо прикидывался тем, кем не являюсь? Да просто подставляю цифры в хорошо известное, найдите его в учебнике и вычисляйте сами...

В его маленьком бюро сейчас водружена огромная карта, окно в иной ландшафт, не в зимний Сассекс, названия и паутина улиц, печатный призрак Лондона в 576 квадратах, один квадрат для каждого квадратного километра. Удары ракет помечены красными кружками. Уравнение Поиссона скажет, для произвольно выбранного количества, какие квадраты не будут задеты, какие получат по одному, два, три и так далее.

Эрленмерова колба булькает на подставке. Голубой огонь потрескивает, преломляясь в циркуляцию смеси внутри стекла. Старые истрёпанные учебники и математические пособия разбросаны вокруг, на столе и по полу. Где-то снимок Джессики выглядывает из-под совместной работы Виттакера и Ватсона, что Роджер приобрёл ещё студентом. Седовласый последователь Павлова шагает, тощий как игла, своей напряжённой походкой по утрам в лабораторию, где ждут собаки с распоротыми щеками, посеребрённые зимою капли скатываются из каждой свежей фистулы наполняя вощёную чашечку или градуированную пробирку, останавливается перед распахнутой дверью Роджера. Воздух внутри синеет дымом выкуренных сигарет, а окурки затем, в ледяные чёрные утренние смены, перевыкурены, давящая и отвратная атмосфера. Но он должен войти, должен снести свою обычную утреннюю чашу.

Оба знают насколько странным должно выглядеть их содружество. Если есть в природе анти-Пойнтсмен, то это Роджер. Впрочем, не настолько уж, и доктор тут согласится, относительно физических явлений. Молодой статистик предан цифрам и методу, никаких постукиваний по столу или мечтательных грёз. Но в сфере нуля и единицы, не-чего-то и чего-то, Пойнтсмену подвластны только ноль и единица. Он не способен, подобно Мехико, существовать где бы то ни было в промежутке между ними. Как и его властелину, И. П. Павлову до него, кора головного мозга ему видится мозаикой крохотных включённых/отключённых

элементов. Одни в ярко напряжённой возбуждённости, другие мглисто заторможены. Контуры, из яркого и тёмного, непрестанно меняются. Но любой точке даны всего лишь два состояния: сон или бодрствование. Либо один, либо ноль. «Совокупность», «переход», «рассеивание», «концентрация», «обоюдная стимуляция»—вся Павловская механика мозга—предполагает наличие этих би-устойчивых точек. Но в удел Мехико досталась сфера между нулём и единицей—та самая середина, которую Пойнтсмен исключил из своих верований—сфера вероятности. Вероятность на 0.37, что к моменту, когда он закончит свои счисления, в данный квадрат на его карте будет всего лишь одно попадание, 0.17 за то, что попаданий окажется два...

– А могли бы вы… сказать,– Пойнтсмен предлагает Мехико одну из своих Кипринос Ориент, которые он держит в секретных кармашках встроченных в его лабораторные халаты,– исходя из этой своей карты, в какие места безопаснее всего заходить, меньше угроза ракет.

– Нет.

– Но позвольте—

– Любой квадрат может снова получить удар. Попадания не исключают одно другое. Средняя плотность величина постоянная.

Ничто на карте не противоречит сказанному. Чисто классическая распределённость Поиссона, аккуратно и неспеша заполняет квадраты, всё как полагается… вырастает к своей предопределённой форме...

– Но квадраты, которые уже получили несколько попаданий, я имею в виду—

– Извините, но это софизм Монте-Карло. Неважно сколько случилось уже попаданий в определённый квадрат, шансы остаются теми же, какими они всегда и были. Всякое попадание независимо от остальных. Бомбы не собаки. Нет связи. Нет памяти. Нет привитого рефлекса.

Сказать такое последователю Павлова. Вот обычный пример самодовольной толстокожести Мехико или он знает о чём говорит? Если между ракетными ударами не существует связи—ни рефлекторной дуги, ни Закона Отрицательного Воздействия… тогда… он каждое утро заходит к Мехико как на болезненную операцию. Ещё страшнее из-за его внешности мальчика-певчего, его колледжовых любезностей. Но этот визит обязателен. Как может Мехико играться, да так запросто, со всеми теми символами непредсказуемости и страха? Невинный как дитя, он даже не осознаёт—возможно—что своей игрой обращает в руины элегантные залы истории, ставит под угрозу саму суть идеи причины и следствия. Что если всё поколение Мехико окажется таким же? Не превратится ли послевоенное время в ничто помимо «событий» возникающих заново от одного момента к другому? Никак не увязаны? Это ли не конец истории?

– Римляне,– Роджер и его преподобие д-р Де ла Нут однажды вечером напились вместе,– древне-римские священники клали решето на дорогу, а потом прослеживали стебли какой травы прорастают сквозь дырки.

Роджер моментально уловил связь:– «Интересно»,– шаря у себя по карманам, один за другим, чёрт, никогда когда надо—а, вот, наконец-то:– «последует ли этот случай уравнению Поиссона… посмотрим…»

– Мехико,– подавшись вперёд с явной враждебностью.– Проросшие стебли они применяли для лечения больных. Для них решето являлось весьма священным предметом. А что вы сделаете со своим, которое наложили поверх Лондона? Как вы примените то, что вырастет сквозь вашу сеть смертей?

– Я вас не понимаю. Это же просто уравнение...

Роджер вправду хочет, чтобы другие понимали о чём. Джессика знает это. Когда им не доходит, лицо его белеет и туманится, как через грязным стекло в окне вагона поезда, и словно бы задёргиваются чуть серебристые шторки, вклинивая плоскости отделяющие его ещё больше, изнывающего в своём одиночестве. Она знала с самого первого их дня, когда он переклонился открыть дверь Ягуара такой уверенный, что она ни за что не сядет. Она видела его одиночество: в его лице, в красных руках с обкусанными ногтями...

– Но это же нечестно.

– Честнее не бывает,– с таким циничным видом, Роджер выглядит совсем юным, как ей кажется.– Все равны. Равные шансы угодить под взрыв. Равны перед ракетой.

На что она выдаёт ему одну из своих гримас Фэй Рей увидевшей Кинг Конга, глаза округлены до предела, красный рот вот-вот распахнётся криком, и тут уж он вынужден рассмеяться.– «Ну. Прекрати.»

– Иногда...– но что ей тут сказать? Что он должен быть мил, всегда нуждаться в ней и никогда не превращаться, как сейчас, в парящего статистического херувима, который и не нюхал ада, но разглагольствует словно он самый падший...

Капитан Прентис назвал это «дешёвым нигилизмом». В тот день рядом с замёрзшим прудом вблизи «Белого Посещения», Роджер чуть в стороне сосал сосульки, валялся на спине и махал руками, сделать отпечатки ангелов, порхающих.

– Вы хотите сказать, он не заплатил…,– заглянула вверх, выше, обветренное лицо Пирата, казалось, кончается далеко в небе, покуда собственная прядка преграждала взгляд его сдержанных серых глаз. Он друг Роджера, никак не заигрывал и не выставлял его недостатки, вообще понятия не имел, так ей казалось, про такие булавочные войны—впрочем, ему и ни к чему, потому что она

сама уже во всю флиртовала… ну так чтоб всерьёз, однако эти глаза, в которые ей никогда не удавалось заглянуть толком, до того головокружительные, такие жутко бесподобные, правда...

– Чем больше V-2 ждут запуска оттуда, чтоб долететь сюда,– сказал Капитан Прентис,– тем больше у него шансов получить свою. Так что, нельзя сказать, будто он не вносит минимальной платы. Но кто из нас нет.

– Ну,– покивал Роджер позднее, когда она ему рассказала, глаза притуманились, обдумывая то, что он услышал,– тут снова проклятый кальвинистский сдвиг. Плата. Ну почему у них всё переводится в термины биржи? А что Прентису надо, очередной вариант Предложения Бевриджа, или как? Определить Коэффициент Горечи для каждого! такая прелесть—всем предстать перед комиссией, столько-то очков, если Еврей, за концлагерь столько, за нехватку конечностей или жизненно важных органов, за утрату жены, любовника, близкого друга—

– Я знала, что тебя рассердит,– пробормотала она.

– Да не сержусь я. Нисколько. Он прав. Так дешевле. Но как в таком случае, он хочет,– расхаживая сейчас по этой тесной, невзрачной, маленькой гостиной, увешанной застывшими портретами любимых охотничьих собак в стойке средь полей, что никогда не существовали, кроме как в некоторых фантазиях о смерти, луга всё золотистее, когда стареет их масло льняного семени, всё осенней и некрополисней, чем даже довоенные надежды—что прекратятся уже все перемены, надежды на долгий статичный день с фазаном застывшим в смазанном взлёте, вид уходящий наискосок через лиловые холмы в бледное небо, умный пёс насторожён вечным запахом, взрыв на его голову неизменно ещё только-только должен грянуть—надежды эти до того явно, беззащитно выставлены, что Роджеру при всём его дешёвом нигилизме, не хватает духу снять картины и поставить на пол лицом к стене– «Ну а что вы от меня хотели, день за днём работаю среди отпетых лунатиков»,– Джессика, вздыхая о боже, втягивает свои красивые ноги вверх на сиденье кресла,– «они верят в жизнь после смерти, о связи от-сознания-к-сознанию, в пророчества, ясновидение, телепортацию—они *верят*, Джес! и—и—»,– что-то мешает ему говорить. Она забыла своё раздражение, встаёт из кресла с узором из набухших капель, чтобы обнять его и как же она всегда знает, её ляжки из-под тепла юбки, её лобок, теснящийся всё крепче, распалить, возбудить его хуй, стереть остатки своей губной помады о его рубашку, мускулы, прикосновения, кожи смешались, приливы крови—знает в точности что именно Роджер хочет сказать?

Сознание-сознанию, в эту позднюю ночь у окна пока он спит, прикуривая другую ценную сигарету от уголька предыдущей, так безудержно тянет расплакаться, потому что настолько ясно видит свои пределы, знает, что никогда не сумеет защитить его как следует—от того, что может грянуть с неба, и от того, в чём он не смог признаться в тот день (скрипучие аллеи снега, аркады погнутых наросшим льдом деревьев… ветер встряхивал кристаллики снега: лилово-оранжевые существа расцветали у неё на ресницах), или от м-ра Пойнтсмена и от

Пойнтсменовской… его такой… угрюмости, всякий раз, при встрече. Научная оскоплённость. Руки, которые—она вздрагивает. Сейчас начнут проступать гадские формы в снегу и неподвижности. Она опускает штору затемнения. Руки, которые могут точно так же мучить людей, как собак, и никогда не чувствовать их боли...

Свора лисиц, сброд шавок движутся в сегодняшней ночи, шебуршат но дворам и аллеям. Мотоцикл со стороны основного шоссе, круто рыча, как истребитель, проносится через деревню в направлении Лондона. Большущие аэростаты зависли в небе, взращённые в перламутре, и воздух настолько тих, что краткий снегопад сегодняшнего утра всё ещё лежит на стальных тросах, белизна вьётся вокруг шестов перечной мяты сквозь тысячи футов ночи. А люди, которые могли бы спать в этих домах, изгнаны взрывами, некоторые уже навсегда… может им сняться города сияющие в ночи фонарями, рождественские праздники виденные в детстве, а не в оглядке овец, так беззащитно сбившихся на склоне голого холма, выбеленных жутким сиянием Звезды? Или песенки, такие забавные, милые, простодушные, что их не вспомнить, когда проснёшься… сны мирного времени...

– Как это всё было? До войны?– Она знает, что и сама уже жила тогда, ребёнком, но спрашивает не об этом. Разряды статики в Вариациях на тему Френка Бриджа, расчёска для закрученных мозгов по Радио Би-Би-Си, бутылка Монтраше, подарок от Пирата, охлаждается у кухонного окна.

– Ну в общем,– скрипучим голосом старого пердуна, парализованная рука тянется щипнуть её за грудь в самой мерзкой манере, на какую он только способен,– это, девонька, смотря которую войну, ты имеешь в виду.– И вот уже показалась, слюна в уголке его нижней губы собирается, ве, и капает тонкой белесой ниточкой, он до того умный, натренировал все самые мерзкие пакости...

– Брось, Роджер. Я серьёзно. Я не помню.– Прослеживает ямочки всплывшие по сторонам его рта, пока он обдумывает, улыбаясь ей странной улыбкой. Так оно будет, когда мне перевалит за тридцать… промелькивают несколько детей, сад за окном, голоса *Мама, что тут*… огурцы и лук на разделочной доске, цветки дикой моркови, взбрызги сияюще жёлтого, на тёмной, очень зелёной лужайке и его голос —

– Ну а я лишь помню, что глупо оно было. До опупения глупо. Ничего не происходило. Ах, да Эдвард VIII отрёкся. Он полюбил—

– Это я знаю. Читаю журналы. Но на что оно было *похоже*?

– Просто… да просто чертовски глупо. И всё. Переживали о вещах, которые вообще—Джес, ты вправду не помнишь?

Игры, фартучки, подружки, чёрный котёнок в проулке с белыми лапками, праздники всей семьёй у моря, солёная вода, рыба на сковородке, катанье на осле, персиковая таффета, мальчик по имени Робин…

– Ничего такого, что без следа пропало бы, чего я больше не смогу найти.

– Даже так. А по *моим* воспоминаниям—

– Ну и?– Они оба улыбаются.

– Кто-то принимает много аспирина. Другой пьёт или пьян постоянно. Кто-то переживает, чтобы его выходные костюмы хорошо сидели. Кто-то презирает высшие классы, но из кожи вон лезет, чтоб выглядеть как они...

– А кто-то всю дорогу хрюкает, хрю, хрю...,– Джессика заходится смехом, потому что он добрался до места на её боку под свитером где, как он знает, ей не выдержать щекотки. Она съёжилась, уклонилась, и он прокатился мимо свалиться с дивана, но тут же вернулся и ей уже щекотно куда бы ни притронулся, за щиколотку, за локоть—

И вдруг бьёт ракета. Жуткий взрыв совсем рядом с деревней: сам состав воздуха, время, изменились—оконная рама распахнута внутрь, деревянно попискивает, пока весь дом продолжает ходить ходуном.

Сердца их колотятся. Барабанные перепонки напряжены болезненным звоном сверхдавления. Невидимый поезд громыхает прочь над крышей...

Они сидят неподвижно, как нарисованные псы, молча, странно неспособные прикоснуться. Смерть вошла в дверь через кухню: стоит, глядя на них, железная и терпеливая, всем своим видом говорит *а вот меня пощекоти-ка*...

* * * * * * *

(1)

ВЗ Палата Абреакции

Госпиталь Св. Вероники

Бончеплгейт, Е1

Лондон, Англия

Зима 1944

Парнишке из Кеноши

Общая Почта

Кеноша, Висконсин, США

Дорогой сэр,

Я хоть раз в жизни Вас о чём-то просил?

Искренне Ваш,

лейт. Тайрон Слотроп

Общая Почта

Кеноша, Виск., США

несколькими днями позже

Тайрону Слотропу, Эскв.

В3 Палата Абреакции

Госпиталь Св. Вероники

Бончеплгейт, Е1

Лондон, Англия

Дорогой м-р Слотроп:

Такого не случалось.

Парнишка из Кеноши

(2) Хитрожопый юнец: А, я делал все эти старомодные танцы, я делал «Чарльстон», а и «Большое Яблоко» тоже!

Старый танцор ветеран: Спорим, ты никогда не сделал «Кеношу», паренёк.

(2.1) Х.Ю.: Блин! Я делал все те танцы, я делал «Касл Вок», и я делал «Линди» тоже!

С.Т.В.: Спорим, ты никогда не сделал того «Парнишку из Кеноши».

(3) Младший сотрудник: Ну он избегал меня, и я подумал, может это из-за Дела Слотропа. Если он считает меня виновным—

Старший (заносчиво): Тебя! Да никогда Парнишка из Кеноши и на секунду не подумал бы, что ты…

(3.1) Старший (изумлённо): Тебя? Никогда! Да чтоб Парнишка из Кеноши хоть на секунду бы подумал, будто ты…?

(4) И в конце того великого дня, когда представил он нам огненными письменами в небесах все нужные слова, которыми восхищены мы и поныне, и заполняем ими наши словари, кроткий голос малыша Тайрона Слотропа, восславляемого с

той поры в легендах и песнях, раздался, возносясь и пробиваясь к вниманию Парнишки: – «Ты никогда не делал этого, Парнишка из Кеноши!»

Всеми этими вариантами слов «Ты никогда не делал Парнишку из Кеноши» поглощено внимание Слотропа, когда из белизны над головой склоняется доктор, отвлечь и начать сессию. Игла вскальзывает безболезненно в вену точно за сгибом локтя: 10% Sodium Amytal, один cc в одной дозе, как положено.

(5) Возможно ты профукал Филадельфию, обручил Рочестер, обжулил Жолиет, но ты никогда не сделал парнишку из Кеноши.

(6) (День Вознесения и жертвы. Блюдётся повсеместно. Обжаривается жир, окропление кровью подгорает в солоновато-коричневый…) Ты делал Шарлотвилского подсвинка, голубчик, Форестхилского жеребёнка, голубчик. (Отсюда и далее стихая…) Ларедского ягнёнка. Голубчик. О-го. Погоди. Что такое, Слотроп? Ты никогда не делал парня из Кеноши. Очнись, Слотроп.

Мой кулак уже торчком,

Не злись,

Запишись,

Вва-ли, Слотроп!

Джексон, это похуй мне,

Покажь значок, что ты был на войне,

Вва-ли, Слотроп!

Меня тут не любят, не могут понять,

Лишь ищут куда бы ещё послать...

Голову мне продырявь, в мозги мои вставь провода,

Вену проткни иглой,

Слотроп, очнись, манда!

ПРПУК: Сегодня мы хотим немного подробней поговорить о Бостоне, Слотроп. Помните в прошлый раз нами затрагивались негры в Роксбери. Мы понимаем, что вам это не слишком приятно, однако постарайтесь, соберитесь. Итак—где вы. Слотроп? Вы что-нибудь видите?

Слотроп: Ну не совсем чтобы так вижу…

С рёвом по эстакаде подземки, направлением в Бостон, сталь и углеродный саван на древней кирпичной кладке—

Этот ритм словил меня,

О, бэби, этта свинг, свинг, свинг!

Меня словил, ей-ей,

Типа весь-целый-мир-вокруг поёт лишь для тебя,

Столь-сладких-звуков не слыхал я в жизнь,

Таких нет даже за углом, на Бейсин-Стрит, держись!

Мы в этом ритме, крошка, сбацаем немножко,

Нет, лучше ты во всю крутись

И делай свинг, свинг, свинг,

Давай же, крошка… вжарим… свинг!

Чёрные лица, белые скатерти, мерцание очень острых ножей под боком тарелок… дым табака и «плана» густо смешаны, глаза на лоб лезут, нады́хаешься этай дури дак аж мазги утюжит, с ходу, бу спок!

ПРПУК: Это было «бу спок», Слотроп?

Слотроп: Да ладно вам, парни… чё вы так вот сразу…

Белые ребята из колледжа, орут заказы группке джазменов на возвышении. Голоса из восточных частных школ, выговаривая «жопа» чуть округляют губы и выходит *жииопя*… они оттягиваются, отрываются. Аспидистры, здоровенные филадендроны, широкие зелёные листья и джунглевые пальмы свисают в полумрак… пара барменов, один очень светлый Западно-Индианец, хрупкий, с усиками, его напарник по беготне, чёрный как рука в вечерней перчатке, бесконечно снуют перед глубоким океаническим зеркалом, что заглотило большую часть зала в свои металлические тени… сотня бутылок на миг удерживают свой отблеск, прежде чем тот отплывает в зеркало… даже если кто-то пригнётся прикурить сигарету, пламя отражается возвратно как тёмная оранжевость заката. Слотропу даже различить не удаётся своё белое лицо. Какая-то женщина поворачивается взглянуть на него от стола. Её глаза говорят ему, мгновенно, что он из себя представляет. Губная гармошка торчком из его кармана утяжеляется к медной инерции. Лишний груз. Дурацкая принадлежность. Но он без неё никуда.

Наверху, в мужской уборной Бального Зала Роузленд он умлевает коленопреклонённый пред туалетным унитазом, выблёвывая пиво, гамбургеры, домашнее печенье, фирменный салат с Французским соусом, полбутылки Мокси, послеобеденные сладости, плитку Кларка, фунт солёного арахиса, и целку одной девушки из Радклифа, старомодной. Без предупреждения, пока слёзы струятся из его глаз, ПЛЮХ! выпадает гармошка в, ййееееххк, отвратную дыру! Мгновенно пузырьки выскальзывают вдоль её блестящих боков кверху, вдоль коричнево деревянного края, кое-где с лакировкой, где-то повытертом губами, эти мелкие

серебряные зёрнышки разбухают по ходу спуска гармошки в белокаменную шейку матки и в ночь нижеследующую там внизу… Настанит день и в армии США он получит рубахи, карманы которых можно застегнуть, но в те довоенные дни ему оставалось лишь полагаться на крахмал в своих белоснежных Эроу, чтобы тугие карманы удерживали содержимое от… Но нет же, нет, дурак, гармошка выпала, помнишь? Нижний регистр запел на мгновенье, ударившись о фаянс (где дождь стучит в окно, и через вент-канал наверху под листовым железом на крыше: холодный дождь Бостона) и поперхнулся водой в полосах финальных, жёлчно-коричневых разводов его рвоты. Уже не вернуть. Либо прощайся с гармошкой, своим серебряным шансом на песню, или отправляйся вслед.

Вслед? Негр, чистильщик-бой Красный, выжидает у своего сиденья пыльной кожи. Негры по всему Роксбери ждут. «Чероки» доносится воплем из танцзала внизу, покрывая хай-хэт, контрабас, тысячу пар ног, где вертлявый розовый свет предлагает не бледных юнцов из Гарварда с их подружками, но толпу в пух и прах принаряженных краснокожих. А сама песня ещё одна фальшивка про преступления бледнолицых. Немало музыкантов забредали в течение «Чероки», да не все прошли её всю из конца в конец. Все эти длинные, долгие ноты… что они замышляют длясь там, внутри? это индейский духовный заговор? В центре Нью-Йорка, гони скорей успеть на последнее представление—7-я Авеню, между 139-й и 140-й, сегодня «Ярдбёрд» Паркер выдаёт открытие как удалось ему представить ноты из верхушек этих же аккордов и разложить мелодию в охреневающе ёбаный пулемёт, по полной, мэн, или не знаю даже что, он слетел с катушек тридцать вторые ноты тридцатьвторушки произнеси это очень (тридцатьвторушка) быстро и лилипуточным голоском, если ты в состоянии вааще врубиться, на выходе из Чилли Хауз Дэна Волза, и вдоль по улице—блядь, вдоль любой из улиц (как он вписался к '39-му, чётко к началу: в глубине его самых утверждающих соло уже крячет неспешно насмешливое дам-де-ду-дамканье госпожи ёб твою Смерти личной персоной) по радиоволнам, в развлекательных программах, а в своё время просочится и в спрятанные динамики городских лифтов и во все маркеты, опрокинуть колыбельные Человека, подмять изматывающий хлам бесконечного, трусливо струнного звукообращения… Так что это пророчество, даже здесь, на дождливой Массачусетс Авеню, начинает нынче срабатывать в «Чероки», саксофоны внизу выдают, ух, ты! круто стоящую хрень...

Если Слотроп рванёт в унитаз за гармошкой, такое возможно лишь вперёд головой, что не очень правильно, потому что жопа его остаётся в воздухе беззащитной, а с неграми вокруг тебе это как раз-таки и ни к чему, лицом где-то там в вонючей темноте, а коричневые пальцы, сильные и умелые, вмиг расстёгивают пояс, раздёргивают ширинку, сильные руки разводят ноги врозь—он чувствует холодный от Лизола воздух на своих ляжках, пока сдёргиваются его короткие трусы, ну прям моментально, с цветастыми блёснами на окуня и мухами на форель по голубому полю. Он бьётся втискиваясь в дыру унитаза, и тут глухо, сквозь зловонную воду, доходит топот всей тёмной банды жутких негров, ломятся с радостными воплями в уборную для белых мужчин, сбиваются вокруг несчастного извивающегося Слотропа, ещё и свингуют, как у них водится,

припеваютя, «Припудри меня тальком, Малкольм!» А чей ещё им отвечает голос, если не Красного, боя-чистильщика, который наяривал чёрные патентованные Слотропа раз двадцать, на коленях, прихлёстывая бархаткой в такт оркестру… вот он, Красный, высоченный, тощий, в экстравагантно перекрашенных волосах, бой-чистильщик, который был просто «Красным» для гарвардских студентов:– «Эй, Красный, в твоём там ящичке презерватив найдётся?», «Как насчёт счастливого телефонного номерка, Красный?»—тот самый негр, чьё настоящее имя только сейчас, наполовину в унитазе, наконец, достигло слуха Слотропа—пока толстенный палец с каплищей очень скользкого желе или крема вскальзывает меж половинок в дыру его жопы, приглаживая волосы как линии волнистых гор вокруг речной долины—настоящее имя его Малкольм, и его знают все чёрные хуи, Малкольм, который знал его всё время—Красный Малкольм Несусветный Нигилист грит:–«Боже ж мой, у него жопа больше, чем он сам, не?» Охренеть, Слотроп, как тебя угораздило в такую позу! И хотя ему уже удалось протиснуться настолько вниз, что торчат одни только ноги, а ягодицы вывертываются колыхаясь чуть ниже уровня воды, как бледные купола льда. «Держи его, братва, уходит!» «Ах, ты ж!» Далёкие руки вцепляются в его икры, щиколотки, обрывают подвязки и дёргают клетчатые носки, что мама связала ему в Гарвард, но они довольно плотные или же он настолько далеко пропхнулся в унитаз, что почти даже не чувствует их рук...

Потом он их сбрыкнул, оставляя захват последнего негра наверху позади и – свободен, скользкий как рыба, его девственная жопа спасена. Тут кто-то может сказать, ого! благодари Бога за это, а другие прокряхтят, эх жаль, но Слотроп не сказал ни так: ни эдак, потому что он ничего так особо не чувствует. А и его потерянную гармошку всё ещё нигде не видать. Свет тут, внизу, тёмно-серый и довольно слабый. Уже какое-то времени он различает говно накрепко укоренившееся по сторонам этого керамического (на данный момент уже металлического) тоннеля, в котором он тоже: такое говно невозможно смыть, смешанное с минералами жёсткой воды по ходу всего натужно коричневого моллюско-витого маршрута, узоры полные значений, придорожные рекламные знаки туалетного мира, привязчиво липкие, крипто-глиптика, эти формы выпячиваются и сглаженно отстают пока он так и движется вдоль длинно-туманной линии канализации, звуки «Чероки» всё ещё очень глухо пульсируют над головой, провожая его к морю. Он обнаружил, что способен опознавать какие-то из говённых отметин, явно принадлежащих тому или иному гарвардскому приятелю из числа его знакомых. Какая-то часть, конечно же, должно быть негритянское говно, но оно всё такое похожее. Оба-на, а вот это уж наверняка «Проглота» Бидла, с той ночи как мы ели чоп-суеей в "Промашке Фью" потому что тут вон те бобовые ростки и даже отдаёт тем же соусом из дикой сливы… похоже, некоторые чувства явно обостряются… ух-ты… "Промашка Фью", это ж уже сколько месяцев тому назад. А и вот от Дампстера Виларда, с ним недавно запор приключился, не так ли—вон то чёрное говно противное как резина, что однажды откристаллизируется навсегда до тёмно-янтарного. В этих приглаженных, цепких мазках по стене (что реверсивно излагают степень своей сплочённости) он может, уже настолько небывало говно-чуткий, прочитывать былые муки перенесённые нутром бедняги Дампстера, что пытался покончить с собой в последний семестр:

дифференциальные уравнения никак не складывались для него ни во что элегантное, мать в шляпке с короткими полями и в шёлковых гольфах наклонилась через стол Слотропа в "Большом Жёлтом Гриле" Сиднея докончить за него бутылку канадского эля, девушки Редклифа, что его избегали, чёрные профессионалки, которых ему разрекламировал Малкольм, а те причиняли ему эротическую жестокость за доллар или насколько получалось выдерживать, или, если чек Мамы запаздывал, на сколько он мог себе позволить. Торчащий позади, вверх по течению, барельеф от Дампстера теряется в сером сумраке, а Слотроп пока что минует меты Вилла Стониблока, Джо Питера Питта, Джека Кеннеди, сына посла—нет, но где к чёртям сегодня этот Джек? Если кто-то и мог спасти тогда гармошку, так это уж точно Джек. У Слотропа к нему восхищение стороннего—такой спортивный, и добрый, и один из самых уважаемых парней на курсе Слотропа. Хотя глупо, конечно, что так получилось. Джек… смог бы Джек перехватить её, хоть как-то, выскочившую, нарушить закон притяжения? Где-то тут, в этом проходе к Атлантике, запахи соли, водорослей, разложения доносятся к нему издали, как и звук прибоя, да, похоже, Джек смог бы стопудово. Ради всех несыгранных мелодий, миллионов блюзовых строк, ради нот вопреки официальным частотам, всех тех вывертов, на которые у Слотропа вообще-то не хватало дыхания… ну пока что нет, но однажды… по крайней мере, если (когда…) он найдёт инструмент, тот будет хорошенько увлажнён, намного легче извлекать звуки. Утешительная мысль, чтобы нести с собой уносясь по канализации.

Так взгляни на меня,

Хоть один только раз,

В унитаз,

Вот дурак попался,

Только бы не начал ссать

Дирли тирли трали рался

И в ту же секунду донёсся этот страшенный плеск выше по линии, шум нарастает как мощный прилив, вздымая плотную волну говна, блевотины, туалетной бумаги, мелкого дерьма, что присыхает на волосне вокруг жопы, в умопомрачительной мозаике, мчит на паникующего Слотропа, как поезд столичной подземки на свою жертву. Бежать некуда. Оцепенев, он уставился назад через плечо. Высокий гребень, развевающий за собой длинные усики говнобумаги, эта цунами настигает его—ГААХХ! он пытается в последний момент улизнуть дохленьким брассом, но цилиндр отходов уже саданул, тёмный как холодный говяжий студень, по его позвоночнику, смёл, бумага охлёстывает, обворачивает его губы, ноздри, всё пропало и пропахло говном, покуда ему приходится смаргивать микро-какашки с ресниц, это хуже чем когда тебе всадят *торпеду* япошки! коричневая жижа прёт дальше, унося его беспомощного… похоже, он кувыркается как попало—хотя

трудно сказать, в этом тусклом урагане говна глазу не за что зацепиться… временами об него трётся колючий кустарник, а возможно густые низкорослые деревца. Пришла мысль, что как-то уже не ощущает твёрдости стен после того, как закувыркался, если именно это он делает.

С какого-то момента коричневый мрак вокруг него начинает светлеть. Типа рассвета. Мало-помалу головокружение проходит. Последние полосы сральной бумаги связующие его с жижей, отваливаются… опечаленно растворяясь прочь. Жуткий свет настигает его разрастаясь, водянистый мраморный свет, только бы не очень долго, его страшит то, что свет этот, похоже, хочет предложить. Однако в этих отходных пределах живут «нужные». Люди, которых он знает. В скорлупе древних руин плотной кладки—изношенные ячейки, одна подле другой, многие без крыш. Дрова горят в чёрных каминах, вода вскипает в ржавых оптовых коробках фасоли лима и пар сочится к щелястым дымоходам. А они сидят вокруг на раздробленной брусчатке, заняты чем-то… ему трудно сказать чем… чем-то довольно религиозным... Спальни обставлены полностью, огонь полыхает с мерцанием, бархат свисает со стен и потолка. До самой последней синей бусинки, закатившейся, слежавшейся с пылью под лакированной тумбой роскошного патефона, до последнего паучка и разносторонне взлохмаченного ворса ковров, эти жилища потрясают его своей неразберихой. Тут скрываются от катастрофы. Не обязательно от смыва в Унитаз—такое здесь не в диковинку, обыденно неизбежное неудобство, под куполом древнего неба однотонно едкого оттенка—но ещё что-то до жути не так в этих краях, чего бедняга Слотроп не в силах разглядеть или услышать… словно тут каждое утро с неба обрушивается невидимый Пирл-Харбор... У него в причёске туалетная бумага, а в правой ноздре застрял мохнатый клок волосни с присохшим говном. Ве, ве. Упадок и разруха безмолвно гнетут этот ландшафт. Ни солнца, ни луны, только растянуто ровные синусоиды света. Это говно какого-то негра, он уверен—затвердело как зимняя козюлина, когда он пробует вытащить. Ногти процарапали до крови. Он стоит снаружи всех этих коммунальных комнат и уровней, снаружи, в отдельно персональном утре посреди пустыни, красновато-коричневый коршун, даже два, зависли в воздушном потоке озирая горизонт. Холодно. Дует ветер. Он ощущает лишь только свою отстранённость. Они зазывают его к себе , но он не может присоединиться. Что-то не пускает: зайти внутрь, это как бы дать некую клятву на крови. Они никогда уже его не выпустят. И кто знает, начнут требовать сделать что-то… что-то такое...

И тут каждый отдельный камень, каждый кусок фольги, полено дров, пучок растопки или тряпка стали подскакивать вверх-вниз, взлетев на три метра, снова падают, бьют с жёстким стуком о мостовую. Свет сгустился до цвета тёмно-зелёной воды. Во всех улицах обломки вздымаются и опадают синхронно, словно во власти какой-то глубокой неизменной волны. Невозможно ь различить хоть что-то сквозь этот вертикальный пляс. Перестук по мостовой длится одиннадцать битов, двенадцатый пропущен, и цикл начинается сызнова… это ритм какого-то традиционного Американского напева… На улицах ни души. Сейчас рассвет или сумерки. Части обломков, которые из металла, блестят с упорным, почти синим постоянством.

Уже забыл Красного Малкольма, что наверху остался,

В причёске Красный Дьявол до Волос Дорвался…

Ну и вот тот самый Крякфилд, или Крукфилд, западопроходец. Не «архитипичный» западопроходец, но *единственный*. Учти, он один-одинёшенек. И всего один индеец, с которым он сражался. Один бой, одна победа. И только один президент, и один убийца, и одни выборы. Ровно столько. От всего, что ни на есть всего лишь по одному. Ты подумал о солипсизме и представил структуру наполненную—с твоего уровня—всего лишь, жутко представить, одним. И можешь даже не рассчитывать на какие-то ещё уровни. Но оказывается, оно не так уж и одиноко. Пустовато, да, но намного лучше, чем в полном одиночестве. От всего всего лишь по одному оно совсем не так уж и плохо. Половина Ковчега лучше, чем никакого. Этот самый Крукфилд закоричневел от солнца, ветра и грязи—возле тёмно-коричневых досок амбара или это конюшня, он древесина несколько иной породы и обстружки. Такой весь добродушный, крепко сбитый, на фоне лиловых склонов гор, и смотрит наполовину в солнце. Его тень резко оттянута назад поверх деревянных конструкций конюшни—брусья, косяки, стойки стойл, перекладины яслей, стропила, доски потолка пронизанные солнцем: слепящая небесная твердь даже в этот неясный час суток. Кто-то играет на губной гармошке позади уборной во дворе—какой-то музыкальный проглот, что всасывает ртом гигантские пятинотные аккорды по ходу самой мелодии

По слухам в Долине Красной Реки

На этот раз

Потоком снесло тебя в унитаз—

Присядь, отдохни, хвост держи пистолетом,

Канализации близок конец,

Держись, молодец,

На всём свете этом

Крепче говна не найти,

Чем на наших

Крутых берегах,

Учти.

О, так это Красная Река, точно, если не веришь, спроси того «Красного», когда заявится (сказать вам что значит Красные, вы ФДРявские прихлебатели, они хотят всё захапать, а у женщин ноги волосатые, всё им отдай или взорвут круглой чёрной железякой посреди ночи кровавой, через Полаков в серых шапках, через Оки-вахлаков, или ниггеров, да-да особенно через нигеров…)

Ну тут, в общем, дружок Крукфилда как раз выдыбал из сарая. Дружок на данный момент, во всяком случае. Крукфилд оставил полосу дружков с разбитым сердцем по всей этой широкой щелочной равнине. Одного слабачка в Южной Дакоте,

Одного в Сан Берду бандитёнка,

А ещё одного Китайчонка, что бросил работёнку,

и слинял с укладки желдор пути,

Одного с трипперком, одного с зобком,

Одного в последней стадии прока-зы,

Зато с широким тазом,

На левую хромого, на правую хромого,

И хромого на обе ноги,

Ты ж гля!

Всех вместе будет три!

Одного гомосека, даже лесбу одну,

Одного негришку, одного Евреишку,

И, с бизонкой одним, одного

Краснокожего парнишку,

И охотника на бизонов из Нью Мексико

И так далее, и так далее, по одному от всего, он Белый Йобмен в *terremauvaise* и занимается этим с любым полом и со всяким животным кроме гремучих змей (правильнее будет «кроме гремучей змеи» поскольку тут она всего одна), но в последнее время в нём зародились такие же фантазии и насчёт *гремучей змеи* даже! Клыки ласкающе щекочут залупу… бледный рот широко раскрыт и жуткая радость в прищуре глаз… Дружком у него на текущий момент – Ваппо, норвежский юноша мулат, у которого фетиш на конские принадлежности, любит, чтоб его хлестали арапником в пропахших потной кожей подсобных помещениях куда прибьются по ходу их скитаний, которым сегодня исполняется три недели, довольно значительный срок одному дружку продержаться. Ваппо носит набрючные чехлы из шкуры импортной газели, что купил ему Крукфилд в Игл Пасе у профессионального шулера в фараон с зависимостью к опиумной настойке, который пересекал великую Рио пропасть навсегда в палящей топке дикой Мексики. Ваппо принарядился также банданой пурпурно-зелёной, как и предписано (ходят предположения, у Крукфилда целая кладовая этих шёлковых

шарфиков дома, на Ранчо Пелигросо, и он ни за что тебе не поскачет в горную местность или по тропам вдоль русла рек без заначки из пары дюжин их в своих седельных сумках. (Это даёт понять, что правило один-от-всякого приложимо лишь к формам жизни типа дружков, но отнюдь не к предметам типа банданы.) А сверху Ваппо завершается лоском высокой опереточной шляпой японского шёлка. Ваппо в этот день просто стиляга, фактически, когда прогулочно так появился из конюшни.

– Ах, Крукфилд,– вскидывая руку,– как мило, что ты явился.

– Ты знал, что я заявлюсь, шельмец ты эдакий,– блядь, этот Ваппо до того ушлый. Так и норовит поддеть своего хозяина в надежде схлопотать рубец-другой от хлёсткого ремня поперёк этих тёмных своих афро-скандинавских ягодиц, совокупивших каллипижную округлость присущую расам Тёмного Континента с напряжённо благородной мускулатурой крепкого Олафа, нашего северного кузена блондина. Но на этот раз Крукфилд вновь погружается в обзор отдалённых гор. Ваппо насупился. Его шляпа цилиндр предвещает приближение холокоста. И белому человеку совсем не к лицу произнести, пусть даже вскользь и между делом, что-то типа:– «Торо Рохо собрался прискакать сегодня к ночи». Оба партнёра знают это. Ветер, доносящий к ним сыромятный индейский запах, достаточно красноречив для кого угодно. О, Боже, предстоит перестрелка к тому же чертовски кровавая. Поднимется такой ветрище, что кровью окропит бока деревьев с их северной стороны. С краснокожим будет собака, единственная индейская собака посреди всех этих пепельных равнин—шавка схватится с малышом Ваппо и кончит тем, что повиснет на крюке мясника в открытой лавке на грязной плаза в Лос Мадрес, застыв широко раскрытыми глазами, шелудивая шкура однако не тронута, чёрные блохи прыгают на фоне залитой солнцем цементной штукатурки каменной церковной стены по ту сторону площади, потемневшая кровь запеклась в ране на собачьей глотке, где зубы Ваппо порвали сонную артерию (а может и и пару сухожилий впридачу, потому что голова свесилась набок). Крюк вонзён со спины между двух позвонков. Мексиканские дамы тычут в дохлого пса, и он неохотно покачивается в предполуденном рыночном запахе платанос для поджарки, сладких морковок из Долины Красной Реки, помятой зелени всевозможных видом, цилатро отдающих мускусом животных, крепких белых луковиц, забродившихся на солнце ананасов, готовых вот-вот лопнуть, большущих пёстрых полок с горными грибами. Слотроп проходит меж ларей и висячих тряпок, невидимый, среди лошадей и собак, свиней, милиции в коричневой форме, индианок с младенцами вложенными в шали, слугами из побелённых домов дальше на склоне холма—плаза полнится жизнью и Слотроп изумлён. Разве тут не должно быть только по одному от всякого?

Отв.: Да.

Вопр.: Значит одна девушка индейка…

Отв.: Одна чисто индейка. Одна *mestiza*. Одна *criolla*. Потом: одна Якви. Одна Навахо. Одна Аппачи—

Вопр.: Минуточку! Начнём с того, что был только один индеец, которого Крукфилд убил.

Отв.: Да. Рассматривайте это как вопрос оптимизации. Страна в состоянии хорошо поддерживать только одного от всякого.

Вопр.: Тогда как же все остальные? Бостон. Лондон. Те, что живут в городах. Те люди реальны или как?

Отв.: Некоторые реальны, а некоторые нет.

Вопр.: Ну а реальные, они нужны? или не нужны?

Отв.: Это зависит от того, что вы имеете в виду.

Вопр.: Блядь, я ничего не имею в виду.

Отв.: Зато мы имеем.

На миг десять тысяч трупов заметённых снегом в Арденнах обретают лучезарно Диснеландовский вид пронумерованных младенчиков под белым шерстяным одеялом, дожидаясь пока их пошлют осчастливленным родителям в такие места как Ньютон Апер Фолз. Это длится всего лишь миг. А в следующий кажется, будто все рождественские колокола этого мира вот-вот сольются в единый хор—что весь их разноголосый перезвон станет, на этот раз, управляемым, гармоничным, разнося весть совершеннейшего утешения, достижения счастья.

Но зарулим сегвей на склон Роксбери. Снег набился в его дуги, в рубчатые бороздки на его чёрных резиновых подошвах. Его снегоходы бряцают своими ступнями. Снег в этом трущобном мраке похож на сажу в негативе… он втекает в ночь и вытекает прочь… Кирпичные плоскости в дневном свете (он видит их только на рассвете, с болезненным стиском своих галош, высматривая машины вверх и вниз по Холму) обращаются в пылающую ржавчину, плотную, глубокую, скованную морозами одним за другим: запечатлены какими ему никогда не виделись на Бикон-Стрит...

В тени, с узором чёрно-белых пятен панды по его лицу, каждое из которых нарост или масса рубцующихся шрамов, ожидает его знакомый, ради встречи с которым он проделал весь этот путь. Лицо дряблое, как у домашней собаки, а владелец лица непрестанно подёргивает плечами.

Слотроп: Где он? Почему не пришёл? Ты кто?

Голос: Парнишку пришили. И ты меня знаешь Слотроп. Забыл? Меня зовут Никогда.

Слотроп: (вглядываясь)Ты, *Никогда*? (пауза) *Сделал* Парнишку из Кеноши?

* * * * * * *

> «Криптосем» является приватизированной формой тайросина, разработанной IG Farben в рамках исследовательского контракта для OKW. В его состав вводится добавка от активирующий агента, что в присутствии некоего компонента в семенной плазме, на сегодняшний день невыявленного [1934], способствует превращению тайросина в меланин, или кожный пигмент. В отсутствие семенной жидкости, «Криптосем» остаётся невидимым. Никакие иные известные реагенты, среди доступных оперативным исполнителям при исполнении их заданий, не превратят «Криптосем» в визуально различимый меланин. Предлагается, для применения в криптографических целях, прилагать к сообщениям надлежащий стимул ведущий к набуханию и семяизвержению. Тщательное ознакомление с психосексуальным профилем адресата явится крайне полезным.

—Проф. Д-р Ласло Джамф, «Криптосем»

(рекламная брошюра) Агфа, Берлин, 1934

Набросок на плотной кремовой бумаге под чёрно-буквенным штампом GEHEIME KOMMANDOSACHE, в мелких подробностях передаёт, чернилом и ручкой, фигуру, несколько в стиле скабрезных картинок фон Байроса и Бирдсли. Женщина полный дубликат Скорпии Мосмун. Комната вокруг неё из тех, о которых они говорили, но никогда не видели, комната, где им бы хотелось поселиться однажды, углубление бассейна, шёлковый тент ниспадающий с потолка—прямо тебе съёмочная площадка Де Милля, стройные умащённые девушки прислужницы, намёк на полуденный свет с потолка, Скорпия раскинулась среди пухлых подушек точно копирующих корсетки бельгийского кружева, в тёмных чулках и туфельках, как он и воображал довольно часто, но никогда— Нет конечно же, он ни разу ей этого не сказал. Он никому не говорил. Как любой молодой человек выросший в Англии, он рефлективно испытывал эрекцию в присутствии определённых фетишей, а затем рефлективно сгорал от стыда за свои новые рефлексы. Может Они (Они?) где-то держат досье, как-то умудрились отследить всё, что он смотрел или читал достигнув полового созревания… откуда же ещё могли Они узнать?

– Тсс,– шепчет она, лаская пальцами свои длинные оливковые ляжки, голые груди выложены поверх края её одежды. Лицо обёрнуто к потолку, но глаза глядят прямо в глаза Пирата, длинные, сузившиеся от вожделенья, две точки света блестят сквозь густые ресницы…– «Я оставлю его. Мы переедем жить сюда. Будем непрестанно заниматься любовью. Я твоя, и всегда это знала...»– Язык пробегает по остреньким зубкам. Её мохнатая пизда средоточие всего освещения, у него во рту появляется привкус, который придётся почувствать вновь...

Однако Пират чуть не облажался, едва успел выдернуть хуй из штанов, и во все стороны враз полетели брызги. Впрочем, спермы хватило и для смазки чистого кусочка бумаги приложенного к картинке. Затем постепенно, сквозь перламутровую плёнку его семени, проступило негроидно-коричневое сообщение: изложено в простейшей нигилистической транспозиции, чьи ключевые слова он мог бы почти угадать. Большую часть он дешифрует в уме. Указано время, место, а к ним просьба о помощи. Он сжигает сообщение свалившееся на него из-за пределов земной атмосферы, подобранное на нулевом меридиане, картинку оставляет себе, хм, и моет руки. Простата его постанывает. За этим что-то большее, чем он может разгадать. Ему не уклониться, не отмолиться: он должен отправиться туда и вывезти агента обратно. Сообщение равносильно приказу от самых верхних эшелонов.

Далеко, сквозь дождь, доносится взрыв ещё одной Германской ракеты. Третья за сегодня. Они штурмуют небо как Вотан и его обезумелая рать.

Руки Пирата, его персональные роботы, начинают рыскать по выдвижным ящикам отыскивая все нужные бумаги и формы. Поспать сегодня не получится. Похоже, предстоит выдвинуться без чашки горячего и сигареты на дорожку. За что?

* * * * * * *

В Германии, всё ближе к концу, письменами на стенах стало WAS TUST DU FÜR DIE FRONT, FÜR DEN SIEG? WAS HAST DU HEUTE FÜR DEUTSCHLAND GETAN? По стенам в «Белом Посещении» пишет лёд. Граффити льда в пасмурный день остекляет тёмную кровь кирпича и терракоты как бы сберечь дом свеженьким, обтянутым какой-то кожей прозрачно музейного пластика, архитектурная памятка, старомодный аггрегат, чьё назначение забыто. Толщина льда разнится, меняется, мутнеет, надпись для дешифровки повелителями зимы, региональными гласиологами, и для диспутов в их журналах. Вверх по склону, с приближением к морю, снег скапливается словно подсветка во всех наветренных закутках древнего аббатства, крыша давным-давно содрана по маниакальному капризу Генри VIII, стены оставлены прочёсывать оконными проёмами, без святых, и смягчать солёный ветер налетающий в ходе повторяющейся смены времён года в пучках травянистого пола от зелёного, к соломенному, к снегу. Из дома в палладинском стиле архитектуры на дне его вдавленной и сумрачной ложбины, это единственный пейзаж: аббатство либо же мягкая пестрота волнистой возвышенности. Морскией виды исключаются, хотя по некоторым дням с приливом доносится его запах, вонь своего подлого происхождения. В 1925, Рег Ле Фройд, пациент «Белого Посещения», сбежал—пронёсся через верхний город и встал покачиваясь на краю отвесного утёса, волосы и госпитальный халат трепещут под ветром, над раскинувшейся на многие мили ширью южного побережья, бледнеет мел скал, волноломы и морские променады теряются направо и налево в мареве над водами моря. За ним пришёл констебль Стаглз, во главе любопытной толпы. «Не прыгай!»– кричит констебль.

– Я и не думал,– Ле Фройд продолжает вглядываться в море.

– Тогда что ты тут делаешь? А?

– Хотел посмотреть на море,– объясняет Ле Фройд.– Я никогда не видал. Хотя и родственник, по крови, знаете ли, морю.

– Вон оно что,– хитрый Стаглз подбирается всё ближе,– значит, родственников посещаете, очень мило.

– Отсюда слышно Бога Моря!– кричит Ле Фройд изумлённо.

– Ну и ну, и как его зовут?– Оба, с мокрыми лицами, орут против ветра.

– Не знаю,– кричит Ле Фройд,– а какое подошло бы?

– Берт,– предлагает констебль и пытается вспомнить правой рукой хватать левую повыше локтя, или же левой за…

Ле Фройд оборачивается и в первый раз видит собеседника и толпу. Глаза его становятся круглыми и покорными.– «Берт хорошее имя».– Говорит он и делает шаг спиною вперёд в пустоту.

Вот и всё, что горожанам Ик Региса досталось от «Белого Посещения» в виде развлечения—на фоне ежелетнего глазенья на румяный или веснушчатый поток из Брайтона, Флотсома и Джетсома, что изливает каждый день беспроволочной истории в песню, на фоне закатов над променадом, глазниц линз переливающихся в свете моря, что разливается то буйно, то утихомирено в небе, аспирина на ночь—тот прыжок Ле Фройда единственный аттракцион перед войны.

С разгромом Польши, министерские кортежи стали вдруг замечаться в направлении к «Белому Посещению» в любой час ночи, тихие как шхуны, моторы приглушены—чёрные машины без хрома, что отблескивали светом звёзд, а в их отсутствие маскировались лицом, которое вот-вот вспомнится где ты его, если бы память не подводила... Потом, с падением Парижа, на скале установили радиопередающую станцию, с антеннами нацеленными на Континент, под усиленной охраной, а их наземные линии скрытно протянулись по низинам к дому под круглосуточной охраной псов специально обманутых, избитых, измученных голодом для выработки рефлекса прыгнуть и убить, при малейшем человеческом приближении. Может, кто-то на Самом Верху вознёсся ещё выше—в смысле, рехнулся? Или Наша Сторона пытается деморализовать Германского Зверя передачей бессвязных мыслей безумцев, изложением ему, также в традициях констебля Стаглза в тот знаменательный день, глубинного, едва различимого? Ответом будет, да, всё из вышеперечисленного и много кой-чего к тому же.

Спросите их, в «Белом Посещении», про стратегический план Майрона Грантона из Би-Би-Си, чей тающе шоколадный голос годами торил путь из обтрёпанных динамиков беспроволочных приёмников к Английской Мечте, для затуманенных

старческих голов и детей почти безнадзорных… Ему приходилось постоянно отклоняться от заготовленного плана, полагаться на первых порах лишь на голос, не располагавший столь нужной информацией, пытавшийся без всякой опоры затронуть немецкую душу чем подвернётся, тут и допросы военнопленных, и учебники МИДа, и братья Гримм, и собственные туристические воспоминания (флешбэки в молодую бессонную эру Довса, виноградники до того зелёные в потоках солнца, окаймляющие южные склоны вдоль течения Рейна, ночь в дыму камвольных кабаре столицы, подтяжки с оборочками словно две косицы из гвоздик, шёлковые чулки, каждый высвечен своим подчёркивающим светом…) Но наконец, пришли Американцы и контора под названием ВКСЭС, и ошеломительные суммы денег.

Проект назван *Операция Чёрное Крыло*. Охрененно выверенная конструкция, прорабатывалась пять лет. Никто не может назвать её своей, даже и Грантон. Генерал Айзенхауэр ввёл основополагающий принцип, идея «стратегии правды». Айк требовал чего-то «реального»: крючок на исклёванной стенке для расстрелов, чтобы имелось на что цеплять правдивую историю. Пират Прентис из УСО вернулся с первыми чёткими данными, что в Германии есть настоящие африканцы, Иреро, экс-угнетённые из Юго-Западной Африки, каким-то образом задействованные в программе секретного вооружения. Майрон Грантон, по вдохновению, однажды ночью выпустил в эфир абсолютно спонтанный пассаж, который нашёл отражение в первой директиве *Чёрного Крыла*: «Германия обращалась со своими африканцами как строгий, но любящий отчим, наказывала их, когда следовало, зачастую смертью. Помните? Но это было далеко на далёком Südwest и с тех пор появилось новое поколение. Теперь Иреро живёт в доме своего отчима. Возможно ты, слушатель, видел его. Теперь он встаёт, несмотря на комендантский час, и смотрит на своего спящего отчима, невидимый, покрытый ночью того же цвета, как и он сам. О чём они думают? Где в эту ночь Иреро? Что они делают в эту минуту, твои тёмные тайные дети?» И *Чёрное* Крыло даже нашли Американца, Лейтенанта Слотропа, согласившегося на лёгкий наркоз с тем, чтобы провентилировать тему расовых проблем в его собственной стране. Бесценное дополнительное измерение. Ближе к концу, когда стали поступать более обширные данные о чуждой морали—янки-социологи с блокнотами для опросов в скрипуче новых башмаках или галошах посещающие по мягкому снежку освобождённые руины, чтобы докопаться до трюфелей истины, которые, как полагали древние, возникают от удара молнии во время грозы—связному из Американского ОПВ удалось переправить копии и довести до сведения «Белого Посещения». Теперь трудно выяснить кто предложил имя «*Schwarzkommando*». Майрон Грантон стоял за «Wütende Heer», тот взвод духов, что топтал пустоши неба в бешеной скачке ватаги с великим Вотаном во главе—Майрон признал, что это скорее северный миф. Эффективность в Баварии может оказаться ниже оптимальной.

Они постоянно поминали эффективность, одну из Американских ересей, возможно даже чересчур, в «Белом Посещении». Громче всех, как правило, м-р Пойнтсмен, часто применявший в виде боекомплекта статистику предоставленную Роджером Мехико. К моменту высадки в Нормандии, Пойнтсмен переживал сезон глубокого

отчаяния. Он пришёл к пониманию, что большие континентальные клещи были таки обречены на успех. Что эта война, это состояние, чьим гражданином он начал себя чувствовать, будет отменено и переформировано в мир—и что, выражаясь языком профессионалов, ему в нём мало чего светит. Финансы направляются на всевозможные радары, волшебные торпеды, самолёты и ракеты, а с чем остаётся Пойнтсмен при таком раскладе? Он временный управляющий, вот и всё: его Отдел Исследований Абреакции (ОИА), в который удалось согнать десяток подчинённых, дрессировщика собак из театра варьете, пару студентов ветеринарии, даже крупную рыбину, эмигранта д-ра Поркиевича, который работал с самим Павловым в институте в Колтушах, перед тем как начались чистки с репрессиями. Сообща, команда ОИА получала, регистрировала, взвешивала, классифицировала темпераменты по Гиппократу, размещала по клеткам и затем экспериментировала на дюжине свежих собак в неделю. Ну и плюс ещё коллеги, совладельцы Книги, все нынешние—все что остались из изначальных семерых—работающие по госпиталям, где занимаются контуженными и доведёнными в боях до срыва, которых привозят через Пролив, а также бомбо- или ракето-сдвинутыми на этом берегу. Им приходится наблюдать больше абреакций в эти дни усиленных V-бомбардировок, чем докторам былого доводилось наблюдать за несколько поколений, что и даёт им право предлагать новые подходы в исследованиях. УПП скупердяйски, по капле, вливает деньги, жалкий шелест бумажек через корпоративное сито, хватает, чтобы продержаться, достаточно, чтобы оставаться колонией в войне метрополии, недостаточно для статуса государственности... Расходы на статистические графики Мехико, из расчёта капель слюны, веса тела, напряжения в вольтах, уровней громкости, частоты метронома, дозировки брома, количества отрезанных нервных окончаний, процента удалённой мозговой ткани, с датами и часами усыпления, оглушения, ослепления, кастрации. Поддержка поступает также от Секции Пси, колонии покладистых пофигистов, у которых вообще нет мирских интересов.

Старик Бригадный Генерал Падинг вполне способен уживаться с этой шайкой спиритуалистов, у него и самого уже тенденции в ту же сторону. Но при наличии Неда Пойнтсмена, с его неотвязными комбинациями для уловления денег—Падингу следует почаще оглядываться и не забывать о вежливости. Не такой рослый как его отец, и уж точно не такой румяный. Служил в полку Громобоя Прода, словил кусок шрапнели в бедро в Многоугольном Лесу, молча пролежал семь часов пока они, не говоря ни слова, в этой грязи в этой вонище, в, да, Многоугольный Лес… или может это—где это тот парень был жёлтоволосый, который спал не снимая шляпы? аааx, брось. В общем, Многоугольный Лес… но тоже как-то ускользает. Поваленные деревья, трупы, однотонно серое, расщепленноедеревокакзамёрзшийдым… жёлтый… гром… бестолку, без всякого грёбанного толку, ускользнуло, опять ускользнуло, опять, ох…

Возраст старого Бригадного Генерала неясен, хотя наверняка волочит за 80—призван из отставки в 1940, задействован в новом качестве, не только для поля боя—где фронт каждый день ежечасно меняется, как удавка, как золотисто-мерцающие границы сознания (хотя, пожалуй, не стоит тут слишком злорадствовать, в точности как они… так что, хватит «как удавка»)—но то же

состояние войны, та же структура. Падинг задаётся вопросом, порою вслух и в присутствии подчинённых, в ком из его врагов такая к нему ненависть, что добился его назначения в службу Политической Борьбы. Тут приходится согласовывать свои действия—но слишком часто в ошеломительном диссонансе—с прочими поименованными сферами Войны, колониями этого Материнского Полиса охватывающего всё, чья сфера производства это систематическая смерть: УПБ перехлёстывается с Министерством Информации, с Европейской Службой Би-Би-Си, с Управлением Спецопераций, с Министерством Экономической Борьбы и Отделом Политической Разведки при МИДе в Фицморис-Хаус. Среди остального прочего. С приходом Американцев, нужно координироваться с их ОСС, ОВИ и Армейским Отделом Психологической Борьбы. Недавно сформирован объединённый Отдел Психологичекой Борьбы при ВКСЭС напрямую подчинённый Айзенхауэру и, чтобы охватить всё это, Лондонский Совет Координации Пропаганды, у которого вообще ни малейшей реальной власти.

Кто не заблудится среди этого махрового лабиринта аббревиатур, стрелок **Жирных** и пунктиром, клеточек крупных и мелких, имён напечатанных и заученных на память? Только не Эрнест Падинг—такое для Новых Парней с их зелёными антенками настроенными на излучения власти, чтоб приспособившись использовать, натасканными в Американской политике (знают разницу между сторонниками Нового Курса в ОВИ и восточными, богатыми на деньги республиканцами из ОСС), которые держат в своём мозгу досье на бзики, слабости, привычки в еде, эрогенные зоны всех, кто может когда-то пригодиться. Эрнест Падинг был воспитан верить в буквальную Цепь Командования, как церковники ранних столетий веровали в Цепь Бытия. Новейшие геометрии сбивают его с толку. Величайший триумф его военной карьеры случился в 1917, в загазованной, армагеддонской грязи Иприйского клина, где он завоевал полоску ничейной земли, около 40 метров в ширину, потеряв всего лишь 70% личного состава своего подразделения. Его отправили на пенсию где-то с началом Великой Депрессии—сидеть в кабинете пустого дома в Девоне, в окружении фотографий старых товарищей, чей взгляд как-то не получается уловить, и где он прикипел к определённой точке в комбинаторном анализе, излюбленному времяпрепровождению отставных армейских офицеров, со страстной увлечённостью.

Ему пришло в голову сосредоточиться на европейском балансе сил, по причине хронической патологии которого он однажды очутился в глубоком, без надежд на пробуждение, кошмаре Фландрии. Он начал необъятный труд озаглавленный Что Могло бы Случиться в Европейской Политике. Начиная, разумеется, с Англии, «Во-первых», написал он, «В начале начал: Рамсей МакДональд мог бы умереть». Пока он описывал вытекающие партийные изменения и перестановки на постах в кабинете, Рамсей МакДональд умер. «Не угонишься»,– поймал он себя на бормотании перед началом ежедневного труда,– «выкручиваются от меня. Ох, скользки, да ещё как изворотливы.»

Когда докрутилось до немецких бомб падающих на Англию, Бригадный Генерал Падинг отставил свою навязчивую идею и добровольно вызвался служить своей стране. Если бы он знал тогда, что это приведёт в «Белое Посещение»… не то, чтобы он ожидал пост полевого командира, понимаете ли, однако разве там не упоминалось что-то о разведывательной службе? Вместо этого, ему досталась заброшенная больницу для умалишённых, с парой символических лунатиков, громадная свора краденых собак, клики спиритуалистов, актёров варьете, радиотехников, Куеистов, Успенскистов, Скинеристов, энтузиастов лоботомии, фанатиков Дейла Карнеги, все оторваны текущей войной от своих любимых затей и маний катившихся, продлись мир дольше, к провалу в той или иной степени—но теперь их надежды сфокусировались на Бригадном Генерале Падинге и возможном финансировании: больше надежд, чем эта недоразвитая До-Войны отрасль, когда-либо могла предложить. Падингу остаётся лишь занять позицию в стиле Старого Завета по отношению к ним всем, не исключая собак, и втайне изумляться и уязвляться тем, что представляется ему актом предательства со стороны высших штабных эшелонов.

Снеговой свет вливается через высоченные многостворчатые окна, день тёмен, свет включён лишь в некоторых кабинетах. Курсанты кодировщики, подданные с завязанными глазами, объявляют свои догадки карт из колоды Зенера в замаскированные микрофоны:–«Волны… Волны… Крест… Звезда...» Покуда кто-то из Секции Пси записывает их из динамика внизу в холодном подвале. Секретарши в шерстяных шалях и резиновых галошах дрожат от зимнего холода, вдыхаемого через множество щелей сумасшедшего дома, у клавишей их пишущих машинок зуб на зуб не попадает. Мод Чилкс, которая сзади похожа на фотографию Марго Асквит снятую Сесилом Битоном со спины, сидит, мечтая о булочке и чашке чая.

В крыле ОИА, краденые собаки спят, чешутся, вспоминают тени запахов людей, которые возможно их любили, угрюмо слушают осцилляторы и метрономы Неда Пойнтсмена. Сдвинутые шторы оставляют лишь хрупкие струйки света снаружи. Техники движутся позади толстого окна наблюдения, но их халаты, зеленоватые и подводнолодочные сквозь стекло, колышутся замедлено, не ярко… Царит оцепенение, или войлочная сумеречность. Метроном на 80 в секунду застучал деревянными отголосками и пёс Ваня, привязанный поверх испытательного стенда, начинает исходить слюной. Все прочие звуки жестоко подавлены: балки подпирающие лабораторию задушены в заполненных песком комнатах, мешки с песком, солома, униформа мертвецов заполнили пространства меж стен в комнатах без окон… где сиживали чокнутые со всей страны, ссорясь, нюхая оксид азота, хихикая, рыдая при переходе аккорда ми мажор в соль-диез минор, теперь кубические пустыни, песчаные комнаты, чтобы метроном царствовал тут, в лаборатории за железными дверями запертыми герметически.

Канал подчелюстной железы пса Вани давно уже выведен через его подбородок и накрепко пришит сливать слюну наружу в накопительную воронку, закреплённую традиционно оранжевым Павловским канифольным цементом, окисью железа и пчелиным воском. Вакуум проносит секрецию по блестящему трубкопроводу,

чтобы сдвинуть колонку светло-красного масла, вправо вдоль шкалы маркированной в «каплях»—произвольная единица измерения, возможно не такая, как фактические капли падавшие в 1905 году в Санкт-Петербурге. Но количество капель для данной лаборатории и пса Вани и метронома на 80 всякий раз предсказуемо.

Теперь, когда он вошёл в «эквивалентную» фазу, эту первую из трансграничных фаз, некая мембрана, едва заметная, протягивается между псом Ваней и внешним миром. Внешний и внутренний остаются точно такими же, как они и были, но связующий их интерфейс—кора мозга пса Вани—меняется всевозможнейшим образом, что так характерно для этих трансграничных случаев. Теперь уже неважно насколько громко тикает метроном. Усиленный стимул уже не вызывает сильной реакции. То же самое количество капель вытекает или падает. Лаборант подходит и убирает метроном в дальний угол этой заглушённой комнаты. Он спрятан в ящик под подушку с вышитой надписью *Вспоминая Брайтон*, но капли не прерываются… затем звук подаётся через микрофон в усилитель, так что каждый «тик» наполняет комнату как вскрик, но капель не добавляется. Всякий раз прозрачная слюна толкает красную линию до той же самой отметки, количество капель не изменилось...

– Эт-от старык не име-эт стыд,– Гёза Рожавёлги, ещё один эмигрант (и несдержанно анти-Советски настроенный, что создаёт определённую напряжённость в ОИА), вскидывая руки в сторону Бригадного Генерала в оживлённом отчаянии, взвеселённый венгро-цыганский шёпот тарахтит как тамбурины по всей комнате, отвлекая, так или иначе всех, за исключением самого престарелого Генерала, который продолжает бубнить с кафедры в помещении, которое служило частной часовней когда-то давно, в маниакальный период 18-го столетия, а теперь стало пусковой площадкой для «Еженедельных Брифингов», ошеломительный поток старческих рассуждений, служебной паранойи, сплетен про Войну, в которых может содержаться или не содержаться секретная информация, воспоминания о Фландрии… угольные ящики с неба с рёвом падают прямо на тебя… ураганный огонь такой молочно светящийся в ночь его дня рождения… мокрая равнина снарядных воронок на многие мили вокруг и открытое ветру осеннее небо… и что сказал Хейг, вот же был остряк, однажды в офицерской столовой по поводу отказа Лейтенанта Сассуна участвовать в войне… артиллеристы по весне в их развевающихся зелёных халатах… дорожные обочины и разлагающиеся трупы бедных лошадей в абрикосовых сумерках рассвета… двенадцать спиц опрокинутого артиллерийского орудия—грязевой циферблат, зодиак из грязи, налипшей и затвердевшей под солнцем разными оттенками коричневого. Грязь Фландрии сбивавшаяся в творожистую массу фактурой как бы чуть разжиженное человечье говно, громоздилось, покрытое мостками, прорезанное траншеями исковырянное снарядами лиги говна в любом направлении, нигде нет хотя бы почернелого обрубка дерева—и тут старый рехнувшийся актёр разговорного жанра пытается сотрясти кафедру вишнёвого дерева, как будто самым худшим во всём ужасе Пашендейла, являлась эта недостача хоть доли вертикальности... А он продолжает болтать, не смолкая, о рецептах приготовления свёклы сотней способов и все такие вкусные

или же бахчевые невообразимости типа Тыквенного Сюрприза Эрнеста Падинга—да, в них есть что-то садистское в этих рецептах с «сюрпризом» в наименованиях, голодному парню охота просто поесть, сам знаешь, ему не до сюрпризов, а просто откусить (вздох) старой картофелины и быть вполне уверенным, что внутри не попадётся ничего кроме картошки, ясное дело, а не какой-нибудь заумный «Сюрприз!», не какая-то размятая кашица вся лиловая из-за гранатов или ещё там чего… да, и это уже шутка сомнительного толка, которую любит сыграть Бригадный Генерал Падинг: как он хмыкнул, когда доверчивые обеденные гости взрезают ножом его пресловутую Жабу-в-Дырке, сквозь честный йоркширский кляр до самого—ве! что это? беф *rissolé*? фаршированный беф *rissolé*? Или может быть сегодня пюре с самфиром, что отдаёт морем (который ему еженедельно доставляет один и тот же толстый сынок рыботорговца, крутит педали, пыхтит, на своём велосипеде до самого верха белой меловой скалы)—ни один из этих странных, очень странных овощных *rissolé* не напоминают обычную «Жабу», а скорее смахивают на испорченных полоумных созданий, с которыми Молодые Ребята из Королей Дороги вступают в Связи в шуточных стишках—у Падинга тысячи таких рецептов, которыми он беззастенчиво делится с составом ПРПУК, как и, чуть позже в еженедельных монологах с самим собой, строчкой другой, на восемь тактов из «Ты Предпочёл бы быть Полковником с Орлом на Плече, или Рядовым с Цыпонькой на Колене?» затем, возможно затяжное изложение всех его финансовых затруднений, всех, начиная со времён предшествовавших ещё даже созданию Электра Хаус Груп… о его междоусобицах, в которые он преломлял копья своими письмами в *Таймз* против критиков Хайга...

И все они сидели там под очень высокими почернелыми окнами в свинцовых крестах фрамуг, позволяя ему его дурость, собачники сбившись сворой в одном углу, передавая записки, склонясь друг к другу пошептаться (они сговариваются, сговариваются, во сне или наяву они никогда не перестают), компашка Секции Пси чётко на другой половине комнаты—будто у нас тут какой-то парламент… каждый годами занимал его собственное неповторимое место на церковной скамье и свой угол обзора отклонений у рыжеватого с пятнами печени на коже Бригадного Генерала Падинга—а эмигранты-прочих-убеждений россыпью между этими двумя крылами: баланс сил, если таковой когда-либо случался в «Белом Посещении».

Д-р Рожавёлги чувствует, что вполне бы и мог случиться, если бы ребята «разыграли свои карты правильно». Главная задача сейчас выжить—пережить жуткий интерфейс Дня Победы, жить дальше в грядущем светлом После Войны сохранив чувства и память здравыми. Нельзя допустить, чтобы ПРПУК отправился под молот с остальным блеющим стадом. Должен подняться, и чертовски скоро, способный сплотить их в фалангу в сконцентрированную световую точку, некий лидер или программа достаточно мощная, чтобы продолжать её ещё кто знает сколько лет После Войны. Д-р Рожавёлги предпочёл бы сильную программу сильному лидеру. Может потому, что это 1945. В те дни многие полагали, что за Войной—за всеми смертями, жестокостью и разрушением—лежал *Führer*-принцип. Но если возможно заменять личности абстракциями власти, если заведенные корпорациями приёмы срабатывают, то разве не смогут

народы жить рационально? Одна из самых сладких надежд После Войны: что не останется места для такой ужасной болезни как харизма… на смену ей придёт её рационализация, которой и следует придерживаться насколько хватит времени и ресурсов...

Нужно ли пояснять, что главную ставку д-р Рожавёлги делает на этот недавний проект, вокруг фигуры Лейтенанта Слотропа? Из всех психологических тестов в досье субъекта, отслеживающих его до дней в колледже, налицо больная личность. «Рожа» прихлопывает папку рукой, для выразительности. Служебный стол содрогается.– «Напри-мэр: его Минесо-та, Мул-тэ-фазык Лыч-ност-ный Пере-чэн чрэз-вы-чаэно нерав-но-мэрны, всегда к псико-патычни и нездоро-вы скло-ност».

Однако, преподобный д-р Де ла Нут не любит ММЛП:– «Рожа, разве имеются весы для измерения межличностных характерных черт?» Орлиный нос пробует, испыту́ет, глаза опущены в политичной кротости.– «А для общечеловеческих ценностей. Вера, честность, любовь? Имеются ли—простите мою особую настойчивость—весы религиозности, вообще?»

Не пройдёт, падре: ММЛП разработан в 1943. По самой что ни на есть серёдке Войны. Исследование Ценностей Олпорта и Вернона, Перечень Бернройтера переработанный Фланаганом в 35-м—тесты времён до Войны—кажутся Полу Де ла Нут более гуманными. Похоже всё, что определяют тесты ММЛП – выйдет из человека хороший солдат или плохой.

– На солдат нынче большой спрос, преподобный Доктор,– бормочет Пойнтсмен.

– Я только надеюсь, что мы не станем слишком полагаться на его показателям в ММЛП тесте. Такой подход выглядит чересчур узким. Упускаются обширные области человеческой личности.

– Имэн-но почэму,– впрыгивает Рожавёлги,– мы тепэр предлага-эм дат Слотропу совэр-шэнно ын-ной рода тэст. Мы разраба-ты-ваэм для нэго так называ-эм проэктыв-ни тэст. Наибол-шэ знакоми примэр этот тип, ест Роршач кляксы. Основни тэория ест, когда мы предлага-эт не-струк-туры-ровани стимулюс, бэз-форми кляк-са пере-жыто-го, су-бэкт пыта-этся нало-жыт струк-тура на эт-та. Как он структуриро-ват дан-ни клякса, отража-эт его потрэб-ности, его над-эжды—показыва-эт нам разгад-ки к его мэч-ты, фан-та-зи, сами глубоки районы его соз-нани.– Брови движутся милю в час, необычайно плавная изысканная жестикуляция рук, напоминающая—скорее всего, так и задумано, но кто упрекнёт Рожу за использование удобного случая—одного из самых знаменитых его земляков, хотя имеются и нежелательные побочные эффекты: сотрудники, которые могут поклясться, что видели его ползущим вниз головой по северному фасаду «Белого Посещения», например. «И-так мы в пол-ном сог-ла-сыи, Преподобны Доктор. Тэст, как ММЛП, в дан-ны слу-чай, не-адекват-эн. Он ест структуриро-вани стимулюс. Субэкт может фалсифи-цыроват, сознателно, или подавит, без-сознателно. Однако при проэктивни тэкник, он мож-эт дела-эт что

хочэт, сознателно или без-сознателно, но не мож-эт мешат нам узнат что мы хотым узнат. Мы контролирова-эт. Он не мож-эт помогат себе.

– Нужно заметить, это не совсем ваша чашка чая, Пойнтсмен,– улыбается д-р Аарон Тровстер.– У вас стимулы, по большей части, структурированы.

– Ну скажем, я нахожу в этом некое постыдное очарование.

– Нет, не скажем. Не говорите мне, будто вы не собираетесь наложить свою милую Павловскую лапу на это всё.

– Ну отчасти, Тровстер, отчасти. Раз уж вы затронули. Мы тоже рассчитываем на весьма структурированный стимул. Тот самый, фактически, что стал источником нашего интереса. Желательно подвергнуть Слотропа немецкой ракете...

Вверху, на лепную штукатурку потолка, втиснулась методистская версия царства Христова: львы лижутся с ягнятами, фрукты рассыпаются щедро и безостановочно в руки и под ноги джентльменам и леди, пастушкам с молочницами. У всех несколько сдвинутое выражение. Крохотные создания глядят с вожделением, звери лютые типа как под наркотиком или уколом успокоительного, а из людей никто вообще в глаза не смотрит. Потолки «Белого Посещения» тоже не единственная здесь сумасбродность. Это классический «дорогостоящий каприз». Пивной погреб был спланирован как арабский гарем в миниатюре, по причинам, о которых сегодня мы можем лишь гадать, полон шелков, лепнины и смотровых щелей. Одна из библиотек какое-то время служила свинарником, пол углублён на метр и подменён грязью до порогов для здоровенных Глостерширских Пятнистых, чтобы те баловались, хрюкали и прохлаждались в летние сезоны, поглядывая на полки книг в матерчатых обложках, прикидывая каковы на вкус. Эксцентричность вигов в этом доме доводится до самых нездоровых крайностей. Комнаты треугольные, сферичные, сменяющиеся лабиринтом из стен. Портреты, диссертациz генетической курьёзности, уставились или ухмыляются тебе из любой точки наблюдения. Туалеты украшены фресками с Клайвом и его Индийскими слонами топчущими Французов, фонтаны представляют Саломэ с головой Иоанна (вода плещет из ушей, рта и носа), мозаика полов выплетает различные версии *Homo Monstrosus*, довольно интересное занятие в ту эпоху—циклопы, гуманоидные жирафы, сросшийся кентавр на все четыре стороны. Повсюду арки, гроты, штукатурка в растительной аранжировке, стены завешены истёртым бархатом или парчой. Балконы выпячиваются в самых неожиданных местах, увешанные горгульями, чьи клыки многим из новичков рассекли головы. Даже в проливные дожди монстры способны лишь изредка капать—питающим их водосточным трубам, уже которое столетие требуется ремонт, издырявлено тянутся по черепице и под карнизами, мимо потресканных пилястров, болтающихся Купидонов, терракотовой облицовки на каждом этаже, вдоль бельведеров и рустованных швов, псевдо-итальянских колонн, торчащих минаретов, покосившихся дымовых труб—издалека ни одна пара наблюдателей, как бы близко они ни стояли друг к другу, не увидят совсем одно и то же здание в этой оргии самовыражения, с лептой от каждого из

последующих владельцев до реквизиции в текущей Войне. Фигурно обстриженные деревья сопровождают некоторую часть подъездной дорожки, прежде чем уступить лиственницам и вязам: утки, бутылки, улитки и всадники иссякают с приближением к дороге за железным ограждением, храня бесплодное молчание в тени туннеля вздыхающих деревьев. Часовой, тёмная фигура в белых полосках, с оружием поперёк груди возникает в свете маскировочных фар и ты должен остановиться перед ним. Псы, натасканные и смертельные, следят за тобой из перелесков. Вскоре, как подступит вечер, редкие горькие снежинки начинают падать.

* * * * * * *

А будешь ерепениться, пошлём тебя обратно к д-ру Джамфу!

Джамф привил ему рефлекс, и выбросил стимул.

Похоже д-р Джамф сегодня проверял твою пипетку, а?

—Нейл Носпикер 50,000 Оскорблений, § 6.72

«Невежа Недоросль», Найлан Смит Прес,Кембридж (Массач.) 1933

Падинг: Но не слишком ли это—

Пойнтсмен: Сэр?

Падинг: Разве это не подло, Пойнтсмен? Так вот вмешиваться в сознание другого человека?

Пойнтсмен: Генерал, мы всего лишь присоединяемся к длинному ряду экспериментов и изучения. Гавардский Университет, Армия США? Вряд ли это подлые заведения.

Падинг: Мы не можем, Пойнтсмен, это зверство

Пойнтсмен: Но Американцы уже им занимались! разве не ясно? Мы же не девственницу совращаем, или типа того—

Падинг: Значит, давайте делать это потому, что Американцы так поступают? Позволим им совратить нас?

Где-то около 1920, д-р Ласло Джамф счёл, что раз Ватсон и Райнер с успехом привили «Крошке Альберту» рефлекс ужаса перед чем-угодно мохнатым, будь то даже меховое боа его матери, то Джамф тем более сможет сделать такое же со своим Крошкой Тайроном относительно его младенческого полового рефлекса. Тот год отмечен приездом Джамфа в Гарвард, куда он прибыл из Дармштадта. Это была начальная стадии его карьеры, прежде чем он переключился на

органическую химию (что стало судьбоносной переменой поля деятельности, как знаменитый переход самого Кейкелея в химию из архитектуры за одно столетие до него). На эксперимент ему был выделен небольшой грант от Национального Совета по Исследованиям (в рамках долгосрочной программы НСИ психологических исследований начатых в период Мировой Войны, когда понадобились методы отбора офицеров и классификации призывников). Скудное финансирование и стало, пожалуй, причиной тому, что целевым рефлексом Джамф избрал эрекцию ребёнка. Для замера секреций, как делал Павлов, потребовалась бы хирургия. Измерение «страха», рефлекса выбранного Ватсоном, отличал слишком большой налёт субъективности (что такое страх? сколько будет «много»? Кому определять, при определении в реальной ситуации и нет времени на замедленный процесс сверки с Таблицей Страха?) Приборное оснащение тогда ещё просто отсутствовало. В лучшем случае, он мог бы применить «детектор лжи» Ларсона-Килера из трёх показателей, но тот пребывал ещё на стадии разработки.

Другое дело эрекция, которая либо есть, либо нет. Элегантная бинарность. Задание наблюдения может исполнить даже студент.

Безусловный стимул = поглаживание пениса антисептичным ватным тампоном.

Безусловная реакция = эрекция.

Условный стимул = х.

Условный рефлекс = эрекция в присутствии х, поглаживание уже не требуется, всё, что нужно это только х.

Значит х? а что такое х? Ну это тот самый знаменитый «Стимул Загадка», что вдохновлял не одно поколение студентов бихевиоральной психологии, вот что это такое. Усреднённая колонка на эту тему в студенческих юмористических журналах составляет 1.05 дюйма в год, что, как ни странно, целиком совпадает со средней длиной, отмеченной в отчете Джамфа, эрекции Крошки Т.

На следующей стадии, в традиции таких исследований, сосунка следует лишить условия. Джамф должен, используя терминологию Павлова, «подавить» привитый им рефлекс эрекции, прежде чем выпустить ребёнка. Скорее всего, именно так он и поступил. Однако, как говорил сам Иван Петрович:– «Мало лишь рассуждать о частичном или полном подавлении условного рефлекса, тут следует учитывать также, что затухание *может продлиться* за предполагаемый период сведения рефлекса к нулю. Следовательно, мы не можем судить о степени угасания только по силе проявления рефлекса или его отсутствию, поскольку не исключено *частичное подавление не достигшее пределов* нуля.» *Курсив м-ра Пойнтсмена.*

Может ли условный рефлекс сохраниться в человеке, не проявляясь в продолжении 20 или 30 лет? Угасил ли его д-р Джамф всего лишь до нуля— дождавшись пока ребёнок начал показывать нулевые эрекции на стимул х, и на

том остановился? Может он забыл—или проигнорировал—«частичное подавление вне пределов нуля»? Если проигнорировал, то почему? Что может сообщить Национальный Совет по Исследованиям по этому поводу?

Когда Слотроп был открыт, в конце 1944, «Белым Посещением»—хотя многие там уже знали его как знаменитого Крошку Тайрона—то, как и в случае с открытием Нового Света, разные люди сочли, что они открыли разные вещи.

Роджер Мехико полагает это статистической странностью. Вместе с тем, теперь он чувствует некое шатание основ данной дисциплины, причём более сильное, чем позволительно колебать их какой-либо странности. Странно, странно, странно —вдумайтесь в само слово: это взрывное «т» вслед за «с», переходит—вне пределов своего нуля—в иную область. Конечно, сам-то ты не переходишь. Но постигаешь, умом, что *требуется* для перехода.

Ролло Грост называет это предзнанием: «У Слотропа способность предугадывать место падения следующей ракеты. То, что он до сих пор жив, доказывает – он руководствовался предварительной информированностью, избегая место в момент предварительно предположенного падения ракеты.» Д-ру Гросту не вполне ясно каким образом, если вообще каким-то, это связано с сексом.

Однако Эдвин Трикл, самый фрейдистски настроенный среди физических исследователей, полагает, что дар Слотропа заключается в психокинезе. Это Слотроп, силой своего сознания, *заставляет* ракеты падать туда, где они падают. Может он и не управляет их движением по небу: но, скорее всего, подбрасывает электросигналы в систему наведения ракет. Каким бы способом он ни делал это, секс *безусловно* входит в теорию д-ра Трикла. «Он ощущает подсознательную потребность снять всякий след сексуального Другого, которого на своей карте он символизирует, весьма значимо, *звездой*, этой анально-садистской эмблемой успеваемости, которой так пропитано начальное образование в Америке….»

Именно от карты все они впадают в ужас, той карты, где Слотроп держал учёт своих девушек. Звёзды рассыпаны в дистрибуции Поиссона, как на карте ракетных ударов на карте составляемой Мехико о Блице роботов.

Да, но тут не только дистрибуция. Обе схемы оказались идентичными. Они совпадают в каждом из квадратов. Слайды снимков, которые Теди Блот сделал с карты Слотропа, были спроецированы на Роджерову и обе картинки, девушки-звёзды и кружочки ракетных ударов, полностью совпали.

По счастливой случайности, Слотроп ставил даты на свои звёзды. Звезда всегда появляется до соответствующего ракетного удара. Удар может случиться довольно вскоре, через пару дней, либо задержаться надолго, до десяти. Средняя продолжительность оттяжки 4 ½ дней.

Допустим, рассуждает Пойнтсмен, что стимулом х у Джамфа служил какой-то громкий шум, как и в эксперименте Ватсона-Райнера. Допустим, что, в случае

Слотропа, рефлекс эрекции не был окончательно подавлен. В таком случае, он должен испытывать её при любом громком шуме, который следует за неким зловещим нарастанием, которое отсутствовало в лаборатории Джамфа—которое собаки по сей день ощущают в собственной лаборатории Пойнтсмена. Это подводит к V-1: любой трах-бах достаточно близко, чтобы заставить его подскочить, должен вызывать у него эрекцию: звук двигателя гремящий всё ближе и ближе, затем пауза и тишина, нарастающая напряжённость и—взрыв. Бац, эрекция. Но, о, нет. Слотроп получает эрекцию, когда последовательность направлена *вспять.* Сперва взрыв, затем звук приближения: V-2.

И всё же стимулом, непонятным образом *должна* являться ракета, некое предшествующее видение, некий щедрая подачка Слотропу от ракеты посредством улыбок в автобусе, воздействием на менструальные циклы каким-то загадочным образом—что там ещё заставляет этих шлюшек давать бесплатно? Имеют ли место какие-то колебания на рынке секса, в порнографии и у проституток, возможно даже связанные с изменением курсов на самой бирже, о которых мы, добропорядочно существующие, без понятия? Может новости с фронта добавляют зуда промежду их миленьких ляжек, может желание растёт в прямой или в обратной зависимости от реального шанса нежданной смерти—чёрт побери, какой такой намёк под самым нашим носом нам не хватает смелости или ума заметить?…

Но если это нечто буквально висит в воздухе, прямо тут, прямо сейчас, тогда ракеты следуют ему в 100% случаев. Без исключений. Раскрыв его, мы снова докажем железную детерминированность всего, для каждой души. Что оставит слишком мало места для каким-либо надеждам вообще. Сами понимаете, сколь важным станет подобное открытие.

Они шагают вдоль присыпанных снегом собачьих вольеров, Пойнтсмен в дублёнке поверх Британской зимней шинели, Мехико в шарфе недавно связанном ему Джессикой, что плещет вглубь острова алым драконовым языком—это самый холодный день за всё зиму, 39 градусов мороза. Вниз к скалам, лица мёрзнут, вниз к пустынному пляжу. Волны набегают, соскальзывают обратно, оставляя огромный полумесяц льда тонкий, как кожа, слепящий в слабом свете солнца. Ботинки обоих хрустят по песку или гальке. Самое дно года. Сегодня слышны орудийные раскаты во Фландрии, ветер доносит их через весь Пролив. Руины аббатства стоят словно серый кристалл на утёсе.

В прошлую ночь, в доме на краю закрытого города, Джессика, прижавшись, ещё наплаву перед тем, как сон вот-вот унесёт их, прошептала: «Роджер… а как же девушки?» Вот и всё, что она сказала. Что напрочь смело его сон. Усталый до кости, он лежал ещё битый час с широко открытыми глазами, думая о девушках.

Теперь, зная, что без толку: «Пойнтсмен, а что если Эдвин Трикл прав? Это ПК. Что если Слотроп—даже не осознавая—*заставляет* их падать именно там?»

– Ну тогда у вас есть кое-что, не так ли.

– Но… *зачем* ему. Если они падают там где он был—

– Может он ненавидит женщин.

– Нет я серьёзно.

– Мехико. Вас это действительно трогает?

– Не знаю. Наверное, я подумал не получится ли увязать это, каким-то образом, с вашей ультрапарадоксальной фазой. Возможно с тем… мне надо знать что именно вы хотите найти.

Над ними гуденье эскадрильи B-17-ых, сегодня в необычном направлении, далеко от постоянных коридоров полёта. Позади этих Крепостей синеют брюха холодных облаков и их гладкие пласты в разводах синего—остальная масса тронута обесцвеченным розовым или пурпурным... Крылья и стабилизаторы затенены снизу в тёмно-серый. Тени мягко переходят в чуть более светлый вокруг изгибов фюзеляжа или кабины. Втулки пропеллера возникают из темноты под капотом обтекателей, вращающиеся лопасти невидимы, свет неба окрашивает все подвернувшиеся плоскости в монотонный тускло-серый. Самолёты плывут дальше, чинно, в нулевом небе, стряхивая оседающий на них иней, засевая небо позади себя бело-ледяными бороздами, а их собственный цвет совпадает с некоторыми оттенками облаков, все крохотные окошечки и отверстия полны мягкой черноты, плексигласовый нос отзеркаливает, постоянно кривыми и струящимися, облачность и солнце. Внутри: чёрный обсидан.

Пойнтсмен не раз обсуждал паранойю и «идею противоположностей». Он чиркал восклицательные знаки и как верно в Книге на полях открытого письма Павлова к Жане насчёт ощущений внешнего воздействия и в Главе LV, «Попытка физиологической интерпретации навязчивых идей и паранойи»—он не мог сдержать такую невоспитанность, несмотря на соглашение между совладельцами не делать пометок в Книге—она слишком большая ценностью для подобного обращения, им пришлось складываться по гинее с носа.

Книга приобреталась тайком, в темноте, во время налёта Люфтваффе (большинство сохранившихся экземпляров уничтожены на складе в самом начале Битвы за Британию). Пойнтсмен так никогда и не увидел лицо продавца, тот исчез в хриплые звуки рассветного отбоя воздушной тревоги, покинув доктора и Книгу, посмертный том уже нагревался, мокрел под его стиснувшимися пальцами… да, возможно, это смахивало на редкое произведение эротики, особенно с тем нагло упёршимся взглядом на шрифт… грубость изложения, словно странный перевод д-ра Хорсли Ганта шифровал простой текст в списки постыдных наслаждений, преступных восторгов... А сколько от миловидной жертвы бьющейся в своих неумолимых путах видится Неду Пойнтсмену в каждой собаке привязанной к его экспериментальным стендам… и разве скальпель и зонд не столь же декоративно утончённые орудия, как бич и хлыст?

Конечно, предшествующий Книге том—Сорок Одна Лекция—явился ему, 28-летнему, наказом подгорной Венеры, противиться которой он не мог: покинуть Харлей-Стрит ради путешествия всё более и более отклоняющегося от нормы, дарящего всё более глубокое наслаждение, дальше, в лабиринт работы с условным рефлексом, где лишь теперь, после тринадцати лет продвижения вслед за клубком, он начинает новый круг, спотыкаясь о старые меты – свидетельства, что тут он уже проходил, встречая то там, то тут последствия своего более молодого, полного понимания... Но ведь она его предупреждала—нет разве? или он плохо слушал?—об отсроченных платежах, но в полном объёме. Венера и Ариадна! Она, казалось, стоила любой цены, похожая на лабиринт, в те дни, слишком запутанный для них—потёмок-сводников, что заключили сделку между одной из его версий, Пойнтсменом-соучастником, и его судьбой… слишком разнолика, думал он тогда, чтобы они когда-нибудь его настигли. Но теперь-то он знает. Слишком занятой, предпочитая пока что не задумываться об этом, он уже знает, что они просто ждут, каменные и не сомневающиеся—эти агенты Синдиката, которому и она должна платить—ждут в центральном зале, пока он подтягивается ближе… Они владеют всем: Ариадной, Минотавром и даже, с опаской понимает Пойнтсмен, им самим. С недавних пор они промелькивают перед ним, обнажённые в позах атлетов, дышат в затылок, жуткие пенисы торчком, неживые, как и их глаза, что взблескивают инеем, или пластинками слюды, но только не вожделением, и не к нему. Для них существует лишь работа...

– Пьер Жане—он иногда вещал как восточный мистик. Никогда по-настоящему не осознал противоположностей. «Акт нанесения раны и акт получения раны объединяются единым ранением». Сплетник и мишень навета, хозяин и раб, девственница и совратитель, каждая часть в соответственном сочетании и неотделима—последнее прибежище неисправимых лодырей, Мехико, как раз та самая йинь-янова галиматья. Способ увильнуть от тягот работы в лаборатории. Но что он сказал этим?

– У меня нет желания вступать с вами в религиозный диспут,– невыспавшийся Мехико сегодня более резок, чем обычно,– но временами думаю, а не чересчур ли вы, учёные—ну ухватились за достоинства анализа. То есть, когда вы всё это разобрали по частям, чудесно, я первый зааплодирую вашей сноровке. Но кроме кусков и частей, что рассыпаны вокруг, что вы сказали этим?

Подобные диспуты и Пойнтсмену не по вкусу. Но он бросает острый взгляд на юного анархиста в его красном шарфе: «Павлов верил, что идеал, конечная цель к которой все мы стремимся в науке, представляет чисто механическое объяснение. Он был достаточно реалистичен, и не ожидал достижения такой цели на протяжении жизни своей или даже нескольких поколений. Но он надеялся на длинную цепь всё более и более точных приближений. В конечном итоге, его вера заключается в чисто физиологической основе жизни души. Никакого последствия без причины и чёткая череда взаимосвязей.

– Это не мой конёк, конечно,– Мехико и вправду не хочет обижать, но сколько же можно,– однако возникает ощущение, что эту причину-следствие заездили по полной. Что для продвижения науки дальше, вообще, ей следует поискать не настолько узкий… менее стерильный, набор допущений. Возможно, следующий великий прорыв произойдёт, когда нам хватит смелости выбросить эту причину-следствие совсем и ударить под новым углом.

– Нет не «ударить». Отступить. Вам тридцать, молодой человек. «Других углов» не существует. Есть лишь вперёд—прямиком—либо назад.

Мехико наблюдает, как ветер треплет полы пальто Пойнтсмена. Чайка вскрикивая летит прочь под углом к замёрзшему выступу берега. Меловые утёсы громоздятся за спиной, холодные и упокоенные как смерть. Ранние варвары Европы, кто отваживался приблизиться к этому побережью, увидев белые преграды сквозь туман, уже знали куда забирают их умерших.

Пойнтсмен обернулся и… О, Боже. Он улыбается. Есть нечто столь древнее в этом предположении братства, что—не сейчас, а парой месяцев позже, когда весна вступит в свои права, а Война в Европе закончится—Роджер будет вспоминать эту улыбку—она будет преследовать его—как самое зловещее выражение, что он когда-либо видел на лице человека. Они прекратили шагать. Роджер смотрит в ответ. Анти-Мехико. Воплощённые «идеи противоположного», но на какой коре, в каком полушарии зимы? Какая сокрушающая мозаика смотреть во вне, в Пустыню… снаружи охранительного города… понятна лишь тем, кто отправляется вне… глаза вдаль… варвары… всадники...

– У нас обоих есть Слотроп,– вот и всё, что сказал Пойнтсмен.

– Пойнтсмен—что вам с этого? Кроме славы, я имею в виду.

– Не больше, чем Павлову. Физиологическое обоснование тому, что кажется необычайно странным поведением. И мне неважно в какую из ваших ОФИ категорий это вписывается—удивляюсь, как это никто из вас не предложил телепатию: может он знает кого-то на той стороне, кого-то кому заранее известно расписание запуска немецких ракет. Ну каково? И мне неважно, нет ли в этом жутко фрейдистской мести его матери, которая пыталась кастрировать его или вроде того. Я без претензий, Мехико. Я скромный, методичный—

– Смиренный.

– Я установил себе ограничения касаемо этого всего. Всё, что имеется, это обратное звучание ракеты перед взрывом… его клиническая история привития условного сексуального рефлекса, возможно на слуховой стимул, и то, что смотрится как обращённая вспять связь причины-следствия. Может, я не готов ещё, подобно вам, выбросить на свалку причину-и-следствие, но если тут нужны поправки—быть посему.

– И чего вы добиваетесь?

– Вы видели его ММЛП. Его шкалу F? Искажения, извращённые мыслительные процессы… Оценки ясно показывают: у него психопатические отклонения, навязчивые идеи, он латентный параноик—ну Павлов полагал, что навязчивые идеи и параноидальные мании являются результатом неких—назовём их клетками, нейронами, в мозаике мозга, возбуждённых до такой степени, когда, через взаимную индукцию, во всём прилегающем районе происходит замыкание. Одна яркая, горящая точка окружена темнотой. Темноту же породила она сама. Изолировав эту яркую точку, быть может до конца жизни пациента, от всяческих идей, чувств, самокритики, всего, что только раздувает её пламя, вы возвращаете её к нормальности. Он называл это «точкой патологической инерции». Сейчас мы работаем с собакой… он прошёл «эквивалентную» фазу, когда любой стимул, сильный или слабый, вызывает равное количество капель слюны… а затем «парадоксальную» фазу—сильные стимулы вызывают слабую реакцию и наоборот. Вчера мы довели его до ультрапарадоксальной. За пределы. Включаем метроном, что был настроен на еду—от которого прежде Ваня пускал слюну фонтаном—теперь он отворачивается. Мы выключаем метроном, о, тут-то он и заводится, нюхает его, лижет, пытается грызть—ищет, в тишине, стимул, которого там нет. Павлов считал, что все болезни сознания могут быть объяснены, со временем, ультрапарадоксальной фазой, паталогически инертными точками в коре мозга, путаницей идей противоположного. Он умер на пороге перевода этого всего на экспериментальную основу. Но я живу. У меня есть финансирование, и время, и воля. Слотроп упёрто стабилен. Не так-то просто послать его в какую-либо из этих фаз. Может, придётся морить голодом, запугивать, я не знаю… не факт, что до этого дойдёт. Но я выявлю его точки инерции, докопаюсь что они такое, даже если придётся вскрыть его чёртову черепушку, и отчего нет у них пары и, возможно, решу загадку почему ракеты падают именно туда, куда падают —хотя признаюсь, при вашей поддержке это было бы намного проще.

– Зачем?– ну, как, пробрало, Мехико?– Зачем я вам нужен?

– Я не знаю. Но вы нужны.

– У вас навязчивая идея.

– Мехико.– Стоя совсем без движения, половина лица обращённая к морю кажется состарившейся на пятьдесят лет в этот миг, глядя как трижды волны оставили свою стерильную плёнку льда.– Помогите мне.

Я никому не могу помочь, думает Роджер. Почему его так влечёт? Это опасно и порочно. Он и впрямь хочет как лучше, у него такой же неестественный страх перед Слотропом как и у Джессики. Как же девушки? Наверное, это одиночество в Секции Пси из-за его убеждений, потому что он не может от чистого сердца принять, или отбросить… их веру, даже у неулыбчивого Гломинга, что должно быть что-то ещё, вне ощущений, вне Смерти, вне Вероятностей, хотя они всё, во что должен верить Роджер… О, Джесси, уткнувшись лицом в её голую, спящую, замысловато сплетённую из костей и сухожилий спину, мне не понять всё это...

На полпути между краем воды и жёсткой прибрежной травой, длинная полоса из труб и колючей проволоки вызванивает на ветру. Чёрную решётку поддерживают длинными подпорки, копья нацеленные в море. Заброшенный и математический вид: ободранный до векторов-силы удерживающих на месте, местами сдвоенные, один ряд позади другого, пришли в движение, когда Пойнтсмен и Мехико двинулись дальше, отставая в тёмном муаре узора повторяющихся подъёмов смещённых относительно повторяющихся диагоналей и витков проволоки внизу в более беспорядочных повторах. Вдали, где конструкция заворачивает в марево, стена заграждения становится серой. После снегопада минувшей ночи, каждая строка размашистого почерка програвирована белым. Но сегодня ветер и песок снова обнажили тёмное железо, в разводах соли, местами краткие полоски ржавчины… в других местах солнце и лёд превращают конструкцию в электро-белые линия энергии.

Дальше вверх, после закопанных мин и противотанковых столбов из разлагающегося бетона, в дзоте покрытом сетью и дёрном, на полпути вверх по утёсу, молодой д-р Блей и его медсестра-ассистентка Айви отдыхают после сложной лоботомии. Его промытые и привычные пальцы проникают под резинки чулков, оттягивают вбок, отпускают с нежданно громким шлепком под ха-ха-ха д-ра Блея, когда она подскакивает и тоже смеётся, стараясь не выкручиваться слишком чересчур. Они лежат на постели из старых морских карт, инструкций по эксплуатации, лопнувших мешков с песком и просыпавшегося песка, обгорелых спичек и кончиков сигаретных окурков давно сгнивших, что успокаивали в ночи 41-го, снимая нежданное биенье сердца при всяком взблеске огонька в море. «Ты сумасшедший»,– шепчет она. «Я похотливый»,– улыбается он и снова щёлкает её подвязкой, мальчик-и-рогатка.

На возвышенности, линия цилиндрических блоков предназначенных калечить заглохшие Королевские Тигры, которым никогда не катиться по этим просторам, словно множество пирожных-рулетов поперёк коричневатого пастбища, среди осевших полос снега и бледных обнажений известняка. На маленьком пруду чёрный человек из Лондона, катается на коньках, невероятный, как зуав, катается на своих высоких лезвиях, с достоинством, словно рождённый для них и для льда, а не для пустыни. Детвора из городка рассыпаются перед ним так близко, что крупицы льда от его разворотов жалят их щёки. Пока он не улыбнётся, они не решаются заговорить, только бегают следом, дёргают, заигрывают, хотят его улыбки, бояться её, хотят...У него волшебное лицо, лицо, которое они знают. От побережья, Майрон Грантон и Эдвин Трикл, куря одну за одной, в раздумьях об *Операции Чёрное Крыло* и правдоподобия *Schwarzkommando*, наблюдают своего волшебного негра, свой прототип, ни один не рискнёт выйти на лёд, сделать луп или другую фигуру перед этими детьми.

Зима в неопределённости—всё небо тусклый светящийся гель. Внизу на пляже, Пойнтсмен выудил рулон туалетной бумаги, каждый листок пропечатан СОБСТВЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, из кармана, чтобы высморкаться. Роджер время от времени заправляет свои волосы под шапку. Ни один из них не говорит. Так, вдвоём: топая дальше, руки в карманах и снаружи,

фигуры их уменьшаются, желтоватая и серая, и язычок алого, очень острый, оставленные ими следы—длинная замерзающая последовательность угасших звёзд, облачность отражается в остекленелости пляжа, почти белой...

Мы потеряли их. Никто не слушал тех ранних бесед—не сохранилось даже случайного снимка. Они шагали покуда та зима не скрыла их и казалось, что жестокий Пролив замёрзнет и сам, и никто, никто из нас, так никогда и не сумеет полностью их найти. Следы их заполнились льдом и чуть позже были унесены в море.

* * * * * * *

Беззвучно, неприметно для неё, камера следит как она движется, явно никуда, по комнатам, длинноногая, с подростковой угловатостью присутуленных плеч, волосы не вызывающе Голландские, нет, а собраны в стильный взлёт вверх под старинную корону матового серебра, вчерашняя новая завивка удерживает её очень светлые волосы наверху в сотне застывших завитков, что поблескивают сквозь тёмную филигрань. Сегодня после полудня линзы расширены до предела, включён дополнительный свет вольфрама, в этот самый дождливый день из кратковременной памяти, взрывы ракет далеко к югу и востоку иногда навещают небольшую квартиру, дребезжа не залитыми окнами, а лишь дверями в медленных триольных и четверных подрагиваниях, словно несчастные духи, жаждущие общения, просят впустить их на секундочку, им только разок прикоснуться...

Она в доме одна, кроме затаившегося оператора и Осби Фила, который на кухне готовит нечто загадочное из урожая грибов с крыши. На них блестящие красно-оранжевые шляпки с присобранными складками бледно-серой кисеи. Время от времени геометрия её неугомонности приводит её взглянуть в дверной проём на его пацанскую возню с *Amanita muscaria* (ибо именно этим родственником ядовитого Ангела Убийцы поглощено внимание Осби, или что уж там в нём катит за внимание)—и послать ему улыбку, демонстрируя дружелюбность, но которая для Осби кажется жутко светской, утончённой, порочной. Она первая Голландская девушка, с кем он когда-либо говорил и удивлён её высокими каблуками вместо деревянных башмаков, ошарашен, можно сказать, её таким холёным (по его понятиям Континентальным) стилем, умом в её окаймлённых светлыми ресницами глазах, либо спрятанными за тёмными стёклами, когда она на улице, остатками младенческой пухлости в ямочках по обе стороны её рта. (Когда совсем вплотную, на её почти идеальной коже заметно лёгкая пудра и шелушение, ресницы капельку подчернены, брови подправлены на два-три волоска).

Но что это затеял юный Осби? Он тщательно выскабливает внутренность каждой грибной шляпки цвета персимона и измельчает остатки. Выдворенные эльфы бегают по крыше, тараторя. Перед ним вырастает куча оранжево-серой грибной мякоти, которую он пригоршнями отправляет в кастрюлю с кипящей водой.

Предыдущая порция тоже булькает на плите, превратившись в густую кашицу под жёлтой пеной, Осби снимает варево с огня и прокручивает в блендере Пирата. Затем он расстилает грибное пюре на тонкий жестяной противень. Вот он открыл духовку, асбестовыми хваталками вынимает оттуда другой противень, покрытый тёмной спёкшейся коркой, и заменяет его тем, который только что приготовил. Пестиком в ступке он растирает вещество в пыль, прежде чем ссыпать в старую коробку из-под печенья Хантли & Палмерс, придержав лишь на самокрутку, которую сноровисто скрутил из лакричной сигаретной бумаги Ризла.

И как-то так совпало, что она заглянула именно в тот момент, когда Осби открывал гулкую печь-духовку. Камера записывает, что лицо её ничуть не изменилось, но отчего же стоит она сейчас в дверях так неподвижно? словно этот кадр следовало остановить и продолжить ровно настолько, момент золота свежего и матового, невинности микроскопически замаскированной, локоть чуть согнут, ладонь опёрта на стену, пальцы веером на оранжевых обоях, словно прикасается к собственной коже, печальное прикосновение... Снаружи долгий дождь из кремниевых и замерзающих в сползании шлепках, безутешный, замедленно разрушительный для средневековых окнах, занавесил, словно дым, дальний берег реки. Этот город на все свои исковырянные бомбами мили: эта нескончаемо опутанная жертва… кожа из отблесков шифера крыш, копоть на кирпиче в струях потока по каждому окну, светится оно или нет, каждое из миллиона отверстий смотрит в сумрак этого зимнего дня. Дождь хлещет, льёт, наполняет поющие стоки, город принимает его, приподнимает в извечном пожатии плеч... С писком и металлическим грюком печка снова захлопывается, но для Катье ей никогда не закрыться. Она столько раз останавливалась перед зеркалами сегодня, знает, что волосы её и косметика безупречны, любуется платьем, которое куплено для неё от Харвей Николз, прозрачный шёлк стекает с подложенных плеч к глубокой точке между её грудей, насыщенный оттенок какао, который в этой стране называют «нигер», ярды этого тончайшего шёлка сотканы и наброшены, свободно скреплены на талии, мягкое плиссе спадает к её коленям. Оператор доволен нежданным эффектом от этого обильно стекающего шёлка, особенно когда Катье проходит перед окном и отсвет дождя, просачиваясь внутрь, на пару кратких кадров превращает его в затемнённое стекло, насыщенное сажей, древнее, изношенное непогодой платье, лицо, волосы, руки, стройные икры, всё обернулось стеклом, на краткий целлулоидный миг—прозрачный хранитель дождя сотрясаемого целый день ракетными взрывами ближе и дальше, к центру, тёмный мертвящий фон сзади, что на несколько кадров обрисовал её.

За отражения, которые смотрят на неё из зеркал, Катье от оператора тоже высший балл, но ей известно то, чего он знать не может: что глубоко внутри себя, облачённой в элегантную поверхность дорогих тканей и отмерших клеток, она лишь пепел и продажность, и неким жестоким образом, который невдомёк ни одному из них, она принадлежит Печи… *Der Kinderofen*. . . вспоминает как его зубы, длинные, жуткие, в прожилках ярко-коричневой гнили, когда он произносит эти слова, жёлтые зубы Капитана Блисеро, сеточка пятнистых трещин, а в его ночном дыхании, в тёмной печи его самого, навсегда угнездившийся шёпот

разложения… Его зубы она вспоминает прежде остальных его черт, зубам в первую очередь достанется продукция Печи: той, что уготована ей и Готфриду. Он ни разу не выразил это отчётливой угрозой, не высказал напрямую ни одному из них, но скорее поверх её атласных натренированных ляжек к какому-либо гостю вечера, или вдоль покорной спины Готфрида («Ось Рим-Берлин» назвал он это в ту ночь, когда приезжал итальянец и все они разместились на круглой кровати, Капитан Блисеро вставился в приподнятую жопу Готфрида и итальянец в то же время в его красивый рот) Катье участвовала пассивно, связанная, с кляпом и накладными ресницами, служила в ту ночь живой подушкой для надушенных седеющих кудрей итальянца (розы и жир на грани перехода к прогорклости)… всякое мимолётное замечание закрытый цветок, способный распуститься в бесчисленные откровения (она думает о математической функции, что начнёт у неё разрастаться, подобно цветению, в серии степеней без общего термина, бесконечно, непостижимо, но предсказуемо)… одна его фраза *Padre Ignacio*, оборачивается испанским инквизитором в чёрных одеждах, коричневый горбатый нос, удушающий запах ладана + исповедник/палач + Катье и Готфрид, оба на коленях в темной исповедальне + дети из старинной сказки, на коленях, застывшие от боли, пред Печью, перешёптываются тайнами, которые не могут высказать никому больше + ведьмацкая паранойя Капитана Блисеро, подозревающего их обоих, Катье, несмотря даже на её принадлежность к национал-социалистической партии Нидерландов + Печь, как слушатель/мститель + Катье на коленях перед Блисеро в полном улёте, чёрный бархат и кубинские каблуки, его член стиснут невидимо кожаными плавками телесного цвета, поверх которых у него накладная пизда в соболином паричке, и то и другое ручная работа пресловутой *Mme.* Офир в Берлине, поддельные лабии и ярко пурпурный клитор смоделированы из—мадам жалостливо оправдывалась дефицитом—синтетической резины и ещё добавлен Миполам, новый поливиниловый хлорид… крохотные кусочки лезвия бритвы топорщатся из жизнеподобной розовой влажности, сотнями, о которые Катье, стоя на коленях, приходится обрезать свои губы и язык, а затем оставлять абстрактные отпечатки кровавых поцелуев на золотистой спине своего «братца» Готфрида. Брат по играм, брат по рабству… она никогда прежде не встречала его, до её приезда в реквизированный дом недалеко от стартовых площадок сокрытых в лесах и парках этого ухоженного края маленьких ферм и поместий, что тянется к востоку от королевского города, между двух массивов польдерных земель, к Васенаару—однако, его лицо в тот первый раз, увиденное в свете осеннего солнца сквозь громадное западное окно гостиной, когда он стоял совершенно голый, за исключением собачьего ошейника с торчащими шипами, мастурбируя метрономически, следуя командным окрикам Капитана Блисеро, по всей его светлой коже пятна послеполуденного блеска синтетически оранжевого, который она никогда прежде не увязывала с кожей, его член налившийся кровью монолит, задыхающийся рот слышен в тиши ковров, лицо его поднято не к кому-то из них, но как бы к чему-то на потолке, или к небу, которое потолки ему подменили, с опущенными глазами, как он чаще всего их и держал—его лицо, возносясь, твердея, доходя, до того схоже с тем, на которое она всю жизнь смотрела в зеркалах, её собственный заучено манекеновый взгляд, что ей пришлось даже сдержать дыхание, на минуту ощутив частое биение

собственного сердца, прежде чем обратить именно такой взор к Капитану Блисеро. Тот в восторге. «Может быть»,– говорит он ей,– «я обстригу твои волосы». Он улыбается Готфриду:– «Может быть, оставлю, чтоб у него отросли». Унижение пойдёт на пользу пареньку по утрам в расположении, в строю его батареи возле *Schußstelle 3*, где когда-то неистово проносились лошади перед бушующими лузерами, любителями скачек в старое мирное время—будет получать одно взыскание за другим, при этом оставаясь под защитой Капитана от армейской дисциплины. Вместо которой, между запусками, невзирая на ночь или день, недосыпая, в неурочные часы, подвергаться личному*«Hexenzüchtigung»* Капитана. Однако, постриг ли ей Блисеро волосы? Теперь она уже не вспомнит. Помнится лишь, что пару раз она одевала форму Готфрида (волосы, конечно же, прятала под фуражку) и выглядела, вполне возможно, его двойником, проводя те ночи «в клетке», по правилам установленным Блисеро, а Готфриду пришлось одевать её шёлковые чулки, кружевной передник и капот, всё её нижнее и её кисею с ленточками. Но после ему всегда приходилось возвращаться снова в клетку. Так-то вот. Их Капитан не оставляет сомнений кто, из братика с сестричкой в сущности прислуга, а кто откармливаемый гусь.

Насколько всерьёз она играет? В завоёванной стране, твоей родной оккупированной стране, лучше, как она считает, войти в некую формальную, рационализированную версию того, что снаружи продолжается без оглядки на форму или приличные ограничения дня и ночи, массовые казни, разборки, избиения, обман, паранойя, позор… хотя открыто они не обсуждают это, похоже, Катье, Готфрид и Капитан Блисеро пришли к соглашению, что эта северная древняя форма, всем им известная и привычная—заблудившиеся дети, лесная баба-яга в съедобной хижине, поимка, откорм, Печь—станет их охранительной рутиной, их убежищем от того, что никто из них не в силах выносить снаружи—Войну, абсолютную власть случая, их собственную жалкую случайность здесь, посреди всего...

Это небезопасно, даже внутри, в доме...чуть ли не каждый день осечки при запуске. В прошлом октябре недалеко от этой усадьбы, одна упала обратно и взорвалась, убила 12 из наземного расчёта, высадила окна на многие сотни метров в округе, в том числе западное окно гостиной, где Катье впервые увидела своего золотистого брата-дичь. По официальным слухам взорвалось лишь топливо и окислитель. Но Капитан Блисеро с трепетным—она бы даже сказала нигилистическим—наслаждением, сказал, что заряд Аматола в боеголовке тоже взорвался, делая из них такую же цель, как и стартовая площадка... Что все они обречены. Дом расположен к западу от ипподрома Дунидингт, противоположно направлению на Лондон, но никакое направление не исключено—зачастую ракеты, свихнувшись, разворачиваются куда попадя с жутким ржанием в небе, разворачиваются и падают, каждая согласно своему безумию, непонятному и, как опасаются, неизлечимому. Если есть время, их владельцы уничтожают их, по радио, в ходе припадка. Кроме запусков ракет, есть ещё Английские налёты. *Спитфайеры* с рёвом проносятся на бреющем над тёмным морем во время ужина, прожектора спотыкаются над городом, эхо сирен висит в вышине

над мокрыми железными скамьями в парках, торопливо татакают противозенитные орудия, выискивая, и бомбы падают в леса, на польдерные земли, на квартиры, где, ориентировочно, расквартированы военнослужащие-ракетчики.

Это придаёт обертона игре, и та слегка меняет свой тембр. Ведь именно ей, в какой-то неопределённый момент будущего, предстоит толкнуть Ведьму в Печь приготовленную для Готфрида. Поэтому Капитану следует не исключать возможность, что она Британский шпион, или участница Голландского подполья. Несмотря на все старания немцев, информация продолжает постоянно поступать из Голландии в штаб бомбардировщиков КАС, сообщая о расположении, маршрутах подвоза, в каких тёмно-зелёных группах деревьев могут скрываться установки А4—данные меняются ежечасно, настолько мобильны ракеты и оборудование их обеспечения. Но *Спитфайеры* могут ударить по электростанции, складу жидкого кислорода, по квартире командира батареи… это щекотливый вопрос. Почувствует ли Катье свою обязанность аннулированной, однажды вызвав Английские истребители-бомбардировщики на этот самый дом, её тюрьму для дичи, хоть это означало бы смерть? Капитан Блисеро затрудняется сказать наверняка. До данного момента состояние агонии восхитительно. Конечно же, исходные данные о ней от людей Мусерата безупречны, ею выявлены три семьи замаскированных Евреев, она регулярно посещает собрания, работает на курорте Люфтваффе в Шевенингене, где руководство считает её умелой и жизнерадостной, не отлынивает. Не так, как многие другие, что используют партийный фанатизм, чтобы скрыть недостаток способностей. Единственное, лишь как тень предостережения: её преданность не согрета чувством. У неё, похоже, есть какой-то свой интерес для членства в Партии. Женщина с определённым математическим образованием и с резонами...«Желайте перемены»,– сказал однажды Рильке,– «у пламени берите вдохновенье!» В лавр, в соловья, в ветер… желать быть вобранным, объять, рухнуть в пламя взвившееся, чтобы заполнить все чувства и… не любить, потому что нечем более… но оставаться безнадёжно в состоянии любви...

Хотя это не про Катье: вот уж где никаких метаний мотылька. Ему приходится сделать вывод, что она втайнестрашится Перемены, предпочитая вместо этого тривиально менять то, что значит менее всего, одежду и украшения, не поддаваясь далее рассчётливого трансвестизма, будь то одежда Готфрида или даже традиционная мазохистская форма Французского производства, такая неподходящую к её высокой, длинноногой походке, к её блондинистости, её упрямым плечам похожим на крылья—она всего лишь играет, играет в участие в игре.

Он ничего не может поделать. Посреди умирающего рейха, где приказы становятся бессильнее бумаги для их распечатки, она нужна ему, как и Готфрид, ремни и кожаная плеть, реальны в его руках, их всё ещё можно прочувствовать, нужны её вскрики, красные рубцы поперёк ягодиц мальчика, их рты, его член, пальцы рук и ног—целую зиму на этом всём вполне можно продержаться—ему трудно подыскать объяснение, но в глубине сердца он поверил, возможно только

лишь теперь, в эту форму, из всех легенд и сказок, он верит, что этот зачарованный дом в лесу уцелеет, что никакие случайные бомбы на него не упадут никогда, но только в случае измены, если Катье и впрямь наводчица Англичан и накличет их—а он знает, что не может она: что по какому-то шаманству, глубже утаённых резонансов любых слов, Британский налёт исключён, как вариант, из всех вероятных подталкиваний в железо Печи и в последнее лето. Придёт, она придёт, его Судьба… так или иначе—но она придёт… *Und nicht einmal sein Schritt klingt aus dem tonlosen Los. . . .* Из всей поэзии Рильке, больше всего он любит эту Десятую Элегию, начинает ощущать, как горькое пиво Тоски щиплет глаза, покалывает в глубине носа, когда припоминает каждую строку… только что умерший юноша, объят своей Безутешностью, его последняя связь, но расстаётся даже с её отдалённо человеческим прикосновением навсегда, подымаясь совсем один, смертельно один, выше и выше в горы изначальной Боли, с дико чуждыми созвездиями в вышине… Ни разу шаг его не вызвал эха у Судьбы безгласной... Это он, Блисеро, взбирается на гору, как и взбирался почти уже 20 лет, задолго до того как восприял пыл Рейха, ещё со времён Юго-Запада… в одиночку. Какой бы плотью не пытался утихомирить Ведьму, людоедку, колдунью, размахивающую орудиями боли—один, всегда один. Он даже и не знает Ведьмы, не может понять её/его голода, и только лишь в минуты слабости изумляется, что оно может сосуществовать в одном с ним теле… Спортсмен и его умения разные вещи... Во всяком случае, молодой Рауханделл сказал так… много лет назад в мирное время… Блисеро смотрел на своего юного друга (уже тогда так откровенно, так патетически обречённого на какую-то из форм Восточного фронта) в баре, на улице, в каком угодно тесном и неудобном костюме, тот безупречно реагировал на футбольный мяч, когда шутники, опознав его, швыряли в него из ниоткуда—бессмертное исполнение! один из тех импровизированных ударов, до того невозможно высоких, так чётко параболичных, мяч взмывает на мили вверх, чтобы скользнуть точнёхонько меж двух высоких, фалличных электрических колонн Ufa-театра на Фридрихштрассе… он мог удерживать мяч на голове вдоль нескольких кварталов напролёт, часами, ноги безупречны, как поэтическая строка… Но только лишь качал головой, стараясь оставаться хорошим парнем, когда у него спрашивали, не в силах объяснить: «Ну это... так получается… мускулы делают сами»—затем, припомнив выражение старого тренера—«это мускульное»,– улыбаясь прекрасной улыбкой и за это одно уже призывник, уже пушечное мясо, бледный свет бара ложится поперёк его коротко остриженного черепа—«это рефлексы, понимаешь… Не я… Просто рефлексы». Когда же началась перемена, для Блисеро тех дней, от похоти к жалости, тупой как изумленье Рауханделя собственным даром? Он навидался этих Рауханделей, особенно после 39-го, в которых таятся не менее загадочные гости, чужаки, иногда не менее причудливые, чем дар всегда оказываться там, где нет взрывов… кто-нибудь из *них*, этого сырья, «желают Перемены»? Или хотя бы знают? Крайне сомнительно... Их рефлексы просто используются, сотнями тысяч за раз—королевскими молями, которых вдохновило Пламя. Блисеро утратил, много лет назад, всякую невинность в этом вопросе. Итак, его Судьба это Печь: покуда заблудившиеся дети, которые никогда не ведают, у которых ничто не

меняется кроме формы и паспортов, будут жить-поживать долго после его золы и газов исхода через печную трубу. Именно так. Странник в горах Боли. Это длится уже слишком долго, игра избрана им не ради чего-либо иного кроме конца, которым она закончится, *nicht wahr?* Чересчур уж состарился, грипп проходит не так уже быстро, живот может скрутить иногда на весь день, глаза ощутимо слепее с каждой очередной проверкой, слишком «реалистичен», чтобы избрать смерть героя, или просто солдатскую. Всё, чего ему хочется, это покинуть зиму, уйти в тепло Печи, в тьму железного убежища, дверь позади него в сужающемся прямоугольнике кухонного света со звяком захлопнулась бы, навсегда. Всё прочее лишь любовная игра перед актом.

Да, он думает, больше, чем следовало бы, и это его удивляет, о детях—об их мотивах. Он полагает, что они, скорее всего, стремятся к своей свободе, тоскуют по ней как он по Печи, и подобная извращённость преследует его и гнетёт… он возвращается вновь и вновь к пустой бессмысленной картине того, как выглядел дом в лесу, вот уже искрошенный до сахарных крупинок, всё уцелевшее, это одна лишь неукротимая Печь, и пара деток, пик сладкой энергичности минул, снова подступает голод, блуждания в зелёной непроглядности деревьев... Куда идти им, где укрыться на ночь? Непредусмотрительность детей… и вежливый парадокс этого их Состояньица, основой которому всё та же Печь, призванная всё уничтожить... Однако, всякий истинный бог должен быть и творцом, и разрушителем. Ему, воспитанному в христианской среде, трудно было постичь это до его путешествия на Юго-Запад, до его личного покорения Африки. Среди пыльных костров Калахари, пред ширью прибрежного моря, огонь и вода, он учился. Мальчик Иреро, загнанный постоянным страданием в ужас перед христианскими прегрешениями, духи шакалов, могучие европейские волки-оборотни, преследовали его, жаждая насытиться его душой, бесценным червячком, что обитает в его позвоночнике, пытался теперь загнать своих прежних богов в клетку, поймать в силки из слов, выдать их, диких, обездвиженных, этому учёному белому, что так увлекался языками. Увозя в своём ранце экземпляр *Duino Elegies*, только что из печати в момент его отправлении на Юго-Запад, подарок Матери на причале, запах свежей типографской краски кружил его голову по ночам, покуда старый пароход бороздил тропик за тропиком… пока созвездия, как новые звёзды над Страной-Боли, стали совсем незнакомыми, а времена года перевернулись… и он подошёл к берегу на высоконосой деревянной лодке, что двадцатью годами раньше перевозила синебрючные войска с железа на рейде, чтобы подавить Великое Восстание Иреро. Найти в глухих местах между Намибом и Калахари свою собственную верную родню, свой цвет ночи.

Непроходимые пустоши камня палимого солнцем… многие мили каньонов заворачивающих в никуда, засыпаны белым песком по дну, что оборачивается холодно синим в протяжённости дня… мы сотворить Нджамби Карунга сейчас, омахона… шёпот над горящими ветвями колючек, где этот немец заклинает прочь энергии окружившие свет костра своей тоненькой книжицей. Он потревоженно вскинул взгляд. Мальчику хочется ебли, но почему-то применил слово для обозначения бога на языке Иреро. Необычайный холод пронял белого человека.

Он верит, как и Рейнское Миссионерское Общество, в силу богохульства. Особенно тут в пустыне, где опасности, чьи имена он боится произнести даже в городах, даже при свете дня, собираются вокруг, крылья сложены, ягодицы соприкасаются с холодным песком, выжидают… В эту ночь он чувствует мощь каждого слова: слова отделены всего одним лишь мигом от вещей, которые они обозначают. Риск сопряжённый с натягивании мальчика под отголоски святого Имени наполняет его безумной похотью, похоть в лице—маска—мгновенное воздаяние из-за пределов костра… но для мальчика Нджамби Карунга это происходящее, их совокупление, только и всего: Бог творец и разрушитель, солнце и тьма, все наборы противоположностей, сведённые вместе, включая чёрное и белое, мужское и женское… и он становится в своей невинности дитём Нджамби Карунга (как весь его былой клан, безжалостно, за пределы их собственной истории) здесь под европейским потом, рёбрами, мускулами брюшного пресса, хуем (мускулы самого мальчика невыносимо торчат, кажется, уже часами, как будто он собирается убить, но ни слова, только долгие, клонированные куски ночи, что тянутся над их телами).

Что я сотворил из него? Капитан Блисеро знает, что на данный момент африканец посреди Германии, в глубине Гарца, и что на случай если Печь захлопнется за ним в эту зиму, они уже озвучили прощальное *auf Wiedersehen*. Он сидит, живот обвис, гланды полны недомогания, склонившись над панелью управления в окрашенной пятнами машине управления пуском. Сержанты двигательной и направляющей панелей снаружи, перекуривают—он один за контролями. Снаружи, через немытый перископ, узловатый туман расплывается от яркой зоны инея, что опоясал вздыбленную затенённую ракету, на которой отвинчена крышка бака для жидкого кислорода. Деревья плотно сгрудились: над головой едва различим кусок неба достаточный для подъёма ракеты. *Bodenplatte*—бетонная плита положенная на обрезки стали—уложена на землю между трёх деревьев с пометками для обеспечения точного направление, 260°, на Лондон. Отметкой служит грубо намалёванная мандала, красный круг с жирным чёрным крестом внутри, в древности символ колеса-солнца, из которого, как говорят легенды, ранние христиане выломили свастику, для маскировки своего запретного символа.

Два гвоздя вбиты в дерево в центре креста, Рядом с одной из намалёванных отметок, на западном из деревьев, кто-то нацарапал на коре остриём штыка *in hoc signo vinces*. Никто на батарее не признаётся, что сделал это. Наверное, работа подпольщиков. Но приказа убрать не было. Бледно-жёлтые верхушки срезанных комлей проглядывают вокруг *Bodenplatte*, свежие щепки и опилки мешаются со старой опавшей листвой. Запах, глубокий как в детстве, перебивается запахом бензина и спирта. Дождь пойдёт сегодня, а может, снег. Расчёт в нервном движении, серо-зелёные. Блестяще-чёрный каучук кабелей уползает в лес подключить наземное оборудование к Голландской линии на 380 вольт. *Erwartung. . .* .

В последние дни ему почему-то всё труднее вспоминать. Этот ограниченный, сквозь помутнённые призмы, ритуал, ежедневные переезды на такие же

свежерасчищенные треугольники в лесах подменили произвольные прогулки памяти, невинный сбор цветков-воспоминаний. Его отлучки, к Катье с Готфридом, стали короче и ценнее с ускорением темпа пусков. Хотя мальчик из подразделения Блисеро, капитан редко видит его на службе—вспышка золота, что поможет наблюдающим прикинуть километраж до их рации, яркий всплеск его волос на ветру, исчезающий среди деревьев… До странности противоположен африканцу—цветовой негатив, жёлтый и синий. Капитан: в каком-то приливе сентиментальности, какого-то предзнания, дал своему африканскому мальчику имя «Тирлич», одно из названий горечавки с горного склона у Рильке, нордического цвета, принесённой в долины:

> *Bringt doch der Wanderer auch vom Hange des Bergrands nicht eine*
>
> *Hand voll Erde ins Tal, die alle unsägliche, sondern ein erworbenes*
>
> *Wort, reines, den gelben und blaun Enzian.*

– Омухона… посмотри на меня. Я красный и коричневый… чёрный, омухона.

– *Liebchen*, тут другой край земли, в Германии ты был бы жёлтым и синим.– Метафизика зеркальных отражений. Сам восхитился такой элегантностью, такой книжной симметричностью… А всё же зачем говорить так бесцельно с бесплодной горой, с жаром дня, с диким цветком, из которого он пил, так бесконечно… зачем растрачивать подобные слова в мираже, в жёлтом солнце и в морозно синих тенях ущелий, если только они не пророчество, за пределами синдрома предкатастрофы, за пределами ужаса перед тем, чтоб задуматься о своём среднем возрасте, хоть на секунду, однако любое «провидение» исключено—*запредельное* было чем-то воздыхающим, шевелящимся, всегда под его словами, чем-то, что уже тогда могло видеть ужас предстоящего времени, *по крайней мере,* настолько же ужасного, как эта зима и очертания того, во что превратилась теперь Война, очертания, сделавшие неизбежным форму последнего кусочка в головоломке: эта Печь-игра с жёлтоволосым и синеглазым юношей и молчаливой, себе на уме, Катье (кто был её противоположностью на Юго-Западе? какая чёрная девочка, которую он так и не увидел, сокрытая в слепящем солнце, в угольно-хрустком перестуке ночных поездов, в созвездии тёмных светил, которому никто, ни один анти-Рильке, никогда не дал имени...)—но 1944 слишком поздно, чтобы это имело хоть какое-то значение. Подобные симметрии довоенная роскошь. Ему уже нечего напророчить.

А меньше всего её нежданный выход из игры. Подобного оборота он не предвидел, может и впрямь из-за того, что так и не увидел ту чёрную девочку. Возможно, чёрная девочка была гением мета-решений—опрокинуть шахматную доску, пристрелить судью. Но после такой раны, разлома, что станет с маленьким царством Печи? Удасться ли исправить? Перевести в новую форму, большего соответствия… лучник и его сын, и сбивание яблока… да, и Война в роли короля-деспота… ещё можно как-то спасти, починить переменой ролей, незачем бросаться наружу где…

Готфрид из клетки наблюдает как она сбрасывает свои путы и уходит. Светлый и стройный, волосы на его ногах заметны лишь в солнечном свете, да и то как тончайшая невесомая сеточка золота, по его векам уже потянулись странные юно/старческие отметки, расцветают, в глазах настолько редкостная синь, что в некоторые дни, зависимо от погоды, слишком глубока для этой миндалевидной каймы, синь сочится, истекает, чтобы осветить всё юное лицо, девственная синь, синева утопленника, синева, которую так ненасытно втягивают меловые стены средиземноморских улиц, где мы неспешно крутили педали велосипеда сквозь полдни старого мира... Ему не остановить её. Если Капитан спросит, он расскажет что видел. Готфрид и раньше видел как она уходила тайком, всякое болтают, будто она с подпольщиками или влюбилась в Швенингене в пилота юнкерса... Но она должна любить и Капитана Блисеро тоже. Готфрид остаётся пассивным наблюдателем. Своего нынешнего возраста, что настигал его вместе с призывной повесткой, он дожидался в дерзком ужасе, как неудержимо мчащий навстречу поворот, который тебе надо взять в управляемом заносе, *пронеси*, наращивая скорость до самого последнего возможного момента, *пронеси* его единственная молитва на ночь. Опасность, которая, как он считает, нужна ему, всё ещё у него надуманная: то, что он поддразнивает и с чем заигрывает, не кончается настоящей смертью, герой всегда вышагивает из сердцевины взрыва, лицо в копоти, но с улыбкой—взрыв это грохот и смена, и бросок в укрытие. Готфрид ещё не видел трупов, вблизи нет. Иногда из дому приходят вести о смерти кого-то из его друзей, он видел только как длинные, обвисающие мешки грузят вдалеке на ядовито-серые грузовики, фары прорезают туман… но при осечке, когда ракеты пытаются свалиться на тебя, те, кто запускал их, и вы все, все двенадцать, втиснули свои тела в прорезь узкой траншеи, ожидая в по́том пропахшей шерсти, сдерживая напряжённый смех, а в мыслях у тебя всего-то—будет что рассказать в столовой, написать домой к *Mutti...* Эти ракеты для него любимые звери, едва приручённые, часто непослушные, даже могут развернуться. Он любит их, как любил бы лошадей или танки Тигр, если б туда призвали.

Здесь он чувствует, что пронесло, тут легко. На что было бы ему надеяться без Войны? Но участвовать в *таком* приключении… *Если не умеешь петь, Зигфрид, ты всё же можешь нести копьё…* На каком горном склоне, от какого загорелого любимого лица слышал он эти слова? Всё, что ему запомнилось, белый взмыв вверх, квадраты лугов окружённые тучей… Сейчас он обучается специальности, обслуживает ракеты, а как Война закончится он выучится на инженера. Он понимает, что Блисеро умрёт или скроется, а он покинет клетку. Но у него это связано с концом Войны, а не с Печью. Ему известно, как и любому каждому, что дети всегда вызволяются в момент самой большой опасности. Ебля, солёный конец капитанского усталого, часто не стоячего члена сунутого в его покорный рот, жалящий хлыст, отражение его лица, когда целует ботинки капитана, их блеск испятнан, подпорчен солидолом, маслом, спиртом пролитым при заправках, делают из его лица кого-то, кого он не может распознать—это необходимо, это делает его неволю особенной, без чего это почти не отличалось бы от армейского удушения, армейского гнёта. Ему стыдно, что он получает такое удовольствие от этого—теперь слово *сука* произнесённое особым тоном голоса вызывает у него

эрекцию, которую он не может подавить—боится, что, хоть и не осуждён и проклят, становится умалишённым. Вся батарея знает об этом: хотя все они под командой Капитана, это видно по их лицам, он это чувствует в подёргиваньях стальной ленты рулетки, по тому, как вплёскивают суп в его тарелку в столовой, по толчкам локтем в его правый рукав при каждом одевании во взводе. С недавних пор ему часто снится очень бледная белая женщина, которая хочет его, которая никогда не говорит, но эта абсолютная уверенность в её глазах… его полная уверенность, что она, знаменитость, которую все узнают с первого взгляда, знает его и ей незачем заговаривать с ним, достаточно одного лишь зова в её лице, пробуждает его трепещущим среди ночи, изнеможённое лицо Капитана в полуметре, над шёлком серебряных складок, слабые глаза уставились, совсем как и его же, бакенбарды, в которые приходится утыкаться щекой, с плачем, в попытке пересказать какой она было, как смотрела на него...

Капитан видел её, конечно же. А кто нет? В утешение он говорит ребёнку: «Она настоящая. Ты тут ни при чём. Постарайся понять, что ей тебя хочется. Незачем просыпаться с криками и меня будить».

– Но если она *вернётся*—

– Подчинись Готфрид. *Сдайся полностью*. Присматривайся куда она тебя поведёт. Помнишь тот первый раз, когда я ебал тебя. Как ты напрягался, пока не понял, что я хочу войти внутрь. Твоя розочка распустилась. Тебе стало нечего, даже твоему, на тот момент невинному рту, терять...

Но мальчик продолжает плакать. Катье не поможет ему. Наверное, она спит. Её никогда не понять. Он хочет быть ей другом, но они почти не разговаривают. Она холодная, загадочная, иногда он её ревнует, а иногда—обычно, когда ему хочется выебать её, но из-за какой-то уловки Капитана он не может—в такие моменты ему кажется, что он безумно её любит. Вопреки Капитану, он никогда не воспринимал её как верную сестру, которая вызволит его из клетки. Он мечтает об э*том* освобождении, но как о неясном внешнем Процессе, который произойдёт независимо от желаний каждого из них. Неважно, уйдёт она или останется. Поэтому, когда Катье покидает игру навсегда, он молчит.

Блисеро сыплет проклятьями в её адрес. Швыряет подставку для обуви в дорогую картину тер Борха. Бомбы падают западнее в Хаагше Бош. Ветер дует, подёрнув рябью декоративные пруды снаружи. Штабные машины урчат прочь вдоль длинной дорожки обсаженной буками. Месяц блестит среди рваных туч, тёмная его половина цвета застарелого мяса. Блисеро приказывает всем спуститься в убежище, погреб полон джина в коричневых кувшинах, решетчатые ящики луковиц анемонов. Шлюха подставила его батарею под прицел британцев, налёт может случиться в любую минуту! Все сидят кружком, пьют *Oude Genever*, и чистят сыры. Рассказывают истории, в основном смешные, из до-Войны. К рассвету все упились и спят. Восковая кожура устилает пол словно листья. Никакие *Спитфайеры* не налетали. Но позже утром *Schußstelle 3* меняет позицию, а реквизированный дом брошен. И нет её. Ушла к Англичанам, через

выступ, где великое воздушное приключение увязло в зиме, в ботинках Готфрида и его старом платье, чёрно-лиловом, ниже колен, на один размер великовато, безвкусица. Её последнее переодевание. В дальнейшем она станет Катье. Она обязана лишь Капитану Прентису. Все остальные—Пит, Вим, Барабанщик, Индеец—её бросили, посчитали мёртвой. Или же это ей предупреждение, что—

– Извини, но нет, пуля нам ещё понадобится.– Лицо Вима в тени, куда не может проникнуть её взгляд, отрывисто шепчет под Шевенингенским пиром, неровные шаги толпы над головой,– нужна каждая ёбаная пуля. И нам нужно, чтобы всё по-тихому. У нас некому избавляться от трупа. Я уже пять минут с тобой потерял,– вот так их последнюю встречу, он растратил на технические пустяки, которые ей уже не интересны. Когда она оглянулась, его уже нет, тихо, по-партизански, и ей всё не укладывается куда делись его чувства из прошлого года под прохладной синелью, до того как у него появились все эти мускулы, и эти шрамы на плече и ляжке—тугодум, нейтральный человек выведенный, наконец, за свой порог, но она любила его прежде… наверное, да...

Сейчас она для них ничто. Им нужна была *Schußstelle 3*. Она давала им всё, но находила причины не указывать местоположение ракетной площадки Капитана, а теперь слишком много сомнений насчёт вескости бывшей причины. Да, местоположение часто менялось. И невозможно было продвинуть её ближе к источнику решений: это её, лишённое выражение лицо прислуги склонялось над их шнапсами и сигарами, над картами, в кофейных круглых отпечатках, расстеленными на низких столиках, над листами плотной бумаги со штампами лиловыми как избитая плоть. Вим и его товарищи вложили время и жизни—три Еврейские семьи отправлены на восток—хотя погоди, она же больше, чем отработала, не так ли, за эти месяцы в Шевенингене? То были дети, нервные, одинокие, что так любили говорить про лоцманов и моряков, а она передала несчётные кипы Самых Секретных шифровок через Северное море, не правда ли, номера эскадрилий, места заправки, приёмы выхода из штопора, радиусы поворота, настройка питания, радио частоты, сектора, расписание перелётов—это же всё она, нет? Чего же ещё от неё хотят? Она спрашивает это всерьёз, как будто существует фактор конвертации между информацией и жизнями. Как ни странно, но такой имеется. Записан в Инструкции, в файле Военного Департамента. Не забывайте, истинное дело Войны это купля-продажа. Убийства и насилия управляются сами собой и могут быть поручены не-профессионалам. Массовость смерти в военное время полезна во многих отношениях. Она служит как спектакль, отвлекающий от истинного течения Войны. Она служит сырьём для записи в Историю, чтобы дети могли изучать Историю как цепь насилия, битва за битвой, и лучше подготавливаться к взрослому миру. Лучше всего, что массовая смерть является стимулом для простых людей, маленьких человечков, ухватить кусок от этого Пирога, пока они ещё тут, и заглотать его. Настоящая война это празднество рынков. Органические рынки, которые профессионалы с осторожностью именуют «чёрными», возникают повсеместно. Сертификаты, стерлинги, рейхсмарки продолжают движение, неумолимые как классический балет, внутри своих антисептических мраморных палат. Но снаружи, тут внизу, среди людей, появляются более истинные валюты.

Так что, Евреи подлежат обороту. Абсолютно, как и сигареты, пизда, или шоколад Хёрши. К тому же в Евреях содержится элемент вины либо шантажа в будущем, что склоняет, ессесн, в пользу профессионалов. Так что эта Катье орёт в тишину, в Северное море надежд, а Пират, кто знает её по торопливым встречам—на городских площадях обращённых к казармам, но вместе с тем такими клаустафобными, под тёмными, пахнущими мягким деревом ступенями лестничных клеток, крутых, как приставные лестницы, на лодочном причале у замасленной набережной, рядом с кошкой, что опустила взгляд своих янтарных глаз, в блоке старых квартир и с дождём за окнами, с древний пулемётом *Schwarzlose*, затвор разобран и вокруг масляный насос, россыпью по пыльной комнате—который всякий раз встречал её как лицо работавшее с другими, кого он знал лучше, она оставалась по краю каждого задания, но теперь лицом к её лицу выхваченному из контекста, огромное небо заполненное морскими тучами на марше, высокими и пухлыми за её спиной, отмечает опасность в её одиночестве, догадывается, что он даже имени её не знал, до этой встречи рядом с мельницей именуемой «Ангел».

Она рассказала ему, отчего одна—более, менее—почему никогда не сможет вернуться туда, где лицо её всё ещё, нарисованное на холсте, висит среди остальных уцелевших, в доме неподалёку от Дуиндингта, видавших игру в Печь—столетия минуют, как пурпурные тучи, затемняя бесконечно малый слой лака между нею и Пиратом, прикрывая её щитом безмятежности, так нужной ей, промежутком классической отстранённости…

– Но куда вы теперь?– Руки обоих в карманах, шарфы плотно затянуты, камни покинутые водой отблескивают чёрным, как точка из сна, вот-вот обретут печатный смысл здесь на пляже, каждый фрагмент так удивительно понятен, но…

– Не знаю. Куда мне будет лучше?

– «Белое Посещение».– Предлагает Пират.

– «Белое Посещение» неплохо,– сказала она и ступила в пустоту...

– Осби, я может быть с ума сошёл?– снежная ночь, пять бомб-ракет после полудня, трясясь на кухне в этот поздний час и при свечах, Осби Фил, идиот-учёный в этом доме, настолько углублён в разборку с миндальным орехом, что данный вопрос выглядит вполне уместным, цементо-бледная девица в приседе на корточки, вялая и похоже как распсиховавшись, в тёмном углу.

– Конечно, конечно,– грит Осби, с плавным вывертом пальцев и кисти, основанным на жесте, с которым Бела Лугоши подавал бокал вина с подмешанной наркотой заглавной юной героине в Белом Зомби, самый первый фильм, из всех что видел Осби и, в определённом смысле, последний в его Полном Списке Всех, включая *Сына Франкенштейна, Чокнутые Летят в Рио* и, возможно, *Дамбо*. Который он пошёл смотреть на Оксфорд-Стрит в прошлый вечер, но на полпути заметил, вместо волшебного пёрышка, суровое зелёное с

пурпуром лицо м-ра Эрнеста Бевина, охваченное толстеньким хоботом слонёнка с длинными ресницами, и решил, что ему лучше воздержаться.

– Нет,– поскольку Пират не разобрал о чём это Осби вообще бормочет,– не в смысле «конечно, ты сошёл с ума», до этого совсем пока что не дошло ещё...

– А что?– спрашивает Пират, когда пауза Осби затянулась дольше минуты.

– А?– грит Осби.

Пират передумал, вот что. Он вспомнил, что Катье теперь избегает малейшее упоминание о доме в лесу. Она лишь заглянула и отодвинула, но страницы кристалла истины преломили все слова, что она говорит—часто до плача—и он как-то не совсем понимает того, что говорится, ещё меньше получается соотнести с самим кристаллом. Ну вправду, что заставило её покинуть Schußstelle 3? Нам никогда не скажут почему. Но иногда, участникам игры, в затишье или переломный момент, напоминают что к чему, играй, мать твою, как надо—и хватит уже выкидывать такие номера... Не обязательно, чтобы потом резко, с показухой—может же и мягко накатить—когда уже неважно какой счёт, сколько зрителей, какая их коллективная воля, сколько пенальти могут назначить они или Лига, игрок, постепенно приходя в себя, возможно даже с упрямой походкой и пожимом плечей молодого отщепенца как у Катье, скажет, да нахуй, и бросит игру, бросит и все дела...

– Ладно,– продолжает он в одиночку, Осби затерялся в лунатичной улыбке наркуши, отслеживая зрелую женскую снежную кожу Альп в углу, он и ледяной пик в вышине и синяя ночь… – значит это причуда характера, бзик. Как ношение долбанного Мендозы.– У всех прочих в Конторе Стеном, знаете ли. Мендоза весит в три раза больше, никто уже и не видал 7-милиметровые патроны для мексиканского маузера в последнее время, даже и на Портобелло-роуд не найти: ему не хватает великой Гаражной Простоты или скорострельности, но он всё равно его любит (да, скорее всего в наше время это любовь),– сам знаш, чё ни возьми, всё чем-то лучче, а чем-то не,– ностальгия в его прямом спуске типа Льюиса, и возможность снять ствол в следующую же секунду (когда-нибудь пробовал снять ствол Стена?), и курок с бойками с двух сторон, на случай если один сломается….– Ну и что с того, что тяжелее? У меня такая причуда. Мне вес без разницы, иначе не вытаскивал бы девушку обратно, так?

– Я не твоя подопечная.– Статуя в узорном бархате винного цвета от шеи до запястий и щиколоток, и как давно, джентльмены, она наблюдает из той тени?

– О,– Пират становится простачком,– я за тебя отвечаю, знаешь ли.

– Счастливая парочка!– взревел вдруг Осби, принимая ещё одну щепоть миндаля, как понюшку, глаза закатываются, белки словно горы в миниатюре. И тут же громко расчихался по всей кухне, наблюдая невероятное явление: они оба оказались в одном поле зрения. Лицо Пирата темнеет в замешательстве, Катье не

меняется, половина облита светом из соседней комнаты, половина в аспидной тени.

– Значит, мне надо было тебя там бросить?– И когда она лишь сжала губы, с раздражением:– Или ты думаешь, тут кто-то обязан был тебя вытаскивать?

– Нет.– Это её достало. Пират спросил потому лишь, что начал подозревать, неясно, любое количество таких Тут Кто-То. Но для Катье долг это то, что надо стереть. Её давний, неуловимый недостаток—она хочет пересекать моря, объединять страны между которыми отсутствует возможный курс обмена. Её предки пели, на Средне-Голландском:

ic heb u liever dan ên everswín,

al waert van finen goude ghewracht

любовь не измерить золотом, ни золотым тельцом, ни, как в представленной песне, золотой свиньёй. Но к середине 17-го столетия уже не осталось свиней из золота, а только из плоти, как те, с которыми Франц ван дер Грув, один из предков, отправился на Маврикий, полный трюм живых свиней, и потратил тринадцать лет, таская свою аркебузу по эбонитовым лесам, через болота и лавовые потоки, систематически убивая местных додо по причине, которую сам не мог объяснить. Голландские свиньи разбирались с яйцами и птенцами. Франц тщательно наводил мушку на родителей с 10 или 20 метров, медленно тянул курок, не сводя глаз с расплывчатого уродства, покуда рядом в медленном подобии, смоченный в вине, стиснутый челюстями змия, спускался красновато тлеющий цвет, опаляя жаром щёку, словно моё личное маленькое светило, писал он домой своему старшему брату Хендрику, повелитель моего Знака... приоткрывал замок с зарядом пороха загороженный другой рукой—вспышка на затравной полке под фитилём и громкий выстрел отдавался эхом среди крутых скал, отдача била прикладом в его плечо (натёртая кожа там поначалу покрывалась водянками, но затвердела и обмозолилась после первого лета). И тупая неуклюжая птица, не сотворённая летать или быстро бегать—на что они вообще годятся?—теперь неспособная даже увидеть своего убийцу, вскинувшись, брызжа кровью, с квохтаньем умирала...

Дома брат просматривал его письма, некоторые свежие, другие подмоченные морем или выцветшие, за несколько лет кряду, доставлены все разом—мало что в них понимая, торопясь провести день как обычно, в садах и теплице со своими тюльпанами (царящее сумасшествие тех времён), особенно новая разновидность названная именем его теперешней любовницы: кроваво-красные с тонкой пурпурной татуировкой… «Недавно прибывшие все носят новомодные мушкеты… но я всё не расстаюсь со своим старым фитильным замком… разве не заслужил столь неуклюжее оружие для неуклюжей дичи?» Но Франц так и не написал что удерживало его там среди зимних циклонов, забивавшего ствол обрывками старого камзола вслед за свинцовой пулей, обожжённого солнцем, обросшего бородой и грязного—если только не под проливным дождём или когда

поднимался наверх, где кратеры старых вулканов держали в своих ладонях дождевую воду цвета небес подъятых в жертвоприношении.

Он оставляет додо гнить, его воротит от их мяса. Обычно, охотился он один. Но случалось, месяцы спустя, отшельничество начинало сказываться на нём, менять сами его ощущения—неровные горы при полном свете дня распускаются у него на глазах причудливыми шафранами, потоками индиго, небо становилось стеклом его теплицы, весь остров его тюльпаноманией. Голоса—у него бессоница, южные звёзды слишком густы, чтоб складываться в созвездия, сгущаются в лица и в существа из мифов более несусветных, чем додо—бормочут слова спящих, напевно, дуэтами, хором. Ритмы и тембры Голландские, но без какого-либо явного смысла. Притом они, как ему кажется, хотят предупредить о чём-то… бранятся, выходят из себя, что никак ему не доходит. Однажды он просидел весь день, уставясь на одиночное белое яйцо додо в гамаке из травы. Место слишком удалённое, чтоб забрела пасущаяся свинья. Он ждал царапинки, первой трещины, что обернётся сеткой в меловой поверхности: возникновение. Пакля зажата зубами стальной змеи, готова к возжиганию, готова опуститься, солнцем к морю чёрного пороха, и уничтожить младенца, яйцо света в яйцо тьмы, на первой же минуте его изумлённого зрения, в мокром пуху приглаженном прохладным юго-восточным ветром… Он следил вдоль ствола час за часом. Именно тогда, если когда-либо, он мог рассмотреть как оружие составляет ось, мощную как сама земная, между ним и его жертвой, неподвижной, внутри яйца, с наследственной цепочкой, что не должна прерваться покуда не узрит на миг свет этого мира. Так они и застыли, безмолвное яйцо и чокнутый Голландец, и аркебуза, что навсегда связала их в композицию блистательно неподвижную как у Вермеера. Лишь солнце двигалось: из зенита вниз и за зубчатые горы в Индийский океан, в неторопливую ночь. Яйцо не дрогнуло, не вылупилось. Ему следовало расшибить его тамте, где лежало: он понимал, что птенец появится до рассвета. Но цикл завершился. Он поднялся на ноги, колено и тазобедренные суставы в агонии, в голове гул от наставлений его сноголосов назойливо требовательных, наперебой, но он просто похромал прочь, оружие вскинуто на правое плечо.

Когда одиночество начало доводить его до подобных ситуаций, он чаще всего возвращался в поселение и присоединялся к отряду охотников. Пьяные, охваченные общей истерикой недорослей, в ночных вылазках они сразу начинали палить во что попало, в вершины деревьев, в облака, в демонских летучих мышей, что кричат за пределами слышимого. Ветра с юго-востока взбирались по склону охладить их ночную потливость, небо наполовину малиновое от вулкана, гул у них под ногами настолько же глубоко, как высоки голоса летучих мышей, все эти люди пойманы в срединном спектре, схвачены частотой собственных голосов и слов.

Эта безумная ватага всего лишь лузеры, что прикидывались расой избранных Богом. Колония, компания, умирали—как эбонитовые деревья, которые они обдирали с острова, как несчастный вид животных, которых они стирали с лица земли. К 1681 году *Didus ineptus* исчезнут, к 1710 последний поселенец покинет Маврикий. Компания продержится там на срок одной человеческой жизни.

Для кого-то это имело смысл. Они увидели птиц настолько несуразных, что возникало подозрение Сатанинского вмешательства, подобное уродство служило аргументом против Божественного творения. Не был ли Маврикий первым ядовитым протеканием в охранительной дамбе Земли? Христиане должны искоренить его, либо погибнуть во втором Потопе, разверстом на сей раз не Богом, но Вражиной. Акт вбивания зарядов в дула их мушкетов был для этих мужчин актом веры, деянием, символизм которого они понимали.

Но если они были избраны прийти на Маврикий, почему же и они избрались для провала и ухода восвояси? Избранность это или скороминущесть? Они Избранные или же Преходящее и обречены так же, как и додо?

Франц не мог знать, что за исключением пары-другой на острове Воссоединения, это были единственные додо во всём Творении и что он содействовал уничтожению расы. Но иногда масштабы и изуверство охоты доходили-таки и тревожили его сердце. «Не будь этот вид столь извращенным безобразием»,– писал он,– «их бы можно было с выгодой одомашнить для пропитания наших поколений, у меня нет к ним такой же яростной ненависти, как тут у некоторых. Но чем приостановить это убийство? Слишком поздно… Возможно, более пристойный клюв, перья погуще, способность к полёту, хотя бы краткому… части Промысла. Или же, встреть мы дикарей на этом острове, то внешность птицы и не показалась бы нам более странной, чем дикие индюшки Северной Америки. Увы, трагедия их в том, что они преобладающая форма Жизни на Маврикии, лишённая дара речи.»

Вот, и в этом вся суть. Отсутствие собственного языка исключало шанс приобщения их к тому, что их упитанные и льноволосые захватчики именовали Спасением. Но Франц, более одинокий в часы рассвета, чем большинство, не мог, в конце концов, не узреть чудо: Дар Речи… Обращение Додо. Они восстояли тысячами на берегу, светящийся профиль рифа на воде позади них, его прибой единственный звук утра, вулканы отдыхают, ветер утих, осенний восход осыпает стеклянисто глубоким светом их всех… они пришли из своих гнёзд и птичьих базаров, из-за потоков, извергающихся сквозь туннели в лаве, с мелких островов рассеянных, словно обломки, у северного побережья, из оголённых водопадов и сведённых джунглей, где топоры покрываются ржавчиной, а грубо сколоченные желоба гниют и валятся от ветра, из промозглости своих утр в тенях гор-пней приковыляли они в неуклюжем паломничестве на эту ассамблею: дабы приобщиться святости... Ибо, поскольку есть они твореньями Господа, имеющими дар разумного общения, признающими, что лишь в Слове Его возможно найти жизнь вечную... И в глазах додо стоят слёзы счастья. Они братья отныне, они и люди, что их избивали, братья во Христе, они мечтают оказаться сейчас рядом с младенцем на его насесте в конюшне, смотреть на него и любоваться его бесценным лицо ночь напролёт...

Вот наичистейшая форма европейского прогресса. Чего же ещё ради понадобилось всё убийственные моря, гангренозные зимы, голодные вёсны, преследование неверных до изнеможенья, полуночные боренья со Зверем, наш

пот ставший льдом и слезы, обернувшиеся бледными крупицами снега, если не ради таких моментов, как этот: маленькие обращённые, всех не охватишь одним взглядом, такие кроткие, настолько верящие—как смеет чей-то зоб стиснуться в страхе, как может раздаться квохтанье отступника в присутствии нашего клинка, нашего непременного клинка? Повящённые, теперь они будут кормить нас, посвящённые останки их и помёт станут утучнять наши урожаи. Мы говорили им о «Спасении»? Мы имели в виду вечную жизнь во Граде? Жизнь вечную? Рай земной восстановлен, вернуть им их остров каким он и был? Может быть. Всегда думаем о братьях меньших, коими мы благословенны среди наших прочих благословений. Право же, коль они спасают нас от голода в мире этом, тогда в следующем, в царстве Христовом, нашим спасённостям следует быть, в равной же мере, неотделимыми. Иначе додо окажутся только тем, чем выглядят в иллюзорном свете мира—всего только нашей дичью. Бог не может быть настолько жесток.

Францу позволительно рассматривать обе версии, чудо и охота на протяжении столь долгих лет, что все теперь он уж и не упомнит, как реальные, равносильные возможности. В обоих, под конец, додо умирают. Но что касается веры… он может верить только лишь в стальную реальность огнестрельного оружия, которое носит при себе. «Он знал, что мушкет весит меньше и притом его спуск, кремень и сталь, гарантируют более надёжное зажигание—но он чувствовал ностальгию по аркебузе… ему наплевать на лишний вес, такая у него была причуда….»

Пират и Осби Фил опёрлись на парапет крыши, великолепный закат по ту сторону и вверх извивов реки, имперский змий, толпы фабрик, квартир, парков, закопчённых шпилей и фронтонов, накалённое небо шлёт вниз на мили глубоких улиц и громоздящихся крыш, и на жилистую реку Темзу резкое пятно обожжёно-оранжевого, напомнить посетителю о временности его смертного пребывания тут, запечатать или опустошить все окна и двери доступные взору его глаз, которые ищут всего лишь капельку общения, перекинуться словом на улице, прежде, чем подниматься в пропахшую мылом съёмную комнату и к квадратам кораллового заката на досках пола—антикварный свет, само-поглощаемый, учтённый как потреблённое топливо на счётчике холокоста зимы, более отдалённые формы среди нитей или листов дыма обернулись превосходными пепельными руинами самих себя, окна поближе, на миг ударенные солнцем, не отражают вовсе, а льют такой же разрушительный свет, это напряжённое угасание, которое не обещает вернуться, свет, что обращает в ржавчину правительственные машины припаркованные у тротуара, лакирует последние лица спешащие по холоду вдоль магазинов, как будто прозвучала наконец бескрайняя сирена, свет, пронзающий холодом неизведанные каналы множества улиц, переполненный лондонскими скворцами, что миллионами слетаются к расплывчатым каменным пьедесталам, к пустеющим площадям и великому коллективному сну. Они летят кольцами, концентрическими кольцами на экранах радаров. Операторы называют их «ангелами».

– Он за тобой увязался,– Осби затягивается мухоморной сигаретой.

– Да,– Пират инспектирует края сада на крыше, недовольный в закате,– но совсем не хочется в это верить. Хватит с меня и того…

– И что ты думаешь про неё, вообще.

– Кто-то сможет её использовать, я так думаю,– прийдя к этой мысли вчера, на станции Чаринг-Крос, когда она уезжала в «Белое Посещение».– Нежданная прибыль кому-то.

– А тебе известно что они там надумали?

Только то, что они замышляют что-то с использованием гигантского осьминога. Но в Лондоне никому ничего определённого не известно. Даже в «Белом Посещении» суета нежданной суматохи, и вязкая неясность что к чему. Майрон Грантон замечен бросающим не слишком товарищеские взгляды на Роджера Мехико. Зуав отбыл обратно в своё подразделение в Северной Африке, служить дальше под Крестом Лорейна, всё, что может напугать Немцев в его черноте, заснято на плёнку, всё выжато из него уговорами или внушениями самого фон Гёля, когда-то дружного с и по-прежнему равного Лангу, Пабсту, Любичу, с недавних пор замешанного в дела энного количества правительств в изгнании, в колебание валют, в учреждения и прекращения существований удивительнейшей сети рыночных операций, на которые закрывают глаза, перемаргивают дальше по всему воюющему континенту, даже когда пожарные расчёты с воем мчат по улицам, а огненный смерч уносит кислород в небо и клиенты валяются, задохшись как клопы в от ДДТ… однако коммерция ничуть не умалила Манеру фон Гёля: теперь в ней больше прочувствованности, чем прежде. В начальных отрывках чёрный человек в форме SS движется на фоне модели ракеты и трейлера (непременно заснятые сквозь сосны, снег, под удалённым углом, чтобы не выдать съёмку на Английской натуре), остальные, достаточно чёрнолицые, призваны на день, вся шара забавляется, м-р Пойнстмен, Мехико, Эдвин Трикл, и Ролло Грост, постоянный нейрохирург ОИА Аарон Тростер, все играют чёрных ракетчиков вымышленной *Schwarzkommando*—даже Майрон Грантон на роли без слов, смазанный статист, как и все остальные. Продолжительность фильма три минуты 25 секунд из двенадцати кусков. Плёнку состарят, добавят малость плесени и зернистости и перебросят в Голландию, чтобы стала частью «остатков» поддельной стартовой площадки ракет в Рийксвийкше Бош. Затем Голландское сопротивление совершит «налёт» на эту площадку, произведя много шума, оставив отпечатки шин и следы поспешного бегства. Спалят армейский грузовик коктейлями Молотова: в пепле, среди обгорелого брезента, почернелых и частью расплавившихся бутылок джина, обнаружатся фрагменты тщательно сфальфсифицированных документов *Schwarzkommando* и эта катушка плёнки, которую можно просматривать всего три минуты 25 секунд. Фон Гёль, твердея лицом, объявляет это величайшей из своих работ.

«Действительно, с учётом дальнейших событий»,– пишет знаменитый киновед Митчел Притиплейс,– «невозможно оспаривать такую его оценку, хотя по далеко

иным причинам, чем мог бы выдвинуть фон Гёль или предположить даже с его тогдашней точки зрения».

В «Белом Посещении», из-за беспорядочного финансирования, всего один кинопроектор. Каждый день, около полудня, когда люди из *Оперции Чёрного Крыла* заканчивают просмотр своих фальшивых афро-чёрных ракетных войск, Вибли Силвернейл является унести проектор обратно по холодным коридором истёртого дерева в крыло ОИА, во внутреннюю комнату, где осьминог Григори молча пускает сопли в своей ёмкости. В остальных комнатах воют псы, пронзительно лают от боли, скулят вымаливая стимул, которого не получают и не получат, а снег кружится, невидимыми татуировочными иглами за лишённым нервов стеклом окна позади зелёных занавесок. Плёнка заправлена, свет выключен, внимание Григори привлечено к экрану, где уже движутся кадры. Беззвучно, неприметно для неё, камера следит как она движется, явно никуда, по комнатам, длинноногая, с подростковой угловатостью присутуленных плеч, волосы не вызывающе Голландские, нет, а собраны в стильный взлёт вверх под старинную корону матового серебра...

* * * * * * *

Было очень раннее утро. Он проспотыкался наружу один, в улочку мокрого кирпича. К югу заградительные аэростаты, в сёрфинге на утренних перистых, мерцали, розово-жемчужные, в рассвете.

Вот и выпустили Слотропа на волю, снова шастает, блядь, последний шанс имелся свалить на дембель типа чокнутого, дак он его прощёлкал... Чего ж не придержали его в той палате для сдвинутых сколько собирались—говорили ж на пару недель? Никаких объяснений. Просто «Приветики!» и залупай отсылает его обратно в тот же ТОТСССГ. Парнишка из Кеноши, Крукмен, западопроходец, и его приятель Ваппо составляли весь его мир в последние дни… остались ещё непроработанные вопросы, незавершённые приключения, механизм сдерживания и до хрена счислений о порядке категоризации старушки на тему доставки свиньи на дом через перелаз, а тут на тебе!—и снова тот же Лондон.

Но что-то не так… что-то... поменялось… не хочу скулить, братаны, но—ну например, он мог почти поклясться, что за ним следят или, по крайней мере, приглядывают. Некоторые из хвостов очень скользкие, но других он может вычислить как нехрен делать. На рождественской распродаже вчера в Вулворсе, усёк парочку вылупленных глаз в отделе игрушек, возле кучи аэропланов из бальзового дерева и велосипедов для малышни. И какая-то неизменность в отражении зеркала заднего вида в его Хамбере, ни цвет ни модель пока что не засветились, но что-то постоянно присутствует в маленькой рамочке, довело до того, что начал оглядываться на другие машины при выезде по утрам на работу. Вещи на его столе в ТОТСССГ как-то не так как оставлял. Девушки ищут отговорки, чтоб отменить свидание. Он чувствует, что его мягко отстранили от

жизни, которой он жил до побывки в Св. Веронике. Даже в кино, позади него всегда кто-то, кто старается не говорить, не шелестеть бумагой, не смеяться слишком громко: Слотроп достаточно посещал кино, чтобы враз усечь такую аномалию.

Отсек возле Гросвенор-сквер начинает всё больше смахивать на капкан. Он проводит время, иногда целые дни, бродя по Ист-Енду, вдыхая резкий воздух Темзы, выискивая места, где хвосты не смогут идти следом. Однажды сворачивает он в узкую улочку, вся из кирпича и продуктовых лотков, и слышит как окликнули по имени—и, опаньки!.. тут она и подходит, блондиновые волосы вразлёт, белые танкетки постукивают по мостовой, клёвая чува в форме медсестры, а зовут её, э-э, ну да—Дарлин. Работает в госпитале Св. Вероники, а живёт неподалёку у м-с Квод, леди давно овдовела и с той поры страдает серией антикварных болезней типа общей анемии, экземы, фолликулита, хлоазмы, и аденомы сальных желез, совсем недавно добавилась приправочка из цинги. В общем, вышла за зелёными лимонами для квартирной хозяйки, и тут фрукты начали скакать и сыпаться из её соломенной корзинки и покатились, жёлто-зелёные, вдоль по улице, молоденькая Дарлин бегом вдогонку в своей шапочке медсестры, её груди как мягкие буфера для этой встречи в сером море города.

– Ты вернулся! Ах Тайрон, ты вернулся,– слезинка или две, они оба в приседе, подбирают цитрусовые, шелестит накрахмаленное хаки платье, даже пару раз пришмыгнул не совсем уж лишённый сентиментальности нос Слотропа.

– Это я, милая…

Колея шин по слякоти обернулась жемчугом, мягким жемчугом. Чайки медленно кружат на фоне высоких безоконных кирпичных стен района. Квартира м-с Квод вверх по трём тёмным лестничным маршам, с куполом далёкого Св. Пола из кухонного окна сквозь дым, в какие-то дни, а сама крохотная леди в кресле розового плюша в общей комнате, слушает по радиоприёмнику концерт аккордеонного оркестра Прима Скалы. На вид достаточно здорова. Хотя на столе её скомканный платочек из шифона: перистые пятна крови извилинами так и сяк типа узорчика из цветов.

– Вы заходили, когда у меня была банальная лихорадка,– вспоминает она Слотропа,– мы в тот день заварили чай из полыни.– Ну конечно, даже и сейчас незабвенный привкус, поднимаясь сквозь подошвы его башмаков, корёжит по полной. Они чуть переиначились… должно быть выскользнуло из памяти… холодный чистый интерьер, девушка и женщина, независимо от его стенографии звёзд… так много осунувшихся девушек, продутых ветром набережных, сиделок, прощаний на автобусных остановках, разве можно ждать, чтоб он запомнил? но сама комната не унималась с напоминаниями: в какой-то части того, кто уж он там внутри себя, соизволила остаться, сберегала себе спокойненько все эти месяцы вне его головы, разложившись в зернистые тени по засаленным баночкам трав, конфет, приправ, полного собрания романов Комптона Маккензи на полке, застеклённые образа её покойного мужа Остина, в золочёных, припорошённых

подступающей ночью рамочках на каминной доске, где в прошлый раз дикие астры слали привет из своей перепутаницы в маленькой вазе сервского фарфора, которую они с Остином нашли давным-давно когда-то в магазине на Вардор-Стрит...

– Он был моим здоровьем,– часто повторяет м-с Квод,– с тех пор как умер, мне пришлось стать окончательной ведьмой, из чистого самосохранения.– Из кухни доносится запах свеженарезанных и выжатых лимонов. Дарлин часто входит и выходит из комнаты, выискивает всякие ботанические добавки или спросить, куда подевалась тряпочка под сыр.– «Тайрон помоги мне снять ту—нет рядом, высокая банка, спасибо милый»,— обратно на кухню, скрипнув крахмалом, полыхнув розовым.– «Тут никто ничего не помнит, кроме меня»,– вздыхает м-с Квод,– «вот и помогаем друг другу, как видите.»– Из-под кретона маскировочной накидки она обнажает большую вазу с конфетами.– «А теперь»,– сияет она к Слотропу,– «Вот: винные желе. Они довоенные».

– Теперь я вспомнил вас—леди со связями в Министерстве Снабжения!– Но он знает, по прошлому разу, никакая галантность его не выручит. После того визита он написал домой к Нэйлин: «Англичане малость странные насчёт что какого вкуса, Мам. Они не такие как мы. Наверно это из-за климата. Им нравится , на что и не подумал бы никогда. Иногда просто желудок наизнанку. Недавно меня угостили чем-то с названием «винное желе». Для них это конфета, Мам! Придумай как скормить одну такую Гитлеру и войне конец завтра же!» Сейчас он снова лицом к лицу с этими рыжеватыми предметами из желатина, кивает м-с Квод с выражением, как он надеется, радости. На них выпукло выписаны наименования различных вин.

– И ещё капельку ментола,– м-с Квод закладывает в рот одну.– Прелесть. Слотроп выбрал наконец себе с барельефом *Lafitte Rothschild* и отправляет в свой целовальник: «О да. Да. Ммм. Великолепно.»

– Если вы хотите что-то совсем особенное, попробуйте Бернкаслер Докторский. О! Не вы ли мне принесли тогда те миленькое Американские штучки, слизистый вяз.

– Гладкий вяз. Какая жалость, они вчера кончились.

Входит Дарин с горячим чайником и тремя чашками на подносе.

– Что тут?– Слотроп малость торопливо.

– Тебе лучше не знать, Тайрон.

– Это точно,– после первого глотка, горюя как мало добавила она лимонного сока или хотя бы чего-нибудь, чтоб снять основной, убийственно горький вкус. Эти люди и впрямь сумасшедшие. И без сахара, есесна. Он тянется к вазе с конфетами, выуживает ребристый шарик лакрицы. На вид безопасна. И как раз когда он кусает, Дарлин смотрит на него со значением, грит, умничка, ну очень вовремя: «А я думала мы от всех тех—«Жильберт & Саливан неподдельное

наслаждение»—избавились *пару лет назад*»,– как раз в тот в момент, когда Слотроп распробовал тягуче-жидкую сердцевину со вкусом майонеза и корок апельсина.

– Вы забрали последнюю из моих Мармеладный Сюрпризов!– вскрикивает м-с Квод, с быстротой фокусника достаёт сладость в форме яйца мягко зелёного цвета, всю усыпанную лавандовым типографским шрифтом.– И за это не получите ни одной кремовой рабарбы.– И вся та штука исчезает в её рту.

– Так мне и надо,– говорит Слотроп, теряясь в догадках что именно хотел он этим сказать, прихлёбывает чай из трав, чтобы снять вкус конфеты из майонеза—чёрт! и это уже ошибка, по полной, потому что его рот вновь переполняет жуткая алкалоидная лавина, аж до самого мягкого нёба, где та и осела. Дарлин, сочувственная Голубушка, подаёт ему твёрдую красную конфету в форме малины… мм, как ни странно, у неё даже вкус малины, хотя не в силах снять всю ту горечь. Нетерпеливо, вгрызается он и уже дохрустывая понимает, ёбаный идиот, что снова нарвался, по языку разливается самая жуткая кристаллиновая концентрация, Боже, наверняка это чистая нитритная кислота.– Ой-йой, вот уж и вправду кисленькая.– Едва получается выговаривать слова, до того его крючит типа тех шуточек, которыми Хоп Хариган отвлекал Танка Тинкера от игры на его свирельке, дешёвый трюк в тех комиксах и вдвойне предосудительный со стороны старой леди, которая типа ж как тоже из наших Союзников, блядь, ему и глаза застило, оно зашло в нос и, уж чем бы оно там ни было, никак не собирается раствориться, а просто продолжает пытку его дрожащего языка и хрустит на зубах как толчёное стекло. М-с Квод тем временем занята поглощением, кусочек за кусочечком, пироженого *petit four* из вишни с хинином. Она излучает удовольствие к молодым людям по ту сторону вазы с конфетами. Слотроп, забывшись, снова тянется к чаю. Теперь не выйдет галантно пойти на попятный. Дарин спускает ещё две-три банки с конфетами с полки, и теперь он срывается, как путешествие к центру некоей малой, враждебной планеты в громком конфетном *чавк* сквозь шоколадную кору отдающей эвкалиптом помадки к, наконец-то, ядру из какой-то очень тугой резинки арабской. Ногтями он выдирает кусочек этого из зубов и какое-то время рассматривает. Цвет пурпурный.

– Вот вы и догадались!– М-с Квод машет ему пёстрым конгломератом из корня имбиря, ириски и семени аниса,– понимаете всегда надо наслаждаться внешним видом. И почему вы, Американцы, такие импульсивные?

– Ну,– бормочет,– обычно мы не доходим до чего-то более сложного, чем плитки Херши, понимаете…

– О, попробуй *это*!– врикивает Дарлин, ухватившись за горло и приваливаясь к нему.

– Ух-ты, это наверняка что-то,– с сомнением берёт эту новинку коричневого цвета, уменьшенная вчетверо полная копия ручной гранаты, защёлка, кольцо и всё прочее, одна из серии патриотических сластей выпущенных до того как сахар стал

таким дефицитом, наряду, как он определил заглянув в банку, с обоймой Вибли .455 калибра из розовых и зелёных ирисок, шеститонной бомбы из желатина в серебристой обёртке, и базуки из лакрицы.

– Ну, давай,– Дарлин ухватив его руку с конфетой, пытается впихнуть в его рот.

– Да просто, знаешь, смотрю на вид, как советует м-с Квод.

– Но плющить в руке нечестно, Тайрон.

Под своей тамариндовой глазурью, граната оказывается приторной нугой сдобренной пепсином, полной пряных ягодок кубеба поверх жёсткой сердцевины камфорной камеди.. Слов нет до чего отвратно. У Слотропа голова пошла кругом от камфорных испарений, глаза слезятся, язык в неизбывном холокосте. Кубеб? Ему случалось лишь *курить* эту дрянь.– «Отравлен»...– удаётся ему выстонать.

– Ну же, по-мужски,– советует м-с Квод.

– Да,– Дарин через слои обсосанной карамели,– не забывай, мы на войне. Давай, милый, открой ротик.

Сквозь слёзы он не может толком разглядеть, но слышит, как м-с Квод напротив за столом долдонит: «Ням, ням, ням»,– а Дарлин давится смехом. Это большущее и мягкое, как зефир, но почему-то—если только у него всерьёз не сдвинулись мозги—по вкусу похоже на джин.– Эа шо,– спрашивает он непрожёванно.

– Джиновый зефир,– грит м-с Квод.

– Аааа…

– О, это ещё что, попробуйте одну такую...– Его зубы с какой-то извращённой рефлективностью прохрустнулись через твёрдую кислую крыжовниковую скорлупу до влажной брызжущей неприятности, наверное, как ему кажется, тапиоки, липкие кусочки чего-то наполненного пудреными дольками.

– Ещё чаю?– предлагает Дарин. Слотроп заходится кашлем, вдохнув малость той начинки из долек.

– Нехороший кашель,– м-с Квод предлагает коробочку тех невероятных Английских капель от кашля, Меггезон,– Дарлин, чай просто чудесный, я чувствую как моя цинга проходит, просто чувствую.

Меггезон это как если тебя шарахнут по голове Швейцарскими Альпами. Ментоловые сосульки моментально вырастают с крыши ротовой полости Слотропа. Полярные медведи вцарапываются когтями, чтобы удержаться на морозных гроздьях альвеолярных кистей в его лёгких. Зубы ободрало настолько, что дышать больно даже через нос, даже послабив галстук и засунув нос под

шейный вырез в его оливково-серой майке с короткими рукавами. Испарения бензоина всверливаются ему в мозг. Голова плывёт по кругу нимба изо льда.

Даже час спустя привкус Меггезона не оставил его, в воздухе призрак мяты. Слотроп лежит с Дарлин, Отвратные Английские Конфетные Манёвры в прошлом, его пах притиснут к её тёплому заду. Единственной конфета, которую он не попробовал—м-с Квод её заныкала—оказалась *Райское Пламя*, та знаменитая сладость по дорогой цене и переменчивого вкуса—для одного как «солёная слива», для другого «искусственные вишни»… «засахаренные фиалки»… «Ворчестерский соус»… «патока с перцем»… сколько угодно подобных определений, уверенных, кратких, никогда длиннее, чем пара слов—напоминают описание отравляющих и одуряющих газов в тренировочных инструкциях, «кисло-сладкий баклажан» самое, пожалуй, длинное на данный момент. *Райское Пламя* сегодня оперативно вымерло и в 1945 его вряд ли можно найти: во всяком случает среди залитых солнцем магазинов и полированных витрин Бонд-Стрит или развалин Белгравии. Но время от времени какая-то да и всплывёт в местах обычно не торгующих кондитерскими товарами: спокойно, в глубине больших стеклянных банок затуманенных временем, среди других подобных предметов, иногда просто одна конфета на всю банку, почти скрытая окружающими турмалинами в Немецком золоте, резными эбонитовыми напёрстками из прошлого столетия, за шпильками, частями клапанов, резьбовыми запчастями от непонятных музыкальных инструментов, радиодеталями из канифоли и меди, которую Война, в своей ненасытном, всеобгладывающем поглощении не успела слизнуть в темноту… В местах, чья тишь не нарушается слишком громким звуком автомобильных моторов, а снаружи деревья вдоль улицы. Комнаты глубже, а лица, проявляясь в свете, что падает сквозь застеклённую крышу, старше, желтее, дряхлее...

Поколыхиваясь около нулевой отметки между сном и бодрствованием, его полупоникший хуй всё ещё в ней, их обессиленные ноги согнуты под одинаковым углом… Комната углубляется в воду и прохладность. Где-то садится солнце. Света едва хватает различить тёмные веснушки у неё на спине. В гостиной, м-с Квод снится, что она вернулась в сады Бёрнмаута, в гущу рододендронов и нежданного дождя, Остин кричит Прико*снитесь к её горлу, Величество. Прикоснитесь!* и Йрйё—самозванец, но настоящий король из какой-то весьма сомнительной семейной ветви узурпировавшей трон в результате интриг по поводу Бессарабии в 1878—Йрйё, в старомодном сюртуке с золотыми галунами поблескивающими на рукавах, склоняется к ней сквозь дождь навсегда излечить от золотухи королевским прикосновением, смотрится так же как на ротогравюре, в паре шагов позади, его милая Хризола, в серьёзном ожидании, вокруг них колошматит дождь, белая королевская рука вынута из перчатки, складывается, как бабочка, прикоснуться к впадинке на горле м-с Квод, чудотворное прикосновение, лёгкое… прикосновение…

Вспышка молнии—

И Слотроп зевает: – Который час?– а Дарлин всплывает из сна. И тут, без предупреждения, комната полна полдня, слепяще-белого, каждый волосок взбитый у неё на загривке отчётлив как днём, и сотрясение обрушивается на них, потрясая дом до его бедных косточек, ударяя в оконную занавеску, обернувшуюся чёрно-белой сеткой траурных карточек. Сверху, настигая, взвивается вой паденья ракеты, скорый поезд с высот вниз, в звенящую тишину. Снаружи лопается стекло, протяжный диссонанс цимбал дальше по улице. Член Слотропа подскочил, торча до боли. Для Дарлин, пробудившейся внезапно, сердце колотится, ладони и пальцы свело страхом, это торчание, разумеется, кажется частью белой вспышки, грохота. К тому времени, когда взрыв сошёл на красное постоянное мерцание за занавеской, её начинает удивлять… как одно с другим… но они уже в ебле по полной, и какая разница, а и ради Бога, почему бы и не быть хоть какой-то пользе от этого дурацкого Блица?

Но кто там, в просвете оранжевой занавески, сдерживает дыхание? Подсматривает? Ну и где же, по-вашему, составители карт, мастера слежки, упадёт следующая?

* * * * * * *

Самое первое прикосновение: он говорил какую-то гадость, обычное для Мехико самобичевание—ты меня не знаешь, я ещё тот подонок—«Нет»,– она хотела приложить свой палец к его губам,– «не говори так».– Когда она потянулась, он без раздумий перехватил её запястье и отвёл в сторону, чистая самозащита—но продолжал удерживать её. Они оказались лицом к лицу, и ни один не отводил глаз. Потом Роджер поднёс её руку к своим губам и поцеловал, всё так же глядя ей в глаза. Пауза, его сердце резкими толчками стучит в стенку его груди… –«Ооо»,– вырвалось у неё и она потянулась обнять его, отбросив всякую сдержанность, открыта, вся дрожа, пока они прижимались друг к другу. Позже она ему рассказывала, что как только он взял её руку в тот вечер, она кончила. И первый раз, когда он прикоснулся к её пизде, пристиснул мягкую пизду Джессики сквозь её трусики, дрожь снова началась высоко меж её ляжек, охватывая всю. Она кончила дважды, прежде, чем хуй официально вошёл в её пизду и это важно для них обоих, хотя ни один не смог понять почему, собственно.

На протяжении этого, свет для обоих становится очень красным.

Однажды они встретились в чайной: на ней был красный свитер с короткими рукавами и её обнажённые руки теплились красным по бокам. Она была без никакой косметики, он первый раз увидел её такую. Шагая к машине, она берёт руку Роджера и прикладывает на секунду, слегка, между своих движущихся ног. Сердце Роджера наполняется эрекцией и кончает. Такое вот ощущение. Резко вверх до уровня кожи, выплёскиваясь из его сосков… это любовь, это изумительно. Даже когда её нет рядом, очнувшись ото сна, на улице вслед за

лицом, которое вопреки вероятности может оказаться лицом Джессики, Роджер никак не может совладать с этим, он не принадлежит себе.

Про Бобра. Или Джереми, под таким именем тот числится у своей матушки, Роджер старается не думать больше, чем вынужден. Конечно же, он в агонии насчёт технических деталей. Она ведь никак не может—или может?—Делать Такие же Вещи с Джереми. Разве может тот *мудак*—она же не потянется вокруг когда они ебуться, а и чтоб вставить свой хулиганский палец, в его Английскую розу, в жопу *Джереми?* Стоп, прекрати это (но сосёт ли она его хуй? Ныряла ли хоть раз его постоянно наглая рожа между её сладеньких ягодиц?), бесполезно, это полоса юношеского помешательства и сидел бы сейчас лучше в Тиволи, да смотрел очередную серию Марии Монтез и Йона Хола или наблюдал бы леопардов и карибских вепрей в зоопарке Регент Парка и вычислял пойдёт ли дождь до 4:30.

Время, которое Роджер и Джессика провели вместе, в сумме, измеряется часами. А все произнесённые слова по количеству не превысят меморандум ВКСЭС. И нет ни малейшей возможности, впервые за его карьеру, чтобы статистик придавал этим числам хоть какой-то смысл.

Когда вместе, они единый интерфейс кожи, истекающей потом, стиснутой насколько их мускулам с костями хватает сил прижиматься, почти без слов. кроме её имени, или его.

По отдельности, время для составления крутых кино-диалогов, сценариев, чтобы разыгрывать наедине с собой, по ночам, когда её зенитка стучит в дверь небес над нею, а его ветер гудит в завитках колючей проволоки вдоль пляжа. Отель Мэйфловер: «Кое у кого реактивная скорость, опоздала всего на полчаса.»

– Ну,– девушки из ЖКМС и УФАА, ювелирно разукрашенные юные вдовы, косятся со всех сторон,– надеюсь, ты время зря не терял.

– Хватило условиться о паре свиданий,– отвечает он, тщательно всматриваясь в наручные часы застёгнутые, по моде второй мировой войны, на внутренней стороне запястья,– и *на текущий момент* обеспечена беременность или две, если только…

– Ах!– Она подскакивает радостно (вверх, не на),– это мне *напомнило*…

– Вуууййй!– Роджер отшатывается назад к растению в горшке, под разухабистые саксофоны Роланда Пичи и Его Оркестра, исполняющие «Вот, я Ляпнул Это Снова», и роняет голову на грудь.

– Так *вот*, что у тебя на уме. Если, конечно, ум подходящее слово.

Они приводят всех в замешательство. Кажутся невыносимо невинными. Людей тут же тянет защитить их: следят за собой, чтобы не говорить о смерти, делах,

изменах, когда Роджер и Джессика рядом. Всё только лишь про дефициты, песни, дружков, фильмы и блузки…

Когда заложит волосы за уши, с её мягким подбородком, она выглядит 9, 10-летней, потерялась у витрин, моргает на солнце, голова мечется по светлому стёганому покрывалу, кончает в слезах, покрасневшее сморщенное лицо ребёнка готового разреветься, стонет *о, о*…

Однажды ночью, в тёмном холодно-одеяльном убежище их постели, сам задрёмывая и просыпаясь, он зализал Джессику до сна. Ощутив, как его первые тёплые вздохи касаются её половых губ, она трепетала и кричала как кошка. Две-три ноты, казалось, звучат вместе, хрипло, колеблясь, пронизанные снежинками, что запомнились из прошедшего вечера. Деревья снаружи просеивают ветер, невидимые ей грузовики несутся по дорогам и улицам, за домами, за каналами или рекой, за простеньким парком. О, и ещё собаки и коты, что выбрались потоптаться по мягкому снегу...

«… как бы картины, ну ладно, скорее сцены всплывают, Роджер. Сами собой, серьёзно, я их не *выдумываю*….» Яркий рой их проплывает на фоне низкого изотонического мерцания потолка. Он и она лежат и дышат кверху, его обмягчившийся хуй млеет, свисая через его ляжку, подгору, в сторону Джессики. Ночная комната испускает вздох, да, Испускает Вздох—старомодная смешная комната, ой-ой, я безнадёжен, кто клоуном родился вовек неисправим, заигрывает из зеркальной рамы в чём-то зелёно-полосатом, панталоны, волосы дыбом—и тем не менее это *очень* даже странно, за большинством комнат сегодня, гм, знаете ли, замечалось, что они «дышат», да или *замирают в безмолвном ожидании* и в этом уже наметилась некая, должно быть, зловещая традиция, длинные стройные создания, тяжёлая парфюмерия и мулеты по комнатам подвергшимся атаке среди ночи, проткнуты винтовыми лестницами, сине-лепестковыми беседками, в подобных обстоятельствах никто, как угодно рассвирепелый или сдвинутый, моя юная леди, никогда не Испускает Вздоха. Такого не бывает.

Но тут. С *этой* юной леди. Бумазея в клеточку. Взъерошенные брови. Распоясалась так, что удержу нет. Красный бархат. На «слабо́» она сняла свою блузку, посреди движении по основной магистрали возле Ловер Бидинга.

– О, Боже, она чокнутая, и за что мне попадаются только такие вот?

– Ну ха, ха,– Джессика помахивает своим форменным галстуком как стриптизёрша,– сказал, побоюсь, да? Гри-и-л. Назвал меня «трусишка зайчишка, трусишка», я помню.– И конечно же, без лифчика, она их никогда не носит.

– Послушай,– смотрит искоса,– ты знаешь, что тебя могут арестовать? Забудь про «*тебя*»,– ему только что дошло,– *меня* арестуют!

– Скажут на тебя, ты и отвечай, ла, ла.– Нижние зубы выпятила в улыбке зловредины.– Я ведь просто невинный ягнёночек, а этот,– чуть вскидывает руку,

резкий отсвет светлых волосков на её предплечье,– этот Роджер-держи-морджер! вот этот ужасный зверюга! заставляет меня делать всякие гадкие...

Тем временем, самый здоровенный грузовик из всех, что Роджер видел в своей жизни, совершает обгон, сотрясаясь сталью, и теперь не только водитель, но и несколько—ну это вообще жуть… *карликов*, в непонятной опереточной форме, в общем-то, какого-нибудь из центрально-европейских эмиграционных правительств, которые как-то втиснуты все в высоко закреплённую кабину и поголовно уставились вниз, из своей поросячьей возни по свиноматке, для лучшего обзора, глаза вылуплены, сами смуглые, слюна каплет с губ, от этого представления его Джессики Свонлейк со скандально голой грудью и его самого пытающегося притормозить и отстать от грузовика—да не тут-то было, сейчас позади Роджера, поджимая его, на той же, фактически, скорости, что и грузовик, появилась, у блядь, так и есть, машина военной полиции. Он не может сбавить, а попытка обгона и *впрямь* покажется подозрительный...

– Э, Джеси, пожалуйста, оденься, э, ладно, милая?– делая вид, что ищет свою расчёску, которая, как обычно, затерялась, задержанный известен как злостный расчёскоман…

Водитель здоровенного ревущего грузовика пытается привлечь внимание Роджера, остальные коротышки, сгрудившись у окон, орут «Эй! Эй!», издавая сальные гортанные смешки. Их старший говорит на Английском с невыразимо отвратным европейским акцентом. Тоже с кучей подмигов и подёргов: «Мийстир! Ай, ти! Какий малишка, а?»– Ещё больше хохота. В зеркале заднего вида Роджер видит Английские полицейские рожи розовые в своей правильности, красные погоны, склоняются, подскакивают, советуются, временами резко взглядывают на парочку в Ягуаре, которые как-то типа—«*Что* они *делают*, Приксбери, тебе видно?»

– Похоже мужчина и женщина, сэр.

– Осёл.– И вскидывает чёрный бинокль.

Сквозь дождь… затем сквозь замечтавшееся стекло, зелёное от вечера. И сама она в кресле, в старомодной шляпке, смотрит на запад, вдоль диска Земли, геено-красного по краям, и дальше в коричневые с золотом тучи…

Потом, вдруг, ночь: Пустое кресло-качалка залито голубовато-меловым от—это луна или какой-то другой свет с неба? просто деревянное кресло, уже пустое, посреди очень ясной ночи и этот свет спускается...

Образы длятся, расцветают, приходят и уходят, некоторые красивы, какие-то просто ужасны… но ей тут так уютно с её ягнёнком, её Роджером, и до чего же она любит очертания его шеи вся прям такая уж—ну вот, как раз вот здесь, под затылком его шишковатой головы как у десятилетнего мальчика. Она его целует вверх и вниз кисло солёного кусочка кожи, что так завёл её, завёл её освещённую

ночью, вдоль этих высоких сухожилий, целует его, поцелуи словно непрерывное дыхание, текущее без конца.

Однажды утром—он не видел её уже около полумесяца—он проснулся в своей келье отшельника в «Белом Посещении» с напряжённо стоячим, веки не продрать, а в рот ему впутался длинный светло-каштановый волос. Это уж явно не его. И ни чей-то ещё, кроме как один из волос Джессики. Но это невозможно—он не встречался с ней. Он всхлипнул пару раз, потом чихнул. За окном начиналось утро. Его правый клык ныл. Он размотал длинный волос в капельках слюны, зубной камень, утренняя пушинка тому, кто дышит ртом, и уставился на него. Как он сюда попал? Просто жуть, душечка. Прям тебе полный *je ne sais quoide sinistre.* Ему надо поссать. Пошаркал к уборной, его серая армейская фланель вяло заткнута под резинку пижамы, ему пришла мысль: а что если та сизая история начала века про заговор мстительных духов и эта волосина некий Первый Шаг… О, паранойя? Ты бы видел, как он просчитывал все комбинации, прикидывал, справляя нужду в уборной среди спотыкливых, пердливых, скребущихся лезвием, кашляющих, чхающих и обсопливленных обитателей Секции Пси. Только чуть погодя он подумал о Джессике—о её безопасности. Заботливый Роджер. Что если она погибла в эту ночь, взрыв на складе боеприпасов… этот волос последнее прости-прощай, которое её призрачная любовь смогла протолкнуть на эту сторону, к единственному кто что-то значил... Один такой себе паук-статистик: его глаза и впрямь наполнились слезой перед тем, как пришла Следующая Мысль—*о. О*, нет. Закрути-ка этот вентиль, Нетель, да прикинь *вот* о чём. Он стоял, полусогнувшись над раковиной, застыл, отложив свои страхи за Джессику на чуть попозже, так и подмывало оглянуться через плечо или даже просто в, в старое зеркало, знаешь, убедиться, что они ещё там, но слишком парализован, чтобы рискнуть хотя бы и на это… *вот тут-то*… о, да, самая ясная вероятность нашла почву в его мозгу и пустила корни. Что если все они, вся эта шайка психов из Секции Пси сговорились против него? Ну как? Да: предположим они могут читать твоё сознание! а и что если—что если это гипнотизм? А? Исусе: тогда целая куча других оккультных заморочек, таких как астральное наущение, контроль сознания (ну в *этом-то* ничего оккультного), тайные проклятия, чтоб вызвать импотенцию, флюс, сумасшествие, вуууййй!—*зелья!* (вот когда он, наконец, распрямляется и умственный взор, очень исподволь, разворачивается к толкучке в кофейном баре, о, Боже…), психо-обмен, чтобы Роджер стал им, а он Роджером, да, да, парочка таких понятий прокатились у него в уме на этом месте, ни одна из которых, в принципе, не манит, кстати—особенно посреди этого служебного сортира, с лицом Гавина Трефола лиловой окраски, яркое цветение клевера на ветру, Рональд Черикок выхаркивает ком зеленоватой с прожилками мокроты в раковину—что всё это, *кто все эти люди*...Чокнутые. *Чоооокнутые!* Его обложили! они тут тусуются всю эту войну, прослушивали его мозг, телепаты, ведьмаки, Сатанинские механики всех мастей, подключаются *во всё*—даже когда они с Джессикой в постели, *ебуться*—

Только не подавай виду, дружок, паникуй, если уж припёрло, но потом, не здесь... Квёлые лампочки для ванных углубляют старые набрызги тысяч пятен воды и

мыла по зеркалам до взаимоперистости облаков, дыма и кожи, пока он прошатывает свою голову мимо, лимонно-бежевую, коптяще-чёрную и сумеречно-коричневую в этих отражениях, из очень крупных крупинок, такая тут фактура...

Чудесное утро, Вторая Мировая Война. Всё, что он в состоянии удерживать на поверхности своего сознания, это слова *Мне нужно перевестись* типа мурлыканья без музыки перед зеркалом, да, сэр, следует подать рапорт немедля. Вызовусь добровольцем на фронт в Германии, вот что я сделаю. Там та рам та рам. Точно, было объявление в прошлую среду в секретном разделе *Нацистов в Новостях*, втиснуто между объявлениями Мерсисайдского отделения лейбористов ищущих публициста и Лондонского рекламного агентства о местах сразу же по демобилизации. То объявление посерёдке разместила какая-то рука из G-5, отловить пару специалистов по «переобразованию». Насущная, насущная херня. Обучать Немецкого Зверя Великой Хартии Вольностей, спортивной честности, и прочему такому, а? Прочь, внутрь механизма какой-нибудь баварской деревушки из часов с кукушкой, вер-эльфы прошмыгивают из лесу по ночам оставить подрывные листовки у двери и под окнами—«Что угодно!»– Роджер бредёт обратно в свою узкую комнату,–«что угодно, только не это….»

Вот до чего дошло. Он знает, что станет чувствовать себя спокойней в безумной Германии с Врагом, чем здесь в Секции Пси. Время года делает всё это ещё нестерпимее. Рождество. Быыылююювэээ, хватаясь за желудок. Только Джессика делала это всё людским и переносимым. Джессика… Его повело тогда, на полминуты, дрожащего и зевающего, в длинном нижнем белье, мягком, почти невидимом в загородке декабрьского рассвета, среди множества острых краёв книг, рулонов, копирок, схем и карт (и главная, красные оспины на чистой белой коже леди Лондон, взирающая на всё… *погоди-ка*… болезнь кожи… может она носит роковую инфекцию внутри себя? Возможно, места предопределены и полёт ракеты, фактически, определяется фатально *зреющим нарывом посреди города*… но ему не удаётся ухватить это, не больше, чем понять навязчивую идею Пойнтсмена о реверсивном звуковом стимуле и, пожалуйста, пожалуйста, давай просто оставим это ненадолго…), посетило, не ведавшего, пока не прошло, как ясно он понимает честную половину своей жизни, которой сейчас была Джессика, как фанатично должна его мать Война возмущаться её красотой, её нахальным безразличием к догмам смерти, в которые он совсем недавно верил—её неодолимая надежда (хотя она терпеть не могла составлять планы), её изгнание из детства (хотя она отказывалась хоть как-то цепляться за воспоминания)…

Его жизнь всегда была увязана с прошлым. Он представлялся себе точкой в бегущей волне, движимым по стерильной истории—известное прошлое, проецируемое будущее. Но Джессика оказалась разломом этой волны. Нежданно, впереди возник пляж, непредсказуемое… новая жизнь. Прошлое и будущее обрывались на пляже: так он это вычислил. Но он хотел ещё и верить, также как и любил её, вне возможности передать какими угодно словами слов—верить, что каким бы плохим ни было время, нет ничего постоянного, всё можно изменить и она всегда может отменить тёмное море у него за спиной, перечеркнуть своей

любовью. И (эгоистически) что из угрюмой юности, прочно основанной на Смерти —катившей вместе со Смертью—он может, вместе с ней, найти свой путь к жизни и радости. Он никогда не говорил ей, избегал говорить самому себе, но такой была мера его веры, когда это седьмое Рождество Войны садануло новым зарядом в его тощий дрожащий бок...

Она кружит суетливо по спальне, клянчит у девушек затяжку-другую залежалых Вудбиндз, наборы починки нейлона, воробьино шустрые шуточки войны сходят за взаимопонимание. В эту ночь она будет с Джереми, её Лейтенантом, но хочет быть с Роджером. Хотя на самом деле не хочет. Или хочет? Она и не упомнит, чтоб когда-либо впадала в такую растерянность. Когда с Роджером, это сплошная любовь, но на любом отдалении—на любом, Джек—ей открывается, что он её гнетёт и даже пугает. Верхом на нём, в бешеные ночи скачки вверх-вниз по его хую своею осью, стараясь сдержать себя настолько, чтоб не превратиться в кремовый воск свечки и не растаять по покрывалу, кончая, в ней остаётся место только для Роджер, Роджер, о, любимый до скончания дыхания. Но вне постели, в хождении-говорении, его горечь, непроглядность, ранят глубже, чем Война, чем зима: он так ненавидит Англию, ненавидит «Систему», без конца придирается, говорил, что эмигрирует, когда Война кончится, застрял в своей пещере бумажного циника, ненавидя сам себя… но хочет ли она и вправду вытащить его оттуда? Разве с Джереми не безопаснее? Она не позволяет себе слишком часто задаваться этим вопросом, но он есть. Три года с Джереми. Считай, почти что женаты. Три года что-то да значат. Ежедневные маленькие стежки и разглаживанья. Она надевала старые банные халаты Бобра, заваривала ему чай и кофе, искала его взгляд на парковках грузовиков, в комнатах отдыха и в дождливых полях полных грязи, когда все мерзкие, унылые потери дня могут быть спасены одним взглядом—знакомым, полным доверия, хотя вокруг звучат слова для вычурной белиберды или пустого смеха. И всё это вырвать? три года? ради этого сумасбродного, зацикленного на себе—мальчишки, честное слово. Охренеть, да ему же должно быть за тридцать, он на несколько лет старше неё. Должен же был чему-то научиться, правда ведь? Мужчина с жизненным опытом?

Хуже всего, что ей не с кем об этом поговорить. Политическая жизнь этой смешанной батареи, профессиональное кровосмешение, нездоровая тормознутость на том кто что кому сказал весной 1942, Боже ж ты мой, возле Крафти Крина, Кент, или ещё там где, и кто как должен был бы ответить, но не ответил, а сказал ещё кому-то тем самым посеял ненависть махрово цветущую по сей день—шесть лет наговоров, амбиций, истерик сделали малейшую попытку довериться кому-нибудь вокруг хоть с чем-либо актом чистого мазохизма.

– Девушка в печали, Джесс?– Мэгги Дакёрк проходит мимо подтягивая свои перчатки. Через громкоговоритель оркестр свинга Би-Би-Си жарко выдувает синкопированную рождественскую музыку.

– Сигарета найдётся, Мэг?– уже чисто автоматически, не так ли, Джес?

Ладно— «Думала, тут прямо тебе фильм с Гарбо, блин, а не всегдашняя никотиновая голодуха, но фиг я угадала, пока-пока...»

О, да проваливай уже: – «Думала про свой рождественский шопинг».

– А ты Бобру что купишь?

Сосредоточась на пристёгивании своих нейлоновых, старая пара, верх-наперёд-низ-назад, мнемонически переворачивая их в своих пальцах, прачечно-белые наморщенные эластичные зверюшки чётко растянулись теперь по касательной, вдоль мягкого переднего изгиба её ляжки, пряжечки на резинках взблескивают серебром под или позади красного лака на её ногтях, словно струи отдалённых фонтанов за красными, фигурно остриженными деревьями, Джессика отвечает: – «О. Мм. Трубку, наверное...»

Однажды среди ночи, недалеко от её батареи, как проезжали Где-то-в-Кенте, Роджеру с Джессикой встретилась церквушка, холмик на тёмной возвышенности, освещённый лампочками, вырастал из земли. Был вечер воскресенья, близко к вечерней службе. Мужчины в шинелях, в накидках из клеёнки, в тёмных беретах, которые они сдёргивали на входе, в Американских лётных куртках на овечьем меху, несколько женщин в пристукивающих ботинках и в широкоплечих, по моде, пальто, но без детей, ни одного ребёнка вокруг, только взрослые сходились от своих взлётных полей, аэростатных бивуаков, дзотов на пляже, через Нормандский вход лохматый от зимующей лозы. Джессика сказала: «О, я помню...»,– но ничего не добавила. Ей вспомнилась другая предрождественская служба, ограды заснеженные как овцы за её окном, и Звезда, которую вот-вот опять наклеят в небе.

Роджер свернул, и они смотрели на поношенную замызганную униформу сходившихся к вечерне. Ветер пах свежим снегом.

– Нам пора домой,– сказала она,– поздно уже.

– Можем просто зайти на минутку.

Ну вот *это* уже её удивило, ну пра, после всех его едких придирок? Его раздражённость неверующего против всех прочих в Секции Пси, одних их хватит, как он считает, сделать его чокнутым, и его нападки множились с приближением дней рождественского шопинга.–«Это как бы не в твоём стиле»,– сказала она ему. Но самой ей хотелось зайти, ностальгия грузно нависала в снежном небе сегодня, её собственный голос готов выдать её и побежать к поющим в обходе, чьи колядки так чётко слышатся нам вдалеке, за день-два до Рождества, голоса звучащие над мёрзлыми долинами, где выработанные шахты часты как сливы в пудинге… и нередко в звуках тающего снега, ветров, дующих даже, наверное, не сквозь Рождественский воздух, а сквозь субстанцию времени, донося к ней эти детские голоса поющих за шесть пенсов, и пусть сердцу её не под силу вынести все до единого удары смертности, своей и их, но хотя бы всё ещё жила боязнь, что она начинает утрачивать их—что в одну из зим она выбежит за ворота

увидеть, найти их, добежит аж до самых деревьев, только зря, голоса их стихают...

Они шагали по следам впечатанным в снег другими, она хмурилась на его руке, ветер вихрил ей волосы в завитки, один раз каблуки оскользнулись по льду.–«Послушаем музыку»,– пояснил он. Сборный хор этого дня состоял из одних лишь мужчин, плечи в погонах проглядывают в широких воротах белых накидок, лица многих почти так же белы от изнеможения в промокших грязных полях, караулов, кабелей натянутых нервными аэростатами, которые удят солнце за тучами, от палаток, чьи огоньки мерцают в сумерках словно атомы, безразлично пронизывая штриховку стенок, превращая их в марлю, по которой барабанит дождь. Правда, было и чёрное лицо, высокий альт, капрал с Ямайки, перевезенный с его тёплого острова на этот—из его детства, где он пел в дым-ром-и-джин салунах на Хай-Холборн-Стрит, где матросы вбрасывают здоровущие красные хлопушки, чуть ли не в четверть палки динамита, мэн, в вихляющиеся створки входа и отбегают, хихикая, через улицу, или приходят увести девушек в коротких юбках, девушек-островитянок, китаянок или француженок… раздавленные очистки лимонов в сточных канавах вдоль улиц пахли ранним утром, где он обычно пел О вы встречали мою милую Лолу с фигурой как бутылка Кока-Колы, матросы шмыгают в коричневых тенях аллей, отрясая шейные платки и клёши штанин на ходу, а девушки перешёптываются и смеются… каждое утро он пересчитывал полкармана монеток всех наций. Из Кингстона с его пальмами, сложные потребности Англо-Американской Империи (1939-1945) привели его в эту холодную мышиную церковь, где почти слышен шум северного море, на которое он едва взглянул при транспортировке, на девятичасовую службу, в программе сегодня простые псалмы в унисон на Английском, один-два заезда в полифонию: Томас Таллис, Генри Пёрсел, даже Немецкая ломаная латынь из пятнадцатого века, которую приписывают Хайрику Сусо:

In dulci jubilo

Nun singet und seid froh!

Unsers Herzens Wonne

Leit inpraesipio,

Leuchtet vor die Sonne

Matris in gremio.

Alphaeset O.

С высоким голосом чёрного человека взмывающим над остальными, не какой-то там головной фальцет, но полный, по-честному, из всей груди, баритон доведенный годами обтёсывания до такой высоты… он приводил коричневых девушек на экскурсию среди этих нервных протестантов, Аниту Большую и Маленькую, Стилетту Мэй, Плангетту, которая любит, чтоб ей между титек и так даёт задаром—не говоря уже про Латынь, *Немецкий*? в Английской церкви? Ну это не святотатство, а скорее имперские издержки, неизбежные как присутствие

чёрного человека, из лёгких актов сюрреализма—которые, в массированном употреблении, превращаются уже в акт самоубийства, но в патологии своей, в своей приземлённой версии реальности, Империя совершает подобные тысячами ежедневно, абсолютно не ведая что творит... И чистый альт взлетал, находя отклик в её сердце и даже трогал сердце Роджера, как ей казалось при осторожных взглядах искоса и вверх, сквозь коричневые призраки её волос, во время речитативов и пауз. Он не выглядел отвергающим, нет и намёка на дешёвый пофигизм. Он словно бы…

Нет, Джессика ни разу не видела его лицо таким вот, в свете нескольких висящих керосиновых ламп, бестрепетное и очень жёлтое пламя, на ближней два длинных отпечатка пальцев служки в V-значит-победа в тонкой пыли на брюхе лампового стекла, в коже Роджера больше детской розовости, а в глазах сияния больше, чем можно свалить на лампу—правда ведь? или же ей просто хочется, чтобы так оно было. Церковь холодна, как и ночь снаружи. Пахнет влажной шерстью, пивом в дыхании этих трудяг, дымом свечей и тающего воска, стиснутым выпердом, тоником для волос, горением самого керосина, что объемлет прочие запахи, по-матерински, более близкой породнённостью с Землёй, её глубокими слоям, иными временами, и слушай… слушай: это вечерня Войны, каноничная служба Войны, и ночь реальны. Чёрные шинели сгрудились вместе, пустые капюшоны налиты густыми тенями храма. Там на побережье ЖКМС работают запоздно, на дне холодных выпотрошенных трюмов, их синие факелы как новорожденные звёзды в приливную ночь. Куски корпуса качаются в небе, как огромные железные листья, на стропах, что поскрипывают осколками звука. Слегка, в нейтральном, пламя горелок, смягчённо, наполняют круглые стеклянные лица манометров абрикосовым светом. В будках газосварщиков, обледенелых, погромыхивающих, когда штормит в проливе, тысячи старых использованных тюбиков от зубной пасты, навалены до потолков, тысячи хмурых человечьих утр делали они сносными, обращали в мятный дух и неясную песню, что оставляла белые брызги на ртути зеркал от Харроу до Грейвсенда, у тысяч детишек, которые взбивали пену в ступках своих ртов, и потеряли в тысячу раз больше слов в меловых пузырях—жалоб на ночь глядя, несмелых признаний в любви, новостей от толстячков или таких, что аж светятся, взлохмаченных или приглаженных существ из страны под одеялом—бессчётные мыльно-лакричные миги вытиснутые и смытые в канализацию и в обрастающее слизью серое устье реки, утренние рты растягивающиеся от дневного табака, пересыхающие от страха, воняющие от безделья, утопающие при мысли о немыслимых блюдах, набиваемые вместо этого недельной падалью пирогов из субпродуктов, Домашним Молоком, и печеньем переполовиненным мельче чем обычно, так разве ментол не чудодейственное средство для снятия многого из всего этого каждое утро, уносящее, становясь большущими тусклыми пузырями свитыми в туго застоялую мозаику вдоль просмоленных береговых линий, после сложных чертёжных отводов слива, умножаясь, в море, покуда эти тюбики пасты, один за другим, выпорожниваются и сдаются обратно Войне, в груды чуть пахучего метала, к призракам острой мяты в зимних будках, каждый тюбик изморщен или смят несознательными руками Лондона, исписанные неповторимыми почерками, каракули по каракулям, теперь дожидаются—это истинное возвращение—чтобы

расплавиться в припое, лужении, пойти добавкой в отливку, в подшипники, уплотнители, скрытые трескучим дымом превращения, которые чадам иной, домашней инкарнации никогда не познать. Однако преемственность, плоть единокровных металлов, оплот неделимого моря, сохранена. И отнюдь не смерть разделяет эти инкарнации, но бумага: назначение бумаг, бумажные рутины. Война, Империя торопятся воздвигнуть подобные барьеры между нашими жизнями. Войне необходимо разделять таким способом, и подразделять, хотя её пропаганда всегда будет подчёркивать единство, породнённость, сплочённость. Войне народное самосознание нисколько не сподручно, даже в том виде, как сработали Немцы, *ein Volk ein Führer*—ей нужна машина из множества различных частей, не монолитность, но усложнённость… Хотя кто отважится утверждать что требуется Войне, до того уж она неохватна, так превознесена… настолько заочна. Пожалуй, Война никак не осознание—и даже не жизнь, чеслово. Местами может проскользнуть некое грубое, случайное подобие жизни. В «Белом Посещении» имеется застарелый шизик, знаете ли, который считает себя Второй Мировой Войной. Газет ему не носят, слушать радио он отказывается, и всё-таки в день высадки в Нормандии его температура почему-то подскочила до 40°. Теперь, когда эти клещи с востока и запада продолжают их медленное рефлективное сокращение, он говорит о тьме охватывающей его сознание, что теряет себя... Правда, контр-наступление Рундштедта его взбодрило, дало ему новый импульс к жизни: «Прекрасный Рождественский подарок»,– признался он другому жильцу в своей палате. Когда ракеты падают—из тех, чьи взрывы не слышны—он улыбается, слёзы вот-вот брызнут из уголков его повеселевших глаз, охвачен румяной взвинченностью, которая не может не взбодрить таких же пациентов. Дни его сочтены. Он умрёт в День Победы. Если он и вправду не сама Война, так значит её приёмное дитя, какой-то срок живёт по полной, но подойдёт день торжеств: смотри в оба. Истинный царь умирает лишь для отвода глаз. Запомни. Любое число молодых людей могут предназначиться к смерти вместо него, покуда настоящий царь, старый ублюдок выжига, продолжает своё. Покажется ли он под Звездой, преклонить исподтишка колени в числе прочих царей, с приближением к нам зимнего солнцестояния? Принесёт ли в караван-сарай дары вольфрама, взрывчатки, высокооктанового? Воззрит ли дитя вверх со своей подстилки золотистого сена, воззрит ли в глаза старого царя, что склоняется, длясь и распространяясь сверху, тянется предложить свой дар, встретятся ли их глаза, и какая весть, какое возможное приветствие, или союзный договор протекут между царём и принцем инфантом? Что там такое, младенец улыбнулся или это от газиков? А тебе как бы хотелось?

Сочельником веет с моря, оно сегодня на закате сияло зеленью и гладью, как стекло насыщенное железом: к нам веет каждый день, все небеса вышние брюхаты святыми и тонкими фанфарами глашатаев. Ещё один год свадебных платьев, что застряли в сердце зимы, по-прежнему невостребованными, да так и висят себе тихими атласными рядами, сборочки белых вуалей начинают желтеть, и только слегка так всколыхиваются, когда ты проходишь мимо, зритель… гость во всех тупиках города... Уловив в платьях собственное отраженье пару раз, полувозникающее из тени, просто типа смазано-ярких цветов по *peaudesoie*, потянешься туда, где уловишь первый жуткий запашок плесени, но так всё и было

задумано, впрочем—прикрыть малейший след её собственного запаха, вспотелость брачующейся из среднего класса, благопристойными мылом и пудрой. Однако сердцем своим девственна и в надеждах своих тоже. И не рассчитывай на ярко-швейцарские или кристально-хрустальные праздники, но на тёмный, затянутый тучами день со снегом, что валит пеленой за городом, пелена халатов зимы, мягких среди ночи, почти безветренно дышащих под боком. На станциях города возвратившиеся из Индо-Китая военнопленные прогуливают свои жутко выпирающие кости, невесомые как тот соня, или сони на лике луны, среди колясок на хроме пружин, из чёрных шкур, гулких как барабаны, меж светлокожего дерева высоких стульчиков, розово-синих, с резными или трафаретными цветами, меж раскладушек, средь пива с красно-войлочными языками, и одеялец для новорожденных, что отдают холодком ярких облаков среди запахов угля и пара, и металлопространства среди стоящих в очереди, бродящих, устало спящих, понаехавших сотнями к праздникам, несмотря на предупреждения и озабоченность министра внутренних дел, м-ра Морриса, Германская ракета в состоянии пробить туннель под рекой, даже теперь, после таких оповещений и отсутствия, с которым могут столкнуться, городских адресов, давно уже не существующих. Глаза из Бирмы, из Тонкина, смотрят на женщин на упрямство их сотни—глазами из посинелых орбит, сквозь головную боль, которую не может снять никакой Алазилс. Итальянцы-военнопленные бранятся из-под мешков с почтой, что разбухают, ежечасно прибывая с гулким эхом, праздничной толщиной, обсев заснеженный груз на платформах поезда, словно грибы, как будто поезда всю ночь шли под землёй через страну мёртвых. Если кто из Итальяшек иногда и запоёт, то уж конечно, не фашистский гимн *Giovinezza*, а что-нибудь, наверное, из *Rigoletto* или *La Bohème*—Почтовое Управление всерьёз рассматривает вопрос составления списка Неприемлемых Песен, с таблатурой для укелеле, в целях облегчения опознания. Их жизнерадостность и любовь к песням, помимо упомянутых, довольно искренни—но с нарастающей нагрузкой в эти дни, от этой оргии рождественских поздравлений, что превышают, день ото дня, всякие разумные пределы и сдержанность, не стоит дожидаться следующего за рождеством дня, так что они решили, сами по себе, прибегнуть к профессиональному Итальянству, поглядывают свободным глазком на дам, что тут проездом, найдя способ удерживать мешок на плече одной рукой, пока другая притворилась «мертвой»—cioé, то есть, условно живой—где толпа сгущается женщинами, бесцельно… для тех, что посдобнее. Жизнь должна продолжаться. Пленные обоих разновидностей признают это, но для Англичан вернувшихся из КБИ никакой *mano morta*, никакого скачка из мёртвой в ожившую, с лёгкого позволения подходящего бедра или ляжки—никаких игрищ, Бога ради, на тему жизнь-и-смерть! Хватит с них приключений: только старая жена, чтобы возилась со старой плитой или согревала старую постель, какой там крокет посреди зимы, им хочется воскресной сонливости в полуотключке опавших листьев усохшего сада. Если же подвернётся вдруг бесшабашно свежий мир типа яблочка сброшенного ветром под ноги, ну найдётся время как-нибудь приноровиться… Но они разохотились на почти послевоенную роскошь в эту неделю, купить набор детского электропоезда, и тем самым каждому попытаться озарить свой набор маленьких важных лиц, сгладить свою отчуждённость, так знакомы по

фотографиям все, а теперь вот в жизни, охи и ахи, но не сейчас, не здесь на станции, любое из самых нужных движений: Война избегала их, закапывала, эти произвольные губительные сигналы любви. Дети развернули прошлогодние игрушки и нашли реинкарнации жестянок от мясного пирога, они уясняют, что это ещё одна и, как знать, наверное, неизбежная сторона игры в Рождество. В промежуточные месяцы—из деревенских весны и лета—они игрались настоящими жестянками того же пирога—танки, истребители танков, дзоты, дредноуты розово-мясые, сине-жёлтые, дислоцировались на пыльном полу кладовых, под койками или диванами в местах их ссылки. Но вот опять пришло время. Лепной младенец, лакированные волы с золотым листом, овцы с человечьими глазами снова становятся взаправдашними, плоть срастается с краской. И вовсе не верой платят они—это выходит само по себе. Он явился Новый Младенец. В волшебную ночь перед этим, животные заговорят между собой, а небо будет из молока. Бабушки и дедушки, которые каждую неделю ждали, пока Радио Доктор станет спрашивать, Что Такое Геморрой? Что Такое Энфизема? Что Такое Сердечный Приступ? начнут ждать за пределы бессонницы, снова следить, чтобы не произошло ежегодное невозможное, но с каким-то зловредным осадком—это вот склон, небо *может* показаться нам светлее—и как бы трепет, хороший момент, которого ты так ждал, не совсем обламывается, но уже далеко не чудо… на посту в своих свитерах и шалях, наигранно сердитые, но осадок внутри оживает в новой зимней ферментации каждый год, всякий раз чуть слабее, но всегда достаточен распыхтеться в эту пору... Обнослись донага, блестящие костюмы и наряды поры шатания по пабам в годы их расцвета давно разодраны на полосы для обмотки труб горячей воды и нагревателей квартирных хозяев, чужаков, чтоб дома оставались домами зимой. Войне нужен уголь. Они пошли на самый предпоследний шаг, приняли участие в сертификации Радио Доктора насколько они знают своё тело и на Рождество они голы как гусь под этим шерстяным, тёмным, дешёвым пеленаньем стариков. Эти электрические часы всегда убегают, даже Биг Бен сейчас спешит до наступления новой весны, слишком спешит, но похоже никому до этого и дела нет или же не понимают. Война нуждается в электричестве. Идёт игра на ускорение, Электро Монополия, между электрокомпаниями, Центральным Комитетом по Электричеству и прочими ведомствами Войны для синхронизации Времени Электросети со Временем Гринвичского Меридиана. Ночью, в самых глубоких бетонных колодцах ночи, турбины засекреченного местонахождения крутятся быстрее и, соответственно, стрелки часов лицом к лицу со всеми старыми бессонными глазами—раскручивают свои минуты до воя переходящего в писк, до прострела в сирену. Это Безумный Карнавал Ночи. Веселье под сенью минутных стрелок. Истерика на бледных лицах циферблатов. Электрокомпании твердят о нагрузках, военные потребности столь велики, что часы снова замедлятся, если только этот ночной марш не краденая энергия, однако предполагаемые нагрузки так и не случаются день ото дня и Сеть помалу набирает обороты, и старые лица оборачиваются к циферблатам и думают *сговор*, а цифры вертятся к Рождению, потугам, к воссиянию новой звезды сердца, что обратит нас всех, навсегда превратит нас в самые забытые корни самих себя. Но над морем туман сегодня, всё ещё неслышно извлекаемый жемчуг. В центре города дуговые лампы трещат,

взъерепенясь, в приглушённом сиянии на центральные линии улиц, слишком льдистого цвета для свечек, в слишком густой измороси для холокоста… высокие красные автобусы пошатываются, со всех фар маскировка снята недавним распоряжением, теперь уворачивайся, пересекай, ослеплённый, громадные, горстями надранные клочья сырости скользящие мимо, одинокие как пляжи под перламутровым туманом, чья колючая проволока, никогда не изведавшая внутреннего укуса тока, лишь пассивно тянется, окисляясь в ночи, обвивает теперь, как подводная водоросль, кольцами, зверски холодная, острая как скорпион, весь песок милю за милей без единого следа гуляющих, с тех пор как ушли прогулочные лайнеры последних лет мирного времени торжественно провожать прежний мир вечеров с вином, оливковой рощицей, дымом трубочки, прочь по ту сторону Войны, теперь он обглодан до ржавых стоек и распорок пахнущих такой же морской горечью как и этот пляж, по которому тебе даже ходить нельзя, потому что Война. На возвышенности, поверх низин, в обход прожекторов, в чьи лучи прошлой осенью набивались перелётные птицы, ночь за ночью, фатально пойманы, пока не свалятся замертво с неба, ливень из мёртвых птиц, верующие на вечерне сидят в холодной церкви, трясутся безгласно на вопрошание хора: где радости? А где же ещё как не там, где Ангелы поют новые песни и льётся звон колокола при дворе Царя. *Eia*—странный вздох, тысячелетний—*eia, wärnwirda!* эх, нам бы туда...Усталые люди и чёрный их вожак с бубенцом отделяются, насколько получится, настолько далеко от своих овечьих одёжек, насколько год дозволит им отбрести. Так приидите ж. Отставьте пока что свою Войну, бумажную или железную войну, бензиновую или плотскую, придите с вашей любовью, с вашим страхом поражения, вашим изнеможением от неё. Она не оставляла вас целый день, убеждала, прибалтывала, требовала верить в пропасть всякой брехни. Да разве это ты, вот это смутно преступное лицо на карточке твоего удостоверения, чья душа отчикнута казённым фотоаппаратом, когда упала гильотина шторки—или может, остался при своей душеньке, у Служебного Входа Столовой, где они пересчитывают ночной приход, девушки из УФАА, девушки по имени Айлин, аккуратно сортирующие по морозным отделениям прорезиненные буро-малиновые органы с их желтоватой приправой жира—о, Линда, иди сюда пощупай-ка этот, засунь палец в этот желудочек, обалдеть, всё ещё дёргается... Любой, на кого ты и не подумал бы, все замешаны, все до одного, кроме тебя: священник, доктор, твоя мать надеется прицепить на флаг ту Золотую Звезду за погибшего, плоская сопрано из вчерашней программы Би-Би-Си, и не забудем м-ра Ноэла Трусса такого стильного и умного на тему смерти и последующей жизни, штампует напропалую четвёртый год подряд, а также парней в Голливуде, что толкуют нам как тут классно всё, сплошная хохма, Волт Дисней, у которого слонёнок Дамбо ухватывается за своё пёрышко, как все те трупы под снегом сегодня среди танков выкрашенных белым, столько рук, каждая примёрзла к Чудотворной Медальке, кусочку обработанной кости на счастье, за пол-доллара, с усмешливым солнцем, что подглядывает под широченный халат Свободы, тупо стискивают, рядом с воронкой, где разорвался 88-миллиметровый, а что вы думали, это детская сказочка? Сказки кончились. Детишки не здесь, спят они, но у Империи нет места для снов и сегодня тут вечер Только Для Взрослых, в этом убежище под лампами с глубоким горением до-

Кэмбрийского выдоха, душистого как готовящийся обед, тяжёлого, как сажа. А выше, за 60 миль, ракеты зависли на неизмеримый миг над чёрным Северным морем, прежде чем упасть, всё ускоряясь, до оранжевого жара, Рождественской звездой, в неудержимом порыве к Земле. В небе пониже ещё и летающие бомбы, ревут как Вражина, выискивают кого им сожрать. Сегодня путь домой неблизок. Слушай пение этих поддельных ангелов, причастись хотя бы через слух, и пусть даже им не изъяснить твоих надежд в точности, в точности не передать твой тёмный ужас, слушай. Здесь должно быть звучало песнопение задолго до вести про Христа. Наверняка, если только случались настолько же плохие ночи как эта —ну хоть что-нибудь, чтобы дать шанс другой ночи, которая и впрямь могла бы стать любовью и рассветом, осветить путь домой, изгнать Вражину, разрушить границы между нашими странами, нашими телами, нашими историями, всё полное враньё, о том кто мы такие: на одну ночь, оставляя лишь ясный путь домой и память о младенце, которого ты почти увидел, чересчур хрупкого, слишком много дерьма на этих улицах, верблюды и прочая скотина тяжко ворочаются снаружи, каждое копыто может его растоптать, сделать из него всего-навсего ещё одного Мессию, и наверняка кто-то уже делает ставки на это, пока здесь, в этом городе, Еврейские коллаборационисты продают ценную информацию Имперской Разведслужбе, а местные проститутки ублаготворяют необрезанных интервентов, заламывают цену насколько выгорит, в точности как и держатели гостиниц, которые, естественно, в восторге от постановления про регистрацию, а в столице уже задумываются не пора ли, возможно, давать каждому номер, да, пронумеровать всех, что поспособствует SPQR держать Учёт… Да ещё Ирод или Гитлер, хлопцы (полевые священники тута в Бубельгии мужиковатые, обтрёпанные и крепко пьющие), что это за мир («Забыли Рузвельта, падре»,– доносятся голоса сзади, святой отец не может их разглядеть, эти искусители преследуют его даже и во сне: «Вендель Вилки!», «Как насчёт Черчилля?», «Арри Полита!») для младенца, чтобы сюда явиться, показать 7 фунтов 8 унций на весах Толедо и думать будто он тут всё искупит, блин, да ему бы провериться в порядке у него мозги или как...

Но по пути домой в эту ночь, тебе хочется поднять его, подержать чуть-чуть. Просто подержать его, близко к своему сердцу, с его щекой у впадины твоей ключицы, спящего. Будто это ты, кто мог бы, как-то спасти его. И на минуту тебе уже без разницы как там тебя регистрируют. На целую минуту ты не тот, кем Цезари сказали тебе быть.

O, Jesu parvule,

Nach dir ist mir so weh . . .

Итак эта случайная группа, эти ссыльные и пацанва, у которых встал, хмурые гражданские призванные в среднем возрасте, мужчины толстеющие, несмотря на их голод, и оттого мучаются газами, грубые, сопленосые, красноглазые, больногорлые, мочевспухшие мужчины страдающие болью в крестце, от непробудного похмелья, желающие смерти офицерам, которых они искренне ненавидят, мужчины которых ты видел неулыбчиво шагающими в городах, но

забыл, мужчины, которые тоже тебя не помнят, знающие, что им нужнее поспать, а не это выступление тут перед чужаками, выдают тебе это вечернее песнопение, достигают сейчас вершины своим высоким фрагментом некоей древней гаммы, голоса, накладываясь втрое, вчетверо, устремляются вверх, эхом наполняют всю пустоту церкви—никакого поддельного младенца, никакого оглашения Царства, нет и малейшей попытки согреть или осветить эту жуткую ночь, а только лишь, да будь мы прокляты, наш всегдашний шелудивый скулёж, предел всего, что способны выразить—слава Богу!—чтобы было тебе с чем вернуться к своему военному адресу, к своему званию на войне, по следам в снегу и отпечаткам шин, вступая, в конце концов, на путь, который ты должен создать сам, один в темноте. Хочешь ли ты этого или нет, и за какие бы моря тебя не забросило, путь домой….

* * * * * * *

Парадоксальная фаза, когда слабые стимулы вызывают резкую реакцию... Когда это было? На какой-то ранней стадии сна: не услышал сегодняшних Москитов и Ланкастеров ночью на пути в Германию, их моторы надрывались в небе, сотрясали и рвали его на части, целый час, пара разреженных зимних облаков плыли под стальными заклёпками брюха ночи, упорно вибрировали, ужасаясь подобной армаде бомбардировщиков вылетевших на задание. Твоя же фигура без движения, дышит ртом, одна, лицом кверху на узкой койке у стены совершенно без-картинной, без-схемной, без-картной: такой обыденно пустой... Ступни твои смотрят на высокую прорезь окна в дальнем конце комнаты. Свет звёзд, непрестанный гул отлёта бомбардировщиков, вкрадывающийся ледяной воздух. На столе навал книг в истрёпанных обложках, наброски колонок озаглавленных Время / Стимул / Секреция (30) / Замечания, чайные чашки, блюдца, карандаши, ручки. Ты спал, видел сны: в тысяче футов над твоим лицом летели бомбардировщики, волна за волной. Снилось помещение, громадное место собраний. В нём множество людей. С недавнего времени в определённый час, круг белого света, довольно интенсивный, скользит, снижается, следуя наклонной линии, по воздуху. И тут, неожиданно, он появился снова, курс всё также линейный, как всегда, справа налево. На этот раз свечение неровное—свет льётся уже яркими вспышками или пульсирует сполохами. Явление теперь уже воспринимается присутствующими как предвестие—что-то не так, что-то совсем даже не так на сегодня… Никто не знает что означает этот круг света. Создана комиссия, для обсуждение, ответ был уже так маняще близок—но теперь поведение света изменилось...Собрание откладывается. От таких беспорядочных сполохов, наполняешься ожиданием чего-то ужасного—не так, чтоб прям тебе воздушный налёт, но что-то около того. Бросаешь быстрый взгляд на часы. Ровно шесть, стрелки идеально вверх и вниз, и понимаешь, что шесть это час появления света. Выходишь, и тебя охватывает вечер. Это улица перед домом твоего детства: каменистая, в колдобинах и трещинах. Ты сворачиваешь влево. (Обычно в этих снах про дом ты выбираешь местность направо—широкие ночные газоны, древние деревья грецкого ореха высятся над ними, холм, деревянный забор, в

поле лошади с впадинами глаз, кладбище... Тебе в этих снах надо дойти—под деревьями, через тени—прежде чем что-то случится. Чаще всего ты выходишь в поле под паром, рядом с кладбищем, там так много осенних шмелей и кроликов, где живут цыгане. Иногда ты летаешь. Но никогда не получается выше определённой высоты. Чувствуешь, как тебя затормаживает, до неумолимой неподвижности: это не острый ужас падения, а всего лишь запрет, но просить бесполезно… и местность начинает расплываться... ты знаешь… что…) Но в этот вечер, в шесть часов светящегося круга, ты вместо этого сворачиваешь влево. С тобою девушка, которая тебе жена, хотя вы никогда не вступали в брак, и прежде никогда её не встречал, но знаешь уже много лет. Она молчит. Недавно был дождь. Всё поблескивает, контуры крайне чёткие, освещенность приглушена и очень прозрачна. Куда ни глянь, повсюду пучки белых цветов. Всё в цвету. Ты снова подмечаешь круг света в его привычном спуске наискосок, тот кратко мигает и гаснет. Несмотря на явную свежесть, недавний дождь, живые цветы, окружающий вид тебя настораживает. Ты пытаешься подобрать запах какой-нибудь свежести, что соответствовала бы тому, что видишь, но не получается. Всё обеззвучено, лишено запахов. Из-за такого поведения света, что-то должно случиться и тебе остаётся лишь ждать. Всё сияет вокруг. Влага на мостовой. Набрасывая какой-то тёплый капюшон себе на шею и плечи, ты хочешь сказать жене: «Это самый зловещий момент за сегодняшний вечер». Но есть более подходящее слово, лучше «зловещего». Пытаешься вспомнить его. Это чьё-то имя. Оно ждёт за сумерками, ясностью, белизной цветов. Свет слегка постучал в дверь.

Ты вскинулся и сидишь посреди своей постели, сердце испуганно бьётся. Ты ждал что его повторения и услышал множество бомбардировщиков в небе. Снова стук. Это оказывается Томас Гвенхидви, приехал аж из Лондона с новостью про Спектро. Ты проспал гром эскадрилий ревущих без перерыва, но тихий сдержанный стук Гвенхидви разбудил тебя. Нечто подобное происходит в коре Собаки во время «парадоксальной» фазы.

А призраки толпятся под карнизами. Растягиваются среди заснеженных и закопчённых печных труб, подвывают в воздушные шахты, слишком разрежены, чтобы самим производить звуки, теперь навеки иссохшие среди этих мокрых вихрей, растянуты, но никогда не перервутся, исхлёстаны стеклянистой круговертью с Французистыми завитушками поверх крыш, вдоль посеребрённых низин, скользят туда, где море, замерзая, бьётся о берега. Они сбиваются вместе, плотнее день ото дня, Английские призраки, в такие столпотворения по ночам, засеивают воспоминаниями зиму, их семена никогда не прорастут, чересчур затерялись, самым частым нынче стало слово, намёк живущим—«Лисы», выкликаемое Спектро через астральные пространства, это слово адресовано м-ру Пойнтсмену, который тут не присутствует, которому не передадут, потому что у пары-тройки, в Секции Пси, способных расслышать, подобного загадочного хлама завались на каждом сеансе—если вообще обратят внимание, то оно отметится в проекте Мильтона Гломинга с его подсчётом слов—«Лисы», отдаёт зудящим эхом в этот день, Кэрол Эвентир, медиум живущий в «Белом Посещении», завитки плотно приглажены поперёк его головы, выговаривает слово «Лисы» своими

очень красными, тонкими губами… у половина госпиталя Св. Вероники этим утром разнесло крышу, оставив лишь стены как в древнем аббатстве Ик Регис, в мелкий, как снег, прах, а бедняга Спектро взлетел в освещённой норе-кабинке как и вся тёмная палата, став частью взрыва, чьё приближение он так и не услышал, звук слишком запаздывает, уже после взрыва, призрак ракеты приветствует призраки только что произведённые ею. Дальше тишина. Очередной «случай» для Роджера Мехико, воткнуть кругоголовую кнопку в его карту, квадрат перешёл от двух к трём попаданиям, выравнивая заполнение трёх вероятностей, что как-то отставали в последнее время...

Кнопка? Да и того меньше, просто дырка от кнопки в бумаге, которую однажды снимут, когда ракеты прекратят падать, или когда молодой статистик решит забросить свой подсчёт, бумагу унесут уборщицы, она будет разодрана, сгорит… Пойнтсмен один, беспомощно чихает в своём расплывчатом бюро, под лай из конур, приглушённый и сплющенный холодом, покачивает головой, нет… во мне, в моей памяти... больше, чем просто «случай»… мы равно смертны… эти трагичные дни… Но вот он уже просто трясётся, разрешает себе уставиться через пространство своего кабинета на Книгу, напомнить себе, что из числа начальных семи остались лишь двое совладельцев, он сам и Томас Гвенхидви, что ухаживает за своей бедняжкой в окраинном Степни. Пять призраков нанизаны по отчётливо возрастающей: Памм в перевернувшемся джипе, Эстерлинг при начальных налётах Люфтваффе, Дромонд Немецкой артиллерией на Шел-Корнер, Ламплайтер летающей бомбой, и теперь Кевин Спектро… авто, бомба, орудие, V-1 и теперь V-2, и у Пойнтсмена нет других чувств кроме ужаса, вся кожа ноет, от нарастающей усложняемости этого, от диалектики, что тут явно подразумевается...

– Ах, не иначе. Проклятие мумии, ты идиот. Боже, Боже, я созрел для Крыла Д.

В общем, Крыло Д это прикрытие «Белого Посещения», всё ещё содержащее пару настоящих пациентов. Мало кто из сотрудников ПРПУК приближается к нему. У сведённого к минимуму обычного больничного штата там своя столовая, туалеты, спальни, кабинеты, продолжают как при старом мирном времени, терпя Понаехавших на своей территории. Точно так же как, в свою очередь, работники ПРПУКа терпят садовое и довоенное сумасшествие Крыла Д, крайне редко находя случай для обмена информацией о лечении и симптомах. Да, а могли бы и потесней сотрудничать. Истерика, в конце концов, не та же разве истерика. А вот и нет, иди и убедись, что нет. Как долго можно чувствовать себя таким беззаботно правым относительно перемены? От заговоров настолько мягких, таких домашних, от змия свернувшегося в чайной чашке, застывшей руки, отведённых глаз при словах, словах, что могут довести до состояния, с которым Спектро сталкивался каждый день в своей палате, уже не существующей… до того, что Пойнтсмен обнаруживает в Собаках: у Пётра, Наташи, Николая, Сергея, Катеньки —или у Павла Сергеевича, Варвары Николаевны, а потом у детей их, и—Когда это так отчётливо читается в лицах врачей… Гвенхидви под его мохнатой бородой не настолько уж непробиваем как, возможно, ему бы этого хотелось, Спектро спешивший со шприцем к своему Лису, когда на самом деле ничто не силах

остановить Абреакцию Бога Ночи, покуда не прекратится Блиц, ракеты не будут разобраны и вся плёнка прокручена сзаду наперёд: полированная обшивка обратно в листовое железо, обратно в отливки, в белую раскалённость, в руду, в Землю. Но действительность необратима. Каждая вспышка цвета пламени, за которой следует взрыв затем звук падения, издёвка (может ли такое случиться ненароком?) обратимого процесса: каждой из которых Господь возвещает своё Царство, а мы, не способные его обнаружить, ни даже понять, начинаем думать о смерти не чаще, право же, чем прежде… и, не в силах предвидеть их появление, не умея сбивать, держимся на притворстве, как и во времена без Блицев. Когда это и в правду происходит, отделываемся словом «случай». Или так уж нас убедили. Есть такие уровни, где случайность едва различима. А для работников типа Роджера Мехико, это музыка, довольно величавая, все эти серии степеней, термины исчисляемые соответственно ракетопопаданиям в квадрат, распределение Поиссона определяет не только эти уничтожения, от которых никто не в силах убежать, но и несчастные случаи при верховой езде, группы крови, радиоактивный распад, количество воен за год...

Пойнтсмен стоит у окна, его неясно отражённое лицо пронизано снегом проносящимся сквозь темнеющий снаружи день. Далеко среди полей кричит гудок поезда, зернистый, как поздний туман: предрассветное — ·—·——, долгий гудок, ещё кукареку, вспышка у железнодорожной колеи, ракета, другая ракета, в лесах или низине...

Ну… А почему вообще не отказаться от книги, Нед, отдать и всё, устаревающие данные, изредка поэтические приступы Маэстро, просто бумага, тебе это ни к чему, Книга и жуткое проклятье… пока не поздно… Да отступись, пади на колени, о, бесподобно—но перед кем? Кто слушает? Но он уже прошёл к столу и даже возложил на неё руки...

– Осёл. Суеверный осёл.– Расхаживает с пустой головой… такие эпизоды участились в последнее время. Разваливается как в наползающей простуде. Памм, Эстерлинг, Дромонд, Лamплайтер, Спектро… что следовало бы сделать, так это пойти в Секцию Пси, попросить Эвентира провести сеанс, попытаться установить связь с одним из них хотя бы… наверное... да… Что сдерживает его? –«Неужто во мне»,– шепчет он стеклу, аспираторные согласные туманят холодную плоскость веерами дыхания, тёплого, безутешного дыхания,–«столько гордыни?» Невозможно, для него невозможно отправиться именно в тот коридор, нельзя даже и заикнуться, нет, даже перед Мехико, до чего ему их не хватает… правда он едва знал Дромонда, или Эстерлинга... но… скучает по Алену Лamплайтеру, который бился об заклад о чём угодно, знаете ли, о собаках, грозах, трамвайных номерах, о ветре на углу улицы и возможной юбке, о том как далеко ударит данная ракета, возможно, о, Боже… даже та, что упала на него... Памм игравший на пианино в стиле настройщика, его поддатый баритон, амуры с медсестричками... Спектро… почему бы непопросить? Найдётся ведь сотня способов представить так...

Мне бы надо, надо было бы… Так много в его жизни этих не сделанных шагов, так много «надо было бы»—надо было бы жениться на ней, чтобы её отец направлял его, надо было бы остаться на Харлей-Стрит, быть добрее, чаще улыбаться незнакомым, хотя бы сегодня надо было улыбнуться в ответ Моди Чилкес… почему не сумел? Всего лишь глупая улыбка, блин, почему нет, что не пускает, какая щербинка в мозаике? Женщины его избегают. Ему даже, в общем, понятно из-за чего: он вызывает жуть. И даже сам чувствует, обычно, в какие моменты он становится жутким—та определённая расстановка мускулов его лица, и ощущает испарину… но с этим, похоже, ничего уже не поделать, не получается даже долго себя контролировать, до того они его отвлекают—и в следующую секунду от него уже снова исходит привычная жуть… а их реакция вполне предсказуема, пускаются наутёк испуская визги слышные только им и ему. О, но уж хотелось бы однажды устроить им что-нибудь такое, чтобы и вправду было от чего развизжаться...

Вот вам пожалуйста, наклюнулась эрекция, сегодня ночью он будет мастурбировать на сон грядущий. Безрадостная постоянная, составная в его жизни. Но, подстёгивая его к яркому пику, какие нахлынут образы? Конечно же, башенки и синие воды, паруса и церковные шпили Стокгольма—жёлтая телеграмма, лицо рослой, понимающей и прекрасной женщины оборачивается пронаблюдать его проезд в церемониальном лимузине, женщина, которая позже, вряд ли случайно, посетит его в номере Гранд-Отеля… это вам не просто что-то сляпанное из рубиновых сосков и чёрно-кружевных пеньюаров, знаете ли. Существуют неприметные входы в комнаты с запахом бумаги, негласные голосования в каком-то Комитете или в другом, посты Председателей, Премии… что может сравниться! Потом, как станешь старше, поймёшь, говорили ему. Да, и это ему доходит, каждый год равен дюжине из мирного времени, ей-ей, до чего ж они были правы.

Его везение всегда как знало, его подкорковая, животная удача, его дар к выживанию пока других, лучших людей выдёргивает Смерть, имеется дверь, что мерещилась ему так часто в одиноких Тезеевых скитаний вдоль полировки коридоров лет: выход проститься с личиной ортодокса-Павловца, раскрывающий перед ним просторы Нормалма, Сёдермалма, Оленьего Парка, Старого Города...

Одного за другим их прибирает вокруг него: в небольшом кругу коллег пропорция нарастает до дисбаланса, всё больше призраков, больше с каждой зимой, меньше живых… и после каждого он как бы даже чувствует затухание контуров в коре своего мозга, отправка на вечный покой частей того, кто уж там содержался, заполнение нетронутой химией...

Кевин Спектро не проводил такое же, как у него, чёткое разграничение между Внешним и Внутренним. Тому кора представлялась органом-интерфейсом, посредником между чем-то и тем-то, но также и частью каждого. «Увидев каково оно на самом деле»,– спросил он однажды,– «разве мы можем, любой из нас, оставаться отделёнными». Он был моим Пьером Жане, подумал Пойнтсмен...

Скоро, согласно диалектике Книги, Пойнтсмен останется один, в тёмном поле, скатываясь в одном направлении, к нулю, в ожидании превращения в последнего из уходящих… Успеет ли он? Ему надо выжить… добиться Премии, не для личной славы, нет—а исполнить обещание человеческому полю из семи, в которым был и он когда-то, ради тех, кто не дотянул... Кадр среднего плана, он сам в подсветке сзади, в одиночестве перед высоким окном Гранд-Отеля, стакан виски поднят к бледному небу суб-Арктики *за вас, ребята, на сцене завтра мы будем все, просто Неду Пойнтсмену повезло выжить*… В СТОКГОЛЬМ его девиз и знамя, а после Стокгольма расплывчатая, долгая золотистая сумеречность...

О да, однажды, знаете ли, он и вправду верил в Минотавра, что дожидается его: видел себя в снах врывающимся в последнюю из комнат, сверкающий меч наотлёт, с воплями, как Коммандос, давая выход всему наконец-то—некий поистине чудный взлёт жизни внутри него, в первый и единственный раз, когда лицо оборачивается к нему, древнее, усталое, не замечающее ничего человеческого в Пойнтсмене, готовое встретить его просто очередным, давно рутинным тыком рога, взбрыком копыта (но на этот раз тут будет бой, кровь Минотавра, ёбаного зверя, крики из раздвинувшихся в нём далей, жестокая мужественность которых изумляют его самого)... То было сном. Обстановка, лицо расплылись, почти ничего кроме последовательности, что за чем шло, но не удержалась после первой чашки кофе и сплюснутой зеленоватой таблетки Бензедрина. Что-то похожее на широкую стоянку грузовиков перед рассветом, свеже-пробрызганная мостовая отливает жирно-коричневыми, брезентоверхие оливковые грузовики стоят, в каждом своя тайна, каждый ждёт… но он знает, что внутри одного из них… и наконец, прочёсывая их, находит, код опознания невыразим, забирается в кузов, под брезент, выжидает в пыли и коричневом свете, пока в туманном продолговатом окошечке кабины лицо, лицо, которое он знает, начинает оборачиваться… но главное в повороте лица, во встрече глаз… делающий стойку Райхсзигер фон Танац Альпдрукен, самый неуловимый из нацистских гончих, чемпион Ваймаранер 1941 года, номер родословной книги 416832, вытатуирован внутри его уха, по Лондоноподобной Германии, его печёночно-серые очертания удаляются, уносятся скачками вдоль сумеречных набережных каналов забитых отбросами войны, взрывы ракет всякий раз уступают путь, гонка не прекращается, блюдо гравированное огневзрывами, карта города приносимого в жертву, из коры мозга человечьего и собачьего, ухо собаки мягко полощется, в куполе черепа яркое отражение зимних облаков, к бункеру лежащему под бронёй за мили под городом, на оперу Балкансой интриги, в чьей герметичной безопасности, среди синих пучков неравномерно подчёркнутого диссонанса, который не удаётся ему избежать до конца, потому что, как всегда, Райхсзигер упорствует, возглавляя, уверенныйф, неотменимый, за ним ему буквально приходится гнаться, вновь и вновь возвращаться к погоне в лихорадочном рондо, пока, наконец, они на склоне холма в конце долгого дня срочных донесений фронтов Армагеддона, среди алых сугробов буганвиллии, золотистых тропов, где вздымается пыль, столбы дыма над далями паучьего города, который они пересекли, голоса в воздухе оповещают, что Южная Америка испепелена, небо над Нью-Йорком мерцает багрово от новейшего всё

сметающего смерто-луча, и только вот когда серый пёс может, в конце концов, обернуться, чтобы кареглазо уставиться во взгляд Неда Пойнтсмена...

Всякий раз, на каждом вираже, собственная кровь его и сердце обласканы, избиты, приведены в радостный восторг, сброшены к леденящим ноктилукам, в полыханье термитной сварки, пока не начинает разливаться он, неудержимый свет, стены зала превращены в синее свечение, оранжевое, потом белое и начинают сминаться, растекаться как воск, всё, что осталось от лабиринта распадающегося кругами наружу, герой и ужас, мастер и Ариадна, поглощаясь, плавясь в свете самого себя, в безумном взрыве себя...

Много лет назад. Сны, которые он почти забыл. Издавна зачастили посредники между ним и его последним зверем. Они не позволят ему даже лёгкой извращённости быть влюблённым в собственную смерть…

Но теперь, когда появился Слотроп—нежданный ангел, сюрприз термодинамики, или что уж он там такое… может быть, всё переменится? Может у Пойнтсмена получится всё же выйти против Минотавра?

Слотроп к этому времени должен быть на Ривьере, в тепле, в добре, по уши в ебле. Но здесь, в поздней Английской зиме, беспризорные собаки всё ещё бродят по проулкам и задним дворам, обнюхивают мусорные ящики, оскальзываются на полосах снега, схватываются друг с другом, бросаются наутёк, дрожат меж своих тёмно-синих луж… пытаются избежать то, чего никак не распознать по запаху или увидеть, что объявляет о себе рёвом хищника настолько абсолютным, что они с визгом падают на снег и переворачиваются подставляя Этому свои мягкие незащищённые брюшины...

Отказался ли от них Пойнтсмен ради одного единственного, непроверенного человеческого субъекта? Не сочтите, будто он лишён сомнений хотя бы относительно валидности данного проекта. Пусть викарий Де ла Нут беспокоится о «правильности», он штатный священник. Но… как же с собаками? Пойнтсмем знает их. Мигом подбирает отмычки к их осторожности. В них нет секретов. Он может доводить их до безумия и, адекватными дозами бромидов, возвращать в норму. Однако Слотроп…

И вот Павловец меряет шагами свой кабинет, чувствуя себя взвинченным и старым. Ему бы поспать, но он не может. Тут кроется больше, чем просто привитие вторичного рефлекса ребёнку, сто лет назад. Как же, будучи доктором, он так и не развил рефлексов на определённые раздражители? Ему лучше знать: он знает, тут нечто большее. Спектро погиб, а Слотроп (sentiments d’emprise, старина, полегче тут) был со своей Дарлин за пару кварталов от Св. Вероники двумя днями раньше.

Когда одно событие следует за другим с такой ужасающей регулярностью, ты, конечно, их не увязываешь автоматически в причину-и-следствие. Однако начинаешь поиск какого-то механизма для объяснения. Пробуешь, проводишь

скромный эксперимент… Этим он обязан Спектро. Даже если Американец, по закону, не убийца, он всё равно больной. Причинность должна быть установлена, и найдено лечение.

В данном предприятии, и Пойнтсмен понимает это, присутствует доля соблазна. Из-за симметрии… Он всегда руководствовался, знаете ли, продвигаясь по садовой дорожке, симметрией: в результатах определённых опытов… в предположении, что механизм может опираться на зеркальное отражение —«излучение», например, или «взаимо-индукция»… а кем доказано, будто и то и то существует? Может и в данном случае тоже так получится. Но что не даёт ему покоя, так это симметрия в данной паре видов секретного оружия, Снаружи, в Блице, звуки V-1 и V-2, каждый обратная направленность другого… Павлов показал какими сбивчивыми могут быть зеркальные образы Внутри. Его идеи противоположностей. Но что за новая патология разворачивается сейчас Снаружи? Какая болезнь последовательностей—самой Истории—способна творить такие симметричные противоположности, как эти робото-вооружения?

Признак и симптомы. Может Спектро прав? Может быть Вовне и Внутри части общего поля? Но если честно, до конца… Пойнтсмену следовало искать ответы в интерфейсе… не так ли... в коре головного мозга Лейтенанта Слотропа. Человек пострадает—возможно, в определённом клиническом смысле, разрушится—но сколько других в эту ночь пострадали из-за него? Да Бога ради, каждый день там в Вайтхолле они планируют и идут на риск, по сравнению с которым его, в данном случае, почти тривиален. Почти. В этом есть что-то слишком прозрачное и быстролётное, чтобы ухватить—в Секции Пси могут трепаться об эктоплазмах—но он знает, что никогда не подворачивался более подходящий момент, и что самый соответствующий объект для эксперимента у него в руках. Он обязан сейчас не упустить или останется обречённым на всё те же каменные приёмные, которые известно ему чем кончаются. Однако нужно быть готовым ко всему—даже и к такой возможности, что люди из Секции Пси правы. «Возможно, мы все правы»,– записывает он в свой журнал в этот вечер,– «и все наши гипотезы верны, и многое другое. К чему бы мы ни пришли, нельзя сомневаться, что он, физиологически, исторически, выродок. Нам ни в коем случае нельзя потерять контроль. Мысль о нём затерявшемся в мире людей, после войны, наполняет меня глубоким ужасом, от которого не могу избавиться…»

* * * * * * *

Всё больше и больше, в эти дни ангельского посещения и оглашения, Кэрол Эвентир чувствует себя жертвой своего ненормального дара. Как выразилась однажды Нора Дадсон-Трак, своей «бесподобной слабости». Она проявилась поздно в жизни: ему было 35, когда из другого мира, однажды утром на Набережной, перед штрихами художника на тротуаре, два пастельных цвета, светло-розовый темнеющий до светло-коричневого, и группой долговязых человеческих фигур, рвано-траурно переплетавшихся с железом моста и дымами

вдали над рекой, вдруг кто-то нежданно заговорил через Эвентира, так негромко, что Норе едва удавалось расслышать хоть что-нибудь, даже чья именно душа вошла и пользуется им. В тот момент не получилось. Это было что-то на Немецком, она запомнила несколько слов. Она бы спросила своего мужа, с которым встречалась в тот день в Сюрей—но тот опаздывал, и все те тени, мужчин и женщин, собак, труб, такие длинные и чёрные поперёк необъятной лужайки, и она крошащейся охрой, едва различимой в позднем солнце, рассыпавшегося мелкими лучиками по краю её вуали—этот мелок она выхватила из деревянного ящика тротуаро-писца и быстро, плавно обернувшись, касаясь лишь носка своей туфли и кремово-жёлтого цилиндрика, что крошился по поверхности, не выпуская его ни на миг, нарисовала пятиконечную звезду на асфальте, несколько выше по течению реки от недружелюбного подобия Ллойд Джорджа в гелиотропно-сиреневом и зеленовато-морском: потянула Эвентира за руку встать внутрь центрального пентагона, морские чайки стонущей диадемой над его головой, затем вступила и сама, инстинктивно, по-матерински, какой она была ко всем, кого любила. Пентограмму она рисовала даже и вполовину не шутки ради. Никогда нельзя быть слишком уверенным, зло никогда не дремлет...

Почувствовал ли он её, даже тогда, отдаляясь… окликнул ли свой контроль из-за Стены пытаясь удержаться? Она уходила из его яви, из его взгляда как свет на кромке вечера, когда на, примерно, десять гибельных минут ничто не помогает: одень очки, включи лампы, сядь у западного окна, а всё равно уходит, ты теряешь свет и, может быть, на этот раз вовеки… хорошее время суток научиться покорности, научиться угасать как свет, как некая музыка. Этот переход к подчинённости его единственный дар. Потом он ничего не сможет вспомнить. Иногда, изредка, могут оставаться манящие—не слова, но нимбы значения оболочки слов, которые рот его явно выговаривал, вот и всё, что удерживается—если случалось так—на миг, как сны, которые невозможно сохранить или продолжить и вскоре они исчезают. Он проверялся на детекторе лжи Ролло Гроста бессчётное множество раз с тех пор как явился в «Белое Посещение», и всё нормально-штатно за исключением, о, всего один или, возможно, два раза, непонятный скачок в 50 милливольт из височой доли, бывало из левой, бывало из правой, ничего определённого, право же—настоящая борьба мнений в стиле существуют-ли-каналы-на-Марсе шла в те годы между различными наблюдателями—Аарон Тровстер клянётся, что видел протяжённые дельтовидные волны из левой лобовой и подозревает опухоль, а прошлым летом Эдвин Трикл отметил «приглушённо эпилептические изменения по типу гребень-волны, но, что любопытно, намного медленнее обычных трёх в секунду»—хотя, бесспорно, Трикл провёл в Лондоне всю ночь накануне, в загуле с Аленом Ламплайтером и его компанией азартных игроков. Менее чем через неделю робот-бомба подарила Ламплайтеру его шанс: найти Эвентира с той стороны и подтвердить, что тот был тем, за кого его и держали: интерфейсом между мирами, одушевлённым. Ламплайтер предложил делать ставки 5 к 2. Но с тех пор он умолк: ничего подобного на мягких ацетат/метал дисках или в распечатках записей, что не получалось бы приписать дюжине иных душ...

Приезжали, в своё время, аж из института в Бристоле, поглазеть, замерить и систематически посомневаться в ненормальных из Секции Пси. Вот Рональд Черикок, известный психометрист, глаза чуть помаргивают, руки не ближе чем на дюйм от коробки в коричневой упаковке, где надёжно укрыты некоторые памятки более раннего периода Войны, тёмно-малиновый галстук, поломанная авторучка Шэфер, поблекшее пенсне белого золота, всё принадлежности Капитана эскадрильи «Молотилы» Сэнт-Блейза, что дислоцируются к северу от Лондона… и вот этот Черикок, с виду нормальный увалень, может, чуть толстоват, начинает излагать вам интимное резюме капитана эскадрильи, его переживания, что выпадают волосы, его энтузиазм от мультиков с Дональдом Даком, о случае во время налёта на Любек, которому были свидетелями только он и его ведомый, ныне погибший, о котором они сговорились не докладывать—ничего такого, что нарушило бы секретность: что позже подтверждает сам, фактически, Сэнт-Блейз, с улыбкой отчасти слишком широко разинутого рта, ладно, вы меня подкололи, но хоть теперь скажите в чём подвох? И действительно, как Черикок такое вытворяет? Как делают такое все остальные? Как Маргарет Квортертон умудряется посылать голоса на диски или в записывающее устройство на расстоянии во много миль не издавая звуков и физически не прикасаясь к оборудованию? Что за динамики начали теперь выпускать? Откуда являются группы из пяти цифр, которые преподобный д-р Пол де ла Нут, священник и штатный автоматист, записывает неделю за неделей и которые, такое есть зловещее предчувствие, никто в Лондоне понятия не имеет как расшифровать? Что означают недавние сны Эдвина Трикла, где он летает, особенно с учётом совпадения по времени со снами Норы Додсон-Трак, будто она падает? Что накопилось в каждом из них такого, что способны выказать, всяк своим ненормальным образом, но не словесно, ни даже суржиком кабинетной *lingua franca*? Турбуленции в эфире, неопределённости ветров кармы. Души по ту сторону интерфейса, те, кого мы называем покойными, всё более осторожны и уклончивы. Даже собственный контроль Эдвина Эвентира, обычно спокойный и саркастичный Петер Сачса, тот самый, что вышел на него в тот давний день на Набережной и по сей день—когда имеются послания для передачи—даже Сачса занервничал...

С недавних пор, всё словно бы подчинено некоей эфемерной Программе X, новые разновидности ненормальных стали появляться в «Белом Посещении», в любое время дня и ночи, молчат, смотрят, ждут, когда ими займутся, подмышкой машинки из чёрного металла и застеклённые пряники, бледные до белого от трансов до отключки, в гипер-кинетичном ожидании нужного ключевого вопроса, чтоб завестись на 200 спотыкливых слов в минуту про свои особые, жуткие способности. Нашествие какое-то. Ну и что нам делать с Гевином Трефойлом, дару которого ещё и имени даже нет? (Ролло Грост хочет назвать это *автохроматизмом*). Гевин самый молодой здесь, всего 17, ему каким-то образом удаётся по собственной воле метаболизировать одну из своих аминокислот, тайросин. Она вырабатывает меланин, представляющий собой чёрно-коричневый пигмент отвечающий за цвет кожи. Гевин способен также препятствовать этой метаболизации путём—как полагают—изменения уровня фенилаланина в своей крови. Таким образом, он может менять свой цвет от почти

призрачно альбиносового до, через плавные градации спектра, очень глубокого, лилово-чёрного. Сосредоточившись, он в состоянии удерживать его, на любой стадии, неделями. Обычно он отвлекается или забывает и постепенно откатывается вспять к своему истинному состоянию, веснушчатая окраска рыжеголового бледнолицего. Но можете себе представить как он пригодился Герхардту фон Гёлю во время съёмок плёнки о *Schwarzkommando*: он помог сэкономить буквально часы гримировки и установки освещения, работая как регулируемый отражатель. Ролло выдвинул лучшую из теорий с чего бы это, но она безнадёжно неясна—нам известно, что клетки эпидермы вырабатывающие меланин—меланоциты—когда-то были, в каждом из нас, на ранней стадии эмбрионального роста, частью центральной нервной системы. Но с ростом эмбриона ткани разделяются, некоторые их этих нервных окончаний покидают то, что затем разовьётся в ЦНС, и мигрируют в кожу, чтобы стать меланоцитами. Они сохраняют свою изначальную трёх-палую форму, аксон и отростки типичной нервной клетки. Однако теперь назначение отростков не передача электрического импульса, а пигментация кожи. Ролло Грост предполагает существование определённой связи, пока что не открытой—некоей сохранившейся клеточной памяти, которая, ретроколониально, всё ещё отвечает на сигналы из метрополисного мозга. Сигналы, которые у юного Трефойла остаются неосознанными. «Всё это»,– пишет Ролло домой старшему д-ру Гросту в Ланкашире, в виде утончённой мести за сказки детства про Дженни Зелёный Клык, что дожидается в болотах, чтоб утопить его,– «часть давней тайной драмы, для которой человеческое тело служит всего лишь набором весьма непрямых, шифрованных программных заметок—выходит так, будто поддающееся нашим измерениям тело всего лишь обрывок такой программы подобранный на улице, рядом с величественным каменным театром, вход куда нам заказан. Извилины языка не допустили нас! великая Сцена, даже темнее, чем привычный мрак м-ра Кутри... Позолота и зеркала, красный бархат, ложи, ярус над ярусом, тоже все в тени, словно где-то внизу, в глубине просцениума, глубже, чем известные нам геометрии, голоса обмениваются секретами, которых нам никогда не доверят…»

– Всё входящее от ЦНС полагается хранить здесь, понимаешь. Очень скоро это надоедает до чёртиков. В основном, полнейшая чепуха. Но пойди угадай, когда они что-то затребуют. Посреди ночи, или в худший из моментов ультрафиолетовой бомбардировки, понимаешь, для них там разницы нет.

– А когда-нибудь приходится выходить на… ну на Внешний Уровень?

(Долгая пауза во время которой старшая сотрудница откровенно таращится, пока несколько перемен проплывают в её чертах—усмешка, жалость, сочувствие—прежде чем стажёр заговаривает снова).– Я… я прошу прощения. Я не хотел быть—

– (Отрывисто.) Мне придётся сказать тебе об этом в ходе инструктажа.

– Сказать мне что?

– То же самое, что когда-то сказали и мне. У нас это передаётся, от поколения к поколению. (Ей не удаётся найти постороннего занятия, чтоб как-то отгородиться им. Мы чувствуем, что всё это ещё не стало для неё рутиной. Из благовоспитанности, теперь она старается говорить негромко даже, пожалуй, мягко.) Все мы выходим на Верхний Уровень, молодой человек. Некоторые сразу, другие чуть погодя. Но, рано или поздно, тут каждый должен стать Эпидермой. Без исключения.

– Должен…

– Сочувствую.

– Но разве тут… я думал это только—ну уровень. Место на пути следования. Разве нет…?

– Заморские пейзажи, о да, и я так думала—необычные формирования, взгляд во Внешнюю Лучезарность. Но всё это из нас, пойми. Миллионов нас, переменившихся, чтоб обернуться интерфейсом, ороговеть, не чувствовать и смолкнуть.

– О Боже. (Пауза, пока он пытается осознать—затем, в панике, отвергает.) Нет—как можно говорить такое—разве ты не чувствуешь памяти? тяги... мы вдалеке, но у нас есть дом! (В ответ молчание.) Вернуться туда! Не наверх в интерфейс. Обратно в ЦНС!

– (Спокойно) Таковым было расхожее понятие. Отвеянные искры. Черепки сосудов разбившихся при Творении. И однажды, где-то ближе к концу, вернуться обратно домой. Посланец из Царствия, прибывает в последний момент. Но говорю тебе, нет такого послания, ни такого дома—только лишь миллионы последних мигов… и ничего больше. Наша история это собрание последних мигов.

Она пересекает комнату полную всего, податливые шкуры, тик натёртый лимоном, витки вздымающихся благовоний, яркая оптическая медь, поблёкшие Центрально-Азиатские ковры, алые с золотым, нависающая ажурность кованого железа, долгий, долгий проход по сцене, поедая апельсин, дольку за кислой долькой, она шагает, халат из шёлка *faille* стекает бесподобными складками, рукава утончённой работы ниспадают от крайне расширенных плеч до тугого сбора в длинные манжеты стянутые рядком пуговок каких-то безымянных земных оттенков—мшисто-зелёный, глино-коричневый, штришок ржавчины, выдох осеннего—свет уличных фонарей проникает сквозь стебли филоденронов и разлапистых листьев ухвативших пригоршни отблесков заката, проскальзывает умиротворённо жёлтым по резной стали пряжек на её лодыжках, полосками по бокам и низу из высоких каблуков её туфель из патентованной кожи, наполированной до утраты цвета вообще, за исключением чуть цитрусового отсвета, где тот прикасается к ним, а они его отторгают словно это поцелуй мазохиста. Вслед за её шагами ковёр распрямляется по направлению к потолку,

отпечатки подошв и каблуков медленно затягиваются поверхностью шерстистого ворса. Одиночный разрыв ракеты докатывается через город издали с востока, к востока юго-востока отсюда. Свет стекает по её туфлям и замирает словно послеполуденное уличное движение. Она останавливается о чём-то вспомнив: армейская юбка трепещет, шёлковые нити полотна трясутся тысячами, пока холодный свет скатывается по ним прочь и снова возвращается к их беззащитному тылу. Запахи тлеющего мускуса и сандалового дерева, кожи и пролитого виски сгущаются в комнате.

А он—пассивно, словно в трансе, позволяет её красоте—войти в него или покинуть, как ей будет угодно. Разве может он быть чем-то кроме покорно воспринимающего заполнителя молчаний? Все радиусы её комнаты, водянистый целлофан, потрескивающий по касательной, когда она, провернувшись на оси своего каблука, начинает, чуть с наклоном, проход вспять. Неужто он любит её почти десять лет. Это невероятно. Эту умудрённую специалистку в «бесподобной слабости», влекомый не похотью, ни даже желанием, а лишь вакуумом: отсутствием малейшей человеческой надежды. Она отпугивает. Кто-то назвал её эротичным нигилистом… каждый из них, Черикок, Пол де ла Нут, даже, он может это представить, юный Трефойл, даже—как он слышал—Маргарет Квотертон, каждый из них ради идеологии Нуля делали… великую самоотверженность Норы ещё более потрясающей. Потому что… если она любит его: если все эти слова, десятилетие комнат и бесед ничего не значат... если она любит его и всё же отвергнет, выбрав меньшую ставку из 5-к-2, отвергнет его дар, отвергнет всё переполняющее всякую из его клеточек… то…

Если она любит его. Он слишком пассивен, у него не достаёт решимости прорваться, как однажды попытался Черикок… Конечно же Черикок странный. Он слишком часто смеётся. Не то, чтобы бесцельно, но обращаясь к чему-то что, как он считает, любой тоже может видеть. Каждый из нас просматривает некую скособоченную сводку киноновостей, луч из проектора падает, молочно-белый, густея от дыма трубок и сигар, Кэмелов и Вудбайнзов... освещённые профили военного персонала и молодых дам окаймляют края облаков: мужественный креп экспедиционной пилотки бороздит вперёд темноту кинозала, блестящая округлость шёлковой ножки лениво переброшена между двух кресел в нижнем ряду, ниже: суляще-затенённые тюрбаны бархата и перистость ресниц. Среди неразборчивых и похотливых пар этих ночей, смех Черикока и ноша своего одиночества, хрупкого, легко бьющегося, истекающего смолой из трещин, странный макинтош из расползающейся ткани... Из всех её милых чудесников в перьях, именно он отваживается на самые опасные проникновения в её опустошённость, в поисках сердца, чьи ритмы будут направляться им. Это должно изумить её, Нору-такую-бессердечную, Черикок, усадив на колени, будоражит её шелка, меж его рук история былого струится водоворотами—шарфы шафрана, аквамарина, лаванды сменяются, шпильки, броши, опаловые скорпионы (знак её рождения) в золотых оправах треножника, застёжки туфель, поломанные перламутровые веера и театральные программки, резинки подвязок, тёмные, длинные чулки до-экономных времён… на его непривычных коленях, руки плывут в круговороте, выискивая её прошлое в молекулярных следах таких изменчивых в

потоке предметов, в продвижении через его руки, она с восторгом выражает свои запреты, отзываясь на его попадания (близкие, порой в точку) поднаторело, словно это комедия в гостиной….

Черикок играет тут в опасные игры. Иногда ему кажется что сам уже объём информации льющейся через его пальцы переполнит, сожжёт его… она похоже решилась оглушить его своей историей, болью её, и её остриём, постоянно свежезаточенным, обрезающим его надежды, все их надежды. Он всерьёз уважает её: он знает: как мало во всём этом женского актёрства, право же. Она действительно оборачивалась лицом, и не однажды, к Внешней Лучезарности и просто ничего не разглядела. И всякий раз впустую вбирала в себя ещё чуть больше от Нуля. Для этого требуется решимость, в худшем случае запас самообмана, который быстро истощается: его невольно восхищает это, пусть даже он и не принимает её затянутых стеклом пустынь, её приятия дня не гнева, но окончательного безразличия... О себе же ему известно, что способен объять чуть больше истины, чем она. Он действительно воспринимает эманации, впечатления… крик внутри камня… экскрементные поцелуи, невидимо запечатлённые на ярме старой рубахи… предательство, информатор, чья вина однажды сгустится до рака горла, набатом, ясным как день, всё это звучит сквозь прорези и отвороты потрёпанной Итальянской перчатки… ангел Молотилы Сэнт-Блейза, и на йоту не вымышленный, подымавшийся над Любеком в то пред-пасхальное воскресенье с ядовито-зелёными куполами под его ступнями, непрестанный перекрёстный взмыв красных черепиц мечущихся вверх и вниз с тысяч заострённых крыш, а бомбардировщики грудятся и пикируют, Балтика уже затерялась за занавесью дыма от зажигательных, и тут вот Ангел: кристаллики льда срываются с задних краёв крыл, угрожающе глубоких, распахнутых двинуться в новую белую бездну... На полминуты радиомолчание было нарушено. Прозвучало следующее:

Сэнт-Блейз: Фрикшоу Два,ты это видишь, конец.

Ведомый: Это Фрикшоу Два—подтверждаю.

Сэнт-Блейз: Хорошо.

Похоже, никто больше на том задании не вёл радиопереговоры. После рейда, Сэнт-Блейз проверил рации тех, кто вернулся на базу и не обнаружил никаких отклонений: все кристаллы на частоту, питание безупречно, как и следовало ожидать—но остальные помнили, как пару минут длилось наваждение, даже треск статических разрядов исчез из наушников. Некоторым померещилось высокое пение: словно ветер в мачтах, обрывках, кроватных пружинах или тарелках антенн флотов зимующих в доках… но только лишь Молотила и его ведомый видели, гудя перед огненными лигами лика, глаз, что взгромадились на мили, поворачиваясь проследить их полёт, радужка красная как уголья, с переходом через жёлтый в белое, пока они сбрасывали свои бомбы куда попадя, капризный прицел Нордена, капли пота в воздухе вокруг его вертлявого окуляра, изумлённые

своей нежданной потребностью набрать высоту, прекратить бить по земле ради удара по небу...

Капитан эскадрильи Сэнт-Блейз не включил описание этого ангела в свой служебный рапорт, опрашивающая его офицер ВААФ была известна на базе как драконша буквоедка худшего сорта (это она представила Бловита на списание в психушку за его радужных Валькирий над Пенемюнде, и Грихэма за ярко синих бесов, что сыпались как пауки с крыльев его Тайфуна и мягко спускались в леса Гааги на парашютиках того же цвета). Но, чёрт побери, это не облако было. Неофициально, за полмесяца между сожжением Любека и приказом Гитлера «начать атаку ужаса и мести»—имея ввиду оружие V-класса—про Ангела прослышали. Хотя Капитан эскадрильи не слишком-то соглашался, Рональду Черикоку позволено было проверить некоторые предметы из того полёта. Так обнаружился Ангел.

Кэрол Эвентир тогда же попытался связаться с Теренсом Овербеби, ведомым Сэнт-Блейза. После того как навалилась куча «мессеров» скопом и уже некуда деться. Результаты оказались сбивчивыми. Петер Сачса поделился, что, фактически, имелось множество версий ангела, каждая могла бы вписаться. Овербеби не настолько доступен, как некоторые другие. Имеются проблемы с уровнями, с Судом, каким он подразумевается в системе Таро... Это всё часть шторма, который бушует сейчас над всеми, по обе стороны Смерти. Неприятно. Со своей стороны, Эвентир чувствует себя совершенно униженным, даже возмущённым. Петер Сачса, на своей, расходится, на удивление, с ролью, чтобы впасть в ностальгию по жизни, прежнему миру, по веймарскому декадансу, который его кормил и одевал. Унесённый насильно в 1930 ударом полицейской дубинки во время уличного шествия в Невкёльне, он теперь сентиментально вспоминает вечера наполированного тёмного дерева, дым сигар, дам в гранёном нефрите, в паннэ, розовое масло, новомодные угловатые пастели на стенах, новомодные наркотики во множестве ящиков маленьких столиков. Не просто «Круги», в большинстве вечеров целые мандалы расцветали: из всех кругов общества, всех кварталов столицы, прижимали ладони к знаменитой кровавой полировке, соприкасаясь лишь мизинцами. Стол Сачсы словно глубокий пруд в лесу. Под поверхностью что-то начинало вращаться, проскальзывать, вздыматься… Вальтера Аша («Тауруса») в один из вечеров посетило нечто столь необычное, что потребовалось три дозы «Хирепонса» (250 гр.), чтобы вернуть его обратно, но даже и после этого он никак не засыпал. Все они стоя наблюдали за ним, неровными рядами напоминавшими спортивный строй. Вимпе, человек от ИГ, державший Хирепонс настроенный под Саргнера, гражданского сотрудника при Генеральном Штабе, на фланге лейтенат Вайсман, недавно из Юго-Западной Африки, и адьютант Иреро, которого он привёз с собою, глазел, глазел на всех на них, на всё… а сзади дамы двигались в шуршащих тканях, блёстках, вспыхивая белейшими чулками, чёрно-белая косметика в деликатной тревоге через нос, глаза распахиваются, о... Каждое из лиц наблюдавших Вальтера Аша стало кукольной сценой: на каждой отдельный спектакль.

...демонстрирует хорошие руки, да отощали, и запястья до самой респираторно расслабленной впадины мускула…

...всё то же… всё то же… моё лицо белое в зеркале три три-тридцать четыре марш Часов тикает в комнате… нет не могу войти недостаточно света не достаточно нет аааххх—

...театр и ничего друг Вальтер подаёт себя глянь на неестественный угол закида головы хочет поймать свет неплохая подсветка на жёлтый гель…

(Пневматическая игрушка жабы вспрыгивает на лист лилии дрожащий: под поверхностью подстерегает ужас… поздняя неволя… но сейчас он проплывает над тем, что унесло б его обратно… его глаза не могут различить…)

. . . *mba rara m'eroto ondyoze. . . mbe mu munine m'oruroto ayo un'omuinyo* (глубже вспять перекрученность толстых нитей или бечёвок, гигантская паутина, натяжение шкуры, мускулы твёрдо стиснуты чем-то, что приходит бороться, когда ночь глубока… и ощущение, тоже, посещения мёртвыми, потом болезненное чувство, что они не так дружелюбны как кажутся… он очнулся, плакал, просил объяснений, но никто не сказал ничего, чему можно было бы поверить. Мёртвые говорили с ним, пришли и сели вокруг, пили его молоко рассказывали про предков или о духах из других мест равнины—потому что время и пространство на их стороне не имеют значения, всё едино.)

– Есть социологии,– Эдвин Трикл с волосами торчащими по всем направлениям, пытается раскурить трубку жалких остатков—осенние листья, кусочки верёвки, окурки,– к рассмотрению которых мы ещё даже и не приступали. Да хотя бы социология нашей братии, например. Секция Пси, ОПИ, бабульки из Альтринчема, что пытаются вызвать Дьявола, все мы по эту сторону, ты ж понимаешь, всего только половина истории.

– Поаккуратней с этим «все мы»,– Роджера Мехико сегодня отвлекает много всякой всячины, неподатливость выражения степени чи, утерянные книги, пропажа Джессики…

– Она утрачивает смысл без учёта перешедших на ту сторону. Мы ведь с ними общаемся, не так ли? Через специалистов типа Эвентира и его контроли на той стороне. Но все мы вместе взятые это единая субкультура, психическая общность, если угодно.

– Нет, не угодно,– сухо отвечает Мехико,– но да, полагаю кому-то пора с этим разобраться.

– Есть народы—вон Иреро, например—которые каждодневно общаются со своими предками. Мёртвые настолько же реальны, как и живые. Как можно понять их не прибегая к равнозначно научному подходу по обе стороны стены из смерти?

И всё-таки Эвентир не получает там общения, на которое надеется Трикл. По возвращении на эту сторону в памяти нет воспоминаний: никаких личных отметок. Ему приходится читать обо всём в записях других, слушать диски. И значит, он должен полагаться на других. И это уже непростой общественный расклад. Он вынужден для большей части своей жизни брать за основу честность людей, которым доверена роль интерфейса между тем, за кого его держат и им лично. Эвентир знает, насколько он близок к Сачсе на той стороне, но он не помнит, а его воспитывали в христианской, Западно-Европейской вере в главенствующую роль своего «сознательного» с его воспоминаниями, всё прочее считается ненормальным либо тривиальным, и поэтому он тронут беспокойством, глубоко...

В записях документируется Петер Сачса, а также души, с которыми тот сводит. Они отражают, с некоторыми подробностями, его навязчивую любовь к Лени Пёклер, что была замужем за молодым инженером-химиком, а также активисткой в КПГ, курсируя между 12-м Районом и посиделками у Сачсы. Всякий раз, когда она приходила, ему хотелось плакать при виде её безысходности. В её растерянных глазах проступала явная ненависть к жизни, из которой она не могла вырваться: оставить мужа, которого она не любила, ребёнка причинявшего неизбывное чувство вины за то, что недостаточно любит.

Мужа Франца располагал связью, слишком неясной для Сачсы, чтоб отследить, в Военном Артиллерийском Ведомстве, так что возникали ещё и идеологические барьеры, для преодоления которых ни у одного из них не хватало энергии. Она ходила на уличные демонстрации, Франц отправлялся в ракетный цех в Райникендорф, проглотив свой утренний чай в комнате полной женщин чересчур недовольно, как ему казалось, дожидавшихся, чтобы он ушёл: с собой они приносили пачки листовок, свои рюкзаки полные книг и политических газет, пробираясь через дворы Берлинской бедноты на рассвете…

* * * * * * *

Они дрожат и голодны. В Штудентенхайм отопления нет, не густо с освещением и миллионы тараканов. Запах капусты, древней, из Второго Рейха, капусты бабушек, дым подгоревшего сала, что за долгие годы достиг какой-никакой *détente* с воздухом, который пытается его расщепить, запахи долгой болезни и неизлечимой работы осыпаются с крошащихся стен. Одна из стен в жёлтых потёках канализации треснувшей этажом выше. Лени сидит на полу с четырьмя или пятью другими, передают по кругу тёмную краюху хлеба. В сыром гнезде из *Die Faust Hoch*, старые номера, читать уже никто не будет, её дочь Ильзе спит, дыхание до того мелкое, что и не заметишь. Её ресницы оставляют громадные тени на верхних полукружьях щёчек.

На этот раз они ушли насовсем. Эта комната сгодится на день, даже два… а что потом, Лени не знает. Она взяла один чемодан для них обеих. Он разве поймёт

что значит для женщины, родившейся под знаком Рака, для матери, держать весь свой дом в одном чемодане? При ней пара марок, у Франца его игрушечные ракеты на луну. Всё и вправду кончено.

Как ей и снилось в снах, она отправится прямо к Петеру Сачсе. Если он её не примет, то хотя бы поможет найти работу. Но сейчас, когда она окончательно порвала с Францем… есть нечто, какая-то враждебность земного знака, что время от времени промелькивает в Петере... В последнее время она уже не так уверена в его настроениях. На него давят с уровней, как ей кажется, более высоких чем обычно, и что-то у него идёт не совсем как надо...

Но худшие из детских вспышек Петера всё же лучше, чем самые безмятежные вечера с её мужем, Рыбы они такие, плавает в морях своих фантазий, жажды смерти, ракетного мистицизма—такого им и надо, как Франц. Уж они-то знают как воспользоваться. Знают, как использовать почти кого угодно. Что ждёт неподдающихся использованию?

Руди, Ваня, Ребекка, мы здесь как бы срез Берлинской жизни, ещё один шедевр от Ufa, образ Богемного Студента, образ Славянина, образ Еврейки, вот они мы: Революция. Конечно, никакой Революции нет, даже и в кино, Германского *Октября* не предвидится, не при такой «Республике». Революция сгинула—хотя Лени была ещё совсем девчонкой и политикой не интересовалась—вместе с Розой Люксембург. Самое большее, на что можно теперь надеяться это Революция-во-внутренней-эмиграции, преемственность, выживание на суровом краю в эти веймарские годы, в ожидании своего часа и новой реинкарнации Розы Люксембург...

АРМИЯ ЛЮБЯЩИХ МОЖЕТ ПОТЕРПЕТЬ ПОРАЖЕНИЕ.

Такие надписи появились на стенах в Красных районах в одну ночь. Никто не может выследить автора или написавших хоть одну из них, наталкивает на подозрение: лицо одно и то же. Попробуй не уверовать в народное сознание. Уже не лозунги а текст, представлен, чтоб народ задумался, сделал выводы, приступил к действию...

– Всё правильно,– говорит Ваня,– взять хотя б формы капиталистического самовыражения. Сплошь порнография: порнография любви, эротической любви, христианской любви, мальчика-и-его-собаки, порнография закатов, порнография убийств, и порнография дедукции—аах, стонем мы, угадав убийцу—все эти новеллы, эти фильмы и песни, они нас убаюкивают, затягивают, с большей или меньшей приятностью, в Абсолютный Комфорт.– Пауза для быстрой кривой усмешки Руди.– До самопроизвольного оргазма.

– «Абсолютный»?– Ребекка подаётся вперёд на свои голые коленки передать ему хлеб, влажный, тающий от прикосновения её мокрого рта.– Два человека могут…

– Насчёт двух это тебе лапши навешали,– Руди почти не усмехается. Благодаря её стараниям, и к сожалению не в первый тут раз, прозвучала фраза о мужском

превосходстве... и чего они так превозносят свою мастурбацию?– однако, в природе такое почти не встречается. В этом, главным образом, каждый сам по себе. Сама знаешь.

– Я знаю, что можно кончать вместе,– вот и весь её ответ. Хотя они не занимались любовью, она произносит это с упрёком. Но он отворачивается, как мы отворачиваемся от тех, кто только что воззвал нас к слепой вере и тут уж не о чем больше говорить.

Лени, за время потраченное на Франца, немало узнала про кончание в одиночку. Поначалу его пассивность вообще не позволяла ей кончить. Затем она поняла, что может воображать всё что угодно для заполнения свободы, которую он ей предоставил. Стало намного комфортнее: она могла выдумывать всевозможные нежности между ними (в настоящее время она уже пускала в грёзы и других мужчин)—но и одиночества тоже прибавилось. Однако морщины её не скоро ещё углубятся, её рот не выучился твердеть утрачивая выражение, которое даже её саму изумляло, лицо мечтательного ребёнка, выдававшее её каждому, с первого взгляда, несобранная слабость, что заставляет мужчин прочитывать её как Беспомощная Малышка—даже у Петера Сачсы она подмечала этот взгляд—и это опять-таки грёза, на поиски которой она ушла, пока Франц стонет внутри своих тёмных желаний боли, грёза о нежности, ясности, её преступное сердце раскаялось, нет нужды убегать, бороться, появляется мужчина беспечный как сама она, и сильный, улица становится далёким воспоминанием: именно такая грёза, которую здесь она меньше всего может себе позволить. Она знает кого ей следует изображать. Тем более теперь, когда Ильзе всё время на неё смотрит. Ну уж нет, Ильзе им не удастся использовать.

Ребекка продолжает спор с Ваней, вполовину флиртуя, Ваня старается сдерживать всё в интеллектуальном русле, но Еврейка сворачивает, раз за разом, в плотское… такие чувственные: её ляжки повыше, как раз над коленями, гладкие как масло, тугие мускулы, насторожённое лицо, заигрывает морда жидовская, дожимает пробежками языка по толстым губам… как бы оно было в одной постели? Заняться этим не просто с другой женщиной, *а с Еврейкой*… Их животная тёмность… зад в испарине агрессивно накатывает к её лицу, чёрные волосы темнеют пушистым полумесяцем вкруг каждой половинки от промежности… лицо в полуобороте через плечо в несдержанном восторге… совсем сходу, правда, пока мужчины бродят по другим комнатам с наркотическими улыбками… «Нет, не так сильною. Нежнее. Я скажу, когда надо сильнее…» Светлая кожа Лени, её вид невинности и более тёмный цвет Еврейки, её сыромятность в контрасте с хрупким строением Лени, её кожей, лобок растягивает паутинку гладко от паха и вкруг живота, две женщины, скользят, всхрипывают, стонут… *Я знаю, что можно кончать вместе*… и Лени очнулась одна—Еврейка уже в какой-то другой из здешних комнат—никогда не могла уловить момент, когда она засыпает своим истинно младенческим сном, мягкая перемена состояния, чего просто не случалось с Францем… И она причесала и взбила кончиками пальцев свои волосы показать своё отношение к клиентуре этой ночи, и прошагала к бассейнам, обнажилась, не реагируя на взгляды, и

соскользнула в телесную теплоту, в установленный аромат её… И вдруг, сквозь крики и пар, что мешал различить разборчиво, она увидала, там, на одном из краёв, смотрит вниз на неё… Да это же Ричард Хирш, с Маусигштрассе, столько лет прошло… она сразу поняла, что лицо её никогда ещё не выглядело таким беззащитным—это видно было по его глазам...

Все вокруг них брызгались, занимались любовью, смешно пререкались, наверное, это его друзья—да, вон ведь Зигги рядом проплыл, по-собачьи, мы звали его «Тролль», он с той поры даже и на сантиметр не подрос… с тех пор как мы бежали домой от канала, споткнулись и упали на камни самой твёрдой мостовой в мире, а когда утром проснулись, увидели снег на спицах колеса телеги, пар из ноздрей старой лошади... «Лени, Лени». Волосы Ричарда отброшены назад, золотистое тело наклоняется, чтобы подхватить её из пара бассейна, посадить рядом с собой.

– Но разве ты не...– она в растерянности, не знает как это сказать.– Кто-то мне говорил, что ты не вернулся из Франции.– Она смотрит на его колени.

– Даже Французские девушки не смогли удержать меня во Франции.– Он весь тут: она чувствует, как он пытается заглянуть ей в глаза: и говорит он так просто, такой живой, конечно же, Французским девушкам нужно быть понастойчивее Английских пулемётов… она знает, наполнясь плачем по его невинности, что там он ни с кем не был, что для него Французские девушки всё ещё прекрасные и недосягаемые пособницы Любви...

В Лени, теперь, ничто не выдаёт её долгое занятие профессией, ничто. Она всё то же прежнее дитя, на которую он заглядывался на дорожках парка или встречал, когда шагала домой по переулкам в горбушечно-коричневом свете, её лицо, в ту пору довольно широкое, склонялось вниз, светлые брови взъерошены, сумка с книгами на спине, руки в карманах фартучка… некоторые из камней в стене были белыми как мука… может она его и ещё как-нибудь встречала, но он был старше, всегда с друзьями...

Теперь все они немного утихомирились вокруг, в них появилась обходительность, застенчивость даже, рады за Ричарда и Лени. «Лучше позже, чем никогда!»– протрубил Зигги своим ускоренным голоском коротышки, приподымаясь на цыпочки разлить Майское вино всем по стаканам. Лени отправляется сделать новую стрижку и чуть осветлить волосы и Ребекка идёт вместе с ней. Они говорят, в первый раз, о планах и будущем. Без прикосновений, Ричард и она полюбили, как им следовало ещё тогда. Само собой, он заберёт её с собою...

Старые друзья по Гимназии часто попадались под конец, приходили с экзотической едой и винами, с новыми наркотиками, намного проще и честнее в вопросах секса. Никто не торопится одеться. Не прячут свои обнажённые тела. Никто не чувствует беспокойства или неловкости из-за размеров её груди или его члена... Это прекрасно так всех освежает. Лени обвыкается со своииму новым именем «Лени Хирш», иногда даже за столиком кафе сидя рядом с Ричардом

поутру: «Лени Хирш», и он-таки улыбается, в замешательстве, пробует отвести глаза, но не может избежать её взгляда и, наконец, оборачивается к ней в открытую, с громким смехом, смехом чистой радости, протягивает руку, ладонь его милой руки, мягко коснуться её лица...

Ранним вечером многоярусные балконы, террасы, слушателей полно на каждом уровне, все смотрят вниз, в направлении общего центра, галереи молодых женщин с зелёными листьями в охват их талий, вечнозелёные деревья, лужайки, течение воды и национальной церемониальности, Президент, посреди своего обращения к Бундестагу, его привычным голосом вечно забитого носа, о гигантских военных ассигнованиях, вдруг останавливается:– «А, к ебеням...» *Fickt es*, фраза, что вскоре станет бессмертной, звенит до небес, проносится над страной, *Ja, fickt es!* –«Я возвращаю всех солдат домой. Мы повсеместно закроем военные заводы, всё вооружение утопим в море. Меня тошнит от войны. Тошно просыпаться каждое утро в страхе погибнуть». И вдруг становится невозможным ненавидеть его и дальше: он такой же человек, такой же смертный как все люди. Будут проведены новые выборы. От Левых выставляется женщина, чьё имя никак не оглашено, но все понимают, что это Роза Люксембург. Все прочие кандидаты окажутся настолько бесцветными бездарями, что никто не отдаст за них голоса. У Революции появится шанс. Президент обещал.

Невероятно весело в бассейнах, среди друзей. Настоящее веселье: течение диалектических процессов не способно вызывать такой всплеск в сердце. Каждый оборачивается любовью...

АРМИЯ ЛЮБЯЩИХ МОЖЕТ ПОТЕРПЕТЬ ПОРАЖЕНИЕ.

Руди и Ваня затеяли спор об уличной тактике. Где-то каплет вода. Улица настигает, даёт знать о себе повсюду. Лени известно это и ненавистно. Ни минуты покоя… вынуждена доверяться чужакам, которые могут сотрудничать с полицией, если не сейчас, то потом, когда улица станет для них пустыннее, чем они в состоянии вынести… Как бы ей хотелось найти способ оградить ребёнка от этого, но возможно уже слишком поздно. Франц—Франц никогда не выходил на улицу надолго. Вечно какие-нибудь оправдания. Беспокоился о безопасности, не попасть бы в кадр кого-нибудь из фотографов в кожаных куртках, которые всегда по краям демонстрации. Или же: «Но как быть с Ильзе? А если там начнётся драка?» Если начнётся драка, как нам быть с Францем?

Она пыталась объяснить ему про уровень, на который выходишь, впрыгиваешь обеими ногами, когда утрачиваешь свой страх, страха нет вовсе, ты погружён в момент, отчётливо вписался в его бороздки, металлически серые но мягкие как латекс, и теперь фигуры танцуют, каждая отрепетировано, чётко на своём месте, вспых коленок под жемчужной юбкой, когда девушка в косынке присела ухватить булыжник, мужчину в чёрном костюме и коричневой безрукавке скрутили шуцманы, вцепились по одному в каждую руку, пытаются запрокинуть его голову, он скалится, пожилой либерал в грязном бежевом пальто, делает шаг назад увернуться от бегущего демонстранта, косится поверх лацкана как-ты-посмел или

же смотри-мне, стёкла его очков наполнены пыланьем зимнего неба. Всё круче момент и его возможности.

Она даже пробовала, с помощью той математики, насколько поняла когда-то, объяснить это Францу как приближение Δt к нулю, бесконечное приближение, отрезки времени становятся всё мельче и мельче, череда комнат со стенами всё серебристее, прозрачней, с приближением к чистому свету нуля...

Но он покачал головой: «Это не то, Лени. Важно довести функцию до её предела. Δt всего лишь средство достижения этого.»

У него есть, то есть была, эта способность лишать вещи всякой восхитительности всего только парой реплик. И даже слов не подыскивал: у него это получалось инстинктивно. Когда они ходили в кино, он там засыпал. Он заснул во время *Нибелунгов*. Пропустил как Атилла ворвался с Востока уничтожить Бургундцев. Франц любил кино, но так уж он смотрел фильмы, заснёт-проснётся.–«Ты ведь человек причины-и-следствия»,– восклицала она. Как же он увязывал фрагменты, которые смотрел пока не слипнутся глаза?

Он был человеком причины-и-следствия: безжалостно развенчивал её астрологию, сначала изложит, с чем она согласится, а потом опровергнет.–«Приливы, радиопомехи, до черта всякой всячины. Невозможно, чтобы изменения там произвели перемены тут….»

– Не производят,– защищалась она,– не причиняют. Всё идёт вместе. Параллельно, не друг за другом. Метафора. Признаки и симптомы. Наложение на разные системы координат, я не знаю...– Она не знала и просто лишь хотела достучаться до него.

Но он ответил: «Попробуй спроектировать что-нибудь в этом роде и чтоб оно работало».

Они посмотрели *Die Frau im Mond*. Франца фильм позабавил, начал снисходительно потешаться, придирался к техническим деталям. Он знал кого-то из людей, которые работали над спецэффектами. Лени увидела грёзу полёта. Одну из многих возможных. Реальный полёт и грёзы о нём идут вместе. Они часть единого движения. Не А потом В, а вместе...

Разве с ним могло хоть что-то быть надолго? Если бы Еврейский волк Пфламбаум не поджёг свою собственную фабрику возле канала, Франц, возможно, смог бы зарабатывать им на жизнь, занимаясь невозможными проектами Еврея, изобретал бы краску с узорами, растворяя кристалл за терпеливым кристаллом, контролируя температуры с навязчивой аккуратностью, чтобы после охлаждения аморфный сгусток смог бы, на этот бы раз смог, вдруг переключаться, застывать полосками, крапинками, звёздами Соломона—вместо того, чтоб однажды ранним утром найти почернелые руины, банки краски взорвавшиеся громадными выплесками малинового и бутылочно-зелёного, вонь обугленной древесины и

керосина, Пфламбаума заламывающего руки, вей, вей, вей, пронырливый лицемер. Всё ради страховки.

Так что Франц и Лени какое-то время здорово голодали, а Ильзе росла у неё в животе каждый день. Всё, что ни подворачивалось, было исключительно физическим трудом, за который почти не платили. Это его убивало. Потом он встретил старого друга из Мюнхенской ВТШ, однажды ночью на болотистой окраине.

Он не был дома весь день, пролетарский муж, расклеивал афиши фильма фантазии какого-то счастливчика Макса Шлепцига, а Лени лежала беременной пока боль в спине не заставляла её переворачиваться в их меблированном мусорном ящике в последнем из многоквартирных Hinterhöfe. Уже давно стемнело и жуткая была холодина, когда он докончил последнее ведро клея, и все афиши дожидались на своих местах пока их обоссут, сорвут, измалюют свастиками. (Наверно, это была дешёвка местного производства для заполнения квоты. Возможно, случилась опечатка, но когда он пришёл в кинотеатр в условленную по договору дату, там было совершенно темно, пол в фойе усыпан кусками штукатурки, а внутри раздавались жуткие крушащие удары, звук бригады разрушения, только голосов не слышно, и даже света он не разглядел в глубине… он позвал, но разгром продолжалось, громкий скрежет в потрохах позади электрической бегущей строки, которая тоже, как он заметил, была отключена….) Он забрёл, смертельно усталый, за несколько миль к северу, в Райникендорф, квартал небольших фабрик, ржавеющей жести крыш, борделей, хижин, кирпичных пристроек в ночь и заброшенность, ремонтных мастерских, где вода в бочках для охлаждения деталей застоялась и заросла. Редкие розбрызги света. Пустота, сорняки на участках, на улицах ни души: одна из окраин, где каждую ночь звон разбитого стекла. Должно быть, это ветер притащил его вдоль грязной дороги, мимо старой воинской части, которую теперь занимала полиция, среди бараков и будок с инструментами к проволочному забору с воротами. Ворота оказались открытыми, и он двинулся дальше. Ему послышался звук, где-то впереди. Однажды летом перед Мировой Войной, он на каникулах был в Шафхаузене вместе со своими родителями и они на электрическом трамвае поехали к Рейнским Водопадам. Они спустились по лестнице и вышли к деревянному павильону с остроконечной крышей—всё вокруг из облаков, радуг, капелек сверкающих огнём. И гул водопада. Он держался за руки обоих, Мутти и Папи приподняли его в холодном облаке из брызг, почти невозможно разглядеть деревья наверху приникшие к краю зелёной мокрой полосой, или маленькие прогулочные катера внизу, что подходили прямо к месту падения струй в Рейн. Но сейчас, в зимнем сердце Райникендорфа, он был один, с пустыми руками, спотыкался по замёрзшей грязи бывшей свалки боеприпасов, заросшей берёзами и ивами, тянувшейся в темноте вверх к холмам и вниз к болотам. Бетонные коробки бараков и десятиметровых насыпей высились неподалёку, а за ними звук, звук водопада, нарастал, окликая из его воспоминаний. Такими были призраки нашедшие Франца, привидения не людей, но форм энергии, абстракций...

В просвете между насыпями он увидал маленькое серебристое яйцо, с пламенем чистым и ровным, что исходило снизу, освещая человеческие фигуры в костюмах, свитерах, пальто, наблюдавшие из бункеров или траншей. Это была ракета на своём стенде: статичное испытание.

Звук начал изменяться, прерываясь время от времени. Удивлённому Францу он не показался зловещим, просто другим. Но свет стал ярче и наблюдающие фигуры вдруг бросились в укрытия, ракета взревела и издала протяжный треск, голоса орут *ложись* и он шлёпнулся в грязь как раз в момент, когда серебряная штука разлетелась на куски с ужасным взрывом, метал прошелестел сквозь воздух где он только что стоял, Франц прижимается к земле, в ушах звон, ничего не чувствует, ни даже холода, на какое-то время не понять остался ли он ещё в своём теле...

Приблизились бегущие ноги. Он посмотрел вверх и увидел Курта Мондаугена. Ветер всей этой ночи, а может и всего года, свёл их вместе. Так он потом начал думать, что это был ветер. Большая часть жирка школьника теперь сменилась мускулами, волосы поредели, цвет лица стал темнее, чем Францу попадался в ту зиму на улицах, тёмный даже в бетонных складках тени от пламени расплескавшегося топлива ракеты, но это был точно Мондауген, семь или восемь лет прошло, а они узнали друг друга мгновенно. Когда-то жили в одной и той же мансарде полной сквозняков в Мюнхене на Либигштрассе. (Адрес в то время казался Францу счастливым предзнаменованием, потому что Юстус фон Либиг был одним из его героев, героем химии. Позднее, в подтверждение, курс теории полимеров читал Профессор-Доктор Ласло Джамф, последний в истинной преемственности, от Либига к Августу Вильгельму фон Хофману, к Герберту Ганистеру, к Ласло Джамфу, прямая цепочка, причина-и-следствие). Они ездили в одном и том же дребезжащем *Schnellbahnwagen* с тремя контактными дугами хрупкими как ноги насекомого, скрипящими по проводу над головой, в ВТШ: Мондауген был на отделении электро-инженерии. По окончании, он уехал в Юго-Западную Африку с каким-то радио-исследовательским проектом. Какое-то время они переписывались, потом прекратили.

Их воссоединение продолжалось допоздна в пивном зале Рейникендорфа, старшекурсники, орущие среди пьяниц из рабочего класса, разгульные грандиозные поминки по испытанию ракеты—чиркают по влажным бумажным салфеткам, говорят все разом вокруг заставленного бокалами стола, спорят сквозь дым и шум исток тепла, специфический импульс, толкающий поток...

– Это был провал,– Франц, пошатываясь под электрической лампочкой в три или четыре часа утра, с широкой улыбкой на лице,– не удалось, Лени, но они говорят лишь об успехе! Двадцать килограммов сдвинулись на несколько секунд, но никто прежде не делал такого. Я бы не поверил Лени, я видел нечто, чего раньше никто не делал...

Он хотел обвинить её, как она поняла, в желании доводить его до отчаяния. Но она лишь хотела, чтоб он повзрослел. Что за разновидность *Wandervögel*

идиотизма бегать всю ночь по болоту и называть себя Обществом Навигации в Пространстве?

Лени выросла в Любеке, в ряду *kleinbürger* домиков вдоль Траве. Стройные деревья равноотстоящие одно от другого вдоль обращённого к реке края её мощёной улицы склоняли свои длинные ветви над водой. Из окна спальни ей виден был сдвоенный шпиль Купола вознёсшегося над крышами. Её затхлое прозябание в задних дворах Берлина стало просто декомпрессионной камерой—должно быть. Вырвалась из чопорной мещанской удавки, с уплатой задолженности в лучшие времена, после Революции.

Франц, в шутку, частенько называл её «Ленин». Тут никогда не было сомнений кто из них активный, кто пассивный—но она всё же надеялась, что он это перерастёт. Она говорила с психиатрами, знает о Германских мужчинах в пору созревания. Растянувшись на спине в лугах и среди гор, глядят в небо, мастурбируют тоскуя. От судьбы не уйти, тьма заложена в ткань летнего ветра. Судьба предаст, сокрушит твои идеалы, сбросит тебя в то же самое отвратное *Bürgerlichkeit*, что и твоего отца посасывающего трубку на воскресной прогулке после церкви мимо ряда домов вдоль реки—обрядит тебя в серую униформу ещё одного семейного человека, заткнёшься и будешь отбывать свой срок, перелетать от боли к долгу, от веселья к работе, от преданности к нейтральности. Судьба всё это сделает с тобой.

Франц любил её невротически, по-мазохистски, он принадлежал ей и верил, что она сможет унести его на своей спине куда-то, где Судьба не сумеет достать. Можно подумать это гравитация. Однажды ночью, наполовину проснувшись, он зарылся лицом ей в подмышку, бормоча: «Твои крылья… о, Лени, твои крылья...»

Но её крыльев хватит лишь для собственного веса и, она надеется, для Ильзе на какое-то время. Франц мёртвый груз. Пусть ищет себе полёт на *Raketenflugplatz*, где его будут использовать милитаристы и картели. Пусть летит на мёртвую луну, если так уж ему охота...

Ильзе проснулась, и плачет. Весь день ничего не ела. Надо всё-таки пойти к Петеру. У него молоко найдётся. Ребекка протягивает остатки горбушки, которую она ела: «Будешь?»

Не такая уж она и Еврейка. Отчего половина всех известных Левых Евреи? Она тут же себе напомнила, что и Маркс был из них. Расовая тяга к книгам, к теории, раввинская любовь к громким спорам… Она отдаёт горбушку ребёнку, поднимает её.

– Если он сюда придёт, скажи, ты меня не видела.

Они пришли к Петеру Сачса совсем в темноте. У него вот-вот начнётся сеанс. Она тут же почувствовала до чего блядское на ней пальто и ситцевое платье (подол слишком короток), стоптанные туфли в городской пыли, и полное отсутствие драгоценностей. Опять рефлексы среднего класса… остатки их, она надеется. Но

большинство женщин стары. Остальные чересчур роскошны. Хмм. Мужчин собралось больше, чем обычно. Лени подмечает на лацканах, тут и там, серебряные свастики. На столах отличные вина 21-го и 22-го. *Schloss Vollrads, Zeltinger, Piesporter*—тут явно Особый Случай.

Цель этой ночи, вступить в контакт с покойным министром иностранных дел Вальтером Ратенау. В Гимназии Лени пела с другими детьми миленький уличный напев той поры:

Knallt ab den Juden Rathenau,

Die gottverdammte Judensau. . .

После его убийства она несколько недель вообще не пела, в уверенности, что если не пение это вызвало, то во всяком послужило пророчеством, заклятием...

В эту ночь предстоят специфичные послания. Вопросы к бывшему министру. Идёт процесс мягкого отсева. Для безопасности. Только определённым гостям позволено пройти в гостиную Сачсы. Обойдённые остаются снаружи, переговариваются, показывают в напряжённости дёсна, разводят руками... Крупный скандал вокруг ИГ Фарбен на этой неделе по поводу несчастного филиала Шпотбилигфилм АГ, чьё руководство в полном составе будет вычищено за предложенный в отдел вооружений ВКВ проект изобретения нового луча посылаемого по воздуху, который вызовет у всего населения, в радиусе десяти километров, абсолютную слепоту. Отдел проверок ИГ вовремя перехватил предложение. Бедняги из Шпотбилигфилм. Их коллективному сознанию не дошло каким образом подобное оружие скажется на рынке красок после следующей войны. Опять менталитет Сумерков Богов. Оружие было известно как С-5227, где «С» стоит за «свет», ещё один комичный Немецкий эфемизм, как «А» в обозначении ракеты, сокращённое «агрегат», или сама ИГ, *Interessengemeinschaft*, Товарищество по Интересам… или этот случай катализаторного отравления в Праге—правда ли, что Штат Группы VI b при Химическом Реагировании на Аномальности в полном составе вылетел на восток со статусом чрезвычайности, и что это отравление комплексное, замешан не только селений, но и теллурий… имена ядов отрезвляют беседу, как упоминание рака...

Элита, которым сидеть в кругу сегодня, представители корпоративной толпы Нацистов, среди которых Лени приметила, кто бы мог подумать, Генерального Директора Смарагда из филиала ИГ, который был заинтересован, какое-то время, в её муже. Но затем контракт был резко прекращён. Загадочно, малость зловеще, правда в те дни всё можно было валить на экономику...

В толпе, глаза её встретили взгляд Петера.–«Я ушла от него»,– шепнула она кивая, когда они пожимали руки.

– Можешь уложить Ильзе в какой-то из спален. Позже поговорим, ладно?– В его глазах замечается некий фавновский прищур. Примет ли он, что она станет его не больше, чем принадлежала Францу?

– Да, конечно. Что происходит?

Он фыркает, выразить они мне не сказали. Они используют его—всегда использовали, различные они, вот уже десять лет. Но он никогда не знает каким образом, разве что в редком случае, по намёку, перехватив улыбки. Кривое и навсегда затуманенное зеркало, улыбки клиентов...

Зачем им нужен Ратенау в эту ночь? Что Цезарь на самом деле сказал своему протеже, когда рухнул? *Et tu, Brute*, официальная ложь, а чего ещё от них ждать—которая ровным счётом ничего не говорит. Момент убийства является мигом схождения власти и незнания власти, Смерть в качестве свидетеля. Если кто-то обращается к другому, то не затем, чтоб скоротать денёк всякими et-tu-Brute. Передаётся истина настолько жуткая, что история—в лучшем случае сговор, не всегда между джентльменами, о лохотроне—ни за что не признает её. Истину заглушат или, во времена особой элегантности, переоденут во что-нибудь другое. Что Ратенау, через минуту, годы спустя в новом потустороннем бытии, может поведать о былых раскладах? Скорее всего, ничего настолько же невероятное, что сказал бы в момент, когда шок шибанул его смертные нервы, когда впорхнул Ангел...

Но они разберутся. Ратенау—согласно историям—стал пророком и архитектором картелизованного государства. Из того, что начиналось как маленькое бюро при Военном Ведомстве в Берлине, он координировал экономику Германии во время Мировой Войны, контролировал снабжение, квоты и цены, прорезал и разбивал барьеры секретности и собственности, отделявшие фирму от фирмы—корпоративный Бисмарк, перед властью которого ни одна книга бухгалтерского учёта не была слишком привилегированной, ни одно соглашение слишком тайным. Его отец, Эмиль Ратенау, основал AEG, Общую Электрическую Компанию Германии, но молодой Вальтер оказался больше, чем всякий прочий индустриальный наследник—он был философом провидевшим послевоенное Государство. Он рассматривал длившуюся войну как мировую революцию, которая завершится ни Красным коммунизмом, ни бесконтрольностью Правых, а рациональной структурой, где бизнес по праву станет истиной властью—структура основанная, и тут нечему удивляться, на созданной им в Германии для ведения Мировой Войны.

Такова официальная версия. Достаточно грандиозная. Но Генеральный Директор Смарагд и коллеги собрались тут не затем, чтоб им вещали то, во что верят даже массы. Это даже может—при достаточно параноидальном взгляде—показаться сотрудничеством всех по обе стороны Стены, между материей и духом. Что им известно, чего не знают обойдённые? Какая жуткая структура сокрыта видом разнообразия и предпринимательства?

Юмор висельника. Чёртова настольная игра. Смарагд не может всерьёз поверить ничему подобному, Смарагд практик и управляющий. Ему могут понадобиться лишь знаки, предзнаменования, подтверждения чему-то уже существующему, что-то, над чем можно подхихикнуть в *Herrenklub*—«у нас теперь есть даже

благословение Еврея!» Что ни явилось бы в эту ночь через медиума, они исказят, подредактируют в благословение. Это глумление над разреженными.

Лени находит диван в тихом углу комнаты забитой китайской слоновой костью и шёлковыми запонами, ложится, свесив одну икру, и пытается отдохнуть. Сейчас Франц уже дома после ракетного поля, моргает под лампочкой, пока соседка фрау Зильбершлаг передаёт последнее послание Лени. Послания этой ночи, рождённые в огнях Берлина… неоновых, накаливания, звёздных… послания вплетаются в сеть информации, которую никто не в силах избежать...

– Путь ясен,– голос движет губами Сачсы и напряжённо белым горлом.– Вам там приходится следовать ему во времени, шаг за шагом. Однако, отсюда возможно охватывать всю форму сразу—не мне, я ещё не настолько продвинулся—но многим это известно как явная данность… вообще-то «форма» неподходящее слово... Позвольте быть с вами откровенным. Мне труднее смотреть с вашей точки зрения. Проблемы, с которыми вы, возможно, сталкиваетесь, даже самого глобального значения, многим из нас тут кажутся тривиальными отклонениями. Вы ступили на извилистый неровный путь, который вам кажется широким и прямым Автобаном, по которому можно двигаться без помех. Есть ли смысл для меня повторять, что кажущееся вам реальным всего лишь иллюзия? Я не знаю, станете ли вы слушать или пропустите мимо ушей. Вам хочется знать лишь про свой путь, ваш Автобан.

– Хорошо. Анилиновый пурпур: возьмите за образец. Изобретение пурпура, выход на ваш уровень этого цвета. Вы слушаете Генеральный Директор?

– Я слушаю, херр Ратенау,– отвечает Смарагд из ИГ Фарбен.

– Тирский пурпур, ализарин и индиго, другие краски угольной смолы имеют место, однако, наиважнейший анилиновый пурпур. Вильям Перкин открыл его в Англии, но его обучал Хофман, которого обучал Либиг. Тут прослеживается преемственность. Если это кармическое, то в очень ограниченном смысле… другой Англичанин, Герберт Ганистер, и поколение химиков, которых он обучил... Затем открытие Онерина. Спросите своего сотрудника Вимпе, он эксперт по цикловым бензилизохинилинам. Исследуйте клинические эффекты наркотика. Я не знаю. Кажется, вам стоит поискать в этом направлении. Оно сливается с линией пурпура, Перкин-Ганистер. Но всё, что у меня есть, это молекула, набросок… Метаонерин, как сульфат. Не в Германии, а в Соединённых Штатах. Тут как-то увязывается с Соединёнными Штатами. Выход на Россию. Отчего, по-вашему, фон Малцан и я так настойчиво протаскивали договор Раппало? Это являлось необходимым шагом на восток. Вимпе может вам рассказать. Этот *V-Mann* тоже там бывал. Отчего, по-вашему, мы так добивались, чтобы Крупп продавал им сельскохозяйственную технику? Это являлось частью процесса. В то время я не сознавал это так ясно, как сейчас. Но я знал что мне следует это делать.

– Взгляните на уголь и сталь. Имеется место их встречи. Интерфейсом между между углём и сталью служит угольная смола. Представьте уголь, глубоко в земле, мертвенно чёрный, никакого света, сама субстанция смерти. Смерти древней, доисторической, видов, которые мы никогда не увидим. По наростающей, всё более старые, чёрные, глубинные в слоях вечной ночи. Над поверхностью прокатывается сталь, огненная, яркая. Но для производства стали угольные смолы, более тёмные и тяжёлые, должны быть извлечены из изначального угля. Экскремент Земли, очищенный для облагораживания сияющей стали. Переданный дальше.

– Мы называли это индустриальным процессом. Но тут заложено больше. Мы передавали угольные смолы. Тысячи различных молекул ожидали в пропущенном дерьме. Вот знак откровения. Развития. В этом одно из значений анилинового пурпура, первого нового цвета Земли, вскочившего на свет Земли из угрюмых миль и толщи эпох. Есть и другое значение… преемственность… я пока не в состоянии видеть настолько...

– Но всё это лишь прикидывается жизнью. Истинное продвижение идёт не от смерти к некоему возрождению. Но от смерти к смерти преобразованной. Лучше всего попытайтесь полимеризовать пару мёртвых молекул. Однако, полимеризация не воскрешение. Я имею ввиду вашу ИГ, Генеральный Директор.

– Нашу ИГ, я бы сказал,– отвечает Смарагд с более, чем обычной натянутостью и холодом.

– Называйте, как хотите. Хоть и союзом, если вам угодно. Я здесь насколько вам потребуюсь. Вы не обязаны слушать. Вы думаете, что вы бы предпочли услышать о том, что вы зовёте жизнью: растущий органический Картель. Но это лишь ещё одна иллюзия. Очень умный робот. Чем динамичнее он кажется вам, тем глубже и мертвей, на самом деле, становится. Взгляните на дымогарные трубы, как они размножаются, распыляя отходы изначальных отходов над всё более обширными массами города. Структурно, они превосходят всё в противостоянии компрессии. Дымогарная труба может выстоять в любом взрыве—даже противостоять ударной волне от этих новых космических бомб,– некоторое перешёптывание вокруг стола на это,– как вам известно. Получается, устойчивость структур вспомагающих смерти. Смерть, превращаемая в преумножение смерти. Совершенствует своё правление, точно так же как похороненный уголь становится плотнее и покрывается большими толщами—эпоха поверх эпохи, город поверх разрушенного города. В этом знак лицемерной Смерти.

– Эти знаки реальны. Они же и симптомы процесса. Процесс следует одной и той же форме, повторяется в одной и той же структуре. Чтобы постичь это, вам следует руководствоваться знаками. Все разговоры о причине и следствии, это мирская история, а мирская история тактика для диверсий. Полезна для вас, джентльмены, но нам здесь ни к чему. Если хотите знать истину—полагаю мне она известна—вам нужно углубиться в технологию этих материй. Даже в сердца

некоторых молекул—это ведь они, в конце концов, диктуют температуры, давления, скорость изменения цен, доходы, форму башен...

– Вам следует задаться двумя вопросами. Первый, в чём истинная природа синтеза? И следующий: в чём истинная природа контроля?

– Вам кажется, будто вам известно, вы цепляетесь за свои убеждения. Но рано или поздно, вам придётся с ними расстаться.

Затяжная тишина. Некоторое шевеление на стульях вокруг стола, однако спаренные мизинцы удерживают соприкосновение.

– Херр Ратенау, вы можете сказать мне прямо,– этой Хайнц Риппенштос, шальной нацистский шутник и перекати-поле. Сидящие начинают хихикать, а Петер Сачса возвращаться в свою гостиную.– Так Бог вправду Еврей?

* * * * * * *

Памм, Естерлинг, Дромонд, Ламплайтер, Спектро это звёзды на праздничной ёлке доктора. Блестят сверху в эту самую святую из ночей. Каждая как холодное напоминание о тупиках, солнцах, что не желают терпеть, а убегают к югу, всегда к югу, оставляя нас на бесконечном севере. Но Кевин Спектро самая яркая, самая далёкая из всех. Толпы нахлынули в Найтбридж, по радио звучат рождественские песни, в Подземке массовки столпотворения, и только Пойнтсмен всё один. Однако, он получил свой рождественский подарок, тра ля ля, и не придётся обойтись собакой из переработанной жестянки, ребята, он получил персональное чудо и человеческое дитя, выросшее в мужчину, пусть и с отметиной где-то на своей нынешней Слотроповой коре, зарубка от дней младенчества его Психики, да, уже просто история, инертная, обросшая кистой, не реагирует на джаз, депрессию, войну—выживший, если угодно, кусочек покойного д-ра Джамфа, собственной персоной, после его смерти и окончательного расчёта в, в старой центральной палате, вы ж понимаете...

Только некого спросить, не с кем поделиться. Моё сердце, ощущения, сердце переполняется такой силою и надеждой... С Ривьеры отличные новости. И тут эксперименты вошли в ровную колею, наконец-то. Из-за какой-то неясной накладки, увеличились ассигнования или где-то прикрыли фонд, бригадный генерал Падинг добавил к финансированию ОИА. Или он тоже ощутил силу Пойнтсмена? Покупает себе индульгенцию?

Иногда среди дня Пойнтсмен замечает, что член у него стоит. Он начал рассказывать анекдоты, Английские анекдоты вивисектора-Павловца, в которых всё вертится вокруг какого-нибудь несчастного случая: что латинское *cortex* переводится на Английский как «кора», зачем собакам кора деревьев? (Полная дребедень и у людей в ПРПУК хватает ума увиливать, но эти

шутки верх остроумия по сравнению с его дежурными, типа, «Отчего коренной лондонец, обращаясь к ковбою из Сан-Антонио говорит, "Cor, Tex!") Один раз по ходу ежегодного Рождественского Вечера в ПРПУК, Моди Чилкс завела Пойнтсмена в кладовку полную беладонны, марли, пипеток, и запаха хирургической резины, и там, через секунду, она уже стоит на своих красных коленках, расстёгивает на нём брюки, а он, растерянный, Боже мой, поглаживает её волосы, неловко растрепав их половину из-под бордовой ленты—и вот вам, настоящий, сочный, горячий «роток» рабыни в тугих чулочках, да, среди этих по-зимнему бледных клинических залов, где-то вдали граммофон играет румбу, басы, ксилофон, истомное бренчание тропических струнных каденций, пока где-то там все танцуют по свободному от ковров полу, а старая сфера в стиле Палладио, раковина тысячи комнат, откликается резонансом, сдвигая такты среди стен и балок… смелая Мод, невероятно, заглатывает розовый хуй Павловца, насколько влезет, подбородок вертикально упёрт в ключицы, как у шпагоглотателя, всякий раз выпуская его с коротким придыхающим звуком настоящей леди, запах дорогого Шотландского подымается как распускающийся цветок, руки её стискивают спущенный зад его шерстяных брюк, вплетаясь, расплетаясь—всё происходит так быстро, что Пойнтсмен только лишь поколыхивается, помаргивает чуть охмелело, ты ж понимаешь, удивляется это приснилось ему или он обнаружил совершенную пропорцию, надо бы запомнить, сульфат амфетамина, 5 mg q 6 h, прошлой ночью, амобарбитал соды 0.2 Gm. перед сном, сегодня утром исключительные витаминные капсулы, унцию спирта, скажем, в час, поверх… сколько это выходит cc, наверное, о, Исусе, я кончаю. Точно кончаю? да... ну… а Моди, милая Мод, проглатывает, ни капли не пролила… улыбаясь тихонько, отдёрнувшись наконец, она возвращает размягчённого коршуна в его холостяцкое гнездо, но остаётся на коленях чуть дольше в окружающей кладовой этого мига, какой-то мотив Эрнесто Лекуона, наверное, его «Сибони» теперь доносится к ним по коридорам длинным как приморские аллеи, спиной к зелёному приливу, слизким камням укреплений, и пальмовым вечерам Кубы… викторианская поза, она щекой к его ноге, его рука в сетке выпуклых вен, касается её лица. Но никто их не видел, ни тогда ни вообще, и в последующую зиму, тут и там, её взгляд пересекался с его и она начинала пунцово краснеть, как её коленки, она придёт в его комнату рядом с лабораторией, раза два, наверное, но как-то у них не получится поиметь это снова, эти нежданные тропики в затаившемся дыхании войны и Английского декабря, этот момент совершенного мира...

Некому рассказать. Мод что-то наверняка знает, финансы ПРПУК проходят через её руки, ничего не упустит. Но он не может рассказать ей… или не всё, не в точности словами его надежды, которую он никогда, даже самому себе… она лежит впереди в темноте, определённая навыворот, от боязни, как все надежды, которые могут ещё рухнуть и перед ним останется всего лишь его смерть, эта тупая, пустая шутка в конце его Павловианского Продвижения.

Так что Томас Гвенхидви тоже чувствует перемену в глубинной структуре лица и походки его коллеги. Толстый, с преждевременно побелевшей бородой Санты Клауса, приятный, морщинистый лицедей, ежесекундно ведущий представление, старается говорить на двойном языке, провинциально комичного Валлийца и

алмазно-затверделых нищенских истин, настраивайся по своему выбору. У него невероятный певческий голос, в свободное время он гуляет вдоль проволочной сетки взлётной полосы дожидаясь самолётов покрупнее—потому что он любит репетировать басовую партия к «Диадем», когда Летающие Крепости взлетают полным ходом, но и тогда он слышит себя, заглушая бомбардировщики вибрирующей чистотой, до самого Сток Поджес, прикинь. Однажды леди написала в *Times* из Лутон Ху, Бердфордшир, спрашивая, что это за мужчина с таким превосходно глубоким голосом поёт «Диадем». Какая-то м-с Снейд. Гвенхидви любитель выпить, в основном спирт из зерна, щедро смешивая в больших странных рецептах безумца-учёного с бульоном, гранатом, сиропом от кашля, горькими каплями против отрыжки из синих колокольчиков, с корнями валериана, бородавочника и орхидей, со всем, что только подвернётся, честно говоря. Он воплощение жизнерадостного алкоголика воспетого в национальных балладах и легендах. Прямой потомок Валлийца в Генри V, что носится там предлагая всем подряд закусить его Луковицей. Однако, не из стационарных пьяниц. Пойнтсмен никогда не видел Гвенхидви сидящим или стоящим на месте—тот постоянно теребит *давай-давай пошевеливайтесь, бездельники* длинные ряды больных и умирающих лиц, и даже Пойнтсмен замечал грубую любовь в мелких жестах, переменах дыхания и голоса. Они чёрные, индейцы, Евреи-ашкенази говорящие на диалектах, которые он не слыхал на Харлей-Стрит: их бомбили, держали в холоде и голоде, в непригодных убежищах, и на их лицах, даже у детей, всегда проглядывает какая-то древняя сроднённость с болью и превратностями, что изумляет Пойнтсмена, более натасканного в перечнях изысканных симптомов и признаков Вест-Енда, из разряда рождённых через голову анорексий и запоров, на которые у Валлийца просто зла не хватает. В палатах у Гвенхидви лежат пациенты с пониженным метаболизмом, до -35, -40. Белые линии утолщаются на рентгеновских призраках костей, серые соскрёбы из-под языка расцветают под линзами его чешуйчато-чёрного микроскопа в облака Висентеских нашествий, маленькие мерзкие клыки вгрызаются, стараются изъязвить бедную витаминами ткань, откуда взяты на пробу. Совершенно иной домейн, понимаешь.

– Я не знаю, мэн—нет, совсем,– вскидывает толстую медленную руку из-под своей пелерины ежиного цвета, всё ещё в госпитале, когда они шагают через снегопад—у Пойнтсмена чёткое распределено, вот монахи, вот собор, вон солдаты и гарнизон—но не так просто для Гвенхидви, часть которого всё ещё остаётся позади, в заложниках. Улицы пусты, день Рождества, они топают вгору, в комнаты Гвенхидви в тихой пелене снега падающего на них и между ними и на провалы в стенах учреждения шагающих в каменном параллаксе вперёд в белую сумеречность.– Как они выдерживают. Беднота, чёрные. И Евреи! Уэльс, Уэльс давным-давно был Еврейским когда-то? уэй, уэй… одно из Затерянных Колен Израиля, колено чёрных, забрело туда столетия назад? О, баснословное путешествие. Пока не узрели Уэльс, понимаешь.

– Уэльс…

– Осели и превратились в Кимри. Что если мы все Евреи, понимаешь? Рассеяны все подобно семенам? Всё ещё в полёте разлетаясь из изначальной горсти в давние времена. Мэн, а я верю в это.

– Уж ты-то конечно, веришь, Гвенхидви .

– А что, нет? А ты как?

– Ну не знаю. Сегодня не чувствую себя Евреем.

– Я насчёт непрестанного полёта, а?– Он имеет в виду одиноким и навек отделённым: Пойнтсмен знает, что тот имеет в виду. Поэтому, ты ж посмотри, это как-то его трогает. Он ощущает сейчас Рождественский снег в складках своих ботинок, резкий холод пытается проникнуть. Коричневый шерстяной бок Гвенхидви движется с краю его обзора, клок цвета, зацепка против этого седеющего дня. В непрестанном полёте. В полёте… Гвенхидви, миллион точек льда спадают наискосок его неизмеримой для них пелерины, его уничтожение кажется таким невероятным, что сейчас, оттуда, где и таился, возвращается неизбывный дремотно бормочущий страх, Проклятие Книги, а тут вот кто-то, кого он хочет, честное слово, всем своим подлым сердцем, видеть в живых … хотя он слишком застенчив, или горд, чтобы хоть улыбнуться Гвенхидви не приплетая объяснительную речь, которая сведёт улыбку на нет...

Собаки с лаем убегают при их приближении. Им достаётся Взгляд Профессионала от Пойнтсмена. Гвенхидви мурлычет рождественский гимн. Во двор выходит дочь привратника Эстелла с малышом или двумя путающимися в ногах и рождественской бутылкой чего-то терпкого, но очень горячего в груди по ходу первой минуту после приёма. Запахи угольного дыма, мочи, мусора, вчерашней зажарки наполняют прихожие. Гвенхидви отпивает из бутылки, успевая донимать Эстеллу сноровистыми шлепками-щекотульками, да ещё затеял где-это-он-а-вот-он-где с Арчем, её младшеньким, вокруг широкой линии бедра его матери, который хочет его стукнуть, но он слишком увёртлив.

Гвенхидви дышит на газовый счётчик промёрзший насквозь, слишком тугой чтоб проскочила монета. Ужасная погода. Он обвивает его, проклинает, изгибаясь как любовник с экрана, полы его пелерины в складках—Гвенхидви, лучистый как солнце...

За окнами гостиной ряд голых тополей армейского цвета, канал, заснеженная спортплощадка, а за ней длинная зубчатая куча головешек, всё ещё дымятся от вчерашней V-бомбы. Рваный дымок сдвинут в сторону, клубится и гвоздится к земле падающим снегом.

– Это пока что самое ближнее,– Гвенхидви возле чайника, запах серной спички наполняет воздух. Минутой позже, всё ещё глядя на кольцо газа,– Пойнтсмен, хочешь скажу что-то реально паранойное?

– И ты туда же?

– Ты давно сверялся с картой Лондона? За всю эту метеоритную чуму V-оружия, они долбят сюда, понимаешь? Не по Уайтхоллу, куда надо бы, а на меня, и я считаю это изуверством?

– Чертовски непатриотичный разговор.

– О,– отхаркнув сплюнул в умывальный таз,– ты не хочешь поверить. Да и с чего бы? Порода с Харлей-Стрит, мой добрый Иисусе.

Это давнишняя игра с Гвенхидви, Королевским Доктором–подначки. Какой-то заблудивший ветер или термовпадина на небе доносит к ним глубокий гул хорала Американских бомбардировщиков: *Gymanfa Ganu* Смерти. Одиночный маневровый локомотив молча ползёт в паутине железнодорожных путей внизу.

– Они падают согласно распределению Поиссона,– говорит Пойнтсмен негромко, как будто с этим можно спорить.

– Несомненно, мэн, несомненно–отлично подмечено. Но они-то распределяются по вот этому ёбаному Ист-Енду, понимаешь?– Арч, или кто-то ещё, нарисовал коричневого, оранжевого и синего Гвенхидви с сумкой доктора на плоской линии горизонта с зелёными трубами. Сумка полна бутылок джина, Гвенхидви улыбается, синичка выглядывает из гнезда в его бороде, а небо синее и солнце жёлтое,– а ты никогда не задумался почему? Вот тебе Город Параноик. Все эти долгие столетия разрастался по сельской местности, а? как разумное существо. Актёр, фантастический мим, Пойнтсмен! Подделывается под все правильные силы, а? эко-номические, демо-графические? о да, теперь ещё и слу-чайные, видишь ли?

– Что значит «видишь ли»? Я не вижу.– В окне, подсвеченном белым полднем, лица Пойнтсмена не видно, кроме крохотного яркого полумесяца в каждом из его глаз. Что ему, искать себя в окне наощупь? Может, мохнатый Валлиец совсем слетел с катушек?

– Ты их не видишь,– узорочье пара начинает вырываться через испятнанную сталь клюва лебедя,– чёрных и Евреев, в их тьме. Ты не умеешь. Ты не слышишь их молчания. Ты слишком привык к беседам и свету.

– Ну к лаю это точно.

– Через мой госпиталь не проходит никто кроме несчастных, видишь ли.– Уставился с застывшей улыбкой алкаша-придурка.– Что я могу излечить? Я могу лишь выписывать их, из госпиталя. Обратно в это? Здесь тоже вполне могла быть Европа, с бит-вами, дребез-гами и вытаскивать их до мини-мального уровня, чтобы бойня продолжась?

– Так ты не знал, что идёт война?– За это Пойнтсмен, вместе с чашкой чая, получает порцию жуткой хмурости. Вообще-то, тупым недопониманием он надеется отвлечь Гвенхидви от продолжения темы про тот его Город Параноик.

Пойнтсмену предпочтительней разговор о жертвах ракетной бомбардировки поступивших сегодня в госпиталь. Но это экзорцизм, мэн, пение поэта отпугнуть тишину, отваживание белых всадников, и Гвенхидви знает лучше, чем может знать Пойнтсмен, что это часть течения дня: сидеть в этой подлой комнате и выкрикивать в такую вот глухоту: что мистер Пойнтсмен может лишь изображать самого себя же—стильного, раздражённого, непонимающего...

– В некоторых городах богатые живут на возвышенности, а бедные ютятся в низине. В других, богатые занимают прибрежную линию, а бедные оттиснуты глубже на сушу. Ну а Лондон отличает градиент зловредности, а? Разрастается по мере приближения реки к морю. Я просто спра-шиваю, почему? Это из-за судо-ходства? Из-за образа землепользования, особенно с началом Индустриального Века? Или это случай древнего племенного табу, блюдимого всеми Английскими поколениями? Нет. Истинная причина в Угрозе с Востока, видишь ли. И с Юга: от массива Ев-ропы, разумеется. Людям этой его части предназначается гибнуть первыми. Мы заменимы, а те, в Вест-Енде и к северу от реки, нет. О, я не хочу сказать, будто Угроза выражалась каким-либо образом. Политически, нет. Если Городу Параноику что-то приснится, нам про то неведомо. Может Го-роду приснился вра-жеский город, плывёт через море вор-ваться в устье… возможно нахлынут волны тьмы… волны огня... или прикошмарилось, как его заглатывает обратно бескрайне мол-чаливый Материнский Континент? Это не моя парафия, городские сны… Но, что если Го-род это растущий нео-плазм, столетиями, непрестанно меняющийся, противостоять изменчивой форме своих наихудших, тай-ных страхов? Обшарпанные пешки, обесчещенная коро-лева, испуганный конь, мы все обречены, безысходно пропали, брошены тут, подставлены, в ожидании. Предвиделось, не отрицай—предвиделось, Пойнтсмен! Что фронт в Ев-ропе однажды сложится таким вот образом, а? что отодвинется к востоку, сделает ракеты необходимостью, известно как и где они будут падать с недолётом. Спросишь своего друга Мехико? Проверишь плотность по его карте? восток, восток и к югу от реки тоже, где проживают все блохи, вот кому влетит по пол-ной, мой друг.

– Ты прав, Гвенхидви,– рассудительно прихлёбывает чай,– это весьма паранойно.

– Это правда.– Он достаёт праздничную бутылку Бочки-69 и берёт наизготовку разлить для их тоста.

– За младенцев!– ухмыляется, чокнутый на всю голову.

– Младенцев, Гвенхидви ?

– А может я составлял свою личную карту? Отмечал данные родильных палат? младенцы родившиеся во время Блица тоже следуют распределению Поиссона, видишь ли.

– Тогда за странность всего этого. Несчастные сволочата.

Позже, ближе к темноте, отряд громадных тараканов, весьма тёмно-красно-коричневых, выдвигается словно эльфы из деревянной облицовки в направлении кладовки, беременные жучихи также, с прозрачными новорожденными, тащатся следом как сопровождение морских конвоев. Ночью, в очень поздние затишья между гулом бомбовозов, лаем зениток и попаданиями ракет, их можно услыхать, шумны как мыши, прогрызают бумажные пакеты Гвенхидви, оставляя полосы и печати говна такого же цвета, как и сами. Их явно не очень-то тянет на мягкое, фрукты, овощи и типа того, предпочитают твёрдую чечевицу и бобы, чтоб было что пожевать, бумагу, штукатурные преграды, прогрызать твёрдые интерфейсы, потому что они поборники единения, видишь ли. Рождественские жуки. Они сидели глубоко в соломе яслей в Вифлееме, они копошились, взбирались, сваливались, блестяще красные среди золотистых прядей соломы, что им должно быть казалась длящейся на мили и мили вверх и вниз—съедобный мир-жилище, время от времени прогрызаешься насквозь, чтоб нарушить какой-то тайный сноп векторов и вот соседние жуки закувыркались мимо вниз, зад-усики-зад-усики, пока ты всеми ножками вцепляешься в протяжное дрожание золотистых стеблей. Безмятежный мир: температура и влажность держатся почти постоянными, дневной цикл приглушён до мягкого лёгкого колебания света, от золотого, к цвету старого золота, к теням, и опять сначала. Плач младенца достиг тебя, наверное, как вспышки энергии на необозримом расстоянии, почти неощутимой, часто не замечаемой. Спаситель твой, ты ж понимаешь...

* * * * * * *

В аквариуме две рыбки застыли, изображая знак Рыб, голова к хвосту, и совсем не движутся. Пенелопа сидит, уставившись в их мир. Там есть маленький затонувший галеон, фарфоровый ныряльщик с аквалангом, красивые камни и ракушки, которые она и сёстры привозили с моря.

Тётя Джессика и дядя Роджер на кухне, целуются и обнимаются. Элизабет дразнит Клэр в прихожей. Их мама в туалете. Кошка Сути спит на кресле, чёрная туча переменяется в разное всякое, которое как раз сейчас похоже на кошку. Это первый день после Рождества. Последняя бомба-ракета была час назад, где-то к югу. Клэр получила роскошную куклу, Пенелопе достался свитер, в подарок Элизабет платье, которое перейдёт Пенелопе.

Пантомима, куда дядя Роджер водил их всех сегодня днём, называлась Гансель и Гретель. Клэр сразу же спустилась под стулья, где другие уже передвигались тайными тропами, иногда мелькнёт косичка или белый воротничок между высокими внимательными дядями в военной форме или под спинками сидений с навешенными шинелями. На сцене Гансель, который должен быть мальчиком, а на самом деле высокая девушка в штанишках, грустила в клетке. Смешная старая Ведьма кричала до упаду и карабкалась на декорации. Красивая Гретель выжидала возле Печи удобный момент...

Потом Немцы сбросили ракету на ту же улицу, где и театр. Некоторые малыши начали плакать. Они испугались. Гретель, которая как раз вертела свою метлу, чтобы ударить Ведьму прямо в зад, остановилась: опустила метлу, в сгустившейся тишине шагнула к лампам на полу сцены и запела:

Пусть ничего вас не тревожит,

Тогда заметите, быть может

Что-то, что вам не приметно пока—

Большое, злючее, колючее

готово вцепиться вам в бока

О, садовнику сегодня радуга нужна,

Дворник свой галстук нагладил, повязал.

Каждый идёт и песенку поёт

Вместе с круглым лицом в небесах. Ах!

Прекрасный в небе дом из полиэтилена

Из платины ты кегли держишь в руках—

И мать твоя толстенный тесто-пулемёт

А папа просто молодец, ну прям пипец!

(Шёпотом и стакатто):

О, управляющий посасывает трубку,

Банкиры пожирают своих жён,

Весь пустился в пляс и под оркестры ходит ходуном   вверх дном,

Обшарь своих карманы и получи сюрприз —

Карманы выверни сюр-приз свой получи:

В них абсо-лютно ни души, в них пусто очень!

Погасли лампы над ступеньками в ночи,

Сезон для ламп прошёл и бал окончен…

А где-то на пляже шёпот пальм и морская природа,

Спасатель не у-стаёт вздыхать,

И голоса—это Парень и Девушка Года,

Пора вам молодые научится умирать...

Кресло отца Пенелопы в углу, возле стола с лампой. Ей видна ажурная шаль на спинке, множество узелков серых, кирпичного, чёрных, коричневых, с необыкновенной ясностью. В узоре, или перед ним что-то шевельнулось: поначалу не более, чем дрожание, как будто от источника тепла перед пустым креслом.

– Нет,– шепчет она громко.– Я не хочу. Ты не он. Я не знаю кто ты, но ты не мой отец. Уходи.

Его подлокотники и ножки напряжённо молчат. Она всматривается.

Я только хочу навестить тебя.

– Ты хочешь сделать меня одержимой.

Демонические одержимости не новость в этом доме. Это вправду Кайт, её отец? его не стало, когда она была вдвое моложе, чем сейчас, и вот вернулся не человеком, которого она знала, но лишь как скорлупа—с мягким мяском слизня души, та улыбается и любит, и чувствует свою смертность, либо выгнившую, либо отодранную шестерёнками смерти-при-исполнении-долга—процесс, в котором живые души не по своей воле становятся демонами, которые в ведущей традиции Западной магии носят имя Клипотов, Скорлупы Мёртвых...То же самое нынешнее устройство мира делает с приличными мужчинами и женщинами целиком ещё по эту сторону могилы. Ни в одном из помянутых случаев нет ни достоинства, ни жалости. Матерям и отцам предоставляют условия для предумышленной смерти каким-нибудь из более предпочтительных способов: довести себя до рака или сердечного приступа, попасть в автокатастрофу, пойти на Войну и погибнуть—бросив своих детей посреди лесу одних. Тебя будут твердить, будто отец «отошёл» или «прибран», но отцы только бросают—вот как оно на самом деле. Все отцы друг друга выгораживают, вот и всё. Может даже и лучше присутствие этого, что натирает комнату до стеклянной сухости, заскальзывая в кресло и оттуда, чем такого отца, который ещё не умер, человека, которого любишь, а приходится видеть как оно происходит...

На кухне, вода в чайнике бьётся, пищит и вот-вот закипит, а снаружи дует ветер. Где-то, на другой улице, сорван лист шифера крыши, падает. Роджер сжал холодные кисти Джессики, чтобы согреть их у себя на груди, притиснул, чувствует их, ледяные, сквозь свитер с рубашкой. Но она стоит отстранённо, дрожит. Он хочет согреть её всю, не только смешные ладошки, хочет вне пределов разумной надежды. Сердце его колотится как вскипающий чайник.

Уже мало-помалу доходит: до чего запросто может она уйти. Впервые осознал отчего это то же, что расстаться с жизнью, и почему тянет расплакаться, когда она уходит. Он научился распознавать моменты, когда её ничто уже не удержит, кроме его тощих рук на 20 отжиманий... Если она уйдёт, то без разницы станет куда падают ракеты. Но совпадения карт девушек и ракетных ударов немо проникли в него, молчаливые как лёд и молекулы Квислинга, сыпанули сквозь

решето заморозить его. Если бы он мог чаще бывать с нею… пусть бы это случилось, когда они вместе—в когда-то это прозвучало бы романтично, просто в культуре смерти определённые ситуации излюбленная тема—но они так часто не вместе...

Если её не отнимут ракеты, всё равно остаётся её Лейтенант. Чёртов Бобёр/Джереми, он-то и есть Война, воплощение любого и каждого из утверждений когда-либо выдвинутых ёбаной Войной—что наше предназначение в работе и службе правительству, в бережливой экономности: и что это всё должно стать превыше любви, мечты, духа, чувств и прочей неважной ерунды, что может взбрести на ум в часы безделья и бездумного бодрствования... Да пошли они со своей трепотнёй. Они безумны. Джереми заберёт её словно сам Ангел в своё безрадостное выдро-сословное прозябание, а Роджер будет забыт, забавный маньяк, но неуместный в рационализированном ритуале власти, которым обернётся близящийся мир. Она станет подчиняться приказам своего мужа, превратится в домашнюю управляющую, младшего партнёра, и будет вспоминать Роджера, если вообще будет, как ошибку, которую, слава Богу, она не совершила... О, он чувствует как накатывает вал неистового бушевания—как чёрт побери выжить ему без неё? Она утепляющие Британские прослойки на его сутулых плечах, и зазимовавший воробей, которого он держит в своих ладонях. Она его глубочайшая невинность в пространствах сена и кущей из времён до подразделения желаний отдельными наименованиями как предосторожность на случай, что могут ведь и не сбыться, а она его гибкая парижская дочка радости, пред вечным зеркалом, с изменчивым ароматом, в декольте от подмышек, которая запросто может пойти на это: обездолить его ради более стоящей любви.

Ты бродишь во мне из одного сна в другой. Достигла самого мусорного из моих уголков и там, в отбросах, обнаружила жизнь. Мне уж не разобрать какое среди всех слов, образов, снов или духов «твоё» а какое «моё». Поздно сортировать. Мы теперь оба кто-то новый, кого не было прежде...

Его подвиг веры. На улице ребятня распевает:

Слышишь, ангелы сходят с небес, трубя:

М-с Симпсон украла нашего Короля…

На каминной доске сын Сути, Ким, страшно толстый косоглазый сиамец, затаился, чтоб отчебучить свою самую теперь излюбленную забаву. Больше жратвы, сна или ебли, ему нравится запрыгнуть или свалиться на свою мать и держаться там, ухохатываясь, пока она с воплями бегает по комнате. Нэнси, сестра Джессики выходит из уборной прекратить то, что уже переходит в полномасштабную ссору между Элизабет и Клэр. Джессика делает шаг назад от Роджера, чтобы высморкаться.

Звук знаком ему как пение птички, ип-ип-ип-ип НГАННГГ, и платочек прячется… –«О, суббер дуббер»,– говорит она,–«бахоже я батхватила простуду».

Ты подхватила Войну. Она заразная, мы с тобой не знаем как уберечься. О, Джес. Джессика. Не покидай меня...

* * * * * * *

2

Un Perm' au Казино Герман Геринг

Тебе достанется самый высокий, самый темноволосый ведущий актёр Голливуда.

Мериан С. Купер сказал Фэй Рэй

* * * * * * *

Улицы этого утра уже цокают, поближе, подальше, под ногами гражданских на деревянных подошвах. Выше по ветру стая чаек. Скользят легко, бок о бок, крылья раскинуты неподвижно, когда-никогда слегка пожмёт плечом, чтоб разместиться выше в этом раскладе-сборе белой замедленной растасовки карт в фараоне под невидимыми пальцами... Вчерашний первый взгляд, подъезжая днём по эспланаде, наткнулся на суровый приём: море в оттенках серого под серыми тучами, Казино Герман Геринг обесцвечено белым, чёрная зубчатая бахрома пальм слегка отмахивалась... Но в это утро деревья снова зелены под солнцем. Налево, вдалеке, древний акведук заворачивает, обваливаясь, иссохше-жёлтый, вдоль отрогов *Козырька*, дома и виллы испеклись там до тёпло-ржавого, мягкая коррозия через все цвета Земли, от бледно сырой до глубоко прожаренной.

Солнце, не слишком, пока что, высокое ухватывает ту или иную птицу за оперенье её крыльев, превращает кончики их в сверкающие ноготки срезанного льда. Слотроп выстукивает зубами к птицам столпившимся в вышине, охвачен дрожью тут внизу, на своём мини-балкончике, тепло от электро-камина в глубине комнаты, едва дотрагивается тыла его ног. Ему отвели комнату высоко в белом, обращённом к морю фасаде, на одного. Тантиви Макер-Мафик с его приятелем Теди Блотом в одной на двоих, дальше по коридору. Он втягивает ладони внутрь рубчатых манжет свитера, скрестив руки, наблюдает изумительное заморское утро, внося в него призраки своего дыхания, ощущая первое тепло солнца, позыв к первой сигарете—и, совсем уж ненормально, всё ещё дожидаясь грохота первой ракеты, которая положит начало дню. Зная всё это время, что он в сторонке от великой войны отодвинутой к северу и что взрывом тут может быть лишь хлопок пробки шампанского, мотора шикарного Испано-Свиза, любовного шлепка, будем

надеяться... Вдали от Лондона? Никакого Блица? Сможет ли он свыкнуться с этим? Ну конечно, как раз к моменту, когда пора будет возвращаться назад.

– Так он уже проснулся.– Блот, в пижонистом костюме в тончайшую полоску, украдкой проник в комнату, покусывает чубук дымящей трубки, Тантиви следом в униформе.– Торчит у щёлки, прочёсывает пляж насчёт незанятой мамзели или двух, могу поспорить…

– Не мог заснуть,– Слотроп, зевая, возвращается в комнату. Залитые солнцем птицы парят позади него.

– Мы тоже,– откликается Тантиви,– Годы уйдут, пока привыкнешь.

– Боже,– Блот не скупится на показной энтузиазм в это утро, театрально указывая на огромную постель, потом туда же рухнул и принялся покачиваться вовсю,– За тебя точняк замолвлено словечко, Слотроп. Роскошь! А нам-то дали какую-то заброшенную кладовку, прикинь.

– Эй, чё ты тут гонишь?– Слотроп рыщет вокруг в поисках сигарет.– Я типа Ван Джонсона что ли?

– Только там, что касается,– Тантиви с балкона бросает свою зелёную пачку Кревенс,– девушек, понимаешь—

– Англичане довольно сдержаны,– поясняет Блот, учащая качку для выразительности.

– О, маньяки возбудились,– бормочет Слотроп направляясь в свой личный туалет,– ворвались, в натуре банда сдвинутых... – Стоит довольный, ссыт без рук, закуривает, но малость мозгует насчёт этого Блота. Типа как давний приятель Тантиви. Спичка щелчком послана в унитаз, краткий пшик: но со Слотропом держит он себя как-то, свысока что ли? может из-за нервов…

– Так вы, парни, раскатали губу, что я устрою вам знакомства,– орёт он, покрывая шум спуска воды в туалете,– а мне всегда казалось, стоит из вас кому-то пересечь Пролив и он уже заправский Валентино.

– Мне говорили, будто до войны была такая как бы традиция,– Тантиви с печалью прислоняется к двери,– но Блот и я из Нового Поколения, нам приходится полагаться на образованного Янки…

И тут Блот выскакивает из постели в попытке пояснить это Слотропу песней:

Англичанин застенчив очень (*фокс-трот*)

Англичанин застенчив очень, повторю вам снова,

Это вам не Ка-за-но-ва,

А там где дам надо раскрутить,

Американцы впереди—

(Тантиви): — У Англичанина нет той

Удали заатлантической,

Что дамам кажется столь романтической,

И притягательной такой…

(Блот): Многостаночник Янки с толпой своих подружек

Не сможет смягчить лёд Британских лиц,

(Тантиви): Но он втайне их восхищает,

Как вроде эро-тич-ный Клаузевиц...

(Вместе): А если б кто-то смог в себе объединить

Американскую постельную техничность

И внешности Английской симпатичность,

Ему б красотки все достались, в любое время дня и ночи

Хотя мы знаем, что Англичанин застенчив очень.

– Ну тогда вы обратились по адресу,– кивает Слотроп, соглашаясь.– Только не ждите, чтоб я ещё и вставлял за вас.

– Исключительно в целях предварительного съёма,– заверяет Блот.

– *Moi*,– орёт тем временем Тантиви вниз с балкона,–*Moi* Тантиви, понимаете, Тантиви.

– Тантиви,– откликается неразборчивый девичий хор снизу.

– *J'ai deux amis, aussi*, по странному совпадению. *Par un bizarre* совпадение, или как оно по-Французски, *oui*?

Слотроп, приступивший было к бритью, выступает со всклоченной пеной на помазке затиснутом в кулак и врезается в Блота, который бросился взглянуть вниз поверх левого эполета своего соотечественника на троицу миленьких девичьих лиц, задранных кверху, в соломенных нимбах громадных панам, улыбки у всех ослепительны, глаза загадочны, как море за их спинами.

– Скажем, примерно в *où*,– спрашивает Блот,–*où*, хорошо, *dé jeuner?*

– Рад, что я пригодился,– бормочет Слотроп, намыливая Тантиви между лопаток.

– Так идёмте с нами,– зовут девушки поверх шума волн, две из них удерживают большущую плетёную корзину, а в ней зелёный лоск стройных бутылок вина и

батоны с хрусткой корочкой под белой тряпицей, всё ещё источающие лёгкий парок, что всплывает, словно пёрышки, от каштановой глазури и из более бледных расселин-трещинок,– пошли—*sur la plage* . . .

– Я просто,– Блот уже наполовину за дверью,– поддержу им компанию пока вы…

– *Sur la plage*,– Тантиви чуть замечтавшись моргает к солнцу, улыбается, что их желания доброго утра сбылись,– о, это звучит как живопись. Что-то из Импрессионистов. Фавистов. Искрится светом.

Слотроп похаживает, стирая крем со своих с ладоней. Запах в комнате на миг переносит в Беркширские субботы—флакончики сливового и янтарного тоников, облепленная мухами бумажка поворачивает бока под волну от вентилятора над головой, щипки боли от тупых ножниц... Выдираясь из своего свитера, затягивается зажатой во рту сигаретой, дым валит из вскинутых боковин словно от вулкана: «Эй, можно тебя расколоть на одну из твоих—»

– Ты уже забрал всю пачку,– вскрикивает Тантиви,— Боже милостивый, а *это* что такое?

– Ты о чём?– На лице Слотропа ничего кроме невинности, пока он впихивает и начинает застёгивать помянутый объект.

– Ты конечно, прикалываешься. Там дожидаются юные дамы, Слотроп, одень что-нибудь цивилизованное, будь умницей—

– Всё путём,– Слотроп, минуя зеркало, взбивает волосы во всегдашний спортивный помпадур Бинга Кросби.

– Ты же не хочешь, чтоб нас увидели с—

– Это мой брат Хоган прислал,– оповещает его Слотроп,– аж с Тихого океана. Видал на спине? под парнями в том каноэ, влево от цветущих Китайских роз, там же грица СУВЕНИР ИЗ ГОНОЛУЛУ? Это реальная вещь, Макер-Мафик, не какая-то там дешёвая подделка.

– Боже правый,– стонет Тантиви, удручённо волоча его из комнаты, жмуря глаза от рубахи, что слегка мерцает в полумраке коридора.– Ну хотя бы заправь её и одень что-то сверху. Вот, я даже одолжу тебе этот фирменный китель... Громадная жертва: это китель из заведения на Севил-Роу, чьи примерочные в натуре украшены портретами досточтимых овечек—какие-то возвышенно позируют на скалах, другие в задумчивости, на мягком ближнем плане—с которых изначальная, осеребрённая туманом, состригалась шерсть.

– Ткань наверняка из колючей проволоки,– делится мнением Слотроп,– какой девушке охота прижиматься к чему-то такому.

– Ну а какая женщина в здравом уме захочет быть в радиусе десяти миль от этой — этой жуткой рубахи, а?

– Погоди!– Слотроп достаёт откуда-то броский жёлто-зелёно-оранжевый красочный платок и под стоны ужаса Тантиви пристраивает его в кармане друга, чтоб тот вытарчивал тремя уголками.– Вот так!– Сияет,– теперь, как говорится, *полный блеск.*

Они возникают в потоках солнечного света. Чайки встречают их криком, прикид Слотропа переливается персональной радужной жизнью. Тантиви накрепко жмурит глаза. Когда он их открывает, девушки уже облипли Слотропа, поглаживают его рубаху, пощипывают уголки её воротника, воркуют на Французском.

– Ну конечно.– Тантиви подымает корзину,– ещё бы.

Эти девушки танцовщицы. Управляющий в Казино Герман Геринг, некто Сезар Флеботомо, привёз целую шеренгу хористок, как только прибыли освободители, хотя ещё не нашёл времени сменить название заведения времён оккупации. Похоже, до этого тут никому и дела нет, симпатичная мозаика из мелких отборных морских ракушек, тысячи их вмурованы в штукатурку, пурпурные, коричневые, розовые, взамен огромадного куска крыши (старая черепица всё ещё сложена штабелем возле Казино), создавалась два года назад в виде курортной терапии отпускниками эскадрильи Мессершмиттов, немецким шрифтом достаточно громадным, чтоб различаться с неба, как и было задумано. Солнце всё ещё слишком низко, чтобы зажечь слова, просто выделяет их из основного фона, и они придавлено висят, утратившие всякое отношение к работягам, к боли в их ладонях от водянок чернеющих на солнце инфекцией и запекшейся кровью—и только лишь отступают, уменьшаясь, пока компания спускается мимо простыней и наволочек отеля, разостланных сохнуть на склоне пляжа, мелкие морщинки очерчиваются голубым, который растает с подъёмом солнца к зениту, шесть пар ног пошевеливают никогда не сгребавшийся мусор, где и старая игральная фишка, наполовину выбеленная солнцем, и прозрачные кости чаек, и изношенная майка, сделано для Вермахта, разодранная, в пятнах солидола...

Они продвигаются вдоль пляжа, чудо-рубаха Слотропа, платочек Тантиви, платья девушек, зелёные бутылки пританцовывают, все говорят разом, лингва франка меж-парней-и-девушек, девушки много о чём сообщают друг дружке, поглядывая искоса на свой эскорт. Тут неплохо бы подпустить малость, хе-хе, ранней паранойи типа выбери меня, чтоб легче снести то, что уж точняк стрясётся в этот день. Ан, нет. Слишком уж утро хорошее для всякого такого. Тихие волны набегают, разбиваясь и пузырясь типа крема на торте, вдоль вогнутой полосы тёмной гальки, а там впереди пенятся между чёрных скал, что выступают вдоль Козырька. В открытом море мигает двойня крохотных парусов, растворяясь в дали и в солнце, курсом к Антибам, постепенная смена галсов, хрупкой скорлупкой среди невысокой зыби, чей напор и резкий шелест под острым носом Слотропу чувствуется этим утром, вспомнились довоенные Кометы и Хэмптоны, за

которыми следил с пляжа на Мысе Код среди запахов побережья, усыхающей морской травы, масла для жарки остатков лета, ощущая песок на сгоревшей под солнцем коже, остро колкую траву дюн под босыми ступнями... Ближе к берегу продвигается *pedalo* полный солдат с девушками—они свешиваются, плещут, валяются в бело-зелёных полосатых шезлонгах на корме. Вдоль края воды ребятня преследуют с криками и с хохотом малышей защекотанных до хрипоты безвозвратно. Вверху, на прогулочной эспланаде, пожилая пара сидят на лавочке, синий и белый, и кремовый цвет зонта от солнца, утренняя привычка, заякориться в день...

Они подходят к первым скалам и там находят бухточку скрытую от остального пляжа и от громоздкого Казино. На завтрак вино, хлеб, улыбки, солнце преломляющееся в тончайшей сетке длинных волос танцовщиц, встряхиваемых, поправляемых, ни секунды в покое, сверканье фиолетового, чалого, шафранного, изумрудного... На минуту можешь предоставить мир ему самому, утверждающие формы распались, тепло внутри хлеба дожидается между кончиков твоих пальцев, изысканное вино долгим лёгким потоком струится вниз вокруг корня языка...

Блот перебил своим: «Эй, Слотроп, и эта тоже твоя подружка?»

Хм? о чём тут… она, что? Вот Блот сидит, самодовольный, тычет пальцем на скалы и бухточку рядом...

– Она строит тебе глазки, старик.

Ну… должно быть, вышла из моря. На таком расстоянии, метров за 20, она лишь неясная фигура в чёрном платье из бомбазина ей до колен, длинные голые ноги стройны, короткий капюшон ярких волос блондинки прячет лицо в тени, прядки закрутились кверху трогать её щёки. Она смотрит на Слотропа, это верно. Он улыбается типа как помахал. Она продолжает стоять, бриз плещется в её рукавах. Он оборачивается назад вытащить пробку из бутылки вина и её «плоп» сливается с визгом одной из танцовщиц. Тантиви уже почти на ногах, Блот пялиться в сторону девушки, балеринки в стоп-кадре защитных рефлексов, волосы вразлёт, платья перекошены, ляжки напоказ—

Блядь святая, это там *вылазит*—осьминог? Да причём наигромаднейший ёбаный осьминог из всех, каких Слотроп видел вне кинозалов, что только что вырос из воды, Джексон, и всплюхнулся до середины одной из чёрных глыбин. И тут, нацелив злобный глаз на девушку, он вскидывает длинное усаженное присосками щупальце, обвивает вокруг её шеи, пока все замерли глазея, другое захлестнул вокруг талии и начинает тащить её, упирающуюся, под воду.

Слотроп несётся, с бутылкой в руке, мимо Тантиви, который исполняет нерешительную чечётку, прихлопывая руками по карманам парадной формы в поисках оружия, которого там нет, чем ближе он подбегает, тем больше видно осьминога и ух-ты! ну и *здоровила*, охренеть—тормознул вплотную, одной ногой в

воде, и принялся херячить осьминога винной бутылкой по голове. Крабы-отшельники отскользнули, в смертельной схватке возле его ноги. Девушка, уже по пояс в воде, пытается закричать, но щупальце, подвижное и леденящее, едва оставляет ей возможность вдоха. Она протягивает руку, детскую руку из хрупких косточек с мужским стальным опознавательным браслетом на запястье и вцепляется в Гавайскую рубаху Слотропа, пытаясь ухватить покрепче, и кто бы подумал, что напоследок ей привидятся вульгарные лица красоток в хула, мужики с укулеле, сёрфингисты, и всё в расцветке из книжки комиксов… о Боже пожалуйста Боже, бутылка трахает вновь и вновь по мокрой плоти осьминога, но хули толку, осьминог зырит на Слотропа, победно, пока тот, бок о бок с неотвратимой смертью, не в силах оторвать свой взгляд от её руки, от ткани взборождённой по касательным к её ужасу, от пуговицы на последней, туго натянутой ниточке—он видит имя на браслете, вцарапанные серебряные буквы все видны, но некогда сложить пред слизистым серым захватом, который нарастает, наливается силой необоримой для них обоих вместе, стискивает руку несчастной, жестокий рывок отделяет от Земли—

– Слотроп!– Это Блот метра за три, предлагает ему здоровенного краба.

– Какого хуя?– Может, если разбить бутылку о камень и садануть паскуду промеж глаз—

– Он голодный, он бросится за крабом. Не убивай его, Слотроп. Лови, Бога ради…– и тот летит, крутясь, по воздуху, ноги выставлены центробежно врозь: засомневавшийся Слотроп роняет бутылку за миг до шлепка краба в его другую ладонь. Чёткий перехват. Сразу же, через её пальцы и свою рубаху, он ощущает реакцию на пищу.

– Окей!– Вихляясь, Слотроп помахивает крабом перед осьминожьей рожей.– Пора перекусить, парниша.– Надвигается ещё одно щупальце. Волнистая слякоть касается его запястья. Слотроп отбрасывает краба на пару метров дальше по пляжу, нет ну ты ж погляди, осьминог тут же двинул следом, волоча следом девушку и Слотропа впридачу, вперевалку, но недалеко, потом отпускает помеху. Слотроп шустренько вновь подхватил краба, побалтывает им в поле зрения осьминога и начинает оттанцовывать зверюгу прочь, вдоль пляжа, слюни скатываются по его клюву, глаза прикипели к членистоногому.

При всей краткости их знакомства, у Слотропа сложилось впечатление, что данный осьминог не совсем психически здоров, однако на каком основании? Но случается же некий сумасшедший всплеск энергии, как с неодушевлёнными предметами, когда те грохаются со столов, а мы улавливаем шум и свою собственную неуклюжесть и не хотим, чтоб грохнулись типа резкого бзденц! ха-ха, слыхал? вот опять БЗДЕНЦ! в каждом из движений осьминога, от которого Слотроп рад наконец-то отделаться, метнув краба, словно дискобол, изо всех сил, в море, а чудище тут же—плюх!—вдогонку побулькало следом и вскоре пропало.

Ослабшая девушка лежит на пляже, вдыхая крупными глотками воздух, уже в окружении остальных. Одна из танцовщиц удерживает её в своих объятиях и говорит, с Французским прононсом в «r-r», на языке, который Слотропу, на подходе, как-то не удаётся распознать.

Тантиви встречает улыбкой и кратким взмахом руки в символической салюте.–«Отличное шоу!» – орёт Теди Блот,– «но я б не хотел попробовать сам».

– Почему нет? При тебе ж был тот краб. Постооой—откуда он у тебя?

– Нашёл,– отвечает Блот, твердея лицом. Слотроп всматривается в эту пташку, но никак не может уловить его глаз. Что за хуйня тут творится?

– Я лучше глотну этого вина,– решает Слотроп. Он пьёт из бутылки. Воздух взымается вверх перекошенными сферами внутри зелёного стекла. Девушка смотрит на него. Он останавливается, чтобы перевести дух и улыбается.

– Спасибо, Лейтенант,– ни малейшей дрожи в голосе, а акцент Тевтонский. Теперь он может рассмотреть её лицо, мягкий нос лани, глаза под светлыми ресницами полны горькой зелени. Один из тех тонкогубых Европейских ртов: «Я совсем уж было задохнулась».

– Э..э—вы не Немка.

Отрицательно встряхивает головой: «Голландка».

– И вы тут оказались—

Её глаза отведены, тянется взять бутылку из его рук. Она смотрит в море вслед осьминогу:– «У них такое зрение, правда? Он разглядел меня. Меня. Я ведь не краб».

– По-моему, нисколько. Вы молодая женщина, великолепно смотритесь.– На заднем плане, Блот восторженно толкает локтем Тантиви. За-атлантический съём. Слотроп берёт её запястье, теперь запросто читает этот опознавательный браслет. Там грица КАТЬЕ БОРГЕЗИУС. Он ощущает удары её пульса. Она знает его откуда-то? странно. Смесь узнавания и беспричинного притворства в её лице…

И вот тут, в пляжной компании с незнакомцами, начинает полязгивать в каждом слове твёрдо-острый прищёлк металла, а свет, хотя по-прежнему такой же яркий, уже не изливает ясности… это Пуританский рефлекс выискивать иные расклады под покровом видимого, известный также, как паранойя, закрадывается потихоньку. Бледные силовые линии гудят в морском воздухе… договорённости скреплённые клятвами в комнатах взорванных затем до состояния их рабочих чертежей, не просто по случайности войны, приходят на ум. О, тот краб не «подвернулся», Асс—ни осьминог не приблудный, ни девушка, не-а. Структура с

деталями явится позже, но махинацию, закрученную вокруг него сейчас, он чувствует секундально, своим сердцем.

Все они ещё малость побыли на пляже, доканчивая завтрак. Но бесхитростный день, птицы и солнце, девушки и вино, от Слотропа схлынули. Тантиви пьянеет, становится раскованнее и забавней, когда опустели бутылки. Он застолбил не только девушку, на которую положил глаз вначале, но также и ту, к которой, в этот момент, стопудово клеил бы Слотроп, не подвернись тот осьминог. Он реликвия из невинного, до-осьминожьего прошлого Слотропа. Тогда как Блот, наоборот, сидит трезвый как стёклышко, усы приглажены, по уставной форме, не спускает со Слотропа глаз. Его подружка Ислейн, маленькая и гибкая, ноги девушки с картинок, длинные волосы зачёсаны назад за уши, спадают вниз за спину, пошевеливает свой кругленький зад по песку, выписывая пометки на полях вокруг текста Блота. Слотроп, который уверен, что у женщин, как у Марсиан, имеются антенны каких нет у мужчин, посматривает на неё. Она взглянула в ответ только раз и её глаза расширились скрытой тайной. Он готов поклясться, ей что-то известно. На обратном пути в Казино, помахивая тарой в корзине с осколками утра, он улучил момент перекинуться словом с нею.

– Ничего себе пикничок, нессе-па?

Ямочки появляются возле её рта: «Ты всё время знал про осьминога? Мне так показалось, уж до того смахивало на танец—все вы».

– Нет, честно, не знал. И по-твоему, это как бы прикол такой, что ли?

– Малыш Тайрон,– она шепчет вдруг, расплываясь в большой поддельной улыбке для отвода глаз остальным. Малыш? Он вдвое выше неё: «Пожалуйста—будь осторожен...» Вот и всё. С другой стороны, у него Катье, два чертёнка, в противовесе, по одной с каждой стороны. Теперь пляж пуст, за исключением полусотни серых чаек, что сидят глядя на воду. Белые кучи облаков громоздятся над морем, туго-лицые, херувимо-пухлые—листва пальм в движении вдоль всей эспланады. Ислейн приотстала на пляже, подобрать зануду Блота. Катье пожимает бицепс Слотропа и говорит ему именно то, что он хочет услышать в этот момент: «Наверное, нам всё же *предназначалось встретиться*...»

* * * * * * *

С моря, в этот час Казино просто оспинка на горизонте: его частокол пальм уже лишь тени в тающем свете. Глубже стала жёлтая коричневатость этих маленьких зубчатых гор, подкрасились морем мягкие очертания чёрных олив, белых вилл, унасестившихся шатэ, целых и разрушенных, блеклая зелень рощиц и отдельных сосен, всё углубляется к ночному пейзажу, спавшему в них весь день. Костры горят на пляже. Отголоски Английских голосов, и даже обрывки песен, доносятся над водой туда, где стоит на палубе д-р Поркиевич. Внизу, Осьминог Григорий,

налопавшись крабьего мяса, резвится счастливо в своей спецзагородке. Настигающий радиус маяка на суше проскальзывает мимо рыболовного судна уходящего в море. Гриша, дружочек, ты исполнил свой последний, пока что, номер... Есть ли надежда на дальнейшее финансирование от Пойнтсмена, после того как Поркиевич и его Баснословный Осьминог исполнили свою роль?

Он давно перестал задумываться о правильности приказов—даже о правильности своего изгнания. Возможно, показания о его связи с заговором Бухарина, о деталях которого он и слыхом не слыхивал, были в чём-то верны—Троцкистский Блок мог знать о нём, о его репутации, использовать его тайным образом… навсегда тайным: существуют формы невинности, как ему известно, неспособной понять подобное, а ещё меньше принять, как и он. Потому что, в конце концов, возможно, случившееся было всего лишь обрывком необозримого, патологического сна Сталина. По крайней мере, ему осталась физиология, нечто внепартийное… те, у кого не было ничего кроме партии, кто основывал всю свою жизнь на ней, до очередной чистки, наверное, переживали что-то типа смерти… не имея какого-то определённого знания, без опоры на лабораторную чёткость… именно она не позволяла ему свихнуться, видит Бог, вот уж двадцать лет. Во всяком случае, им никогда не удастся—

Нет, ничего у них не выйдет, такого ещё не случалось… если только не скрыто, в журналах, конечно, ни за что не напечатают—

Станет ли Пойнтсмен—

Он может. Да.

Гриша, Гришенька! Так уж случилось. На нас всё слишком сразу: чужие города, комедианты в мятых шляпах, девицы канкана, фонтаны огней, оркестр, гремящий из своей ямы… Гриша с флажками всех наций в своих извилистых руках… свежие беззубки, тёплый пирожок, вечером стаканы горячего чая, между представлениями… учись забывать Россию, довольствоваться подлыми, поддельными кусочками её, какие уж подвернутся...

И вот распросторилось небо принять единственную первую звезду. Но Поркиевич ничего не загадывает. Такая его политика. Приметы начала ему не интересны, ни даже знаки отходных… Мотор судна даёт полный вперёд, взбитая им вода вздыбилась, розовая от заката, застила белое Казино на берегу.

Сегодня есть электричество, Казино снова подключили в электросеть Франции. Мохнатые кристальными иглами люстры блистают над головой, лампы помягче светят в саду снаружи. Спускаясь к обеду с Тантиви и танцовщицами, Слотроп остолбенел, чуть глаза не выпали при виде Катье Боргезиус, волосы в одной из тех изумрудных тиар, прочие части покрыты длинным платьем в стиле Медичи из бархата цвета морской волны. Её эскортом Генерал-Полковник и Бригадный Генерал.

– Привилегии вышестоящим,– напевает Тантиви, шаркая саркастическими подошвами по ковру,– о, вышестоящим, да-да-да.

– Хочешь меня взбесить,– улыбается Слотроп,– не сфурычет.

– Сам вижу.– Его ответная улыбка оползает.– О, нет, Слотроп, пожалуйста нет, мы же к обеду идём—

– Я знаю, что мы идём к обеду—

– Это уже ни в какие ворота, сними сейчас же.

– Тебе нравится? Рисунок ручной работы. Классные титьки, а?

– Это галстук из лондонской тюрьмы Вормвуд-Скрабз.

В главном обеденном зале они сливаются с потоками официантов, офицеров, дам. Слотроп, под руку с молодой танцовщицей, захваченный круговертью, умудряется проскользнуть вместе с ней на пару только что освободившихся мест: и кто же оказался там его соседом слева, если не Катье. Он отдувает щёки, косит глаза, старательно приглаживает волосы руками и тут подают суп, к которому он приступает как к обезвреживанию мины. Катье его игнорирует, оживлённо беседует, поверх своего Генерала, с каким-то пернатым Полковником о его довоенной профессии управляющего площадкой гольфа в Корнуэле. Лунки с ямками. Прививается навык чувствовать рельеф местности. Но больше всего ему нравилось там по ночам, когда барсуки выходили для своих игрищ...

Когда принесли и разделались с рыбой, приключилось кое-что забавное. Коленка Катье, похоже, трётся об Слоптропову, бархатно-тёплая, под столом.

О-оопаньки, приходит Слотроп к выводу, ты ж посмотри: я наловчусь в таких уловках, не зря же тут Европа, а? Он поднимает свой бокал объявить: –«Баллада Тантиви Макер-Мафика». Раздаются крики «ура», застенчивый Тантиви старается сдержать улыбку. Эта песня известна всем: кто-то из Шотландцев поспешает через комнату к роялю. Сезар Флеботомо подкручивает свои скользкие усы придать им вид острий ятаганов, шарит позади пальмы в бочке ещё чуть-чуть добавить огней, моргает, вынырнув обратно и шипящим шёпотом вызывает своего Метр д’отеля. Вино пробулькало, глотки прочистились и добрая половина компании затягивает

Балладу Тантиви Макер-Мафика

Джин из Италии под стать проклятью матери,

А пиво Франции мерзкий антисептик,

Испанский виски может выпить лишь святой

Или хотя бы эпилептик.

Белая молния пламя зажгла

Под бродильным чаном с отравой,

От которой раскалывается голова,

Но всё ни по чём его глотке бравой.

(*Припев*): *О—Тантиви был в стельку пьян повсюду,*

С кем попадя и в любых местах,

Была бы выпивка, не скажет он «не буду»,

Он хлыщет всё с улыбкой на устах!

В хоре звучат вроде как сотня—но скорее всего только два—Валлийца, тенор с юга и бас с севера их краёв, ты ж понимаешь, так что любой разговор, хоть там тихий, хоть нет, глушится по полной. Именно то, что надо Слотропу. Он наклоняется в направлении Катье.

– Приходи в мою комнату,– шепчет она,– 306, после полуночи.

– Понял.– И Слотроп распрямляется вовремя, чтобы присоединиться к хору на первый же такте:

Заматерел он в океанах грога,

Где плещется поддатый кашалот,

Он пол-морей избороздил, как сельскую дорогу,

В любые бури он прёт вперёд.

И в лондонский туман, и в зной Сахары

Или на горных ледниках, под ветра вой,

Будь хоть по самые завязки он затарен,

Всегда готов ещё он хряпнуть по одной.

Да—Тантиви был в стельку пьян повсюду… и т.д.

После обеда, Слотроп подаёт знак Тантиви. Их танцовщицы рука об руку отправляются в мраморные палаты, где кабинки туалета сообщаются сетью медных голосовых трубок, все акустические, способствовать общению кабинки-с-кабинкой. Слотроп и Тантиви направляются в ближайший бар.

– Послушай,– Слотроп толкует набычившись в свой фужер, отражая слова от кубиков льда, чтоб звучали с подобающей холодностью,– или меня малость психоз хватает, или же тут что-то не так, верно?

Тантиви, изображая беззаботность, прекращает напевать «У Моря Позволяешь Себе Много Всякого, Чего не Можешь в Городе Чудить», чтобы спросить: –«Да, ну? Ты вправду так думаешь?»

– Брось, хотя бы тот осьминог.

– Каракатицы не редкость у берегов Средиземноморья. Хотя обычно не столь крупные—так тебя размер тревожит? Разве Американцы не любят—

– Тантиви, это не случайность. Ты слышал Блота? «Не убей его!» Краб у него наготове был, а и может в той же его планшетке, чтобы отманить зверя. А теперь куда он запропастился вообще?

– Думаю, он на пляже. Там много выпивки.

– Он много пьёт?

– Нет.

– Послушай, ты его друг—

Тантиви стонет: –«Боже, Слотроп, я не-зна-ю, тебе я тоже друг, хотя всегда, ты ж понимаешь, приходится противостоять элементарной Слотропианской паранойе...»

– Ни хрена не паранойя, а и ты знаешь тут что-то не чисто.

Тантиви грызёт ледышку, берёт прицел вдоль палочки для размешивания в фужере, рвёт салфеточку в мелкий снегопад, все барные уловки, он опытный пройдоха. Но наконец, негромко: –«Ну он получает шифрованные сообщения».

– Ха!

– Я увидел одно в его сумке сегодня. Просто взглянул. Не пытался вникать. Он же при Верховном Главнокомандовании, в конце концов—думаю, в этом всё дело.

– Нет, не в этом. А что на это скажешь... – И Слотроп рассказывает о свидании назначенном Катье в полночь. На мгновение они почти вернулись в бюро ТОТСССГ, и падают ракеты, и чай в бумажных стаканчиках, и всё опять правильно...

– Ты пойдёшь?

– А что, не надо? Думаешь, она опасна?

– Я думаю, она восхитительна и если б мне не надо было думать о Франсуазе, не говоря уж про Ивонну, я б впереди тебя мчался к её двери.

– Но?

Но часы над баром щёлкают один раз, а вскоре ещё один, утаскивая время поминутно в их прошлое.

– Или твой сдвиг заразный,– начинает Тантиви,– или же они и за мной следят.

Они смотрят друг на друга. Слотроп вспоминает, что без Тантиви он был бы тут совсем один: «Рассказывай».

– Если бы я знал что. Он изменился—только мне нечем доказать. Началось где-то… Ну не знаю. С осени. Он перестал говорить о политике. Боже, мы могли обсуждать часами— И он уже не делится своими планами, чем займётся после дембеля, а раньше это ж его основная тема. Я думал это Блиц так его кувыркнул… но после вчерашнего, мне кажется тут что-то больше. Чёрт, до чего же грустно.

– Что произошло?

– О. Не то, чтобы угроза. Или же не слишком всерьёз. Я в шутку сказал, что займусь Катье. А Блот стал вдруг очень холоден и в ответ: –«Вот от кого, на твоём месте, я бы держался подальше».– Потом постарался сгладить всё смешками типа он на неё тоже запал. Но не в этом дело. Я— он больше мне не доверяет. Я— у меня такое чувство, что он использует меня не знаю для чего. Терпит меня, покуда могу быть полезен. Как заведено между университетскими приятелями. Не знаю, приходилось ли тебе почувствовать это в Гарварде… время от времени, ещё как я учился в Оксфорде, у меня возникало ощущение какой-то особой структуры, о которой все умалчивают—которая выходит далеко за Тёрл-Стрит, за Корнмаркет, предназначена для составления счетов подлежащих оплате… никто не знает кому, когда, или в какой форме… но я думал, чепуха, мелочи по ходу того, чего ради я поступал, понимаешь...

– Ещё как понимаю. В той же самой Америке, тебе об этом говорят прежде всего прочего. У Гарварда там особое назначение. Его «образовательная» часть всего лишь только вывеска.

– Мы тут ещё совершенно невинны, как видишь.

– Возможно, некоторые из вас. Сочувствую насчёт Блота.

– Я всё ещё надеюсь, что ошибся.

– Это заметно. Но что теперь?

– Ну, как по-моему—сходи на свидание, будь осторожен. Держи меня в курсе. Возможно, завтра и мне будет что рассказать о приключении или двух, тебе на потеху. А если нужна помощь,– взблеснули зубы, лицо чуть зарделось,– так только кликни, я тебе помогу.

– Спасибо, Тантиви.– Иисусе, Британский союзник. Заглянули Ивонна с Франсуазой, манят их на выход. Затем Шпильзаль-Гимлера и до полуночи за баккара. Слотроп закончил с чем начинал, Тантиви проиграл, а девушки выиграли. Блот так и не показался, хотя не одна дюжина офицеров заходили и выходили, коричневые и отдалённые, как в ротогравюрах, по ходу вечера. Его девушку Ислейн тоже нигде не видно. Слотроп спросил, Ивонна пожимает плечами: «Гуляет с вашим другом? Как знать?»– Длинные волосы Ислейн и руки тронутые загаром, её лицо в улыбке шестилетней... Если усекут, что ей известно что-то, она не пострадает?

В 11:59, Слотроп оборачивается к Тантиви, кивает обеим девушкам, пытается похотливо хмыкнуть и отвешивает другу быстрый, подбадривающий тычок в плечо сжатым кулаком. Однажды, ещё в школе, перед тем как послать его на поле, футбольный тренер юного Слотропа точно так же пристукивал его, придавая уверенности секунд на пятьдесят хотя бы, перед тем, как его, опрокинут на задницу и растопчет свора мордоворотов из школы Чойт, каждый с инстинктами и живой массой носорога-убийцы.

– Удачи,– говорит Тантиви искренне, рука уже тянется к сладкому шифону на попке Ивонны. Минуты сомнения, да, да… Слотроп подымается по маршам красно-ковровой лестницы (Добро Пожаловать Мистер Слотроп Добро Пожаловать в Наше Заведение Надеемся Вам Понравится Ваш Визит Сюда), малахитовые нимфы и сатиры парализованы в погоне, вечнозелёные, на молчаливых лестничных площадках, к единственной лампе на самом верху...

У её двери он останавливается пригладить волосы. Сейчас на ней белый пелис весь в блёстках, на подплечниках, неровный белый плюмаж страусиных перьев по декольте и на запястьях. Тиары нет: под электричеством её волосы как свежий снегопад. Но внутри горит всего одна ароматичная свеча, и весь номер залит лунным светом. Она наливает бренди в узкие высокие стаканы, а когда он тянется взять, их пальцы соприкасаются. «Вот уж не знал, что ты так сдвинута на этом гольфе!» Безупречно романтичный Слотроп.

– Он старался быть приятным. Я отвечала приятностью,– один глаз типа дрогнул, лоб наморщился. Слотроп опасается, не распахнулась ли у него ширинка.

– А игнорировать меня. Зачем?– Вот это грамотный захват, Слотроп—но она лишь растворяется перед вопросом, возникает в другой части комнаты...

– Разве я тебя игнорирую?– Она перед окном, море ниже и позади неё, полуночное море, бег его отдельных волн невозможно прослеживать на таком расстоянии, всё слилось в зависшую неподвижность старой картины в покинутой галерее, где ты затаился в тени, забыв зачем ты тут, охваченный жутью в этом освещении, льющемся из такой же выбеленной засечки месяца, что располосовала море в эту ночь.

– Не знаю. Но ты заигрываешь налево и направо.

– Может быть, в этом моё назначение.

– Типа: «Наверно, нам предназначалось встретиться».

– О, ты видишь во мне нечто большее, чем я есть,– проскользнула к дивану, подкладывает одну ногу под себя.

– Я знаю. Ты всего лишь голландская молочница или типа того. Одёжный отсек забит накрахмаленными фартуками и теми, как их, деревянными башмаками, верно?

– Пойди, проверь.

– Окей. Проверю!– Он распахивает её отделение для одежды и, в лунном свете отражённом зеркалом, обнаруживает переполненный лабиринт из сатина, тафты, замши, эпонжа, воротники и отделку тёмного меха, пуговицы, кушаки, позументы, мягкие, сбивающие с толку, женские системы тоннелей, что могут длиться милями —он бы заблудился в пол-минуты… кружево мерцает, проймы мигают, креповый шарф трётся о его лицо… Ага! минуточку, ключевой запах тут чистый углерод, Джексон, и этот здешний гардероб, в основном, бутафория.– Шикарный ништяк.

– Если это комплимент, то спасибо.

Пусть Они поблагодарят меня, крошка: –«Это такой Американизм».

– Ты первый Американец, который мне встретился.

– Хм. Должно быть, ты выезжала из страны через тот Арнхем, верно?

– Ох, до чего ты сообразительный,– её тон предупреждает его оставить эту тему. Он вздыхает, щелчком ногтя извлекает из стакана тонкий звон. В тёмной комнате, с обездвиженным молчащим морем за спиной, он пробует запеть:

Слишком рано, чтоб понять (***фокс-трот***)

Мы всё ещё не целовались в страсти жаркой,

Не мчались за луной, круша покой ночной,

Когда утихли танцы

Над тайною лужайкой…

Слишком рано, чтоб понять

Была ли наша болтовня,

Вздох или два тому назад,

Не просто флирт, обычный флирт,

Который унесётся прочь,

Минует, как и эта ночь…

Как можно знать,

Как угадать?

Любовь готовит сети втайне,

Не нам решать…

Быть может,

Это начало радостной любви,

И день вдруг превратится в ночь вращением Земли

Милая, откуда же нам знать,

Ещё так СЛИШКОМ РАНО, ЧТОБ ПОНЯТЬ.

Зная что от неё ожидается, она с досужим видом ждёт пока он допоёт, мелодичные свирельные ноты ещё миг звучат в воздухе, потом протягивает руку, тая перед ним пока он в замедленном движении припадает к её рту, перья соскальзывают, рукава закатываются, обнажившиеся вскинутые руки, мелко запорошённые луной, пробегают вверх и вокруг его спины, её липкий язык, нервный как мотылёк, его руки скрипят по блёсткам… затем её груди плющатся об него, а руки спешат вверх и за спину, нашарить зиппер и вжикнуть его донизу...

Кожа Катье белее белизны одежды, из которой она восстаёт. *Рождённая заново*… через створки окна ему почти видно то место, где каракатица вползала на скалу. Она ступает как балерина, на цыпочках, длинный изгиб ляжек, Слотроп расстёгивает пояс, пуговицы, шнурки обуви, скача то на одной, то на другой ноге, ох, парень, парень, но лунный свет обеливает лишь её спину, и всё ещё остаётся тёмная сторона, её входная сторона, её лицо, которое ему уже не видно, и ужасающая звериная перемена прокатывается по пасти и нижней челюсти, чёрные зрачки расплываются, целиком покрывают пространства глаз, вытеснив белки, и в них лишь красное живое отражение когда долетает свет показать *неизвестно когда свет долетает—*

Она опрокинулась в глубокую постель, потянув его следом, вниз в атласную, серафимовую, цветастую вышивку, тут же развернулась принять его торчащий хуй в свою растянутую развилину, в единственную вибрацию для настройки ночи… в ебле она ходит ходуном, тело проваливается под ним на мили в кремовый и ноче-синий, всякий звук приглушен, глаза полумесяцами под золотом ресниц, нефритовые серьги, длинные, восьмигранные, бесшумно мечутся, ударяясь о её щёки, чёрный снег с дождём, его лицо над нею безучастно, обладает отличной техничностью—это она для себя? или включено в Слотропианскую Случайную Встречу, как её инструктировали—она его доведёт, не даст, чтоб её покрывала пластиковая скорлупа… её дыхание погрубело, перевалив за порог в звучание… думая, что она близка к оргазму, он запускает

руку в её волосы, пытается укротить её голову, ему нужно видеть её лицо: и это вдруг становится борьбой, злой и непритворной—она не сдаст своё лицо—и из ниоткуда она начинает кончать, и то же самое Слотроп.

Неизвестно с чего, сейчас она, которая никогда не смеётся, вдруг превращается в маковку взмывшего, ширящегося шара смеха. Позже, уже почти заснув, она прошепчет «смеюсь» и засмеётся снова.

Он захочет сказать:– «О, Они и такое тебе позволяют»,– хотя, возможно, Они тут ни при чём. Но Катье, с которой он разговаривает, уже заснула и вскоре его глаза закрываются тоже.

Как ракета, чьи клапаны в предопределённые моменты открываются и закрываются дистанционным управлением, Слотроп, при вхождении в сон, в какой-то миг прекращает дышать через нос и переключается на дыхание ртом. Вскоре дыхание переходит в храп, что славился способностью сотрясать оконные рамы, пускать ставни в пляс, а люстры в безудержную тинь-дилинь качку, да, впра-ав-ду... При первом же в эту ночь, Катье просыпается трахнуть его по голове подушкой.

– Прекрати.

– Хм.

– У меня чуткий сон. Попробуй захрапеть, получишь этим,– помахивает подушкой.

И это не шутка, нет. Такой режим сна, получить подушкой, проснуться, сказать «хм», заснуть снова, продолжается до самого утра. «Ну брось»,– наконец,– «перестань».

– Рото-дых!– кричит она. Он ухватил свою подушку хлопнуть её. Увернувшись, она перекатилась и соскочила на пол, отбиваясь свой подушкой, отступила к серванту с выпивкой. Он не врубается что у неё на уме, пока подушка не отброшена в сторону, чтоб ухватить бутылку Зельтерской шипучки.

Че-го? *Бутылку Зельтерской*? Что тут, блядь, за дела? Какие ещё лабораторные прибамбасы Они тут понатыкали и на какими ещё Американские рефлексы тут у них охота? Где же *торты с банановым кремом*, а?

Он потрясает парой подушек и следит за нею. «Ещё один шаг»,– хихикает она. Слотроп ныряет вперёд шлёпнуть её по заду, на что она окатывает его из бутылки Зельтерской, есесна. Подушка лопается на одном из мраморных бёдер, лунный свет в комнате забит перьями и пухом, а вскоре и разреженными струями фонтанирующей Зельтерской. Слотроп всё пытается выхватить бутылку. Скользкая девушка извернулась, прячется за стул. Слотроп берёт графин коньяка с полки серванта, откупоривает его и мечет чёткий янтарный выплеск с псевдоножками поперёк комнаты дважды, зайти в лунный свет и выйти, чтоб шлёпнуться вокруг её шеи, между чёрно-конечных грудей, на её бока.

«Сволочь»,– снова ударяет в него струёй Зельтерской. Ниспадающие перья облепляют их а кожу в метаниях по спальне, её испятнанное тело постоянно увиливает, слишком часто даже и для такого света, совсем рядом, неуловимо. Слотроп раз за разом сковыривается через мебель. «Ох и доберусь *до тебя!*» В этот момент она открыла дверь в гостиную, заскочила и вновь захлопнула, так что Слотроп с разгону врезался, отшатывается, грит блядь, открывает дверь и видит красную шёлковую скатерть, которой она помахивает перед ним.

– Это ещё что,– спрашивает Слотроп.

– Фокус,– кричит она и набрасывает скатерть на него, чётко собранные складки распелёнываются слёту как кристаллические разломы, красным по воздуху.– Гвоздь нашей программы исчезновение Американского Лейтенанта.

– В том-то и фокус,– вдруг внутри, рядом с ним, губы на его сосках, руки ерошат волосы у него на затылке, медленно тянет его на толстый ковёр,– мой цыплёночек.

– Где ты видела это кино, а? А помнишь, как он оказался потом с той козой?

– О, не спрашивай... На этот раз просто приятельский ладный перепихон, оба слегка сонные, покрыты налипшими перьями… кончив, они лежат, плотно притиснувшись, слишком увлажнённые для движений, мм, шёлк и ворс, так уютно, и красновато словно в лоне… Калачиком, держа её ступни между своих, с хуем угнездившимся в тёплой расселине меж её ягодиц, Слотроп вправду старается дышать через нос, они засыпают.

Слотропа будит солнечный свет утра местного Средиземноморья, отфильтрованный пальмой за окном, красной скатертью, птицами, водой спущенной этажом выше. Минуту он лежит приходя в себя, никакого похмелья, всё ещё вне-Слотроповски принадлежа струящемуся циклу отхода и возвращения. Катье лежит, живая и тёплая, буквой S, охваченной его S, начинает шевелиться.

Из соседней комнаты он слышит несомненный звук пряжки армейского ремня. «Кто-то»,– отмечает он, быстро догоняя в чём дело,– «крадёт мои штаны». Ноги протопали по ковру рядом с его головой. Слотропу слышно как его собственная мелочь бряцает в его карманах. «Вор!»– орёт он и от этого пробуждается Катье, которая оборачивается обнять его. Слотроп, сумев нащупать край, что никак не находился среди ночи, выметается из-под скатерти как раз вовремя, чтобы увидеть крупную ступню в двухцветном ботинке, кофе с индиго, исчезающем за дверью. Вбежав в спальню, он обнаруживает, что всё, в чём он приходил, исчезло тоже, включая обувь и трусы.

– Моя одежда!– пробегая обратно мимо Катье, которая выпутывается из шёлка и пробует схватить его ноги. Слотроп распахивает дверь, выбегает в холл и вспоминает, что он тут *голый*, заметив тележку со стиркой, выдёргивает из неё лиловую атласную простыню, заворачивается в неё типа в тогу он одет. От

лестничной клетки доносится хмыканье и топ-топ-топ мягких подошв. «Ага!»– вскрикивает Слотроп стартуя вдоль коридора. Скользкая простыня никак не хочет держаться. Она плещет, сползает, впутывается под ноги. Вверх по ступеням, через две за шаг, лишь затем, чтоб найти наверху ещё один коридор, такой же пустой. Куда все запропастились?

В дальнем конце маленькая головка выглядывает из-за угла, высовывается маленькая рука и показывает Слотропу маленький средний палец. Спустя секунду, до него доносится неприятный смех, сам же он к этому времени уже несётся туда. На лестнице он слышит шаги спешащие вниз. Большой Пурпурный Змей с проклятьями скатывается на три пролёта следом и через дверь на маленькую террасу, как раз, чтобы заметить как кто-то прыгнул через каменную балюстраду и исчез в верхней половине толстого дерева, растущего откуда-то снизу. «Загнан, наконец!»– кричит Слотроп.

Сперва надо перебраться на дерево, а дальше уж карабкаешься без проблем, как по приставной лестнице. И вот там-то, объятый роскошным лиственным светом, Слотроп не видит дальше, чем на пару сучьев. Однако дерево подрагивает, из чего он делает вывод, что вор должен быть где-то тут. Упорно взбирается он дальше, простыня цепляется, рвётся, кожа исколота иглами, исцарапана корою. Ступням больно. Скоро он начинает задыхаться. Постепенно, конус зелёного света сжимается, становится ярче. Ближе к макушке, Слотроп замечает надпил поперёк ствола, но не останавливается поразмыслить что бы это могло значить, пока не оказался на самой верхушка дерева и, вцепившись, раскачивается вместе с ней, наслаждается прекрасным видом на гавань и сушу, акварельно синее море, с барашками на гребнях волн, со штормом, что собирается на дальнем горизонте, поглядывает на макушки людских голов, которые движутся далеко внизу. Ё-моё. Ниже, ствол дерева начинает потрескивать, вибрация чувствуется и тут, на его хрупком насесте.

– О-о, эх…– Тот *хитрожопец*. По дереву он *вниз* лез, не *наверх*! Теперь уж где-то там внизу, наблюдает! Они знали, что Слотроп направится вверх, а не вниз—они рассчитывали на *тот* проклятый Американский рефлекс, плохой парень уходя от погони всегда устремляется вверх—почему вверх? и они надпилили ствол почти напрочь сволочи, а и теперь—

Они? Они?

– Ну,– приходит Слотроп к выводу,– мне лучше пожалуй, э-э… Но тут верхушка обламывается и, с великим шелестом и треском, смерч тёмных веток с иголками крошит его на пару тысяч острых ниспадающих осколков, вниз валится Слотроп, перефутболиваясь от ветки к ветке, пытаясь удержать лиловую простынь над головой, как бы парашют. Ууф. Ввуй. Где-то на полпути к земле, на уровне террасы или около того, ему случилось глянуть вниз, и различить там много старших офицеров и упитанных дам в белых батистовых платьях и в шляпах с цветочками. Они играют в крокет. Похоже, Слотроп шмякнется где-то среди них. Он закрывает глаза и пытается представить тропический остров, глухую комнату,

где ничего подобного не может произойти. Открыл он их в момент удара о землю. В глубокой тишине, прежде, чем он успел даже почувствовать боль, раздаётся громкий цок удара деревом по дереву. Ярко-жёлтый полосатый шар проносится за дюйм от носа Слотропа и исчезает из виду, секундой позже раздаётся взрыв поздравлений, дамы в восторге, к нему приближаются шаги. Похоже, что он, ууйй, малость вывихнул спину, но пока что не чувствует особой охоты двигаться вообще. Вскоре небо заслонилось лицами какого-то Генерала и Теди Блота, с любопытством глазеющих вниз.

– Это Слотроп,– грит Блот,– а на нём лиловая простыня.

– Что за дела, милейший,– вопрошает Генерал,– костюм театрический, а?– К нему присоединились пара дам, сияющих в направлении, а возможно и сквозь, Слотропа.

– С кем вы говорите, Генерал?

– С этой вот помехой в тоге,– отвечает Генерал,– что разлёгся между мной и моими следующими воротцами.

– Какая странность, Ровена,– обернувшись к своей компаньонке,–*ты* видишь тут какую-нибудь «помеху в тоге»?

– Ах, ничего подобного, Джевел,– отвечает беззаботная Ровена.– *Я* полагаю, Генерал *на подпитии*.– Дамы начинают хихикать.

– Если Генерал *все* свои решения принимает в таком состоянии,– Джевел пытается отдышаться,– то конечно, конечно же, легко докатится и до *заката sauerkraut*.– Они обе начинают взвизгивать, очень громко, до неприятного продолжительно.

– А твоё имя уже может стать Брун*хильда*,– их лица придушено розовеют,– вместо Джевел.– Они вцепляются друг в друга, чтоб не свалиться замертво. Слотроп хмурится на этот спектакль, к которому добавилась массовка из дюжин нескольких.

– Ну-у-у-у кто-то спёр мою одежду, и я как раз шёл пожаловаться администрации —

– Но по пути решил натянуть лиловую простыню и залезть на дерево,– кивает Генерал.– Что ж, могу заверить, мы в силах как-то посодействовать. Блот, у вас примерно тот же размер, как у пострадавшего, не так ли?

– О,– крокетная бита через плечо, позирует как рекламный щит Килгура или Кёртиса, с ухмылкой вниз на Слотропа.– У меня где-то была запасная форма. Пошли, Слотроп, ты в порядке, не правда ли. Ничего не сломал.

– Йёёохх.– Завёрнутому в подранную простынь, крокетисты помогли подняться на ноги, Слотроп, прихрамывая, идёт за Блотом с травяной площадки Казино. Сначала они зашли в комнату Слотропа. Он находит её недавно убранной, совершенно пустой, готовой для новых постояльцев.–«Эй…»– Выдёргивает ящики, пустые как барабаны: вся его одежда, до ниточки, исчезла, вместе с Гавайской рубахой. Что за ёб твою. Со стонами, обыскивает стол. Пусто. Шкафы пусты. Отпускные документы, удостоверение, всё стырили. Мускулы его спины пульсируют болью.–«Что это, Асс?»– ещё раз выходит проверить номер на двери, совершенно для проформы. Он знает. Больше всего жалко рубаху от Хогана.

– Прежде всего, одень что-нибудь подобающее,– тон Блота полон отвращением директора школы. Два младших офицера вваливают со своими саквояжами. Остановились вылупившись на Слотропа.– «Эй, приятель, ты угодил не в тот театр военных действий»,– орёт один.– «Прояви хоть каплю уважения»,– ха-хакает второй,– «это Лоренс Аравийский!»

– Блядь,– грит Слотроп. Не может даже руку поднять, ещё меньше замахнуться. Они прошли в комнату Блота, где на пару обрядили его в форму.

– Слушай,– вдруг осенило Слотропа,– где этот Макер-Мафик сегодня утром?

– Понятия не имею, право же. Гуляет с девушкой. Или девушками. А ты где был?

Но Слотроп осматривается вокруг, сжимающий очко страх запоздало охватывает его, шея и лицо в каплях нахлынувшего пота, пытается найти в этой комнате, которую Тантиви делит с Блотом, хоть какой-то след своего друга. Колючий Норфолкский китель, костюм в тонюсенькую полоску, хоть что-нибудь...

Ничего.– «Так Тантиви съехал, что ли?»

– Он мог и съехаться, с Франсуазой или Как-бишь-её. Мог вернуться в Лондон пораньше, он мне не отчитывается, я не бюро пропавших без вести…

– Он твой друг…– Блот, вызывающе пожав плечами, в первый раз за всё их знакомство, смотрит прямо в глаза Слотропу.– А ты ему нет? Кто же вы тогда?

Ответ во взгляде Блота, сумрачная комната целиком рационализировалась, в ней ничего праздничного, только униформы с Савил-Роу, серебряные расчёски и бритвенный станок разложены по ранжиру, блестящий шип на восьмиугольном постаменте с наколотою кипой, высотой в полдюйма, бледных квадратиков бумаги для заметок, уголок к уголочку… кусочек Уайтхолла на Ривьере.

Слотроп отводит взгляд: «Попробую найти его»,– бормочет он, отступая за дверь, форма отвисает на заднице, а в талии жмёт. Терпи, приятель, тебе её носить пока что...

Он начинает с бара, где они говорили в прошлую ночь. Тут никого кроме Полковника с громадными подкрученными усами, в фуражке, который сидит перед

чем-то большим, пенным, и приправленным белой хризантемой.– «В Сандхёрсте тебя не научили отдавать честь?»– орёт офицер. Слотроп, поколебавшись лишь мгновенье, салютует.– «Грёбанное У.П.О.К., они там просто сборище нацистов». Бармена не видно. Никак не вспомнить что—

– Ещё что надо?

– В общем-то, я, э, Американец, просто одолжил униформу и, ну я искал Лейтенанта Макер-Мафика...

– Ты кто?– взревел Полковник, выдёргивая зубами лепестки из хризантемы.– Это что за нацистские бредни, а?

– Да, спасибо,– Слотроп убирается из комнаты, ещё раз отдавая честь.

– Просто невероятно!– катится следом эхо вдоль коридоров к Гимлер-Шпильзааль.– Полный нацизм!

В безлюдьи полуденного затишья, распростёрлось красное дерево, зелёная бязь, зависшие фестоны бордового бархата. Длинноручечные деревянные грабельки для сгребания денег разложены веерно по столам. Серебряные колокольчики с эбонитовыми черенками перевёрнуты устьем книзу на красноватую полировку. Вокруг столов, ровнёхонько расставлены Имперские кресла, пустопорожние. Но какие-то выше прочих. Здесь нет уже неприкрыто явных признаков азартной игры на удачу. Тут делается иное, более реальное, менее жалостливое, систематически скрываемое от Слотропа и ему подобных. Кто сидит на креслах, что повыше? Есть ли у Них имена? Что разложено по бязевой поверхности пред Ними?

Свет медного цвета сочится внутрь сверху. Фрески опоясывают огромный зал: пневматические боги с богинями, застенчивые юноши с пастушками, туманящаяся листва, всплеск шарфиков... Отовсюду нависает заокругленная позолота висюлек —с лепнины, люстр, колонн, оконных рам… паркетины в царапинах лоснятся под стеклом крыши… С потолка, кончаясь метра за полтора над столами, висят длинные цепи с крюками на концах. Что цепляют на эти крюки?

Около минуты Слотроп, в его Английской униформе, один на один с параферналиями распорядка, присутствие которого в крошева заурядного пробуждения он только-только лишь начинает прозревать.

Возможно, на какой-то миг, некая золотистая, отдалённо смахивающая на корень или людскую фигуру форма начала складываться среди коричневатых и ярко кремовых теней вокруг. Но Слотроп не из тех, от кого легко отделаться. Кратко, до неприятного, ему доходит, что всё в этой комнате действительно используется для чего-то ещё. Иная предназначенность вещей для Них, ничего не означающая для нас. Никогда. Два порядка присутствия, на вид идентичны… но, но…

о, мир там, он

Текуч, изворотлив, необясним!

Словно-как-будто-бы, сон-который-пришёл, по-

Блуждать в мозгу у тебя!

Пляской шута в Запретном Крыле,

Дожидаясь, вдруг-осенит-и-забрезжит?—ну

Кто сказал даже вздумать нельзя?

Ес-ли станет-малость-больнее,

Всегда-можешь вернуться-обратно, ведь

Ты-ж-никогда не-скажешь прощай-навсегда!

Почему здесь? Отчего радужные контуры того, что ему вот-вот станет яснее ясного, прорываются в этой многообразно зашифрованной комнате? ну почему просто войти сюда равносильно проникновению в самое Запретное—есть такие же длинные комнаты, комнаты застарелого паралича и возгонки зла, конденсат и осадки, к которым боишься принюхаться, от забытых коррупций, комнаты полные стоячих статуй в сером оперении простёртых крыльев, неразборчивые лица под пылью—комнаты полны пыли, что клубиться скрыть формы обитателей по углам или немного глубже, что оседает на их чёрные парадные лацканы, что смягчает до сахарности белые лица, белые манишки сорочек, ювелирные камни и платья, белые руки в движении слишком быстром, чтоб смог рассмотреть… какую игру Они сдают? Что это за ходы, такие гладкие, такие древние и безукоризненные?

– Нахуй,– шепчет Слотроп. Ему известно лишь это заклятье, довольно-таки подходящее на любой случай, кстати. Шёпот его плутает в тысячах очертаний крохотных рококо. Может он сегодня ночью прокрадётся сюда—нет, не ночью—но в какое-то время, с ведром и кистью, и намалюет НАХУЙ внутри облачка исходящего изо рта какой-нибудь из розовеньких здешних пастушек...

Он уходит, пятится через дверь, как будто половина, его ключевая половина прилипла к царственному излучению: удаляясь, оставаться лицом к Присутствию вселяющего страх, манящего.

Снаружи, он направляется к заливу, к резвящимся людям, белым ныряющим птицам, к беспрестанным шлепкам чаячьего дерьма. Когда гуляю я по Ба-дебулон с независимым видом… Отдаёт честь всем и каждому в униформе, чтоб закрепить это как рефлекс, не напрашивайся на лишние неприятности, старайся стать невидимым… с каждым разом возвращает руку к боку чуть придурковатее. Облака быстро собираются, из моря. Тантиви тут не видать, совсем.

Призраки рыбаков, стеклодувов, торговцев мехом, проповедников отщепенцев, патриархов возвышенностей и политиканов долин, лавиной устремляются вспять

от Слотропа, обратно в 1630, когда губернатор Винтроп прибыл в Америку на Арбелле, флагманском судне пуританской флотилии того года, на котором первый Американский Слотроп был корабельным коком или типа того—и вот эта Арбелла и целый флот плывут под парусами задом наперёд, ветер отсасывает их обратно к востоку, создания приопёршиеся на полях по краям неведомого втянули свои щёки, аж глаза с натуги вылупились, до чёрных глубоких впадин, на милость зубов, а не молочных зубиков херувимов, покуда старые лоханки прут из Бостонской Гавани вспять через Атлантику, чьи течения и валы струятся и вздымаются задом наперёд… воздаяние за каждого из корабельных коков, кто когда-либо поскальзывался и падал от нежданного толчка палубы, вечернее хлёбово само собой сбирается с досок и с возмущённых туфлей более высокопоставленного в оловянный котелок, а сам слуга подскакивает и снова распрямляется, а блевотина, на которой он поскользнулся, влетает обратно в рот выблевавшего… Круто переменно-о! Тайрон Слотроп снова Англичанин! Но похоже, это не совсем то воздаяние, на которое Они рассчитывали...

Он на широкой мощёной эспланаде с рядами пальм по сторонам, их заливает густая чернота, когда тучи начинают набегать на солнце. На пляже тоже Тантиви нет, как нет и двух девушек. Слотроп сидит на невысокой стенке, болтает ногами, смотрит как надвигается от моря серый, грязно-пурпурный, фронт дождя полосами, порывами. Воздух вокруг него холодеет. Его трясёт. Что Они делают?

Слотроп возвращается в Казино как раз, когда крупные круглые капли дождя, густые как мёд, начинают расшлёпываться в гигантские звёздочки примечаний по тротуару, приглашая его взглянуть пониже текста текущего дня, там всё разъясняется. Он не станет смотреть. Никто никогда не говорил, что в день надо ещё впихивать хоть какой-либо смысл в конце дня. Он просто бежит. Дождь нарастает в мокром крещендо. Его подошвы взмётывают тонкие цветы воды, каждый на секунду зависает позади его бега. Это побег. Он заходит испятнанный дождём в яблоко и начинает лихорадочный поиск в огромном инертном Казино, начиная опять с того же задымлённого, пропахшего самогоном бара, затем через маленький театр, где в этот вечер будет представлена сокращённая версия *L'Inutil Precauzione* (вымышленная опера, которой Росина пытается одурачить своего опекуна в Севильском Цирюльнике), в его зелёную комнату, где девушки, шелковистый набор девушек, но без тех троих, которых так хотелось бы увидеть Слотропу, взбивают волосы, поправляют подвязки, наклеивают ресницы, улыбаются ему. Ни одна не видела Французу, Ислейн, Ивонну. В соседней комнате оркестр репетирует оживлённую тарантеллу Россини. Флейты с кларнетами, все, примерно на полтона ниже. Вдруг Слотроп понимает, что он окружён женщинами, которые прожили немалую часть их жизней в войну и под оккупацией, для которых люди исчезали ежедневно… да, в паре-другой глаз он встречает давнишнюю такую Европейскую жалость, взгляд, что станет привычным задолго до того, как он утратит невинность и обернётся одним из них...

И вот так он шатается по ярким людным комнатам для игр, обеденному залу и его приватным спутникам поменьше, обламывая тет-а-теты, сталкиваясь с официантами и видя одних лишь незнакомцев, куда ни глянь. А если нужна

помощь, так я тебе помогу... Голоса, музыка, растасовка карт становятся всё шумнее, гнетущее, и вот он снова стоит оглядывая Гимлер-Шпильзааль, уже заполненный, блеск драгоценностей, глянец кожи, спицы рулетки крутятся-вертятся—именно тут он понял, что сыт по горло, это всё эта игральная круговерть, слишком много её, слишком много игр: гнусавый прилипчивый голос крупье, которого ему не видно—*messieurs, mesdames, les jeux sont fait*—вдруг заговорили из Запретного Крыла с ним напрямую и о том именно, во что Слотроп играл против невидимого Заведения, то есть, в конце концов, за собственную душу, весь день—в ужасе, он разворачивается, возвращается снова под дождь, где электрические огни Казино, во весь холокост, глазеют из отражений в обожжённых плитах мостовой. Задрав воротник, натянув фуражку Блота до ушей, повторяя *блядь* каждые пару минут, дрожа, спина всё ещё ноет после того падения с дерева, он бредёт, спотыкаясь, под дождём. Чувствует, что может расплакаться. Как всё так быстро обернулось против него? Его друзья, давние и новые, каждый клочок бумаги и одежды, что увязывали его с тем, кто он есть, просто исчезли к ебеням. Как можно снести такое не теряя достоинства? Только много позже, измотанный, шмыгая носом, замёрзший и несчастный в этой тюрьме из отсыревшей армейской шерсти, он таки подумал о Катье.

В Казино он возвращается около полуночи, её час, топает наверх, оставляя мокрые следы за собой, громкие как стиральная машина—останавливается перед её дверью, дождь стекает на ковёр, боясь даже постучать. Её тоже забрали? Кто ждёт за дверью и какие приборы принесли Они с Собою? Но она услыхала его и открыла с улыбчивыми ямочками улыбки упрёка, что такой мокрый. «Тайрон, я по тебе скучала».

Он пожимает плечами, конвульсивно, беспомощно, окатив их обоих брызгами: –«Это единственное место, куда я мог прийти». Её улыбка медленно распахивается. Тогда он мягко ступает через порог, толком не соображая дверь это или высокое окно, в её комнату.

* * * * * * *

Добрые утра старой доброй похоти, ранние ставни распахнуты к морю, ветра входят с ощутимым трением пальмовых листьев, безудержный вспрыг сквозь поверхность к солнцу, дельфины в гавани.

– О,– стонет Катье, где-то под кипой батистов и парчи,– Слотроп, ты свинья.

– Хрю, хрю, хрю,– грит Слотроп радостно. Отсветы моря пляшут по потолку, вьётся дым сигареты с чёрного рынка. Свет в эти утра отчётлив и резок, всплывающий дым демонстрирует элегантность форм, в извивах, сплетениях, истончаясь тает до ясности...

В свой обычный час, синь гавани отразится в выбеленном морем фасаде и высокие окна снова закроются. Образы волн замигают по ним светящейся сетью. К тому времени Слотроп уже встанет, оденет Британскую униформу, будет глотать круассаны и кофе, готовый к повторительному курсу технического Немецкого, либо что есть мочи заучивать теорию стреловидно-стабильных траекторий, а может водить, почти касаясь, кончиком носом по каким-нибудь Немецким электросхемам, в которых сопротивления выглядят как катушки, а катушки, как сопротивления— «Что за блядская каламуть»,– возмутится он однажды,– «с чего это они их так вот поменяли? Для маскировки, или что?»

– Вспомните свои древние Германские руны,– предлагает сэр Стивен Додсон-Трак, который из ОПР при МИДе и говорит на 33 языках, включая Английский, с заметным Оксфордским акцентом.

– Мои что?

– О,– губы стискиваются, тут явный приступ тошноты в мозгах,– этот символ катушки весьма подобен Старо-Норвежской руне “S”, *sôl*, что означает «солнце». На Старом Верхне-Немецком именовалась “*sigil*”.

– Кручёный нашли способ солнце рисовать,– высказывает своё мнение Слотроп.

– Действительно, Готы, намного ранее, для этого применяли кружок с точкой в его центре. Обрыв данной традиции явно указывает на период утраты наследия, фрагментацию племени, а возможно и отчуждения—любая аналогия годится, в социальном смысле, вплоть до развития независимого эго в ребёнке, понимаете ли…

В общем-то, нет, Слотроп как-то не очень понимает. И такое вот всякое слышит он от Додсон-Трака почти каждый раз как только сойдутся. Этот человек в один из дней просто возник, там на пляже, в чёрном костюме, по плечам звёздная пыль перхоти из редеющих морковных волос, материализовался на фоне белого лика Казино, трепещущего над ним пока он приближался. Слотроп читал какой-то из комиксов про Пластмасмэна. Катье дремала на солнце, лицом кверху. Но когда звук его шагов ей услышался, она перевернулась на локоть и помахала приветно. Партнёр валяется во весь рост, Отношение 8.11, Апатия, Второкурсник.– «Стало быть, это Лейтенант Слотроп».

Четырёхцветный Пластмасмэн втекает через замочную скважину, за угол и по трубе к раковине в лабораторию чокнутого-учёного нациста, из крана уже показывается голова Пластма, пустой глаз снаружи и распласмасенная челюсть, как раз готовы капнуть.– «Да я, а ты кто, Асс?»

Сэр Стивен представляется, с любопытством взглядывает на страницы комикса:– «Насколько я понимаю, это не учебное пособие».

– Он в теме?

– Он в теме,– Катье, пожимая плечом, улыбается Додсон-Траку.

– У меня сейчас перемена в этом радиоконтроле Телефункена. Та их разработка, «Гаваи I». Что-нибудь говорит?

– Ровно столько, чтобы удивиться откуда они взяли это имя.

– Имя?

– В нём явное присутствие поэзии, инженерной, то есть, поэзии… тут заложено *Haverie*—среднее, сами знаете—наверняка, там речь о двух полусферах, не так ли, симметрично предполагаемому азимуту курса ракеты… а ещё, также, *hauen*—разбивать что-то мотыгой, или палкой…– и вот уже унёсся в персональное путешествие, улыбается не кому-то конкретно, приводит в пример популярные выражения времён войны *ab-hauen, quarterstaff-technique*, крестьянский юмор, фалличную комедию из времён древних Греков… первым порывом Слотропа было вернуться к тому, что там дальше с Пластмом, но что-то в этом человеке, несмотря на его явную причастность к заговору, заставляло слушать… невинность, возможно старание проявлять дружелюбие единственным доступным ему образом, делясь тем, в чём вся его жизнь, любовью к Слову.

– Ну может, просто для пропаганды Оси. Что-то на тему того Пирл-Харбора.

Сэр Стивен взвешивает предположение, явно довольный. Он выбран Ими из-за всех тех Пуритан пришибленных словом, которыми тут и там увешано фамильное дерево Слотропа? Или Им теперь охота и мозги его в соблазн ввести, не только его вчитывающийся глаз? Случаются моменты, когда Слотропу и впрямь удаётся найти рычаг сцепления между собой и Их движком окованным железом в дальних далях цепочки власти, об очертаниях и конструкции которой ему остаётся лишь гадать, он может отключить сцепление, и чувствует тогда всю инертность своего движения, всю свою беспомощность… ни то, ни другое не так уж и неприятно. Странное дело. Он почти уверен, что в Их намерения не входит рисковать его жизнью, ни даже создать слишком большие для него неприятности. Однако общая картина никак у него не складывается, невозможно увязать такого как Додсон-Трак, с такой как Катье...

Соблазнительница-и-простофиля, ладно, это не такая уж и плохая игра. Они почти не притворяются. Он не винит её: истинный враг где-то далеко, в том Лондоне, а это просто её работа. Она умеет быть изменчивой, весёлой, доброй и ему лучше тут с ней, чем мёрзнуть в Лондоне под Блицем. Вот только иногда… слишком неощутимо, чтобы определить, в её лице мелькает выражение не поддающееся её контролю, и его гнобит, что так оно и есть как и хотелось даже, но жуть открытия бросает в дрожь: ужасная возможность, что и она тоже узница. Жертва, как и он—эта придавленность, непередаваемое выражение отнятого будущего...

Однажды серым днём, ну: конечно, в Гимлер-Шпильзаале, где ж ещё, он застал её одну рядом с колесом рулетки. Стоит, склонив голову, грациозно отставив бедро,

воображает себя в роли крупье. Работник Заведения. На ней белая крестьянская блуза и атласная дирндль-юбка из полос радуги, переливается под светом через стекло в крыше. Шарик тарахтит поверх вертящихся спиц, набирает длинный, скребущий резонанс в замкнутом фресками пространстве. Она не оборачивалась, пока Слотроп не подошёл вплотную. В её дыхании медленно и мерно подрагивает печаль: бьётся в заслонки его сердца, открыть ему краткие промельки осеннего края, о котором он только лишь подозревал, которого боялся, за его пределами, в её краях...

– Привет, Катье…– протягивает руку, складывает палец остановить колесо. Шар падает в отделение пронумерованное числом, которое они никогда не увидят. Увидеть число, вот в чём смысл. Но в игре за пределами игры в этом нет смысла.

Она качает головой. Ему ясно, что это что-то там в Голландии, до Арнхема— преграда навечно вмонтированная в схему их цепи. Ох, скольким ушкам, пахнущим *Palmolive* или*Camay*, мурлыкал он напевы, песенки переулка-возле-боулингом, песенки позади-рекламного-щита-Мокси, песенки субботний-вечер-так-налей-нам-ещё-по-одной, все об одном и том же, милая, неважно, где ты пропадала, зачем нам жить прошлым, вот это вот сейчас и есть всё, что у нас есть...

Там это классно срабатывало. Но не тут, постукав по её голому плечу, заглянув в её Европейскую темень, ошеломился увиденным, а сам-то с прямыми волосами, где расчёска не сразу продерётся, и бритым лицом без единой морщинки, такое вот беспорочное вторжение в Гимлер-Шпильзааль до краёв полный Германо-Барокковыми недоуменьями форм (ритуал рук для каждого последнего раза, который каждая рука должна совершать, потому что на то и рука, тем и должна оборачиваться, чтобы всё выходило именно так… весь холод, боль, минувшая плоть, что когда-либо касались её...) В перекручено золочёном игральном пространстве его тайные движения проясняют для него, кое-что. Ставки, что Они тут делают, принадлежат прошлому, и только прошлому. Они никогда не ставили на вероятность, но исключительно на одну лишь уже отслеженную повторяемость. Тут банкует прошлое по своей прихоти. Оно нашептывает, и сгребает выигрыш и, с отвратной глумливостью, ощипывает жертвы.

Когда Они выбирают число, красное, чёрное, чёт, нечет, какой Они вкладывают смысл? Какое запускают Они Колесо?

В далёкой комнате, в начале жизни Слотропа, в комнате запретной для него теперь, там что-то очень нехорошее. Что-то там сделали с ним и, быть может, Катье знает что. Разве не увидел он в её «лишённом будущего» виде некую связь со своим собственным прошлым, что-то, что связало их накрепко как любовников? Она привидилась ему в самом конце коридора её жизни, где нет возможности следующего шага—все её ставки сделаны, осталась лишь скука от переброски из одной комнаты в следующую, череда пронумерованных комнат, чьи номера не имеют значения, пока инерция не занесёт её в последнюю. Вот и всё.

Наивный Слотроп и представить не мог, что чья-то жизнь может заканчиваться так. Ничего настолько удручающего. И для него это уже становится не совершенно чуждым—приходится свыкаться ему, мастурбаторно всполошившемуся, с гадостной вероятностью, что в точности такой Контроль установлен уже и над ним.

Запретное Крыло. О, рука жуткого крупье, прикосновение к тем файлам о его мечтах: всё в его жизни, что казалось произвольным или случайным, оказывается, подчинялось целенаправленному Контролю, всё время типа управляемого колеса рулетки—где важен лишь результат, в центре внимания долгосрочная статистика, не личности: и где Заведение, конечно же без вариантов, загребает прибыль...

– Ты был в Лондоне,– вскоре прошепчет она, оборачиваясь к своему колесу, чтоб крутануть снова, лицо отвернула, по-женски отмотать сотканную за ночь полосу её прошлого,– когда они падали. А я возле Гааги.– вздыхающие фрикативы, название выговорено с тоской изгнанницы,– когда они поднимались. Между тобой и мной не только траектория ракеты, но ещё и жизнь. Ты поймёшь, что между этими двумя точками, в эти пять минут, она проживает всю свою жизнь полностью. Ты даже не изучил ещё данные с нашей стороны программы полёта, видимые или счисляемые. А ведь кроме них есть ещё столько всего, так много никому из нас не известного…

Однако это кривая, и каждый из них это чувствует, несомненно. Парабола. Они должны были угадать пару раз—угадали и отказались поверить—что всё, всегда, совместно, двигалось к этой очищенной форме, заложенной в небе, форме без сюрпризов, без вторых попыток, без возврата. И всё же они таки зашли под неё, зарезервированную для собственных чёрно-белых жутких новостей, как будто и вправду то была Радуга, а они её родными детьми...

По мере того, как Война отодвигается от них всё дальше и Казино превращается во всё более глубокий тыл, вода становится всё грязнее, а цены растут, так что военнослужащие, прибывающие в отпуск, становятся всё шумливее и предрасположеннее к полному долбоёбству—среди них и близко нет никого похожего на Тантиви, с его привычкой вытанцовывать подвыпивши, с его притворной самовлюблённостью и застенчивыми, честными порывами к заговору, как угодно мелкому, при малейшей возможности, против властей и безразличия... Про него ни слуху ни духу. Слотропу его не хватает не как союзника, а просто его присутствия, доброты. Он продолжает верить, тут в своём Французском отпуске, что это препятствия временные и чисто бумажные, вопрос почтовой путаницы и задержки пересылок, неприятность, которая кончится вместе с Войной, до того хорошо они распахали целину в его мозгах, разрыхлили и посеяли, и взяли подписку не выращивать ничего по собственному почину...

Никаких сообщений из Лондона, нет даже отклика от ТОТСССГ. Всё исчезло. В один из дней Теди Блот тоже просто растворился: другие конспираторы, как шеренга хора, вздрыгнутся и исчезнут позади Катье и сэра Стивена, проплясывая мимо, все с идентичными Корпоративными Улыбками, забить ему баки

преумножением своего зубосиятельства, отвлечь, как им кажется, покуда тырят его удостоверение, его служебное досье, его прошлое. Ну, поебать… сам знаешь. Он не обращает внимания. Ему интереснее, а иногда тревожнее насчёт того, что подкладывают. В какой-то момент, явно по капризу, хотя попробуй тут определить наверняка, Слотропу взбрело завести усы. Последние усы у него были в возрасте 13, он послал почтовый перевод к тем Джонсон Смит за целый Набор Усов, 20 различных вариантов, с Фу Манчу по Грочо Маркс. Изготовлены они из чёрного картона, с крепёжными загогулинами для вставки в нос пользователя, спустя какое-то время сопли впитываются в загогулины и те теряют упругость, а усы обвисают.

– Теперь какие?– спрашивает Катье, как только подделка становится явной.

– Плохой-парень,– грит Слотроп. Имея ввиду, поясняет он, подбритые, узкие, негодяйские.

– Нет, такие представят тебя в плохом свете. Почему не одеть усы хороший-парень для свежести образа?

– Но у хороших парней нет—

– Ах, нет? А как же Вайат Эрп?

На что можно возразить, что Вайат не таким уж был и хорошим. Но покуда что тянется эра Стюарта Лейка, до того как распоясались ревизионисты, и Слотроп верит, что Вайат был что надо. Однажды такой себе Генерал Виверн из Техической Службы ВКСЭС пришёл и увидал эрповские.

– Концы опущены,– замечает он.

– Ну, как и у Вайата,– поясняет Слотроп.

– А ещё и у Джона Вилкиз Бута,– говорит Генерал,– а?

Слотроп призадумался.–«Тот был плохим парнем».

– Точно. А почему бы не подкрутить концы кверху?

– Типа Английской манеры. Ну я так пробовал. Только из-за погоды или ещё там чего, эта ветошь всю дорогу опадает книзу, а и мне приходится откусывать те кончики. Что вообще бесит.

– Такая гадость,– грит Виверн,– в следующий приезд привезу ваксу для них. Её специально делают с горьким вкусом, чтобы отвадить, э, кончико-жуев, понимаешь.

Так что, если усы начинают делать мозги, Слотроп их ваксит. Катье всегда под рукой, подложена Ими к нему в постель, как мелочь под подушку, чтоб стряхнул

уже своё Американство, невинные резцы и Мамолюбящие молочные зубики рассыпаны, метя постукиванием след, за эти дни в Казино. По какой-то неясной причине, после уроков у него встаёт. Хм, совсем непонятно. Ничего такого особо эротичного в чтении инструкций наспех переведённых с Немецкого—смазанные оттиски мимеографа, какие-то даже выужены Польским Сопротивлением в сортирах тренировочного лагеря в Ближне, в пятнах неподдельного SS дерьма с мочой… или в заучивании факторов конвертирования, дюймы в сантиметры, лошадиные силы в *Pherdestärke*, в рисование по памяти схем и изометрии крученого лабиринта линий топлива, окислителя, пара, пероксида, перманганата, клапанов, входов, камер—что такого сексуального во всём этом? Тем не менее, после каждого урока хуй стоит как полено, внутреннее давление зашкаливает… какое-то временное помешательство, считает он, и отправляется на поиски Катье, рук, что бегают крабами по его спине и шёлковистого поскрипывания чулок о его берцовые кости...

Во время занятий, подняв голову, он частенько ловит сэра Стивена Додсон-Трака на том, что, сверившись с секундомером, тот чиркает какие-то заметки. Охренеть. Хотелось бы знать, к чему это всё. Ему и в голову не приходит, что это как-то связано с теми его загадочными эрекциями. Личность человека собиралась—или уж там настраивалась так—чтобы подозрения отклонялись по касательным прежде, чем наберут разгон. Зимний свет солнца охватывает половину его лица, как мигрень, наутюженные отвороты брюк, мокры и полны песка, потому что каждый день в шесть утра он шагает вдоль берега, сэр Стивен делает свой прикид вполне опознаваемым, если уж не свою роль в заговоре. Слотропу известно лишь, что он агроном, хирург мозгов, исполнитель партии гобоя в концерте—в том же Лондоне на всех командных уровнях полно таких многосторонних гениев. Но, как и с Катье, вокруг всесторонне образованной задорности Додсон-Трака висит явная аура подёнщика и лузера...

Однажды Слотропу подвернулся случай проверить это. Похоже, этот Додсон-Трак любитель шахмат. Под вечер одного из дней он в баре спросил Слотропа играет ли тот.

– Никак нет,– врёт,– ни даже в шашки.

– Проклятье. Мне до сих пор не случилось сыграть ни одной стоящей партии.

– Я знаю одну игру,– что-то от Тантиви пряталось внутри всё это время?– игра на выпивку, называется Принц, возможно как раз даже Англичане придумали её, потому что принцы же у вас, верно? а у нас нет, хотя в этом ничего плохого, понимаешь, но каждый берёт номер, а и начинаешь, что Принц Уэльский потерял хвосты, ну это так просто, без обид, номера идут по часовой стрелке вокруг стола, а номер два их нашёл, по часовой от Принца, или кто какой себе надумает, и он теперь Принц этот самый, шесть или ещё там что, понятно, сперва выбирается Принц, он начинает, потом номер два, или кого там Принц назвал, грит, но сперва он говорит, Принц, то есть, Уэльский, хвосты, сэр два, после того как скажет про то, как Принц Уэльский потерял свои хвосты, а номер второй отвечает, не я, сэр—

– Да, да, но,– взглянув на Слотропа самым странным взглядом,– то есть, хочу сказать, я не совсем понимаю, знаете ли, в чём, собственно, суть. Как в ней выигрывать?

Ха! Он ещё спрашивает как выигрывать: «Тут не выигрывают»,– уже на всех парусах, вспомянув Тантиви, маленький такой анти-заговорный экспромт,– «в неё проигрывают. Один за другим, победитель тот, кто остался».

– Звучит довольно отрицательно.

– Гарсон!– Выпивка для Слотропа всегда на Заведении—А им только того и надо, как ему кажется.– Вон того шампанского! Постоянно подливай, а когда кончается пусть несут ещё, *компредез*?– Какое-то число висло-губых младших офицеров, заслышав магическое слово, подтягиваются ближе и занимают места, пока Слотроп объясняет правила.

– Я не вполне уверен,— начинает Додсон-Трак.

– Чепуха. Чего там, только на пользу вырваться из той шахматной колеи.

– Стаканы побольше,– орёт Слотроп официанту.– Пожалуй, вон те пивные бокалы! Да! Самое оно.– Официант выхлопывает пробку из трёхлитровой бутыли *Veuve Clicquot Bru*t и наполняет всем по кругу.

– В общем, Принц Уэльский,– заводится Слотроп,– потерял свои хвосты и номер третий нашёл их. Принц, хвосты, номер три.

– Не я, сэр,– отвечает Додсон-Трак, как-то малость оборонительно.

– Кто, сэр?

– Пять, сэр.

– А что говорить надо?– Спрашивает Пять, Шотландец в парадных брюках в клеточку, хитрый с виду.

– Ты проебал,– распоряжается по-принцевски Слотроп,– так что пей. Всё до дна и без передыху.

Так оно и идёт. Слотроп сдаёт роль Принца Четвёртому и все номера сдвигаются. Шотландец выбывает первым, делая сперва умышленные ошибки, но вскоре уже неизбежные. Трёхлитровые бутыли приходят и приканчиваются, толстенные, зелёные, мятая серая фольга на горлышках блестит отражением электрического сияния бара. Пробки становятся прямее, не такие грибовидные, даты de *gorgement* продвигаются всё ближе в военные годы, а компания хмелеет. Шотландец с хихиканьем скатился со стула, продержался ходячим метра три, а там свалился спать под горшком пальмы. Другой молодой офицер немедленно вскальзывает на его место. Слово, из уст в уста, разнеслось по Казино, и вскоре

толпа обитателей собралась вокруг стола, выжидая вылета следующих. Притащен лёд громадным куском, папоротниково-растресканный внутри, испускающий белое дыхание каждой своею гранью, размолочен и расщеплён в большое мокрое корыто принимать процессию бутылей, что плывут из погреба уже как на конвейере. Вскоре замученным официантам приходится воздвигать пирамиды их пустых бокалов и наполнять их, как фонтаном, через верхний, пузырящиеся струи ниспадают, вызывая радостные клики толпы. Конечно же, какой-то шутник дотягивается выдернуть бокал у основания, вся конструкция начинает шататься, все подскакивают спасти что получится прежде чем всё с грохотом рухнет, обливая униформы и обувь—чтобы они могли начать построение заново. Игра переходит в Сменного Принца, где каждый названный номер моментально становится Принцем и все номера сдвигаются, соответственно. К этому времени уже невозможно определить кто ошибается. А кто нет. Возникают пререкания. Половина комнаты поют вульгарную песню:

ВУЛЬГАРНАЯ ПЕСНЯ

Всю ночь вчера я шпокал Королеву Трансиль-ва-ни-и,

Бургундскую сегодня буду шпокать, брат,

Вот-вот пересеку границу Шизофре-ни-и,

У Королевок я просто нарасхват...

На завтрак розовый шампусик и икра,

А к чаю завсегда Шатобриан, кусочка два—

Сигары я курю не ниже десяти за штуку шиллингов,

И до упаду хохочу, когда хочу,

Так расступайся чернь передо мной заранее,

Дорогу дай Шпок-шпокарю Царицы Трансиль-ваaa-ни-ии!

Голова у Слотропа уже шар, который летит не вертикально, а по горизонтали, исключительно поперёк комнаты, но при этом остаётся на месте. Каждая клетка мозга стала пузырёчком: он трансмутировал в виноград Эперней, прохладная тенистость, благородный отжим. Он вглядывается напротив, в сэра Додсон-Трака, который каким-то чудом всё ещё прям, хотя в глазах остекленелость. Ага, пральна, тута тоже стал анти-заговорным, да, да, щас... он сосредоточился пронаблюдать очередной пирамидальный фонтан, теперь уже из сладкого *Taittinger*, без всякой даты на наклейке. Официанты и сменившиеся крупье, сидят вдоль стойки, как птички на проводе, глазеют. Шум вокруг невероятнейший. Валлиец с аккордеоном стоит на столе. Наяривает «Испанскую красавицу» в до-мажоре, терзая этот хрипоящик как маньяк. Дым висит густой, клубящийся. В глубине его тлеют трубки. Не менее трёх кулачных поединков в процесс продолжения. Уже трудно определить в каком конкретно месте идёт игра Принц. Девушки толпятся в дверях, хихикают, указывают пальцами. Свет в комнате

побурел от набившейся униформы. Слотроп ухватил свой бокал, пытается встать на ноги, его крутануло и он с грохотом падает на текущую игру в кости. Элегантность, предупреждает он себя: элллегантность... Собутыльники поднимают его за подмышки и задние карманы, чтобы швырнуть в направлении Додсон-Трака. Он пробирается под столом, Лейтенант, а может два, падают на него по пути, через ещё один пруд искристого, добавочную трясину блевотины, прежде чем нащупалось то, что кажется ему набитыми песком отворотами брюк Додсон-Трака.

Осторожно опуская взгляд вниз на Слотропа: «Не уверен смогу ли, собственно, стоять...» Им потребовалось некоторое время, чтобы выпутать Слотропа из стула, а затем встать, тут случались сложности—определить направление к двери, нацелиться в неё... Шатаясь, поддерживая друг друга, они протолкались сквозь машущую бутылками, застывшую глазами, расхрыстанную, орущую, побелело-лицую, брюхо-хватную шарагу, в плывуче гибкую надушенную зрительскую аудиторию из девушек у двери, такие все сладко высокие, шлюз декомпрессии перед выходом.

– Блядь Святая!– таких закатов уже почти не бывает, закат необжитых земель 19-го столетия, пара из которых были перенесены, уж того стоили, на полотно, пейзажи Дикого Запада кисти художников, о которых никто никогда не слыхал, когда земли оставались ещё свободными, глаз невинным, а присутствие Творца более явным. И вот он всколоколил тут над Средиземноморьем, возвышенный и одинокий, этот анахронизм изначально красным, жёлтым такой чистоты, что уж нигде не сыщешь сегодня, чистота, что сама напрашивается на загрязнение… несомненно Империя продвигалась к западу, а куда ж ещё ей было кроме этих девственных закатов, чтобы всунуться и осквернить?

Но там на горизонте, вон возле кромки обожжённого мира, кто они, те недвижимые гости… вон те фигуры в длинных одеяниях—наверное, с учётом такой удалённости, ростом в сотни миль—их лица в безмятежной отстранённости, как у Будды, склоняются к морю, непостижимые, честное слово, как у того Ангела, что стоял над Любеком во время бомбёжки в пятницу перед Пасхой, явившийся тогда ни разрушать, ни сохранять, но засвидетельствовать игру в соблазн. Это стало предпоследним шагом Британской столицы перед тем, как она отдалась, вступила в связь, от которой пойдут у неё после сыпь и струпья отмеченные на карте Роджера Мехико, таящиеся в этой любви, разделённой с череном еженощных грабель Господина Смерти… потому что приказ КАС совершить рейд против гражданского Любека явился тем долгим взглядом, который не спутаешь ни с чем, зовущим *скорей же, иди и выеби меня*, на который подымаются и с визгом сыпятся ракеты, те самые, А4, которые по любому должны были пускать, да только чуть пораньше бы...

Так что же в этот вечер высматривают стражи края мира? теперь уже темнеющие, монументальные создания, стоически переходя в цвет шлака, пепла для стабилизации ночи, сегодняшней ночи… что тут такого грандиозно сто́ящего наблюдения? Только Слотроп тут, да сэр Стивен, счастливо бредут себе поперёк

длинных тюремно-решёточных теней отброшенных пальмами, что окаймляют эспланаду, отрезки между тенями сейчас омыты очень тёплым закатно-красным, поверх зернисто-шоколадного пляжа. Тут явно ничего с минуты на минуту не случится. Ни шелеста автомобильного движения на круговых дорожках, ни миллиарда франков поставленных на женщину или на соглашение наций за каким-то из столов внутри. Всего лишь довольно формальные взрыды сэра Стивена, только что опустившегося на одно колено в песок, ещё тёплый после минувшего дня: мягкие придушенные всхлипы отчаяния сдерживаемого внутри, так явно выдающие всю муку и гнёт, через которые пришлось ему пройти, что даже Слотроп способен ощутить, в своём личном горле, болезненные вспышки сочувствия к усилиям, что прилагает этот человек...

– О, да, да, знаете ли, я, я, я не могу. Нет. Я полагал, что вы знаете—хотя зачем вам скажут? Все *Они* знают. Я служебный курьёз. Даже людям известно. Нора путалась с толпой психов годы напролёт. Всегда сгодится для выпуска *Новости Мира*—

– Ах! Да! Нора—та дама, которую застукали в тот раз с парнишкой который-кто может менять свой цвет, верно? Охренеть! Точно, Нора Додсон-Трак! То-то мне имя показалось знакомым—

Но сэр Стивен уже продолжал: – «…был сын, да, мы были благословлены разумным сыном, мальчик вашего возраста. Франк… Думаю, его послали в Индо-Китай. Они очень вежливы, когда я спрашиваю, очень вежливы, но не дают мне знать где он... Они хорошие люди в Фицморис-Хаус, Слотроп. Они хотят как лучше. Всё это, в основном, моя собственная вина... Я очень любил Нору. Очень. Но были и другие вещи... Важные вещи. Такими я их считал. До сих пор считаю. Должен. Когда она продолжила, ну знаете… такая их натура. Сами знаете как они, домогаются, им только бы за-затащить в постель. Я не мог,– тряся головой, волосы раскалённо-оранжевые в этих сумерках,– я не мог. Забрался слишком далеко. Другая ветвь. Не мог спуститься обратно к ней. Она-она становилась счастливой просто от *прикосновения*, когда-никогда... Слушайте, Слотроп, ваша девушка, ваша Катье, о-она очень *красивая*, знаете.

– Знаю.

– О-они думают мне всё равно, уже. «Вы сможете прослеживать беспристрастно». Ублюдки… Нет, это я просто так… Слотроп, мы до того все механические пешки. Делаем что скажут. Вот и всё что в нас есть. Слушайте—что, по-вашему, я *чувствую?* Когда вы отлучаетесь после каждого урока. Да, я *бессильный*—мне остаётся лишь вести учёт, Слотроп. Писать отчёты…

– Эй, Асс…

– Не злитесь. Я безвреден. Вот ударьте меня, я свалюсь и тут же вскочу. Вот так.– Он демонстрирует.– Я переживаю за вас, за вас обоих. Я правда переживаю, поверьте, Слотроп.

– Окей. Вот и скажите мне что происходит.

– Мне не всё равно.

– Ладно, ладно…

– Моя «задача» наблюдать вас. Это моя задача. Вам нравится моя задача? Нравится? *Ваша* «задача»… изучить ракету, дюйм за дюймом. *Я* должен… посылать ежедневный отчёт о вашем прогрессе. И это всё, что мне известно.

Но это не всё. Он что-то утаивает, что-то ещё в глубине, а дурак Слотроп слишком пьян, чтобы хоть как-то докопаться.– «Про меня и Катье тоже? Подглядываешь в замочную скважину?»

Всхлипы: –«Какая разница? Для этого я совершенно подходящий человек. Совершенно. В половине случаев я не могу даже мастурбировать… гадкая молофья не брызжет на отчёты, знаете ли. Им не понравилось бы. Просто нейтральный, просто регистрирующий взгляд.… Они так жестоки. Не думаю, что они даже понимают, на самом деле… Они даже и не садисты… Там просто *полное бесчуствие...*

Слотроп кладёт руку на его плечо. Подкладка костюма сдвигается собравшись на тёплой кости под нею. Он не знает что сказать, что сделать: а сам чувствует себя порожним, спать хочется... Но сэр Стивен, коленопреклонённый, вот-вот, подрагивая на самом краю, скажет Слотропу ужасный секрет, роковое признание про:

Пенис, Который Он Считал Своим

(*ведущий тенор*): *Он пенис тот считал за свой—*

Твёрд словно кость, большой, озорной…

С отважной сизой головой

Торчком в кровати той,

Где девоньки играли в Телефон—

(*бас*): *Те-ле-фон...*

(внутренние голоса): Но пришли Они из дырки ночью,

(*бас*): *И ласково тетешкали покуда не пропал—*

(внутренние голоса): И больше уж нигде его он не сыскал…

(*тенор*): *Теперь он тает на глазах,*

Всё только "ох!", да только "ах!"

По пенису, который он считал своииим!

(*внутренние голоса*): *Был да сплыл!*

Фигуры в море выслушали, а теперь растрепались ветром и стали ещё отдалённей, пока отходит, холодея, свет... К ним так трудно дотянуться—трудно ухватить. Кэрол Эвентир, ища подтверждения ангелу Любека, узнал насколько трудно—он и его контроль Петер Сачса, оба, барахтаясь в трясине между мирами. Впоследствии, в Лондоне, состоялся визит самого вездесущего из всех двойных агентов, Сэмми Хильберт-Шпейса, про которого все думали, что он в Стокгольме или всё-таки в Парагвае?

– Вот оно что,– снисходительно рыбье лицо изучает Эвентира, подвижное, как тарелка антенны управления стрельбой и даже менее жалостливое,– а я-то думал, что—

– Вы думали, что просто отметитесь.

– Ещё и телепат, Боже, ну он хорош, а?– Однако, не спускает рыбьих глаз. Это довольно пустая комната. Адрес за Голахо-Мьюз обычно используется для трансакций наличными. Они вызвали Эвентира из «Белого Посещения». В Лондоне тоже знают как рисовать пентаграммы и произносить заклинания, как вызывать именно тех, кто потребуется... Стол уставлен стаканами, захватанными, беловатыми, пустыми или с осадком от тёмно-коричневых, либо красных напитков, пепельницами и обрывками искусственных цветов, которые этот вот Сэмми ощипывает, раскручивает, складывает в загадочные кривые и узлы. Паровозные дымы заносит в приоткрытое окно. Одна из стен в комнате, хоть и пустая, истёрта год за годом мелькающими тенями агентов, как некоторые зеркала в общественных пунктах питания отражениями посетителей: поверхность обретает характер, как старое лицо...

– Но ведь вы с ним не беседуете на самом деле,– ах, этот Сэмми, уж этого у него не отнять, умеет эдак вот мягонько, мягче мягкого,– то есть это же вам не телеграфист какой-то типа малость поболтать среди ночи...

– Нет, нет.– Эвентир тут понимает, что записи всего, что приходит через Сачсу, прочитываются—и ему показывают то, что прошло цензуру. И что именно так оно и продолжается уже какое-то неопределённое время... Вот и расслабься, впади в пассивность, посмотри что вырисовывается из разговора Сэмми, очертания, впрочем, Эвентиру уже известны—он вызван в Лондон, но его не просят войти в связь с кем-либо, значит, их интересует сам Сачса и цель этой встречи не в том, чтобы задействовать Эвенира, а предупредить его. Наложить вето на часть его личной скрытой жизни. Обрывки, тон голосов, выбор слов сейчас всё сплетается в нечто целостное: «…должно быть изумился, как обнаружил себя по ту сторону… однажды мне тоже достался Зачза или два… так уж держись от улицы подальше… сверять что к чему, старина Зачза тоже фильтрует *наши личности*, понимаешь, исходя из данных, так нам будет легче…»

Подальше от улицы? Всем известно как погиб Сачса. Но никто не знает почему он выходил в тот день, что привело его к этому. И Сэмми сейчас говорит Эвентиру: *Не спрашивай.*

Но попытаются ли они подобраться и к Норе тоже? Если тут возможны аналогии, если Эвентир как-то проецируется на Петера Сачсу, тогда, быть может, Нора Дадсон-Трак становится женщиной, которую Сачса любил, Лени Пёклер? Распространится ли вето на прокуренный голос Норы и её уверенные руки, и не станут ли держать Эвентира, на срок, может даже пожизненный, под некоей весьма утончённой формой домашнего ареста за преступления, о которых ему никогда не скажут?

Нора всё ещё продолжает своё Приключение, свою «Идеологию Нуля», удерживается среди прочёсанных каменных волос самых последних белых хранителей, пред самым последним шагом в тьму, в сияющее... Но где теперь отыщешь Лени? Куда могла она уйти, унося своего ребёнка и свои грёзы, что никак не взрослеют? Либо мы не собирались терять её—либо мы имели дело с эллипсом, в чём, как некоторые из нас готовы поклясться, и заключается наша любовь, или же кто-то снял её, умышленно, по причинам не подлежащим разглашению, и смерть Сачсы часть этого. Своими крыльями она смела не ту жизнь—не жизнь своего мужа Франца, который мечтал, умолял быть забранным именно так, но вместо этого удержан для чего-то совершенно другого—Петера Сачсу, что был пассивен по иному… или тут какая-то ошибка? Неужто Они никогда не допускают ошибок, или… зачем он тут оказался, мчась вместе с нею к собственному концу (как, собственно, и Эвентир втянутый в буруны расходящиеся от яростного продвижения Норы) её тело заслоняет ему полный обзор того, что лежит впереди, стройная девушка обернулась древесной, широкой, материнской… всё, чему он должен следовать, это обломки их времён рассыпающиеся во все стороны, разлетающиеся длинными спиралями, в запылённое невидимое, где последний осколок солнечного света лежит на булыгах дороги… Да: как ни абсурдно, он исполняет фантазию Франца Пёклера за него, здесь притиснувшись к её спине, совсем маленький, *взят*: уносимый вперёд в эфиро-ветер запах которого… нет, *не тот запах*, что он ощутил в последний миг перед своим рождением… пустоты задолго до того, которую он должен был запомнить… и стало быть, если он здесь опять… значит… *тогда*...

Их оттесняет цепь полицейских. Петер Сачса стиснут со всех столон, пытается удержаться на ногах, вырваться невозможно… Лицо Лени движется, безостановочно, напротив проносящихся окон Гамбургского Экспресса, бетонных дорог, эстакад, производственных башен Марка, улетающих прочь свыше сотни миль в час, превосходный фон, коричневый, смазанный, малейшая ошибка курса, дорожного покрытия на такой скорости и им конец… её юбка задралась сзади, оголились ляжки, красноватые отметины от сиденья в вагоне, обёрнуты к нему… да.. от неизбежности катастрофы, да, кто бы ни взглянул, да... «Лени, ты где?» Она держала его локоть меньше десяти секунд назад. Они условились заранее держаться вместе насколько получится. Но тут уже движение двух разновидностей—не реже, чем случайные промельки чужаков, за отчётливой

линией стычки по контуру Силы доводящей людей, сплотиться на какое-то время, в любви, когда даже насилие кажется бессильным фиаско, точно так же любовь, здесь на улице, может оказаться вновь в центробежном разбросе: лица, увиденные тут в последний миг, слова, выговоренные бездумно, через плечо, в полной уверенности, что она рядом, уже последние слова… «Вальтер тоже принесёт вина? Я забыл…» это стало шуткой между ними, его забывчивость, затерянность в подростковом замешательстве, а теперь и безнадёжная влюблённость в малышку, Ильзе. Она его убежище от общества, вечеров, клиентов… часто она его спасенье от безумия. Он втянулся ненадолго каждую ночь посидеть рядом с её кроваткой, совсем запоздно, глядя как она спит, попкой кверху, лицом в подушку… такая чистота, *истинность* в этом… А вот мать её, в своём сне, стала часто скрипеть по ночам зубами, хмурится, говорить на языке, на котором он вряд ли, когда или где-либо, говорил достаточно бегло. Вот уже неделю… ну что он понимает в политике? Он только лишь видит, что она переступила порог, нашла развилку во времени, куда ему не дано последовать...

– Ты ведь мать ей… а если тебя арестуют, с нею что будет?

– А им только этого—Петер, как ты не понимаешь, им нужна громадная набухшая титька и некое атрофированное ничто, под именем человека, блеющее где-то там в её тени. Разве могу я быть для неё *человеком*? Ни даже *матерью* ей. «Мать» это категория общественных служб, Матери работают на *Них*! Они полицаи душ…– лицо её потемнело, стало иудейским от слов произносимых ею, не потому, что громко, а потому, что она так и думает, и она права. Рядом с её убеждённостью, Сачсе виднее мелкота его собственной жизни, застоялая ванна тех посиделок, где годами не меняются даже лица... слишком много полу-тёпленьких лет...

– Но я люблю тебя…– она отбрасывает волосы с его вспотевшего лба, они лежат под окном, куда уличный-и-рекламный свет вливается постоянно, охлёбывая их кожу, все её выпуклости и затенённости, в спектрах холоднее тех, что астрологи отводят луне... – Тебе не надо быть кем-то, кем ты не есть, Петер. Меня бы здесь не было, если бы я не любила тебя такого...

Она гнала его на улицу, была его смертью? С его точки зрения, с той стороны, нет. В любви, слова можно толковать слишком по-разному, вот и всё. Но он действительно чувствует, что был послан, по какой-то особой причине...

А Ильзе, заигрывает с ним своими тёмными глазками. Она может произносить его имя. Но часто, чтобы пофлиртовать, отказывается, или зовёт его *Мама*. «Нет-нет, Мама вон она, а я Петер. Запомнила? Петер».

– Мама.

Лени только уставится и смотрит, задержавшаяся меж её губ улыбка почти что, должен он отметить, самодовольная, попустительская путанице имён, вызывает затухающее эхо попранной мужской гордости, которого она не может не слышать.

– Я просто радуюсь, что *на меня* она не говорит Мама,– Лени это кажется исчерпывающим объяснением, но это всё слишком связано с идеологией, он в этом ещё не разобрался. Он не знает, как слушать такие разговоры, выходящие за пределы лозунгов: не научился слушать революционным сердцем и ему, фактически, не отпущено достаточно времени, чтобы накопить революционное сердце из худородной товарищеской любви остальных, нет, на это теперь уже нет времени, да и вообще ни на что-либо другое кроме последнего вдоха, резкого вдоха человека напуганного улицей, нет даже времени утратить свой страх как издревле водится, нет, потому что вот он, шуцман Йохе, дубинка уже занесена, часть головы Коммуниста подставилась так по-глупому, так без понятия про него и его мощь… первый чёткий удар шуцмана за весь день… секундочка в секунду, он чувствует это в своей руке и в дубинке, что уже не болтается сбоку, но отведена сейчас назад в мускулистом замахе, до упора, до пика потенциальной энергии… далеко внизу эта серая вена на виске человека, хрупкая, как пергамент, так отчётливо выпукла, вздрагивает уже в своём предпоследнем ударе пульса… и, БЛЯДЬ! о— *как*—

Как оно прекрасно!

В эту ночь сэр Стивен исчезает из Казино.

Но не прежде, чем сказать Слотропу, что его эрекции представляют немалый интерес для Фицморис-Хауса.

Уже утром врывается Катье, всполошённая больше мокрой курицы, сказать Слотропу, что сэра Стивена нет. Всем вдруг приспичило что-то ему сказать, а он едва-едва проснувшись. Дождь стучит по ставням и окнам. Утра понедельников, расстроенные желудки, прощания… он моргает на затянутое туманом море, горизонт окутан серым, пальмы поблескивают в дожде, тяжёлые, мокрые, и очень зелёные. Возможно, в нём всё ещё то шампанское—на десять необычайных секунд, ничто его не задевает, кроме просто любви к тому, что видит.

Затем, извращенчески сознавая это, он отворачивается, обратно в комнату. Время поиграть с Катье, теперь...

Её лицо побелело, как её волосы. Дождевая ведьма. Поля её шляпы создают шикарный кремово-зелёный ореол вокруг её лица.

– Ну тогда его, выходит, нет.– Глубокомыслие подобного рода вполне может вывести её из себя.– Это плохо, очень. Но, опять-таки—может и к лучшему.

– Хватит о нём. Что тебе известно, Слотроп?

– Что значит, хватит о нём? Ты что, так вот запросто отшвыриваешь людей?

– Ты хочешь узнать?

Он стоит покручивая ус: –«Расскажи мне, в чём дело».

– Ты сволочь. Всё пустил под откос, этой своей хитренькой игрой в коллективную пьянку.

– Что всё, Катье?

– Что он сказал тебе?– Она придвигается на шаг ближе. Слотроп следит за её руками, вспоминая армейских инструкторов дзюдо, которых ему доводилось видеть. Ему доходит, что он голый и к тому же, хмм, похоже, у него встал, осторожней, Слотроп. Да тут и запротоколировать некому, или размыслить с чего бы оно так...

– Точно не говорил, что ты натаскана в этом дзюдо. Обучалась, небось, в той *Голландии*, а? Правда, мелочи,– распевает нисходящими ребячьими терциями,– тебя выдают, сама знаешь...

– Ааа…– взбешённо, она в броске целит ему в голову, от чего ему удаётся увернуться—идёт нырком под её руку, вскидывает на себя, как пожарный пострадавшего, швыряет её на кровать и бросается следом. Она пинает его в хуй, с чего и надо было сразу начинать. Её момент, однако, сокрушительно упущен, не то разделала бы Слотропа под орех… впрочем, возможно, она хотела промахнуться, лишь пропахала Слотропа вдоль ноги, но он снова увиливает, хватает её за волосы и заламывает её руку назад, толкая, лицом вперёд, на постель. Её юбка задралась выше задницы, ляжки выкручиваются под ним, его пенис в жуткой эрекции.

– Послушай, пизда, не выводи меня из себя, мне женщин бить не жалко, я Кэгни из Французской Риверы, так что смотри мне.

– Я убью тебя…

– Что? И пустишь под откос всё это?

Катье оборачивает голову и впивается зубами ему в предплечье, как раз то место, куда входили иглы с Пентоналом.– «О, *блядь*—»,– он отпускает руку, которую выкручивал и сдёргивает трусики с неё, стискивает одно бедро и входит в неё сзади, дотягиваясь снизу до её сосков, наминая её клитор, скребёт ногтями промеж ляжек, вот что значит Мистер Техника, хотя всё это ни к чему, они оба вот-вот кончат—Катье первой, визжа в подушку, Слотроп секундой или двумя позже. Он лежит на ней, обливаясь потом, прерывисто дышит, глядя на её лицо отвернувшееся на ¾, не профиль даже, а ужасное Лицо, что Уже не Лицо, ставшее слишком абстрактным, недосягаемым: впадинка глазницы, но никак не скачущий глаз, всего лишь анонимный изгиб щеки, выступ рта, безносая маска Существа Иного Порядка, существа Катье—безжизненная безликость единственное из её лиц, что он действительно изучил, или навсегда запомнил.

– Эй, Катье,– всё, что он грит.

– Мм.– Но теперь остаётся лишь её давняя осадочная горечь, а они, в конце концов, не из тех любовников, кто спускается на парашютах в залитой солнечным светом кисее, мягко спадая, рука об руку, на что-то полное лужаек и покоя. Тебя удивляет?

Она отодвинулась, выпустив его хуй в холод комнаты.– «Как оно в Лондоне, Слотроп? Когда падают ракеты?»

– Как?– После ебли, он обычно любит поваляться, подымить сигаретой думая о еде,– ну пока не ахнет, ты не знаешь, что она где-то есть. Блин, уже после того, как рванёт. И если не в тебя, значит ты в порядке до следующей ракеты. Как услышишь взрыв, стаёт ясно, что ты должно быть жив.

– Это так узнаёшь, что жив.

– Верно.– Она садиться, подтягивая трусики обратно вверх, а юбку обратно вниз, проходит к зеркалу, начинает причёсывать волосы:– «Ну-ка, послушаем про температуры внешнего слоя. Пока ты одеваешься».

– Температура внешнего слоя, Т корень из е, что *оно* такое? нарастает резко до *Brennschluss*, где-то в районе 70 миль, а и потом там крутой взмыв, 1200 градусов, потом немного падает, минимум 1050 градусов, пока не покинет атмосферу, где опять скачок до 1080 градусов. Остаётся довольно стабильной при обратном вхождении,– блаблабла. Тут музыка перехода, расцвеченная ксилофонами, основана на каком-нибудь старом хите, что прокомметирует, с лёгкой иронией, дальнейшее развитие—мелодия типа «Школьные дни, Школьные дни», или «Жозефина, садись в мой самолёт», а хоть даже и «Ох, жаркой будет эта ночка в нашем городишке», выбирай что приглянётся—замедляется и стихает к остеклённому крыльцу входа, Слотроп и Катье в *tête-à-tête*, за исключением нескольких музыкантов в углу, что кряхтят и трясут головами, сговариваясь как им всё-таки заставить Сезара Флеботомо платить им иногда. Хреновая халтура, хреновая халтура… Дождь разбивается о стекло, лимонные и миртовые деревья снаружи трепещут на ветру. Над круссантами, земляничным вареньем, настоящим маслом, настоящим кофе, она гоняет его по профилю полёта относительно температуры стен и коэффициентов Нусельта, проверяет его подсчёты в уме из чисел Рейнольдса, что она выдаёт ему… уравнения движения, сброса, моментов выравнивания… методика счисления *Brennschluss* по IG и радио методы… уравнения, трансформации...

– Теперь рост тяги при изменении угла. Я называю высоту, ты говоришь мне угол.

– Катье, может ты будешь говорить *мне* угол?

Её позабавила, как-то раз, мысль о павлине, обхаживает, распускает свой хвост… она углядела это в переливающихся оттенках цвета пламени, что отрывалось от платформы, алый, оранжевый, радужно-зелёный… некоторые немцы, даже из SS, называли ракету Der Phau. «Phau Zwei». Подъём, перепрограммированный в обряд любви… к Brennschluss он завершался—чисто женское дополнение Ракеты,

нулевая точка в центре цели, отдавалась. Всё прочее произойдёт следуя законам баллистики. Тут у Ракеты уже нет вариантов. Что-то распоряжается ею. Что-то за пределами встроенного.

Катье воспринимала огромную арку в безвоздушность, как явный намёк на некие похотливые желания, что движут планетой и ею, и Теми, кто использует её— перевалить через пик и вниз, с разгону, в горении, к окончательному оргазму… чего, конечно, она никак не может пересказать Слотропу.

Они сидят, выслушивая порывы ливня порой почти переходящего в мокрый снег. Зима накапливается, дышит, углубляется. Шарик рулетки тарахтит где-то в глубине другой комнаты. Она увиливает. Почему? Слотроп пытается припомнить, всегда ли только лишь так приходилось ей говорить, отстреливаясь, отшатываясь прежде, чем сможет к нему прикоснуться. Самое время начать задаваться вопросами. Он составляет анти-заговор впотьмах, налегая на ту, или другую из дверей, никогда не знаешь что выбредет наружу...

Тёмный базальт выпирает из моря. Па́ром зависла маскировочная сеть над сушей и над шатэ на ней, превращая всё это в зернисто-старинную почтовую открытку. Он прикасается к её кисти, пальцы движутся вверх по обнажённой руке, достигая…

– Хмм?

– Пойдём наверх,– грит Слотроп.

Она, возможно, заколебалась, но до того кратко, что он и не заметил:– «О чём мы только что тут говорили?»

– Про ту ракету, А4.

Она смотрит на него очень долго. Сперва ему кажется, что она вот-вот рассмеётся. Потом, похоже, она собирается заплакать. Он не понимает. «О, Слотроп. Нет. Ты меня не хочешь. Может им это нужно, но ты не хочешь. Не больше, чем А4 хочет Лондон. Однако не думаю, что кого-то интересуют другие «я»… твоё или Ракеты… нет. Не больше твоего. Если сейчас не в состоянии понять этого, то хотя бы запомни. Это всё, что я могу для тебя сделать.

Они возвращаются в её комнату снова: хуй, пизда, понедельничный дождь в окнах... Слотроп проводит остальную часть утра и первую половину дня штудируя профессоров: Шиллера о регенеративном охлаждении, Вагнера об уравнениях зажигания, Пауэра и Бека о выхлопных газах и эффективности сгорания. Слотроп проводит пару часов внизу, в баре, официанты, поймав его взгляд, лыбятся, приподымают бутылки шампанского, побалтывают их приглашающе. «Нет, *merci*, *non*...» Он старается заучить организационную структуру там у них в Пенемюнде.

Когда свет начинает стекать прочь с нависшего неба, он и Катье выходят пройтись, прогулка под конец дня вдоль эспланады. Её рука без перчатки, как лёд

холодна в его руке, узкое чёрное пальто делает её выше, а её затяжные молчания истончают её до тумана… Они останавливаются, опёршись на перила, он смотрит на средизимнее море, она на слепое промозглое Казино, высящееся позади них. Бесцветные тучи скользят мимо, бесконечно, в небе.

– Мне вспомнилось, как я наткнулся на тебя. В тот день.– Он как-то не может выразиться вслух точнее, но она знает, что это про Гимлер-Шпильзааль.

Она резко обернулась: –«Мне тоже».

Их дыхания отрываются клочками фантомов уносимых в море. Сегодня она зачесала волосы вверх, в помпадур, её светлые брови выщипаны в крылья, подчернены, глаза обведены чёрным, только крайние пара ресниц пропущены и остались светлыми. Свет туч, падая наискосок через её лицо, уносит цвета, мало что оставляя, кроме формального снимка, вроде того, что вклеивают в паспорт...

– А и ты так была далеко тогда… Я не мог до тебя дотянуться...

Тогда. Что-то похожее на жалость появляется в её лице и снова уходит. Но её шёпот смертельно ярок, как нежданная телеграмма: –«Может ты ещё узнаешь. Может в каком-то из их разбомблённых городов, рядом с какой-то из их рек или лесов, однажды даже в дождь, это придёт к тебе. Ты вспомнишь Гимлер-Шпильзааль и юбку, что была на мне… воспоминание затанцует перед тобой, и ты сможешь даже представить мой голос говорящий то, что я не смогла тогда сказать. Или сейчас». О, что это, неужто она улыбнулась ему, всего на эту секунду? и вот уже нет. Вернулась к маске не имеющей удачи, ни будущего—дежурное состояние её лица, излюбленное, самое лёгкое...

Они стоят среди гнутых чёрных скелетов скамей, на изгибе эспланады вздыбленной круче, чем вообще требуется для яви: круговоротно, стараясь сбросить их в море и отделаться от этого всего в конце концов. День схолодал. Ни один из них не может удерживаться в равновесии надолго, каждую пару секунд кто-то переступает с ноги на ногу, чтоб устоять. Он протягивает руки и поднимает её воротник кверху, удерживает её щёки в своих ладонях… пытается вернуть цвет плоти, что ли? Он смотрит вниз, пытаясь заглянуть в её глаза и с изумлением видит слёзы в каждом из них, что просачиваются через ресницы, тушь истекает чёрной кровью тонких витков… прозрачные каменья, дрожащие в своей оправе...

Волны дёргают и колошматят камни пляжа. Гавань разбита в барашки, слишком блестящие, вряд ли собрали свой свет со скудного неба. Вот он снова тут, тот идентичного вида Иной Мир—так ему теперь ещё и об этом переживать, сейчас? Что за—гля, эти деревья—каждая из длинных косм, пронизана, выворачиваясь напряжённым изломом напротив неба, каждая размещена с таким совершенством...

Она выгнула свои ляжки прикоснуться к нему выступом бёдер, сквозь своё пальто—может это поможет всё-таки вернуть его обратно—её дыхание белым шарфиком, дорожки от её слёз, подсвечены зимой, льдисты. Ей тепло. Но этого

недостаточно. Никогда не было—нет уж, он понимает всё правильно, она имела ввиду прощание надолго. Противостоя ветру, который подгоняют вспененные гребни волн, или крутизне тротуара, они держаться друг за друга. Он целует её глаза, чувствует, что хуй снова начал полниться добрым старым, остервенелым давним—давним, в любом случае—вожделением.

Где-то от моря начинает играть одинокий кларнет, комичную мелодию, поддерживают через несколько тактов мандолины с гитарами. Птицы хохлятся, блеско-глазые, на пляже. На сердце у Катье легчает, немного, от звука. У Слотропа ещё не выработаны Европейские рефлексы на кларнет, он всё ещё представляет Бенни Гудмена, а не клоунов цирка—но погоди-ка… это не *казу* ли вступает? Точняк, *цельная куча* казу! Казу *Оркестр!*

Поздно той ночью, опять в её комнате, на ней красное платье тяжёлого шёлка. Две высокие свечи горят на неясном расстоянии позади неё. Он чувствует перемену. После того, как они занимались любовью, она лежит, приподнявшись на локте, рассматривая его, глубоко дышит, тёмные соски вздымаются, как буйки скачущие на белом море. Но глаза её затянуты поволокой: ему не видно даже её обычного отхода, в этот последний раз, скрытного, ловкого, в угол какой-то далёкой внутренней комнаты...

– Катье.

– Шшш,– проведя замечтавшимися ногтями в направлении утра, вдоль Côte d'Azur, в сторону Италии. Слотропу хочется запеть, он так и собирается, но на ум не приходит ничего подходящего. Он протягивает руку и, не плюнув на пальцы, гасит свечи. Она целует боль. Стало ещё больнее. Он засыпает в её объятиях. Когда просыпается, её нет, совершенно, большинство её никогда не надёванных платьев так и висят в гардеробе, волдыри, малость воска на его пальцах, и одна сигарета, до сроку сдавленная в раздражённый рыболовный крюк… Она никогда не тратила сигарет попусту. Должно быть, сидела, курила, наблюдая, как он спит… покуда что-то, ему никогда уже не спросить её что именно, сорвало её, сделало невозможным ждать пока кончится сигарета. Он распрямил её, докуривает, нечего разбрасываться куревом, раз война идёт дальше...

* * * * * * *

– Обычно, своим поведением мы реагируем не на что-либо единичное, но на всю совокупность содержащегося в нашем непрестанно присутствующем окружении. Тогда как у стариков,– излагал в своих лекциях 83-летний Павлов,– всё обстоит совершенно иначе. Сосредотачиваясь на единичном стимуле, мы исключаем, путём отрицательной индукции, другие сопутствующие и одновременные стимулы, поскольку те зачастую не вписываются в обстоятельства, не являются дополняющими реакциями на данную обстановку.

Так [никому эти личные записи Пойнтсмен никогда показывает], потянувшись

к цветку на столе моём,

Осознаю, как комнаты мозаика простая

Неспешно начинает растворяться, ингибиционно,

Вокруг цветенья, стимула, потребности

Горящей ярче, а резкость, отхлынув

Из всего вокруг, сосредоточена на нём

(Но не настолько, чтобы аж слепить), как фокус наведённый.

Хоть вокруг, в гипнозу равном комнаты смерканьи,

Немало прочего всего—здесь книги, инструменты,

Одежда старика, для городков увесистая бита,

Всё стушевалось в призраки вещей,

В мои воспоминанья о том, где, как и почему всё было,

Стёрты, в этот миг, лишь фокус пламенеет:

В наклоне к хрупкому и ждущему цветку…

Попутно, что-то там из остального—ручка, иль пустой стакан—

Задето, уронилось с места, где стояло, и, возможно, закатится

Вовне границ померкших памяти...

Что, ясность тут внесём, отнюдь не «ротозейство старца»,

Тут сконцентрированность, которую те, что помоложе,

Со смехом, тут же отметут, их мир

Им дарит больше, чем одна потеря—

Тогда как, в восемьдесят три, кора уж ослабела,

Процессы возбуждения сгорели до золы,

Настройкой сдерживающих запретов истёрты пальцы,

И всякий раз, как комната уходит в неясность таковую,

Мне кажется, что некий город вижу я где ведут ученья по отключенью света

(Докатимся и до такого, если Германия продолжит

Столь безумный курс). И гаснет каждый огонёк...

За исключеньем одного цветка горящего,

И не под силу погасить его Дежурным. Иль не на этот раз.

Еженедельные брифинги в «Белом Посещении» попросту прекратились. Бригадного Генерала как-то и не видать нигде. Явный признак бюджетной необеспеченности начавшей просачиваться в увенчанные херувимами залы и закоулки дислокации ПРПУК.

– Старик сдрейфил,– вопит Майрон Грантон, и сам-то не сильно стабильный в эти дни. Группа по Слотропу собралась на своё регулярное заседание в крыле ОИА.– Он прикончит всю программу, стоит ему хоть одну ночь промаяться бессонницей...

Некая доля благовоспитанной паники проступает среди присутствующих. На заднем плане движутся лабораторные ассистенты занятые уборкой собачьего дерьма и калибровкой инструментов. Крысы с мышами, белые и чёрные, а также нескольких оттенков серого, топоча, мчат в колёсах внутри сотни клеток.

Лишь Пойнтсмен сохраняет посреди всего спокойствие. Его отличает вид невозмутимой силы. В его лабораторных халатах с недавних пор начала проглядывать беззаботность Севил-Роу, талия присобрана, рукава клёшем, прорези в лацканах с лёгкой задоринкой. В эту засушливо скудную пору, он лучится изобилием. Когда лай, наконец, улёгся, он произносит, успокаивающе: –«Бояться нечего».

– Бояться нечего?– вскрикивает Аарон Тростер и все они заводят снова свой скулёж и причитания.

– Слотроп вышиб Додсон-Трака и девушку за один день!

– Всё рухнуло, Пойнтсмен!

– С момента возвращения сэра Стивена, Фицморис-Хаус отменил их участие в программе, и последовали нескромные запросы от Дункана Сандис—

– Это же зять Премьер-Министра, Пойнтсмен, нехорошо, нехорошо!

– Мы начинаем уже скатываться в дефицит—

– Финансирование,– ЕСЛИ не терять головы,– выделено и вскоре будет поступать… наверняка, раньше, чем у нас возникнут серьёзные трудности. Сэра Стивена вовсе не «вышибли», и он, как ни в чём не бывало, работает в Фицморис-Хаус, желающие могут убедиться. Мисс Боргезиус остаётся в программе, а м-р Дункан Сандис получил ответы на свои запросы. Но самое главное, мы в бюджете на финансовый '46-й, прежде, чем что-либо смахивающее на дефицит начнёт поднимать голову.

– Опять ваши Заинтересованные Стороны, Пойнтсмен?– грит Ролло Грост.

– А, то-то я заметил, как Клив Монсун из Империал Кемикалз позавчера уединялся с вами,– припоминает Эдвин Трикл.– Мы с Кливом проходили курс-другой органической химии в Манчестере– Так ИК один из наших, э, спонсоров, Пойнтсмен?

– Нет,– без запинки.– Клив Монсун, вообще-то, работает от Молет-Стрит сейчас. Боюсь, мы не злоумышляли ничего страшнее небольшой координации усилий в этом деле по *Schwarzkommando*.

– Чёрта с два. Я знаю, что Клив в ИК заведует какой-то разработкой по полимерам.

Они уставились друг на друга. Один из них лжёт либо блефует, или оба, или же сразу всё из вышеперечисленного. Но при любом раскладе у Пойнтсмена есть небольшое преимущество. В упор наблюдая, как сдыхает его программа, он обрёл здоровенный шмат Мудрости: что если в природе существует некая жизненная сила, то бюрократия ничего подобного не имеет. Ничего настолько мистичного. Всё сводится, как и следовало ожидать, к желаниям отдельных индивидуумов. О, и женщин тоже, конечно, да будут благословенны их пустые головки. Но выживание зависит от наличия достаточно сильных желаний—от знания Системы лучше, чем другой, и от умения использовать её. Работа такая, только и всего, и тут не остаётся места внечеловеческим опасениям—те только расслабляют волю, делают её бабьей, а мужчина либо поддаётся им, или же бьётся до победного конца, *und so weiter*. «Хотел бы я, чтобы ИК и *впрямь* отчасти финансировали это»,– улыбается Пойнтсмен.

– Слабовато, слабовато,– бормочет д-р Грост, молодой ещё.

– Ну и что с того?– кричит Аарон Тростер.– Стоит старику встать не с той ноги и всей музыке капут.

– Бригадный Генерал Падинг будет придерживаться своих обязательств,– Пойнтсмен непоколебимо уверен, спокоен,– с ним у нас имеются договорённости. Детали не слишком важны.

А других и не бывают на этих его собраниях. Трикл в два счёта пущен по ложному следу насчёт Монсуна, въедливое пыхтенье Ролло Гроста никогда не поднимается до уровня серьёзной оппозиции, и оно на руку для придания видимости открытого обсуждения, так же как эпизодические истерики Тростера для отвлечения остальных... Так-то вот, собрание заканчивается, заговорщики направляются к чашечкам кофе, жёнам, виски, сну, безразличию. Вебли Силвермейл остаётся настраивать свой аудиовизуальный прибор и шмонать пепельницы. Пёс Ваня, на данный момент в своём нормальном состоянии рассудка, но не почек (которые у него бобо после курса бромо-терапии), выпущен ненадолго из тестового стенда и сейчас со всех сторон обнюхивает клетку Крысы Ильи. Илья прикладывает свою мордочку к гальванизированной сетке и оба

замирают так, нос к носу, жизнь и жизнь... Силвермейл, обдувая согнутый в дугу окурок, под грузом 16-мм проектора, покидает ОИА вдоль длинного прохода между клетками. Разминочные колёса мельтешат в свете флуоресцентных ламп. Бережись, робяты, вона прёт мудло. О, он так ничё, Луи, он чувак нормальный. Остальные ухохатываются. Тады, чё он тута делайить, а? Длинные белые лампы зудят над головой. Серо-халатные ассистенты болтают, курят, копошатся в рутинных действиях. Опаньки, Лефти, этот раз за тобой идут. Глянь-ка, гля, хохочет мыш Алексей, ща он меня возьмёт, а я и насру ему прямо в руку! Лучче не нада, сам знаешь шо было Слагу, не? Када он так вот учудил, они ево паджарили, паря, как токо сунулсси не туды в ёбаном лабиринте. Сто вольт, ага. Сказали, шо то так по случайности вышло. Ага… *канешна*, а шо ж ишчо!

Сверху, под Германским углом съёмки, Вебли Силвермейлу вся эта лаборатуха смахивает на полнейший лабиринт, а чё нет?.. бихейвиористы крутятся вокруг всех тех ихних столов и приборов, прям тебе крысы с мышвой. Их заставляет бегать не кусочек жрачки, а удачный эксперимент. Но кто наблюдает сверху, кто отслеживает их реакцию? Кто слушает зверушек в клетке, когда они спариваются, кормят или общаются через серые прямоугольнички, или же, вот как сейчас, начинают петь… покидают свои загородки, разрастаясь до размеров Вебли Силвермейла (хотя все те лаборанты, похоже, без понятия про это всё), чтоб танцевать с ним вдоль длинных проходов и мимо всякого железа приборов-аппаратов под барабаны конга и там-тамы тропически жгучего оркестра, под очень популярный бит и мелодию:

Павловия (*бальный танец*)

Весна пришла в Павловию-ю-ю,

Я в лабиринте заблудился…

Пропах лизолом лёгкий бриз,

И без конца мой поиск длился.

Тебя я встретил в тупичке,

Откуда ты взялась и как же тебя звать?

Тут наши носики нечаянно столкнулись

И сердце моё научилось летать!

Так вместе отыскали мы путь свой,

Кусочек жрачки сгрызли или два…

Всё было словно вечер в кафешке с тобой,

Ничё мне не надо, не нужны нам слова…

Осень пришла в Павловию-ю-ю,

И вот я снова один—

Долбают меня милливольтами,

Аж до нейронов и до кости

Тебя вспоминаю моментами,

Хоть имя забылось, уж ты прости—

Ничего не осталось мне кроме Павлови-и-и,

Уйду в лабиринт и меня не зовиии...

Они танцуют плавными витками. Крысы и мыши кружат в хороводе, выгибая свои хвосты так и эдак, чтоб сложился узор хризантемы или же солнца раскинувшего лучи, под конец, все вместе составляют очертание единой гигантской мыши, в чьём глазу Сильвермейл позирует с улыбкой, вскинув руки буквой V, продляя последнюю ноту песни вместе с огромным хором грызунов и оркестром. Одна из классических пропагандистских листовок ОПВ в эти дни призывает гренадеров фольксштурма: *SETZT V-2 EIN!,* а в примечании поясняет, что «V-2» означает вскинуть руки над головой и «почётно сдаться»—такой вот юмор висельника—а заодно учит как надо фонетически правильно говорить «йа здайусся». Так эта вот Веблинова V тут призвана символизировать «викторию» или «здайусся»?

Они насладились моментом своей свободы. Вебли нужен был лишь как заезжая звезда на гастролях. Теперь брысь по клеткам, обратно к рационализированным формам смерти—смерть на службе единственному виду, что проклят знанием о собственной смертности... «Я б вас освободил, если б знал как. Но свободы тут не дождёшься. Все животные, растения, минералы, даже другие виды человека, ежедневно распускаются и складываются заново, ради сохранности немногих элитных, что громче всех теоретизируют о свободе, но свободны меньше остальных. Я даже не могу вас обнадёжить, что когда-нибудь станет иначе—что Они выйдут и забудут смерть, и утратят выверенный ужас своей технологии, и перестанут использовать все остальные формы жизни без жалости, для удержания человека на достаточно запуганном уровне—но вместо этого просто станут как вы тут, просто живыми...» Гастролирующая звезда удаляется вдоль коридоров.

Огни, все, кроме розбрызгов там и сям, погашены в «Белом Посещении». Небо в эту ночь тёмно-синее, синее как флотская шинель, и облака в нём удивительно белые. Ветер твёрд и холоден. Старый Бригадный Генерал Падинг, дрожа, выскальзывает из своего помещения по ступеням чёрного хода, маршрутом известным лишь ему, через пустую оранжерею в свете звёзд, вдоль галереи развешенной, чтобы сплести кружево из модников, лошадей, дам с яйцами варёными вкрутую вместо глаз, чтобы покинуть её через маленькую антресоль (пункт *максимальной опасности*…) и далее в комнату-склад лишней мебели, где штабели старья и черноты пролёгшей без разбору, даже на таком удалении от детства, запросто осыпают морозом по коже, а там снова наружу и вниз по нескольким ступенькам из метала, напевая, как он надеется, тихонько, для храбрости:

Омой меня водой,

Которой моешь дочь свою грязнулю,

И стану я белей побелки на стене...

Вот наконец и крыло Д, где окопались сумасшедшие из 30-х. Ночной дежурный спит накрывшись номером *Дейли Херальд*. По виду он грубый жлоб, а читал передовицу. Знак близящихся перемен, предстоят выборы? Ой-ой-ой…

Но у того приказ пропускать Бригадного Генерала. Старик крадётся мимо на цыпочках, учащённо дыша. Мокрота похрипывает в глубине его горла. В таком возрасте мокрота ежедневный компаньон, культура мокроты среди пожилых, в тысяче её проявлений, мокрота, что выскакивает сгустками, когда совсем не ждёшь, на скатерть стола в гостях у друга, окольцовывает его дыхательные пути по ночам, превращая их в трубки Вентури, такие твёрдые, что затемняют сны и заставляют пробудиться, с мольбою...

Голос из камеры слишком отдалённой, чтоб удалось отсюда уловить обертона: «Я благословенный Метатрон. Я хранитель Тайны. Я оберегатель Трона...» Здесь, самые возбуждающие из Виговских эксцессов были срублены долотом или замазаны краской. Ни к чему ерепенить пациентов. Всё в нейтральных тонах, с мягкими шторами, на стенах репродукции Импрессионистов. Только мраморный пол оставлен как был и взблёскивает под лампами словно вода. Старому Падингу нужно продержаться через полдюжины кабинетов или приёмных, прежде чем он достигнет место своего назначения. Не прошло ещё и полмесяца, но тут уже зарождается некое подобие ритуала, его повторяемости. В каждой из комнат подстроена какая-нибудь особенная гадость для него: тест, который он должен пройти. Хотелось бы ему знать, не происки ли это Пойнтсмена. Конечно, конечно, чьи же ещё… как только этот молодой ублюдок вообще узнал? Может я разговаривал во сне? Или они проникали среди ночи со своими уколами истины и—и лишь мелькнула эта мысль, как перед ним начальный тест текущей ночи. В первой комнате: шприц и прочие к нему причиндалы оставлены на столе. Очень явно поблескивают, а всё прочее вокруг лишено резкости. Да, по утрам я чувствовал жуткую вялость, не мог проснуться после снов—но во сне ли это было? Я разговаривал… Но всё, что удержала память: он говорит, а кто-то его слушает… Он трясётся от страха с лицом белее побелки.

Во второй приёмной красная жестянка из-под кофе, Название бренда Саварин. Он понимает, что тут подразумевается Северин. О, грязный, глумливый негодяй... Но это не злобные насмешки предуготовленные страдальцу, скорее сочувственная магия, повторение, где лишь возможно, преобладающей формы (типа, как безумный разрушитель в своей вечерней посудомоечной воде начинает тереть ложку между двух чашек, или даже затиснув стаканом и тарелкой, из страха перед Трясучкой, якобы… потому что на самом деле он тут ухватил уже трясучкин язык, защемил между двух фатальных контактов пальцами, что аж заныли от такого нежданного напоминания)… В третьей, ящик стола чуть выдвинут с кипой историй болезни и томом Крафт-Эбинга. В четвёртой, человеческий череп. Его

возбуждение растёт. В пятой, обрезок тростника с Малакки с узловатой головкой набалдашника. Я участвовал во стольких войнах за Англию, что всех уж не упомню… разве я не заплатил сполна? Рисковал для них всем, раз за разом… Зачем им мучить старика? В шестой комнате, распотрошённый Английский солдат на Кряже Белого Листа, полевая форма прожжена дырками из пулемёта Максим, в чёрной кайме, как глаза Клео де Мероде, его собственный левый глаз выбит напрочь, труп уже завонялся… нет… нет! Пальто, чьё-то старое пальто забыто на крюке в стене… но разве он не слышал *запах?* А вот теперь наплывает горчичный газ, со смертельным гулом, как сны, которых не хотим, или когда задыхаемся. Пулемёт с Германской стороны напевает *дам диди да да*, Английский ему отвечает *дум дум*, и ночь обвивает, стискивает его тело, за минуту до назначенной атаки...

В седьмую камеру, суставами хрупкими против тёмного дуба, он стучит. Замок, дистанционно, электрически управляемый, распахивается с обрывистым лязгом эха. Войдя, он закрывает за собою дверь. Камера тонет в полумраке, лишь ароматическая свеча светит в углу, далеко, будто за несколько миль. Она ждёт его на высоком Адамовом стуле, белое тело и чёрная униформа мрака. Он падает на колени.

– Повелительница Ночи… блистающая мать и последняя любовь… слуга твой, Эрнест Падинг, явился по вызову.

В эти военные годы, средоточие женского лица это её рот. Губная помада, среди этих грубоватых и часто недалёких девушек, преобладаще кровава. Глаза оставлены погоде и слезам: в эти дни, когда столько смерти таится в небе, и в морской глубине, среди пятен и полос разведснимков, большинство женских глаз чисто функциональны. Но Падинг, происхождением, из другого времени, так что Пойнтсмен учёл и эту деталь. Леди Бригадного Генерала провела целый час с косметикой, тушью, тенями, и карандашом, с кремами и румянами, щёточками и щипчиками, консультируясь иногда с альбомом несшитых листов заполненных фотопортретами красавиц тридцати- и сорокалетней давности, чтобы её правление в эти ночи было аутентичным, если не—это для её умственного благополучия, так же как и для его—узаконенным. Её светлые волосы спрятаны и стянуты шпильками под громадным чёрным париком. Когда она сидит опустив голову, отвлёкшись от царственной позы, волосы спадают вперёд через плечи ниже её грудей. Сейчас на ней нет одежды, за исключением длинной отороченной соболями мантии и чёрных сапог на дворцовых каблуках. Единственная драгоценность на ней, серебряное кольцо с искусственным рубином, но без огранки, а цельным куском, наглый артрит крови, протянута сейчас, принять его поцелуй.

Его подстриженные усы топорщатся, трепеща поперёк её пальцев. Она подточила свои ногти в длинные острия и отполировала в тот же красный, как и её рубин. Их рубин. При таком свете ногти почти черны. «Хватит. Приготовься».

Она наблюдает его раздевание, ордена чуть позвякивают, шелестит накрахмаленная рубаха. Ей жутко хочется курить, но у неё инструкция, никаких сигарет. Она старается удерживать руки неподвижными. «О чём ты думаешь, Падинг?»

– О той ночи, когда мы встретились впервые.– Смердела грязь. Зенитки частили в темноте. Его люди, его бедные овцы, с утра наглотались газов. Через перископ, под осветительной ракетой, что висела в небе, он увидал её… и хотя он был в укрытии, она видела Падинга. Лицо её было бледно, одежда вся чёрная, она стояла на Ничейной Земле, пулемёты выстрачивали свои узоры со всех сторон вокруг неё, но она не нуждалась в защите. «Они знали тебя, Госпожа. Они были твоими».

– И ты тоже.

– Ты позвала меня, сказала: «Я тебя никогда не оставлю. Ты принадлежишь мне. Мы будем вместе, снова и снова, хотя может миновать много лет. И ты всегда будешь служить мне».

Он опять на коленях, голый как младенец. Его старческая плоть всколыхивается, грубо шершавая в свете свечи. Старые шрамы и свежие рубцы сгруппированы тут и там по его коже. Его член стоит навытяжку. Она усмехается. По её команде, он ползёт вперёд поцеловать ей сапоги. Он чувствует запах ваксы и кожи, чувствует как пальцы её ног подаются под его языком, сквозь чёрную союзку. Уголком глаза, на столике, ему удаётся различить остатки её раннего ужина, край тарелки, горлышки двух бутылок, минеральная вода, Французское вино...

– Время для боли, Генерал. Получишь двенадцать самых лучших, если твоё поклонение в эту ночь мне понравится.

Это самый тяжкий момент для него. Она уже отвергала его прежде. Его воспоминания про Выступ ей не интересны. Похоже ей не так интересно про массовую мясорубку, как сам миф, а про пережитый ужас не интересно… но, пожалуйста… пожалуйста, пусть она выслушает...

– В Бадайозе,– уничижённым шёпотом,– во время войны в Испании, соединение из Легиона Франко атаковало город, распевая гимн своего полка. Они пели о взятой невесте. Это была ты, Госпожа: они– они объявляли тебя своей невестой.

Она чуть помолчала, заставляя его ожидать. Наконец, глядя ему в глаза, она улыбается, добавка злости, что, как ей уже известно, нужна ему, подействует и скажется как всегда: «Да... Многие из них стали моими женихами в тот день»,– шепчет она, выгибая яркий хлыст. В комнате словно повеяло зимним ветром. Её образ грозит распасться в белые снежинки. Он любит слушать, когда она говорит, этот голос встречал его в разбитых комнатах фламандских деревень, он знает это, чувствует по акценту, все те девушки, что старели в Нидер-Ландах, чьи голоса портились из юных в старческие, от задорности к безразличию, а та война всё так и длилась из года в ещё более горький год... «Я прижимала их коричневые

испанские тела к моему. Они были цвета пыли и сумерков, и мяса поджаренного до превосходной корочки… большинство оказались совсем молоденькими. Летний день, день любви: один из самых страстных дней, что я познала. Неплохо. Ты заслужил сегодня свою боль».

Эта часть исполняемой рутины ей не претит, по крайней мере. Хотя ей никогда не доводилось читать классику Британской порно-литературы, она чувствует себя уверенно, как рыба в воде, в основном из местных течений. Шесть по ягодицам, ещё шесть по соскам. *Хрясь* так где теперь тот Тыквенный Сюрприз? А? Ей нравится, как взбрызгивает кровь из рубцов от предыдущей ночи. Часто, лишь так ей удаётся сдерживать собственные стоны при каждом из его всхлипов боли, два голоса диссонансом, что стал бы куда менее случайным, чем звучащее... В какие-то из ночей она затыкала его рот парадным кушаком, связывала наградным вымпелом с золотыми аксельбантами или его собственной портупеей. Но в эту ночь он скрючился на полу у её ног, его иссохшая задница приподнята навстречу хлысту, никаких уз, кроме его потребности в боли, нужды в чём-то истинном, неподдельном. Его так далеко сманили от его простых нервов. Напихали бумажных иллюзий и армейских эвфемизмов между ним и этой истиной, этой неспешной откровенностью, этим моментом у её победительных ног… нет, тут не за что винить, тут можно скорее лишь изумляться—что он смог столько лет слушать министров, учёных, врачей, каждый излагает свою профессиональную ложь, тогда как она всё время была тут, уверенная в своих правах владения его слабеющим телом: не спрятанным униформой, не напичканном лекарствами, чтоб скрыть от него её позывы тошноты, головокружения и боли... Прежде всего, боли. Наичистейшей поэзии, бесценнейшей ласки...

Он приподымается на колени, поцеловать орудие. Теперь она стоит над ним, ноги широко расставлены, лобок выпячен, мантия в меховой опушке распахнута на бёдрах. Он осмеливается поднять взгляд к её пизде, этому жуткому омуту. Для такого случая, волосы у неё на лобке покрашены чёрным. Он вздыхает, испуская маленький постыдный стон.

– Ах… да, знаю.– Она смеётся.– Несчастный смертный Генерал, я знаю. Это моя заключительная тайна,– поглаживая ногтями губки своего влагалища,– нельзя желать от женщины, чтобы раскрыла свою последнюю тайну, так ведь?

– Пожалуйста…

– Нет. Не сегодня. На колени и принимай, что я даю тебе.

Невольно—это уже рефлекс—он быстрым взглядом окидывает бутылки на столе, тарелки в пятнах от сочного мяса, голландский сыр, кусочки хряща и кости... Её тень покрывает его лицо и верхнюю часть торса, её кожаные сапоги чуть поскрипывают, отвечая на движение мускулов ляжки и брюшины, а затем резко она начинает ссать. Он раскрывает рот, чтобы поймать струю, пёрхая, стараясь не прерывать глотки, чувствуя, как тёплая моча выплёскивается из уголков его рта ему на шею и плечи, утопая в шипучем шторме. Когда она прекратила, он

слизывает последние пару капель со своих губ. Ещё несколько, золотисто-прозрачных, зависли на блестящих волосках её пизды. Её лицо, проглядывающее между её голых грудей, гладко как сталь.

Она разворачивается. «Придержи мои меха»,– Он повинуется.– «Осторожней, не коснись моей кожи». Раньше в этой игре она нервничала, случались запоры, наверное, думала она, это сходно с мужской импотенцией. Однако, предусмотрительный Пойнтсмен, предугадав такую возможность, присылал слабительные таблетки вместе с ужином. Сейчас её кишки слегка покряхтывают, и она ощущает, как говно прёт вниз и вовне. Он на коленях, вскинутыми вверх руками удерживает драгоценную мантию. Тёмная какашка появляется из расселины, из абсолютной тьмы между её белых ягодиц. Он раздвигает свои колени, неуклюже, пока не начинает ощущать кожу её сапог. Он наклоняется вперёд охватить губами горячую какашку, нежно посасывая, облизывая её нижний край… ему представляется, такая неловкость, но сдержаться никак не получается, представляется негритянский член, он знает, что да, отчасти это вразрез с окружающими условиями, но невозможно отмести этот образ брутального Африканца, что сделает его шёлковым... Смрад говна переполняет его нос, забивая его, окружая. Это запах Пашенделе, Выступа. Смешанный с грязью и разложением трупов, он был суверенным запахом их первой встречи и её эмблемой. Какашка соскальзывает ему в рот, вниз до горла. Он давится, но храбро стискивает зубы. Хлеб, что лишь уплывал бы где-то в фаянсовых водах, не увиденным, не испробованным—подошёл и был испечён сейчас в горькой кишечной Печи, чтобы стать известным нам хлебом, хлебом пышным, как домашний уют, тайным, как смерть в постели... Спазмы в его горле продолжаются. Ужасная боль. Своим языком он давит говно о нёбо у себя во рту, и начинает жевать, взахлёб, чавканье наполняет комнату...

Есть ещё две какашки, поменьше, а когда он съел их, ему досталось вылизать ещё и остатки кала из её ануса. Он молит, чтоб она ему позволила опустить низ мантии и на него, и разрешила, в отороченной шёлком тьме, побыть так чуть дольше, засунув его верноподданнический язык вверх, в дыру её жопы. Но она отходит. Мех выскальзывает из его рук. Она приказывает ему дрочить пред нею. Насмотревшись капитана Блисеро с Готфридом, она знает как отдавать команду надлежащим тоном.

Бригадный Генерал быстро кончает. Густой запах семени заполняет комнату, словно дым.

– Теперь уходи.– Ему хочется плакать. Но он уже молил прежде, предлагал ей—какой абсурд—свою жизнь. Слёзы наполняют и скатываются из его глаз. Он не может смотреть в её. «У тебя сейчас говно вокруг всего рта. Может, я тебя таким сфотографирую. На случай, если когда-нибудь надоем».

– Нет. Нет. Мне надоело только *это*,– дёргает головой назад, в сторону крыла Д, чтоб охватить всё остальное «Белое Посещение»,– насточертело...

– Оденься. Не забудь рот вытереть. Я пришлю за тобой, когда захочу тебя снова.

Отпущен. Вновь в униформе, он закрывает дверь камеры и возвращается тем же путём, которым приходил. Ночной дежурный всё ещё спит. Холодный воздух наотмашь хлещет Падинга. Он рыдает, согбенный, одинокий, щека на миг прижимается к шершавому камню стен Палладиева дома. Его обычная квартира превратилась в место ссылки, а его истинный дом рядом с Госпожою Ночи, возле её мягких сапог и твёрдого иностранного голоса. Его ничто не ждёт впереди, кроме поздней чашки бульона, рутины подписания бумаг, дозы пенициллина, предписанной ему Пойнтсменом для сдерживания поноса. Хотя возможно, завтрашней ночью… может тогда. Он не знает как ему выдерживать дальше. Но, может, в часы перед рассветом...

* * * * * * *

Великий гребень—зелёное равноденствие и превращение, сонных рыб в молодого барашка, водной дрёмы в пробудившийся огонь, хлынет, катится к нам. За Западным фронтом, в Бляхероде среди гор Гарца, Вернер фон Браун, с рукой загипсованной после недавней поломки, готовиться отпраздновать свой 33-й день рождения. В дневное время громыхает артиллерийская канонада. Русские танки вздымают пылевые фантомы над Германскими пастбищами. Аисты вернулись из тёплых краёв и появились первые фиалки.

В «Белом Посещении», дни, вдоль отрезка мелового побережья, стали прекрасно ясными теперь. Девушки из офисов уже не кутаются в несколько свитеров за раз и груди опять бугрятся для обозрения. Март прибрёл как ягнёночек. Лойдж Джордж при смерти. Приблудные гуляки уже замечаются вдоль всё ещё запретного пляжа, сидят себе среди заброшенной сети стальной арматуры и тросов, штаны закатаны до колен, или до волос, выпущенных на волю, продрогшие серые пальцы ног пошевеливают гальку. Чуть дальше от берега, под водой, проложены мили секретного трубопровода, нефть готова, с поворотом задвижки, выплеснуться и поджарить Германских захватчиков, которые застряли в устаревших уже кошмарах… горючее в ожидании гиперголичного возжигания, либо майского бунта души, чтобы под бодрую мелодию баварского музыкотворца Карла Орфа

O, O, O,

To-tus flore-o!

Iam amore virginali

Totus ardeo . . .

воспламенить всю эту крепость-побережье, от Портсмута до Дангениза, полыхать весенней любовью. Такие вот замыслы вынашиваются ежедневно в самых шустрых из голов пребывающих в «Белом Посещении»—зиме собак, чёрных

снегопадов из бессвязных слов, приходит конец. Скоро мы оставим её позади. Но оказавшись там, позади нас—продолжит ли она испускать свой затаённый холод, вопреки раздуванию морских пожаров?

В Казино Герман Геринг новый режим приходит к власти. Единственно знакомым остаётся теперь лишь лицо Генерала Виверна, хотя его, похоже, понизили. Собственное представление Слотропа о сговоре против него заметно пошло в рост. Прежде заговор был монолитным, всемогущим, вне пределов его досягаемости. До той упойной игры, и той сцены с Катье, и двух нежданных расставаний. Но теперь—

> Пословицы для Параноиков, 1: Тебе никак не позволяется коснуться Хозяина, но можешь щекотать его творения.

И потом, ну он с недавних пор приступил к освоению способа приводить себя в особое состояние сознания, не то, чтобы сон, а так называемые «грёзы», только цвета там довольно резкие, не пастельные… и в такие моменты ему кажется, будто он прикоснулся, и остался притронутым, на какое-то время, к знакомой нам уже душе, к голосу, который не раз вещал через медиума исследовательского заведения Кэрола Эвентира: снова покойный Роланд Фельдпат, издавна завербованный специалист по системам управления, формулам наведения, реагированию на ЧП в одном или ином из Заведений Аэронавтики. Похоже, что по каким-то личным мотивам Роланд продолжает зависать над этим Слотропианским пространством, как залитом светом солнца, чья энергия едва ли его касается, так и в бури, щекочущие его спину статичным электричеством, нашёптывания Роланда доносятся с восьми километров, крутая высота, где он расквартирован на одной из Заключительных Парабол—куда ни в коем случае не следует переносить зону полётов—занимает нынче должность одного из невидимых Ограничителей в стратосфере, на безнадёжно обюрократившейся той стороне, ничуть не в меньшей мере, чем так было всегда и на этой, он поджал свои астральные растопырки насколько можно ожидать, примазался к «небу», такой весь из себя взвинченный провалами попыток установить контакт, по причине бессилия кое-каких сновидцев, что пытаются пробудиться, либо заговорить, да не выходит, и брыкаются против гирек и щупов черепной боли, той что, похоже, при пробуждении станет и вовсе невыносимой, он дожидается бесцельных, не предусмотренных необходимостью появлений тут случайных пеньтюхов наподобие Слотропа—

Роланд в мандраже. Может вон *тот?* Или тот? станет марионеткой в ближайшем воплощении? Ё-моё. Помилуй, Господи: ну и штормит, каких таких чудищ Эфира раздрочил вообще этот Слотроп, на кого он наживка?

Как видно, Роланду придётся попыхтеть, тут уж ничего не поделаешь. Раз они уже до такого доходят, он им втолкует свои понятия о Контроле. В этом одна из засекреченных миссий его смерти. Загадочные высказывания, что выдавал он в ту ночь в Сноксоле насчёт экономических систем, всего лишь ежедневный фон будничной болтовни на этой стороне, привходящее условие существования. В

особенности порасспросите Немцев. О, это совсем печальная история, до чего подло использовалась их *Schwärmerei* к Контролю теми, кто дорвался к власти. Параноидные Системы Истории (ПСИ), скоропостижно пропавшее периодическое издание 1920-х, все выпуски которого мистически исчезли, есессно, предполагали даже, более чем в одной передовице, что вся Германская Инфляция была подстроена намеренно, просто загнать молодых энтузиастов Кибернетической Традиции ишачить на Контроль: в конце концов, экономическая инфляция, устремляясь ввысь, как шар, в её своеобразном воспроизведении поверхности Земли, возносясь ценами всё выше, неуправляемо, день за днём взлетала всё выше и выше, а конструктивная система призванная удерживать стоимость марки постоянной, так жалко провалилась... Идентичный рост за оборот, идентичность роста, ноль изменений, и тишина, таким образом, навеки, такими были тайные считалочки детства Науки Контроля—тайные и ужасные, как повествуется в багровых историях. Отклоняющиеся колебания любого рода это почти Худшая из Угроз. Ты не мог раскачивать качели на этих игровых площадках выше определённого угла от вертикали. Драки прекращались быстро, со сноровкой, которая не заставила себя ждать. Дождливые дни никогда не позволяли себе лишнего грома и молний, а только высокомерно стеклянная серость скапливалась в нижних слоях, монохромный вид долин заполненных мшистой трухой, корнями торчащими к небу с не слишком злобной игривостью (вроде некоего белого сюрприза для элитарников, там наверху, которые никогда не замечают, нет…), долины переполняются осенью, и увядают с дождём, стародевственно коричневые за её золотом… весьма избирательно дроблённый ливень выманивает тебя через участки в окраинные улочки, что становятся всё загадочней и колдоёбистей, и всё плотнее спланированными, участок втискивается в перекрученный другой раз семь, а то и больше, углами каменной ограды, с выкрутасами оптического дневного времени, покуда не вырвемся, разгорячённые, примолкшие, из крайнего района улиц за город, в чересполосицу тёмных полей и перелесков, к началу настоящего леса, где предстоящее испытание понемногу начинает возникать, и наши сердца чувствовать страх… но, как ни одни качели не в состоянии размахнуться дальше определённой высоты, так же и лес, за пределы определённого радиуса, не пускает проникнуть, до сих и не глубже. Предел присутствовал всегда, чтобы в него упереться. И до чего же легко было расти при подобной упорядоченности. Всё являлось таким целостным, по мере возможности. Контуры вообще насилу удавалось различить, ещё меньше заглянуть за них. Разрушение, о, и демоны—да, в том числе и Максвелов—таились глубоко в лесах, с прочим зверьём, в склепах и недрах редутов твоей безопасности...

Точно так же и жуткий пробег Ракеты был сведён, буквально, к буржуазным терминам, терминам уравнения, как и тот, элегантное сочетание философии и материальной конструкции, абстрактный переход и ключевой механизм из настоящего металла, который обозначает движение в аспекте контроля направления: сохраняя, владея, направляя между Скиллой и Харибдой на протяжении всего пути до *Brennschluss*. Если кто-то из молодых инженеров замечал соответствие между глубоким консерватизмом Обратой Связи и жизнями любого рода, которые им случалось вести в процессе прожития их, то догадка

терялась или заморачивалась—никто из них не выходил на связь, во всяком случае при жизни: потребовалась смерть, чтоб Роланд Фельдпат её обнаружил, смерть плюс весьма большая вероятность, что Слишком Поздно, и несчётное число прочих душ, что чувствуют себя, даже теперь, Ракетоподобными, уносясь к огонькам каменной синевы Управляемого Вакуума, имя которого им вряд ли известно… освещение тут на удивление мягкое, бархатистое, как небесные одеяния, ощущение многонаселённости и невидимой силы, обрывков «голосов», мимолётные видения *бытия иного порядка*...

После чего Слотропу оставался не то, чтобы какой-то чёткий символ или схема, а скорее щемящий привкус горечи, не поддающаяся сокращению *чуждость*, непроницаемая самодостаточность...

Да, такие эпизоды являлись как бы *Германскими*. Ну в последнее время Слотропу даже сны снятся на этом языке. Его тут вовсю обучают диалектам, *Plattdeutsch*, для зоны, которая планируется под Британскую оккупацию, говор Тюрингии, на случай если Русские не продвинутся до Нордхаузена, где расположены основные линии производства ракет. Вместе с преподавателями языка, появлялись эксперты по баллистике, электронике, и аэродинамике, а также один малый из Шелл Интернэшнэл Петролеум по имени Хилари Бонс, для обучения по теме движущей силы.

Похоже, в начале 1941, Британское Министерство Снабжения выделило £10,000 на исследовательский контракт с Шелл—хотели, чтобы в Шелл разработали ракетный двигатель с каким-нибудь другим горючим вместо кордита, который в те дни расходовался на взрывы людей всякого сорта со скоростью охренеть сколько тонн в час и жалко было его тратить на ракеты. Группа, сколоченная неким Айзеком Лабоком, устроили базу статичных тестов в Лэнгхёрсте возле Хорсхэма и начали экспериментировать с жидким кислородом и авиационным топливом, первые удовлетворительные результаты пришлись на август 42-го. Инженер Лабок с отличием закончил два из курсов Кембриджа и стал Отцом Британских Исследований Жидкого Кислорода, так что то, чего он не знал про этот кислый род, уже и знать не стоило. Заместителем его в те дни был м-р Джеффри Голин, вот этому-то Голину и подчиняется Хилари Бонс.

– Ну я, вообще-то, болельщик Эссо,– считает нужным предупредить Слотроп.– Мой старый коротышка жрал бензин как все, но был гурманом. При заправке тем Шеллом мне приходилось заливать в него ещё и целую бутылку Бромо, чтоб ёбаный бедняга Тераплейн прочхался.

– Фактически,– брови Капитана Бонса, человека верного компании на 110%, ходят вверх-вниз, помогая ему вывернуться,– тогда мы отвечали лишь за транспортировку и хранение. В те дни, до Япошек и Наци, и всё такое, добычей и очисткой занимался голландский офис, в Гааге.

Слотроп, бедный простофиля, вспоминает Катье, утраченную Катье, произнося название её города, бормоча голландские слова любви, переносящие на утренний

пляж у моря, уже в иную эпоху, к иной распределённости... *Но погоди-ка*.–«Это Батафше Петролеум Мааtшапий, Н.В.?»

– Точно.

Всплывает также негатив разведснимка города, в разляпистых пятнах от воды, никогда нет времени просушить их как следует—

– А вы, парни, *отдаёте себе отчёт*,– Слотропа заодно пытаются обучить и англо-Английскому, одному только небу известно зачем, и это звучит как типа у Кэри Гранта,– что Фрицы—ещё те Фрицы, само собой—были в *той* Гааге, пускали грёбаные ракеты на тот Лондон, а и *использовали*… здание *штаб-квартиры* Роял Датч Шелл на Йосеф Исраелплейн, если правильно помню, установили там радио передатчик для наведения? Что это за хрень с подвохом, старина?

Бонс уставился на него, побалтывает своей желудочной висюлькой, не врубается про что это Слотроп вообще.

– Хочу сказать,– вот Слотроп и себя уже ввёл в мандраж из-за чего-то, что малость беспокоит его, смутно, ничего особенного, чтоб затевать бучу, так ведь?– тебе не кажется всё это как-то странным, вы, парни из Шелла, работаете над *своим* жидким двигателем с одной стороны Канала, понимаешь, а их парни *своими* чёртовыми хреновинами пуляют по вам с вашей собственной… башни Шелла с передатчиком, понимаешь.

– Нет, я не вижу какой тут—к чему ты клонишь? Да они просто выбрали самое высокое здание, какое подвернулось, на прямой линии от их пусковых площадок до Лондона.

– Да, а к тому же и на нужном *расстоянии*, не забывай—ровно двенадцать километров *от* пусковой площадки. Каково? Вот я о чём толкую.– Погоди-ка, о, постой. Только ли *это* он имеет в виду?

– Ну я как-то об этом не задумывался.

Мне тоже, Джексон, даже и в голову не приходило. Да, и мне, парни, нет... и вот тебе Хилари Бонс и его Озадаченная Улыбка. Ещё один невинный, тихий энтузиаст, из породы сэра Стивена Додсон-Трака. Но:

> Пословицы для Параноиков, 2: невинность созданий обратно пропорциональна аморальности Творца.

– Надеюсь, я не сказал чего-то лишнего.

– Эт чё так?

– У тебя,– Бонс пытается изобразить что-то такое, что, по его мнению, прокатит за дружеский смешок,– вид встревоженный.

Встревожен, это точно. Зубами и челюстями некоего Создания, какого-то Присутствия настолько огромного, что никто, кроме него, не замечает—вон там! вон это чудище, что я вам говорил.—Это не чудище, глупышка, это *облака*!—Да нет же, разве ты не *видишь*? Вон его *лапищи*—Ну Слотроп может чувствовать этого зверюгу в небе: а они явные когти и чешую по ошибке принимают за тучи и прочие предположительности… либо же все сговорились *называть их другими именами*, в присутствии Слотропа...

– Это просто «шальное совпадение», Слотроп.

Он научится слышать кавычки в разговоре других. Такой вот рефлекс с книжным уклоном, вероятно у него генетическая к тому предрасположенность—от всех тех былых Слотропов, что таскали при себе библии среди синеющих вершин, как часть своего снаряжения, знали назубок главы и стихи о конструкциях Арок, Храмов, Тронов Зримых—что из чего и каких размеров. Данные, за которыми повсюду, когда ближе, когда дальше, стояла сверхъестественная неоспоримость Бога.

Ну и разве мог Тайрон Усечь Это более верняковым образом, чем, в одно холодное утро, таким вот макаром:

Вот копия Германского списка частей, составленного до того плотно, что он насилу может вычитать слова—“*Vorrichtung für die Isolierung, 0011-5565/4*”, а это ещё что такое? Номер он знает наизусть, это изначальный номер контракта на ракету А4 в целом. Однако что данное «устройство изоляции» делает рядом с номером контракта на Агрегат? А к тому же ещё помечено DE, самым высоким уровнем приоритета у Наци? Либо писарь в ВКВ хуйню спорол, что *таки* случается, или же не знал номера и вписал ракету, как самое подходящее. Заказ, запчасть и номер исполнителя имеют одну и ту же пометку, что отсылает Слотропа к Документу SG-1. Сама же пометка помечена «*Geheime Kommandosache*»! Это государственный секрет, в силу § 35 R5138».

– В общем,– вместо «здрасьте!» приветствует он Генерала Виверна, заскакивая в дверь,– хотелось бы глянуть на тот Документ SG-1.

– Хо, хо,– отвечает Генерал,– я так прикидываю, что наши парни тоже б не отказались.

– Кроме шуток.– Каждый кусочек информации имеющейся в распоряжении Союзников по А4, любого уровня секретности, засовывают в тайную воронку где-то в Лондоне и всё выныривает в шикарной камере Слотропа при Казино. До сих пор от него ничего не скрывалось.

– Слотроп, никаких документов SG не существует.

Первым порывом было сунуть тому под нос список частей, но сегодня он проныра Янки перехитривший красномундирников. «О. Ладно, наверно я не так

прочитал»,– простоватый взгляд вокруг себя по комнате заваленной бумагами,– «может там было ”56”, или типа того, блин, где-то же *тут* мне попадалось...»

Генерал уходит снова, оставив Слотропа в недоумении и с типа как нет, не с навязчивой идеей… пока нет… Напротив перечня частей, над колонкой «Материалы», проставлено «Imipolex G». О, вот оно что. Устройство изоляции сделан из Imipolex G, да? Он рыщет по комнате за своим указателем Немецких торговых наименований. Там ничего и близко нет такого… он находит затем главный список материалов для А4 и всего вспомогательного оборудования, а кто бы сомневался, что Imipolex G в нём тоже отсутствует. Чешуя и когти, а ещё крадущиеся шаги, которые, похоже никому не слышны...

– Что-то не так?– В дверном проёме снова нос Хилари Бонса.

– Да насчёт этого жидкого кислорода, нужны ещё данные по его импульсу.

– То есть... по движущей силе?

– Чёрт! Силе, силе, конечно.– Англо-Английский выручает, забил баки Бонсу.

– Для ЖК в смеси со спиртом это 200. Что тебе ещё надо знать?

– Ну а бензин вы, ребята, в Лангхёрсте не применяли?

– Среди всего прочего, да.

– Так вот речь как раз об этих прочих. Или забыл, что тут война идёт. Нельзя утаивать такие вещи.

– Но все отчёты нашей компании в Лондоне. Может, когда поеду туда—

– Блядь, этот бюрократизм. Мне нужно это сейчас, Капитан.– Он зашёл с тыла, предполагая, что ему отпущено безграничное Нужно Знать, и Бонс подтверждает это:

– Я бы мог запросить по телетайпу, наверное…

– Вот *это* дело!– Телетайп? Да, у Бонса есть свой персональный Телетайп, Терминал Международной Сети Шелл, как Слотроп и надеялся, прямо в его номере отеля, в гардеробе позади вешалки элитарных форм от Алкита и крахмальных сорочек. Слотроп ухитряется проникнуть с помощью своей подружки Мишель, с которой, как он заметил, Бонс глаз не сводит. «Приветули, крошка»,– в коричневом, увешанном чулками, чердаке, где спят хористки. –«Как ты насчёт прификсироваться с большим нефтяником сегодня ночью?» Тут возникает языковая проблема, ей представилось, что её привинтят к здоровяку, у которого откуда-то капает сырая нефть, она не уверена, что ей понравится секс в таком ракурсе, но они сняли недоразумение и Мишель уже полна рвения отманить человека от его телетайпа настолько, чтоб Слотроп успел связаться с Лондоном и

спросить про Imipolex G. И впрямь, она иногда примечала Капитана Бонса среди своих еженощных поклонников, заметила и безделушку набрюшной меди, которую видел также Слотроп: бензольное кольцо с тевтонским крестом внутри—награда от ИГ Фарбен за Похвальный Вклад в Исследование Синтетических Материалов. Бонсу она досталась ещё в '32-м. Свидетельство промышленной связи, это украшеньице дремало в уме Слотропа, когда поднялся Вопрос Радиопередатчика Наводки Ракет. Оно даже, в некотором смысле, дало толчок текущему плану с телетайпом. Кому же лучше знать, если не Шелл, организации без прописки в какой-либо определённой стране, не участвующей в войнах на чьей-либо стороне, без определённого лица или наследника: разве сдержишься не подбуриться к этому глобальному слою, самому глубинному, от которого берут начало все проявления корпоративной собственности?

Ладненько. Итак, сегодня званый вечер на Козырьке, в доме Рауля де ла Перлимпиньпиня, молодого чокнутого наследника Жоржа («Пудры») де ла Перлимпиньпиня, фейерверочного магната из Лиможа—если «званый вечер» подходящее название для чего-то продолжающегося нон-стоп аж с момента освобождения данного куска Франции. Слотропу позволено—под обычным присмотром—заскакивать к Раулю, когда появится охота. Там неизменная умопомрачительная толпа—стекаются со всех уголков Союзной Европы связанные некоей сетью семейственности, сладострастия и историей других таких же вечеринок, со столь неохватной переплетённостью, что как-то никак не укладывалась у него в голове. Тут и там промелькнут лица, давние Американские лица из Гарварда или ВКСЭС, забытые им имена—глянь-ка где воскресли, может и случайно, может быть...

Как раз туда, на этот званый вечер, и соблазнила Мишель Бонса, и для которого Слотроп теперь, как только получен ответ из Лондона, пристрекотал, чисто печатаясь на машине Бонса, прихорашивается. Информацию можно и после прочесть. Напевает,

С лицом как микрофон сияющим,

С прямым пробором в волосах,

Пломбира шариком сладко тающим,,

Я, мистер Беззаботность, у всех на устах...

и наряжается в зелёный Французский костюм нахального кроя, с лёгким лиловым отливом, широкий цветастый галстук выигранный за столом для *trente-et-quarante*, туфли-броги для гольфа, со вставками, и белые носки, всё это Слотроп завершает федорой с короткими полями цвета полуночной сини и, с чечёточным притопом покидает фойе Казино Герман Геринг, смотрится крутым франтом. Когда он вышел, мускулистый гражданский, переодетый по понятиям Секретной Службы о стиле Апаш, возникает из *porte-cochere* и следует за такси Слотропа по тёмной извилистой дороге на вечеринку у Рауля.

* * * * * * *

Оказывается, кто-то из веселящихся гостей успел нашпиговать голландский сыр сотней граммов гашиша. Слушок разнёсся. Приглашённых враз потянуло на брокколи с сыром. Ростбифы лежат нетронутыми, остывая на длинных столах буфетной. Треть собравшихся уже уснули, в основном на полу. Приходится пробираться между тел, чтобы добраться туда, где хоть что-то вообще происходит.

Что именно происходит неясно. В саду, на свежем воздухе, обычные тесные группки, заняты сделками. Сегодня особо не на что посмотреть. Гомосексуальный треугольник шипит в обоюдных щипках и обличениях, перекрыв доступ к двери в туалет. Снаружи, офицеры помоложе заблёвывают цинии. Парочки прогуливаются. Девушек предостаточно, драпированы в бархат, рукава прозрачные, сами широкие в плечах, со следами недоедания, в шестимесячных завивках, говорят на полудюжине языков, попадаются коричневые от здешнего солнца, другие бледны как Зам Смерти из более восточных регионов Войны. Рьяные молодчики с волосами глаже патентованной кожи шустрят вокруг, старательно завлекая дам, тогда как головы постарше и вовсе без волос предпочитают выжидать, прикладывая минимум усилий, глаза и рты устремлены по комнатам вокруг, толкуя, между тем, про бизнес. Дальний конец салона занят танцевальным оркестром и тощим шансонье с очень красными глазами, который поёт:

Джулия (*Фокс-Трот*)

Джу-лия,

Без тебя проживу ли я?

Как мне выманить твой

Хоть один поцелуй?

Джуул-яааа,

Никто тебя не любит так как я,

Никто не приголубит так, как я,

За один твой поцелуй!

Ах, Джуул-яааа—

Тебя одну люблю я,

Стремлюсь, как пчёлка к улью,

К тебе одной—

Поверь, постой—

Джу-лия,

Вопить я буду Алелуйа,

Когда красотка Джулия

Придёт в объятия мои.

Саксофония и мелодия в стиле Парк-Лейн, самое оно для определённых состояний сознания. Слотроп заметил Хилари Бонса, явно павшего жертвой галлюциногенного голландского сыра, тот задремал на здоровенном пуфе с Мишель, которая ласкает его брелок от ИГ Фарбен вот уже часа два или три. Слотроп помахал, но никто из них его не видит.

Алкаши с наркушами, утратив всякий стыд, вступают в бойцовские единоборства в буфете и на кухнях, обыскивают кладовки, вылизывают донышки кастрюль. Фланирует партия купальщиков-нудистов, направляясь к ступеням ведущим на пляж. Наш гостеприимец, этот самый Рауль, бродит в трёхведёрной шляпе, рубахе как у Тома Микса, с парой шестизарядных, водит за узду Першеронскую лошадь. Лошадь роняет яблоки навоза на Бухарский ковёр, и на распростёртых гостей, кто подвернётся. Всё это как-то бесформенно, не сфокусировано, пока не раздался саркастичный туш оркестра на появление самого жуткого мордоворота из всех, какие попадались Слотропу за пределами кино про Франкенштейна—в белом зут-сюте, с уймой складок на штанинах, да при том ещё и длинная золотая цепочка от часов, что взбалтывается сверкающей петлёю на каждый его шаг по комнате, где он хмурится на каждого типа спешит дальше некуда, однако уделяет время осмотру лиц и тел, качая головой из стороны в сторону, методично, чуть зловеще. Он останавливается, наконец, перед Слотропом, который сбивает коктейль Ширли Темпл для себя любимого.

– Ты.– Палец размером с кукурузный початок, за дюйм от носа Слотропа.

– Эт точно,– Слотроп роняет на ковёр вишню марашино и раздавливает при шаге назад.– Эт я. Точняк. А чё? Да хоть шо.

– Пошли.– Они выходят наружу в рощицу эвкалиптов, где Жан-Клод Гонгье, пресловутый торговец белыми рабынями из Марселя, ведёт охоту на потенциальный товар. «Эй ты»,– орёт он в деревья,– «хочешь быть белой рабыней, а?» –«Да ну нахер»,– откликается голос невидимой девушки,– «я хочу быть зелёной рабыней!» –«Лиловой!»–кричит кто-то с оливкового дерева.–«Бордовой!» –«Пора переходить в толкачи наркотой»,– грит Жан-Клод.

– Слышь,– приятель Слотропа вытаскивает конверт плотной бумаги, который, как даже в сумраке угадывает Слотроп, набит Американскими оккупационными кредитками с жёлтой печатью,– ты подержи это при себе, пока не заберу. Похоже, Итало хочет заявиться сюда раньше Тамары, а я не уверен кто—

– Расклад, сталпыть, такой, Тамара надумала тут показаться раньше, чем сегодня,– вставляет Слотроп голосом Грочо Маркса.

– Не подрывай свой авторитет в моих глазах,– советует Здоровила.– Ты как раз, кто нужен.

– Точно,– Слотроп впихивает конверт в карман.– Эй, а где ты пригрёб себе такой зут-сют, шо на тебе прям щас?

– Ты какой размер носишь?

– 42, средний.

– Будет тебе такой,– и, после этих слов, угрохотал обратно в дом.

– А и *крутую цепочку для часов!*– кричит вслед Слотроп. Что за херня тут творится? Он бродит кругами, задаёт вопрос-другой. Оказыца, детину кличут Бладгет Ваксвинг, широко известный беглец из Казарм Мартьер в Париже, худшей из тюрем для военнослужащих на Европейском Театре Военных Действий. Ваксвинг специализируется на подделке всевозможных документов—карточки для военных магазинов, паспорта, *Soldbücher*—армейским снаряжением тоже приторговывает. Он в самоволке и в бегах после Бельгийской Битвы и, с приговором к смерти над головой за это, продолжает по ночам появляться в столовых армейских баз посмотреть кино—при условии, что будет вестерн, он любит такую хренотень, топот копыт из металлических репродукторов вдоль сотни метров бочек с горючим на чужой земле изъезженной покрышками армейских тягачей ерошит его сердце, словно дуновения бриза, через кого-то из множества своих контактов он снял общее расписание на каждый фильм в каждом оккупационном городе, и известен случай, когда он угнал Генеральский джип просто затем, чтоб смотаться в тот Понтьер на один вечер посмотреть старого доброго Боба Стила, а может Мака Брауна. И пусть его фото висит на видном месте во всех караулках и запечатлено в мозгах тысяч военных полицейских, но он посмотрел *Возвращение Джека Слейда* двадцать семь раз.

История, что разворачивается тут сегодня ночью, типично романтичная интрига времён Второй Мировой, обыкновенная вечеринка у Рауля, на которой предстоящая доставка партии опиума используется Тамарой в виде обеспечения её займа у Итало, а тот, в свою очередь, должен Ваксвингу за танк Шерман, который его друг Теофил пытается контрабандно переправить в Палестину, но должен собрать пару тысяч фунтов для взяток на границах, вот он и заложил танк, чтобы одолжить у Тамары, которая уделила ему часть своего займа от Итало. Тем временем, сделка с опиумом, похоже, накрылась, потому что от посредника уже несколько недель ни слуху ни духу, не говоря уже про деньги, полученные авансом от Тамары, которые она взяла у Рауля де ла Перлимпиньпина через Ваксвинга, от которого теперь Рауль требует деньги, потому что Итало, сделал вывод будто танк принадлежит теперь Тамаре, явился прошлой ночью и забрал его в Неизвестном Направлении, в виде платы за свой займ, оттого-то Рауль теперь в панике. Примерно в таком типа как роде.

Хвост за Слатропом получает неприличные предложения от двух из дерущихся в туалете гомосексуалистов. Бонса с Мишелью нигде не видать, как и Ваксвинга. Рауль на полном серьёзе беседует с лошадью. Слотроп только что присоседился к девушке в довоенном платье от Ворта и с лицом как у Алисы у Тенниела, такой же лоб, нос, волосы, когда снаружи раздаётся этот богомерзкий лязг, рёв, треск дерева, девушки в ужасе разбегаются из эвкалиптовых деревьев прямиком в дом, а по пятам за ними что оно там прёт такое сюда в мертвенном полумраке сада?—опа! Танк Шерман собственной персоной! фары горят как глаза Кинг-Конга, гусеницы изрыгают траву и куски бордюра пока он прокручивается, чтоб остановиться. Его 75 мм пушка разворачивается и целит через Французские окна прямиком в комнату. «Антуан!»– молодая дама сфокусировалась на гигантском жерле,– «ради всего святого, не сейчас...» Крышка люка распахивается и Тамара—насколько понимает Слотроп: но разве танк не у Итало?—ёпсь—возникает снизу, визгливо понося Рауля, Ваксвинга, Итало,Теофила и посредника в сделке с опиумом. «Но теперь»,– верезжит она,– «я всех вас поимею! Одним *coup de foudre!*» Люк захлопывается—Исусе!—слышен звук подачи 3-дюймового снаряда в затвор. Девушки заводятся визжать, спринтуя на все выходы. Наркуши оглядываются по сторонам, помаргивая, улыбаясь, вторят, всяк по своему. Рауль пытается сесть на лошадь и ускакать, однако не попадает в седло и соскальзывает на другую сторону, шмякнуться в таз Желе-о с чёрного рынка, со вкусом малины и взбитыми сливками сверху. «О, нет...»– Слотроп почти решил бегом зайти к танку с фланга когда ЕБЛАААНННГГГ! Пушка издаёт оглушительный рёв, пламя на метр влетает в комнату, разрывная волна вбивает барабанные перепонки до центра мозгов, вплющив всех в окружающие стены.

Штора вспыхнула. Слотроп, спотыкаясь об участников вечеринки, глухой как пень, голова раскалывается от боли, продолжает бежать сквозь дым к танку—запрыгивает на него, тянется открыть люк и его чуть не сшибает Тамара, выскочив как буёк снова наорать на всех. Последовала борьба не без своих эротичных моментов, потому что Тамара смотрится классно и умело выкручивается, Слотропу удаётся довести её до ладно-чё-ты-уж-так-в-натуре и стащить вниз с танка. Но, при этом грохоте и всё такое, глянь-ка—у него не встал. Хмм. Эти данные Лондон не получит никогда, потому что никто не отслеживал.

Оказывается, снаряд, холостой, всего лишь пробил дыры в нескольких стенах и разнёс большую аллегорическую картину Добродетель и Порок в противоестественном акте. У Добродетели одна из тех туманных отсутствующих улыбок. Порок почёсывает свою лохматую голову, малость озадаченный. Горящая штора потушена шампанским. Рауль в слезах, с благодарностью за спасение его жизни, вцепляется в руки Слотропа, обцеловывает ему щёки, оставляя мазки Желе-о на всём, к чему прикоснётся. Тамару сопровождают прочь телохранители Рауля. Слотроп только что отцепился и вытирает Желе-о со своего костюма, когда на его плечо ложится тяжкая рука.

– Ты пральна грил. Ты чек чё нада.

– Эт чепуха.– Эрол Флин приглаживает свои усики.– Я тут недавно даму спас от осьминога, прикинь?

– С одной разницей,– грит Бладгет Ваксвинг,– щас эт всё взаправду было. А с тем осьминогом нет.

– Откуда ты знаешь?

– Я много чё знаю. Не всё, но кой-чё, чево и ты не знаешь. Слушай, Слотроп— тебе понадобится друг и скорее, чем ты думаешь. На виллу эту не приходи—тут стаёт сильно спечно—но если сможешь добраться до Ниццы— он протягивает визитную карточку с рельефом шахматного коня и адресом на *Rue* Россини.– Конверт я забираю. Вот твой костюм. Спасибо, брат.– Он исчезает. У него талант растворяться, когда захочет. Костюм зуттера в коробке обвязанной пурпурной ленточкой. Цепочка для часов тоже там. Они принадлежали пареньку, что жил в Восточном Лос-Анжелосе, по имени Рики Гутьерес. Во время Зут-сют Бунтов 1943, на юного Гутьереса навалились кучей Англо-дружинники из Витера и молотили, пока полиция Лос-Анжелеса любовались и помогали им советами, а потом арестовали его за нарушение общественного порядка. Судья предоставлял зуттерам выбор между тюрьмой и армией. Гутьерес призвался, получил ранение на Сайпане, подцепил гангрену, руку пришлось ампутировать, теперь вернулся домой, женился на девушке, что готовит тортиллы-тако на кухне одной забегаловки в Сан Габриел, а сам не может найти работы, много пьёт по ходу дня… Но его старый зут-сют и костюмы тысяч других зуттеров, кого прищучили в то лето, висели пустыми на обратной стороне всех Мексиканских дверей в Лос-Анжелосе, были скуплены и добрались аж сюда, на рынок, кому повредит немножко зашибить деньгу, а там висели себе просто в жирном дыму, запахах младенцев, в комнатах с занавесками опущенными от солнца, что палит день за днём усохшие пальмы и забитые мусором сточные канавы, внутри тех пустых комнат, где роятся мухи...

* * * * * * *

Imipolex G оказался чем-то более—или менее—страшным, чем новый вид пластика, этот ароматический гетероцикличный полимер был разработан в 1939, на годы опередив своё время, неким Л. Джамфом для ИГ Фарбен. Помимо стабильности при высоких температурах, где-то порядка 900°, в нём сочетается высокая прочность с низким фактором потери упругости. Своей структурой, это затвердевшая цепь ароматических колец, шестиугольники, как и тот из золота, что болтается и пошлёпывает вокруг пупка Хилари Бонса, являя, тут и там, так называемые гетероцикличные кольца.

Происхождение Imipolex G прослеживается до ранних исследований, проводившихся в лабораториях Дюпона. Пластичность имеет особную великую традицию основному течению которой случилось протекать через владения

Дюпонов и их знаменитого исследователя Каротерса, известного как Великий Синтезаторщик. Его классическое исследование больших молекул, охватившее десятилетие двадцатых, напрямую подвело нас к нейлону, который не только прибавил восторгов фетишистам и удобств для восставших с оружием в руках, но послужил также весьма своевременным, и хорошо вписавшимся в Систему, провозглашением главного канона Пластичности: химики уже не ждут милостей от Природы. Теперь они могут заранее определиться, какие именно свойства требуются от молекулы, и – приступать к её созданию. У Дюпонов, дальнейшим шагом после нейлона, стало введение ароматических колец в цепочку полиамидов. Очень скоро возникает целая семья «ароматических полимеров»: ароматические полиамиды, поликарбонаты, полиэфиры, полисульфаты. Целевым свойством чаще всего оказывалась прочность—первая в достохвальной триаде Пластичности, включающей Прочность, Устойчивость, Белизну (*Kraft, Standfestigkeit, Weiße*: их часто принимали за Нацистские лозунги и, в общем-то, они и впрямь почти неотличимы на промытых дождём стенах, вдоль которых автобусы переключали скорость, сворачивая в следующую улицу, трамваи скрежетали металлом, а люди больше помалкивали в дождь, покуда близящийся вечер сгущался до фактуры дыма из курительной трубки, а руки молодых пассажиров тянулись прочь из рукавов своих пальто во что-нибудь ещё, как гномики в поисках убежища, либо экстатично отрешались от расписания ради тактильных утех с бельём намного превосходившим нейлон своей соблазнительностью…). Л. Джамф, в числе прочих, предложил тогда, весьма логично и диалектично, взять родительские полиамидные секции новой цепочки и увязать их петлеобразно, тоже в кольца, гигантские «гетероцикличные» кольца, перемежая их с ароматическими. Этот же принцип легко распространялся и на предшествующие молекулы. Искомый мономер высокого молекулярного веса мог быть синтезирован подобным образом, свёрнут в своё гетероцикличное кольцо, увязан в звено и сочленён в цепочку с более «естественными» бензольными и ароматическими кольцами. Такие цепочки станут известны как «ароматические гетероцикличные полимеры». Одна из гипотетических цепочек предложенных Джамфом, как раз перед войной, была впоследствии модифицирована в Imipolex G. Джамф в то время работал на Швейцарскую компанию Psychochemie AG, изначально именовавшуюся Grössli Chemical Corporation, побочное предприятие от Сандоз (где, как известно любому школьнику, легендарный д-р Хофман сделал своё грандиозное открытие). В начале 20-х, Сандоз, Циба, и Гейги слились в Швейцарский Химический картель. Вскоре после этого, химическая фирма Джамфа также была поглощена. По-видимому, бо́льшая часть контрактов Grössli и без того заключены были уже с Сандоз. Ещё в 1926 имелась устная договорённость между Швейцарским картелем и ИГ Фарбен. Когда Немцы создали свою офшорную компанию в Швейцарии, ИГ Химие, то два года спустя, контрольный пакет акций Grössli был продан им, а компания преобразовалась в Psychochemie AG. Патент на Imipolex G был, таким образом, перекрёстно зарегистрирован как на ИГ, так и на Psychochemie. Шелл Ойл затесался туда же через соглашение с Имперал Кемиклз в 1939. По какой-то любопытной причине, как обнаружит Слотроп, ни одно соглашение между ИК и ИГ не датируется позднее 39-го года. Согласно упомянутому соглашению об Imipolex, Икота могла

поставлять новый пластик на рынки Британского Содружества в обмен на один фунт и прочие достаточно ценные эквиваленты. Очень мило. Psychochemie AG всё ещё при делах, продолжает делать бизнес по своему старому адресу на Шоколадештрассе, в том Цюрихе, Швейцария. Слотроп раскачивает длинную цепочку часов своего зут-сюта, с нескрываемым волнением. Пара моментов, незамедлительно бросаются в глаза. Ему доходит больше, чем он вообще мог предположить, даже в своих самых параноидных озарениях. Imipolex G выныривает как загадочное «устройство изоляции» на ракете, которую запускают с помощью передатчика на крыше штаб-квартиры Датч Шелл, имеющей со-лицензию на продажу Imipolex—двигательная система ракеты сверхъестественно похожа на ту, что разрабатывается в Бритиш Шелл в тот же, примерно, период… и, ой, ё-моё, Слотропу вдруг доходит где *собрана* вся информация о ракете—в офисе м-ра Дункана Сандиса, где же ещё, у зятя Черчилля собственной персоной, который работает в Министерстве Снабжения, что расположено где бы вы думали, если не в Мекс- *Хаус принадлежащем Шелл, о, ради Бога*... Тут Слотроп организует блестящий развед-рейд, вместе с верным напарником Бладгетом Ваксвингом, в самоё Шелл Мекс-Хаус—буквально в сердце личного филиала Ракеты в Лондоне. Кося вооружённую охрану, взвод за взводом, из своего автомата «стен», отшвыривая заневестившихся, визжащих секретарш из ЖКАП (а как ещё от них отделаешься, даже если не больно?), грубо расшвыривая папки, меча коктейли Молотова, Дуболомы Зуттеры ворвались, наконец, в святая святых, подтягивая свои штаны до подмышек, попахивая жжёной волоснёй, пролитой кровью, чтобы найти не м-ра Дункана Сандиса трусливо блеющего перед их правотой, и не распахнутое окно, побег по-Цыгански, гадальные карты россыпью в спешке, и даже не давай-посмотрим-кто-кого с сами великим Консорциумом—но всего лишь довольно унылую комнату бизнес-машин расставленных вдоль стен, спокойно себе перемаргиваются, кипы перфокарт зияющих дырами словно кожа прыщавых лиц, хрупких как последние из Германских стен, что стоят, лишившись опоры после взрывов отгремевшей бомбёжки, и колеблются теперь высоко над головой, готовые вот-вот сложиться вниз с небес под дуновением ветерка, что относит дым прочь... В воздухе пахнет порохом и гарью дымящихся стволов, и ни одной офисной дамы вокруг. Машины болтают и перезваниваются друг с другом. Пора сдвинуть шляпу на лоб, пустить по кругу после-заварушную сигарету, прикидывая, как будем ноги уносить… ты запомнил каким путём добирались, все те повороты с заворотами? Нет. Ты не смотрел. Любая из этих дверей может стать путём спасения, но времени может и не остаться...

Однако, Дункан Сандис всего лишь имя, функция во всём этом. «Как высоко это заходит?» вопрос излишний абсолютно, потому что организационные списки составляли Они, имена и должности заполняли Они, потому что

> Пословица для Параноиков, 3: Если тебя вынудили задавать неправильные вопросы, то им и думать ни к чему, как отвечать на них.

Слотроп замечает, что он застыл над синим листком списка деталей с которого всё и началось. *Как высоко это заходит…* уххх. Вопрос-капкан не предназначен быть обращённым к людям вообще, но к *оборудованию!* Прищурившись, внимательно передвигая палец по колонкам, Слотроп находит, что *Vorrichtung für die Isolierung* является Составной Частью Более Сложного Изделия.

“S-Gerät, 11/00000.”

Если эти цифры серийный номер ракеты, как видно по их форме, то это должно быть некая спецмодель—Слотроп ни разу не слыхал о чём-то с четырьмя нулями, не говоря уж о пяти… и ни про какое изделие S-Gerät, имеются лишь *K-Gerät* и *L-Gerät* упомянутые в руководстве… ну Документ SG-1, который, якобы, не существует, должен прояснять всё это...

Он выходит из номера: двигаясь никуда конкретно, под медленный барабанный бой в брюшных мускулах, *поглядим что дальше, будь наготове*... В ресторане Казино ни малейшего препятствия на входе, ни перепада температур ощутимого его кожей, Слотроп садится за стол, где кто-то оставил лондонскую *Times* за прошлый четверг. Хмм. Давненько ни одна из *них* не попадалось... Перелистывает страницы, дум, дум, дем-ду, да, Война идёт как и шла, Союзники надвигаются на Берлин с востока и запада, порошковые яйца по-прежнему держатся на одном и трёх за дюжину, «Погибшие Офицеры», МакГрегор, Макер-Мафик, Вайтстрит, Личные Награды… *Встретимся в Сант-Луисе* крутят в Эмпайр Синема (вспоминает давний трюк член-в-коробке-с-поп-корном, который повторял там с какой-то Мадлен, а та даже—)—

Тантиви… О, нет, блядь, нет погоди—

«Истинное обаяние… отсутствие заносчивости… сила характера… фундаментальная Христианская чистота и правильность… мы все любили Оливера, его смелость, доброе сердце и неизменно добрый юмор служили вдохновением для каждого из нас… отважно погиб в бою, пытаясь доблестно спасти бойцов своего подразделения прижатого к земле Германской артиллерией...» и подписал его самый преданный товарищ по оружию, Теодор Блот. *Майор* Теодор Блот теперь уже—

Уставясь в окно, уставясь ни на что, стискивает нож со стола так, что вот-вот треснут какие-то из костей в его руке. Так случается иногда у прокажённых. Сбой сигнала мозгу—не могут знать, насколько крепко сжат их кулак. Сам знаешь, эти прокажённые. В общем—

Десять минут спустя, в своём номере, лёжа ничком на своей кровати, он чувствует себя опустошённым. Не может плакать. *Ничего* не может.

Они это сделали. Отправили его друга погибнуть в какой-то ловушке, возможно, позволили изобразить «почётную» смерть… а потом просто *закрыли его личное дело*...

Позднее у него появится мысль, что может вся эта история ложь. Они запросто могли вложить её в ту лондонскую *Times*, разве нет? подбросили газету, чтоб Слотроп её нашёл? Но на тот момент, когда он это вычислил, возврата уже не было.

В полдень Хилари Бонс заходит потирая глаза, с подхалимской улыбочкой.–«Как вчера повеселился? Я замечательно».

– Рад слышать,– Слотроп улыбается. *Ты тоже у меня дождёшься, миляга*. Эта улыбка потребовала от него больше грации, чем за всю его вялую Американскую жизнь, до этого момента. Он всегда считал, что на грацию у него дефицит. Однако получилось. Он изумлён и еле сдерживает слёзы благодарности. Самое замечательное тут не в том, что Бонс явно одурачен его улыбкой, но что Слотроп теперь знает: у него получается это...

Так что он *таки* сорвался в Ниццу, в быстром побеге по горной дороге, заносясь на виражах и визжа тормозами над согретыми солнцем пропастями, стряхнув хвосты ещё на пляже, где он догадался одолжить своему приятелю Клоду, помощнику повара, такого же роста и сложения, свои собственные новенькие псевдо-Таитянские плавки и, пока они стерегли того Клода, нашёл чёрный Ситроен с оставленными ключами, а что такого, парни—въезжает в город в своём белом зуте, тёмных очках, трепеща полями шляпы как у Сидни Гринстрита. Он не отличается особой неприметностью в толпе военных и мамзелей, что перешли уже на летнюю форму одежды. Но бросив машину возле Площади Гарибальди, он отыскивает бистро в старой Ницце, по ту сторону *La Porte Fausse*, и находит время на булочку с кофе, прежде чем пойти по адресу, который дал ему Ваксвинг. Там оказался древний четырёхэтажный отель с ранними алкашами распростёртыми по коридорам, веки глаз в виде крохотных буханок смазанных прощальными лучами заходящего солнца, а летняя пыль чинно проворачивается сквозь тёмно-серый свет, летнее приволье на прилегающих улицах, апрельское лето, пока великая передислокация из Европы в Азию курлычет мимо, заставляя немало душ каждую ночь чуть крепче хвататься за здешние безмятежности, в этой близи к канализационному люку Марселя, на этой предпоследней остановке бумажного циклона, что уносит их из Германии, вниз по долинам вдоль течения рек, начиная захватывать некоторых аж из Антверпена и других северных портов теперь, когда круговерть набирает силу и устанавливаются торные пути... Просто как острие к этому лезвию, тут на *Rue* Россини, Слотропа посещает самое лучшее из ощущений, что могут принести сумерки в чужеземном городе: как раз когда свет неба уравнивается со светом уличных фонарей, перед самой первой звездой, некое обещание беспричинных событий, неожиданностей, направление под прямым углом ко всем направлениям, которые его жизнь способна была избирать до сих пор.

Слишком нетерпеливый, чтобы дожидаться первой звезды, Слотроп заходит в отель. Ковры нечищены, всё пропахло алкоголем и жавелем. Матросы и девушки прогуливаются туда-сюда, вместе и по отдельности, пока Слотроп параноится от двери к двери, высматривая кого-то, у кого есть что ему сказать. Радиоприёмники

играют вовсю в комнатах с увесистой мебелью. Лестничная клетка оказывается не очень вертикальной, а *скошенной* под некоторым углом, а спадающий по стенам свет всего из двух цветов: землистого и блекло-лиственного. На самом верхнем этаже Слотроп замечает, наконец, старую материнскую *femme de chambre*, что заходит в какую-то из комнат со сменой постельного белья, очень белого в глубине сумерек.

– Зачем ты сбежал,– грустный шёпот звучит словно в телефонной трубке откуда-то очень издалека.– Они хотели тебе помочь. Ничего плохого не сделали б... – Её волосы завиты кверху, в стиле Джорджа Вашингтона, со всех сторон. Она уставилась на Слотропа под углом в 45°, терпеливым взором игрока в шахматы на парковой скамье, очень большой, добродушно горбатый нос и сияющие глаза: вся из себя крахмальна, крепко сложена, носки её кожаных туфель слегка загибаются кверху, полосатые красно-белые носки на громадных ступнях придают общий вид вспомогающего существа из какого-то иного мира типа эльфа, что не только начистит обувь пока ты спишь, но ещё и подметёт маненько, поставит горшок на огонь перед тем, как проснёшься и, может быть, живой цветок на подоконник—

– Ещё не поздно.

– Вы не понимаете. Они убили моего друга.– Но увидеть это напечатанным в *Times*, так публично… как может что-то подобное быть реальным, настолько реальным, чтоб убедить его, что Тантиви не перешагнёт порог однажды, *как вы парни* и застенчивая улыбка… эй, Тантиви, ты где пропадал?

– Где *я пропадал*, Слотроп? Ну ты умеешь пошутить.– Его улыбка снова озаряет время и вольный мир...

Он достаёт карточку Ваксвинга. Старуха расплывается в невиданной улыбке, два зуба оставшиеся у неё в голове лучатся под свежевключенными на ночь лампочками. Большим пальцем она отсылает его выше и шлёт ему то ли V-знак-победы, то ли захолустное заклятье против сглаза, чтоб не скисало молоко. Что бы то ни было, хихикает она саркастически.

Выше только крыша и типа вроде как пентхаус, по центру. Три молодчика с бачками Апашей и молодая женщина вооружённая плетёной кожаной дубинкой сидят перед входом и курят тонкие сигареты двусмысленного аромата. «Ты заблудился, *mon ami*».

– Да ладно,– снова машет карточкой Ваксвинга.

– Ах, *bien*... – они сдвигаются в сторону, и он заходит в разнобой канареечно-жёлтых шляп от Борсалини, обуви на пробковых подошвах из книжек комиксов, с громадными круглыми носками, до фига тех седельных прошивок контрастных цветов (таких как оранжевый на синем и, вечный фаворит, зелёный на лиловом), будничные стоны усмиряемого дискомфорта, обычно слышные в публичных туалетах, телефонные переговоры внутри тучи сигарного дыма. Ваксвинга нет, но один из коллег приостанавливает какую-то громкую сделку при виде его визитки.

– Что нужно?

– *Carte d’identité*, проезд в Цюрих, Швейцария.

– Завтра.

– Место ночёвки.

Человек протягивает ключ от одной из комнат внизу. «Деньги есть?»

– Немного. Только не знаю, когда смогу—

Отсчитывает, прищуривается, перепролистывает. «Вот».

– Э…

– Всё нормально, это не в долг. Из прошлого заработка. Теперь, отель не покидать, не напиваться, держись подальше от девушек, что тут работают.

– О…

– Увидимся завтра.– Вернулся к делам.

Ночь Слотропа проходит с неудобствами. Никак не удаётся заснуть дольше, чем минут на десять. Боевые группы клопов совершают вылазки на его тело не без учёта уровня его сонливости. Алкаши стучат в дверь, алкаши и пропавшие без вести.

– Тайр, впусти меня, это Дампстер, Дампстер Вилард.

–Что за—

– Сегодня совсем плохая ночь, извини. Мне не стоило так врываться, от меня больше неприятностей, чем я того стою… слушай… я замёрз… я долго добирался...

Резкий стук. «Дампстер—»

– Нет, нет. Это Мюрей Смайл, я был с тобой в учебке, 84 рота, помнишь? У наших серийных номеров разница всего в две цифры.

– Мне надо было впустить… впустить Дампстера… куда он делся? Или я заснул?

– Не говори им, что я тут был. Пришёл сказать, что тебе не обязательно возвращаться.

– Правда? Они сказали, что ничего?

– Да, ничего.

– Хорошо, но они *так сказали?*– Тишина.– Мюрей?– Тишина.

Ветер звучно продувает железо пожарной лестницы, а внизу по улице кувыркается упаковочный ящик для овощей, деревянный, пустой, тёмный. Должно быть четыре утра.– «Пора возвращаться, блядь, я опаздываю...»

– Нет.– Только шёпот... Но с ним остался только её «нет».

– Эт кто? Дженни? Это ты, Дженни?

– Да, это я. О, милый, как хорошо, что я тебя нашла.

– Но я должен... – Они бы ей позволили жить с ним в Казино…

– Нет, я не могу.– *Но что у неё с голосом?*

– Дженни, я слышал твой парень убит, кто-то мне говорил, через день после Нового года… ракета… мне надо было прийти, посмотреть, как ты… только я не пошёл… а потом Они забрали меня в то Казино...

– Это ничего.

А где-то, тёмными рыбинами затаившимися вне углов отражения в течении этой ночи, Катье и Тантиви, два гостя, которых он хочет увидеть больше всего. Он пытается подправить голоса, что подходят к двери, смодулировать как на губной гармонике, однако, не получается. То, чего он хочет, запрятано слишком глубоко...

Перед самым рассветом стук становится совсем громким, упорным как сталь. Слотропу хватило ума не откликнуться на этот раз.

– Открывай давай!

– Военная полиция, открывай.

Американские голоса, голоса кантри, высокие и безжалостные. Он лежит, промерзая, думая выдадут ли его пружины кровати. Потому что впервые он слышит Америку, как она должна звучать для не-Американца. Позднее он припомнит, что более всего его изумила фанатичность, уверенность не просто в силе, а в *правоте* того, что они сделают… когда-то давным-давно ему говорили, что именно так будут вести себя Нацисты, а тем более Япошки—а мы всегда играли по-честному—но эти двое за дверью настолько же деморализуют, как ближний план Джона Уэйна (в ракурсе, что подчёркивает насколько у него раскосые глаза, смешно: как ты до сих пор не замечал), орущего БАНЗАЙ!

– Погоди, Рой, вон он—

– Хопер! Иди сюда, падла—

– Вы больше не запхнёте меня в смирительную рубаааашку!– Голос Хопера гаснет за углом, военная полиция бросаются в погоню.

Слотропу доходит, вместе с рассветом за жёлто-коричневой занавеской в окне, что это его первый день За Пределами. Его первое утро на свободе. Он не обязан возвращаться. Свободный? Что такое свободный? Он наконец-то засыпает. Ближе к полудню молодая женщина заходит в комнату, открыв дверь своим ключом, и оставляет документы. Теперь он Английский военный корреспондент Йан Скафлинг.

– Вот адрес одного из наших людей в Цюрихе. Ваксвинг желает вам удачи и спрашивает что вас так задержало.

– То есть он ждёт ответа?

– Он сказал, чтоб вы об этом подумали.

– А скажи-и-и-те,– его только что осенило,– а почему вы мне помогаете? Так вот бесплатно и вообще?

– А кто его знает? Нам приходится играть по схемам. Должно быть, есть какая-то схема, в которой вы находитесь, на данный момент.

– Э…

Но она уже ушла. Слотроп осматривает номер: при свете дня тот жалок и безлик. Даже тараканам тут должно быть неуютно... Выходит, он сорвался, так же скоро как Катье с её колесом, сорвался в неизбывную колею таких вот комнат, побыть в каждой не дольше пока наберётся достаточно сил или отчаяния, чтобы двигаться дальше, к следующей, но теперь уже без возврата, никогда. Нет времени даже на то, чтоб познакомиться с *Rue* Россини, чьи лица шумят за окнами, где тут можно вкусно поесть, как называется песня, которую каждый насвистывает в это преждевременное лето...

Неделю спустя он в Цюрихе, после долгой поездки поездом. Покуда создания из металла в их отъединённости, день за днём плотного стойкого тумана, изводят часы на игру в молекулы, имитируют производственный синтез, рассыпаясь, складываясь вновь, сцепленные и пересцепленные, он то погружается, то всплывает из дремотной галлюцинации из Альп, туманов, пропастей, туннелей, скрежещущих подъёмов по невообразимым уклонам, коровьи колокольчики в темноте, поутру зелёные насыпи, запахи мокрых пастбищ, за окнами всегда небритая бригада рабочих направляется подштопать где-то отрезок колеи, долгие ожидания на сортировочных станциях, где рельсы расходятся подобно слоям в располовиненной луковице, серые пустынные места, ночи сигнальных гудков, сцепок, лязгов, боковых веток, взоры коров с вечерних склонов, армейские колонны в ожидании на переездах, покуда поезд пропыхтит мимо, нигде никакого отчётливого ощущения что это за страна конкретно, ни даже какая из воюющих сторон, только сама Война, неизменный исковерканный пейзаж, в котором

«нейтральная Швейцария» довольно приблизительный термин, употребляемый с такой же долей сарказма, как «освобождённая Франция», «тоталитаристская Германия», «фашистская Испания» и тому подобные...

Война перекроила пространство и время по своему подобию. Пути расходятся теперь в иных сетях железных дорог. То, что выглядит разрушением, на самом деле преобразование железнодорожных пространств для иных целей, для назначений, чьи контуры он, проезжая тут впервые, может только лишь предугадывать...

Он останавливается в Отеле Нимбус, в районе цюрихских кабаре. Комната на чердаке, взбираться по приставной лестнице. За окном есть ещё одна лестница, так что он решил всё будет как надо. С наступлением ночи отправляется искать местного представителя Ваксвинга, находит его дальше по Лимматквей, под мостом, в комнатах, где полно наручных и стенных швейцарских часов, вперемешку с альтиметрами. Это русский, фамилия Семявин. Снаружи корабли перекликаются гудками на реке и озере. Этажом выше, кто-то упражняется на пианино: спотыкается, сладкие *lieder*. Сенявин вливает водку из горечавки в стаканы только что заваренного им чая.–«Прежде всего, ты должен усвоить как именно всё тут специализировано. Если нужны часы, отправляйся в одно кафе. За женщинами, в другое. Меха распределяются на Соболей, Горностаев, Норку и Прочих. То же самое с наркотиками: Стимулянты, Депресанты, Психомиметики... А тебе что надо?»

– Ну информацию?– Опа, это питьё на вкус типа Мокси…

– О. В совсем другое.– дарит Слотропу кислый взгляд.– Жизнь была проще до первой войны. Не на твоей памяти. Наркотики, секс, драгоценности. Валюта в те дни была просто мелким приработком, а термин «промышленный шпионаж» вообще не ещё не родился. Но я видел как всё меняется—о, и до чего же всё переменилось. Германская инфляция, мне бы следовало делать выводы, нули нанизанные друг за другом отсюда и аж до Берлина. Мне приходилось уговаривать самого себя: «Семявин, это просто временное помутнение реальности. Небольшое отклонение, беспокоиться не о чем. Крепись, будь тем же —сила характера, крепкое умственное здоровье. Смелее, Семявин! Скоро всё опять придёт в норму». Но знаешь что?

– Попробую угадать.

Трагический вздох. –«Информация. Чем плохи наркотики и женщины? Что ж удивляться, что мир сошёл с ума, если основным средством обмена стала информация?»

– Я думал сигареты стали.

– Размечтался.– Он приносит список кафе и мест тусовок в Цюрихе. Под рубрикой Шпионаж, Промышленный, Слотроп находит три. Ультра, Лихтшпиль и Штрёгли. Они на разных берегах Лиммат и далековато друг от друга.

– Ногам работа,– складывая список в карман зут-сюта.

– Оно полегчает. Придёт день и всё это будут делать машины. Машины информации. Ты выбрызг из волны будущего.

Началась полоса обходов трёх кафе, просиживания по два часа над кофе в каждом из них, еды раз в день, цюрихская колбаса и *rösti* в Народных Кухнях… наблюдение нескончаемых толп бизнесменов в синих костюмах, дочерна загорелых лыжников, всё своё время отдающих скоростному спуску по ледникам и снегу, которые и слыхом не слыхали ни про политику, ни про смены курса, они читают лишь термометры и флюгера, находят свои ужасы в лавинах и рухнувших колоннах глетчерного льда, свои триумфы в напластованиях хорошей снежной пудры… оборванные иностранцы в промасленных кожаных куртках и подранной полевой форме, выходцы из Южной Америки, закутанные в меховые пальто и с неуёмной дрожью на ярком солнце, пожилые ипохондрики, которых грянувшая Война застукала на каком-нибудь курорте, где они и торчат с тех пор, неулыбчивые женщины в длинных чёрных платьях, мужчины в засалившихся пальто, которые… и сумасшедшие, спустившиеся из своих психбольниц на дни уик-энда—о, психические отклонения Швейцарии: Слотроп значится среди них, уж это будь уверен, среди всех мрачных лиц и улиц тёмных оттенков, один только он в белом, туфли, зут и шляпа, белые как кладбищенские горы тут... К тому же, он Новый Лох в Городе. Ему трудно отличать первую волну корпоративных шпионов от тех, кто просто

Психи на Побывке!

(Линия хористов поделена не на традиционных Парней и Девушек, но на Санитаров и Чокнутых, без учёта половой принадлежности, хотя все четыре возможных варианта представлены на сцене. На многих чёрные очки в белых оправах, не как дань моде, а для намёка на снежную слепоту, антисептическую белизну Клиники, возможно даже на затемнение рассудка. Однако с виду все счастливы, по-свойски, по-приятельски… ни малейшего признака подавления, даже одежда не отличается, так что поначалу как-то трудно разобраться кто Чокнутые, а кто Санитары, когда они врываются из коридоров приплясывая под свой напев):

А вот и мы, привет-привет—готовы вы к такому или нет,

Хоть маски одевайте, хоть козни затевайте,

Нам все лишь смех—из саночек мы сковырнулись в снег,

Как детвора, когда пришла весёлая пора

Каникулов.

О, да, мы Психи на Побывке

Заботы нету ни шиша—

Мозги наши в промывке,

На Ярмарке душа,

Придурки в отпуску, похерили тоску,

Под лёгкий модный стук

Нашей чечётки!

По кругу шляпу мы пускаем—для вашей хмурости и слёз,

А с ними страхов, что вас давят давно и так всерьёз—

Поверьте опытному психу, жизнь стоит, чтобы жить её,

Так обними и расцелуй своё сегодня и моё!

Ла-да-да, яа-та, йа-та, та-та… (*Они продолжают распевать без слов, фоном для того, что следует дальше*):

Первый Чокнутый (или, возможно, Санитар): Имеется бесподобное предложение, как раз тебе. Американец? Я так и думал, всегда опознаю наших по лицу, опять же этот твой костюм, влезь на ледник повыше и фиг тебя хоть кто разглядит! Ну в общем, короче, мне ясно прекрасно как тебя колбасит от этих уличных торгашей, что тут тусуются, это же старая три-листика на тротуаре [грузовики пересекают сцену какое-то время, туда-сюда, помахивает пальцем в воздухе, напевая: «Три-листика на трот, уаре», раз за разом, с одной и той же монотонной зацикленностью, не переставая до тех пор, сколько его могут выдержать], да ты-то враз смекнёшь, что оно не так, каждый обещает тебе что-то за так, точно? да, и как ни странно, основное возражение на это исходит от учёных с инженерами, которые всегда катили против идеи [понижая голос] вечного движения, но нам привычней называть это Контролем Энтропии—вот в чём наш козырь—ну а они, конечно, правы. Во всяком случае, были. До сих пор...

Второй Чокнутый или Санитар: Короче, ты уже наслушался про карбюратор галлон-бензина-на-двести миль, и лезвие бритвы, что ни в жизнь не затупится, про вечную ботиночную подошву, таблетку от чесотки полезную при гландах, мотор, что заправляется песком, про орнитоптеров и робобостеров—ты не ослышался, с маленькой бородкой из стальной ваты—круто, то шо надо, но есть кое-что как раз тебе по уму! Готов? Это Люк-Молния, Дверь, что Распахнёт Тебя!

Слотроп: Пойду вздремну, пожалуй…

Третий Ч. Или С.: Трансмогрифируй обыкновенный воздух в бриллианты через Катаклизменную Редукцию Углекислого Газ-а-а-а-а-а-а...

Будь он чувствительнее к подобным вещам, всё это воспринималось бы просто как оскорбление, эта первая волна. Она прокатывает, жестикулирует, обвиняюще, умоляюще. Слотропу удаётся сохранять спокойствие. Минует пауза—затем появляются настоящие, медленно поначалу, но собираются, собираются. Синтетическая резина или бензин, электронные калькуляторы, анилиновые

краски, акриловые, духи (краденые эссенции в фиалах для пробы), сексуальные привычки сотни членов совета директоров, на выбор, дислокация заводов, кодовые книги, связи и выплаты, только попроси, они достанут.

Наконец, однажды в Штрёгли, Слотроп заправляется жареной капустой и краюхой хлеба, которую всё утро таскал с собой в бумажном пакете, вдруг из ниоткуда появляется некий Марио Швайтар в зелёно-лягушачьем жилете, просто вынырнул из отголосков эха часов с кукушкой, прям тебе Тук Тук и Тут, бесконечные тёмные коридоры за его спиной, с оборотом удачи для Слотропа. «Псст, Джо»,– начинает он,– «эй, мистер».

– Не ко мне,– отвечает Слотроп с набитым ртом.

– Интересуетесь насчёт L.S.D.?

– Это сокращение от фунтов, шиллингов, пенсов. Ты попал не в то кафе, Дружище.

– Мне кажется, я попал не в ту страну,– Швайтар немного траурен.– Я из Сандоза.

– Ага, Сандоз!– Вскрикивает Слотроп и выдвигает стул для мужика.

Оказывается Швайтар и впрямь очень крепко связан с Psychochemie AG, он один из тех вольноплавающих улаживателей проблем вокруг Картеля, нанимается ими для подённой работы и подрабатывает шпионажем на стороне.

– Ну,– грит Слотроп,– я б не прочь насчёт что у них есть по Л. Джамфу, а и про Imipolex G.

– Веее…

– Извините?

– Та мура? Забудь. Это даже не по нашей части. Случалось заниматься разработкой полимера, когда вокруг одни лишь праздношатающиеся? При нашем гигантском родителе с севера, что каждый день шлёт ультиматумы? Imipolex G это обуза для компании, Янки. В ней даже завели вице-президентов, чья единственная обязанность прослеживать неукоснительное соблюдение ритуала ежевоскресного посещения могилы Джамфа, чтоб плюнуть на неё. У тебя мало опыта тусовки с толпой бездельников. Они очень элитарны. Воспринимают себя как завершение долгой Европейской диалектики, поколений недорода, эрготизма, оргий в складчину, из кантонов где-то там наверху, затерянных в горных складках, где не знали и дня без галлюцинаций за последние 500 лет, ведьмы на мётлах—блюстители традиции, аристократы—

– Постой-постой... Джамф умер? Ты сказал «могила Джамфа»?– Должно быть зацепило, не считая того, что этот человек, в сущности, не жил, и как он теперь, спрашивается—

– Высоко в горах, неподалёку от Йетлиберга.

– Ты когда-нибудь—

– Что?

– Когда-нибудь встречал его?

– Случилось до меня. Но мне известно, что на него большое досье в засекреченных файлах Сандоза. Достать что тебе надо не просто будет.

– Эх…

– Пять сотен.

– Пятьсот чего?

Швейцарских франков. У Слотропа нет 500 чего-либо, за исключением проблем. Деньги из Ниццы почти на исходе. Он отправляется к Сенявину, через мост Гемюзе-Брюке, приняв решение отныне и впредь ходить пешком, дожёвывает свою белую колбасу, гадая, когда подвёрнется другая.

– В первую очередь, тебе нужно,– советует Сенявин,– отправиться в ломбард и получить несколько франков за это вот,– указывая на костюм. О, нет, только не костюм. Сенявин отправляется порыться в задней комнате, возвращается с узлом одежды разнорабочего.– Пора задуматься о своей приметности. Приходи завтра, посмотрю что ещё найдётся.

Белый зут в свёртке подмышкой, менее приметный Йан Скафлинг возвращается на улицу, в средневековый день Нидердорфа, каменные стены доходят как хлеб в печи под меркнущим солнцем, ё-моё, ему теперь доходит: вот нарвётся где-то на ещё одни манёвры Тамара/Итало и в таком окажется глубоком, что в жизнь не выкарабкаться...

Сворачивая в свою улицу, в колодцах тени, он замечает чёрный роллс-ройс, мотор не заглушен, затемнённые стекла, а день настолько сумрачный, что ему не видно кто внутри. Красивая машина. Давно такую не видал, должно быть просто из любопытства, если бы не

Пословицы для Параноиков*, 4: Начнёшь скрываться, начинают искать.*

Заннгггг! диддиланг, диддила-та-та-та, йа-та-та-та это тут Увертюра к Вильгельму Теллю, назад в тени,   только бы никто не глянул через те односторонние стёкла, скорей, скорей, виляя за углы, проносясь вдоль аллей, погони не слышно, но ведь это самый тихий мотор на дорогах, за исключением танка Королевский Тигр.

Забудь этот отель Нимбус, прикидывает он. Ноги уже начали ныть. Он выходит на Луизенштрассе и к магазинчику как раз перед закрытием, где ему удаётся отовариться немного, на пару дней, болонской колбасой, за зут-сюют. Прощай зут.

Этот город и вправду закрывается рано. Но где же будет Слотроп спать в эту ночь. У него минутный рецидив оптимизма: заскакивает в какой-то ресторан и звонит в регистратуру отеля Нимбус: «Ах, да»,– на Англо-Английском,– «не могли бы вы мне сказать, тот Британский парень, что ожидал в фойе, он ещё *там*?...»

Через минуту отвечает приятный недоумевающий голос с а-ты-кто? О, такой ангельский. Слотроп в панике вешает трубку, смотрит на обедающих, которые смотрят на него—напартачил, напартачил, теперь Они знают, что он подбирается к Ним. Остаётся обычный шанс, что у него разгулялась паранойя, но слишком уж участились совпадения. Кроме того, ему уже знакомо звучание Их расчётливой невинности, это часть Их стиля...

Снова по городу: прецизионные банки, церкви, готические входы маршируют мимо… от отеля нужно держаться подальше, и от трёх кафе, точно, точно… В начинающемся вечере постоянные жители Цюриха гуляют в синем. Синий, как городские сумерки, густеющий синий... Шпионы и дилеры разошлись по домам. К Семявину нельзя, круг Ваксвинга оказал поддержку, не стоит их подставлять. Какой вес имеют Пришлые в этом городе? Может ли Слотроп рискнуть в другом отеле? Наверное, нет. Холодает. Ветер дует с озера.

Он замечает, что уже дотопал аж до Одеона, одного из кафе широкого мира, специализированность которого не значится ни в каких списках—фактически, никогда не была установлена. Ленин, Троцкий, Джеймс Джойс, д-р Эйнштейн, все они посиживали за этими столиками. Что-то же всех их объединяло: чего-то ради они тут отмечались… возможно, это как-то связано с людьми вообще, со смертностью пешеходов, с безостановочным пересечением потребностей или отчаяния на одном роковом отрезке улицы… диалектики, матрицы, архетипы, всем нужно подключаться, время от времени, снова к части пролетарской крови, к запахам тел и бессмысленным воплям через стол, к обману и последним надеждам, иначе всё оборачивается ветхим Дракулизмом, известным проклятием Запада...

Слотроп убедился, что наличной мелочи хватит на один кофе. Он заходит и садиться, выбрав место лицом ко входу. Через пятнадцать минут он получает шпионский сигнал от смуглого кудрявого пришельца в зелёном костюме за пару столиков от него. Ещё один боец с передовой. На его столике старая газета, да ещё и на испанском. Она раскрыта на определённой политической карикатуре с шеренгой мужчин среднего возраста в платьях и париках, внутри полицейского участка, где коп держит буханку белого… нет, это младенчик, а бирка на его пелёнке грит *LA REVOLUCIÓN* . . . о, а каждый из них твердит, что новорожденная революция его произведение, и эта вот карикатура тут типа как для опознания, этот парняга в зелёном костюме, который оказался аргентинцем по имени Франческо Сквалидози, следит за реакцией… ключевые слова в самом конце строки, где великий поэт Аргентины, Леопольд Лугонес, говорит: «Теперь я расскажу тебе стихами, как я зачал её свободной от грязи Первородного Греха... » Это революция Урибуру 1930. Газете уже пятнадцать лет. Трудно сказать, что именно Сквалидози ожидает от Слотропа, но натыкается на полное невежество.

Оно, похоже, прокатило за приемлемое и вот уже Аргентинец делится секретом, что он с дюжиной коллег, в том числе международная звезда эксцентрики Грасиела Имаго Порталес, угнали Германскую подлодку устаревшего образца из Мар де Плата, пару недель назад, и вот приплыли обратно через Атлантику, просить политического убежища в Германии, как только война там...

– Ты говоришь в *Германии*? Вы что, с катушек послетали? Там полный бардак, Джексон!

– И близко не тянет на тот бардак, что мы оставили дома,– отвечает печальный Аргентинец. Длинные морщины пролегли по сторонам его рта, морщины, которым обучила жизнь рядом с тысячами лошадей, где повидал слишком много обречённых жеребят и закатов к югу от Ривадавиа, где начинается истинный Юг... – Всё обернулось бардаком, когда к власти пришли Полковники. Теперь их сменил Перóн… нашей последней надеждой стала *Acción Argentina*,– (о чём он болтает, Исусе, до чего же жрать охота),– но подавили через месяц со дня восстания… теперь все в ожидании. Выходят на демонстрации просто по привычке. Надежд уже не осталось. Мы решили убраться прежде, чем Перóн получит ещё один портфель. Скорее всего министерство обороны. Он уже прибрал к рукам *descamisados*, это отдаст ему и Армию, понятное дело… просто вопрос времени… мы могли бы двинуть в Уругвай, переждать его, такая традиция. Но он, наверное, надолго. Монтевидео переполнен эмигрантами, рухнувшими надеждами...

– Да, но Германия—туда лучше не соваться вообще.

– *Pero ché, no sós argentino*. . . .– Долгий взгляд прочь вдоль шрамов швейцарских авеню, высматривает оставленный им Юг. Не тот Аргентинец, Слотроп, которого тот Боб Эберле видел в каждом-прекаждом баре по пути, подымающим тост за мандарины… Сквалидози хочет сказать*: Мы, во всём стонущем, исходящем парами колдовской возгонки, перегонном кубе Европы, мы самые тощие, опасные, подходящие для мирского использования... Мы пытались извести своих индейцев, как и вы: нам возжелалось замкнутой белой версии доставшейся нам реальности—но даже в самых задымлённых лабиринтах, в самом глубинном отупении полуденного балкона или двора с воротами, земля никак не позволяла нам забыть*... Однако, вслух он спросил,–«Послушай— у тебя голодный вид. Ты ел вообще-то? Не окажешь ли мне честь?»

В Кроненхале они нашли свободный стол наверху. Вечерний наплыв спадает. Сосиски и фондю: Слотроп загибается с голоду.

– В дни гаучо, моя страна была нетронутым листом бумаги. Пампасы простирались насколько могло хватить воображения, неисчерпаемые, неограждённые. Куда гаучо мог прискакать, место принадлежало ему. Но Буэнос-Айрес добивался гегемонии над провинциями. Все неврозы на почве собственности набирали силу, и начали заражать вольные просторы. Выросли ограждения и гаучо стали не такими свободными. Это наша национальная

трагедия. У нас мания строить лабиринты там, где прежде простирались открытая равнина и небо. Чтобы выписывать всё более усложнённые вавилоны на чистом листе. Нам нестерпима подобная открытость: она нас ужасает. Взгляни на Борхеса. Посмотри на окраины Буэнос-Айреса. Тиран Розас умер столетие тому, но культ его процветает. Под городскими улицами, катакомбы комнатушек и коридоров, заборы и сеть стальных путей, Аргентинское сердце, при всей его извращённости и греховности, жаждет возвращения к той неисчёрканной безмятежности… к анархическому единению пампасов и неба...

– Но ведь проволока,– Слотроп со ртом набитым фондю, глотает не жуя,– это ж *прогресс*—невозможно хранить целину веками, нельзя стоять на пути прогресса — да, он и впрямь готов завестись не меньше, как на полчаса, цитируя воскресные дневные сеансы с вестернами, где всё посвящено Собственности, такое кино, перед этим иностранцем, что оплатил его еду.

Сквалидози принимает это за тихое помешательство, не грубость, просто моргает пару раз: –«В обычные времена»,– пытается он объяснить,– «центр всегда побеждает. Власть его растёт с течением времени, и это необратимо, неодолимо обычными средствами. Децентрализация, возврат к анархизму требует экстраординарных времён… эта Война—эта невероятная Война—на данный момент стёрла размножение мелких государств преобладавшее в Германии тысячу лет. Стёрла начисто. *Распахнула* её.

– Эт точно. Надолго ли?

– Долго не протянет. Конечно нет. Но на несколько месяцев… наверно, к осени наступит мир— *discúlpeme*, к весне, я всё ещё не привык к вашему полушарию—к наступлению весны, наверно...

– Да, но—что вы собираетесь делать, захватить землю и попытаться её удержать? Вас сгонят, партнёр.

– Нет. Захватывать землю значит разводить ещё больше заборов. Мы хотим оставить её открытой. Мы хотим, чтобы она росла, менялась. В открытости Германской Зоны, наша надежда безгранична.– Затем, словно получив по лбу, быстрый взгляд, не на дверь, а *вверх, к потолку*— Но и наша опасность не меньше.

Подводная лодка в данный момент плавает у берегов Испании, большую часть дня в погружении, по ночам поднимается зарядить батареи, время от времени украдкой заходит пополнить запас горючего. Сквалидози не слишком-то распространяется про детали договорённости о заправках, но у них явно налажена давняя связь с Республиканским подпольем—сообщество светлости, дар упорства... Теперь Сквалидози в Цюрихе, чтобы установить контакт с правительствами, которые захотели бы, из каких угодно побуждений, содействовать его анархизму-в-изгнании. К завтрашнему дню он должен доставить сообщение в Женеву: оттуда весточка попадёт в Испанию и на

подлодку. Но здесь в Цюрихе крутятся агенты Перона. За ним следят. Он не может рисковать связным в Женеве.

– Я могу помочь,– Слотроп облизывает свои пальцы,– но у меня с деньгами туго и —

Сквалидози называет сумму, которой хватит расплатиться с Марио Швейтаром и поддержит Слотропа в сытости несколько месяцев.

– Половину вперёд и я отправляюсь.

Аргентинец передаёт записку, адреса, деньги и платит по чеку. Они договариваются о встрече в Кроненхале через три дня.–«Удачи».

– Тебе тоже.

Прощальный грустный взгляд от Сквалидози, что остаётся один за столом. Встряхчубом, свет меркнет.

Самолёт, развалюшный DC-3, выбран за сходство с лунным светом, за доброе выражение его морды с окошками, за неосвещённость внутри и снаружи. Он просыпается, свернувшись среди груза, мрак металла, вибрация мотора в его костях… красный огонёк едва сочится от кабины в голове фюзеляжа. Он пробирается к маленькому окошку и смотрит наружу. Альпы в лунном свете. Маловаты, не так зрелищны, как ожидалось… Ну ладно… Он садится обратно на мягкую кровать из упаковочной стружки, закуривает одну из Сквалидозиных с пробковым мундштуком, в раздумьи, ё-моё, неплохо, парни просто прыгают себе в самолёт и летят куда хотят… зачем тормозится в Женеве? Точняк, и как насчёт— ну той же Испании? Нет, погоди, там фашисты. Острова Южных Морей! хмм, полно Япошек и Американских солдат. Ну ещё Африка, Тёмный Континент, уж *там-то* ничего кроме аборигенов и слонов, и ещё тот Спенсер Трейси...

– Податься некуда, Слотроп, некуда.– Фигура жмётся к упаковочному ящику и дрожит. Слотроп щурится в слабом красном свете. Это широко известное лицо с обложек, лицо беззаботного искателя приключений Ричарда Халибёртона: но странно изменившееся. Вниз по его обеим щекам жуткая сыпь, покрывшая россыпь давних оспинок от прыщей, по симметричности которой Слотроп, имей он намётанный взгляд врача, прочёл бы реакцию на наркотики. Брюки для верховой езды на Ричарде Халибёртоне порваны и запятнаны, его яркие волосы засалились, висят сосульками. Похоже, он молча рыдает, скрючившись, падший ангел, над всеми этими второсортными Альпами, над всеми ночными лыжниками далеко внизу, на склонах, пересекают без устали, оттачивают и совершенствуют свой Фашистский идеал Действия, Действия, Действия, что был когда-то и его стимулом к существованию. Минуло навсегда. Навсегда миновало.

Слотроп потянулся затушить сигарету о пол. Слишком легко эти ангельски белые древесные стружки могут заняться. Лежи тут в этом дребезжащем разболтанном аэроплане, лежи тихо, как только можешь, чёртов дурак, да, они тебя обложили—

обложили тебя опять. Ричард Халибёртон, Ловел Томас, Парни Ровера и Мотора, желтушные кипы *National Geographics*, наверху в комнате Хогана, ведь все ему лгали, и не было никого, ни даже призрака с колониальных времён на чердаке, сказать ему, что не так оно...

Шарах, занос, ещё и ещё, приземление как блин комом, ёбаные недоучки из школы запуска воздушных змеев, свет серого швейцарского рассвета через маленькие оконца и каждый сустав, мускул и кость Слотропа ноет и болит. Пора на выход.

Он покидает самолёт без происшествий, смешивается с зевающим недовольным стадом ранних пассажиров, агентов по доставке, рабочих аэродрома. Коинтрин ранним утром. Ошеломляюще зелёные холмы с одной стороны, по другую коричневый город. Мостовые скользки и влажны. Облака медленно разбухают в небе. Монблан грит привет, озеро тоже грит как ты, Слотроп покупает 20 сигарет и местную газету, спрашивает в какую ему сторону, садится в подошедший трамвай, и в холоде сквозящем от дверей и окон, чтоб он проснулся, катит в Город Мира.

Ему надо встретить Аргентинского связного в *Café l'Éclipse*, далеко от троллейбусных линий, по мощёной брусчаткой улице и на маленькую площадь окружённую овощными и фруктовыми лавками под бежевыми навесами, магазинами, другими кафе, витринами, чистыми промытыми тротуарами. Собаки шастают из улочки в улочку, Слотроп сидит с кофе, круассаном, газетой. Вскоре тучи рассеиваются. Солнце раскинуло тени почти до того места, где сидит он в насторожённом внимании. Похоже, никто не следит. Он ждёт. Тени отступают, солнце поднялось, потом начинает опускаться, наконец, показывается нужный ему человек, точно по описанию: костюм повседневно чёрного, как в Буэнос-Айресе, усы, очки в золотой оправе, и насвистывает старинное танго Хуана д'Ариенцо. Слотроп устраивает представление, рыща по своим карманам, достаёт иностранную купюру, как говорил ему Сквалидози, хмурится на неё, встаёт, подходит ближе.

Comono, señor, нет проблем разменять банкноту в 50 песо—приглашает присесть, достаёт валюту, блокноты, игральные карты, скоро стол завален бумагами всякого рода, которые всё же рассовываются обратно по карманам так, что человек забирает записку от Сквалидози, а Слотроп ту, что отвезёт к нему. Всего и делов-то.

Обратно в Цюрих на послеполуденном поезде, в дремотном сне большую часть пути. Он сходит в Шлирен, в безбожно тёмный час, на всякий, если Они следят за городским вокзалом, на такси добирается до Св. Петерхофштат. Стрелки его огромных часов зависли высоко над ним и пустыми акрами улиц, в чём он сейчас усматривает тупую зловещесть. Как-то увязывается с квадратами Лиги Плюща в его отдалённой юности, башни циферблатов освещались так слабо, ничего не разберёшь, и соблазн, не такой сильный как сейчас, поддаться смеркающемуся году, принять по полной настоящего ужаса в час без имени (если только это не… нет… НЕТ…): то было тщеславием, тщеславием как понимали его Пуританские

предки Слотропа, кости и сердце настороженные на Ничто, Ничто под саксофоны колледжа в сладостном слиянии, белые блейзеры в губной помаде на отворотах, дым робеющих Фатим, мыло Кастилии испаряется с блестящих волос, и мятные поцелуи, и роса на гвоздиках. Дошло до того, что перед самым рассветом шутники моложе него, вытащили из постели, завязали глаза, на то и Райнхардт, вывели в осенний холод, к теням и листве под ногами, и к мигу сомнения, а вдруг они и впрямь что-то другое—а все, что перед этим, не настоящее: просто продуманный театр, чтобы тебя одурачить. Но теперь экран потемнел, и времени нисколько не осталось. Вот тебе агенты наконец...

Где более подходящее место, чем Цюрих, чтоб заново найти тщету? Это страна Реформации, город Цвингли, человека в самом конце энциклопедии, и повсюду напоминания в камне. Шпионы и большой бизнес в своей родной стихии, неутомимо движутся среди суровых памяток. Будь уверен, здесь встретятся экс-молодые люди, в самом этом городе, лица которых попадались Слотропу в школьных спортивных командах, которые приобщились в Гарварде к Пуританским Таинствам: они на полном серьёзе давали клятву почитать и действовать всегда во имя *Vanitas*, Тщеты, их правителя… которые теперь по плану жизни как-там-его и как-там-того прибыли сюда в Швейцарию, работать на Аллена Даллеса и его «разведывательную» сеть, что проходит нынче под вывеской «Офис Стратегических Служб». Но для посвящённых ОСС ещё и тайный акроним: в виде мантры для моментов неотвратимых кризисов, они обучены выговаривать про себя… *oss. . . oss*, слово-покойник, перевранное Латинское слово Тёмных Веков обозначать кость...

На следующий день, когда Слотроп встречается с Марио Швейтаром у Штрёгли выплатить тому аванс, он также спрашивает о месте захоронения Джамфа. И они уславливаются завершить там сделку, в горах.

Сквалидози не показывается в Кроненхале, или в Одеоне, или в любом из других мест, которые Слотроп догадается проверить в последующие дни. Исчезновения, в Цюрихе, невелика редкость. Но Слотроп так и будет возвращаться, на всякий. Записка на испанском, он не в силах разобрать больше одного слова, или двух, но он не расстаётся с ней, вдруг подвернётся случай передать. И ну та анархистская убеждённость его подкупает малость. Когда-то, когда Шэйс сражался против федеральных войск в Масучусетсе, где Регуляторы Слотропы патрулировали Бёркшир помогая восставшим, с веточками болиголова в их шляпах, чтобы отличаться от солдат Правительства. Федералы втыкали в свои обрывок белой бумаги. Слотропы в те дни ещё не настолько вовлеклись в бумажный бизнес и поголовную резню деревьев. Они всё ещё были за живой зелёный против мёртвого белого. Позднее они утратили или продали, своё понятие на чьей они стороне. Наш Тайрон унаследовал полное невежество на эту тему.

За спиной у него ветер дует сквозь склеп Джамфа. Слотроп уже две ночи как устроил тут кемпинг, деньги почти на исходе, дожидается вести от Швайтара. Укрывшись от ветра, укутавшись в пару швейцарских армейских одеял, он смог продержаться, ему удаётся даже поспать. Точнёхонько поверх Мистера Imipolex. В

первую ночь засыпать было страшно, боялся посещения духа Джамфа, чей Германо-научный склад ума Смерть разнесёт до самых диких рефлексов, бесполезно умолять тупо ухмыляющееся зло остатков скорлупы… голоса похрипывают в лунном свете вокруг его явления, пока он, Оно, Подавленное, приближается… *стойчтоза* проснувшись, лицо на холоде, оглядывается на чуждые могильные камни, *то что? что это было…* обратно в сон, почти, снова проснулся… туда-сюда, и так большую часть первой ночи.

Явления не состоялось. Похоже Джамф просто мёртв. Слотроп, проснувшись наутро, чувствует, несмотря на пустой желудок и текущий нос, себя лучше, чем за многие месяцы. Похоже, он прошёл испытание, устроенное не кем-то другим, но им лично, для разнообразия.

Город под ним, отчасти уже в купели света, представляет собой некрополь из церковных шпилей и флюгеров, белых музейно-замковых башен, широких зданий с мансардами крыш, и тысяч блестящих окон. В это утро горы прозрачны как лёд. Позднее, днём они обернутся грудами синего мятого атласа. Озеро зеркально гладко, но горы и дома отражённые в нём странно размыты, края их источены, словно мелкий дождь: сон про Атлантиду, Suggenthal. Игрушечные деревушки, уединённый город из раскрашенного алебастра… Слотроп сидит тут на корточках, на повороте горной тропы, лепит и швыряет снежки от безделья, нечем заняться, кроме как докуривать последнюю, по его прикидкам, Лаки Страйк на всю Швейцарию...

Шаги по тропе снизу. Щёлканье галош. Это посыльный Марио Швейтара с большим толстым конвертом. Слотроп платит ему, выпрашивает сигарету и несколько спичек и они расстаются. Вернувшись в склеп, Слотроп опять зажигает маленькую кучку растопки и веток сосны, согревает руки и приступает листать папку. Отсутствие Джамфа окружает его словно запах, который он не может точно определить, аура грозящая впасть в эпилепсию каждую секунду. Вот она, информация—не так много, как ему хотелось (о, так и сколько же он хотел?), но больше чем надеялся, как любой из практичных Янки. В последующие недели, в те очень редкие минуты, что позволяли ему заглянуть в своё прошлое, он улучал время пожалеть, что вообще прочёл это...

* * * * * * *

М-р Пойнтсмен решил Троицу отметить на море. Чувствует себя малость великим в последнее время, беспокоиться, право же, не о чем, до мании далеко, о, наверное, из-за ощущения, когда он скорым шагом верстает коридоры «Белого Посещения», где все прочие словно бы застыли в позах явно паркинсоновых и лишь он единственный полон бодрости, не парализован. Вот и снова настало мирное время, голубям не пробиться было на Трафальгарскую площадь в Ночь Победы, в заведении тогда все упились поголовно до умопомрачения, объятий, поцелуев, за исключением Блаватского крыла Отдела Пси, которые по случаю

Дня Белого Лотоса отправились в паломничество на Авеню-Роуд, 19, в Св. Джонз Вуд.

Снова пришло время празднеств. Хоть Пойнтсмен и без того чувствует себя просто обязанным поехать расслабиться, пусть даже и разразился, разумеется, Кризис. Руководитель обязан проявлять самообладание, вплоть до демонстрации праздничного настроения посреди Кризиса. О Слотропе ни слуху ни духу, почти уже месяц, с того момента, как тупые ослы из военной разведки упустили его в Цюрихе. Пойнтсмен малость раздосадован на Контору. Его хитроумная стратегия явно накрылась. В изначальных обсуждениях с Клайвом Мосмуном и остальными всё выглядело железно надёжным: позволить Слотропу сбежать из Казино Герман Геринг и после этого положиться на Секретную Службу вместо ПРПУК. Из чистой экономии. Счёт за слежку был самым мучительным тернием в венце проблем по финансированию, который ему, похоже, суждено носить по ходу всего данного проекта. Проклятое финансирование станет причиной его кончины, если Слотроп не доведёт его прежде до психушки.

Пойнтсмен лоханулся. Нет даже Теннисонова утешения свалить просчёт на «кого-то». Нет, именно он, и только он, дал «добро» Англо-Американской команде в составе Харвея Спида и Флойда Пурде исследовать произвольный срез сексуальных приключений Слотропа. Бюджет позволял, и кому помешает? Они стартовали буквально *вприпрыжку*, как братцы-козлики, углубиться в эротическое приложение Поиссона. Дон Хуанова карта Европы—640 в Италии, 231 в Германии, 100 во Франции, 91 в Турции, *но*, но, но—в Испании! в Испании, 1003!—прям-таки Слотроповская карта Лондона, и эти два полукеда заразились столь непомерной склонностью к бездумным удовольствиям, что нынче дни напролёт засиживаются в ресторанных скевериках, коротают время над салатами из хризантем и кастрюльками с бараниной, либо торчат в какой-нибудь фруктовой лавке. —«Эй, Спид, глянь, *дыни!* Я ни одной не пробовал с Третьего Курса—ух-ты, понюхай вот эту, просто прелесть! Как насчёт дыни, Спид? А? Да, давай.

– Отличная идея, Пурде, отличная!

– Ага… О, ну ты выбери какую сам захочешь.

– Самую-самую?

– Да. Вот эта вот,– проворачивает показать ему, как негодяи поворачивают лица запуганных девушек,– та самая, что выбрал я, ну как?

– Но, но я думал мы собирались на двоих— слабо машет в сторону того, что он всё ещё не может принять за дыню Пурде, в чьей гравюрной сетке, как из кратеров бледной луны, и впрямь вырисовывается лицо, лицо пленённой женщины с глазами опущенными вниз, веки покрывшие их гладки словно Персидские потолки...

– Ну нет, в общем, я обычно, э... — Пурде приходит в *замешательство*, это как найти повод, чтобы съесть яблоко или даже вбросить *виноградину* себе в рот—

просто ну типа ем их… целиком, понимаешь,– прихихикивает, чтобы, как ему кажется, дружески указать, повежливее, *странность* подобного обсуждения на публике— но смешок воспринят неверно Спидом: истолкован как свидетельство умственной нестабильности этого угловатого Американца с парой выпирающих верхних зубов, который скатывается уже от сутулости к Английской сутулости, тощий как уличная марионетка на ветру. Покачивая головой, он всё же выбирает свою целую дыню, осознаёт, что был оставлен заплатить по непомерно большому счёту, и вприпрыжку отправляется вслед за Пурде, с притопом да с пристуком, оба они, тра-ля-ля-ля плюх прямиком в очередной тупик:

– Дженни? Нет— тут никакой Дженни…

– А какая-нибудь Дженифер, тогда? Дженивив?

– Джинни (может записано было с ошибкой), Вирджиния?

– Если вы, джентльмены, ищите хорошо провести время— её ухмылка, её красная, маниакально доброе-утро-и-говорю-ж-оно-точно-*доброе!* ухмылка достаточно широка, чтоб распрямить их обоих, осклабившихся до дрожи, тута вот, а сама до того *старая*, что годится им в Матери—их общая Мать, вобравшей самые гадкие черты м-с Пурде и м-с Спид—фактически, она теперь и становится именно такой, буквально у них на глазах. Эти руины моря полны соблазнительниц—вот уж где склизко и блудливо. И покуда двух вылупившихся детективов всмятку затягивает её аура, с подмигами прям тут, на улице, в медных отблесках хны, с цветами страсти на вискозном шёлке—за миг до спотыкливой безоговорочной капитуляции безумию её лиловых глаз, они позволяют себе, ради греховного интереса, последнюю мысль об исследовании, которое они тут типа как бы проводят—Зона Случаев Слотропа, Еженедельные Отслеживание Истории (ЗСС ЕОИ)—мысль, что промелькнула, обрядившись клоуном, вульгарным нахрапистым клоуном в мишуре бессловесных острот про соки тела, лысого, с ошеломляющим потоком волос из носа через обе ноздри, которые он заплёл в косички и повязал кислотно-зелёными бантами—чтоб резко выпрыгнуть в этот миг, мимо мешков с песком и низвергающихя кулис, сдерживая одышку, и прокартавить им скрипуче отвратным визгом: «Никакой Дженни. Никакой Салли В. Никакой Сибелы. Никакой Анджелы. Никакой Катрин. Никакой Люси. Никакой Гретхен. Когда вам уже дойдёт? Когда-нибудь вам дойдёт уже?»

Никакой «Дарлин» тоже. Это выяснилось вчера. Они отследили имя до резиденции м-с Квод. Но броская молодая разведёнка никогда, так прямо и заявила, не предполагала даже, что Английским детям давали бы имя «Дарли». Ей ужасно жаль, но ничем. А м-с Квод нынче бездельничает по довольно напедикюренному адресу в Мэйфловер, и оба исследователя с облегчением покинули этот район...

Когда вам уже дойдёт? Пойнтсмену доходит моментально. Однако «доходит» на тот манер как типа если заходишь к себе в спальню, а на тебя валится, из лёгкой сумеречности на твоём потолке, гигантский угорь мурена, зубы оскалены в

дурноватой ухмылке смерти, выдыхает, шмякнувшись на твоё открытое лицо, долгий человечий звук, в котором ты распознаёшь, ужасаясь, *сексуальное пристанывание* ...

Это к тому, что Пойнтсмен избегает затронутую тему—настолько же рефлективно, как избегал бы любой кошмар. На случай, если вдруг обернётся не сном, а *реальностью*, ну…

– Данные, пока что, неполны.– Это следует отчётливо подчёркивать в любых заявлениях.– Надо признать, что предварительные данные демонстрируют,– помни, *держаться с искренностью*,– обнаружение случаев, когда имена на карте Слотропа не приходят в соответствие с фактами, которые нам удалось установить, его пребывания в Лондоне. Установленными на *данный момент*, разумеется. Это, в основном, всего лишь первые, видите ли, имена, просто Иксы без Игреков, так сказать, звания без указания принадлежности.— Пойди определи сколько тянется один «данный момент» на самом деле.

– А вдруг многие—даже большинство—Слотроповских звёзд окажутся, в отдалённом будущем, отражением сексуальных фантазий вместо реальных событий? Вряд ли подобный оборот сведёт на нет наш подход более, чем это случилось с воззрениями Зигмунда Фрейда столкнувшегося там, в старой Вене, с похожими отклонениями от вероятности—все те истории папенька-меня-изнасиловал, которые, будучи, фактически, ложью, остаются истинными *клинически*. Постарайтесь понять, мы, в ПРПУКе, заинтересованы в строго определённой, клинической версии истины. Мы не углубляемся в вопрос чем это было вызвано.

На данный момент, Пойнтсмен несёт это бремя один. Одиночество фюрера: он чувствует себя сильнее в лучах этого тёмного компаньона теперь, когда его звезда на подъёме… но он и не хочет делиться этим, нет не сейчас ещё пока что...

Собрания штата служащих, его служащих, становятся много хуже, чем бесполезными. Погрязли в бесконечных спорах о мелочах—нужно или нет переименовывать ПРПУК теперь, когда Капитуляция и без того Ускорена, аббревиатуру какого сорта, если вообще какого-то, принять. Представитель Шелл Мекс-Хаус, м-р Деннис Джойнт, намеревается перевести программу в Группу Операций Особых Запусков (ГООС), в виде придатока к Британским усилиям ракетной зачистки, Операция Ответный Огонь, что базируется в Каксэвене на Северном море. Чуть ли не каждый день являет очередную попытку, с той или иной стороны, реконструировать или даже распустить ПРПУК. Пойнтсмену всё проще, с недавних пор, впадать в настроение *l’état c’est moi*—а кто же *ещё* делает хоть что-нибудь? разве не на нём всё *держится*, зачастую без опоры на что-либо помимо его голой воли…? Шелл Мекс-Хаус, естественно, вне себя по поводу исчезновения Слотропа. Нате вам, в бега сорвался человек, который знает всё, что возможно знать—не только об А-4, но и о том, что *Великобритания* знает об А-4. Цюрих кишит советскими агентами. Что если они уже заполучили Слотропа?

Весною они заняли Пенемюнде, похоже, теперь им достанется центральный ракетный завод в Нордхаузене, ещё одна из Ялтинских договорённостей... Не менее трёх агенств, ВИПМ, ЦАГИ, и РСКФ, а также инженеры из других комиссариатов, уже сейчас являются в оккупированную Советами Германию со списками персонала и оборудования подлежащего отправке на восток. В распоряжении ВКСЭС Артиллерийское управление Американской Армии и целая рать конкурирующих исследовательских команд занятых сбором всего, что только подвернётся. Они уже обложили фон Брауна и 500 других, интернировали их в Гармише. Что если они схватили Слотропа?

Слччились, также ухудшая Кризис, и предательства: Ролло Грост перекинулся обратно в Общество Психологических Исследований, Трикл налаживает собственную практику, Майрон Грантон снова постоянная фигура на радио. Мехико начал отдаляться. Эта Боргесиус всё ещё исполняет свои ночные обязанности, но с болезнью Бригадного Генерала (может старый дурак забыл про свои антибиотики? Неужто Пойнтсмену всё нужно делать самому?) она начинает беспокоить. Конечно, Гёза Рожевоглий всё ещё в программе. Фанатик. Рожевоглий *никогда* не оставит.

Итак, выходной на море. Из политических соображений, участвуют Пойнтсмен, Мехико, девушка Мехико, Деннис Джойнт, Катье Боргесиус. На Пойнтсмене сандалии, довоенная шляпа-котелок, редкая улыбка. Погода не идеальная. Пасмурно, ветер, который к вечеру станет холодным. Запах озона доносится от аттракцион-машинок в серой стальной загородке вдоль променада, вместе с запахами ракушек на тачках и солёного моря. Галечный пляж заполнен семьями: разутые отцы в пиджачных костюмах и высоких белых воротничках, матери в блузах и юбках вытащенных из камфорного забытья длиною в целую войну, дети бегают повсюду в костюмчиках для приёма солнечных ванн, подгузниках, комбинезончиках, коротких штанишках, гольфах, итоновских шляпах. Идёт торговля мороженым, сладостями, кока-колой, съедобными моллюсками, устрицами, креветками под солью и соусом. Автоматы для игры в пинбол морщатся от грубостей фанатичных солдат и их девушек, которые своими телодвижениями поддерживают движение ярких шариков, клянут, пристанывают, пока те тарахтят книзу о деревянные препятствия аркад, вспышки огоньков, гулкие рычажки. Ослы и-акают и срут, дети вступают в дерьмо, родители орут. Мужчины провисают в полосатых холстяных стульях и разговаривают о бизнесе, спорте, сексе, но чаще всего о политике. Шарманщик играет увертюру Россини к *La Gazza Ladra* (которая, как мы увидим позже, в Берлине, является высоким достижением в музыке, хотя все игнорируют, отдавая предпочтение Бетховену, а тот в жизни не продвинулся далее одних лишь заявлений о намерениях), а здесь, без барабанов или вопленного надрыва духовых труб, мягкое произведение, исполненное надежды, обещания лавандовых сумерек, беседок из нержавеющей стали, где каждый возведён, наконец-таки, в аристократы, и где любовь без всякой платы...

Пойнтсмен на сегодня планировал не говорить о делах, а пустить беседу на самотёк, более или менее органичный. Ждать пока другие выдадут себя. Разговор

минимален. Деннис Джойнт посматривает на Катье с возбуждённой улыбкой, время от времени бросает на Мехико подозрительный взгляд. У Мехико тем временем свои проблемы с Джессикой—всё более и более частые в эти дни—и в данный момент эти двое даже не смотрят друг на друга. Глаза Катье Боргесиус направлены далеко в море и невозможно сказать что с ней происходит. Невесть с чего, Пойнтсмен, хотя никак не предполагает в ней какой-либо значимости, всё же её побаивается. Много чего он всё-таки пока ещё не знает. Пожалуй, всего более, что беспокоит его нынче, это её связь, если таковая имеет место, с Пиратом Прентисом. Прентис приезжал в «Белое Посещение» несколько раз и задавал весьма конкретные о ней вопросы. С недавних пор, когда ПРПУК открыли свой офис-филиал в Лондоне (который какой-то бездельник, скорее всего, этот молодой недоумок, Вебли Силвермейл, уже окрестил «Дом Двенадцать»), Прентис слишком уж зачастил туда, подкатывает к секретаршам, пытается заглянуть в ту или иную папку... С чего бы это? Какую послежизнь обрела Контора по эту сторону Дня Победы? Что надо Прентису… сколько он стоит? Может влюбился в эту Боргесиус? Разве способна эта женщина любить? *Любовь?* Попробуй тут не завопить. Каким может быть её понятие о любви...

– Мехико,– ухватывая руку молодого статистика.

– А?– Роджер прекратил глазеть на хорошенькую, чуть смахивает на Риту Хейворт, в цельном цветастом купальнике, бретельки скрещены в Х на её худощавой спине...

– Мехико, мне кажется у меня галлюцинации.

– О, правда? Вам так кажется? И что же видите?

– Мехико, я вижу… Я вижу… При чём тут что я *вижу*, олух! Я о том, что я *слышу*.

– Хорошо, и что же слышится, в таком случае,– Роджер, уже малость сварливо.

– Только что я услышал твои слова «И что же слышится, в таком случае». И *мне это не нравится!*

– Почему нет?

–Потому что: при всей неприятности этой галлюцинации, я бы ей *скорее предпочёл* звук твоего голоса.

Весьма странное поведение со стороны кого угодно, но от обычно сдержанного м-ра Пойнтсмена этого достаточно, чтобы застопорить эту взаимно параноидную собирушку намертво. Неподалёку Колесо Фортуны с пачками Лаки Страйк, куклами пупсиками и конфетами нанизанными между спиц.

– Это ж надо,– светловолосый здоровяк Деннис Джойнт подталкивает Катье локтем широким, как колено. В своей профессии он научился моментально

смекать с кем имеет дело. Он прикинул, что эта милашка Катье весёлая девушка, которой тут охота малость порезвиться. Да, он прирождённый руководитель, определённо.– Тут явный сдвиг по фазе, нет?– старается говорить негромко, ухмыляясь со спортивной паранойей туманно в сторону странного Павловца—не прямиком на него, ты ж понимаешь, встретиться глазами может оказаться самоубийственной глупостью при таком умственной состоянии...

Тем временем Джессика перешла к своему номеру с Фэй Рей. Это разновидность защитного паралича, наподобие твоей личной реакции, когда на тебя прыгает с потолка угорь мурена. Но сейчас всё за Кулак Гориллы, огни электрического Нью-Йорка, чтоб вдруг вспыхнули в комнате, которая казалась тебе безопасной, куда никогда не ворвутся… за жёсткость чёрных волос, за сухожилия потребностей трагичной любви...

– Да уж,– как высказался кинокритик Митчел Притифейс в своём исчерпывающем 18-томном исследовании Кинг Конг,– он *таки* любит её, парни.– Исходя из этого тезиса, Притифейс, похоже, затронул всё, что можно, каждый кадр, включая вырезанные, прочёсан, выгрести все крохи символизма до последней, представлены полные биографии всех имеющих хоть как-то отношение к фильму, участников массовок, установщиков камер, работников по проявлению плёнки… Включены даже интервью с приверженцами Культа Кинг Конга, для членства в котором нужно просмотреть фильм не менее 1000 раз и пройти 8-часовый вступительный экзамен… И всё-таки, и всё же: нельзя сбрасывать со счетов Закон Мёрфи, это нахальное ирландско-пролетарское изложение Теоремы Гёделя — *когда всё предусмотрено, когда ничто не может пойти не так, ни даже застать нас врасплох… что-то всё-таки сможет*. Так что, перестановки и комбинации у Падинга в его *Что могло бы произойти в Европейской Политике* за 1931 год, год публикации Теоремы Гёделя, Гитлер не получал ни малейшего шанса. Потому-то, при фундаментально обоснованных законах наследственности, начинают рождаться мутанты. Даже такое детерминированное вооружение, как ракета А-4, начинает спонтанно выкидывать фортели наподобие «S-Gerät», за которым Слотроп, по его личному мнению, гоняется как за Граалем. И точно так же, легенда о чёрной обезьяне отпущения сброшенной нами, как Люцифер, с высочайшего возвышения в мире сумела, когда пришло время, произвести своих собственных деток, что бегают по Германии даже теперь — *Schwarzkommando*, которых Митчел Притифейс и вообразить не мог.

В ПРПУК широко распространено мнение, что *Schwarzkommando* были вызваны, подобно заклятию для призыва демонов в мир и на свет дневной, Операцией Чёрное Крыло, ныне уже покойной. Будьте уверены, поначалу в Отделе Пси только хихикали. Кто мог предположить, что и взаправду появятся чёрные ракетчики? Что история, выдуманная для устрашения прошлогоднего врага, окажется истинной буквально—и теперь никак не удасться загнать их назад в бутылку или даже выговорить заклинание задом наперёд: никто и не знал заклинания целиком—разным людям были известны различные его кусочки, в чём и заключается суть работы командой... К моменту, когда им дошло обратиться к Наисекретнейшей Документации относительно Операции Чёрное Крыло,

попытаться понять как такое могло произойти, они обнаружат, что любопытно, отсутствие некоторых основных документов или обновление их по завершении Операции, столкнуться с невозможностью, при таком опоздании воссоздать заклинание вообще, хотя начнутся, как обычно, элегантные или плохо рифмующиеся предположения. Даже более ранние из предположений будут урезаны и сглажены. Ничего не останется, например, от предварительных выводов Фрейдиста Эдвина Трикла с его приспешниками, который под конец оказался на ножах со своим собственным меньшинством, психоаналитическим крылом Отдела Пси. Началось это с поиска соизмеримого обоснования общего случаям преследования умершими. Через какое-то время коллеги начали подавать рапорты с просьбой о переводе их куда-нибудь. Гадости вроде «Тут уже попахивает Институтом Тавистока», начали бурчаться по всем подвальным коридорам. Дворцовые перевороты, многие из которых задумывались в орнаментально изящных приливах паранойи, приводили к регулярным вызовам бригад слесарей и сварщиков, вызывали нехватку офисных принадлежностей, даже воды и отопления… ничто не свернуло Трикла и его приспешников от приверженности Фрейдисткому, не говоря уже о Юнговском, направлению ума. Известие о реальном существовании *Schwarzkommando* постигло их за неделю до Дня Победы. Отдельные эпизоды, кто на кого что именно сказал на самом деле, затерялись в пылу обвинений, криков, нервных припадков и выходок дурного толка, которые последовали. Кому-то запомнилось как Гавин Трефойл, с лицом синим как у Кришны, бегал среди подстриженных деревьев совершенно голым, а Трикл гнался за ним с топором крича: «Большая *горилла?* Я покажу тебе *гориллу!*»

Действительно, он показал бы эту животину многим из нас, только мы и смотреть бы не стали. В своей невинности, он не находил причин почему бы сотрудникам по служебному проекту не практиковать самокритичность с прямотой присущей революционным ячейкам. И в мыслях не держа задеть чьи-либо чувства, он всего лишь хотел показать всем, и ведь вполне же достойные парни до единого, что их отношение к черноте связано с их отношением к говну, а отношение к говну с их отношением к разложению и смерти. Самому-то это казалось настолько явным… почему они даже и слушать не хотят? Почему не хотят признать, что их подавления *являются*, в смысле, который Европа, в своём изнеможении на заключительных стадиях своего извращения волшебного, утратила, *есть* воплощением реально существующих людей, возможно управляющих (по свидетельству самой лучшей разведки) реально существующим вооружением, подобно тому как мёртвый отец, никогда с тобой не переспавший, Пенелопа, ночь за ночью возвращается в твою постель, чтобы пристроиться сзади… или как твой нерождённый ребёнок будит *тебя* своим плачем посреди ночи и ты чувствуешь его призрачные губы у себя на груди… они настоящие, они живут, пока ты притворяешься визжащей в Кулаке Гориллы… но погляди на более подходящего сейчас кандидата, кремово-кожую Катье под Колесом Фортуны, что готова пуститься бегом по пляжу к относительному покою Американских горок. Пойнтсмен галлюцинирует. Он потерял управление. Пойнтсмену положено иметь абсолютный контроль над Катье. И где она теперь? Под управлением

утратившего контроль. Даже в прошлом, в кожах и боли *gemütlich* мира Капитана Блисеро, не испытывала она такого ужаса, как сейчас.

Роджер Мехико принимает это на свой счёт, о-подумаешь, просто хотел помочь...

То, что несколько отрешённый м-р Пойнтсмен слышал всё это время, было голосом, странно знакомым, голосом, который однажды представлялся ему принадлежащим лицу на широко известной фотографии из газет Войны:

– Вот что ты должен сделать. Сейчас тебе нужен Мехико, больше, чем когда-либо. Твои зимние тревоги на тему Конца Истории уже похоже упокоились с миром, часть твоей биографии стала дурным минувшим сном. Но, как всегда грит лорд Актон, Историю ткут отнюдь не невинные руки. Эта вот подружка Мехико угроза всей твоей затее. Он пойдёт на всё, чтоб удержать её. Своею хмуростью и даже нападками, она, тем не менее, его спровадит, в густой туман гражданской жизни, где ты его потеряешь и уже никогда не найдёшь—если сейчас же не приступишь к действиям, Пойнтсмен. Операция Ответный Огонь направляет девушек ВТС в Зону. Девушки ракетчицы: секретарши и даже несложные технические обязанности на полигоне в Каксхавене. Тебе стоит лишь замолвить слово в ГООС, через этого Денниса Джойнта, и Джессика Свонлейк снята с пути. Мехико, возможно, поноет какое-то время, но у него станет больше причин, если придать правильное направление, С Головою Уйти в Работу, а? Вспомни красноречивые слова сэра Дэниса Нейланда Смита юному Алану Стёрлингу, чья невеста оказалась в когтях коварного жёлтого Врага: «Мне довелось проходить через огонь, который испепеляет сейчас тебя, Стёрлинг, и я всегда находил, что работа является лучшей из всех мазей от ожогов». И мы оба знаем что олицетворяет Нейланд Смит, не так ли, а?

– Я знаю,– грит Пойнтсмен,– только я не могу знать знаешь ли ты, не так ли, если я даже не знаю кто ты, знаешь ли.

Эта странная выходка не добавляет уверенности компаньонам Пойнтсмена. Они начинают отодвигаться, явно встревоженные.–«Мы должны найти доктора»,– бормочет Деннис Джойнт, подмигивая Катье, как светловолосый Грочо Маркс. Джессика, забыв сердиться, берёт руку Роджера.

– Вот видишь,– снова заводится голос,– она чувствует, что защищает его *против тебя*. Часто ли появляется шанс стать синтезом, Пойнтсмен? Восток и Запад в одном и том же малом? Ты можешь быть не только Нейландом Смитом, давать мудрые советы впавшему в панику юноше, но вместе с тем, в то же самое время, становишься ещё и *Фу Манчу*, а? и в чьих руках оказывается теперь юная леди?! Ну, *как?* Протагонист и антагонист в одном лице. Я бы не думал долго на твоём месте.

Пойнтсмен собирается ответить что-нибудь вроде: «Но ты, не я»,– однако, замечает как все таращатся на него. «О, ха, ха, ха»,– грит он вместо этого.– «Разговорился тут сам с собой. Немножко—так сказать—эксцентричности, хе, хе»

– Инь и Янь,– шепчет голос,– Инь и Янь.

* * * * * * *

3

В Зоне

Тото, у меня такое чувство, что это мы совсем не в Канзасе…

—Дороти, оказавшись в Оз...

* * * * * * *

Мы без ущерба миновали дни *Eis-Heiligen*— Св. Панкратия, Св. Серватия, Св. Бонифация и *die kalte* Софии… они витают в тучах над виноградниками, святой леденящий сонм, способные одним выдохом, по своей воле, загубить урожай года морозом и холодом. В какие-то годы, особенно годы Войны, они не склонны к благотворительности, капризны, хохорятся своею мощью: не слишком-то к лицу святым такое, ни даже Христианам. Молитвы виноградарей, сборщиков, энтузиастов винопотребления, к ним, несомненно, возносятся, но пойди угадай как примут их ледовые святые—грубым смехом, языческой непримиримостью, кто разберёт этот заключительный отряд охранителей зимы от революционеров Мая?

Горы и долы, в этом году, встретили их миром наступившим считанные дни тому назад. Уже лоза начала возрастать поверх зубов дракона, падших Юнкерсов, сожжённых танков. Солнце прогревает холмистые склоны, реки текут яркие, как вино. Святые сжалились. Ночи мягки. Мороз не вернулся. Это весна мира. Урожай винограда, коль даст Бог хотя бы сто солнечных дней, выдастся замечательным.

В Нордхаузене меньше почтения ледо-святым, чем в более южных винодельческих регионах, но даже тут сезон выглядит многообещающим. Дождь налетел, рассыпаясь по городу, с приходом сюда Слотропа ранним утром, босые ноги, натёртые и перенатёртые, охлаждает мокрая трава. На горах лежит солнечный свет. Его ботинки спёр какой-то ПеэЛ, чьи пальцы легче снов, на одном из многих поездов после Швейцарской границы, пока сам он похрапывал под стук колёс через Баварию. Кто бы то ни был, он оставил красный тюльпан между пальцев ступни Слотропа. Тот воспринял это как знак. Напоминание о Катье.

Знаки будут находить его тут в Зоне, и предки снова и снова напоминать о себе. Это типа как отправиться в ту Темнейшую Африку для изучения местных жителей и обнаружить, что перенимаешь их дикие предрассудки. Фактически, даже и забавно, в минувшую ночь Слотропу встретился Африканец, первый увиденный

им в своей жизни. Их разговор на крыше товарного вагона в лунном свете продлился всего минуту или две. Обмен мнениями по поводу внезапного отбытия майора Дуайна Марви под откос железнодорожной насыпи с гравийной отсыпкой в глубь долины—но, разумеется, по ходу события никакого обсуждения верований Иреро относительно предков не велось. И всё же своих он чувствует сейчас тем сильнее, чем дальше отступают границы, а Зона смыкается вокруг него, тех своих Англо-Саксонских Белых Протестантов в застёгнутом чёрном, которым слышался обращённый к ним голос Бога в каждом встрепенувшемся листке или в корове отпущенной пастись среди яблоневых садов осенью...

Знаки Катье и её двойники тоже. Однажды ночью он сидел в детском домике для игр среди покинутой усадьбы, подкладывал в костёр волосы куклы блондинки с глазами из ляпис-лазури. Он оставил эти глаза, через пару дней выменял на них проезд попутным поездом и половинку варёной картофелины. Собаки лаяли вдали, летний ветер гулял в березняке. Он был на одной из основных магистралей последнего рассеяния весны и отступления. Где-то поблизости один из ракетных расчётов Генерал-Майора Камлера сообща нашли свою корпоративную смерть, оставив, в своей изувеченной военной ярости, обломки, модули, секции остова, батареи гнить, бумажные секреты рассыпанными по навозной жиже. Слотроп идёт по следу. Малейшего намёка достаточно, чтоб вспрыгнул на попутный поезд...

Волосы на кукле были человечьи. Воняли в огне жутко. Слотроп услышал движение по ту сторону костра. Потрескивающий шумок—схватил своё одеяло, готовый выскочить в пустой оконный проём, ожидая гранату. Но тут одна из тех ярко раскрашенных Германских игрушечек, орангутанг на колёсиках, появляется ки-ки-кикая в света костра, дёргается, болтая головой, на лице ухмылка идиота, царапая стальными сгибами пальцев пол. Чуть не заехал в огонь прежде чем кончился завод, качающаяся голова замерла в полуобороте, чтобы уставиться на Слотропа.

Он подбрасывает в костёр ещё один локон золотистых волос: «Здрасьте».

Смех, откуда-то: Ребёнок. Но смех старческий.

– Выходи, от меня вреда не бойся.

– Зачем ты жжёшь волосы моей куклы?

– Ну это не её волосы, вообще-то.

– Папа говорило, они от Русской Еврейки.

– Почему не идёшь к огню?

– Мне глаза щиплет.– Снова заводит что-то. Ничего не выкатывается. Но начинает играть музыкальная шкатулка. Отчётливая мелодия в миноре.– Потанцуй со мной.

– Я тебя не вижу.

– Вот я.–Из бледности пламени, крохотный заиндевелый цветок. Слотроп тянется, насилу удаётся найти её руку, ухватить маленькую талию. Они начинают свой чинный танец. Он даже не знает кто из них ведёт.

Лица её он так и не увидел. Прикосновение как вуаль из тонкой кисеи.

– Красивое платье.

– Я одевала его на моё первое причастие.– Огонь вскоре угас, оставив свет звёзд и слабое мерцание над каким-то городом восточнее через полностью выбитые окна. Музыкальная шкатулка всё играла уже, казалось, без завода, про обыкновенную весну. Их ноги двигались по затуманенным осколкам старого стекла, по лоскутам шелков, костям мёртвых котят и кроликов. Геометрическая дорожка вывела их к вздувшимися разодранным гобеленам, запаху пыли, и более древних зверюг, чем та у костра… единороги, химеры… но что там за гирлянды в дверных проёмах детского размера? Головки чеснока? Погоди—ими, кажется, вампиров отпугивают? Слабый запах чеснока доносится к нему в тот самый миг, вторжение Балканской крови в мотив его севера, когда он оборачивается спросить действительно ли она Катье. Прекрасная маленькая королева Трансильвании. Но музыка уже умолкла. Она испарилась уже из его рук.

Ну вот он скользит по Зоне как сердцевидная дощечка по доске Видже, а что показывается внутри пустого круга в его мозгу может сложиться в послание, а может и нет, ему виднее. Но он ощущает внимательные пальцы, что неслышно, однако уверено, возложены на его дни и, как ему думается, это пальцы Катье.

Он всё ещё Йан Скафлинг, военный (мирный?) корреспондент, хотя снова облачился в Британскую униформу с некоторых пор, и времени у него вагон на этих поездах, чтоб так и эдак обдумывать информацию контрабандно доставленную Марио Швейтаром ещё там в Цюрихе. Среди прочего, толстая папка по Imipolex G, и там, похоже, указывается Нордхаузен. Инженер, заказавший Imipolex, некто Франц Пёклер, прибыл в Нордхаузен в начале 44-го, когда ракета переводилась в массовое производство. Он был приписан к Миттельверке, подземному призводственному комплексу в подчинении SS. И слова нет, куда он делся при эвакуации завода в феврале и марте. Но Йан Скафлинг, асс репортёрской журналистики, наверняка найдёт зацепку в Миттельверке.

Слотроп сел в раскачивающийся вагон с тридцатью другими продрогшими оборванными душами, глаза переполнены зрачками, губы в кратерах болячек. Они пели, не все, но некоторые. Многие из них ещё дети. Это песня Перемещённого Лица, ПеэЛа, и Слотропу не раз ещё доведётся выслушать её в Зоне, на привалах, на дорогах, в дюжине вариаций:

Как увидишь поезд этим вечером,

На краю небес вдали,

Завернись в одеяло из досок

Пусть пройдёт он, а ты засни.

Ночь за ночью поезда нас зовут,

Из далей где меркнет свет,

Через пустые города поезда те идут,

Нигде им пристанища нет.

Паровоз без машиниста,

И прожектор светит сам,

Пассажиров им не надо

Полуночным поездам,

Опустели все вокзалы,

Рельсы холодно молчат:

Что теряем – им в прибыток,

И колёса всё стучат.

Поездам средь ночи чёрной,

Вольно вместе с ветром выть,

Да греметь во тьме бездонной,

Ну а нам петь и грешить.

Трубки ходят по кругу. Дым зависает на сырых деревянных брусьях, выплёскивается через щели в течение ночи. Спящие дети заходятся кашлем, пищат рахитичные младенцы… время от времени, матери перебросятся словом. Слотроп нахохлился над своим бумажным несчастьем.

Досье Швейцарской фирмы на Л. (т. е. Ласло) Джамфа перечисляет все его достижения до прибытия к месту работы в работы в Цюрихе. Выясняется, что он сидел—в качестве символического учёного—в совете директоров Химической Корпорации Грёсли после 1924 года. Среди биржевых бумаг данной фирмы и её кусочков-отростков в Германии за тот же период—в последующие год-два отростки были вобраны гигантским спрутом ИГ—имелась запись о сделке между Джамфом и м-ром Лайлом Блендом из Бостона, штат Масачусетс.

Взял след, Джексон. Имя Лайла Бленда ему знакомо, даже очень. И оно же часто всплывает в частных записях Джамфа о личных деловых сделках. Похоже, этот Бленд, в начале двадцатых, плотно стыковался с операциями Гуго Штинеса в

Германии. Штинес, при жизни, представлял собой вундеркинда Европейских финансов. За пределами Рура, где его семья на протяжении поколений оставались угольными баронами, молодой Штинес создал обширную империю производства стали, газа, электроэнергии, трамвайных и судоходных линий прежде, чем ему исполнилось 30. Во время Мировой Войны он тесно сотрудничал с Вальтером Ратенау, заправлявшего тогда всей экономикой. После войны Штинесу удаётся объединить горизонтальный электрический трест Сименс-Шухерт с запасами угля и железа под контролем Рейнелбе-Юнион в единый сверх-картель, ставший как вертикальным, так и горизонтальным, и вкладывал деньги буквально во всё—судоверфи, пароходные линии, отели, рестораны, леса, производство бумаги, газеты—при этом продолжал валютные спекуляции, скупал иностранные деньги за марки занятые в Рейхсбанке, понижая затем курс марки, и выплачивал займы ничтожной долей от первоначальной суммы. Более всех остальных финансистов, именно в нём видели виновника Инфляции. В те дни за покупками на день ты отправлялся с мешком марок на тачке и их же использовал как туалетную бумагу, если тебе было чем срать. Международные связи Штинеса охватывали весь мир—Бразилия, Индокитай, Соединённые Штаты—на бизнесменов подобных Лайлу Бленду его показатели роста доходов действовали неотразимо. По возникшей в те времена теории, Штинес сговорился с Круппом, Тиссеном и другими обесценить марку и тем самым освободить Германию от уплаты её военных долгов.

Связь с Блендом не очень ясна. Записи Джамфа упоминают, что тот устраивал контракты на многотонные поставки негосударственных бумажных денег, так называемые Нотгельд, Штинесу и его коллегам, а также «банкноты МЕФО» в Веймарскую республику—одна из многих бухгалтерских уловок Ялмара Шахта, чтобы в официальных отчётах не оставалось и намёка о закупках вооружений, что запрещалось Версальским договором.

Некоторые из таких банкнотных контрактов выводили на некое предприятие в Масачусетсе, в совете которого сидел и Лайл Бленд. Контрактором значилась Бумажная Компания Слотропа.

Он прочитывает собственное имя не слишком-то удивляясь. Оно сюда вполне вписывается, как большинство мелких деталей по ходу *déjà vu*. Вместо нежданного озарения (даже в образе человеческого существа: золотистого и предостерегающе невесомого), пока он уставился на эту семёрку зачернённых значков, в нём проворачивается неприятный желудочный случай, жутко осязаемый, как нарастающий позыв к рвоте—такое же головокружение, что однажды, очень давно, охватывало его в Гимлер-Шпильзааль. Противогаз обжимает его голову, резиновый, нескончаемый, давит со всех сторон, это чувство нам знакомо, да, но… У него при этом ещё и хуй встаёт, без особого повода. И к тому же опять этот *запах*, запах из времени до начала его сознательной памяти, вкрадчивый химический запах, угрожающий, неотступный, такой не встретишь в мире—*так пахнет дыхание Запретного Крыла*… квинтэссенция всех тех неподвижных фигур, что ждут его внутри, берут на сла́бо, чтобы вошёл узнать тайну, которую не переживёт.

Однажды что-то сделали с ним, в комнате, где он беспомощно лежал...

У его эрекции какой-то отдалённый гул, словно от вживлённого прибора, который они внесли в его тело подобно колониальному аванпосту тут, в нашем неупорядоченном шумном мире, ещё одно из представительств их белой Метрополии за тридевять земель...

Печальный случай, чего уж там. Слотроп, разнервничавшись, продолжает чтение. Лайл Бленд, да? Ещё бы, всё сходится. Он может смутно припомнить те раза два, когда он видел Дядю Лайла. Тот человек приходил к его отцу, приветливый, со светлыми волосами, пройдоха в региональном стиле Джима Фиска. Бленд всегда хватал маленького Тайрона и покачивал его за ноги. Слотроп не протестовал—в те времена ему и кверх ногами нравилось.

Судя по тому, что идёт дальше, Бленд или предчувствовал, что Штинесу подкрадывается капец, либо просто занервничал. В начале 23-го он начал распродавать свою долю в операциях Штинеса. Какая-то из таких продаж производилась через Ласло Джамфа в Химической Корпорации Грёсли (впоследствии Psychochemie AG). Одним из активов переведённых в той сделке стало «владение предприятием Чёрный Пацан целиком. Продавец соглашается исполнять обязанности по наблюдению в продолжение времени, сколько понадобиться Деляге для выкупа, приемлемость которого определяется продавцом».

Кодовая книга Джамфа оказалась в досье. Тоже ведь часть личности, в конце концов. «Деляга» было кодовым именем Гуго Штинеса. Тонкое чувство юмора, старый пердун. Напротив «Чёрного Пацана» значатся лишь инициалы: «Т. С.»

Ну святые угодники, прикидывает Слотроп, это должен быть я, ха. Исключая побочную вероятность: Тупая Срань.

В списке задолженности «Чёрному Пацану», неоплаченный остаток счёта Гарвардского университета, около $5000, включая проценты, как «условлено (устно) с Чёрным Папой».

«Чёрный Папа» это кодовое обозначение для «С. С.» Что, исключая побочную вероятность "Сукин Сын", похоже собственный отец Слотропа, Саймон. Чёрнопапа Слотроп.

Неслабый способ докопаться, что твой отец заключил, 20 лет тому, сделку для оплаты твоего образования. Если вдуматься, Слотропу не слишком-то удавалось увязывать объявления о неминуемом разорении семьи, на протяжении всей Депрессии, с комфортом, предоставленным ему в Гарварде. Ну так что же за сделка заключена была между его отцом и Блендом? Я был продан, Боже правый, меня продали в ИГ Фарбен как кусок говядины. А насчёт наблюдения? Штинес, как любой промышленный император, имел в своей компании штат шпионов. Точно так же и ИГ. Выходит Слотроп находился у них под присмотром—м-может с момента рождения? Ввеее…

Вновь в его мозгу всплеск страха. Такой не обуздать обычным Ёб Твою… Запах, запретная комната, на самом краешке его памяти. Не видно, нет возможности различить. Он и не хочет. Это смыкается с Самым Худшим.

Ему известно, каким должен быть тот запах: пусть даже, согласно этим бумагам, для этого ещё слишком рано, и хоть он никогда не пересекался с ним в дневных координатах своей жизни, однако, в самых глубинах, вернувшись обратно в ту тёплую темень, к начальным формам, где часы и календари мало что значат, он знает, то, что преследует его сейчас, окажется запахом Imipolex G.

А ко всему этому тут ещё и тот недавний сон, который страшно увидеть снова. Он был в своей комнате, дома. Летний день сирени и пчёл, и тёплый воздух в открытое окно. Слотроп нашёл очень древний словарь технического Немецкого. Тот упал и раскрылся на определённой странице, что наёжилась чёрным шрифтом. Прочитывая страницу, он доходит до ДЖАМФ. В определении стоит: я. Он проснулся с мольбою к Этому *нет!*—но даже после пробуждения, он знал наверное, и останется уверен, что Это может явиться ему снова, как только Оно так захочет. Возможно, и тебе знаком этот сон. Возможно, Оно предупреждало тебя никому не называть Его имени. Если так, тогда тебе известно каково Слотропу.

Тут он подымается на ноги, пошатываясь, направляется к двери товарного вагона, что ползёт вверх по склону. Отодвинув дверь в сторону, он выскальзывает наружу —действие, действие—и карабкается по лесенке на крышу. За полметра от его лица, в воздухе висит двойной ряд блестящих ярких зубов. Как раз то, что ему надо. Это Майор Марви из армейской артилерии США, командир Мамочек Марви, самой хитрожопой группы технической разведки на всё эту ёбаную Зону, мистер. Слотроп может называть его Дуэйн, если хочет. «Распробуги всю их вуги! Зацени этих *джунглевых* зайчиков прям ото в *следусчем вагоне!* Ни себе хохо!»

– Погоди-ка,– грит Слотроп,– я похоже чёй-то проспал или ещё чего.– Этот Марви жирный-прежирный. Штаны заправлены в начищенные ботинки, валик жира свешивается поверх армейского ремня, на котором он держит свои солнцезащитные очки и кольт .45, волосы прилизаны назад, глаза как предохранительные клапаны, что таращятся на тебя как только—вот как сейчас—давление у него в голове зашкаливает.

На попутном П-47, он прилетел из Парижа в Кассель, пересел на этот поезд к западу от Хайлигенштадта. Его место назначения Миттельверке, как и у Йана Скафлинга. Надо скоординироваться с каким-то проектом Гермес парней из Дженерал Электрик. Конечно же, действуют ему на нервы, те негры по соседству. –«Эй, можешь сделать неплохую статью. Предупреди своих дома».

– Военнослужащие?

– Нет блядь. Капустники. Юго-Западные Африканосы. Вроде того. Так говоришь, ты не знал? Да брось. О. Разведка Англикашек мало ела каши, хахахах, без обид,

сам знаешь. Я думал всем известно.– Тут следует крутая побасенка—похоже, состряпанная при ВКОЭС, фантазиям Геббельса не хватало такой разухабистости, те не улетали дальше Альпийских Редутов и тому подобного—про планы Гитлера установить Нацистскую империю в чёрной Африке, но планы ухнули, когда старый вояка Паттон отшиб Роммелю задницу в пустыне: «Получите вашу жопу, Генерал»: «*Ach du lieber! Mein Arsch!* АГА—хахаха...»– комически хватается за свои широкие штанины сзади. Вопщем, чёрным кадрам уже ничто не светило в Африке, остались в Германии как эмиграционное правительство даже без официального признания, как-то прибились к артиллерии Германской армии и очень скоро обучились запускать ракеты. А теперь просто болтаются без дела. Дикие. Не были интернированы как военнопленные и даже, как известно Марви, не разоружены. –«Мало нам забот с Русами, Лягушатниками, Англикашками—уй, извини, приятель. Так теперь ещё влупились не просто в ниггеров, а в ниггеров *Капустников*. Охренеть, Исусе. После Дня Победы почти везде, где была ракета, встретишь ниггера. Никогда чтоб вся батарея из одних буги-вугов, даже Капустники не *настолько* тупые! Одна батарея это 81 человек, *плюс* всё её обеспечение, тут тебе и управление стартом, и электричество, и топливо, охранение тоже—кореш, это получилася б целая куча ниггеров в одном месте. И что они, всё так же поразбросаны, как раньше? Вот узнай и заимеешь полную сенсацию, друг. Патамушша, если они теперь соберутся вместе, будет *бааальшущая* беда! В том вагоне их не меньше как дюжины две—прямо там, слушай. А и они *едут в Нордхаузен*, приятель!»– толстый палец тычет в грудь на каждое слово,– «а? И шо по-твоему они задумали? Знаешь шо я думаю? У них есть план. Да. Думаю нащот ракет. Не спрашивай как, ну, просто вот сердцем чую. А и сам знаешь, это *жуть* как опасно. Нельзя *им* доверять—С *ракетами?* Они ж как дети, их раса. Мозги мельче.

– Зато наше терпение,– добавляет спокойный голос из темноты,– необъятно, хотя, пожалуй, не безгранично.– С этими словами, высокий Африканец с широкой длинной бородой подступает и сошвыривает толстяка Американца, который успевает кратко вскрикнуть, слетая с крыши. Слотроп и Африканец прослеживают, как Майор скатывается с насыпи, отстав от поезда и, колеся руками-ногами, пропадает из виду. Ели толпятся на холмах. Ущербная луна взошла над зазубренным кряжем.

Человек представляется как Оберст Тирлич, из *Schwarzkommando*. Он просит извинить его за проявленную несдержанность, замечает нарукавную повязку Слотропа и отказывается давать интервью прежде, чем тот успел и сказать хоть слово: «Статьи не получится. Мы такие же перемещённые лица, ПеэЛы, как и все остальные.

– Майора, похоже, беспокоило, что вы направляетесь в Нордхаузен.

– С Марви одни беспокойства, это точно. Всё же он не настолько большая проблема как... – Он всматривается в Слотропа.– Хмм. А вы действительно военный корреспондент?

– Нет.

– Независимый агент, я полагаю.

– Не уверен насчёт «независимого», Оберст.

– Но вы вот независимый. Мы все тут свободны. Увидите сами. И очень скоро.– Он шагает прочь по хребту товарного вагона, помахав на прощанье.– Очень скоро…

Слотроп сидит на крыше, почёсывает свои босые ноги. Друг? Добрый знак? *Чёрные ракетчики?* Что блядь за головоломки?

Ну банда, утро доброе, начнём его прощаньем:

Бывай, Втора-а-я Мирова-а-я!

Пока, трах-тарарах!

Все битвы позади и мы кайфуем,

И вот он я, несу вам солнца на плечах—

Привет, Германский Герман, и неча рожу кривить,

Домой ты попадёшь, так радуйся давай—

Нам тут в Ракете хмурых лиц не нада,

У нас прекрасен каждый-божий день—

(Брось хныкать, Гретхен!) Валяй

И поимей прекрасный деееень!

Утром Нордхаузен: пастбище зелёный салат, хрусткий, в каплях дождя. Всё свежо, промыто. Гарц горбится со всех сторон, тёмные склоны доверху в бороде из елей, пихт, лиственниц. Дома с высокими фронтонами, лужи воды с отражением неба, грязь на дорогах, Американские и Русские военные валят в и из кабаков и импровизированных магазинчиков, у каждого на боку пистолет. Луга и бессвязные клинья на склонах гор истекают пёстрым светом, покуда дождевые тучи продвигаются над Тюрингией. Замки унасестились высоко над городами, заныривая и всплывая из разорванных туч. Старые лошади с ошмётками грязи на узловатых коленях, коротконогие и широкогрудые, напрягают шеи в хомутах сдвоенных запряжек, тяжёлые подковы всплескивают букеты грязи каждым мокрым шлёпом, от виноградников к кабакам.

Слотроп забредает в лишённую крыш часть города. Старики в чёрном поторапливаются меж стен, как летучие мыши. Магазины и дома тут давно разграблены рабами-рабочими освобождёнными из лагеря Дора. Целая куча этих *педиков* всё ещё тут с корзинами и розовыми треугольниками по статье 175, увлажнённо выглядывают в дверные проёмы. Из выступающей, лишённой стекла

витрины магазина одежды, в сумраке позади пластмассового манекена, лысого, опрокинутого, вскинувшего к небу руки с пальцами скрюченными для букета или фужера, которые ему уже никогда не держать, Слотроп слышит пение девушки. Подыгрывает себе на балалайке. Одна из тех грустных парижских песенок на три-четверти.

Любовь никогда не уйдёт,

До конца никогда не умрёт,

При взгляде на сувенир,

Нежданно вдруг оживёт.

Ты покинул меня,

Но цветок розы белой

Хранит книга моя,

Меж страниц пожелтелых…

Год сменяется годом,

Я давно уж не та,

Отчего же слезами

Роза та залита…

Любовь не пройдёт никогда,

Если это любовь,

Днём, иль ночью тревожит она,

Вновь свежа и нежна,

Как алая роза, любимый,

Что я тебе подарила.

Как оказалось, её зовут Гели Трипинг, а балалайка от русского офицера разведки по фамилии Чичерин. По-своему, Гели тоже занимается разведкой—временами, во всяком случае. Этот Чичерин, похоже, держит гарем, по девушке в каждом ракетном городе Зоны. Да, вот ещё один ракетный маньяк. Слотроп чувствует себя участником экскурсии.

Гели толкует о своём ненаглядном. Они сидят в её комнате без крыши, пьют бледное вино, которое в округе зовётся Нордхаузенский Сок Теней. Над головой чёрные дрозды с жёлтыми клювами ширяют в небе, кружат в солнечном свете, взлетев из своих гнёзд в горных замках наверху и руин города понизу. Вдалеке, наверное, на рыночной площади, колонна грузовиков стоит, урча всеми своими моторами, запах выхлопных газов разносится по лабиринту стен, обомшелых, сочащихся водой, с тараканами в поисках поживы, стены сбивают с толку звук моторов и, кажется, он идёт со всех сторон.

Она худа, немного неловка, очень молода. В глазах её нет и следа порчи— возможно всю свою Войну она провела под кровом, в безопасности, покое, играя с лесными зверушками где-нибудь на отшибе. Её песня, соглашается она со вздохом, в основном просто мечтания: «Если его нет, то уж нет. Когда ты зашёл, мне почти показалось, что это Чичерин».

– Ничего подобного. Старательный пёс из породы ищеек новостей, вот и всё. Никаких гаремов, никаких ракет.

– Это по договорённости,– говорит она,– Тут до того всё неорганизованно. Без договорённостей никак нельзя. Сам увидишь.– И он действительно увидит— столкнётся с тысячами договорённостей об обогреве, любви, просто передвижении по дорогам, путям, каналам. Даже Группа 5-ти, живя своей фантазией будто они стали теперь единственной властью в Германии, остаётся просто договорённостью считаться победителями, только и всего. Не более и не менее реальной, чем все прочие, такие частные, умалчиваемые, пропавшие для Истории. Слотроп, хоть он пока что не знает об этом, является настолько же правомочным государством, как любое другое в эти дни в Зоне. Никакая не паранойа. Просто так оно и есть. Временные альянсы заключаются и расторгаются. Он и Гели достигают свою договоренность, скрытую от оккупированных улиц останками стен, на древней кровати с четырьмя стойками обёрнутой к тёмному зеркалу трюмо. Через крышу, которой нет, ему виден затяжной горный подъём покрытый деревьями. Вино в её дыхании, мягкий пушок в ямках под руками, в ляжках упругость саженцев под ветром. Едва он успел войти, она тут же кончает, фантазии о Чичерине, нескрываемо и трогательно, на её лице. Это раздражает Слотропа, хотя не мешает кончить и самому.

Тупизм нахлынул сразу же, как обмяк, пошли смешные вопросы типа какое такое слово отвадило от Гели всех, кроме меня. Или, может что-то во мне напоминает ей Чичерина, а если так, *что* именно? А интересно, где этот Чичерин сейчас? Он погружается в дремоту, вновь возбуждается её губами, пальцами, скольжением по нему росяных ног. Солнце в броске через их кусочек неба, затмевается грудью, отражается в её детских глазах… затем тучи, дождь, от которого она натягивает зелёный брезент с кисточками, что сама нашивала, на манер балдахина… дождь хлыщет с кисточек, холодный и звучный. Свечерело. Она угощает его вареной капустой, ложка из старинного наследства, с гребешком. Они снова пьют то же вино. Сумерки в мягких тонах. Дождь перестал. Где-то дети пинают пустую бензиновую канистру вдоль мостовой.

Что-то грянуло, хлопая крыльями, с неба, когти скребут верх балдахина. «Что это?»– сквозь сон, и она снова укрывает одеялом, ну же, Гели...

– Мой филин,– грит Гели,– Вернер. Там в верхнем ящике шифоньера есть шоколадка, *Liebchen*, можешь его покормить?

Да уж, *Liebchen*. Выбравшись из постели, впервые за весь день вертикально, Слотроп снимает обёртку с Беби Рут, откашливается, решает не спрашивать, откуда у неё это, потому что он и так знает, и зашвыривает шоколад на брезент тому Вернеру. Вскоре, снова лёжа вместе, они слышат хруст арахиса, прищёлкивания клюва.

– Шоколадные батончики,– брюзжит Слотроп,– Что с ним не так? Ты что, не знаешь? Ему надо охотиться на мышей или ещё какую-то там херню. Ты превратила его в ручную сову.

– Ты и сам лентяй,– младенческие пальцы сползают вниз по его рёбрам.

– Ну—могу поспорить—ладно, забудь—могу поспорить, что *Чичерину* не приходиться вставать и кормить ту сову.

Она застывает, рука остановилась в движении: «Он любит Чичерина,. Никогда не прилетит полакомится, пока того нет».

Слотроп похолодел, точнее оледенел: «Э-э, ты ж не имеешь в виду, что Чичерин и вправду, э-э..»

– Должен бы был,– вздыхает.

– О. Когда?

– Сегодня утром. Но где-то задерживается. Такое случается.

Слотроп выспрыгнул из кровати до середины комнаты, хуй упал, один носок одет, второй держит в зубах, голова продета не в тот проём майки, зиппер ширинки заело, орёт *блядь*.

– Мой бравый Англичанин,– мурлычет она.

– Что ж ты раньше не сказала, Гели, а?

– О, иди сюда. Ночь уже, он где-нибудь с женщиной. Совсем не может спать один.

– Надеюсь, ты сможешь.

– Тише ты. Ну, иди же. Куда пойдёшь босиком? Я дам тебе его старые ботинки и расскажу его тайны.

– Тайны?– Ой, осторожней, Слотроп,– Зачем мне его—

– Ты не военный корреспондент.

– Ну почему все твердят это? Никто мне не верит.– Машет перед ней своей нарукавной повязкой.– Читать умеешь? Грит: «Военный Корреспондент». У меня даже усы вот есть, а? Прям как Эрнест Хемингуэй.

– О. Тогда я так думаю, что ты вовсе не ищешь Ракету Номер 00000. Надо же, глупо так ошиблась. Извини.

Ой-ой, мне надо уносить ноги отсюда, грит Слотроп сам себе, тут явный капкан для шантажа, мэн. Кто ещё будет гоняться за единственной из 6000 ракетой оборудованной прибором из Imipolex G?

– А про *Schwarzgerät*, тебе вообще до лампочки,– не прекращает она. Ну ни в какую не хочет уняться.

– Эт ты о чём?

– Его ещё называют *S-Gerät*.

Из списка последующей сборки, помнишь, Слотроп? Вернер, на балдахине, заухал. Сигналит тому Чичерину, точняк.

> Параноики не оттого параноики (Пословица 5), что они параноики, а потому что постоянно вляпываются, эти ёбаные идиоты, в заведомо параноидные ситуации.

– Но как вообще,– аккуратно откупоривая следующую бутылку Нордхаузерского Сока Теней, *чппок*, с лучшей имитацией Кэри Гранта, на какую только способен, внутренности напряжены до звона, учтиво наполняет стаканы, один подаёт ей,– такая молоденькая прелесть, как ты, может что-то знать про всякие там ракеты, приборы.

– Я прочитываю почту Вацлава,– как если отвечает на вовсе тупой вопрос, но тот и вправду такой.

– Не следует болтать об этом кому попало так вот запросто. Если узнает, он тебя убьёт.

– Ты мне нравишься. Мне нравится интриговать. Нравится играть.

– Наверно, нравится подводить людей под монастырь.

– Ну и ладно,– выпятилась нижняя губа.

– Хорошо, хорошо, расскажи мне. Но не знаю заинтересуется ли этим *Гардиан*. У меня редакторы такие твердолобые, ты ж понимаешь.

Гусиная кожа собирается на её голых маленьких грудях: «Я один раз позировала для ракетной эмблемы. Может ты видел. Молоденькая ведьма верхом на А-4. Ненужная больше метла через плечо. Меня избрали Любимицей 3/Арт. Часть. (моторизир.) 485.

– Ты настоящая ведьма?

– Думаю, у меня есть тенденции. Ты уже поднимался на Брокен?

– Только-только прибыл в город вообще-то.

– Я отправляюсь туда каждую Вальпургиеву ночь с тех пор, как у меня начались периоды. Могу взять тебя, если хочешь.

– Расскажи мне про этот, этот *Schwarzgerät*.

– А я думала тебе не интересно.

– Откуда мне знать интересно или нет, если даже не знаю что тут вообще может быть интересного.

– Наверно, ты и вправду корреспондент. Умеешь крутить словами.

Чичерин с рёвом врывается через окно, Наган бьёт всполохами из кулака. Чичерин приземляется на парашюте и валит Слотропа одним ударом дзю-до. Чичерин вламывается на Сталинском танке прямо в комнату и разносит Слотропа 76 миллиметровым. Спасибо, что задержала его, Liebchen, покойник был шпионом, ладно, пока, мне ещё в Пенемюнде и к одной роскошной польской девке с грудями как ванильное мороженое, заскочу к тебе в другой раз.

– Мне, так думаю, уже пора отсюда,– грит Слотроп,– в пишущую машинку ленту надо ещё заправлять, карандаши подзаточить, сама знаешь как оно—

– Говорю же тебе, его сегодня ночью не будет.

– Почему? Отправился за тем Schwarzgerät, нет?

– Нет, последнего он ещё не видел. Письмо вчера пришло из Штеттина.

– Прямым текстом конечно.

– А почему нет?

– Вряд ли что-то важное.

– Он продаётся.

– Текст?

– *S-Gerät*, лопух. Человек в Свинемюнде готов достать. За полмиллиона швейцарских франков, если ты в курсе. Будет ждать на Странд-Променад, каждый день до полудня. В белом костюме.

О, даже так? – «Блодгет Ваксвинг».

– Он не подписал. Но не думаю, что Ваксвинг. Тот держится ближе к Средиземноморью.

– У тебя широкий круг знакомств.

– Ваксвинг уже легенда в Зоне. Как и Чичерин. Могу поспорить, что ты тоже. Как твоё имя?

– Кэри Грант. Ге-ли, Ге-ли, Ге-ли… Послушай, Свинемюнде это же в Советской зоне, так?

– Ты говоришь как Немец. Забудь про границы, Забудь разделения. Их нет.

– Есть солдаты.

– Это верно.– Уставившись на него,– но какая разница?

– О.

– Научишься. Всё приостановлено. Вацлав называет это «междуцарствием». Тут надо просто плыть по течению.

– Мне пора выгребать отсюда, детка. Пасибаньки за инфу, Скафлинг перед тобой в долгу—

– Ну, останься, пожалуйста.– Свернувшись на кровати, из глаз вот-вот закапают слёзы. О, блядь, Слотроп, ты лох… но она просто ребёнок... «Иди сюда».

Хотя, когда он вставил, она осатанела и малость сдвинулась, полосуя его ноги, плечи, жопу обкусанными ногтями острее пилы. Расчётливый Слотроп старается сдержать оргазм пока она дойдёт, как вдруг, нежданно, что-то увесистое, пернатое и со множеством острий рухнуло ему на поясницу и, дёргаясь, спускает его спусковой крючок и тут же Гели тоже ЗДЕННЦ! иииииии... о, нас не догоняаат!. Хлопанье крыльев и Вернер—потому что это он—взвивается в темноту.

– Ёбаная птица!– Орёт Слотроп,– ещё раз устроит такое, я ему Беби Рут в жопу вобью, ую-юй— это сговор, это сговор, это *вторичный рефлекс по Павлову!* или ещё там что,– Чичерин надрессировал его так, верно?

– Неверно! Это я его так приучила,– она улыбается ему с полным счастьем четырёхлетки и до того открыта, что Слотроп решает поверить всему, что слышал от неё.

– Ты ведьма.– При всей своей параноидности, он прижимается под покрывалом к длинноногой колдунье, закуривает сигарету и, несмотря на нескончаемых Чичериных, что сыпятся поверх бескрышных стен с арсеналами уничтожения его персонально, даже засыпает вскоре, в объятии её голых рук.

* * * * * * *

Это рассвет из книжки картинок-для-раскраски, очень синее небо с ярко розовыми облаками в нём. Грязь по камням мостовой настолько гладкая, что отражает свет и шагаешь уже не по улице, а вдоль длинных полос сырого мяса, зарез вервольфа, филей Зверя. У Чичерина большая нога. Гели пришлось в носки его ботинок обрывки старой сорочки, чтоб обувь подошла Слотропу. Постоянно уворачиваясь от джипов, десятитонных грузовиков, Русских верховых, он, наконец, подобран 18-летним Американским младшим Лейтенантом на сером штабном Мерседесе без единого живого места, всё сплошь вмятины. Слотроп топорщит усы, держит повязку на виду, чувствует себя в круговой обороне. Солнце уже пригревает. Горы полнятся запахом вечнозелёных. Этот старлей за рулём служит в танковой роте, назначенной в охранение Миттельверке, вряд ли, по его мнению, у Слотропа могут возникнуть малейшие проблемы с доступом внутрь. Англичане из СПОГ побывали тут и уехали. На текущий момент, люди из Артиллерии Американской армии пакуют и вывозят части и инструменты для одной сотни А4. Большой шухер: «Хотят увезти всё прежде, чем придут Русские сменить их». Междуцарствие. Гражданские и бюрократические шишки являются каждый день, высокопоставленные туристы, поглазеть и повосторгаться: «По-моему, они ещё ни перед кем так не выпендривались. Не знаю как назвать. Типа толпы клоунов. Нечего им больше делать кроме как устроить тут тусовку. Большинство приезжают с камерами. Вижу, у тебя нету. На въезде дают напрокат, если нужно».

Один из множества торгашей, Жёлтый Джеймс повар, обзавёлся крутой сэндвичной тележкой, эхом разносятся в туннелях его зазывы: «Налетай-покупай! Горячие-холодные-да-зеленью-приправлены!» И уже через пять минут жиром заляпаны очки у половины этих прожорливых тупиц. Ник де Профундис, вальяжный алкаш из их роты, преобразился всем на удивление, обернувшись, после визита в телефонную подстанцию на заводской территории, в энергичного предпринимателя торгующего сувенирами А4: мелкие предметы, что можно прицепить на связку ключей, на защёлки для денег или, скажем, как брошка для самалуччей девушки, что дожидается дома, медные чашечки из камер сгорания для зажигания благовоний, симпатичные шариковые подшипники от сервомоторчиков, а самым ходким товаром этой недели, похоже, станут жёлуди диода SA 100, миленькие крохотные смесительные клапаночки выдранные из приборов Телефункена, и более редкие SA 102, которые, разумеется, идут дороже. Завёл бизнес и «Микро» Грэхем, тот отпустил бакенбарды и выжидает в Штольнях, куда забредают отбившиеся простофили-посетители: «Псст!»

– Псст?

– Ладно, забудь.

– Ну теперь мне уж и любопытно стало.

– Подумал вы любитель острых ощущений. Хотите ознакомительный тур?

– Я-я только на секунду отошёл. Правда, я уже обратно иду…

– Малость скучновато, нет?– Прилипчивый Микро придвигается к своей намеченной мишени.– Никогда не задавались вопросом: «А что тут делалось *на самом деле?*»

Посетитель, готовый выложить экстравагантную сумму, редко останется разочарованным. Микро знает потайные двери в каменные коридоры, что тянутся в Дору, концлагерь рядом с Миттельверке. Каждый экскурсант получает отдельный электрический фонарь. Следует поспешная краткая инструкция как вести себя при встрече с покойниками: «Помните, они тут постоянно начеку. Когда Американцы освободили Дору, остававшиеся в живых заключённые затеяли грабёж материалов—громили всё, ели-пили до блевоты. к другим приходила Смерть подобно Американской армии и освобождала их духовно. Так что они способны буйствовать спиритически, сейчас. Сдерживайте свои мысли. Сохраняйте естественное равновесие ума для противодействия. Они используют ваше состояние неуравновешенности, помните об этом».

Популярностью среди посетителей пользуется элегантный гардероб *Raumwaffe,* космические скафандры разработанные знаменитым военным кутюрье Хайни из Берлина. Мало того, что имеющиеся в коллекции костюмы способны вскружить задорные головы юных знатоков космических оперетт, вплоть до самых кончиков ногтей на их ногах с мелькающим телеизображением странной раскраски, Хейни подумал даже о шелках для забавных космо-жокейчиков (*Raum-Jockeier*) с их электрическими хлыстами, которые однажды в будущем начнут носиться по ту сторону мерцания защитного барьера Ракетен-Штадта, верхом на «лошадях» из полированных метеоритов, с одинаково стилизованной мордой у всех (резко контрастная маска лошади, преследующей тебя, подчёркнуты её обезумелые глаза, зубы, темень под её задницей…), в движение приводят газами, что вырываются в виде пердежа из их хвостовых оконечностей—юные знатоки дружно хихикают при этом банно-ванном моменте, и замедленно, поскольку тут не более, чем намёк на обычную силу притяжения, переходят, с подскоком, от каждого лучится яркий отсвет флуоресцентных пластиков, обратно в Вальс, в странно всеобщий Вальс Будущего, чуть тревожаще шершавый диссонанс хорала проступает сейчас в кружащем молчании лиц, в обнажённых лопатках спин, что вскинуты так по космо-Венски, до того утыканы грядущим Завтра...

А вот вам—Космические Шлемы! Поначалу можно обеспокоиться, заметив, что они смоделированы из черепов. Во всяком случае, верхний купол этого

отталкивающего головного убора явно череп некоего человекообразного создания, скроенный в преувеличенном размере… Возможно Титаны жили в недрах этой горы и черепа их пособирали словно гигантские грибы… Глазницы оборудованы линзами из кварца. Снабжены скользящими фильтрами. На месте носовой кости и верхних зубов размещён полный прорезей и металлических решёточек дыхательный аппарат. Соответствуя челюсти, встроена секция, почти что гульфик для лица, снабжённый возможностью радиосвязи, что выпирает вперёд в чёрную фатальность. Для пары дополнительных ощущений вам позволят продеть голову в один из этих шлемов. Охваченный жёлтыми полостями, глядя через глазницы отрегулированные под усреднённое зрение, слыша звук собственного дыхания пришепётывающего в изнанках костяной структуры, ты уже не можешь полагаться на то, что считал своим вполне уравновешенным умом. Отсек, в котором размещались *Schwarzkommando*, перестаёт уже казаться увлекательной повестью о дикарях-туземцах, которые обзавелись замашками 21-го столетия. Молочные калабаши оказываются просто изделиями из пластика. На том месте где, согласно преданию, Тирлич поимел своё Озарение в ходе подмоченного сна о его совокуплении со стройной белой ракетой, осталось тёмное пятно, чудесным образом мокрое до сих пор, и пахнущее, насколько понимаешь, как и положено пахнуть сперме—но, в сущности, больше смахивает на запах мыла, или отбеливателя. Настенная живопись теряет свою нарочито примитивную размашистость и приобретает элементарную объёмность, глубину и яркость—преображается, по сути, в диорамы на тему «Обетование Космических Путешествий». В освещении резко карбидным светом, что шипит и пахнет затхлостью дыхания кого-то очень тебе знакомого, зрелище буквально приковывает твой взор. Спустя несколько минут начинает различаться даже некое движение далеко внизу, на безмерно возрастающих расстояниях: да, мы сейчас зависли на заключительном отрезке нашей траектории в Ракетен-Штадт, трудная ночь магнитной бури позади, извилистые потоки всё ещё мерцают сквозь нашу сталь, как дождевые капли прижавшиеся к ветровому стеклу автомобиля… да, это Город: беспомощные «Бож-*же!*» и «Ну, это что-то!» замирают эхом, пока мы толпимся у расцветающего окна в этом подземелье соли... Странно, но тут нет симметрий, которые нас программировали ожидать, никаких обтекаемостей, закругленных углов, пилонов, или упрощённо солидных геометрий официального ви́дения вообще—всё подобное для бюрократов на Экскурсии по нумерованным Штольням. Нет, зтот Ракетоград, так обелело освещённый среди спокойной тусклости пространства намеренно спланирован Избегать Симметрии, Позволять Усложнённость, Внушать Ужас (из Преамбулы к Основам Машинизации)—и здесь туристам приходится увязывать весь вид с содержимым памяти о прошлом: их и планеты—обратно к разбитой бутылке вина в раковине, взъерошеношишечные сосны обошедшие Смерть на тысячелетия, бетонные шоссе покинутые десятилетия тому назад, причёски конца 1930-х, молекулы индиго, особенно индиго *полимеров*, как в Imipolex G—Постой—кто из них только что подумал это? Смотрители, сфокусироваться на нём, да *скорей же* —

Но цель ускользает: «У них там внизу своя охрана»,– говорит старлей Слотропу,– «мы тут только для Охраны Поверхности. Отвечаем лишь до Штольни Ноль,

Энергия и Свет. Нам тут лафа по полной». Жизнь хороша и никого особо так не тянет на передислокацию. Есть *fräulein*ы для ебли, к тому же ещё и готовят тебе и обстирывали. Он может дать Слотропу наводку к шампанскому, мехам, камерам, сигаретам... Не может быть, чтобы того интересовали только лишь ракеты, ладно, брось, это уже сдвиг по фазе. В чём он прав.

Один из самых сладостных плодов победы, после возможности отоспаться и пограбить, это ещё и случай начхать на все запрещающие парковку знаки. Вокруг сплошь перечёркнутые «Р» в кружках, прибиты к деревьям, прикручены к проволоке, однако, въезд к основному туннелю наглухо блокирован машинами, когда туда же подкатил помятый Мерседес: «Блядь»,– орёт юный танкист, глушит мотор и оставляет Немецкую двухместку как попало на грязи широкой подъездной площадки. Ключ тоже оставлен в машине, Слотроп учится подмечать подобные мелочи...

Вход в туннель исполнен в виде параболы. Манера Альберта Спира. Кое-кого в тридцатые тянуло на параболы, и тогда же Альберт Спир заведовал Новой Германской Архитектурой, а затем он вырос до Министра Боеприпасов, номинально главного заказчика А4. Эта здешняя парабола стала плодом вдохновения ученика Спира по имени Этцель Ольш. Он замечал эту параболическую форму на переездах Аутобана, спортивных стадионах *u.s.w.*, и подумал, что это самая современная вещь, какую он когда-либо видел. Представьте его изумление, когда он узнал, что парабола является также формой предполагаемого пути ракеты в пространстве. (На что он, фактически, сказал: «О, прекрасно».) А такое имя дала ему его мать, назвав первым именем Атиллы Гунна, хотя никто так и не узнал почему. У его параболы высокий взлёт и железнодорожные поезда проходят снизу, сталь в тень. Камуфляжная сеть на шесте для свёртывания её обратно. Гора уходит склоном вверх, тут и там проступает камень среди кустов и деревьев.

Слотроп предъявляет своё супер-дуперское удостоверение от ВКСЭС, подписанное самим Айком и с даже более подлинной подписью Полковника во главе «Специальной Миссии V-2» в Париже. Фирменное блюдо кухни Ваксвинга. Вторая рота 47-го мотострелкового полка 5-й мотострелковой дивизии, похоже, занята ещё чем-то помимо охраны территории. Слотропу кивнули, чтоб проходил. Много беготни, затяжной разговорной манеры и юмора в стиле кантри вокруг. Должно быть, кто-то колупался в носу. Спустя пару дней Слотроп обнаружит засохший кусок сопли на карточке, кристально коричневая виза Нордхаузена.

Внутрь, мимо караульных башен с белым верхом. Где-то, лязгая цепью, захлопывается кузов грузовика. Между разъезженных колей, в местах повыше, кряжи грязи начинают подсыхать на солнце, светлеть и крошиться. Неподалёку громкий зевок пробуждения и долгий гудок локомотива вырывается на волю. Внутрь, мимо кучи светлых металлических сфер в дневном свете, с комичной надписью ПЛИЗ НЕ СТЫРИВАЙ КИСЛАРОДНИ БАЛОНИ, А? с каких пор, с каких пор начал затрухивать эту страну... Внутрь, под параболу и в толщу горы, солнечный свет исчезает, в холод, тьму, в долгие перекаты эха Миттельверке.

Существует не-такое-уж-редкое расстройство личности именуемое Таннхаузеризм. Некоторые из нас любят оказаться затерянными в недрах гор, и не всегда ради лишь вставших торчком ожиданий—Венера, фрау Хольда, её сексуальные услады—нет, многих манят, в сущности, гномы, создания мельче тебя, манит тягучее, словно в склепе, временя, в ногу с твоей прогулкой покрывшись капюшоном тут, внизу, не спеша, через дворы длящиеся миля за милей, без боязни заблудиться… вдали от людских взглядов… даже Миннезингеру нужно порой побыть одному… долгие укрощённые прогулки пасмурного дня… уютность замкнутого места, где все в полном согласии относительно Смерти.

Слотропу известно это место. Не столько по картам, которые ему пришлось зубрить в Казино, а тем самым знанием, что и у тебя, когда знаешь, что кто-то там есть...

Заводские генераторы всё ещё подают электричество. Редкие голые лампочки выкраивают круги света. Где тьму добывают и перевозят подобно мрамору, там лампочка служит резцом, что выводит её из своей инерции и она становится одной из величайших тайных икон Уничижения, в неисчислимом множестве открываемых Богом и Историей. Когда узники Доры впали в своё беснование, электрические лампочки в ракетных цехах погибли в расправе первыми: прежде еды, прежде восторгов разграбленных из шкафчиков врачей и госпитальной аптеки в Штольне Номер 1, эти хрупкие, беспатронные (в Германии слово обозначающее электрический патрон обозначает также Мать—поэтому ещё и безматерные) образы стали добычей «освобождённых»...

Основная планировка завода явилась ещё одним вдохновение Этцеля Ольша, Нацистским вдохновением, как и парабола, но вместе с тем и символом соответствующим Ракете. Картинка двух букв SS, каждая чуть вытянута в длину. Это два основные туннеля пробурённые на милю с гаком под горой. Либо же изображение лестницы с лёгким S-подобным искривлением, лежащей плашмя: 44 перекладины-Штольни, они же поперечные туннели, соединяют два главных. Пара сотен футов горной породы, в самом глубоком месте, налегают сверху.

Но в форме заложено больше, чем растянутые SS. Подмастерье Хупла прибегает в один из дней сообщить архитектору: «Мастер!»– кричит он: «Мастер!» Ольш занимал квартиру в Миттельверке, отделившись от производства парой частных тоннелей не представленных ни на одном плане этого места. Впадав в грандиозную идею относительно подобающей архитектору жизни на этих глубинах, он уже требовал обращения с титулом «Мастер» от всех своих помощников. И это не единственный его бзик. Последние три проекта предложенные им Фюреру, все визуально были самое оно, в духе Новой Германии, за исключением того, что ни одному из зданий не полагалось стоять. С виду вполне нормальные, они спроектированы падать, подобно заснувшему в опере толстяку, что валится кому-то на колени, как только вколочена последняя заклёпка, сняты последние опалубки с нововоздвигнутой аллегорической статуи. В этом проблема «желания смерти» Ольша, как эти помощнички её называют: ей

отведена немалая доля сплетен за едой в отделе снабжения и возле двухлитровых кофейников на сумрачных дворах погрузки камня... Закат давно померк, каждый стол в этом сводчатом, почти наружном зале снабжён своим собственным светом от лампы накаливания. Гномы остаются тут, в ночи, только лишь с их лампочками, сияющими условно, неопределённо… всё это может утонуть во мраке так легко, в любую секунду... Каждый гном работает за отдельной чертёжной доской. Они работают допоздна. Назначен срок—неясно лишь работают ли они сверхурочно, чтобы уложиться в него, или они уже провалили срок и сейчас пашут тут в виде наказания. Из отдельного кабинета, доносится пение Этцеля Ольша. Безвкусная похабщина пивных. Вот он раскуривает сигару. Он, как и гном Подмастерье Хупла, только что к нему вбежавший, оба знают, что это сигара с фейерверком, подложенная в его коробку в виде революционного жеста неизвестными лицами, которым никак не светит придти к власти, так что это не имеет значения—«Стойте, Мастер, не зажигайте её—Мастер, потушите, пожалуйста, это сигара с хлопушкой!»

– Продолжай, Хупла, с информацией, что стала причиной твого довольно грубого появления.

– Но—

– Хупла... – мастерски выдувая клубы сигарного дыма.

– Э-это насчёт формы этих туннелей, Мастер.

– Да, не дрейфь ты так. Я положил в основу дизайна сдвоенный удар молний, Хупла—эмблему SS.

– Но это ещё и знак двойного интеграла! Вы знали это?

– Ах. Да: *Summe, Summe*, как говаривал Лейбниц. Ну, разве это не—

ТРАХХ.

Хорошо. Однако, гений Этцеля Ольша оказался фатально податливым символизму связанному с Ракетой. В статичном пространстве архитектора, ему, вероятно, приходилось использовать двойной интеграл, время от времени, в начале его карьеры, исчисляя объёмы под поверхностями, чьи уравнения известны—массы, моментумы, центры тяжести. Но столько лет уж миновало с той поры, когда приходилось вдаваться во что-либо столь элементарное. Нынче большая часть его вычислений ведётся относительно марок с пфеннингами, а не с функциями идеалистичных r и θ, наивных x и y... Однако, в динамичном пространстве живущей Ракеты, двойной интеграл имеет иное значение. Тут интеграция оперирует с величиной изменения, так что время отпадает: изменение обездвижено... «Метры в секунду» интегрируются в «метры». Движущаяся машина заморожена, в пространстве, чтобы обернуться архитектурой, вне времени. Никогда не стартовавшее. Никогда не рухнет.

При наведении происходило следующее: маленький маятник удерживался магнитным полем в центральной позиции. При запуске, с движущими *g*, маятник отклоняется к борту, из центра. На нём закреплена катушка. При движении катушки через магнитное поле, в ней возникает электрический ток. Чем больше ускорение, тем сильнее ток. Так что Ракета, со своей стороны, в полёте прежде всего оценивала ускорение. Люди, отслеживая его, первым делом оценивали положение, или расстояние. Для перехода от ускорения к расстоянию, Ракете требовалось интегрировать дважды—требовалась подвижная катушка, электролитная ячейка, панель диодов, один тетрод (дополнительный модулятор для предотвращения ёмкостных связей в трубке), тщательный дизайн мер предосторожности для достижения того, что человеческий глаз видит прежде чего-либо прочего—расстояние по курсу полёта.

Тут снова вступала та обратная симметрия, та самая, которую Пойнтсмен просмотрел, но не Катье: «Отдельная жизнь»,– сказала она. Слотроп вспоминает её неохотную улыбку, средиземноморское предвечерье, оголяющийся выкрут ствола эвкалипта, такой же розоватый, в том слабеющем свете, как и офицерские брюки Американской армии, что Слотроп носил в далёком прошлом, и резкий, пронзительных запах листвы... Ток, возникший в катушке, проходил через мостовую схему Витстона и заряжал конденсатор. Заряд являлся интегралом времени тока текущего через катушку и схему. Усовершенствованные версии этого, так называемого «ИГ» наведения интегрировались дважды, так что заряд собиравшийся на одном конце конденсатора возрастал в прямой пропорции к расстоянию пройденному Ракетой. Перед запуском, другая сторона ячейки заряжалась до уровня представлявшего расстояние до определённой точки в пространстве. *Brennschluss* рассчётного заряда заставит Ракету лететь до удара о землю за 1000 ярдов восточнее Станции Ватерлоу. В миг когда заряд (*BiL*) накопленный в ходе полёта уравнивается с зарядом (*AiL*) размещённом на другом конце, конденсатор разряжен. Срабатывает выключатель, горючее перекрыто, горение прекращено. Ракета предоставлена сама себе.

Вот в чём смысл тоннелей тут в Миттельверке. Другим истолкованием может быть древняя руна представляющая дерево тис, или Смерть. Двойной интеграл стоит в подсознании Этцеля Ольша как метод определения скрытых центров, неизвестных инерций, наподобие монолитов оставленных ему в сумраке, оставленных некоей подпорченной идеей «Цивилизация», в которой парят орлы на бетонных опорах десятиметровой высоты по углам стадионов, где народ, подпорченная идея «Народа», собирается, где птицы не летают, где воображаемые центры в глуби твёрдой фатальности камня представляются не как «сердце», «сплетение», «сознание» (тут голос диктора звучит всё ироничнее, на грани слёз, которые не сплошь театральщина, а список озвучивается дальше…), «Алтарь», «мечта о движении», «пузырь вечного настоящего», или «серое преосвященство Гравитация на соборах живого камня». Нет, ничего такого подобного, но в виде точки в пространстве, точки расположенной именно там, где должно прерваться горение, никогда не стартовавшее, никогда не рухнет. И какова же специфичная форма чьим центром тяжести является *Brennschluss* Точка? Не впадай в неисчислимое количество возможных

форм. Есть только одна. Скорее всего, это сообщающий интерфейс между одним порядком вещей и иным. Для каждой пусковой площадки имеется своя *Brennschluss* точка. Все они всё так же и висят там, каждая из них, созвездие в ожидании 13-го знака Зодиака названное его именем… но их расположение к Земле настолько близко, что из многих мест они вообще не видны, а из зоны где различимы, складываются в совершенно иные конфигурации.

Двойной интеграл это ещё и образ любовников прижавшихся во сне друг к другу, в которой Слотроп хотел бы сейчас оказаться—обратно там с Катье, пусть даже чувствуя ту же потерянность, даже более ранимым, чем теперь—даже (потому что ему всё ещё, честно, её не хватает) уцелевшим случайно, хотя он знает откуда эта случайность, случайность, от чьей прямоты каждого из любовников может защитить только другой... *Смог ли* бы он жить такой жизнью? Согласились бы Они вообще позволить ему и Катье жить так? Ему нечего сказать кому-либо о ней. Это не джентльменский рефлекс, который заставлял его подправлять, изменять имена, вплетать вымыслы в болтовню с Тантиви в комнатушке ТОТСССГ, а скорее примитивный страх, что душа попадёт в капкан из-за схожести изображения или имени... Он хочет сберечь столько её, сколько удастся, от повтора Их энтропий, от Их льстивости и от Их денег: возможно, ему кажется, что если сможет сделать это для неё, то и для себя тоже получится… но это, считай что, благородство для Слотропа и Пениса, про Который Он думал, что Его.

В коробах воздуховода из листового железа, что змеится словно хребет над головой, стонет заводская вентиляция. Время от времени в ней слышатся голоса. Доносятся откуда-то издалека. Не то, чтобы там обсуждали Слотропа *напрямую*, понимаешь. Но ему хочется, чтоб слышалось поразборчивей.…

Озерца света, волоки мрака. Бетонный верхний слой тоннеля уступил побелке по складкам неровной поверхности, смахивает на поддельную пещеру в парке аттракционов. Входы в поперечные тоннели проплывают мимо как наставленные раструбы с воздухом, сквозящим из их ртов... когда-то прежде визжали токарные станки, игривые токари перестреливались струями из жестяных спринцовок с машинным маслом… до крови обдирались пальцы точильными кругами, поры, складки и подноготины протыкались острой стружкой стали… переплёты литых трубок и стекла стискивали лязг в воздухе, как глухая пора зимы, и янтарный свет расходился фалангами среди неоновых ламп. Когда-то всё так и было. Трудно тут внизу, в Миттельверке, подолгу жить настоящим. Тебя охватывает ностальгия, не твоя, но необоримая. Каждая вещь замерла, утонула, обессилев от сумрака, смертельного сумрака. Затверделые оболочки окислов, некоторые толщиной всего лишь в одну молекулу, затянули металлические поверхности, затуманили отражения людей. Приводные ремни соломенного цвета из поливинилового спирта провисли, испуская последки своего промышленного запаха. И пусть всё ещё на плаву и с привидениями, тут вам не легендарная шхуна Marie-Celeste—дальнейший курс не настолько чёток, эти рельсы под ногами бегут вперёд и во все стороны по затихшей Европе, и пот скатывается по нашей плоти, и пробегают мурашки от домовых тайн, чердачного ужаса не столько перед тем Что Может Тут Произойти, как от нашего знания, что ведь и впрямь, скорее всего, *происходило*…

и так просто всегда было, в открытых пустошах, поддаться Паническому страху безлюдья, однако, здесь наваливаются городские фантомы, явившись по твою душу, когда ты заблудился или застрял посреди уходящего времени, где нет больше Истории, нет капсулы машины времени, чтобы отыскать свой путь обратно, а только опоздание и пустота, заполнившие громадный перрон, после эвакуации столицы, и городские кузены козло-божества подкарауливают тебя за кругами света, наигрывая мелодии, которые они всегда играли, но теперь слышнее, потому что всё прочее ушло или притихло… души, словно амбарные стрижи, вырезанные из коричневого полумрака, кружат вверху под белыми потолками… их только в Зоне встретишь, они соответствуют новейшей Неопределённости. Призраки привыкли быть либо подобием мёртвых или же привидениями живых. Но тут в Зоне категории совершенно смешались. Статус имени, по которому тоскуешь, которое любишь, ищешь, стал сомнительным и отстранённым, но в этом больше простой бюрократии массового отсутствия—кто-то всё ещё жив, кто-то умер, но многие, многие забыли, кто они есть. Их подобие уже не поможет. Тут внизу лишь пеленанья сброшенные на свету, в темноте же: лики Неопределённости...

Пост-А4-ное человечество движется, со стуком и гамом, среди тоннелей. Слотроп видит гражданских в хаки, со значками, в подшлемниках с трафаретами букв Джи-Эл, иногда ему кивают, блеснув очками под дальней лампочкой, чаще просто не замечают. Отделения рядовых ходят скорым шагом, туда-обратно, таскают ящики. Слотроп голоден, а Жёлтого Джеймса нигде не видать. И нет никого тут внизу, что сказал бы «как ты?», ещё меньше таких, кто накормил бы независимого Йана Скафлинга. Нет, погоди, ей-бо, тут подваливает делегация девушек в розовых лабораторных халатах, что едва покрывают верх голых ляжек, топоча по тоннелю на стильных золотистых танкетках. « *Ah, so reizendist!*» Слишком много, чтоб разом всех обнять, « *Hübsch, was?*» тише, тише, дамы, по очереди, они хихикают и тянутся повесить ему на шею роскошные гирлянды серебристых муфт и фланцев, алые сопротивления и ярко-жёлтые конденсаторы, нанизанные как сосисочки, обрезки прокладок, мили алюминиевой стружки кудряво-упругой и яркой как головка Ширли Темпл—эй, Хоган, оставь себе своих хула-красоток—и куда ж это они его тащат? В пустые Штольни, чтоб всем вместе влиться в потрясную оргию, что идёт день за днём, полную маков, игры, пения и продолжения.

По достижении Штольни 20 и выше, движение нарастает. Тут размещалась часть завода под А-4, которую Ракета делила с V-1 и сборкой турбовинтовых. Из этих Штолен, 20-х, 30-х, и 40-х, компоненты Ракеты поперечно подавались на две основные сборочные линии. Шагая дальше, ты прослеживаешь рождение Ракеты: сверхзаряды, центральные секции, сборка носовой части, блоки питания, управления, хвостовые секции… до хрена этих хвостовых секций всё ещё тут, складированы чередуясь, стабилизаторами вверх/стабилизаторами вниз, ряд поверх ряда идентичных, волнообразно вдавленных поверхностей металла, Слотроп топает дальше заглядывая на своё лицо в них, наблюдает как оно искривляется, скользит мимо, прям тебе широченная подземная комната смеха, парни... Пустые вагонетки на железных колёсиках составлены в цепочку уходящую

прочь в тоннель: на них четырёх-лезвенные стреловидные формы нацеленные в потолок—ух, ты. Правильно—направляющие держатели должны войти в расширительные сопла упорных камер и тут, конечно, их валом, *огромадные* поебени ростом со Слотропа, заглавные А нарисованы возле испускающих чашек… Над головой притаились толстые извилистые трубы в белой теплоизоляции, а стальные лампы не льют свет из своих обожжённых тюбетеечных отражателей… вдоль центральной линии тоннеля установлены колонны Лалли, стройные, серые, выступающая резьба подёрнулась ржавчиной долгого стояния… синие тени проступают сквозь клетки запасных частей, сложенных на доски и двутавры выступающие с отсырелых кирпичных столбиков размером с печную трубу… стекловата изоляции валяется вдоль путей, как выпавший снег...

Заключительная сборка производилась в Штольне 41. Поперечный тоннель углублён на 50 футов, чтобы помещалась готовая Ракета. Звуки гульбища, голосов явно неуравновешенных, всплывают, отражаясь эхом от бетона. Личный состав бредёт вспять к основному тоннелю, с остекленело раскраснелым выражением лиц. Слотроп заглядывает в эту длинную ямищу и различает толпу Американцев и Русских вокруг здоровенной дубовой бочки пива. Немец гражданский, размером с гнома, с рыжими усами фон Хинденбурга раздаёт бокалы полные, похоже, одной лишь пены. Артиллерийские ядра с языками пламени мелькают на каждом почти рукаве. Американцы распевают Ракетные Лимерики.

Однажды была хрень Фау-2

Без лётчиков летала,

На кнопку нажмёшь

Всё вдрызг разнесёт

Оставит лишь яму и трупов немало.

Мотив известен повсеместно среди Американских братанов. Но почему-то сейчас его поют в стиле Германского Штурмовика: ноты обрываются резко в конце каждой строки, завершаясь ударом пульса перед атакой на следующую строку.

[Припев:] *Ja, ja, ja, ja!*

В Пруссии не лижут пусю,

Кошек там слишком мало,

Да и тем больше мусор по вкусу,

Так давай повальсуем, Русский, чтоб небу жарко стало!

Упившиеся свисают с железных лестниц, драпируя переходные мостики. Пивные пары́ расползаются по длинной пещере, среди оливково-серых кусков ракеты, кто-то стоит, другие завалились на бок.

Жил да был паренёк, его звали Крокетай

Один раз поимел он секс с ракетой,

Доведись тебе наблюдать,

Даже глаз бы не смог оторвать,

Что творили они в случке этой.

Слотроп голоден и хочет пить. Несмотря на явные и несомненные миазмы зла в Штольне 41, он начинает высматривать как можно туда спуститься и, быть может, пристроиться на долю в тамошнем ланче. Как оказалось, единственный путь вниз это трос подъёмного крана над головой. Окоселый Младший Ефрейтор развалился у консоли с кнопками управления, посасывая вино из бутылки. «Валяй, Джексон. Я тебя в момент доставлю. Меня учили управлять такими же на курсах рабсилы». Наёжив усы подобающе, по его мнению, прошедшему огонь и воду, Йан Скафлинг ступает одной ногой в жилковую петлю на конце троса, держа другую наотлёт. Взвывает электромотор, Слотроп отпускает последний поручень и ухватывает трос, 50 футов сумрачной глубины появляется под ним. Ух…

Вознесен над Штольней 41, головы движутся туда-сюда далеко внизу, пивная пена полыхает в тени как факелы—мотор вдруг пресёкся и он камнем падает вниз. Ёб твою. «Такой молодой!»,– орёт он слишком высоким голосом и получается как визг подростка по радио, чего в обычных условиях устыдился бы, но тут бетонный пол несётся на него, видна каждая метина опалубки, каждый тёмный кристалл песка Тюрингии, о которые он расшибётся—рядом нет никого, чтоб выручил и помог ему отделаться просто множественными переломами... Когда остаётся метра три, Младший Ефрейтор врубает тормоз. Маниакальный хохот сверху за спиной. Трос, резко натянувшись, шелестит в ладони Слотропа, пока рука его не отдёрнулась, и он падает и плавно переворачиваясь вверх ногами, одна захлёстнута, головой вниз к гулякам вокруг пивной бочки, которые уже привыкли к прибытиям таким макаром и только продолжают своё пение:

Был такой себе парень по имени Гектор,

Обожал он стартовый эректор,

Но хлюпы и хлопы

Резких спадов давления

Повредили гидравлику и он поменял своё мнение.

Каждый молодой Американец по очереди подымается на ноги (если ему удаётся), подняв свой бокал, и поёт о разных способах Заниматься Этим с А4 или с оборудованием её обеспечения. Слотроп не знает, что это они для него поют, и они тоже о том не догадываются. Он наблюдает перевёрнутую сцену с некоторым беспокойством: мозг близится к грани красной отключки и у него возникает странная идея, будто это дядя Лайл Бланд стискивает его лодыжку. Таким

образом, он чинно подносится на край компании. «Эй!»– замечает коротко остриженный молодчик,– «э-это тут *Тарзан*, или что? Ха! Ха!» Полдюжины артиллеристов, поддатые и радостно орущие, хватают Слотропа. После долгого выкручивания и дёрганья, нога его высвобождается из петли троса. Кран визжит прочь в исходное положение, к его озорному крановщику и следующему дуболому, что поддастся на его посулы скорого спуска.

Один парень, по имени Джек Маккой,

Перепихнулся с боеголовкой,

Жена, как узнала,

Ушла сразу,

Так он избавился от тупой заразы.

Русские пьют молчком, без передыху, пристукивают ботинками, хмурясь, возможно пытаются перевести эти лимерики. Американцы здесь по разрешению Русских, а может наоборот. Кто-то всучивает Слотропу снарядную гильзу, холодную как лёд, по стенкам сползает пена. «Опаньки, мы не ждали ещё и Англичанина. Крутая вечеринка, а? Зависай тут—он через минуту явится».

– Он это кто?– Тысячи тех светящихся червячков подёргиваются по всему полю зрения Слотропа, а его нога с покалыванием начинает приходить в себя. О, пиво тут и впрямь холодное, холодное и горькое от хмеля, нет смысла переводить дыхание, глотай, пока не выхлыщешь до дна—хаххх. Его нос выныривает облепленный пеной, усы его тоже белы и пузырчаты. Вдруг разносятся крики с краёв компании. «Вот и он! Вот он!» «Дайте ему пива!» «Привет, Майор, красава, сэр!»

Был техник по имени Урбино

Он перепихнулся с турбиной

Сказал: «Выходит глаже,

Чем с женщиной даже,

И намного дешевле, чем креплёные вина!»

– Что за дела?– Задаёт вопрос Слотроп поверх пены следующего пива, что только что материализовалось в его руках.

– Это майор Марви. Его прощальная вечеринка.– Мамочки Марви уже все хором поют «Наш Друг Весёлый Парень». С чем никто не станет спорить, если хочет, чтоб и ему стало хорошо, такое тут не может не сложиться впечатление...

– Э, а куда он едет?

– Отсюда.

– Думал, он тут для контакта с теми из Джи-Эл.

– Конечно, а ты думал кто платит за всё за это?

Марви тут, в свете подземелья, ещё менее привлекателен, чем был в лунном свете на крыше того товарного вагона. Валики жира, выпученные глаза и блестящие зубы здесь серее, выступают грубее. Полоска пластыря по-спортивному наклеенная поперёк переносицы и лилово-жёлто-зелёная окраска вокруг одного глаза свидетельствуют о его скоростном спуске с железнодорожной насыпи в прошлую ночь. Он пожимает руки своим доброжелателям, выдавая мужские нежности, уделяя особое внимание Русским—«Ну могу поспорить, *ты* это разбавил *водкой*. А?»,– двигаясь дальше,– «Влад, приятель, твоя жопа как?!»– Русские как видно не понимают, что оставляет им лишь клыкастую улыбку и пасхальные яйца глаз, гадая о чём речь. Слотроп как раз отсапнул пену из своего носа, когда Марви, заметив его, вылупил свои глаза уже по полной.

– Вот он!– оглушительным рёвом, уставив на Слотропа дрожащий палец,– ей-бо, Агликашка, сукин сын, *хватай* его, парни!– *Хватай его,* парни? Слотроп продолжает какое-то мгновение зырить на этот палец в лепнине вычурных выступов и завитков херувимского жира.

– Спокойно, спокойно, дружище,– начинает Йан Скафинг, в тот момент, когда к нему начинают подступать враждебные лица. Хммм... О, правильно, рви когти—он выплёскивает пиво в ближайшую голову, трахает пустой снарядной гильзой в следующую, усмотрев расселину в толпе, проскальзывает сквозь и убегает, мимо багровых лиц упившихся до отключки, перескакивая над брюхами в хаки с гирляндами блёв, прочь по глубокому поперечному тоннелю между кусков Ракеты.

– Подъём, вы долбодоны,– орёт Марви,– не дайте уйти ..х'сосу!– Сержант с мальчишечьим лицом и седыми волосами, спавший в обнимку со шприцем для густой смазки, просыпается и, вскрикнув «Капустники!», шмаляет из своего ствола прямо в пивную бочку, выстрелы отшибают ей полдна и шлют широкую струю жидкого янтаря и пены на бросившихся в погоню Американцев, половина которых враз поскальзываются и падают на задницу. Слотроп добежал в дальний конец Штольни с хорошим отрывом и зачастил там вверх по лестнице, пропрыгивая по две перекладины за раз. *Выстрелы*—жуткое громыханье в этом резонаторном ящике. Либо Мамочки Марви слишком пьяны, или же его спасает темнота. Слотроп переваливается через верх лестницы бездыханным.

Во втором из основных тоннелей Слотроп переходит уже в забег на длинную милю, стараясь не думать, хватит ли ему на это дыхалки. Он не одолел и 60 метров, когда погоня вскарабкивается наверх по той же лестнице позади него. Заскочив в бывший, наверное, малярный цех, он поскальзывается на полосе влажного *Wehrmacht*-зелёного, падает и катится по здоровенным кляксам чёрного, белого и красного, пока не замирает, упёршись в солдатские ботинки на пожилом человеке в костюме из твида, с белыми развесистыми усами: « *Gruss Gott*».

– Грю, похоже, те сзади хотят меня убить. Можно тут куда-нибудь—

Старик подмигивает, ведёт Слотропа через Штольню в другой основной тоннель. Слотроп приметил комбинезон заляпанный краской и догадывается прихватить его. Ещё через четыре Штольни, резкий поворот вправо. Это склад металла: «Смотри сюда». Старик хихикая идёт по длинному залу промежду синих полок из листов холодной прокатки, кучи алюминиевых отливок, связки 3712 штанговых штоков, 1624, 723... – «Всё будет *хорошо*».

– *Не туда*, мэн, там они на подходе.– Но этот эльф-переросток уже заводит трос от крана над головой под высокий навал прутков из никелевых сплавов. Слотроп влазит в тот комбинезон, зачёсывает свой помпадур вниз на лоб, достаёт перочинный нож и отпиливает концы усов по бокам.

– Ты похож теперь на Гитлера. Теперь они точно захотят тебя убить.– Германский юмор. Он представляется как Глимпф, профессор математики в *Technische Hochschule*, Дармштадт, Научный Советник Военного Правительства Союзников, уже какое-то время: «Ну-ка, переставим их сюда».

Я в руках чокнутого маньяка— «Почему бы не спрятаться тут, пока они забудут?»– Но тут доносятся неясные крики из тоннельных далей: «В 37-й и 38-й чисто, Чаки!»– «Окей, старый конь, делайте ставки, парни, мы его прижучим».– Они не собираются забыть, они прочёсывают тоннели, Штольню-за-Штольней. Сейчас мирное время, не могут же тебя застрелить в мирное время… но они напились… ё-моё. Слотроп пересрал в полном мандраже.

– Что теперь делать?

– Ты будешь экспертом по экспрессивно Английскому. Скажи что-нибудь обидное.

Слотроп высовывает голову в длинный тоннель и кричит с самым Английским акцентом на какой только способен: «Майор Марви сосунок!»

– Сюда, он там!– Звуки галопа солдатских ботинок, шляпки гвоздей в подошвах стучат в бетон и много другого зловещего металла щёлкает, ставят на взвод… щёлк…

– Пора,– сияет зловредно Глимпф, приводя кран в движение.

Свежая мысль приходит на ум Слотропу. Он снова высовывает голову и вопит: «Майор Марви сосает ниггеров!»

– Я думаю, нам следует поторопиться,– грит Глимпф.

– Эх, а я как раз придумал ещё кое-что про его мать.– Слабина исчезает дюйм за дюймом в тросе между краном и грудой прутков, которые зацепил Глимпф, чтобы завалить вход, желательно прежде, чем добегут Американцы.

Слотроп и Глимпф сматываются через противоположный выход. Как только они достигают первый извив тоннеля, освещение полностью гаснет. Вентиляция продолжает выть. Призраки голосов в ней обретают уверенность посреди тьмы.

Навал монель-труб раскатывается с оглушительным грохотом. Слотроп дотягивается до камня стены и, следуя ей, пробирается через этот кромешный мрак. Глимпф всё ещё где-то посреди тоннеля, на путях. Нет, он не задыхается, это он хихикает сам себе. Позади глухая неразбериха погони, но света всё нет. Раздаётся негромкий звяк и резкое «*Himmel*» старого профессора. Близятся громкие крики, а вот уже и первые отблески фонариков, так что хватит нежиться в тёплой ванне— «Что случилось? Бога ради... »

– Сюда, скорее,– Глимпф столкнулся с подобием миниатюрного поезда, контуры которого сейчас едва проступают—когда-то на нём катали по заводу посетителей из Берлина. Они взбираются на трактор впереди и Глимпф возится с рычагами.

Ну, поехали, все по вагонам, отключение света было, наверное, уловкой Марви, позади потрескиванье искр, а теперь даже чувствуется ветерок. Хорошо катим.

Скачет, будто в классики, всяк Нацистёнок, ух, классно здесь,

На Миттельверке-Экспресс!

Смешные Фашисты усы подкрутили, привет-привет!

А едем-то куда? А, ну-ка, угадай!

В края, где дефицитам и налогам конец,

Где кончатся пути, там и есть та страна,

Где добрые ждут Минни с Максом времена,

На Миттельверке-Экспресс!

Глимпф включил прожектор-фару. Из боковых галерей проносящихся мимо уставились фигуры в хаки. На миг отблескивает отраженье в белках глаз прежде, чем промелькнуть. Пара из них помахали вслед. Крики уносятся, изменяясь в эффекте Доплера *Э-эй-и-и-и!* как сигналы проносящихся через ночные перекрёстки машин, мчат домой в Бостон и Мейн... Экспресс катит во всю. Сырой ветер аж посвистывает, дует в лицо. В луче прожектора различились силуэты секций боеголовок поставленных на две маленькие платформы позади локомотива. Местное карликанство бросаются врассыпную и жмутся к стенам вдоль путей, почти теряясь в темноте. Они считают поезд своей собственностью и обижаются, когда рослые люди начинают им распоряжаться. Некоторые сидят на сложенных в штабель ящиках, болтают ногами. Другие стоят на руках в темноте. Глаза их светятся зелёным и красным. Некоторые даже раскачиваются на верёвках закреплённых вверху, изображая Камикадзе летящего в атаку на Слотропа и Глимпфа с криками «банзай! Банзай!», прежде, чем, с хихиканьем,

исчезнуть. Всё это понарошку. На самом деле они тихие и приветливые— Сзади, громко будто в мегафоны, в массовом хорале:

Однажды был парень по имени Рей,

– О, блядь,– грит Слотроп.

Любитель аккумуляторных батарей

До замыкания в 50 вольт доигрался

И от хуя его лишь огрызок остался

Хлипкий, как устрица из морей.

Ja, ja, ja, ja,

В Пруссии не лижут пусю, u.s.w.

– Можете перебраться назад и отцепить те платформы,– интересуется Глимпф.

– Думаю, что да... – Но копается там несколько, кажется, часов.

Однажды был парень по имени Лограф,

Который засадил в осцилл ограф,

Циклический след их плотских утех

Озадачил всех

Почти бесконечным наклоном

– Инженеры,– бормочет Глимпф. Слотроп отцепляет платформы и трактор добавляет скорости. Ветер треплет все плохо закреплённые концы, кончики воротником, манжеты, пряжки и ремни. Позади них грянул грохот, грюк и бряк, и несколько вскриков в темноте.

– Думаете их это остановит?– На это им в зад, в гармонической раскладке на четыре голоса:

Однажды парень по имени Юрий

Сопло ебал через клапан вентури

Его на том поймали, и арестовали

И срок большой ему вмандюрил

Судья как туча хмурый.

– О-о-кей, Джоко дорогуша. Тот старый фосфорный патрон при тебе?

– Посторонись, дружище!

Без какого-либо дальнейшего предупреждения, с ослепляющим выхлопом лопается заряд Белого Фосфора, затопляет белый тоннель. Минуты две никто в нём ничего не видит. Там только лишь натыкаются в ошеломительно полнейшей белизне. Белизна без жара и слепая инерция: Слотроп чувствует что-то до жути *знакомое* в этом, центр, который он обходил, избегал сколько помнит себя—никогда не был настолько близок, как сейчас, к истинной движущей силе своего времени: лица и факты наполнявшие его неразрывную связь с Ракетой, маскировка и обманки стираются на один белый миг, бесполезное, слепое дёрганье за его рукава… *это важно… пожалуйста… посмотри на нас*… но уже слишком поздно, это уже только ветер, всего лишь перегрузки, и кровь его глаз начинает обращать белизну в оттенок слоновой кости, в позолоту, в штрихи трещин по камню… и рука, подхватившая его прочь, вновь опускает в Миттельверке— «Хху-иихa! *Хватай* ..х'соса!»

Из вспышки, на расстоянии прицельного пистолетного выстрела, громыхая, выкатывает дизельный локомотив, толкая перед собой две отцепленные Слотропом платформы, набит побагровевшими, взъерошенными, упившимися Американцами, а в зените, криво унасестившись на их плечах, майор Марви лично, в непомерно большой, белой ковбойской шляпе, размахивает парой кольтов калибра .45

Слотроп ныряет за цилиндрический предмет в задней части трактора. Марви открывает огонь напропалую, воодушевляемый отвратительным хохотом остальных. Слотроп случайно замечает, что его укрытие, фактически, ещё одна, кажись, боеголовка. Если заряды Аматола всё ещё в ней—то есть, Профессор, может ли попадание пули .45 калибра с такого расстояния в оболочку вызвать детонацию боеголовки? д-даже если не вставлен детонатор? Ну Тайрон, это зависит от множества факторов: скорость пули, толщина оболочки и её состав— В ожидании отделаться хотя б всего лишь растяжением плечевых мускулов и грыжей, Слотропу удаётся наклонить и сбросить боеголовку на рельсы, пока пули Марви бьют и рикошетят по всему тоннелю. Она подпрыгивает и замирает, опёршись на один из рельсов.

Заряд начал угасать. Тени возвращаются в проёмы входов поперечных Штолен. Платформы впереди Марви ударяют в препятствие, с оглушительным БЭНДЗ! сдваиваются в перевёрнутую V—тормоза дизеля визжат в панике *й-и-и-и-к!* покуда локомотив сходит с рельсов, разворачивается, начинает валиться, Американцы ошалело хватаются за поручни, друг за друга, за пустой воздух. Тут Слотроп и Глимпф минуют последний извив знака интеграла и позади раздаётся ещё один жуткий грохот, крики уже продолжительные, с эхом, и теперь они видят выход впереди, растущую параболу зелёных склонов гор и солнечного света...

– Вы сюда на машине приехали?– Спрашивает, помаргивая, Глимпф.

– Что?– Слотроп вспоминает ключ, оставленный в Мерседесе.– Ага...

Глимпф притормаживает, когда они проносятся под параболой в дневной свет, и выкатывает сделать плавную респектабельную остановку. Они отдают честь часовым из Второй Роты и идут угонять Мерседес, который всё там же, где старлей оставлял его.

На дороге, Глимпф указывает в северном направлении, поглядывая на вождение Слотропа хитрым глазом. Они несутся всё выше в Гарц, пронизывая тени гор, сквозь густой аромат сосен и елей, скрипя на поворотах тормозами, а иногда чуть не слетая с дороги. У Слотропа врождённый дар всякий раз переключать не на ту скорость, да и к тому же он в мандраже, глаз на затылке и в зеркале, а там полно грузовиков для личного состава и воющих эскадрилий Громобоев. Выскочив из-за слепого угла, для чего пришлось гнать по середине дороги—крутой водительский трюк случайно ему известный—они почти врезались в идущий под уклон тягач Армии США, слова *ёбаный придурок* отчётливо виднелись на губах водителя, когда они проскочили всего на волосок мимо, удары сердца глухо отдавались у них в горле, грязь из-под задних колёс тягача всплеснулась громадным крылом, которое протарахтело по крыше и заляпало половину ветрового стекла.

Солнце давно миновало зенит, когда они останавливаются, наконец, у подножия обросшего лесом купола с маленьким ветхим замком на вершине, сотни голубей, белые слезинки, текут из его бойниц. Зелёное дыхание лесов стало острее, похолодало.

Они идут по взбирающейся гармошкой тропе, усыпанной камнями, между тёмных елей к освещённому солнцем замку зубчато-коричневому, словно краюха хлеба оставленная поколениям его птиц.

– Вы тут живёте?

– Я тут работал. Полагаю, Цвиттер мог задержаться здесь до сих пор.– В Миттельверке не хватало места для всех более мелких сборок. Главным образом системы контроля. Так что они собирались в трактирах, магазинах, школах, замках, на фермах вокруг этого Нордхаузена, любое пригодное помещение, что подвернётся работникам управления производством. Коллега Глимпфа, Цвиттер из Мюнхенского Т.Н: «Чисто Баварский подход к электронике»,– Глипф начинает хмуриться: «Но самого его терпеть ещё можно, полагаю».– Какими бы ни были неведомые обиды на Баварский подход к электронике, они гасят помаргивание Глимпфа и наполняют его недовольным раздумьем весь оставшийся путь наверх.

Хор влажного воркованья, пропитанного белым пухом, встречает их, как только прошмыгнули через боковой ход в замок. Грязные полы покрывает мусор из бутылок и клочьев бумаги. Некоторые из бумаг проштампованы лиловым *GEHEIME KOMMANDOSACHE*. Птицы влетают и вылетают через выбитые окна. Тонкие лучи света тянутся из трещин и щелей. Клубы пыли под опахалом голубиных крыльев не прекращают колыхаться волнами. Стены увешаны тусклыми портретами аристократов в громадных белых париках Фридриха Великого, дамы с гладкими лицами и овальными глазами в

декольтированных платьях шелка которых теряются в пыли и хлопаньи крыльев пустых комнат. Всё покрыто голубиным помётом.

Полным контрастом, лаборатория Цвиттера наверху ярко освещена, упорядочена, наполнена выдутым стеклом, рабочими столами, разноцветными огнями, пятнистыми шкафами, зелёными папками—лабораторка чокнутого Нацистского учёного! Пластикмэн, где ты?

Тут только Цвиттер: плотный, тёмные волосы разделены прямым пробором по середине, линзы очков толсты как окна батискафа, флуоресцентные гидры, угри, и отсветы уравнений управления бороздят пучины позади них...

Но при взгляде на Слотропа они мгновенно очищаются и матовые перегородки задёргивают всё. Хмм, Т. С., что бы это значило? Кто эти люди? Куда делись румяные яблоки с щёк Глимпфа? Что Нацистский эксперт по управлению полётом может делать по эту сторону забора в Гармише, в нетронутой лаборатории?

ОХ… а уж тута…

По щелям Нацисты,

Во стенах Фашисты,

А Япошки лыбятся зубами-домино,

Норовят за яйца тя

Хапанутя.

Но...

Кады кончица война

Ох, же ж радый буду я,

Погоню до Русаков

По новой завести

Да и Третию

Закругавертити...

* * * * * * *

В те дни, когда белые инженеры обсуждали параметры будущей системы питания, один и них пришёл к Тирличу из Бляйхероде и сказал: «Мы не можем достичь согласия относительно давления в камере. Наши расчёты показывают, что давление в 40 atü явилось бы наиболее оптимальным. Но данные всех проведённых нами тестов группируются вокруг значения всего в 10 atü».

– Тогда, разумеется,– ответил Нгуарарорену,– вы должны следовать данным.

– Но это не будет ни самым верным, ни достаточным значением– возразил Немец.

– Гордый человек,– сказал Нгуарарорену,– что в этих данных, если не прямое откровение? Откуда они явились, если не от будущей Ракеты? Как ты смеешь сравнивать число, выведенное тобою на бумаге, с числом от самой Ракеты? Избегай гордости и сведи к некоему компромиссному значению.

— Из *Легенды Schwarzkommando*

собранные Стивом Эдельманом

В горах окружающих Нордхаузен и Бляйхероде, внутри заброшенных шахт, живут *Schwarzkommando*. Теперь это уже не военный термин: они уже люди нынче, Зонные-Иреро, два поколения тому покинувшие Юго-Западную Африку. Ещё первые Рейнские миссионеры начали привозить их в Метрополию, этот громадный тупой зоопарк, как образчики, возможно, обречённой расы. С ними велось щадящее экспериментирование: показом соборов, Вагнерианских званых вечеров, нижнего белья от Егера, в попытке затронуть их души. Другие привозились в Германию в качестве прислуги, военнослужащими, которых посылали на подавление Великого восстания Иреро 1904-1906. Однако, только лишь после 1933 бо́льшая часть тогдашних правящих кругов перешли, в виде составляющей в общей программе—Нацисткой партией никогда в открытую не признанной—к модели Германского плана для Магриба по установлению чёрных хунт, теневых государств, чтобы в дальнейшем захватить Британские и Французские колонии в чёрной Африке. Юго-Запад пребывал тогда под протекторатом Объединённой Южной Африки, но реально у власти находились давние Германские колониальные семьи и они пошли на сотрудничество.

Нынче в окрестностях Нордхаузена/Бляхероде существует несколько подземных общин. В здешних местах они известны как *Erdschweinhöhle*. Это такая шутка Иреро, горькая шутка. Среди Оватджимба, самых неимущих среди Иреро, которые не имеют ни своего скота, ни деревень, животным тотемом служила *Erdschwein*, или же Земляная Свинья, или же Трубкозуб. Они взяли себе его имя, никогда не ели его плоть, свою пищу выкапывали из земли, в точности, как и он. Считаясь изгоями, они жили в вельде, на открытых просторах. Скорее всего, тебе они встречались ночью, их костры бесстрашно полыхали на ветру, вне досягаемости ружейного выстрела от железа рельсов: казалось, ничто иное не в силах указать их местонахождение в этой неоглядной пустоте. Ты догадывался чего они бояться—но не чего хотят или что их трогает. А тебя ждали дела на севере, в шахтах: и вскоре, когда пламенеющие костры пропадали позади, точно также исчезала всякая нужда думать о них дальше...

Но когда ты проносился мимо, кто была та женщина, по плечи врытая в нору трубкозуба, взирающая голова, корнями ушедшая под уровень пустыни, гор подымающихся далеко позади неё тёмными складками в вечерней дали? Возможно, она ощущает колоссальное давление, мили горизонтального песка с глиной сдавливают её утробу. В конце тропы дожидаются светящиеся призраки её четырёх мертворождённых младенцев, толстые червячки, уложенные без малейшего шанса на упокоение среди диких луковиц, один подле другого, плачут о молоке более священном, чем превозносимое и хранимое в бутылочных тыквах деревни. Путём обойдённых привели они её сюда, проникнуться даром Земли к зарождению. Женщина чувствует приток силы через каждые из ворот: река между её ляжек, свет вливается в кончики пальцев. Это несомненно и освежающе, как сон. Это тепло. Чем дальше уходит свет дня, тем больше она отдаётся—темноте, влаге опускающейся сквозь воздух. Она семя в Земле. Священный трубкозуб вырыл постель для неё.

Когда-то в далях Юго-Запада, *Erdschweinhöhle* являлась могучим символом плодородия и жизни. Но здесь, в Зоне, её реальный статус не так ясен.

Среди Schwarzkommando имеются силы, в настоящее время, которые взяли курс на стерильность и вымирание. Борьба, в основном, ведётся молча, ночью, в тошноте и спазмах беременностей и выкидышей. Но это политическая борьба. Никого она не тревожит больше, чем Тирлича. Он тут Нгуарарореру. Слово это не означает в точности «вождь», а «тот, кто был доказан». Тирлич известен также, хоть и за глаза, как Отйикондо, Полукровка. Его отец был Европейцем. Не то, чтобы это придавало ему уникальность среди здешних *Erdschweinhöhleцев*: эта примесь уже Германских—через Славянские и Цыганскией—кровей. За пару поколений, захваченные ускорениями неведомыми в до-Имперские дни, копили они своеобразие, от которого мало кто ожидает окончательной унификации в обозримом будущем. Ракета обретёт завершённую форму, но не её народ. Эанда и орузо утратили свою силу здесь—кровные линии матери и отца оставлены позади, в далях Юго-Запада. Многие из ранних эмигрантов перешли даже в веру Рейнского Миссионерского Общества прежде, чем покинули родину. В каждой деревне, когда полдень раскалял тени жавшиеся к их владельцам, в тот момент ужаса и утешения, омухона вынимал из своей священной сумы души обращённых, одну за другой, кожаный шнурок влагался туда при рождении каждого, и развязывал узел рождения. Став развязанной, душа утрачивалась племенем. Так что сегодня, в *Erdschweinhöhle*, каждый из Пустых носит полоску кожи без узелка: это частица старинного символизма, который среди них считается полезным.

Они называют себя Отукунгуруа. Да, тёртые знатоки Африки, тут следовало бы употреблять «Омакунгуруа», однако, они всегда уточняют—наверное, не столько для здоровья, сколько для правильности—что *ота-* используется для обозначения живого и человечьего. *Otu-* для неодушевлённого и распространяющегося, именно такими они представляют себя. Революционеры Нуля, они продолжают то, что началось среди прежних Иреро после разгрома восстания 1904. Они ведут борьбу за отрицательный показатель рождаемости.

Это программа самоубийства расы. Им доводить до конца уничтожение начатое Немцами в 1904.

Одним поколением ранее, снижение живых рождений среди Иреро стало предметом медицинского интереса по всей южной Африке. Белых это обеспокоило, как вспышка ящура среди крупного рогатого скота. Как стерпеть, видя, что подвластное население так уменьшается год за годом. Что такое колония без смугло-тёмных аборигенов? Просто большой кусок пустыни, никаких тебе служанок, ни рабочих рук в поле, нет работников для строительства или шахт—постой-ка, притормози тут, да это ж Карл Маркс, старый затаённый расист, смывается вприпрыжку, зубы стиснуты, брови вскинуты и делает вид, что нет ничего кроме Дешёвой Рабочей Силы и Заморских Рынков... О, нет. Колонии это нечто больше, намного большее. Колонии это сортиры для Европейской души, где парняга может скинуть штаны и насладиться вонью собственного говна. Где он может навалиться на свою стройную дичь рыча, как ему больше нравиться, и жрать её кровь без утайки своего восторга. Каково? Где он может так запросто барахтаться и возбуждаться, и погружаться в мякоть, в приемлющую темень конечностей, волос таких же шерстистых, как на лично его запретном детородном члене. Где мак и каннабис и кока растут привольно и зелено, не рядясь в цвета и моды смерти, как делают спорынья и агарик, пагуба и гриб, уроженцы Европы. Христианская Европа всегда являлась смертью, Карл, смертью и репрессиями. В далёких колониях можно наслаждаться жизнью, жизнью и чувственностью в любых её проявлениях, без всякого вреда для Метрополии, ничуть не пачкая все те соборы, белые мраморные статуи, возвышенные мысли... Туда не донесётся ни словечка. Тут в умалчиваниях достаточно шири, чтобы поглотить любое поведение, каким бы ни было оно грязным, до какой бы ни доходило бесчеловечности...

Некоторые из наиболее рациональных медиков приписывали падение рождаемости Иреро недостаточному содержанию Витамина Е в их питании—другие малой вероятности оплодотворения, с учётом необычно длинной и узкой матки у женщин Иреро. Но под всеми этими резонными разговорами, научными предположениями, ни один белый Африканец не мог совершенно подавить то, что приходило *в ощущении*... Что-то зловещее распространялось в вельде: он начинал поглядывать на их лица, особенно женщин, в ряду за изгородями из терниев, и он знал, вне всяких логических обоснований: тут в действии племенное сознание, и оно избрало самоубийство... Непостижимо. Может быть, с ними мы не были настолько честны, как могли бы, может, мы и впрямь отняли у них стада и земли… ну а затем трудовые лагеря, конечно, колючая проволока и частоколы тюрем… Может, они почувствовали это всем миром, в котором не хотят жить больше. Впрочем, очень для них типично, сдаться, уползти, чтобы умереть… почему они даже не пытаются договориться? Мы могли бы выработать решение, какое-нибудь решение...

Выбор перед Иреро был прост, между двумя видами смерти: либо племенная смерть, или же смерть Христианская. В смерти рода содержался определённый смысл. Христианская смерть никакого смысла не имела. Она смахивала на

упражнение, в котором они не нуждались. Но для Европейцев, обманутых своим собственным лохотроном Младенчик Исус, то, чему они стали свидетелями в этих Иреро, оставалось тайной столь же непостижимой, как кладбища слонов, или лемминги бросающиеся в море.

Хоть они и не признают этого, Пустые, изгнанные теперь в Зону, Европеизированные в языке и мыслях, отщеплённые от родового единства, нашли ответ на это *почему*, не менее загадочный. Но они ухватились за него, как больная женщина хватается за снадобье. Они не рассчитывают на циклы, ни на возвращения, они зачарованы эффектностью самоубийства целого народа—позой, стоицизмом, и отвагой. Эти Отукунгуруа пророки мастурбации, специалисты по абортам и стерилизации, лоточники актов анальных и орогенитальных, ножных и пальцевых, содомистичных и зоофалличных—их подход и уловка в наслаждении: они шпилят по полной да так завлекательно, и *Erdschweinhöhlцы* их слушают.

Пустые могут гарантировать, что наступит день, когда умрёт последний Иреро Зоны, заключительный ноль коллективной истории прожитой до конца. Это пробирает.

Тут нет прямой борьбы за власть. Идёт обольщение и контр-обольщение, призывы и порнография, и история Иреро Зоны решается в постели.

Векторы в ночном подземелье, все пытаются избежать центра, силы, которой, похоже, является Ракета: некая машинизация, то ли путешествия, то ли судьбы, способной собрать воедино неистовых политических противников *Erdschweinhöhle*, как она собирает горючее и окислители в камере двигателя, расчётливо, как кормчий, ради предстоящей параболы.

Тирлич сидит в эту ночь под своей горой, за спиной ещё один день интриг, увёрток, оформления недавно введённой документации—всевозможные формы, которые ему удаётся извести, либо сложить, на японский манер, к концу дня, в газелей, орхидеи, кречетов. Как Ракета вырастающая в своё рабочее состояние и завершённость, так и он эволюционирует, превращая самого себя, в новую конфигурацию. Он чувствует это. И в этом также ещё одна из причин для беспокойства. Прошлой ночью, среди навала чертежей, Кристиан и Мечислав переглянулись с краткой улыбкой и смолкли. Очевидное почтение. Они изучают линии словно путь, начертанный им, и его откровения. Это ему не льстит.

То, что Тирлич хочет создать не будет иметь истории. И тут не потребуется правки программы. Время, каким его знают все прочие нации, ссохнется внутри этого нового. *Erdschweinhöhle* не будут увязаны, подобно Ракете, со временем. Люди найдут Центр заново, Центр без времени, путешествие без гистерезиса, где всякое отправление есть возвращением в то же самое место, неизменное место. …

И в этом для него наметилось некое странное сближение с Пустыми: в частности с Иосифом Омбинди из Ганновера. Вечный Центр легко можно принять за Окончательный Ноль. Наименования и методы различны, но движение к покою совпадает. Что выливалось в занятные пассажи между ними двумя: «А знаешь»,– глаза Омбинди убегают, останавливаясь на отражении Тирлича в зеркале видимое только ему,– «в этом есть… нечто, что обычно не считаешь эротическим—но на самом деле, это самый эротичный момент из всех».

– Да ну,– ухмыляется Тирлич подыгрывая.– Понятия не имею о чём речь. Хоть намекнул бы.

– Этот акт исключающий повторение.

– Запуск ракеты?

– Нет, потому что всегда есть другая ракета. А вот чего нет, так это—ладно, забудь.

– Ха! Нечем продолжить, хотел ты сказать.

– Допустим, я дал тебе ещё одну подсказку.

– Ну ладно.– Тирлич уже разгадал: видно по тому, как он сдерживает свою челюсть, чтобы не расхохотаться...

– Тут охвачены все Отклонения в одном единственном акте.– Тирлич фыркает, раздражённо, но не придирается к такому использованию «Отклонений». Колоть глаза прошлым, одна из уловок Омбинди.– Гомосексуализм, например.– Никакой реакции.– Садизм и мазохизм. Онанизм. Некрофилия...

– Такая уйма в одном акте?

Всё это и кое-что ещё. Оба знают, что подспудно идёт обсуждение акта самоубийства, который включает ещё и зверство («Вдумайся как сладостно»,– звучит подача,– «проявить ласку, сексуальное милосердие к *тому* пришибленному болью, рыдающему животному... »), педофилию («По многократным признаниям, на самом краю становишься ослепительно моложе»), лесбианство («Да, и пока ветер проносится по всем пустеющим чертогам, две тени-женщины выползают из полостей своей умирающей раковины, у финальной пепельной полосы прибоя, сомкнуться во взаимном объятии…»), копрофагию и уролагнию («Заключительные спазмы... »), фетишизм («Широкий выбор фетишей смерти, естественно... »). Естественно. Они сидят вдвоём, передавая друг другу сигарету, пока та не выкурена до мелкого «бычка». Это пустая болтовня или же Омбинди хочет обмахерить Тирлича? Если сказать, типа: «Это ж ты жулишь, верно?»– а окажется, что нет, тогда— Однако, альтернатива настолько странна, что Тирлича, так уж оно выходит,

Приболтали На Самоубийство

А мне похрен что я ем,

Буги-вуги надоели совсем,

Но меня приболтали на самоубийство!

И под гитару, и под трубу,

Все ваши песни «бу-бу-бу-бу!»

И меня приболтали на самоубийство!

Всё по талонам: от соли до трусиков,

Мамашами становятся флиртующие пупсики,

Плевать! Меня приболтали на самоубийство!

Ни галстук мне не нужен, ни нараспашку ворот,

Ссышь на деревню, так ссы и на город.

Но меня П. Н. С., карочи, да, в общем, так оно и катит куплет за куплетом, какое-то время. В своей полной версии, тут представлено достаточно честное отречение от мирских приманок. Заковыка же в том, что по Теореме Гёделя в списке непременно найдётся какая-то упущенная хрень, и она не из таких, о чём подумается сходу, так что скорей всего начинается пересмотр всего навороченного, с исправлением ошибок и неизбежных повторений, и вставкой новой всячины, которая наверняка придёт в голову, и—ну и так уже понятно, что «самоубийство» заявленное в заголовке может откладываться до бесконечности!

Разговоры между Омбинди и Тирличым, превратились поэтому в обмен торговыми запросами, в котором Тирлич не столько лох для подставы, сколько неохочий зазывала ради доли в нахлебаловке, который может слушать, а может и нет.

– Ахх, да у тебя никак хуй вскочил, Нгуарарореру?… нет, нет, наверно это тебе просто подумалось про кого-то, кого любил когда-то, где-то давным-давно… ещё в Юго-Западной, а?– Чтобы прошлое рода развеялось полностью, все воспоминания должны стать общедоступными, какой резон хранить историю устремляясь к Последнему Нулю... При всей циничности, Омбинди проповедовал это во имя древнего Единства Племени, и *таки* тут прокол в его раскрутке—такое плохо смотрится как будто Омбинди пытается убедить, будто болячка Христианства нас никогда не затронет, хотя каждому известно, мы все заразились ею, некоторые до смерти. Да, это излюбленный конёк Омбинди с его призывами обратиться к невинности прошлого, о которой он всего лишь слышал, а сам не в состоянии в неё поверить—сплочённая чистота противоположностей, деревня воплощающая образ мандалы... И вместе с тем, он не устаёт провозглашать и исповедовать её, как образ грааля мелькающий в зале, лучезарный, хотя хохмачи вокруг стола подкладывают Пердючую Подушечку на Опасный Стул, прямо под опускающуюся жопу граале-искателя, да и сами граали нынче расфасованы в

пластиковую упаковку, на алтын дюжина, оптом за копейку, но Омбинди всё ж иногда в самообмане, как всякий Христианин, пророчествует и превозносит эру невинности, пожить в которой ему не пофартило, как один из последних сохранившихся оазисов До-Христианского Единства на планете: «Тибет статья особая. Тибет намеренно оставлен Империей в стороне, как свободная и нейтральная территория, своего рода Швейцария духа без выдачи укрывшихся, с Альпами-Гималаями устремляющими душу ввысь, а опасность довольно редка, чтоб на неё нарваться... Швейцария и Тибет связаны одним из истинных меридианов Земли, настолько же истинным, как размеченные китайцами меридианы тела.… Нам надлежит изучать эти новые карты Земли: и с ростом интереса к путешествиям в Глубинку, когда карты обретают иной смысл, мы должны... »– И он заводится ещё и о землях Гондваны, до разбегания материков, когда Аргентина ласково теснилась к Юго-Западу… люди выслушивают и растекаются, к пещере, ночёвке, к семейной тыквенной бутыли, из которой молоко, неосвященное, глотается холодной белизной, холодной как север...

Так что, между этими двумя, даже будничные приветствия не проходят без некоего заряда значимости и надежды одолеть сознание другого. Тирлич знает, что им пользуются ради его имени. В этом имени особая магия. Но он держался таким недоступным, таким нейтральным так долго… всё утекло прочь, кроме имени, Тирлич, звучит призывом. Он надеется, что магия сработает ещё для кое-чего, для одного хорошего дела, когда придёт время, как мало ни оставалось бы до Центра... Что же ещё вся эта живучесть народа, эти традиции и ритуалы, если не западня? сексуальные фетиши, которыми ловко машет Христианство, чтоб заманить нас, их назначение напомнить нам о самой ранней, младенческой любви... Сможет ли его имя, сможет ли «Тирлич» сокрушить их мощь? Сможет ли его имя одолеть?

Erdschweinhöhle и вовсе самая худшая западня, диалектика слова обрела плоть, плоть переходит дальше во что-то ещё... Тирлич отчётливо видит ловушку, но не способ обойти её... И вот теперь сидит между пары свечей, только что зажжённых, его серый полевой китель расстёгнут на горле, перья бороды переходят внизу его тёмного горла в более короткие, редкие, иссиня чёрные волосы, завитушками железной стружки вокруг полюса его Адамова яблока… полюс… ось… колёсный вал... Дерево... Омумборомбанга… Мукуру… первый предок… Адам… всё ещё в поту, руки после рабочего дня неуклюжи, бесчувственны, у него есть минута отключиться и припомнить этот час суток на Юго-Западе, на поверхности, участвовать в закате, наблюдать снаружи собирающийся туман, частью туман, частью пыль от стада возвращающегося в крааль для дойки и сна… его племя издавна верило, что каждый закат это битва. На севере, где садиться солнце, живут однорукие воины, одноногие и одноглазые, и они нападают на солнце каждый вечер, пронзают его копьями насмерть, и кровь его растекается по горизонту и небу. Однако, под землёй, ночью солнце снова рождается, чтобы подняться с восходом, новое и всё то же. Но мы, Иреро Зоны, тут под землёй, сколько нам ещё ждать на этом севере, в этом узилище смерти? Это для возрождения? или нас всё-таки погребли в последний раз, похоронили лицом к северу, как всех остальных наших мёртвых и как всех святых животных

принесённых в жертву предкам? Север край смерти. Возможно, богов и нет, но есть форма: может, имена сами по себе лишены магии, но акт наименования, проговаривания физически, подчинён определённому образцу. Нордхаузен означает жилища на севере. Ракете следует производиться в месте именуемом Нордхаузен. Ближайший город зовётся Бляхероде, как подтверждение, малость избыточное, чтобы не утратился смысл послания. История былых Иреро, это история утраченных посланий. Так уж тянется с мифических времён, когда хитрый заяц, чья нора на Луне, принёс смерть среди людей, вместо истинного послания Луны. Возможно, Ракета нужна, чтобы однажды забрать нас туда и Луна скажет нам, наконец, свою правду. В *Erdschweinhöhle* есть такие, из тех что помоложе, кто познал лишь белую, склонную к осени Европу, они верят, что Луна их предназначение. Но старые в состоянии припомнить, что Луна, подобно Нджамби Карунга, может как приносить зло, так и мстить за него...

Для Тирлича, имя Бляхероде, довольно близко к «Блицкер», прозвище данное смерти древними Германцами. Она представлялась им белой: обесцвечивание и пустота. Впоследствии это имя Латинизировалось в « *Dominus Blicero*». Вайсман, заколдованный, избрал его своим кодовым именем в SS. Тирлич тогда был в Германии. Вайсман принёс новое имя домой, к своему возлюбленному, не столько покрасоваться, но указать Тирличу очередной шаг к Ракете, к судьбе, которую тот всё ещё не мог различить за этой зловещей криптографией наименований, неупорядоченного повтора послания, от которого не отмахнёшься походя, которое выговаривает ему за промашки также едко, как и 20 лет назад...

Когда-то он не мог представить жизни без возвращения. До начала его сознательных воспоминаний, что-то унесло его, туда и обратно, из круглой деревни его матери в далёком Какау Вельд, в пограничьи с краем мёртвых, уход и возвращение... Ему рассказали об этом годы спустя. Вскоре после его рождения, мать принесла его назад в деревню, обратно из Свакопмуд. В обычные времена её бы изгнали. Ребёнок был рождён вне брака, от Русского матроса, чьё имя она не могла выговорить. Но из-за Германского вторжения, обычай стал не так важен, как помощь друг другу. Хотя убийцы в синей форме являлись снова и снова, всякий раз, так или эдак, Тирлич, был обойдён. Есть миф об Ироде, который его сторонники любят поминать, что его раздражает. Не прошло даже двух месяцев, как он начал ходить, и мать взяла его с собой, присоединившись к великому переходу Самуэля Маиреро через Калахари.

Из всех историй о тех временах, эта самая трагичная. Беглецы шли через пустыню много дней. Хама, царь Бечуанов, послал проводников, быков, телеги и воду, им на выручку. Дошедших первыми предупредили, что воду нужно пить совсем по чуть-чуть. Но когда добрались отставшие, все уже спали. Некому было предупредить их. Ещё одно утраченное послание. Они пили, пока не умерли, сотнями. Среди них была мать Тирлича. А он заснул под коровьей шкурой, истощённый голодом и жаждой. Проснулся среди мертвецов. Рассказывают, что ватага Оватджимба нашли его там, взяли с собой и выходили. Они оставили его на краю деревни его матери, чтобы зашёл самостоятельно. Сами же они были перекати-полем, могли избирать любое направление в тех бескрайних просторах,

но они принесли его обратно туда, откуда выходил. Там никого уже почти не осталось. Многие погибли в переходе. Других угнали к побережью в краали или на работы по прокладке железной дороги, которую Немцы строили через пустыню. Многие умерли, наевшись мяса коров околевших от ящура.

Возврата нет. Шестьдесят процентов народа Иреро уничтожены. Оставшихся использовали как скот. Тирлич вырос в мире оккупированном белыми. Неволя, нежданная смерть, безвозвратные разлуки были повседневной реальностью. К моменту, когда он начал об этом задумываться, ему не удавалось найти ни малейшего объяснения тому, что остался в живых. Он не мог верить ни в один из процессов отбора. Нджамби Карунга и Христианский Бог были слишком далеко. Не оставалось никакой разницы между поведением какого-нибудь бога и чередой чисто случайных совпадений. Вайсман, чьим протеже он стал, всегда считал, что это он отвратил Тирлича от религии. Но боги ушли сами по себе: боги бросили народ... Пусть Вайсман думает что хочет. Жажда вины в этом человеке неутолима, как жажда пустыни к воде.

Эти двое уже давно не видели друг друга. Последний раз они разговаривали во время переезда из Пенемюнде сюда в Миттельверке. Вайсман должно быть уже мёртв. Даже в Юго-Западной, 20 лет тому, ещё до того как Тирлич научился говорить на его языке, *он разглядел* это: влюблённость в последний взрыв—вмыв и вскрик вырывающийся выше страха... С чего бы Вайсману захотелось пережить войну? Наверняка нашёл что-то достаточно великолепное, чтоб утолить свою жажду. Для него не предвиделось рациональной и смиреной кончины, как для сотни его письменных столов по ходу циркуляции в SS—расположенных, во времени и пространстве, всегда чуть-чуть не дотянув до величия, только лишь в прилегающей вплотную пустоте, слегка влечься его потоком, но быть оставленным, в конце концов, замереть неподвижно в паре тускнеющих блёсток кильватерной струи. *Bürgerlichkeit* в исполнении по Вагнеру, с медью угасания и насмешки, голоса струнных вступают и обрываются вне фазы...

Ночью здесь в глубине, очень часто в последнее время, Тирлич просыпается безо всякой причины. Был ли то и впрямь Он, пронзённый Иисус, кто приходил склониться над тобой? Белое, мечта педика, тело, стройные ноги и мягкое золото Европейских глаз… ты уловил промельк оливкового хуя под истрёпанной тряпкой на бёдрах, тебя не потянуло слизнуть пот его грубого, его деревянного бремени? Где он, в какой части нашей Зоны в эту ночь, разрази его по самый набалдашник того нервозного имперского посоха...

Редко случаются такие островки пуха и бархата, где ему удаётся забываться в мягких снах, нет, не для этих мраморных кулуаров власти. Тирлич охладел: не столько типа угасание пламени, как в полном смысле повеяло холодом, вкус горечи покрывшей нёбо первых надежд любви... Это началось, когда Вайсман привёз его в Европу: открытие, что любовь среди этих людей, вслед за просто ощущением и оргазмом от него, связана с мужскими технологиями, с контрактами, с прибылью и проигрышем. Когда потребовалось, в его собственном случае, стать слугой Ракеты... Помимо стальной эрекции, Ракета являлась целой системой

отторгнутой, отнятой у женской темноты, хранимой против энтропий милой недотёпы, Матушки Природы: именно этому Вайсман обязал его научиться в первую очередь, его первый шаг к гражданству в Зоне. Его убеждали, что поняв Ракету, он придёт к истинному пониманию своего мужского начала...

– Мне представлялось, по наивности, которую я уже утратил, что всё возбуждение тех дней доставалось мне, так или иначе, как дар от Вайсмана. Он перевёл меня через свой порог, в свой дом и это было жизнью, в которую он собирался меня выпустить, эти мужские устремления, преданность Вождю, политическая интрига, тайное перевооружение с дерзким неповиновением одряхлевшим плутократиям со всех сторон… они становились импотентами, а мы полны молодости и сил… быть *настолько* молодым и сильным в такой период жизни нации! Я не мог поверить столь несчётному числу светловолосых молодых людей, тому, как пот и пыль облегали их тела, когда они продляли Автобаны изо дня в звенящий день: мы гнали под звуки фанфар, шёлковые знамёна скроены словно костюмы… женщины казались покорно движущимися манекенами, бесцветными… мне они представлялись шеренгами, стоят раком, их груди сдаиваются в вёдра блестящей стали...

– Он когда-нибудь ревновал к другим молодым людям—к чувствам, которые они в тебе вызывали?

– О. Это всё ещё было весьма физическим в то время для меня. Но он уже миновал эту фазу. Нет. Не думаю, что его это задевало... Я любил его тогда. Не понимал его, не понимал во что он верит, но я стремился. Если Ракета стала его жизнью, то я буду принадлежать Ракете.

– И ты никогда не сомневался в нём? Он уж точно не был самой упорядоченной личностью—

– Понимаешь—не знаю как это сказать… тебе случалось быть Христианином?

– Ну… однажды.

– Ты когда-нибудь, на улице, сталкивался с человеком и, в тот же миг, знал, что это *наверняка* Исус Христос—не то, чтобы надеялся, или улавливал какое-то сходство—а просто *знал*. Вот Спаситель, вернулся и ходит меж людей, в точности, как обещано в старых историях… и, приближаясь, ты убеждаешься в этом всё больше и больше—ты не находишь ничего, что противоречило бы твоему первому изумлению… подойдя, ты проходишь мимо, в ужасе, вдруг он к тебе заговорит… ваши глаза соединились… всё подтверждается. И самое жуткое, что и *он знает*. Он видел в твоей душе: все твои привычные верования теряют смысл...

– Тогда… всё происшедшее, начиная с твоих первых дней в Европе, можно передать словами Макса Вебера, почти являлось «рутинизацией харизмы».

– Аутаз,– грит Тирлич, а это одно из многих слов у Иреро обозначающих дерьмо, в данном случае, большую, только что высранную лепеху коровы.

Андреас Орукамбе сидит перед армейски-зелёной рацией морщинистой отделки, приёмник/передатчик, задвинутый в скальный альков комнаты. Пара резиновых наушников покрывают его уши. *Schwarzkommando* используют волну в 53 см—ту самую, что применялась системой Гавайи II для управления Ракетой. Кто кроме ракетный маньяков станет слушать 53 см? *Schwarzkommando* могут не сомневаться, в любом случае, что их прослушивает каждый из конкурентов в Зоне. Выход в эфир самой *Erdschweinhöhle* начинается в 03:00 и длиться до рассвета. Другие Schwarzkommando станции передают по своему графику. Разговор ведётся на Иреро, иногда вкрапляется заимствованное слово на Немецком (что очень нехорошо, поскольку это обычно технические термины, ценная подсказка тем, кто бы ни подслушивал.)

Это первая половина смены Андреаса, в основном принимает, отвечает только в случае необходимости. Выстукивание любой шифровки это приглашение мгновенной паранойи. Тут же взвивается возможность, что засекут твою антенну, тысячи квадратных километров там, в ночи, полной врагов в их собственных лагерях посреди Зоны, безликих, подслушивающих. Хотя они контактируют друг с другом— *Schwarzkommando* стараются отслеживать стольких, сколько удастся—впрочем тут нечего сомневаться насчёт их планов касаемо *Schwarzkommando*, они держатся в отдалении, выжидая удобный момент напасть и уничтожить без следа... Тирлич полагает, они будут выжидать покуда первая Африканская ракета не будет собрана целиком и готова к старту: смотрится лучше, необходимость устранить реальную угрозу, настоящую технику. А пока что на Тирличе обеспечение полной безопасности. Тут, на основной базе проблем нет: для штурма понадобится не менее полка. Но дальше в Зону, в ракетных городах типа Целле, Эншеде, Хахенберг—они могут выбивать нас по одиночке, сперва кампания на истощение сил, и следом скоординированный рейд… а потом останется только этот вот метрополис, осадить, задушить...

Возможно, это просто спектакль, но они уже не кажутся Союзниками… хотя история, которую они изобретали для собственного пользования, заставляет нас *предполагать* «послевоенное соперничество», пусть даже на самом деле всё может оказаться гигантским картелем охватывающим как победителей, так и проигравших, во взаимно любезном согласии поделить, что там подвернётся для дележа... Всё же, Тирлич науськал их, враждующих мусоросборщиков, друг на друга… *по виду*, принялись они всерьёз... Марви сейчас должен быть уже с Русскими, а заодно и с Дженерал Электрик—сброс его с поезда в позапрошлую ночь дал нам—сколько? день или два, хорошо ли мы распорядились этим временем?

Всё сводится к этому ежедневному сплетанию, распусканию, мелкие успехи, мелкие поражения. Тысячи мелочей, каждая из которых содержит возможность фатальной ошибки. Тирлич хотел бы не вовлекаться в процесс до такой степени—иметь возможность видеть направление движения, знать, в реальном времени, на

каждом разветвлении пути к принятию решения, что будет правильно, а что ошибкой. Но это *их* время, *их* пространство, а он всё ещё ожидает, наивно, результатов, надежду на которые белый континуум перерос столетия тому. Мелочи же—клапана, специнструменты, которые могут подвернуться, а могут и оказаться в нетях, *Erdschweinhöhleвские* склоки и сговоры, утерянные инструкции по эксплуатации, техработники в бегах, как от Запада, так и от Востока, нехватка пищи, больные ребятишки—свиваются как туман, каждая частица со своим множеством сил и направлений… он не может справляться со всем этим одновременно, задерживаясь на одном, упустишь остальные... Но дело не только лишь в мелочах. Его посещает странное ощущение, когда замечтается, или впадёт в неподдельное отчаяние, будто он произносит строки, заготовленные где-то очень далеко (удалённость не в пространственном смысле, а в уровнях власти), и что его решения совсем даже не его, но просто ахинея, которую плетёт актёришка в образе вождя. Ему приснилось, что прикован к безжалостному подвигу исполнения чего-то, от чего никак не может проснуться… он часто оказывается на корабле посреди широкой реки, возглавляет восстание обречённых на разгром. Из политических соображений, восстанию позволено чуть-чуть продлиться. За ним охотятся, его дни полны спасений в последний момент, которые ему кажутся возбуждающими, физически изящными… а сам План! в нём неотступная, напряжённая красота, это музыка, симфония Севера, Арктического путешествия, за мысы очень зелёного льда, к изножию айсбергов, на коленях пред властью этой невероятной музыки, омытой морями синими, как синева, некий бескрайний Север, широкие просторы населённые народом, чья древняя культура и история ограждены необъятной тишью от остального мира… названия их полуостровов и морей, их длинных могучих рек, неизвестны в нижнем, умеренном мире… это вояж возвращения: он состарился, нося своё имя, стремительная музыка путешествия написана им самим, так давно, что он забыл её совершенно… но теперь она заново находит его...

– Проблемы в Гамбурге— Андреас строчит на листке бумаги, приподняв один наушник, присос взмок от пота, чтобы быть на связи в обе стороны.– Похоже, опять с ПеэЛами. Сигнал слабый. Всё время пропадает.

С момента капитуляции постоянно возникали стычки между гражданскими Немцами и освобождёнными из лагерей заключёнными-иностранцами. Города на севере захватывались перемещёнными Поляками, Чехами, Русскими, которые громили арсеналы и продовольственные склады и отказывались расстаться с награбленным. Но никто не знает, как относиться к местным Schwarzkommando. Кто-то видит лишь изношенную форму SS и реагирует так или иначе—другие принимают их за Морокканцев или Индийцев, приблудившихся, как-то, через горы из Италии. Немцы всё ещё помнят оккупацию Рейнланда 20 лет тому Французскими колониальными подразделениями, и плакаты вопившие SCHWARZE BESATZUNG AM RHEIN! Ещё одно значение в модели. На прошлой неделе, двух *Schwarzkommando* застрелили в Гамбурге, другие жестоко избиты. Британское военное правительство послало какие-то войска, но уже после убийств. Похоже, весь их интерес состоял в том, чтобы ввести комендантский час.

– Это Онгуруве.– Андреас подаёт наушники и разворачивается откатиться и пропустить Тирлича.

–… не знаю, мы им нужны, или нефтеперегонный…– голос наплывает и удаляется в потрескиваниях,– … сотня, может две… так много… —ружённых, дубинки, пистолеты—

Писк и всплеск шипения, потом вклинивается знакомый голос: «Я могу привезти человек пятнадцать».

– Говорит Ганновер,– бормочет Тирлич, стараясь звучать довольным.

– Ты имеешь ввиду Иосиф Омбинди.– Андреас недоволен.

Дело в том, что Онгуруве, который просит помощи, нейтрален относительно Вопроса Пустых или делает вид. Но если Омбинди явится в Гамбург на выручку, он может надумать там и остаться. Ганновер, даже с тамошним заводом Фольксвагена, для него всего лишь ступенька вверх. Гамбург даст Пустым более ощутимую основу власти и это может предоставить возможность. Север для них родной элемент, в любом случае…

– Мне надо идти,– передавая наушники Андреасу.– Что не так?

– Возможно, работа Русских, хотят тебя выманить.

– Всё хорошо. Насчёт Чичерина можешь не беспокоиться. Не думаю, что он там.

– Но твой Европеец сказал—

– Этот? Не знаю насколько ему можно верить. Не забывай, я сам слышал его разговор с Марви на поезде. Сейчас он с девушкой Чичерина в Нордхаузене, ты бы доверял такому?

– Но если Марви теперь гоняется за ним, то может он чего-то стоит.

– Если стоит, то мы ещё с ним свидимся.

Тирлич подхватывает свой рюкзак, глотает пару таблеток Первитина на дорожку, напоминает Андреасу про одну-две деловые мелочи наутро, и подымается длинными уклонами сквозь камень и соль на поверхность.

Снаружи, он вдыхает вечнозелёный воздух Гарца. В древних деревнях это было бы временем вечерней дойки. Восходит первая звезда, оканумаихи, маленькая любительница сладкого молока...

Но эта должно быть другая звезда, северная. Покоя нет. Что стало с нами? Если выбор никогда не бывает за нами, если всем Иреро Зоны суждено жить в груди

Ангела, который пытался нас уничтожить в Юго-Западной… выходит: мы обойдены или избраны для чего-то более ужасного?

Тирлич должен успеть в Гамбург до следующего убийства солнца копьями. Охрана на поездах придирается, но часовые его знают. Длинные товарняки катят из Миттельверке день и ночь, везут части А4 на запад Американцам, на север Англичанам… а скоро, когда карта оккупации вступит в силу, потянутся ещё и на восток, к Русским... Нордхаузен отойдёт под Русское правление, тут-то у нас и завертится действие… Будет ли у него шанс подобраться к Чичерину? Тирлич никогда не видел этого человека, но им суждено пересечься. Тирлич его сводный брат. Они от одной плоти.

Его седалищный нерв запульсировал. Слишком много засиживается. Он идёт прихрамывая, один, голова до сих пор приопущена под низкий потолок штолен оставшейся позади *Erdschweinhöhle*—как знать что ждёт тебя здесь, если голова задрана чересчур высоко? По дороге к железнодорожному переезду, высокий и серый в брезжащем свете звёзд, Тирлич направляется к Северу...

* * * * * * *

Вот-вот рассветёт. На сотню футов ниже расстилается бледное покрывало облака протянувшееся к западу насколько им хватает глаз. Здесь Слотроп и начинающая ведьма Гели Трипинг, стоят на вершине Брокена, средоточии Германского зла, в двадцати милях к север-северо-западу от Миттельверке, в ожидании восхода солнца. Хотя Канун Майского Дня пришёл и миновал, а эта парочка проказников припозднились почти на месяц, памятки минувшего Чёрного Шабаша всё ещё видны вокруг: опорожненные Кригсбир, кружевное нижнее бельё, стреляные гильзы, знамена со Свастикой из подранного красного сатина, татуировочные иглы и выплески синих чернил— «А эта хрень к чему тут?»– удивился Слотроп.

– Для поцелуя дьявола, конечно же,– Гели прижимается ох-ты-глупенький к его подмышке и Слотроп чувствует себя малость нудным простачком, что даже в таком не рубит. Впрочем, о ведьмах он почти без понятия, хотя у него в предках имелась даже одна настоящая Салемская Ведьма, одна из последних в ряду вздёрнутых, несколько подобных ей на протяжении столетий зависли с фамильного дерева Слотропа. Звали её Эми Спру, отщепенка в семье, что стала Антиномианисткой в возрасте 23 и, не в себе, бегала по округе Бёркшира, опередив на 200 лет Чокнутую Сью Дамхэм, похищая младенцев, разъезжая в сумерки на коровах, устраивая жертвоприношения из кур на Горе Снод. Неизбывная злость на тех куриц, как можете себе представить. Коровы и младенцы всегда, почему-то, возвращались целёхоньки. Эми Спру не была, в отличие от молодой попрыгуньи Дороти, ведьмой-негодяйкой.

Она шла в Род-Айленд прибежище найти,

Решила отдохнуть в Салеме по пути,

Но там им не понравилось, как она улыбалась,

Наутро среди прочих ведьм в петле она болталась…

Её обвинили в колдовстве и приговорили к смерти. Ещё одна сдвинутая в роду Слотропа. Если её вообще поминали вслух, то при этом всегда пожимали плечами, нет, на Позор Семьи не тянет—скорее курьёзный факт. Слотроп вырастал, не зная толком что о ней думать. Ведьмы в тридцатые не пользовались должным почтением, конечно. Их представляли злюками, которые называют тебя «душечкой», не слишком нормальная компания. Фильмы не подготовили его к здешней Тевтонской разновидности. У фрицевской ведьмы, например, по шесть пальцев на ступне и ни одного волоска вокруг пизды. Так, во всяком случае, выглядят ведьмы на фреске лестничной площадки внутри бывшей Нацисткой радиобашни на этом Брокене, а в правительственных фресках не станешь выискивать безответственные фантазии, верно? Однако, Гели считает, что безволосая пизда берёт истоки в рисунках фон Байроса: «А, ты просто не хочешь брить *свою*»,– каркает Слотроп: «Ха! Ха! Тоже мне ведьма!»

– Я что-то *тебе* покажу,– грит она, для этого они и бодрствуют в этот безбожный час, прижавшись друг к другу и держась за руки.– Теперь посмотри,– шепчет Гели,– вон туда.

Когда свет солнца падает им в спину, почти под прямым углом, это самое что-то начинает проступать на жемчужном поле облака: две гигантские тени, отбрасываемые на много миль над землёй, поверх Клаустал-Целлерфелд, мимо Зесена и Гослара, вытягиваясь к Веслеру... – «Охренеть»,– Слотроп малость ошарашен: «Это же Призрак». Такое же можно наблюдать с вершины Грейлок в Бёркшире. Но здесь это называется *Brockengespenst*.

Тени богов. Слотроп возносит руку. Его пальцы покрывают города, его бицепсы величиной с провинции—конечно же он возносит руку. А что ещё от него ждать? Руко-тень обгоняет радуги, продвигаясь с востока охватить Гётинген. Причём тени необычные— *трёхмерные тени*, загораживают Германский восход, да Титаны тоже должны были жить в этих горах или под ними... Не вписываются совершенно. Ни одна река не в силах понести. Ни к одному горизонту нет доверия, что тот может длиться до бесконечности. Ни одного дерева, чтобы смог взобраться. Ни одного длительного путешествия… остались лишь их чёткие силуэты, озарённые раковины ничком поверх туманов, среди которых движутся люди...

Гели вскидывает ногу словно танцовщица, а голову склоняет набок. Слотроп выставляет свой средний палец к западу, стремительный палец затемняет три мили облаков в секунду. Гели хватает его за хуй. Слотроп склоняется куснуть её титьку. Они громадны, танцуют по всей площадке обозримого неба. Он лапает её под юбкой. Она обвивает ногой одну из его. Спектры хлещут от красного до

индиго, потоком прилива, безмерные, по всем краям. Там под облаками всё так же тихо, и затерянно, словно Атлантида.

Однако Brockengespenstphänomen ограничен хрупким интерфейсом рассвета, и вскоре тени начинают съёживаться обратно к своим владельцам.

– Слышь, а тот Чичерин когда-нибудь—

– У Чичерина слишком много других дел.

– О, ну а я, типа, трутень или вроде того.

– Ты другой.

– Ну-у-у… ему *нужно* увидеть это.

Она с любопытством взглянула на него, но не спросила почему—её зубы прижали нижнюю губу и *warum* (врум, звучит у Пластикмэна) остался пойманным в её рту. Тоже неплохо. Слотроп и сам *не понимает* почему. Ничем не сможет помочь, если кому-то вздумается расспросить. Прошлой ночью он и Гели наткнулись на пост *Schwarzkommando* возле одного из входов в старую шахту. Иреро допрашивали его не меньше часа. О, просто брожу тут, знаете ли, высматриваю что-нибудь необычное, так называемое «чисто человеческое любопытство», конечно, увлекает, нам же всегда интересно чем вы, ребята, занимаетесь… Гели хмыкала в темноте. Её они должно быть знают. Не задали ей ни одного вопроса.

Позже, когда он начал у неё выспрашивать, она, оказывается, толком и не знает что за дела у Чичерина с Африканцами, но что бы там ни было, крутятся они бойко.

– Всё из-за ненависти, ясное дело,– говорит она.– До того глупо. Война закончена. В этом нет не политики, и это не пошёл-бы-ты-братишка-нахуй, а просто давняя, без примесей, личная ненависть.

– Тирлич?

– По-моему, да.

На Брокене оказались как Американские, так и Русские войска. Гора лежит на будущей границе Советской зоны оккупации. Кирпич и штукатурка развалин радиотранслятора и туристического отеля громоздились чуть выше, сразу за светом костра. Тут всего пара взводов. Никого выше Сержантов. Все офицеры внизу, в Бад Гарцбурге, Халберштадте, каком-нибудь удобном месте, в попойках и ебле. На Брокене чувствуется определённое недовольство, но парням понравилась Гели, а Слотропа они стерпели, но главная удача, тут, похоже, ни души из Артиллерии.

Однако, это всего лишь краткий передых. Майор Марви скрежещет зубами по всему Гарцу, доводя до сердечного приступа канареек, тысячами, и те шмякаются жёлтыми стаями с деревьев брюшками кверху, пока он бесчинствует с воплями *Схватить Агликашку х'соса мне похер сколько требуется людей хоть и ёбаная дивизия, усёк шо те сказано*? Просто вопрос времени, но он снова возьмёт след. Он чокнутый. Слотроп малость того, но не настолько—тут натуральный сдвиг, это преследование Марви. Возможно даже… ага, ему действительно пришла эта мысль—не заодно ли Марви с молодцами из Ролс-Ройса, что подстерегали его в Цюрихе? Может быть, их связям нет предела. Марви вась-вась с Джи-Элом, а это деньги Моргана, а деньги Моргана имеются и в Гарварде и на все сто пересекаются где-то с Лайлом Блэндом... кто они, а? что нужно им от Слотропа? Он уже знает наверняка, что тот Цвитер, чокнутый Нацисткий учёный, один из них. А тот добрый старичок профессор Глимпф нарочно дожидался внизу в Миттельверке, подхватить Слотропа, когда покажется. Исусе. Если б Слотроп не улизнул, когда стемнело, обратно в Нордхаузен к Гели, они б его наверняка уже схватили, избили, а может и прикончили б.

Перед спуском с горы, им удалось выцыганить шесть сигарет и пару сухих пайков у часовых. Гели знает, что у её друга есть друг на ферме в Голден Ауэ, энтузиаст воздухоплавания на воздушных шарах по имени Шнорп, который направляется в Берлин.

– Но мне не надо в Берлин.

– Тебе надо туда, где нет Марви, *Liebchen*.

Шнорп сияет, вполне рад компании, сам только что из местного военторга с охапкой белых плоских коробок, товар, который он собирается толкнуть в Берлине: «Без проблем»,– говорит он Слотропу,– «не беспокойся. Я добирался так сотни раз. К воздушному шару никто не цепляется».

Шнорп сияет, вполне рад компании, сам только что из местного военторга с охапкой белых плоских коробок, товар, который он собирается толкнуть в Берлине: «Без проблем»,– говорит он Слотропу,– «не беспокойся. Я добирался так сотни раз. К воздушному шару никто не цепляется».

Он отводит Слотропа за дом и там, посреди наклонного зелёного поля, плетёная гондола рядом с грудой жёлтого и красного шёлка.

– И это называется рвать когти неприметно,– бурчит Слотроп. Ватага детворы прибежали через яблоневый сад помочь перетаскать жестяные канистры с хлебным спиртом в корзину шара. Послеполуденное солнце отбрасывает все тени вверх по склону. Ветер дует с запада. Слотроп щёлкает своей Зиппо дать огонька, чтобы Шнорп зажёг горелку, пока подростки расправляют клинья купола. Шнорп откручивает пламя на всю, аж начало вырываться по сторонам и, с ровным гулом, наполнять через клапан громадный шёлковый мешок. Дети, виднеясь в промежутке над горелкой, трепещут в ряби волн жара. Медленно, купол начинает

раздуваться: «Вспоминай меня»,– перекрикивает Гели шум горелки: «Пока не встречу тебя снова... »– Слотроп вскарабкался в корзину к Шнорпу. Купол чуть привстаёт над землёй и ветер его подхватывает. Они начинают движение. Гели с ребятнёй со всех сторон вцепились в борта корзины, купол всё ещё не расправился, но набирает скорость, волочит их, несмотря на упирающиеся ноги детей, те вопят и хохочут скользя вверх по склону. Слотроп во всю старается ничем не помешать, задвинулся так, чтобы Шнорпу видно было и пламя, направленное в купол, и тросы корзины. Наконец купол всплывает кверху, застит солнце, внутри которого пламенеют бурные переливы жёлтого и красного жара. Один за другим, наземная команда отваливаются, машут «до свиданья». Последней отцепилась Гели в её белом платье, волосы зачёсаны назад в косички, её мягкий подбородок и рот, и серьёзные глаза обёрнуты к Слотропу, сколько смогла держаться прежде, чем отпустить. Она падает в траву на колени, шлёт воздушный поцелуй. Слотроп чувствует как его сердце, неуправляемо, расширяется от любви и взлетает обгоняя воздушный шар. Чем дольше он в Зоне, тем больше времени уходит у него, чтобы одёргивать себя да, *кончай ты быть размазнёй*. Что оно творится у него с мозгами?

Они взмывают над частоколом елей. Гели с ребятишками уменьшаются до штришков тени на зелени лужайки. Возвышенности изчезают, разглаживаются. Вскоре, при взгляде назад, Слотроп различает Норденхаузен: Собор, Ратхаус, церковь св. Бласиуса… квартал без крыш, в котором он встретил Гели...

Шнорп подталкивает локтем и указывает вниз. Присмотревшись, Слотроп различает колонну из четырёх тускло-оливковых автомобилей, что мчат, вздымая пыль, к ферме. Мамочки Марви, судя по всему. А Слотроп болтается на разноцветном пляжном мячике. Ну, и ладненько.— «От меня одни неприятности»,– орёт Слотроп чуть погодя. Они легли уже на устойчивый курс к северо-востоку и жмутся поближе к спиртовому пламени, воротники вскинуты, с разницей должно быть в 50° между ветром в их спины и жаром в лицо: «Я должен был сразу предупредить. Ты меня даже не знаешь, а теперь вот летим в Русскую зону».

С волосами встрёпанными как праздничное сено, Шнорп выпячивает верхнюю губу признаком Германской задумчивости: «Никаких зон нет»,– грит он, повторяя слышанное уже от Гели: «Нет никаких зон, а только Зона».

Вскоре Слотроп начал заглядывать в те коробки, что принёс с собой Шнорп. Их больше десятка и в каждой пышный золотистый кремовый торт, который пойдёт в Берлине за фантастическую цену: «Ух-ты!»– вскрикивает Слотроп,– «Пресвятое Блядство! У меня точняк галлюцинации гуляют».– И тому подобный подхалимаж младшего подельника.

– Требуется карточка военторга.– Знакомая песня в их магазинах.

– В данный момент мне не поставят печать даже на карточку суспензория для букашки,– отвечает Слотроп не таясь.

– Ладно, поделюсь с тобой одним тортом,– чуть погодя решает Шнорп,– а то мне что-то есть захотелось.

– Ё-моё, братан.

Ну так Слотроп просто въелся в этот торт! Кайфует, слизывает крем с пальцев, когда случайно замечает в небе, со стороны Нордхаузена, этот забавный тёмный объект, размером с точку: «Ээ... »

Шнорп оглядывается: « *Kot!*»– выхватывает медную подзорную трубу и опирает на борт корзины: « *Kot! Kot!*—без опознавательных знаков».

– А что оно…

В воздухе настолько синем, что можешь зажать его меж пальцев, потереть, и они тоже станут синими, видно как точка медленно вырастает в заржавелый разведывательный самолёт. И вот уже им слышен звук его мотора, ревуче трескучий.

Вместе с ветром догоняющим их, чуть слышно, различается хор Фурий:

Был молодчага по имени Женя,

Любитель усилителя напряжения,

Но пара коротких

Оставила парня в чём мать родила

И дом его сожгла дотла!

Ja, ja, ja, ja!

В Пруссии не целуют в пусю...

Самолёт прогудел за пару метров, показав своё брюхо. Это чудище на сносях. Сквозь маленькое отверстие доступа выглядывает красная рожа в кожаном шлеме с очками для пилота. «Агликашка х’сос»,– проносясь мимо,– «ща мы вручим тебе твою же собственную жопу!»

И сам того не ожидая, Слотроп схватил один торт. «Ёб твою!»– швыряет он, отличный бросок, самолёт медленно чешет мимо и *шмяк* влепляется прямо в рожу Марви. Да! Руки в перчатках хватаются за месиво. Высовывается розовый язык майора. Крем капает на ветру, жёлтые капли длинной аркой относит к земле. Люк захлопывается и разведлёт проскальзывает прочь, закладывает вираж, разворачивается по кругу и идёт обратно. Шнорп и Слотроп берут по торту каждый и ждут.

– На моторе нет обтекателя,– замечает Слотроп,– надо целить в него.– На этот раз им видна спина самолёта, кабина лётчика битком полна накачанных пивом Американцев, они поют:

Был парень по имени Риттер,

Он поимел контрольный трансмиттер,

С той поры его хуй

Стал болтаться как буй,

Или шквалом растерзанный свитер.

Дистанция метров сто и быстро сокращается. Шнорп ухватывает руку Слотропа, показывает вправо по курсу. Провидению вздумалось выставить на их пути белый склон большущего облака и ветер ускоренно относит их туда. Бурлящее создание простирает белый щупальцы, машет скорей… скорей… и вот они внутри него, внутри его влажной и льдистой передышки...

– Теперь они будут выжидать.

– Нет,– Шнорп оттопыривает ухо,– они выключили мотор, они тут с нами.– Запелёнатая тишина длиться минуту-две, но затем, конечно же:

Был однажды парень по имени Род,

Он трахнул сервопривод,

Но его конец

Отрастил зубец,

Не член стал, а полный урод.

Шнорп возится с пламенем, серо-розовый нимб, чтоб стало неприметнее, однако же и высоту не потерять. Они плывут в тусклой сфере собственного света, без координат. Утёсы гранита слепо колошматят вверх словно кулаки в облако, стараясь угодить по шару. Самолёт тоже где-то, со своей скоростью, на своём курсе. Воздушный шар ничего не может поделать. Двоичные решения утратили тут всякий смысл. Облако наваливается, удушающее. Оно скапливается в крупные капли конденсата поверх тортов. Вдруг хрипло и похмельно:

Был один молодчик из Декатера

Что спал с ЖК генератором

Яйца и хуй сковало льдом

Жопу тоже, но малость потом

Холодней стала лунного кратера.

Занавесь пара отступает обнажить Американцев планирующих менее чем в десяти метрах и чуть быстрее воздушного шара.

– Давай!– орёт Шнорп, швыряя торт в раскрытый мотор. Слотроп промахивается и залепляет ветровое стекло перед пилотом. К этому моменту Шнорп начал бросать мешки с песком в мотор, один из которых застрял между двух цилиндров. Американцы, захваченные врасплох, в растерянности хватаются за пистолеты, гранаты, пулемёты что уж там те Артиллеристы носят при себе как лёгкое вооружение. Но они проскользнули мимо и туман уже снова смыкается. Раздались пара выстрелов.

– Блядь, если они продырявят этот шар, мэн—

– Тсс. Думаю мы перебили провод зажигания.– Дальше в середине облака слышен назойливый визг застопорившегося мотора. Сцепление отчаянно воет.

– Ёб твою!– приглушённый вопль, издали. Непрерывное визжанье всё слабее, пока не сменилось тишиной. Шнорп лежит на спине, лопает торт, злорадно хохочет. Половина его груза выброшена и Слотроп чувствует себя малость виноватым.

– Нет, нет. Не переживай. Это типа как на заре становления торговой системы. Мы вернулись вспять. Вторая попытка. Караванные пути долги и опасны. Потери при перевозке обычная часть жизни. Тебе представился шанс взглянуть на *Ur-Markt.*

Когда облака рассеялись, спустя несколько минут, они увидели, что тихо плывут под солнцем, с вантов капает, купол шара всё ещё поблескивает после влажного облака. Самолёта Марви не видать нигде. Шнорп регулирует горелку. Они начинают подниматься.

Ближе к закату, Шнорпа потянуло на раздумья: «Смотри. Виднеется край. В этих широтах тень земли мчит через Германию со скоростью 650 миль в час, скорость реактивного самолёта». Облачная пелена разорвалась на маленькие заплаты тумана цвета кипячёной креветки. Воздушный шар плывёт над сельской местностью, чью зелёную чересполосицу сумерки сводят сейчас к чёрному: нить речки пылающей в вечернем солнце, раздёрганно-угловатый узор ещё одного обескрышенного города.

Закат красный с жёлтым, как и воздушный шар. На горизонте кроткая сфера искривляет свой низ, персик на фарфоровом блюде: «Чем дальше к югу»,– продолжает Шнорп,– «тем быстрее мчится тень, пока не достигнешь экватора: там уже тысячу миль в час. Обалдеть. Она преодолевает барьер скорости звука где-то над южной Францией—примерно на широте Каркасона.

Ветер тащит их дальше, к северо-востоку. «Южная Франция»,– вспоминается тут Слотропу: «Да. Это там, где и я преодолел звуковой барьер...»

* * * * * * *

Зона в разгаре лета: душенькам покойно за кусками стен, крепко спят, скрючившись в снарядных ящиках, на приволье трахаются по дренажным трубам, задрав серые подолы рубах, бродят в грёзах посреди полей. Грезят о еде, забытьи, других историях...

Царящая тишь это отход звука, как отступает прибой перед приливом: звуки утекают прочь, под уклон акустических каналов, накопиться, где-то там, в грандиозный всплеск шума. Коровы—здоровенные недотёпы в чёрных и белых кляксах, запряжены в плуга, потому что лошади в Зоне все исчезли—надрываются с бездумными лицами в минных полях засеянных зимой. Ужасающие взрывы бабахают в фермерских угодьях, рога, шкура и гамбургеры падают дождём вокруг, а помятые колокольцы валяются молча в клевере. Может быть, лошади так тупо не пёрли бы—но Немцы изничтожили своих лошадей, разбазарили всю породу, загнали их в самые гиблые места, в рои свистящей стали, в ревматические болота, в зимние морозы, без попон, на наших последних Фронтах. Возможно, несколько нашли безопасное прибежище у Русских, которые всё ещё неравнодушны к лошадям. Костры их стоянок рассылают отсвет на много миль из-за берёзовых рощ, сквозь северо-летнюю мглу, почти сухую, которой едва хватает, чтоб сделать языки пламени острыми, как лезвие ножа, дюжина аккордеонов и гармоней, играют все враз разухабистые аккорды с отголоском свирели, и песни полны протяжных *-ствуй* и *-лся* с голосами девичьей поддержки чище всего прочего. Лошади всхрапывают и переступают в шелестящей траве. Мужчины и женщины добры, находчивы, фанатичны—в Зоне они веселее всех выживших.

Вибрируя всей плотью, движется чокнутый сборщик утиля Чичерин, в составе которого больше металла, чем чего-то ещё. Стальные зубы взблёскивают, когда он говорит. На темени под волосами серебряная плата. Золотая проволока пронизывает трёхмерной татуировкой мелкие обломки сустава и кости в его правом колене, её контуры постоянно чувствуются, печать боли ручной работы, боевая награда, которой он горд больше всего, потому что она не видна и только он может её ощущать. Операция длилась четыре часа и в темноте. Это случилось на Восточном фронте: не было никаких сульфамидных препаратов, ни анестезии. Конечно, есть чем гордиться.

Он пришёл сюда, со своим прихрамыванием, неизменным, как золото, из холодов, лугов, тайны. Официально он подчинён ЦАГИ, Центральному Аэро-Гидродинамическому Институту в Москве. Приказом ему предписана техническая разведка. Но его настоящая миссия в Зоне дело личное, навязчивое и отнюдь—как ему слегка и по-всякому намекали его начальники—не отражающее интересы народа. И по мнению Чичерина, если подходить буквально, они вполне правы. Но ему не слишком ясны интересы предупреждающих. И у них могут найтись свои причины желать ликвидации Тирлича, что бы они там ни говорили. Возможно, их разногласие с Чичериным вызвано сроками, или мотивами. У Чичерина мотивы не политические. Небольшое государство, которое он создаёт в Германском вакууме,

зиждется на настоятельной потребности, которую он уже и не пытается понять, на необходимости уничтожить *Schwarzkommando* и своего мифического сводного брата Тирлича. Происхождением он из породы Нигилистов: среди его предков сколько угодно бомбометателей и восторженных убийц. Он никак не родственник тому Чичерину, который заключал Договор Рапалло с Вальтером Ратенау. Тот был из давних деятелей, Меньшевик перешедший к Большевикам, и в эмиграции и по возвращении веривший в Государство, которое переживёт их всех, в котором кто-то придёт занять его место за столом, как сам он уселся вместо Троцкого—сидящие будут приходить и уходить, но места оставаться… вот и ладно. Теперь такое государство есть. Но опять-таки, есть и иное, чичеринское, смертное Государство, что продержится не дольше, чем составляющие его личности. Он связан, любовью и телесным страхом, со студентами погибшими под колёсами экипажей, с глазами исполненными преданностью бессонным ночам, с руками маниакально приемлющими смерть от абсолютной власти. Он завидует их одиночеству, их готовности продолжать в одиночку, вне даже военного подразделения, зачастую без любви или поддержки от кого бы то ни было. Его собственная верная сеть *fräulein'*ок по всей Зоне просто компромисс: он знает, в этом чересчур много удовольствия, даже если разведданные стоят того. Однако, предвидимые опасности любви, привязанности, слишком-таки легковесны, чтобы он на них пошёл, если бросить на чашу весов для сравнения с тем, что ему предстоит сделать.

В раннюю пору Сталина, Чичерина услали в отдалённый «медвежий угол», в Семиречье. Летом каналы ирригации потели расплывчатой лепниной по зелени оазиса. Зимой липкие чайные стаканы громоздились на подоконниках, солдаты играли в *преферанс* и выходили за дверь только поссать или пульнуть вдоль улицы в неосторожных волков из недавно модернизированной винтовки Мосина. Это был край пьяной ностальгии по городам, безмолвной Киргизской езды на лошадях, непрестанных толчков земли… из-за землетрясений, никто не строил выше одного этажа, так что город смахивал на фильм про Дикий Запад: коричневая грунтовая улица обставленная двух- и трёхэтажными фальшивыми фасадами.

Он приехал, чтобы дать живущим в этой дали племенам алфавит: они обходились исключительно словами, жестами, прикосновением, даже Арабских букв не было, чтоб вытеснять их. Чичерин координировался с местным центром Ликбеза, одним из цепочки «красных юрт», как их именовали в Москве. Молодые и старые киргизы приезжали с равнины, принося запах лошадей, кислого молока и анаши, рассаживались смотреть на доски заполненные меловыми знаками. Чопорные латинские символы были почти та же незнакомы Российским кадрам—рослой Галине в её списанном Армейском галифе и серых Казачьих рубахах… мягколицей, в завивке щипцами, Любе, её близкой подруге… Вацлаву Чичерину, в роли политического ока… каждый из агентов—хотя никто не смотрел на себя под таким углом—вводил НТА (Новый Тюркский Алфавит) в необычайно чуждой стране.

По утрам после завтрака, Чичерин обычно отправлялся в ту красную юрту, проведать строгую учительницу Галину—которая затрагивала пару отведённых женщинам частей в его натуре… в общем… часто он отправлялся гулять, а утреннее небо полыхало молниями: трепещущими, слепящими. Жуть. Земля сотрясается гулом ниже предела слышимости. Может показаться концом света, за исключением того, что это довольно обычный день в Центральной Азии. Удар за ударом во всю ширь неба. Тучи, некоторые очень чётких контуров, чёрные, рваные, плывут армадами в Азиатскую арктику, над необозримыми десятинами трав, столбиками коровяка, в зыбком колыхании насколько хватает глаз, зелёном и сером от ветра. Ошеломляющий ветер. Но он стоит посреди улицы, в его потоке, хватаясь за пояс, штанины взбиты и полощутся о его грудь, кляня Армия, Партию, Историю—всё, что привело его сюда. Он так и не полюбит это небо или равнину, этих людей, их животных. Не станет оглядываться, нет, даже на самых промозглых бивуаках его души, сталкиваясь в оголённом Ленинграде с неизбежностью своей смерти, смертями своих товарищей, никогда не обратится он к воспоминаниям о Семиречье, чтоб укрыться в них... Не слушал музыки, не отправлялся в летние вылазки… не видел в степи лошадь в свете угасающего дня...

И уж тем более не о Галине. Она не подходит быть даже «воспоминанием». Галина скорее уж нечто типа фигуры алфавита или процедуры при разборке винтовки Мосина—да, это как помнить, что надо удерживать спуск указательным пальцем левой руки, пока правая вынимает затвор, набор взаимно сцепляющихся предосторожностей, часть процесса между тремя ссыльными Галиной/Любой/Чичериным, в котором вырабатываются свои переходы, своя маленькая диалектика, пока не закончится, и не о чем вспомнить кроме структуры...

Её глаза прячутся в железных тенях, глазницы темны, словно от ударов без промаху. Челюсть у неё невелика, квадратна и выступает вперёд, нижние зубы показываются чаще, когда заговорит... Почти никогда не улыбается. Кости её лица крепко изогнуты и склёпаны. Аура её из пыли мела, хозяйственного мыла, пота. С отчаянной Любой на периферии, непременно, в своей комнате, у своего окна, миловидный беркут. Галина приручила её—но летает одна Люба, только ей ведомо падение длиною в версту, вонзание когтей и кровь, а её тощая хозяйка должна оставаться внизу в классной комнате, взаперти, скованная словами, течением и морозными узорами белых слов.

Свет пульсирует среди туч, Чичерин месит грязь улицы к Центру, получает румянец Любы, что-то наподобие поклона и салюта шваброй, взятой на караул комичным китайцем, чернорабочим по имени Чу Пень, непроницаемые взгляды одного-двух ранних учеников. Кочевой «туземец» учитель Джакып Кулан поднимает взгляд от навала пастельных изыскательских карт, чёрных теодолитов, ботиночных шнурков, сальников для трактора, свечей, наконечников тяги, стальных футляров для карт, обойм 7.62 мм, крошек и кусочков лепёшек, намеревается попросить сигарету, которая уже вынута Чичериным из кармана и протянута.

Он благодарит улыбкой. Так-то лучше. Он не уверен насчёт намерений Чичерина, ещё меньше в дружбе этого Русского. Отец Джакыпа Кулана погиб во время восстания 1916, при попытке убежать от войск Куропаткина и уйти через границу в Китай—один из 100 беглецов-кыргызов перебитых в один вечер возле русла высыхающей речки, которую наверно можно как-то отследить к северу, до нуля на маковке мира. Русские переселенцы, охваченные паникой чёрной сотни, окружили и поубивали более смуглых беженцев лопатами, вилами, выстрелами из старых ружей, что кому подвернулось. Обычный случай в Семиречье той поры, даже в такой дали от железной дороги. Они охотились на Сартов, Казахов, Кыргызов, Дунганов в то жуткое лето, как на дичь. Велся ежедневный подсчёт. Это было состязанием, добродушным, но не на шутку. Тысячи неугомонных туземцев отправились на тот свет. Их имена, даже число их, утрачены навсегда. Оттенки кожи, носимая одежда становились резонным основанием, чтоб посадить в тюрьму, избить, прикончить. Даже произношение—потому что слухи о Германских и Турецких агентах носились по этим равнинам, не без помощи Петрограда. Это национальное восстание полагалось делом рук иностранцев, международным заговором с целью открыть новый фронт в войне. Ещё раз Западная паранойя, на массивном основании Европейского баланса сил. Откуда тут было взяться Казахским, Кыргызским—Восточным—объяснениям причин? Разве не были туземцы счастливы? Разве пятьдесят лет Российского правления не принесли прогресс? Процветание?

Ну покуда что, при текущих раскладах в Москве, Дакып Кулан сын национального мученика. К власти пришёл Грузин, к власти в России, древней и абсолютной, провозгласивший Будь Добр к Нацменьшинствам. Но хотя старый милый тиран старается во всю, Джакып Кулан почему-то остаётся таким же «туземцем» как и прежде, с ежедневной проверкой этими Русскими степени его неугомонности. А его гнедое лицо, его длинные узкие глаза и запылённые ботинки, и куда он ездит в своих вылазках и что происходит внутри одиноких укромных юрт Там, в аулах, на том ветру, остаётся загадкой для них неважной или же недоступной. Они швыряют дружеские сигареты, создают ему бумажное существование, используют его как Образованного Местного Оратора. Ему дана должность, ну и хватит с него… кроме, время от времени, взгляда от Любы с посулом соколиной охоты—опутят, небес с землёю, странствий... Или молчания от Галины там, где могли быть слова...

Тут она стала знатоком молчаний. Для великих молчаний Семиречья ещё не создан алфавит и, наверное, его никогда не будет. Они способны в любой момент зайти в комнату, в сердце, обращая в мел и бумагу здравые Советские альтернативы, привезённые сюда агентами Ликбеза. Такие молчания НТА не в силах заполнить, ни ликвидировать, необъятны они, устрашающи как стихии в этом медвежьем углу—предназначены для Земли бо́льших размеров, планеты более дикой, более удалённой от солнца... Ветра, городские снегопады и приливы жары детства Галины никогда не бывали столь огромными, столь безжалостными. Ей пришлось приехать сюда, чтобы узнать как чувствуется землетрясение, и как пережидать песчаную бурю. Каково было бы вернуться обратно теперь, назад в город? Ей станет часто сниться некая красочная картонная модель,

градостроительная модель, в мельчайших деталях, таких крохотных, что подошвы её ботинок стёрли бы кварталы одним махом—и в то же время, она была жителем, внизу, внутри игрушечного города, просыпалась посреди поздней ночи, моргала кверху в ранящий свет дня, в ожидании уничтожения, до ужаса напряжена ожиданием, невозможностью дать имя тому, что приближается, зная—жутко сказать—что это она сама, Центрально-Азиатская, и есть тем Неназываемым, что так страшит её...

Эти высокие, эти затмевающие звёзды Мусульманские ангелы… *O, wie spurlos zerträte ein Engel den Trostmarkt*. . . . Он постоянно там, западнее, Африканский сводный брат и его книги со стихами в чьих бороздах посев Тевтонскими буквами, угольно-чёрными—он ждёт, пятная страницы, одну за другой, за бесчисленными вёрстами долин и зонального света, что скашивается, когда снова приходят их осени, год за годом, с учётом места назначения на планете, как старый цирковой наездник, который пытается привлечь внимание, хоть и нечем, кроме привычки публики, и продолжает повторять провал в каждой гладкой, безукоризненной проскачке по кругу планеты.

Но разве Джакып Кулан время от времени—не часто—через школьный класс бумаг, или нежданно перед окнами в глубокую зелень распахнутыми, не бросал на Чичерина определённый взгляд? Не говорил разве этот взгляд: «Что бы ты ни делал, что ни сделал бы он, не избавит вас от вашей смертности»? И ещё: «Вы братья. Вместе ли, по отдельности, зачем придавать этому столько значения? Живите. Умрите, когда придёт день, с честью или подленько—но только не от руки друг друга...» Свет каждой общей осени продолжает приносить всё тот же бесплатный совет, всякий раз с чуть меньшей уверенностью. Но ни один брат не слышит. Чёрный должно быть нашёл, где-то в Германии, свою собственную версию Джакыпа Кулана, какого-нибудь по-детски наивного туземца, что упорным взглядом отвлекал бы его от Германских Грёз Десятой Элегии с явившимся ангелом, хлопанье крыльев уже на грани пробуждения, идущим раздавить без следа белую рыночную площадь его собственной ссылки... Обращённое к востоку, чёрное лицо всматривается, с какой-нибудь зимней насыпи или стены землистого цвета из мелкозернистого камня, в пустые низины Пруссии, Польши, лиги лугов в ожидании, точно так же как и Чичерин, который становится с каждым месяцем всё напряжённее и обветреннее, на своём обращённом к западу фланге, прозревая как История и Геополитика втаскивают их в неизбежное столкновение, а радиоприёмники кричат всё визгливее, новые затворы шлюзов в ночи всколыхиваются от соприкосновения с гидроэлектрической яростью, вздымающейся, через пустые ущелья и перевалы, небо днём густеет от миль куполов опускающихся парашютов, белых как видения небесных юрт богатеев, занятых игрой, да так неумело, но с каждым разбросом зерни они становятся всё меньше и меньше причастными...

Прочь в костистую неизведанность необжитых земель скачет Чичерин и его Кыргыский приятель Джакып Кулан. Конь под Чичериным это версия его самого—пятнистый Аппалуза из Соединённых Штатов по имени Змей. Змею случилось стать своего рода лошадиным эмигрантом по соглашению сторон. В позапрошлом

году он был в Саудовской Аравии, куда для него приходил ежемесячный чек от прибабахнутого (или, если тебе в кайф параноидальные системы, жутко рационального) техасского нефтепромышленника из Мидланда, чтобы держался подальше от кругооборотов родео, где в ту пору знаменитая необъезженная лошадь Полночь расшвыривала молодых ковбоев направо и налево в иссушенные зноем ограждения. Но этот Змей был не дикарём типа Полночи, а методичным душегубом. Что ещё хуже, он непредсказуем. Когда ты скачешь на нём, он может оставаться безразличным или покладистым как девушка. Но вдруг, без малейшего предупреждения, взбеленившись от глубокого вздоха, он мог убить тебя одним мановением копыта, змеиный поворот точнёхонько к тому мигу и месту на земле, где ты прекратишь существование. И никогда не угадаешь: месяцами мог прикидываться послушным. Но на его счету три покушения на Джакыпа Кулана. Дважды удача тупо спасла Кыргыза, а на третий он буквально вклещился и скакал на жеребце до более-менее управляемого состояния. Но всякий раз, подходя к позвякивающему на склоне колу Змея, Чичерин несёт вместе с кожаной сбруей и куском посеченного коврика на спину коня ещё и сомнение, неизбывный шанс, что Кыргыз не до конца его объездил в прошлый раз. Змей просто дожидается своего момента...

Они скачут прочь от железной дороги: удаляясь от более ласковых зон Земли. Взрывы белых и чёрных звёзд по крупу и бедру Аппалуза. В центре каждой из этих новых звёзд застывший кружок вакуума, без всякого цвета, от которых полуденные Кыргызы на обочине дороги, заглянув, ухмыляются горизонту у себя за спиной.

Странны, странны движущие силы нефти и замашки нефтепромышленников. Змей повидал немало перемен после Аравии, на пути к Чичерину, который, возможно, его вторая половина—много конокрадов, отчаянной скачки, конфискаций одним правительством или другим, побегов во всё более отдалённые места. Теперь вот крестьяне Кыргызы, врассыпную при звуке копыт, птицы большущие как индюки, чёрные с белым и выплесками кроваво-красного в каёмке глаз, топоча в горы, Змей, возможно, удаляется в то, что может стать последним из всех приключений, и уже едва вспоминает водяные трубы в оазисах с ползучим дымом, бородатых мужчин, резные, изукрашенные перламутром лакированные сёдла, поводья из скрученной козлиной шкуры, женщин на седельных подушках, вопящих в восторге вверх к Кавказским предгорьям под покровом темноты, унесённые похотью, бурей вдоль едва заметной полоски тропы… лишь следы, оставленные позади к этим конечным пастбищам: тени, сваленные упокоиться среди разгромленного сборища крестьян. Инерция нарастает в галопе двух всадников вперёд. Запах лесов в ночи медленно исчезает. В ожидании, далеко в солнечном свете, который ещё не их, это… Это… Ждёт их, невообразимое создание высот и света…

… даже теперь, в её взрослых снах, к растревоженной Галине приходит крылатый всадник, красный *Sagittarius* с плакатов детства времён Революции. Вдали от нищих, заснеженных, оборванных улиц, она вжимается здесь в Азиатскую пыль, подъяв ягодицы к небу, в ожидании первого прикосновения от него—от этого…

Стальные копыта, зубы, посвист оперения по её позвоночнику… звонкая бронза всадника посреди площади, и её лицо, втиснутое в сейсмические вздрагивания земли...

– Он солдат,– Люба подразумевает просто Чичерина,– и вдали от дома.– Дислоцирован на Диком Востоке, где держится тихо, невыразительно, и явно под неким официальным проклятием. Слухи настолько же нелепы, насколько безразлична эта окраина. В дежурке Ефрейторы болтают о женщине: изумительная Советская куртизанка, что носила лифчики из белого козлёнка, и брила свои бесподобные ножки каждое утро до самого паха. Ебущаяся с жеребцами Екатерина, в соболях и бриллиантах, обновлённая под эпоху. Шеренга её любовников тянулась от министров и ниже до подобных Капитану Чичерину, её наивернейшему, ясное дело. Пока нео-Потёмкины упорядочивали глубокую Арктику, умелые и технократичные волки воздвигающие поселения в тундре, целые урбанистические абстракции из снега и льда, бравый Чичерин оставался в столице, кайфовал у неё на даче, где они играли в рыбака и рыбку, террориста и Государство, землепроходца и лукоморье на краю света зелёных волн. Когда официальное внимание было, наконец, обращено в их сторону, это не повлекло смерти Чичерина, ни даже ссылки—но ограничение возможностей карьерного роста: так распределились векторы, в те дни. Центральная Азия на добрую часть его лет в самом расцвете, или атташе куда-нибудь вроде Коста-Рики (ну—он захочет, что лучше б это была Коста-Рика, однажды—отпуск из этого чистилища, в шелест прибоя, зелёные ночи—как ему не хватает моря, как он мечтает о глазах тёмных и влажных, как и у него, о колониальных глазах, смотрящих вниз с балкона крошащейся кладки…).

Тем временем, другой слух говорит о его связи с легендарным Вимпе, ведущим коммивояжёром из *Ostarzneikunde GmbH*, филиала ИГ. Поскольку всем известно, что представители ИГ заграницей, на самом деле, Германские шпионы работающие на контору в Берлине известную как «NW7», то в эту историю про Чичерина не так-то легко поверить. Будь она буквально правдивой, Чичерина бы тут не было—никак невозможно, чтоб ему сохранили жизнь в обмен на этот сомнамбулизм в восточных гарнизонных городках.

Конечно же, он мог знать Вимпе. Их жизни, какой-то период, протекали достаточно близко в пространстве и времени. Вимпе был *Verbindungsmann* классического стиля, с налётом нездорового энтузиазма: очарование, привлекательность доходила тебе уступами, или террасами неодолимости: приветливые серые глаза, вертикальный гранитный нос, рот, что никогда не трепетал, подбородок неспособный на фантазии… тёмные костюмы, безукоризненные кожаные пояса, серебряные запонки, обувь конской кожи, что поблескивала под остеклёнными сводами Царских приёмных и на Советском бетоне, всегда опрятный, обычно сдержанный, хорошо информированный и влюблённый в органическую химию, что была его специальностью и, как полагали, его верой.

– Подумайте о шахматах,– в свои ранние дни в столице, подыскивая сравнение, которое смогут ухватить Русские,– о нелепой игре в шахматы.– Готовясь показать,

если аудитория была достаточно восприимчивой (имея рефлексы торговца, он автоматически избирал путь наименьшего безразличия) как всякая молекула имеет множество открытых ей возможностей, возможность связываться, в связях различной прочности, от углерода, самого оборотистого, в роли царицы, «Екатерины Великой периодической таблицы», до мелких атомов водорода, многочисленных и одношаговых: как пешки… и грубая противоположность шахматной доски представляющая, в этой химической игре, танцевальные фигуры в трёх измерениях, «... в четырёх, если угодно...» , и радикально иная идея что победа и поражение означают... *Schwärmerei*, бормотали его коллеги дома в Германии, подыскивая извинения, чтобы перейти на другие темы. Но Чичерин оставался. Глупый и романтичный, он продолжал слушать, даже подзуживал Немца.

Как не вышло у них попасться на глаза? Мало-помалу, с продолжением связи, в её бескровно подавленной стадии, Советская сеть управления, заботливая как всякая семья в 19-м веке, начнёт предпринимать простые шаги, чтобы разлучить эту пару. Консервативная терапия. Центральная Азия. Но за недели негласного и мягкого выяснения, прежде чем наблюдающие уловили к чему всё клонится… какие орлы с решками прозвякали в тёмных карманах той неопределённости? Со своих первых дней в качестве комиссионера фармацевтической компании, компетенция Вимпе сосредоточилась на циклизованных бензилизохинолинах. Основной интерес вызывали опиумные алкалоиды в их многочисленных вариациях. Правильно. Внутренние комнаты конторы Вимпе—номер в старорежимном отеле—переполнялись образцами, Германская наркота в ошеломляющем изобилии, Вимпе, джинн с Запада, приподнимал их, фиал за фиалом, перед лицом малыша Чичерина, тому на удивление: «Eumecon, 2% раствор морфина… Dionine (тут мы добавляем этиловую группу к морфину, как видишь)… Holopon и Nealpon, Pantopon и Omnopon, всё смеси алкалоидов опиума в виде растворяемых гидрохлоридов… и Glycopon, как глицерофосфаты... А вот Eucodal—кодеин с водородной парой, один гидроксил, один гидрохлорид»—жестикулируя в воздухе вокруг своего кулака представляющего ядро—«выступают из различных частей молекулы».– Среди этих патентованных лекарств, аттрибуты и детализация становились почти игрой: «Как французы поступают со своим нарядом, *nicht wahr?* ленточку сюда, приятную пряжечку туда, чтоб продавался более редкий фасон... «А здесь? Тривалин!»– Одно из сокровищ его линейки: «Морфин и кофеин, и кокаин, все в растворе, как валериаты. Валерьянка, *ja*—корень и корневище: у тебя, наверное, найдутся родственники постарше, кто принимал её годы тому как нервный тоник… отделка бисером, так сказать—некий позумент по этим голым молекулам».

Что оставалось сказать Чичерину? Понимал ли вообще Чичерин всё это? сидя в выцветшей задней комнате, пока тросы лифта скрипели и хлопали за стеной, а внизу на улице, слишком редко, чтоб иметь значение, тарахтели, прищёлкивая вожжами, дрожки вдоль по чёрной древней брусчатке? Или пока снег скрёбся в закопчённые окна? Насколько далеко, по мнению тех, кто сошлёт его в Центральную Азию, означало чересчур далеко: станет ли просто его присутствие в тех комнатах смертным ему приговором автоматически… или всё-таки

оставалась, даже при таком положении вещей, достаточная слабина, позволявшая ему отвечать?

– Но когда боль снята… просто боль… за пределы… ниже того нулевого уровня ощущения… я слышал... – Слышал он. Не самый тонкий подход, а Вимпе наверняка известен каждый стандартный способ просвещения. Некоторые военные просто тупы, у других же такая безрассудность в крови, что ни о какой «сдержанности» и речи быть не может—это положительно безумие, они не только бросят конницу на пушки, они ещё и возглавят атаку. Это великолепно, но это не война. Дождись Восточного Фронта. Своим первым боем, Чичерин заслужит репутацию маниакального самоубийцы. У Германский полевых командиров от Финляндии до Чёрного моря сложится по отношению к нему джентльменское отвращение. Начнут всерьёз задаваться вопросом, есть ли у этого человека хоть малейшее чувство военной пристойности вообще. Его будут брать в плен и терять снова, ранить, считать убитым в бою, а он будет идти дальше, напролом, неистовый снежный человек по зимним болотам—никакое упреждение на ветер, ни эшелонированное окружение или убийственный выплеск обойм их Парабеллумов никак не могли его завалить. Он любитель, как и Ленин, Наполеоновского *s’engage, etpuis, onvoit*, а что касается броска в атаку, что ж, гостиничная комната того человека от ИГ была одной из его ранних репетиций. У Чичерина дар связываться с нежелательными, невыявленными врагами порядка, контрреволюционным отребьем человечества: он этого не планирует, просто само собой получается, он гигантская сверхмолекула с таким числом открытых валентных связей, доступных в любой момент, и по ходу дела… по ходу танца дела… уж как оно повернёт… другие подключаются, и фармакология Чичерина, видоизменяясь таким образом, с её в дальнейшем открывающимися побочными эффектами, не слишком-то предсказуема заранее. Чу Пень, китайский мастер на все руки в красной юрте, кое-что об этом знает. В первый же день, как Чичерин явился доложить о прибытии, Чу Пень знал—и сковырнулся через свою швабру, не столько для отвода глаз, как отпраздновать встречу. У Чу Пеня и самого имелась связь или две открытых. Он живой памятник успеха Британской торговой политики по ходу предыдущего столетия. Классическая схема аферы всё ещё знаменита, поныне: привозишь опиум из Индии, вводишь в употребление в Китае —привет, Фань, это опиум, опиум, это Фань—ах, так этта моя нада ам-ам—нет-ха-ха, Фань, это твоя надо *пых-пых*, понимай? И скоро Фань приходит ещё и ещё за добавкой, так ты создаёшь неуклонный спрос на это дерьмо, доводишь Китай объявить его незаконным, затем втягиваешь Китай в две-три разгромные войны за право твоих торговцев продавать опиум, которое к этому времени объявляешь священным. Ты победил, Китай проиграл. Превосходно. Чу Пень, являясь монументом всему этому, нынче привлекает караваны туристов обозреть его, обычно когда он Под Воздействием… «Итак, дамы и господа, как можете убедиться, характерный закопчённо-серый цвет лица...» Они все стоят, вглядываясь в его поглощённые грёзами фации, внимательные мужчины с широкими бакенбардами, удерживая жемчужно-серые утренние шляпы в руках, женщины, приподымающие свои подолы подальше от мест, где жуткая Азиатская живность копошится микроскопически по старым доскам пола, пока их экскурсовод подчёркивает заслуживающие интерес детали своей металлической указкой,

замечательно тонкий инструмент, тоньше, фактически, рапиры, часто взблескивает быстрее, чем глаз способен уловить—«Его Потребность, обратите внимание, сохраняет свою форму при стрессах любого вида. Никакая телесная болезнь, или нехватка питания, не способна изменить её ни на йоту...» – все их мягкие, их мелкие взоры следуют кротко, словно аккорды пианино в окраинной гостиной… неуклонная Потребность заставляет сиять этот застойный воздух: это бесценный слиток, из которого всё ещё можно чеканить суверены, и профили великих правителей выгравированные и пущенные в оборот, в ознаменование. Это путешествие того стоило, само лишь лицезрение этого сияния, стоило долгого проезда в санях, через замёрзшие степи в громадных закрытых санях, громадных как морской паром, повсюду изукрашенный Викторианскими завитками—с внутренними палубами и уровнями для пассажиров любого класса, с бархатными салонами, камбузами полными припасов, с молодым доктором Маледетто, которого любят дамы, с элегантным меню включающим всё от *Mille-Feuillesà la Fondue dela Cervelle* до *La Surprise du Vésuve*, холлы укомплектованные стереортиконами и набором слайдов, туалеты с дубовой обшивкой наполированной до вишнёво-красного и ручной резьбой русалочьих лиц, листьев аканфа в послеполуденных и садовых формах, напомнить сидящему о доме, когда совсем подкатит, тёплое нутро нависает тут так жутко над головокружительным путём из кристаллического льда и снега, который можно также видеть с наблюдательной палубы, проплывающие просторы горизонтальной бледности, круговорот заснеженных полей Азии, под небесами из металла куда менее благородного, чем этот, которым мы приехали полюбоваться...

Чу Пень тоже наблюдает их, когда являются, и глазеют, и уходят. Они фигурки снов. Они его забавляют. Они часть опиума: никогда не появляются от чего-то ещё. Здешний гашиш он, вообще-то, старается не курить больше, чем требует вежливость. Этот комковатый, смолистый фантасмагорий Туркестана хорош для Русского, Кыргызского, и других варварских вкусов, но дайте Чу слезу мака в любой момент. Видения намного лучше, не такие геометрические, способные обернуть всё—воздух, небо—в персидский ковёр. Чу предпочитает ситуации, путешествия, комедию. Узрение такого же аппетита в Чичерине, в этом коренастом, Латино-глазом эмиссаре из Москвы, этом Советском эмигранте по соглашению сторон, кого угодно заставит сковырнуться через свою швабру, обмывки прошипят по полу и ведро грянет гонгом от изумления. От восторга!

И уже вскоре эти два отпетых правонарушителя уже крадутся на окраины города, для встреч. Это местный скандал. Чу, из какой-то прорези в грязных тряпках и лохмотьях висящих с его нездорового жёлтого тела, добывает омерзительный выхарк гадко пахнущего вещества, завёрнутый в обрывок старой *Enbekši Qazaq* за 17 августа прошлого года. Чичерин достаёт трубку—будучи с Запада, он ответственен за технологию происходящего—обугленную, непристойную принадлежность из чередования красного с жёлтым по Британскому олову, купленную с рук в подержанном состоянии за пару копеек в Квартале Прокажённых в Бухаре и, да, отлично прокуренную к тому времени. Неустрашимый Капитан Чичерин. Два опиомана опускаются на корточки за

кусочком стены, расшатанным и наклонённым недавним землетрясением. Случайные всадники проезжают мимо, какие-то замечают их, другие нет, но все в молчании. Звёзды над головой толпятся в небе. Дальше за городом колышутся травы, и волны движутся в них, медленные как овцы. Это мягкий ветер, несущий последний дым дня, запахи отар и жасмина, стоячей воды, оседающей пыли… ветерок, который Чичерин никогда не будет вспоминать. Не больше, чем он может сейчас увязать эту сырую смесь сорока алкалоидов с утончёнными, гранёными, отполированными и упакованными в фольгу молекулами, которые коробейник Вимпе показывал ему давным-давно, одну за другой, и сказывал о них сказы...

– Онейрин и Метонерин. Вариации представленные Ласло Джампфом в ACS Journal, в позапрошлом году. Джампфа тогда одолжили, уже в качестве химика, Американцам, чей Национальный Совет Исследований начинал массированную программу по исследованию молекул морфина и их возможностей—План на Десятилетку, совпавший, как ни странно, с классическим изучением больших молекул проводившемся Каротерсом у Дюпона, Великим Синтезатором. Связь? Конечно, имеется. Но мы о ней не говорим. НСИ синтезируют новые молекулы ежедневно, в основном из кусков молекулы морфина. Дюпон низает вместе группы наподобие амидов в длинные цепи. Две программы выглядят дополняющими друг друга, не правда ли? Американский недостаток модульного дублирования, объединённый с тем на что, пожалуй, направлены основные изыскания у нас: найти нечто способное убивать интенсивную боль не вызывая зависимости.

– Результаты пока не обнадёживают. Мы, похоже, упёрлись в дилемму неотделимую от Природы, принцип неопределённости, как у Хайсенберга. Присутствует почти полный параллелизм между обезболиванием и привыканием. Чем больше боли оно снимает, тем сильнее мы его хотим. По-видимому, мы не можем иметь одно свойство без другого, не больше, чем физик квантовой механики может указать позицию без утраты определённости скорости частицы—

– Это я бы и так сказал. Но зачем—

– Зачем. Мой милый Капитан. Зачем?

– Деньги, Вимпе. Лить фонды в унитаз на такие бесполезные исследования—

Прикосновение как-мужчина-мужчине в ответ, к верхнему из трёх ремешков поперёк гимнастёрки. Улыбка среднего возраста полная *Weltschmerz*: «Дашь на дашь, Чичерин»,– шепчет торговец: «Вопрос равновесия приоритетов. Исследователи обходятся довольно дёшево, и даже ИГ позволительно помечтать, понадеяться на невозможное... Подумай, что означало бы открытие такого лекарства—рациональная отмена боли, не расплачиваясь зависимостью. *Прибавочная* стоимость—всё же что-то *таки* есть в Марксе с Энгельсом»,– тешит клиента,– «осветили тему. Потребность типа зависимости, никак не связана с истинной болью, истинными нуждами экономики, не соотнесена с производством или трудом… нам бы поменьше этих неизвестностей,

хватит уж. Мы умеем производить истинную боль. Войны, ясное дело… заводские станки, промышленные аварии, автомобили, враги безопасности, яды в еде, воде и даже в воздухе—это всё множества напрямую увязанные с экономикой. Они нам известны и мы в силах их контролировать. Но «зависимость»? Что мы знаем о ней? Туман и фантомы. Не найти и пары экспертов, которые пришли бы к согласию даже о значении этого слова. «Понуждение»? А кого не понуждают? «Соизволение»? «Подчинённость»? А эти что означают? Всё, что имеем, это тысяча смутных научных теорий. Рациональная экономика не может зависеть от причуд психики. Мы не смогли бы *планировать*...

Какое предчувствие постучалось в правое колено Чичерина? Что за прямая конвертация между болью и золотом?

– Вы и впрямь так злонамеренны или это притворство? Действительно торгуете болью?

– Торговля болью занятие врачей, а никому и в голову не придёт критиковать их благородное призвание. Но стоит *Verbindungsmann*у хотя бы лишь потянуться к замку на чемодане с образцами и все вы начинаете вопить и разбегаться. Ну—вы не найдёте много наркоманов среди нас. Медицинская профессия полна ими, но мы, коммивояжёры, верим в истинную боль, в истинное избавление—мы рыцари на службе Идеалу. Всё должно быть истинным для целей нашего рынка. Иначе мой работодатель—а наш небольшой химический картель является моделью самой структуры наций—блуждает в иллюзии и снах, пока однажды не сгинет в хаосе. То же самое и с вашим работодателем.

– Мой «работодатель» Советское государство.

– Вот как?– Вимпе и впрямь сказал « *является* моделью», а не «станет моделью». Удивительно, что они смогли зайти так далеко, если смогли на самом деле—настолько разнясь в убеждениях и вообще. Вимпе, однако, будучи более циничным, способен признавать больше правды, прежде чем почувствует неловкость. Его терпимость к Чичеринской красноармейской версии экономики оказалась довольно обширной. Они расстались весьма дружески. Вимпе переназначили в Соединённые Штаты (Chemnyco в Нью-Йорке) вскоре после того, как Гитлер стал Канцлером. Связь Чичерина, по гарнизонным слухам, прекратилась тогда же, навсегда.

Но это слухи. Их хронологии нельзя довериться. Закрадываются противоречия. Чудненько провести зиму в Центральной Азии, когда ты не Чичерин. Если ты *всё же* Чичерин, ну это ставит тебя в более своеобразное положение. Не так ли. Тебе придётся перезимовать ни на чём, кроме параноидальных подозрений почему ты тут...

Это из-за Тирлича, наверняка проклятый Тирлич. Чичерин побывал в Красном Архиве, видел записи, дневники и судовые журналы эпического, обречённого вояжа адмирала Рождественского, некоторые всё ещё засекречены даже 20 лет

спустя. И теперь он знает. А раз это всё есть в архивах, то и Они тоже знают. Обворожительные юные дамы и Германские торговцы наркотой достаточно веские причины услать человека на восток в любой период истории. Но Они не были бы тем, кто и где Они есть, без придания Дантова оттенка Их понятиям о расправе. Просто возмездие хорошо для военного времени, но политика между войнами требует симметрии и более элегантной идеи справедливости, вплоть даже до того, чтобы подделываться, малость по-декадентски, под милосердие. Это посложнее, чем массовая казнь, старания не приносят такого же удовлетворения, однако существуют договорённости, которые не видны Чичерину, охватывающие Европу, возможно и мир, который не следует слишком беспокоить, между войнами...

Похоже, что в декабре 1904, адмирал Рождественский во главе флота из 42 Российских военных кораблей, вошёл в порт Юго-Западной Африки, Людерицбухт. Это было в разгар Русско-Японской войны. Рождественский направлялся в Тихий океан, освободить другой Российский флот, столько месяцев запертый в Порт-Артуре Японцами. Выйти из Балтики, обогнуть Европу и Африку, чтобы пересечь весь Индийский океан, а затем подняться к северу вдоль оконечного побережья Азии, вояж должен был стать одним из самых зрелищных за всю историю: семь месяцев и 18000 миль пути, чтобы в один ранний день лета в водах между Японией и Кореей, где такой себе адмирал Того, что дожидался в засаде, выплыл из-за острова Цусимы и до наступления ночи вручил Рождественскому его порванную жопу. Всего лишь четыре корабля Русских смогут добраться до Владивостока—почти все прочие потоплены коварными Япошками.

Отец Чичерина служил артиллеристом на флагманском корабле адмирала, на *Суворове*. Флот остановился в Людерицбухт на неделю, намереваясь загрузиться углём. Шторма хлестали по маленькой переполненной гавани. *Суворов* всё время бился о суда-угольщики, оставляя пробоины в бортах, повредив многие из своих 12-фунтовых пушек. Матросы работали круглосуточно, под прожекторами включёнными на палубе по ночам, таскали мешки с углём, полуслепые от лучей, лопатили, потели, кашляли, зверели. Несколько чокнулись, двое совершили попытки самоубийства. Старый Чичерин, после двух дней такого, ушёл в самоволку и не появлялся до его окончания. Ему встретилась девушка Иреро, чей муж погиб в восстании против Немцев. Ничего такого он не планировал и не мечтал, перед тем как сойти на берег. Что знал он про Африку? У него осталась жена в Санкт-Петербурге и ребёнок, что только-только начинал сидеть. Перед этим он не покидал дом дальше, чем до Крондштадта. Ему просто требовалось отдохнуть от непосильной пахоты, и от того как это всё выглядело… от того, что белый-с-чёрным угля и дуговых ламп хотели сказать… никакого цвета, и нереальность выдержать это—но нереальность *знакомая*, та что предупреждает: Всё Это Подстроено Посмотреть Что Я Буду Делать И Тут Нельзя Сделать Ни Одной Промашки… в последний день своей жизни, когда его со свистом накрывало Японское железо со слишком далеко затерянных в дымке кораблей, чтобы он смог хотя бы различить их, он будет думать о карбонизации лиц людей, казалось бы, ему знакомых, людей превращающихся в уголь, древний уголь, что отблескивал, каждый кристалл, в грубых мазках свечей Яблочкова…

каждая чешуйка поразительно идеальна… заговор углерода, хотя он никогда не называл это «углеродом», это была сила, от которой он сошёл на берег, чувство чересчур бессмысленной силы, текущей не туда… он слышал в этом запах Смерти. Поэтому он дождался, когда мичман отвернётся закурить сигарету, а потом просто ушёл—все они были слишком чёрными, искусственно чёрными, чтобы это сразу заметили—и нашёл на берегу неподдельную черноту торжественной девушки Иреро, которая казалось ему вдохом жизни после долгого заточения и остался с ней на краю придавленного жалкого городка, возле железной дороги, в домишке из единственной комнаты, построенном из жердей, багажных ящиков, тростника, грязи. Дождь хлестал. Поезда кричали и пыхтели. Мужчина и женщина оставались в кровати и пили кари, который гонят из картофеля, гороха и сахара, и на Иреро означает «питьё смерти». Близилось Рождество и он подарил ей медаль, которую получил когда-то давно за успех на показательных стрельбах в Балтийском море. К тому времени, когда он ушёл, им удалось узнать имена друг друга и несколько слов из языков обоих—боюсь, рад, спать, любить… начала нового языка, диалект, на котором, пожалуй, только они двое и говорили во всём мире.

Но он ушёл обратно. Его будущее было с Балтийским флотом, в этом ни он, ни девушка не могли усомниться. Шторм пронёсся, туман покрыл море. Чичерин уплыл, запертый в тёмном вонючем кубрике ниже ватерлинии *Суворова*, выпивший свою Рождественскую водку, плетущий сказы как ему пофартило оказаться в пространстве без качки, там, на краю сухого вельда, с кое-чем тёплым и добрым вокруг его члена вместо собственного кулака. Он уже описывал её как похотливую туземную тёлку. Это древнейшая из морских россказней. Рассказывая, он уже не был Чичериным, а одноликой толпой предыдущих и последующих, пропали все, но не все были несчастны. Девушка могла стоять на каком-то мысу, глядя как серые броненосцы один за другим растворяются в дымке Южной Атлантики, но даже если в этом месте вам угодно парочку аккордов из Мадам Баттерфляй, она скорее всего переругивалась на улице или спала. Ей не суждена была лёгкая жизнь. Чичерин сделал ей ребёнка, родившегося месяца через два после того как артиллерист пошёл ко дну в виду крутых утёсов и зелёных лесов Цусимы, в начале вечера 27 мая.

Немцы зарегистрировали рождение и имя отца (он написал его для неё, как делают моряки—он открыл ей своё имя) в своих централизованных файлах в Виндхоеке. Проездной паспорт был выдан матери с ребёнком, чтобы вернулась в свою родную деревню, вскоре после того. Перепись колониальным правительством проверить сколько туземцев они перебили, проведённая сразу после того, как Бушмены вернули его в деревню, отмечает мать умершей, но имя её значится в записях. Виза датированная декабрём 1926 на въезд Тирлича в Германию, а позднее просьба о предоставлении Германского гражданства хранятся в берлинских файлах.

Пришлось немало походить для сбора всех этих кусочков бумаги. Для начала у Чичерина не было ничего кроме пары скупых слов в Адмиралтействе. Но это была эра Сиадоры Александровны, той самой с нижним бельём из шкуры козлёнка, и

насчёт доступа положение Чичерина было лучше, чем оно сейчас. Договор Рапалло тоже был в силе, так что открытых на Берлин путей имелось предостаточно. Тот странный кусок бумаги… в моменты острого приступа мании величия, ему становится совершенно ясно, зачем его однофамилец и убитый еврей устроили искусную театральную постановку в Рапалло, и что истинной и единственной целью было донести до сведения Вацлава Чичерина существование Тирлича… гарнизонная жизнь далеко на востоке, как определённые препараты, делает такие вещи на удивление ясными...

Но увы, похоже навязчивостью только вредишь сам себе. Досье, составленное Чичериным на Тирлича (он даже справился о данных в распоряжении Советской разведки на, в ту пору ещё, Лейтенанта Вайсмана и о его политическом приключении в Юго-Западной) было воспроизведено неким ушлым аппаратчиком и ушло в досье на самого Чичерина. И так оно обернулось, что по прошествии пары месяцев кто-то равным образом анонимный утвердил назначение Чичерина в Баку, и он угрюмо отправился на первую пленарную сессия ВЦК НТА (Всесоюзный Центральный Комитет Нового Тюркского Алфавита), где его немедленно ввели в Комитет и .

’ типа как бы разновидность G, звонкий, увулярный, взрывной. Разница между ним и твоим обычным G такова, что Чичерин так и не сможет её уловить. Иди пойми, все Назначения На Замороченные Буквы приберегли для таких же неумек как он. Шацкий, пресловутый носо-фетишист из Ленинграда, который прихватывал на Съезд Партии атласный чёрный носовичок и, да, не однажды не смог удержаться, чтобы не протянуть руку и вживую погладить нос могущественных официальных лиц, он тут же—изгнан из Комитета , где постоянно забывает, что в НТА это Œ, а не Русская Ф, тем самым затягивает процесс и сеет смуту на каждом рабочем заседании. Большая часть его времени уходит на попытки выторговать для себя перевод в Комитет р ,– «Или, в общем»,– придвигаясь поближе, тяжело дыша,– «пусть хоть в просто Н, да даже и М подойдёт...» . Импульсивный и нестойкий шутник Радничный завалил Комитет Ə, на том основании, что это нейтральный гласный звук, вот он и затеял мегаломаниакальный проект заменить любой и каждый гласный звук в Центральной Азии—и зачем останавливаться на этом, почему бы даже и не какой-нибудь согласный, или парочку? при этих нейтральных тут… не слишком-то необычно, учитывая его репутацию пародиста и тупых резолюций, а также блестящий, но обречённый заговор ударить Сталина по лицу бисквитным тортом с крупной дробью, в котором он оказался замешанным не глубже того, чтобы отделаться Баку, а не чем-то худшим.

Естественно, Чичерин вписывается в эту команду нераскаявшихся. И уже скоро, если это не участие в попытке Радничного проникнуть на нефтепромыслы и вырядить подъёмный кран под вид гигантского члена, тогда уж точно торчанье в Арабских кварталах города, дожидаясь там вместе с позорным Украинским наркушей Бугнагорко из Комитета гортанного К (обычная К представленная Q, тогда как среднеязычная К, обозначаемая латинской С, произносится с неким пришепётыванием) посыльного с гашишом, либо парирование носовых

поползновений Шацкого. Ему доходит, что он, на самом деле, заперт в какой-то военной палате чокнутых в Москве, и просто галлюционирует эту пленарную сессию. Вокруг ни души с несдвинутыми мозгами.

Больше всего гнетёт борьба за власть, в которую он был втянут помимо своей воли, с неким Игорем Блобаджяном, представителем Партии в престижном Комитете G. Блобаджян фанатично пытается обокрасть Чичеринский Комитет и подменить одними G, вбивая, в виде клиньев, заимствованные слова. На солнцепёке, в комиссарской испарине эти двое охаивают друг друга поверх подносов с запеканкой и Грузинским фруктовым супом.

Разразился кризис относительно какую g использовать в слове «стенография». Вокруг слишком много эмоциональной привязанности к данному слову. Однажды утром Чичерин обнаруживает, что в его конференц-зале все карандаши загадочно исчезли. В отместку, он и Радничный на следующую ночь проникают в конференц-зал Блобаджяна с фонарями, напильниками да натфелями и переделывают алфавит на его пишущей машинке. Наутро пошла потеха. Блобаджян гарцует вокруг в затяжном припадке визга. Чичерин на заседании, собравшихся призывают к порядку, ХРЯСЬ! две дюжины лингвистов и бюрократических шишек кувыркнулись на свои задницы. Эхо грохота разносится полные две минуты. Чичерин, со своей задницы, замечает, что ножки всех стульев вокруг стола отпилены, снова приклеены воском и подлакированы. Профессиональная работа, сказать нечего. Может быть Радничий двойной агент? Пора добродушных шуточек миновала, Чичерину придётся действовать в одиночку. Старательно, под светом фонаря ночной смены, когда манипулируемые буквы всего более способны приводить к прозрениям иного рода, Чичерин делает транслитерацию начальной суры священного Корана в предлагаемый НТА, и прослеживает: чтобы она поциркулировала среди Арабистов на заседании, за подписью Игоря Блобаджяна.

Вот что значит нарываться на неприятности, по полной. Эти Арабисты и вправду отморозки. Они страстно агитировали за составление НТА из Арабских букв. В коридорах идут кулачные бои с неперестроившимися сторонниками кириллицы, и перешёптывания о кампании бойкотирования, по всему Исламскому миру, Латинского алфавита. (Никто, собственно, особо не ратует за НТА кириллицей. Старые Царские альбатросы всё ещё висят на Советской шее. В Центральной Азии в эти дни сильное неприятие чего-либо предполагающего Русификацию и отношение распространяется даже на вид печатного слова. Поэтому остаётся только Латынь, автоматом. Но Арабисты не сдаются. Они продолжают предлагать реформированное Арабское письмо—в основном по модели от 1923, что была ратифицирована в Бухаре и успешно использована среди Узбеков. Нёбная и велярная вокалики разговорного Казахского может передаваться применением диакритических знаков). И во всём этом сильный религиозный ракурс. Использование не-Арабского алфавита ощущается прегрешением против Бога—у большинства Тюркских народов, в конце концов, Ислам, а Арабские письмена письмо Исламской веры, это письмена в которых слово Аллаха снизошло в Ночь Силы, это письмо Корана—Это *что*? Понимает ли Чичерин что он творит этой своей фальсификацией? Это не просто святотатство, это разжигание священной

войны. Блобаджяна, в результате, загоняет в чёрный конец Баку шарага Арабистов, во всю махая ятаганами и дико щерясь. Нефтяные вышки стоят как часовые, обглоданные до кости. Горбуны, прокажённые, гебефреники и ампутанты всех сортов высыпают из своих укромных мест полюбоваться потехой. Они поопирались на ржавый металл ветшающих стенок нефтеперегонного оборудования, всё их обобществлённое небо в мозаике звёзд изначальных цветов. Они заполонили конторы, будки и загородки административной пустоты возникшей после Революции, когда эмиссаров из Датч Шелл попросили убраться, и все Английские и Шведские инженеры уехали домой. Теперь в Баку период затишья, сокращений. Все деньги за нефть добытые из этих полей Нобелями ушли на Нобелевские Премии. Новые скважины бурятся повсеместно от Волги до Урала. Пришло время пересмотра, уточнения недавней истории, которую качают теперь, сырой и чёрной, из других уже слоёв сознания Земли...

– Давай сюда, Блобаджян—скорее,– за спиной Арабисты улюлюкают, пронзительно, безжалостно, среди красно-оранжевых звёзд над вышками.

Шарах. Последний люк на засов: «Подождите—что это?»

– Неважно. Тебе пора в путь.

– Но я не хочу—

– Ты не хочешь стать ещё одним растерзанным неверным. Слишком поздно, Блобаджян. Получай...

Первым делом он узнаёт как менять свой показатель преломления. Он может выбирать любой между прозрачным и светонепроницаемым. Когда восторг экспериментирования поулёгся, он выбирает бледный оттенок полосатого оникса.

– Тебе подходит,– бормочет проводник.– Теперь поторопись.

– Нет. Я хочу выдать Чичерину всё, что причитается.

– Слишком поздно. Ты не часть того, что ему причитается. Уже нет.

– Но он—

– Он святотатец. У Ислама для этого свои собственные наработки. Ангелы и санкции, и допрос с пристрастием. Ему идти другим путём.

До чего алфавитна природа молекул. Это доходит тебе тут, внизу: тут встречаешь Комитеты молекулярной структуры один в один с оставленными там, на пленарных заседаниях НТА: «Смотри: как они возникают из произвольного течения—оформлены, очищены, дисцилированы, в точности как ты когда-то освобождал свои буквы от неузаконенных, смертных струй человеческой речи... А тут наши буквы, наши слова: их тоже можно модулировать, разбивать, сочетать, переопределять, со-полимеризировать одно с другим во всемирные цепи

выходящие порой на поверхность после долгих молекулярных молчаний, как видимые части гобелена».

Блобаджян приходит к осознанию, что Новый Тюркский Алфавит всего лишь одно из проявлений процесса в действительности намного старше—и куда менее несознающего себя—чем у него когда-либо имелся повод увидать во сне. Мало-помалу, бурная конфронтация между ъ иg угасает до тривиальных воспоминаний детства. Потускневшие анекдоты. Он перерос их—когда-то кислый бюрократ с верхней губой очерченной как у шимпанзе, теперь он искатель приключений, далеко углубившийся в собственное странствие, в подземном течении, ничуть не тревожась куда оно может его занести. Он утратил даже, в неизмеримой дали верховьев течения, свою гордость тем, что однажды он отчасти сочувствовал Вацлаву Чичерину, обречённому никогда не увидеть того, что открылось Болбаджяну...

А печать продолжает свой марш без него. Копировальщики несутся вдоль ряда столов, развевая вымпелами смазанных гранок по воздуху. Туземные печатники проходят ознакомительные курсы у экспертов переброшенных по воздуху из Тифлиса, как набирать этот НТА. Печатные плакаты плодятся в городах, в Самарканде, Пишпеке, Верном и Ташкете. Вдоль тротуаров и на стенах появляются самые первые печатные лозунги, первые Центрально-Азиатские символы *пошёл нахуй*, первые знаки *замочи-мента* (и кто-то исполняет! этот алфавит и вправду нечто!), и вот магия, которую шаманы, на открытом ветру, всегда знали, начинает действовать теперь политически, а Джакып Кулан слышит как дух его убитого отца скрипучей ручкой по ночам обучается выводить А и Б...

Ну а где-то почти сейчас, Чичерин и Джакып Кулан через какие-то невысокие холмы подъезжают к деревне, которую они искали. Люди собрались в круг: весь день продолжался праздник. Костры дымятся. Посреди толпы оставлено небольшое место, и два юных голоса слышны даже на таком расстоянии.

Это *айтыс*—певческое состязание. Мальчик и девочка при всей деревне ведут насмешливую ну-ты-мне-нравишься-хотя-у-тебя-есть-пара-сдвигов-например перепалку под мелодию, что вырывается из щипково-струнных кобыза и домбры. На удачных строчках народ смеётся. Тут надо держать ухо востро: ты выдаёшь куплеты, где первая, вторая, и заключительная строчки, все должны быть в рифму, хотя размер для строк не обязателен, лишь бы дыхания хватало. Всё же это не просто. И доходит даже до обид. Есть деревни, где некоторые певцы годами не разговаривали друг с другом после *айтыса*. Когда Чичерин с Джакыпом Куланом подъезжают, девочка как раз насмехается над конём противника, который совсем чуть-чуть, не то чтоб очень типа толстоват… ну толстый, правда ведь. *Ей-же-ей*, жирный. И это обижает пацана. Он разозлился. Он выдаёт наскоро сляпанную про то как соберёт всех своих друзей и расшибёт её и всё её семью тоже. Все делают типа *хммм*. Никто не смеётся. Она улыбается, натянуто, и поёт:

Ты выпил много очень много кумыса,

Я должно быть слышу тут слова кумыса—

Где ты был в тот вечер, когда мой брат

Искал украденное у него ведро кумыса?

Ого. Брат, которого она поминала, смеётся до упада. Певучий пацан злится.

– Это может затянуться,– Джакып Кулан опускается из седла и начинает разминать суставы своих колен.– Вон там, это он.

Очень старый *акын*—бродячий Казахский певец—сидит с чашкой кумыса, дремля у костра.

– А ты уверен, что он—

– Он споёт об этом. Он проезжал точно через то место. Позор его ремеслу, если откажется.

Они садятся и каждому подана чашка забродившего кобыльего молока, кусок ягнятины, кусок лепёшки, пригоршня земляничек… Мальчик и девочка продолжают свою песенную дуэль—и Чичерину доходит, вдруг, что скоро кто-то явится записывать что-то из этого Новым Тюркским Алфавитом, который помогал составить… и таким путём оно будет загублено.

Время от времени он поглядывает на старого *акына*, который только кажется спящим. На самом деле он излучает наставление. Это доброта. Она чувствуется безошибочно, как жар от углей.

Постепенно, с каждым переходом, перебранка состязающихся становятся мягче, забавнее. То, что могло стать деревенским апокалипсисом, теперь перешло в комическое сотрудничество, как у пары комедиантов водевиля. Они стараются во всю, разыгрывая свои роли на радость публике. Последнее слово осталось за девочкой.

Мне послышалось ты сказал слово «свадьба»?

Так это и есть свадьба—

В этом тёплом кругу песен,

Весёлом и громком, как всякая свадьба.

И ты мне нравишься, хотя есть пара сдвигов—

Ненадолго праздник набирает обороты. Пьяные вопят, женщины галдят, а маленькие дети топ-топают в хижины и обратно, и ветер малость усиливается. Затем бродячий певец начинает настраивать свою домбру, и Азиатская тишина возвращается.

– Ты хочешь записать всё это?– спрашивает Джакып Кулан.

– Стенографией,– отвечает Чичерин, g у него малость гортанная.

Песня *Акына*

Я пришёл от края мира,
Я пришёл из дыхания ветра,
Там увидел я совсем небывалое,
Даже Джамбул не смог бы об этом спеть.
Страхом в сердце острее острого,
Оно прорежет любой металл.

В древних легендах говорится об этом,
О времени старше, чем Коркыт,
Который взял от дерева ширгай
Первый кобыз и первую песнь—
Говорится в ней о в земле далёкой,
Где размещён Кыргызский Свет.

В месте том слова неизвестны,
И горят глаза словно свечи в ночи,
И лик Бога там пребывает
Укрытый маскою неба—
У высокого чёрного камня в пустыне,
До начала последних дней.

А и не будь то место таким далёким,
И если б нашлись слова, выговорены,
То Бог стал бы золотой иконой
Иль страницею в книге бумажной.
Но Оно представляется как Кыргызский Свет—
Нет у Этого иных имён.

Гром Его голоса глухота,
Отблеск огня Его незрячесть,
Равнина пустыни содрогается,
И лицо Его невыносимо.
Никому не дано остаться тем, кем был,
Увидавши Кыргызский Свет.

Говорю же вам я видел Это,
В месте древнее, чем тьма,
Куда даже Аллах не может достигнуть.
Сами видите, борода моя стала полем в инее,
С палкой хожу, чтоб не падать,
Но свет этот должен нас превращать детей.

И теперь не могу ходить далеко,
Детям надо ходить научиться.
И слова мои слуху вашему,
Кажутся лепетом несмышлёныша.
Оттого, что глаза мои унёс Кыргызский Свет,
Как дитя теперь щупаю Землю.

Это к северу, в шести днях пути,
По ущельям серого цвета смерти,
А потом через каменную пустыню,
К горе, чья вершина белая юрта.
И если ты прошёл безопасно,
Место чёрного камня найдёт тебя.

Но если ты для этого не рождён,
Оставайся у своего тёплого красного огня,

И оставайся со своей женой, в кибитке,

И никогда не найдёт тебя Свет,

И сердце твоё станет тяжким от старости,

А глаза закрываться будут только для сна.

– Готово,– грит Чичерин.– Поехали, товарищ.– Снова в пути, свет костров умирает за спиной, звуки струн, деревенского гулеванья, вскоре проглочены ветром.

И вперёд к ущельям. Далеко к северу, белый пик горы мигает в последнем свете солнца. Здесь внизу, уже затенилось вечером.

Чичерин достигнет Кыргызский Свет, но не своё возрождение. Он не *акын*, и сердца его никак не готово. Он увидит Это перед рассветом. Он проведёт 12 часов затем, навзничь в пустые, доисторический город больше, чем Вавилон, лежит удушенный минеральным сном на один километр глубже его спины, покуда тень высокого утёса, вытягиваясь в острие, танцует с запада на восток, а Джакып Кулан выхаживает его, как заботливый ребёнок куклу, и вытирает кружева пены с шей обеих лошадей. Но однажды, подобно горам, подобно молодым ссыльным женщинам определённо влюблённым, не познавшим его, подобно утренним землетрясениям и гонящему тучи ветру, в очередной чистке, войне, подобно миллионам миллионов душ ушедших до него, он едва сможет вспомнить Это.

Но в Зоне, затаившись в летней Зоне, Ракета ждёт. Его снова потянет на тот же путь...

* * * * * * *

На прошлой неделе, в Британском секторе где-то, Слотроп, которому хватило дури напиться из паркового пруда в Тиргартен, подхватил хворь. Любой Берлинец в эти дни достаточно научен кипятить воду перед питьём, хотя некоторые после этого ещё и настаивают в ней всякую всячину для чая, типа луковиц тюльпана, что нехорошо. Поговаривают, что сердцевина луковицы смертельный яд. Но они продолжают своё. Однажды Слотроп—или Ракетмэн, как его скоро начнут называть—подумал, что мог бы предупредить их про всякое такое типа тюльпановых луковиц. Внести сюда малость Американского просвещения. Но он от них просто в отчаянии, ходят под этой своей маскировочной сеткой Европейского страдания: он отдёргивает кисею за колышущейся кисеёй, чтобы всякий упереться в ещё одну, непроницаемую...

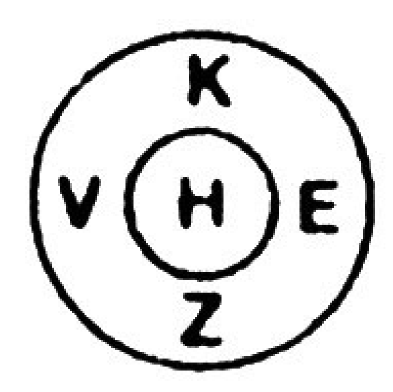
Так что, вон он под деревьями в летней листве, в цвету, многие срезаны взрывами горизонтально, или же расщеплены на лучину и дранки—тонкая пыль с дорожек для верховой езды подымается в лучах солнца сама собой, призраки лошадей всё ещё рысят в своих ранне-утренних прогулках по парку мирного

времени. После ночи без сна и сдыхая от жажды, Слотроп лежит животом на земле и хлебает воду, просто старый бродяга, что спешился тут у бочага... Дуболом. Рвота, судороги, понос, и кто он после этого читать тут лекции про луковицы тюльпана? Ему удаётся заползти в брошенный погреб, через улицу от разбомблённой церкви, свернуться калачиком и проваляться следующие дни, мучаясь лихорадкой, дрожью, испражняясь обжигающим как кислота говном—пропащий, один на один с тем кулаком сверхсильного нацистского кино-злодея, лупящим его по животу *ja*—ты у меня усрёшся, *ja?* Не знает, увидит ли он Бёркшир ещё хоть когда-нибудь. Мама, мамочка! Война закончилась, почему я не могу поехать уже домой? Нэйлин, отблеск от её Золотой Звезды подсвечивает подбородок, словно лютик, ухмыляется от окна и ничего не говорит...

Жуткое время. Галлюцинации полные Ролс-Ройсов и ботинков в ночной мгле, гоняются за ним. На улице женщины в платках апатично роют траншеи для чёрной водопроводной трубы, протянувшейся вдоль бордюра. Весь день они болтают, смена за сменой, до самого вечера. Слотроп лежит в том месте, где солнечный свет навещает его погреб на полчаса, прежде чем отправиться в другие с жалкими лужицами тепла—извини, пора идти дальше, выдерживать расписание, встретимся завтра, если дождя не будет, хе, хе...

Один раз Слотроп просыпается на звуки Американского рабочего подразделения, маршируют по улице в ногу под счёт Африканского голоса—левай, левай, левай, а-пра-ву, левай… типа Германской народной песенки с подъёмом мелодии на слове «праву»—Слотроп может представить манерный взмах его руки и голову в полуобороте, когда тот прищёлкивает подошвой, как муштруют новобранцев… может видеть его улыбку. На минуту его охватывает совсем безумное желание выбежать и умолять их, чтобы забрали его обратно, просить политического убежища в Америке. Но он слишком слаб. Желудком и сердцем. Он лежит, слушая как слаженный топот и голос удаляются вдоль по улице, звук его страны угасает... Угасает как призраки ВАСФ, заматерелые ПеэЛы, минуют, как перекати-поле, перекрёстки его памяти, толпятся на крышах товарняков забвения, заплечные мешки и карманы нищих беженцев набиты трактатами, которые никто не читает, приискивают другого хозяина: бросили навсегда этого тут Ракетмэна. Где-то, между жжением в его голове и жжением в его жопе, если эти два удаётся разделить и усинхронить с тем умирающим строевым шагом, он раскручивает фантазию, в которой Тирлич, Африканец, снова находит его—приходит с предложением плана побега.

Потому что, похоже, перед этим они и вправду встречались снова, у заросшего тростником края болота южнее столицы. Небритый, пропотевший, вонючий Ракетмэн неугомонно рыскающий по окраинам, среди своих: солнце подёрнуто дымкой и вонью гниющего болота похуже, чем от Слотропа. После двух или трёх часов сна за последние пару дней. Он натыкается на *Schwarzkommando*, выуживают куски ракеты. Эскадрильи чёрных птиц кружат по небу. У Африканцев вид партизан: там и сям обноски формы Вермахта и SS, изношенная гражданская одежда, только значок у всех одинаков, прицеплен на ком где виднее будет, рисованная стальная эмблема красного, белого, синего, вот так:



Переделка знака Германских вояк явившихся в 1904 в Юго-Западную Африку подавлять Восстание Иреро—им подкалывали заломленный край широкополой шляпы. Для Иреро Зоны эмблема стала чем-то глубоким, полагает Слотроп, возможно малость мистическим. Хотя и опознал— *Klar, Entlüftung, Zündung, Vorstufe, Hauptstufe*, пять положений стартового ключа в машине управления А4—Тирличу он не признаётся.

Сидя на склоне холма, они едят хлеб и сосиски. Дети из города бродят вокруг куда вздумается. Кем-то установлена армейская палатка, кто-то привёз бочонки с пивом. Сборный оркестр, дюжина духовых в облезло-золотых и красных униформах с кисточками играют номера из *Die Meistersinger*. Дым жареного жира плывёт по воздуху. Хоры выпивох поодаль временами взрываются хохотом или какой-нибудь песенкой. Это вознесение ракеты: новое празднество в этой стране. Вскоре внимание фольклористики обратится на то, как близок день рождения Вернера фон Брауна к Весеннему Равноденствию, и всё тот же Германский энтузиазм, что когда-то катил по городам цветочные ладьи и устраивал потешные баталии между юной Весной и старой, смертельно бледной Зимой, начнёт воздвигать странные башни из цветов на открытых местах и лужайках. А юный лицедей-учёный будет водить хоровод со старухой Гравитацией или другой такой же паяц, а детишки от восторга смеяться...

Schwarzkommando напрягают жилы по колено в грязи, полностью отдались спасению боевого утиля, текущему моменту. А4, которую они вот-вот вытащат, использовалась в последней отчаянной битве за Берлин—бесплодный пуск, боеголовка не взорвалась. Вокруг её могилы они вгоняют доски, закрепляют подпорками, передают обратно грязь вёдрами и деревянными бочонками вдоль человечьей цепи выплеснуть на берегу вблизи их автоматов и ранцев.

– Выходит Марви был прав. Вас не разоружили.

– Они не знают где найти нас. Мы оказались неожиданностью. Даже сейчас в Париже есть влиятельные клики, не верящие в наше существование. И, чаще всего, я тоже в сомнении.

– Это как это?

– Ну я думаю, что мы тут, но только лишь статистически. Как вот тот валун, вероятность которого тут всего лишь около 100%—он знает, что он тут, как и все тут присутствующие. Но наши шансы быть именно тут именно сейчас немногим больше, чем один к одному—малейшее изменение вероятностей и нас нет—щёлк! И как не бывало.

– Странный разговор, Полковник.

– Не слишком, если побываешь там, где нам довелось. Сорок лет тому, на Юго-Западе, нас почти полностью уничтожили. Без всякой причины. Можешь ты это понять? Причины не было. Мы не могли даже утешаться Теорией Воли Господней. Эти были Немцами с именами и послужными списками, люди в синей униформе, которые убивали неуклюже и не без чувства вины. Приказ найти и уничтожить, каждый день. Что и продолжалось два года. Распоряжения исходили от человеческого существа, скрупулёзного мясника по имени фон Трофа. Палец милосердия никогда не касался чаши его весов.

У нас есть слово, которое мы шепчем, мантра на случаи, которые грозят плохо кончится. Мба-кайере. Попробуй как-нибудь, может и тебя выручит. Мба-кайере. Это значит «меня обошло». Для тех из нас, кто пережил фон Трофу, это значит ещё и то, что мы научились пребывать вне собственной истории и наблюдать её, не слишком-то переживая. Малость шизоидно. Ощущение статистики нашего существования. Одной из причин отчего мы так плотно срослись с Ракетой, по-моему, было это острое осознание насколько подверженной случайностям, как и у нас, могла оказаться судьба Агрегата 4—так же зависела от мелочей… пыль попала в таймер и прерывает электрический контакт… плёнка жира, которую даже увидеть невозможно, жир от прикосновения людских пальцев, оставлен внутри клапана жидкого кислорода, вспыхивает от контакта с веществом и запускает реакцию—я сталкивался с такими случаями… дождь от которого разбухают втулки в сервоприводах, или попадает в переключатель: коррозия, замыкание, сигнал на заземление, преждевременный *Brennschluss*, и то, что полнилось жизнью, снова всего лишь Агрегат, Агрегат кусков мёртвой материи, ничего, что может двигаться или иметь какую-либо Судьбу—прекрати дёргать бровями, Скафлинг. Возможно, я тут стал малость туземцем, вот и всё. Побудь в Зоне ещё немного, так и сам начнёшь выдвигать идеи на тему Судьбы.

Крик снизу от болота. Птицы взмывают вверх, чёрным кругом, крупицы грубротолчёного перца в этом небесном буайбесе. Малышня резко поостанавливались, оркестр духовых оборвался посреди такта, а Тирлич вприпрыжку вниз, где собрались остальные.

– *Was ist los, meinen Sumpfmenschen?*– Остальные, с хохотом подхватывают пригоршни грязи и начинают бросать их в своего Нгуарарореру, тот пригибается, уворачивается, хватает ту же грязь и швыряет в ответ. Немцы на берегу стоят помаргивая, вежливо ужасаясь такому отсутствию субординации.

Внизу, в дощатой загородке пара извозюканных элеронов вытарчивают теперь из болота, разделённые четырьмя метрами грязи. Тирлич, заляпанный, мокрый, его белая ухмылка опережает его на несколько метров, сигает через край досок в яму и хватает лопату. Момент становится грубовато торжественным: Андреас и Кристиан придвинулись каждый со своего бока, помогая ему скрести и отбрасывать, пока не отрылось полметра стабилизатора. Определённость Номера. Нгуарарорeру наклоняется отереть грязь прочь, открывает часть опознавательного номера, белые 2 и 7.

– Аутаз.– И поугрюмевшие лица на остальных.

У Слотропа озарение: – «Вы ожидали der *Fünffachnullpunkt*»,– предполагает он, чуть погодя, с Тирличым– «пять нолей, верно? Хаа- *аaах!*» А я-то тя вычислил—

Вскидывая свои руки вверх: «Это безумие. Не думаю, что такая есть».

– Нулевая вероятность?

– Наверное, это зависит от числа поисковиков. *Её* ваши люди ищут?

– Не знаю. Я стороной прослышал. Нет у меня никаких людей.

– *Schwarzgerät, Schwarzkommando*. Скафлинг: предположим, где-то был алфавитный список, чей-то список, разведдонесение, допустим. В какой стране, неважно. Но предположим в том списке эти два наименования, Чёрный прибор, Чёрная команда, оказались в нём, бок о бок. Вот и всё, алфавитное совпадение. Нам бы уже не требовалось быть реальными, как и прибору, верно?

Болота тянутся вдаль, с заплатами света под молочной облачностью. Отрицательные тени мерцают белым по краям всего: «Ну тут и без того жуть, Полковник»,– грит Слотроп,– «от вас никакой помощи».

Тирлич смотрит в лицо Слотропу с чем-то вроде улыбки под своей бородой.

– Окей, ну и кто же тогда ищет?– Говорит загадками, не хочет дать ответа—или этот птах *хочет* по-плохому.– Тот майор Марви,– предполагает Слотроп,– а и этот Чичерин, тоже!

Ха! Это сработало. Как в козырянии, как от прищёлка каблуков, лицо Тирлича переключилось в полную нейтральность: «Вы меня весьма обяжете»,– начинает он, потом решает сменить тему: «Вы были в Миттельверке. Как люди Марви ладили с Русскими?»

– Как закадычные друзья типа вроде как.

– У меня такое чувство, будто оккупационные Силы только что заключили договорённость о народном фронте против *Schwarzkommando*. Я не знаю кто вы, ни направления устремлений. Но они пытаются прихлопнуть нас. Я только что из

Гамбурга. Там у нас неприятности. Они попытались выдать это за нападение ПеэЛов, но за всем стояло Британская военная администрация и им содействовали Русские.

– Очень жаль. Могу я чем-то помочь?

– Не будьте опрометчивы. Подождём, увидим. Всё, что сейчас о вас известно всем, это что вы помелькиваете.

Ближе к сумеркам чёрные птицы спускаются, их миллионы, усесться на ветвях ближайших деревьев. Деревьям тяжко от чёрных птиц, ветви подобно отросткам Нервной Системы утолщаются, глубже в щебетливую нервную сумеречность, в ожидании какого-то важного сообщения...

Уже потом в Берлине, на дне погреба с говном льющимся из него литрами в час, слишком ослабелый, чтобы пинать снующих крыс, которые упорно отводят глаза, стараясь делать вид, будто у них не появился новый и более драгоценный статус среди Берлинцев, с минимумом зачётных очков в таблице его умственного здоровья, когда солнце ушло настолько основательно, что может быть и навсегда, глупое, праздное сердце Слотропа грит: Schwarzgerät это не Грааль, Дружище, это не то, что в Imipolex G обозначено через G. А ты не рыцарственный герой. Самое большее, с кем тебя можно сравнить это Тангейзер, Поющий Дурачок—ты побывал под одной горой в Нордхаузене, когда-то распевал песенку или две подыгрывая на укулеле, и не чуишь раззи, что тут ты оказался в засасывающих болотах греха, Слотроп? возможно не совсем такого, что Вильям Слотроп, проблевавший большую часть 1640 за борт той *Арабеллы*, имел ввиду произнося слово «грех»… Но ты явно отправился не в своё странствие—какая-то фрау Хольда, какая-то Венера в какой-то горе—играешь в её, этого, игру… и каким-то неопровержимым чутьём знаешь, что игра эта плохая. Играешь, потому что тебе больше нечего делать, но из-за этого правильнее она не станет. А где Папа римский, чей посох распустится цветами для тебя?

Фактически, он накануне встречи со своей Лизорой: той, с кем он проведёт какое-то время, прежде чем покинет снова. Минезингер оставил свою бедную женщину и та покончила с собой. До чего Слотроп доведёт Грету Эрдман не настолько ясно. На берегах Хавела в Нойбабелсберге ждёт она, уже не та, чьи образы запечатлены в кинолентах уцелевших в неизвестном количестве тут и там в Зоне и даже за океаном… Каждый из добрых технических подсобников когда-либо втиравших для неё пурпурный гель в фильтр основного её освещение, ушёл на войну или на смерть, и ничего ей не осталось помимо безразличного Божьего света солнца со всем его обесцвечиванием и ужасом... Брови выщипаны до тонких прочерков пером, в длинных волосах пробивается седина, руки под бременем колец всех цветов, непроглядных, уродящих, в её тёмных довоенных *Chanel* костюмах, без шляпки, шарфов, всегда с цветком, она жертва Центрально-Европейских ночных нашёптываний, что веют обвиваясь, как от кожаных занавесов Берлина, всё призрачнее вокруг её толстеющего тела, увядшей красоты, чем ближе она и Слотроп движутся друг к другу...

Такими им и встретится. Однажды ночью Слотроп совершил налёт на огород разведённый в парке. Тысячи людей живут на открытом воздухе. Он огибает их костры, крадучись— Всё, чего он хочет, это пучок зелени, морковку или, там, кормовую свёклу, бурачок, чтобы как-то его поддержало. Когда они его замечают, бросаются камнями, палками, один раз, недавно, старую ручную гранату, которая не взорвалась, но заставила его усраться на месте.

В этот вечер он кружит на орбите где-то в районе Гроссер Штерн. Комендантский час давно начался. Запахи древесного дыма и разложения висят над всем городом. Среди разбитых в прах голов маркграфов и выборщиков, высмотрев клочок смахивающий на капустную грядку, Слотроп унюхал запах несомненного нет не может быть да так и есть да это же КОСЯК! А и курится ж совсем где-то рядом. Пронизанная золотом зелень покатых полей Эр-Рифа накатила тут, духмяное цветенье, смолисто-летошнее, чарует его шнобель сквозь кусты и спутанные травы под усохшими деревьями и что уж там сидит на их сучьях.

Так и есть, в яме от вывороченного ствола, длинные корни окаймляют картину типа гнома на привале, Слотроп надыбал некоего Эмиля («Кислоту») Буммера, что в своё время, в Веймарской Республике, конал за самого отъявленного форточника и наркомана, с двумя прекрасными девушками по бокам, передают по кругу весёлую оранжевую звёздочку. Распущеный старик. Слотроп накрыл их прежде, чем они его заметили. Буммер улыбается, протягивает руку, предлагая остаток того, что они курили, Слотропу, который принимает это в свои отросшие грязные ногти. Ё-моё. Он опускается на корточки.

– *Was ist los* ?– грит Кислота.– Нам ветер подогнал кайфуши. Аллах улыбнулся нам, вапщета, он всем улыбается, просто мы первые ему на глаза подвернулись... – Его кличку, на Немецком *Säure*, он получил ещё в двадцатые, когда носил при себе бутылочку шнапса, а влетевши в непроходняк гнал страху на людей, будто это едкая азотная кислота. Теперь он вынимает ещё один толстенный Марокканский косяк. Они прикуривают от Слотроповской неразлучной Зиппо.

Труди, блондинка, и Магда, знойная Баварка, весь день занимались грабежом костюмерной для Вагнерианских опер. В добыче оказался шлем с заострённым навершием и рогами, длинная накидка зелёного бархата с капюшоном, штаны из замши.

– Ты чёоо,– грит Слотроп,– *это ж* в натуре крутой *прикид*.

– Это тебе,– улыбается Магда.

– А… не. Запросто выменяешь чёт нужное на Таушцентрале.

Однако Кислота настаивает: «Ты никогда не замечал, когда ты под таким кайфом хочешь кого-то встретить, так тот всегда нарисуется?»

Девушки продвигают уголёк косяка по кругу, наблюдая, как его отражение в блестящем шлеме меняет формы, глубины, градиенты цвета… хмм. Слотропу тут

зашло на мысль, что без рогов, в натуре, этот шлем будет смахивать на носовую часть сборки Ракеты. А если ещё найти пару треугольных кусочков кожи и как-то присобачить их к ботинкам Чичерина… да, а и позади на капюшон поставить большую красную заглавную «Р»—Это поворотный момент, как тогда у Тонто после легендарной засады, и он пробует—

– *Raketemensch!*– вскрикивает Кислота, схватив шлем и откручивая рога прочь. Имена сами по себе могут ничего не значить, но сам *акт крещения*...

– И ты тоже подумал?– Как странно. Кислота торжественно тянется вверх и водружает шлем на голову Слотропа. Церемониально, девушки расправляют накидку у него на плечах. Разведовательные группы троллей уже отправили бегунов, чтобы оповестить свои народцы.

– Хорошо. Теперь слушай, Ракетмэн. У меня тут небольшая проблема.

– А?– Слотроп воображал полномасштабное Чествование Ракетмэна, когда люди приносят ему еду, вино и девственниц, оттиснутое в цвете, когда тут много пляски и песен «Ля, ля, ля, ля», бифштексы распускаются на этих впрах расстрелянных липах, жареные индюшки плюхаются, как мягкий град, на Берлин, а и плавленые зефиры выпузыриваются из земли...

– У тебя есть армейские?– Хочет знать Труди. Слотроп, или Ракетмэн, протягивает полупустую мятую пачку.

Косяк продолжает ходить по кругу: копья и острия протыкающие убежище под корневищем. Все забывают кто о чём говорил. Землёй так чётко пахнет. Жуки проносятся насквозь, воздухоплавательно. Магда прикуривает одну из сигарет Слотропа для него, и он чувствует помаду с привкусом малины. Помада? У кого может быть помада нынче? Что эти люди тут затеяли, вообще?

Берлин достаточно затемнён для звёзд, знакомые звёзды, но в как никогда чётком расположении. И можно даже составлять свои собственные созвездия. «Во»,– вспоминает Кислота,– «у меня тут проблемка есть...»

– Я такой голодный,– доходит Слотропу.

Труди рассказывает Магде про своего приятеля Густава, которому втемяшилось жить внутри рояля: «И всё, что осталось снаружи это его ботинки на ногах, а сам твердит: “Вы меня ненавидите! Вы ненавидите этот рояль!”»– Они уже завелись хихикать.

– И дёргает за струны,– грит Магда,– нет? Он такой *параноидный*.

У Труди эти здоровенные ноги Прусской блондинки. Крохотные светлые волоски танцуют вверх-вниз в свете звёзд, вверх к ней под юбку и обратно, по всей тени её колен, вокруг под впадинку позади них, это звёздное дрожание... Ствол высится сверху и покрывает их всех, гигантская нервная клетка, дендриты тянутся в ночь,

в город. Сигналы сходятся со всех сторон, и из прошедших времён тоже, может быть, если не из предстоящего на самом деле...

Кислота, который никогда не может отключаться от дел по полной, всплывает подняться на ноги, уцепившись за корень, пока голова его решает, где она собирается отдохнуть. Магда, обернув ухо от входа, лупит по шлему Ракетмэна палкой. Тот отзванивает многоголосьем. Некоторые ноты малость не строят, к тому же: они звучат очень странно, когда все вместе...

– Не знаю который час,– Кислота озирается по сторонам,– нам не нужно ещё заглянуть в Чикаго-Бар? Или это вчера было?

– Моя забывать,– хихикает Труди.

– Слушай, *Kerl*, мне в натуре надо поговорить с тем Американцем.

– Милый Эмиль,– шепчет Труди,– не волнуйся, он будет в Чикаго.

Они разрабатывают сложную систему маскировки. Кислота даёт Слотропу свой пиджак. Труди заворачивается в зелёную накидку. Магда одевает ботинки Слотропа, а он идёт в одних носках, рассовав её крошечные туфли по своим карманам. Какое-то время уходит на сбор всякого разного, растопки и зелени, для наполнения шлема, который несёт Кислота. Магда и Труди помогают впихнуть Слотропа в замшевые штаны, обе девушки опустившись на их сдобные коленки, руки ласкают его ноги и зад. Хорош танцзал в Соборе Св. Патрика, совсем неподходяще для таких штанят и вскочивший хуй Слотропа, увеличиваясь, разбухает громом в тесноте.

– Да хватит вам уже.– Девушки смеются. Грандиозный Слотроп ковыляет следом за всеми, сеть чисто переплетающейся ряби сейчас, как дождь, зыбится по всему его полю зрения, руки окаменели, из Тиргартена, мимо изувеченных снарядами лип и каштанов. Патрули всех наций выныривают, раз за разом, и этот опупелый квартет постоянно шлёпаются в грязь, стараясь не слишком смеяться. Носки Слотропа пропитались росой. Танки разворачиваются на мостовых, выжёвывая параллельные гряды асфальта и каменной пыли. Тролли и дриады резвятся на открытых местах. Их повышибало в минувшем Мае из мостов, из деревьев, на свободу и они давно совсем уже городские: «Ох уж этот дуболом»,– говорит троллиха на выданье тем, кто не в курсе,– «он просто *ни во что* не врубается».– Искалеченные статуи лежат под минеральным наркозом: мраморные торсы бюрократов в сюртуках бледнеют растянувшись в сточных канавах. Да, хмм, мы это в сердце центрального Берлина, в натуре, уйй, малость, Исусе, что *это*—

– Тут лучше поосторожней,– советует Кислота,– совсем, как бы, не прибрано.

– А это *что?*

Ну то, что там есть—есть? что такое «есть»?—это есть Кинг Конг или какая-то родственная зверюка, скрючилась на корточки, явно просто посрать, прям на

улице! и всё такое! а и на неё без внимания, кузов за кузовом Русские грузовиков с рядовыми в пилотках и с очумелыми улыбками, жмут прямиком мимо—«Эй!»– Слотроп хочет крикнуть,– «эй, гля, там громадная *горилла!* или что там оно. Слышь парни? Эй...» – Но не крикнул, повезло. Как пригляделся, присевшее чудище оказалось зданием Рейхстага, разбито снарядами, авиабомбами, исхлёстано кистями пламени до порохового чёрного по всем взрывопроизведённым изгибам и выступам, исчёркано мелом по всему твёрдо-гулкому обугленному нутру Кириллицей инициалов и множеством имён товарищей полёгших в мае.

В Берлине таких приколов по самую завязку. Вон большой плакат со Сталиным, а Слотроп мог бы поклясться, что это девушка, с которой он встречался в Гарварде, усы и волосы просто случайная косметика, чтоб я *лопнул*, если это не, как там её звали-то… но прежде чем он толком расслышал бормотание галдящих голосков—скорей же, скорей, щас вот-вот вспомнилось, он уже почти за углом—тут разложены бок о бок эти огромные продолговатые куски теста оставленного доходить под белыми полотнами—братан, до чего же все голодные: одна и та же мысль приходит всем им сразу, ух-ты! Сырое тесто! Буханки хлеба для того *чудовища* позади… хотя нет, правильно, то было здание, Рейхстаг, значит это не хлеб… тут уже ясно, что это тут тела людей, откопаны из-под сегодняшних развалин, каждое в своём солдатском пердёжном мешке с биркой. Но тут больше, чем просто оптический промах. Они доходят, они пресуществились, а после лета и с наступлением голодной зимы, как знать чем будем мы кормиться под Рождество?

То, чем пресловутая Фемина является для сигарето-толкающих кругов Берлина, Чикаго служит для наркоманов. Однако, если сделки в Фемине заключаются около полудня, этот Чикаго раскочегаривается после начала комендантского часа в 10:00.

Слотроп, Кислота, Труди и Магда заходят чёрным ходом из громадного массива руин и темени с редкими огоньками тут и там, как в глухой сельской местности. Внутри, военврачи и санитары бегают туда-сюда с бутылочками вспушённо-белых кристаллических веществ, с маленькими розовыми таблетками, прозрачными ампулами размером с самокрутку. Оккупационные и рейхсмарки пошелёстывают и прихлёстывают по всей комнате. Увеличенные фотографии Джона Дилинджера, где он позирует со своей мамой, дружками, автоматами, украшают стены. Свет и переговоры приглушены, на случай если нагрянет военная полиция.

На стуле с проволочной спинкой, слегка пощипывая гитару тупыми волосатыми пальцами, сидит Американский матрос смахивающий на орангутанга. В ритме на ¾ и в стиле похуиста, он поёт:

Грёза Наркомана

Прошлой ночью мне приснился сон,

Я в улёте тянул из кальяна

Тут Арабский джин, здоровенный как слон,

Прыг-скок из дыма-тумана:

«Твои желанья исполню я,

Всё, что только захочешь ты»

«Братан»,– говорю,– «директива моя:

Ты добудь-ка мне наркоты».

Улыбнулся, схватил он за руку меня,

Понеслись мы повыше крыш

Оказались в стране, где вместо гор у ручья

Горою был сложен гашиш!

А в ручье том журчал морфин,

А деревья расцветали таблетками:

Рамилар, ноксирон, кадеин,

И море грибов изумляли расцветками!

А навстречу шли лишь красотки одни

С движениями тягучими

Предлагали пригоршнями кокаин,

Угоститься по такому случаю.

И покатились дни

На марихуанной ноте,

Мускатные чаи

В прикуску с кактусом пейоте.

И печенюшками разными,

И все были такими классными,

Что я решил там навеки остаться.

Но этот джин всё по-своему сбацал.

Киданул он меня обратно

В этот мир холода и мрака,

Вот такой оказался он подлой собакой.

Теперь проведённые в Наркутии дни вспоминаю

И обратно на волю попасть мечтаю.

Этот певец Моряк Бодайн, с эсминца США *Джон Э. Бэдэсс*, и это с ним тут у Кислоты забита стрелка. *Бэдэсс* сейчас в порту Каксэвена и Бодайн тут в полу-самоволке, заскочил в Берлин прошлой ночью в первый раз после начальных дней Американской оккупации: «Позакручивали гайки по полной, братишка»,– жалуется он: «Потсдам. Я там глазам не поверил. Помнишь, какой была Вильгельмплац? Швейцары, вино, драгоценности, камеры, героин, меховые шубки, всё, что есть в мире. И всем всё похуй, верно? Ты бы сейчас посмотрел. Русская охрана повсюду. Хмурые мордовороты. И не подходи».

– А там чё-т такое щас не проводят?– грит Слотроп, он слыхал базар на эту тему.– Конференция или ещё какая-то поебень?

– Они решают как раскроить Германию,– грит Кислота.– Все эти Силы. Им надо было позвать Немцев, *Kerl*, мы занимались этим столетиями напролёт.

– Там ща и комар не пролетит, братишка,– Моряк Бодайн трясёт головой, ловко скручивая косяк в бумажку от сигареты, которую он сперва разорвал, с угрюмой бравурой, вдоль.

– А,– улыбается Кислота, забрасывая руку поверх Слотропа,– а что если Ракетмэн сможет, а?

Бодайн осматривает, скептически: «Это Ракетмэн?»

– Более или менее,– грит Слотроп,– только не знаю охота ли мне в тот Потсдам, как раз щас...

– Да если б ты только знал!– восклицает Бодайн.– Прикинь, Дружище, прямо сейчас в 15 милях отсюда, там есть шесть *кило!* отборного Непальского гашиша! Получено от моего кореша в КБИ, правительственные печати и все дела, собственными руками зарыл там в мае, так надёжно, никто в жизнь не найдёт без карты. Тебе только и делов слетать туда, или как уж ты передвигаешься, на ту точку и забрать.

– Только и всего.

– Кило тебе,– предлагает Кислота.

– Они могут спалить его и меня заодно. Все те Русские построятся вокруг печи и могут ловить приход.

– Наверное,– самая декадентная красотка, какую только в жизни видел Слотроп, в светящихся индиго тенях на веках, в снуде из чёрной кожи, проскальзывает мимо,– милашка Американец не любитель Шоколадки Гаш-Иш, мм? ха-ха-ха...

– Миллион марок,– вздыхает Кислота.

– Да где ты его…

Вскинув эльфоподобный палец, придвигаясь ближе: «Я напечатаю».

Ну и конечно, так и делает. В полном составе они двигают из Чикаго, полмили через груды битого камня, по тропам, петляющим в темноте невидимо для всех, кроме Кислоты, наконец, вниз в бездомный подвал с картотекой в шкафах с выдвижными полками, керосиновой лампой, кроватью, печатным прессом. Магда тесно тиснется к Слотропу, руки её пляшут по его вставшему хую. У Труди возникла необъяснимая привязанность к Бодайну. Кислота начинает вращать своё постукивающее колесо и листы рейхсмарок действительно порхают на стопку в приёмный ящик, тысячи поверх тысяч: «Все платы подлинные и бумага тоже. Отсутствует одним-одна деталь, лёгкая волнистая линия вдоль краёв. Использовался специальный штамп-пресс, который никто не смог смародёрить».

– Ух,– грит Слотроп.

– Да давай уже,– грит Бодайн.– Ракетмэн, ё-моё. Тебе уже всё пофиг будет.

Они помогают укладывать и подравнивать листы, пока Кислота нарезает их длинным блестящим резаком. Протягивая толстый рулон сотенных: «Ты завтра бы уже и вернулся. Нет для Ракетмэна работёнки крутой чересчур ».

Днём или двумя позже, Слотропу дойдёт, что надо было на это ответить: «Но я же на был ещё Ракетмэном всего пару часов назад». Но прямо сейчас его манит перспектива 2.2 фунтов гашиша и одного миллиона почти настоящих марок. От такого не отвернёшься, не улетишь или какое там у тебя средство передвижения, верно? Так что он берёт пару сот тысяч авансом и проводит остаток ночи с кругленькой стонущей Магдой на кровати Кислоты, покуда Труди и Бодайн проказничают в ванне, а Кислота ушмыгивает обратно, по какому-то ещё из своих дел, в беспросветную пустошь в три часа ночи, что налегла, океанически, на буй их внутреннего пространства...

* * * * * * *

Кислота шастает вперёд-назад, ворчливо, налившись кровью, пар вьётся из чайника в его руках. Костюм Ракетмэна дожидается на столе, вместе с картой сокровищ от Моряка Бодайна—ох. Ох, ничего себе. Неужто Слотроп пойдёт на это?

Снаружи птицы высвистывают арпеджио на верхних добавочных линиях, вместе с утром. Грузовики и джипы урчат вдалеке. Слотроп сидит за чаем, пытаясь отскрести засохшую сперму со своих штанов, пока Кислота объясняет расклад. Пакет заныкан под орнаментальным кустом перед виллой по Кайзерштрассе 2, в Нойбабелсберге, давнишней киностолице Германии. Это берег Небеля напротив

Потсдама. Похоже, разумнее держаться подальше от Автобана Авус: «Попробуй через контрольный пост сразу за Целендорфом. Выходи к Нойбабелсбергу по каналу».

– С чего бы это?

– Ни одного гражданского не пропускают по ВИП Шоссе—вот здесь, что идёт через реку в Потсдам.

– Брось. Для этого мне понадобится лодка.

– Ха! Ты ждёшь импровизации от Немца? Ну уж нет—это *проблема Ракетсмэна!* ха-ха!

– Йуннхх!– Похоже, вилла смотрит на Грибниц Зее.– А почему бы мне не зайти с той стороны?

– Тебе придётся проплыть сперва под парой мостов, если заходить оттуда. Усиленная охрана. Бьют сверху, Может быть—может быть, даже миномёты. Озеро становится очень узким напротив Потсдама. У тебя не будет шанса.– О, Германский юмор *отличный* способ начать утро. Кислота вручает Слотропу карточку ГАО, билет, и пропуск на Английском и Русском: «Человек, который сработал это, побывал в Потсдаме раз десять с начала Конференции. Совершенно уверен в своей подделке. Пропуск на двух языках специальный, по случаю Конференции. Но там тебе не стоит бродить с разинутым ртом, как турист, выпрашивать автографы у знаменитостей—»

– Да, но послушай, Эмиль, если у тебя такие документы и они настолько классные, чё ты не едешь?

– Это не моя специальность. Моё устраивать сделки. Всего лишь старая бутылка кислоты—и та понарошку. Пиратство занятие для *Ракетмэнов*.

– Пусть тогда Бодайн.

– Он уже в пути на Каксхавен. Прикинь как расстроится, если вернётся через неделю просто узнать, что Ракетмэн, из всех людей, сдрейфил.

– О.– Блядь. Слотроп какое-то время зырит на карту, потом пытается запомнить. Он натягивает ботинки, со стоном. Пеленает свой шлем в ту накидку, и они вдвоём, коннер и конни, двигают в Американский сектор.

Кобыльи хвосты разгулялись в синем небе, а тут внизу *Berliner Luft* висит неподвижно, со смрадом смерти неизбежной. Тысячи трупов погибших весной всё ещё лежат под этими горами обломков, жёлтые горы, красные, жёлтые и бледные.

Куда делся город, который Слотроп привык видеть в тех кинохрониках и в Нешнл Географик? На параболах свет клином не сошёлся для Новой Германской

Архитектуры—в ней были ещё и пространства—некрополизм пустого алебастра под вперившимся солнцем, для заполнения рябью людских урожаев насколько хватает глаз, не имевший смысла без них. Если существует некая Ритуальность Города, что является внешним, зримым знаком внутреннего и духовного недуга или здоровья, тогда и здесь тоже проступает некая ритуальная преемственность через ужасающий водораздел мая. Опустошённость Берлина в это утро являет перевёрнутое отображение белой и геометричной столицы до её разрушения. Невозделанные и широко раскинувшиеся поля рваного камня, неизменный вес слишком безликого бетона… но всё это вывернуто тут наизнанку. Прямизна проспектов предназначенных для маршировки вдоль них, обернулась тропами вьющимися среди нагромождения обломков, их нынешние формы органичны, соответствуют, как ожидается от козьих троп, законам наименьшей траты сил. Гражданские теперь снаружи, униформы внутри. Гладкие грани зданий сменились булыжником взорванных потрохов бетона, всем тем нескончаемым щебнем позади опалубки. Внутренности выпущены на волю. Комнаты без потолков открыты небу, комнаты без стен вздыбились над морем руин словно ладьи, «вороньи гнёзда» наблюдателей... Старики с их жестянками для сбора окурков с земли носят свои лёгкие у себя на груди. Объявления об убежище, одежде, пропавших, пленных, когда-то засекреченные, сложенные *bürgerlich* внутри газет, чтобы спокойно почитать в лакированных изящных гостиных, теперь наклеены снаружи Гитлер-головыми марками синего, оранжевого, жёлтого, плещутся на ветру, когда поднимается ветер, наклеены на деревьях, дверных рамах, досках, кусках стен—белые и увядающие обрывки, паучьим почерком, дрожащим смазанным, тысячи не замечены, тысячи не прочитаны или сдуты прочь. По суповым воскресеньям *Winterhilfe* ты садился за длинные столы на улице под увешанными свастикой зимними деревьями, но что было снаружи перенеслось внутрь и воскресенья этого рода длятся всю неделю напролёт. Зима вновь возвращается. Весь Берлин в дневные часы делает вид, что это не так. Израненные деревья снова в листве, птенцы высижены и учатся летать, и всё же зима тут, за притворным летом—Земля повернулась во сне, и тропики поменялись местами...

Словно стены Чикаго Бара перенесённые наружу, гигантские фотографии выставлены по Фридрихштрассе—лица выше человеческого роста. Слотроп запросто узнаёт Черчилля и Сталина, но сомневается насчёт третьего. «Эмиль, а кто это тот в очках?»

– Американский президент Мистер Трумен.

– Брось дурить. Трумен вице-президент. Рузвельт президент.

Кислота приподымает бровь: «Рузвельт умер ещё весной. Как раз перед нашей капитуляцией».

Они запутались в хлебной очереди. Женщины в потёрто-плюшевых пальто, маленькие дети цепляются за изношенные полы, мужчины в кепках и тёмных двубортных костюмах, небритые старые лица, лбы белы, как нога медсестры...

Кто-то пытается выхватить накидку Слотропа. Следует краткий матч по перетягиванию.

– Сочувствую,– продолжает Кислота, когда они высвободились снова.

– Почему никто мне не сказал?– Слотроп был старшеклассником, когда ФДР начинал в Белом Доме. Саймон Слотроп объявлял, что ненавидит этого человека, но Тайрон считал его отважным, с тем полиомиелитом и прочее. Нравился его голос по радио. И почти увидал его однажды, в Питсбурге, только Ллойд Нипл, самый толстый пацан в Минджборо, загораживал и всё, что досталось рассмотреть Слотропу, были пара колёс и ноги каких-то людей в костюмах на подножке автомобиля. Про Гувера он слыхал, смутно—что-то насчёт самостройных посёлков или пылх'сосов—но Рузвельт был его президентом, единственным, кого он знал. Казалось, он будет избираться, срок за сроком, вечно. Но кто-то решил поменять это. Так что его усыпили, Слотропова президента, тихо и гладко, пока мальчик, который однажды представлял себе его лицо сквозь лопатки Ллойда под его Т-майкой, молол чушь на Ривере, или где-нибудь в Швейцарии, лишь вполовину сознавая, что его самого угасили...

– Поговаривали, с ним удар случился,– грит Кислота. Его голос доносится из какой-то совершенно не той стороны, скажем, прямо из-под ног, пока широкий некрополис начинает всасываться внутрь через воронку и вытягиваться в Коридор известный Слотропу, только не названием, деформация пространства, которая таится внутри его жизни, как скрытая наследственная болезнь. Отряд врачей в белых масках, закрывших всё кроме глаз, тусклых и взрослых глаз, вступают маршировать вдоль туда, где лежит Рузвельт. Они несут чёрные блестящие чемоданчики. Металлические звенья, внутри чёрной кожи, позвякивают словно приговаривают, словно в фокусе чревовещателя, помогите-выпустите-меня-отсюда... Кто бы то ни был, позировавший в чёрной накидке в Ялте с остальными лидерами, которая так превосходно представляла смысл крыльев Смерти, пышной, мягкой и чёрной, как зимняя накидка, подготавливал нацию ротозеев к кончине Рузвельта, существа сложенного Ими, существа, которое Они разберут...

Тут кое-кто слишком умный учитывает параллакс, масштабирование, тени все тянутся в правильном направлении, удлиняются по ходу дня—но нет, Кислота не может быть реальностью, не больше, чем эта массовка в тёмных костюмах, что ждут в очередях какой-то вымышленный трамвай, какие-то два кружка колбасы (точно, точно), дюжина полуголых детей вбегающих и выбегающих из той сожжённой квартиры, такой удивительно чёткой—фонды у Них наверняка имеются, уж будь уверен. Глянь как всё разворотили, всё строилось, потом разнесено в куски обратно, от размеров с тело и до пылинок (отправляя заказ, указывайте Номер Шаблона, пожалуйста), пока тот незабываемый аромат *Полдень в Берлине*, эссенция разлагающейся человечины, пшикается на декорации вручную, густыми слоями, как от дряблой лошади где-то в переулке, что сжимает свой огромадный распылитель...

(По часам Кислоты с чёрного рынка, уже где-то полдень. С 11 утра до 12 Час Зла, когда белая женщина со связкой ключей на кольце выходит из своей горы и может показаться тебе. И тут будь осторожней. Если не сможешь освободить её от заклятья, которое она никак не объяснит, тебя ждёт кара. Она прекрасная дева предлагающая Чудо-Цветок, и старая уродина с длинными зубами, что нашла тебя в том сне и не сказала ничего. Это её Час).

Чёрные Р-38ки пролетают, грохоча, эскадрилья ажурной рамой проносится в бледном небе. Слотроп и Кислота находят кафе на тротуаре, пьют разбавленное водой розовое вино, закусывают хлебом с каким-то сыром. Тот шустрый старый наркоман выламывает «щепку» прессованного «чая» и они сидят на солнышке, передавая вперёд-назад, предлагая и официанту затянуться, а что такого? так же приходится курить даже армейские, в эти дни. Джипы, грузовики для перевозки воинского состава, и велосипеды текут мимо. Девушки в ярких летних платьях, оранжевых, зелёных, как фруктовое мороженое, заплывают посидеть за столиками, поулыбаться, улыбаться, прицеливаясь непрерывно по сторонам насчёт раннего бизнеса.

Кислота кое-как свёл разговор со Слотропом на Ракету. Совсем не по специальности Кислоты, конечно, хотя он и тут держал ухо востро. Если чего-то хотят, значит оно имеет стоимость: «Я никак не мог понять восторгов. По радио только о том и долдонили. Это стало нашим шоу Капитана Миднайта. Но мы разочаровались. И хотелось бы поверить, да ничего такого не видать, чтоб убедило нас. Всё меньше и меньше под конец. Одно я знаю, она подорвала рынок кокаина, *Kerl*.

– Это ещё как?

– Той ракете для чего-то нужен был перманганат калия, верно?

– Для турбонасоса.

– Ну а без этого *Purpurstoff*, нет возможности торговать кокаином по-честному. Забудь про честность, тут просто не осталось ничего взаправдашнего. Прошлой зимой, ты бы не нашёл и кубика перманганата во всём ёбаном Рейхе, *Kerl*. *O*, не представляешь какие шли обломы. Друзья, сам знаешь. А какому другу не охота— как бы тебе попонятнее?— *шмякнуть тортом* в рыло? а?

– Спасибо.– Погоди-ка. Это он *про нас* толкует? Он что, собирается—

– Короче,– продолжает начатое,– по Берлину полз огромный фильм Лорел и Харди, немой, немой… из-за дефицита с перманганатом. Я не знаю какие прочие отрасли экономики пострадали из-за А4. Это было не просто кидалово тортами, не просто анархия рынка, это была химическая безответственность. Глина, тальк, цемент, и даже, дошли и до такого извращения, мука! Порошковое молоко, не дошедшее до желудков сосунков младенчиков! Любая похожая всячина, стоившая дороже самого кокаина—прикол в том, чтоб кто-то вдруг набил свой нос молоком, хаха-хахах,– прервавшись на минутку,– за это стоило переплатить! Без

перманганата ничего нельзя сказать наверняка. Капельку новокаина, оглушить язык, щепотку чего-нибудь для горького вкуса и ты грёб охренеть какую прибыль с пищевой соды. Перманганат пробный камень. Под микроскопом, капаешь на вещество для проверки, всё растворяется—потом наблюдаешь что происходит с раствором, как он перекристаллизируется: первым появится кокаин, по краям, потом овощные примеси, новокаин, лактоза, распределяются по хорошо известным позициям—пурпурная мишень, внешнее кольцо драгоценно, кружок внутри не стоит ничего. Анти-мишень. Совсем не то, что нужно для А4, *а, Ракетмэн?* Этот твой Аппарат не лучший друг наркоману. Тебе оно надо? Или твоя страна применит против России?

– Мне этого не надо. Что значит «моя страна»?

– Извини. Я просто имел ввиду, что Русским она, похоже, нужна позарез. Хватали моих деловых партнёров по всему городу. Допрашивали. Никто из них в ракетах не смыслит больше моего. Но Чичерин думает наоборот.

– Ё ж твою. Опять он?

– Да он как раз сейчас в Потсдаме. Скорее всего. Устраивает штаб в одной из старых киностудий.

– Отличная новость, Эмиль. С моей-то невезухой…

– Что-то ты в лице переменился, Ракетмэн.

– Что, так хреново? Ты сюда слушай!– И Слотроп задаёт вопрос не слыхал ли Кислота что-нибудь про Schwarzgerät.

Тот не то чтобы взвопил *Вууий!* и не пустился рвать когти вдоль улицы, однако п-пииск точно послышался из определённого клапана, и что-то было отмахнуто в сторону: «Вот что я тебе скажу»,– покивывая и ёрзая на своём стуле,– «поговори с Дер-Шпрингером. *Ja*, вы отлично поймёте друг друга. Я всего лишь форточник в отставке, собираюсь провести оставшиеся мне несколько десятилетий как Возвышенный Россини: в своё удовольствие. Только ты меня не упоминай, ладно, Джо?

– Но кто этот Дер-Шпрингер и как его найти, Эмиль?

– Он шахматный конь в вечной скачке—

– Ух-ты.

—... по шахматной доске Зоны, вот кто он такой. Также как Ракетмэн перелетает через все преграды.– Он зловредно хихикает.– Отличная парочка. Откуда мне знать где он? Может быть где угодно. Он повсюду.

– Зорро? Зелёный шмель?

– Последнее, что я слыхал, он был на севере на Ганзейских скачках. Вы встретитесь. Не переживай.– Резко Кислота вскочил проститься, пожимает руку, оставляя в ладони Слотропа косяк на потом, а может на удачу.– У меня встреча с военными врачами. Счастье тысячи клиентов на твоих плечах, молодой человек. Найдёшь меня на старом месте. *Glück*.

Так что Час Зла принёс своё проклятье. Ошибочным оказалось слово Schwarzgerät. И вот гора с грохотом снова захлопнулась позади Слотропа, чуть не расплющила к чертям его пятку и, может быть, пройдут столетия покуда Белая Женщина надумает появится снова. Блядь!

Имя в спецпропуске «Макс Шлепциг». Слотроп, полный задора, решает выдать себя за артиста кабарэ. Иллюзионист. Он прошёл хорошую школу с Катье, её узорчатой скатертью и волшебным телом, кровать была её салоном, сотня *soirées fantastiques*...

Во второй половине дня он уже миновал Целендорф, под покровом своего Ракетмэновского прикида, готовится пересечь. Русские часовые стоят под деревянной аркой в красной краске, покачивая свои ППШ, здоровенные автоматы с обоймами-дисками. А вот ещё и Сталинский танк подкатил, фырчит на малой, солдат в шлеме с наушниками торчит из башни с 76-миллиметровой, что-то орёт по рации… а, ладно... По другую сторону арки Русский джип с парой офицеров, один горячо частит в микрофон своего передатчика, а воздух вокруг приходит в движение от разговорного Русского, со скоростью света вывязывает сеть для поимки Слотропа. Кого ж ещё? Он запахивает накидку через плечо, с подмигом козыряет к своему шлему и улыбается. С помпой фокусника, предъявляет им свои карточку, билет и двуязычный пропуск, добавив что-то про групповое представление в том Потсдаме.

Один из часовых взял пропуск и ныряет в свою будку позвонить по телефону. Остальные стоят, уставившись на ботинки Чичерина. Никто ни слова. Звонок затягивается. Исцарапанная кирза, однодневная щетина, скулы высвечены солнцем. Слотроп пытается припомнить пару карточных фокусов, что он когда-то делал, типа навести мосты. Часовой высовывает голову наружу: « *Stiefeln, bitte*».

Ботинки? На кой им эти— *йэээххх!* Ботинки, да, действительно. Мы знаем вне предположений кто это был на том конце, не так ли? Слотропу слышно как все металлические части в том человеке бряцают от ликования. В задымлённом небе Берлина, чуть где-то левее *Funkturm* в её стальной пряже удалённости, возникает полностраничное фото из журнала *Life*: это Слотроп, в полном облачении Ракетмэна, с чем-то смахивающим на длинную твёрдую колбасу очень большого диаметра впёртую ему в рот с таким напором, что у бедняги и глаза свело крест-накрест, хотя руку, или что там удерживает ошеломляющий сервелат: на снимке не видно. Пипец Ракетмэну гласит заголовок—« *Едва оторвавшись от земли самый недавний из знаменитостей Зоны 'наебнулся'*».

Ну-у-у Слотроп стаскивает ботинки, часовой уносит их внутрь к телефону—остальные прислоняют его к арке и наводят шмон, не находя ничего, кроме косяка данного ему Кислотой, который они экспроприируют. Слотроп ждёт оставшись в своих носках, стараясь не думать наперёд. Может так, чуть-чуть, поглядывая вокруг высмотреть укрытие. Ничего. Простреливается на все 360 градусов. Запахи свежего асфальта и оружейного масла. Джип, кристал яри-медянки, в ожидании: дорога ведущая обратно в Берлин, в эту минуту, пустынна... Провидение, эй, *Провидение*, где ты там, выскочило хряпнуть пивасика или ещё там что?

Вове нет. Ботинки являются вновь, улыбающийся часовой позади них. «*Stimmt, Herr Schlepzig*». Какие интонации в Русском для иронии? Эти пташки слишком невразумительны для Слотропа. Чичерин действовал бы тоньше, не заставлял бы снять эти ботинки для просмотра, чтобы не вызвать подозрения. Не-а, не может быть, что это он ответил на звонок. Это, наверное, обычный обыск обнаружить контрабанду, только и всего. Слотроп охвачен в этот момент тем, что Книга Перемен называет Юношеской Глупостью. Он запахивает свою зелёную накидку ещё на пару оборотов, выклянчивает Балканскую папиросу у одного из автоматчиков, и двигает прочь, в южном направлении. Офицерский джип стоит, где и был. Танк исчез.

Джубли Джим разносчик-торговец, ты только посмотри,

Подмигивает дамам от Стокбриджа до Ли—

Купи подружке брошку, забудешь про скуку,

А вот наряды бальные по доллару за штуку,

Эй, навались, к Джубли торопись!

Пройдя две мили по дороге, Слотроп встречает канал, про который говорил Кислота: сворачивает на тропку вниз под мост, где мокро и прохладно на минуту. Он отправляется вдоль берега, высматривая лодку для угона. Девушки в бюстгальтерах и шортах лежат, загорают, коричневый с позолотой, вдоль всего этого замечтавшегося травянистого склона. Облачный день растекается в смягчённые ветром абрисы, дети у края воды стоят на коленках с удочками, две птицы носятся над каналом, парят над гладью, раз за разом взмывая к застывшему шторму зелёной вершины дерева, куда они опускаются и начинают щебетать. В отдалении свет собирается в медленную бежевую дымку, в плоти девушек, уже не выбеленной солнцем из зенита, но в более мягком уже освещении, пробуждаются тёплые оттенки, лёгкие тени мускулов ляжек, напряжённые волоски клеток кожи зовут прикоснись… останься... Слотроп шагает дальше—мимо распахивающихся глаз, рассветно расцветающих улыбок. Что с ним не так? Да останься, конечно. Что гонит его проходить мимо?

Попадаются лодки, пришвартованные к перилам, но всегда кто-нибудь присматривает. Наконец он подходит к узкой плоскодонке, вёсла в уключинах и готова к отплытию, никого, лишь одеяло выше по склону, пара туфель на каблуках, мужской пиджак, стена деревьев. Так что Слотроп прямиком туда и

отчаливает. Забавляйтесь—это малость подло— *мне* не досталось, зато могу слямзить вашу *лодку*. Ха!

Он гребёт до заката, с долгими передышками, совсем потерял форму, накидка душит его в плотной упаковке из его же пота до того, что он вынужден снять ее, наконец. Утки держатся на благоразумном отдалении, вода капает с ярких оранжевых клювов. Гладь канала рябит под вечерним ветром, закат, перед его лицом, малюет по воде красным и золотым, царственные цвета. Затонувшие обломки торчат со дна, красный свинец и ржавчина наливаются закатной зрелостью, проломы в серой обшивке корпуса, лопнувшие заклёпки, расплетённый трос растопырил истеричные пряди по всем румбам, вибрируют ниже порога слышимости под бризом. Пустые баржи проплывают мимо, безхозно брошенные. Аист пролетает в вышине, направляясь домой, где-то внизу, нежданно, бледная арка переезда Авус возникает впереди. Ещё чуть дальше и Слотроп вернётся обратно в Американский сектор. Он сворачивает поперёк канала, сходит на противоположный берег и направляется к югу, стараясь обогнуть Советский контрольный пункт, который карта помещает где-то правее от него. Оживлённое движение в сумерках: Русские гвардейцы, элита в зелёных фуражках, маршируют и едут, с застывшими лицами, в грузовиках, на конях. Ясно чувствуется противодействие уходящего дне, напряжённость, дрожь в кольцах проволоки, Потсдам предупреждает не соваться… держись подальше... Чем ближе к нему, тем плотнее поле вокруг закрытого международного собрания за Хавелом. Бодайн прав: и комар не проскочит. Слотроп знает это, но так и продолжает красться вперёд, стараясь сливаться, усыплять неприметностью бдительность, делая зигзаги в перебежках, направленных неукоснительно к югу.

Невидим. В это всё легче верится по мере его продвижения. Когда-то давно в канун летнего солнцестояния, между полуночью и часом, зёрнышко папоротника угодило ему в обувь. Он юный невидимка, подменыш в доспехах. Кореш Провидения. *Их* головы забиты формами опасности, которым обучила их Война—фантомами, которые они, некоторые из них, обречены носить в себе до конца своих жизней. И тем лучше для Слотропа, кстати—он не от мира подобных опасностей. Они всё ещё застряли в географическом пространстве, устанавливая сроки и размещая подразделения, и единственные существа способные нарушить их пространство уже схвачены и обездвижены в книжках комиксов. Так им кажется. Им не известно, что сюда явился Ракетмэн. Они проходят и проходят мимо и он остаётся один, сливаясь с вечером своим бархатом и замшей—а если кто-то и уловит его силуэт, тот мгновенно отбрасывается на задворки мозга, где остаётся в ссылке среди всего прочего, что мерещится ночью...

И вот он снова виляет вправо. А тут всё ещё это гигантское супер шоссе, которое нужно пересечь. Некоторым из Немцев не удавалось попасть домой по 10, 20 лет, потому что оказались не на той стороне Автобана, когда его проложили. Напряжённо, с налившимися свинцом ступнями, Слотроп ползёт на насыпь Авуса, вслушиваясь в движение проносящееся над головой. Каждый водитель считает, что это он управляет машиной, будто у каждого отдельный пункт назначения, но Слотропу лучше знать. Водители сегодня тут, потому что ими пользуются Они,

чтобы те послужили смертельной преградой. Тут всё сплошь самоучки, Фрицы фон Оппели, что предвещает Слотропу оживлённый спринт—с рёвом закладывают вираж к знаменитой S-кривой, где маньяки в белых шлемах и тёмных очках гонщиков когда-то проносились ураганом на своей технике вкруг сугробов из кирпича визжащей позёмкой (восхищая взоры Полковников в парадной форме, Полковничьих дам в широкополых шляпах Гарбо, все в полной безопасности на своих белых башнях, и всё же захвачены событием, каждый в ожидании своего всплеска одной и той же катастрофы, что вот-вот разразится внизу…).

Слотроп высвобождает руки из-под накидки, позволяет поджарому серому Поршу прожужжать мимо, потом стартует, красный свет стоп-сигнала уносится вдоль его опущенной ноги, яркий свет фар несущегося следом армейского грузовика ударяет в поднятую ногу и отблескивает синей мозаикой, коснувшись белка одного из глаз в его впадине. Он кренится на бегу, крича « Hauptstufe!», боевой клич Ракетмэна, вскидывает обе руки и морскую зелень подкладочной ткани накидки широким веером, слышит звук тормоза, продолжает бег, врывается на разделительную полосу скоростного шоссе, заскакивает в кусты, пока грузовик скрежещет мимо и останавливается. Какое-то время слышны голоса. Позволили Слотропу перевести дыхание и отмотать накидку, что захлестнулась вокруг шеи. Наконец грузовик отъезжает. Полоса Авуса в южном направлении в эту ночь помедленнее и он пересекает её просто трусцой, вниз с насыпи и снова вверх между деревьев. Ого! Перескакивает скоростные шоссе одним махом!

Что ж, Бодайн, твоя карта без изъяна, за исключением одной маленькой детали, которую ты как бы, э, забыл отметить, интересно с чего бы... Оказывается, порядка 150 домов в Нойбабелсберге выделены и оцеплены как территория для проживания Союзнических делегатов на Потсдамской Конференции, а Широкая Морская Душа припрятал ту наркоту *точняк посредине* этого всего. Колючая проволока, прожектора, охранение разучившееся улыбаться. Слава Богу, то есть Кислоте, за тот спецпропуск сюда. Трафаретные знаки со стрелами сообщают Адмиралтейство, Мид, Госдепартамент, Начальники Штабов... Всё вокруг залито светом как на премьере в Голливуде. Непрестанно подъезжают и отъезжают гражданские в костюмах, платьях, смокингах, садятся в и выходят из BMW лимузинов с флагами всех наций рядом с ветровыми стёклами. Отпечатанные на мимеографе листки ворохом на камнях и в сточных канавах. Внутри будок часовых груды конфискованных камер.

Должно быть, они тут обвыклись со странной коллекцией представителей шоу-бизнеса. Никого особо не тревожит шлем, или накидка, или маска. Пара неясных телефонных звонков с пожиманием плечами, не слишком настойчивый вопрос вдогонку, но они таки пропускают Макса Шлепцига. Шарага Американских газетчиков въезжает на шарабане, с ухваткой за бутылки освобождённого Мозельского, они предлагают подвезти его немного. По пути затеяли спор какая он знаменитость. Одни посчитали, что он Дон Амече, остальные держат его за Оливера Харди. Знаменитость? на чём они тащатся? – «Да, ладно»,– грит Слотроп,– «вы меня просто не узнали в этом прикиде. Я тот самый Эрол Флин».

Ему не все поверили, но тем не менее он смог раздать пару автографов. Когда их компания разделяется, ищейки новостей обсуждают кандидаток на Мисс Рейнголд 1946. Сторонники Дороти Харт орут громче, но большинство на стороне Джил Дарнли. Всё это для Слотропа полная белиберда—пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем он натолкнётся на рекламу пива со снимком шести красоток и обнаружит, что сам он симпатизирует девушке по имени Хелен Рёкерт: блондинка с Голландской фамилией, которая неясно ему напомнит кого-то...

Дом 2 по Кайзерштрассе стилизован под Высокое Прусское Свинство и покрашен каким-то блёвно-коричневым, цвет нисколько не выигрывает от льдисто-холодного освещения. Он под более усиленной охраной, чем любой другой в округе. Ё, Слотроп удивляется с чего бы. Потом он видит знак с натрафареченным названием для содержимого.

– О, нет. Нет. Не транди.– Какое-то время он стоит на улице, дрожа и проклиная того Моряка Бодайна, долбодона, сволочугу и агента смерти. Знак извещает Белый Дом. Бодайн вывел его прямиком к незнакомому франту в очках, который глядел вдоль утренней Фридрихштрассе—к лицу, что тихонько влилось на смену тому, которое Слотроп никогда не видел и никогда уж теперь не увидит.

Часовые с винтовками на ремнях без движения, как и он. Складки его накидки перешли в подпорчено-бронзовый в дуговом освещении. Позади виллы плещет вода. Грянувшая внутри музыка заглушает плеск. Концерт. Не удивительно, что он прошёл так легко. Они ждут этого фокусника, этого запоздалого гостя. Очарование, слава. Он мог бы вбежать и броситься кому-то в ноги, моля об амнистии. Кончит заключением контракта на всю оставшуюся жизнь с сетью радиовещания, а или с киностудией! Милосердие оно ведь такое, правда же? Он поворачивается, стараясь не слишком поддаться на это, и шагает прочь от света, высматривая как пройти к той воде.

Берег Грибниц Зее тёмен, окаймлён звёздами, опутан проволокой, оживлён бродячими охранниками. Огни Потсдама, кучно и россыпями, мигают за чёрной водой. Слотропу приходится пару раз заходить в неё по задницу, огибая ту проволоку и дожидаясь пока охранники сойдутся на сигарету в конце маршрута их обходов, прежде чем смог рвануть, подшлёпываясь мокрой накидкой, к вилле. Гашиш Бодайна зарыт вдоль одной из сторон дома, под определённым кустом можжевельника. Слотроп садится на корточки и начинает разгребать грязь руками.

Внутри идёт веселье. Девушки поют «Не сиди под яблоней», и если это не Сёстры Эндрюс, то вполне могли бы быть. Им аккомпанирует танцевальный оркестр с большущей группой деревянных духовых. Смех, перезвяк посуды, международная болтовня, обычная средней руки вечеринка тут, на великой Конференции. Гашиш завёрнут в фольгу внутри заплесневелой грязной сумки. Пахнет отлично. О, ё-ж-твою—ну зачем он не прихватил с собой трубочку.

Вообще-то, оно и лучше. Над Слотропом, на уровне глаз, терраса и распятые на шпалерах персиковые деревья в молочном цветении. Пока он наклоняется поднять сумку, Французское окно отворилось и кто-то выходит на террасу подышать воздухом. Слотроп замирает, повторяя в уме *невидим, невидим*... Шаги приблизились и над перилами склоняется—да, это может показаться странным, Микки Руни. Слотроп узнаёт его мгновенно, веснушчатый чокнутый сын судьи Харди, в смокинге и с его лицом я-схожу-с-ума. Микки Руни вылупился на Ракетмэна с сумкой гашиша, мокрый призрак в шлеме и накидке. Носом вровень с блестящими чёрными туфлями Микки Руни, Слотроп смотрит вверх в освещённую комнату позади—видит кого-то малость схожего с Черчиллем, до хрена дам в вечерних платьях с такими глубокими декольте, что даже при этом ракурсе ему видно больше титек, чем на представлениях в стрип-клубе Мински… и может быть, может быть он даже увидал того Трумена. Он *знает*, что *видит сейчас* Микки Руни, хотя Микки Руни, при любых обстоятельствах, будет скрывать факт, что он когда-либо видел Слотропа. Это поворотный момент. Слотроп чувствует, что ему следует что-нибудь сказать, но речедвигательные центры резко ему отказали. Почему-то «Привет, ты же Микки Руни» кажется не слишком подходящим. Так что оба остаются абсолютно недвижимы, ночь победы реет вокруг них, и великие мира в жёлтой электрической комнате вырисовываются явно.

Слотроп первым прерывает этот миг: прикладывает палец к губам и увиливает за угол виллы, и вниз к берегу, оставляя Микки Руни, упёршего локти в перила, так и смотреть.

Выйдя за проволоку, избегая часовых, у самого края воды, покачивая вещевую сумку за её завязки, он натыкается на расплывчатую идею у себя в голове, что надо бы найти другую лодку и просто на вёслах вернуться в тот Хавел—точно! Почему нет? И лишь при звуках отдалённого разговора в другой вилле, ему доходит, что он, похоже, забрёл на Русскую часть территории.

– Хмм,– прикидывает Слотроп,– в таком случае мне—

И тут опять является та колбаса. Фигуры за полметра от него—вполне возможно прямо из воды. Он крутанулся и уставился в широкое, чисто выбритое лицо, волосы зачёсаны, как грива льва, назад, взблеск стальных зубов, чёрные глаза мягки как у Кармен Миранды—

– Да,– ни малейшего акцента в его Английском шёпоте,– за тобой следили всю дорогу.– Остальные расхватали его руки. Высоко в левой, он чувствует что-то острое, почти не больно, очень знакомое. Прежде, чем его горло успело шевельнуться, он уже не тут, он на Колесе, хватаясь в ужасе за белую исчезающую точку самого себя, в первом завихрении анестезии, парит застенчиво над пропастью Смерти...

* * * * * * *

Мягкая ночь, полна расплескавшихся золотом звёзд, вроде ночи в далёких пампасах, о которой любил писать Леопольдо Лугонес. Подлодка тихо покачивается на воде. Звучит лишь урчанье воздушной помпы, время от времени включающейся в нижних отсеках да Эль Нято на корме с его гитарой наигрывает милонги Буэнос-Айреса. Беластегуи внизу, работает над генератором. Луз и Филипе спят.

Возле креплений для 20 милиметровых, Грасиела Имаго Порталес печально бездельничает. В своё время она была городским идиотом Буэнос-Айреса, не опасной ни для кого, в дружбе с любым, из всего спектра, начиная от Киприано Рейеса, который однажды за неё заступился, и до католической Ассисьон Аргентина, до того как та распалась. Она была особой любимицей литераторов. Говорят, Борхес посвятил ей стихи (“*El laberinto de tu incertidumbre/ Me trama con la disquietante luna.* . .”).

В команде, что угнала эту подводную лодку, встретишь любую разновидность Аргентинских маний. Эль Нято тут говорит сленгом гаучо 19-го столетия—сигареты у него «*pitos*», ягодицы «*puchos*», и пьёт он не канью, а «*latacuara*», а как напьётся, становится «*mamao*». Иногда Фелипе приходится переводить его речь. Фелипе сложный молодой поэт с уймой неприятных восторженностей, включая романтичные и необоснованные понятия об этих гаучо. Он постоянно заискивает перед Эль Нято. Беластегуи, исполняющий должность главмеха, из Этре Риос, и позитивист в традициях того региона. Весьма ловко владеет ножом для пророка науки к тому же, по этой причине Эль Нято до сих пор не попытался разобраться с этим Месапотамским Большевиком-безбожником. Что держит их солидарность под непрестанным стрессом, который, впрочем, тут далеко не единственнен. Луз нынче с Филипе, хотя номинально она девушка Сквалидози—после того, как Сквалидози пропал в своей поездке в Цюрих, она начала крутить с поэтом на основе страстной декламации «Павос Реалес» Лугонеса, в ту душную ночь, как однажды лежали в дрейфе у берегов Матосинхос. В этой команде ностальгия сродни морской болезни: только надежда умереть от неё поддерживает в них жизнь.

Сквалидози всё-таки появился в Бремерхавене. За ним только что гонялась по остаткам Германии Британская Военная Разведка, непонятно зачем.

– Почему ты не поехал в Женеву, чтобы держать нас в курсе?

– Я не хотел вывести их на Ибаргуенготия. Вот и послал другого.

– Кого?– Беластегуи интересно знать.

– Совсем не спросил его имени.– Сквалидози почесал лохмы на своей голове.– Наверно глупо было так поступать.

– Больше с ним не встречался?

– Нет, совсем нет.

– Они теперь будут следить за нами,– Беластегуи мрачнеет.– Кем бы он ни был, за ним охота. Ну хорошо же ты разбираешься в людях.

– А что, по-твоему, мне следовало делать: отвести его сперва к психоаналитику? Оценить способности? Сидеть пару недель *в раздумьях* как быть?

– Он прав,– Эль Нято вскидывает увесистый кулак.– Пусть бабы думают так или эдак, анализируют. Мужчина должен всегда идти напролом, смотреть прямо Жизни в глаза.

– Ты гадок,– сказала Грасиела Имаго Порталес.– Ты не мужчина, ты взопревшая лошадь.

– Благодарю,– Эль Нято кланяется с полным достоинством гаучо.

Никто не кричал. Разговор в стальном пространстве в ту ночь был полон тихих смягчённых «с» и нёбных «й», особая, неохотная острота Аргентинского испанского, привнесённая годами разочарований, самоцензуры, длинных обиняков в обход политической правды—привело Государство жить в мускулах твоего языка, во влажной интимности твоих шевелящихся губ… *peroché, nosós argentino*.

В Баварии, Сквалидози спотыкался по окраинам городка, на несколько минут опережая Ролс-Ройс со зловещим куполом в крыше, зелёный Плексиглас, сквозь него ничего не увидишь. Солнце только что село. Неожиданно он услыхал выстрелы, стук копыт, гнусавые металлические голоса на Английском. Но причудливый городишко казался безлюдным. Как так? Он вошёл в кирпичный лабиринт, что когда-то был фабрикой гармоней. Выплески металла для колоколов лежали навсегда беззвонными в грязи литейной. По высокой стене недавно покрашенной белым, тени коней и их всадников тратататакали. Рассевшихся для просмотра на верстаках и ящиках дюжину лиц, Сквалидози мгновенно определил как гангстеров. Концы сигар тлели, бандиты перешёптывались на Немецком. Они ели сосиски, срывая плёнку белыми зубами, хорошо ухоженными, которые поблескивали в свете от кино. Все щеголяли перчатками Калигари, вошедшими в моду в летней Зоне: костяно белые, за исключением четырёх тёмно-фиолетовых линий расходящихся по спине перчатки от запястья к костяшкам пальцев. Одеты все в костюмы почти такого же светлого цвета, как и их зубы. Это показалось экстравагантным для Сквалидози после Буэнос-Айреса и Цюриха. Женщины часто перезакладывали ногу на ногу: напряжённые, как гадюки. В воздухе завис травянистый запах, запах горящих листьев, что странным Аргентинцу, смертельно больному тоской по родине, который мог увязать его лишь с запахом свежезаваренного *maté* после долгого дня в седле. Коронованные оконные рамы смотрели на кирпичный двор фабрики, где летний воздух двигался мягко. Свет фильма мельтешил синим поперёк пустых окон, словно он был дыханием в

попытке извлечь ноту. Кадры окрысились местью. «Ага!»– вскрикнули все зутеры, белые перчатки замахали сверху вниз. Их рты и глаза расширились, как у детей.

Катушка киноленты кончилась, но всё осталось в темноте. Огромная фигура в белом зуте поднялась, потянулась, и протопала прямиком туда, где съёжился Сквалидози, обмерши.

– Они за тобой, амиго?

– Пожалуйста—

– Нет, нет. Спокойно. Смотри с нами. Это Боб Стил. Он классный парень. Тут ты в безопасности.– Несколько дней, как выяснилось, гангстерам известно было, что Сквалидози где-то тут в округе: они могли вычислить его передвижения, хоть самого его не знали, по манёврам полиции, которых знали. Блотгет Ваксвинг— потому что это был он—применял нечто аналогичное затуманенной камере, и следу испарения оставляемого частицей на сверх скоростях...

– Я не понимаю.

– И мне не всё ясно, приятель. Но нам приходится присматривать за всем, а сейчас все умники с ума сходят по какой-то хрени с названием «ядерная физика».

После фильма, Сквалидози был представлен Герхарду фон Гёлю, известному также под его *nom de pègre* «Дер-Шпрингер». Похоже, люди Гёля и Ваксвинга проводили деловое совещание на колёсах, носясь по дорогам Зоны колонной, меняя автобусы и грузовики так часто, что не оставалось времени для нормального сна, а только на дрёму—посреди ночи, посреди поля, неизвестно когда, придётся сойти, сменить транспорт и ехать дальше по другой дороге. Ни мест назначения, ни устоявшегося маршрута. Большая часть перевозок обеспечивал ветеран автомобильных угонов Эдуард Санктволке, который мог угнать всё, что угодно на колёсах или тракторных гусеницах—даже имел при себе сделанный на заказ эбонитовый кейс полный роторных рычагов, для любой марки, модели и года, на случай если владелец намеченной техники вынул столь необходимую деталь.

Сквалидози и фон Гёль сразу же поладили. Этот кинорежиссёр превратившийся в рыночного дельца вознамерился финансировать все свои будущие фильмы из собственных несметных доходов: «Единственный способ довести съёмки до конца ¿verdad? А скажите-ка, Сквалидози, вы выше всего этого? Или ваш анархистский план может принять какую-то помощь?

– Зависит от того что вы от нас хотите.

– Фильм, конечно же. Какой бы вам хотелось сделать? Как насчёт *Мартин Фиеро?*

Главное, чтобы клиент оставался довольным. Мартин Фиеро не просто герой гаучо из эпической Аргентинской поэмы. На подлодке его считают святым анархии. Поэма Эрнандеса присутствует в Аргентинском политическом мышлении уже многие годы—у каждого своё истолкование, из неё цитируют так же запальчиво и часто, как делали в Италии 19-го века из *IPromessi Sposi*. Это коренится в давнишней основной поляризации Аргентины: Буэнос-Айрес и провинции или, по мнению Фелипе, между правительством и анархизмом гаучо, в котором он стал ведущим теоретиком. У него одна из тех шляп с круглыми полями и шариками свисающими с них, он завёл привычку бездельничать в проходах между отсеками дожидаясь Грасиелу: «Добрый вечер, голубка. Найдётся у тебя поцелуй для Анархиста Бакунина?»

– Ты больше смахиваешь на Гаучо Маркса,– воркует Грасиела и оставляет Филипе дописывать наброски сценария, который тот составляет для фон Гёля, используя для этого одолженный у Эль Нято томик Мартина Фиеро, давно распавшийся на части от перепролистываний, пропахший потом лошадей, чьи имена Эль Нято, плачевно *mamao*, перечислит тебе до единого...

Затенённая равнина в закате. Безграничная плоскость. Ракурс камеры удерживается невысоким. Появляются люди, медленно, по одному или небольшими группами, верстая свой путь через равнину к селению возле мелкой речушки. Лошади, скот, огни на фоне сгущающейся темноты. Вдали, на горизонте, возникает одинокая фигура всадника, что скачет всё ближе и ближе, заполняя весь экран, по которому движутся титры. В какой-то момент нам видна гитара, переброшенная у него за спину: он *payador*, странствующий певец. Наконец он спешивается и подходит присесть с людьми у костра. После еды и выпитой канья, он берёт свою гитару и начинает бренчать на трёх басовых струнах, бордоны, и петь:

Aquí me pongo a cantar

l compás de la vigüela,

que el hombre que lo desvela

una pena estrordinaria,

como la ave solitaria

con el cantar se consuela.

И так вот, под пение Гаучо, разворачивается его история—монтаж его прежней жизни на *estancia*. Потом приходит армия и забирает его новобранцем. Уводят его на границу убивать индейцев. Это период кампании генерала Роха с тем, чтоб открыть пампасы путём уничтожения людей, которые живут там: превратить деревни в каторжные лагеря, передать страну под контроль Буэнос-Айреса. Мартину Фиеро вскоре это всё опротивело. Это против всего, что он считает правильным. Он дезертирует. За ним высылают солдат для поимки, и он

убеждает Сержанта во главе отряда перейти на его сторону. Вместе они уходят через границу жить на воле, жить с индейцами.

Это первая серия. Семь лет спустя Эрнандес написал вторую часть *Возвращение Мартина Фиеро*, в которой Гаучо становится предателем: возвращается обратно в Христианское общество, отказывается от своей свободы ради своего рода конституционного *Gesellschaft*, которое в тот период проталкивал Буэнос-Айрес. Очень моральный конец, но полная противоположность первой.

– Ну и что мне делать?– Фон Гёль вроде как хочет разобраться.– Обе части или только Первую серию.

– Ну,– начинает Сквалидози.

– Я знаю что вам нужно. Однако я смогу получить лучший прокат от двух фильмов, если первый обеспечит хорошие кассовые сборы. Но сможет ли?

– Да конечно сможет.

– Нечто настолько анти-общественное?

– Но в этом всё, во что мы верим,– горячится Сквалидози.

– Однако, даже самые независимые гаучо кончают как предатели, сам знаешь. Так уж оно ведётся.

Такой уж он, этот фон Гёль, во всяком случае. Грасиела-то его знает: имеются связующие линии, зловещие кровные связи и зимовки в Пунта дел Эста, через *Anilinas Alemanas*, филиал ИГ в Буэнос-Айресе, и далее через *Spottbilligfilm AG* в Берлине (ещё одно дочернее предприятие ИГ, от кого фон Гёль обычно по сниженным ценам получал большую часть своих запасов плёнки, а также необычную и слабо раскупавшуюся «*EmulsionJ*», которую изобрёл Ласло Джампф, которая обладала особым свойством делать, даже при обычном дневном освещении, человеческую кожу прозрачной на глубину в полмиллиметра, открывая лицо непосредственно под его поверхностью. Эта эмульсия широко применялась в бессмертном *Alpdrücken* фон Гёля и могла также использоваться в *Мартин Фиеро*. Единственный эпизод эпопеи, который действительно захватывал фон Гёля, была песенная дуэль между белым гаучо и тёмным Эль Морено. Она могла бы послужить интересным приёмом обрамления. Применяя *EmulsionJ*, он мог бы углубиться под цвет кожи состязающихся, с плавными переходами туда и обратно между *J* и обычной плёнкой, подобно расплыванию резкости с возвращением фокусировки, или стиранию—как он любил стирания!—одного другим массой хитроумных способов. С момента, когда стало известным, что *Schwarzkommando* реально существуют в Зоне, живут настоящей, парасинематографической жизнью не имеющей ничего общего с ним или с поддельными *Schwarzkommando* в отснятом им прошлой зимой в Англии материале для *Операции Чёрное Крыло*, фон Гёль витает в экстазе сдерживаемой мегаломании. Он убеждён, что его фильм как-то стал причиной их

существования: «Моя миссия в том»,– объявляет он Сквалидози с глубочайшим смирением, присущим исключительно Германским кинорежиссёрам,– «чтобы засеять Зону семенами реальности. Таково требование исторического момента, и я могу лишь только быть его слугой. Мои образы, каким-то образом, стали избранными для воплощения в реальную плоть. Что я способен сделать для *Schwarzkommando*, я могу сделать и для вашей мечты о пампасах и небесах... Я смогу снести ваши заборы и стены ваших лабиринтов, я могу указать вам путь в Сад, который вы едва помните...»

Его безумие явно заразило Сквалидози, который затем вернулся на подводную лодку и, в свою очередь, заразил остальных. Похоже, именно этого они и дожидались: «Африканцы!»– размечтался обычно сугубо деловой Беластегуи на штабном заседании: «Что если это правда? Что если мы действительно возвращаемся, обратно к тому как было всё до разбегания материков?»

– Обратно в Гондвану,– прошептал Филипе.– Когда Рио де ла Плата омывала Юго-Западную Африку… и мезозойские беженцы уходили на пароме не в Монтевидео, а в Людерицбухт.

Планируют как-то пробраться в Люнебург Хит и основать там небольшую *estancia*. Фон Гёль их там встретит. Возле крепления для пулемёта Грасиела Имаго Порталес отдаётся мечтам. Может фон Гёль окажется допустимым компромиссом? Случаются основы похуже, чем кино. Выстояли ли фальшивые деревни князя Потёмкина проезд царицы? Переживёт ли душа Гаучо процесс обращения её в свет и звук? Или кто-то заявится в конце, фон Гёль или ещё там кто-то, отснять Вторую серию и развенчать мечту? Высоко над нею скользит Зодиак, созвездия северного полушария, которых они никогда не видела в Аргентине, гладко как часовая стрелка... Вдруг раздаётся долгий всплеск статики из громкоговорителя и Беластегуи орёт: «*Der Aal! Der Aal!*» При чём тут *угорь*, удивляется Грасиела, то есть угорь? О, да, торпеда. Ах, этот Беластегуи ничем не лучше, чем Эль Нято, у него свой сдвиг, будто он обязан придерживаться сленга Германских подводников, это просто *precisamente*, эта бороздящая моря Вавилонская Башня— *торпеда?* Почему он орёт про торпеду?

По той простой причине, что подлодка только что появилась на экране локатора Американского эсминца *Джон Э. Бэдас* (улыбнитесь, подлодка!), в виде «падлы» или неопознанной точки, и *Бэдас* с мускулистым послевоенным рефлексом, даёт теперь полную фланговую скорость. Видимость в эту ночь превосходная, зелень отражается «гладенько, как кожа младенца», подтверждает Спирос («Паук») Телангицтасис, Локаторщик второго класса. Можешь просматривать аж до Азорских. Лёгкий, светящийся летний вечер на море. Но что это такое сейчас на экране, движется быстро, с каждым оборотом, прерывисто, как капля света от начальной точки, крохотной, но явной, к неизменному центру оборотов, теперь всё ближе—

– Пекарьпекарьпекарь!– вопит кто-то внизу в Гидролокаторной, громко и испугано, в наушники. Значит, приближается вражеская торпеда. Кофейные стаканчики

смяты, параллельные линейки и циркули проскальзываются поперёк стеклянного покрытия Сверяющим Счислителем покуда старая жестяная калоша тормозит в отступательном манёвре, что был устаревшим ещё при администрации Кулиджа.

Der Aal пронизывает воду бледным туннелем метящим пресечь отчаянную морскую увёртку Бэдаса по середине корпуса. Помехой всему стал наркотик Онерин, в виде гидрохрората. Машиной, из которой он выскочил, стала кофеварка в столовой *Джона Э. Бэдаса*. Озорной Моряк Бодайн—а кто ж ещё—зарядил помол на сегодняшний вечер массивной дозой прославленного интоксиканта от Ласло Джампфа, прихваченного в недавней поездке Бодайна в Берлин.

Особое свойство Онерина модулировать время стало одним из первых, среди привлёкших внимание естествоиспытателей: «Это ощущается»,– пишет Шецлин в своём классическом исследовании,– «подходя субъективно… э… ладно. Скажем так. Это вроде как впихнуть лохмы серебряной мочалки *прямо, тебе, в мозги!*» Так что, в мягком море-обороте этой ночи, два роковых курса действительно пересеклись в пространстве, но не во времени. Во времени и близко нет, хе-хе. То, во что Беластегуи выпустил свою торпеду, было тёмноржавой старой развалиной, пассивно влекомой течениями и ветром, но привносящей в ночь нечто от черепа: оглашение металлической пустоты, тени, что вселяла страх и в более убеждённых позитивистов, чем Беластегуи. А то, что было визуально опознано в той ускоренной точечке на экране локатора *Бэдаса*, оказалось трупом, тёмного цвета, возможно Северно-Африканской национальности, и расчёт 3-дюймовой пушки на турели по правому борту эсминца, крошил его полчаса в клочья, пока серый военный корабль держался в отдалении, опасаясь заразы.

Так какое же море ты пересёк, конкретно, и в какое море погружался не раз до дна, в тревоге, разбухая адреналином, но в действительности втиснутый, вкопыченный, врогаченный под эпистемологии этих опасностей, что паранойят тебя напрочь, заключённого в этой стальной кастрюле, размякшего до обезвитаминенной массы в суповом наборе твоих собственных слов, твоего затхлого подлодочного дыхания? Понадобилось Дело Дрейфуса, чтобы расшевелить и объединить Сионистов, в конце концов: что выкурит тебя из твоего супового горшка? Или это уже произошло? Может нападение и спасение сегодня вечером? Отправишься ли ты в Хит и начнёшь своё поселение и станешь ждать там пришествия своего Режиссёра?

* * * * * * *

Под высокой ивой рядом с каналом, в джипе, в тенёчке, сидят Чичерин и его водитель Джабаев, молодой Казах наркоман, в прыщах и с постоянно недовольным видом, который зачёсывает свои волосы на манер Американского певеца-декламатора Фрэнка Синатры, и который, в эту минуту, хмурится на краюшку гашиша, делая выговор Чичерину: «Ты должен был урезать больше этого, знаешь».

– Я взял как раз столько, во что он ценит свою свободу,– поясняет Чичерин.– Ну где уже та трубка?

– Откуда тебе знать насколько ему дорога его свобода? Знаешь, что я думаю? Я думаю, у тебя от этой Зоны уже пошли сдвиги в хи-хи.– Этот Джамбаев скорее приятель, на самом деле, чем водитель, так что имеет иммунитет для сомнений, в определённых пределах, насчёт мудрости Чичерина.

– Слушай, мужик, ты читал тот протокол. Этот человек несчастный одиночка. И у него проблемы. Полезнее, если он будет куролесить по Зоне, считая себя свободным, хотя для него было бы лучше, если б его где-то прикрыли. Он вообще без понятия что такое его свобода, а ещё меньше чего она стоит. Так что это я назначаю цену, которая значения не имеет, карочи.

– Тиран по полной,– хмыкает Джабаев.– Где спички?

Хоть и с грустинкой, Чичерину нравится Слотроп. Он чувствует, что, в любой нормальный период истории, они бы запросто сдружились. Люди в причудливых костюмах умеют жить со смаком—не говоря уже про надтреснутость личности—который его восхищает. Когда он был маленьким мальчиком, ещё в Ленинграде, мама пошила ему костюм для школьного утренника. Чичерин был волком. В тот же миг, как только он одел маску, перед зеркалом возле иконки, он опознал себя. Он волк.

Сессия с Натрием Амиталом скребёт изнанки мозга Чичерина, как будто это его личное похмелье. Глубоко, глубоко—дальше, чем политика, чем секс, чем младенческие страхи… погружение в ту глубинную черноту... Чёрный пронизывает весь протокол: постоянно повторяющийся цвет чернота. Слотроп ни разу не помянул имя Тирлича, ни *Schwarzkommando*. Хотя он-таки проговорился о *Schwarzgerät*. И он сочетал «*schwarz*-» со странными существительными в отрывках мелькавших на Немецком. Чёрноженщина, Чёрноракета, Чёрносон… Эти новообразования, похоже, производились подсознательно. Имеется ли единый корень, глубже, чем кто-либо проверял, от которого Слотропово Чернословие только кажется отдельными побегами? Или же он посредством языка уловил Германскую манию производства наименований, измельчать Мир Сотворённый всё глубже и глубже, анализировать, отделяя именующего от поименованного всё безнадёжнее, скатываясь даже до математического комбинирования, смётывая воедино уже устоявшиеся существительные для получения новых, бесконечный лохотрон химика, у которого слова вместо молекул...

Этот человек просто головоломка. Когда Гели Трипинг в первый раз помянула его наличие в Зоне, Чичерина он заинтересовал не более, чем для постановки на обычный учёт, вместе с десятками прочих. Единственная странность, которая становилась всё более странной по ходу наблюдения, что он выглядел одиночкой. До сих пор, Слотроп не скопировал, не пометил, не обнаружил, не освободил ни единого кусочка из конструкции А4 или разведывательных данных о ней. Он не

сносится с ГООЗ, ПОРЦ, ОБВС, ТР, ни с Американскими службами такого же толка—вообще ни с одной конторой Союзников. И всё же он один из Правоверных—сборщиков утиля, рыскающих без устали сейчас по запасным маршрутам батарей А4 от Голландии и аж до Нижней Саксонии. Пилигримы на дорогах чуда, каждый кусочек и обломок священная реликвия, каждый обрывок инструкции стих Писания.

Но обычные запчасти Слотропа не интересуют. Он темнит, приберегает себя для чего-то действительно уникального. Может для Чёрноракеты? Может это 00000? Тирлич ищет её, а также загадочный Schwarzgerät. Тут, несомненно, есть хороший шанс, что Слотроп, подчиняясь своей Чёрнофеноменологии, отвечая её потребностям, пусть даже сокрытым от него, всё так же будет возвращаться, круг за кругом, к Тирличу, пока миссия не будет исполнена, части добыты, железо найдено. Это сильная версия: ничего подобного Чичерин никогда не изложит письменно.

В своих действиях, он тут такой же одиночка как и Слотроп—подчиняясь, если и когда, специальному комитету Маленкова при Совете Народных Комиссаров (задание ЦАГИ тут более менее для отвода глаз). Но Слотроп его парнишка. За ним будут следить, как положено. Если упустят, что ж, найдут снова. Жаль, что тому не привьёшь личной заинтересованности кончить Тирлича. Но Чичерин вряд ли такой дурак, чтоб считать всех Американцев настолько же тупыми как майор Марви, с его рефлексами относительно черноты...

Какая жалость. Чичерин и Слотроп могли бы курить гашиш вместе, сравнивать, кто что подметил в Гели и прочих девушках руин. Он мог бы петь на мотив Американских песенок, которым обучила его мать, Киевские колыбельные, про звёздную ночь, влюблённых, белый цвет, соловьёв...

– В следующий раз как нам попадётся этот Англичанин,– Джабаев странно уставился в свои руки стиснувшие руль,– или Американец, или кто он там есть, ты уж узнай, откуда он берёт такую дурь.

– Пиши докладную, чтобы не забыть,– отдаёт приказ Чичерин. Они оба начинают гоготать как чокнутые там, под деревом.

* * * * * * *

Слотроп приходит в себя эпизодически, уплывая и всплывая из сна, из размеренных и безмятежных обрывков разговора на Русском, к пальцам на его пульсе, к широкой зелёной спине кого-то выходящего за дверь... . Это белая комната, идеально кубическая, хотя он какое-то время не может распознавать кубы, стены, лёжа горизонтально, ничего слишком объёмного. Только уверенность, что его опять кололи тем Натрием Амиталом. Уж это ощущение ему знакомо.

Он на койке, всё ещё в наряде Ракетмэна, шлем на полу внизу возле матросской вещевой сумки с гашишем— *ох-ох*. Хоть это требует сверхчеловеческого напряжения перед лицом сомнений, сможет ли он хотя бы просто шевельнуться, ему удалось перевернуться и проверить наркоту. Одна из упаковок фольги, похоже стала меньше. У него уходит встревоженный час или два, чтобы вскрыть верх и обнаружить, ну конечно, свежий срез, сырая зелень на грязно-коричневом большого куска. Шаги позванивают по металлическим ступеням снаружи, и тяжёлая дверь распахивается вниз. Блядь. Он лежит в белом кубе, в полуотключке, ноги попустило, руки сцеплены на затылке, никуда особо не торопится... Он засыпает и видит птичек, тесную стайку снегирей, привеявшийся опавший листок из птиц, среди хлопьев густо падающего снега. Это ещё в Бёркшире. Слотроп мал и держит отца за руку. Плот из птиц взмывает, под напором, кверху, боком к буре, снова вниз, выискивая пищу: «Бедные малышата»,– грит Слотроп и чувствует как рука отца пожимает его через шерстяную варежку. Саймон улыбается: «Они не пропадут. Сердечки их бьются быстро-пребыстро. Кровь и перья держат их в тепле. Не волнуйся сынок, не волнуйся...» . Слотроп вновь просыпается в белой комнате. Тихо-то как. Приподнимает зад и делает пару вяло велосипедных упражнений, потом лежит, похлопывая по новой складке, что набралась на его брюхе, должно быть пока был в отключке. Есть невидимое царство складки, миллионное скопление клеток и всем им известно кто он такой—стоит ему вернуться в бессознание и они заводятся, все до одной, трубить высокими жутко пронзительными голосками Мики Мауса, эй, братва! а ну-ка, валим на Слотропа, этот дубина ничё не делает токо, знай, задницу отлёживает, погнали, эгей! – «А вот вам»,– бормочет Слотроп,– «а и вот вам всем!»

Руки-ноги с виду целы, он поднимается со стонами, одевает шлем на голову, поднимает вещевую сумку и выходит в дверь, которая вся содрогается вместе со стенами, когда он её открывает. Ага! Квартиры из холста. Это съёмочный павильон. Слотроп находится в старой заброшенной студии, что тонет в темноте за исключением жёлтых пятен солнечного света в мелких дырках над головой. Заржавелые переходы, что кряхтят под твоим весом, чёрные выгоревшие прожектора-юпитеры, искусная сеть паучьей паутины тонкими лучиками солнца превращена в произведение графики... Пыль скопилась по углам и на останках прочих декораций: фальшиво-*gemütlich* любовные гнёздышки, арочно-стенные и переполненные фикусами ночные клубы, Вагнерианские замки из папье-маше, дворы трущоб в резко Экспрессионистском белом/чёрном, составленные вне человечьего масштаба, всё измельчается прочь от мощных линз, что когда-то воззрялись в них. Круги света, намалёваные на декорациях, действуют Слотропу на нервы, ему постоянно попадаются эти разрежено жёлтые полосы, он резко озирается, потом вообще разворачивается в поисках источника света, которого там никогда не бывало, всё более возбуждаясь рысканьем по старой раковине, фермы перекрытий на высоте 15 метров, почти теряются в тени, спотыкается о свои же эха, чихает от пыли поднятой им самим. Русские ушли, это точно, но Слотроп тут не один. Он спускается по ступеням металлической лестницы, меж оборванных паутин с высохшей добычей озлившихся пауков, ржавчина похрустывает под подошвами, и внизу ощущает вдруг, как его дёрнули за накидку.

Всё ещё малость в тумане после того укола, он только лишь резко отшатывается. Его держит рука в перчатке из лоснящейся козлиной шкуры плотно обтягивающей чётко очерченную маленькую кисть. Женщина в чёрном парижском платье, с пурпурно-жёлтым ирисом на груди. Даже смягчаемый бархатом, трепет её руки передаётся Слотропу. Он заглядывает в её глаза словно бы тонущие в мягком чёрном пепле, отдельные крупинки пудры на её лице проступают как поры, не покрытые припудриванием или омытые слезами. Так он встречает Маргрету Эрдман, его летний очаг без огня, его прямой доступ к воспоминаниям об *Inflationszeit*, испятнанным страхом—его дитя и его беспомощную Лизору.

Она тут проездом: одна из миллиона утративших корни. В поисках своей дочери, Бианки, движется на восток в Свинемюнде, если Русские и Поляки пропустят. Завернула в Нойбабелсберг ради сентиментальных воспоминаний—столько лет не видала старые студии. В двадцатые и тридцатые она работала киноактрисой, в Темплхофе и Штаакене тоже, но здесь всегда было её самое любимое место. Тут ею руководил великий Герхардт фон Гёль в завуалированно порнографичных фильмах ужасов: «Я знала, что он гений, с самого начала. И сама была всего лишь его произведением». Никогда на уровне звёзд, признаёт она сразу, не Дитрих, ни соблазнительница *à la* Бригитта Хелм. Но передавала любой штрих, который они от неё хотели, впрочем—(Слотроп: «Они?» Эрдман: «Ну не знаю...»), её называли анти-Дитрих: не пагуба мужчин, а кукла—утомлённая, покорная... – «Я смотрела все наши фильмы»,– вспоминает она,– «некоторые по шесть-семь раз. В них я нигде не *двигалась*. Даже моё лицо. Ах, эти долгие, долгие подёрнутые кисеёй ближние планы… это мог быть один и тот же кадр, снова и снова. Даже убегая—за мною всегда кто-то гнался, чудовища, безумцы, преступники—я всё же оставалась такой»—взблеск браслетов—«флегматичной… такой монументальной. Если без погони, то меня обычно раздевали, или привязывали к чему-нибудь. Пойдём. Я тебе покажу» Ведёт теперь Слотропа к тому, что осталось от камеры пыток, деревянные зубья повыбиты из колеса дыбы, кирпичная кладка из штукатурки изъедена, осыпается, взбивая пыль, мёртвые факелы холодны, перекосились в своих бра. Она пускает деревянную цепи, почти вся серебристая краска облезла, скользить со стуком меж её пальцев в перчатках из шкуры козлёнка: «Это был павильон для *Alpdrücken*. Герхардт в те дни всё ещё стоял за экстра освещение». Серебристо-серый собирается в крохотных морщинках её перчаток, когда она стряхивает пыль с дыбы и ложится на неё: «Вот так»,– вскинув руки настаивает, чтобы он закрепил жестяные манжеты кандалов на её запястья и лодыжки: «Свет направлялся сверху и снизу одновременно, так что у каждого появлялись две тени: Каин и Абель, говорил нам Герхард. Это было зенитом в периоде его символизма. Позднее он начал использовать более естественный свет, больше снимать на природе».– Они ездили в Париж, Вену. На Херенхимзее в Баварских Альпах. Фон Гёль мечтал сделать фильм о Людвиге II. Его чуть не занесли было в чёрные списки за это. Считалось непатриотичным говорить, что правитель Германии может быть сумасшедшим. Но та позолота, зеркала, мили орнаментов Барокко малость сдвинули и самого фон Гёля. Особенно те *длинные коридоры*... «Коридорная метафизика», так у Французов называется такой сдвиг. Давние коридорные эксперты начнут с нежностью похихикивать при описании, как фон Гёль, долго после того как закончится плёнка,

будет всё так же ехать с камерой и одурелой улыбкой на лице вдоль золочёных просторов. Даже на ортохроматичной плёнке, это тепло сохранялась в чёрно-белом, хотя фильм никогда не вышел в прокат, конечно. *Das Wütend Reich*, разве могли они стерпеть такое? Бесконечные переговоры, франтоватые коротышки с Нацистским значком на лацкане пиджака приходили один за другим, прерывая съёмки, стукаясь лицом в стену из стекла. Они согласны были на что угодно, кроме « Reich», даже на «*Königreich*», но фон Гёль стоял на своём. Он играл с огнём. Для компенсации, он тут же начал *Высшее Общество*, и фильм, говорят, так восхитил Геббельса, что тот смотрел его трижды, хихикая и лупя в плечо сидящего рядом, вполне возможно Адольфа Гитлера. Маргрета играла лесбианку в кафе,– «ту, которая с моноклем, её ещё в конце до смерти запорол трансвестит, помнишь?»– Тяжёлые ноги в шёлковых чулках, которые теперь лоснятся с твёрдым, станочным видом, гладкие колени скользят друг по другу, в наплывающем воспоминании, возбуждая её. Слотропа тоже. Она улыбается его вздувшейся рассохе под замшей: «Он был прекрасен. И так и так, без разницы. Ты мне его чуть-чуть напоминаешь. Особенно… эти ботинки... *Высшее Общество* было у нас вторым фильмом, но этот вот»– *этот вот*?– «*Alpdrücken*, наш первый. Я думаю Бианка от него. Она была зачата, пока мы тут снимали. Он играл Великого Инквизитора, который меня пытает. Ах, мы были Возлюбленными *Reich'а*—Грета Эрдман и Макс Шлепциг, *Чудом Вместе*—»

– Макс Шлепциг,– вторит Слотроп вылупившись,– что ты мелешь. *Макс Шлепциг?*

– Это не настоящее его имя. Эрдман тоже не моё. Но всё включающее в себя «Землю» было политически правильным—Земля, Поле, Народ… как бы код. Который они, присмотревшись, знали, как расшифровать... У Макса было очень Еврейское имя, Что-то-там-ский, и Герхард решил, что будет надёжнее дать ему новое имя.

– Грета, кто-то решил что надёжнее будет и *мне* дать имя Макс Шлепциг.– Он показывает ей пропуск выданный Кислотой Бумером.

Она уставилась, затем кратко взглянула на Слотропа. Её снова бьёт дрожь. Какая-то смесь желания и страха: «Я знала».

– Знала что?

Глядя в сторону, покорная: «Знала, что он мёртв. Он исчез в 38-м. Тогда Они вышли на полную мощность, не так ли?»

Слотроп уже поднахватался, в Зоне, насчёт Европейских паспортных психозов, и спешит её утешить: «Это подделка. Имя совпало по чистой случайности. Наверное тому, кто делал, Шлепциг запомнился в каком-то фильме.

– Случайность.– Трагичная улыбка актрисы, зарождающийся двойной подбородок, одно колено вскинуто насколько пускают эти кандалы на ногах.– Ещё одно слово из сказок. Подпись на твоей бумаге это подпись Макса. Где-то в доме Стефании на Вистуле , у меня есть стальная коробка полная его писем. Не думай, будто мне

незнакома эта Латинская z перечёркнутая инженерским штрихом или эта виньетка из g на конце? Обрыскай всю Зону за своим «фальшивопечатником». Они не дадут тебе его найти. Им нужен ты именно тут, как раз сейчас.

Ну да. Что происходит, когда параноик встречает параноика? Смешение солипсизмов. Ясное дело. Два отклонения создают третье: *amoiré*, новый мир плывущих теней, взаимопересечений... – «‘Я нужен им’? Чего ради?»

– Ради меня.– Шёпот из алых губ, приоткрытых, алых... Хмм. Да тут ещё и хуй стоит. Он садится на дыбу, склоняется, целует её, вскоре уже расстёгивает свои штаны и стягивает их вниз настолько, чтоб высвободить член воспрявший с лёгким пошатыванием в прохладу студии.– Одень свой шлем.

– Ладно.

– Ты очень жесток?

– Не знаю.

– Побудь, а? Пожалуйста. Найди что-нибудь, чтоб отстегать меня. Совсем немного. Просто для тепла.– Ностальгия. Боль возвращения домой. Он рыщет вокруг в инквизиционных причиндалах, оковы, тиски для пальцев, кожаные ошейники, пока не отыскалась миниатюрная плеть-тройчатка, бич эльфов Чёрного Леса, по лакированной чёрной рукояти резная оргия, концы обвиты бархатом, чтоб делать больно, но не до крови: «Да, как раз что надо. Теперь по моим ляжкам, внутри...»

Но кто-то уже обучил его. Что-то… те сны Прусские и прозябание среди их лугов, или где уж там подвернётся с рубцами от порки, ждущими в плоти их неба, такого сумрачного, что никак не скрыться, ждущими пока покличут... Нет. Нет—он всё ещё говорит «их», но уже знает, что не так. Его луга теперь, его небо… его родимая жестокость.

Все цепи и кандалы на Маргрете бряцают, чёрная юбка сбилась вверх до пояса, чулки туго натянуты в классические пики к застёжкам на лентах резинок к чёрному корсету из китового уса на ней. О сколько мужских членов Запада вскакивали, целое столетие, при виде именно этой точки на краю чулка дамы, этого перехода от шёлка к голой коже и резинке! Вольно же не-фетишисту потешаться над Павловскими условными рефлексами, однако всякий одёжный энтузиаст, стоящий своего болезненного хихиканья, сможет объяснить тебе, что в этом есть нечто большее—это целая космология: выверенных углов, взмывов кривой, точек лобзания, математических поцелуев… *единичностей!* Взгляни на шпили соборов, священных минаретов, хруст колёс поезда на стрелках, когда прослеживаешь ответвляющийся путь, который не ты избрал… пики гор вздымающихся круто к небу, как в Берхтесгадене… острия стальных бритв, всегда таящие могучую тайну… шипы роз, нежданно нас пронзившие… даже, приснившаяся Российскому математику Фридману, бесконечно плотная точка, из которой выплеснулась нынешняя Вселенная... В каждом случае, перемена от точки к отсутствию точки

несёт прояснение и загадку, от которой что-то в нас должно вскинуться и возликовать, либо отдёрнуться в испуге. Смотреть на А4 направленную в небо—за миг до смыкания кнопки запуска—смотреть на ту единичную точку вершины Ракеты, там где заряд... Содержат ли все эти точки намёк, как у Ракеты, на уничтожение? Что это, взрыв в небе над собором? под остриём бритвы, под розой?

И что ждёт Слотропа, какая неприятная неожиданность, там, выше края чулков на Грете? Пустивших вдруг затяжку, бледная полоска пробегает вниз по ляжке, поверх путаницы колена, исчезая из поля зрения... Что ждёт за этим посвистом и щёлканьем бархата плети по её плоти, по длинным красным полосам на белом фоне, за её стонами, цветком синюшного оттенка, что заходится плачем на её груди, за бряцаньем удерживающих её оков? Он старается не порвать чулки на жертве, и не хлестнуть слишком близко к её натянутой вульве, что трепещет, беззащитно, меж ляжек вразброс, напряжённых, в движениях эротической мышцы, покорной, «монументальной», как всякий серебристый оттиск её тела на плёнке. Она кончает раз, потом, возможно, снова, прежде, чем Слотроп, отбросив плеть, взбирается сверху, покрыв её полами своей накидки, её суррогат Шлепцига, его последнее воспоминание о Катье… и они начинают ебаться, дыба кряхтит по ними, Маргрета шепчет *Боже, как больно ты меня* и *Ах, Макс*… и когда Слотроп вот-вот кончит, имя её ребёнка: вырывается через её превосходные зубы, явный прорыв боли, без притворства, она вскрикивает, Бианка...

* * * * * * *

... нна, сука—вот тебе, сучка—бедная беспомощная *сука*, ты кончаешь, не можешь сдержаться, сейчас я тебя отделаю, исполосую опять до *крови*… Так весь перед Пёклера, от глаз до колен: переполняется образом этого вечера, сдобной жертвой привязанной к дыбе в её темнице, на весь экран—ближний план исказившихся черт её лица, соски под шёлковым халатом торчат изумительно, показывают насколько лживо её притворное мучение— *сука!* ей это нравится… а Лени, уже не законная жена, горький источник силы, но Маргрета Ердман под ним, на этот раз на заднице, пока Пёклер вгоняет снова, в неё снова, да, сука, нна...

Только позднее он попытался определить время. Извращённое любопытство. Две недели после её месячных. Он вышел из кинотеатра Ufa на Фридрихштрассе в тот вечер с торчащим, думая, как каждый прочий, лишь бы добраться домой, выебать кого-нибудь, заебать её до покорности... Боже, Эрдман была хороша. Сколько других мужчин, шаркая на улицу в придавленный депрессией Берлин, уносили с собой тот же образ из *Alpdrücken* к какому-нибудь жирному подобию невесты? Сколько призрачных детей будет зачато на Эрдман в ту ночь?

У Пёклера никогда, в сущности, не было шанса, что Лени забеременеет. Но оглядываясь назад, он знал, это случилось в ту ночь, ночь *Alpdrücken* была зачата

Ильзе. Они еблись уже так редко. Нетрудно посчитать. *Вот как оно случилось. Кино. А что ж ещё? Разве не то же самое сделали из моего ребёнка, кино?*

Он сидит в эту ночь у костра из плавника в подвале церкви Николая с обрушенным куполом, слушая шум моря. Звёзды зависли в пространствах огромного Колеса, случайные для него как свечи и сигареты на ночь. Холод скапливается вдоль побережья. Детские призраки—белый посвист, вовек не пролитые слёзы, бродят по ветру снаружи. Скрутки жмаканной бумаги привеиваются по земле, прошмыгивают по его старым башмакам. Пыль, под новорождённым месяцем, поблескивает как снег, и Балтика подползает, словно горный ледник. Его сердце трепещет в своей алой сети, эластичное, преисполненное ожиданьем. Он ждет, чтобы Ильзе, его кино-дитя, вернулась в Цвёльфкиндер, как в каждое прошлое лето.

Аисты дремлют среди дву- и трёхногих лошадей, проржавевшего механизма и разбитой крыши карусели, их головы трепещут в воздушных потоках жёлтой Африки, лакомые чёрные змеи ниже на полсотни метров извиваются в свете солнца меж камней и в высохших лотках. Укрупнённые кристаллы соли лежат, седея, занесённые в расселины мостовой, в складки пса с глазами как плошки перед городским советом, в бороде козла на мосту, в пасти тролля под ним. Свинья Фрида выискивает новое место угнездиться и вздремнуть, укрывшись от ветра. Гипсовая ведьма, проволочный каркас проступает в её груди и на бёдрах, склоняется возле печи, пихая разъеденного Ганселя, навеки обездвиженные. Глаза Гретель застопорились распахнутыми широко, и не моргнёт, утяжелённые кристаллами ресницы отражают партизанские наскоки ветров с моря.

Если есть этому музыкальный фон, то это струны ветра и группа духовых шеренгой в ярких рубашках вдоль всего пляжа, органист во фраке у линии прибоя —тот и сам изломан, в корке от приливов—чьи язычки и трубы созывают и ваяют тут гулкие привидения, воспоминания огоньков свечи, всё контурно, обрывисто, волнисто, о шестидесяти тысячах, которые прошли, уже занесены в список прошедших, однажды или дважды этим путём. Ты когда-нибудь проводил каникулы в Цвёльфкиндере? Держал своего отца за руку, когда вы ехали на поезде от Любека, уставясь на свои колени, или на других детей, как и ты заплетённых, наутюженных, пахнущих отбеливателем, обувной ваксой, карамелью? Звякала мелочь сдачи в твоём кошелёчке, когда ты крутился на Колесе, ты прятал лицо в его шерстяной лацкан, или становился коленками на сиденье, глядя поверх вод, стараясь разглядеть Данию? Испугалась ли ты, когда карлик попробовал тебя обнять, кололось ли твоё платье в теплыни дня, что говорила ты, что чувствовала, когда мальчики пробегали мимо, сдёргивая кепки друг с друга и слишком увлеклись, чтоб замечать тебя?

Она, наверное, с детства была занесена в списки у кого-нибудь. Только он избегал думать об этом. Но постоянно своё исчезновение она носила в своём осунувшемся личике, в своей неохотной походке, и, не нуждайся он так сильно в её защите, то и сам бы заметил, как мало она способна защитить хоть что-то, даже их убогое гнездо. Он не мог говорить с ней—это был спор с призраком

самого себя десятью годами моложе, всё тот же идеализм, подростковая ярость—качества, что когда-то его чаровали—женщина сильная духом!—но которые он начал рассматривать как доказательства её односторонности, даже, он мог поклясться, стремления быть уничтоженной на самом деле...

Она выходила в свой уличный театр всякий раз с надеждой не вернуться, но он, по сути, даже не подозревал об этом. Левые и Евреи на улицах, ладно, галдят, смотреть неприятно, но полиция удержит их в рамках, ей ничего не грозит, если не захочет нарваться... Позднее, когда она ушла от него, в один из дней он малость перепил, чуть расчувствовался и вышел, наконец, в свой первый и последний раз, в надежде, что давление Судьбы, или гидродинамика толпы, смогут свести их снова вместе. Он нашёл улицу полную бежево зелёных униформ, дубинки, кожу, плакаты дёргались нестойко во всех направлениях кроме продольного, десятки гражданских в панике. Полицейский замахнулся на него, но Пёклер увернулся и удар достался старику, какому-то застойному Троцкисту, старикашке с бородой… он видел витки стальной проволоки обтянутые чёрной резиной, тонкую усмешку на лице полицая, когда тот бил, схватив свободной рукой противника за лацкан, как-то по-женски, кожаная перчатка руки с дубинкой расстёгнута на запястье, а глаза зажмуриваются в самый последний момент, словно в дубинке продолжались его нервные окончания и могли ушибиться о череп старика. Пёклер заскочил в подъезд, полнясь страхом до тошноты. Ещё набежала полиция, притискивая, как бегущие танцоры, локти к бокам, руки отставлены под углом. Они применили брандспойты разогнать толпу, наконец. Женщины катились как куклы по мокрой мостовой и по трамвайным рельсам, толстая струя била им в животы и головы, брутальный белый вектор пересиливал их. Любая из них могла оказаться Лени. Пёклер дрожал в своём подъезде, наблюдая. Он не мог выйти на улицу. Позднее ему подумалось о её текстуре, сеть борозд между камней мостовой. Единственный шанс безопасности было уменьшиться до размеров муравья и мчаться наутёк наутёк по улицам Муравейграда, подошвы башмаков грохочут над головой, как чёрный гром, ты и твои попутчики в молчании, в толкучке вдоль серых затемняющихся улиц... Пёклер умел находить безопасность в приручённых абсциссах и ординатах граф: находить нужные ему точки не пробегая по самой кривой, не высовываясь поверх камней в уязвимость, но вместо этого терпеливо отслеживать иксы и игреки, P (atü), W (m/sec), T i (° K), двигаясь всегда под безопасно прямыми углами, вдоль простых линий...

Когда он начал всё чаще видеть во сне Ракету, порой вовсе не обязательно, чтобы это была ракета, но улица, которую он знал в каком-то из районов города, небольшой отрезок улицы в определённой сети координат, в котором что-то очень нужное ему. Координаты чётко прочерчивались в его сознании, но улица всё никак не давалась. С годами, когда Ракета приближалась уже к своему завершению, чтобы её пустили в ход, координаты переключились с Картезианских «x» и «y» лаборатории в полярный азимут и дальность действия от места размещения оружия: он однажды стоял коленями на полу уборной своей комнаты в старом здании в Мюнхене, догадавшись, что если направлять лицо по строго выверенному компасом азимуту, его молитва будет услышана: он окажется в безопасности. На нём был халат из золотой с оранжевым парчи. Она служила

единственным освещением в комнате. Затем он выглянул в здание и, даже зная, что за каждой дверью спят люди, никак не мог преодолеть чувство покинутости. Он прошёл к стене включить свет—но, щёлкнув выключателем, понял, что в комнате свет уже горел, во-первых, и он просто всё выключил, всё...

Доводка А4 до полной-боевой не застала его врасплох. Готовность, по сути, не оказалась кульминацией. Это не было даже точкой.

– Они используют тебя, чтоб убивать людей,– говорила ему Лени, стараясь быть доходчивой насколько возможно.– Это единственная их работа, а ты им помогаешь.

– Нам всем это однажды понадобится, чтобы покинуть землю. Переступить пределы.

Она рассмеялась. «Переступить пределы» от Пёклера?

– Однажды,– стараясь, как только может,– им не придётся убивать. Границы утратят всякое значение. Нам останется всё внешнее пространство...

– О, ты слепец,– выплюнула ему, как плевалась на его слепоту каждый день, а кроме неё ещё на « *Kadavergehorsamkeit*», прекрасное словцо, которое он уже не мог представить произнесённым чьим-либо другим голосом кроме её...

Но право же, он не был покорным как покойник. Он занимался политикой, в определённой степени—на ракетном полигоне политики хватало. Департамент Вооружения Армии проявлял постоянно растущий интерес к любителям ракетчикам из *Verein für Raumschiffahrt*, а с недавних пор VfR стал делиться с Армией записями своих экспериментов. Корпорации и университеты—как заверяла Армия—не желали рисковать средствами и персоналом для разработки чего-то столь фантастического как ракета. Армии не к кому обратиться, кроме как к самодеятельным изобретателям и клубам типа VfR.

– Брехня,– сказала Лени.– Они все заодно. Тебе это и впрямь не доходит, ну правда ведь.

В самом же Обществе линии были прочерчены достаточно чётко. Без денег VfR задыхалось—Армия имела деньги и уже финансировала их окольными путями. Выбор стоял между разработкой заказов Армии или всё так и дрыгаться дальше в постоянной нищете, мечтая о полёте на Венеру.

– Откуда, по-твоему, деньги у Армии?– спросила Лени.

– Какая разница? Деньги есть деньги.

– *Нет!*

Майор Вайсман был одним из нескольких серых преосвященств вокруг ракетного полигона, находящий общий язык, с очевидной симпатией и пониманием, будь то с дисциплинированным мыслителем или с маниакальным идеалистом. Всем и каждому что угодно, новейший, с иголочки, тип военного, отчасти купец, отчасти учёный. Пёклеру, всевидящему, недвижимому, пришлось осознать: происходящее на комитетских собраниях VfR, это та же игра, что разыгрывается на полной насилия беззащитной улице Лени. Всё его образование учило усматривать аналогии—в уравнениях, в теоретических моделях—однако он упорствовал, полагая VfR чем-то особым, не поддающимся влиянию времени. И он также знал, не понаслышке, что случается с мечтами без денег для их подпитки. Потому-то Пёклер увидел, что отказавшись принять чью-либо сторону, он превратился в персонального союзника Вайсмана. Глаза майора всегда переменялись при взгляде на Пёклера: его немного чопорное лицо смягчалось в то, что Пёклер подметил, в случайно подвернувшихся зеркалах и витринах, на своём лице, когда сам он бывал с Лени. Пустое выражение того, кто воспринимает другого как должное. Вайсман настолько был так же уверен касаемо роли Пёклера, как тот относительно роли Лени. Но Лени ушла, в конце концов. У Пёклера должно быть не хватило воли удержать.

Себя он считал практичным человеком. На полигоне они оперировали континентами, орбитами—на годы предвосхищая потребность Генштаба в оружии, что будет разбивать антанты, перепрыгивать, как шахматный конь, танки, пехоту, даже *Luftwaffe*. Плутократические державы с запада, коммунисты с востока. Пространства, модели, стратегические игры. Без особого азарта или идеологии. Практичные люди. Пока военные балдеют от своих ещё не одержанных побед, ракетным инженерам следует размышлять без фанатизма, о Германских превратностях, Германском разгроме—потери в *Luftwaffe* и снижение их эффективности, отступления фронтов, потребность в оружии более дальнего радиуса действия... Но деньги были у других, и другие отдавали приказы—пытались возложить свои хотенья и разборки на нечто живущее отдельной жизнью, на *technologique*, которую им и близко не понять. Покуда Ракета находилась на стадии исследований и разработки, им необязательно было верить в неё. Позднее, когда А4 вступит в строй, когда они окажутся с реально существующей ракетой, борьба за власть развернётся не на шутку. Пёклер видел это насквозь. Они все по-спортивному безмозглые здоровяки без предвидения, без воображения. Однако они находились у власти и ему трудно было не думать о них как о старших, пусть даже относясь к ним с долей презрения.

Но Лени ошибалась, никто его не использовал. Пёклер стал продолжением Ракеты задолго до её создания. Её стараниями. Когда она бросила его, он пошёл вразнос. Куски рассыпались по Хинтерхоф, по сточным канавам, разнеслись ветром. Он даже в кино не мог ходить. Совсем изредка бродил после работы и пытался выудить куски угля из Шпрее. Пил пиво и сидел в холодной комнате, осенний свет цедился к нему обедневшим и увядающим, из серых туч, со стен двора-колодца и труб канализации, сквозь захватанные дотемна занавески, обескровленный, лишившийся всякой надежды по пути туда, где сидел он, дрожа и плача. Он плакал ежедневно, где-то по часу в день, один месяц, пока не

заработал воспаление слизистой оболочки. Тогда он перешёл на постельный режим и потел, пока не прошла температура. Потом он переехал в Кюмерсдорф рядом, с Берлином, помогать своему другу Мондаугену на ракетном полигоне.

Температуры, скорости, давления, конфигурация корпуса и стабилизатора, стабильности и турбулентности начали просачиваться и заменять то, от чего сбежала Лени. По утрам, за окном виднелся сосновый лес и ельники вместо жалкого городского двора. Его отречение от мира и переход в монашеский орден?

Однажды ночью он сжёг двадцать страниц вычислений. Знаки интеграла взвивались как зачарованные кобры, d со смешными завитушками маршировали, словно горбуны, за край пламени в волны кружевного пепла. Но это был единственный рецидив.

Сначала он помогал в группе занятой двигателем. Тогда ещё никто не специализировался. Это пришло позднее, вместе с бюрократией и паранойей, и штатные списки превратились в чертёж-планировку тюремных камер. Курт Мондауген, чьей областью была радиоэлектроника, мог предложить решение проблем охлаждения. Делом Пёклера стала подгонка инструментария для замеров локальных давлений. Это пригодилось позднее в Пенемюнде, где зачастую требовалось провести сотню измерительных трубок от модели не более 4 или 5 сантиметров в диаметре. Пёклер помог разработать способ *Halbmodelle*: рассечь модель в длину и закрепить срезом к стенке испытательной камеры, выводя таким способом трубки к манометрам снаружи. Жителю Берлинских трущоб, думал он, известно как выкручиваться на половинных рационах… но то был редкий случай гордыни. Никто, в общем-то, не мог считать свою идею своей на 100%, тут работал корпоративный разум, специализация едва ли что-то значила, классовые разграничения ещё меньше. Социальный спектр простирался от фон Брауна, представителя Прусской аристократии, и до подобных Пёклеру, из тех, кто позволяет себе жевать яблоко на улице—но все они становились равными перед милостью Ракеты: не только перед опасностью взрывов или падающих кусков железа, но также перед её тупостью, её мёртвым весом, её упрямой и осязаемой тайной...

В те дни большая часть финансирования и внимания доставалась группе по двигателю. Проблема заключалась в том, чтобы оторвать от земли хоть что-то и оно бы не взорвалось. Случались мелкие катастрофы—прогорал алюминиевый кожух двигателя, какой-то пробный инжектор запускал гулкое сгорание, в огне которого двигатель вопил до распада на части—а потом, в 34-м, крупная. Доктор Вампке решил смешать перекись водорода со спиртом перед впрыскиванием смеси в толкающую камеру, посмотреть что выйдет. Огонь зажигания перебросился по подводящей трубе в бак с топливом. Взрыв уничтожил испытательный стенд вместе с доктором Вампке и двумя другими. Первая кровь, первое жертвоприношение.

Курт Мондауген воспринял это как знамение. Один из этих Германских мистиков, что выросли читая Гессе, Стефена Георга, и Ричарда Вильгельма, готовые

принять Гитлера основываясь на метафизике Демиана, горючее и окислитель воспринималось им как пара противоположностей, мужское и женское начала соединяющиеся в мистическом яйце камеры сгорания: творение и разрушение, огонь и вода, химический плюс и химический минус—

– Валентность,– протестовал Пёклер,– условие внешних слоёв, и ничего более.

– Подумай хорошенько,– сказал Мондауген.

Был там ещё некий Фарингер, специалист по аэродинамике, который уходил в сосновые леса Пенемюнде со своим Дзен луком и скруткой прессованной соломы практиковаться в дыхании, в натягивании и пуске, снова и снова. Это казалось хамством в то время, когда его коллеги доходили до белого каления из-за того, что между ними называлось « *Folgsamkeitfaktor*», как добиться, чтобы продольная ось Ракеты следовала тангенсу, неукоснительно, своей траектории. Ракета для этого Фарингера являлась толстой Японской стрелой. Необходимо было каким-то образом слиться с ракетой, траекторией и целью—«не навязывать ей свою волю, но сдаться, выйти из роли стрелка. Весь этот акт неразделим. Ты и нападающий, и жертва, и параболический путь, и...» Пёклер никогда не мог понять о чём вообще толкует этот человек. А Мондауген понимал. Мондауген это бодхисаттва, вернувшийся сюда из уединения в Калахари и от кто его знает какого света, что постиг его там, вернулся в мир людей и наций, продолжить в той роли, которую он избрал сам, но никогда не объяснял почему. В Юго-Западной он не вёл дневников, не писал домой писем. Там случилось восстание Бонделшваарц в 1922 и общий хаос в стране. Его радио эксперименты прервались, он укрылся вместе с полусотней других белых на вилле местного землевладельца по имени Фоппл. То место представляло собой укрепление, со всех сторон окружено глубокими ущельями. После пары месяцев осады и беспробудного пьянства, «проникшись глубоким отвращением ко всему Европейскому», Мондауген в одиночку ушёл в дикие леса и равнины, кончил тем, что жил с Оватджимба, народом трубкозуба, самыми бедными из Иреро. Они приняли его без вопросов. Себя он считал, там и тут, своего рода радиопередатчиком и полагал, что исходившие в то время от него передачи им, во всяком случае, ничем не грозили. В его электронном мистицизме, триод являлся столь же основополагающим, как крест в Христианстве. Воспринимай эго, часть претерпевающую историю личности увязанную со временем, как сетку. Более глубинное и истинное Я это поток между катодом и пластиной. Постоянное чистое течение. Сигналы—данные ощущений, чувств, перемещение воспоминаний—попадают на сетку и модулируют поток. Мы проживаем жизни являющиеся формами волн постоянно изменяющихся во времени, от положительных до отрицательных. Только в моменты необъятной безмятежности можно найти чистое, не искажённое информацией состояние нулевого сигнала.

– Во имя катода, анода и пресвятой сетки,– сказал Пёклер.

– Да, это неплохо,– улыбнулся Мондауген.

Ближе всего к нулю из всех из них был, пожалуй, Африканец Тирлич, протеже майора Вайсмана. На *Versuchsanstalt*, за спиной, его звали Монстром Вайсмана, наверное, не столько из расизма, как из-за картины, которую они собой представляли, Тирлич высился над Вайсманом чуть не на полметра, лысеющего, академически, взглядывающего вверх на Африканца сквозь линзы очков толстые, как бутылочные донца, вынужденного порой пускаться вприпрыжку, когда они шагали по асфальту, через лаборатории и кабинеты, Тирлич доминировал в любой из комнат и на каждом ландшафте в те ранние дни Ракеты... Самое ясное о нём воспоминание Пёклера это его первое, в комнате испытаний в Кюмерсдорфе, в окружении электрическими цветами—зелёные бутыли с азотом, плотное сплетение красных, жёлтых и синих труб, собственное лицо Тирлича, тёмной меди, с той же безмятежностью, что время от времени проплывала и в лице Мондаугена—гигант наблюдал в одно из зеркал отражение ракетного двигателя за перегородкой безопасности: в застоялом воздухе той комнаты встряхиваемой запоздалыми беспокойствами, тягой к никотину, бессмысленными молитвами, Тирлич пребывал *в покое*...

Пёклер переехал в Пенемюнде в 1937 вместе с остальными 90. Они вторгались в саму Гравитацию, и нужно было отвоевать плацдарм. Ни разу в своей жизни, даже разнорабочим в Берлине, не доводилось Пёклеру столько трудиться. Авангард провёл весну и лето, превращая небольшой остров, Грайфсвалдер Ойе, в испытательную станцию: меняя дорожное покрытие, прокладывая кабель и телефонную линию, возводя жильё, сортиры и складские навесы, роя бункеры, меся бетон, без конца разгружая ящики инструментов, мешки с цементом, бочки горючего. Они использовали древнее паромное судно для перевозки грузов с суши на Ойе. Пёклер вспоминает изношенный красный плюш и исцарапанную лакировку внутри тёмных кают, астматичный крик корабельного гудка, запахи пота, дыма сигарет и дизельного топлива, дрожь в мускулах ног и рук, усталое перешучиванье, изнеможение в конце каждого дня, его собственные новые мозоли позолоченные предзакатным солнцем...

Море в то лето по большей части было голубым и тихим, но осенью погода поменялась. Дожди налетали с севера, ветер рвался в складские палатки, гигантские волны хлестали ночь напролёт. Вода пенилась на пятьдесят метров от берега. Брызги взлетали фонтаном с извивов больших волноломов. Пёклер, расквартированный в домике рыбака, возвращался с вечерних прогулок в тонкой маске соли. Жена Лота. На какую катастрофу осмеливался он оглянуться? Он знал.

Он обернул тот сезон в детство, в раненого пса. Во время тех одиноких мокрых прогулок он размышлял о Лени: он вынашивал сценарии их новой встречи, в какой-то элегантной или драматичной обстановке—министерство, или фойе театра—две или три женщины в бриллиантах держатся за него, Генералы и индустриальные промышленники наперебой щёлкают своими Американскими зажигалками, поднести к его сигарете, и выслушивают его небрежные решения проблем понятных Лени очень отдалённо. Самые приятные из таких фантазий

приходили пока Пёклер сидел на унитазе—он пристукивал подошвой, из его губ шёпотом прорывались фанфары в приближающемся облегчении...

Но бремя его несчастного Берлинского «я» никак не отцеплялось. Он разговаривал с ним, слушал, проверял, но оно никак не растворялось и не уходило, торчало тут нищим у всех подъездов его жизни, вымаливая молча, взглядом, руками уверенными в своём умении вызывать чувство вины. Упорная работа в Пенемюнде и хорошая компания в таверне Герра Халингера на Ойе—всё, чтобы заполнить время до подходящей для стартов погоды—а Пёклер ещё ранимее, чем бывал когда-либо прежде. Его холодные ночи без женского тепла, игра в карты и шахматы, чисто мужские попойки, кошмары, из которых ему приходилось выныривать самому, потому что не было теперь руки потрясти его, чтоб проснулся, некому обнять, когда тени набегают на занавеску в окне—всё навалилось на него в тот ноябрь, а может он позволил, чтобы так придавило. Потому что раз или два в эфедриновых предрассветах, кивая, *ja, ja, stimmt, ja*, какому-то плану, что носишь не в голове, а на ней, и в состоянии почувствовать как тот скатывается, за твоё боковое зрение, покачиваясь и уравновешиваясь почти—он осознавал, что его сносит… одна видимость Пёклера погруженного в вычисления, чертежи, графы и даже конструкции, что там имелись… всякий раз как такое случалось, он впадал в панику и укрывался в редут бодрствующего Пёклера, сердце колотится, боль в руках и ногах, дыхание перехватывает тихо сказанным ххуух—Что-то пытается схватить его, что-то тут, в этих бумагах. Страх исчезновения по имени Пёклер знал, это Ракета втягивает его. Если бы только он ещё и знал, что нечто подобное такому исчезновению освободит его от одиночества и его провала, но он не был так уверен... Вот он и маялся, как сервоклапан с помехами на входном сигнале, около Нуля, между двух желаний, личной определённости и безличного спасения. Мондауген видел всё это. Он мог читать в сердце Пёклера. Из сочувствия, что ж удивляться, он не давал бесплатных советов другу. Пёклеру придётся отыскать свой собственный путь к нулевому сигналу, свой истинный курс.

К 38-му Пенемюнде сформировалось и Пёклер перебрался на сушу. С опорой на едва ли что-нибудь помимо диссертации Штодда о паровых турбинах, и полезных данных поступавших, время от времени, из университетов в Ганновере, Дармштадте, Лейпциге и Дрездене, группа по движущей силе испытывала ракетный двигатель грузоподъёмностью в 1½ тонны, давлением сгорания в 10 атмосфер на длительность в 60 секунд. Они достигли конечной скорости в 1800 метров в секунду, но показатель, которого добивались, составлял 2000. Они называли это магическим числом и воспринимали это буквально. Как некоторые биржевые игроки знают когда прекратить скупку, инстинктом чувствуя не по напечатанным цифрам, но по объёму изменений, зная по первому и второму производному в собственной шкуре, когда вступить, продолжить, убраться, точно также и инженерские рефлексы постоянно настроены знать, в любой момент, что, при наличных ресурсах, возможно воплотить в рабочую конструкцию—что «достижимо». В день, когда была получена конечная 2000 м/сек, сама А4 стала достижимой. Потом подстерегала опасность соблазниться на слишком усложнённые подходы. Иммунитетом не обладал никто. Вряд ли найдётся

разработчик, включая Пёклера, что не предложил хотя бы одну чудовищную приспособу, некую голову Горгоны кишащую трубами, трубками, сложными переходниками для контроля давления, соленоидами на управляющих клапанах, вспомогательными клапанами для запасных клапанов—сотни страниц по номенклатуре клапана печатались как приложения к этим диким предложениям, обещавшим, все до одного, громадный прирост давления между внутренней камерой и выходным соплом—великолепно, если тебе не слишком важно, чтоб весь тот миллион составляющих надёжно работали сообща. Но чтобы сделать двигатель, который не подведёт, которым военные смогут практически пользоваться для убийства людей, теперь вставала чисто инженерная проблема держать всё упрощённым до предела.

Шли запуски модели А3, которую весельчаки-техники крестили не шампанским, а флягами жидкого кислорода. Основное внимание перемещалось с толкающей силы на управление. Телеметрия испытательных запусков оставалась весьма примитивной. Термометры и барометры запирались в водонепроницаемый отсек вместе с кинокамерой. Во время полёта камера снимала стрелки пляшущие по шкалам. После запуска плёнку проявляли и просматривали. Инженеры сидели уставясь на экран с кинофильмом про датчики. Тем временем *Heinkels* сбрасывали железные модели ракеты с высоты в 20000 футов. Падение снималось синетеодолитными установками Аскания с земли. На ежедневных летучках тебе прокручивали кадры начиная с высоты в 3000 футов, где модель преодолевала скорость звука. Имелась странная связь между Германским разумом и быстрым мельканием последовательных кадров создающих видимость движения, по крайней мере, на протяжении двух столетий —с Лейбница, в процессе его разработки исчисления, применявшего тот же подход для раскладки траектории полёта пушечного ядра по воздуху. И теперь Пёклеру довелось получить доказательство, что этот же технический приём продляется вне образов на плёнке, в жизнь людей.

Он вернулся к себе на закате, чересчур уставший или задумавшийся, чтобы слишком впечатляться полыхающим разноцветьем в палисадничках, ежедневными переменами очертаний Станции, даже отсутствием шума сегодня на испытательных стендах. Он вдыхал океан и мог почти представить себя кем-то живущим на морском курорте, кто редко выходит на пляж. Время от времени, вдалеке на Пенемюнде-Вест, истребитель взлетал или заходил на посадку, двигатели приглушены расстоянием до умиротворённого урчания. Играл блёстками вечерний бриз. Его не предупредили ничем помимо улыбки коллеги, что жил на пару комнатушек дальше и как раз спускался по ступеням крыльца, когда Пёклер подошёл к бараку. Он зашёл к себе в комнатку и увидел её сидящей на койке, пальцы ступней тесно сдвинуты, рядом с цветастым саквояжем из ковровой ткани, юбка натянута поверх её колен, а глаза встревоженно, фатально, смотрят ему в глаза.

– Герр Пёклер? Я ваша—

– Ильзе. Ильзе...

Он должно быть приподнял её, целовал, задвинул занавеску. Какой-то рефлекс. В её волосах была ленточка коричневого бархата. Ему волосы её помнились светлее, короче—но ведь волосы растут, темнеют. Он искоса взглянул на её лицо, вся его пустота полнилась эхом. Вакуум его жизни вот-вот разобьётся одним мощным приливом любви. Он попытался сдержать его печатями подозрения, выискивая сходства с лицом виденным им годы тому назад, поверх плеча её матери, глаза, всё ещё припухшие после сна, косят вниз поперёк спины Лени в плаще, выходящей за дверь захлопнувшуюся, казалось ему, навсегда—притворяясь, что не находит сходства. Скорее всего, притворяясь. Вправду ли это то самое лицо? Он так много утратил в нём за эти годы, из того пухлого младенческого личика не имеющего черт... Он боялся теперь даже обнять её, боялся что сердце его разорвётся. Он сказал: «Давно ты ждёшь?»

– С обеда.– Она поела в столовой. Майор Вайсман привёз её на поезде из Штеттина, и они играли в шахматы. Майор Вайсман очень долго думает и они не успели закончить игру. Майор Вайсман купил ей конфеты и попросил передать привет и сказать, что ему жаль, что он не может дождаться и повидать Пёклера—

Вайсман? Что всё это значило? Прерывистый пробный гнев нарастал в Пёклере. Они наверняка обо всём знали—всё это время. В его жизни не было тайн, как в этой жалкой комнате с её койкой, комодом и лампой для чтения.

Чтобы поместить между собой и этим невозможным возвращением хоть что-то, у него была лишь его ярость—предохранить его от любви, на которую он на самом деле никак не мог пойти. Ему оставалось заняться расспросами дочери. Стыд, который он чувствовал, ещё можно было как-то стерпеть, стыд и холод. Но она должно быть это почувствовала, потому что сидела теперь очень неподвижно, кроме нервных ног, голос настолько покорный, что ему не всё удавалось расслышать в её ответах.

Они прислали её сюда из какого-то места в горах, где зябко даже летом—окружённое колючей проволокой и яркие лампы горят всю ночь. Там не было мальчиков—только девочки, матери, старушки и они жили в бараках, укладывались на деревянных нарах, часто по две. У Лени всё хорошо. Иногда человек в чёрной форме приходил в барак и Мама уходила с ним, и не возвращалась несколько дней. Когда она приходила обратно, то не хотела говорить, ни даже обнять Ильзе как всегда делала. Иногда она плакала и просила Ильзе оставить её в покое. Ильзе уходила тогда играть с Йоганной и Лилли пониже соседнего барака. Они там выкопали себе тайник в земле, убрали его куклами, шляпами, платьями, туфлями, старыми бутылками, журналами с картинками, всё найдено возле колючей проволоки, куча сокровищ, так называют они эту большую свалку, что всегда дымится, день и ночь: красный жар виднеется через окно с верхних нар, где она спала с Лилли в те ночи, когда Лени не было...

Но Пёклер едва слушал, одна единственная данность имела для него значение: что она где-то в определённом месте, имеющем обозначение на карте, с властями, к которым можно обратиться. Сможет ли он снова найти её? Дурак.

Сможет ли договориться о её освобождении? Какой-то мужчина, какой-то Красный, втянул её в это...

Курт Мондауген был единственным, кому он мог довериться, хотя Пёклер знал ещё до разговора, что выбранная Мондаугеном роль удержит его от того, чтобы помочь: «Это называется лагерями по перевоспитанию. Они в ведении СС. Я могу поговорить с Вайсманом, но может и не получиться».

Он знал Вайсмана по Юго-Западной. Они были вместе в месяцы осады виллы Фоппла: Вайсман был одним из тех людей, что довели Мондаугена, чтобы, в конце концов, ушёл прочь и жил в лесу. Но они возобновили дружественные отношения здесь, среди ракет, то ли по каким-то резонам обожжённого солнцем святого, которые Пёклеру не понять, или из-за какой-то более глубинной связи, что всегда была между ними...

Они стояли на крыше одного из сборочных цехов, Ойе в водах за шесть миль виднелся ясно, что предвещало перемену погоды на следующий день. Сталь клепали где-то в солнечном свете, били ритмично, чисто, словно песня какой-то птицы. Синее Пенемюнде зеркалилось вокруг них по всем направлениям, мечта из бетона и стальных масс отражавшая полуденный зной. Воздух рябил как камуфляж. За этим всем, казалось, что-то ещё творится по секрету. В любой момент иллюзия, на которой они стояли, растворится и они грянут наземь. Пёклер уставился через болота, чувствуя себя беспомощным: «Я что-то должен сделать. Разве нет?»

– Нет. Ты должен ждать.

– Это неправильно, Мондауген.

– Нет.

– Как же с Ильзе? Она должна вернуться туда?

– Я не знаю. Но сейчас она здесь.

Так что, как обычно, Пёклер избрал помалкивать. Если б он выбрал что-то другое, раньше, когда ещё было время, все они, может быть, спаслись бы. Даже покинули бы страну. Теперь, слишком поздно, когда он наконец захотел действовать, действовать было не с чем.

Ну честно говоря, он не слишком-то задержался на размышлениях о былых нейтральностях. У него не было абсолютной уверенности, что он перерос их, если на то пошло.

Они прогуливались, он и Ильзе, вдоль штормового побережья—кормили уток, разведывали сосновые леса. Ей даже позволили посмотреть запуск. Это было посланием ему, но он с запозданием понял что это значило. Это означало, что секретность ничуть не нарушается: *кому бы она ни рассказала, дальше этого не*

пойдёт. Шум Ракеты рванулся к ним. В первый раз она придвинулась и прижалась к нему. Он почувствовал, что держится за неё. Двигатель умолк слишком быстро и Ракета рухнула где-то в Пенемюнде-Вест на территории *Luftwaffe*. Грязный столб дыма вызвал орущие пожарные машины и грузовики с рабочими пронестись диким парадом мимо. Она глубоко вдохнула, и сжала его ладонь: «Это ты заставил её так сделать, Папи?»

– Нет, это случайно. Ей полагается делать большую кривую,– проводя рукой, прочерченная парабола заключает испытательные стенды, цеха сборки, как кресты, что намечают священники в воздухе, когда делят уставившуюся паству пополам и начетверо...

– Куда она летит?

– Куда мы ей скажем.

– Можно я однажды полечу в ней? Я помещусь внутри, правда же?.

Она задавала невозможные вопросы: «В другой раз»,– сказал ей Пёклер: «Может быть однажды на Луну».

– На *Луну*... – как будто собирался рассказать ей сказку. Когда никакой не последовало, она выдумала свою. У инженера в соседней комнатушке карта Луны была прикноплена к фанерной перегородке и она часами её изучала, выбирая где будет жить. Отклонив яркие отроги Кеплера, обрывистое уединение Южного Высокогорья, живописные виды Коперника и Эрастофена, она избрала небольшой симпатичный кратер в Море Спокойствия, наименованный Маскелин Б. Они построят домик прямо на краю его, Мама, и она, и Пёклер, золотые горы в одном окне и широкое море в другом. И Земля зелёная и голубая в небе...

Может он должен был ей сказать что такое на самом деле «моря» на Луне? Сказать ей, что там нечем дышать? Собственное невежество пугало его, его неумелость быть отцом... Ночи в комнатке, с Ильзе калачиком на брезентовой армейской раскладушке, маленький серый бельчонок укутанный одеялом, он думал может и впрямь ей лучше было бы стать стражем Рейха. Он слыхал, что существуют лагеря, но не видел в этом ничего зловещего: он верил Правительству на слово, «перевоспитание». *Я так во всём напартачил… там у них специально подготовленные люди… обученный персонал… они знают что нужно ребёнку…* Уставясь на рассеивание электронов по данной части Пенемюнде, выстраивая на своём куске потолка планы, отбрасываемые мечты, заслуги перед чиновными фантазёрами в Берлине, покуда Ильзе иногда шептала ему сказки на ночь про луну, где она будет жить, пока он, молча, переходил в мир, который уже всё-таки не этот: карта без каких-либо национальных границ, не прификсированный, волнующий, в котором летать так же естественно, как и дышать—но я же упаду… нет, поднимаюсь, глянь вниз, бояться нечего, теперь совсем хорошо… да, стабильный полёт, получается… да...

Пёклер той ночи всего лишь, возможно, свидетель—или же он и впрямь часть этого всего. Ему не открылось чего именно. Ты вдумайся. Вот-вот произойдёт толчок, для Фридриха Августа Кекуле фон Штрадолица, его сном 1865, великим Сном, который революционизировал химию и сделал ИГ возможным. И чтобы нужный материал доходил к соответствующему сновидцу, каждый и всё вообще должны чётко пребывать в нужном месте. Очень мило со стороны Юнга подарить нам идею общего фонда от предков, из которого каждый черпает общий материал снов. Но как получается, что каждого из нас посещает, как индивида, именно и только то, что ему нужно? Разве не подразумевается тут некая стрелка переключения путей? некое управление? Почему бы ИГ не посещать сеансы? Они запросто найдут общий язык с потусторонней администрацией. И вот сон Кукеле направляется сейчас вдоль стрелок позволяющих арочно перескочить молчание, в яром нежелании жить внутри движущего момента несовершенного света людей, прямиком сюда, опрокидывая церемониально бинарные решения этих управляющих, которые теперь пропускают космического Змия, в лиловом великолепии его чешуи, сиянии явно вне-человеческом, пройти—без эмоций, без изумления (когда проведёшь тут какое-то время—что бы уж *оно* тут ни означало—любой из этих архетипов начинает выглядеть весьма и очень даже как всякий другой, о, ты слышишь кого-то из этих ново-трудоустроенных, что заискивающей толпой вваливаются в свой первый день. «Ух, ты! Эй—да это ж *Древо Сотворения!* Ведь так? Ё-моё!»– но они довольно быстро успокаиваются, усваивают рефлексы Ленивого Ротозейства, сам знаешь, самокритика бесподобный способ, и не должно бы сказываться, но срабатывает... Итак, вот краткое изложение проблемы Кекуле. Начал учиться на архитектора, но оказался вместо этого одним из Атлантов химии, основная часть органического крыла сего весьма полезнейшего строения опёрто на темя его головы, навечно—не просто в аспекте ИГ, но Мира, если, допустим, усматриваешь тут какую-то разницу, хе, хе... Опять-таки, сказалось влияние Либига, великого профессора химии, на улице чьего имени в Мюнхене Пёклер жил обучаясь в Т.Н. Либиг работал в университете Гисена, когда Кекуле стал там студентом. Он вдохновил молодого человека сменить сферу. Так что Кекуле перенёс взгляд архитектора в химию. Это послужило переломным моментом. Сам же Либиг, похоже, исполнял роль ворот, или демона-сортировщика однажды предложенного его более молодым современником Кларком Максвелом для сосредоточения энергии в одной комнате Творения за счёт всего прочего (позднее свидетели намекали, что Кларк Максвел предложил своего Демона не просто для удобства изложения одной из идей термодинамики, но как притчу о *реальном существовании* персонала подобного Либигу… прочувстовать насколько далеко зашли репрессии в ту пору, мы можем благодаря глубине, на которую Кларк Максвел счёл необходимым закодировать своё предостережение... вот почему некоторые теоретики, особенно из числа тех, кто находит зловещий смысл даже в пресловутом высказывании *миссис* Кларк Максвел: «Пора отправляться домой, Джеймс, а то тебе начинает тут нравиться», скатываются к предположению, что Уравнения Поля сами по себе содержат зловещее предупреждение—в качестве доказательства они приводят тревожащую близость Уравнений с поведением двойной интеграции цепи в системе управления ракеты А4, такое же двойное сочетание наличных

плотностей, что подвели архитектора Этцеля Ольша в разработке дизайна для архитектора Альберта Шпеера подземного завода в Нордхаузене именно к этой символической форме…). Молодой экс-архитектор Кекуле принялся отыскивать среди молекул того времени скрытые формы, что, как он знал, должны были там быть, формы, о которых ему не хотелось думать как о реальных физических структурах, но предпочтительнее представлять их «рациональными формулами» отражающими отношения происходящего при «метаморфозисе», по его вычурному выражению 19-го столетия, вместо простого «химические реакции». Но он умел представлять визуально. Он *видел* четыре связи углерода расположенные тетраэдром—он *показал* как атомы углерода могут связываться, один с другим, в длинные цепи... Однако он опешил приблизившись к бензолу. Он знал о наличии в нём шести атомов углерода с атомом водорода при каждом из них—но он не мог увидеть форму. Не мог до того самого сна: пока его не вынудили её увидеть, дабы остальные соблазнились её физической красотой, и начали представлять её шаблоном, основой для новых соединений, новых расстановок, с тем, чтобы возникла отрасль ароматической химии объединившейся со светской властью и нашедшей новые методы синтеза, чтобы появилась Германская красильная промышленность превратившаяся в ИГ...

Кекуле снится Великий Змий зажавший собственный хвост в своей пасти, Змий грёз окружающий Мир. Но сколько подлости, цинизма в способе использования этого сна. Змий возгласивший: «Мир есть нечто замкнутое, цикличное, звучное, вечно возвращающееся», введён в систему, единственной целью которой является *разрушение* Цикла. Брать и не давать взамен, требовать, чтобы «производительность» и «прибыль» возрастали непрестанно, Система, отнимающая у всего остального Мира эти неоглядные количества энергии в целях поддержания роста доходов своей собственной, отчаянно крохотной, фракции: и не только большинство человечества—большая часть Мира, животного, растительного и минерального, уничтожается по ходу процесса. Система может понимать или не понимать, что она всего лишь покупает время. И что время, начать хотя бы с этого, всего лишь искусственный ресурс, не имеющий никакой ценности ни для чего и ни для кого бы то ни было кроме Системы, которая рано или поздно должна рухнуть и сгинуть, когда её зависимость от энергии превысит возможности Мира, увлекая за собой невинные души вдоль всей цепочки жизни. Жизнь внутри Системы подобна поездке через страну в автобусе, за рулём которого маньяк со сдвигом к самоубийству… хотя он вполне добродушный, отпускает шуточки через динамики: «Доброе утро, друзья, это Хайдельберг, куда мы сейчас въезжаем, помните старую песенку ‘Своё я сердце оставил в Хайдельберге’, ну так один мой друг оставил тут свои *оба* уха! Не поймите меня превратно, это действительно милый город, чудесные радушные люди—когда не дерутся на дуэли. Хотя, если всерьёз, они тебя встретят с полным радушием, не только вручат ключи от города, но и киянку дадут для откупорки бочонка» *u.s.w.* Так вот и катишь через края и земли где свет вечно меняется—замки, кучи скал, луны различных форм и расцветок приближаются и отстают. Случаются остановки в какие-то часы по утрам, без объявления причин: выходишь размяться на зеленовато освещённых площадках, где старики сидят вокруг стола под огромными эвкалиптами, чей запах слышишь в темноте, тасуют

древние колоды, измызганные и растрёпанные, сдают мечи, кубки и главные козыри таро в трепещущем свете, покуда позади них пофыркивает автобус в ожидании— *пассажирам занять свои места* и как бы тебе ни хотелось остаться, прямо тут, научиться игре, встретить свою старость за этим тихим столом, ничто не поможет: он ждёт возле двери автобуса в своей отутюженной униформе, Властелин Ночи он проверяет ваши билеты, паспорта и визы, и в эту ночь козырной мастью жезлы предпринимательства… он кивком пропускает тебя и на ходу замечаешь его лицо, его безумный, застывший взгляд, и вдруг припоминаешь, на жуткие пару ударов пульса, что конечно же это кончится для тебя кровью, шоком, унижением—но пока что надо ехать дальше… над твоим сиденьем, где обычно рекламная нашлёпка, вместо того цитата из Рильке: «Однажды, всего лишь однажды...» Один из Их излюбленных боевых кличей. Никакого возвращения, никакого спасения, никакого Цикла—это не то, что Они, что Их гениальный работник Кекуле, имели ввиду под Змием. Нет: значение Змия это—как, бишь, там—что шесть атомов углерода в бензоле фактически закручены в замкнутое кольцо, в точности как *та змея с её хвостом у неё в пасти*, ДОШЛО?– «Вот ароматическое Кольцо, каким мы знаем его сегодня»,– преподававший Пёклеру старый проф., Ласло Джампф, доставал к этому моменту разглагольствований из кармашка для часов свой брелок, золотой шестиугольник с Германским крестом *патте* в его центре, почётная медаль от ИГ Фарбен, пошучивая в своей милой манере старого пердуна, что ему больше нравится считать крест не столько Германским как репрезентацией тетравалентности углерода—«но кем?»– вскидывая руки на каждый бит в такте, как предводитель оркестра,– «кем, послан, Сон?» Никогда до конца не ясно насколько риторичен всякий из вопросов Джапфа: «Кем послан этот новый змий в наш упадочный сад, уже слишком погрязший, слишком переполненный, чтобы претендовать на роль приюта невинности—если только не считать невинностью нейтральность нашего века, нашего молчаливого перехода к конвейерному безразличию—вроде того, к которому должен был придти Змий предложенный Кекуле—не разрушить, но просигналить нам об утрате её… нам даны были определённые молекулы, определённые комбинации их и никаких сверх того… мы использовали найденное нами в Природе, не задаваясь вопросами, возможно бесстыже—но Змий шепнул: ' *Их можно изменять*, и собирать новые молекулы из обломков имеющихся'... Кто-нибудь скажет мне что ещё прошептал нам Змий? Ну-ка—кто знает? Скажет нам... *Пёклер*—»

Собственное имя грянуло над ним словно раскат грома, и конечно, то был не проф., д-р Джампф, как оказалось, а его коллега через одну комнату по коридору, кто объявлял побудку в то утро. Ильзе расчёсывала свои волосы и улыбалась ему.

Его дневные смены проходили лучше. Остальные уже не держались так отстранённо, они даже могли взглянуть ему в глаза. Они уже встречали Ильзе и были очарованы. Если он примечал в их лицах что-то помимо этого, то игнорировал.

Потом в один вечер он вернулся с Ойе, немного выпивший, немного взвинченный предстоящим на следующий день запуском, и нашёл свою комнатушку пустой. Ильзе, её цветастый саквояж, одежда, которую она обычно раскладывала на койке, всё исчезло. Не осталось ничего, кроме жалкого листа из журнала для записей (который хорошо служил Пёклеру для укрощения экспоненциальных кривых в линейные, более надёжные), на таких же листах она рисовала картинки своего Лунного дома. «Папи, они хотят, чтобы я вернулась обратно. Может мне позволят увидеть тебя снова. Я так надеюсь. Люблю тебя. Ильзе»

Курт Мондауген нашёл Пёклера лежащим на её койке, вдыхая то, что ему казалось запахом её волос на подушке. Потом он на какое-то время обезумел, говорил об убийстве Вайсмана, саботаже ракетной программы, что бросит работу и будет искать убежище в Англии... Мондауген сидел и выслушивал это всё, притронулся к Пёклеру раз-другой, курил свою трубку, пока наконец, в два или три часа ночи, Пёклер пересказал кучу нереальных опций, поплакал, наговорил проклятий, пробил дыру в комнатушку соседу, через которую услыхал храп человека дрыхшего без задних ног. Затем остыл до раздражённости элитарного инженера: «Они тупицы, не отличат синус от косинуса, а ещё хотят *мне* указывать...» —он согласился, что, да, он должен выждать, пусть делают что делают...

– Если я устрою встречу с Вайсманом,– предложил Мондауген,– сможешь держаться вежливо? спокойно?

– Нет. С ним нет… Нет ещё.

– *Когда* решишь, что ты готов, дай мне знать. Когда готов, ты будешь знать как поступить.– Позволил ли он себе командный тон? Он должен был видеть до чего Пёклеру нужно подчиняться кому-то. Лени научилась подчинять мужа своим лицом, знала какие жёсткие морщинки он ждёт возле её рта, какие ему нужны интонации... бросив его, она оставила безработного слугу, готового идти за первым же хозяином, что позовёт, ну, просто

Жертва в Пустоте!

Nur . . . ein . . . Op-fer!

Sehr ins Vakuum,

(“Может хоть кто-нибудь попользуется мною?”)

Wird niemand ausnut-zen mich, auch?

(“Я раб без госпожи, я в простое,”)

Nur ein Sklave, ohne Her-rin, (ya-ta ta-ta)

(“И кому, к чёрту, нужна эта свобода?”)

Wer zum Teufel die Freiheit, braucht?

(А теперь все вместе, все мазохисты, сколько вас там наберётся, особенно те, кто в эту ночь остался без партнёра, со всякими теми фантазиями, которым, похоже, вряд ли суждено когда-либо исполнятся—давайте-ка подпоём с вашими братишками и сестрёнками, откровенно дайте друг другу знать, что вы живы, постарайтесь прорваться сквозь молчания, постарайтесь дотянуться и связаться...)

Тускнеют натриевые фонари Берлина,

В бар прихожу, но нет там никого! Все разошлись уж прочь,

А для меня жутчее Греческой трагедии

Остаться ЖЕРТВОЙ ВАКУУМА в эту ночь!

Шли дни, похожие для Пёклера один на другой. Идентичное утро плюхалось теперь в рутину унылую как зима. Он научился держаться спокойным, наружно, по крайней мере. Научился чувствовать как собирается, близится война, небывалая для программ вооружений. Поначалу это вызывает депрессию и неопределённую тревогу. Возможны спазмы пищевода и неприпоминаемые сны. Ловишь себя на том, что пишешь заметки сам себе, первым делом по утрам: спокойные, резонные увещевания визжащему внутри безумию—1. Это комбинация. 1.2. Это скалярная величина. 1.3. Негативные аспекты этого распределяются изотропно. 2. Это не заговор. 2.1. Это не вектор. 2.11 Это не заговор против кого-то конкретно. 2.12 Это не направлено против меня… *u.s.w.* У кофе появляется всё более и более металлический вкус. Всякий конечный срок теперь становится кризисом, каждый из которых всегда напряжённее предыдущего. Позади этой работы-как-работы теперь, похоже, какая-то пустота, что-то непоправимое, что-то растущее, ближе с каждым днём, к проявлению... («Новая планета Плутон»,– прошептала она очень давно, лёжа в затхлой темноте, её, длинная как у Асты Нильсен, верхняя губа выпукла, словно близящаяся к полнолунию луна, которая управляла ею: «Плутон теперь мой знак, закогтил накрепко. Движется медленно, так медленно и так далеко… но он рванёт. Это угрюмый феникс, что сотворяет собственный холокост… *умышленное воскрешение*. Шаг за шагом. Под контролем. Никакой милости, никакого Божественного вмешательства. Некоторые называют её планетой Национал-Социализма, Брунхюбнер и та шайка, все теперь стараются выслужиться перед Гитлером. Им не доходит, что они говорят буквальную истину... Ты не спишь? Франц...»)

С приближением войны, игра приоритетов и политиканства разгоралась не на шутку, Армия vs. *Luftwaffe*, Департамент Вооружений vs. Министерства Военного Снабжения, SS, при их устремлениях, vs. всех остальных, и даже подспудное недовольство, что перерастёт через пару лет в дворцовый переворот против Брауна, из-за его молодости и ряда неудачных испытаний—хотя небо свидетель, таких всегда хватало, они становились сырьём политики испытательной станции... Хотя, в общем, результаты испытаний становились всё более и более обнадёживающими. Невозможно было думать о Ракете не помыслив о *Schicksal*, о росте к форме предопределённой и, пожалуй даже, извне данного мира. Команды

запускали серии неуправляемых А5, возвращая некоторые из них на парашюте, достигая высоты в пять миль и почти скорости звука. Хотя разработчикам управления полётом оставалось ещё пройти долгий путь, они к этому времени перешли на балансиры из графита, снизили колебания рысканья до пяти градусов или около того, и стали заметно увереннее относительно стабильности Ракеты.

В какой-то момент в ту зиму, Пёклер почувствовал, что сможет не сорваться при встрече с Вайсманом. Он увидел SS-мэна во всеоружии, за стёклами очков толстых как Вагнерианские щиты, готового к неприемлемым переборам—гневу, обвинениям, моменту кабинетного бушевания. Всё оказалось как бы новым знакомством. Они не разговаривали с давних пор в Кюмерсдорфе, на старом Raketenflugplatz. За эти четверть часа в Пенемюнде, Пёклер улыбался больше, чем за весь предыдущий год: говорил о своём восхищении изобретением Похлмана по разработке охлаждающей системы двигателя.

– Как насчёт точек нагрева?– спросил Ваайсман. Это был резонный вопрос, но вместе с тем и *сближением*.

Пёклеру было ясно, что тому похрен проблемы нагрева. Это было игрой, как и предупреждал Мондауген—освящённым ритуалом, как в джиу-джитсу: «Мы достигли плотность теплового потока»,– Пёклер чувствует себя как бывает, когда он поёт,– «порядка трёх миллионов kcal/m2h °C. Регенеративное охлаждение пока что лучшее из временных решений, но у Похлмана есть новый подход».– демонстрирует мелом на доске, прощупывая профессиональный подход: «Он полагает, что используя плёнку алкоголя внутри камеры, мы сможем значительно снизить теплоотдачу».

– Вы будете его впрыскивать.

– Совершенно верно.

– Сколько горючего будет перенаправлено при этом? Как это скажется на КПД двигателя.

У Пёклера были цифры: «На сегодняшний день впрыскивание кошмар с подводкой труб, но при текущих графиках исполнения…

– А если применить двуступенчатый процесс сгорания?

– Даёт нам больший объём, улучшает турбулентность, но имеется также нон-изотропное падение давления, которое срезает эффективность... Мы пробуем все возможные подходы. Будь у нас лучшее финансирование…

– Ах. Это не по моей части. Нам бы тоже не помешал более щедрый бюджет.– Тут они оба засмеялись, джентльмены учёные под прижимистой бюрократией, совместно страждующие.

Пёклер понимал, что он ведёт переговоры о своём ребёнке и Лени: что вопросы и ответы не являлись кодировкой чего-то помимо личностной оценки Пёклера. От него ожидалось определённое поведение—не просто играть роль, но жить ею. Любое отклонение в ревность, метафизику, двусмысленность будут тут же подмечены: его либо вернут на курс, либо позволят грохнуться. За зиму и весну, встречи с Вайсманом стали рутиной. Пёклер сжился со своим новым обличьем—Преждевременно Стареющего Вудеркинда—зачастую открывая для себя, что это ему на пользу, дольше удерживается за справочниками и данными о запусках, выговаривает фразы, которые он не готовил заранее: мягкий, академичный, зацикленный на ракете язык, что удивлял и его самого.

В конце августа он получил второй визит. Надо бы сказать «Ильзе вернулась», но Пёклер не был уверен. Как и прежде, она появилась одна, без предупреждения—подбежала к нему, поцеловала, назвала Папи. Но…

Но её волосы, уже одно это, были явно тёмно-каштановые, и пострижены по-другому. Глаза длиннее и посажены не так, цвет лица не такой светлый. И она, казалось, выросла на целый фут. Но в таком возрасте они растут не по дням, а по часам, верно? Если это был «такой возраст...» Ещё как Пёклер обнимал её, началось упрямое нашёптывание? Это та же самая? Тебе прислали другого ребёнка? Почему ты в прошлый раз не присмотрелся повнимательнее, Пёклер?

На этот раз он спросил, долго ли ей позволят остаться.

– Мне скажут, а я постараюсь передать тебе.– А успеет ли он перекалибровать себя с маленького бельчонка, которая мечтала жить на Луне, к этому тёмному, длинноногому созданию Юга, чья неловкость и потребность в отце была такой трогательной, такой явной даже для Пёклера, в эту их вторую (или то было в первую, или третью?) встречу.

Почти ничего о Лени. Их разлучили, сказала Ильзе, ещё зимой. Ходили слухи, что её мать перевели в другой лагерь. Так, так. Пожертвуй пешку, сними королеву: Вайсман выжидает посмотреть как отреагирует Пёклер. На этот раз он слишком далеко зашёл: Пёклер зашнуровал ботинки и довольно спокойно отправился на поиски этого SS-мэна, застал того в его кабинете, обличил в присутствии сочувственных, неясно правительственных лиц, речь достигла красноречивой кульминации, когда он швырнул шахматную доску с фигурами в нагло моргающее лицо Вайсмана... Пёклер импульсивен, да, бунтарь—но, *Generaldirektor*, такая его запальчивость и честность нужны нам…

Девочка вдруг пришла к нему в объятия, поцеловать его снова. Просто так. Пёклер забыл свои муки и долго прижимал её к своему сердцу, не говоря ни слова...

Но в ту ночь в комнатушке только дыхание—никаких желаний луны в этот год—с её койки, он лежал без сна, вычисляя, одна из дочерей подстава? та же дочь дважды? обе подставные? Начинал просчитывать комбинации для третьего

визита, для четвёртого... У Вайсмана, тех, кто за ним, найдутся тысячи таких детей под рукой. В течение лет, с их взрослением, сможет ли Пёклер полюбить какую-то—достигнет ли она, таким образом, королевской линии и станет заменой королевы, утраченной, забытой Лени? Его Противнику известно, что подозрение Пёклера всегда будет сильнее любого страха истинного кровосмесительства... Они могут выдумывать новые правила, усложняя игру до бесконечности. Что мог любой мужчина, опустошённый подобно Пёклеру, чувствовать в ту ночь, как поддерживать постоянную готовность достаточной для этого гибкости?

Kot—какая нелепость—разве он не видел её по всякому, в их прежних городских комнатах? Носил, спящую, плачущую, выкручивающуюся, смеющуюся, голодную. Часто он возвращался домой слишком усталым, чтобы дойти до кровати, и лежал на полу с головой под единственным деревянным столом, скрючившись, разбитый, не зная, сможет ли уснуть вообще. Когда Ильзе заметила в первый раз, она подползла и долго сидела, уставившись на него. Ей не случалось ещё видеть его неподвижным, горизонтальным, с закрытыми глазами… Он засыпал. Ильзе склонилась и укусила его в ногу, как кусала горбушки хлеба, сигареты, ботинки, всё, что могло оказаться пищей.—Я отец твой.—Ты инертный и съедобный. Пёклер вскрикнул и откатился в сторону. Ильзе заплакала. Он был слишком усталым, чтобы восстанавливать дисциплину. Лени пришлось её успокаивать.

Он знал все плачи Ильзе, её первые попытки произнесения слов, цвет её кала, цвета и звуки, которые её успокаивали. Уж он-то должен знать его этот ребёнок или нет. Но он не знал. Слишком многое произошло за это время. Слишком много перемен и снов...

На следующий утро руководитель его группы вручил Пёклеру отпускное удостоверение и чек с отпускным бонусом. Никаких ограничений в выборе маршрута, но временной лимит в две недели. Переводится: А ты вернёшься? Он упаковался, и они сели на поезд до Штеттина. Склады и сборочные цеха, бетонные монолиты и сталь пусковых башен, служившие вехами его жизни, откатились назад, затеняясь в громады лиловатых кусков, отодвинутые один от другого болотами, параллаксом удалённости. Осмелится ли он не вернуться? Сможет ли рассчитать так далеко вперёд?

Он предоставил Ильзе выбор места назначения. Она избрала Цвёльфкиндер. Лето кончалось, мирное время было почти на исходе. Дети знали что надвигается. Играя в беженцев, они заполняли вагоны поезда, притихшие, более церемонные, чем ожидал Пёклер. Ему приходилось обуздывать порывы затеять болтовню всякий раз: когда взгляд глаз Ильзе переходил от окна на него. В глазах их всех он видел одно и то же: он чужой им, ей, и отчуждение росло, а он не знал как обернуть вспять это...

В корпоративном Государстве должно иметься место для невинности, и многих из её проявлений. Для развития официальной версии невинности, культура детства оказалась бесценной. Игры, сказки, исторические легенды, вся атрибутика притворства могут подгоняться и даже воплощаться в определённом физическом

месте, типа Цвёльфкиндер. С годами оно стало детским местом отдыха, почти курортом. Если ты взрослый, тебе нельзя было находиться в городской черте без сопровождающего ребёнка. В городе был ребёнок мэр, детский городской совет из двенадцати. Дети подбирали бумажки, фруктовые очистки, бутылки, оставленные тобой на улице, дети были экскурсоводами при посещении Зоосада, Сокровищницы Нибелунгов, предупреждали тебя сохранять тишину во время впечатляющего представления о возведении Бисмарка, в день весеннего равноденствия 1871, награждении его титулом князя и имперского советника… детская полиция задерживала тебя, если оказывался без ребёнка для сопровождения. Кто на самом деле управлял делами города—это не могли быть дети—оставались хорошо спрятанными.

Позднее лето, запоздалое, ретроспективное цветение... Повсюду летали птицы, море согрелось, солнце сияло до самого вечера. Случайные дети хватали тебя за манжету сорочки по ошибке, и топали рядом минутами, прежде чем обнаружить, что ты не их взрослый, и уйти, оборачиваясь с улыбками. Стеклянная Гора переливалась розовым и белым в горячем солнце, король эльфов и его королева каждый полдень проходили процессией с великолепной свитой гномов и карликов, раздавая пирожки, мороженое и конфеты. На каждом перекрёстке или площади, играли оркестры—марши, народные танцы, жаркий джаз Гуго Вольфа. Дети вихрились как конфетти. У питьевых фонтанчиков, где газированная вода искрилась глубоко в пасти драконов, диких львов и тигров, ждали очереди ребятишек, каждый свой момент опасности, наполовину склоняясь в тень, в запах мокрого цемента и старой воды, в пасть зверя, попить. В небе вращалось высокое Колесо обозрения. Они были в 280 километрах от Пенемюнде, что намечалось, так уж совпало, радиусом действия А4.

Из всего предложенного там на выбор, Колесо, мифы, звери джунглей, клоуны, Ильзе добралась до Антарктической Панорамы. Два-три мальчика, едва ли старше чем она, бродили по имитации просторов, завёрнутые в моржовые шкуры, сооружали каяки, и водружали флаги в августовском зное. От одного взгляда на них, Пёклер обливался по́том. Пара «упряжных собак» валялись изнемогая в тени застругов из папье-маше на снегу из штукатурки, что начинала трескаться. Спрятанный проектор бросал изображения полярного сияния на белый холст. Полдюжины пингвиньих чучел тоже маячили в пейзаже.

– Значит, ты собираешься жить на Южном Полюсе. Так легко рассталась со своей мечтой,– *Kot*—идиот, это уже промашка,– про Луну?– Он был добр до того момента относительно перекрёстного допроса. Не смог узнать кто она. В фальшивой Антарктике, не имея понятия что привлекло её туда, встревоженно и истекая по́том, он ожидал её ответ.

Она, или Они, не стали дожимать его: «О»,– пожимая плечами,– «кто захочет жить на Луне?»– Они больше никогда не возвращались к этому.

Вернувшись в отель, они получили ключ от восьмилетнего регистратора, поднялись в подвывающем лифте с малолетним лифтёром в униформе в свою

комнату всё ещё нагретую после дневной жары. Она заперла дверь, сняла шляпу и положила на свою кровать. Пёклер рухнул на свою. Она приблизилась снять с него туфли.

– Папи,– торжественно расшнуровывая,– можно мне спать рядом с тобой сегодня ночью?– Одна из её ладошек замерла у начала его оголившейся икры. Глаза их встретились на полсекунды. Несколько неопределённостей сдвинулись для Пёклера и обрели смысл. К его стыду, первым его чувством стала гордость. Он и не знал, что был настолько важен для программы. Даже в этот начальный момент, он видел это с Их точки зрения—любой сдвиг заносится в досье, азартный игрок, фетишист ножек или фанат футбола, всё это важно, всему найдётся применение. На данный момент нам важно, чтобы они оставались довольными или, по крайней мере, нейтрализовать фокусировку их недовольства. Ты можешь не понимать в чём, собственно, состоит их работа, не на уровне данных, но ведь ты, в конце концов, администратор, руководитель, твоя работа в том, чтоб добиваться результата… Пёклер сейчас упомянул «дочку». Да, да мы знаем, что это отвратительно, никогда не понять какой смысл они заключают в те свои уравнения, но нам следует отложить свои суждения пока что, после войны будет время разобраться с Пёклерами и их гнусным секретишкам...

Он ударил её по темени открытой ладонью, громкий и жуткий удар. Это погасило его гнев. Затем, прежде чем она успела заплакать или заговорить, он привлёк её вверх на кровать рядом с собою, её ошеломлённые ручки уже на пуговицах его брюк, её белое платьице уже вздёрнуто выше её талии. На ней под платьем ничего не было, ничего весь день… *как я хотела тебя* шепнула она, когда его отеческий плуг впахался в её дочернюю борозду… и после долгих часов изумительного кровосмешения, они молча оделись и выбрались в едва обозначившийся край прозрачнейшей плоти рассвета, мимо спящих детей обречённых до конца лета, мимо старост и железнодорожных обходчиков, вниз, наконец, к рыбачьим лодкам, к отечески старому морскому волку в капитанской фуражке с плетёным рантом, который приветствовал их на борту и направил под палубу, где она улеглась на койку, когда они приступили, и сосала его час за часом под тарахтенье мотора, пока капитан не позвал: «Поднимайтесь, взгляните на свой новый дом!»– Серо-зелёная, в тумане, то была Дания: «Да, они тут свободные люди. Удачи вам обоим!»– Втроём, стояли они на той палубе, обнявшись...

Нет. Пёклер предпочёл считать, что ей хотелось покоя в ту ночь, не хотела остаться одна. Несмотря на Их игру, Их явную злобу, хотя у него не было оснований больше доверять «Илзе», чем он доверял Им, актом не веры, не смелости, но самосохранения, он предпочёл поверить. Даже в мирное время, с неограниченными ресурсами, он не мог определить её подлинность, не за острие лезвия нулевой допустимости, необходимо чёткой безупречности для его глаза. Годы, которые Ильзе проведёт между Берлином и Пенемюнде так безнадёжно перепутались, для всей Германии, что ни одной истинной цепи событий невозможно восстановить наверняка, ни даже догадку Пёклера, что где-то в разросшемся бумажном мозгу Государства некая определённая извращённость

была уделена ему и надлежаще сохранена. Для каждого правительственного агентства Нацистская Партия создала дубликат. Комитеты разделялись, сливались, спонтанно возникали, исчезали. Никто не покажет человеку его досье —

Не было, фактически, ясно даже ему, что он совершил выбор. Но в те гулкие моменты в комнате пахнущей летним днём, чей свет ещё никто не включил, с её круглой соломенной шляпой, хрупкой луной, на кроватном покрывале, огни Колеса медленно изливали красный и зелёный, снова и снова, в темноту снаружи, где отряд школьников распевали на улице припев из принадлежавшей прежде им поры, их проданного жестоко муштрованного времени— *Juch-heierasas-sa! o tempo-tempo-ra!*—та доска с фигурами и комбинациями, по крайней мере, всё стало ясным для него, и Пёклер знал, что покуда он играет, у него будет Ильзе— его истинное дитя, истинное насколько сможет сделать её такой. Это был настоящий момент зачатия, в который, с опозданием на годы, он стал её отцом.

Оставшуюся часть отпуска они гуляли по Цвёльфкиндер, постоянно держась за руки. Фонари покачивались в хоботах слоновьих голов на высоких столбах, освещали им путь… с паутинных мостов глядя вниз на снежных барсов, обезьян, гиен… проезжая на миниатюрном поезде между ног из труб гармошкой под стальной сеткой динозавра к полосе Африканской пустыни, где ровно каждые два часа коварные аборигены атаковали укреплённый лагерь бравых воинов Генерала фон Трофы в синей форме, все роли исполняли воодушевлённые мальчики, в великой патриотической игре популярной среди детей любого возраста… вверх на гигантском Колесе таком откровенном, лишённом милосердия, вертевшемся там с единственно ясной миссией: поднять и напугать...

В их последнюю ночь—хотя он не знал об этом, потому что её уберут с той же резкой невидимостью как и перед тем—они снова стояли, глядя на чучела пингвинов и фальшивый ландшафт, а вокруг них поблескивало искусственное полярное сияние.

– На будущий год,– сжимая её руку,– мы снова сюда приедем, если захочешь.

– О, да, каждый год, Папи.

На следующий день её не было, унесена в надвигающуюся войну, оставив Пёклера одного в детской стране, чтоб возвращался в Пенемюнде в конце концов, в одиночку...

Так оно и шло с той поры шесть лет. По дочери в год, всякий раз почти на год старше, каждый раз начиная почти заново. Единственной преемственностью было её имя, и Цвёльфкиндер, и любовь Пёклера—любовь немного подобная запечатлённости увиденного, потому что они использовали это, чтобы создать для него движущийся образ дочери, прокручивая для него только эти летние кадры, предоставив ему самому выстраивать иллюзию одного ребёнка… в чём разница избранной шкалы времени, одна 24-я секунды или год (не более, думал

инженер, не более, чем в аэродинамической трубе, или с осциллографом, чей вращающийся барабан можешь замедлять или ускорять, как тебе хочется…)?

Снаружи аэродинамической трубы в Пенемюнде, Пёклер остановился как-то ночью, рядом с огромной сферой высотой в 40 футов, вслушиваясь в работу насосов откачивающих воздух из белой сферы, пять минут нарастающей пустоты—затем один жуткий всос: 20 секунд сверхзвукового потока… затем падение заслонки и насосы начинают заново… он слушал и подразумевал свой цикл отсекаемый заслонкой любви, нарастание пустоты в течение года ради двух недель в августе, сконструированных с такой же тщательностью инженерной мысли. Он улыбался, пил тосты обменивался казарменным юмором с Майором Вайсманом, и в то же время постоянно, за музыкой и хаханьками, он слышал плоть фигур продвигаемых в зимней темени через болота и горные цепи доски… проверял прогон за прогоном результаты *Halbmodelle* из аэродинамической трубы, демонстрирующие как равнодействующая сила будет распределяться по всей длине Ракеты, для сотен различных чисел Маха—видел истинный профиль Ракеты искажённым и спародированным, ракета из воска, ссутуленная как дельфин приблизительно около калибра 2, утоншаясь к хвосту, которая затем растягивалась, к до невозможности высокой точке, от меньшего плечевого радиуса кормы—и видел как его собственное лицо можно смоделировать, не в свете, но в чистых силах, воздействующих на него из течения Рейха, и в принуждении, и любви на пути движения потока… и знал, что оно должно претерпевать ту же деградацию, как искорёженное смертью лицо поверх черепа...

В 43-м, потому что он уехал в Цвёльфкиндер, Пёклер пропустил Британский воздушный налёт на Пенемюнде. При подъезде к станции, как только показались бараки «иностранной рабочей силы» в Трассенхайде, разбитые и срезанные, тела всё ещё откапывали из обломков, зародилось жуткое подозрение, от которого невозможно было избавиться. Вайсман спасал его для чего-то: для какой-то уникальной судьбы. Этот человек как-то знал, что Британцы будут бомбить в ту ночь, знал ещё в 39-м, вот и установил традицию отпуска в августе, год за годом, но все это лишь для того, чтобы уберечь Пёклера от одной плохой ночи. Не очень уравновешено… малость паранойно, да, да… но мысль гудела в его мозгу, и он чувствовал как каменеет.

Дым сочился из земли, обугленные деревья валились, у него на глазах, от малейшего дыхания со стороны моря. Измельчённая пыль подымалась на каждый шаг, делая одежду белой, обращая лица в пылевые маски. Чем дальше вдоль полуострова, тем меньше урона. Странная градация смерти и разрушения, от юга к северу, при которой самым обездоленным и беззащитным досталось хуже всего—как в действительности распределится градация от востока к западу в Лондоне, год спустя, когда начнут падать ракеты. Большая часть погибших была среди «иностранных рабочих», эвфемизм покрывавший гражданских узников привезённых из стран под Германской оккупацией. Аэродинамическая труба и здание измерительной задеты не были, повреждения в цехах первичной обработки незначительны. Коллеги Пёклера стояли перед Жилым Комплексом Учёных, куда случились попадания—фантомы шевелящиеся в утреннем тумане

всё ещё не выгорели, мыли посуду в вёдрах с пивом, потому что воды всё ещё не было. Они уставились на Пёклера, не в силах, достаточно многие, сдержать обвинения на своих лицах.

– Я бы тоже хотел пропустить всё это.

– Доктор Тиль погиб.

– Как там в сказочной стране, Пёклер?

– Извините,– сказал он. В этом не было его вины. Остальные умолкли: некоторые смотрели, некоторые всё ещё в шоке после минувшей ночи.

Потом появился Мондауген: «Мы на пределе. Можете пойти со мной в Первичную Обработку? Там требуется большая уборка, нам помощь нужна».– Они потопали туда, каждый в личной туче пыли: «Это было ужасно»,– сказал Мондауген: «Нам всем довелось испытать напряжение».

– Они говорят так, словно *я* это сделал.

– Ты чувствуешь себя виноватым в том, что тебя тут не было?

– Я просто хочу понять почему меня не было тут. Вот и всё.

– Потому что ты был в Цвёльфкиндер,– ответил просвещённый.– Давай не усложнять.

Он старался. Ведь это работа Вайсмана, не так ли, Вайсман был садистом, его обязанность вносить в игру новые вариации, нагнетая максимальную жестокость, которая разложит Пёклера до нервных волокон и окончаний, все самые укромные изгибины мозга расплющит о сияние чёрных свечей, укрыться негде, весь во власти хозяина… момент, который определит его перед самим собой, наконец... Вот что, предчувствовал теперь Пёклер, ожидая впереди помещение, которого он никогда не видел, церемонию, которую не мог заучить заранее...

Случались ложные тревоги. Пёклер был почти уверен однажды зимой, во время серии испытаний в Ближне. Они перенеслись на восток, в Польшу. Запуски с Пенемюнде все были нацелены в море и невозможно было пронаблюдать обратный вход А4. Ближна стала почти исключительно проектом SS: часть созидания империи Ген.-Майором Каммлером. Ракету в ту пору лихорадили проблемы взрывов в воздухе в завершающей фазе—аппарат разрывался на части до достижения цели. У каждого имелась своя версия. Возможно чрезмерное давление в баке с жидким кислородом. Может быть, потому что Ракета возвращалась на 10 тонн облегчённой от горючего с окислителем, смещение центра тяжести дестабилизировал её. Или же возможно изоляция бака с алкоголем была всему виной, позволяя остаточному горючему возгораться при обратном входе в атмосферу. По этой причине Пёклер оказался там. К тому времени он уже не был в группе по двигателю, ни даже просто инженером—он

работал в отделе Материалов, ускоряя поставки различных пластиков для изоляции, амортизации, прокладок—захватывающая работёнка. Приказ отправляться в Ближну показался слишком странным, чтобы быть делом Вайсмана: в тот день, когда Пёклер вышел сидеть среди Польских лугов точно в том месте, куда должна была попасть Ракета, он уже не сомневался.

Зелёная рожь и пологие холмы на мили вокруг: Пёклер тут в неглубоком окопчике, в районе цели в Сарнаки, устремив свой бинокль к югу в сторону Ближны, как все остальные: в ожидании. *Erwartung* в перекрестии, с только что взошедшей колышущейся рожью её более податливый пушок приглажен ветром… взгляни на это раздолье, с высоты Ракетных миль утреннего пространства: множество лесных оттенков зелёного, домики Польских ферм белый с коричневым, длинные угри рек ловят солнце в свои извивы… а в самом центре внизу, в пресвятой X, Пёклер, распятый, невидимый пока что, но через минуту… вон *уже* начинает вырисовываться, с нарастанием инерции падения—

Но как может он поверить в её реальность там наверху? Насекомые звенят, солнце почти тёплое, ему видна красная земля и миллионы колышущихся колосков, и от этого он почти впадает в небольшой транс: в рубахе с коротким рукавом, костлявые колени указуют вверх, пиджак от серого костюма, мявшегося годами со времён последней глажки, у него под задницей, промакнуть росу. Остальные, с кем он сюда явился, рассеяны точками тут же, по Наземному Нулю, блаженные Нацистские лютики—бинокли побалтываются на ремешках конской шкуры шиферного цвета у них на шеях, группа Аскании суетится со своим оборудованием, и один из офицеров связи SS (Вайсмана тут нет) поглядывает на свои часы, потом на небо, потом на часы, стекло их становится, в кратких промельках вкл./выкл., перламутровым кругом увязавшим воедино час и небо в барашках.

Пёклер почёсывает седеющую 48-часовую бороду, покусывает губы очень потрескавшиеся, словно он провёл большую часть минувшей зимы на морозе: у него зимний вид. Вокруг его глаз, с течением лет, разрослась разрушительная система лопнувших капилляров, теней, складок, морщин, помол, что к этому времени скопился в простых и прямых глазах его более молодых и нищенских дней… нет. Что-то было в них, даже тогда, такое, что другие видели и знали, что могут воспользоваться, и находили способ. Что-то что Пёклер проморгал. Он достаточно за свою жизнь смотрелся в зеркала. Он бы действительно запомнил...

Взрыв в атмосфере, если случится, будет в пределах видимости. Абстракции, математика, модели, это всё прекрасно, но если ты полностью поглощён этим, а тебе со всех сторон орут исправить, вот что ты сделаешь: отправляешься и садишься точно по центру мишени с безразлично мелкими окопами для укрытия, и всматриваешься в безмолвный цветок огня её заключительных пары секунд, и смотришь на что уж там увидишь. Шансы астрономически против безукоризненного попадания, конечно, поэтому безопаснее всего в центре района намеченной цели. Ракетам положено быть подобными артиллерийским снарядам, они рассеиваются вокруг прицельной метки гигантским эллипсом—Эллипс

Неопределённости. Но Пёклер, хоть и верит как и всякий другой учёный в неопределённость, не чувствует себя тут слишком уютно. Всё это против его персональной жопы, чьё трепещущее очко помещено точнёхонько на Наземном Нуле. И во всём этом больше, чем просто баллистика. Тут ещё Вайсман. Да сколько угодно химиков и материаловедов разбирающихся в изоляторах на уровне Пёклера… зачем избран он, если только не… где-то в его мозгу два фокуса сошлись и стали единым… нулевой эллипс… единая точка… настоящая боеголовка, втайне заряженная, специальные бункеры для всех остальных… да, вот чего он хочет… все допустимые отклонения в управлении направлены к точному попаданию, точно по Пёклеру… ах, Вайсман, твоей заключительной партии не достаёт утончённости—впрочем тут не было ни зрителей, ни судей по ходу всей этой игры, кто вообще сказал, что конец не может быть таким изуверским? Паранойа хлынула на Пёклера, затопила его до висков и темени. Возможно он усрался, ему не разобрать. Его пульс отдаётся в затылке. Ломит руки и ноги. Чёрнокостюмные блондины-силовики присматривают. Их металлическая сбруя поблескивает. Волнистые склоны невысоких холмов распростёрлись под ранним солнцем. Все полевые бинокли смотрят на юг. Агрегат в полёте, ничего изменить невозможно. Никому вокруг и дела нет до пенетралии этого мига, или последних таинств: слишком много минуло рациональных лет. Бумаг скопилось слишком много и на слишком многое. Пёклер никак не согласовывается, право же ни в какую, с его мечтанием быть безупречно принесённым в жертву и с привитой ему потребностью делать дело—ему не доходит даже как это может быть одним и тем же. А4 должна, в конце концов, быть очень скоро поставлена на поток, этот коэффициент неудач должен быть снижен, и вот те, кто явился, они все тут, и если не случится приступа массовой слепоты в это утро на Польском лугу, если ни один, даже и самый из них параноидальный, не сможет разглядеть что бы то ни было выходящее за рамки заявленных Требований, конечно это не такая уж небывальщина для данного времени, данного места, где глаза приникшие к чёрным биноклям высматривают лишь очередную «упёртую целку»—как остроумные ракетчики окрестили свои проблемные ракеты—пусть проявит себя… заметить где, от носа до кормы, может таиться авария, форма струи форсажа, звук взрыва, хоть что-нибудь что может поспособствовать...

В Сарнаках, как занесено в отчёт, ракета пошла вниз в тот день с обычным двойным взрывом, полоса белого конденсата в синем небе: ещё один преждевременный взрыв в атмосфере. Стальные осколки упали, за сотни метров от точки Нуля, хлеща по ржи как град. Пёклер видел взрыв не больше, чем кто-либо другой. Его никогда не присылали больше. Люди SS видели, что он поднялся на ноги, потянулся, и медленно двинулся с остальными. Вайсман получит свой доклад. Будет дан ход новым разновидностям пытки.

Однако внутри жизни Пёклера, не в записях, но в душе, в его Несчастной Германской душе, основа времени удлинилась и замедлилась: Идеальная Ракета всё ещё там вверху, всё ещё спускается. Он всё ещё ждёт—даже теперь, в одиночестве в Цвёльфкиндер дожидаясь «Ильзе», летнюю выдачу и, вместе с тем, взрыва, что застигнет его врасплох...

Весной, когда ветры Пенемюнде сделали полный оборот к юго-западу, и вернулись первые птицы, Пёклера перевели на подземный завод в Нордхаузене, в Гарце. Работа в Пенемюнде после Британского налёта начала разваливаться. План—опять Каммлера—предусматривал теперь рассеять испытание и производство по всей Германии, чтобы предотвратить ещё один и возможно фатальный удар Союзных Сил. Обязанности Пёклера в Миттельверке были рутиной: материалы, поставки. Он спал на койке рядом со стеной пробурённого динамитом камня под слоем побелки, с лампочкой над головой горевшей ночь напролёт. Ему снилось, что лампочка агент Вайсмана, существо, чья яркая нить накаливания была её душой. Они вели долгие диалоги во сне, суть которых Пёклер никак не мог вспомнить. Лампочка объясняла ему сюжет в деталях—он был великолепнее и потряснее, чем Пёклер когда-либо мог представить, много ночей он выглядел чистой музыкой, его сознание двигалось по звукошафту на цыпочках, осмотрительно, податливо, всё ещё чуть удерживаясь, но ненадолго.

В это время шли слухи о растущем отчуждении между Вайсманом и его «монстром» Тирличем. *Schwarzkommando* тогда уже выделились из структуры SS, весьма подобно тому, как сами SS выделились из Германской Армии. Их сила теперь состояла не в абсолютном оружии, а в информированности и умении. Пёклер счастлив был услышать, что у Вайсмана имеются свои неприятности, но понятия не имел как использовать их с выгодой для себя. Так что, игра откладывается? Может он никогда больше не увидит Ильзе. Но принесли напоминание, предписывающее ему явиться в кабинет Вайсмана.

Волосы у Вайсмана на висках седели и лохматились. Пёклер увидел, что одна дужка очков Вайсмана держится на скрепке для бумаг. Стол его завален документами, докладами, справочниками. Оказалось сюрпризом увидеть его не таким демоничным, а измытаренным, как выглядит любой чиновник в трудную полосу карьеры. Глаза устремлялись в направлении Пёклера, но линзы искажали их.

– Вам понятно, что перевод в Нордхаузен дело добровольное.

Пёклер понял, с облегчением и парой секунд неподдельной любви к своему хранителю, что игра по-прежнему продолжается: «Это станет чем-то новым».

– Вот как?– Отчасти вызов, но частью и с интересом.

– Производство. Мы тут слишком забурились в исследования-и-разработку. Это не оружие для нас, а скорее «летающая лаборатория», как доктор Тиль однажды выразился—

– Вы вспоминаете доктора Тиля?

– Да. Он не из моего отдела. Я знал его не слишком хорошо.

– Позор, что он попал под налёт. Мы все переместились в Эллипс Неопределённости, верно?

Пёклер позволил себе взгляд на захламлённый стол, достаточно быстрый, чтобы расцениваться как нервозность или возражение—Вайсман, похоже, у тебя тут собственный Эллипс по полной—«О, у меня нет обычно времени для беспокойства. По крайней мере, Миттельверке под землёй».

– Тактические площадки не будут.

– Вы думаете, меня могут послать—

Вайсман пожал плечами и одарил Пёклера широкой фальшивой улыбкой: «Мой дорогой Пёклер, как может кто-либо предсказывать, где мы окажемся? Посмотрим, как это всё обернётся».

Позднее, в Зоне, где вина станет восприниматься через органы чувств, покалывать его глаза и мембраны словно аллергия, Пёклеру начнёт казаться, что он не мог, даже на тот день в кабинете Вайсмана, быть в неведении. Что он знал правду своими чувствами, но позволял всем доказательствам укладываться не на те полки, как попало, откуда они его не побеспокоят. Знал обо всём, но удержался от единственного действия, что принесло бы ему искупление. Ему следовало задушить Вайсмана где тот сидел, складки на тощей шее и Адамово яблоко вдавливаются ладонями Пёклера, толстые стёкла очков соскальзывают, а маленькие глазки мутнеют, беспомощно отходя вслед за их окончательным затемнителем...

Пёклер поспособствовал своей собственной слепотой. Он знал про Нордхаузен и про лагерь Дора: он мог *видеть*—истощённые голодом тела, глаза иностранных узников, которых гонят на работу в четыре утра в ледяном холоде и темноте, шаркающие тысячи в полосатых формах. И он знал также, всё время, что Ильзе жила в лагере перевоспитания. До самого августа, когда пришёл отпуск, как обычно в своём чёрном картонном конверте, и Пёклер поехал на север через серые километры Германии, которую он больше не узнавал, разбомблённой и обгорелой, деревни военного времени и дождливо лиловый вереск, и наконец нашёл её ожидавшую в фойе отеля в Цвёльфкиндер с такой же точно тьмой в её глазах (как мог он не заметить прежде? Эти плывучие орбиты боли) что он смог окончательно свести две области данных воедино. Месяцами, пока её отец по ту сторону проволоки или стен прилежно тянул лямку нудной работы, она оставалась заключённой всего за пару метров от него, избитой, возможно изнасилованной... Если он должен проклясть Вайсмана, то вместе с ним должен проклясть и себя. Жестокость Вайсмана была не менее изобретательной, чем собственное инженерное искусство Пёклера, дар Дедалуса позволивший ему воздвигнуть сколько потребуется лабиринтов между собой и неудобствами небезразличия. Они продали ему удобство, так много и всё в кредит, а теперь Они взимали плату.

Стараясь, немного поздно для этого, открыть себя для боли, которую он должен был почувствовать, он расспросил её теперь. Знала она название своего лагеря? Да, подтвердила Ильзе—или так ей было велено отвечать—называется Дора. За

ночь перед тем, как отправиться сюда, она видела повешение. На вечер отводился час повешения. Хотел он услышать это? Хотел он услышать это...

Она была очень голодна. Они провели первую пару дней за едой всего, что продавалось в Цвёльфкиндер. Выбор меньше, чем за год до этого, и дороже. Однако, анклав невинности по-прежнему пользовался высоким приоритетом, так что кое-что было.

Не так много детей в этом году, впрочем. Инженер и девочка практически пользовались страной вдвоём. Колесо и большинство других аттракционов стояли без движения. Дефицит бензина, ребёнок-сторож пояснил им. Вылеты *Luftwaffe* выли над головой. Почти каждую ночь сирены поднимали крик, и они следили за прожекторами вспыхнувшими в Висмаре и в Любеке, а иногда слышали разрывы бомб. Что делал Пёклер в этом мире грёз, среди этой лжи? Его страна ожидала разрушения захватчиками вторгшимися с востока и запада: в Нордхаузен истерия достигла эпического уровня с подготовкой первых ракет к выпуску в поле, исполнить инженерные пророчества из древних мирных времён. Почему в столь критический момент, отпустили Пёклера? Кто ещё в эти дни получал отпуска? И что «Ильзе» делала тут, разве не была она уже слишком старой теперь для сказочек? её новые груди такие теперь приметные под её платьем, её глаза так почти опустошённо, без истинного интереса, поглядывали на случайных мальчиков предназначенных для *Volkssturm*, мальчики чуть старше, больше не интересующиеся ею. Они мечтали о получении приказов, о грандиозных взрывах и смерти—если они даже замечали её, то искоса, *тихоня… её Отец её объездит… закусит зубами жердь*… однажды у меня будет стадо таких же только для меня одного… но сперва я должен найти своего Капитана… где-то на Войне… сперва меня должны вызволить из этого захолустья...

Кто это был, проходил мимо как раз тогда—кто был тот стройный мальчик мелькнувший поперёк дорожки, такой блондин, такой белый, почти невидимый в мареве зноя, что собрался над Цвёльфкиндер? Она его увидела? узнала в нём свою вторую тень? Сама она была зачата потому, что её отец однажды смотрел кино под названием *Alpdrücken* и у него случилась эрекция. Разгорячено уставившийся Пёклер упустил тонкий Гностический символизм Режиссёра, приём подсветки производивший две тени, Каина и Абеля. Но Ильзе, некая Ильзе, сохранилась долее своей кинематографической матери, за пределы окончания фильма, и точно так же тени теней. В Зоне всё будет двигаться по Ветхому Распределению, внутри Каинова света и пространства: не по какой-то изысканной Гёлерщине, а потому что Двойной Свет присутствовал там постоянно, вне всяких плёнок, и тот проныра киношник оказался единственным, кому случилось заметить и применить его, хоть совершенно без понятия, тогда и теперь, что именно он показывает нации уставившихся... Так что в то лето Ильзе прошла мимо себя самой, слишком прикованная к какому-то лишённому теней интерьеру, чтобы заметить пересечение или придать значение.

Она и Пёклер почти не разговаривали на этот раз: это был их самый немой отпуск вместе. Она ходила в задумчивости, опустив голову, волосы капюшоном вокруг

лица, коричневые ноги пинали мусор, пропущенный недоукомплектованным звеном мусорщиков. Такой период её жизни или же ей претило проводить по приказу время со скучным стареющим инженером в месте, которое она переросла годы тому назад?

– Тебе не очень-то хочется быть тут, верно?– Они сидели на берегу загрязнённого ручья, бросая хлеб уткам. Желудок Пёклера расстроен кофезаменителем и из-за крашеного мяса. Его не отпускала головная боль.

– Это либо тут или в лагере,– лицо её упрямо отвёрнуто.– Мне вообще не хочется нигде быть. Всё равно.

– Ильзе.

– Тебе тут нравится? Или хочется обратно под свою гору? Ты говоришь с эльфами, Франц?

– Нет, я *не в восторге* от того, куда я попал— *Франц?*—но у меня, у меня есть работа...

– Да. И у меня есть. Моя работа быть в тюрьме. Я профессиональная заключённая. Я знаю как получать поблажки, у кого красть, как доносить, как—

Ещё минута и она сказала бы это… – «Пожалуйста— *прекрати*, Ильзе—» На этот раз Пёклер впал в истерику и таки дал пощёчину. Утки, удивлённые резким хлопком, сделали поворот «кру-гом!» и отплыли прочь. Ильзе смотрела на него, без слёз, комната за комнатой глаз нанизанных на тени старого довоенного дома, где он мог бродить годами, слыша голоса и отыскивая двери, улавливая себя, свою жизнь какой она могла бы стать... Он не мог стерпеть безразличия от неё. Почти утрачивая контроль, Пёклер тогда совершил свой акт мужества. Он оставил игру.

– Если ты не хочешь приезжать на следующий год,– пусть даже «следующий год» на тот момент означал слишком мало в Германии,– то можешь не приезжать. Даже лучше, если не приедешь.

Она мгновенно поняла что он сделал. Она подтянула одну коленку вверх и опёрлась на неё лбом, подумала: «Я приеду»,– сказала она очень тихо.

– Ты?

– Да. Правда.

И он, тогда, совершенно забыл о всякой сдержанности. Он свернул в вихрь своего долгого одиночества, жутко сотрясаясь. Он плакал. Она взяла его за руки. Утки на плаву наблюдали. Море прохлаждалось под солнцем в дымке. Где-то в городе играл аккордеон. За разваливающимися мифическими статуями приговорённые дети орали друг на друга. Лето кончилось.

Вернувшись в Миттельверке, он попытался, и продолжал пытаться, попасть в лагерь Дора и отыскать Ильзе. Вайсман уже не имел значения. Охранники SS всякий раз оказывались вежливыми, понимающими, непропускающими.

Рабочая нагрузка вышла за пределы возможного. На сон у Пёклера оставалось менее двух часов в сутки. Военные новости доходили под гору лишь в виде слухов и растущего дефицита. Философия поставок была «треугольной»—три возможных источника для получения той же самой части, на случай когда один будет разрушен. В зависимости от того что переставало поступать откуда или с каким опозданием, ты знал какие заводы подверглись бомбёжке, какая железнодорожная магистраль перерезана. Ближе к концу, приходилось пробовать и налаживать производство многих компонентов на месте.

Когда у Пёклера оставалось время думать, он упёрся в растущую загадку молчания Вайсмана. Чтобы пробудить его или память о нём, Пёклер шёл на всё, чтобы поговорить с офицерами из подразделения безопасности майора Фёршнера, добиваясь новостей. Ни один из них не относился к Пёклеру иначе, чем к ходячей нервотрёпке. До них доходили слухи, что Вайсман уже не тут, а в Голландии, командует одной из ракетных батарей. Тирлич тоже пропал из виду вместе со многими ключевыми *Schwarzkommando*. Пёклер всё более уверялся, что на этот раз игра действительно кончена, что война их всех зацапала, предписала новые приоритеты жизни-и-смерти и лишила досуга для пытки мелкого инженеришки. Ему удалось немного расслабиться, вернуться в колею дня, ждать конца, даже надеяться, что тысячи в Доре скоро станут свободны, среди них Ильзе, какая-то приемлемая Ильзе...

Но весной он снова-таки увидел Вайсмана. Пробудившись ото сна про мягкий Цвёльфкиндер, который был также Нордхаузеном, городом, где эльфы производили игрушечные ракеты полётов на луну, он увидел над краем своей койки лицо Вайсмана наблюдавшего за ним. Он казался постаревшим лет на десять, и Пёклер насилу узнал его.

– Мало времени,– прошептал Вайсман.– Пойдём.

Они двинулись через белую бессонную суету тоннелей. Вайсман шагал медленно и твёрдо, оба они молчали. В одном из управленческих отсеков были с полдюжины других, а также люди из SS и SD: «У нас уже есть согласие ваших отделов»,– сказал Вайсман,– «освободить вас для работы над особым проектом. Это будет секретность наивозможно высшей категории. Вы будете жить отдельно, питаться отдельно, не говорить ни с кем за исключением присутствующих в этой комнате».– Они оглянулись вокруг увидеть кто же это. Ни одного знакомого. Обернулись обратно к Вайсману.

Ему нужны модификации для внесения в одну ракету, только одну. Её серийный номер был снят, и вписаны пять нулей. Пёклер мгновенно осознал, что для этого Вайсман и приберегал его: именно это и было его «особой судьбой». Он никак не мог понять этого: он должен разработать пластмассовый обтекатель,

определённого размера, определённых изоляционных свойств, в силовой установке ракеты. Инженер силовой установки был самым занятым в этом проекте, перенаправляя линии пара и подачи горючего, перемещая части конструкции. Каким бы ни было новое изделие, его не видел никто. По слухам, его произвели где-то в другом месте и назвали Schwarzgerät, из соображений высокой секретности окружавшей проект. Даже вес был засекречен. Они уложились в срок менее двух недель, и « *Vorrichtung für die Isolierung*» отправился по назначению. Пёклер вернулся к своему постоянному начальнику, и рутина вернулась в свою колею. Он никогда больше не видел Вайсмана.

В первую неделю апреля, когда с минуты на минуту ожидалось появление Американских войск, большинство инженеров укладывались, обменивались адресами с коллегами, пили прощальные тосты, шатаясь по пустеющим помещениям. В воздухе было ощущение выпускного дня. Насилу сдерживаешься не насвистывать «*Gaudeamus igitur*». Нежданно, жизнь в заточении кончалась.

Молодой охранник SS, последний из уезжавших, нашёл Пёклера в пыльном кафетерии, передал ему конверт и вышел, не сказав ни слова. Это обычное отпускное удостоверение, утратившее силу из-за неизбежной кончины Правительства—и проездные документы до Цвёльфкиндер. В пробелах для даты кто-то вписал, почти неразличимо «по окончании военного противостояния». На обороте той же рукой (Вайсмана?) приписка для Пёклера. *Она освобождена. Встретит там*. Он понял это было его платой за модернизацию сделанную им на 00000. Как долго Вайсман умышленно держал его в запасе, всё для того, чтобы иметь человека по пластмассам, на которого он мог положиться, когда придёт время?

В последний день Пёклер вышел из южного конца основного тоннеля. Грузовики были повсюду, все моторы на ходу, прощание в весеннем воздухе, высокие деревья в солнечном свете зеленели на горных склонах. *Obersturmbannführer* не оставался на своём посту, когда Пёклер зашёл в лагерь Дора. Он не искал Ильзе или не совсем. Может почувствовал что именно должен увидеть, наконец. Он не был готов. Он не знал. Имел данные, да, но не знал, чувствами, сердцем...

Вонь говна, смерти, пота, болезни, плесени, мочи, дыхания Доры, охватили его, когда пробирался, глядя на голые трупы, что теперь вытаскивали, раз Америка так близко, штабелевать перед крематориями, члены мужчин болтаются, пальцы ног поджаты, белые и круглые как жемчужины… каждое лицо так совершенно, так индивидуально, губы растянуты в ухмылке смерти, целый зал умолкших зрителей срезанных на заключительном слове, в котором самая соль шутки… а живые, набитые по десятеро на соломенный матрас, бессильно плачущие, кашляющие, лузеры... Все его пустоты, его лабиринты, были оборотной стороной этого. Пока он жил и чертил линии на бумаге, это невидимое царство длилось, во тьме снаружи… всё время... Пёклера вырвало. Он расплакался. Стены не растворились—ни одна тюремная стена никогда не делает этого, чтоб просто от слёз, ни от этого открытия, на каждых нарах, в каждой камере, всё лица, что он знает, в конце концов, и они дороги ему как и сам он, и не может, поэтому,

допустить, чтобы они вернулись обратно в то безмолвие... Но что он может сделать вообще? Как вообще удержать их? Бессилие, зеркальное вращение горя, взвинчивают его ужасно, как и вырвавшееся из-под контроля сердцебиение, почти не оставляя ему шансов хорошенько разбушеваться или сойти...

Там где было всего темнее, и смердело хуже всего, Пёклер нашёл женщину лежавшую, случайную женщину. Он сидел полчаса, держа её костлявую руку. Она дышала. Прежде, чем уйти, он снял своё золотое обручальное кольцо и одел на тонкий палец женщины, сложил её руку в кулак, чтобы оно не соскальзывало. Если она выживет, кольца хватит на пару обедов или на одеяло, или ночёвку под крышей, или проезд домой...

* * * * * * *

По возвращении в Берлин, под грандиозной грозой, извергающейся на город, Маргрета привела Слотропа в покосившийся домик рядом со Шпрее, в Русском секторе. Сожжённый танк Королевский Тигр охраняет вход, его краска вспузырилась, гусеницы искалечены и сбиты с опорных катков, мёртвое чудище его 88-миллиметровой пушки свёрнуто вниз, уставилось на серую реку, шипящую под шипами спикул взбитых из неё бессчётными каплями.

Внутри летучие мыши гнездятся под стропилами, останки кроватей, что отдают плесенью, битое стекло и помёт летучих мышей на голом деревянном полу, окна заколочены, кроме дыры для выхода жестяной трубы от плиты, потому что кирпичная разбита. На кресло-качалку брошено пальто из шкуры котика, тёмно-серое облако. Краска какого-то художника из дней минувших всё ещё различима на полу во взморщенных пятнах древнего пурпура, шафранного, сталисто-синего, обратная деформация картины, чьё местонахождение неизвестно. Глубоко в углу висит потемнелое зеркало, по всей раме его цветы и птицы, нарисованные белым, отражает Маргрету и Слотропа и дождь в распахнутой двери. Часть потолка, сорванная при смерти Королевского Тигра, покрыта мокрыми, в разводах пятен, картонными плакатами все с одной и той же фигурой в плаще и сдвинутой на глаза шляпе DER FEIND HÖRT ZU. Вода каплет сквозь них в полудесятке мест.

Грета зажигает керосиновую лампу. Та согревает свет дождя пригоршней жёлтого. Слотроп разводит в плите огонь, пока Маргрета занырнула под домик, где оказывается большой запас картошки. Там есть ещё лук в мешке, и даже вино. Охренеть, Слотроп несколько месяцев не видел ни одной картошечки. Она приготовила, и они сидят, прям-таки обжираются тем картофаном. Позднее, без атрибутики и разговоров, заёбывают друг друга в сон. Но через пару часов Слотроп просыпается и лежит там думая, что дальше.

Ладно, найти того Кислоту Бумера, отдать ему гашиш. А дальше что? Слотроп и S-Gerät, а также загадка Джампф/Imipolex как-то отдалились друг от друга. Уж сколько времени он не вспоминал о них. Хмм, на чём тогда остановились? В тот

день он сидел с Кислотой в кафе, курили тот косяк… о, это позавчера было, нет? Дождь шлепает, впитываясь в пол, и Слотроп чувствует, как теряет свой рассудок. Если есть что-то утешающее—религиозное, если угодно—в паранойе, так это что к ней прилагается ещё и анти-паранойа, где ничто ни с чем не связано, условие, которые мало кто из нас может долго выдерживать. И вот тут-то Слотроп чувствует как он скатывается в анти-параноидную часть своего цикла, чувствует огромный город вокруг себя раскинувшийся без крыш, уязвимый, утративший центр, как и он, и только картонные изображения Подслушивающего Врага остались между ним и мокрым небом.

Либо Они завели его сюда по какой-то причине, или же он тут просто так. Он не уверен, хочется ли ему, на самом деле, чтобы нашлась причина этому...

В полночь дождь прекращается. Он оставляет Маргрету, чтобы прокрасться в холодный город со своими пятью кило, придержав для себя тот, из которого грабанул Чичерин. Русские войска поют в своих расположениях. Солёная боль музыки гармоней плачет у них на задворках. Материализуются пьяницы, весёлые и ссущие в центральные борозды мостовых. Грязь заполнила какие-то из улиц словно плоть. Снарядные воронки полны дождевой воды до краёв, мерцают в свете ночных бригад по расчистке развалин. Разбитый вдребезги Бидермаерский стул, ботинок без напарника, стальная оправа очков, собачий ошейник (глаза обшаривают края извилистого пути в ожидании знака, явного сигнала), винная пробка, расщепленный веник, велосипед без одного колеса, выброшенная подшивка *Tägliche Rundschau*, дверная ручка из халцедона покрашенная в синий, давным-давно, ферроцианидом железа, рассыпанные клавиши рояля (все белые, октава в B, если быть точным—или H, в Германской номенклатуре—ноты отринутого Локрийского тона), чёрно-янтарный глаз какого-то звериного чучела... Мусорная ночь. Собаки, запуганные и дрожащие, бегают позади стен с верхушками из резких скачков графика лихорадочных температур. Где-то утечка газа оттесняет на минуту смерть и запахи дождя. Ряды чёрных оконных глазниц громоздятся в боках выпотрошенных квартирных блоков. Куски бетона нанизаны на вздыбленные прутья арматуры, что изогнулись как чёрные спагетти, целые груды зловеще покачиваются над головой, как только чуть заденешь пробираясь мимо... Гладколицый Хранитель Ночи витает, прикрывшись безразличными глазами и улыбкой, свернувшись калачиком и бледный, над городом, урча свои хриплые колыбельные. Молодые мужчины проводили Инфляцию точно также, на улицах в одиночестве, некуда зайти укрыться от чёрных зим. Девушки оставались допоздна на ступенях или засиживались на скамейках в свете фонарей вдоль рек, в ожидании бизнеса, но молодые мужчины проходили мимо, проигнорированные, сутуля подбитые ватой плечи, деньги не имели отношения к чему-либо что они могли купить, разбухающая, бумажная раковая опухоль в их бумажниках...

Чикаго Бар охраняется снаружи двумя из их потомков, пацаны в костюмах Джорджа Рафта, на несколько размеров больше них, на слишком много, чтобы хоть когда-то доросли. Один всё время кашляет, в неудержимых предсмертных спазмах. Второй облизывает свои губы и пялится на Слотропа. Пистолетоносцы.

Когда он упоминает имя Кислоты Бумера, они сдвигаются перед дверью, мотая головами: «Послушайте, мне надо передать ему пакет».

– Не знаем такого.

– Могу я оставить сообщение для него?

– Его тут нет.– Который с кашлем делает выпад. Слотроп уворачивается, матадорским взмахом накидки отвлекает, делает подножку и валит пацана, тот лежит на земле матерясь, весь запутавшись в своей длинной цепочке с брелоком, пока его напарник запускает руку под болтающийся на нём пиджак костюма за, как полагает Слотроп, огнестрельным, так что этого Слотроп пинает по яйцам и с криком « *Fickt nicht mit dem Raketemensch!*», чтоб понимали, типа н-но, Сильвер! в этом месте, и он смывается в тени, между грудами обломков брёвен, камней и земли.

Он выбирает тропу, по которой, как ему кажется, Кислота вёл их в ту ночь—часто теряет её, забредая в безоконные лабиринты, клубки колючей проволоки от празднества смертельных штурмов в минувшем мае, потом в разнесённую с бреющего, перерытую взрывами стоянку грузовиков, откуда полчаса не может выбраться, круговёртный акр резины, солидола, стали и расплёсканного бензина, куски автомашин указывают в небо или в землю, ничем не отличаясь от Американской свалки металлолома мирных времён, слившейся в странные, коричневые лица из *Сатердей Ивнинг Пост*, только уже не простецкие, а явно зловещие… да это точно *Субботняя Вечерняя Почта:* это лица посыльных в шляпах-треуголках поспешающих с длинных холмов, вниз мимо вязов, Бёркширские легенды, путники затерявшиеся на краю Вечера. Приходят с посланием. Они перестанут кривиться, впрочем, если всмотришься. Они разгладятся в извечные маски, которые поведают своё полное значение, всё тут же проступит на поверхности.

Уходит час, чтоб отыскать погреб Кислоты. Но там темно, и там пусто. Слотроп заходит, зажигает огонь. Смотрится как типа после рейда или гангстерской войны: печатный пресс исчез, одежда вся разбросана, к тому же довольно странная одежда, тут есть, например, плетёный ивовый костюм, жёлтый плетёный ивовый костюм, для полной точности, сочленённый на линиях локтя, подмышки, колена и паха… о, хмм, ладно, Слотроп, на скорую, проводит и свой обыск, заглядывая в туфли, не настоящие туфли, некоторые из них, а перчатки для ступней с пальцами по отдельности, не пошиты, однако, а отлиты из какой-то неприятно пёстрой резины, типа той что идёт на мячи для боулинга… за отставшими обрывками обоев, в скрученной кверху оконной шторке, среди штриховки одной или двух фальшивых Рейсмарок рассеянных по полу налётчиками—пятнадцать минут безрезультатных поисков—и белый предмет на столе наблюдающий за ним из своих внимательных теней, всё это время. Он почувствовал этот взгляд прежде, чем нашёл его наконец-то: шахматная фигура пять сантиметров высотой. Белый конь отлитый из пластмассы—а и погоди пока Слотроп удостоверится *что это* за пластмасса, парень!

Вот конский череп: полые глазницы уходят вглубь основания. Из одной из них туго скрученная папиросная бумажка с посланием от Кислоты. «*Raketemensch!* Дер-Шпрингер просит меня передать тебе это, его символ. Держи при себе, по нему он тебя опознает. Я на Якобиштрассе, 12, 3-й двор, номер 7. Как и B/4» В общем, «Как и Би-фор» у Джона Дилинджера служило давнишним знаком конца послания. Все в Зоне этим летом используют это. Показывает людям как ты относишься к некоторым вещам...

Кислота приложил карту-план как туда добираться. Это прямиком обратно, в Британский сектор. Со стоном, Слотроп двигает назад в грязь и раннее утро. У Брандербургских Ворот, снова начинает слегка накрапывать. Куски Ворот всё ещё валяются на улице—упираются, отёсанные снарядами, в дождливое небо, их молчание колоссально, призрачно, пока он топает, огибая их, Колесница отблескивает как уголь, мчит неподвижно, это 30-е столетие и безрассудный Ракетмэн только что приземлился тут обследовать руины, следы в высокогорной пустыне древнего Европейского уклада...

Якобиштрассе и большая часть её квартала, трущобы, пережила уличные бои в неприкосновенности, вместе со своей темнотой внутри, где кладка теней нерушима независимо от того высоко ли солнце или низко. Номер 12 это целый блок квартир, рождённый ещё до Инфляции, пять или шесть этажей и мансарда, пять или шесть *Hinterhöfe* угнездившихся один внутри другого—коробки от подарка хохмача, в самой последней ничего, кроме последнего пустого двора пахнущего одинаковой жратвой и мусором и мочой изливавшейся десятилетиями. Ха, ха!

Слотроп приближается к первому арочному проходу. Уличный свет вбрасывает его тень в накидке вперёд сквозь череду этих арок, каждая обозначена своим именем, выцветшей краской, *Erster-Hof, Zweiter-Hof, Dritter-Hof u.s.w.*, такой же формы, как и вход в Миттельверке, параболичной, только больше смахивает на рот и глотку, суставы хряща отступили в ожидании, выжидая проглотить… повыше рта, пара оквадраченных глаз, белки органди, зрачки черные, как смола, уставились на него… оно хохочет, как и все эти годы, не переставая, утробный гулкий хохот, как увесистый фарфор покатывающий или постукивающий под водой в раковине. Безмозглые хаханьки, просто большое старое геометричное оно, чё ты нервничиш, заваливай дывааай... Но боль, двадцать, двадцать пять лет боли застывшей неизменно в этой глотке… старый пария, пассивный, уже с зависимостью к выживанию, ждёт годы напролёт, дожидается ранимых лохов, как этот Слотроп, чтоб подставились, хохоча и плача и всё молчком… краска облупливается с Лица, обожжённого, больного, издавна сдыхающего, и как только Слотроп может входить в эдакую шизоидную глотку? Чего тут не ясно, потому что этого хочет от него спонсирующая и ведущая Студия, *natürlich*: Слотроп герой юноша в этот вечер: что и держало его в движении всю ночь, его и одиночных Берлинцев, которые выходят только лишь в эти пустые часы, ничему не принадлежа и шагая никуда конкретно, такова уж Их не объяснённая потребность держать некое маргинальное население в этих изнурённых и обойдённых местах,

определённо из экономических, впрочем, как знать, возможно, эмоциональных соображений тоже...

Кислота также в движении, хотя внутреннем, шмонает свои сны. Адресок смотрится как одна большая комната, тёмная, полная табачного и косячного дыма, осыпавшихся гребней штукатурки там, где завалили перегородки, соломенные тюфяки по всему полу, парочка на одном делят позднюю, тихую сигарету, кто-то храпит на соседнем… лоснящийся концертный рояль Bosendorfer Imperial, на который Труди, одетая в одну только лишь армейскую рубаху, опирается, отчаявшаяся муза, голые ноги длинны и вытянуты,– «*Пожалуйста*, иди на постель, Густав, скоро светло станет». Единственным ответом злобное бряканье в басовых струнах. Кислота лежит на боку, совсем тихо, усохшее дитя, лицо давно обработанное прыжками из окон второго этажа, «первыми втираниями» от оперчаточенных бабских кулаков Сержантов в полицейских участках, золотым светом в конце дня на ипподроме Карлсхорст, чёрным светом от ночных бульварных тротуаров обтягивающим камень мелкими морщинками, как кожа, белым светом от атласных платьев, стаканов, блестящей шеренгой перед зеркалами баров, от угловатых «U» на входах станций подземки, указующих в гладком магнетизме в небо, завлечь ангелов стальной воспрянутостью, безвольным подчинением—лицо такое жутко старое во сне, застрявшее в своей городской истории...

Его глаза открываются—на секунду Слотроп всего лишь затенённые складки зелёного, высвеченный шлем, световые значения, которые нужно ещё сложить. Затем приходит сладкая киваюущая улыбка, всё окей, *ja*, как ты Ракетмэн, *was ist los?* Однако, неисправимый старый наркоман недостаточно добр, чтоб удержаться и не распахнуть мгновенно старую матросскую сумку и заглянуть, глазами как проссаные в сугробе дырки, проверить что тут есть.

– Я думал ты передохнёшь или вроде того.

Тут же достаётся Марокканская трубочка и Кислота принимается плющить жирную крошку того гашиша, мурлыкая популярную румбу:

Из Марокко кой-чего кусочек

Заверну я в носовой платочек

– Да. Такие дела, Дер-Шпрингер настучал про наш фальшивопечатный бизнес. Типа временный подсос, врубаешься?

– Нет. Я думал вы между собой по-братски.

– Ещё чего. К тому же он движется по верхним орбитам.– Это что-то очень сложно связанное с прекращением хождения Американских сертификатов жёлтой печати на Средиземноморском театре и нежеланием здешних Объединённых Сил принимать Рейхсмарки. У Шпрингера проблема с балансом выплат плюс к тому, и он усиленно спекулирует Стерлингом, и…

– Но,– грит Слотроп,– но, этта, где мой миллион марок, тогда, Эмиль?

Кислота всасывает жёлтое пламя, выплывшее поверх чашечки трубки: «Он ушёл туда, где сплетается плющ».– Слово в слово как Джубли Джим Фиск ответил Комиссии Конгресса занятой расследованием его и Джея Гулда аферы с золотом в 1869. Эти слова напоминание о Бёркшире. Вот и всё, что предложено для размышлений, но Слотропу и этого хватит для вывода, что Кислота никак не может быть из Плохих Парней. Кем бы Они ни были, Они ведут игру, чтобы стереть, а не напомнить.

– Ну я могу продавать унциями из того, что при мне,– прикидывает Слотроп.– За оккупационные сертификаты. Они в цене?

– Ты не психуешь. Ни капли.

– Ракетмэн выше такого дерьма, Эмиль.

– У меня для тебя сюрприз. Могу достать тебе Schwarzgerät, про который ты спрашивал.

– Ты?

– Шпрингер. Я попросил у него для тебя.

– Не гони. Правда? Охренеть, вот это друг. Как я могу—

– Десять тысяч Фунтов Стерлингов.

Слотроп поперхнулся доброй затяжкой: «Спасибо, Эмиль...»– Он рассказывает про междусобойчик с Чичериным и как он видел того Микки Руни.

– Ракетмэн! Космомэн! Добро пожаловать на нашу девственную планету! Нам главное, чтоб нас тут не беспокоили, окей? Если ты нас убиваешь, то не ешь. Если ешь, то не переваривай. Позволь нам выходить назад с другого конца, как бриллиантам в говне контрабандистов...

– Послушай,—припомнив тут наводку, что Гели дала ему когда-то давно в Нордхаузене—твой дружок Шпрингер упоминал, что собирается на днях оттянуться в Свинемюнде или что-то такое?

– Толк шёл лишь про цену на твой прибор, Ракет. Половину суммы вперёд. Говорит, во столько ему влетит один лишь поиск.

– Так он даже и не знает где оно. Блядь, может просто водит за нос, набивает цену, надеется найти дурака, что даст деньгу авансом.

– Обычно он держит слово. У тебя не было проблем с тем пропуском, что он подделал?

– Йаааxx... – О. О, ух-ты, ага, да, надо было ему спросить тут про эту бумажку с Максом Шлепцигом на ней.– Ну тогда... – Но тем временем Труди оставила свои приставания к Густаву в рояле и подходит присесть и потереться щекой о ворс в штанинах Слотропа, миленькие голые ножки перешёптываются друг об дружку, волосы распущены, рубаха полурасстёгнута, а Кислота в какой-то момент перевернулся и заснул со стоном. Труди и Слотроп удаляются на тюфяк подальше от концертного Bosendorfer. Слотроп со вздохом откидывается, стаскивает шлем, и позволяет крупной, сладкой и сочной Труди делать с ним что захочет. Его суставы ноют от долгого хождения по дождю и городу, он наполовину в отключке, Труди зацеловывает его до чудного комфорта, тут радушный дом, никаких предпочтений отдельным ощущениям или органам, всем уделяется поровну… пожалуй впервые за свою жизнь Слотроп не чувствует себя обязанным иметь хуй торчком, и это ничего, потому что это похоже творят не с его членом, а скорее… о, боже ж ты мой, так право же, неловко, но… ну, нос у него начинает похоже вставать, фактически, сопли пошли течь да тут во всю эта носовая эрекция и Труди наверняка точно подметила, как именно она может помочь но… как умело скользит она своими губками по пульсирующему шнобелю и шлёт метр своего пылкого языка в одну из его ноздрей… он явственно ощущает каждый вкусовой пупырышек, пока те втискиваются всё глубже, раздвигая стенки крыльев и носовые волосы, чтоб поместилась её голова и плечи и… ну она наполовину уже там или почти—вот подтянула свои коленки, вползает, цепляясь за волоски руками и ногами и может встать, наконец, внутри громадного красного холла с весьма приятным освещением, никаких стен или потолка она вообще-то не различает, и тут скорее переход в перламутровые или весенние тона розового по всем направлениям...

Они уснули в комнате полной храпа, взбряков струн в басовом регистре из рояля, и миллиононогой пробежки дождя по двору снаружи. Когда Слотроп просыпается посреди Часа Зла, Труди в какой-то следующей комнате с Густавом позвякивают кофейными чашками, черепаховый кот гоняет блох под грязным окном. Где-то на берегу Шпрее Белая Женщина ждёт Слотропа. Ему не очень-то хочется уходить. Труди и Густав заходят с кофе и половиной косяка, и все они рассаживаются поболтать.

Густав композитор. Который месяц ведёт он гневные дебаты с Кислотой кто лучше, Бетховен или Россини. Кислота за Россини: «Не то, чтобы я был за Бетховена qua Бетховена»,– доказывает Густав,– «но он представляет Германскую диалектику, включение всё большего числа нот в гамму, поднимаясь до додекафонной демократии, где каждая нота имеет право быть услышанной. Бетховен был одним из архитекторов музыкальной свободы—он подчинился требованию истории, вопреки своей глухоте. Пока Россини, оставив музыку в 36, гонялся за юбками и толстел, Бетховен жил жизнью полной трагичности и величия».

– Ну и?– неизменно отвечал Кислота на это.– А что выбрал бы ты? Главное,– прерывая обычный возмущённый вопль Густава,– что человек приятно себя чувствует, слушая Россини. А всё, что ты чувствуешь, слушая Бетховена, щас во

выйду, пайду и вторгнусь в Польшу. Тоже мне, Ода Радости. Да у него даже чувства юмора не было. Я тебе говорю,– покачивая старым морщинистым пальцем,– всё того же Возвышенного больше встретишь в партии барабана из *La Gazza Ladra*, чем во всей Девятой Симфонии. У Россини основная мысль, что любовники всегда встречаются, разобщённость преодолена и, нравится тебе или нет, в этом и состоит единое тысяченожное движение Мира. Несмотря на ухищрения жадности, мелочности, злоупотребления властью, любовь всё же случается. Всё дерьмо превращается в золото. Стены пробиты, балконы покорены—вот послушай!– Это была ночь в начале мая, велась завершающая бомбардировка Берлина. Кислоте приходилось орать, не слыша самого себя.– Итальяночка в Алжире, у Цирюльника тазиков невпроворот, сороке вольно красть всё, что подвернётся! Мир сбегается для взаимного объятия...

Этим дождливым утром, в тишине, похоже, Германская Диалектика Густава скончалась. До него только что дошло известие, аж из Вены, по какой-то музыкантской цепочке, что Антон Веберн мёртв: «Застрелен в мае, Американцами. Бессмысленно, случайно, если веришь в случайности—какой-то повар столовой из Северной Каролины, недавний новобранец с .45, с которым он едва ли знал как обращаться, слишком поздно прибыл для Второй Мировой, но не поздно для Веберна. Предлогом для обыска в доме стало то, что брат Веберна приторговывал на чёрном рынке. А кто нет? Знаешь, в какой миф это превратится через тысячу лет? Юный варвар является убить Последнего Европейца, стоящего на дальнем краю того, что продолжалось со времён Баха, нарастание полиморфного упрямства музыки пока все ноты не стали равны, в конце концов... Куда же дальше после Веберна? Это был момент максимальной свободы. Это должны были прекратить. И опять в *Götterdämmerung*—»

– Юный болван,– вступает хмыканьем Кислота только что из Берлина, притарабанил наволочку головок конопли прямиком из Северной Африки. Вид, как чёрти-что по полной—красные ввалившиеся глаза, младенчески пухлые руки совершенно без волос, ширинка расстегнута, и половины пуговиц не хватает, белые волосы и синяя рубаха перемазаны какой-то зелёной жуткой гадостью.– Упал в воронку от снаряда. Скорей же, скорей, сверните из этой.

– Ты на кого это «юный болван»?– вопрошает Густав.

– На тебя и твои основные течения музыки,– орёт Кислота.– Кончились, наконец? Или придётся начинать da capo с Карлом Орфом?

– Об этом я как-то не подумал,– грит Густав, и на мгновение ясно, что Кислота слыхал про Веберна тоже, и старается в своей ненавязчивой манере подбодрить Густава.

– А что не так с *Россини?*– орёт Кислота, повеселев.– *А?*

– Угх,– вскрикивает Густав,– угх, угх, Россини,– и они сцепились снова,– ты порочная развалина. Почему никто уже больше не ходит на концерты? Думаешь

из-за войны? О нет, я тебе скажу почему, старик—потому что залы полны таких вот как ты. Чучела *набитые!* В полусне, кивают, лыбятся, пердят, через свои вставные челюсти отхаркивают и плюют в бумажные пакеты, замышляя всё более коварные капканы на своих детей—не только на своих, но и на детей других людей тоже! порасседались там, на концерте среди прочих пархатых старых падл, миленький такой бормочущий фон из посапыванья, отрыжки, бурчания в кишках, почёсываний, почмякиванья, карканья, весь оперный театр набит ими аж до галёрки, они продрыгивают через проходы, свешиваются из самых верхних балконов, и знаешь что они все *слушают*, Кислота? а? Они слушают Россини! Сидят там, распустив слюни под ворох предсказуемых мотивчиков, склоняются локтями в колени, бормочут,– «Да, давай, давай уже, Россини, кончай уже эту фанфарную показуху, давай переходить к настоящим классным мелодиям!» Не менее гнусное поведение, чем съесть банку сгущёнки одним махом. И вот зазвучала живая тарантелла из *Tancredi*, и они в восторге притопывают ногами, щерят зубы и бухают тростями: «Ах, ах! Вот *это* более-менее!»

– Это великая мелодия!– Кислота кричит в ответ.– Выкури ещё один такой же и я тебе изображу её, сыграю на этом Bosendorfer.

Под аккомпанемент этой тарантеллы, у которой и вправду хороший мотив, является Магда из утреннего дождя и скручивает по косяку для каждого. Она передаёт Кислоте один на раскурку. Он прекращает играть и долго всматривается в него. Кивает время от времени, улыбаясь или прихмуриваясь.

Густав подначивает, но Кислота и впрямь адепт сложного искусства папиромантии, способности предсказания посредством рассмотрения как люди свернули свой косяк—какова форма, как зализан, морщинки и складки, либо отсутствие оных на бумаге: «Ты скоро влюбишься»,– грит Кислота,– «глянь, на эту вот линию».

– Такая длинная, правда? Это значит—

– Длина показатель интенсивности. Не про время.

– Кратко, но сладко,– вздыхает Магда.– *Fabelhaft, was?*– Труди подходит обнять её. У них амплуа Джефа и Матта, Труди в каблуках почти на полметра выше. Они знают как смотрятся, и ходят по городу вместе, когда получается, впечатываясь, пусть хоть и на минуту, в сознание людей.

– Как тебе эта дрянь?– спрашивает Кислота.

– *Hübsch*,– подхваливает Густав.– немножко *stahlig*, и возможно бесконечно крохотный намёк на *Bodengeschmack* за своим *Körper*, что принято считать *süffig*.

– Я бы сказал скорее *spritzig*,– возражает Кислота, если это то, о чём он.– В общем, более *bukettreich*, чем урожай прошлого года, что скажешь?

– О, для растительности Атласских гор тут имеется свой *Art*. Определённо можно назвать *kernig*, даже—что можно также сказать про то *sauber* качество преобладающее в районе Квед Нфис—такое опознаваемо *pikant*.

– Фактически, я склонен подозревать происхождение с южного склона Джебел Сарно,– грит Кислота,– отметь, кстати, *Spiel*, довольно *glatt* и *blumig*, весьма даже предполагает *Fülle* своей *würzig* дерзостью.

Правда в том, что оба они до того обдолбались, что ни один и сам не догоняет что плетёт, и это даже неплохо, потому что в этот момент раздаётся жуткий грохот в дверь и много *achtung*'ов с другой стороны. Слотроп вскрикивает и бросается к окну, из него на крышу и дальше, карабкаясь по оцинкованной трубе, вниз в следующий, по направлению к улице, двор. Тем временем в комнату Кислоты, накрывшие вломились. Берлинская полиция при поддержке Американских ВП со статусом советников.

– Предъявите документы!– орёт предводитель рейда.

Кислота улыбается и достаёт пачку Зиг-Заг, только что из Парижа.

Двадцать минут спустя, где-то в Американском секторе, Слотроп шкандыбает мимо кабарэ перед которым и внутри слоняются чёрнолицые Воен-Полы, а радио или фонограф играет где-то попурри из Ирвинга Бёрлина. Слотроп идёт, рассуждая параноидально, вдоль улицы, взять «Боже, храни Америку», а и «Тут Армия, мистер Джонс» и обе переложения для его страны Песни Хорста Вессела, хотя этот Густав на Якобиштрассе разбушевался (никто не собирается наставлять на него Антона Веберна), сойдясь с помаргивающим Американским Подполковником,– «Парабола! Капкан! Вам никогда не избавиться от простодушной Германской дуги, от тоники к доминанте, обратно к тонике. Величие! *Gesellschaft!»*

– Тевтоны?– грит Подполковник.– Доминирование? Война закончилась, парень. Об чём трандёж?

Из промокших полей Марка сечёт холодная изморось с ветром. Русская конница пересекает Кюрфюрстендам, гонят стадо коров на бойню, мукающих и грязных, ресницы унизаны мелкими капельками дождя. В Советском секторе девушки с винтовками на ремне, пропущенном между их прыгающих, покрытых гимнастёркой грудей, направляют движение яркими оранжевыми флажками. Бульдозеры рычат, грузовики напрягаются, опрокидывая шатающиеся стены, и детвора встречают радостными воплями каждый мокрый обвал. Серебряные чайные сервизы позванивают на террасах под листвой, откуда падают капли, а официанты в зауженных чёрных пиджаках уворачиваются и отклоняют головы. Открытый «виллис» проезжает мимо, два Русских офицера, покрытые медалями, сидят со своими дамами в шёлковых платьях и больших шляпах с мягкими полями и реющими по ветру лентами. На реке утки, взблёскивая зелёными головами, покачиваются на волнах, что сами же и поднимают, проплывая мимо друг друга.

Древесный дым рассеивается из помятой трубы домика Маргреты. Первое, что Слотроп видит войдя, это туфля с высоким каблуком запущенная ему в голову. Он отдёргивается с траектории вовремя. Маргрета стоит коленями на кровати, тяжело дыша, уставясь: «Ты бросил меня!»

– Ходил по делам,– Слотроп шарит среди накрытых жестянок на полке над плитой, находит головки сушёного клевера заварить чай.

– Но ты бросил меня одну.– Её волосы взвились седовато-чёрной тучей вокруг её лица. Она добыча сквозняков, которых он даже не чувствовал.– Что значит ненадолго? Боже правый! Ты когда-нибудь оставался один?

– Совсем ненадолго. Чай будешь?– С жестянкой направляется к двери.

– Конечно.– Зачерпывает дождевой воды из бочки за дверью. Она лежит, дрожа, лицо подёргивается беспомощно.

Слотроп ставит жестянку на плиту, вскипятить: «Ты спала очень крепко. Разве тут не безопасно? Ты же об этом?»

– Безопасно.– Жуткий хохот, от которого его коробит. Вода начинает шуметь.– Ты знаешь что они со мной делали? Что наваливали мне на груди? Какой *крыли меня руганью?*

– Кто, Грета?

– Когда ты ушёл, я проснулась. Я звала тебя, но ты не возвращался. Когда они убедились, что тебя нет, зашли...

– Так постаралась бы не засыпать.

– Я *не спала!*– Свет солнца, включившись, прорвался внутрь. Она отворачивает лицо прочь от резкого освещения.

Пока он готовит чай, она сидит на кровати проклиная его на Немецком и Итальянском, голосом, что вот-вот пресечётся. Он протягивает ей чашку. Она выбивает её из его рук.

– Слушай, успокойся, ладно?– Он садится рядом с ней и дует на свой чай. Отвергнутая ею чашка валяется боком на полу куда откатилась. Тёмное пятно впаривается в дерево досок. Далёкий клевер возникает, распадается: призрак... Чуть погодя, она берёт его за руку.

– Извини, что я оставил тебя одну.

Она начинает плакать. Слотроп засыпает, уплывает в её рыдания, в ощущение её, постоянно прижавшейся, какой-то частью её, к какой-то части его... Во сне, что приснился в тот раз, его отец приходил отыскать его. Слотроп бродил на закате у

Мангаханак, возле развалин старой бумажной фабрики, брошенной ещё в девяностые. Цапля подымается силуэтом на фоне разлившегося умирающего оранжевого: «Сын»,– слова обваливаются будто рушащаяся башня, одно поверх другого,– «президент умер три месяца назад».– Слотроп стоит и ругает его: «Почему ж ты мне не сказал? Пап, я любил его. Тебе я был нужен только затем, чтобы продать меня ИГ. Ты меня продал».– Глаза старика полнятся слезами: «О, сынок...»– стараясь поймать его руку. Но небо стемнело, цапля уж пропала, пустой скелет фабрики и тёмное нарастание реки твердящей *пора идти*… потом его отец тоже исчез, не успев попрощаться, хотя лицо остаётся, лицо Саймона, который продал его, остаётся долго после пробуждения, в печали, которую причинил ему Слотроп, глупый крикливый пацан. Маргрета склоняется над ним, отирая слёзы с его лица кончиками её ногтей. Ногти очень острые и часто застывают, приблизившись к его глазам.

– Я боюсь,– шепчет она.– Всего. Своего лица в зеркале—когда я была ребёнком, мне говорили не смотреть в зеркало слишком часто, не то увижу Дьявола позади стекла… и... – оглянувшись на зеркало в белых цветах позади них,– надо его прикрыть, пожалуйста, мы ведь можем прикрыть его... это там они… *особенно по ночам*—

– Тише.– Он придвигается, чтобы как можно большая часть их тел соприкасалась. Он обнимает её. Дрожь сильна и, может быть, неизбывна: вскоре Слотроп начинает тоже дрожать, одинаково.– Пожалуйста, успокойся.– Тому, что овладело ею, требуется прикосновение, ненасытно пить прикосновение.

Глубина этого пугает его. Он чувствует себя ответственным за её безопасность и часто ловится на это. Поначалу они остаются вместе днями напролёт, пока ему не понадобилось выходить для продажи или за продовольствием. Он мало спит. Ловит себя на рефлективной лжи ей: «Всё хорошо», «Беспокоиться не о чем». Иногда ему удаётся побыть одному у реки, ловит рыбу на кусок лески и одну из её шпилек. Попадается по рыбине в день, в удачные дни пара. Они чокнутые эти рыбы, всё что плавает в воде Берлина в эти дни лучше обходить десятой дорогой. Когда Грета плачет во сне дольше, чем он может выдержать, ему приходится будить её. Они попробуют поговорить или перепихнуться, на что у него в последнее время всё меньше и меньше настроения, и от этого ей ещё хуже, потому что она чувствует, что ему надоело, и это правда. Порки, похоже, её утешают и он получает прощение. Иногда он слишком уставший даже для этого. Она его постоянно доводит. Однажды вечером он ставит перед ней варёную рыбу, нездорового вьюна с повреждёнными мозгами. Есть она не желает, ей будет плохо.

– Тебе нужно поесть.

Она отворачивает голову в сторону, потом в другую.

– О, да что ты будешь делать, слушай сюда, пизда, ты не единственная вообще-то, кто пострадал—ты *давно* туда выходила?

– Ещё бы. Всё время забываю как должен был *ты* настрадаться.

– *Блядь*, вы, Немцы, чокнутые, вы все поголовно думаете, будто мир против вас.

– Я не Немка,– только что вспомнив,– я из Ломбардии.

– Недалеко ушла, дорогуша.

С шипением, раздув ноздри, она хватает столик и швыряет прочь, тарелки, вилки-ножи, рыба с лёту шмяк об стену и начинает по ней стекать, всё ещё, даже после смерти, нарывается на неприятности. Они сидят каждый на своём стуле, полтора метра угрожающе пустого пространства между ними. Это тёплое, романтичное лето 45-го и, при всей при той капитуляции, культура смерти продолжает преобладать: то, что Бабушка называла «преступлением на почве страсти» превратилось, в отсутствие особой страсти к чему бы то ни было на нынешний день, в расхожий способ решения межличностных разногласий.

– Убери.

Она прищёлкивает бледный обкусанный ноготь большого пальца об один из её верхних зубов и смеётся, тем неповторимым смехом Эрдман. Слотроп, весь дрожа, чуть не сказал: «Ты не представляешь что сейчас—», но затем замечает выражение её лица. Ещё как представляет. «Окей, окей». Он расшвыривает её нижнее по комнате пока не находит чёрный пояс-корсет, который искал. Металлические застёжки резинок-подвязок просекают тёмные вздутые рубчики на более ранних синяках, что сходили уже с её ягодиц и ляжек. Он вынужден пустить кровь, прежде, чем она убирает рыбу. Закончив, она становится на колени и целует его ботинки. Не совсем тот сценарий как ей хотелось, но недалеко ушла дорогуша.

Однако, с каждым днём это заходит всё дальше, и Слотропу страшно. Такого ему не приходилось ещё видеть. Когда он выходит в город, она просит привязывать её чулками к кровати, кино-звездовски, начетверо. Иногда она уходит из дому и не возвращается несколько дней, потом приходит с рассказами про Негров ВП, что били её дубинками, ебали её в жопу, ей так понравилось, о, в надежде вызвать какую-нибудь расистскую/сексуальную реакцию, что-нибудь чуть-чуть причудливое, чуть-чуть другое...

Неизвестно что с ней не так, но Слотроп уже заразился. Выходя в развалины он видит темень по краям всех изломанных очертаний, темень *проступает из-за них*. Свет гнездится в волосах Маргреты как чёрные голуби. Стоит ему глянуть на свои меловые руки и, каймой вдоль каждого пальца, темень стекает и скачет. В небе над Александер-пляц он видел KEZVH мандалу Полковника Тирлича, и лицо Чичерина на больше чем одном из случайных Воен-Полов. Поперёк фасада Титаник-паласт, в красном неоне сквозь туман, однажды ночью он увидел Сдохни, Слотроп. Воскресным днём на Ванзее, армада парусов, все выгнуты одинаково, терпеливо, мечтательно по ветру, нескончаемо тянулись на фоне дальнего берега, толпа малышни, в солдатских пилотках свёрнутых из старых армейских

карт, сговаривались утопить и принести его в жертву. Он спасся только лишь пробормотав *Hauptstufe*, трижды.

Домик у реки служит заводью, которая действует как пружина-подвеска для дня и погоды, пропуская лишь плавную смену света и зноя, вниз в вечер, снова вверх, в утро до пика полудня, но всё приглушается мягким покачиванием землетрясения от окружающего дня.

Когда Грета слышит выстрелы во всё более отдалённых улицах, ей вспоминаются установки звука в пору её ранней карьеры, а взрывы воспринимает как сигналы к равномерному заполнению титанических съёмочных площадок её снов многотысячной массовкой: кроткие, подгоняемые ружейными выстрелами, взбираются и спускаются, построенные порядками, которые совпадают с представлениями Режиссёра о живописности—половодье лиц загримированных жёлтым, с белыми губами из-за несовершенства киноплёнок того периода, обливающиеся по́том жёлтые переселения, убегающие ниоткуда, спасающиеся в никуда...

Сейчас раннее утро. Дыхание Слотропа белеет на воздухе. Он только что очнулся ото сна. Часть 1-я поэмы с гравюрами по дереву сопровождающими текст—женщина приходит на выставку собак, где, каким-то образом предоставляются услуги по оплодотворению. Она принесла своего китайского мопсика, который у неё сучка с тошнотворно миленьким именем, Мимси или Гуньгуля или что-то такое там, туда, чтоб обслужили. Она коротает время в саду, с некоторыми другими дамами среднего класса, как и сама, когда из какой-то загородки неподалёку слышит голос своей суки, кончающей. Звук длится и длится дольше, чем следовало бы, и она вдруг осознаёт, что это звучит её собственный голос, в этом нескончаемом крике сучьего наслаждения. Присутствующие, из вежливости, делают вид, будто не замечают. Ей стыдно, но ничего не может поделать, она теперь во власти потребности находить всякие другие животные виды для ебли. Она сосёт член пегого пса дворняжных кровей, который пытался покрыть её на улице. В бесплодном поле рядом с изгородью из колючей проволоки, под зимними зарницами в тучах, высокий конь заставляет её встать на колени, пассивно, и целовать ему копыта. Коты и песцы, гиены и кролики, ебут её внутри автомобилей, затерянных ночью в лесах, у далёких источников в пустыне.

Начинается Часть 2-я, она обнаружила, что беременна. Её муж, недалёкий, запанибратский продавец сеточных дверей, заключает с ней соглашение: обещанное с её стороны никогда не озвучивается, но взамен, девять месяцев спустя, он отвезёт её, куда сама захочет. Так что под конец её срока он на реке, Американская река, в лодке, гребёт вёслами, обслуживает её странствие. Ключевая гамма текущего раздела фиолетовый.

Часть 3-я находит её на дне реки. Она утопленница. Но все формы жизни наполняют её лоно. «И использовав её как русалку» (строка 7), они переносят её дальше сквозь эти зелёные речные глубины. «Вглубь, и обратно./ Старик Сквалидози, бороздитель глубин,/ Видит прозелень её чрева меж водорослей»

(строки 10-13), и вытаскивает её. Он классически бородатая Нептунова фигура со старым упокоенным лицом. Из её тела изливается тут потоп различных творений, осьминоги, северные олени, кенгуру. «Кто в силах перечислить жизни все,/ Покинувшие чрево её в тот день?» Сквалидози приметил лишь малую часть ошеломляющего разлива, пока нёс её обратно на поверхность. Наверху, оказывается тихий залитый солнцем зелёный пруд или озеро, травянистое по берегам, под сенью ив. Насекомые жужжат и зависают. Ключевой гаммой теперь зелёный. «И там, пробившись к солнцу,/ Останки её нашли сон в воде/ И в глубине лета/ Творения же разошлись, / Всяк к своей надлежащей любви,/ В самый разгар дня,/ Словно мирная река растеклись...»

Этот сон никак не оставляет его. Он наживляет крючок, опускается на корточки на берегу, забрасывает леску в Шпрее. Вскоре он закуривает армейскую сигарету и надолго застывает в неподвижности, пока туман пробирается белея меж речных домиков, а сверху военные самолёты летят, гудя, куда-то, невидимые, а собаки бегают, лают в проулках.

*** * * * * * ***

В отсутствие людей, интерьер сталисто сер. Переполненным, он зелен, спокойный кислотно-зелёный. Солнечный свет попадает через иллюминаторы в переборках повыше (у этого *Rücksichtslos* постоянный крен в 23° 27′), и шеренга стальных смывных бачков тянется внизу вдоль переборки. В конце каждого сортирного под-отсека кофейные автоматы и кинетоскопы с прокруткой вручную. Ты видишь всех поистрёпанных, не таких роскошных женщин не-Тевтонсокого пошиба в машинах для рядового состава. По настоящему крутые и расово более золотистые тёлки достаются офицерам, *natürlich*. В этом часть того Нацистского фанатизма.

Сам по себе *Rücksichtslos* продукт фанатизма иного рода: специализирующего. Этот корабль один из Сортиросудов, триумфа Германской мании к подраспределению. «Если дом органичен»,– доказывали на заре Сортиросудостроения его пронырливые сторонники,– «с живущей в нём семьёй, то и семья органична, а дом отчётливо-считываемый знак, понимаете»,– за их тёмными стёклами и под их серыми короткими стрижками, не веря ни единому слову этой белиберды, полны Макиавеллизма и молодости, пока ещё не окончательно созревшие для паранойи,– «а с наличием при доме туалетной части —дом-сплошь-органика! ха-хах!»,– напевно, с укором, выговаривают широкому блондинисто-лицему инженеру, тот, под прямым пробором в зализанных вверх волосах, заметно краснеет, потупившись на свои колени, среди добродушно улыбчивых зубов своих однокашников по технологии, потому что он чуть было не забыл эту деталь (Альберт Шпеер, собственной персоной, в сером костюме с пятном от мела на рукаве, в самом конце, подбоченясь опирается о стену, замечательно похожий на Американского ковбойного актёра Генри Фонда, давно забыл, что дом органичен и никто ему не укажет, ДДП). «Таким образом, Сортиросудну в *Kriegsmarine* отводится та же роль, что и туалету в доме. Потому

что Военно-морской флот органичен, мы все знаем это». [Генерал, а может Адмирал, смех.] *Rücksichtslos* должен был стать флагманом целой эскадры Сортиросудов. Но квоты целиком перенаправились от Флота на ракетную программу А4. Да, это может показаться странным, но Дегенколб тогда возглавлял уже Ракетный Комитет, не забывайте, и располагал как властью, так и желанием отстригать со всех служебных отраслей. Так что *Rücksichtslos*, единственный-в-своём-роде, к сведению заядлых коллекционеров военных кораблей и, если вы активны на рынке, вам лучше поспешить, потому что Джи-Эл уже посетили с осмотром. Повезло, что не достался Большевикам, а, Чарльз? Чарльз, тем временем, строчит в своём широком блокноте, со стороны глядя, сосредоточенные заметки, но на самом деле описание текущей сцены, типа, *Они все уставились на меня* или *Лейтенант Ринзо замышляет меня убить*, и, конечно же, неувядаемые *Он тоже один из них* и *Я его кончу однажды ночью*, ну а тем временем коллега этого Чарльза, Стив, забыл про Русских и прервал свою презентацию сливного клапана с тем, чтобы всерьёз присмотреться к этому Чарльзу, ты не можешь выбирать себе исследовательскую группу, нет, если только-только что получил диплом и вот он я в жопе, посреди хрен знает чего, не больше чем мальчик на побегушках тут—что он вообще такое, может педик? Что я такое? Что нужно Джи-Эл, чтоб я тут торчал? Это некая неясная мера наказания в компании, может даже вплоть до, Боже правый, вечной ссылки? Я простой сотрудник, им ничего не стоит продержать меня тут 20 лет, если захотят, и д-никто и не узнает, просто будут списывать на накладные расходы. Шейла! Как я скажу Шейле? Мы обручены. Вот её фото (волосы волнами бурного моря спадают в стиле Риты Хейворт, глаза, будь этот снимком цветным, смотрели бы из-под жёлтых век с розовыми краями, и рот как вспоротый хот-дог с рекламного щита). Прокати её в Баффало Плавни

Ты прикинь какая хохма—

Старый комарище в плавнях

Голову сунул ей под платье, в самые лохмы,

С улыбкой противной и плавной,

Выжить непросто в Баффало Плавнях,

Эй, Москит,

Закрой-ка свои глазки ты:

Йа та, йа та-та, йа та-та, тата

Ты прикинь какая хохма,

Ивв-месте!

О, сам знаешь, когда ты молод и цел [«Ивв-месте» в данном случае груз Сортиросудна из смышлёных молодцов в роговой оправе и в до колен шнурованных ботинках, они из Шенектади и подпевают этому вот речитативу] и ведь хорошая девонька, в церковь ходит, поди не опечалься тут после такой

групповухи от банды Техасских москитов, такое может шибануть тебя вспять лет на 20. Прикинь, бывают же парни, совсем как ты, бродят вокруг, может ты даже сталкивался с каким-то из них сегодня на улице и не подумал даже, с сознанием младенца, только потому что эти москиты дорвались-таки до него и сделали своё неудобосказуемое дело. А мы посыпа́ли инсектицидами, а и бомбили плавни цитронеллой, и это неправильно, парни. Они плодятся быстрее, чем мы успеваем их грохнуть, и нам остаётся только поджать хвост и пусть как себе хочут в Баффало Плавнях, где моя девушка Шейла вынуждена смотреть на бесчинства этих—нелюдей, и мы допустим, чтоб они *существовали* даже?

—Выжить непросто в Баффало Плавнях,

Эй, Москит,

Закрой-ка свои глазки ты,

Хабба, хабба—

Эй, Москит,

Закрой-ка свои глазки ты!

Ну на этом месте просто не можешь не задуматься кто на самом деле больший параноик из двоих. У Стива, ясное дело, немало жёлчных наветов на Чарльза, таким образом. Среди разбитных надписей от залётных математиков

$$\int \frac{1}{(\text{cabin})}\, d\,(\text{cabin}) = \log \text{cabin} + c = \text{houseboat},$$

уж до того ушлых, они уходят не спеша прочь вдоль узкого колбасовидного сортира сейчас, два молодых/старых человека, их ступни тают и перестают вызванивать по наклонной стали палубы, фигуры их становятся всё прозрачнее, в удалении, пока и вовсе уже невозможно их разглядеть. Только пустой отсек остался, S-образные спицы кинетоскопов, ряды зеркал лицом к лицу, отражают друг друга, раму за рамой, вдоль всей кривой очень большого радиуса. Всё снаружи, до конца кривой включающей данный сегмент, считается пространством *Rücksichtslos*. Что делает корабль довольно жирным. С причитающейся ему полосой отчуждения. «Моральный облик команды»,– шептали лисьи морды на заседаниях Министерства,– «моряцкие предрассудки. Зеркала посреди полночи. Уж *мы-то* в курсе, не так ли?»

Офицерские сортиры, по контрасту, отделаны красным бархатом. Декор из Инструктажа по Безопасности 1930-х. То есть, по всем стенам, фотограффити, картины Жутких Катастроф из Истории Германского Флота. Столкновения, взрывы артиллерийских погребов, тонущие подлодки, самое оно, если ты офицер, которому нужно срочно просраться. Уж тут эти Лисяры постарались. У Старших офицеров целые номера, отдельные души или втопленные ванны, маникюрщица

(волонтёрки из ЛГД, в основном), парная, массажный стол. В виде компенсации, все переборки и даже потолки покрыты огромными портретами Гитлера в разных игровых моментах. Туалетная бумага! Туалетная бумага покрывалась, квадрат за квадратом, карикатурами на Черчилля, Айзехауэра, Рузвельта, Чан Кай-ши, имелся даже Штабной Карикатурист на вахте в постоянной готовности для заказных иллюстраций по чистой бумаге для знатоков, которые в постоянных поисках неординарного. Вагнер и Гуго Вольф транслировались в громкоговорители из радио-рубки. Сигареты были бесплатными. Хорошая шла жизнь на борту Сортиросудна *Rücksichtslos*, прокладывавшего свой курс от Свинемюнде к Гельголанду, в любое место где появлялась нужда в нём, под камуфляжем из оттенков серого, в стиле смены-столетий с резко очерченными корабельными носами, начинающимися от середины судна, так чтоб не понять в какую сторону оно направляется. Команда корабля размещались, фактически, каждый в персональной кабинке, у каждого отдельный ключ и шкафчик, картинки пришпиленных красоток и библиотечные полочки для украшения перегородок… и там были даже зеркала прозрачные с тыла, так что ты мог расслабиться и посидеть, член болтается над ледяной водой в твоём унитазе, послушать свой VE-301 Народный Приёмник, и посмотреть на послеобеденную толкучку, деловитый перезвон подошв и разговоров, карточные игры в общих туалетах, чья колода, те на тронах настоящего фарфора принимают посетителей, некоторые из которых в строю начинающемся за отсеком (тихие очереди, все очень деловитые, как очереди в банках), сортирные юристы делятся советами, всевозможные посетители приходят и уходят, ссутулившиеся команды подводных лодок нервно вскидывают взгляд каждую секунду или две к потолку, моряки с эсминцев резвятся над корытами (гигантские корыта! проложены во всю корабельную длину и даже, бытует легенда, уходящие далее в зеркальное пространство, достаточной длины, чтобы присели от 40 до 50 страждущих срак бок о бок, пока постоянная река бурунящейся солёной воды ревёт под ними), поджигание комков туалетной бумаги, вот что им особо нравилось устраивать и пускать их, объятых жёлтым пламенем, за водой из верховьев потока и квохтать в ликовании, пока один за другим, в порядке очереди, сидельцы вскакивали с дырок, хватаясь, с воплями, за свои обожжённые жопы и вдыхая вонь горелых паховых волос. Но и команда самого Сортиросудна не прочь были ушкварить шуточку, время от времени. Разве забудется случай, когда корабельные слесаря Хёпман и Кройс, в разгар Птомаиновой Эпидемии 1943, направили линии отходов в систему вентиляции каюты старшего механика? Стармех, давний служака на Сортиросудне, добродушно посмеялся над хитроумным приколом и перевёл Хёпмана и Кройса на должность ледоломов, где парочка Механиков Экскременталистов увлеклись возведением приблизительно кокашковидных монолитов изо льда со снегом по всей Арктике. Время от времени какое-то из их произведений показывается на плавучей льдине, дрейфующей к югу в призрачном величии, вызывая всеобщее восхищение.

Хороший корабль, хорошая команда, Весёлого Рождества и вообще обращайтесь. Хорст Ахтфаден, последнее место работы Электормеканише Верке, Карлсхаген (ещё одно названия для маскировки испытательной станции в Пенемюнде), никак не располагает временем для флотской ностальгии. С техническими шпионами

трёх или четырёх держав, которые за ним охотятся, ему катастрофически повезло угодить в лапы *Schwarzkommando*, а те, насколько ему известно, теперь являются самостоятельно отдельной державой. Они интернировали его в Капитанском Гальюне. Он посмотрел как чувственная Герда и её Меховое Боа повторяют один и тот же номер 178 раз (ему удалось заблокировать коробку сбора монет и включать напрямую), с тех пор как они его тут заперли, и это уже не возбуждает. Что им надо? Зачем они захватили эту развалину посреди Киль Канала? Почему Британцы не вмешиваются?

Взгляни на это под таким углом, Ахтфаден. Это Сортиросудно тут просто-напросто аэродинамическая труба, ничего более. Если тензорный анализ годится для турбулентности, то должен подойти и для истории. В ней наверняка свои узлы, критические точки… должны иметься сверхпроизводные плотного и устойчивого потока, которые можно принять за равные нулю и найти эти критические точки… 1904 был одной из них—1904 это когда адмирал Рождественский обошёл со своим флотом почти полмира, чтобы снять осаду Порт-Артура, что принесло твоего нынешнего поимщика Тирлича на планету, в том году Немцы почти уничтожили Ереро, что привило Тирличу некие странные идеи о выживании, это был год когда сотрудники Американской Пищи и Лекарства убрали кокаин из Кока-Колы, что произвело алкоголичное и ориентированное на смерть поколение идеально подходящее для Второй Мировой, и в том же году Людвиг Прадтл предложил пограничный слой, что послужило действительным стартом аэродинамики и привело тебя именно сюда, именно сейчас, 1904, Ахтфаден. Ха, ха! *Эта* шуточка над тобой покруче любой обожжённой жопы, уж будь уверен. Так *тебе* и надо. Против течения не поплывёшь, во всяком случае, не при таком напоре, всё, что остаётся делать, пронумеруй и перетерпи, Хорст, дружочек. Или, если можешь оторваться от Герды с её Меховым Боа, вот задачка —найди внепространственный коэффициент самого себя. Ты ведь в аэродинамической трубе, не забыл? Ты специалист аэродинамики. Так что—

Коэффициенты*, ja, ja*. . . . Ахтфаден с разгону безутешно шмякается на алый унитаз в самом конце шеренги. Он знает про коэффициенты. В Аахене однажды, какое-то время, он и его коллеги могли стоять в передней башенке наблюдения: заглядывать в страну варваров через крохотное окошечко Херманна и Визельбергера. Жуткие давления, ромбовидные тени, извивающиеся как змеи. Часто закус был больше самой модели—сама необходимость измерений выводилась наблюдениями. Вот когда приходилось догадываться. Никто не писал тогда о сверхзвуковом потоке. Он был окутан мифом и чистым, первобытным ужасом. Профессор Вагнер из Дармштадта предсказывал, что при Мах 5, воздух станет жидким. Случись частотам шага и крена совпасть, резонанс приведёт летательный объект в дикую осцилляцию. Он войдёт в штопор и распадётся на куски. У нас это называлось «лунным движением». «Карандашами Бингена» именовали мы спиральные следы в небе. С ужасом. Как выплясывали тени Шлирена. В Пенемюнде испытательное сечение составляло 40 х 40 см, размер бульварной газетёнки. «Они молят не только о хлебе на каждый день»,–говаривал Штреземан,– «но и о каждодневной иллюзии». Мы, глядя сквозь

толстое стекло, получали Шок Наш Насущный—единственная газета, что достаётся многим из нас.

Ты приезжаешь—только что прибыл, ты в центре Пенемюнде, эй, что тута есть для развлечений? Со своим провинциальным чемоданчиком, а там пара рубашек, экземпляр *Handbuch*, может ещё *Lehrbuch der Ballistik* Гранца. Ты вызубрил Акерета, Бюзмана, фон Карман и Мора, что-то из отчётов Конгресса Волты. Но ужас не отпускает. Он быстрее, чем звук, чем слова, которые она выговаривает в комнате переполненной солнечным светом, джаз-бенд по радио, когда не можешь заснуть, хриплые *Heil* среди тусклых генераторов и забитых начальством галерей над головой… пересвисты гомерианцев среди горных ущелий (жуткие обрывы, крутизна, свист прямо в пропасть к игрушечной деревне, лежащей на мили, столетия глубже…) пока ты сидишь на носу корабля от KdF, в стороне от хороводных танцев на белой палубе, загорелые тела полные пива и песен, брюха в купальниках и плавках, а ты слушал До-Испанский, свистом, не голосом, с гор вокруг Чипуда… Гомера был последним кусочком земли, куда приставал Колумб до Америки. Слыхал ли он их тоже, в последний вечер? Какое послание сообщали они ему? Предупреждение? Понимал ли провидческие козьи стада в сумерках, в вышине среди Канарских падубов и мореллы, омертвело зелёных в последнем закате Европы?

В аэродинамике, поскольку сперва наносишь объект на бумагу, ты используешь коэффициенты без размеров: соотношения этого с тем—сантиметры, секунды, граммы все аккуратно снимаются снизу и сверху. Это позволяет тебе применять модели, направлять поток воздуха для замера того, что тебя интересует, затем шкалировать результаты аэродинамической трубы до реальных размеров, не натыкаясь на слишком много неизвестных, потому что эти коэффициенты истинны для любых размеров. По традиции, они названы именами людей—Рейнолдс, Прандтл, Пекле, Насселт, Мах—и теперь вопрос, как насчёт числа Ахтфадена? Какие шансы для него?

Не очень велики. Параметры множатся как москиты в плавнях, быстрее, чем он успевает их согнать. Голод, компромисс, деньги, паранойя, память, комфорт, виновность. Её значение, впрочем, у Ахтфадена получается со знаком минус, хотя виновность становится уже ходким товаром в Зоне. Отщепенцы со всего мира вскоре устремятся в Хайдельберг, специализироваться по разряду виновности. Откроются бары и ночные клубы специально для энтузиастов виновности. Лагеря смерти будут превращены в туристические достопримечательности, иностранцы с камерами потянутся толпами, возбуждённые до дрожи виновностью. Жаль—она не для этого Ахтфадена пожимающего плечами своих из-зеркала-в-зеркало отражений от левого борта до правого—он этим занимался лишь до точки, где воздух становится слишком разреженным, чтобы как-то сказываться. За то, что было дальше, он не отвечает. Спросите Вайхенштеллера, спросите Флаума и Фибеля—они занимались обратным вхождением. Спросите отдел управления полётом, те направляли куда лететь...

– Тебе не кажется это малость шизоидным,– теперь уже вслух ко всем передам и задам Ахтфадена,– разделять профиль полёта на сегменты ответственности? Это была полу-пуля полу-стрела. *Она* этого требовала, не мы. Так-то. А у тебя, возможно, была винтовка, рация, пишущая машинка. Некоторые пишущие машинки в Уайтхолле, в Пентагоне, поубивали больше гражданских, чем наша маленькая А4 могла бы даже и мечтать. Ты либо один абсолютно, один на один со своей смертью, либо часть более крупного предприятия и участвуешь в смерти других. Разве мы не единое целое? "Что ты выбираешь",– это уже Фарингер, зудящий плоский звук через фильтры памяти,– "маленькую повозку или большую?"– Чокнутый Фарингер, единственный в клубе Пенемюнде, кто отказался носить эксклюзивный знак фазаньего пера за лентой его шляпы, потому что он не мог заставить себя убивать, которого можно было видеть по вечерам на пляже сидящим в полной позе лотоса, уставясь в заходящее солнце, и кто был первым в Пенемюнде, кого выдернули SS, однажды днём увели в туман, его лабораторный халат флажком капитуляции, вскоре заслонённый чёрной униформой, кожей и металлом его сопровождения. Оставил после себя пару благовонных щепочек, экземпляр *Chinesische Blätter für Wissenschaft und Kunst*, фото жены и детей, о которых никто и не знал… был ли Пенемюнде его горой, его кельей и постом? Нашёл ли он свой путь, свободный от виновности, такой модной виновности?

– *Atmen. . . atmen* . . . не только дышать, но ещё и душа, дыхание Бога... – один из пары раз на памяти Ахтфадена, когда он говорил с ним наедине, напрямую,– atmen чисто арийский глагол. Теперь скажи мне про скорость выхлопной струи.

– Что тебе надо знать? 6500 футов в секунду.

– Скажи, как она изменяется.

– Остаётся почти неизменной в процессе горения.

– И всё же относительная скорость воздуха резко меняется, верно? От нуля до Мах 6. Понимаешь что происходит?

– Нет, Фарингер.

– Ракета создаёт свой собственный вихрь… ветра нет без них обеих, Ракеты и атмосферы… однако, внутри сопла, дыхание—яростное полыхающее дыхание—неужели не понятно?

Галиматья. Или же *коан*, что никак не доходит Ахтфадену, запредельный пазл, который мог бы привести его к моменту света… почти ничем не лучше, чем:

—Что летает?

—Лос!

Вылет из Вассеркуппе, реки Улстер и Хауне скатываются по краям в формы карты, зелёные долины и горы, четверых он оставил внизу, сматывают белые страховочные верёвки, только один взглядывает вверх, прикрыв глаза щитком ладони—Берт Фибель? но что значит имя с такой высоты? Ахтфаден кружит, высматривая грозу— *вниз, сквозь гром*, исполняя воинственный марш в своей голове—вскоре вон уже громоздится в серых скалах направо, штрихи молнии обливают все горы синим, кабина кратко наполнена светом… точно по краю. Точно, тут, в интерфейсе воздух будет устремляться вверх. Держишься вдоль края бури, и другое чувство—чувство полёта, у которого нет органа, наполняет твои нервы… пока держишься точно на грани между красивыми равнинами и безумием Донара, оно тебя не подводит, оно уже там, летит, этот несущий порыв в—это и есть свобода? Неужели никто не ощущает какое гравитация рабство, пока не достигнет интерфейса грома?

Не остаётся времени на эти пазлы. Сюда идут *Schwarzkommando*. Ахтфаден на слишком долго застопорился со сладострастной Гердой и на своих воспоминаниях. Вот они идут топоча по лесенкам, быстрый уга-буга разговор, который и близко не разберёшь о чём, тут полные лингвистические дебри и ему страшно. Что им надо? Почему не оставят его в покое—они уже получили свою победу, что им ещё от бедного Ахтфадена?

Им нужен *Schwarzgerät*. Когда Тирлич буквально выговаривает это слово вслух, оно уже излишне. Оно было в его осанке, в линии его рта. Остальные у него за спиной, автоматы на ремне, полдюжины Африканских лиц, заполняя зеркала своей темнотой, своими венозно-пронизанными красно-бело-синими глазами.

– Мне была поручена только часть. Совсем тривиальная. Правда.

– Аэродинамика не тривиальна,– Тирлич спокоен, неулыбчив.

– Там были другие из отдела Геснера. Дизайн механизмов. Я всегда работал в лаборатории Проф., Д-ра Курцвега.

– Кто отстальные?

– Я не помню.

– В таком случае.

– Не бейте меня. Зачем мне что-то скрывать? Это правда. Они держали нас разобщёнными. Я никого не знал в Нордхаузене. Всего пару человек в моём рабочем отделе. Клянусь. Люди по S-Gerät мне были незнакомы. До того первого дня, когда мы встретились с майором Вайсманом, я никогда не видел ни одного из них. Настоящих имён никто не употреблял. Нам были даны рабочие клички. Герои из фильмов, кто-то говорил. Двое других специалистов по аэродинамике именовались «Шпёри» и «Хаваш». Я был «Венком».

– В чём состояла ваша работа?

– Контроль веса. Всё что они от меня хотели это сдвиг в CG для прибора определённого веса. Вес был особо секретной информацией. Сорок с чем-то кило. 45? 46?

– Номера сборки?– гаркнул Андреас из-за спины Тирлича.

– Я не помню. Устанавливалось в хвостовой части. Помню только, что размещение асимметрично продольной оси. Ближе к Стабилизатору 3. Это стабилизатор для контроля курса.

– Нам это известно.

– Спросите лучше «Шпёри» или «Хаваша». Они решили эту проблему. Спросите кого-то занятого Управлением. *Зачем я это сказал—*

– Зачем ты сказал это?

– Нет, нет, это не было моей работой, вот и всё, управление, боеголовка, двигатель… Спросите у них. Других спросите.

– Ты что-то другое хотел сказать. Кто работал по части управления?

– Я говорил вам, я не знаю ни одного из их имён.– Покрытый пылью кофейный автомат при последнем издыхании. Машинная часть в соседних отсеках, что когда-то безжалостно долбила в барабанные перепонки как холодная клёпка день и ночь, в безмолвии. Римские цифры уставились с циферблатов часовых механизмов на стенах среди стекла оконных проёмов. Телефонные штекеры на чёрных прорезиненных кабелях болтаются из консолей над головой, каждое соединение висит над своим отдельным столиком, все столики совершенно пусты, покрыты соле-пылью осыпавшейся с потолка, нет телефонных аппаратов для подключения, нет больше слов, чтоб сказать... Лицо его друга по ту сторону стола, осунувшееся, бессонное лицо, теперь слишком заострившееся, слишком безгубое, который однажды обблевал походные ботинки Ахтфадена, шепчет сейчас: «Я не мог поехать с фон Брауном… только не к Американцам, там всё так и будет продолжаться… я просто хочу, чтобы это кончилось, вот и всё… прощай ‘Венк’»

– Забить его в трубы сброса отходов,– предлагает Андреас. Они все такие чёрные, такие уверенные...

Я должно быть последний… кто-то уже наверняка поймал его… какая польза этим Африканцам от имени… они могут получить его от кого угодно...

– Он был моим другом. Мы были знакомы ещё до войны в Дармштадте.

– Мы не хотим причинять ему вред. Мы не хотим делать тебе больно. Нам нужен S-Gerät.

– Нэриш. Клаус Нэриш.– Дополнительный параметр теперь для его само-коэффициента: предательство.

Покидая *Rücksichtslos*, Ахтфаден слышит за спиной металлический, раздающийся из другого мира, прерываемый шумами статики, радиоголос: «Полковник Тирлич. М'окаманга. М'окаманга. М'окаманга». В этом слове срочность и опасность. Он стоит на берегу канала, среди стальных обломков и стариков в сумерках, ожидая пока скажут куда идти. Но где теперь электрический голос, что хоть когда-нибудь позовёт его?

* * * * * * *

Они двинулись вдоль Шпрее-Одер Канала, направляясь наконец-то в Свинемюнде, Слотроп проверить, куда выведет его намёк Гели Трипинг относительно Schwarzgerät, Маргрета для рандеву с яхтой полной беженцев от Люблинского режима, среди которых должна находиться её дочь Бианка. Какие-то части Канала всё ещё забиты—по ночам слышно как Русские сапёры взрывают толом остатки затопленных кораблей—но Слотроп и Грета могут полагаться, как фантазёры, на плавсредства с осадкой достаточно мелкой, чтобы обходить что уж там Война пооставляла у них на пути. От дождя к дождю. К полудню небо супится, наливаясь цветом мокрого цемента—затем поднимается ветер, всё резче, холоднее, затем дождь, чуть ли не с мокрым снегом, набрасывается на них с верховьев канала. Они укрываются под брезентом, между тюков и бочек, среди запахов смолы, дерева, соломы. В тихие ночи, ночи лягушачьих хоров, чересполосица звёзд и тени вдоль канала заставляют вибрировать взгляд путешествующих. Ивы тянутся по берегам. К полуночи клубы тумана сгущаются, поглощая даже отсвет из трубы баржи, выше или ниже растянулся зачарованный караван. Эти ночи, пахучие и вьющиеся как дымок кальяна, спокойны и хороши для сна. Берлинское безумие миновало, страхи Греты явно отступили, наверное, им просто нужно было двигаться...

Но в один из дней, скользя по долгому тихому склону Одера к Балтийскому морю, они примечают красный и белый курортный городок, исхлёстанный широкими бороздами Войны, и она хватается за руку Слотропа.

– Я была тут…

– Да?

– Как раз перед вторжением в Польшу… я была тут с Зигмундом, на водах... .

На берегу, позади кранов и стальных перил, подымаются фронтоны того, что когда-то было ресторанами, мастерскими, отелями, теперь сожжённое, лишённое окон, припудренное собственным нутром. Город называется Бад Карма. Дождь из первой половины дня исполосовал стены, пики развалин и булыжники мостовой.

Дети и старики стоят на берегу готовясь принять швартовые и притянуть баржу. Чёрные клёцки дыма всплывают из трубы белого речного парохода. Корабельные слесаря громыхают внутри его трюма. Грета уставилась на него. Жилка пульсирует на её горле. Она трясёт головой: «Я подумала это корабль Бианки, но нет».

С пристани, они переходят на берег, ухватываясь за железную лесенку закреплённую в старом камне ржавыми болтами, из которых каждый пачкает стену ниже себя мокрым веером охры. Розовая гардения на жакете Маргреты начинает подрагивать. Это не ветер. Она твердит: «Я должна увидеть...»

Старики опираются на перила, курят трубки, поглядывая на Грету или на реку. На них серая одежда, широкие штаны, широкополые шляпы с круглыми тульями. Рыночная площадь оживлённа и ухожена: поблескивают трамвайные пути, пахнет свежей поливкой. В руинах, сирени сочатся своим цветом, своей избыточной жизнью по крошеву камней и кирпича.

Помимо пары фигур в чёрном, сидящих на солнышке, Курорт безлюден. Маргрета к этому времени взвинчена не меньше, чем случалось в Берлине. Слотроп тащится рядом в своём Ракетмэнском прикиде, чувствует себя подавленным. *Sprudelhof* с одной стороны ограничен аркадой песчаного цвета: колонны песка и коричневые тени. Прилегающая к ней полоса отведена кипарисам. Фонтанчики не покидают свои массивные каменные чаши: их струи бьют до 6-метровой высоты, тени их поперёк гладкой брусчатки двора широки и нервны.

Но кто это стоит там у центрального источника? И почему Маргрета обратилась в камень? Солнце в небе, люди смотрят, но даже у Слотропа всё дыбится на спине и по бокам, мороз пробегает волна за волной, захлёстывает края его челюсти… на женщине чёрное пальто, креповый шарф покрывает её волосы, плоть её толстых икр, просвечивая через чёрные чулки, почти пурпурна, слегка, но очень напряжённо опершись над источником, она наблюдает за их замедленным приближением… но улыбка… осталось метров подметённого двора, улыбка очень белого лица переходит в уверенность, вся удручённость Европы, что умерла и сгинула перелилась в эти глазах, таких же чёрных как её одежда, чёрные и безразличные. Она узнала их. Грета отвернулась и пытается спрятать своё лицо в плече Слотропа. «Рядом с топью»,– это её шопот?– «на закате, эта женщина в чёрном...»

– Ладно тебе. Всё хорошо,– опять покатили Берлинские бредни.– Она тут просто для лечения.– Идиот, идиот—прежде, чем он успевает её остановить, она вырывается и убегает прочь, отчаянный перестук высоких каблуков по камню, в затенённые арки *Kurhaus*.

– Эй,– Слотроп, чувствуя подкатывающую тошноту, грубит даме,– что за дела, леди?

Но её лицо уже изменилось, это всего лишь лицо ещё одной женщины из развалин, такое он не заметил бы, прошёл бы мимо. Ну да, улыбается, но так натянуто, с деловитым видом, который ему знаком. « *Zigaretten, bitte?*», он отдаёт ей длинный окурок, который приберегал, и отправляется искать Маргрету.

Аркада оказалась пустой. Все двери в *Kurhaus* заперты. Над головой тянется прозрачная крыша из жёлтых стёкол, многие из них вывались. Дальше по коридору, неясные пятна послеполуденного солнца выгуливают, полные пыли сухого цементного раствора. Он взбирается по разбитому маршу ступеней, что кончается небом. Частые обломки камня загромождают путь. С площадки наверху открывается Курорт до загородных далей: красивые деревья, кладбищенские облака, синяя река. Греты нигде не видно. Позднее он догадается куда она делась. Но они уже будут на борту *Анубиса*, и это лишь ещё больше его опечалит.

Он продолжал искать её, пока не спустилась темень, и вернулся обратно вдоль реки. Он сидит в кафе на открытом воздухе, пронизанном жёлтыми огнями, пьёт пиво, ест *spaetzle* суп, ожидает. Когда она появилась, то та пугливая истёрзанность, которую Герхардт фон Гёль добился от неё пару раз, хоть не настолько трогательно как с данного ракурса Слотропа, наплывает на её безмолвный ближний план, только что замерший по ту сторону столика, доканчивает его пиво, выпрашивает сигарету. Она не просто избегает тему женщины возле источника, но, возможно, утратила всякую память о том.

– Я ходила в обсерваторию,– вот что она, наконец, сказала,– посмотреть вдоль реки. Она уже близко. Я видела её корабль. Осталось не больше километра.

– О чём ты?

– Бианка, моё дитя, и мои друзья. Я думала они давно уже в Свинемюнде. Но никто уже не придерживается расписаний...

И точно. После ещё пары горьких чашек желудёвого кофе и одной сигареты, приближается весёлый букет огней, красных, зелёных, белых от устья реки, с неясными всхлипами аккордеона, думканьем струнного баса и всплесками женского смеха. Слотроп и Грета спускаются к набережной и сквозь туман, что начинает подыматься от реки, различают океанскую яхту, одинакового почти цвета с туманом, позолоченный крылатый шакал под бушпритом, открытые палубы заполнены оживлённой болтовнёй в вечерних костюмах. Некоторые заметили Маргрету. Она машет рукой, а они указывают или машут в ответ, и зовут её по имени. Это передвижная деревня: всё лето она плыла вдоль побережья, как корабли Викингов тысячу лет назад, правда, пассивно, без мародёрства: в поисках убежища, которое конкретно пока ещё не определилось.

Корабль подходит к причалу, команда опускает трап. Улыбающиеся пассажиры уже на полпути вниз, простирают обтянутые перчатками, или унизанные кольцами руки к Маргрете.

– Ну ты идёшь?

– А… а надо?

Она пожимает плечами и, повернувшись к нему спиной, осторожно оставляет причал, на борт, юбка натянулась и на миг взблескивает жёлтым светом от кафе. Слотроп, поколебавшись, идёт следом—в последний момент какой-то хохмач отдёргивает трап и корабль отваливает, Слотроп, вскрикнув, теряет равновесие и падает в реку. Головой вниз: шлем Ракетмэна тянет его прямо ко дну. Он сдёргивает его и выныривает, в носу жжёт и зрение размыто, белое судно скользит прочь, хотя бурлящие винты приближаются к нему, начиная втягивать его накидку, так что он избавляется от неё тоже. Он отплывает на спине, а затем осторожно вокруг кормы с чёрными буквами: *ANUBIS* *Ś winoj ś ie*, стараясь держаться подальше от тех винтов. По другому борту он замечает конец свисающей верёвки, доплывает и хватается за неё. Оркестр на палубе наигрывает польки. Три пьяных дамы в тиарах и жемчужных ожерельях маются бездельем у спасательного леера, наблюдают как Слотроп карабкается по верёвке: «Давайте её обрежем»,– кричит одна из них,– «и посмотрим, как он снова бултыхнётся!» – «Да, давайте!»– соглашаются её компаньонки. Иисусе. Одна из них раздобыла здоровенный тесак для мяса и размахивает им вовсю, под весьма оживлённый смех, примерно в этот же момент кто-то ухватывает Слотропа за лодыжку. Он смотрит вниз, замечает протянутые из иллюминатора пару тонких запястий в серебре и сапфирах, подсвеченные изнутри словно лёд и маслянистую реку бурлящую ниже.

– Сюда,– девичий голос. Он соскальзывает ниже, пока она дёргает его ступню, и садится верхом в иллюминатор. Сверху доносится тяжёлый удар, верёвка прошелестала вниз, женщины заходятся истеричным смехом. Слотроп протискивается внутрь, истекая выжимающейся из него водой на верхнюю койку рядом с девушкой около 18 в длинном платье с блёстками, волосы светлые до белизны, и с первыми скулами на памяти Слотропа, от вида которых у него встаёт. У него мозги уже определённо сдвинулись, все сколько было...

– Э…

– Ммм.– Они смотрят друг на друга, пока он продолжает изливаться водой. Зовут её, оказывается, Стефания Прокловска. Её муж Энтони владелец этого *Анубиса*.

Ну муж, ладно: «Ты ж глянь»,– грит Слотроп: «Я мокрый насквозь».

– Я заметила. Чей-нибудь вечерний костюм должен прийтись впору. Обсушивайся, я выйду, посмотрю что там подвернётся. Можешь пользоваться туалетом, если хочешь, там всё есть.

Он стаскивает остатки Ракетмэнова прикида, принимает душ, пользуясь лимонным мылом с вербеной, на котором обнаруживает пару белых волосков с лобка Стефании, и занят бритьём, когда она возвращается с сухой одеждой для него.

– Значит, ты с Маргретой.

– Не совсем уверен насчёт этого «с». Она нашла своего ребёнка?

– О, да, и они уже пристают к Карелу. В этом месяце он из себя кинопродюсера ставит. Ну ты знаешь Карела. И конечно же, ей всего больше хочется пристроить Бианку в кино.

– А…

Стефания часто пожимает плечами и каждая блёстка её платья пляшет: «Для неё Маргрета хочет карьеры попристойней. Чувство вины. Свою-то она признаёт не большим череды грязных фильмов. Ты наверняка наслышан как она забеременела Бианкой».

– Макс Шлепциг или там что-то.

– Вот именно, ещё какое что-то. Никогда не видел *Alpdrücken?* В той сцене как её поимел Великий Инквизитор и заходит человек-шакал, чтобы насиловать и раздирать пойманную баронессу. Фон Гёль не выключал камеры. Кадры из фильма конечно вырезали, но они таки попали в частную коллекцию Геббельса. Я видела—просто волосы дыбом. На каждом мужчине в той сцене чёрный капюшон или маска… у нас в Бидгошче это стало увлекательной игрой для вечеринок, гадать кто из них отец ребёнка. Чем-то же надо развлечься. Они крутили плёнку и спрашивали у Бианки, а она должна была ответить да или нет.

– Ага.– Слотроп приступает к протиранию своего лица лавровишнёвой водой.

– О, Маргрета испортила её задолго то того, как приезжала погостить у нас. Я не удивлюсь, если сегодня ночью Бианочка спит с Карелом. Путь приобщения к бизнесу, не так ли? Конечно, это должно стать лишь бизнесом—меньшего нельзя потребовать от матери. Проблема Маргреты в том, что ей всегда такое чересчур нравилось, прикованной в камерах пыток. Другими способами её не вставляет. Вот увидишь. Она и Танац. И всё что там у Танаца припасено в его чемодане.

– Танац?

– Ах, она тебе не сказала.– Смеётся,– Миклош Танац, её муж. Они то сходятся, то расходятся. В конце войны разъезжали с гастролями для парней на фронте—пара лесбианок, волкодав, сундук кожаных костюмов и приспособлений, маленькая группа. Развлекали войска SS. По концлагерям… короткое замыкание на колючей проволоке, знаешь. А уже позже, в Голландии, на ракетных площадках. Это они первый раз после капитуляции собираются вместе, так что я бы особо так не рассчитывала часто с ней видеться...

– Даже так? Ну я не знал.– Ракетные площадки? Рука Провидения ползёт среди звёзд, протягивает Слотропу палец.

– На время отъезда, они оставляли Бианку с нами в Бидгошч. На неё находит иногда, но в общем чудный ребёнок. Я никогда с ней не строила из себя папашу.

Сомневаюсь, что у неё есть отец. Это случай непорочного зачатия, она чистая тебе Маргрета, если «чистая» хоть как-то той подходит.

Вечерний костюм сидит превосходно. Стефания ведёт Слотропа вверх по сходне на палубу. *Анубис* движется сейчас при свете звёзд через деревенскую местность, порой горизонт прерывается силуэтом ветряной мельницы, копен сена, свинарни, каким-нибудь рядом деревьев на невысоком холме для ветра... Есть корабли, о которых мечтается на жутких порогах, против течений… нам желанны ветер и двигатель...

– Энтони,– она подвела Слотропа к громадному детине в полевой форме Польской кавалерии с множеством маниакальных зубов.

– Американец?– качает руку Слотропа.– Браво. Ты почти завершаешь набор. Теперь мы корабль всех наций. У нас даже Японец есть на борту. Экс-представитель из Берлина, которому затруднительно проехать через Россию. Бар найдёшь на следующей палубе. Всё что тут бродит вокруг,– привлекая к себе Стефанию,– кроме вот этой, дозволенная дичь.

Слотроп козыряет и, предположив, что тем двоим охота остаться наедине, находит лестницу в бар. Бар увешан праздничными гирляндами и электролампочками, заполнен дюжинами элегантно наряженных гостей, которые враз, с оркестром вместе, разразились этой песней песню в быстром темпе:

Добро пожаловать на борт!

Добро пожаловать на борт, ух, тут крутая ор-гия,

Тебе понравится, мой друг, от неё в восторге я.

Как начинали, уж не вспомнить,

Зато конец будет у нас, без вариантов, полный класс!

Ведём себя по скотски, без лишних слов, и плотски,

Но ты придёшься ко двору,

Отбрось лишь этики муру

И будь к тому же истерично громогласным!

Тут мамочки любовников меняют,

У дочек ухажёров отбивают.

Большим эрекциям особая предилекция,

Ты не поверишь и глазам,

Иди попробуй сам,

И подымайся

На борт Титаника, где среди праздника

В трюм айсберг трахнет наконец,

И всем придёт капец,

Замолкнет визг и вой,

Ну так вали на борт, друг мой!

Ну вон тебе парочки стонут в спасательных шлюпках, пьяница похрапывает в тенте над головой Слотропа, толстые ребята в белых перчатках с розовыми магнолиями в их волосах, танцуют брюхо-в-брюхо и бормочут на Венедском. Руки шарят в изнанках атласных платьев. Официанты с коричневой кожей и оленьими глазами циркулируют с подносами, на которых, как пить дать, найдёшь любое количество препаратов и соответствующих принадлежностей. Оркестр играет попурри из Американских фокстротов. Барон де Малакастра подсыпает зловеще белый порошок в фужер *Мте*. Штип. Всё та же бывшая херня, что творилась когда-то на вилле Рауля де ля Пирлимпиньпиня и, как кажется Слотропу, вечеринка всё та же.

Он примечает Маргрету с её дочерью, но вокруг тех сгрудились оргиасты, оттесняя его. Он знает, что уязвим более, чем следовало бы, перед хорошенькими девочками, поэтому решает, что так даже и лучше, ведь Бианка полный улёт вообще: 11 или 12, смуглая и миленькая, одета в красное платье из шифона, шёлковые чулки и домашники на высоком каблуке, её волосы зачёсаны вверх со всей тщательностью и безупречно переплетены ниткой жемчуга, чтобы открыть висящие серьги кристалла блистающего под её крохотными мочками… спасите, помогите. Почему такое всё должно с ним приключаться? Ему видится теперь некролог в журнале Time—Умер, Ракетмэн, не исполнилось и 30, в Зоне, от вожделения.

Женщина, которая пыталась срубить Слотропа в реку тесаком для мяса, теперь сидит на кнехте, держа поллитра жидкости, которая уже всосалась и начинает затемнять орхидею приправы. Она повествует для всех историю про Маргрету. Волосы её уложены или стилизованы так, чтобы напоминать определённый срез мяса. Заказ Слотропа, номинально Ирландское виски с водой, подан и он придвигается выслушать.– её Нептун с изъяном. А чей без? спросит кое-кто. Ах. Но, для обитателей этой планеты, Грета, в основном, жила на Нептуне—недуг её был более прямолинеен, чист и ясен, чем известные тут среди нас.

Она нашла Онейрин в тот день, когда её аванпост в Англии, привычный поставщик Хлородайна, подкачал. Недалеко от Темзы, когда герань света плыла по небу чересчур медленно, до невозможности выразить—медноватый свет, свет лёгкого загара кожи и мягкого персика, стилизованные цветы рисовались и прорисовывались средь облаков, увянуть тут, возродиться там—как это случилось со светом дня, он пал. Падение часов, не столь экстравагантно как у Люцифера, но часть не менее продуманной схемы. Грете суждено было найти Онейрин.

Любой сюжет отмечен своим знак. Какие-то от Бога, какие-то маскируются под Бога. Весьма изощрённый способ подделки. Но в ней всё равно присутствует та же подлость и смертность как у фальшивого чека. Просто тут посложнее. Члены имеют имена, как Архангелы. Более или менее обычные, данные людьми имена, чья приватность может быть взломана и выведаны имена. Но в подобных именах нет магии. Вот в чём ключевое отличие, в чём разница. Произнесённые вслух, даже с самым чистым магическим намерением, *они не срабатывают*.

Онейрин Джамф Imipolex A4. . . .

– Эта тупая сука,– замечает голос у локтя Слотропа,– с каждым разом рассказывает всё хуже.

– Прошу прощения?– Слотроп оборачивается лицом к лицу Миклоша Танаца, борода веником, брови всклочены, как растопыренные концы крыльев ястреба, пьёт абсент из сувенирного бокала, на котором, в жутковатом для карнавального освещения цвете, костлявая хихикающая Смерть вот-вот хапнет пару любовников из постели.

Он запросто переводится на тему Ракеты. «Эта A4»,– грит он,– «мне видится младенцем Иисусом, с бесконечными комитетами Иродов, что тужатся убить его в младенчестве—Пруссаки, некоторые из них, в глубине глубин своих сердец, всё ещё смотрят на артиллерию как на опасное нововведение. Если б ты только видел… с первой же минуты, ясно было, они становились всё покорнее перед её… в ней и впрямь присутствовала харизма Макса Вебера… какая-то весёлая—и *глубоко* иррациональная—сила, которую бюрократия Государства никогда не сможет обратить в рутину, которую не может одолеть… они сопротивлялись, как могли, но вместе с тем, позволили случиться. Невозможно вообразить кого-то, кто *избрал* бы подобную роль. Но с каждым годом, непонятно как, число их растёт.

Однако турне с ракетчиками генерала Каммлера, вот о чём Слотроп больше всего извращеннечески хочет—хочет?—знать: «Ну я был в Нордхаузене, видал куски и части. Но никогда A4 в полном сборе. Это ж наверняка что-то, а?»

Танац протягивает свой бокал для добавки. Официант, лицо неподвижная маска, капает воду из ложки, превращая абсент в молочно зелёный, пока Танац ласкает его ягодицы, затем отходит. Неясно, раздумывал ли Танац над ответом: «Да, заправленная, живая, готовая к запуску… пятьдесят футов в высоту, дрожит… и потом этот фантастически мощный рёв. Почти рвёт тебе перепонки. Жёстко, резко врывается в девственно синие одежды неба, друг мой. О, так фаллично. Разве нет?»

– Угу...

– Хмм, *ja*, ты бы с ними поладил, с теми на батареях, они были спокойные, как ты. Любознательнее, чем твои пехотные или танковые типы, внимательность доходила до фанатизма. О, с яркими исключениями конечно. Мы живём ради ярких исключений... Там был мальчик»,– Пьяные воспоминания? Или выдумывает

на ходу?– «Его звали Готфрид. Божий мир, который, хочу верить, он нашёл. Нам такого не светит. Нас взвесили на весах и обнаружили недовес, а Мясник возложил Свой палец на чашу весов… ты считаешь меня пресыщенным. Я тоже так думал до той жуткой недели. Это было время разгрома, отступления через нефтяные поля Нижней Саксонии. Тогда-то я понял, что был всего лишь зелёным пацаном. Командир батареи превратился в орущего маньяка. Он называл себя «Блисеро». Начнёт говорить, прямо ария Капитана из *Wozzeck*, и голос вдруг срывается в самые верхние регистры истерики. Всё разваливалось и он вернулся к какой-то бытовавшей у предков версии самого себя, орал в небо, сидел часами в застылом трансе, с глазами явно закатившимися под лоб. Без предупреждения впадал в ту безбожную колоратуру. Белые пустые овалы, глаза статуи, залиты серым дождём изнутри. Он вышел из 1945, закоротил нервы на землю, по которой мы убегали, в *Urstoff* доисторического Германца, самое нищее и паникёрское создание Божье. Мы с тобой, возможно, стали, на протяжении поколений, чересчур Христианизированными, слишком расслабились от наших обязанностей перед *Gesellschaft* с его знаменитым «Договором», которого никогда не существовало, так что мы, даже мы, приходим в ужас, сталкиваясь с подобными рецидивами. Но в глубине, из своего молчания *Urstoff* пробуждается и поёт… а в последний день… стыдно сказать… весь тот день меня не покидала эрекция… не осуждай… я ничего не мог поделать… *всё вырвалось из-под контроля*—

На этом месте их прервали Маргрета и Бианка театральной инсценировкой матери и непослушного дитя. Перешёптыванье с дирижёром, любители затей охотно окружают освободившееся место, где Бианка теперь стоит надув губки, красное платьице до середины её стройных ляжек, чёрные кружева нижней юбки чуть выглядывают из-под подола, наверняка это будет нечто утончённое, столичное, и порочное, но что это она вытворят своим пальчиком, отставленным вот так от её щёчки с ямочкой—как раз в этом месте вступает оркестр, предблёвная слюна начинает переполнять рот Слотропа, а его мозг в жутком сомнении продержится ли он в последующие несколько минут.

Не только её песенка «На кораблике *Леденец*», но и сама она сейчас начинает, без капли стеснения, *выстанывать* её в точности копируя юную Ширли Темпл—каждую интонацию поросёночка, каждый встрях локоном, бездумную улыбку, запинающуюся чечётку… её нежные голые руки начинают полнеть, платьице укорачиваться—кто-то там дурачится с освещением? Но припухлости бесполого младенческого жирка не изменили её глаз: те остались как и были: насмешливыми, тёмными, её собственными...

Много аплодисментов и алкогольных «браво!» когда это всё же кончилось. Танац воздерживается, отечески покачивая головой, огромные брови насуплены: «Ей ни за что не стать женщиной, если так оно и будет продолжится...»

– А теперь, *liebling*,– Маргрета с редкой для неё и несколько фальшивой улыбкой,– давай послушаем *Зверушки-печенюшки в Супе у Меня*.

– Супер Зверюшка в Моей Печенюшке,– выкрикивает юморист из толпы.

– Нет,– стонет ребёнок.

– Бианка—

– Хватит, сука!– Высокий каблук звякает о сталь палубы. Это игра.– Мало ты меня опозорила?

– Вижу, что мало,– бросившись к дочери, хватает её за волосы и трясёт. Девочка падает на колени, вырываясь, стараясь убежать.

– О, бесподобно,– кричит дама тесака для мяса.– Грета её накажет.

– Как бы и *мне* хотелось,– бормочет броская девушка мулатка в платье без бретелек, задевая щеку Слотропа длинным мундштуком с бриллиантами пока атласное бедро прошелестало поперёк его ляжки. Кто-то подал Маргрете стальную линейку и эбонитовый Имперский стул. Она валит Бианку себе на колени, вздёргивает платье и нижнюю юбку повыше, стаскивает белые кружевные панталоны. Прекрасные девочковые ягодицы восходят как луны. Нежная расселина сжимается и расслабляется, резинки подвязок сдвигаются и растягиваются при взбрыках ног Бианки, шёлковые чулки попискиваю друг о друга, эротично и различимо теперь, когда зрители затихли и нашли к чему приложиться, руки прижаты к грудям и гениталиям, кадыки подрагивают, языки в пробежке по губам… где старая мазохистка и статуя, которую Слотроп знал в Берлине! Грета словно бы выплёскивает теперь всю боль, скопившуюся в минувшие недели на обнажённый зад ребёнка, кожа настолько нежно-гладкая, что белая разметка сантиметров с цифрами отпечатывается зеркально-обёрнутой в красных полосах после каждого удара, перекрещиваясь, искажая перекошенной матрицей боли плоть Бианки. Слёзы льются ручьями по её осунувшемуся и покрасневшему лицу, смывая косметику, брызжа на бледный ящеричный верх туфлей её матери… волосы её рассыпались до палубы, тёмные, с щепоткой семян-жемчужинок. Девушка мулатка упёрлась спиной о Слотропа, ухватив в пригоршню его вскочивший хуй, который покрыт всего лишь чьими-то брюками со складками. Все тут типа как возбудились, Танац сидит на стойке бара, а его пока ещё не вытащенный член охватывает ртом один из Вендов в белых перчатках. Два официанта, опустившись коленями на палубу вылизывают сочные гениталии блондинки в винном бархатном платье, которая тем временем страстно ёлзает языком по высоким сияющим Французским каблукам пожилой дамы в лимонной органди занятой застегиванием серебряных наручников с войлочным подбоем на своём спутнике, Майоре Югославской артиллерии в парадной форме, что стоит на коленях, уткнув нос и язык между исхлёстанных ягодиц длинноногой балерины из Парижа, которая придерживает своё платье для него покорными кончиками пальцев, а её подружка, высокая Шведская разведёнка в кожаном корсете плотной вязки и в чёрных Русских сапогах, расстёгивает на ней верх платья и изощрённо начинает сечь её оголённые груди стеблями полдюжины роз, красных, как капельки проступающей крови, что скоро начинают скапывать с её затверделых сосков в жадный рот второго Венеда, которого дрочит удалившийся от дел Голландский банкир, сидя на палубе, туфли и носки его только что сняты

парой миленьких школьниц, близняшек, фактически, в одинаковых платьях цветущей *voile*, большой палец каждой его ступни вставлен сейчас в пушистую бороздку, а сами они протянулись поверх его ног, целуя его мохнатое брюхо, симпатичные близняшные ягодицы приподняты, принять в свои анальные отверстия хуи двух официантов, которые недавно, если припоминаешь, выхлёбывали ту сочную блондинку в бархатном платье, по течению реки Одер, где-то всё ещё там...

Что касается Слотропа, он кончает тем, что кончает между трепещущих грудей девушки из Вены с волосами цвета шкуры львицы и изумрудными глазами в обрамлении ресниц пушистых словно мех, его сперма выплёскивается до ямки на её выгнутом горле и между всех алмазов её колье, горящих из дали времён сквозь дымку его семени—и такое *ощущение*, во всяком случае, будто все кончили вместе, хотя как может такое быть? Он всё же примечает, что не участвовал, похоже, помимо Энтони и Стефании, лишь Японский представитель, сидевший в одиночестве, на верхней палубе, наблюдая. Не мастурбируя или чего-то ещё, а просто наблюдая, наблюдая реку, ночь... ну их трудно раскусить, сам знаешь, этих Япошек.

Происходит общий отвал от отверстий, чуть погодя выпивка, приём наркотиков и болтовня возобновляются и многие начинают отбредать прочь поспать. Тут и там остаются подзадержавшиеся парочки и троечки. Саксофонист саксофона-тенора вставил раструб своего инструмента между ляжек матроны симпатичного вида в солнцезащитных очках, да, солнцезащитные очки посреди ночи, Слотроп тут угодил в довольно дегенеративную компанию, это точно—саксофонист наяривает «Чатануга Чу Чу» и эти вибрации заводят её просто без предела. Девушка с громадным муляжом члена из стекла с мальками пираньи плавающими внутри декадентски лавандовой среды, забавляется между ягодиц дородного трансвестита в чулках-сеточке и пальто крашеного соболя. Черногорскую графиню ебут одновременно в шиньон и в пуп пара восьмидесятилетних ветеранов в одних только сапогах и при этом ведут обмен своего рода техническими замечаниями, которые смахивают на церковную Латынь.

До восхода ещё несколько часов, солнце ещё внизу, за непостижимыми низинными равнинами России. Туман сползается и моторы сбавляют ход. Затонувшие обломки проскальзывают под килем белого корабля. Трупы, с весны застрявшие в обломках, колышутся и поворачиваются когда *Анубис* проплывает сверху. Под бушпритом, золочёный шакал, единственное существо на борту, которому дано видеть сквозь туман, уставился вперёд, вниз по реке, к Свинемюнде.

* * * * * * *

Слотропу тут приснился Ландадно, где он провёл дождливый отпуск однажды, накачиваясь горьким с дочкой буксирного шкипера. Где также Льюис Кэрол

написал *Алису в Стране Чудес*. Потому и поставили памятник Белому Кролику в Ландадно. Белый Кролик вёл серьёзный и решительный разговор со Слотропом, но приближаясь к пробуждению, он забыл его, как обычно. Теперь вот лежит уставясь на валы и подшипники над головой, колена труб в азбесто-изоляции, на трубопроводы, датчики, баки, консоли контроля, фланцы, муфты, задвижки, и на все дебри их теней. Тут чертовски шумно. Солнечный свет проникает через люки и это должно означать, что уже утро. Тут он уголком глаза улавливает промельк красного.

– Только не говори Маргрете. Пожалуйста.– Это Бианка. Её волосы распущены до бёдер, щёки размазаны, глаза горят.– Она убьёт меня.

– Который час?

– Солнце давно уже взошло. Зачем тебе время?

Зачем время. Хмм. Может ещё поспать, тут: «Твоя мать на тебя злится или что?»

– О, она совсем с ума сошла, только что обвинила меня в любовной связи с Танацем. *Безумие*, конечно, мы добрые *друзья*, но и только… если б она уделяла мне хоть чуточку внимания, то знала бы.

–Но твоей заднице она точно уж уделила внимание, малышка.

– Ой-о-ёй,– приподнимая своё платье, оборачиваясь так, чтобы следить за Слотропом через плечо.– Я до сих пор *чувствую*. Сильно видно?

– Тебе придётся подойти поближе.

Она движется к нему, улыбаясь, вытягивая ступню на каждый шаг: «Я смотрела как ты спишь. Ты очень симпатичный, знаешь. Мать говорила ещё, что ты жестокий».

– А вот проверим,– он склоняется мягко куснуть в одну из щёчек её зада. Она выкручивается, но не отходит.

– Мм. Тут этот зиппер, ты бы…– Она поёживается, вертится пока он расстёгивает её, красная тафта соскальзывает вниз и в сторону, а там, ясное дело, один или два лавандовых подтёка начинают проступать на её заднице, безукоризненных обводов, гладкой словно сливки. При всём её малолетстве, она затянута ещё и в крохотный чёрный корсет, что стискивает ей талию до диаметра коньячной бутылки и выталкивает юные грудки кверху маленькими белыми полумесяцами. Атласные подвязки, украшенные замысловато порнографической вышивкой, спускаются по каждой ляжке держать чулки, верх каждого в отделке из тёмного Алансонского кружева. Обнажённые тыльные стороны её ног мягко трутся о лицо Слотропа. Он начинает осыпать их широкими прикусами энтузиаста задниц, одновременно дотягиваясь к переду поиграть губками пизды и клитором, маленькие ступни Бианки топочут в нервном танце, пока он рассеивает засосы,

красные туманности, по её чувствительным местам. Она пахнет мылом, цветами, потом, пиздой. Её волосы рассыпались до уровня глаз Слотропа, шелковистые и чёрные, секущиеся кончики перешёптываются на пояснице её белой спины двигаясь в и из поля зрения, словно дождь… развернувшись, она опустилась на колени расстегнуть его брюки со складками. Склоняясь, закладывая волосы себе за уши, девочка берёт залупу Слотропова хуя в свой накрашенный рот. Глаза её поблескивают сквозь папоротник ресниц, мышата детских рук бегают по его телу, расстёгивая, лаская. Такой хрупкий ребёнок: её горло, сглатывая, звенит стоном, пока он стискивает её волосы, выкручивает… она знает о нём всё наперёд. Знает точный момент, когда надо убрать свой рот и подняться, Парижские туфли-шпильки без задников расставлены по бокам от него, покачиваясь, волосы мягкой волной сбегают вперёд обрамляя её лицо, повторяются темнотой корсета обрамляющего её лобок и живот. Вскинув голые руки, маленькая Бианка поднимает свои длинные волосы, встряхивает своей головкой отбросить пышную гриву вдоль спины, затем заострённые кончики пальцев движутся вниз, медленно, заставляя его дожидаться, вниз по атласу, по всем блестящим крючочкам и кружеву, к её ляжкам. И вот лицо её, круглое младенческой пухлостью, её огромные оттенённые ночью глаза обращаются вниз и, сгибая колени, она направляет его член в себя, опускаясь медленно, мучительно, пока он заполняет её, натягивает полностью...

И что-то, э, типа *забавное*, тут случается. Не то чтобы Слотропу сразу же и дошло, пока всё происходит—уже попозже он врубится, что был—возможно это прозвучит странно, но он был вроде как, на самом деле*, внутри своего собственного хуя*. Если тебе под силу такое представить. Да, внутри главенствующего органа, целиком, все колониально побочные ткани забыты и брошены на их собственное усмотрение, его руки и ноги словно бы вплелись в сосуды и жилы, его сперма рявкает всё громче и громче, приготовляясь извергнуться, где-то там ниже его ног… тёмно-бордовый и вечерний пиздосвет достигает его одиночным лучом сквозь отверстие над головой, отражаясь в прозрачных соках струящихся вверх вокруг него. Он заточён. Всё, вот-вот кончит, кончит невероятно, а он беспомощен тут, в этом героическом взрывном *заскоке*… красная плоть откликается эхом… необычайное ощущение *ожидания взлёта*...

Она спешит, его прелестная наездница, запрокинув лицо, сотрясается сверху донизу, мышцы верха ляжек напряглись как канат, детские груди вытиснулись из её одёжки… Слотроп притягивает Бианку к себе за её соски и кусает каждый очень крепко. Охватив руками его шею, обнимая его, она начинает кончать, и он тоже, их собственный потоп вздымает его и его ожидания, из глазка на вершине башни и в неё, в небывалом взрыве прикосновения. Оглашение пустоты, чем ещё могло это быть, если не царственным гласом самого Агрегата?

Где-то в их замершем соитии, её сердце колотится, синичка в снегу, её волосы, занавешивают, скрывают оба их лица, язычок на его висках и веках снова и снова, шелковистые ноги трут его бока, прохладная кожа её туфлей на его ногах и щиколотках, лопатки приподымаются на спине словно крылья всякий раз, как она его обнимает. Что это было? Слотропу кажется, что сейчас он расплачется.

Они в объятиях друг друга. Она сказала, что им надо скрыться.

– Конечно, только нужно выбрать момент, чтобы где-то сойти. Свинемюнде, или ещё где.

– Нет. Мы можем скрыться. Я ребёнок, я умею прятаться. Я и тебя могу спрятать.

Он знает, что она может. Он знает. Прямо здесь, прямо сейчас, под косметикой и прихотливым нижним, она *есть*, любовь, невидимость... Для Слотропа это большое открытие.

Но её руки зашевелились у него на шее, встревоженно. И есть от чего. Конечно, он побудет тут, но в завершение уйдёт, и оттого его следует причислять, в конце концов, к пропавшим безвести в Зоне. Посох Папы Римского так и останется навсегда бесплодным, подобно нерасцветшему хую Слотропа.

Поэтому, когда он отделывается, выходит это нелепо. Он исполняет формальности отбытия, прививки от забывчивости, визы на выезд со штампами любовных укусов… но о возвращении он уже и думать забыл. Поправил галстук-бабочку, встряхнул шёлковые лацканы пиджака, застегнул брюки и, облачённым в униформу дня, он поворачивается к ней спиной, взбирается вверх по лестнице. Последний миг соприкосновения их взглядов уже остался позади...

Одна, коленками на крашеной стали, как и её мать, она знает, что ужас охватит в разгаре дня. И так же как у Маргреты, худшие из её видений чёрно-белые. Каждый день она чувствует приближение к самому краю чего-то. Ей часто снится одно и то же путешествие: поездка на поезде, между парой знаменитых городов, в освещении та самая перламутровая морщинистость, что в фильмах предполагает дождь за окном, В Пульмановском вагоне, диктует свою историю. Она чувствует себя способной наконец-то пересказать свой ужас, передать всё ясно, сделать понятным для других. Это может удержать, не дать ей ступить за грань, в серебристо-солёную тьму смыкающуюся в тяжкой замедленности на кромке её сознания… когда она выныривала из окраин себя, в тёмных пространствах её же неопознанные волосы неясно вырисовывались словно присутствие... В обрушившихся башнях колокола её бьют сейчас в набат под ветром. Истрёпанные верёвки болтаются либо хлещут где её коричневым капюшонам уж больше не проскальзывать над камнем. Её ветер не допускает и пылинке приблизиться. Вокруг состарившийся свет дня: поздний, холодный. Ужас в самый слепящий послеполуденный час… паруса в море слишком далеки и крохотны, чтобы значить хоть что-нибудь… вода слишком пронизана сталью и холодом...

Этот её взгляд—эти всё глубже налагаемые узы—уже разбил провидческое сердце Слотропа: разбил уже, разбил, этот же самый взгляд мелькал, когда он гнал мимо, всё дальше прочь в сумерки замшелой, искрошенной колонии, от тощих туманящихся цилиндров на бензоколонках, жестяных щитов Мокси васильковых и горько-сладких как и привкус, чтоб стыдно стало состарившимся бокам амбаров, на них оглядываются, сверяя со сколько в Те разы, в зеркале

заднего вида, каждый из которых слишком внутри металла и сгорания, придавая планам на день больше значимости, чем чему-то, что может приключиться нежданно, по Закону Мёрфи, принося, возможно, спасение... Пропадают, раз за разом, мимо бедняги Бекета утопленного из-за размытой дамбы, вверх и вниз по коричневым как колея склонам, мехграбли ржавеющие дни напролёт, серо-лиловое небо потемнело, как жёванная резинка, туман начинает прочерчивать тире в воздухе, целясь к востоку, четверть, полдюйма… она взглянула на него один раз, конечно же, он ещё помнит, от конца стойки в обеденной забегаловке, дым гриля накладывался на окна терпеливо, на фон дождя для клетчатой, нахохленной, на протекающие пригоршни пространства внутри, от музыкального автомата частое мигание рассеивает под блеющий тромбон, флейты и кларнеты ноты свинга в самое оно между тишью средней точки и следующим битом, па (хм), па (хм), па до того в самое оно, что явно же чуть забегает, однако, ощущалось будто отстаёт, вы оба на разных концах стойки это чувствовали, чувствовали, что ваш возраст заносит вас в новый вид времени, которое позволяет не замечать остального, бесстыдных ожиданий стариков, следящих сквозь двухфокусность и мокротное равнодушие, следящих как вы, свингуя, дрыгаете в яму миллионами, ровно столько миллионов, сколько нужно... Конечно, Слотроп потерял её, и продолжал терять её—так уж заведено в Америке—из окон в автобусах Грейхунд заворачивая в наклонную каменистость, зелёную и сложенную за вязами за пределы восприятия, либо, в более зловещем смысле, нарочно (когда-то знал ты значение этих слов), уехала она, не беспокоясь, слишком принадлежа Им, и не бывать уж бежевому летнему призраку на *её* обочине дороги...

Покинула Слотропа с его городскими рефлексами и в его носках Гарвардской команды—на обоих оказались красные круги наручников, кандалы из комиксов (хотя та книга комиксов не покупная, случайно найдена в почти наступившей ночи одним из попрыгунчиков на песчаной отмели в Беркшире. Имя героя—или существа—Диск Солнечных Часов. Картинки никогда его не представляли—или это—достаточно долго, чтоб разобраться. ДСЧ влетел(о), ДСЧ вылетел(о), появляясь «сквозь вихрь», из чего читатель понимал «против какого-то течения, более или менее широкого и вертикального: некая стена в постоянном движении»—по ту сторону был иной мир, где Диск Солнечных Часов ворочал делами, которые вообще никому не понять).

Разлучены, да эти разлучены как надо. Ещё как. Ещё чуть ближе и станет больно возвращать её. Но остаётся эта зацикленность на Эвридике, это *возвращение её обратно из*… хотя насколько легче было бы просто оставить её там, в зловонном карбиде и канареечном супе дыхания и выйти, и утешиться настолько, чтобы расходоваться лишь на сносный дубликат—«Зачем вести её обратно? Зачем стараться? Всего и разницы-то как реальной крышкой гроба и той, что ты для Них чертишь». Нет. Разве он может поверить в это? Они только и ждут, чтоб он в это поверил, но как он может? Нет разницы между крышкой гроба и её картинкой, всё верно, вся их экономика стоит на *этом*… но она должна быть больше, чем просто картинкой, чем продуктом, чем обещанием оплаты...

Из всех её предполагаемых отцов—Макс Шлепциг с массовкой в масках с одной стороны стрекочущей плёнки, Франц Пёклер и наверняка другие пары рук трудящихся через ткань штанов, на том сеансе *Alpdrücken*, с другой—Бианка ближе всего, в этот последний момент возможности здесь, под палубами за спиной того хищного шакала, ближе всего к тебе, пришедшему в слепящем цвете, присутулившемуся на своём сиденье, которому ни разу не светило ни напрямую, ни по диагонали за весь вечер, ты, чья отстранённость от водно-белой любви её матери абсолютна, ты, один, бормочущий *знаю я их*, обойдён, хихикающий *и я туда же*, неспособный, блефующий может *какую-нибудь проститутку*… Она выбирает тебя, из всех. Ты никогда её не увидишь. Так что кто-то должен был тебе сказать.

* * * * * * *

На полпути по лесенке вверх, Слотропа испугал яркий ряд зубов из тёмного люка: «Я смотрел. Надеюсь вы не обижаетесь—» Похоже опять тот Йип, который представляется как Мичман Моритури из Императорского флота Японии.

– А и я... – с чего это Слотроп заговорил с ковбойской оттяжкой?– видал тя как смотришь… *прошлой ночью*, мистер...

– Вы думаете, что я вуайер. Да, думаете. Но это не так. Меня не возбуждает, то есть. Но когда смотрю на людей, мне уже не так одиноко.

– Ну, лады, Мичман… дак чё тада ты… не присодиняисся? *Они* завсегда рады… за компанию.

– Да, ради Бога,– лучится одной из тех многогранных Япошных улыбок, как это они умеют,– тогда б мне стало *ещё* тоскливее.

Столы и стулья расставлены под оранжево-красными полосами тента на корме, Слотроп и Моритури почти одни наверху, если не считать нескольких девушек в купальниках, что ловят солнце, пока есть. Облачная громада собирается прямо по курсу. Слышится громыханье вдалеке. Воздух оживляется.

Стюарт приносит кофе, сливки, кашу и свежие апельсины. Слотроп взглядывает на кашу с сомнением: «Я буду»,– Моритури ухватывает тарелку.

– О, конечно,– Слотроп теперь замечает какие у этого Йипа широкие усы,– Ага, ага. Я тя вычислил. Кашелюб! Стыдобище. Скрытый Англофил—вон как краснеешь.– Выставил палец и орёт ха, ха, ха.

– Ты меня раскрыл. Да, да. Шесть лет я был не за тех.

– Ни разу не пробовал переметнуться?

– И узнать что вы за люди? Чёрт возьми! Что если фил поменялся бы на фоба? Куда б мне тогда деваться?– Он хихикает и сплёвывает апельсиновое зёрнышко за борт. В общем, он проходил пару недель обучения в школе Камикадзе на той Формозе, но его отчислили. Что-то связанное с заходом на цель: «У меня, ну никак не получался правильный заход»,– вздыхает он: «Вот и послали опять сюда, через Россию и Швейцарию. На этот раз при Министерстве Пропаганды».– Большую часть дня он отсиживал фильмы Союзных Сил, выбирая из чего можно нарезать плёнку, где Ось смотрелась бы хорошей, а противная сторона плохой: «Всё, что знаю о Великобритании почерпнуто в тех просмотров».

– Похоже тут ты не один, кому Германское кино свихнуло мировосприятие.

– Это, конечно, про Маргрету. Чтоб ты знал, так мы и встретились! Общий знакомый на студии Ufa. Я отдыхал в Бад Карме—как раз перед вторжением в Польшу. Тот городок, где ты к нам присоединился. Там был курорт. Я смотрел, как ты упал в воду. Потом забрался на борт. Ещё я смотрел, как Маргрета смотрит на тебя. Пожалуйста, не обижайся, Слотроп, но тебе наверно лучше держаться от неё подальше какое-то время.

– Какие обиды. Я и сам знаю, тут творится что-то жуткое.– Он рассказывает Моритури про случай в *Sprudelhof* и о бегстве Маргреты от привидения в чёрном.

Мичман кивает, угрюмо, подкручивая один ус так, что тот саблей подпёр ему глаз: «Она не сказала тебе из-за чего? Чёрт, Джек, тебе лучше знать...»

Рассказ Мичмана Моритури

Войны умеют опережать дни незадолго до своего начала. Оглядываясь назад, замечаешь массу шума и давления. Но у нас рефлекс забывать. Затем, чтоб война приобретала бы бо́льшую зна́чимость, да, но всё же… разве не легче увидеть скрытые механизмы в дни подводящие к событию? Появляются расстановки, что-то ускоряется… и зачастую края могут приподыматься, мельком, мы видим то, что нам не полагалось...

Маргрету пробовали уговорить на переезд в Голливуд. Она поехала, но неудачно. Ролло встретил её по возвращении, не допустить, чтобы случилось худшее. На месяц он конфисковал все острые предметы, следил, чтобы высоко не поднималась, и прятал химические препараты, поэтому спала она совсем мало. Впадала в дрёму, чтоб вскинуться в истерике. Боялась заснуть. Боялась, что не будет знать, как ей вернуться.

Умом Ролло не блистал. Просто хотел как лучше, однако, промучавшись с нею месяц, почувствовал, что с него хватит. Вообще-то, всех удивило, что он продержался так долго. Грета была передана Зигмунду, вряд ли выздоровевшей, но без явно выраженного ухудшения.

Проблемой с Зигмундом оказалось место, где он тогда жил, продуваемое насквозь, зубчатое безобразие над маленьким озером в Баварских Альпах. Часть

сооружения, должно быть, датировалось временем падения Рима. Вот куда Зигмунд привёз её.

Её где-то заразила мысль, будто она отчасти Еврейка. Дела в Германии тогда, как всякому известно, обстояли очень плохо. Маргрета была в ужасе что «её найдут». Ей слышалось Гестапо в малейшем дуновении прошелестевшего рядом сквозняка через любую из тысячи трещин упадка. Зигмунд целыми ночами пытался убедить её, что показалось. Ему это удавалось не лучше, чем Ролло. Примерно в это время и начались её симптомы.

При всей психогенности этих болей, тиков, сыпей и тошнот, мучилась она по настоящему. Иглотерапевты прибывали дирижаблем из Берлина, стучась посреди ночи со своими бархатными ларчиками полными золотых иголок. Венские аналитики, Индийские святые, Баптисты из Америки маршировали в и из замка Зигмунда, цирковые гипнотизёры и Колумбийские curanderos спали на ковре перед камином. Ничего не помогало. Зигмунд всё больше тревожился и вскоре не меньше Маргреты заимел предрасположенность к галлюцинациям. Наверное, именно она предложила Бад Карму. Курорт в то лето пользовался репутацией благодаря своей грязи, тёплой и жирной грязи со следами радия, чёрной как смоль, мягко пузырящейся. Ах. Любой страдавший подобными недугами может представить её надежду. Та грязь излечит что угодно.

Где были все в то лето накануне Войны? В снах. Курорты тем летом, в лето посещения Бад Кармы Мичманом Моритури, переполнялись толпами лунатиков. В Посольстве для него не находилось дела. Ему предложили отпуск до сентября. Он знал, должно быть, что-то назревает, но просто отправился в отпуск в Бад Карму—день за днём пил Пильзенское *Urquelle* в кафе над озером в Шатровом Парке. Он был чужаком, чаще всего полупьян, тупо упившись пивом, и он едва мог изъясняться на их языке. Но то, что он видел, должно быть творилось по всей Германии. Предумышленное безумие.

Маргрета и Зигмунд прогуливались по тем же дорожкам в тени магнолий, сидели в креслах-качалках на концертах патриотической музыки… в дождь занимали себя карточной игрой в одном из публичных залов их *Kurhaus'a*. По вечерам они смотрели фейерверки—фонтаны, пенящиеся искрами ракеты, жёлтые взрывы звёзд в вышине над Польшей. Тот онейрический сезон... И не было никого на всех курортах прочесть хоть что-то в огненных знаках. Это просто весёлые огоньки, нервические словно фантазии, что перебрасывались из глаза в глаз, пробегая по коже как страусиные веера за 50 лет до этого.

Когда впервые заметил Зигмунд её исчезновения, или когда они для него начали выходить за рамки обычного? У неё всегда была наготове благовидная отговорка: медицинская процедура, случайная встреча давнего знакомого, задремала в грязевых ваннах, утратив чувство времени. Возможно этот неурочный сон и вызвал его подозрения в конце концов, после того, что ему пришлось вынести из-за её неусыпимости на Юге. Никак не под впечатлением историй про детей в

местной газете, нет ещё. Зигмунд прочитывал лишь заголовки, да и то изредка, убить время.

Моритури видел их часто. При встречах они раскланивались, обменивались *HeilHitler'ами*, и Мичману доставалась пара минут поупражняться в Немецком. Кроме официантов и барменов, они были единственными людьми с кем он говорил. Возле теннисных кортов, в очереди к залу источника под тенью колоннады, у плавательного бассейна, на поединке цветов, на Венецианском празднестве, Зигмунд и Маргрета почти не менялись, он со своей—Моритури привык считать её Американской, улыбкой вокруг янтарного чубука его угасшей трубки… голова как Рождественский орнамент во плоти… как давно это было… она в жёлтых очках и в её шляпах как у Гарбо. И только цветы менялись у неё день ото дня: ипомея, цвет миндаля, наперстянка. Моритури привык предвкушать эти ежедневные встречи. Его жена и дочери ровно на противоположной стороне планеты, сам он сослан в страну, что угнетала его и сбивала с толку. Ему требовалась учтивость посетителей зоопарка, словарный запас разговорника. Он знает, что и сам тут за диковинку не менее любопытную. Своей Европейской лощёностью они его все зачаровывали: старые дамы в белом плюмаже на их шезлонгах, ветераны Великой Войны словно умиротворённые гиппопотамы отмокающие в стальных ваннах, их изнеженные секретари пронзительно перекликаются на Шпрудельштрассе, а вдали под арками лип и каштанов слышится неумолчно рыкающий углекислый газ в бульканье источника, исходя из смеси в огромных сотрясающихся сферах… Но Зигмунд и Маргрет очаровывали его больше всех: «Они казались такими же чужими там, как и я. У каждого из нас есть антенны, не так ли, опознавать своих...»

Однажды до полудня, случайно, он встретил Зигмунда, одного, статуя в твиде опершись на свою тросточку перед Ингаляториумом, с видом заблудившегося, некуда идти, да и желания нет. Не сговариваясь, они разом завели друг с другом разговор. Время пришло. Вскоре они зашагали, пробираясь в толпе больных чужаков, пока Зигмунд рассказывал о своих проблемах с Гретой, о её Еврейской фантазии, её исчезновениях. За день до этого он поймал её на лжи. Она пришла очень поздно. Руки тряслись мелкой дрожью, что никак не унималась. Он начал замечать подробности. Её туфли перемазанные чёрной грязью. Шов на её платье растянулся, едва не лопнул, хотя она теряла в весе. Но ему не хватило смелости выяснить напрямую.

Для Моритури, читавшего газеты, связь выскочила сразу же, как монстр из шипящих пузырьков в *Trinkhalle*, но у него не хватало слов, Немецких или каких-либо ещё, рассказать Зигмунду, и Моритури, Пивной Мичман, начал следить за ней. Она никогда не оглядывалась, но знала, что он неподалёку. На еженедельном балу в *Kursaal*, он ощутил, впервые, отчуждённость разъединившую их всех. Маргрета, глаза, которые он привык видеть скрытыми за стеклом противосолнечных очков, теперь обнажённые, жутко горели, не сводились и на миг с него. Оркестр Kursaal'а играл номера из *Весёлой Вдовы* и *Тайн Сюзанны*, старомодная музыка, и всё же, когда её отрывки нашли его годами позже на улице, по радио, они тут же вернули неописуемый привкус

той ночи, они втроём на краю глубины, которую никому не измерить… некая прощальная миниатюра Европейских тридцатых, которых он никогда не знал… наряду с той, где у него определённая комната, салон во второй половине дня: худощавые девушки в платьях, тушь вокруг глаз у всех, мужчины с лицами выбритыми так гладко, учтивость кинозвёзд… тут уже не опереточная, а бальная музыка, усложнённая, баюкающая, чуть «осовременена», с элегантным вплетением новомодных музыкальных фраз… комната эта наверху, куда заглядывает предвечерний свет солнца, глубокие ковры, голоса, не произносящие ничего весомого, ничего усложнённого, улыбки так понимающи и снисходительны. В то утро он проснулся в мягкой постели, предвкушая вечер в кабаре с танцами под популярные песни любви исполняемые именно в таком манерно изысканном стиле. Его послеполуденный салон с его слезами украдкой, с дымом, с осторожной страстью, служил промежуточной станцией между удобным утром и комфортной ночью: это была Европа, это был задымленный городской страх смерти и, всего опаснее, это были легко читаемые глаза Маргреты, оставленные без ответа в *Kursaal*, чёрные глаза в той гуще драгоценностей и кивающих Генералов, с рычанием *Brodelbrunnen* за дверями, заполнявшим паузы в музыке как машины, что вскоре заполнят небо.

На следующий вечер, Моритури следил за ней в последний раз. Вдоль основного русла, под привычные деревья, мимо пруда с Германскими золотыми рыбками, напоминавшего ему о доме, через площадки для гольфа, где последние белоусые игроки дня пробивались через тенёта и ловушки, их клюшконосцы в аллегорической постойке смирно в сиянии заката, вязанки клюшек Фашистским силуэтом... Сумерки опустились на Бад Карму в тот вечер горячечно бледные: горизонт Библейской катастрофы. Маргрет была одета во всё чёрное, шляпа с вуалью покрывала почти все её волосы, сумка переброшена на длинном ремешке через плечо. Пока возможный пункта назначения сбегался в один, пока Моритури впутывался в силки, которые ночь начинала набрасывать на него, пророчество переполнило его словно речной ветер: где она и проводила свои исчезновения, а дети из тех заголовков были—

Они вышли на край прудка чёрной грязи: это подземное присутствие, древнее как Земля, отчасти замкнутое там, на Курорте, и в имени данном... Жертвой должен стать мальчик заигравшийся, когда все ушли. Волосами его был холодный снег. Моритури мог слышать лишь обрывки произносимых слов. Мальчик поначалу её не боялся. Может, не узнал её из своих снов. Это оказалось бы его единственной надеждой. Но они сделали это невозможным, его Германские надсмотрщики. Моритури стоял неподалёку в своей униформе, выжидая, расстёгивая китель, чтобы мог двигаться, хотя он не хотел. Наверняка они тут повторяли прерванное действо из времени более раннего...

Её голос начал повышаться, а у мальчика дрожать: «Ты был в изгнании слишком долго». Это прозвучало щелчком бича в полумгле: «Пойдёшь домой, со мною,»– вскрикнула она,– «обратно к своему народу». Тут он попытался убежать, но её рука, её рука обтянутая перчаткой, её лапа с когтями метнулась и схватила его за руку: «Ошмёток Еврейского дерьма. Не пытайся сбежать от меня».

– Но... – однако, под конец поднимаясь, в дерзком вопросе.

– Ты знаешь кто я, тоже. Мой дом есть формой Света,– переходя теперь в бурлеск, с чрезмерным Еврейским акцентом, актёрски фальшивым,– я обхожу весь народ рассеянный по лику Земли, отыскивая заблудших детей. Я есть Израиль. Я есть Шехина, царица, дочь, невеста, и мать Бога. И я заберу тебя обратно, ты черепок разбитого сосуда, даже если придётся тащить тебя за твой маленький обрезанный член—

– *Нет*…

Так что Мичман Моритури совершил единственный за свою карьеру героический поступок. Он даже не отмечен в его деле. Она схватила упирающегося мальчика, второй рукой в перчатке между его ног. Моритури бросился вперёд. Какой-то миг они раскачивались единой группой. Серая Нацистская статуя: могла бы называться «Семья». Никакой Греческой неподвижности: нет, они *шевелились*. Такое не тянет на бессмертность. В этом-то и отличие. Ограниченность существования, ничто не длится за пределы восприятия— никакой передачи последующим поколениям. Обречено, как случай с д'Анунцио в Фиоме, как сам Рейх, как несчастное создание, от которой мальчик теперь вырвался и убежал в сгустившийся вечер.

Маргрета рухнула у края широко разлившейся тьмы. Моритури стоял рядом, на коленях, пока она плакала. Это было ужасно. То, что привело его туда, что разгадало и вмешалось так автоматически, теперь уснуло снова. Его рефлективное, его языковое, должностное и униформированное «я» вновь обрело свои права. Дрожа, стоял он на коленях, в большем испуге, чем за всю свою жизнь. Она вела при их возвращении на Курорт.

Она и Зигмунд оставили Бад Карму в ту же ночь. Возможно, мальчик был слишком напуган, угасающий свет слишком слаб, у самого Моритури могли быть слишком сильные покровители, потому что, Бог свидетель, он был там виден очень хорошо —но к нему не пришли из полиции: «А самому мне и в голову не пришло обратиться. Сердцем, я понимал, что она убивала. Можете меня осуждать за это. Но мне было ясно на что я бы её обрёк, и всё закончилось бы так же, в официальном заключении или как уж есть, понимаете». Следующим днём было 1-е сентября. У детей уже не осталось возможности исчезать загадочно.

День потемнел. Дождь заплёвывает под тент. Тарелка с кашей так и осталась нетронутой перед Моритури. Слотроп обливается потом, глядя на остатки апельсина: «Послушай»,– озарило вдруг его пытливый ум,– как же с Бианкой, теперь? Она в безопасности с той Гретой, как думаешь?»

Почёсывая свои большущие усы: «Что ты имеешь ввиду? Ты спрашиваешь, можно ли её спасти?»

– О, чик-трак, старый Йип, брось—

– Слушай, от чего можешь *ты* спасти её?– Изучающий взгляд лишает Слотропа равновесия. Дождь вовсю барабанит по тенту, шприцует ясным кружевом по краям.

– Но погоди-ка. Та *женщина* вчера, в том *Sprudelhof*—

– Да. И помни, Грета тоже видела, как ты вылез из реки. Теперь взвесь весь фольклор этих людей на тему радиоактивности—у этих кочевников по курортам, сезон за сезоном. Это же благодать. Это святые воды Лурда. Эта загадочная радиация, что лечит столько всякой всячины—вдруг это предельное исцеление?

– Э...

– Я посмотрел на её лицо, когда ты поднимался на борт. Я был с ней на краю одной из радиоактивных ночей. Я знаю что она увидела на этот раз. Одного из тех детей—сохранён, вскормлен грязью, радием, рос сильнее и выше, покуда медленно, вязко и медленно, течение несло его под землёй, год за годом, став мужчиной, он вышел к реке, покинул её чёрную радиацию, чтоб вновь найти её, Шехину, невесту, царицу, дочь. И мать. Матерински заботливую, как укрывающая грязь и мерцающая урановая смолка—

Почти над самой головой, гром вдруг взрывается слепящим яйцом грохота. Где-то внутри взрыва, Слотроп пробормотал: « Брось дурить».

– Хочешь рискнуть и убедиться?

Кто это вообще, а, ну *конечно*, это Мичман Япошка так вот уставился на меня. Но где руки Бианки, её беззащитный рот... – «Ладно, через пару дней мы будем в Свинемюнде, так?»– болтаешь, чтоб оттянуть—да вылазь уже из-за стола, ты, жопа—

– Мы так и будем просто лишь двигаться, только и всего. Под конец не имеет значения.

– Слушай, у тебя ведь дети, как можешь такое говорить? Это всё, что тебе надо: «просто двигаться»?

– Я хочу, чтобы война на Тихом океане закончилась и я смог бы вернуться домой. Сейчас сезон сливовых дождей, Бай-у, когда все сливы созревают. Всё чего я хочу, это быть с Мичико и нашими детьми и, оказавшись там, никогда больше не покидать Хиросиму. Думаю, тебе бы там понравилось. Это город на Хонсю, на Острове Моря, очень красивый, совершенен своими размерами, достаточно велик для городских развлечений, достаточно и для безмятежности необходимой человеку. А эти люди не возвращаются, они покидают свои дома, понимаешь—

Но один из тех узлов крепящих отягчённый дождём тент к его раме подался, белая бечёвка разкручивается торопливо, хлеща кругами по дождю. Тент

провисает воронкой, выхлёстывая дождевую воду на Слотропа и Моритури, и они убегают на нижние палубы.

Они разделяются в толпе недавно поднявшихся гуляк. В голове Слотропа теперь нет ничего кроме мысли найти Бианку. В конце прохода за роем пустых лиц он различает Стефанию в белом джемпере и брюках, та подзывает его. Уходит минут пять, чтобы протолкаться к ней, за это время он успевает подхватить коктейль Александер, вечернюю шляпу, объявление, пришлёпнутое ему на спину. Призыв ко всем кто прочтёт, на Нижне-Померанском, пнуть Слотропа, пятна от губной помады трёх оттенков бардового, и Чёрную Итальянскую мадуро, которую кто-то уже заботливо для него раскурил.

– Можешь прикидываться душой праздника,– приветствует его Стефания,– но меня не проведёшь. Под этой развесёлой маской лицо Ионы.

– Это ты, э, про, э—

– Это я про Маргрету. Она заперлась в туалете. В истерике. Никто не в состоянии выманить её.

– И тут *я* понадобился. Как насчёт Танаца?

– Танац исчез, и Бианка тоже.

– О, блядь.

– Маргрета думает, вы с ней убежали.

– Не я.– Он вкратце передаёт повесть Мичмана Моритури. Часть её пыла, напористости, улеглась. Она прикусывает ноготь.

– Да, ходили слухи. Зигмунд, перед тем как пропал, делал намёки, достаточные чтоб расщекотать любопытство в людях, но без деталей. В своём обычном стиле. Послушайте, Слотроп. Думаете, что-то грозит Бианке?

– Попробую разобраться.– Тут его прерывает быстрый пинок в зад.

– Не повезло тебе,– крякает голос за спиной,– только я, из всех кто на борту, умею читать на Нижне-Померанском.

– Я всего лишь хочу бесплатно добраться в Свинемюнде.

Но, как замечает Стефания: «Бесплатно отвозят только в одно место. Начинай отрабатывать за свой проезд. Иди к Маргрете».

– Вы хотите, чтобы я—да, ладно.

– Мы не хотим, чтобы что-нибудь случилось.

Одно из Общих Правил на этом судне. Ничего не должно случаться. Ладно, Слотроп вежливо вставляет остатки своей сигары между губ *Mme*. Прокаловска и оставляет её попыхивать ею, с кулаками в вязаных карманах джемпера.

Бианки нет в машинном отделении. Он обходит всё в подрагивающем свете лампочек, среди масс упакованных асбестом, ожёгшись пару раз, где слезла изоляция, заглядывая в бледные закоулки, тени, не помешало б самому заизолироваться тут. Ничего кроме механизмов, шума. Он направляется к лесенке. Обрывок красного ждёт его там… нет, всего лишь её платье с его персональным семенем всё ещё на подоле… эта гремящая влажность тут сохранила. Он опускается на корточки, держа наряд, вдыхая её запах. Я ребёнок, умею прятаться и я могу спрятать тебя: «Бианка»,– зовёт он: «Выходи».

Сплотившимися у двери в туалет, находит он сортимент высокосветских бездельниц и пьянчуг, загородивших проход вместе с россыпью бутылок и стеклодувных изделий, помимо усевшихся кружком клиентуры кокаина, пташки-кристаллики вспархивают в леса волосни в их носах с острия золотого кинжала с рубинами. Слотроп проталкивается, опирается на дверь и зовёт Маргрету по имени.

– Убирайся.

– Тебе не надо выходить. Просто впусти меня.

– Я знаю кто ты.

– Пожалуйста.

– Они очень умные, подослали тебя под видом бедного Макса. Но тут ничего не выйдет.

– Я больше не с Ними. Клянусь. Ты нужна мне Грета.

– Брехня. Чего ради?

– Тогда Они убьют тебя.

– Убирайся.

– Я знаю где Бианка.

– Что ты с ней сделал?

– Просто—может всё-таки впустишь?– После целой минуты молчания, она таки открывает.– Пара любителей поразвлечься пытаются тоже вломиться, но он захлопывает дверь и снова запирает. На Грете нет ничего кроме чёрной сорочки. Завитки чёрных волос лохматятся высоко на её ляжках. Лицо у неё белое, старое, осунувшееся.

– Где она?

– Прячется.

– От меня?

– От Них.

Быстрый взгляд на него. Слишком много зеркал, лезвий, ножниц, огней. Слишком белых.

– Но ты один из Них.

– Прекрати, ты знаешь, что нет.

– Это так. Ты поднялся из реки.

– Ну это потому, что я *туда упал*, Грета.

– Значит Они тебя сделали.

Он смотрит как она поигрывает, нервно, прядями своих волос. *Анубис* начал малость покачиваться, но поднимающаяся в нём тошнота вступает в голову, а не в его желудок. Когда она заговаривает, тошнота начинает переполнять его: мерцающе-чёрный грязевый оползень тошноты...

* * * * * * *

Мужчины всегда могли просто подойти и сказать ей кем она должна быть. Другие девушки её поколения вырастали вопрошая: «Кто же я?» Для них это был вопрос исполненный борьбы и боли. Для Гретель тут и спрашивать почти не о чем. Её наполняло больше личностей, чем могла решить кто и что делать с каждой. Некоторые из этих Гретель оказывались всего только легчайшим поверхностным наброском—другие поглубже. Многие имели тот или другой невероятный дар, антигравитация, вещие сны… коматозные образы вокруг их лиц, в мерцающем воздухе: безотказные, сами собой, слёзы горя, льющиеся так стильно, а она уносится через механистические города, метеоритные стены, зависшие посреди воздуха, каждая выемка и проём пусты подобно кости, и рассеянная тень, сияющая чёрным вокруг всего… либо же представлена в изумительных образах, в длинных платьях с бахромой и символикой алхимии, вуаль вьётся с кожаной шапочки концентричной набивки как шлем велогонщика, башня в треске разрядов над обсидиановой спиралью, тоннели для странных летательных аппаратов ныряющих под арки, церемониально, мимо лувров и гигантских плавников в тумане города...

В *Weisse Sandwüstevon Neumexiko* она играла девушку-ковбоя. Первым делом её спросили: «Можешь ездить верхом?» – «Конечно»,– ответила она. В жизни не сходилась ближе, чем кюветы обочин в годы войны, ни с какой лошадью, но ей нужна была работа. Когда подошёл момент сесть в седло, ей и в голову не пришло испугаться зверя, что двигался меж её ляжек. Это был Американский конь по имени Змей. Объезженный или нет, он мог унести её, даже убить. Но они скакали по экрану полные Сагиттарианского огня, Гретель и тот жеребец, и улыбка ни разу не стёрлась с её лица.

Вот одна из сброшенных ею вуалей, тонкая белая накипь, едкий осадок от одной из недавних ночей в Берлине: «Пока ты спал, я вышла из домика. Пошла на улицу, босиком. Я нашла труп. Мужчина. Недельная седая щетина и старый серый костюм... .» Он лежал неподвижный и очень белый за стеной. Она легла рядом и обняла. Подмораживало. Тело перекатилось к ней, а складки оставались смёрзшимися в ткани. Она почувствовала как щетинистое лицо трётся о её щеку. Запах был не хуже, чем от холодного мяса в холодильнике. Она лежала, обняв его, до утра.

– Расскажи мне как там у вас?– Что разбудило её? Топот ботинок на улице, ранний паровой экскаватор. Ей едва слышалось своё усталое шептание.

Труп отвечает: «Мы живём очень далеко под чёрной грязью. Добираться несколько дней». Хотя не получалось двигать его руками так же легко как у куклы, ей удавалось заставить его говорить и думать в точности, как она того хочет.

На миг она задумалась—не совсем словами—не точно такие же ощущения у её податливого сознания под пальцами Тех, кто…

– Мм, там внизу уютно. Время от времени можешь разобрать что-то от Них—отдалённый рокот, силуэт предположения, докатившиеся сюда сквозь землю над головой… но ничего, никогда, слишком близко. Там настолько темно, что всякая вещь мерцает. Можем летать. Секса нет. Зато есть фантазии, даже такие, которые привыкли увязывать с сексом—когда-то через них мы модулировали его энергию...

В роли растерянной дебютантки Лотты Люстиг, во время наводнения, принятая за посудомойку, она оказалась наедине с богатым плейбоем Максом Шлепцигом в ванне плывущей вниз по реке. Мечта любой девушки. Фильм назывался *Jugend Herauf!* (беззаботная игра слов, конечно, на модной в то время фразе « *Juden heraus!*»). Практически, все сцены в ванне снимались в студии—ей ни разу не пришлось плыть по реке в ванне с Максом, всё это делали дублёры, а в окончательной редакции остаются лишь неясные кадры издали. Фигуры затемнены и искажены, напоминают обезьян, и свет особого качества, вся сцена словно выгравирована на тёмном металле вроде свинца. Дублёром Греты в частности был Итальянский каскадёр по имени Блаццо в длинном парике блондинки. У них случился небольшой роман. Но Грета ни за что не ложилась с ним в постель пока не оденет тот *парик!*

По реке хлещет дождь: слышатся приближающиеся пороги, пока ещё не различимы, но они взаправдашние, неизбежные. И дублёры оба переживают странный, щекочущий страх сейчас, что может быть они и впрямь потерялись, и там действительно нет камеры на берегу за тонкими серыми росчерками ив… вся съёмочная группа, звукотехники, подсобники, осветители уехали… или не приезжали вовсе… а чем это течение ударило о нашу белоснежную скорлупку? и что это был за стук, такой глухой и леденящий?

Бианка обычно серебряная, или без никакого вовсе цвета: тысячи раз снята, отцежена сквозь стекло, искажена и выправлена через фиолетово-кровоточащие интерфейсы *Double* и *TripleProtars, Schneider Angulons, Voigtländer Collinears, Steinheil Orthostigmats*, и даже *Gundlach Turner-Reichs* ещё от 1895. Для Греты это душа её дочери всякий раз, неисчерпаемая душа... Этот шарф единственного ребёнка, затянут на уровне талии, постоянно выбивается добычей для ветра. Называя её продолжением своей матери, напрашиваешься на едкий, безусловно, сарказм. Но случается, порою, Грете увидать Бианку в других детях, призрачно как при двойной экспозиции… явно и очень даже явно в Готфриде, юном любимце и протеже капитана Блисеро.

– Спусти на мне бретельки ненадолго. Тут достаточно темно? Смотри. Танац говорил, они светятся. Что он наизусть знает каждый. Они сегодня очень белые, нет? Хмм. Длинные и белые как паутина. И на заднице тоже есть. И по сторонам ляжек внутри... – Много раз, потом, когда кровь уже остановится и он протрёт спиртом, Танац сидел держа её поперёк своих коленей и читал шрамы на её спине, как цыганка читает ладонь. Шрам судьбы, шрам сердца. Крест кольца Соломона. Несметные богатства и фантазии! На него находило вдохновение, после порки. Переполнялся весь уверенностью, что у них получится сбежать. А засыпал прежде, чем озверение и надежда оставляли его совсем. Больше всего она любила его в эти моменты, усыпая, обратная её сторона горит огнём, его небольшая голова тяжко возложена ей на грудь, пока ткань шрамов формируется на ней в тишине, клетка за клеткой, посреди ночи. Она чувствовала себя почти в безопасности...

Всякий раз под плетью, под ударом, в своей беспомощности избежать, ей являлось одно и то же видение, только одно, при каждом всплеске боли. Глаз на вершине пирамиды. Город принесения жертв, с фигурами в одеяниях ржавого цвета. Тёмная женщина ожидает в конце улицы. Горестное лицо Дании в капюшоне, склоняющееся над Германией. Вишнёво-красные угли сыпятся в ночи. Бианка в костюме Испанской танцовщицы поглаживает дуло пистолета...

Недалеко от одной площадки запуска ракет, в сосновых лесах, Танац и Гретель нашли дорогу, которой уже никто больше не пользовался. Куски покрытия всё ещё проступали, тут и там, среди зелёной поросли. Казалось, что если так и будут держаться этой дороги, они выйдут к городу, к станции, далёкому посёлку… совсем неясно что окажется. Но место наверняка давно покинутое.

Шли держась за руки. Танац был одет в старый пиджак зелёной замши с накладками на рукавах. На Гретель её пальто верблюжьей шерсти и белый головной платок. Местами, иглы хвои засыпали старую дорогу настолько глубоко, что обеззвучивали их шаги.

Они подошли к оползню, где много лет назад снесло дорогу. Гравий рассыпался, чёрный-с-белым, вниз по склону к реке, её они слышали, но видеть не могли. Старый автомобиль, Ханномаг Шторм, свисал там, носом вниз, одна дверь нараспах. Лавандово-серая скорлупа металла обглодана вчистую, как скелет оленя. Где-то в этих лесах таилось нечто сделавшее это. Они обошли обломки, страшась чересчур приближаться к паутинно-лопнувшему стеклу, к тяжкой смертоносности в тенях переднего сиденья.

Вдали из-за деревьев проглядывали остатки домов. Свет как-то потускнел вокруг, хотя ещё не перевалило за полдень, а лес вокруг не стал гуще. Посреди дороги, показались гигантские какашки, выложенные скрутками как обрывки каната— тёмного, в узлах. Что могло оставить такое?

В тот же миг она и Танац, оба осознали, что часами шли через развалины громадного города, не древние руины, а разрушенного на протяжении их жизни. Впереди, тропа сворачивала, в деревья. Но что-то стояло теперь между ними и поворотом: невидимое, неощутимое… нечто *наблюдающее*. Оно говорило: «Ни шагу дальше. На этом всё. Ни одного. Убирайтесь, откуда пришли».

Идти в это дальше и подумать страшно. Ужас объял обоих. Они развернулись и, чувствуя это за спиной, спеша зашагали обратно.

Вернувшись на *Schußstelle*, они нашли Блисеро в крайней стадии его безумия. Кора с древесных стволов у промозглой поляны ободрана ракетнымми пусками, они истекали бисером смолы .

– Он мог изгнать нас. Блисеро стал местным божеством. Ему бы не понадобилось и кусочка бумаги. Но он хотел, чтоб все мы оставались. Давал нам лучшее, что было, постели, еду, спиртное, наркотики. Что-то намечалось, связанное с мальчиком Готфридом, это было так же несомненно, как запах смолы, самое первое в каждое синее затуманенное утро. Но Блисеро ничего не говорил.

Мы продвигались в Хит. Там были нефтеносные поля и почернелая почва. *Jabos* пролетали выстроившись ромбом, охотились на нас. Блисеро превратился в какое-то животное… вервульф… в глазах не осталось ничего от человека: они угасали, день за днём, заменялись серыми бороздами, красными венами проложенными не по-людски. *Острова*: слипшиеся острова на море. Иногда даже топографические линии, исходившие из общей точки: «Это карта моей *Ur-Heimat*»,– представь крик настолько тихий, что почти шёпотом,– «Королевство лорда Блисеро. Белые земли».– Мне вдруг стало ясно: он видел мир теперь *мифическими регионами*: там собственные карты, со своими реками, горами, своим цветом. Он продвигался не по Германии. Это уже его удельное

пространство. Но он вёл всех нас с собою! Моя пизда набрякла кровью от опасности, от шансов нашего уничтожения, в упоительном незнании когда это случится, потому что пространством и временем распоряжался Блисеро… Он не следовал дорогам, он не пересекал мосты или поля. Мы плыли по Нижней Саксонии, от острова к острову. Каждая пусковая площадка становилась ещё одним островом, в белом море. Каждый остров имел свой пик, по центру… являлся ли он позицией самой Ракеты? моментом взлёта? Германская Одиссея. Который из островов окажется домом?

Я всё забываю спросить Танаца что случилось с Готфридом. Танацу позволили оставаться при батарее. Но меня увезли: в одном Испано-Суиза с самим Блисеро, в пасмурную погоду, на нефтехимический завод, что день за днём маячил на ободе гигантского колеса нашего горизонта, чёрные обрушенные башни вдали, друг возле друга, пламя, постоянно вырывавшееся из одной трубы. Это был За́мок: Блисеро обернулся, собираясь что-то проговорить, и я произнесла «За́мок». Рот улыбнулся мельком, но отсутствующе, изморщиненные волко-очи ушли уже даже вне таких одомашненных моментов телепатии, в пустыни своего звериного севера, к упорному выживанию в каменистом краю смерти, которую я даже представить не в силах, тесные темницы с невообразимо тусклым проблеском внутри, жизнь за счёт льда или того меньше. Он называл меня Катье: «Вот увидишь, твоя маленькая хитрость не удасться. Теперь уже нет, Катье». Я не пугалась. Такое безумие мне понятно или галлюцинации о давно минувшем. Серебряный аист летел опустив крылья, разрезал ветер опущенным лбом, выпростав ноги с Прусским затылочным узлом позади: на его блестящих поверхностях теперь возникли чёрные завихрения лимузинов и штабных машин на подъездной дорожке у здания заводоуправления. Я увидела маленький самолёт, двухместный, в конце парковки. Лица мужчин в помещении казались знакомыми. Я знала их по кинохронике, в них сосредотачивалась власть и важность—то были значительные лица, но я узнала только одного: Генеральный Директор Смарагд, из Леверкузена. Пожилой человек с тростью, известный спиритуалист до войны и, похоже, даже теперь. «Грета»,– улыбнулся он, потрагивая мою руку: «Ах, мы все тут».– Но в остальных нет и следа его шарма. Они все дожидались Блисеро. Встреча знати в За́мке. Все прошли в зал заседаний. Я осталась с помощником по фамилии Дроне, высокий лоб, седоватые волосы, постоянно поправляет галстук. Он смотрел мои фильмы, все до единого. Мы перешли на технические детали. Через окна зала заседаний мне виден был их круглый стол с чем-то по центру. Что-то серое, пластмассовое, блестящее, свет искрился на его поверхностях. «Что это?»– спросила я, заигрывая к Дроне. Он отвёл меня за пределы слышимости остальными. «Думаю, это для F-Gerät»,– шепнул он.

– *F*?– грит Слотроп.– F-Gerät, ты уверена?

– Какая-то буква.

– S?

– Ну хорошо, S. Они как дети ещё не научившиеся говорить, с этими их словами, которые изобретают на каждом шагу. Мне это показалось эктоплазмой—которую они вызвали, объединёнными усилиями, материализоваться на столе. Ни один не шевелил губами. Это был сеанс. Я поняла тогда, что Блисеро перенёс меня за грань. Ввёл наконец-то в его родовое пространство без судорог боли. Я была свободна. Мужчины толпились позади меня в коридоре, отрезав путь обратно. Рука Дроне покрылась испариной у меня на рукаве. Он был дока в пластмассах. Щёлкнет ногтем по большой, явно Африканской, маске, приклонит ухо: «Слышите? Настоящий отзвук Полистирола...»– и начинает изливать передо мной восторги от тяжкой чаши из метилметакрилата, копии Святого Грааля… Мы оказались у башни реактора. Сильный запах растворителя пронизывал воздух. Прозрачные прутья какого-то пластика с шипением выходили из экструдера у подножия башни, в охлаждающие каналы, или в нарезку. В помещение было очень жарко. Мне показалось что-то глубокое, чёрное и вязкое, подаётся на это производство. Снаружи раздавался звук моторов. Они разъезжаются? Зачем я тут? Пластмассовые змии расползались бесконечно влево и вправо. Члены моих сопровождающих тужилась выползти в местах расстёгивания одежд. Я могла делать что вздумается. Чёрные сияющие и глубокие. Опустившись на колени, я распахнула ширинку Дроне. Но двое других ухватили меня под руки и потащили в складское отделение. Остальные пришли следом или вошли через другую дверь. Огромные занавеси стирола или винила, всех цветов, сплошных и прозрачных, свисали ряд за рядом над головой. Они переливались, словно северное сияние. Я чувствовала, что где-то за ними присутствие зрителей, в ожидании начала чего-то. Дроне с людьми растянули меня на неподатливом матрасе из пластика. Все вокруг и я, смотрели на ясный поток воздуха или света. Кто-то произнёс «бутадиен», а мне слышалось *будто дева*… Пластик прошелестал и сомкнулся вокруг, окутывая нас призрачно белым. Они сняли мою одежду и нарядили в экзотичный костюм из какого-то чёрного полимера, очень тесный в талии, открытый на рассохе. Казалось он живёт на мне. «Забудь про кожу, про атлас»,– разливался Дроне: «Это Imipolex, материал будущего». Я не в силах описать его аромат или как он ощущался—просто роскошь. Едва коснувшись, он вынудил мои соски встать торчком и вымаливать укусы. Мне хотелось ощутить его своей пиздой. Ничто из всего, что я когда-либо одевала, до или после этого, не возбуждало меня настолько, как Imipolex. Они обещали мне лифчики, сорочки, чулки, платья из такого же материала. Дроне нацепил гигантский член из Imipolex’а поверх собственного. Я тёрлась об него лицом, это было так упоительно... Между ног моих разверзлась пропасть. Предметы, воспоминания, невозможно уже различить это всё, скатывались вниз из моей головы. Неудержимый поток. Я извергала всё это в некую пустоту… из моего омута, извиваясь, ярко расцвеченные галлюцинации лились… безделушки, обрывки диалогов, произведения *d’art*… я избавлялась от всего этого. Не удерживала ничего. Было ли это «покорностью», тогда—от всего избавляться ?

Не знаю, как долго меня там держали. Я засыпала, просыпалась. Мужчины появлялись и пропадали. Время потеряло значение. В одно утро я оказалась снаружи завода, голая, под дождём. Там ничего не росло. Что-то свалено было огромным расходящимся веером на многие мили. Какие-то смолистые отходы.

Мне пришлось прошагать весь путь до пусковой площадки. Там было пусто. Танац оставил записку, просил меня постараться попасть в Свинемюнде. Что-то явно произошло на площадке. На поляне царила тишь, которую мне случалось почувствовать лишь однажды. Однажды в Мексике. В том году, как я ездила в Америку. Мы были там глубоко в джунглях. Подошли к лестнице из каменных ступеней, покрыты лианами, мхом, столетиями тления. Остальные поднялись на самый верх, но я не могла. Это было как в тот день с Танацем, в сосновом лесу. Я чувствовала молчание дожидавшееся меня наверху. Не их, а только меня одну… моя персональная тишь, за мной лично...

* * * * * * *

Наверху, на мостике *Анубиса*, шторм лупит лапами громко по стеклу, большущие мокрые ласты беспорядочно хлещут из ночи хрясь! живая форма различима лишь на самом краешке радуги звука—нужно быть маньяком или по крайней мере офицером польской кавалерии, чтобы стоять так вызывающе за столь хрупкой тонкой перегородкой и в упор встречая взглядом размах каждого удара. Позади Прокловски стрелка клинометра шатается, туда-сюда, следуя качке судна: маята маятника. Штормовое освещение сделало линии его лица чёрными, чёрными как его глаза, как фуражка впередсмотрящего, нахлобученная так туго и нагло набекрень через борозды его лба. Гроздья света, чистого, глубокого, на физиономии радиоустройства… мягко ширятся от диска пелоруса… льются через иллюминаторы на белую реку. Необъяснимо, день длился дольше, чем положено. Дневной свет угасал слишком много часов. Огоньки Святого Эльма начинают теперь промелькивать в корабельной оснастке. Шторм дёргает за канаты и тросы, наполняя ночь под тучами шумной белизной, резкими спазмами. Прокловски курит сигару и изучает карту устья Одера.

Всё это освещение. Следят ли Русские наблюдатели с берега, выжидая в дожде. Обсажен ли этот рукав дельты крошащимся карандашом, один бдительный Х рядом с Х следующим, по прозрачному полю Русского пластика, в паутине разметки забелившей Немецкие окна, перед которыми лучше никому не стоять, где фосфоресцирующая трава рябит в прицелах, а люфт ощутимый в рычаге спуска невидимых зубьев это разница между промахом и попаданием…. Вацлав—неужто та точечка, что видится там, корабль вообще? В Зоне, в эти дни, подделкам нет конца—высокие всплески волн, крупные парящие птицы, настолько часты, что уже имеют обозначение в жаргоне операторов, беспризорные аэростаты, плавняк из других театров войны (Бразильские нефтяные бочки, ящики виски с трафаретным адресом Форт Лами), наблюдатели из других галактик, обрывки дыма, моменты высокого альбедо—нужные тебе цели распознать нелегко. Тут слишком много заковык для большинства переброшенных и недавних новобранцев. Только лишь бывалые наводчики всё ещё способны сохранять чувство соответствия: за вахты их Призывов, в мигающем электронно-зелёном того, что может всего лишь казаться, сперва, навсегда, они набрались понятия различать… научились визуальному милосердию.

Насколько ожидаем *Анубис* в этой дельте в эту ночь? Его расписание провалилось, как уже повелось, неизбежно: он должен был миновать Свинемюнде недели тому назад, но Висла была под Советским запретом для белого корабля. Русские даже размещали пост на борту какое-то время, покуда Анубийские дамы не заиграли тех до полного опупения—и пока тянулась долгая прокрутка Польской родины, через эти водные луга севера, радиограммы следовали по пятам, один день прямым текстом, на следующий кодом, начальная стадия неясной ситуации, колебания между молчанием палача и приёмом на ура. Имеются международные причины в пользу Дела *Анубиса*, а также резоны против, споры продолжаются, заходят слишком далеко, чтоб уследить, и приказы меняются час от часу.

В яростной качке, *Анубис* движется к северу. Молнии вспыхивают по всему горизонту, и гром напоминает бывшим воякам на борту канонаду, предвестницу битвы, по которым трудно понять: живы ли они ещё, или всё это только сон, и от него есть ещё шанс проснуться и броситься вперёд, на гибель…. Верхние палубы блестят скользко и голо. Отбросы вечеринки забили шпигаты. Несвежий дым жира сочится из камбуза в дождь. Салон приготовлен для игры в баккара, а порнофильмы крутят в кочегарке. Вторая вечерняя вахта готова заступить. Белый корабль оседает, как душа керосиновой лампы зажжённой только что, в свою ночную рутину.

Участники развлечения шатаются от носа до кормы, вечерние костюмы в солнечных розбрызгах блевотины. Дамы лежат под дождём, соски торчком и в трепете под промокшим шёлком. Официанты скользят на палубах с подносами Драмамина и бикарбоната. Блюющая аристократия развесилась по леерам. А вот и Слотроп показался, по лестнице вниз на главную палубу, его швыряет качкой между перил-верёвок, чувствует себя не слишком резвым. Он потерял Бианку. Прошёл суетливо по кораблю несколько раз туда и обратно, не может найти ни её, ни объяснения, зачем понадобилось ему расставаться с нею утром. Это имеет значение, но насколько? Теперь, когда Маргрета выплакала ему над лирой без струн и горькой расселиной корабельного туалета о её последних днях с Блисеро, он знает не хуже, чем и до того, что это *S-Gerät* преследует его, а с ним ещё и бледная пластиковая вездесущность Ласло Джамфа. Что если он был ищущим и искомым, то мало того что пойман на живца, но и наживка тоже он же. Вопрос про *Imipolex* был подброшен ему, ещё в Казино Герман Геринг, в надежде, что тот распустится махровым цветом в полную *Imipolectique* в свою полную мощь в Зоне —но Они знали, что Слотроп клюнет. Выглядит так, будто имеются под-Слотропные потребности, о которых Они знают, а он нет: это унизительно прежде всего, но теперь появился и более досадный вопрос, А мне-то что, так сильно нужно?

Ещё даже месяц назад, пусть и через считанные дни мира, он мог отследить путь обратно к тому сентябрьскому дню, к напрягшемуся хую в его штанах, что отчётливо подскочил, как палочка лозоходца, в попытке указать в небе что там зависло на всех и каждого. Лозоискательство Ракет это дар, и он обладал им, мучился им, в попытке наполнить своё тело до мельчайших пор и впадинок гудящей тягой к сексу… войти, наполниться… нагонять… показаться… начать

выкрики… распахнуть руки ноги рот жопу глаза ноздри без надежды на милость намерений её, выжидающей в небе бледнее, чем тусклый продажный Иисус….

Но теперь некое пространство, против которого он не может двигаться, пролегло позади Слотропа, мосты, что могли привести обратно, сожжены навеки. Он всё меньше опасается предать тех, кто верит в него. Чувство долга отодвигается с первого план. Наметился, фактически, общий спад эмоций, какая-то онемелость, что должна была бы его обеспокоить, но почему-то пофиг.

Не получается…

Обращения Русских врываются с треском по радио корабля, и статические разряды хлещут как потоки дождя. Огни начинают возникать на берегу. Прокаловски дёргает общий рубильник и полностью отключает свет на *Анубисе*. Огни Святого Эльма начнут моментами приплясывать, срываясь с перекрестий, острых концов, трепыхаясь белизной, как доносчики про опоры с антеннами.

Белый кораблю, в камуфляже под шторм, проскользнёт мимо необъятной руины Штеттина. Дождь утихнет на миг слева по борту и откроет последнюю пару разрушенных кранов и обугленные склады, до того мокрые и блестящие, что можешь услышать их гарь, и запах начала болот можешь почувствовать тоже, где никто не живёт. А затем берег снова станет невидимым, как и открытое море. Дельта Одера раздастся вокруг *Анубиса*. Патрульные суда в эту ночь не переймут. Барашки будут набегать, ударяя из темноты, и разбиваться ввысь о нос, и солёный поток стекать из пасти золочёного шакала… граф Вафна крениться на корме в одном лишь белом галстуке-бабочка, в руках пригоршни красных, белых и синих фишек, и он их никогда не обналичит… графиня Бибескью будет грезить в носовом кубрике о Будапеште четырёхлетней давности, январский террор, Железная Гвардия орёт по радио Да здравствует Смерть, а тела Евреев и Левых висят с крюков на городских бойнях, капая на доски пахнущие мясом и шкурами, пока её груди обсасывает мальчик 6 или 7 лет в бархатном костюмчике лорда Фонтлерой, их мокрые волосы сольются неразделимо как их стоны сейчас, исчезнут внутри нежданной белизны взорвавшейся над носом… и затяжки на чулках, и шёлковые платья поверх кружевных сорочек сбиваются в муары с отливом… эрекции опадают без предупреждения, хуи дрожат от ужаса… огни включатся снова и превратят палубу в слепящее зеркало… и вскоре после этого, Слотропу покажется, что разглядел её, подумает, что он нашёл Бианку снова—тёмные ресницы слиплись и по лицу струится дождь, увидит как она поскользнулась на склизкой палубе, как раз, когда *Анубис* круто увалит на левый борт, и даже при таком раскладе—даже хоть слишком далеко—он рванётся к ней не раздумывая, поскользнётся и сам, когда она исчезнет под меловыми леерами и пропадёт, поковыляет в попытке вернуть её, но тут же получит удар по почкам и будет просто вышвырнут за борт и на этом адью *Анубис* и его визгливый Фашистский груз, и нет уже корабля, ни даже чёрного неба, когда дождь прибивает книзу его закрывающиеся глаза торопливыми иглоуколами, и он проглатывает, без крика о помощи, просто кроткий всхлип ёб твою, слёзы,

которые ничем не дополнят кипень белого опустошения, что проносится над Дельтой Одера в эту ночь…

* * * * * * *

Голоса Немецкие. Похоже это рыболовный сейнер лишённый зачем-то сетей и лебёдок. Груз уложен на палубе. Розоволицый юноша заглядывает вниз на Слотропа с палубы по центру судна, наклоняясь, с бортом, поближе, откачиваясь назад: «На нём вечерний костюм»,– кричит он в сторону рубки рулевого: «Это хорошо или плохо? Ты ведь не с военным правительством, а?»

– Исусе, парень, я тону. Я тебе справку выдам, если хочешь.– Ну, это так Привет, Друг на Немецком. Юноша протягивает розовую руку с обросшей мозолями ладонью и втаскивает наверх, уши замёрзли, из носа текут солёные сопли, шлёпаются на деревянную палубу пахнущую поколениями рыбы и до блеска измызганную грузом более солидным. Судно ложится на курс с резким взмывом ускорения. Слотроп расхлябано откатывается к корме. Позади них высокий петушиный хвост пены встаёт торчком навстречу дождю. Маниакальный хохот катит на корму из рулевой рубки: «Эй, кто или что командует этим тут кораблём?»

– Мать моя,– розовый парнишка присаживается на корточки рядом со Слотропом с беспомощно виноватым видом.– Гроза открытого моря.

Эта дама с яблочками щёк Фрау Гнаб, а сынка её кличут Отто. В приливах симпатии, она зовёт его «Отто Молчун», что кажется ей очень смешным, но и выдаёт её возраст. Пока Слотроп стаскивает дорогой костюм и развешивает его внутри сушиться, сам завёрнутый в армейское одеяло, мать с сыном излагают как вдоль всего Балтийского побережья доставляют они товары на чёрный рынок. Кто бы ещё вышел в море в такую штормовую ночь? У него лицо вызывает доверие, у этого Слотропа, люди расскажут ему что угодно. Сейчас они типа направляются в Свинемюнде принять груз для завтрашнего рейса вдоль береговой линии Юзедома.

– А знаком вам человек в белом костюме,– цитируя Гели Трипинг из пары эпох тому назад,– который вроде как бывает на Прибрежном Променаде в том Свинемюнде, всегда примерно в полдень?

Фрау Гнаб занюхивает щепотку табака и сияет: «Его все знают. Он рыцарь белого коня на чёрном рынке, а я королева каботажного товарооборота».

– Дер-Шпрингер, верно?

– А кто ж ещё.

Больше некому. В кармане штанов Слотропа до сих пор заныкана та шахматная фигурка от старого Кислоты Бумера. По ней Шпрингер его опознает. Слотроп заснул в рулевой рубке на два-три часа, по ходу которых к нему является Бианка понежиться с ним под одеялом: «Ты и вправду теперь в той Европе»,– усмехается она прижимаясь к нему: «О, боже мой»,– не устаёт повторять Слотроп голосом в точности как у Ширли Темпл, утратив голову совершенно. И это, вна́туре, смущает. Он просыпается к солнечному свету, вскрикам чаек, запаху машинного масла номер 2, бамканью винных бочек, что скатываются по доскам на берег. Они пришвартованы в Свинемюнде у ввалившихся длинных останков испепелённых складов. Фрау Гнаб следит за разгрузкой чего-то. У Отто вскипает жестянка с ей-же-ей *Bohnenkaffee*: «Давненько такого не пробовал»,– признаётся Слотроп обожжённым ртом.

– Чёрный рынок,– урчит Отто,– иметь с ним дело выгодно.

– Я малость занимался... – О, да и бросил остатки того гашиша Бодайна, не так ли, несколько ёбаных унций фактически, на том *Анубисе*, умник. Сиди и облизывайся на воспоминания—

– Приятное утро,– замечает Отто.

Слотроп натягивает обратно свой вечерний прикид, поморщенный и сильно подскочивший, но почти сухой, и сходит на берег с Отто отыскать Дер-Шпрингера. Похоже, это Шпрингер подрядил сегодняшний рейс вдоль берега. Слотроп высматривает *Анубис*, но корабля нигде не видно. В отдалении порталы кранов сбились в кучу, словно скелеты высясь над разрухой, что так нежданно грянула на порт. Штурм Русских по весне усложнил тут общую панораму. Белый корабль может спрятаться за любым из этих нагромождений портовых обломков. Выходи, выходи...

Шторм улёгся, ветер сегодня тих, а небо раскинулось над головой безупречной интерференцией цвета, скумбрийно-серый с синим. Где-то заводятся и лязгают военные машины. Мужчины и женщины орут вблизи и подальше на Русском. Отто со Слотропом обходят их переулками с наполовину бревенчатыми домами по сторонам, почти готовы сомкнуться над головой после столетий неприметного перекоса. Мужчины в шапках с чёрными козырьками сидят на крылечках, высматривают, нет ли в руках сигареты. На маленькой площади расставлены рыночные прилавки, деревянные рамы и старый замызганный брезент, светящийся насквозь при порывах бриза. Русские солдаты, опершись на столбы или скамейки, разговаривают с девушками в дирндльсах и белых носках до колен, почти все неподвижны как статуи. Рыночные телеги стоят без упряжек, опустив оглобли на землю или мостовую, покрыты мешковиной, соломой или остатками продуктов. Собаки принюхиваются к негативным отпечаткам танковых траков. Пара мужчин в старой тёмно-синей униформе, пробираются со шлангом и метлой, счищают мусор и каменную пыль качаемой из гавани водой. Две девчушки носятся кругами вокруг кричаще красного киоска оклеенного хромофотографиями Сталина. Рабочие в кожаных кепках, помигивая, с по-утреннему мятыми лицами,

крутят педали к докам, коробки с обедом висят на рулях великов. Голуби и чайки отпугивают друг друга над крохами в сточных канавах. Женщины с пустыми авоськами торопятся мимо, призрачно невесомые. Одиночное молодое дерево на улице распевает хором птиц, которых не разглядеть.

Как Гели и говорила, на замусоренном сталью променаде, попинывая камешки, поглядывая на воду, бездельным взглядом прочёсывая пляж, не выткнутся ли где случайные часики или золотая оправа очков, в ожидании кого бы то ни было, вот он, Тот Человек. Около 50, блёклые глаза нейтрального цвета, волосы густы по бокам головы и зачёсаны назад. Слотроп машет конём из пластмассы. Дер-Шпрингер улыбается с поклоном.

– Герхардт фон Гёль, к вашим услугам.– Они обмениваются рукопожатием, хотя у Слотропа в руке неприятно закололо.

Чайки кричат, волны распрямляются на берегу: «Э»,– грит Слотроп: «Со слухом у меня не совсем того, в общем, не могли бы— так говорите Герхард фон что, простите?»– это скумбриозное небо начинает всё меньше смахивать на муар, и больше походить на шахматную доску: «Полагаю, у нас есть общая знакомая. Ну та Маргрета Эрдман. Видел её прошлой ночью. Ага...»

– Про неё ходил слух, будто она погибла.– Он берёт Слотропа под руку, и они начинают прогуливаться по променаду.

– Н-ну а про вас говорили, будто вы кинорежиссёр.

– Это одно и то же,– подносит огонь к Американским сигаретам каждого.– Те же проблемы контроля. Только интенсивнее. Как для некоторых музыкальных ушей, диссонанс на самом деле высшая форма благозвучия. Вы слыхали про Антона Веберна? Весьма печально.

– Это по ошибке. Он не виноват.

– Ха. Конечно, нет. Ошибки тоже часть этого—всяко лыко в строку. Начинаешь понимать, как всё сочетается, ja? осваиваешь структуру, привыкаешь к ритмам, и в один из дней ты больше не актёр, но уже свободен, по другую сторону камеры. Не стоит названивать распорядителям—достаточно однажды очнуться и понять, что Королева, Слон, и Король всего лишь приукрашенные калеки, а пешки, даже достигшие последнюю линию, обречены ползать в двух измерениях, и ни одна Ладья не вознесётся и не опустится, нет: *полёт достался в удел одному лишь Springer'y*!

– Точно, Шпрингер,– грит Отто.

Четвёрка Русских рядовых вышли из навала рухнувших гостиничных фронтонов, пересмеиваясь поперёк променада, через стенку к воде, где и стоят, бросают гладкие камешки, брыкают волны, подпевают друг другу. Не слишком-то вольный город, Свинемюнде. Слотроп информирует фон Гёля о Маргрете, стараясь не

вдаваться в личное. Но какая-то тревога за Бианку, как видно проступила, Фон Гёль дёргает его руку, добрый дядюшка: «Ничего. Я бы слишком уж так не беспокоился. Бианка умный ребёнок, а мать её вряд ли богиня уничтожения».

– Вы умеете утешить, Шпрингер.

Балтика, неутихающий серый Вермахта, шепчет вдоль берега. Фон Гёль прикладывает пальцы к невидимой Тирольке перед старыми дамами в чёрном, что вышли парами погреться на солнышке. Отто начинает гоняться за чайками, выставив руки перед собой в манере немого кино, чтоб удавить, но постоянно промахиваясь мимо птицы. Вскоре к ним присоединяется прохожий с увесистым носом, сутулый, с недельной порослью оранжевого и седого на лице, в кожаном бушлате слишком большого размера и без всяких штанов под ним. Его имя Нэриш—тот самый Клаус Нэриш, специалист по аэродинамике, которого Хорст Ахтфаден слил Schwarzkommando, и никто иной. Он удерживает за шею неощипанную мёртвую индюшку. Пока они пробираются среди обломков, больших и малых, от Свинемюнде и боёв, что шли тут весною, жители города начинают возникать из руин и бочком подбираться поближе к фон Гёлю, обёрнутому к суше, глаза всех прикованы к мёртвой птице. Шпрингер засовывает руку внутрь пиджака своего белого костюма, выуживает .45 Армии США и ненавязчиво переводит оружие на взвод. Его окружение тут же уполовинивается.

– Они сегодня голоднее,– замечает Нэриш.

– Верно,– откликается Шпрингер,– но сегодня их меньше.

– Ух,– врубается Слотропа,– нехорошо так говорить.

Шпрингер пожимает плечами,– «Сочувствуй. Но не строй фантазий на их счёт. Презирай их, превозноси, но помни, мы определяем друг друга. Элита и обойдённые, мы движемся космическим дизайном тьмы и света и, при всём смирении, я один из очень немногих, кто способен понимать это *in toto*. Посему взвесьте честно, молодой человек, на которой из сторон предпочтёте вы находиться. Пока они прозябают в вечной сумеречности, тут… всегда—

Прекрасная Погода (*Фокс-трот*)

—прекрасная погода для чёрного рын-ка

Золото и серебро текут, звенят, блестят!

От Моря Кораллов до Балтики синей

Деньги чудеса творят.

Будто луч маяка сверкает этикетка,

В таком декольте ты будешь как конфетка!

Зелёное иль алое, неважно, подружка!

В таком даже мамаша, смотрится шлюшкой…

А и прекрасная погода, цветёт чёрный ры(ы)нок,

Найдёшь тут всё: от танкера и до ботинков!

Нэриш и Отто тут тоже подхватывают в раскладке на трёхголосье, пока безработное и голодное Свинемюнде смотрят, бледнея лицами, словно терпеливый скот. Но тела их обозначены лишь намёком: проволочные вешалки для довоенных костюмов и платьев, слишком древние, слишком завоженные грязью, устаревшие.

Оставив променад, они стоят на углу улицы, пока подразделение Русской пехоты и кавалерии маршируют мимо: «Гля, они так и валят»,– отмечает Отто: «Где цирк?»

– Дальше по берегу, пацан,– грит Нэриш.

– Что дальше по берегу,– интересуется Слотроп.

– *Осторожней*,– предупреждает Нэриш,– *он шпион*.

– Не говори на меня «пацан»,– озляется Отто.

– Жопа от шпиона,– грит Слотроп.

– Он в порядке,– Шпрингер похлопывает каждого из них по плечу, прям тебе тут *Herr Gemütlich*,– об нём уже прошёл базар. Он даже без оружия.– Обернувшись к Слотропу.– Добро пожаловать с нами, вдоль берега. Тебе может показаться интересным.– Но Слотроп не лыком шит. Он примечает насмешку во взглядах всех тут присутствующих, включая Шпрингера.

Среди груза, направляемого вдоль берега, шесть девушек хористок, разодетых в перья и блёстки, под старыми пальто из сукна, чтобы не занимать мест для складирования, небольшой состав музыкантов для оркестровой ямы, в различных стадиях алкоголичной дрёмы, много-премного ящиков водки, и группа дрессированных шимпанзе. Мореходно-пиратская мать Отто застукала одного из этих шимпов в рубке рулевого и у них там разборка, Фрау кроет его бранью, а шимп время от времени реагирует попыткой смазать её по сусалам своей болтающейся кожурой банана. Язвенник импрессарио Е. Б. М. Хафтунг пытается привлечь внимание Отто. За ним устоявшаяся репутация обращаться не к тому, к кому надо: «Это же там Вольфганг! Он её убьёт!» Вольфганг его призовой шимп, малость неустойчивый, неплохо пародирует Гитлера, но не способен надолго сосредотачиваться.

– Ну,– невразумительно,– тогда ему лучше не связываться с моей мамашей.

В обрамлении её косоугольного проёма, намного заметнее насколько всеобъемлюще присутствие тут этой старухи: она склоняется, приговаривая,

широкая сладкая улыбка зубаста как только может быть, прямо на того Вольфганга, *воркуя* ему: «*Deine Mutter* . . .»

– Слышь, она ж в жизни не видала этих зверюк,– Слотроп оборачивается к Отто, огорошив юнца выражением полнейшего, ну скажем, дружественного душегубства на лице,– так же ж?

– Ах, она полный фантасти́к. Инстинктом чувствует— *как именно* оскорбить кого угодно. И неважно живое или растительное—я даже видел как она кроет скалу однажды.

– Да, ладно—

– Правда! *Ja*. Здоровенная глыба фельзитового выброса, в прошлом году, у берегов Дании, она материла,– вот-вот впадёт в приступ того унылого хохота, который мы предпочитаем сдерживать,– её *кристаллическую структуру* минут двадцать без передышки. Невероятно.

Хористки уже вскрыли один ящик водки. Хафтунг, причёсывая волосы, которые на темени растут лишь в его памяти, бросается туда наорать на них. Мальчики и девочки, всех возрастов, оборванные и тощие, тянутся поперёк носа, затаскивая груз. На фоне чистого неба, шимпы скачут по реям и антенне, над ними проскальзывают чайки и глазеют. Ветер поднимается, скоро белый барашек, на гребне той или другой волны, забежит в гавань. Каждый ребёнок тащит мешок или ящик иной формы, цвета и размера. Шпрингер стоит тут же, пенсне пристёгнуто перед его агатовыми глазами, сверяясь со списком в своём зелёном марокканском блокноте, улитки в чесночном соусе, один брутто… три ящика коньяка… теннисные мячи, две дюжины... одна Виктрола… фильм, *Везунчик Пьер разбушевался*, три катушки… бинокли, шестьдесят… наручные часы… *u.s.w.,* птичка на каждого ребёнка.

Вскоре всё было убрано под палубу, шимпы уснули, музыканты проснулись, девушки окружают Хафтунга, обзывают его и щиплют за щёки. Отто идёт вдоль борта, втягивает концы отчаленные детьми. Как только последний сброшен, с его причальной петлёй ещё на лету, обрамляя чайную каплю панорамы заглоченного ею Свинемюнде, Фрау Гнаб, ощутив ступнями освобождённость от суши, ложится на курс в своей обычной манере, чуть не выронив шимпанзе за корму и завалив полдюжины красоток Хафтунга на палубу привлекательным клубком ног, задниц и титек.

Боковые течения сносят пришедший в движении корабль через расширяющуюся воронку Свина, к морю. Всё ещё за волноломом, где пенятся проломы пробомбленные весной, и *вытарчивают*, Фрау Гнаб, не меняя выражения лица, вертит свой руль на стовосемдесят, прёт на паром из Засница, уворачивается в последний момент, квохча над пассажирами отшатнувшимися от поручней, что поразевали рты ей вслед: «Пожалуйста, Мам»,– молчун Отто жалобно в окно рулевой рубки. В ответ, добрая женщина заводится реветь кровожадный

Морской Напев

Я Пиратская Царица на волнах Балтики всей,

со мной не залупайся: не соберёшь костей,

От всех, что когда-то пытались, одни лишь черепа на дне остались,

Рыбки как посыльные к ним в глаза заплывают, песенки распевают:

«Теперь догадался, что зря залупался на бизнес Гори Гнаб?»

Затею битву с крейсером, возьму на абордаж,

Завидев мою посудину, адмиралы впадают в мандраж.

Встречала я Летучего Голландца, он стал послушным, как мелкий краб,

С тех пор орёт по всем морям: «Не залупайтесь на бизнес Гори Гнаб!»

После чего она ухватывается за своё рулевое колесо и добавляет ходу. Теперь они стремглав несутся в борт полузатонувшего сухогруза: чёрное вогнутое железо в мазках красно-свинцового, каждая заржавелая заклёпка и проломленный лист надвигаются, нависают—Эта женщина точно неуравновешенная. Слотроп зажмуривается и хватается за одну из хористок. С «эгей!» из рулевой рубки, судёнышко круто берёт вправо, избежав столкновение на какую-нибудь пару слоёв краски. Отто, в нахлынувших грёзах о смерти, ошалело рысит мимо выпрыгнуть за борт: «Такое у неё чувство юмора»,– сообщает он по пути. Слотроп успевает ухватить его за свитер, а девушка вцепляется сзади в полу вечернего пиджака на Слотропе.

– Она затевает что-то не очень законное,– Отто минутой позже, переведя дух,– будьте начеку. Я не знаю что с ней делать.

– Бедный мальчик,– улыбается девушка.

– О,– грит Отто.

Слотроп оставляет их, всегда рад видеть, что молодые люди симпатизируют друг другу, и присоединяется к фон Гёлю и Нэришу на корме. Фрау Гнаб сделала, уваливая, поворот овештаг к северо-западу. Вскоре она идут вдоль береговой линии по бело-полосованной соле-пахучей Балтике.

– Ну. И куда мы теперь, корешки?– хочет знать повеселевший Слотроп.

Нэриш молча вылупился: «Это остров Юзедом»,– поясняет фон Гёль, мягко: «С одной стороны он омывается Балтийским морем. Кроме того он ограничен двумя реками. Они называются Свин и Пене. Мы вышли из реки Свин. Мы были в Свинемюнде. Свинемюнде означает ‘устье реки Свин’».

– Ладно. Ладно.

– Мы направляемся вокруг острова Юзедом в место являющееся устьем реки Пене.

– Попробую угадать… значит то место будет называться Перемюнде, верно?

– Очень хорошо.

– Ну и?– Следует пауза.– О. О, *то самое* Пенемюнде?

Нэриш, оказывается, работал там. Теперь в состоянии составить некую идею о Русских оккупантах там.

– Ещё там была фабрика производства жидкого кислорода, на которую я положил глаз, заодно,– Шпрингер и сам уже сбавил ходульность,– Я собирался запустить производство—мы всё ещё прощупываем насчёт той в Фолькенроде, в бывшем Институте Геринга.

– Есть ещё куча ЖК генераторов вокруг Нордхаузен,– Слотроп старается быть полезным.

– Благодарю. Они отошли Русским, если помните. В том-то и проблема: не будь это столь вопреки Природе, я бы сказал, что они не знают чего хотят. Дороги на восток забиты день и ночь грузовиками Русских, битком с матчастью. Добычей любого сорта. Но без чёткой упорядоченности пока что, кроме обдирай-и-отправляй-додому.

– Охренеть,– Слотроп-умница на это,– как по-вашему, они нашли уже тот S-Gerät, а, мистер фон Гёль?

– А, умно́,– сияет этот Шпрингер.

– Он человек от ОСС,– стонет Нэриш,– говорю тебе, надо от него избавиться.

– S-Gerät идёт нынче за £10,000, половину вперёд. Интересуетесь?

– Не-а. Но я точно слыхал в Нордхаузене, что он у вас.

– Неверный слух.

– Герхардт—

– Он в порядке, Клаус.– Взгляд, с которым Слотроп уже сталкивался, так продавец автомобилей сигналит своим напарникам *тут нарисовался полный идиот, Леонард, смотри не спугни его, ладно?* Мы специально распустили этот слух в Штеттине. Проверить, как отреагирует Полковник Чичерин.

– Блядь. Опять он? Этот среагирует, будьте уверены.

– Ну вот это мы и хотим узнать сегодня в Пенемюнде.

– Ё-моё,– и Слотроп пересказывает о поимке в Потсдаме, и что, по мнению Гели, Чичерина интересует не столько запчасти Ракеты, как расправа с Оберстом Тирличым. Если это как-то зацепило двух чёрнорыночников, виду они не подали.

Разговор перетёк на что-то типа тех вольных, многоимённых пересказов, которыми мать Слотропа Нэйлин любила занять себя во второй половине дня— Хелен Трент, Стелла Даллас, Мэри, Благородная Жена за Кулисами...

– Чичерин сложный человек. Это почти как если… он думает, что Тирлич как бы… другая часть его—чёрная версия чего-то сидящего внутри него *самого*… Что-то, что ему нужно… ликвидировать.

Нэриш: Ты считаешь тут может быть какая-то… какая-то *политическая* причина?

Фон Гёль: (покачивая головой) Я просто не знаю, Клаус. После того случая в Центральной Азии—

Нэриш: Ты имеешь ввиду—

Фон Гёль: Да. Киргизский свет. Знаешь. Забавно, что он никогда *не хотел*, чтобы его считали империалистом—

Нэриш: Никто из *них* не хочет. Но эта девушка...

Фон Гёль: Малышка Гели Трипинг. Та, что считает себя ведьмой.

Нэриш: Но ты действительно думаешь, что она пойдёт на этот—этот её план, заполучить Чичерина?

Фон Гёль: Я думаю… *Они*… да...

Нэриш: Но Герхардт, она же его любит.

Фон Гёль: Он не устраивал свиданий с ней, не так ли?

Нэриш: Ты же не хочешь сказать, будто—

– Слышь,– взборматывает Слотроп,– что за околёсицу вы тут *плетёте*, вообще?

– Паранойя,– Шпрингер огрызается досадливо (как люди огрызаются, когда их отрывают от увлекательной игры).– Тебе этого не понять.

– Ну ызвиняюсь, надо отойти проблеваться,– классычная реплыка среди чарующей школы лохов, типа этого Тактичного Тайрона тут у нас, и довольно-таки продвинутый способ для суши, но только не тут, где Балтика не даст не укачаться до тошноты. Шимпы хором блюют накрывшись брезентом. Слотроп присоединяется у поручня к жалкой участи музыкантов и девушек-хористок. Они инструктируют его о тонкостях занятия типа не блевать против ветра и выбирать момент, когда корабль качнёт поближе к морю, Фрау Гнаб выражает надежду, что

никто не заблюёт её корабль, с ледяной улыбкой д-ра Мабуса в особенно удачный из его дней. Её слышно из рулевой рубки теперь, где она воет свой морской напев: «Öööööö»,– подпевает Слотроп за борт.

И так вот их отчаянное предприятие катит вдоль берега Юзедома, под облачно-летним небом. На побережье зелёные поля расстилаются двумя мягкими ступенями: повыше них цепь холмов в густых дубравах и соснах. Курортные городишки с белыми пляжами и заброшенными причалами проворачиваются на траверзе ревматически заторможено. Суда военного вида, наверное Русские торпедные катера, время от времени виднеются, разбитые, в воде. Ни один не прерывает вояж Фрау. Солнце то спрячется, то выглянет, обращая палубу на чётко очерченный миг в жёлтое поле вокруг тени каждого. Это позднее время дня, когда все тени отбрасываются по общему азимуту восток-северо-восток, как пробные ракеты запускались всегда в море из Пенемюнде. Точное время на часах, которое менялось в течение года, известно как Полдень Ракеты… и звук, что должен был в тот момент наполнять воздух для благоверных можно сравнить лишь с полуденной сиреной, в которую верит весь город… и утроба резонирует, затвердев как камень...

До того как разглядишь, ты уже можешь почувствовать это место. Даже закрытое планширом, с щекой прижатой к верхнему краю борта пахнущего смолой, когда глаза слезятся, а кишки хлюпают внутри как море. Даже настолько опустошённым и выжженным, каким Рокоссовский и Бело-Русская армия оставили его весной. На картах, это череп, или покорёженное лицо в профиль, обращённое к юго-западу: заболоченное озерцо как глазница, выемка нос-рот прорезанная при входе в Пене, чуть ниже электростанции… художественное мастерство в манере карикатурных лиц Вильгельма Буша, типа старый дуралей, чтоб юным озорникам было над кем проказничать. Слить хлебный спирт из его баков, процарапать большие нехорошие слова по его свежеуложенному бетону или даже прокрасться и запустить ракету посреди ночи...

Невысокие, сожжённые строения потянулись далее, пепельные образы маскировочных сетей впеклись в бетон (им отпущено всего минуту на горение, как шёлковой мантии *bürger'а*—осветить интерьер побережья, эту гостиную инженеров полную тяжеловесных форм и нейтральных тонов… разве не было то всего лишь кратким рывком? ни к чему поправлять, не о чем выговаривать, никаких выходов на новые уровни… но кто бы это мог быть, смотрит учтиво так и кротко поверх модели? лицо всё в этих хромофото-цветах заката, глаза внутри линз чёрной оправы, которые, словно горящие сети, служили, как только теперь доходит, маскировкой не кого-то ещё, а Велосипедиста в Небе, чёрно-фатальный Эдвардианский силуэт на светящейся груди неба, в сегодняшнем Полдне Ракеты, два округлых взрыва внутри часа пик, в сцене смерти дневного света. Теперь гонщик пригибается там наверху, окончательно и безмятежно. В колоде Таро он известен как Дурак, но в здешней Зоне его кличут Проныра. Это 1945. Всё ещё ранний, всё ещё невинный. Отчасти.)

Обугленная беспомощная решётка: что было деревянным теперь лишь оседает, обессилено. Зелёные человечьи фигуры помелькивают в руинах. Масштаб очень запутан тут. Военные выглядят крупнее, чем должны бы. Зоопарк? стрельбище? От каждого из двух понемножку, вообще-то. Фрау Гнаб уваливает ближе к суше, идёт вдоль болотистого берега на средней скорости. Признаки оккупации нарастают: парковки грузовиков, палатки, загон для лошадей полон пегих, чалых, снежно-белых, красных как кровь. Дикие летние утки всполошились, мокрым брызжущим взрывом, из зелени камышей, перемахивают за корму судна и опускаются вслед за ним, где и качаются, крякая, на метровых бурунах. Залитый солнцем вышины, белохвостый орёл парит. Гладкогубые воронки от бомб и снарядов полны синей морской воды. Барачные крыши сорваны взрывами: позвоночно ребристые, солнцем выбеленные, эти строения в своё время ютили половину Ион рухнувшей Европы. Но деревья, бук с сосной, начали снова расти на местах бывших вырубок под дома или управления—вверх сквозь трещины в дорожном покрытии, жизнь повсюду находит поживу, вверх устремляется зелёное лето ’45 и леса всё так же густы на возвышенности.

Проплывают теперь гигантские почернелые останки Цехов Разработки, опрокинутые, в основном, вровень с землёй. Сериями, некоторые разодраны и разбиты, другие укрыты меж дюн, под почтительную перекличку Нэришем, одна за другой надвигаются бетонные массы испытательных установок, вех на пути возложенного креста, VI, V, III, IV, II, IX, VIII, I, в заключение и принадлежащие Ракете, где она стояла и взлетела-таки наконец, VII и X. Деревья, что когда-то укрывали их от моря, теперь лишь комли древесного угля.

Огибая северное закругление полуострова, стену полигона и отступающие валы грунта—движутся теперь мимо Пенемюнде-Вест, давнишней территории *Luftwaffe*. Вдали, по правому борту, скалы Грайфсвалдер Ойе трепещут в синем мареве. Бетонные эстакады пуска применявшиеся для испытаний V-1, они же самолёты-снаряды, нацелены в море. Взлётные полосы изрыты кратерами, завалены мусором и разбитыми Мессершмидтами, тянутся мимо, вглубь полуострова: миновав темя черепа, снова к югу в направлении к Пене, где—поверх волнистых холмов, за мили по левому борту, красная кирпичная башня собора в Волгасте, а несколько ближе полдюжины труб электростанции, не дымящих над Пенемюнде, что выжили в мартовские летальные перегрузки давления... Белые лебеди дрейфуют в камышах и фазаны перелетают над высокими соснами суши. Мотор грузовика заурчал где-то просыпаясь к жизни.

Фрау Гнаб проводит свой корабль, резко свернув, через узкий залив к пристани. Летний покой разлёгся повсюду: подвижной состав застыл инертно на рельсах своих путей, одинокий солдат сидит, прислонившись к бочке горючего с оранжевым верхом, пытается подобрать мелодию на аккордеоне. Может просто балуется. Отто выпускает руку своей девушки хористки. Его мать глушит моторы, а он широко переступает на пристань и бегает там пришвартовываясь. Потом краткая пауза: дизельный чад, болотные птицы, тихое безделье...

Чья-то штабная машина, прифырчав из-за угла товарного склада, затормозила, из задней двери выскакивает Майор потолще даже Дуайна Марви, но с более добрым и смутно Восточным лицом. Седые волосы, как овечья шерсть, кучерявятся вокруг его головы: «А! Фон Гёль!»– распростёр руки, глаза поблескивают—это вправду слёзы?– «Фон Гёль, мой дорогой друг!»

– Майор Ждаев,– Шпригер прогулочно спускается по сходне, пока за спиной Майора подтянулся этот взвод в гимнастёрках, малость странно, зачем им все эти автоматы с карабинами для разгрузочных работ...

Так и есть. Прежде, чем кто-либо успел шевельнуться, они подскочили, охватив кордоном Ждаева и Шпрингера, оружие наготове: «Не стоит беспокоиться»,– машет сияющий Ждаев, направляясь обратно к машине, полуобняв другой рукою Шпрингера,– «мы ненадолго задержим вашего друга. Можете закончить свою работу и отправляться. Мы позаботимся, чтоб он вернулся в Свинемюнде в целости и сохранности».

– Что за чёрт,– рявкает Фрау Граб, выкатываясь из рулевой рубки. Хафтунг выскакивает, дёргаясь лицом в тике, суёт руки в различные карманы и вынимает их обратно: «Кого они арестовали? А как же мой контракт? Что с нами будет?» Штабная машина укатила. Солдаты начали переходить на борт.

– Блядь,– призадумался Нэриш.

– Думаете, всё накрылось?

– Думаю, Чичерин отреагировал заинтересованно. Как ты и говорил.

– А, брось—

– Нет, нет,– рука на рукаве,– он прав. Ты безвреден.

– Спасибо.

– Я предупреждал его, но он только смеялся. ‘Обычный прыжок, Нэриш. Я же должен скакать, верно?’

– Ну и что теперь собираешься делать, освободить его?

Тут кой-какая заварушка посреди судна. Русские сдёрнули брезент и открыли шимпов, крепко заблёванных, которые к тому же дорвались до водки. Хафтунг моргает и трясётся. Вольфганг вспрыгнул ему на спину и присосался к бутылке, которую держит ногой. Часть шимпов послушны, другие рвутся в драку.

– Так уж вышло... – Слотропу очень хочется, чтоб тот перестал говорить в такой манере.– Я его должник— *посюда*.

– Ну а я нет,– Слотроп уворачивается от нежданного выплеска жёлтой шимпанзиной рвоты.– Он сам должен уметь позаботиться о себе.

– Толкать речи он мастак. Но недостаточно параноик, *в глубине сердца*—для такой работёнки, и в этом катастрофа.

Тут один из шимпов кусает Советского Ефрейтора за ногу. Ефрейтор вскрикивает, хватает свой ППШ и строчит с бедра, на тот момент шимп уже перескочил на фал. Дюжина других зверюк, многие прихватив по бутылке водки, гурьбой рванули к сходням: «Не дайте им уйти, божмой!»– Вопит Хафтунг. Тромбонист высовывает голову, заспанно, из трюмного люка спросить чё за шухер и по его лицу протопотали три пары босых ног с розовыми пятками, прежде чем он сумел оценить ситуацию. Девушки, с озарёнными послеполуденным солнцем блёстками, все перья в трепете, отогнаны на корму и к носу умлевающими воинами Красной Армии. Фрау Гнаб дёргает свой корабельный гудок, и тем переполошила остальных шимпов, которые присоединяются к потоку убегающих на берег: «Держите их»,– молит Хафтунг,– «кто-нибудь». Слотроп оказывается между Отто и Нэришем, все вместе оттесняются на берег по сходне погоней солдат за шимпами или за девушками, или пытаются слямзить груз. Среди всплесков, проклятий и девичьих визгов с другой стороны судна, хористки и музыканты, все выскакивают и мечутся туда-сюда. Просто непостижимо, что за хуйня тут творится.

– Слушай,– Фрау Граб перевешивается через борт.

Слотроп подмечает неестественный прищур: «Ты что-то надумала».

– Вам придётся отчебучить диверсионный финт.

– Что? Что?

– Шимпы, музыканты, девки канкана. Приманки все разбросаны. А вам троим прошмыгнуть и выдернуть Дер-Шпригера.

– Можем спрятаться,– Нэриш озирается гангстерским взором.– Никто не заметит. Ja, ja! Корабь может отплыть, как будто мы *на борту*.

– Я пас,– грит Слотроп.

– Ха! Ха!– грит Фрау Гнаб.

– Ха! Ха!– грит Нэриш.

– Я лягу в дрейф у северо-восточной оконечности,– продолжает эта шальная мамаша,– в проливе между островком и треугольной частью берега.

– Испытательная Установка X.

– Крутое имечко. Думаю, к тому времени прилив начнётся. Разведёте костёр. Отто! Отдать швартовы.

– *Zu Befehl, Mutti!*

Слотроп и Нэриш делают рывок за товарный склад и прячутся в одном из вагонов на путях. Никто не заметил. Шимпы разбегаются в нескольких направлениях. Бегущие следом солдаты с виду уже здорово распсиховались. Где-то кларнетист гоняет гаммы на своём инструменте. Корабельный двигатель пофырчал и завёлся, винты залопотали прочь. Чуть погодя, Отто и его девушка, вскарабкались в тот же вагон, запыхавшиеся.

– Ну, Нэриш,– Слотропу можно уже и спросить,– куда его отвезут, по-твоему? а?

– Я так прикинул, Четвёртый блок и весь тот комплекс южнее брошены. Скорее всего в здание сборки возле испытательной Установки VII. Под тем большим эллипсом. Там есть подземные тоннели и помещения—идеально для штаба. На вид неплохо сохранилось, хотя Рокоссовскому приказ был сравнять тут всё с землёй.

– У тебя пушка есть?– Нэриш качает головой, отрицательно.– что ты за деляга чёрного рынка, вообще? даже без пушки?

– Я был по инерционной части. Ждёшь, что пойду на попятную?

– Н-ну и чем нам стрелять тогда? Своими мозгами?

За дощатой стенкой вагона, небо темнеет, облака становятся оранжевыми, мандариновыми, тропическими. Отто и его девушка мурлычут в одном из углов: «Распротак его»,– кривит рот Нэриш: «Пять минут как от мамочки и уже Казанова».

Отто всерьёз излагает своё отношение к Материнскому Заговору. Не часто встретишь девушку, которая выслушает. Раз в год Матери собираются вместе, тайком, на те свои громадные съезды, и обмениваются информацией. Рецепты, игры, ключевые фразы, для использования на своих детях: «Что твоя обычно говорит, когда хочет, чтоб ты чувствовала себя виноватой?»

– 'У меня от работы пальцы до костей стёрлись!'– грит девушка.

– Точно! И вечно готовила те жуткие кастрюли к-картошки с луком—

– И с салом! Маленькие кусочки сала—

– Вот видишь, видишь? Такое *не может быть* случайностью! Они проводят конкурс на Мать Года, кормление грудью, смена пелёнок, засекают время, эстафеты с кастрюлей, *ja*—а ближе к концу переходят на детей. Государственный Прокурор выходит на сцену: «Через минуту, Альбрехт, мы приведём твою маму.

Вот тебе Люгер, с полной обоймой. Государство гарантирует твою полную неприкосновенность от наказания. Делай, что сам захочешь—что только вздумается. Удачи, мой мальчик». Пистолеты заряжены холостыми, *natürlich*, но несчастный ребёнок о том и не догадывается. Только те матери, по которым стреляли, проходят в финал. Затем приводят психиатров и судьи сидят с секундомерами фиксировать как быстро дети сломаются: «Ну что ж, Ольга, разве не мило было со стороны Мамочки разрушить твой роман с тем длинноволосым поэтом?» – «Как видно, вы с матерью, э, *очень близки*, Герман. Помнишь как она застала тебя мастурбирующим в её перчатку? А?» Санитары стоят наготове оттащить детей, обомлевших, визжащих, в клонических судорогах. Наконец, всего одна Мать остаётся на сцене. Ей возлагают традиционную шляпу с цветами на голову, вручают державу и скипетр, которые в данном случае позолоченное тушёное мясо и розга, а оркестр играет *Тристана и Изольду*.

* * * * * * *

Они вышли в остатки сумерек. Просто сонный летний вечер в Пенемюнде. Стая уток пролетела над головой, к западу. Никаких Русских вокруг. Одинокая лампочка горит над воротами товарного склада. Отто и его девушка идут, взявшись за руки, вдоль причала. Вприпрыжку подбегает обезьяна ухватиться за свободную руку Отто. К северу и югу Балтика расстилает невысокие белые волны: «Что такое?»– спрашивает кларнетист: «Возьми бананчик»,– отвечает набитым ртом музыкант с тубой, который припрятал вязку их в раструб своего джаз-инструмента.

Ночь наступила, когда они выступили. Вглубь острова направляется группа захвата Шпрингера, вдоль железнодорожных путей. Сосны высятся по обе стороны шлаковой насыпи. Впереди толстые пегие кролики снуют, виднеясь лишь своими белыми пятнами, не оставляя оснований предполагать, будто они кролики. Подружка Отто, Хильда, грациозно появляется из лесу с его шапкой, которую она наполнила до краёв круглыми ягодами, задымлено синими, сладкими. У музыкантов бутылки с водкой в каждом доступном кармане. Таков хлеб насущный в эту ночь и Хильда, преклоняя колени перед кустиками ягод, прошептала молитву им всем. От болот доносятся первые рулады квакушек, и высокочастотный писк летучей мыши вылетевшей на охоту, и лёгкий ветерок в деревьях повыше. Ещё, вдалеке, выстрел или два.

– Это огонь по моим обезьянам?– заводится Хафтунг.– Они по 2000 марок за штуку. Кто мне вообще возместит?

Мышиное семейство стремглав перебегают поперёк путей, ещё и наступили Слотропу на ногу: «Мне казалось тут просто бескрайнее кладбище. Похоже, фиг я угадал».

– Когда мы приехали, то расчистили сколько необходимо,– вспоминает Нэриш.– Большая часть осталась—лес, жизнь… тут наверно до сих пор олени водятся, где-

нибудь. Такие здоровые, с тёмными рогами. И птицы—бекасы, лысухи, дикие гуси —шум испытаний отпугивал их к морю, но они всегда возвращались, когда стихнет.

Пока они шли к аэродрому пришлось дважды рассыпаться по лесу, первый раз от патруля охраны, потом паровоз прошел, пыхтя от Пенемюнде-Ист, его прожектор прорезал ночную тонкую дымку, солдаты с автоматами свисали с лесенок и ступенек. Сталь погромыхивала и скрипела мимо в ночи, солдаты мирно болтали, не возникало ни малейшего напряга: «А может, это они за нами»,– шепчет Нэриш: «Пошли».

Через полосу леса, а затем крадучись в открытое поле аэродрома. Острый серп месяца взошёл. Обезьяны удрали вперёд, размахивая руками. Это напряжённый отрезок. Каждый отличная мишень, никакого укрытия кроме самолётов расстрелянных, на месте, вдребезги—ржавые стрингеры, обгоревшая краска, кабины сбиты назад в землю. Огни от бывшего комплекса *Luftwaffe* мерцают южнее. Грузовики изредка урчат вдоль дороги на дальнем краю аэродрома. Слышится пение в казармах, а где-то ещё радио. Вечерние новости откуда-то. Слишком далеко, чтоб разобрать слова или даже язык, просто прилежная монотонность: новости, Слотроп, продолжаются и без тебя...

Они пересекли гудрон дороги и затаились в дренажном кювете, прислушиваясь к движению. Вдруг, слева, жёлтые огни взлётной полосы вспыхивают, двойной ряд их цепочкой к морю, яркость пару раз подскочила и спала, пока стабилизировалась: «Кто-то прилетает»,– пытается угадать Слотроп.

– Скорее улетает,– отрезал Нэриш.– Нам надо поторопиться.

Вернувшись теперь в сосновые леса, они направляются по укатанной грунтовке к Испытательной Установке VII, по пути собирая заблудившихся девушек и шимпанзе. Запахи сосны охватили их: осыпавшаяся хвоя устилает обочины дороги. Внизу спуска, виднеются огоньки меж редеющих деревьев, потом открывается вид испытательного участка. Здание сборки, типа как метров тридцати высотой—застит звёзды. Высокая яркая полоса протянулась от распахнутой раздвижной двери, изливая свет наружу. Нэриш стискивает руку Слотропа: «Похоже на машину майора. И мотор на ходу». До хрена прожекторов, тоже, установлены на заборах с рядами колючей проволоки протянутой поверху—ещё и что-то похожее на подразделение охраны бродит под ними.

– Наверно, так и есть,– Слотроп немного нервничает.

– Шш.– Звук самолёта, одномоторного истребителя, что кружит для захода на посадку низко над соснами.– Времени мало.– Нэриш собирает всех вокруг и отдаёт свои приказы. Девушкам идти в лоб, с песнями, подтанцовками, соблазнять изголодалых по женщинам варваров. Отто попытается вырубить машину, Хафтунг соберёт всех и подготовит для рандеву с кораблём.

– Титьки с жопой,– бормочут девушки,– титьки с жопой. Вот и все, зачем мы понадобились.

– А ну позатыкались быстро,– рычит Хафтунг, в своей обычной манере обращения с вспомогательным контингентом.

– Тем временем,– продолжает Нэриш,– Слотроп и я зайдём внутрь за Шпрингером. Когда он будет с нами, постараемся вызвать их огонь. Это сигнал вам ломиться прочь, словно за вами чёрт гонится.

– Ну ещё как откроют огонь,– грит Слотроп.– а и как насчёт такого?– Ему только что пришла блестящая идея: фальшивые коктейли Молотова, примененяя старую уловку Кислоты Бумера. Он вскидывает в руке бутылку водки, тычет пальцем и скалится.

– Да это пойло навряд ли даже загорится.

– Но они-то *подумают*, что это бензин,– начинает ощипывать страусиные перья с костюма ближайшей к нему девушки.– И прикинь насколько увереннее *мы* будем себя чувствовать.

– Феликс,– кларнетист спрашивает музыканта с тубой.– Во что мы вляпались?– Феликс жуёт Банан и живёт текущим моментом. Вскоре с остальной частью оркестра он отступает в лес, откуда слышно как они ходят кругами, дудукая и трубя друг на друга. Хильда и Слотроп готовят Поддельные Пиробомбы, остальные девушки выступили, *Zitz und Arsch*, вниз по склону.

– Теперь мы представляем внушительную угрозу,– шепчет Нэриш.– Нужны будут спички. У кого-нибудь есть спички?

– Не у меня.

– И у меня нет.

– От же ж, в зажигалке кремень кончился.

– *Kot*,– Нэриш всплескивает руками,– *Kot*,– отходя между деревьев, где сталкивается с Феликсом и его тубой.– Ты тоже совсем без спичек.

– У меня зажигалка Зиппо,– отвечает Феликс,– и две сигары Корона, из клуба Американских офицеров в—

Минуту спустя. Нэриш и Слотроп, каждый пряча в ладонях уголёк лучшей из гаванских, крадутся, как два кота в карикатуре, к Испытательному Установке VII, бомбы из водочных бутылок заткнуты за пояс, запалы из страусиных перьев колышутся под бризом с моря. План в том, чтобы вскарабкаться на песчано-кустарниковую насыпь вокруг испытательной установки и проникнуть в Здание Сборки с тыла.

И вот он Нэриш, что когда-то ракетой управлял. И каждый день в Полдень Ракеты смерть в небо запускал... Хотя Нэришу удалось, в своё время, избежать почти всё это.

Фактически, не случалось ещё двум людям с таким неподходящим снаряжением приближаться к пресвятому Центру, с той поры как Чичерин и Джакып Кулан тащили свои задницы через степь, отыскивая их Кыргызский Свет. Это составляет промежуток в десять лет. Что сообщает данной забаве примерно такую же уступчивость рекордсменам как и бейсбол, спорт тоже люто оплетённый белыми предзнаменованиями недоброго.

Приближение-к-Святому-Центру скоро станет Зонным спортом номер один. Его благоуханный расцвет не за горами. И тогда всё больше чемпионов, экспертов, заклинателей всех мастей и званий расплодятся несметнее, чем случалось когда-либо за всю историю этой игры. И подобные Нэришу и Слотропу уже будут пускаться в расход вагонами и даже танкерами.

Слотроп, как уже отмечалось, во всяком случае, ещё в эру *Анубиса*, начал редеть, рассеиваться: «Плотность личности»,– Курт Мондауген в своём кабинете в Пенемюнде, не слишком-то во многих шагах отсюда, формулируя Закон, что однажды станет носить его имя,– «прямо пропорциональна ширине темпорального охвата».

«Ширина темпорального охвата» это ширина твоего настоящего, твоё сейчас. Это хорошо знакомая «Δt» взятая как зависимая переменная. Чем дольше пребываешь в прошлом и будущем, тем бо́льше у тебя ширина темпорального охвата, тем плотнее ты как личность. Но чем у́же твоё чувство Настоящего, тем ты разреженнее. Можно докатиться, что возникают проблемы с припоминанием чем ты был занят пять минут назад, или даже—как вот сейчас у Слотропа—что ты вообще *тут* делаешь, у подножия недвижного вала этой колоссальной насыпи...

– Э,– развесив губы, оборачивается он к Нэришу,– что мы вообще…

– Что мы что?

– Что?

– Ты сказал ‘Что мы вообще... ’ и остановился.

– О. Так, пошутил.

Что до Нэриша, тот слишком поглощён делом. Он никогда не смотрел на этот великий Эллипс иначе, чем ему предписывалось. Грета Эрдман, напротив, видала эти ржаво-колерные вознесённости склонёнными, в точности как они однажды и делали, дожидаясь, лица под капюшонами, гладкие обтекатели Ничего… всякий раз с ударом хлыста Тананца по её коже, она уносилась, в очередном приближении к Центру: с каждым хлёстом, чуть дальше в... пока однажды, она это знает, ей *откроется в самый первый раз*, и с той поры это станет абсолютной

потребностью, направляющей целью… х-х-х *-хлысть* чёрнокостные опоры водонапорных башен сверху, склонились к огромному ободу, виднеются над деревьями в свете мрачном и синюшно-пурпурном как закаты Пенемюнде в холодно застывшую погоду для запусков… долгий взгляд с вершины какой-либо известной дамбы Нижнеземья в небо, которое растекается настолько ровно и и обращает коричневатость в столь ровную желтизну, что солнце может быть за нею где угодно, а кресты вертящихся ветровых мельниц могут оказаться промельком спиц самого́ жуткого Гонщика, Слотроповский Гонщик, его два взрыва там вверху, его велосипедист—

Нет, и даже это всего лишь навсего мельком пробегает через какую-то часть рельефа Слотропиановской доли мозга и утопает в его поверхности, исчезая. Так-то вот и происходит ещё одна его небрежность… и не в меньшей степени возрастает его, разумеется, Обойдённость... И нет повода надеяться на какой-то иной оборот, какой-то нежданный *ой-мне-токо-токо-щас-дошло*, вот уж нет, только не со Слотропом. И вот он, полюбуйся, карабкается на стены целомудренно церемониального сплетения, представившего с вполне приемлемой наглядностью, что есть лишённым теней полуднем, а что нет. Но, о, Яйцо из которого вылупилась летающая Ракета, пуп 50-метрового радио неба, все присущие призраки данного места—простите ему его нечувствительность, глянцевую его нейтральность. Простите кулак не стиснувшийся на его собственной груди, сердце неспособное замереть в приветствии... Простите ему, как простили вы Чичерину у Киргизского Света... Настанут ещё лучшие дни.

Слотроп прислушивается к перипатетической тубе вдалеке и кларнету, к которым присоединяются сейчас тромбон и тенор сакс стараясь влиться в мелодию… и к взрывам смеха солдат и девушек… по звукам вечеринка в разгаре там внизу… вдруг да и найдутся безлошадные дамочки… – «Слышь, а может попробуем, э… какой был у тебя—»

Нэриш, кожаное пугало, стараясь игнорировать поведение Слотропа, решил разобрать свою зажигательную бомбу: откупорил водку и поболтал перед своим носом перед тем как хряпнуть с горла. Он просиял, цинично, торгашески, Слотропу: «На». Затишье под белой стеной.

– О, да я подумал это бензин, но они ведь поддельные, так что это просто водка, правда ж?

Но по ту сторону насыпи, внизу на арене, что бы это такое могло быть сейчас, вон дожидается в этом изменчивом лунном свете, маскировочная краска от хвоста до вершины щербатится зубьями пилы… неужто тебя в натуре так никогда и не цапанёт? Ни даже в самое гиблое время ночи, с заточками слов на твоей странице, одни только Δt вместо того, что они означают? А внутри изнывает жертва, перебирает чётки, стучит по дереву, избегая любого Готового Слова. Неужто это никогда не явится за тобой, а?

Вблизи водонапорных башен, они начали подъём, к верхнему краю обода. Песок засыпается к ним в обувь и шипит вниз по склону. На самом верху, оглянувшись, через деревья, они мельком различают освещённую взлётную полосу, истребитель уже приземлился, окружён тенями наземной службы, что заправляют, обслуживают, разворачивают самолёт. Глубже в полуостров, мерцают огни, обрывками, дугами, зигзагами, но по эту сторону, южнее старых Цехов Разработки, густая темень.

Они проталкиваются через ветви сосен и снова вниз, в Яйцо, высосанное от Германской техники, давно превращённое в Русскую парковку автомобилей. Угол громадного Здания Сборки, когда они спустились, возносится им навстречу по ту сторону сотни метров грузовиков и джипов. Вниз направо, трёх или четырёх-уровневая испытательная платформа с круглым типа как арочным верхом, а под платформой длинная яма в форме мелкой V: «Охладительный отвод»,– по словам Нэриша: «Они, наверное, под ним. Нам надо заходить отсюда».

Они прошли полпути вдоль склона к зданию встроенной в насыпь насосной для холодной воды, что когда-то уносила невообразимый жар пробных пусков. Теперь она ободрана, внутри гулкая темень. Слотроп, ступив пару шагов через порог, натыкается на кого-то.

– Прошу прощения,– хотя это выскакивает не слишком сдержанно.

– О, ничего страшного,– с Русским акцентом,– я не пострадал.– Он выпроваживает Слотропа обратно, о, сволочного вида Младший Сержант тут тебе, под два метра ростом.

– Ну так— и тут к ним подходит Нэриш.

– О,– Нэриш, моргая, глядит на охрану.– Сержант, вы не слышите музыку? Почему вы не в Здании для Собраний, со своими товарищами? Там, как понимаю, несколько горячих *fräulein'нок развлекают* присутствующих,– подпихивает локотком,– в самом обворожительном состоянии полуодетости, к тому же.

– Наверняка, это всё просто божественно,– отвечает Сержант,– для *кого-то*.

– *Kot*... – время тактического маневрирования истекло.

– И даже безмерно.

Со вздохом, Нэриш вскидывает свою бутылку и обрушивает её вниз, или куда уж дотянется, *хрясь* Сержанта по затылку, сбивает с того подшлемник, только и всего: «Хулиганьё»– Русский, уже осерчавши, наклоняется подобрать свой головной убор: «Мне *точно* надо взять вас *обоих* под арест».

– Хватит базарить,– рычит Слотроп, размахивая сигарой и «коктейлем Молотова»,– сдавай оружие, Иван, или я из тебя *живую сигнальную ракету* сделаю!

– Ты, *сволочь*,– окрысился Сержант стаскивая свой ППШ чуть-чуть слишком быстро—Слотроп уворачивается, посылает свой обычный резкий пинок в пах, на этот раз промахивается, но вышибает оружие, которое у Нэриша достаточно ума подхватить: «Гады»,– скулит Русский,– «ух, паскуды падлючие...»– убегая прочь в обступившую ночь.

– Две минуты,– Нэриш уже внутри насосной. Слотроп перехватывает у него автомат и бежит следом, ускоряясь вдоль идущего под уклон коридора. Их подошвы щёлкают всё быстрее, резче, по бетону, вниз к железной двери: за нею слышен Шпрингер, что распевает и варнякает как пьянчуга. Слотроп снимает автомат с предохранителя и Нэриш врывается внутрь. Миловидная блондинка секретарша в чёрных сапогах и очках в стальной оправе сидит там, стенографируя всё, что слышит от Шпрингера, который опёрся, грандиозно довольный, на трубу холодной воды проложенную на полтора метра выше пола по всей длине комнаты.

– Бросай свой карандаш,– командует Слотроп.– Вот умничка, где тот Майор Ждаев?

– Он на совещании. Если вы сообщите своё имя—

– Наркотик,– кричит Нэриш,– они дали ему какой-то *наркотик!* Герхардт, Герхардт, ответь мне!

Слотроп распознаёт симптомы: «Это тот Натрий Амитал. Пройдёт. Надо уходить».

– Майор будет с минуты на минуту. Они наверху в караульном помещении, курят. По какому номеру он сможет связаться с вами?

Слотроп проскользнул под одну руку Шпрингера, Нэриш под другую, когда снаружи громко забарабанили в дверь.

– Курят? А что курят?

– *Слотроп, нам сюда!*

– О.– Они выволакивают Шпрингера через другую дверь, которую Слотроп запирает на засов и приваливает тяжёлым шкафом с папками, затем они тащат Шпрингера наверх по пролёту лестничных ступеней в длинный прямой коридор, освещённый шестью или семью лампочками, пространство между которыми тонет в густой мгле, вдоль каждой стены, от пола до потолка, проложены толстые связки кабелей измерительных датчиков.

– Нам конец,– задыхается Нэриш. Тут 150 метров до бункера замеров, и никакого укрытия кроме тени между лампочками. Тем орлам останется лишь побрызгать по трафарету.

– Она ни капли не запнётся, гетероскоростная,– орёт Герхардт фон Гёль.

– Попробуй идти сам,– Слотроп не на шутку пересрал,– давай, мэн, а то нам *жопа!*– Эхо тяжких ударов с оттяжкой позади них в туннеле. Приглушённая автоматная очередь. Ещё одна. Совсем нежданно, за пару конусов слабого света от них, материализуется Ждаев, по пути к себе в кабинет. С ним его друг, который улыбается, увидев Слотропа вдоль коридора за сорок метров от себя, широкая улыбка стали. Слотроп выпускает Шпрингера и перебегает в следующий островок света, автомат наготове. Русские хлопают глазами в изумлении.– Чичерин! Привет.

Они стоят, обернувшись друг к другу, каждый в своём кругу света. Слотроп припомнил, что у него выигрышное положение. С полуизвиняющейся улыбкой, он наводит дуло на них, подходит ближе. Ждаев и Чичерин, после обсуждения, которое кажется нестерпимо долгим, решают, что им лучше поднять руки.

– Ракетмэн!

– Как поживаешь?

– Что ты делаешь в такой Фашистской униформе?

– Ты прав. Пожалуй, перейду в Красную Армия,– Нэриш оставляет Шпригера висеть на резиновых и экранированных кабелях, и прибегает помочь обезоружить двух Русских. Служивые в дальнем конце туннеля всё ещё заняты вышибанием двери внизу.

– Так может, всё же разденетесь, парни? Слышь, Чичерин, как тебе понравился тот гашиш, между прочим?

– Ну,– стаскивая брюки,– мы щас собрались все там, в будке наверху, покурили… Ракетмэн, ты всегда фантастически вовремя. Ждаев, ну разве он не что-то с чем-то?

Слотроп выскальзывает из своего вечернего: «Просто проследи, чтоб у тебя не вскочил сейчас, кореш».

– Я серьёзно. Это твой *Schwarzphänomen*.

– Брось херню пороть.

– Ты даже не догадываешься как. Ты пляшешь под его дудку. Мой постоянно хочет довести меня до *погибели*. Нам лучше *ими* обменяться, вместо униформы.

Процесс переодевания усложняется. Китель Ждаева с золото-звездными *pogoni* напялен на Шпрингера, который теперь им всем напевает попурри из Курта Вайля. Ждаев одевает белый костюм Шпрингера, и затем его и Чичерина связывают их собственными ремнями, а и галстуками: «Короче, идея такая»,– Слотроп поясняет– «ты, Чичерин, изображаешь меня, пока Майор этот—» В эту минуту дверь в самом конце коридора разлетается в куски, две фигуры с

автоматами, на которых барабаны больше, чем у Джина Крупа, влетают внутрь. Слотроп стоит под светом в форме Чичерина и драматически машет стволом наведённым на двух связанных офицеров: «Уж ты постарайся»,– бормочет он Чичерину,– «я тебя доверяю, но учти, у меня очень большой пассивный запас слов, разберу что говоришь».

Чичерин не против, но запутался: «Так я теперь буду *кто?*»

– О, блядь… слушай, просто пошли их проверить насосную снаружи, скажи, это срочно.– Слотроп жестикулирует и шевелит губами, пока Чичерин отдаёт приказ. Те двое козырнув, выбегают через дверь, которую только что расстреляли.

– Те обезьяны,– Чичерин трясёт головой.– Те *чёрные обезьяны!* Как ты смог догадаться, Ракетмэн? Конечно, ты ни при чём, это всё твой *Schwarzphänomen* нарулил. Отличная деталь. Две из них посмотрели на меня через окно. Тут я подумал—ну сам знаешь: я подумал, что ты думал, что я подумаю...

Но к этому времени Слотроп давно за пределами слышимости. Шпрингер уже способен спотыкаться скорым шагом. Они дошли до бункера измерений, ни на кого не наткнувшись. За дверью из пуленепробиваемого стекла, позади их отражения, старая испытательная платформа, окна выбиты, камуфляж, в стиле Немецкого Экспрессионизма, рябит, разливаясь по ней волнами. Те два солдата, конечно же, шарят там, в насосной, не находя ничего. Вскоре они вновь исчезают внутри, и Нэриш открывает дверь: «Скорей». Они осторожно выходят, на арену.

Потребовалось какое-то время, чтобы взобраться обратно по склону и достичь леса. Показываются Отто и Хильда, они уже заглушили мотор машины Ждаева вместе с её шофёром. Так что, теперь уже вчетвером они пытаются поднять полезную нагрузку составляемую массой щебечущего Герхарда фон Гёля на несколько грёбаных футов по насыпи, самая жалкая двигательная система из всех, которые эта испытательная установка повидала на своём веку. Отто и Хильда тащат Шпрингера за руки, Нэриш и Слотроп упираются рогом, толкая его хвостовую часть. На полпути вверх, Шпрингер рванул грандиозным выпердом, эхо которого несколько минут гуляет по историческому эллипсу типа как вроде а это вам парни моё анальное впечатление от А4...

– А, да распроебут твою... – рычит Слотроп.

– Торчаще зелёный конь планетоида и хуя,– кивает Шпрингер в ответ.

Музыка и разговоры в Здании Собраний уже стихли, их сменила неприятная тишина. Наконец взобрались наверх, в лес, где Шпрингер притискивает свой лоб к стволу дерева и начинает безудержно блевать.

– Нэриш, и мы подставляем свою жопу ради этой скотины?

Однако Нэриш занят жимами на живот своего друга: «Герхардт, ты в порядке? Чем тебе помочь?»

– Прекрасно,– пёрхает Шпригер, блевотина стекает по подбородку.– Ахх. Какое облегчение!

Появляются шимпанзе, музыканты, девушки канкана. Переход к условленному месту. Через последнюю дюну и вниз к укатанному шлаку треугольника Испытательной Установки Х, оттуда к морю. Музыканты какое-то время наигрывают что-то типа марша. Вдоль берега прилив оставил им полосу песка. Но Фрау Гнаб нигде не видно. Хафтунг держится за руки с шимпанзе. Феликс вытряхивает слюну из своей тубы. Хористка с волосами цвета мёда, чьё имя он никак не разберёт, охватывает Слотропа руками: «Мне страшно».

– Мне тоже,– он обнимает её.

Раскручивается адская катавасия—сирены воют, прожектора обшаривают лес наверху, слышны моторы грузовиков, выкрики команд. Группа захвата покидает шлак, чтоб затаиться в болотной траве.

– Мы захватили один автомат и два пистолета,– шепчет Нэриш.– Они подойдут к нам с юга. Кто-то из нас должен вернуться и задержать их.– Он кивает и начинает проверять своё снаряжение.

– Ты чокнулся,– шипит Слотроп,– они убьют тебя.– Теперь заваруха перемещается повыше Испытательной Установки VII. Появляются фары, пара за парой, по той дороге наверху.

Нэриш похлопывает Шпрингера по подбородку. Не ясно понимает ли Шпрингер кто это: «*Lebe wohl*»,– как бы там ни было, Шпрингер... Наганы сунуты в карманы верхней куртки, автомат в колыбельке его рук, Нэриш срывается на бег, пригнувшись, не оглядываясь.

– Где корабль?– Хафтунг в белой панике. Утки всполошились, перекрякиваются вокруг. Ветер шевелит траву. Когда лучи прожекторов скользят мимо, стволы сосен наверху вспыхивают, глубоко озарённые, жуткие… а за спиной у каждого Балтика колышется, разливается.

Выстрелы наверху—потом, должно быть в ответ от Нэриша, автоматная очередь. Отто прижимает Хильду к себе: «Кто-нибудь читает Азбуку Морзе?»– интересуется девушка в руках Слотропа,– «потому что там огонёк, видите, с краю того островка? уже минуты две».– Это три точки, точка, точка, и ещё три точки.

– Хмм, СЕЕС,– предполагает Феликс.

– Может они не точки,– грит тенор-саксофонист,– может они *тире*.

– Смешно,– грит Отто,– тогда получается ОТТО.

– Так тебя зовут,– грит Хильда.

– Мать!– вскрикивает Отто, забежав в воду и махая руками мигающему огоньку. Феликс начинает мукать тубой над водой, остальной оркестр подключается. Тени камыша вонзаются в песок, под проносящимся светом прожекторов. Становится слышным рёв моторов судна: «Она сюда подходит!»– Отто скачет вверх-вниз по топи.

– Эй, Нэриш,– Слотроп щурится пытаясь разглядеть того в свете, который давно уж слишком слаб,– давай сюда. Отходим.– Нет ответа. Но стрельба усиливается.

С потушенными огнями, судно приближается на максимальной скорости, Фрау Граб решила протаранить Пенемюнде? нет, теперь она даёт полный назад, визг подшипников, гейзеры пены от винтов, судно разворачивается, затормозив до стопа.

– Всем на борт,– рявкает она.

Слотроп кричит и кричит призывы Нэришу. Фрау Гнаб даёт свой гудок. Но нет ответа: «Блядь, я должен забрать его—»– Феликс и Отто ухватывают Слотропа сзади, оттаскивают его к судну, он клянёт их, брыкаясь: «Они его убьют, вы суки, пустите меня—» Тёмные фигуры переваливают через дюну, рассыпаются отрезав от Испытательной Установки VII, оранжевые вспышки на уровне их средних секций, ружейная пальба долетает секундой позже.

– Они убьют нас.– Отто заталкивает Слотропа через борт, сам переваливается следом. Прожектора нашли и скрестились на них. Огонь усиливается—взбрызги и взбульки от воды, пули стучат о борт.

– Все тут?– клыки Фрау обнажились в ухмылке.– Отлично!– Подбегает последняя обезьяна, Хафтунг хватает животное за руку и оно волочится, ногами в воде, несколько метров, пока они отходят, полный вперёд, прежде, чем окончательно вскарабкаться на борт. Стрельба продолжает преследовать в море, не достигая корабля, а под конец и слуха.

– Слышь, Феликс,– грит саксофонист,– как думаешь, может подвернуться халтура в Свинемюнде?

Джон Дилинджер, в конце, обрёл пару секунд странной благостыни от кадров фильма, которые не совсем ещё стёрлись в его глазных яблоках—Кларк Гейбл уходит, нераскаянный, поджариться на стуле, голоса дружески из-за железа камер в очереди смертников, пока, Блэки… отвергнув отсрочку подписанную другом всей его жизни, который нынче Губернатор штата Нью-Йорк Вильям Повел, тощий снисходительный задрот без подбородка, а Гейбл просто хочет покончить с этим всем: «Умри как живёшь—сразу, не затягивая—», даже когда сучонок Мелвин Пёрвис, шестёрка на стрёме возле Кинотеатра Биограф, зажёг свою роковую сигару, чувствуя уже между своих губ член официального поощрения, а трусливые федералы по этому сигналу навели на Дилинджера свои пидарастические

прицелы… у обречённого всё ещё длился некий сдвиг личности—как в точности чувствуешь чуть погодя в реале, по мускулам своего лица и голосу, что *ты таки* Гейбл, гордая, блестящая, змеиная голова—пособить Дилинджеру продраться сквозь кусты, и чуть полегче в смерть.

Нэриш сейчас собрался в комок внутри двух метров разбитой дренажной трубы из бетона, после перебежки под стеной Испытательной Установки VII, залёг по новой, в запахах застоялой штормовой воды, старается не дышать громко, чтоб не всхрапнуло предательское эхо—Нэриш не был в кино аж с *Der Müde Tod*. Так давно это было, что он забыл как кончается, тот заключительный элегически Рилькевский кадр усталой Смерти, ведущей двух влюблённых рука об руку через незабудки. Эти ничем не смогут помочь. С Нэришом в эту ночь только последний автомат в его карьере, чужой и перегревшийся... и ожоги на руках, которые завтра его не будут беспокоить. Ни малейших источников благостыни в пределах досягаемости, кроме твёрдого оружия и обожжённых пальцев—безжалостный конец для хорошего эксперта по управлению, который всегда устанавливал чёткое время за чёткую плату... Ему делали и другие предложения… мог бы поехать на восток с Институтом Рабе или на запад в Америку к $6 в день—но Герхардт фон Гёль пообещал ему славу, джекпот на джекпоте, и стильную даму под руку с ним, слышь, а почему не под обе руки?—после скудного Пенемюнде по струнке, разве кто-то его осудил бы?

Даже не было необходимости знать План целиком… нельзя же так много хотеть от кого-то… правда ведь? Эта стратегия с целью добыть S-Gerät, по которой он делает всё, чтобы умереть сегодня, но что ему известно о *всех* намерениях Шпрингера в этом деле? Нэриш видит резон в том, что он, как фигура помельче, приносится в жертву, если это позволяет Шпригеру выжить, пусть даже на один всего лишь день… образ мышления военного времени, *ja, ja*… но слишком поздно что-то менять...

Разве в программе S-Gerät в Нордхаузене был в своё время хоть намёк как много людей, держав, фирм, сплетений интересов нахлынут после осуществления? Конечно, тогда ему польстило, что был избран разработать модификацию в управлении, пусть даже столь незначительную… почти не требовалось особого подхода… однако, это был его первый высоко исторический момент и, как он с горечью полагал, последний, до того момента пока не встретился с вербовщиками Шпрингера, раньше, в самую дождливую пору июня... Встречи в кафе и у входов на кладбища вокруг Брауншвайга (оштукатуренные арки, лоза роняет капли на узкие воротнички) без зонта, но с колоколящей внутри надеждой—поле в избытке силовых линий, раздаться, наполнить, поддержать его в полном здравии и бодрости духа… Берлин! Кабаре Чикаго. «Вам кокаин или колоду карт?» (реплика из старого фильма, которую шпана любила повторять в то лето)… *попёрла Удача!*

Но звонкое яркое предвкушенье в груди привело его сюда, вместо всего: сюда, в эту трубу, не больше как на пригоршню оставшихся минут...

Идея состояла в том, чтоб постоянно придерживаться фиксированного количества, А. Иногда ты применял диодный мост настроенный на определённую частоту, At, гудящую, тяжёлую предзнаменованием, внутри электронных коридоров… пока снаружи, в соответствии с традицией в этих делах, где-то будет собираться количество В, нарастать, по мере того как Ракета набирает скорость. И так до определённой для *Brennschluss* скорости, “v_1^*,” загнанная как всякая крыса электрошоком в этот узкий лабиринт открытого пространства—да, радиосигналы с земли будут входить в тело Ракеты и, следуя рефлексу—буквально электросигналам пробегающим по рефлекторной дуге—контрольные поверхности перещёлкиваются, вернуть тебя обратно на курс в тот момент, когда ты начал отклоняться (разве удержишься не рыскнуть, на такой высоте, в ту блистающую небрежность, покорённый ветром, чисто высотой… невообразимым пламенем у тебя под ногами)… так что для этого строго контролируемого полёта, всё держалось на острейшем, самом болезненном предчувствии, с В постоянно растущим, так ощутимо вздымающимся, как приливная волна, что обездвиживает любое незначительное создание, оттачивая воздух до холодного посвиста... Твоё количество А—блистающее, постоянное А, унесённое, как пришлось когда-то, за тридевять земель, посреди ночи, Грааль, с тем давним по-солдафонски охальным юмором… и однажды утром на широкой верхней губе сталисто-шерстяная седина двухдневной щетины, роковой, ужасный знак, он брился начисто ежесуточно, знаменующий, что настал Последний День—и опять-таки всего лишь угрюмым шестым чувством, настолько же гадательно, как и чисто восприятием, что В с Множествеными Индексами уже тут, сразу за электронным горизонтом, действительно нарастает приближаясь, возможно на этот раз как «Biw», угол прецессии гироскопа, надвигается невидимо, но ощутимо, жутко возбуждающе, по металлической раме к углу Aiw (так установлены тебе контакты: замыкаться, ты ж понимаешь, именно при этом угловом значении). Или же как «BiL», другое интегрирование, не по значениям гироскопа, но по необработанным показателям самого тока, истекающего из движимой катушки между полюсами, «скованный» маятник… так представлялось это им, в Группе Разработки, условия необходимости, запретности… отношение к своему аппаратному обеспечению было более жестоким и солдафонским, о котором большинство инженеров и помечтать не смели… Они и вправду воспринимались как подкованная шипами элита, Древелинг, и Шмайл, с флуоресцентными лампами отблескивающими на его голом лбу ночь за ночью… Внутри своих мозгов они разделяли общий давний-предавний электро-декор—стеклянные переменные конденсаторы, керосин как диэлектрик, медные платы и эбонитовые крышки, Цейссовские гальванометры с тысячами болтиков мелкой резьбы для настройки, миллиамперметры от Сименса на шиферных основах, терминалы с дизайном из Римских цифр, Стандартные Омметры с марганцевой проволокой в смазке, старый *Gülcher Thermosäule* термо-электрический генератор, который работал от пара отопления, выдавал 4 вольта, никель и сурьма, асбестовые воронки сверху, слюдяные трубки...

Разве не была та жизнь приличнее гангстерства? Дружба чище… не такая понаверченная, во всяком случае... Там мы видели что как сочетается… механизмы сами определяли это… всё было так ясно тогда, паранойя была лишь для врага, и никогда для своих...

– А как же SS?

– О, они были скорее врагом, я бы сказал… [Смех.]

Нет, Клаус, не расслабляйся, пожалуйста, никаких мечтаний о благосклонном Советском допросе, что закончится в какой-то горностаевой постели, в каком-то водочно-ароматном ступоре, ты знаешь это глупо...

В, В-индекс-Н-для Нэриш, почти тут—вот-вот прожгут сквозь последнюю шепчущую ширму уравниваясь с «А»—уравнять единственный кусочек себя с предоставленным ими, чтобы миновать этот миг, минимальная куколка Германского стирола, менее подлинная, чем все прежние «я»… количество, которым можно пренебречь в этом последнем свете… под эту дробь сапог охотников, и хорошо смазанных оружейных затворов...

* * * * * * *

И тут Тирлич, Андреас и Кристиан, прям тебе Смит, Кляйн & Френч, вламываются в подвальную комнатушку—полевые серые ранцы, плетёные туфли, штанины подвёрнуты, руки блестят от машинного масла и солидола, поводят для острастки карабинами. Но никого тут из Пустых, чтоб на них полюбовались. Слишком поздно. Лишь немая постель, да коричневый эллипс её крови оставленной на порванном пододеяльнике. И резкие выплески стиральной синьки по углам, под кроватью… их автограф, их вызов.

– Где она—,– Кристиан вот-вот обернётся в берсерка. Одно неверное слово и он рванёт на выход, прикончить всякого Пустого что только подвернётся. Мария, его сестра, возможно уже—

– Нам лучше,– Тирлич уже повернулся на выход,– к её, э... мужу, знаешь...

– К Павлу.– Кристиан хочет видеть его глаза, но Тирлич не обернулся.

У Павла с Марией должен был родиться ребёнок. Тогда Иосиф Омбинди и его люди начали являться с посещениями. Такое способность превращаться в стервятников они переняли от Христианских миссионеров. У них составлены списки всех женщин в пригодном для деторождения возрасте. Всякая беременность уже приглашение слетаться, пикировать, парить кругами. Прибегнут к угрозам, казуистике, физическому соблазнению—у них целый арсенал приёмов. Синька для белья их излюбленное абортивное средство.

– Нефтеочистительный,– предполагает Андреас Орукамбе.

– Точно? Он же зарок дал.

– Теперь, может, и развязал.– Брат девушки уставился на него, играя желваками. *Тирлич, старый ублюдок, тебе уж и впрямь ничего не доходит*...

Они вновь садятся на свои мотоциклы и снова в путь. Разбомблённые сухие доки, обугленные рёбра складов, цилиндрические куски подводной лодки, что так никогда и не была собрана, проносятся в окружающей темноте. Вокруг Британская охрана, но это другой обособленный мир. Британская часть в победной Пятёрке оккупирует свою долю пространства Зоны совпадающую, но не идентичную с той, по которой эти серьёзные *Schwarzkommando* верхом на мотоциклах без глушителей с рёвом проносятся в эту ночь.

Разделения не прекращаются. Каждая из альтернативных Зон уходит в отрыв от всех остальных, с предопределённым ускорением, сдвиг красной части спектра, разбегание от Центра. С каждым днём мифичное возвращение Тирлича из грёз выглядит всё менее возможным. Когда-то требовалось знание униформ, знаков различия, маркировки самолётов, для соблюдения границ. Но к нынешнему моменту слишком много выборов уже свершилось. Единый корень утрачен, ещё в майском опустошении. У каждой птахи теперь собственная ветка, и всякая из них отдельная Зона.

Сброд ПеэЛов кучкуется у развалин вычурного фонтана, не меньше двадцати, глаза из праха, влеплены в лица белые как соль. Иреро вписываются в поворот рядом с ними, до половины короткого марша длинных ступеней расходящихся ласточкиным хвостом в уклон улицы, зубы стискиваются, верхние с нижними, мотоциклетные рамы пронзительно скрежещут, вверх и вниз по ступеням мимо бессловесных плозий Славянских дыхов. Прах и соль. Грузовик-репродуктор появляется за стеной, метров за сто: голос, Университетски правильный, и давно уставший от обращения, декламирует: «Освободите улицу. Расходитесь по своим домам». Освободите у—расходитесь по своим что? Тут какая-то ошибка, это должно быть для другого города...

Фрр под нефтяной трубой на опорах сбегающих вниз налево, к воде, дальше, громадные стянутые болтами фланцы над головой смягчённые ржавчиной и промасленной грязью. Далеко по гавани движется нефтеналивной танкер, поколыхивается безмятежно как паутина звёзд... *Вжиик* вверх по склону в сторону бастиона из обрезанных, запутанных, сплавленных и обожжённых ферм, труб, колонн, изгибов, кожухов, изоляторов перенастроенных всеми бомбардировками, забрызганная смазкой галька на земле проносится милей за минуту и погоди, погоди, а скажи что, скажи « *перенастроено*», ну-ка?

Тут не то, чтобы озарило, нет, но прорвалось, как тот свет, что прорывается однажды среди ночи в слишком глубокий час, чтоб враз смог объяснить с чего бы это—тут нахлынуло на Тирлича то, что кажется ему необычайным постижением. Этот змеящийся навал шлака, в который он вот-вот врежется, этот бывший перегонный, *Jamf Ölfabriken Werke AG*, далеко никакая *даже не развалина*. Тут всё в превосходном рабочем состоянии. Всего лишь в ожидании нужных подключений, и пуска… модифицировано, очень чётко, *целенаправленно* бомбардировкой,

которая никогда не была враждебной, а частью плана обеих сторон —« *сторон?*»—давно согласованного… да и теперь что если мы—хорошо, скажем, что мы все, какие тут имеются, Кабалисты, скажем, в этом наше истинное Предназначение, быть учёными-чародеями Зоны, а где-то в ней Текст, который нужно разобрать по кусочкам, составить аннотации, растолковать и отмастурбировать пока не будет выжат насухо до последней капли… вот мы и предположили— *natürlich!*—что этот священный Текст должен быть Ракетой, орурурумо орунене: высокий вздымающийся мёртвый, блистающий великий («орунене» уже переиначено детьми Иреро-Зоны в «омунене», старший брат)… она наша Тора. А как же иначе? Её симметрии, скрытые состояния, *хитроумие* её, околдовали и ввели в соблазн нас, пока истинный Текст застыл, ещё где-то в своей непроглядности, в нашей темноте… даже в такой дали от Юго-Западной нас не может миновать древняя трагедии потерянных посланий, проклятье, от которого нам не избавиться вовек...

Но, если я гоню по нему, по Истиному Тексту, в эту минуту, если так оно и есть… или если я сегодня проехал мимо него где-то в развалинах Гамбурга, вдыхая пыль гари, в упор не видя… если то, что IG построило тут на этом месте вовсе не было окончательным видом, а всего лишь набором фетишей, разметкой для применения спецмеханизмов в виде бомбардировщиков 8-й АВС да «Союзнические» самолёты все, в конечном итоге, продукт от IG, посредством Директора Круппа, через его Английские сочленения—бомбардировка была чисто индустриальным процессом реконструкции, каждый выброс энергии чётко увязан в пространстве и времени, каждая взрывная волна рассчитывалась заранее сотворить *именно такие руины* вокруг, тем самым расшифровывая Текст, тем самым шифруя, перешифровывая, перерасшифровывая священный Текст… Если тут всё в рабочем состоянии, в чём его предназначение? Инженеры, строившие это как нефтеперегонный, понятия не имели о дальнейших шагах. Их объект «сдан», можно забыть.

И, следовательно, эта Война никак и никогда не была политической, политика просто спектакль, для отвода глаз народам… втайне, вместо этого всё диктовалось потребностями технологии… заговором между людскими созданиями и техникой, зачем-то нуждавшимся в энерго-вспышке войны, в выкриках, «К чёртям деньги, само существование [вставь название державы] под угрозой!», что, скорее всего, означало, *вот-вот рассветёт, мне нужна моя порция ночной крови, моё финансирование, финансирование, ахх, ещё, ещё*... Истинными кризисами были кризисы распределения и очерёдности, не между фирмами—это тоже всего лишь инсценировка—но между различными Технологиями, Пластиками, видами Электроники, Самолётостроения, и их потребностями, в которых разбирается только правящая элита...

Да, но Технология всего лишь реагирует (как часто этот довод повторялся, упрямый и унылый как редукция по Гауссу, среди *Schwarzkommando*, особенно помоложе): «Очень красивая болтовня, что ухватил чудище за хвост, но ты думаешь у нас была б Ракета, если бы кто-то, некий определённый кто-то, имеющий имя, имеющий член, не *захотел* кидануть тонну Аммотола за 300 миль

и взорвать квартал мирных жителей? Валяй, пиши технологию с большой «Т», обожествляй её, если от этого чувствуешь себя менее виноватым—но так ты оказываешься с оскоплёнными, брат, с евнухами, что присматривают за гаремом нашей украденной Земли для затёкших и безрадостных хуёв людских султанов, людской элиты, у которых ни малейшего права быть там, где они—»

Вот где мы должны искать источники власти, и схемы распределения, о которых нам никогда не говорили, маршруты власти, о которых наши учителя и слыхом не слыхивали, либо их предупредили не вдаваться… мы должны найти счётчики, чья шкала неизвестна миру, чертить собственные диаграммы, отслеживать ответную реакцию, устанавливать связи, снижать вероятность ошибки, стараться найти истинную функцию… прилагать её к какому непросчитываемому графику? Тут, на поверхности, каменноугольные смолы, гидрирование, синтез, всегда были фальшивкой, фиктивными функциями, чтобы скрыть настоящую планетарную миссию, да и возможно разворачивающуюся уже не первое столетие… эти развалины завода дожидаются своих Кабалистов и новых алхимиков, чтобы открыть Ключ, обучить таинствам остальных…

А если это не именно *Jamf Ölfabriken Werke?* Что если это заводы Круппа в Эссене, что если это *Blohm&Voss* прямо здесь, в Гамбурге или какая-то другая «понарошку» развалина, в другом городе? Другой *стране?* ЙАААГГГГХХХХХ!

Да, такой вот стимулирующий разговор, да, Тирлич лопает, как не в себя, Нацистский Первитин в эти дни как поп-корн в кинушке, и вот уже большая часть нефтеперегонного—что носит имя, случайно, прославленного первооткрывателя Ойнерина—уже за спиной, и Тирлич впадает в другой параноидный ужас, болтает, болтает, хотя каждый поворот и переключение скорости отвлекают его от беседы.

[Типа рояля Оджи Кармайкла слышится фоном, тут]

Море по колено, Батя, Дезокс-ёпфедрин всем скажжит "цыц!"

По карманам у меня по́лно щастья без границ,

Я по Зоне проношуся, среди диких псов,

Раздаю задарма клочья своих личных снов…

Да хошь радиолампы с приёмника маво ты вытаску-уй,

До лампочки мине вся эта чип-уха—

А на госгимны ты меня типеря не подсажу-вуй

Склепаю сам не хуже, чем вся ента труха...

Не закрываю рот, хоть слушать некому,

Трещу без умолку всяческую муть—

Без толку пристаю к калекам у

Кого ботиночки самсем не жмуть!

Тебя от меня эфедринит, малышка,

Ты от меня впадаешь в экстаз

В комендантский час, када свет угас,

Я не хуже других отпресую матрас,

(Токо свечку зажги)

Как в прошлый раз...

Прошлой ночью в своём журнале Тирлич записал: «Рот в последнее время почти не закрывался. Почти ничего, что смогло бы пойти хоть кому-то на пользу. Оправдания, О, Боже, о, Боже. Но они меня и впрямь достали. Пожалуйста, я *не желаю* так вот проповедывать… Мне известно как звучит со стороны мой голос—слышал в Пенемюнде годы тому назад на Диктофоне Вайсмана… хром и карболит… слишком высокий, противный Берлинский гундёж… как они, должно быть, морщатся внутри, когда я завожусь...

Я мог бы уйти хоть завтра. Умею жить в одиночку. Меня не так пугает это, как они. Берут постоянно—но никогда не пользуются тем, что берут. Что, по-ихнему, они могут взять от меня? Им ни к чему моё патриаршество, не нужна моя любовь, ни моя информация или мой труд, или энергия, или что уж есть у меня… У меня нет *ничего*. Деньги больше не существуют—никто их тут не видел месяцами, нет это не из-за денег… сигареты? Сигарет у меня всегда в обрез...

– Если я осталю их, куда бы я мог уйти?

Обратно среди резервуаров теперь, в вечерний ветер, заносясь на этом поле синтетической свалки, вся бескомпромиссно черна. Мотор Кристиана похоже глохнет время от времени, приводя к потере скорости. Решение на ходу: если обломается, пусть идёт пешком. Так будет меньше проблем, если Павел там, а если его нет, подобрать Кристиана на обратном пути и найти грузовик, чтоб отвёз на ремонт… упрощай ситуации, это признак великого лидера, Тирлич.

Кристиан всё же не заглох, а Павел оказался на месте, типа как бы. Ну не настолько «на месте», чтобы Тирлич в его текущем состоянии ума стал бы долго обдумывать. Но в наличии, это да, вместе с изумительной компанией приятелей, которые как-то всегда показываются, когда он приходит нанюхаться *Leunagasolin*'а, такие как, о, Моховые Человечки тут вот, у, до того зелёные, не можешь себе представить, прямо горят, а не отсвечивают, затаились в углу поля сейчас, робкие, чуть переворачиваются, как младенчик, иногда… или как тебе вон тот Водяной Великан, гость высотою в милю, весь из текучей воды, который любит танцевать, вихляется в поясе , размахался руками по всему небу. Когда люди Омбинди забрали Марию, чтобы найти ей доктора в Гамбурге, голоса начали звать—голоса Моховых Человечков, которые заводятся в резервуарах на

интерфейсе между горючим и водой на дне, начали звать его: «Павел! Омунене! Почему не приходишь, проведать нас? Мы соскучились. Где пропадаешь?»– Не много им там радостей на Интерфейсе, бьются всё с бактериями, что налетают в их страну света, эти клеточные аристократы, прут на стену углеводородов, каждая за своей долей Господнего изобилия—оставляют свои экскременты, зелёное бормотанье, сдвинуто нестабильную болтовню, слизь, что с каждым днём растёт всё толще, всё ядовитее. Это вна́туре угнетает, быть пигмеем в куче с тысячами других, с сотнями тысяч, вынужденных жить по ту сторону всего этого. Ты сказал по ту сторону? О чём это ты? Какая ещё та сторона? Ты имеешь ввиду в бензине? (Сбившиеся в Кучу Пигмеи, игриво, под один популярный свинговый повтор:) Нет-нет, нет, нет!—Ты имеешь ввиду в воде, тогда? (С-в-К-П:) Нет-нет, нет, нет!—Уж вы мне объясните тут, не то с меня подштанники спадут. Мы имеем ввиду, объясняют Пигмеи, складываясь своими головками в симметричный узор цветной капусты, и подвывая негромкой задумчивой акапеллой как детвора вокруг костра в лагере с Бингом Кросби в бейсбольной кепке (да эти *Leunahalluzinationen*, случается, зашкаливают в полный хрен разберёшь, охрененнее, чем культурный шок даже, вот эта вот текущая уже вообще *мета*шок, 3-сигма белых лиц в ритуале чьё таинство глубже, чем северный свет над Калахари…) мы имеем ввиду по ту сторону всего этого, полного бактерио-углеводородо-экскрементного цикла. Нам отсюда виден Интерфейс. Это круглая такая радуга, в основном индиго, если так понятнее—индиго и Келли зелёный (Бинг, дирижируя, вскидывает все те мозгопрополосканные Ирландские личики в трогательном озарённом костром крещендо) зелёный… бензин… между… субмарин… затихая, потому что Павел уже побрёл к нефтеочистительному, забудь про эти 2½ недели самоистязаний, люди Омбинди поджидали его у обмотанных стекловолокном труб котельной, мужчины и женщины, все стараются к нему подольститится, склонить с двух сторон Вопроса Самоубийства Племени, Тирлич жалуется, слишком впутался в ту Ракету, чересчур вмалинился в свою распрю с Русским, чтобы думать ещё про кого-то кроме самого себя… А этот Павел старался держаться подальше от этого, От дыхания Мукуру, старался просто быть хорошим человеком—

Моховое Создание шевелится. Оно подползло страшно ближе с прошлого раза как Павел смотрел. Нежданно обильное истекание вишнёво-красного по склону горы справа от него (тут и горы были? Откуда *горы-то* взялись?) и он сразу же понимает, без всяких увёрток или надежды, что он соскользнул в Север, что вдыхание выдоха первого предка перенесло его в жуткий край, а он должен был знать, что так и будет, шаг за шагом, за эти последние годы, повернуть не получится (что значит повернуть? не знаю куда начать двигаться, не знаю *как* двигаться…) слишком поздно, мили перемен, слишком поздно уже.

И вот его голова на стальной мушке Кристиана за 300 метров. Неожиданно эта ужасная развилка: две возможности уже начавшие разлетаться со скоростью мысли—новая Зона в любом случае, теперь, неважно стреляет Кристиан или сдерживается—прыгни, выбери—

Тирлич постарался вовсю—отбил ствол в сторону, обменялся парой резких слов с молодым мстителем. Но оба они видели разделившиеся ветви. Зона снова, только что, изменилась и они уже в ней, в новой...

Они едут дальше туда, где Павел нюхает синтетический бензин на склоне бежевого холма без фонарей, под резервуарами ползущими бледно как улитки к небу, туда, где он, один из счастливейших клиентов IG...

Знает ли Павел что-то, о чём никто из нас не догадывается? Если IG хотели сделать это прикрытием для чего-то ещё, то почему не для дыхания Мукуру?

Тирлич может вообразить себя в *Erdschweinhöhle* начинающим новую жизнь на IG —устроить, чтоб становилась тучней и тучнее с отладкой новых связей, проверка бухгалтерских книг, приходят свидетели—не на переднем плане, но сбоку по крайней мере, всегда в тени... А если окажется, что дело не в Ракете, не в IG? Что ж, тогда ему придётся, так ведь, перейти на что-нибудь ещё—завод Фольксваген, фармацевтические компании... А если это даже не в Германии, то ему придётся начинать в Америке, или в России, и если он умрёт прежде, чем найдут Истинный Текст для изучения, то нужен некий механизм, чтоб смогли продолжить другие... Глянь, крутая идея—созываешь всех, сколько есть, *Erdschweinhöhle*, подымаешься там типа так *Народ Мой, было мне видение*… нет нет, но понадобится больше штата, если это настолько широкий поиск, постепенный отток ресурсов с Ракеты, разнообразить деятельность, чтобы при этом смотрелось органичным ростом… и кого подключить? Кристиан—можно ли использовать парня теперь, гнев Кристиана, использует ли Текст так-то и так-то Кристиана, чтобы одолеть Омбинди… потому что если миссия *Schwarzkommando* истинно открылась только что, то придётся что-то делать с Омбинди, с Пустыми, с доктриной Полного Нуля. Увеличение штата требует большего числа Иреро Зоны, а не меньшего—для сбора информации более полного охвата о противнике, установка более широких связей приведёт к росту угрозы народу, значит число соплеменников должно возрастать. Имеется ли альтернатива? нет… он бы предпочёл игнорировать Омбинди, но потребности этого нового Поиска такого удовольствия уже не позволят… поиск начнёт направлять…

Где-то, среди пустошей Мира, есть ключ, что приведёт нас обратно, возродит нас для нашей Земли и свободы.

Андреас разговорился с Павлом, который всё ещё со своими странно освещёнными приятелями, подкатывая и так и эдак. Вскоре, лаской и уловками, он получает адрес связанного с Омбинди медика.

Тирлич знает кто это. «В Сент Паули. Поехали. Твой мотоцикл немного брыкается, Кристиан?»

– Не подкатывай ко мне,– взрывается Кристиан,– тебе наплевать на меня, наплевать на мою сестру, она там где-то умирает, а ты просто вставляешь её в

свои уравнения—ты—играешь свою рутину святого отца и внутри того эго ты даже не ненавидишь нас, тебе наплевать, ты даже уже больше *не с нами*— Он замахивается кулаком в лицо Тирлича. Он плачет.

Тирлич стоит, как стоял, и позволяет это. Больно. Он терпит. Его кротость не чисто политика, всё же. Он чувствует немало правды-матки в том, что сказал Кристиан—может быть не всё, не всё так уж и настолько, но немало.

– Вот ты и вернул меня. Может, уже поедем за ней, теперь?

* * * * * * *

А вот и добрая фрау, склоняется над Слотропом от изножия койки: глаза её ярки и дерзки как у попугая, большая белая ступица глаза подпёрта укосинами старых вспыльчивых рук и ног, чёрный платок поверх валика её помпадура в трауре по всем её Ганзейским покойникам, под пыхтящими эскадрами брони, под седыми волнами Балтики раскроенной килями, покойники под флотилиями волн, прерий моря...

И тут же нога фон Гёля пихает Слотропа отнюдь не ласковым образом. Солнце высоко, всех девушек и близко нет. Отто бурчит на палубе с метлой и шваброй, убирая вчерашнее дерьмо от шимпанзе. Свинемюнде.

Шпрингер уже снова прежним бодрячком: «Свежие яйца и кофе в рулевой рубке. Мы выходим в море через 15 минут».

– Ну просто зачеркни это «мы», Дружище.

– Но мне нужна твоя помощь.– На Шпрингере костюм отличного твида в это утро, полный Савил-Роу, отлично сидит—

– Нэришу тоже нужна была твоя помощь.

– Ты сам не знаешь о чём говоришь.– Глаза его сталь клинка, не ведают проигрыша. Смех, с подзаголовком *Подыграем дурачкам*, *Mitteleuropäisch* и безжалостен.– Хорошо, хорошо. Сколько ты хочешь?

– На всё есть цена, верно?– Но это он не благородства ради, нет, на самом деле только что вот дошло, сколько сам стоит, вот и понадобилось сбить темп разговора, на секундочку перевести дух и продолжить.

– На всё.

– Что за дело?

– Мелкое пиратство. Забрать пакет для меня, пока я буду тебя прикрывать.– Он смотрит на часы с чрезмерной выразительностью.

– Окей, добудь мне отставку, я пойду с тобой.

– Что? Отставку? Для тебя? Ха! Ха! Ха!

– Ты бы чаще смеялся, Шпрингер. Тебе идёт.

– Отставку *какого* вида, Слотроп? *Почётную*, небось? Ах, ах-ха! Ха! Ха!– Как и Адольф Гитлер, Шпрингер легко ущекотывается тем, что Немцы называют *Schadenfreude*, чувство радости от приключившегося несчастья.

– Брось прикалываться, я серьёзно.

– Ну ты-то уж *ещё как* серьёзно, Слотроп.– Снова хаханьки.

Слотроп ждёт, смотрит, посасывает яйцо, хотя в это утро чувствует себя далеко не мудрым пронырой.

– Нэриш, понимаешь, должен был пойти со мной сегодня. Теперь у меня остался ты. Ха! Ха! Куда ты хочешь, чтоб доставили эту—ха—отставку?

– Каксхавен.– У Слотропа с недавних пор маячила смутная фантазия войти в контакт с людьми из Операции Ответный Огонь в Каксхавене, может они его как-то выручат. Они, похоже, единственная Английская зацепка с Ракетой. Но уже понял, что ничего не выйдет. Он и Шпрингер уславливаются о дате.

– Будь в месте, что называется у Путци. Это по дороге на Дорум. Местные деловые тебе объяснят.

Так что, снова—в путь, мимо мокрого объятия молов, в Балтику, с гребня на гребень, и в ореоле пласт за пластом, подпрыгивает весёлый пиратский барк, в день уже шквалистый и резкий, и обещает стать покруче. Шпрингер стоит снаружи рулевой рубки и орёт внутрь, перекрикивая разгулявшееся море и плеск воды, что ударяет в нос и скатывается по палубе: «Когда догонишь?»

– Если идут в Копенгаген,– обветренное лицо Фрау Гнаб, несводимые складки улыбки вокруг её глаз и рта, сияет словно солнце,– то не больше, чем через час...

Видимость в это утро слишком незначительна, чтобы различить берег Юздома. Шпрингер присоединяется к Слотропу у поручня, что уставился в никуда, вдыхая давящий запах седой погоды.

– Он в порядке, Слотроп. И не в таких бывал переделках. Два месяца назад в Берлине мы попали в засаду, прямо на выходе из Чикаго. Он прорвался через перекрестный огонь из трёх *шмайсеров* с предложением для наших конкурентов. Ни царапинки.

– Шпрингер, он там отвлекал на себя половину армии Русских вчера.

– Те его *не* убьют. Они знают кто он. Он работал по управлению, лучший человек у Шилинга, знает об интеграции цепей больше, чем любой, кого они найдут хоть где-нибудь вне Гармиша на данный момент. Русские предлагают фантастические зарплаты—больше, чем у Американцев—и они позволят ему оставаться в Германии в Пенемюнде или *Mittelwerke*, как он и был. Он даже может уйти в бега, у нас найдутся для этого связи—

– Но если его всё же *застрелили?*

– Нет, такого не предусматривалось.

– Шпрингер, тут тебе уже не ёбаное *кино*, завязывай давай.

– Пока что нет. Может пока ещё нет. Так что наслаждайся, пока есть возможность. Однажды, когда плёнка завертится быстрее, камера станет карманной и почти невесомой, освещение и подвесные микрофоны ненужными, *тогда*… вот когда… « *А теперь по правому борту у нас показался легендарный Рюген*. Его меловые утёсы ярче неба. Тонкой дымкой подёрнулись узкие заливы и зелень дубов. Вдоль пляжей плывут жемчужные клочья тумана.

Наш капитан, Фрау Гнаб, направляется в Грайфсвальдер Боден прочесать длинные заливы в поисках намеченной жертвы. Спустя час (комичные соло фагота поверх ближних планов старой уклонистки наминающей какую-то жуткую ферментацию пюре-картофельной лоботомии из канистры, утирающей рукавом свой рот, стрыгивающей) *потраченный на безрезультатные поиски, пираты нашего времени снова в открытом море вдоль восточной береговой линии острова*.

Заморосил лёгкий дождь. Отто приносит дождевики и Термос горячего супа. Тучи, дюжина оттенков серого, несутся по небу. Громады туманных скал, крутых утёсов, стекают в глубокие ущелья, серый, зелёный и шпили белого мела сквозь дождь, проплывают—Стубенкамер, Трон Короля, и вскоре, по левому борту, Мыс Аркона, где волны разбиваются у подножия утёсов, а наверху развеваются рощи белоствольных деревьев... *Древние Славяне воздвигли тут капище, Световиду, их богу плодородия и войны: Старина Световид, в своём бизнесе пользовался множеством кличек! Трёхголовый Триглав, пятиголовый Поревид, СЕМИ-лицый Ругевид! Поделись этой информацией со своим боссом, когда заведётся на тему «двуличности»! Теперь, когда Аркона теряется позади за нашим левым бортом*»...

– Вон они!– кричит Отто с крыши рулевой рубки. В дальней дали, забирая круче в море из-за Виссов Клинке (бледный известковый засов, которым Провидение пробует сегодня сберечь сердца Слотропа), едва виднеясь в дожде, ныряет крохотный призрак судна...

– Определи азимут,– Фрау Гнаб, ухватывая руль, раскорячилась поустойчивее,– сегодня у нас курс на столкновение!– Отто крючится у пелоруса, дрожа.

– Держи, Слотроп.

Люгер? Коробка с обоймами? «Что за...»

– Сегодня утром получено с яйцами.

– Ты не говорил—

– Он может немного разозлиться, но он реалист. Твоя знакомая Грета и я знали его в Варшаве, в прежние времена.

– Шпрингер—скажи мне, Шпрингер, это вот что за корабль теперь?– Шпрингер протягивает ему какой-то бинокль. Изысканными золотыми буквами, пониже золочёного шакала на призрачно-белом носу, стоит имя, которое он уже знает.– О... Кей,– пытаясь заглянуть сквозь дождь в глаза Шпрингера,– ты знал, что я был на борту. Ты меня теперь подставляешь, верно?

– Когда это *ты* был на борту?

– Брось—

– Слушай—За пакетом сегодня должен был идти Нэриш. Не ты. Мы тебя и *знать не знали*. Тебе обязательно во всём видеть заговоры? Я не командую Русскими, и я не сдавал его—

– Ты в натуре тут сегодня невинность изображаешь, да?

– Хватит пререкаться, идиоты,– орёт Фрау Гнаб,– и по местам— *к бою*!

Лениво и призрачно проваливается меж волн Анубис, не становясь отчётливее, когда они подходят ближе. Шпрингер достаёт мегафон из рулевой рубки и кричит: «Добрый день, Прокаловски—разрешите подняться на борт».

В ответ пистолетный выстрел. Шпрингер падает на палубу, дождевик полощется жёлтым потоком, мегафон направлен вверх, воронка для заливки дождя ему в рот: «Придётся нам без разрешения, тогда—» Машет Слотропу приблизиться: «Приготовься перейти туда»,– Затем Фрау Гнаб,– «Придётся сцепиться».

– Отлично, но,– один взгляд на плотоядную ухмылку матери Отто и становится ясным, что сегодня она не ради денег,– когда ж мне уже таранить его?

Один на один в море с *Анубисом*. Слотроп начинает потеть, неприятно. Зелёные скалы побережья Рюгена им фоном, взлетают и проваливаются в шквале. *Цонгг* ещё один выстрел гремучей змеёй рикошетит от крыши. «Тарань»,– приказывает Шпрингер. Шторм свирепеет не на шутку. Радостная

Фрау Гнаб, напевая сквозь зубы, вертит колесо, спицы сливаются в движении, нос разворачивается, целя в середину корпуса. Сплошняк борта *Анубиса* мчит навстречу—или Фрау Гнаб хочет пробить его как затянутый бумагой обруч? Лица за иллюминаторами, кок чистит картошку перед камбузом, пьяный во фраке спит на залитой дождём палубе, перекатываясь под качку корабля… ах— *ja, ja*, здоровенная, в синих цветах, кастрюля с тёртым картофелем, лёгкий запах капусты и посудной тряпки из-под раковины, фартук узлом на бантик, уютный и плотный поверх её почек, и ягнята теснятся у ног и *ja*, тихонько, о, *ja*, тут раздаётся—ах—тут раздаётся, *раздаётся-тут* так ТИХОНЬКО—АХХ—

ОТТО! шарахает свою посудину в *Анубис*, самый оглушительный, аж чертям тошно, Отто...

– Держись вплотную.– Шпрингер на ногах. Прокаловски поворачивает и добавляет ходу. Фрау Гнаб снова заходит с правого борта яхты, раскачиваясь на бурунах от винтов. Отто раздаёт абордажные крюки, издавна на Ганзейской службе, железные, заточенные, делового вида, пока Мамочка даёт полный вперёд. Парочки вышли под тент на *Анубисе* полюбоваться забавой, тычут пальцами, смеются, весело машут. Девушки, их оголённые груди в пупырышках дождевой воды, шлют воздушные поцелуи пока оркестр наяривает аранжировку Гая Ломбардо «*Пробежка Меж Капелек Дождя*».

Вверх по скользкой лесенке взбегает оборзело пиратствующий Слотроп, поглядывая на того Отто—размотать, покрутить как лассо, *эгей*!—бац. Шпрингер и Отто с носа и кормы закрючивают синхронно, подтягивают, суда ударяются, расходятся, ударяются… но *Анубис*, жидкобелый, сбросил ход, разложился, позволил… Отто захлёстывает верёвку на носовой кнехт и вяжет наверху вкруг покрытых резьбою перил яхты—затем бросается на корму, кеды плюхают, оставляя рубчатые следы, чтоб смывались дождём, повторить швартовку и там. Новосотворённая река ревёт, одичало белая, между двух кораблей. Шпрингер уже на главной палубе яхты. Слотроп втискивает Люгер под ремень и торопится следом.

Шпрингер классически гангстерским кивком головы направляет его к мостику. Слотроп продвигается сквозь лапанье, приветы на ломаном Русском, перегар в выдохах, до лестницы по левому борту—взобраться, тихо ступить на мостик. Но Прокаловски смирно сидит на капитанском стуле, в сдвинутой на затылок фуражке, курит одну из Шпрингеровых *amis*, а сам Шпрингер как раз досказывает один из своего неисчерпаемого репертуара Германских сортирных анекдотов.

– Что за чёрт, Герхардт,– Прокаловски указывает большим пальцем,– Красная Армия тоже работает на тебя?

– И снова здравствуй, Энтони.– Серебристые звёздочки с каждого его погона подмигивают *привет-привет*, но бестолку.

– Я тебя не знаю.– Обернувшись к Шпрингеру,– Хорошо. Это в машинном отделении по правому борту, внизу позади генератора,– что есть намёком Слотропу проваливать.

У подножия лестницы он встречает Стефанию, что идёт вдоль перил.

– Привет. Жаль, что довелось встретиться таким образом.

– Привет. Я Стефания,– выдаёт скорую улыбку на ходу,– спиртное на палубу выше, угощайтесь,– и нет её, исчезла в дожде. Что за?

Слотроп спускается в люк, начинает карабкаться по лесенке вниз в машинное отделение. Где-то над ним трижды бьёт колокол, медленно, чуть глухо, слегка отдаваясь эхом. Уже поздно… поздно. Он вспоминает где он.

Едва ступил он на пол, свет гаснет. Воздуходувы с протяжным подвывом затихают. Машинное отделение на один пролёт ниже. Что, ему в темноте придётся?

– Я не могу,– вслух.

– Ты можешь,– отвечает голос ему на ухо. Даже дыхание чувствуется. Его умело бьют пониже затылка. Круг фонаря скачет по беспросветной тьме. Его левая рука отключается. «Я оставлю тебе другую»,– шепчет голос,– «чтобы смог спуститься в машинное».

– Подожди— такое ощущение будто остроносый бальный туфель возник из ниоткуда и чуть с оттяжкой почёсывает ему под подбородком—затем бьёт пыром и его зубы сомкнулись на его языке.

Боль жуткая. Он чувствует вкус крови. Пот заливает глаза.

– Двигай давай,– Стоило помедлить, и его дёргают за волосы на затылке. О, да больно же… он держится за лестницу не видя ни зги, начинает плакать… потом он вспомнил про Люгер, но, прежде чем до него дотянулся, получил злобный пинок между бедром и пахом. Пистолет падает на сталь палубы. Слотроп, опустившись на одно колено, ищет наощупь, когда подошва наступила ему на пальцы. «Тебе понадобится эта рука, чтоб было чем хвататься за лестницу, помнишь? *Не забыл?*»– Туфель поднялся, но только затем, чтоб пнуть его подмышку. «Встать, встать».

Слотроп нащупывает путь к следующей лестнице, с однорукой неуклюжестью спускается по ней. Чувствует как стальная рама люка остаётся вверху. «Не вздумай подниматься, пока не сделаешь что должен».

– Танац?–Язык Слотропа пронизан болью. Имя насилу выговорилось. Тишина.– Моритури?– Нет ответа. Слотроп переставляет ногу на одну перекладину выше.

– Нет, нет. Я ещё тут.

Он движется вниз, дрожа, перекладина за перекладиной, чувствуя колотье в руке. Как сможет он спуститься? А подняться как? Он старается сконцентрироваться на боли. Наконец ноги ударяют в стальной лист. Слепота. Он движется к правому борту на каждом шагу ударясь голенью об острые выступы… *я не хочу… как мне… схватить позади снизу… пустыми руками… что если*...

Неожиданный визг справа—что-то механическое—он подпрыгивает, дыхание, втягиваясь, леденит зубы, нервы спины и рук ходуном… что-то цилиндрическое преграждает путь… может быть генератор… склоняется и начинает—Его рука ухватывает жёсткую тафту, отдёргивается. Он пытается подняться и ударяется головой о что-то острое… хочет уползти обратно к лестнице, но утратил всякое чувство направления теперь… садится на корточки, поворачиваясь по кругу, медленно… пусть уже кончится *пусжеконч*... Но его руки, скребя по полу, возвращаются к скользкому атласу.

– Нет.– Да: крючки с петельками. Он обламывает ноготь, пытаясь отцепиться, но они не пускают… кружева движутся в змеиной неотступности, обвиваясь, захватывая каждый палец...

– Нет... – Он подымается в полуприсед, продвигаясь вперёд упирается во что-то висящее над головой. Маленькие ледяные ягодицы покачиваются перед его лицом. Они пахнут морем. Он отворачивается, но по щеке хлещут длинные мокрые волосы. И куда бы он ни старался увернуться… холодные соски… глубокая расселина попы, духами и говном и солёной морской водой… и ещё запах… запах…

Когда зажигается свет, Слотроп стоит на коленях, старательно дыша. Он знает, что глаза придётся открыть. В отсеке попахивает теперь приглушённым светом—со смертной вероятностью света—как тело, в моменты величайшей печали, предчувствует свои реальные шансы на боль: реальные и ужасающие и просто лишь не достигшие порога... Свёрток коричневой бумаги за пару дюймов от его колена, втиснут позади генератора. Но это что приплясывает смертельно-белым и алым по краям его зрения… а лестницы обратно наверх действительно так пусты какими кажутся?

Уже на судне Фрау, Шпрингер достаёт бутылку шампанской любезности *Анубиса*, раскручивает яркие проволочки и выстреливает пробку прощальным салютом. У Слотропа трясутся руки и большую часть он разлил. Энтони и Стефания наблюдают с мостика как расходятся два корабля, Балтийское небо отражается в их глазах. Её белые волосы в паутинке пены, её щёки изваяны из тумана… марь-муж, мга-жена, они тают, высокомерно, молча, возвращаясь обратно в сердце бури.

Фрау направляется к югу, вдоль другого берега Рюгена, в проливы возле Бага. Шторм не стихает с наступлением ночи. «Мы причалим в Штралсунде»,– штрихи

её лица изливаются смазочно-зелёной тенью под качающимся керосиновым фонарём в рубке рулевого.

Слотроп предполагает там сойти. Отправится в тот Каксхавен: «Шпрингер, так по-твоему ты успеешь вовремя приготовить те бумаги?»

– Я ничего не могу гарантировать,– отвечает Герхардт фон Гёль.

В Штралсунде, на набережной, под светом фонарей и дождём, они прощаются. Фрау Гнаб целует Слотропа, а Отто даёт ему пачку "Лаки Страйк". Шпрингер поднимает голову от своего зелёного блокнота и кивает *auf Wiedersehen* поверх пенсне. Слотроп сходит, через нос, на Хафенпляц, привыкшие к морю ноги пытаются балансировать в качке, которую оставил позади, мимо мачт и стрел, и натянутой снасти кранов, мимо бригады ночной смены, разгружающей скрипящие баржи на деревянные телеги, серые кони с поклоном целуют голые камни без трав… радушные пока-пока греют в карманах его пустые руки…

* * * * * * *

–Где Папа Римский, чей посох для меня зацвёл бы?

Глубь горы меня вновь манит своими ароматами, шелками,

Телами умащёнными рабынь её, и обещаньями

Неспешных, утончённых пыток, что небесам сродни,

Сияньем чистоты—к поющим узам,

К хлыстам: что рассекают спектр в размахе.

Меня, игрушку утлую в пасти непогод, находит зов её,

Куда ни повернусь, в густеющей ночи.

За мною нет покинутой Лизоры.

В последней исповеди я преклонил колени,

Агностик, пред сияньем жемчугов его…

И тут, в моём последнем расщеплённом вздохе

Ни песни нет, ни похоти, ни воспоминаний, нет вины:

Ни пентаграмм, ни кубков, ни святого Дурака...

Бригадный генерал Падинг умер ещё в середине июня от скоропостижного кишечно-инфекционного заболевания, подскуливая, до последней минуты, «Бо-бо, у меня пузико бо-бо...», непрерывно. Случилось это как раз перед рассветом,

как он и хотел. Катье оставалась в «Белом Посещении» пока что, бродя по обезлюдевшим коридорам, прокуренным и тихим, вдоль опустевших переборок в клетках лаборатории, сама став частью пепельно-серой паутины, растущих слоёв пыли и засиженных мухами окон.

Однажды она нашла коробки с плёнкой небрежно сваленные Вебли Сильвернейлом в музыкальной комнате, занятой теперь одним лишь распадающимся клавесином Wittmaier, на котором никто не играл, молоточки и педали поломаны бесстыже, струны брошены съезжать в диезы, бемоли, или рассекаться деловитыми ножами погоды, что непрестанно проникала во все комнаты. Пойнтсмен в тот день отсутствовал по делам в Лондоне, отсиживать ланчи с выпивкой среди своих промышленников. Он про неё забыл? Её освободят? Или уже свободна?

Посреди, по виду полной, пустоты «Белого Посещения», она отыскивает проектор, заправляет катушку и наводит изображение на стену в потёках от воды, рядом с ландшафтом какой-то северной долины с разгулявшимися там легкомысленными аристократами. Она видит девушку с белыми волосами в мезонине Пирата Прентиса в Челси, лицо такое чужое, что она узнала средневековые комнаты раньше, чем саму себя.

Когда это они—ах, да в тот день Осби Фил обрабатывал мухоморы... Заворожённо, она просматривает двадцать минут себя в фуге из кануна Рыб. Зачем им это вообще могло понадобиться? Ответ на вопрос тоже в коробке, и она вскоре находит его—Осьминог Григорий в его ёмкости, просматривает ленту с Катье. Клип за клипом: всполохи экрана и Осьминог Г., уставился—на каждом машинописная дата, показать закрепление условного рефлекса у животного.

Приклеенным в конце всего этого, необъяснимо, обнаруживается нечто смахивающее на кинопробу Осби Фила, кто бы мог представить. Есть даже звуковая дорожка. Осби импровизирует сценарий фильма, который он написал озаглавив:

Наркоманья Несыть

«Мы начинаем с песни Нельсона Эдди, что звучит на заднем фоне:

Наркоманья несыть,

О, наркоманья несыть!

Вселяешься как бесы,

Самый пушистый кайф ломаешь,

Меня в свинью ты превращаешь,

Как всех познавших НАРКОМАНЬЮ НЕСЫТЬ! »

Теперь в город въезжают два изнурённых долгой дорогой ковбоя, Базил Ратбон и С. З. («Обнимашка») Сакал. На въезде в город, загораживая им дорогу, стоит Карлик, который играл главную роль в *Уродцах*. Тот, у которого Немецкий акцент. Он в городе шериф. Носит громадную золотую звезду, что покрывает почти всю его грудь. Ратбон и Сакал придерживают лошадей, неловко улыбаясь.

Ратбон: Это же не может быть *на самом деле*, как думаешь?

Сакал: Ху, ху! Ишшо как взаправду, пропашший ты наркуша, пашёл нажевалсси таво *кайтуса*, у дароги, заместа пакурить маёй канопельки, я ж те *грил*—

Ратбон (с его нервической Болезненной Усмешкой): Я тебя умоляю—мне ни к чему Еврейская мамочка. Я и сам вижу что взаправду, а что не взаправду. (Карлик, тем временем, принимает позы крутого мачо, и вертит пару гигантских Кольтов).

Сакал: Када паматаисси с маё по дарогам—а *ты врубаисси про каки я дароги*, ты, салага сопливый—так тада уш дотюпаишь иде взаправдашний шериф карлик, а иде примерешшенный.

Ратбон: Я и не подозревал, что два эти класса существуют. Ты явно должен был навидаться карликовых шерифов по всей этой Территории, иначе вряд бы изобрёл такую категорию. И-или смог бы? От такого прохиндея чего угодно жди.

Сакал: Ты забыл ишшо «ты старый нигадяй».

Ратбон: Ты старый негодяй.

Они хохочут, выхватывают свои пистолеты и обмениваются парой игривых выстрелов. Карлик мечется туда-сюда, сыпя писклявыми Вестернизмами с Немецким акцентом, типа «Этот город слишком мал для нас двоих!»

Сакал: Этта, мы *оба иво видим*. Значицца взаправдашний.

Ратбон: Совместные галлюцинации не такая уж невидаль в нашем мире, партнёр.

Сакал: Кто грит этта *савмесна* галюцация? Ху, ху! Была б этта вапше галюцация—я не грю *вот ба*—так тока от пейоты. Или жа от бешенава агурца, мазможна…

Эта интересная беседа длится полтора часа. Никаких перемен. Карлик играет постоянно, реагируя на утончённые, а порою ошеломляющие доводы. Иногда лошади будут срать в пыль. Непонятно понимает ли Карлик, что обсуждается реальность его существования. Ещё одна из круто закрученных двусмысленностей этого фильма. Наконец, Ратбон и Сакал соглашаются, что единственной возможностью решить спор станет убийство Карлика, который разгадал их намерение и с воплями убегает вдоль улицы. Сакал хохочет до упаду, и сваливается в корыто с водой для лошадей, а мы видим заключительный

ближний план Ратбона улыбающегося в его двусмысленной манере. Затихая звучит песня:

Самый пушистый кайф ломаешь,

Меня в свинью ты превращаешь,

Как всех познавших НАРКОМАНЬЮ НЕСЫТЬ!

К этому имеется краткий эпилог, где Осби пытается пояснить что, конечно, элемент Несыти должен быть как-то включён ещё в сюжетную линию, чтобы оправдать название фильма, но плёнка заканчивается посреди его очередного «э-э...»

Катье на этот момент сбита с толку, но она умеет распознать послание, если встретится. Кто-то, скрытый друг в «Белом Посещении»—возможно сам Сильвернейл, который не отличался особо фанатичной преданностью Пойнтсмену и его шараге—умышленно подложил экранную пробу Осби Фила, зная, что она найдёт. Она перематывает и снова запускает фильм. Осби смотрит прямо в камеру: прямо на неё, никакого тебе бездельного дурачества наркуши, он играет роль. Ошибиться невозможно. Это послание, код которого, чуть погодя, она взламывает следующим образом. Допустим тот Ратбон представляет молодого Осби собственной персоной. С. З. Сакал возможно мистер Пойнтсмен, а Карлик шериф это вся затемнённая грандиозная Схема, вложенная в один пакетик, уменьшенный, с явным намерением. Пойнтсмен доказывает, что она настоящая, но Осби лучше знать. Пойнтсмен кончает в застойном корыте, а сюжет/Карлик исчезает, испуганный, в завесу пыли. Пророчество. Добрая услуга. Она возвращается в свою незапертую камеру, собирает пару принадлежностей в сумку и покидает «Белое Посещение», мимо нестриженых декоративных куртин, что разрастаются в настоящие, мимо вернувшихся сумасшедших мирного времени, что кротко сидят на солнышке. Однажды, близ Швенингена, она шла через дюны, мимо водных сооружений, мимо блоков новых квартир сменивших разровненные трущобы, бетон ещё сырой в своей опалубке, с такой же вот надеждой на побег в глубине сердце—в движении, ранимая тень, очень давно, на встречу с Пиратом у ветряной мельницы под названием «Ангел». Где он теперь? Живёт ли как и прежде в Челси? Жив ли вообще?

Осби оказывается дома, во всяком случае, курит косяки, заправляется кокаином. Остатки его заначки военного времени. Грандиозное извержение. Он торчит уже три дня. Он лучится навстречу Катье, солнечный протуберанец натурального цвета вытарчивает из его головы, помахал иглой только что вынутой из его вены, зажимает в зубах трубку величиной с саксофон, одевает шапку-ушанку, которая ничуть не потеснила протуберанец.

– Шерлок Холмс. Базил Ратбон. Я был прав,– дыхание перехватило, она роняет свою сумку.

Аура пульсирует, в скромном поклоне. Он тоже сталь, сыромятная кожа и пот: «Хорошо, хорошо. Там и сын Франкенштейна есть, тоже. Мне б и хотелось, чтоб мы могли напрямую, но—»

– Где Прентис?

– Вышел присмотреть кое-какой транспорт.– Он отводит её в заднюю комнату уставленную телефонами, пробковая доска вся покрыта пришпиленными заметками, столы завалены картами, расписаниями, *Введение в Современный Иреро*, истории корпораций, бобины скрытой звукозаписи.– Тут пока ещё не совсем аккуратно всё. Но мало-помалу, милочка, постепенно.

Это то, о чём она подумала? Порывалась сколько раз и отметала прочь, потому что и надеяться нечего, не настолько же? Диалектически, рано или поздно, должна была подняться сила противодействия… она, должно быть, не слишком вдавалась в политику: никогда настолько, чтобы хранить веру, что всё-таки… даже при всей силе на противоположной стороне и вправду может...

Осби подтащил два раскладных стула, подаёт ей стопку бумаг распечатки на мимеографе, довольно толстенькую. «Пара-двойка деталей, тут, что тебе следует знать. Нам до чёртиков неохота тебя торопить. Но лошадиное корыто ждёт».

И вскоре, излившись модуляциями по комнатам в великолепной (и поначалу невразумительной) демонстрации бугенвиллий красных и персиковых, он, похоже, стабилизировался на какое-то время в несовсем-от-мира-сего героя утерянной Викторианской книги для детей, потому что он отвечает, после сотой версии одного и того же вопроса: «В Парламенте Жизни, наступает момент, просто, разделиться. Сейчас мы в коридорах избранных нами, и направляемся к Трибуне...»

* * * * * * *

Дорогая Мама, я послал пару человек в Ад сегодня...

—Фрагмент, предположительно, из *Евангелие от Фомы*

(номер документа в каталоге Папирусов Озиринчаса засекречен)

Кто бы подумал, что их тут столько соберётся? А они всё прибывают через это неприглядное строение, сбиваются в группы, расхаживают в одинокой задумчивости или разглядывают картины, книги, экспонаты. Обстановка смахивает на некий весьма обширный музей, построенный во множестве уровней и новые крылья пристраиваются как живая ткань—хотя всё тут и впрямь разрастается в некую окончательную форму, которую пребывающие здесь, внутри, не могут распознать. Посещение некоторых залов проводится на

собственный страх и риск, и смотрители дежурят на всех подходах, ставить в полную об этом известность. Движение в подобных местах лишено трения, скользяще ускоренное, порою головою вниз, как на отличных коньках-роликах. Некоторые части длинных галерей открыты морю. Имеются кафе, чтобы сидеть и любоваться закатами—или рассветами, в зависимости от режима работы и симпозиумов. Мимо прокатываются фантастические тележки со сладостями, величиной с грузовые фургоны: приходится заходить *внутрь*, обследовать бесчисленные полки, а каждая ломится от сластей, каждая приятней и соблазнительней, чем предыдущая… шеф-повара стоял наготове с черпаками для мороженого, чтоб с полуслова сахароманиакального клиента тут же сформовать и сунуть бисквитную Аляску любого размера и аромата в печи… здесь конфетницы пахлавы с начинкой из Баварского крема, с завитушками горько-сладкого шоколада поверху, молотый миндаль, вишни величиною с шарики пинг-понга, и поп-корн в топлёном зефире и масле, и помадки тысячи видов, от лакричной до божественной, что вышлёпываются на плоские столешницы и вытягиваются, всё вручную, как тягучий шнур, длящийся иногда за угол, из окна, обратно в другой коридор—ах, извините, сэр, вы не могли бы подержать это для меня? спасибо—шутник ушёл, оставив Пирата Прентиса тут, только что прибывшего и всё ещё малость оглушённого всем этим, держит один конец ирисочной путеводной нити, чей остальной конец может вообще оказаться где угодно… ну можно и пройтись куда приведёт… держит путь не слишком-то довольный, сматывая ирис метр за метром, порой засовывая кусочек в рот—мм, арахисовое масло и патока—в общем, его путь в лабиринте закручивается, как Первый Маршрут в сердце Провиденс, нарочно проложенный так, чтобы приезжий получал ознакомительный тур по городу. Этот трюк с ирисом тут, похоже, стандартная процедура для ориентации, потому что Пират время от времени пересекается с каким-нибудь другим новичком… частенько им приходится какое-то время распутывать свои ирисные пряди, что тоже было спланировано как хороший спонтанный способ знакомства для новоприбывших. Теперь тур выводит Пирата в открытый двор, где небольшая толпа собралась вокруг одного из делегатов *Erdschweinhöhle* в громогласном диспуте с рекламным агентом и о чём же ещё, если не относительно Вопроса Ереси, что уже обернулся камешком в башмаке этой Конвенции, и возможно станет каменным утёсом, что и послужит ей фундаментом. Мимо проходят уличные артисты: акробаты-самоучки головокружительно ходят колесом по мостовой, что выглядит опасно твёрдой и скользкой, хоры казу исполняют попурри из Гильберт&Салливан, юноша с девушкой танцующие не по ровной улице, а вверх-вниз, чаще всего по ступеням маршей, которые пошире, как только там скопится поток пешеходов, чтоб меж них протанцовывать...

Сматывая свой клубок ириса, что становится уже довольно громоздким, Пират минует Биверборд-Роу, так она называется: тут представлены офисы всех Комитетов, наименование каждого прорисованы по трафарету над его входом— А4… IG… НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ… ЛОБОТОМИЯ… САМООБОРОНА… ЕРЕСЬ…

– Конечно, вы всё это видите глазами солдата,– она очень молода, беззаботна, в глупой кругленькой шапочке по нынешней моде, лицо у чистое и достаточно уравновешенное для широкого в плечах, с приподнятой талией, без всякого декольте профиля, которого все они теперь придерживаются. Она идёт с ним рядом размашисто грациозными шагами, помахивает руками, потряхивает головой—тянется отщипнуть от его ириса, касаясь при этом его руки.

– А для вас это всё цветущий сад,– предполагает он.

– Да похоже, вы не такой уж сухой пень, в конце концов.

Ах, до чего они всё ещё его будоражат, эти независимые женщины, не достигшие двадцати, их воодушевление так заразительно.

[Откуда взялся этот оркестр свинга? Она вся просто скачет ходуном, ей хочется пуститься в джиттербаг, утратить гравитацию свою и он навстречу ей делает шаг…]

Послушай, это просто—не, —при, —лично,

Такой улёт, всё—так, —от, —лично,

Про возраст свой забыли все…

Пчёлы в ме—ду

Нам не по—, —ме, —ха,

И на хо—ду

Нас качает от—сме, —ха,

Весельем бурлим у всех на виду

На—чхать что тебе—из—твоей—тачки— кричат,

Не оглянись—и—они—замол—чат,

За—будь, —что,— говорит—твой—ка—лендарь,

В ладони, как пуп—сик, —у, —дарь!

Глаза горят—так, —выра, —зительно,

А смех ей-Бо, —гу, —зара, —зителен,

Нет сил остаться про—сто, зрителем,

Пускаюсь в пляс!

Единственный офис на Биверборд-Роу, что не связан физически с остальными, намеренно размещён в отстранённости, это сморщенная хибара, из крыши торчит печная труба, куски автомобиля, махрово заржавелые, разбросаны по двору, груды дров под расползающимся брезентом дождевого цвета, домик-трейлер с

его покрышками и одним колесом косо опёртыми, в забвении и шелесте холодного дождя, на его облупленные непогодой стенки… АДВОКАТ ДЬЯВОЛА вот что грит вывеска, да, и внутри засел Иезуит на этой должности, проповедовать, как его коллега Тайлхарл де Шарде, против возврата. Явился заявить, что нельзя игнорировать критическую массу. Как только технические средства контроля достигают определённых пропорций, определённого уровня *взаимосвязи* одного с другим, шансы на свободу накрываются безвозвратно. Слово уже перестало что-либо значить. Веские доводы выдаёт тут Отец Рапиер, не без крутых моментов красноречия, пассажей, что и самого его явно трогают… нет нужды даже и заходить туда, в офис, съехавшиеся могут настроиться на волну из любой точки в Конвенции на его страстные выступления, которые часто прорываются в кипучее празднество и юмористы из съехавшихся умников стали уже называть это «Критической Массой» (усекаешь? Не очень многим доходило в 1945, Космическая Бомба всё ещё трепыхается в своём младенчестве, ещё не представлена Народу, так что данный термин возможно было услыхать только в совсем уж как-сверх-умник-супер-умнику базаре). «Думаю, возникла ужасающая возможность теперь, в Мире. И от неё нам лучше не отворачиваться, её должны мы рассмотреть. Допустим, что Они не умрут. Что Им теперь по силам существовать вечно—хотя мы, конечно, продолжим умирать, как всегда и делали это. Смерть послужила для Них источником власти. Нам не составило большого труда подметить это. Раз уж мы тут только однажды, всего лишь на один только раз, тогда мы, несомненно, тут затем, чтобы взять то, что можем, пока можем. Если Они взяли куда больше нашего, и взяли не только от Земли, но и от нас—ну стоит ли возмущаться Ими, коль Они тоже обречены умирать как и мы? Все в одной лодке, все под одной тенью… да… да. Но так ли оно на самом деле? А что если это лучший, и наитщательнейше распространяемый, из их обманов, как известных, так и неизвестных?

Нам остаётся рассмотреть возможность, что мы умираем *только лишь* потому, что этого хотят Они: потому что для Их существования Им нужен наш ужас. Для Них мы питательная среда...

И это должно радикально изменить суть нашей веры. Требовать, чтобы мы продолжили верить в Их моральность, верить, что Они способны плакать, испытывать чувство страха, чувствовать боль, верить будто Они всего лишь создают видимость будто Смерть слуга Их—поверить в Смерть как общего всем нам хозяина—значит претендовать на смелость такого порядка, который, насколько я могу судить, выходит за пределы моих личностных качеств, хотя и не могу расписываться за остальных...» Так, вместо упований на слепую веру, мы, может всё же, оборотимся и примем бой: затребуем от тех, вместо кого мы умираем, причитающееся нам бессмертие. Они, возможно, перестали уже умирать от старости, но всё же могут ещё быть убиты. А если нет то, по крайней мере, мы можем научиться отбирать у Них наш ужас Смерти. Для вампира, какого угодно сорта, найдётся подходящий крест. И хотя бы физические сущности, отнятые у Земли, у нас, можно разложить, раздробить—вернуть по месту происхождения.

Верить, что каждый из Них *умрёт* лично, является также верой в то, что Их система тоже умрёт—что некий шанс на обновление, некая диалектика, всё ещё действует в Истории. Утверждение Их смертности есть утверждением Возврата. Я отмечал определённые преграды на пути становления Возврата... – Это звучит отговоркой, испуг в голосе священника. Пират и девушка, слушая его, замешкались перед залом, куда Пирату надо войти. Неясно пойдёт ли она вместе с ним. Нет, ему бы не хотелось. Помещение оказалось в точности таким, как он и опасался. Неровные заплаты в стенах, откуда выдрали крепёж, и наскоро заштукатурили. Остальные, похоже, дожидавшиеся его, коротали время в играх, где скрытым фактором присутствует боль, Чарли-Чарли, Угадай Кто, и Камень-Ножницы-Бумага. Через следующую дверь доносится плеск воды и исключительно мужское гоготанье, что отдаётся лёгким эхом от кафельной облицовки: «А *теперь*»,– слышится торопливый радиоведущий,– « *пора* что? Поднять— *Мыло!*» Аплодисменты и вскрики хохота, что продолжается неприятно долгое время.

– Поднять Мыло?– Сэмми Хильберт-Шпейс приближается к тонкой разделяющей перегородке заглянуть в дверной проём.

– Шумные соседи,– замечает Немецкий кинорежиссёр Герхардт фон Гёль.– Они когда-нибудь кончают?

– Прывет, Прентис,– кивает чернокожий, которого Пират не узнаёт,– похоже мы тут представляем старую школу.– Это что за, кто эти все— Его имя Сент-Жюст Гросаут,– Большую часть Срока наша Контора пыталась внедрить меня в *Schwarzkommando*. Никого больше это не интересовало. Звучит немного параноидно, но, по-моему, я там оказался один такой... – От настолько вопиющего нарушения секретности, если именно тем оно было, Пират малость опешил.

– Ты бы мог—ну ознакомить меня с оперативной сводкой про это всё?

– О, Джеффри. Бога ради.– Сэмми Хильберт-Шпейс возвращается с пункта наблюдения за игрищами в душевой, потряхивая головой, мешковатые Ливанские глаза безотрывно смотрят вдоль его носа,– Джеффри, к тому времени, когда ты получишь какой угодно отчёт, всё уже переменится. Мы можем сокращать их по твоему усмотрению, но это будет лишь тратой твоей решимости, не стоит, право же, оно того не стоит. Просто посмотри *вокруг*, Джеффри. Присмотрись внимательней, видишь кто тут?

Пират с изумлением видит сэра Стивена Дадсон-Трак в более молодцеватой форме, чем за всю жизнь. Тот в *активном умиротворении* как бы праведный самурай—всякий раз вступая с Ними в бой совершенно готовый погибнуть, без опасений или сожалений. Это удивительная перемена. У Пирата зарождается надежда и на свой счёт: «Когда вы переметнулись?»– Он знает, сэра Стивена не оскорбит его вопрос: «Как это случилось?»

– О, нет, ты же не позволишь, чтоб *этот* лапшу тебе навешал?– а и кто ещё мог бы это быть, с засаленным помпадуром начёса почти такой же высоты, как и само лицо, в котором проступает приплюснутая, пропущенная через мясорубку душа бойца, что не только сигал очертя голову, но и, падая вниз, полон был хреновых предчувствий. Это Еремия («Милосердый») Эванс, хорошо известный политический информатор из Пемброка.– Нет, наш Стивенька не *совсем* ещё готов причисляться к лику святых, так ведь, дорогуша?– Отвешивая тому, игриво, оплеухи по щеке.– А? а? а?

– Нет, если угодю в шарагу таковских как ты,– отвечает рыцарь, по-простолюдски. Но трудно сообразить, кто тут кого подначивает на самом деле, потому что Милосердый Эванс сейчас разражается песней, а певец он никудышный, позор Валлийского народа, фактически—

Помолись за простого стукача,

На свет он вышел из пизды, как и тыыыы—

Не стоит на него ворчать,

Он пашет как подземные кроты…

И когда собою ты доволен,

Спроси себя: а ему каково?

Неужто хуже, что тебя продадут

За пару монет, что кончаются в пару минут,

Чем мытариться всю жизнь из-за того?

– Не думаю, что мне тут понравиться,– Пират, с растущим внутри подозрением, нервно оглядывается.

– Самая худшая часть это стыд,– сэр Стивен сообщает ему.– Преодоление его. Затем твой следующий шаг—ну я говорю как знаток этого дела, но в сущности продвинулся ровно лишь настолько, до преодоления стыда. Теперь перехожу на упражнение по теме «Природа Свободы», знаете ли, размышляя *каждое* ли из моих действий действительно моё или же я всегда делаю то, что Они от меня хотят… независимо от моего *мнения*, понимаете… мне предложено поразмыслить над старинной задачкой Радио-Контроль-Вживленный-в-Голову-при-Рождении—в виде коана, полагаю… Она доводит меня, буквально, до клинического сумасшествия. Скорее всего, именно в этом вся суть. И кто знает что будет *дальше?* Боже милостивый. Мне не узнать, конечно, пока не справлюсь с этим… Не хочу так сразу вас расхолаживать—

– Нет, нет, я думал о другом—вот вы тут все это моя Группа или как? Меня же сюда *назначили?*

– Да. Начинаете догадываться почему?

– Боюсь, что да.– Помимо всего прочего, эти присутствующие, в конце концов, из тех людей, что убивают друг друга и Пират всегда был одним из них.– Я надеялся на—о, это глупо, хотя бы некую долю милосердия… но я сидел в ночном кинотеатре на углу Галахо-Мюз, перекрёсток с добавочной улицей, которую не всегда замечаешь, потому что она под таким необычным углом… у меня шла трудная полоса, протравленное, металлическое время… пахло гадостно, горелым косяком… мне просто нужно было где-то малость отсидеться, где всем без разницы кто ты, что ты ешь или сколько спишь, кого—с кем ты пришёл...

– Прентис, брось, всё нормально,– это Сент-Жюст Гросаут, которого остальные называют «Сам Ты Жесть», когда хотят, чтоб он заткнулся, при подобных вот пассажах, когда всё оборачивается просто сборищем хулиганья.

– Я просто… не могу… то есть если это правда, тогда,– смешок, который ему трудно вызвать из глубины дыхательных путей,– тогда я ничему не изменил, не так ли? То есть, если я вообще не изменял...

Извещение настигло его во время правительственного ролика кинохроники. ОТ КИНЖАЛА-И-ПЛАЩА К ПРИЗНАНИЯМ НАТОЩАК, мерцающий заголовок помигал всем идущим на поправку душам собравшимся для ещё одной долгой ночи в кино без афишной программы—кадр небольшого скопления случайных прохожих, что уставились в запылённую витрину, где-то так глубоко в Ист-Енде, что никто не разберёт где, кроме проживающих там… перекошенный бомбой пол бального зала в руинах скользящий вверх, на заднем плане, но каверзный как батут, если идти по нему, раковинно-выгнутые колонны лепнины склонились внутрь, медная клеть лифта нависает сверху. Прямиком на переднем, полуобнажённое, завшивленное и волосатое создание, приблизительно рода людей, жутко бледное, корчится за растресканными остатками зеркального стекла, скребёт болячки на лице и брюхе, до крови, почёсывается и ищется чёрными от грязи ногтями. «Ежедневно на Смитфилд Маркет, Люсифер Амп выставляет себя напоказ. Что не так уж и удивительно. Многие из демобилизованных солдат и матросов обращаются к общественным службам, чтобы хоть как-то держать душу в теле, по крайней мере. Необычным является то, что мистер Амп работал на *Управление по Спец Операциям*...»

– Там довольно прикольно, в общем-то,– пока камера надвигается для ближнего плана этого индивида,– всего за неделю мне дошло что и как надо...

– Появилось ли у вас чувство, что вы тут свой, которое отсутствовало по возвращении, или—вас всё ещё тут не приняли?

– Они—о, люди, тут люди просто чудесные. Просто отличные. Нет, с этим никаких проблем вообще.

В этот момент с по-епископски возвышенного сиденья позади Пирата, дошёл запах алкоголя и тёплое дыхание, и шлепок по плечу. «Слыхал? ‘Работал на’. Круто, ничего не скажешь. Никто ещё не уходил из Конторы живым, ни один за

всю историю—и никто не уйдёт». В произношении чувствовался аристократизм, к такому Пират стремился когда-то в пору своей беспорядочной юности. К тому времени, когда он решил оглянуться, впрочем, его визитёра уже не было.

– Считай это за некий физический недостаток, Прентис, как все прочие, как отсутствие конечности или малярию… люди живут же как-то… привыкают обходиться, это становится частью ежедневной—

– *Стать* д—

– Всё нормально. «Стать д—»?

– Стать двойным агентом. «Привыкать»?– Он присматривается к остальным. Тут любой смотрится *как минимум* двойным агентом.

– Да… ты докатился до этого, докатился к нам сюда,– шепчет Сэмми.– Отделайся от своего стыда и своих нюнь, молодой человек, потому что у нас нет привычки терпеть такое слишком долго.

– Это *тень*,– вскрикивает Пират,– это работа в тени, навсегда.

– Но подумай о свободе?– грит Милосердый Эванс.– Я не могу доверять даже себе? Так ведь? Разве может человек стать свободнее такого? Если его может продать кто угодно? даже и *он сам*, понимаешь.

– Я не хочу такого—

– У тебя нет выбора,— отвечает Додсон-Трак.— Конторе отлично известно, что ты сюда прибыл. Они теперь ожидают полного отчёта от тебя. Либо добровольно, или же по-другому.

– Но я бы… мог никогда не говорить им— В улыбках, которые они сейчас демонстрируют, расчётливая жестокость, чтобы чуть-чуть помочь ему.– Вы совсем, вы что, мне вовсе не доверяете?

– Конечно, нет,– грит Сэмми.– А ты бы—на самом деле—поверил бы кому-нибудь из нас?

– О, нет,– шепчет Пират. Сейчас на весах его участь. И никого другого. Но всё это ещё в процессе, который Они могут подправить с той же лёгкостью, как и у любого другого клиента. Сам того не ожидая, Пират, похоже, заплакал. Странно. Он ещё никогда не плакал на людях, как сейчас. Но он понял где он, теперь. Появится возможность, в конце концов, сгинуть в безвестности, не посодействовав ни одной живой душе: без любви, презренным, без малейшего доверия, никогда не отомщённым—остаться на дне, среди Обойдённых, его бедная честь утрачена, ни найти невозможно, ни искупить.

Он плачет о людях, местах и вещах оставленных позади: о Скорпии Мосмун, что живёт на Сент-Джонз-Вуд, среди печатных листов музыки, новых рецептов, тесной будки Вайнмаранера, для соблюдения расовой чистоты которого она пойдёт на любые экстравагантные методы, и мужем Клайвом, что иногда показывается дома, о Скорпии живущей в нескольких минутах Подземкой, но теперь утраченной для Пирата навсегда, ни малейшего шанса ни для одного из них появиться опять… о людях, которых он предал по ходу работы на Контору, Англичанах и иностранцах, о Йоне, таком наивном, о Гонгилакисе, о Девушке Обезьянке и сутенёрах в Риме, о Брюсе, который сгорел… о ночах в партизанских горах, когда он оставался наедине с запахом живых деревьев, совершенно влюблённым хотя бы в несомненную красоту ночи… о девушке в Мидланз по имени Виргиния, и о их ребёнке, который так никогда и не родился… о его умершей матери, о его умирающем отце, о невинных и дураках, которые *таки доверятся* ему, несчастные личности, обречённые как собаки, что дружелюбно смотрят на нас сквозь проволочную сетку ограды у городских прудов… плачет о будущем, вполне различимом, потому что оно пронизывает его таким отчаянием и холодом. Ему предстоит перебрасываться от одного высокого момента к другому высокому моменту, стоять при встречах Избранных, быть свидетелем испытаний новой Космической Бомбы— «Ну»,– умное старое лицо подающего ему очки с чёрными линзами,– «вот тебе твоя Бомба...»,– потом оборачиваться к зрелищу жирного жёлтого взрыва на пляже за несколько лиг над волнами Тихого океана… прикасаться к знаменитым наёмным убийцам, да, в живую касаться их рук и лиц… узнать однажды как давно: в самом начале игры, был составлен контракт за его голову. Никому не известно наверняка когда грянет удар—каждое утро, прежде, чем откроются рынки, даже до появления молочника, Они производят Их обновление информации и решают что подойдёт для этого дня. Каждое утро имя Пирата будет в списке и однажды окажется слишком близко к его началу. Он старается держаться до последнего, хотя его переполняет ужас такой неподдельный, такой холодный, что ему на минуту кажется, будто вот-вот потеряет сознание. Позднее, чуть придя в себя, собираясь с духом перед следующим выпадом, он чувствует, что, похоже, покончил со стыдом, в точности как говорил сэр Стивен, да, разобрался со стариной стыдом и сейчас боится, переживает ни о чём другом, кроме как про собственную жопу, свою драгоценную, проклятую, персональную жопу...

– А для покойников найдётся место?– Он услышал вопрос прежде, чем увидел как она его задавала. И не совсем ясно откуда появилась она в комнате. От всех остальных сейчас растекаются выражения мужской зависти, насупленные мины как бы женщина-на-борту-плохая-примета, холод и высокомерие. Так что Пират оставлен один на один с нею и её вопросом. Он протягивает ей клубок ириса, что принёс, как юный Свинёнок Недотёпа возвращал анархисту его бомбу с тикающим часовым механизмом. Но слащавости не пройдут. Они тут для другого: обменяться какой-нибудь болью и парой откровенностей, однако всё в рассеянном стиле текущего периода.

– Да ладно,– с какими ещё идиотскими неприятностями она, по её мнению, сейчас столкнулась,– ты не покойница. Могу поспорить, что даже и фигурально нет.

– То есть, позволяется ли мне приносить с собой моих покойников,– поясняет Катье.– Они ведь, в конце концов, моё *резюме*.

– Мне довольно симпатичен Франс ван дер Грув. Ваш предок. Тот специалист по додо.

Это не совсем то, что она подразумевала своими покойниками. – «Я о тех, кто мертвы напрямую благодаря мне. Кроме того, если Франсу как-то случилось бы заглянуть сюда, вы бы обступили его кругом, вы все, принялись бы наперебой втолковывать ему как глубока его вина. В мире бедняги запасы додо были неисчерпаемы—зачем читать ему лекции про геноцид?

– Уж *ты* бы порассказала ему кое-что об *этом*, а, девонька?- Фыркает Эванс, Валлийский стукач, которому медведь на ухо наступил. Пират направлялся к Эвансу, отставив руки от корпуса в манере салонного бойца, когда вмешался сэр Стивен: «Таких разговоров никак не избежать, Прентис, нам эдакое уже ни по чём. Учись и добивайся, чтоб и у тебя получалось. Нельзя ведь угадать, как долго мы будем в деле, верно? Молодая женщина уже обзавелась всей необходимой ей защитой, как мне кажется. Она не желает, чтобы ты за неё дрался.

Ну он прав. Она кладёт свою тёплую ладонь на руку Пирата и дважды встряхивает головой, со смешками смущённости: «В любом случае, рада вас видеть, Капитан Прентис».

– А больше и никто. Подумать только.

Она лишь приподымает брови. Не нашёл сказать что-то получше этого дерьма. Раскаяние или запоздалое желание остаться чистым, проносится в его крови как наркотик.

– Но— изумлён почувствовать, что начинает *валиться*, как составленные в пирамидку ружья, у её ног, пойманный её притяжением, расстояния отменены, волнообразности неизмеримы,– Катье… если бы я мог никогда не предать вас—

Он пал: она утратила свою гладь. Она смотрит на него в изумлении.

– Пусть даже ценой... предательства других, унижения… или убийства других—не важно кого или скольких, нет, лишь бы служить вам защитой, Катье, вашей абсолютной—

– Но это всё грехи, которые могут никогда и не случиться.– Пожалуйста, они торгуются как пара сутенёров. Они хоть представляют как это звучит со стороны?– *Такое* наобещать довольно просто, ничего не стоит.

– Тогда даже совершённые мною грехи,– возражает он,– да, я совершил бы *их* заново—

– Но это вам также не под силу—так что вы довольно дёшево отделываетесь. Мм?

– Я могу повторять способы,– угрюмее, чем она хотела бы от него.

– О, подумайте... – её пальцы легонечко в его волосах,– *подумайте* о том, что вы делали. Подумайте о всех ваших «резюме» и обо всех моих—

– Но это единственное средство, оставшееся нам теперь,– вскрикивает он,– этот наш дар быть неверными. Опираясь на него, должны мы всё создать… делиться им, как прокуроры отмеривают вам вашу свободу.

– Философ.– Она улыбается.– Вы никогда таким не были.

– Должно быть оттого, что постоянно находился в движении. Я никогда не ощущал *эту неподвижность*... – Они соприкасаются сейчас, без надобности, и всё ж, ни один из них, не избавился полностью от удивления... – Мой младший брат,– (Пират понимает предоставленную ею связь),– ушёл из дому в 18. Я любил смотреть как он спит ночью. Его длинные ресницы… так невинны... смотрел часами... Он добрался до Антверпена. Вскоре он уже шлялся вокруг приходских церквей с остальными такими же. Понимаете о чём я? Молодые, мужчины католики. Обозные пиявки. У них появляется алкогольная зависимость, у многих таких, в юном возрасте. Они избирают определённого священника, чтоб стать его верным псом—буквально ждать всю ночь на пороге его дома, чтобы заговорить с ним, только что вставшим, его бельё, интимные запахи ещё не выветрившиеся из складок его облачения… безумные ревности, ежедневная склока за место, за благосклонности этого Отца или того. Луис начал посещать собрания Рексистов. Он выходил на футбольное поле и слушал призывы Дегреля к толпе, что они должны отдаться потоку, должны действовать, действовать, а там будь что будет. Вскоре мой брат вышел на улицы со своей метлой, вместе с другими провинившимися саркастичными молодчиками с их мётлами в руках… а потом он вступил в Рекс, «царство тотальных душ», и последнее, что я слышал о нём, он жил в Антверпене с мужчиной старше него, по имени Филиппе. Я потерял его след. Мы были очень близки одно время. Люди принимали нас за близнецов. Когда начались массированные ракетные бомбардировки Антверпена, я знал, что это не случайно...

Ну да, Пират сам по себе часовня: «Но я задумался насчёт поддержки вашей церкви… опускаешься на колени и она заботится о тебе… когда действуешь политично, получаешь тот общий толчок, что устремляет тебя вверх—»

– У вас и этого никогда не было, не так ли.– Она и вправду смотрела на него.– никаких чудотворных оправданий. *Нам всё пришлось делать самим*.

Нет, от стыда всё ж не отделаться—только не тут—он должен быть проглочен, уродливый и колкий, и с ним придётся жить, терзаясь, каждый день.

Без раздумий, он оказывается в её объятиях. Это не для утехи. Но раз уж он вынужден стягивать себя зубцами храповика, по одному в день, ему и впрямь необходима такая передышка и миг человеческого тепла: «Как оно выглядело там, Катье? Мне виделось подписанное соглашение. Кто-то воспринимал подобным саду...»– но он знает что она скажет.

– Там ничего нет. Пустошь. Дни напролёт я высматривала признаки жизни. Потом услыхала всех вас тут.– Так они вышли на балкон, грациозные перила, никто не может видеть их изнутри или снаружи: а под ними на улицах, тех улицах, что оба они утратили теперь, полно Людей. Тут прокручивается для Пирата и Катье краткая часть значительно более длинной хроники, анонимная *Любовь к Человеку: Что Довело Меня до Этого*. «Её звали Бренда, её лицо было пташкой с высокомерной машинальной ухмылкой в то утро, она встала на колени и сделала мне минет, и я кончил на её груди. Её имя Лили, ей исполнилось 67 в прошлый август, она читает этикетки на бутылках пива вслух для себя, мы совокупились в стандартной английской позиции, и она похлопала меня по спине и сказала ‘Милый друг’. Его звали Фрэнк, волосы кучерявились у него на лице, у него был несколько колючий взгляд, но приятный, он воровал на Американских военных складах, он ебал меня в зад, а когда кончил, то и я тоже, в него. Её звали Франжела, она была чёрной, с прыщавым лицом, ей нужно было денег на наркотики, её открытость, словно гадюка, извивалась в моём сердце, я сделал ей куннилингус. Его звали Алан, у него были загорелые ягодицы, я сказал, где это ты нашёл солнце, он ответил, оно тут за углом, я удерживал его поверх подушки и вошёл сзади и он плакал от любви покуда я, мой поршень пикантно намасленный, взорвался наконец. Её звали Нэнси, ей было шесть, мы зашли за стену рядом с кратером полным руин, она тёрлась и тёрлась об меня, её молочные ляжечки втискивались и приподымались с моих, глаза её были закрыты, её маленькие светлые ноздри двигались кверху, запрокидывались постоянно, склон обломков скатывался вниз, круто, рядом с нами, мы раскачивались на краю, ещё и ещё, утончённо. Её звали—» ну всё это и многое другое прокрутилось для этой вот молодой пары, достаточно, чтобы понять намерения вздроченного Анонима, продиктованые не чем-то меньшим мегаломаниакального плана половой любви с каждым отдельно взятым Человеком во всём *Мире*—и что когда каждый, каким-то чудесным образом, будет наконец учтён, это и станет приблизительным определением «любви к Людям».

– Получите, ваш лохотрон в Филиалах,– Пират пытается сдобрить ноткой юмора, но не выходит. Он держит сейчас Катье словно, через секунду, зазвучит музыка, и они начнут танцевать.

– Но Люди никогда не полюбят тебя,– шепчет она,– или меня. Неважно, насколько плохо или хорошо устроить для них, мы *всегда* будем плохими. Понимаешь, в каком мы положении?

Он всё же улыбается, как человек ломающий театр о чём-то в самый первый раз. Зная бесповоротность такого движения, из класса таких же необратимых как выхватывание пистолета, он обращает своё лицо вверх и смотрит туда же, сквозь

все неясно громоздящиеся сверху уровни, среда для преступной души любого сорта, любого гадостного товарного цвета, от аквамарина до бежевого, неутешительного, как солнечный свет в день, когда тебе хочется дождика, весь лязг производства и суета на всех тех уровнях, длящихся дальше, чем Пират или Катье могут различить в эту минуту, он подымает своё длинное, своё виноватое, своё навеки порабощённое лицо к иллюзии неба, к реальности давящей сверху тяжести, к её тверди и абсолютной жестокости, пока она прижимается своим лицом к лёгкой впадине между его плечом и солнечным сплетением, на её лице выражение примирения, ужаса согласного на разрядку, а закат продолжается, один из тех, что ненадолго подменяют лица зданий светло-серым, пепельно-мягкими высевками света блеющего над их внешними абрисами, со странно кузнечным заревом на западе, с тревогой пешеходов, заглядывающих в крохотную магазинную витрину на смутного златокузнеца занятого над его огнём работой, которому не до них, напуганных тем, что свет смотрится так, словно гаснет навсегда на этот раз, а ещё более страшащихся, что умирание света отнюдь не что-то частное, *каждый на улице тоже увидел это*… и когда становится темнее, оркестр в этой комнате и вправду, фактически, заиграл, сухо и строго… и канделябры всё-таки зажглись… Телятина по Флорентийски доходит в печах в этот вечер, а выпивка за счёт Заведения, и пьяницы в гамаках,

И весь мир чем-то занят, это сумерки становятся ночью!

Кто знает, какие улицы познали наши ботинки с утра?

Кто знает, сколько бросили мы друзей плакать в одиночку?

Однажды нам приходит пора

Вместе мотив этот день-деньской напевать…

Каждый танцует, в сумерки,

Прочь сон нехороший утанцевать...

И они действительно танцуют: хотя Пират никогда раньше не мог, очень хорошо… они чувствуют себя частью всех остальных, в их движении, и пусть им никогда не случиться быть вольно по полной, однако и это уже кое-что и не по стойке смирно… так что они растворяются теперь в торопливом рое этой танцующей Обойдённости, и их лица, милые, смешные лица, которые они носят на этом балу, увядают, как вянет невинность, угрюмый флирт, и потуги быть добрым...

* * * * * * *

Туман густеет в глотках узких улочек. В воздухе пахнет солёной водой. Мощёные улицы мокры после ночного дождя. Слотроп просыпается в выгоревшей кузнице, под связками закопчённых ключей, чьи замки все утеряны. Он спотыкается наружу, отыскивает колонку во дворе между кирпичными стенами и подвальными

окнами, из которых никто не выглядывает, суёт свою голову под кран и качает помпу, смачивая голову столько, сколько считает нужным. Рыжий кот, вымогая мявканьем завтрак, преследует его от двери к двери. «Извини, Дружище». Завтраком и не пахнет, ни одному из них.

Он подтягивает Чичеринские штаны и направляется вон из города, покидая обрезанные башни, купола подпорченной ярь-медянки плывут наверху в тумане, высокие фронтоны и красная черепица, его подвозит женщина в пустой деревенской телеге. Песчаный чуб лошади дыбится и вьётся, а туман смыкается позади.

В это утро всё предстоит таким, как должно было видеться Викингам, что плыли этим великим водным лугом к югу, до самой Византии, вся восточная Европа их открытое море: поля расстилаются серо-зелёные как волны… у прудов и озёр, похоже, нет чётких границ… вид других людей на фоне океанического неба, даже и вооружённых, долгожданен, как парус после долгих дней плавания...

Народы в движении. Разливается великий, не знающий границ, поток. *Volksdeutsch* из-за Одера, выселенные Поляками и направленные в лагерь у Ростока, Поляки бегущие от Люблинского режима, другие возвращаются домой, глаза обеих партий при встрече их, прикрываются скулами, глаза куда старше того, что заставило их прийти в движение, Эстонцы, Латыши, Литовцы бредущие снова на север, вся их безрадостная овчина в тёмных узлах, ботинки в клочья, песни слишком безрадостны, чтобы петь, разговор ни о чём, Судетцы и Восточные Прусаки туда и обратно между Берлином и лагерями Пе-Элов в Меклебурге, Чехи и Словаки, Хорваты и Сербы, Тоски и Геги, Македонцы, Мадьяры, Влахи, Черкесы, Испанцы, Болгары взболтаны в текучие потоки по поверхности Имперского котла, сталкиваются, продвигаются бок о бок многие мили, утекают прочь, занемелые, безразличные ко всем стимулам кроме самых глубоких, нестабильность слишком далеко под их зудящими ногами,чтобы придать ей какую-то форму, белые кисти и щиколотки, невероятно изношенные, вытарчивают из их полосатых лагерных пижам, шаги легки как у водомерок по этой наземной пыли, караваны Цыган, оси, или колёсные чеки ломаются, лошади дохнут, семьи бросают средства передвижения у дорог для следующих, прийти пережить ночь, день, вдоль добела разжаренных Автобанов, поезда полны своими свисающими с вагонов, что громыхают над головой, жмутся в сторонку для армейских колонн, когда те пересекают, Белорусы озлобленные болью их пути на запад, Казахи бывшие в плену маршируют на восток, ветераны Вермахта из других краёв старой Германии, такие же иностранцы в Пруссии, как остальные Цыгане, тащат свои старые ранцы, завернувшись в армейские одеяла, что остались у них, бледно-зелёные треугольники сельхозработника нашитые на грудь каждой блузы подпрыгивают, плывут, в определённый час сумерек, словно огоньки свечей в церковной процессии—сегодня вроде направлялись в Ганновер, вроде должны были убирать картофель по пути, они гоняются за этими несуществующими картофельными полями уже месяц. «Разграблены»,– бывший трубач прихрамывает в общем потоке, опираясь на длинный отщепившийся от шпалы кусок древесины, его инструмент, невероятно помятый и блестящий, висит

через плечо,– «всё общипали SS, *Bruder, ja*, до последней ёбаной картофелины. А зачем? На спирт. Но не пить, нет, спирт для ракет».—«Что за ракеты?»—«Нет! Но прикинь SS убирают картошку?»– Оглядывается в ожидании смеха. Но никого тут нет последовать, откликнуться на рулады его менее церемониального сердца. Они были пехотинцами и научились вздрёмывать пока нога не коснулась земли—в какой-то утренний час они разойдутся у края дороги, минутный осадок дорожной химии этих натруженных ночей, покуда невидимое кипение продолжается, в долгих разрозненных круговращениях—костюмы в тонкую полоску с намалёванными на спине крестами, излохмаченные флотская и армейская формы, белые тюрбаны, разномастные носки или вовсе никаких, платья в мелкую клеточку, шали плотной вязки с младенцами внутри, женщины в армейских штанах, обрезанных по колено, скребущие блох и лающие псы, что бегают сворами, детские коляски с высоко нагромождённой лёгкой мебелью в исцарапанной полировке, с выдвижными ящичками ручной работы, которым уже никогда ни во что не вдвинуться, украденные куры живьём и придушенные, трубы и скрипки в изношенных чёрных футлярах, постельные покрывала, фисгармонии, дедушкины часы с боем, наборы инструментов по дереву, для часовщиков, шорников, хирургов, картины розовых дочурок в белых платьицах, истекающих кровью святых, розоватых и пурпурных закатов над морем, котомки битком стекляшко-глазыми боа, куклы, улыбающиеся сквозь озверело красные губы, солдатики Алгевера ростом в три сантиметра, окрашены кремовым, золотым, синим, горсти клубники столетней давности замоченной в меду, что услаждала языки прапрадедушек, давно обратившиеся в прах, затем в серной кислоте, чтобы обуглить сахар, коричневый до чёрного, поперёк сласти, бессмертные исполнения на рояле, перфорированные в *Vorsetzer* свитках, чёрное бельё с ленточками, столовое серебро с каймой из цветов и винограда, гранёные графины свинцового стекла, нити янтарных бус… так передвигается население в открытом поле, хромая, маршируя, волоча ноги, кого-то и несут, тащатся среди развалин строя, Европейского буржуазного строя, не зная, что он разрушен навсегда.

Когда у Слотропа есть сигареты, у него легко выдурить, когда у кого-то есть еда, тот делится—иногда бачок водки, если неподалёку имеется скопление войск, можно набрать воинских консервных банок для любого вида полезного производства, из картофельных очисток, арбузных корок, кусочков конфет для сахара, не угадать что пойдёт в эти ПеэЛовские самогонные аппараты, но в конечном итоге пьёшь возгонку отходов какой-то из оккупационных сил. Слотроп тащится с и вне этих дюжин тихих, голодных, шаркающих миграций, всякий раз его колотит как от Безендрина при виде этих лиц—нет ни одного, что он мог бы проигнорировать, в этом проблема, они слишком сильны, как лица толпы на гонках *Нет, меня—глянь на меня, проникнись, вынь свою камеру, своё оружие, свой хуй...* Он содрал все знаки различия с формы Чичерина, стараясь не бросаться в глаза, но, похоже, очень мало кто обращает внимание на эти знаки…

Большую часть времени он один. Он будет подходить к крестьянским домам, по ночам брошенным, и будет спать на сене, или если есть матрас (не часто) на кровати. Просыпаться с солнцем отблескивающим с какого-нибудь озерца в окружении зелени цветущего чабреца или горчицы, салатный склон,

распростёршийся к соснам в тумане. Помидорная рассада и пурпурные наперстянки во дворах, большущие птичьи гнёзда под карнизом соломенных крыш, хоры птиц по утрам, а скоро, с тяжеловесным оборотом лета в небе, курлыканье журавлей на лету.

К фермерскому дому в речной долине далеко южнее Ростока, он подходит укрыться от полуденного дождя, засыпает в кресле-качалке на крыльце и во сне видит Тантиви Макер-Мафика, своего друга из давних времён. Он вернулся, всё-таки и вопреки вероятности. Это где-то в сельской местности, Английской сельской местности, простёганной тёмно-зелёным и удивительно ярким соломенно-жёлтым: с древними, торчащими на взгорках, камнями, первые контракты со смертью и налогами, для деревенских девушек, что выходят ночами на макушку голыми и поют. Члены семьи Тантиви и ещё многих собрались, все в настроении тихого празднества, по случаю возвращения Тантиви. Каждый понимает, что это только краткий визит: что он будет «тут» лишь условно. В какой-то момент всё развалится, если чересчур вдумываться. На лужайке перед домом расчищено место для танцев, тут деревенский оркестр и много женщин одетых в белое. После некоторого замешательства на тему что за чем будет, начинается встреча—она похоже происходит под землёй, не так, чтобы в могиле или склепе, ничего зловещего, здесь полно родственников и друзей вокруг Тантиви, который выглядит таким *реальным*, таким не затронутым временем, очень отчётливым и полным цвета… «Так это Слотроп».

– О, где ты *был*, старина?

– ‘Тут’.

– ‘«Тут»’?

– Да, типа того, начинаешь понимать—после того как пару раз будешь снят таким образом, но я ходил по тем же улицам что и ты, читал те же новости, был ограничен тем же спектром цвета...

– Тогда может это твоя работа, что—

– Я не *делаю* ничего. Это всё по-другому.

Оттенки тут—камень облицовки, цветы украшающие гостей, странные чаши на столах—нанесены по грунтовке крови пролитой и почерневшей, мягко обуглившейся в порожних частях городов в четыре часа пополудни по воскресеньям… что делает резче контуры костюма Тантиви, в духе костюмов жиголо невыразимо иностранного покроя, наверняка ничего подобного он в жизни не одел бы...

– Наверное, у нас немного времени… Понимаю, это низко, и полный эгоизм, но мне так одиноко теперь… я слышал, что когда такое случается, иногда, то как бы задерживаешься на какое-то время, как бы присмотреть за другом, который ‘тут’…

– Иногда.– Он улыбается: но безмятежность и отстранённость простираются бессильным криком не достигающим Слотропа.

– Ты присматриваешь за мной?

– Нет, Слотроп. Не за тобой...

Слотроп сидит на старой обшарпанной качалке, обращённой к волнистой линии холмов и солнцу, что только что спустилось ниже последней из дождевых туч, превратив мокрые поля и копны сена в золото. Кто проходил мимо и видел его спящим, с бледным встревоженным лицом, оброненным на грудь его грязной униформы?

Двигаясь дальше, он обнаруживает, что эти фермы преследуются призраками, но дружелюбно. Дубовые изделия кряхтят по ночам, честно и деревянно. Надоенные коровы с болью мычат на дальних полях, другие приходят и допьяна жуют забродивший силос, шатаются вокруг, врезаясь в заборы и кучи сена где Слотроп смотрит сны, вымукивают мычание с пьяными умлаутами. На гребнях крыш белые-с-чёрным аисты, шеи выгнуты к небу, головы кверх ногами и смотрят за спину, трещат своими клювами с приветом и любовью. Кролики суетливо сбегаются ночью поесть, что попадёт пригодного по дворам. Деревья, ого—у Слотропа напряжённое внимание к деревьям, наконец-то. Когда он оказывается среди деревьев, то уделяет время потрогать их, изучить, сидя очень тихо рядом с ними, понимая, что каждое дерево живое существо, живёт своей индивидуальной жизнью, сознающей что вокруг него происходит, а не просто кусок древесины, чтоб завалить. Семья Слотропа вообще-то делала деньги на убийстве деревьев, ампутировали их от корней, раскалывали, размельчали до древесной пульпы, ту отбеливали для получения бумаги, чтобы им заплатили дополнительной бумагой: «Это просто безумие».– Он качает головой: «В моей семье явные проявления». Он смотрит вверх. Деревья неподвижны. Им известно, что он тут. Они наверно знают также, что он думает: «Простите»,– говорит он им: «Я ничего не могу поделать с этими людьми, они все недосягаемы для меня. Что я могу поделать?» Среднего роста сосна поблизости кивает макушкой и предлагает: «В следующий раз как подойдёшь к лесоповалу тут, найди какой-нибудь трактор без присмотра и унеси его масляный фильтр с собою. Вот что ты можешь сделать».

Неполный Список Пожеланий к Вечерним Звёздам за Этот Период:

Пусть Тантиви будет и вправду жив.

Пусть этот ёбаный прыщ у меня на спине пройдёт.

Пусть я поеду в Голливуд, когда это всё кончится так, чтобы Рита Эйворт смогла меня увидеть и влюбится.

Пусть мир этого дня остаётся тут завтра, когда я проснусь.

Пусть та отставка будет ждать меня в Каксэвене.

Пусть с Бианкой всё будет хорошо, а и—

Пусть у меня поскорей наладится высраться.

Пусть то будет просто метеор, что падает.

Пусть эти ботинки продержатся хотя бы до Любека.

Пусть этот Людвиг найдёт своего лемминга и оставит меня в покое.

Ну да, Людвиг. Слотроп находит его однажды утром на берегу какого-то синего анонимного озера, на удивление толстый мальчик лет восьми или девяти, плачет, весь сотрясается рябью волн жира. Имя его лемминга Урсула и она убежала из дому. Людвиг гнался за нею всё время к северу, аж от Прицвалка. Он знает наверняка, что её путь лежит к Балтике, но боится, что она примет за море какое-то из этих озёр и бросится в него по ошибке—

– *Один лемминг*, малыш?

– Я держал её два года,– рыдает тот,– ей было хорошо, никогда не пробовала—я не знаю. Что-то просто нашло на неё.

– Брось глупить. Лемминги никогда ничего не делают в одиночку. Им надо собраться толпой. Чтобы массово заразиться. Понимаешь, Людвиг, они чересчур размножаются, это случается циклами, когда их слишком много, они впадают в панику и бросаются в поисках еды. Я учил про это в колледже, так что знаю что говорю. Гарвард. Может та Урсула просто ушла найти себе дружка или ещё что.

– Она бы мне сказала.

– Ну извини.

– Русские не извиняются.

– Я не Русский.

– Поэтому ты снял погоны?

Этот вот Людвиг, он может не совсем Нормальный Мозгами. Способен растолкать Слотропа среди ночи, пробуждая половину стоянки ПеэЛов, напугав собак и младенцев, в абсолютной уверенности, что Урсула совсем рядом, прямо там за кругом света от костра, смотрит на него, видит его, но не так как раньше. Он заводит Слотропа в расположения Советских танкистов, в груды руин похожих на гребни морских волн, что обрушиваются вокруг, а если зазеваешься, так и на тебя, как только туда ступишь, а также в засасывающие болота, где осока остаётся у тебя в пальцах, когда пытаешься ухватиться, а вокруг запах

протеиновой катастрофы. Это либо маниакальная вера или что-то малость мрачнее: до Слотропа доходит-таки, наконец, что если уж речь о позывах к самоубийству, то они не у Урсулы, а у Людвига самого—да никакой зверушки может и вовсе нет!

Однако… разве Слотроп, раз или два, не видел что-то? Прошмыгивало впереди вдоль серых узких улочек обсаженных тощими саженцами в том или другом из этих Прусских гарнизонных городов, места, где всё производство и смысл заключался в солдатчине, их бараки и стены, брошенные теперь—или-или сидя на корточках у края какого-то озерца, наблюдая облака, белые паруса шлюпок у противоположного берега, такого зелёного, туманного, и далёкого, получая тайные наставления от вод, движение которых, в лемминговом исчислении, так океанично, необоримо, и достаточно медленно, с виду достаточно прочное, чтоб хотя бы ходить по ним без опаски...

– Вот о чём и толковал Иисус,– шепчет призрак Вильяма, первого Американского предка Слотропа,– выходя на Галилейское море. Он рассматривал его с точки зрения лемминга. Без миллионов других, которые свалились и утонули, чуда бы не случилось. Успешный одиночка был всего лишь оборотной стороной этого: последний кусочек пазла, чьи очертания уже сложены Обойдёнными, как последнее пустующее место на столе.

– *Постой-ка*. У вас же тогда ещё *не было* пазлов.

– О, блядь.

Вильям Слотроп был странным птахом. Он выступил из Бостона и отправился на запад в Имперском стиле, году в 1634 или -5-м, сытый по горло бессменным правлением Винтропа, убеждённый, что может проповедывать не хуже прочих в иерархии, пусть даже без официального рукоположения. Кручи Бёркшира остановили всех в то время, но не Вильяма. Он просто начал карабкаться. Он стал одним из самых первых Европейцев, кто добрался. Когда они обосновались в Бёркшире, он и его сын Джон занялись разведением свиней—перегоняли их обратно по крутизне и через заставу взимавшую сбор в Бостон, гнали просто гуртом, как овец или коров. Пока добирались до рынка, свиньи тощали настолько, что овчинка выделки не стоила, но Вильяма не столько привлекали деньги, как само путешествие. Ему нравилась дорога, переменчивость, случайные встречи в пути—Индейцы, охотники, девки, горцы—а больше всего просто компания тех свиней. Несмотря на устоявшийся фольклор и предписания в его собственной Библии, Вильям полюбил их благородство и свободу личности, их дар тешиться грязью в жаркий день—свиньи в пути, единой компанией, были всем, чем Бостон не был, и можно представить чем конец путешествия, взвешивание, убиение и жуткое безсвинное возвращение в горы, должно было быть для Вильяма. Конечно, он воспринимал это как притчу—знал, что визжащий кровавый ужас в конце заставы полностью уравновешивался всем их счастливым хрюканьем, их беззаботно розовыми ресницами и добрыми глазами, их улыбками, их грацией передвижения по местности. Он жил рановато для Исаака Ньютона, но уже веяло

ощущением действия и противодействия. Вильям, должно быть, ждал ту единственную свинью, которая не погибнет, станет оправданием всем, кому пришлось умереть, всем его Гадаринским свиньям бросившимся в уничтожение, как лемминги, в которых не демоны вселились, но вера в людей, а те её постоянно предавали… вселилась невинность, которую так не смогли утратить… преданы верой в Вильяма, как в иную разновидность свиньи в общем для всех доме Земли, который разделял с ними дар жизни...

Он написал длинный трактат вскоре, назвав его Об Обойдённости. Книжицу пришлось напечатать в Англии, и она была среди первых книг не только запрещённых, но и торжественно сожжённых в Бостоне. Никто не желал слушать о всех Обойдённых, множестве тех, кого Бог минует, когда избирает немногих для спасения. Вильям стоял за святость для этих «Овец второго сорта», без которых не было бы избранных. Можно не сомневаться, Избранные Бостона распсиховались. И стало только хуже. Вильям чувствовал, что кем Иисус был для избранных, Иуда Искариот был для Обойдённых. Всё в Творении Божьем имеет себе равные противуположения. Как может Иисус быть исключением? Разве можем мы чувствовать к нему что-то помимо ужаса как к чему-то неестественному, вне-сотворённому? Ну а если он сын человечий и то, что мы чувствуем, не ужас, а любовь, тогда мы должны любить Иуду тоже. Верно? Как Вильям избежал сожжения на костре за ересь, никому не известно. Надо полагать, имел связи. Его в конце концов вышибли из Колонии Масачусетского Залива—он подумывал о Род Айленде какое-то время, но решил, что антиномисты не более сладкий хрен, чем редька. Так что, после всего, он отплыл обратно в Старую Англию, не столько с позором, как в унынии, и уже там он умер, среди воспоминаний про синие взгорья, зелёные поля маиса, о собирушках с коноплей и табаком у Индейцев, о молодых женщинах в верхних комнатах, с их задранными передниками, милые личика, волна волос по доскам пола, покуда внизу в стойлах лягались лошади и орали пьянчуги, об отправлении в путь спозаранку, когда спины его стада мерцали словно жемчуг, долгий, каменистый и удивляющий путь в Бостон, о дожде на Реке Коннектикут, всхрюки «спокойной ночи» от сотни свиней среди новых звёзд и травы ещё тёплой от солнца отходящего вниз ко сну...

Мог ли он быть дорожной развилкой, куда Америка никогда не ступила, той единственной точкой, с которой она скакнула не туда? Допустим, у Слотропианнской ереси было бы время окрепнуть и расцвести? Стало бы меньше преступлений во имя Иисуса и больше милосердия во имя Иуды? Тайрону Слотропу кажется, что обратный путь возможен—может встреченный им в Цюрихе анархист прав, может на короткое время все ограды повалены, любой путь ничем не хуже другого, всё пространство Зоны открыто, деполяризовано, и где-то внутри пустоши единая сеть координат, которым и надо следовать, без избранных, обойдённых, и даже без национальностей, чтоб не напороть хуйни... Таковы просторы раздумий, что открываются в голове Слотропа, пока он топает вслед за Людвигом. Он бредёт или его ведут? Единственная зримая точка опоры в картине на данный момент это чёртова зверушка-лемминг. Если та существует. Малыш показывает Слотропу фотографии, которыми набит его бумажник: Урсула,

глаза ярки и застенчивы, выглядывает из-под горки капустных листьев… Урсула в клетке украшенной громадной лентой и печатью свастики, главный приз на выставке Гитлеровской Молодёжи домашних зверушек… Урсула и кошка семьи, внимательно следят друг за другом на отрезке пола под кафельной облицовкой… Урсула, передние лапы болтаются, а глаза полусонные, свисает из кармана формы Людвига, Юного Гитлергюндовца. Какая-то часть её всегда смазана, слишком скора для шторки камеры. Даже зная, когда она была совсем крошкой, до чего им придётся дожить, всё равно Людвиг всегда любил её. Возможно надеялся, что любовь способна предотвратить.

Слотропу никогда не узнать. Он теряет юного лунатика в приморской деревне. Девушки в длинных юбках и цветастых платках собирают в лесу грибы, а красные белки скачут в кроне буков. Улицы сплюснуты в город, линзы очков сыграли шутку, в городке не развернуться. Гроздья ламп на столбах. Увесистая брусчатка мостовой песчаного цвета. Тягловые лошади стоят на солнце, помахивая хвостами.

По переулку возле Михельскирхе идёт маленькая девочка, пошатываясь под большущей грудой контрабандных меховых пальто, видны только её коричневые ноги. Людвиг испускает визг, указывая на самое верхнее пальто. Что-то маленькое и серое вставлено в воротник. Искусственные жёлтые глаза с нездоровым блеском. Людвиг бежит с криками Урсула, Урсула, хватается за пальто. Девочка сыплет проклятьями.

– Ты убила лемминга!

– Отпусти, идиот!– Перетягивание каната среди расплывчатых полос солнца и тени на улице.– Это не лемминг, а серая лисица.

Людвиг прекращает кричать, чтобы присмотреться: «Она права»,– отмечает Слотроп.

– Извини,– сопливится Людвиг.– Я немного расстроен..

– Ну так может, поможешь мне отнести это в церковь?

– Конечно.

Оба они ухватывают по охапке мехов и следуют за ней по выбоистому переулку, в боковую дверь, вниз несколько пролётов в подземелье под Михельскирхе. Там в свете лампы первое лицо, что Слотроп увидел, склонившимся над огнём в банке геля Стерно, чтобы присматривать за кипящей кастрюлей, принадлежит Майору Двайну Марви.

* * * * * * *

ЙАААГГГГХХХХ— Слотроп вскидывает свою ношу пальто, готов швырнуть и рвануть наутёк, но Майор лишь улыбается: «Привет, товаришш. Ты как раз вовремя для Атомного Чили от Дуайна Марви! Давай движь стул ближе, садись, а? Яах-ха-ха-ха! Мала Как-там-её притопала»,– хихикает и лапает, пока девочка размещает свою доставку в громадный навал мехов, что заполняет почти всю комнату,– «она типа грубит иногда. Надеюсь, ты ж не думаешь, что мы тут что-то нарушаем, то есть в твоей зоне и всё такое».

– Отнюдь нет, Майор,– подделывается под Русский акцент, получается на манер Бела Лугоши. Марви достаёт свой пропуск всё равно, большая часть написана от руки, тут и там пришлёпнуто печатью. Слотроп прижмуривается на рукописную кириллицу внизу и различает подпись Чичерина.– Ах– Мне доводилось взаимодействовать с Полковником Чичериным раза два.

– Эй, слыхал чё в Пенемюнде было? Куч х'сосов пришли и угнали Дер-Шпрингера прям спод носа Полковника. Ага. Дер-Шпрингера знаш? Крутой гад, товаришш. Эт х'сос так въелся в меха не оставлят места свабод пырпырнимателям как я да старина Чортов Чиклиц.

Старина Чортов Чиклиц, чья мать назвала его Клейтоном, прятался за кипой норковых шапочек, целя .45 в живот Слотропа: «Знаш, он окей, кореш»,– Марви орёт,– «Эй, там, несите нам ишшо таво шампанского, э!» Чиклиц почти такой же толстый, как и Марви и носит очки в роговой оправе, а макушка его головы блестит как и лицо. Они стоят тут, охватив рукой плечи дружбана, два улыбающихся толстяка: «Иван, ты видишь 10000 калорий в день, вот тута»,– указывает большим пальцем на два брюха, с подмигом: «Этат Чиклиц хочит быть Каралесским Младенчиком»,– и тут оба они разражаются хохотом. Чиклиц и впрямь надумал как делать деньги на передислокации. Он вот-вот обтяпает со Спец Службами исключительный контракт на увеселения при пересечении экватора каждым кораблём по переброске войск, что меняет полушария. А сам Чиклиц будет Королевским Младенчиком на всех куда успеет, такое вписано условие. Он грезит о поколениях пушечного мяса, что подползают на коленях, один за другим, приложиться поцелуем к его брюху, пока он заглатывает индюшачьи ножки и порции мороженого и вытирает свои пальцы о волосы этих головастиков. Официально, он тут один из Американских промышленников при Тех-Силах, просматривает Германскую инженерию, особенно секретные вооружения. А дома он владелец фабрики игрушек в Натли, штат Нью-Джерси. Разве кто-то сможет забыть завоевавшего громадную популярность Сочного Япошку, наполняешь куклу кетчупом и тычешь штыком в любую из специальных прорезей и тут игрушка разлетается на куски, всего 82, реалистично податливый пластик, по всей комнате? или-или Пронырa Сэм, игра для развития навыков, где ты должен пристрелить Негра прежде, чем тот сиганёт через забор с арбузом, тренировка рефлекса мальчиков и девочек любого возраста? В текущий момент бизнес идёт сам собою, но Чиклиц держит прицел на будущее. Вот почему он проворачивает этот меховой бизнес, а Михельскирхе служит складом на целый регион: «Экономия. Надо сколотить капиталец для самообеспечения»,– расплёскивает шампанское по золотым чашам для причастия,– «пока увидим как

оно обернётся. Как сам себе кумекаю, огромное будущее за этими V-вооружениями. Большую будут давать прибыль».

Старая церковь пахнет пролитым вином, Американским потом, кордитом от недавней стрельбы, но все эти сырые, недавние вторжения не смогли одолеть преобладающий Католический дух—ладан, воск, столетия кроткого блеяния устами паствы. Дети приходят и уходят, доставляют меха и забирают их, болтают с Людвигом, а вскоре приглашают проверить вагоны на товарной станции.

Всего в списке у Чиклица 30 детей: «Моя мечта»,– признаётся он,– «отвезти всю эту шантрапу домой в Америку, в Голливуд. По-моему, у них есть будущее в кино. Ты слышал про Сесила Б. Де Милла, кинопродюссера? Мой свояк с ним очень близок. Думаю, наверняка можно натаскать их в пении или ещё там что, заключу групповой контракт с Де Миллем. Ему сгодятся для по-настоящему крутых номеров, религиозные сцены, сцены оргий.—

– Ха!– Вскрикивает Марви, облившись шампанским, пуча глаза,– Ты *замечтался* по полной, карифан! Продашь этих детей Де Миллу и будь уверен петь им не придётся. Он использует этих х'сосиков как *рабов на галерах!* Йах-ха-ха—ага, они будут прикованы к вёслам, надрывать жопу и грести для старого Генри Вилкосона в сторону заката на сражения с теми Греками, Персами или кем там ещё!

– Галерными рабами?– рычит Чиклиц– Да, ни за что, Богом клянусь. Для Де Милла меховые шпингалеты на погребут!

Сразу за городской чертой, останки батареи А-4, брошенной где была, когда войска бежали на юг, чтобы не угодить в клещи Британцев и Русских. Марви с Чиклицем отправляются на осмотр и Слотроп тоже приглашён. Но сперва тот вопрос с Атомным Чили Дуайна Марви, который оказывается пробой на мужество. Бутылка с шампанским под рукой, но запивать из неё признак слабости. Когда-то Слотроп клюнул бы, но теперь ему даже и думать не приходится. Пока двое Американцев, ослепнув, испуская пылающими носами невероятные объёмы соплей, переживают то, что авторитетный *Путеводитель Крохобора по Зоне* именует «*Götterdämmerung* слизистой оболочки», Слотроп сидит, прихлёбывая шампанское как шипучку, кивает, улыбается, изредка говорит *da, da*, чтобы казаться не тем, кто он есть.

Они выезжают в указанное место на зелёном, ухмылистом штабном Форде. Марви, как только втиснулся за руль, тут же превращается в алкоманьяка — иииииррррр спалил резину, что хватило бы на гандоны для целой дивизии, с нуля на 70 прежде, чем стихло эхо, пытается переехать велосипедистов налево и направо, разгоняет скотину, пока Чёртов Чиклиц, с бутылкой шампанского в каждом кулаке, его подзадоривает—Марви ревёт «Роза Сан Антонья», его любимую песню, Чиклиц вопит через окно наставлениями, типа «Не подъёбывай Мало́го, он тебя же заебёт, это Ёбарь ещё тот», что продолжается какое-то время

и вызывает лишь пару-другую изумлённых Фашистских салютов от старушек и детворы на обочинах.

Площадка, это выгорелый круг зарастающий зеленью новой травы, посреди рощицы буков и ольхи.

Металл камуфляжного окраса молча стоит среди призрачной толпы запоздалых одуванчиков, серые головы совместно кивают в ожидании светящегося ветра, что сорвёт их в сторону моря, понесёт в Данию и во все точки Зоны. Растащили всё. Машины вернулись к выпотрошенному дизайну их изначальных спецификаций, хотя всё ещё чувствуется запах бензина и смазки. Незабудки растут безудержно синим, отчаянно жёлтым в путанице проводов и шлангов. Ласточки свили гнездо в машине управления, а паук начал заполнять переплёты подъёмника *Meillerwagen*'а своей паутиной. «Блядь»,– грит Майор Марви,– «ёбаные Руски всё поразграбляли, без обид, товаришш». Они протаптывают тропу через зелёные и пурпурные травы. Контрольные вехи, каждая с прибитым сверху клочком белого, всё ещё тянутся цепочкой к передатчику сигнала направления. На восток. Стало быть, то были Русские, кого они пытались остановить...

Красный, белый, синий мелькают из пыли на полу машины управления полётом. Слотроп припадает на одно колено. Мандала *Schwarzkommando*: KEZVH. Он поднимает взгляд к хитрой толстогубой улыбке Марви.

– Да канешна. Как я не врубилси. На тибе ж пагонав нету. Яснааа… ты типа Совейский ВЦИК. Ага ж?– Слотроп отводит глаза.– Эй. Эй, каво ты хошь набуть? А?– Улыбка исчезает,– Оп-па-а-а, тебя ж не Полковник Чичерин падаслал, не? Он ещё тот Руски.

– Поверьте,– подъемля мандалу, крест против вампира,– мой единственный интерес разобраться с проблемой этих чёрных дьяволов.

Улыбка возвращается, толстая пятерня ложится на локоть Слотропу: «Вы нагатовилися их отметелить, как падайдут ищо таваришши?»

– Отметелить? Я не совсем понимаю о чём—

– Ты точна знаш. Канчай. Да эти ж *чёрномазики* стоят лагерем за городам! Эй, Иван, эт *чёрт дери* забава будет! Я сёдни цел день начищал сваво Кольта,– поглаживает свой пистолет в кобуре.– Забацаю сибе шапачку из чёрной шкура какова-нито с х'сосов и я те ни скажу кака его запчасть будит балтаца спозади, а? Ха?– И это так взвеселяет Чёртова Чиклица, что готов задохнуться от смеха.

– Вообще-то,– Слотроп изобретает по ходу того, как говорит,– моя миссия в разведывательной координации,– хрен его знает, что это значит,– в подобных операциях. Моя задача тут, фактически, разведать позиции врага.

– Враг, этта тошна,– кивает Чиклиц.– Они ж при оружии и всё такое. В руках негритоса должна быть только одна вещь, веник!

Марви хмурится: «Ну ты жа не ждёшь от нас, што ща пойдём с табой туда. Магём те разаснить как добираца, таваришш, но ты чокнутый итти туда одиночкой. Чё б не падаждать? Атака ж пойдёт в полночь, ага? Оно те нада? Жди!

– Необходимо собрать информацию заранее,– с лицом для игры в покер, хорошо, хорошо... – не вам мне объяснять насколько это важно... – полная полспудных смыслов пауза Лугоши,– … для *всех* нас.

Так что, ему рассказывают о расположении *Schwarzkommando* и подвозят до города, где бизнесмены подхватывают пару охочих *Fräulein'нок* и укатывают в сторону заката. Слотроп стоит в их выхлопных газах, бормочет:

– В следующий раз нарвёшься уже не на бисквитный торт, ты, жопа с ручкой...

Ему потребовался час, чтобы добраться до лагеря пешком через широкие луга, чей цвет становится всё глубже, словно пропитываясь зелёной краской сквозь свою дрёму… он различает тени каждой былинки тянущиеся общей тенью к востоку… чисто молочный свет всплывает колокольным изгибом повыше почти зашедшего солнца, прозрачно белая плоть, растворяющаяся через множество оттенков голубого, от порохового до тёмно-сталистого в зените… почему он тут, зачем ему это? Это тоже идея Урсулы лемминга, мешаться в личные разборки посторонних людей, когда ему надо… не важно что… эх...

Да! да что сталось с Imipolex G, с тем всем Джамфом, а и с тем S-Gerät, тут нужен твёрдый глаз непредвзятого наблюдателя, да, пойти в одиночку против всех и вся, отомстить за моего друга, которого Они убили, забрать мои Удостоверения и найти тот кусок загадочной детали но сейчас это, о, ПРОСТО Ж КАК—

ИСКА-АТЬ ИГОЛКУ В СТОГУ СЕ-Е-Е-НА!

Ссссс—смотри в инфракаких-то лучах полнолуния,

(Что-то) ухватит тебяаааа!

Ноги шушукаются сквозь травы и растительность лугов, напевают точнёхонько в той бездыханной, запрокинутой манере Фреда Эстейра, когда тот взвешивал свои шансы когда-либо снова найти Джинджер Роджерс по эту сторону их грациозной смертности...

Затем, резко переключается обратно— нет нет, погоди, тебе ж надо трезво спланировать, прикинуть возможные варианты, определить цели в этот критический поворотный момент своей...

Йа— *та-та*, ИСКА-АТЬ ИГОЛКУ В СТО—

Нетнетнетнет брось, Джексон, перестань дурить, надо сосредоточиться... Теперь про S-Gerät—Окей, если получится найти S-Gerät и как Джамф вписывается во всё это, если смогу узнать, да да теперь Imipolex…

—в поисках (хм-м) полного шафраном погребка…

О…

И в этот примерно момент, словно просто кто-то очень захотел и заставил появиться, возникает один-единственный укол иглой в небе: первая звезда.

Пусть я успею предупредить их вовремя.

Они переняли Слотропа между деревьев, тощие, бородатые, чёрные—приводят его к кострам, где кто-то играет на пальцевой арфе, дека выточена из куска Германской сосны, а булавками обрезки рессор Фольксвагена. Женщины в белых ситцевых юбках с узором из синих цветов, в белых блузах, плетёных передниках и в чёрных платках, управляются кастрюлями и жаровниками. На некоторых ожерелья из кусочков страусиных яиц с ножевыми насечками, красные и синие. Большущий кус говядины проворачивается на деревянном шампуре над костром.

Тирлича тут нет, но есть Андреас Орукамбе, нервный как туго натянутый провод, во флотском свитере и армейских штанах. Он помнит Слотропа: « *Was ist los?*»

Слотроп сообщает: «Собираются напасть в полночь. Не знаю сколько будет, но может вам лучше уйти».

– Может,– улыбается Андреас,– Ты ел?

Спор, уйти или остаться, продолжается за ужином. Это не совпадает с тем, как в офицерской школе Слотропа учили принимать тактические решения. Похоже, тут имеются иные соображения, что-то о чём знают Иреро Зоны, а Слотроп нет.

– Мы должны идти куда идём,– Андреас поясняет ему позже,– куда Мукуру хочет, чтоб мы шли.

– О. О, я думал вы тут что-то ищете, как и все другие. Как насчёт 00000?

– Всё в руках Мукуру. Он прячет это там, где хочет, чтоб мы искали.

– Слушай, у меня есть наводка по тому *S-Gerät*.– Он пересказывает историю Греты Эрдман—Хит, нефтеперегонный завод, имя Блисеро—

Это дзинькнуло знакомым звоночком. Грянуло гонгом, фактически. Все переглядываются: «Так»,– Андреас весьма осторожно,– «это имя того Немца, командира батареи применившей *S-Gerät?»*

– Я не знаю *применили* ли они его. Блисеро отвёз женщину на завод, где его либо собирали, либо изготовили какую-то часть его, из пластика, что называется *Imipolex G*.

– И она не сказала где именно.

– Только «это был Хит». Попробуйте найти её мужа. Миклош Танац. Он, возможно, видел и запуск, если тот состоялся. Там происходило что-то необычное, но я так и не узнал что.

– Спасибо.

– Не за что. Можете мне кое-что сказать теперь.– Он вытаскивает найденную им мандалу.– Что это значит?

Андреас кладёт её на землю, проворачивает, пока К смотрит на северо-восток. *«Klar»*,– касается каждой буквы по очереди,– «*Entlüftung»*, это женские буквы. Северные буквы. В наших деревнях женщины жили в хижинах на севернй половине круга, мужчины на южной. Сама деревня была мандалой. Klar это оплодотворение и рождение, *Entlüftung* дыхание, душа. *Zündung* и *Vorstufe* мужские знаки, деятельность, огонь и приготовление, или нарастание. А в центре, вот тут Hauptstufe. Это загородка, где мы держали священный скот. Души предков. То же самое и тут. Рождение, душа, огонь, нарастание. Мужское и женское, вместе.

Четыре стабилизатора Ракеты представляли крест, ещё одна мандала. Номер первый указывал направление куда полетит. Второй регулировка высоты, третий от рысканья и качки, четвёртый для высоты. Каждая из противоположных пар лопаток работала вместе, и двигалась в противоположных смыслах. Противоположности вместе. Теперь понимаешь, отчего могли мы чувствовать, что она говорит с нами, пусть даже мы не поднимали её в позицию с тем, чтобы поклоняться стабилизаторам. И это ожидало нас, когда мы приехали на север, в Германию, очень давно… даже в растерянности, оторванные от корней, какими мы тогда были, мы знали, что наша судьба связана с её собственной. Что армия Трофы переместила нас для того, чтобы мы нашли Агрегат.

Слотроп отдаёт ему мандалу. Надеется, что та сработает как мантра, которую Тирлич говорил ему когда-то, мба-каере (я обойдён), мба-каере… заклинание против Марви в эту ночь, против Чичерина. Мезуза. Пережить плохую ночь...

* * * * * * *

Schwarzkommando захватили Ахтфадена, но Чичерину достался Нэриш. Тот обошёлся ему в Дер-Шпрингера и трёх военнослужащих в медсанбате, с укусами. У одного прокушена артерия. Нэриш прорывался в стиле Эди Мёрфи. Обмен коня

на слона—Нэриш в состоянии наркотического гипноза орал про Святой Круг и Крест Ракетостабилизаторов. Но чёрным неизвестно то, о чём ещё знал Нэриш:

(а) с земли имелась радиосвязь к S-Gerät, но лишь в *таком* направлении,

(б) пришлось решать проблему сервопривода и дополнительной линии кислорода проводимой по направлению к корме от основного бака,

(в) Вайсман не только координировал проект *S-Gerät* в Нордхаузене, но ещё и командовал батареей запустившей Ракету 00000.

Тотальный шпионаж. Кусочек за кусочкам, эта мозаика растёт. Чичерин, без сейфа, носит её в своём мозгу. Каждый кусок и осколочек вписываются. Куда более ценная, чем мозаика Равенны, иногда предстаёт на фоне этого неба крахмального цвета...

Радиосвязь + кислород = форсажная камера некоего рода. Однако Нэриш говорил также об асимметрии, какой-то груз возле третьей лопасти стабилизатора, что усложняло контроль качки и рысканья почти до невозможного.

Но разве та форсажная камера не добавит асимметричного сгорания, и не будет ли нагрев больше, чем конструкция способна выдержать? Чёрт, почему он не захватил хоть *какого-нибудь* специалиста системы двигателя? Или Американцы их всех собрали?

Майор Марви, охотничий нож в зубах и два автомата Томсона упёрты в бёдра, так же ошарашен на поляне, как и остальные атакующие, не в настроении для разговоров. Вместо этого он хмурится и хлыщет водку из бездонного котелка Джабаева. Да пусть *хоть кто* из инженеров двигательного отдела по S-Gerät покажет нос свой в Гармише, уж Марви даст ему прочхаться. Вот так оно делается. Западная разведка, Русские пальцы на спусковом крючке.

О, он *нюхом чует* Тирлича… даже сейчас чёрный возможно смотрит на него из ночи. Чичерин прикуривает сигарету, зелёносинелавандовый огонь оседает в жёлтый… он держит пламя дольше чем нужно, думает а пусть он. *Он не станет. Я бы нет. Ну… может и да...*

Но в эту ночь сблизились на квантовый скачок. Они точно встретятся. Это случится из-за S-Gerät, неважно реален тот или выдумка, неважно работает ли или разбит, они встретятся лицом к лицу. *Тогда уж…*

Ну а пока, что за таинственный агент Советской разведки, о котором говорит Марви? С паранойей тебя, Чичерин. Возможно, в Москву настучали про твою вендетту. Если они собирают улики для военно-полевого, то на этот раз Центральной Азией уже не отделаешься. Готовься к должности Последнего Секретаря посольства в Атлантиде. Сможешь вести переговоры насчёт арестов за наркотики всех утонувших Русских моряков, выправишь своему отцу визы в далёкую Лемурию, на солнечные курорты Саргассова моря, куда сбираются кости

валяться и белеть, и насмехаться над проходящими судами. А за минуту до его отправления на полуденном течении, брошюрки втиснуты меж рёбер, скрутка круизных чеков втиснута в глазницу черепа, скажи ему про его чёрного сына— расскажи ему про тот день с Тирличым в наползающем краю осени. Холодной как смертный холод апельсина присыпанного колотым льдом на террасе отеля в Барселоне *si me quieres escribir* ты уже знаешь, где я остановлюсь… холод в кончике твоего пальца счищающего кожуру, неизлечимо нагрянувший холод...

– Послушай,– Марви уже на поддаче и разозлён,– *када* мы даберёмся до тех х’сосов?

– Никуда не денутся, можешь не сомневаться.

– Ты ба знал ка на *мня* давют с Парижа! Со штаба! Фантастика! Тама навирху есь люди шо им ба покончать тех х’сосов прям щас. А то ж нажмут кнопку и не видать мне Мексиканских шлюх па гроб *жизни*. Типеря сичёш чё те черномазики удумали, *хто-та* должон тармазнуть их покуда не манданули, *блядь*—

– Этот человек из разведки, что ты видел—политика наших правительств легко может совпадать—

– Те в спину не дышит Дженерал Электрик. Дилон… Рид… Стандарт Ойл… блядь...

– Так это так и *надо*, парни,– вмешивается Чёртов Чиклиц.– То ж всё бизнесмены, чтоб правильно вести дела, вместо того, чтоб всем заправляло правительство. Твоя левая рука не знает за чем потянулась твоя *правая*! Вам *понятно*?

– Чё за базар ващще? Политический диспут? Мало опустило, шо *Schwarzkommando* сорвались, нет, ещё не всё, не думай, шо *легко* отделаисся...

– А и как насчёт Герберта Гувера?– Чиклиц вскрикивает.– Он пришёл и *накормил* ваш народ, когда вы голодали. Тут *любят* Гувера—

– Да— Чичерин его прерывает,– что Дженерал Электрик тут делает, кстати?

Дружеский подмиг от Майора Марви: «Мистер Своп был неразлей-вада со старым Рузвельтом, паимаиш? Тада Своп был у нё в Мазгавом Тресте. Евреи пашти все, но Своп окей. Вощем, у ДжиЭл тут связи с Сименс, они работали над управленем V-2, секёшь—

– Своп Еврей,– грит Чиклиц.

– Неа—Чёртов, сам низнаиш чё гриш.

– Я тебе *говорю*— Они впадают в препирательство соковыжималок про этническую принадлежность экс-Председателя ДжиЭл, полное яда и вялой

ненависти. Чичерин прислушивается всего одним ухом. На него наползает лёгкое головокружение. Разве Нэриш, под наркотиками, не поминал представителя Сименс на заседаниях по S-Gerät в Нордхаузен? Да, и ещё человека IG. И разве Карл Шмиц из IG не сидит в совете директоров Сименс?

Марви спрашивать без толку. Он уже слишком пьян, чтобы держаться какой-либо одной темы. «А знаш, я мало чё разбрался када сюда прибыл. Блиадь, я ж думал I.G. Farben то у каво-та имя такое, знаш, шо то какой-та *кент*—алё, это I.G. Farben? Нет, этта его жена, *мизус* Farben! Йааах-ха-ха-ха!»

Чёртов Чиклиц переключился на свою обычную хохму с Элеонор Рузвельт: «На дниах я и мой сын Идиот—то есть, Элиот—пекли пирожные. Пирожные, послать нашим ребиатам за океан. Когда ребиата получат пирожные от нас, они испекут пирожные и пошлют домой, нам. Таким способом *каждому* достаётся пирожное!»

О, Вимпе! Старый V-трудяга, не ты ли это сказал? Что твоя IG станет *истинной моделью держав?*

Так оно доходит Чичерину, тут на просеке, с этими двумя придурками у него под боком, посреди обломков последнего запуска какой-то безномерной батареи, троса застыли на точке, где операторы выключили лебёдки, пивные бутылки валяются там же, куда были брошены последними солдатами в последнюю ночь, настолько явно всё говорит о масштабах разгрома, оперативной смерти.

– И, между прочим.– Смахивает, будто очень большой белый Палец к нему обращается. Его Ноготь великолепно отманикюрен: разворачиваясь к нему, он медленно демонстрирует Отпечаток Пальца, который вполне может оказаться аэросъёмкой Дактилограда, города будущего, где каждая душа на учёте и где никуда не спрячешься. Прямо сейчас, суставы движутся с мягкими гидравлическими щелчками, Палец обращает внимание Чичерина на—

☞ Ракетный картель. Структура пронизывающая каждый орган, людской и бумажный, что когда-либо касался её. Даже в России… Россия покупала от Круппа, не так ли, от Сименса, от IG...

Имеются ли соглашения, на которые Сталин не пойдёт… и даже *не знает* ничего? О, Государство начинает обретать форму в разгосударствленной Германской ночи, Государство охватывающее океаны и поверхностную политику, суверенное как Интернационал или Римская Церковь, и Ракета душа его. IG Raketen. По цирковому яркие, плакатно красные и жёлтые, несчётные кольца, все вращаются вместе. Покручивается продетый в них чинный Палец. Чичерин убеждён. Не столько явными уликами, что обнаружил при передвижениях по Зоне, как из личной судьбы, от которой ему не уйти—всегда упираться в края откровений. В первый раз так случилось с Кыргызским Светом, и всё, что открылось ему тогда, был страх, который всегда будет удерживать его от того, чтобы проникать до конца. Он никогда не пройдёт дальше краёв этого сверх-картеля, что дал ему

знать о себе в эту ночь, этого Ракетогосударства, чьи границы он не может пересечь...

Он будет тосковать о Свете, а о Пальце нет. Печально, весьма печально, похоже все до одного в деле. Каждый крохобор тут работает на IG Raketen. Все кроме него и Тирлича. Его брата, Тирлича. Не диво, что Они охотятся на *Schwarzkommando*… и...

И когда Они узнают, что я не тот, за кого они меня принимают… и с чего это Марви так на меня сейчас смотрит, глаза выпучил… о, не паникуй, не давай пищи его безумию, он просто по эту сторону от… от...

* * * * * * *

В Каксэвен, лето, замедляясь, дрейфует в Каксэвен. Луга гудят. Дождь топочет, проносясь полумесяцем по осоке. Овцы, а изредка пара-другая тёмных северных оленей, будут выходить порыться в морских водорослях на берегу, который не совсем море, и не совсем песок, а удерживается солнцем в пару́, ни то, ни сё... Таким же бредёт и Слотроп, проплывая по раскинувшимся как море лугам. Подобно вехам для заблудившихся путешественников, очертания снова и снова возникают перед ним, Зонные очертания, которые он отмечает, но не прочитывает. Больше уже нет. А оно и без разницы, наверное. Самые устойчивые из всех, что, похоже, вырисовываются в наименее реальное время дня, это высокие фронтоны с лестницами внутри у стольких северо-Германских древних зданий, вздымающихся, застя свет, своей странно влажной серостью, словно поднятой из моря, над этими ровными и очень низкими горизонтами. Они блюдут форму, они устойчивы, как монументы Анализа. Триста лет тому назад математики учились раскладывать взлёт и падение пушечного ядра на ступени дальности и высоты, Δx и Δy, сводя их к всё более и более мелким, приближая к нулю, пока армии вечно уменьшающихся карликов неслись галопом вверх по этим ступеням и снова вниз, топотня их крохотных ног становилась всё тоньше, сглаживаясь в ровный звук. Это аналитическое наследие передавалось неизменным—оно позволило технарям в Пенемюнде просматривать плёнки Аскания о полёте Ракеты, кадр за кадром, Δx и Δy, оставаясь сами вне полёта… плёнка и исчисление, две порнографии полёта. Напоминания об импотенции и абстрагировании, каменные очертания *Treppengiebel*, целые и разбитые, возникают теперь над зелёными равнинами, и держатся какое-то время, и уходят: в тени их дети с волосами как сено играют в *Himmel* и *Hölle*, прыгая на деревенские мостовые с неба в ад, а в небо постепенно, по ступеням, иногда позволяя и Слотропу сделать попытку, иногда исчезая в тёмные проулки, где дома постарше, многооконные и горестные, склоняются вечно к соседним через улочку, почти соприкасаясь над головой, только узкая полынья молочного неба между ними.

С наступлением темноты дети бродят по улицам с круглыми бумажными фонариками в руках, распевают *Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne*… сферы в деревенских сумерках, бледные как души, поющие прощай-прощай ещё одному лету. В прибрежном городке возле Висмара, когда он засыпает в маленьком парке, они окружают Слотропа, чтобы рассказать ему историю про Плечацунга, СвиноГероя, который, где-то ещё в 10-м веке, разгромил нагрянувших Викингов, появился вдруг из удара молнии и загнал ватагу вопящих Норвежцев обратно в море. Каждое лето с той поры, отводился особый вторник, чтобы отпраздновать спасение города—вторник ведь наименован в честь Тора или Донара, бога громовержца, который послал великанскую свинью. Старые боги, даже уже в 10-м столетии, всё ещё пользовались симпатией людей. Донара ещё не сократили в Святого Петра или Роланда, хотя церемония стала проводиться у городской статуи Роланда возле Петерскирхе.

В текущем году, однако, празднование в опасности. Шрауб, сапожник, который исполнял роль Плечацунги в предыдущие 30 лет, был призван прошлой зимой в *Volksgrenadier* и больше не вернулся. Теперь белые фонарики сгрудились вокруг Тайрона Слотропа, подпрыгивая в темноте. Маленькие пальчики тычут его живот.

– Ты самый толстый толстяк в мире.

– Он толще любого в деревне.

– Ты же будешь? Будешь?

– Ну не *такой* уж я и толстый...

– Вот я же тебе говорил, что кто-то подвернётся.

– ... погодите-ка, буду я что?

– Будешь Плечацунгой завтра.

– Ну пожалуйста.

При его мягкотелости в этот период, Слотроп поддаётся. Его вытаскивают из травяной постели в центр, в городское правление. В подвале костюмы и бутафория для *Schweinheldfest*—щиты, копья, рогатые шлемы, мохнатые звериные шкуры, деревянные молоты Тора и трёхметровые молнии в золотой фольге. Свинский костюм малость пугает—розовый, синий, жёлтый, ярко едкие цвета, Германская свинья Экспрессионизма, плюш снаружи, соломенная набивка внутри. Но, похоже, размер тютелька-в-тютельку. Хмм.

Толпа на следующее утро невелика и благодушна: старики и дети, да несколько молчаливых ветеранов. Захватчики Викинги все малолетки, шлемы сползают им на глаза, накидки волочатся по земле, щиты такого же роста как и они сами, а вооружение в два раза выше. Образы великана Плечацунги с белой палкой и красными и синими васильками выплетенные на проволочных каркасах,

обрамляют площадь. Слотроп дожидается, спрятанный позади Роланда, необычайно мрачного субъекта с вылупленными глазами, осиной талией и кудрявой головой. Со Слотропом арсенал фейерверка и его ассистент Фриц, оригинал карикатуры Вильгельма Буша, лет 8-ми от роду. Слотроп немного нервничает, от своей непривычности к свиногеройским фестивалям. Но Фриц опытный дока, и он рассудительно принёс стеклянный кувшин с каким-то жидким мозговредительством настоянным на укропе с кориандром, а выгнанном, если только *Haferschleim* не означает чего-то ещё, из толокна.

– *Haferschleim*, Фриц?– Он хряпнул ещё, жалея, что спросил.

– *Haferschleim, ja*.

– Ну *Haferschleim* лучше, чем ничего, хо, хо… – Чем бы оно ни было, но без задержки бьёт по нервным центрам. К тому времени как Викинги, под церемониальным духовой хорал местного оркестра, пыхтя дотащились до статуи, построились рядами и потребовали сдачи города, Слотроп отмечает, что его мозг не дотягивает до присущей ему чёткости. В этот момент Фриц зажигает спичку, и разверзаются врата ада, ракеты, Римские свечи, вертушки-трахалки и—ПЛЕЕЧЧА-ЦУНГГА! Громадный заряд чёрного пороха выбрасывает его на открытое место с опалённым задом и завитушкой хвоста распрямившейся колом. «О, да, всё так, агаа...»– Вихляясь, с широчайшей ухмылкой, Слотроп выкрикивает свои слова: «Я гнев Донара—и сегодня вы будете мне наковальней!»– Прочь все они бросились от души вопящей погоней по улицам, под ливнем белых цветов, малышня пищит, вниз к воде, где каждый начинает плескаться и макать любого, кто подвернётся. Горожане откупоривают пиво, вино, хлеб, творог, колбасу. Золотисто-коричневые *Kartoffelpuffer* снимаются, капая жаром из жира в чёрные сковороды на костерках торфа. Девушки начинают поглаживать рыло Слотропу и бархатные бока. Город спасён ещё на один год.

Мирный, пьяный день, полный музыки, запахов морской воды, топи, цветов, жареного лука, пролитого пива и свежей рыбы, над головой облачка цвета инея раздуваются по синему небу. Бриз достаточно прохладен, чтоб Слотроп не взопрел внутри своего свинского костюма. Вдоль всей линии берега, сине-серые леса дышат и мерцают. Белые паруса тянутся в море.

Слотроп возвращается из коричневой трубочнодымной-с-капустой задней комнаты маленького кафе после часа игры молот-в-кузнице—мечта любого парня—с ДВУМЯ дородными юными дамами в летних платьях и туфлях на деревянной подошве, обнаружить, что толпа начала сбиваться в группки из трёх-четырёх. О, блядь. Не сейчас, погоди ты... Тугая схватка в дыре его жопы, голова и живот раздуты овсяной брагой и летним пивом, Слотроп сидит на куче сетей и пытается, многого захотел, конечно, встряхнуть себя до протрезвления.

Эти появляющиеся в толпе водоворотики обычный признак чёрного рынка. Сорняки паранойи начинают распускаться полным цветом, тёмно-зелёным, посреди этого сада и полуденных безмятежностей. Последний в своём роду и как

далеко откатился—ни один другой Слотроп никогда не проникался таким страхом от присутствия Коммерции. Газеты уже разостланы на камнях мостовой, чтобы покупатели могли высыпать на них содержимое банок кофе, удостовериться, что всё это *Bohnenkaffee*, а не тонкий слой его поверх эрзаца. Золотые часы и кольца возникают с отрывистыми взблесками на солнце из пропылённых карманов. Сигареты мелькают из рук в руки вперемешку с обвислыми, засаленными и беззвучными Рейхсмарками. Малыши играют возле ног, пока взрослые торгуются на Польском, Русском, северо-Балтийском, Нижненемецком. Несколько в стиле ПеэЛов тут же, немного безличностный, просто мимоходный, торговля на ходу, в движении, почти типа ах да чуть не забыл… откуда все они взялись, эти серые торгаши, какие тени в *Gemütlichkeit* этого дня таили их?

Материализуясь из таинственной тиши их ведомства, теперь показываются полицаи, два чёрно-белых автобуса полны сине-зелёных униформ, белые нарукавные повязки, ведёрки шапок со звёздной пылью знаков различия, дубинки уже выдернуты, чёрные членозаменители в нервных руках, подрагивают, готовые к применению. Водовороты в толпе пропадают мгновенно, ювелирные изделия звякают о мостовую, сигареты рассыпаются и затаптываются стадом бегущих гражданских, среди враз возникшего мусора из часов, военных орденов, шёлковых тканей, рулончиков купюр, розовых картофелин, каждый глазок которых вытаращен в тревоге, пальцы длинных, по локоть, перчаток козлиной кожи хватаются за небо, вдрызг разбитые электролампочки, Парижские тапочки, золочёные рамы картин с натюрмортами брусчатки внутри, кольца, броши, совсем уже безхозные, все слишком напуганы.

Чему удивляться. Полицаи подавляют эти трансакции в точности как, должно быть, разгоняли анти-Нацистские выступления до Войны, валят с этими своими, хмм *ja*, с этими гнущимися дубинками, глаза выцеливают малейшую угрозу, воняют кожей, волоснёй помышек взмокрелой от их собственного страха, сметают ребятишек по-трое-за-раз, обыскивают девушек и стариков, заставляют снимать и вытряхивать даже обувь и нижнее, тыча и рассыпая удары неустанной дубиночной страды посреди плача детишек и женского визга. Под натренированностью и ликованьем, ностальгия по дням былого. Война была, должно быть, тощими годами для разгона толп, тебе в удел оставались убийство и хандра, скорее всего. Но теперь, стоит задача защиты Белого Рынка, тут опять целые улицы полные тел жаждущих этого *erste Abreibung*, и можешь биться об заклад, лягаши от счастья себя не помнят.

Скоро к ним подтягивается Российское подкрепление, три грузовика молодых Азиатов в гимнастёрках, которые, похоже, вообще не знают где это они, просто привезли откуда-то где очень холодно и очень далеко к востоку. Из своих кузовов, как футболисты высыпавшие на поле, выстраиваются в линию и начинают очищать улицу, тесня толпу к воде. Слотроп в самой гуще всего этого, затолкан, спотыкаясь задом наперёд, маска свиньи отрезает половину поля зрения, пытается прикрыть кого только сможет–пару детишек, старушку, что перед этим толкала нитки для вязания. Первые удары дубинок угодили в соломенную набивку поверх его живота и не очень-то чувствуются. Гражданские валятся слева и

справа, но Плечацунга не отступает. Может утром была всего лишь генеральная репетиция? Ждут ли от Слотропа, чтобы отбил настоящее вторжение иноземцев? Крохотная девчушка уцепилась за его ногу, выкликая имя *Schweinheld*'а уверенным голоском. Пожилой фараон, годы взяток и привольной жизни на внутреннем фронте в его лице, набегает с замахом дубинки в голову Слотропа. Свинья-герой уворачивается и лягает свободной ногой. Как только фараон согнулся, полдюжины гражданских с криками подскакивают освободить его от шапки и дубинки. Слёзы, взблёскивая на солнце, катятся из усохших глаз. Потом стрельба пошла откуда-то, все в панике, чуть не снесли Слотропа с ног, малышка сорвана с его ноги и затерялась в бегстве навсегда.

Из улицы в гавань. Фараоны перестали бить людей и начали подбирать добычу с мостовой, но теперь уже подступают Русские и многие из них уставились на Слотропа. К счастью, одна девушка из кафе показалась как раз вовремя, берёт его за руку и тащит следом.

– Есть ордер на твой арест.

– Ещё чего? Они и без бумажек работают вовсю.

– Русские нашли твою форму, думают, что ты дезертир.

– Уж это точно.

Она уводит Слотропа к себе домой: в его костюме свиньи. Они лежат за желтизной спермы на простыне устремлённой к потолку, тесно прижавшись на узкой кровати с лакированными столбиками по углам. Её мать нарезает свёклу на кухне. Оба их сердца колотятся, у Слотропа из-за опасности, у неё за него. Она рассказывает как жили её родители, её отец печатник, женился во время своих переходов, годы текущего странствия дошли уже до десяти, ни словечка где он и что с 42-го, когда прислал открытку из Нойкёльна, где он переночевал одну ночь у друга. Всегда какой-то друг, Бог знает в скольких задних комнатах, каютах, типографиях спал он всего одну ночь, дрожа, завернувшись в старые номера *Die Welt am Montag*, зная, что везде найдёт хотя бы пристанище, как любой из *Buchdrucherverband*, зачастую обед, почти наверняка неприятности с полицией, если задержится слишком надолго—это был хороший профсоюз. Они держались Германских радикальных традиций, не тянули за Гитлера, когда остальные профсоюзы подстроились. Это затрагивает личные Пуританские надежды Слотропа на Слово, Слово сотворило типографскую краску, проживающую с антителами и дыханием в железных оковах в крови доброго человека, хотя его Миром всегда будет *Мир в Понедельник*, с его холодным режущим лезвием, отсекающим наималейшую иллюзию комфорта, которую буржуазия принимает за реальность… набирал ли он листовки против безумия в его стране? Был арестован, изувечен, убит? У неё есть его снимок в отпуске, где-то в Баварии, с водопадом, заснеженными пиками, загорелое лицо без возраста, Тирольская шляпа, подтяжки, ноги расставлены вечно наготове сорваться в бега: картинка остановила, сохранила тут, единственный способ удержать его, перебегающего из

комнаты в комнату в его холодных Красных предместьях, масонские ночь за ночью… их фартучный и кухонный способ пускаться вечером или порожним днём в изучение Δх’ов и Δу’ов его бродяжного духа, в бегах—изучать как меняется он за отрезок падения ножа шторки, что успевало услышаться ему в воде, бегущей, как и он всегда, в пропавшей тиши, позади него, уже позади.

Даже теперь, лёжа рядом с чужаком переодетым свиньёй, её отец мимолётная частица Слотропа, или кто там ещё лежал тут раньше, нелетучий, и выслушивал то же самое обещание: «Я пойду с тобой куда угодно».– Ему видятся они шагающими по железнодорожному мосту, сосны на длинных склонах гор вокруг, осенний свет солнца и холод, полдень, её лицо на фоне какой-то высокой бетонной конструкции, отсвет бетона косо опускается с обеих сторон вдоль её скул, сливаясь с её кожей, смешиваясь со своим собственным светом. Её неподвижная фигура в чёрной шинели над ним, светлые волосы напротив неба, он сам на верху металлической лесенки на товарной станции, смотрит вверх на неё, все их стальные дороги внизу пересекаются и ответвляются во все концы Зоны. Они оба в бегах. Вот что ей нужно. Но Слотроп просто хочет полежать неподвижно рядом с биением её сердца недолго… разве не этого желает каждый параноик? Усовершенствовать виды неподвижности? Но те приближаются, от дома к дому, в поисках своего дезертира, и это Слотропу надо уходить, а ей оставаться. На улицах громкоговорители, дребезжа их металлическими глотками, объявляют ранний комендантский час на эту ночь. Через какое-то окно в городе, лёжа в какой-то кровати, уже пробираясь по краю полей сна, дремлет малыш, для которого металлический голос с иностранным акцентом знак ночного покоя, чтобы слиться с одичалыми полями, с дождём на море, собаками, с запахами готовящейся пищи из чужих окон, с грязью дорог… слиться с этим безвозвратным летом...

– Луны нет,– шепчет она, глаза подрагивают, но она не отводит их.

– Каким путём лучше покинуть город?

Она знает сотни таких. Его сердце, кончики пальцев, щемят от стыда.

– Я тебе покажу.

– Тебе не обязательно.

– Я так хочу.

Её мать даёт Слотропу пару плюшек заныкать под его костюм свиньи. Она бы нашла ему во что переодеться, но вся одежда её мужа пошла в обмен на продукты на *Tauschzentrale*. Его последняя картинка о ней обрамлена светом её кухни, через окно, увядающая золотистая женщина, голова склоняется к плите с единственной закипевшей кастрюлей, обои в цветах тёмно-оранжевых и красных, позади её отвернувшегося лица.

Дочь ведёт его через низкие каменные стенки, вдоль кюветов, сквозь дренажные штольни, к юго-западной окраине города. Далеко позади них часы на Петерскирхе бьют девять, незрячий Роланд под ними продолжает пялиться через площадь. Белые цветы опадают, один за другим, с образов Плечацунги. Трубы электростанции вздымаются, призрачно, бездымно, нарисованные на небе. Ветряная мельница поскрипывает за городом.

Городские ворота высоки и тощи, со ступенями в никуда выше них. Дорога прочь поворачивает через стрельчатый проём, уходит в ночные луга.

– Я хочу уйти с тобой,– Но она не движется сделать шаг сквозь арку вместе с ним.

– Может, я ещё вернусь.– Это не ложь бродяги, они оба уверены, что кто-то вернётся через год примерно в эту же пору, может быть *Schweinheld* следующего года, кто-то достаточно подходящий… а если имя, досье не полностью совпадают, ну кто в них верит? Она дитя печатника, она знает что к чему, она даже научилась у него управляться с *Winkelhaken* довольно ловко, как набрать строку и как снять её, «Ты Майский светлячок»,– шепчет она, и целует его на прощание, и стоит, глядя вслед, всхлипывающая неподвижная девушка в халатике и в армейских ботинках возле одиноких ворот. «Спокойной ночи...»

Смышлёная девушка, спокойной ночи. Что у него есть для неё кроме прощального кадра бредущей свиньи, в пёстром, сливающемся со звёздами и штабелями брёвен, сгодится поставить рядом с фото обездвиженного отца её детства? Он олицетворяет побег, хотя уже не вкладывая душу, но всё равно разучился уже оставаться... Спокойной ночи, там комендантский час, заходи обратно, обратно в свою комнату… спокойной ночи...

Он держится открытой местности, спит, когда слишком одолеет усталость, солома и бархат укрывают его от холода. Однажды утром просыпается в низине между стеной буков и ручьём. Солнце восходит и жуть как холодно, и словно чей-то тёплый язык шершаво лижет его лицо. Тут он уставился в рыло другой свиньи, очень толстой и розовой свиньи. Она хрюкает и улыбается дружелюбно, помаргивает длинными ресницами.

– Погоди. А как тебе это?– Он надевает свиную маску. Она минуту всматривается, потом придвигается к Слотропу и целует его, рыло в рыло. С них обоих капает роса. Он спускается за нею к ручью, снова снимает маску и ополаскивает лицо водой, пока она пьёт рядом с ним, причмокивает, умиротворённо. Вода прозрачна, оживлённо бежит, холодна. Круглые камни постукивают под ручьём. Звук резонирующий, музыка. А и стоило бы посидеть день и ночь, вникая и отвлекаясь, слушать расходящиеся звуки воды и камней...

Слотроп голоден: «Пошли. Нам надо найти завтрак».– У небольшого пруда рядом с крестьянским домом свинья обнаруживает деревянный кол, вбитый в землю. Она начинает подкапывать вокруг него. Слотроп расшвыривает вырытую землю ногами и находит кирпичный склепик набитый картошкой год назад: «Тебе в

самый раз»,– когда она с охоткой припала к находке,– «но я не могу это есть».– Небо сверкает в спокойной поверхности воды. Вокруг, похоже, никого. Слотроп отходит проверить дом. Высокие белые маргаритки растут по всему двору. В окнах под нависающей сверху стрехой темно, дымок не вьётся из трубы. Но курятник на заднем дворе обитаемый. Он снимает толстенную белую курицу с её гнезда, запускает осторожную руку за яйцами— *ПЫККОО* она взбесилась, хочет отклюнуть ему руку нахрен, подружки стремглав сбегаются снаружи, куд-кудахчут как тысяча чертей, а тут ещё эта курица продёрнулась крыльями сквозь деревянные рейки загородки, так что не может влезть обратно, но слишком толста от подмышек и вниз, чтоб протиснуться наружу до конца. И вот так, там она застряла, хлопает крыльями и орёт, пока Слотроп ухватил три яйца и пытается втащить крылья обратно, к ней. Непростое занятие, из раздела смотри не свихнись мозгами, особенно когда стараешься держать осторожнее те яйца. Петух нарисовался на пороге, орёт *Achtung, Achtung*, дисциплина в его гареме рухнула к чертям собачьим, оглушительное белое перекати-поле из кур куролесит по всему курятнику, и кровь течёт из Слотропа уже в шести местах.

Потом он слышит лай собаки—пора завязывать с этой курицей—выскакивает наружу, видит даму в её прикиде вспомогательных сил Вермахта, метров с 30 целит из ружья и пёс мчит с рычанием, клыки наружу, прямиком к горлу Слотропа. Тот заскакивает за курятник, секунда в секунду как из дула шарахнуло *гутен морген*. Тут появляется свинья и отгоняет собаку. Они сматываются, яйца в люльке свиной маски, дама вопит, куры подымают дым коромыслом, свинья галопом рядом с ним. Заключительный грохочет выстрел, но они уже вне досягаемости.

Пройдя около мили, они останавливаются на привал для завтрака Слотропа: «Отличное представление»,– ласково похлопывает свинью. Она присаживается, затаив дыхание смотрит безотрывно, как он ест сырые яйца и выкуривает половину сигареты. Затем они снова отправляются в путь.

Вскоре они стали заворачивать к морю. Свинье, похоже, охота проверить куда она путь держит. Очень далеко над другой дорогой, висит громадная туча пыли, может быть, Русская колонна на лошадях. Подрастающие аисты пробуют свои крылья над полями и копнами. Верхушки одиночных деревьев нерезко-зелёные, словно случайно смазаны рукавом. Коричневые ветряные мельницы вертятся на горизонте, над милями красной земли вперемешку с соломой.

Свинья всегда весёлый друг,

Кабан, свиноматка, подсвинок,

Пусть вдрызг у тебя развалился ботинок

Пусть беды горой навалились,

И все норовят лохануть тебя вдруг,

И все на тебя ополчились,

Знай: в беспросветности вокруг,

Свинья тебя не подведёт,

Свинья самый верный друг!

С наступлением ночи они зашли в полосу леса. Туман заползает в низины. Заблудившаяся недоенная корова жалуется где-то в темноте. Свинья и Слотроп укладываются спать между сосен увешанных обрывками фольги, туча Британского окна ссыпанная для отвода глаз Германских радаров в давнишнем рейде, целый лес Рождественских деревьев, мишура рябит под ветром, отблескивает светом звёзд, безмолвное, льдисто-холодное поле пламенеющих крон над их головами всю ночь. Слотроп часто просыпается, видит, что улёгшаяся на хвое свинья присматривает за ним. Не так, чтоб из-за какой-то опасности или взвинченных нервов. Наверное, она решила, что за Слотропом нужен присмотр. В свете от фольги она такая гладкая вся и выпуклая, щетина смотрится ровной, как пух. Похотливые мысли проскальзывают на ум Слотропа, маленькая странность тут, знаешь ли, хех-хе, ничего такого, с чем он не справился бы... Они засыпают под наряженными деревьями, свинья бродячий восточный волхв, Слотроп в его костюме, пёстрый подарок дожидающийся утра и младенца, которому он достанется.

На следующий день, около полудня, они заходят в медленно увядающий город, одинокий на Балтийском побережье и гибнущий из-за отсутствия детей. Знак над городскими воротами из перегоревших лампочек и пустых электропатронов складывается в ЦВЁЛЬФКИНДЕР. Громадное колесо обозрения, доминирующая примета на много миль вокруг города, малость перекосилось, угрюмая старая экономка, солнце высвечивает длинные полосы ржавчины, бледное небо сквозь железную обрешётку, что роняет свою длинную перекошенную тень в тёмно-фиолетовое море. Ветер испускает кошачьи призывы в и из лишённых дверей домой и залов.

– Фрида,– зовёт голос из синей тени позади стены. Хрюкая, ухмыляясь, свинья полнится гордостью—смотри, кого я привела домой. Вскоре худой веснушчатый человек, почти лысый: выступает на солнце. Взглянув на Слотропа, нервно, он протягивает руку почесать Фриду за ухом.– Я Пёклер. Спасибо, что привели её домой.

– Нет, нет—она меня привела

– Да.

Пёклер живёт в подвале городского совета. У него есть кофе, вскипающий на полыхающем в плите плавняке.

– Вы играете в шахматы?

Фрида лезет со своими подсказками. Слотроп больше опирается на суеверие, чем на стратегию, всё внимание уделяет защите своих коней, Шпрингера и Шпрингера—готов пожертвовать остальным чем угодно, думает на ход или два вперёд, если вообще думает, попеременно впадает то в долгое летаргическое раздумье, то в идиотическую суетню, что заставляет Пёклера хмуриться, но не беспокоит. Когда Слотроп теряет свою королеву: «Погоди-и-те, минутку-минуточку, так вы сказали *Пёклер*?»

Вжик мужик выхватывает Люгер величиной с дом—шустряк однако—дуло целит точно в голову Слотропа. На секунду Слотроп, в своём свинском костюме, думает, что Пёклер думает, что он, Слотроп, подурачился с Фридой Свиньёй и тут предстоит свадьба под ружейным дулом, дулом Люгера в данном случае, фраза « *в горе и в радости, в здоровье и болезни*» заскакивает к нему в мозг прежде, чем Пёклер *на самом деле* произносит: «Вам лучше уйти. Пара лишних движений и я вас уложу в любом случае».

– Позвольте хотя бы расскажу свою историю,– трещит не умолкая про информацию в Цюрихе, с упоминанием имени Пёклера, про Российско-Американо-Иреровский поиск S-Gerät’a, в то же время думая, типа как параллельно, не был ли прав Оберст Тирлич насчёт того, что становишься аборигеном Зоны—начинает обзаводиться идеями, фиксированными и слегка, ах, эротичными понятиями относительно Судьбы, не так ли, Слотроп? а? прослеживает маршрут в обратном направлении, которым свинья Фрида привела его, стараясь припомнить развилки, где могли бы свернуть в другую сторону...

– *Schwarzgerät*,– покачивает Пёклер головой,– я не знаю что это такое. Никогда не интересовался. Это действительно всё, что вам нужно?

Слотроп призадумывается. На их чашки с кофе падает свет солнца из окна и отскакивает вверх в потолок, покачивающимися эллипсами синевы. «Не знаю. Кроме той типа личной связи с *Imipolex G. . . .*»

– Это ароматический полиамид,– Пёклер прячет пистолет обратно под свою рубашку.

– Расскажите мне о нём,– грит Слотроп.

Ну но не раньше, чем он рассказал что-то про Ильзе и её летние возвраты, достаточно для Слотропа, чтобы снова ухватило за шкирку и ткнуло носом в мёртвую плоть Бианки... Ильзе, получившая отца на серебристом пассивном образе Марго Эрдман, Бианка, зачатая при съёмке именно этой сцены, что заполняла мысли Пёклера, когда тот впрыскивал фатальный заряд спермы внутрь—разве могут они быть не одним и тем же ребёнком?

Она всё ещё с тобой, хотя всё труднее различается с течением дней, почти невидима, как серый лимонад в наполненной сумерками комнате… всё же она тут, прохладная и едкая со сладким, ждёт, чтобы проглотил до самых своих глубинных клеток, чтобы стать частью твоих самых горестных снов.

* * * * * * *

Пёклер таки может кое-что рассказать про Ласло Джамфа, но постоянно отвлекается на болтовню про фильмы, Германские кинофильмы, о которых Слотроп и слыхом не слыхивал, не то чтобы видеть… да тут просто фанат-киновед тебе, и не меньше— «В День Высадки»,– признаётся он,– «когда я услышал как генерал Айзенхауэр по радио объявляет о вторжении в Нормандию, то вправду подумал, что это Кларк Гейбл, вы замечали когда-нибудь? Голоса такие *идентичные*...»

В последнюю треть его жизни, на Ласло Джамфа нашла—так казалось тем, кто из лесов лекционного зала наблюдал как медленно гранулируют его веки, лик обрастает пятнами и морщинами, разрушающими его в старческий возраст—некая враждебность, странно персональная ненависть в отношении ковалентной связи. И убеждённость что, если синтезу предстоит иметь будущее вообще, связь должна быть усовершенствована—некоторые студенты прочитывали «превзойдена». Что нечто настолько изменчивое, столь *податливое*, как общее пользование электронами между атомами углерода должно было лечь в основу жизни, его жизни, уязвляло Джамфа как насмешка космических масштабов. *Общее пользование?* Насколько более прочной и вечной являлась *ионная* связь—при которой электронами не делятся, но их захватывают. *Схвачены!* и удержаны! поляризованы плюс и минус, таковы атомы, никаких неясностей… как полюбил он эту определённость: до чего стабильным являлось оно, это минеральное упорство!

– Как бы ни восхваляли мы Рассудочность,– говорил он классу Пёклера ещё в Т.Ш.– умеренность, готовность к компромиссам, тем не менее, всегда остаётся лев, лев в каждом из вас. Он либо укрощён—слишком большими дозами математики, деталями дизайна, корпоративными ритуалами—либо остаётся диким, вечным хищником.

– Льву неведомы тонкости и полумеры. Он не приемлет общего пользования в основе хоть чего-либо! Он хватает, он держит! Он не Большевик и он не Еврей. Вам никогда не нужно опасаться относительности со стороны льва. Ему желаннее абсолют. Жизни и смерти. Победы и поражения. Ни перемирий, ни договорённостей, но радости прыжка, рыка, крови.

Если это было химией Национал-Социализма, то вините то самое нечто-витающее-в-воздухе, тот самый *Zeitgeist*. Кроме шуток, вините их. Проф.-Доктор Джамф не имел иммунитета. Не обладал им и его студент Пёклер. Однако благодаря Инфляции и Депрессии, у Пёклера с идеей «льва» увязалось человеческое лицо, лицо из кинофильмов *natürlich*, лицо актёра Рудольфа Кляйн-Рогге, которому Пёклер поклонялся и на кого хотел походить.

Кляйн-Рогге уносил аппетитных актрис на верхушки крыш, когда Кинг Конг ещё титьку сосал, не имея двигательных навыков достойных такого определения. Ну

одну аппетитную актрису во всяком случае, Бриггиту Хелм в *Метрополисе*. Бесподобный фильм. В точности тот мир, о котором Пёклер и до хренища кто ещё мечтали в те дни, Корпоративный Город-Держава, где технология служила источником власти, инженер в тесном сотрудничестве с управлением, массы пашут далеко, в невидимом подземелье, а исключительная власть у единого вождя наверху, что отечески благожелателен и справедлив, носит бесподобного кроя костюмы и чьё имя Пёклер не мог запомнить, слишком увлечённый Кляйн-Рогге, игравшим безумного изобретателя, каким Пёклер и его со-ученики в обучении у Джамфа хотели стать—необходимый тем, кто правил Метрополисом, но, под конец, неукрощённый лев, который всё разносит вдрызг, девушку, Державу, массы, самого себя, утверждая свою суть против всех их в одном последнем ревущем прыжке с вершины крыш на улицу...

Любопытная мощь. Чем бы это ни было, истые провидцы отыскивали её среди жёсткой тесситуры тех дней и городских улиц, то, что видела Кете Колвиц, доводя свою тощую Смерть вспрыгивать к Её женщинам на закорки, а тем это так нравилось, похоже затрагивала и Пёклера порой, на его экскурсиях поглубже в *Mare Nocturnum*. Он находил восторг не слишком отличающийся от лезвия рассекающего его кожу и нервы, от скальпирования до пят, в ритуальных подчинениях Хозяину этого ночного пространства и его самого, мужскому воплощению технологики, что обретает власть не для пользования в обществе, но просто ради этих возможностей капитуляции, личной и тёмной капитуляции, перед Ничем, ради упоительно визжащего падения... Перед Атиллой Гунном явившимся на запад из степей, разнести впрах, фактически, драгоценное строение из магии и кровосмесительства, скреплявшие королевства Бургундцев. Пёклер был крайне вымотан в тот вечер, после целого дня скитаний в поисках угля. Он раз за разом проваливался в сон, просыпаясь к образам, в которых с полминуты вообще не мог разобраться что к чему—ближний план лица? лес? чешуя Дракона? сцена сражения? Довольно часто это оказывался Рудольф Кляйн-Рогге, древний Восточный танатоман Атилла, голова обрита кроме пучка на темени, затянутого бусами, бушующего с грандиозной жестикуляцией и с теми огромными мрачными глазами... Пёклер вновь скатывался ко снам со вспышками разрушительной красоты, вплетавшимися в его сны, где говорил с варварской гортанностью за молчащие там рты, окорачивая Бургундцев до чего-то вроде покорности, до серости некоторых сборищ в пивных времён Т.Ш... и снова просыпался—это длилось часами—к какому-нибудь последующему буйству убийств, огню и обрушению...

По пути домой, на трамвае и пешком, его жена донимала Пёклера, что всё проспал, насмехалась над его инженерской преданностью причине-и-следствию. Как мог он объяснить ей, что художественные связи оставались все там, в его снах? Как мог он объяснить ей хоть что-то?

Кляйн-Рогге запомнился прежде всего в роли доктора Мабузе. Подводилось к тому, чтоб ты начал проводить параллели с Гуго Штинесом, неутомимым созидателем Инфляции наяву, та же история, один в один: азартный игрок, финансовый гений, архигангстер… нервный *bürgerlich* рот, щёки, неуклюжие

движения, первый слепок комичной технократии… и всё же, в порыве гнева, прорываясь из-под рационализированного образа, ледники глаз сменялись окнами в оголённые саванны, и тогда выныривал истинный Мабузе, живой и гордый на фоне окружавших его серых сил, устремлявшийся к судьбе, которую, он знал, ему не избежать, немого ада стрельбы, гранат, войск взявших в кольцо его резиденцию, и его собственного безумия в конце тайного туннеля... А кто довёл его до погибели, если не идол пресных утренников Бернард Гёцке в роли Государственного Прокурора фон Венка, Гёцке сыгравший нежную, томно бюрократическую Смерть в *Der Müde Tod*, он и тут соответствовал форме, слишком ручной, слишком вежливый для пресытившейся Графини, которой он домагался—но Кляйн-Рогге *впрыгнул*, выпустив все когти, довёл её женоподобного мужа до самоубийства, швырнул её на свою постель, эту вялую суку— *взял её!* пока тот вежливый Гёцке сидел в своём кабинете, среди своих бумаг и сибаритов—Мабузе пытается его загипнотизировать, подсыпать наркотиков, взорвать бомбой заложенной в его же кабинете—ничего не получается, всякий раз великая Веймарская инерция, файлы, иерархии, рутины, вновь спасает его. Мабузе был дикарем, вброшенным из прошлого, харизматичной вспышкой, которую не в состоянии вынести ни одна пластинка Агфы для воскресного дня, отпечаток в ряби раствора всякий раз разгорается до слепящей аннигиляции белым (глубины Рыб, где кружил Пёклер засыпая и пробуждаясь, проплывая над образами серой повседневности Инфляции, очередей, биржевиков, варёной картошки на тарелке, поиск одними лишь жабрами и потрохами—некая нервная тяга к мифу, о котором не мог сказать верит ли в него даже и сам он—белого света, руин Атлантиды, признаков более истинного царства)...

Изобретатель Метрополиса Ротванг, Царь Атилла, Мабузе Игрок, Проф.-Др. Ласло Джамф, все их желания устремлялись к одному и тому же, к форме смерти, в которой выразится полнящие её радость и непримиримость, ничего подобного Гёцкианской буржуазной смерти, самообман, умудрённое приятие, родственники в гостиной, понимающие лица всегда понятные детям...

– У вас два выбора,– вскричал Джамф на последней лекции того года: на улицах витиеватые штрихи ветра, девушки в бледно-цве́тных платьях, океаны пива, мужские хора напряжённо, с чувством приподнятые распевают *Semper sit in flores/ Semper sit in flo-ho-res*…– либо оставаться с углеродом и водородом, брать свои коробки с обедом на работу каждое утро вместе с безликим стадом торопящимся внутрь, отгораживаться от света солнца—или двигаться *за пределы*. Кремний, карбид бора, фосфор—они могут заменить углерод и могут связываться с азотом вместо водорода—(тут пара смешков не ожидавшихся игривым старым педагогом, да не зарастёт к нему тропа: его заслуги в Веймарских субсидиях IG’скому Штикштоф Синдикату были хорошо известны)—двигаться за пределы жизни, в неорганику. Где нет хрупкости, нет смертности—тут Сила и Вечность.– Затем его знаменитый финал, он стёр со своей доски корявые C—H, и мелом написал громадные Si—N.

Волна будущего. Но сам Джамф, странно, *не двинулся* дальше. Он никогда не синтезировал те новые неорганические кольца, которые пророчил с таким драматизмом. Остался ли он просто в замесе, чтоб вздымались академические поколения или же ему было известно нечто, о чём не догадывались Пёклер и остальные? Были ли его призывы в лекционной аудитории какой-то эксцентричной шуткой? Он остался при C—H и прихватил свою коробку с обедом в Америку. Пёклер потерял с ним связь после *Technische Hochschule*—так же, как и остальные его бывшие ученики. Теперь он находился под зловещим влиянием Лайла Бленда, и если всё ещё продолжал изыскивать пути избежать смертности ковалентной связи, то делал это Джамф самым неприметным образом из всех какие только бывают.

* * * * * * *

Если б тот Лайл не стал Масоном, он бы скорей всего так и продолжал свои гнусные аферы. В Мире, наряду с махинациями в виде предпринимательства на службе несправедливости, предусмотрены также уравновешивающие балансиры, время от времени. Не как предпринимательство, но, по крайней мере, в общем танце вещей. Масоны, в этом самом танце, оказались чем-то пригодившимся Бленду.

Войди в положение бедняги—столько денег, что не знает на что и тратить. Но не спеши орать «Дай и мне!» попусту. Он их дал, правда настолько окольными путями, что тебе может понадобиться хорошая поисковая система, чтобы докопаться. О, он *таки* дал их тебе. Посредством Института Бленда и Организации Бленда, человек запустил свои мясные крючья в повседневную жизнь Америки с 1919 года. Кто, по-твоему, высидел тот патент карбюратора 4-литра-на-100-миль, а? ты наверняка слыхал эту историю—может и подхихикивал вместе с продажными антропологами, которые называли это Мифом Века Автомобилей или ещё какой-то там хернёй—ну оказалось реальной вещью, вполне, и именно Лайл Бленд отходил этих академических проституток с их хаханьками и дипломированным враньём. Или как насчёт великой рекламной кампании Травка-Убийца тридцатых, кто, по-твоему, был в роли руки в перчатке (или, как выражаются более скабрёзные индивидуумы, членом-во-рту), совместно с ФБР, по ходу её? А помните все те мужик-приходит-к-доктору-у-меня-не-встаёт анекдоты? Подброшены Блендом, ага—полдюжины основных вариаций, после углублённых изысканий Национального Совета по Исследованиям, которые показали, что неприемлемые 36% мужской рабочей силы не уделяют должного внимания своим хуям—по причине недостаточной генитальной зацикленности, что подрывало эффективность органов занятых непосредственно на производстве.

Психологические исследования стали, фактически, специализацией Бленда. Его зондирование подсознания Америки начала Депрессии считается классическим и широко признанным фактором повышения вероятности «избрания» Рузвельта в 1932. И пусть многие из его коллег находили деланную ненависть к ФДР выгодной

позицией, Бленд слишком радовался, чтобы повторять все те маневры. Для него ФДР был именно тем человеком: Гарвард открыт деньгам любого вида, старым и новым, оптом и в розницу, Гарриман и Вайнберг: Американский синтез, что не случался никогда прежде, проложивший путь к небывалым возможностям—все сгруппированы под термином «контроль», что, похоже, стал приватным кодовым словом—лучше отвечавшим устремлениям Бленда и других. Год спустя Бленд вошёл в Консультативный Совет под председательством Свопа из Дженерал Электрик, чьи идеи относительно «контроля» весьма совпадали с воззрениями Валтера Ратенау, из Германской ДжиЭл. Чем бы там ни занималась контора Свопа, они делали это втихаря. Никто не видел их файлов. Бленд также никому ничего не говорил.

Он стал своим, после Первой Мировой Войны, в офисе Попечителя Иностранной Собственности. Они занимались конфискованными Германскими вложениями в США. Немало денег Среднего Запада крутилось там, что и повлекло причастность Бленда к Великому Проколу с Пинболом, а там и Масонство. Похоже, что через что-то поименованное Химической Организацией—стиль очковтирательных названий в те дни весьма хромал—ПИС продали Бленду пару-другую ранних патентов Ласло Джамфа, вместе с Американским агентством Глитериус Краски & Красители, Берлинская фирма. Пару лет спустя, в 1925, в ходе своего становления, IG выкупила 50% Американского Глитериуса у Бленда, который использовал свою часть в качестве патенто-владельца компании. Бленду достались наличность, ценные бумаги и контрольный пакет в Берлинском филиале Глитериус, где управлял Еврей по фамилии Флаумбаум, да-да, тот самый Флаумбаум, на которого работал Пёклер пока фабрика не сгорела и Пёклер оказался снова на улице. (Действительно, нашлись и такие, кто усмотрел руку Бленда в катастрофе, хотя обвинённый Еврей был выебан по суду, замытарен до банкротства и, когда приспело время, отправлен на восток вместе со многими другими своими соплеменниками. Мы также отметили бы определённую связь между Блендом и людьми из кинопроката Ufa, которые послали Пёклера с его рекламными афишами в Райникердорф в ту ночь, на его судьбоносную встречу с Куртом Мондаугеном и с *Verein für Raumschiffahrt*—не говоря уже про *отдельные* связи с Ахтфаденом, Нэришем и прочими людьми по *S-Gerät*—прежде, чем у нас составится параноидальная система достойная подомного наименования. Увы, уровень развития к 1945 и близко не достиг адекватности для получения данных такого рода. А даже если бы и был, то Бленд или его восприемники и назначенцы, запросто бы закупили вагон программистов, которые сумели бы сделать всю исходную информацию вполне безобидной. Подобные Слотропу, чей высший интерес зациклен на отыскании истины, оказались отшвырнутыми к снам, психическим озарениям, приметам, криптографиям, наркотическим эпистомологиям, где всё танцует на почве ужаса, противоречий, абсурда).

После пожара у Фламбаума, линии власти между Блендом и его Германскими коллегами подлежали пересмотру. Что и тянулось пару лет. У Бленда состоялась, в Сент-Луисе времён Депрессии, беседа с неким Альфонсо Трейси, Принстон 06-го, Деревенский Клуб Сент-Луиса, двигавшим в нефтехимию широким фронтом,

миссис Трейси возбуждённо бегала в дом и из дому с гирляндами и охапками цветов, готовясь к ежегодному Балу Пророка в Маске, сам Трейси тревожился из-за визита неких индивидов из Чикаго в шикарных костюмах в тонюсенькую полоску, двуцветных туфлях, в шляпах с приспущенными на глаза полями, которые говорили с акцентным стакатто наподобие автомата Томпсона.

– О, как мне нужен хороший электронщик,– выстонал Трейси.– Вся поставка оказалась негодной, а они наотрез отказываются забирать обратно. Если я позволю себе лишнее, они меня убьют. Они изнасилуют Мейбл, они отправятся в Принстон в одну из тёмных ночей а и *кастрируют* моего *мальчика!* Знаешь что это всё, по-моему, такое? Просто *сговор!*

Вендетты, перчатки с бисером, неуловимые отравы, входят на цыпочках в эту благовоспитанную гостиную с портретом Герберта Гувера на рояле, хризантемами в вазе Ниман-Маркус, мебелью в стиле Баухаус вроде модели города из алебастровых панелей (так и ждёшь, что крохотный поезд с жужжанием вырвется из-под дивана, покатят тягачи с прицепами и рефрижераторами по всей низине ковра пепельного цвета…) Длинное лицо Альфонсо Трейси со складками по сторонам от носа и вокруг линии усов, осунувшееся от беспокойства, тридцать лет не видевшее искренней улыбки («Даже Лорел и Харди меня уже не смешат!»), угрюмое от страха в кресле напротив. Разве мог Лайл Бленд остаться равнодушным?

– Есть у меня как раз такой,– грит он, притрагиваясь к руке Трейси, сочувственно. Всегда полезно иметь инженера среди работников. Конкретно этот исполнил тонкие настройки дизайна электронного наблюдения для только-только оперившегося на тот момент ФБР, на контракте с Институтом Бленда заключённом пару лет ранее, а также подрабатывал на Сименс в той Германии.– Завтра же прибудет Серебряной Стрелой, Без проблем, Ал.

– Пойдём, покажу,– вздыхает Трейси. Они уселись в Пакард и покатили в зелёный речной городок Моторган, Миссури, где есть железнодорожная станция, дубильная фабрика, несколько бревенчатых домишек и громадный Масонский Холл без единого окна в массивном монолите.

После затяжной канители на входе, Бленда наконец впускают и ведут через бархатные бильярдные, комнаты для игр, безукоризненно полированного дерева, хромированные бары, мягкие спальни, в большущее складское помещение в задней части забитое на три метра в высоту бо́льшим количеством машин для пинбола, чем Бленд видел за всю свою *жизнь*, О Парни, Бей Вовсю, Мировые Турниры, Везучие Линды, насколько хватает глаз.

– И все до единого разъёбаны,– грит меланхолично Трейси.– Вот посмотри.– Это парижское кабаре: четырёхцветные красотки делают канкан по всему корпусу, нули на уровне глаз, титьки, пёзды, колоритная игра тебе тут, малость шершавая для дам, но всё так забавно!– У тебя есть монетка?– *Чаннггг*, спружинивает шарик, на волосок проскакивая ямку большого результата, хмм похоже там

накрепко покоробилось *ахннггхк* ударяет в мигалку на 1000, но на табло вспыхивает лишь 50— Видал?– вскрикивает Трейси, пока шарик камнем скатывается вниз, последний шанс перехватить битком *дзиньк* биток щёлкает в обратную ёб-твою *сторону* и на табло высвечивает перекос.

– Перекос?– Бленд почёсывает свою голову.– Да ты же даже не—

– И то же самое с *каждой*,– Трейси разливается разочарованием.– Сам попробуй.

Второй шарик не успевает даже выскочить из желоба, а Бленд уже схлопотал перекос опять, без применения какого-либо Английского. Третий шарик *застревает* как-то на соленоиде и (спасите спасите, вопит он взвинченным тонким голоском, о, меня *казнят* электрическим стулом…), *диньдиньдинь*, гонги и гонка бегущих чисел на табло 400000, 645000, *банг* и миллион! наивысший результат в Парижском Кабаре за всю историю и продолжает расти, несчастная сферичная душа трепыхается, застывает, ужасно (да, они одарены разумом, будьте уверены, существа с планетоида Катшпиль, на очень преочень эллипсной орбите—в том смысле, что тот миновал Землю только раз, и то давным-давно, почти ещё аж на самом сумеречно тусклом Краю, и никому неизвестно где теперь Катшпиль или когда, или вообще ли, появится он снова. Это как раз то небезызвестное различие между возвратом и заскоком на разок. Если Катшпиль имел достаточно энергии, чтобы покинуть солнечное поле притяжения навсегда, тогда он обрёк эти добрые круглые существа на вечное изгнание, без малейшего шанса, что когда-либо их заберут обратно домой, и отаётся лишь маскироваться под шарики в подшипниках, под металлики в тысячах мрамор играх—познали величайшие из пальцев на весь Кейокук, Пайалап, Ойстер Бей, Инглвуд—Дэнни Д'Алесандро и Эльмера Фергюсона, Писюна Бренена и Хвастуна Вомака… где уж они теперь? а где бы вы думали? их всех призвали, кто-то погиб на Айво, кто-то заработал гангрену в снегу Арденского леса, а их пальцы, первое знакомство со стрелковым оружием, новобранцы, загнаны обратно в глубь детства, в тренировочные казармы, пальцы на затворе М-1, большой палец замешкался в ствольной коробке, затвор хр-*ЯССЬ!* палец всмятку о блядь, да больно, и прощай ещё один непобедимый легендарный палец, ушёл навеки обратно к летней пыли, к сумкам с бряцаньем стекла, к толстолапым таксам, к запаху стальных щитов площадки нагретых солнцем), ну тут опять те девушки канкана, менады Парижского Кабаре, надвигаются прикончить, широкие красно-помадные улыбки на сверкающих челюстях, какой-то галоп Оффенбаха врубается, вихляясь тут из динамиков, что встроены в эту машину, длинные ноги в подвязках вскидываются над агонией этой печальной сферически вечной самоволки, все его дружки в жёлобе вибрируют сопереживанием и любовью, чувствуют его боль, но бессильны, инертны без пружины, без руки надувалы, проблемы с мужчинностью алкаша, пустопорожние часы серой кепки и коробки без обеда, без этого им не пробежать своей дорожкой вниз по высящимся виткам, глубоким выемкам с их посулами покоя, которые только выпхнут тебя вилять дальше, всегда на милость притяжения, натыкаясь, время от времени, на неразличимо мелкие бороздки от других пробегов, великих пробегов (двенадцать героических минут в Виргиния Бич, Четвёртое Июля, 1927,

пьяный матрос, чей корабль затонул в заливе Лейте… выбит с доски, твоё первое странствие в трёх измерениях всегда самое лучшее, когда ты вновь вернулся вниз было уже не то, и всякий раз, пробегая неподалёку от микро-впадинки оставленной твоим падением, чувствуешь, как переполняет… отрезвлённые, таких немного, заглянули в сердце соленоида, зрили магнитного змия и энергию в их оголённости, достаточно долго, чтобы измениться, принести с собою из тех витых линий силы обратно в коробку пережитый интим с мощью, вернуться с оплавившимися пустошами в душе, что сделали их отчуждёнными навсегда— сверься с портретом Майкла Фарадея в Лондонской Галерее Тейта, Тантиви Макер-Мафик однажды так и сделал, заполнить пустой от женщин скучный день, и подумал тогда, как могут глаза человека быть настолько лучащимися, зловещими, настолько изведавшими, посреди просторов жути и незримого…) но тут голоса кокеток ставших свидетельницами убийства зазвучали пронзительнее, приближаясь к истончённости лезвия, музыка меняет тональность, подымаясь в верхние тона, взъерошенные задницы бухаются всё яростней, юбки вскидываются всё красней и глубже всякий раз, покрывая всё большую площадь, переливаясь к алому финалу топки, так как же Парнишке с Катшпиля выбраться из этой передряги?

Ну как будто ты не знал, когда уж кажется всему каюк, Провидение вставляет краткое— *стататата!* Огоньки отключаются, оставив угасающий красный отсвет на бритых щеках и подбородках двух операторов, что скрючились перед распадающимся девушками, конвульсии соленоида смолкают, хромированный шар, освобождён, скатывается, с душевной травмой, к утешению от своих друзей.

– И они все такие?

– Ох, и поимели ж меня,– стонет Альфонсо Трейси.

– Раз на раз не приходится,– утешает Бленд, а у нас тут реприза «Светлые Дни для Чёрного Рынка» Герхарда фон Гёля, с поправкой на время, место и цвет:

Всег-да привалит—ещё доллар,

Не так, то эдак, да!

Поменьше надо спать,

Про-снись, с росою на траве,

И сможешь жопу им порвать—

Всегда ты доллар зашибёшь,

С той пира-ми-дой, где глаз натянут,

Слышь, парнишь,

С подмигом он тебе поёт: «Не ссы! Насквозь ты всё проссышь!»

Желание есть, так и путь найдётся,

Смотри не упусти,

Мозгами шевели-крути,

И где только придётся

Сгреби ещё хоть доллар,

Неважно: решкой иль орлом,

Пока Война при напролом

Давай вперёд, за долларом,

За долларом!

Все запасные игроки в обвисших штанах, пехотинцы в хаки, остепенившиеся девушки канкана, красотки в купальниках и, сверх того, ковбои и Индейцы табачных лавок, гуглоглазые негры, пацаны-яблококрады, светские львы и кино-королевы, карточные шулера, клоуны, косоглазые алкаши-столбохваты, ассы лётчики, капитаны катеров, белые охотники на сафари и Негроидные обезьяны, толстяки, шеф-повара в шеф-поварских шапках, Еврейские ростовщики, горцы с самогонными бутылями, книги-комиксы про котов собак и мышей, боксёры и альпинисты, радиозвёзды, карлики, цирковые уродцы, железнодорожные бродяги, танцоры марафонов, свинг оркестры, участники вечеринок высших кругов, скаковые лошади и жокеи, платные партнёры танцев, шофёры Индианополиса, моряки на берегу и сёрфингистки в юбках хула, жилистые Олимпийские бегуны, богатеи с большими круглыми мешками помеченными знаком доллара, все запевают во втором общем куплете песни, все пинбол-автоматы мигают огоньками, основные цвета с кисловатым налётом, битки бьют, звонки звенят, монеты сыпятся из монетных ящиков самых разгорячённых, каждый звук и движение чётко на своём месте в сложном ансамбле.

Вне стен храма, представители Чикагской организации в засаде, играют в морру, пьют Канадские смеси из плоских серебряных баклажек, смазывают и чистят .38'е и вообще ведут себя самым отвратительным этническим образом, Папская непроглядность в каждой колючей складке и затенённой челюсти. Невозможно утверждать существуют ли где-то деревянные шкафы с папками наборов чертежей показывающих как именно все эти пинбол-автоматы были перенастроены—на умышленно симулированную хаотичность—или это случилось и впрямь случайно, сохранив, по крайней мере, нашу веру в Неисправность, как нечто всё ещё вне Их контроля… веру, что любая машина, по отдельности, просто напросто, по наивности, свихнулась, после тысяч ночей в придорожной забегаловке, Вайомингской грозы конца-света грянувшей на твою голову без шляпы, амфетаминов на автобусной остановке, табачного дыма царапающего под веками глаз, душегубных хватаний, когда как-то вырвался из круглый год беспросветного дерьма… довели ли игроки чужаки навеки, по отдельности, в одиночку, каждую из этих свихнувшихся машин? уж поверьте: они потели, пинали, орали, били наотмашь, теряли самообладание безвозвратно—единая

Изменчивость, о которой ты и не слыхивал, общность не сознающая себя, умолчание, которое истории в энциклопедиях услужливо заполнили агентствами, инициалами, прочерками и пропусками, и те делают невозможным найти их снова… но в тот момент, из-за чрезмерно театральной суетни Гангстеров да Масонов, она сконцентрировалась тут, в задней части храма Маторгана, элегантный хаос с предназначением подмять мастерство купленного Блендом эксперта, Берта Фибеля с экспресса Серебряная Стрела.

Последний раз как мы встречали Фибеля, он зацеплял, тянул и попускал страховочный трос того Хорста Ахтфадена в его скалолазные дни, Фибель, который оставался внизу и довёл своего друга до Пенемюнде—довёл его до? а не кусок ли тут излишней паранойи, не вполне оправданной—ну называйте это Намёк На Причастность Бленда К Случаю С Ахтфаденом Тоже, если так нравится. Фибель работал на Сименс ещё в те времена, когда та была ещё частью треста Штинеса. Помимо своих инженерских обязанностей, он находил ещё время служить агентом по сбору информации для Штинеса. Тут по-прежнему остаётся в силе верность *Vereinigte Stahlwerke*, хотя Фибель теперь уже работал на заводе Дженерал Электрик в Питсфилде, Масачусетс. Наличие агента в Беркшире отвечает интересам Бленда, и угадай почему? Ага! присматривать за юношей Тайроном Слотропом, вот почему. Почти десять лет спустя после изначальной сделки, IG Farben всё ещё находит, что легче подрядить для наблюдения за юным Тайроном, снова-таки, Лайла Бленда.

Этот каменнолицый капустник Фибель просто гений по соленоидам с переключателями. Как вся эта машинерия «расклеилась», как тут говорят, грех даже задумываться и тратить временя попусту—он погружается в топологии и цветные кодировки, запах плавящейся канифоли наполняет бильярдные и салоны, *Schnipsel* здесь и там, пробормотал разок *also* или два и, не успели оглянуться, большая часть аппаратов работают. Можешь биться об заклад, радостных Масонов побольшало в Маторгане, Миссури.

В уплату за его доброе дело, Лайл Бленд, которому оно как-то вообще пофиг, принят в Масоны. Он находит хороший круг общения, всевозможные удобства для напоминания ему о его мужской сути, а также немало полезных деловых контактов. Кроме того, всё укрыто настолько же плотно, как и в том Деловом Консультационном Совете. Не-Масоны остаются весьма мало посвящёнными в Что Вообще Происходит, хотя время от времени что-нибудь да выскочит, покажет себя, хихикнет и запрыгнет обратно, оставив тебе мало подробностей, но много Жутких Подозрений. Ходит такая теория, будто США были и остались гигантским Масонским сговором под конечным контролем группы известной как Illuminati. Очень трудно продолжительное время смотреть в тот странный одинокий глаз венчающий пирамиду, что находится на любом долларе, и не начать верить в эту историю, мало-помалу. Слишком много анархистов Европы 19-го столетия—Бакунин, Прудон, Салверио Прискиа—были Масонами, чтобы это оставалось чистой случайностью. Любители глобального заговора, не все из которых Католики, могут рассчитывать на Масонов для пары хороших страшилок и бездн, когда ничто другое не срабатывает. Одной из лучших в классике Причудливых

Масонских Историй остаётся та, где Доктор Ливингстон (*livingstone?* ну ещё бы) забрёл в местную деревню, даже и не в сердце, а в подсознании Самой Тёмной-Претёмной Африки, такое племя, в таком месте, видом не виданные, слыхом не слыханные: костры в тишине, непостижимые взгляды, Ливингстон подходит к вождю деревни и выдаёт ему высший знак Масонов—вождь этот знак распознаёт, отвечает на него, улыбка до ушей, и распоряжается предоставить всевозможную братскую гостеприимность белому пришельцу. Но вспомним, что Др. Ливингстон, как и Вернер фон Браун, родился вблизи Весеннего Равноденствия и должен был смотреть в лицо Миру с наиособеннейшей из особых точек Зодиака... Ну и не забывайте где эти Масонские Таинства вообще берут начало. (Сверьтесь с Ишмаелом Ридом. Он по этой теме натаскан круче, чем вы тут ещё кого встретите).

Мы должны никогда не забывать также знаменитого Миссурийского Масона Гарри Трумена: занимающего, благодаря смерти, должность в этом же самом Августе 1945, уперев свой контрольный палец на клитор Мисс Инолы Гэй, доводя её до превращения 100 000 жёлтеньких людей в то, что станет разреженным испарением вышкварок вморщенных в спёкшееся крошево их города на Острове Моря...

К тому времени как вступил Бленд, Масоны давно-давно дегенерировали уже просто в ещё один клуб бизнесменов. Право же, просто стыд. Бизнес всякого рода, на протяжении столетий, атрофировал определённые рецепторы чувств и области человеческого мозга, так что для большинства членов принимающих участие, нынешние ритуалы стали не более, а возможно и менее, чем пустой клоунадой. Не для всех из них, впрочем. Время от времени сталкиваешься с заскоком вспять из времён минувших. Лайл Бленд оказался одним из них.

Майя этих Масонских ритуалов очень, очень древняя. И в те давние дни она работала. Но время шло, и она начала применяться для показухи, для консолидации того, что было всего лишь мирской видимостью власти, она начала утрачивать свою крутость. Однако слова, жесты, действия более-менее точно блюлись на протяжении тысячелетий, при всей угрюмой рационализации Мира, так что магия всё ещё тут, хоть и подспудно, ей нужно лишь прикоснуться к правильно направленной голове, чтобы снова заявить о себе.

Бленд обнаружил, что возвращаясь к себе домой в Бикон Хилл поздно ночью после собраний, он не может заснуть. Ляжет на диване в своём кабинете, не думая ни о чём таком особенном, и вдруг резко вскинется, сердце бьётся чуть не выскочит, и он знает, что только что побывал где-то, но без понятия что происходило в этот отрезок времени. Старые часы Американская Империя бьют в гулкой прихожей. Зеркало Жирандол, переходившее от поколения к поколению Блендов, накапливая образы в ртутный общий фонд, куда Бленд страшился заглядывать. В другой комнате его жена, с её варикозом и религиозностью, постанывает во сне. Что это с ним творится?

В ночь после следующего собрания, лёжа дома на спине на привычном диване, покрывшись Журналом Уол-Стрит, где ничего нет такого, о чём он бы ещё не знал, Лайл Бленд поднялся над своим телом, примерно на полметра, лицом вверх, понял где он и *шлюссь!* вплеснулся обратно. Там он и лежал, в самом сильном испуге за всю свою жизнь, сильнее даже чем в Белле Вуд—не из-за того, что только что оставлял своё тело, а потому что знал: это лишь *первый шаг*. Следующим шагом станет переворот в воздухе и взгляд обратно. Древняя магия настигла его. Он отправляется в странствие. Он знал, что не может не пойти этим путём.

Ему потребовался месяц или два, пока начал получаться переворот. Когда это произошло, он чувствовал это переворотом не столько в пространстве, как в его собственной истории. Необратимо. Тот Бленд, что вернулся воссоединиться с инертным белым вместилищем, распростёртым животом кверху, за тысячи лет под ним, изменился навсегда.

Очень скоро он стал проводить большую часть своего времени на том диване, и едва ли хоть сколько-то вообще на Стейт-Стрит. Его жена, которая никогда ни о чём не спрашивала, неясно передвигалась в комнатах, обсуждая лишь дела по дому, иногда получала ответы, если Бленду случалось на тот момент находиться в своём теле, но чаще нет. Странного вида люди начали появляться у дверей, даже не предупредив по телефону. Аж мурашки от иностранцев с тонированной лоснящейся кожей, жировиками, ячменями на глазу, с кистой, порченными зубами, хромоногих, уставятся и смотрят или же—что ещё хуже—со Странными Отсутствующими Улыбками. Она пускала их в дом, всех подряд, и дверь кабинета тихонько запиралась за ними, перед её носом. Ей ничего не удавалось расслышать кроме бормочущих голосов, на некоем, казавшимся ей иностранным, языке. Они инструктировали её мужа по технике странствия.

Случались, хотя редко, и в географическом пространстве путешествия предпринятые на север по очень синим, огненно синим, морям, холодным, с толпящимися льдинами, к заключительным стенам льда. Мы заблуждались в своих суждениях, роковым образом: мы уделяли больше внимания всяким Пири и Нансенам, которые вернулись—и хуже того, мы называли их деяния «успехом», хотя у них был провал. Поскольку они вернулись обратно, вернулись к славе, к восхвалениям, они провалились. Мы плакали лишь о сэре Джоне Франклине и Саломоне Андрэ: скорбели над их могилами и костями, не замечая в несчастном мёрзлом мусоре оглашения их победы. К тому времени когда у нас появилась технология сделавшая подобные вояжи лёгкими, мы давно уже утопили в многословности всякую возможность отличать победу от поражения.

Что нашёл Андрэ в полярных исследованиях: о чём нам следовало узнать?

Бленд, всё ещё подмастерье, всё ещё не отряс свою нежную склонность к галлюцинированию. Он знает где он находится, когда он там, но по возвращении ему кажется, что он путешествовал глубже истории: что история это сознание Земли, состоящее из слоёв, что уходят на большие глубины, слоя история

аналогичны слоям угля в теле Земли. Иностранцы сидят в его гостиной, шипят над ним, оставляют гадкую плёнку кожного жира на всём, к чему прикоснуться, стараются направлять его через этот этап, явно недовольные тем, что им кажется вкусами бездельника и пошляка. Он возвращается, вне себя от всего с чем там столкнулся, от членов астрального IG, чья миссия—как Ратенау на самом деле возвещал через медиума Петера Сачсу—за пределами мирского добра и зла: подобные различия там не имеют смысла...

– Сссамо ссобой,– все вылупились на него,– но зачем тогда говорить «тело и дух»? Зачем делать такое различие?

Потому что трудно не изумляться открытию, что Земля живая тварь, после стольких лет как представлял тупой кусок булыги обнаружить вдруг тело и душу, он чувствует себя ребёнком снова, ему известно, что теоретически он не должен проникаться, но всё же любит это своё ощущение чуда, которое снова нашло его, пусть даже так поздно, даже зная, что скоро придётся расстаться... Узнать, что Гравитация, настолько принимаемая за должное, на самом деле нечто сверхъестественное, Мессианское, внечувственное, для телосознания Земли… притиснувшей к своему святому центру останки исчезнувших видов жизни, собравшей, упаковавшей, переменившей, переустроившей и пересоткавшей молекулы, что снова извлекаются наверх Кабалистами каменоугольных смол с той стороны, которые Бленд замечал в своих странствиях, берутся распаренными, раздроченными до разделения, разложенными до самой наипоследней метатезы прикладной магии, комбинирующей и перекомбинирующей их в новые синтезы—«Забудь о них, они ничем не лучше, чем Клипот, пустая скорлупа мертвецов, ты не должен тратить время на них...»

Прочие из нас, не избранные для роли посвящённых, оставленные на внешней стороне Земли, на милость Гравитации, которую мы ещё только-только начинаем обучаться находить и замерять, вынуждены всё так же блуждать в пределах веры наших передних долей в Палнейшии Сатвецтвия, надеясь, что для всякой психсинтетики взятой от Земной души имеется молекула, светская, более или менее обычная и обозначенная, с этой стороны—барахтаться бесконечно среди пластиковой мелочёвки, отыскивать в каждой Глубинное Значение, в попытках снизать их все вместе, как члены степенного ряда, в надежде вычленить потрясающую и тайную Функцию, чьё имя, как изменённое имя Бога, нельзя произносить… пластиковый саксофон *звучит сверхъестественным тембром*, флакон для шампуня *отражённое эго*, Приз в пачке Крекеров *одноразовая радость*, корпус бытовой техники *обтекатель ветров познания*, бутылочки младенцев *умиротворение*, мясные пакеты *сокрытие убиения*, пакеты для химчистки *детское удушение*, садовые шланги *нескончаемое напоение пустоши*… но дабы свести их вместе, при их уклончивом упорстве и нашей обойдённости… придать какой-то смысл, отыскать ничтожнейший осколочек истины в такой массе копирования, такой массе отходов...

Повезло же Бленду, освободиться от всего этого. Однажды вечером он созвал всю свою семью вокруг дивана в его кабинете. Лайл, Младший, прибыл из

Хьюстона, сотрясаясь в начальной стадии гриппа от контакта с миром, в котором кондиционированный воздух не является столь необходимым условием жизни. Клара прикатила из Бенингтона, а Бадди прибыл поездом из Кембриджа: «Как вы знаете»,– объявил Бленд,– «в последнее время я немножко путешествовал».– На нём был простой белый халат, а в руках красная роза. Выглядел он нездоровым, все впоследствии сошлись на этом: кожа и глаза его отличались чистотой, которая редко встречается, кроме как в определённые дни весны, в определённых широтах, перед самым рассветом: «Я заметил»,– продолжал он,– «что всякий раз я удалялся всё дальше и дальше. Сегодня я отправляюсь навсегда. То есть, уже не вернусь. Так что, я хотел проститься со всеми вами и сообщить, что вы будете обеспечены».– Перед этим он повидал своего друга Кулриджа («Горячку») Шорта на Стейт-Стрит в юридической фирме Салитьери, Пурр, Де Брутус и Шорт, и проверил, что все финансы семьи были в полном порядке: «Хочу, чтоб вы знали, я всех вас люблю. Остался бы ещё, но должен идти. Надеюсь, вы меня понимаете».

Один за другим, его семья подошли проститься. Похлопывания, поцелуи, рукопожатия закончены, Бленд откинулся в последнее объятие того дивана, закрыл глаза с неясной улыбкой... Чуть погодя, он почувствовал, что начинает всплывать. Наблюдавшие расходятся относительно точного времени. Около 9:30 Бадди ушёл посмотреть *Невесту Франкенштейна*, а миссис Бленд накрыла безмятежное лицо пыльным куском ситцевой драпировки, полученной в подарок от одной из её племянниц, которая никогда не понимала её вкуса.

* * * * * * *

Ветреная ночь. Крышки войсковых канистр летают с бряцаньем по плацу. Часовые от нечего делать практикуют Салют Королевы Анны. Порою налетают порывы ветра, что раскачивают джипы на их рессорах, пустые тягачи и гражданские грузовики—бамперы постанывают, басовито, от неудовольствия… на макушках ветра шевелятся живые сосны, в строю на последнем песчаном обрыве к Северному морю...

Шагая скорым шагом, но не в ногу, через исчёрканные грузовиками промежутки тут, на старом заводе Круппа, Доктора Мафидж и Спонтун смахивают на кого угодно, но только не заговорщиков. Моментально принимаешь их за то, что они из себя и представляют: крохотный плацдарм Лондонской респектабельности в этом ночном Каксэвене—туристы в этой полуцивилизованной колонии сульфы рассыпанной в колодцы крови, серратов и турникетов, колонии врачей наркоманов и санитаров садистов, которую они избежали при Прохождении, у брата Мафиджа высокий пост в одном из министерств, Спонтун признан негодным из-за странной истерической стигмы, что совпадает очертаниями с формой туза пик и почти такого же цвета, которая появляется у него на левой щеке в моменты крайнего стресса, сопровождаясь жуткой мигренью. Всего лишь пару месяцев назад они чувствовали себя такими же полностью мобилизованными, как и любой Британский гражданин, беспрекословно исполняющий распоряжения

правительства. В отношении данной миссии, однако, у обоих сейчас глубокие сомнения характерные мирному времени. Как быстро движется нынче история.

– Не представляю, почему он обратился к нам,– Мафидж поглаживает свою зауженную бороду (жест смотрится всего лишь бесконтрольным), говорит голосом слишком, пожалуй, мелодичным для человека его массы,– ему наверняка известно, я не практиковал такого с ’27-го.

– Мне приходилось ассистировать пару раз во время интернатуры,– вспоминает Спонтун.– Тогда была большая мода в психиатрических заведениях, знаете.

– Могу назвать пару Государственных Институтов, где это в моде до сих пор,– медики обмениваются хмыканьем, полные той Британской *Weltschmerz*, что выглядит такой неприкаянной на лицах страдающих ею.– Так, выходит вы, Спонтун, предпочитаете проассистировать мне, я правильно понял?

– О, по любому, знаете ли. То есть, никто ж не будет стоять над головой с журналом, понимаете, вести запись, как всё идёт.

– Ну, это как сказать. Вы же слышали? Вы не заметили некую...

– Горячность.

– Зацикленность. Не знаю, может Пойнтсмен теряет хватку.– Звучит тут как у Джеймса Мэйсона: «Тэ(х)ряет х(у)ватку».

Теперь они смотрят друг на друга, отрывочные ночные ландшафты Марстонских приютов для животных и запаркованных автомобилей затемнённо плавают сливаясь позади каждого из лиц. Ветер несёт запахи морской воды, пляжа, бензина. Отдалённое радио настроенное на волну Программы Объединённых Сил передаёт Сэнди Макферсона за Органом.

– О, да мы все... – начинает Спонтун, но оставляет незаконченным.

– Вот и пришли.

Ярко освещённый офис увешан малиново-губыми, ножко-сосисочными настенными плакатами Девушки Петти. Кофеварка шипит в углу. Тут же запах прогорклой ваксы для обуви. Капрал сидит, забросив ноги на стол, углублён в чтение книги комикса Американская Зайка.

– Слотроп,– в ответ на вопрос Мафиджа,– да, да, Янки в этом, в костюме свиньи. Ну приходит-уходит постоянно. Совершенно сдвинутый. А вы что за контора, M.I. 6 или как там?

– Нам не положено это обсуждать,– уточняет Спонтун. Малость представляет себя Найландом Смитом, Спонтун этот самый.– Вам известно, где мы можем найти генерала Виверна?

– В такое время ночи? На свалке спирта, скорее всего. Идите вдоль путей, туда, где шумят. Если б не дежурство, я б сам уже там был.

– Костюм свиньи,– хмурится Мафидж.

– Большой блин костюм свиньи, розовый, и синий, клянусь,– отвечает Капрал.– Сразу узнаете, как увидите. Сигареты не найдётся у кого-нибудь, джентльмены, случайно?

Звуки гулеванья докатываются до них, пока топают вдоль путей, мимо сцепок пустых платформ и железнодорожных цистерн. «Свалка спирта».

– Горючее для их Нацистких ракет, мне говорили. Когда те у них вообще взлетали.

Под холодным зонтом голых электроламп сбилась толпа Армейского персонала, Американских моряков, девушек ФАВСЗ, и Германских *fräulein*'нок. Братаются, все для одного, бесстыдно, среди шума, который перерастает, когда Мафидж и Спонтун достигают края сборища, в песню, а в центре, с добрячей стопкой, каждая рука охватывает улыбчиво расхристанную кралю, раскраснелое лицо апоплектично полиловело под этим освещением, всё тот же самый Генерал Виверн, которого мы встречали в офисе Пойнтсмена ещё в Доме-Двенадцать. Из железнодорожной цистерны, чьё содержимое, этиловый спирт, раствор 75%, оповещается кричаще белым трафаретом на её стенке, торчат тут и там краны, под которые подставляется и отводится невероятное количество кружек, фарфоровых чашек, кофеварок, мусорных вёдер и прочих ёмкостей. Укулеле, казу, губные гармошки и на ходу изобретённые, всех не перечесть, железные стучалки аккомпанируют песне, передающей невинный салют Послевойне, надежде на близкий конец дефицитов, конец Строгой Экономии:

Вот и пришло—

Обжираловки время!

Обжираловки время!

Пора залезать в морозилку—

О, да, наконец

Обжираловки время,

Обжираловки время,

А как пожуёщь, вернёшься ещё, ещё пожевать!

Ах, обжираловки время!

Не ново оно, но всегда грандиозно,

Обжираловки время,

Так жуй, сколько влезет, жууууй!

Следующий куплет солдаты и матросы вместе восемь тактов, девушки последующие столько же, генерал Виверн ещё восемь за ними, и *tutti* её допевают. Затем вступают укелеле и казу и всё прочее, чтобы любой и каждый пустился в пляс, чёрные шейные платки плещут вокруг, словно усы эпилептичных негодяев, изысканные сеточки для волос послабляются, выпуская из-под паутинки локоны тугих завитушек, подолы платьев вздёрнуты показать коленки и края чулков с довоенным кружевом Клуни, хрупкое порхание дымчатых крыльев летучей мыши тут под белым электричеством… в заключительном припеве парни хороводят по часовой стрелке, девушки против часовой, ансамбль раскручивается узором розы, из гущи которого распущено хмыкающий пьянчуга генерал Виверн, бокал над головой, приподнят кратко, как вставшая торчком тычинка.

Почти единственный кто в этом не участвует, помимо двух подкрадывающихся хирургов, Моряк Бодайн, которого мы оставили, если припомнишь, за шалостями в ванне жилища Кислоты Бумера в Берлине. Сегодня в безукоризненном парадно-белом, строголикий и трезвый, он утомлённо бродит среди гуляк, густая поросль волос из-под манжет джемпера и в V-разрезе под шеей, растущие столь изобильно, что на прошлой неделе он отпугнул и потерял поставщика прямиком из Китай-Бирма-Индийского Театра Военных Действий с почти тонной марухи, который по ошибке принял его за морской вариант легендарного йети, он же отвратный снежный человек. Для возмещения профуканного в тот раз, Бодайн в эту ночь устраивает Первый Международный Бой на Чвырлах, между Авери Пёрфлом, сослуживцем из его корабельной команды, и Английским Коммадосом по имени Сент-Джон Бладери. «Делайте ставки, да да, ставки поровну 50/50»,– объявляет обходительный крупье Бодвайн, пропихиваясь меж тел столпившихся, многим из которых далеко до вертикальности, с пачкой оккупационных сертификатов зажатой в одной из мохнатых рук. Другою, время от времени, он подтягивает из-за спины квадрат большого отложного воротника своего джемпера, чтобы туда высморкаться, люверсы вдоль края его тельняшки моргают, электрические лампочки пляшут над головой от поднятого им шквала, его персональные несколько теней мечутся во все стороны и сливаются с остальными.

– Приветики, кореш, опиата надо?– крохотные красные глазки в широченном розовом пудинге лица, и алчная улыбка. Это Альберт Криптон, старший санитар корабля США *Джон Е. Бэдас*, который тут же добывает из потайного кармана джемпера стеклянный флакончик полный белых таблеток.– Кодеин. Джексон, прекрасно—держи.

Бодайн неудержимо чихнул и утирает сопли рукавом,– Только не для ёбаной простуды, Криптон. Спасибо. Ты видел Авери?

– Он в прекрасной форме. Заканчивал предстартовый разогрев в пизде раком, когда я на них наткнулся.

– Слышь, старина,– начинает предприимчивая морская душа. Текст расшифровывается в 3 унции кокаина. Бодвайн кончает парой смятых примечаний.– В полночь, если можешь. Скажи ему, встретимся у Пуци после боя.

– Замётано. Ты возле казарм прошвырнулся?– Похоже вернувшиеся с театра в КБИ собираются там для мрамор игр шариками опиума. Можешь зашибать сотнями, если рука набита. Санитар Криптон прячет деньги в карман и оставляет Бодвайна покручивать большим пальцем в раздумьи на эту тему, движется дальше, где вдоволь чего полапать, останавливается хлебнуть из снарядной гильзы хлебного спирта с виноградным соком, не прекращая сбыта кодеина в таблетках. У него случается краткий прокол паранойи, когда появляются пара ВэПэшников в красных шапках, поглаживая свои членодубинки и поглядывая на него, как ему представляется, многозначительными взглядами. Он отскальзывает в ночь, сматывается на виражах через тёмное небо. Успокаивает его патентованная микстура известная как Блюз Криптона, после чего следует головокружительный переход в диспансер, не без моментов глубокой отключки внимания.

Внутри, его поставщик, Фармацевт Бёрдбери, дирижирует заключительным актом *La Forzadel Destino* с треском льющейся от Радио Люксембург, а заодно и подпевает. Рот его защёлкивается, когда Криптом врулил в помещение. Вместе с ним нечто похожее на гигантскую, разноцветную свинью, плюшевая опушка её одеяния тут и там зализана в обратную сторону, что расширяет доступный спектр расцветки: « *Микрограмм*»,– Криптон драматично потрясает головой,– «всё правильно, микрограмм, а не миллиграмм. Бёрдбери дай мне чего-нибудь, у меня передозняк».

– *Тиш*.– Складки на высоком лбу аптекаря поперечно скрещиваются от сооперности. Криптон проходит вглубь к полкам и наблюдает освещённую комнату сквозь бутыль болеутоляющего, пока не закончилась опера. Возвращается как раз вовремя, чтобы услышать вопрос свиньи: «Ну а куда ещё он мог пойти?»

– Мне доходит через третьи руки,– Бёрдбери кладёт шприц, которым дирижировал.– Спроси вон Криптона, он чаще выходит в свет.

– Приветики, кореш,– грит Альберт,– как насчёт сделать прививочку?

– Я слышал Шпрингер приезжает сегодня.

– Впервые слышу. Но смотайся к Пуци, тут-то зачем торчать. Такие все дела там делаются.

Свинья оглядывается на часы на стене: «Сегодня распорядок малость сковырнутый, вот и всё».

– Слушай Криптон, тут большая шишка из ГПОГ нагрянет с минуты на минуту, так что как знаешь, только... – Они препираются о трёх унциях кокаина, свинья

принялась благовоспитанно листать старый *News of the World*. Вскоре, припластыривая последнюю из наполненных кристаллами бутылочек на свою голую ногу, Криптон приглашает всех на бой чвырлами: «Бодайн собрал крупные ставки. Народ прибывает со всей Зоны».

– *Моряк* Бодайн?– спрашивает изумлённая плюшевая свинья.

– Он король Каксэвена, Хрюша.

– Ну мне случалось выполнять его поручение в Берлине. Скажи ему Ракетмэн грит привет.

Криптон, клёш подвёрнут кверху, открывая бутылочку, просто убедиться что там в ней у него, застывает вылупившись: «Это ты про тот гашиш?»

– Ага.

Криптон внюхивает большую щепоть снежинко-белого в ноздри, за правой в левую. Мир проясняется. Горькие сопли начинают стягиваться в упрямый кулак в глубине его горла. Потсдамский Съём уже составная часть фольклора Зоны. Может эта тут свинья хочет примазаться к славе Ракетмэна (в существовании которого Криптон никогда не был уверен)? Кокаиновые подозрения, ползучи и паскудны как крысы… блеск флаконов тысячи оттенков, голоса из радио, спинка и рукав мохнатого пальто свиньи пока Криптон тянется погладить… нет ясно, что свинья ничего не высматривает, не лягавый, не сбывает товар и никого не собирается нагреть... – «Просто хотелось посмотреть как оно на ощупь, понимаешь»,– грит Криптон.

– Конечно.– Тут, откуда ни возьмись, в дверях полно красных касок, кожи, меди. Криптон стоит не шелохнётся, в одной руке крышка от открытого кокаина.

– Слотроп?– Сержант, что тут за главного выступает вперёд, рука сбоку на кобуре с пистолетом. Свинья взглядывает на Бёрдбери, который покачивает головой, нет, не я, типа как бы хочет сказать.

– И не я тоже,– Криптон считает нужным вставить.

– Ну кто-то ж заложил,– бормочет свинья, по виду очень обидевшись.

– Секундочку,– шепчет Альберт. Затем к ВП,– прошу прощения,– делает два шага к выключателю на стене и гасит свет, Слотроп моментально рванул сквозь все вопли мимо стола Бёрдбери *бу-бух* в высокие полки с лекарствами, от которые его соломенное брюхо спружинивает, но они потом падают на кого-то ещё с оглушительным грохотом стекла и воплем—дальше по чёрной темени прохода, выставив руки, чтоб не наткнуться, к задней двери, где встречает Криптона.

– Спасибо.

– Скорее.

Снаружи они срезают к востоку, в сторону Эльбы и доков, несутся с топотом, оскальзываясь на грязи луж, спотыкаясь через глубокие колеи грузовиков, ветер взвихряется среди ангаров, хлещет им в лицо, кокаин крапает маленькими белыми всплесками из-под левого клёша Криптона. Позади них облавщики орут и светят фонарями, но, похоже, не знают куда они делись. Хорошо. «Иди дорогой жёлтых кирпичей»,– напевает Альберт Криптон, высоко,– «иди дорогой жёлтых кирпичей»,– это ещё что, неужели он, да, так и есть, *ещё и подскоки сука делает*...

Совсем скоро, задыхаясь, они прибывают на пирс, где *Бэдас* и его отряд, четвёрка туманно-серых подлодок-поросят, пришвартованы, к предстоящему бою на чвырло-ложках в центре шаткой, крикливой толпы гражданских и военных пьяниц. Жилистый Авери Пёрфл, бакенбарды гладки словно котика мех в бледном свете, Адамово яблоко проворачивается по четыре-пять нервно взвинченных циклов в минуту, пританцовывает вокруг своего противника, безмятежно быковатого Сент-Джон Бладери, чвырло-ложки обоих в позиции выжидания, заточенные края отблескивают.

Криптон прячет Слотропа в мусорный ящик и отправляется на поиски Моряка Бодайна. После нескольких коротких, посверкивающих финтов, Пёрфл переходит в ближний, быстрый как боевой петух. Косым высоким, который Бладери пытается парировать тройным, Пёрфл рассекает блузу Командоса и пускает кровь. Но когда он пытается отпрыгнуть, похоже, задумчивый Бладери водрузил свой увесистый боевой ботинок на пижонистый туфель Американца и припечатал к месту, где стоит.

Устроитель Бодайн и два его поединщика яркие кристалы просвещённости в этом отравленном сером сборище: добрая половина толпы пребывает в предгорьях потери сознания, а остальные не вполне уверены, что вообще тут происходит. Некоторые думают, что Пёрфл и Бладери в натуре озверели друг на друга. Другим кажется, что это всё для смеха и они хохочут в подходящие моменты. Время от времени дополнительная пара вспученных глаз всплывает в ночных надстройках боевых кораблей и они смотрят, смотрят...

Пёрфл и Бладери сделали выпад, каждый свой, одновременно и теперь находятся *corpsà corps*—со скрежетом и звяком чвырло-ложки сцепились намертво, локти напряглись и упёрлись. Исход зависит от дара сухопарого Пёрфла к обманкам, поскольку Бладери, кажется, готов удерживать эту позицию всю ночь.

– Ракетмэн тут,– Криптон дёргает Бодайна за вланый помятый ворот,– *в свином костюме*.

– Не сейчас, мэн. Ты принёс тот, а!—

– Но, но полиция у него на хвосте, Бодайн, где мы его спрячем?

– Какая разница, это какой-нибудь раздолбай и больше ничего. Ракетмэну тут делать нечего.

Пёрфл отдёргивает черен своего чвырла, переклонившись на сторону, удерживая зубцы своего оружия в замке с зубцами Бладери, тянет Командоса достаточно долго, чтоб высвободить свою ступню, затем ловко расцепляет ложки и оттанцовывает прочь. Бладери восстанавливает равновесие и пускается в тяжеловесное преследование, применяет серию колющих, а затем перебрасывает чвырло-ложку в другую руку и неожиданно наносит Пёрфлу режущий, глубокая ссадина на шее моряка приходится мимо сонной артерии, но совсем на чуть-чуть. Кровь окропляет белый джемпер, чёрная в свете дуговых ламп. Пот и холодные тени глубоко залегли в подмышках бойцов. Пёрфл, от боли забыв осторожность, налетает на Бладери, вихрь одичало слепых тычков и рубилова, Бладери едва ли нуждаясь в увёртках, покачивается от колен и выше как громадный уверенный пудинг, наконец, улучает момент ухватить кисть руки Пёрфла с ложкой и крутануть его, как девушку в коленце джитербага, спиной к себе, его собственное лезвие попрёк Адамова яблока Пёрфла, готовое располовинить. Он подымает глаза, оглядывается, задыхаясь, исходя потом, выискивая местоположение какой-нибудь власти, что просигналит ему прикончить.

Ничего: только сон, рвота, содрогания, призрачно цветочный запах этила, основательный Бодайн пересчитывает свой барыш. Никто толком не смотрит. Тут и доходит Бадери, а сразу же и Пёрфлу, объединённым заточенным краем чвырла и ничтожным приложением силы достаточным для того, чтобы наполнить их общий мир смертью, что никто ведь не говорил драться до самого конца, верно? Что каждый получит свою долю, кто бы ни победил, так что разумнее сейчас разойтись и вдвоём вклещится в Бодайна за платой, да найти перевязочный пакет и йод тоже. И всё же они затягивают своё объятие, Смерть во всей своей мощи напевает им романтичные песни, укоряя, что ж вы за людишки такие серые… *Вот только-то и всего, да? И это у вас жизнь называется?*

Машина ВП, бибикая, с ревущей сиреной, моргая всеми огнями, подкатывает. Неохотно, Пёрфл и Бладери всё ж расслабляются и, испуская вздох из вздутых щёк, разделяются. Бодайн, с трёх метров, швыряет над головами пробуждающейся толпы толстый пакет с сертификатами, который Командос ловит, сосчитывая, делит, и отдаёт половину Пёрфлу, который уже держит курс к трапу своей седой маманьки *Джон Е. Бэдэс*, где палубная вахта заметно оживилась и даже карточная игра в корабельной прачечной приостановлена, чтоб каждый мог выйти полюбоваться большой облавой. Пьянь на берегу приходят в движение, заторможено и не врубаясь в направление. Из-за пределов бледного электрического света прихлынули девушки, дрожащие, возбуждённые, взъерошенные, сманить прочь Сент-Джон Бладери под прикрытием приятно-пастельной синтетики и любовных писков. Бодайн и Криптон, с руганью и поворотами крутого слалома пересекают толпу, спотыкаясь о пробуждающихся и спящих, останавливаются у свалочного ящика забрать Слотропа, который восстаёт из кучи яичной скорлупы, пивных банок, жутких конечностей от куриц в

жёлтом желе, кофейной гущи и пользованной бумаги, всё это сваливается или сошлёпывается с него, сдёргивает маску и лыбится с приветом Бодайну.

– Ракетмэн, пресвятая блядородица, и вправду ты. Что за дела, старина?

– Заложили суки, нужно продёрнуть к Пуци.– Подъезжают грузовики в чьи брезентовые тени ВэПэшники начинают загружать всех, кто движется медленнее, чем они. Тут два гражданских, один с бородой, несутся вдоль пирса с воплями: «Костюм свиньи, костюм свиньи, вон он, гляди!», а также: «Эй—Слотроп—стоять! ни с места!»

Не тут-то было, Слотроп с громадным треском и хрустом вываливается из мусора и что есть мочи мчит вслед за Бодвайном и Криптоном, разбрызгивая куриный жир и роняя скорлупу яиц позади себя. Клубмобиль Красного Креста или автостоловая припаркован у следующего гнездовья эсминцев вдоль пирса, его свет аккуратным квадратом выливается на асфальт, симпатичная девушка с причёской Дианы Дёрбин внутри этого обрамления на фоне полок с конфетами, сигаретами, поленницы сэндвичей в вощёной бумаге.

– Кофейку, ребята?– улыбается она.– Как насчёт сэндвичей? Сегодня всё распродано кроме как с ветчиной,– затем увидала Слотропа,– о, боже, извините, но...

– Ключ от грузовика,– Бодайн подступает с ухмылкой Кэгни и никелированным пистолетом,– ну-ка,– взводит курок.

Суровая хмурость, подбитый ватой пожим плечом: «В замке зажигания, Джексон». Альберт Криптон взбирается назад составить ей компанию, пока Бодвайн и Слотроп запрыгивают на передние сиденья и газуют в крутом визжащем развороте мимо двух подбегающих гражданских.

– А эт ’щё кто?– Слотроп оглядывается из окна на их кричащие уменьшающиеся фигуры,– ты усёк того птаха с тузом пик на щеке?

Бодвайн объезжает кутерьму рядом с *Джон Е. Бэдэс* и показывает всем соответственный палец. Слотроп откидывается назад на сиденье, вскинув маску свиньи как забрало рыцарского шлема, дотягивается залезть в пачку сигарет в кармане джемпера на Бодвайне, закуривает одну, усталый, так хочется поспать… За спиной его нежданный крик девушки Красного Креста: «Боже мой, что это?»

– Смотри,– Криптон само терпение,– берёшь немного на кончик пальца, хорошо, потом закрываешь половину своего носа, а и—

– Это кокаин!– голос девушки взвивается до тревожной напряжённости,– вот что это такое! Это героин! Вы *наркоманы!* и вы похитили меня! О, Боже мой! Да ведь это же, как вы не понимаете, это *Клубмобиль Красного Креста!* Это собственность Красного Креста! О, спасите меня, кто-нибудь! Они наркоманы!

Пожалуйста! На помощь! Остановитесь и выпустите меня! Забирайте грузовик, если хотите, заберите *всё*, но, о, пожалуйста, только не—

– Подержи руль минутку,– Бодвайн оборачивается и направляет свой сияющий пистолет на девушку.

– Ты не можешь меня застрелить,– визжит она,– ты бандюга, кем ты себя возомнил, что угнал собственность Красного Креста! Почему бы вам просто—пойти куда-нибудь и—нюхать свой наркотик и— *оставить нас в покое!*

– Пизда,– урезонивает Моряк Бодвайн, спокойным доверительным тоном,– ты ошибаешься. *Я могу* застрелить тебя. Правильно? Дальше, тебе случилось работать в той тёплой и чудной организации, что сдирала по пятнадцать центов за кофе с пряниками во время Битвы за ёбаную *Бельгию*, если вправду хочешь знать кто крадёт от кого.

– У кого,– отвечает она намного потише, нижняя губка трепещет довольно, сука, миленько, как убеждается Слотроп в зеркале заднего вида, когда Бодвайн снова берёт руль.

– Ого, что это,– Криптон глядит на её зад,– что это у нас тут такое,– залазит под её хаки юбку, пока она стоит, расставив длинные ноги, чтоб удержаться на их тарахтящей 60 или 70 миль в час и при странной технике Бодайна вписываться в повороты, которая смахивает на стилизованную форму самоубийства.

– Как тебя зовут?– Слотроп улыбается, добродушная свинья.

– Ширли.

– Тайрон. Как ты?

– Тра-ля-ля,– Криптон грабит ящик кассового аппарата, жуёт плитки шоколада и набивает свои носки пачками курева,– любовь нечаянно нагрянет.– Примерно в этот момент Бодайн бьёт по тормозам и их несёт юзом, задница грузовика разворачивается к леденяще освещённой нежданной сцене из постовых с белыми трафаретами на подшлемниках, в белых ремнях, с белыми кобурами, баррикада поперёк дороги, офицер бежит к джипу пригнувшись, что-то орёт в ручную рацию.

– Дорожный блок, вот блядство,– Бодвайн врубает заднюю, различные товары для военнослужащих валятся со своих полок, пока грузовик разворачивается. Ширли теряет равновесие и дёргается вперёд, Криптон хватается за неё, пока Слотроп склонился взять пистолет с приборной доски, чтобы обнаружить её наполовину перевесившейся через спинку сиденья, когда разворачивается обратно к окну.– Где тут ёбаная первая? Это что, коробка передач Красного Креста? Надо бросать монетку, чтобы переключить, *эй Ширли?*

– О, боже ты мой,– Ширли прокручивается втиснуться на сиденье между ними, хватает рычаг скоростей,– вот так, придурок.– Позади них выстрелы.

– Спасибо,– грит Бодвайн и, присмолив резину в едко дымном визге, они снова срываются с места.

– Ты в натуре крутой, Ракетмэн, ух-ты,– Криптон разлёгся сзади, предлагая щиколотку и припластыренную бутылочку кокаина Ширли с улыбкой.

– Ты только попробуй.

– Нет уж, спасибо,– грит Ширли,– лучше не буду.

– Да давай… о…

– Откуда эти ВоенПолы там взялись?– Слотроп прищуривается на фонари впереди.– Американцы? Что Американцам делать тут в Британском секторе, ты не знаешь?

– Может и нет,– гадает Бодвайн,– может только Береговой патруль, брось, давай не будем паранойнее, чем нам положено...

– Смотри, видишь, я делаю (занюх) это и у меня не растут (занюх) клыки или ещё там что...

– Ну я просто не знаю,– Ширли, развернувшись назад стоит на коленках, груди подпёрты спинкой сиденья, большая гладкая рука деревенской девушке на плече Слотропа для равновесия.

– Слушай,– грит Бодайн,– это наличка или наркота, или что? Просто хочу знать чего ждать, потому что, если полиция за—

– Только за мной, насколько знаю. Ничего общего, что толкал, тут по-другому бурят.

– Она как розочка, на ничейной земле,– поёт Криптон, заигрывая.

– Зачем тебе к Пуци?

– Надо увидеть того Шпрингера.

– Не знал, что он подваливает.

– Почему все говорят одно и то же?

– Ду, дадно,– Ширли берёт тут, только в одну ноздрю,– собсем дебножко, Альбет, одду кабельку.

– Просто про него ни слуху какое-то время .

– Теперь вдохни, хорошо, хорошо, молодец, *давай*. Умм, там немножко ещё, ум, типа козявка, не пускает… Сделай ещё, хорошо. Теперь в другую

– *Альберт*, ты сказал только раз.

– Слушай, Ракет, если тебя накроют—

– Даже и думать не хочу.

– Охренеть,– грит Ширли.

– Тебе понравилось? Вот ещё капелюшечка.

– Что тогда будешь делать?

– Ничего. Хотел поговорить с кем-нибудь из того ГПОГ. Узнать что происходит. У нас была встреча, знаешь, без протоколов у аптекаря. Нейтральная территория. Вместо того нарисовались Фараоны. А потом ещё те два придурка в гражданке.

– Ты шпион, или что?

– Да *лучше б* уж я был. Ё-моё. Тогда б хоть знал.

– Да, звучит хреновенько.– И Моряк Бодвайн ведёт дальше, совсем ему это не нравится, он вдумывается, впадает в сантименты.– Допустим,– чуть погодя,– если тебя, ну догонят, я б мог дать весточку твоей Маме, или там что.

– Моей... – Острый взгляд,– Нет, нет, нет…

– Ну кому-нибудь.

– Не могу ни души надумать.

– Ух-ты, Ракетмэн...

Пуци оказывается широченным, отчасти укреплённым, домом-усадьбой, что датируется минувшим столетием, свернуть с Дорумской дороги, а там вдоль пары автомобильных колей в песке с тростником и жёсткой травой дюн выросшей между ними, дом сидит, словно плот на гребне песчаного холма, что восходит от пляжа с таким неприметным уклоном, что становится водой совсем неожиданно, упокоенной, бледно-солёной, и простирается на мили в Северное море как облака, тут и там чуть серебристее, длинные клеточные или кожные формы, тонкие как покров, застыв под луной, протянулись к Гельголанду.

Это место никогда не реквизировали. Никто никогда не видел владельца и даже не знает, существует ли «Пуци» вообще. Бодайн загоняет грузовик в то, что когда-то было конюшней и все выходят, Ширли уракает под луной, Криптон бормочет ё-моё, ё-моё, утопая в романтичном настрое. В дверях маленькое недоразумение насчёт пароля с охраной по поводу свинского прикида, но Слотроп козыряет шахматным конём из белого пластика и тот срабатывает. Внутри, они находят ярко освещённую и бьющую ключом комбинацию бара, опиумного логова, кабаре,

казино и дома сомнительной репутации, комнаты которого полны солдат, матросов, дам, шулеров, победителей, лузеров, заклинателей, толкачей, наркоманов, вуеристов, гомосексуалистов, фетишистов, шпионов и просто любителей компании в поисках её, все говорят, поют или устраивают разборки на уровне шума, который молчащие стены дома глушат от внешнего мира. Духи, дым, алкоголь и пот разливаются по дому в турбуленциях слишком тонких, чтобы увидеть или ощутить. Это текущее празднество, которое никто не додумался завершить: вечеринка победы настолько вечная, так легко собирающая новичков и регулярных участников, что кто его знает, какая победа? в какой войне?

Шпрингера нигде не видать и, насколько выяснил Слотроп из пробных расспросов, вскоре не ожидается, если будет вообще. А это та самая дата по доставке отставки, как договорено в плавании с фрау Гнаб к Штралсунду. И именно в эту ночь из всех ночей, после недельной передышки, полиция решила повязать Слотропа. О да, да ещё как ННННННН Добрый Вечер Тайрон Слотроп А Мы Тебя Ждали. Конечно Мы Тут Как Тут. Ты Же Не Думал Что Мы Растворились, Нет, Нет, Тайрон, Придётся Снова Сделать Тебе Больно, Если Будешь Таким Глупым, Сделать Тебе Больно Ещё И Ещё Да Тайрон Ты Такой Безнадёжный И Тебе Конец. С Чего Ты Взял, Что Должен Найти Что-то? Что Если Это Смерть Тайрон? Что Если Нам Не Надо , Чтоб Ты Что-то Нашёл? Что Если Не Дадим Тебе Отставки, Чтоб Ты Так И Продолжал Всегда? Может Нам Надо, Чтоб Ты Всегда Так И Продолжал. Ты Же Не Знаешь, Правда, Тайрон? С Чего Ты Взял Что Можешь Играть Не Хуже Нас? Не Можешь. Думаешь Ты Хорош А На Самом Деле Дерьмо И Все Мы Знаем Это. Так Стоит В Твоём Досье. (Смех. Траляляканье.)

Бодайн находит его в шкафу для одежды жующим бархатное ухо своей маски: «Ты плохо выглядишь, Ракет. Это Золанге. Она массажистка». Та улыбается, вопросительно, дитя приведённое проведать свинью в её пещере.

– Прости. Прости.

– Давай, я провожу тебя в баню,– голос женщины намыленная мочалка уже приглаживает его тревоги,– там очень тихо, спокойно...

– Я буду тут всю ночь,– грит Бодайн.– Скажу тебе, если вынырнет Шпрингер.

– Это всё нарочно, правда?– Слотроп сосёт слюну с бархатного ворса.

– Вообще-то, *всё* какой-то сговор, мэн,– смеётся Бодвайн.

– А да, но стрелки все смотрят в разные стороны,– Золанге для наглядности поигрывает руками, красноконечные пальцеуказатели.– Это для Слотропа новость, впервые, вслух, что Зона может содержать много других планов помимо сосредоточенных на нём… что это всё электрички и автобусные маршруты необъятной транспортной системы тут в Ракетограде, более запутанной, чем в Бостоне— и что проехав по любой ветке сколько нужно, зная где пересадки, держа себя минимально в руках, хотя часто может казаться, что он поехал не

туда, эта сеть всех планов может ещё вынести его к свободе. Он понимает, что не надо впадать в паранойю из-за Бодвайна или Золанге, а просто проехать часть их подземки, посмотреть, куда это его приведёт...

Золанге уводит Слотропа в баню, а Бодвайн продолжает поиски своего клиента, 2½ бутылочки с кокаином позвякивают и увлажняются на его голом животе под нижней рубахой. Майор не играет ни в покер, ни в зернь, не присутствует на представлении, в котором некая Йоланда, блондинка вся в детском масле, танцует от стола к столу, подбирает флорины и соверены, зачастую накалённые пламенем зажигалки какого-нибудь хохмача, цепкими губками своей пизды—он не пьёт, и даже, по свидетельству Моники, общительной, курящей сигары, мадам борделя Пуци в костюме из матлассе, не ебётся. И даже к пианисту он не приставал с требованием «Розы Сан Антонио». Бодвайну потребовалось полчаса прежде, чем наконец столкнулся с ним, когда тот выруливал через дверь-вертушку из писсуарной на ватных ногах после противостояния с пресловутой *Eisenkröte*, известной всей Зоне как максимальный тест на мужественность, перед которой заслуженные убийцы Капустников в чинах и медалях, а также наикрутейшие всё-похуй-пополощу-перо-кровью беглецы из самых жутких военных тюрем Зоны, все без разбора тушевались, млели, трусили, порой блевали, да, прямо там, где стояли. Потому что это и впрямь Железная Жаба, как живая, с тысячею бородавок и, утверждают некоторые, с лёгкой улыбочкой, в фут длиной, не более, затаившаяся на дне смердящего задерьмованного унитаза и подключённая к Европейской Электросети через реостат настроенный пропускать переменные, хотя и не летальные, разряды напряжения и тока. Неизвестно, кто лично сидит за потайным реостатом (некоторые говорят, что это сам полумифический Пуци), или же к нему встроен самодельный таймер, потому что не каждого трахает, правда—можешь поссать на Жабу и хоть бы что. Но тут не угадаешь. Достаточно часто, чтоб знали, электроток на месте—рейд пираньи и прыжок лосося по отблескивающей золотом струе твоей мочи, твой предательский мочевой пузырь с солями и кислотами, заземляют тебя накоротко с Землёй-Матушкой, с великим, планетарным общим котлом электронов, сливают тебя в одно с твоим прототипом, с легендарным несчастным пьяницей, слишком пьяным, чтобы что-то понять, поссавшим на провод высокого напряжения для электрички и испепелённым в древесный уголь, во тьме эпилептичной ночи, а вопль не его, даже и не доссавшего, а, по сути, электричества, амперов заговоривших через его идущие вразнос капилляры, спёкшиеся слишком быстро, чтоб успеть сказать своё, объявить о своём освобождении от молчания, никто всё равно и не слышал, разве какой-то обходчик бредущий вдоль путей, какой-то старик вышедший прогуляться от бессоницы, какой-то городской бомж на скамье под миллионом Июньской мошкары в зелёном нимбе вокруг уличного фонаря, с его шеей то обмякавшей, то твердевшей по ходу снов, а может то просто кошачья ебля, церковный колокол под порывом ветра, окно разбилось, не понять даже в какой стороне, и не встревожило, сменившиеся быстро всё той же давней, угольный газ и Лизол, тишью. А кто-то ещё находит его уже на следующее утро. Или можешь найти ты, в любую ночь у Пуци, если хватит мужества пойти поссать там на ту Жабу. Майор

на этот раз отделался лишь лёгкой встряской и пребывает в самодовольном расположении духа.

– Эт’ х’соска с корявой рожей во всю старалась,– забросив руку вокруг шеи Бодвайна,– да ток’о зря сёдни сибе жопу надырвала.

– Достал «снежку» для вас, Майор Марви. Полбутылки недостача, звиняюсь, то всё что было.

– ’сё нормалёк, моряк, знаш каки’ привычки в бальшинсте носов между тут и Висбаденом, те х’сосы и три *тонны* в день принюшат.– Он расплачивается с Бодвайном по полной, отклонив предложение удержать за нехватку.– Щитай за падарачек, карифан, так Двайн Марви делаит дела. *Бля*, та стара жаба падбадрила мой канец. Бля, я б ща засадил какой ни то *простипоме*. Эй! Кора́бельный, ’де тута найти сибе пиздёнку?

Моряк показывает как подняться в бордель наверху. Они заводят тебя типа в частную парную баню для начала, можешь ебтись там, если охота, никакой сверхоплаты. Мадама—эй! ха! ха! смотрится как лесба с той её сигарой среди рожи! подымает сперва бровь на Марви, когда он ей говорит, что хочет негру, но потом прикидывает, что может предоставить одну.

– Тут не Дом Объединённых Наций, но мы стремимся к разнообразности,– пробегая черепаховым концом мундштука её сигары по списку персонала.– Сандра занята на данный момент. У неё показ. А пока что, вот наша великолепная Мануэла составит вам компанию.

На Мануэле только лишь высокий гребень и мантилья чёрного кружева, тене-цветы спадают до её бёдер, профессиональная улыбка толстяку Американцу, что уже начал возиться с пуговицами своей униформы.

– Опаньки-мопаньки! Эй, не крепко подзагорелая. Чё не? У вас тут маненька есть Мехикана, дарагуша? Ты *sabe español?* Ты sabe ебли-мебли?

– *Si*,– решая на сегодня быть из Ливана,– я испанка. Из Валенсии.

– Вал-ен-сия,– напевает Майор Марви популярную песню того же наименования,– *Señorita, fucky-fucky, sucky-sucky sixty-ni-i-ine, la-lalalala-lala-lalaaa*…– делает с нею пару па тустепа строго вокруг центра ожидающей мадам.

Мануэла не чувствует себя обязанной подыгрывать. Валенсия была одним из последних городов сдавшихся Франко. Она же, на самом деле, из Астурии, познавшей его первой, прочувствовавшей его жестокость за два года до того, как гражданская война началась для остальной Испании. Она смотрит на лицо Марви, когда тот платит Монике, наблюдает его в этом главном Американском акте, отсчёт платы, в котором его подноготная раскрывается больше, чем когда кончает или когда спит, или, может даже, испуская дух. Марви у неё не первый, но почти первый, Американец. Клиентура тут у Пуци в основном Британская. Во время

Войны—сколько лагерей и городов после её первой поимки в 38-м?—по большей части Немцы. Она пропустила Интернациональные Бригады, запертая в её холодных зелёных горах, и боевые рейды после того, как Фашисты захватили весь север—пропустила детей, поцелуи, и многоязычность Барселоны, Валенсии где она никогда не бывала, Валенсии, этого дома под вечер... *Ya salimos de España*. . . . Pa' luchar en otros frentes, ay, Manuela, ay, Manuela. . . .

Она вешает его форму аккуратно в шкафчик и следует за своим уловом в жаркий, яркий пар, стены накалённой комнаты не видны, слипшиеся в перья волосы вдоль его ног, громадные ягодицы и спина начинают темнеть влагой. Другие души движутся, вздыхают, стонут невидимые среди полос тумана, размер тут под землёй утрачивает смысл—комната может быть любой величины, шириной с целый город, вымощена птицами не совсем дружескими в сдвоенной вращательной симметрии, затемнённый ступнями жёлтый с синим, единственные цвета в этих водянистых сумерках.

– Aааххх, чёрт горячча,– Марви оплывает жирно вниз, скользкий от пота, через кафельный край в ароматную воду, ногти на ногах, обрезанные прямиком, по-Армейски, уходят под неё последними.– *Давай*, все в бассейн,– радостный рёв, хватает щиколотку Мануэлы и тащит. Уже падавшая пару раз на этих плитках и видавшая как волочат её подругу, Мануэла ловко поддаётся, падает жёстко раскинув ноги, ударяя задом в его брюхо с громким *шлёп*, сделать ему побольнее, надеется она. Но он лишь снова хохочет, громко взгорячась теплом и плавучестью и звуками окружения—анонимная ебля, сонливость, лёгкость. Обнаруживает у себя толстую красную эрекцию и вставляет без запинки в сумрачную девушку полускрытую её облаком промокшего чёрного Испанского кружева, глаза где угодно, подальше от его взгляда, теперь ходуном в недрах тумана, в своих грёзах о доме.

Ну, эт' путём, Он же не глаза её ебёт, так? Ему вообще её лицо без надобности, всё что он хочет это коричневая кожа, стиснутый рот, эта сладкая негритянская покорность. Она сделает всё, что он скажет, да он может держать её голову под водой, пока не захлебнётся, он может выкрутить ей руку, да, поломать пальцы как той пизде во Франкфурте на прошлой неделе. Избить пистолетом, кусать до крови… видения накручиваются, дикие, менее эротичные, чем может тебе показаться—в основном наступить, ударить, прорваться и такая прочая военная тематика. Что не означает, будто он забавляется не так же невинно как и ты. Или будто Мануэле тоже, в обыденном спортивном смысле, не нравится скачка вверх и вниз по твёрдой красной штанге Майора Марви, хотя сейчас у неё на уме тысяча другой всячины, платье Сандры, которое ей так хочется, слова из многих разных песен, зуд пониже левой лопатки, рослый Английский солдат, которого видела, проходя через бар пару часов назад, его коричневая рука, рукав закатан до локтя, на цинковой столешнице...

Голоса посреди пара. Тревога, шлёпанье множества ног в банных тапках, силуэты движутся мимо, серая туманная эвакуация: «Что за херня»,– Майор Марви, что

вот-вот кончит, приподымается на локтях, сбитый с толку, жмурясь в нескольких направлениях, с опадающим членом.

– Облава,– голос на ходу мимо.– ВэПэшники,– верещит кто-то ещё.

– Гааахх!– вскрикивает Майор Марви, который только что вспомнил о наличии 2½ бутылок кокаина в кармане его формы. Он переворачивается, по-моржовьи тяжко, Мануэла соскальзывает прочь с его обмякшего нервного члена, едва ли возбуждена, но достаточно профессиональна, чтобы вычислить, что цена включает невнятные *puto* и *sinvergüenza* теперь. Выбираясь из воды, оскальзываясь по облицовке, Дуайн Марви, замыкающим, заскакивает в холодную как лёд раздевалку обнаружить, что купальщики все посмывались, шкафчики мертвецки пусты за исключением одного разноцветного чего-то из бархата.– А где моя форма?– топает в пол, кулаки упёрты по бокам, лицо очень красное.– Ах вы ублюдки безматерные!– После чего швыряет несколько бутылок и пепельниц, разбивает два окна, бодает стену декоративной стойкой для зонтиков, чувствуя, что сознание проясняется. Он слышит солдатские ботинки, что грохочут над головой и в соседних комнатах, девушки визжат, пластинка фонографа трахнута, чтоб заглохла.

Он проверяет этот бархатный или плюшевый прикид, хитро соображает, что ни один ВэПэшник не заинтересуется невинной, ищущей забав, свиньёй. Деловитые голоса Англикашек приближаются по комнатам у Пуци, с ожесточением раздирает он шёлк подкладки и соломенную набивку, высвободить пространство для собственного жира. И втиснулся, наконец, внутрь, хухх, зашморгнул замок-молнию, маска скрыла лицо, спасён, клоунски анонимен, прошвыривается сквозь занавесь из бусин, потом наверх в бар, и тут-то нарвался на целую дивизию х'сосов в красных шапочках, все на него, Бог свидетель.

– А вот и наша беглая свинья, джентльмены,– лицо в оспинах, тупые взъерошенные усы, уставил пистолет прямо ему в голову, остальные тут же навалились. Гражданский протискивается сюда, знак пиковой масти на гладкой щеке.

– Хорошо. Доктор Мафидж ждёт в машине скорой помощи, и нам потребуется пара ваших ребят, Сержант, пока всё сладится.

– Конечно, сэр,– Запястья, расслабленные паром и комфортом, умело заведены ему за спину, прежде чем успел разбушеваться и начать орать на них—холод стали, стискивающий, словно номер телефона набранный посреди ночи, без малейшей к чёртям надежды, что трубку вообще поднимут...

– Чёрт побери,– заводится он наконец, маска заглушает голос, отдаёт эхом от которого больно ушам,– да что на вас нашло, а?

Да вы знаете кто я такой?

Но, ой-ой, минуточку-минутку—если у них его форма, с удостоверением Марви и кокаином в карманах по соседству, может это не слишком крутая идея говорить им кто он пока что.…

– Лейтенант Слотроп, по всей видимости. Пройдёмте с нами.

Он молчит. Слотроп, Окей, посмотрим, как дальше обернётся, с той наркотой разберёмся позднее, прикинуться дурачком, типа, подложили. Может даже нанять Еврейского адвоката, чтоб прижучил их за неправильный арест.

Его выводят за двери в ожидающую машину скорой помощи. Бородатый водитель лишь мельком через плечо оглядывается на него. Прежде, чем он надумал сопротивляться, другой гражданский и ВэПэшники быстро пристегнули колени Марви и грудь его к носилкам.

Притормозили возле Армейского грузовика отпустить тех ВэПэшников. Потом едут дальше. В сторону Каксэвена. Марви думает. Ничего кроме ночи, смягчённой луной черноты за окном. Непонятно...

– Успокоительное сейчас?– Пиковый Туз сгибается рядом с ним, подсвечивая карманным фонариком ампулы в своей сумке, позвякивает шприцами и иглами.

– Угу. Мы почти на месте.

– Не понимаю, почему они не могут предоставить нам место в госпитале для этого.

Водитель смеётся: «О, да, уж это мне понятно».

Наполняя шприц медленно: «Ну у нас ведь приказ… То есть ничего такого—»

– *Дружище*, это не самая респектабельная операция.

– Эй,– Майор Марви пытается поднять голову.– Операция? Что за дела, парень?

– Тшш,– отдирая часть рукава костюма свиньи обнажить руку Марви.

– Никаких мне уколов... – но та уже в вене и выпускает дозу, пока человек старается его успокоить,– говорю ж вы взяли не того.

– Конечно, Лейтенуша.

– Эй, эй, эй. Нет. Не я, я Майор.– Ему бы тут повыразительнее, с большей убеждённостью. Может это эта х’сосная маска мешает. Только он может слышать свой голос, что теперь отдаётся полностью к нему, потускневший, металлический… им его не слышно.– Я Майор Дуайн Марви.– Они не верят ему. Не верят даже в *его имя.* Даже имени его не... Паника охватывает его, глубже чем проникло успокоительное, и он начинает биться вовсю в ремённых путах, чувствуя

как межрёберные мышцы его груди растягиваются в бесполезной боли, о, Боже, начинает вопить теперь что есть мочи, без слов, только крики, насколько позволят ремни поперёк груди.

– Да жалко же,– вздыхает водитель.– Не можешь заткнуть его, Спонтун?

Спонтун уже сорвал маску свиньи, и заменяет её сейчас марлевой, которую удерживает одной рукой, капая эфир другою, когда судорожная голова даёт возможность: «Пойнтсмен утратил всякий ум»,– считает он нужным сказать, от раздражённости утратив всякое терпение,– «если называет это "тихой невозмутимостью"».

– Ладно, мы уже на берегу. Никого не видно.– Мафидж подъезжает к воде, песок твёрд ровно настолько, чтобы выдерживать машину «скорой», всё очень бело от месяца в зените… совершенная заиндевелость...

– О,– Марви стонет,– О, ёб твою. О, нет. О, Господи,– слова в долгом занаркотизированном диминуэндо, борьба с путами слабеет, пока Мафидж припарковывает их, наконец, оливково-тусклую крохотную колымагу брошенную без надзора на этом широченном пляже, на громадной гладкой полосе тянущейся к месяцу, к порогу северного ветра.

– Времени предостаточно,– Мафидж взглядывает на свои часы.– Успеем на С-47 к часу. Они сказал, что могут нас немного подождать.– Вздыхают с облегчением, прежде чем приняться за своё дело.

– Однако, какие связи у того,– Спонтун покачивает головой, вынимая инструменты из раствора дезинфекции, и раскладывая их на стерильную ткань рядом с носилками.– О-ё-ёй. Будем надеяться, он никогда не станет на путь криминального преступника, а?

– Ёб,– стонет Майор Марви чуть слышно,– о, ёб меня, пжалста…

Они оба протёрли руки, одели маски и резиновые перчатки. Мафидж включил светильник в потолке, направленный вниз, мягкий сияющий глаз. Вдвоём они работают быстро, молча, военные профи привычные к полевой беспринципности, лишь со случайным словом от пациента, шёпот, жалостное нащупывание в эфирной тьме за ускользающей точкой света, вот и всё что он оставил по себе.

Это простая процедура. Промежность бархатного костюма содрана. Мафидж решает обойтись без бритья мошонки. Он смазывает её сперва йодом, потом притискивает, по очереди, каждое яичко к красно-венозному волосатому мешочку, делая надрез быстро и чисто сквозь кожу и прилегающие мембраны, выдёргивая само яичко сквозь рану и выступившую кровь, тащит его левой рукой покуда жилы, твёрдая и мягкая, натягиваются на виду под светом. Будь это музыкальные струны, он мог бы, малость ошалелый от лунного света, сбацать тут на пустом пляже подходящую музыку, рука его колеблется: но затем, неохотно склоняясь перед обязанностью, он обрезает их на надлежащем расстоянии от склизкого

камушка, каждый разрез споласкивается дезинфицирующим средством, и две аккуратных прорези, одна возле другой, зашиты снова. Яички булькнули в бутыль со спиртом.

– Сувениры для Пойнтсмена,– Мафидж вздыхает, сдёргивая хирургические перчатки.– Сделай ещё укол. Будет лучше, если поспит и кто-нибудь уже в Лондоне растолкует ему это.

Мафидж заводит мотор, делает полукруг и направляется обратно к дороге, необъятное море спокойно лежит позади.

А у Пуци, Слотроп свернулся калачиком на широкой, хрустко-простынной кровати Золанге, спит и видит во сне Цвёльфкиндер, улыбающуюся Бианку, они катаются на колесе обозрения, их отсек стал комнатой: каких он никогда не видел, комнатой в огромном комплексе квартир большом как город, по коридорам можно ездить на машине или велосипеде: деревья стоят по сторонам, а на деревьях поют птицы.

И «Золанге», как ни странно, тоже снится Бианка, хотя в несколько ином аспекте: это её собственное дитя, Ильзе, что едет, заблудившись в Зоне, на длинном товарном поезде, который, кажется, не остановится никогда. Она невесела и не ищет, в общем-то, своего отца. Но давняя мечта Лени относительно её исполнилась. Её не будут использовать. Приходит перемена, и расставание: однако приходит также помощь когда меньше всего ждёшь от незнакомцев дня, и прибежище, там в событиях этого блуждающего Смирения, которое никогда не угасить до конца, пара мелких-премелких шансов на милосердие...

Наверху, некто Мёльнер, с чемоданом содержащим его ночную добычу, документы Американского Майора, 2½ унций кокаина—объясняет мохнатому Американскому моряку, что Герр фон Гёль очень занятой человек, занят бизнесом на севере, насколько ему известно, и не поручал ему привозить в Каксэвен никаких документов, никаких отставок, паспортов—ничего. Он сожалеет. Возможно, друг моряка ошибся. Возможно также, что это лишь временная задержка. Разумеется, для подделок нужно время.

Бодайн наблюдает его отбытие, не зная что находится в чемодане. Альберт Криптон упился до потери сознания. Заходит Ширли, блестя глазами и не находя себе места, в чёрных подвязках и чулках. «Хмм»,– говорит она с определённым выражением во взгляде.

– Хмм,– грит Моряк Бодвайн.

– И между прочим, там было только по десять центов в Битве за Бельгию.

* * * * * * *

Итак: он отследил батарею Вайсмана из Голландии, через солёные топи, волчьи бобы и коровьи кости, чтобы выйти на это. К счастью он без предрассудков. Иначе

принял бы это за пророческое видение. Этому, конечно, найдётся абсолютно рациональное объяснение, но Чичерин никогда не читал *Martín Fierro*.

Он следит из своего временного командного пункта в рощице можжевельника на невысоком холме. В бинокль он видит двух человек, один белый, другой чёрный, с гитарами в руках. Жители города собрались вокруг, но этими Чичерин может пренебречь, оставляя в своём эллиптическом поле зрения сцену, составленную так же, как мужской-женский певческий поединок посреди плоскогорья в Центральной Азии больше десяти лет тому назад—противоборство противоположностей, что просигналило его собственное приближение к Кыргызскому Свету. О чём сигналит на этот раз?

У него над головой небо в полосах и твёрдое словно мрамор. Он знает. Вайсман вмонтировал S-Gerät и произвёл запуск 00000 откуда-то неподалёку. Тирлич не может отставать намного. Это произойдёт здесь.

Но ему нужно выждать. Когда-то это показалось бы невыносимым. Однако, после того как Майор Марви пропал из виду, Чичерин стал поосторожней. Марви был ключевым лицом. В Зоне есть противодействующая сила. Кто был тот Советский разведчик, что промелькнул перед самым фиаско на просеке? Кто предупредил *Schwarzkommando* о предстоящем рейде? Кто убрал Марви?

Он очень старался не поверить в Ракетный картель. После озарения в ту ночь, Марви в хлам, Чиклиц декламирует оды достоинствам Герберта Гувера, Чичерин искал доказательств. Герхардт фон Гёль с его корпоративным спрутом, стиснувшим всё до последне мелочи пригодной для обмена товарами в Зоне, должен быть в деле, сознательно или иначе. Чичерин на прошлой неделе чуть не сорвался полететь в Москву. Он встретился с Мравенко, человеком из ВИАМ, что ненадолго посетил Берлин. Они встретились в Тиргартен, два офицера с виду гуляющих на солнышке. Рабочие бригады на холодную заделывали дыры в асфальте, ухлопывая гравий обратной стороной лопат. Велосипедисты трещали мимо, скелетно-функциональные, как и их машины. Небольшие группы гражданских и военных собрались в глубине под деревьями, сидя на стволах поваленных или на покрышках грузовиков, копошась в чемоданах или сумках, торгуя. «Ты в беде»,– сказал Мравенко.

Он тоже побывал в ссылке, ещё в тридцатые, и был самым заядлым, беспринципным шахматистом в Центральной Азии. Вкусы его опускались даже до партий «вслепую», что для Русской чувствительности невыносимая мерзость. Чичерин садился за шахматную доску всякий раз с бо́льшим отвращением, чем в предыдущий, стараясь быть подружелюбнее, ободрить чокнутого до более-менее рациональной игры. Чаще проигрывал он. Но это был либо Мравенко, либо зима Семиречья.

– Ты в курсе что происходит?

Мравенко засмеялся: «А кто вообще в курсе? Молотов не докладывает Вышинскому. Но они кое-что о тебе знают. Помнишь Кыргызский Свет? Ну ещё бы. Так они узнали об этом. Я ничего не говорил, но кого-то нашли».

– Старая история. К чему теперь подымать?

– Тебя считают «полезным»,– сказал Мравенко.

Они посмотрели друг на друга, тут, долгим взглядом. Это была мёртвая тишина. Полезность заканчивается здесь так же быстро, как и реляция. Мравенко боялся и не настолько уж за одного лишь исключительно Чичерина, к тому же.

– Как бы *ты* поступил, Мравенко?

– Постарайся не быть слишком полезным. Они тоже не совершенство.– Оба знали, что это сказано в утешение, и не слишком-то действует.– Им не понять что *делает* тебя полезным. Просто исходят из статистики. Не думаю, что по их расчётам ты мог пережить Войну. Когда ты выжил, им пришлось присмотреться к тебе повнимательней.

– Может, я и это переживу, тоже.– Вот когда ему пришла мысль полететь в Москву. Но, примерно в то же время, пришло сообщение, что батарею Вайсмана невозможно отследить дальше Хита. И возрождённая надежда встретить Тирлича остановила его отлёт—соблазнительная надежда, что с каждым днём уводит его всё дальше от всякого шанса на жизнь после этой встречи. Он никогда не ждал, что выживет. Вопрос в том: возьмут ли его раньше, чем он доберётся до Тирлича? Всё, что ему нужно, это ещё чуть-чуть времени… его единственная надежда на то, что они тоже разыскивают Тирлича, или S-Gerät, и пользуются им, как он использовал Слотропа...

Горизонт всё ещё чист: весь день такой. Кипарисо-подобные можжевельники стоят в заржавелых маревах удалённостей недвижимо, как памятники. Первые пурпурные цветы показываются на вереске. Это не исполненный дел покой позднего лета, но покой кладбища. Среди доисторических Германских племён именно этим и была эта страна: земли мёртвых.

Дюжина национальностей, в одежде Аргентинских *estancieros*, толпятся вокруг интенданта суповой кухни. Эль Ньято стоит на седле своей лошади, в стиле Гаучо, всматривается в Германские пампасы. Фелипе преклонил колени на солнце, совершает своё полуденное поклонение некоему камню в пустошах Ла Риойа, на восточных склонах Анд. По Аргентинской легенде прошлого столетия, Мария Антония Кореа последовала за своим любимым в те засушливые земли, неся их новорожденного ребёнка. Пастухи нашли её спустя неделю, мёртвой. Но младенец уцелел на молоке её трупа. Камни вокруг места этого чуда стали с тех пор направлением ежегодных паломничеств. Но тот особый камень Филипе воплощает также интеллектуальную систему, потому что он верит (так же, как М. Ф. Бел и другие) в некую форму сознания у минералов, не слишком отличающуюся от сознания растений и животных, за исключением шкалы

времени. Эта шкала у камней намного протяжённее. «Мы имеем ввиду, один кадр на столетие»,– у Фелипе, как и всех тут, в последнее время малость зачастили киношные термины,– «в тысячелетие!» Колоссально. Однако Фелипе пришёл к осознанию, редкому среди не верящих в Разумные Камни, что история, своим наложением на мир, есть всего лишь фрагментом, внешним-и-видимым фрагментом. А мы должны также приглядываться к невысказанному, к молчанию вокруг нас, к происхождению каждого утёса, какой только подвернётся—к эонам его истории под долгим женственным упорством воды и воздуха (кто явится, раз или два в столетие, щёлкнуть шторкой?), до самых глубин, где ваши пути, человечьи и минеральные, скорее всего, пересекутся...

Грасиэла Имаго Порталес, тёмные волосы разделены на прямой пробор и зачёсаны ото её лба, в длинной чёрной юбке для верховой езды и в чёрных сапогах, сидит, тасует карты, подкладывает себе флеши, фул-хаусы, четыре одинаковых, просто для собственного удовольствия. Из-за излишков, почти уже не на что играть. Она знала, что этим всё и кончится: она как-то подумала, что если использовать деньги только в игре, они потеряют свою реальность. Увянут просто. Так и случилось или она сама с собой игру играет? Похоже Беластегуи на неё глаз положил, с тех пор как они тут. Она не хочет подпортить его затею. Она переспала с неприступным инженером пару раз (хотя, по-первах, в Буэнос Айресе, она бы тебе поклялась, что не сможет подпоить его даже через серебряную соломинку), и она знает, что он игрок тоже. Хорошая пара, подходят один-к-одному: она догадалась с первого раза чем он её затронул. Этот знает что у него на руках, очертания риска близки ему как тела любимых. У каждого момента своя цена, возможность удачи по сравнению с другими моментами в других раздачах, а растасовка для него всегда дело момента. Ему не до воспоминаний про бывшие перипетии, всякие а-что-было-бы-если-б—только то, что есть, карты, сданные ему тем, что он называет Шансом, а у Грасиэлы имя этому Бог. Он поставит всё на этот анархистский эксперимент, а если проиграет, перейдёт на что-нибудь ещё. Но пасовать он не станет. Она этому рада. Он источник силы. Она не знает, если понадобится, насколько сильной окажется она сама. Часто по ночам, она прорывается сквозь тонкую оболочку алкоголя и оптимизма понять на самом деле насколько ей нужны остальные, как мало толку, без поддержки, было бы от неё.

Съёмочные площадки для предстоящего фильма помогают отчасти. Строения настоящие, а не фальшивый фасад для вида. В *боличе* запас настоящего спиртного, в *пульперии* настоящая еда. Овцы, скот, лошади, всё настоящее. Хижины не протекают и в них можно ночевать. Когда фон Гёль уедет—если вообще появится—ничего не развалят. Если кто-то из массовки захочет остаться, добро пожаловать. Многие из них просто хотят передохнуть перед новыми ПеЭловскими поездами, новыми грёзами как всё было дома перед разрухой, а некоторые мечтают куда-то приехать. Эти уйдут. Но придут ли другие? И что подумает военное правительство о подобной коммуне посреди их гарнизонного государства? Это не самая странная деревня в Зоне. Сквалидози явился из своих странствий с рассказами о Палестинских группах приблудившихся аж из Италии, которые осели восточнее и образовали Хасидские комунны по образцу стопятидесятилетней давности. Есть бывшие заводские посёлки, что нынче стали

подданными быстротечно взвинченного правления Меркурия, посвятили себя единому промыслу, доставляют почту, на восток и обратно, в Советскую часть и оттуда, 100 марок за письмо. Один посёлок в Мекленбурге захватили армейские псы, Доберманы и Шеперды, в каждом выработан рефлекс убить любого двуногого, как только увидят, за исключением того, кто их тренировал. Но тренеры все мертвецы теперь или пропали без вести. Псы выходили стаями, резали коров в полях и волочили туши за много миль, обратно к остальным. Они врывались на склады продовольствия в стиле Рин Тин Тина и грабили К-рационы, замороженные гамбургеры, коробки с конфетами. Трупы жителей прилегающих деревень, а также завзятых социологов, устилают все подходы к Хунд-Штадту. Никто не может к ним подойти. Один карательный отряд явился с автоматами и гранатомётами, но псы рассыпались в ночи, тощие как волки, и никто не решился разрушить дома и магазины. Никто не захотел оккупировать посёлок тоже. Так что они ушли. А собаки вернулись. Есть ли в их среде линии власти, любви, верностей, завистей, никому не известно. Однажды Большая Пятёрка может направить войска. Но псы могут не знать об этом, могут не иметь Германского трепета перед окружением—могут целиком обходиться только одним, привитым людьми, рефлексом: Убей Чужого. Возможно, нет способа отличать его от прочих данных величин в их жизни—от голода или жажды, или секса. По всей видимости, убей-чужого стал уже врождённым. Если кто-то запомнил удары, электрошок, свёрнутые в дубинку газеты, которые никто не читал, сапоги и колья, их боль сплелась теперь с Чужим, ненавистным. Если имеются ересиархи среди псов, они стараются вслух не строить предположений о каком-либо сверх-собачьем источнике этих неожиданных извержений похоти к убийству, что охватывает их, даже задумчивых еретиков, едва услышат запах Чужого. Но наедине, они указывают на сохранённый в памяти образ одного человека, который приходил лишь через определённые промежутки, в присутствии которого они были спокойны и любящи—от которого исходила пища, доброе почёсывание и поглаживание, игры в принеси-палку. Где он теперь? Почему он особенный для кого-то, но не для остальных?

Имеется вероятность, среди псов, покуда что латентная, так как никто не проверял всерьёз, кристаллизации по сектам, каждая вокруг образа своего тренера. Изучение осуществимости, фактически, идёт уже сейчас на уровне штабов Большой Пятёрки, с тем, чтобы разыскать изначальных тренеров, и запустить кристаллизацию. Какая-то секта может попытаться защитить их тренера от нападения остальных. При правильных установках и приемлемой цифре потерь тренеров, возможно, дешевле будет позволить псам самим прикончить друг друга вместо того, чтоб посылать войска. Изучение было поручено, кто бы сомневался, м-ру Пойнтсмену, которому теперь отведён небольшой кабинет в Доме-Двенадцать, остальная площадь отошла агентству по изучении опций национализации угля и стали—доставшийся ему, скорее всего из симпатии, чем по какой-то иной причине. После кастрации Майора Марви, Пойнтсмен пребывает в официальной опале. Клайв Мосмун и сэр Маркус Скамони сидят в их клубе, среди списанных старых номеров *Бритиш Пластикс*, пьют излюбленный рыцарем *Quimporto*—причудливую довоенную микстуру из хинина, говяжьего чая и портвейна—с капелькой кока-колы и чищеного лука. Для видимости встреча

назначена для доработки планов по Послевоенному Поливинил Хлоридному Плащу, источнику большой корпоративной потехи нынче («Представьте выражение лица несчастного ублюдка, когда весь рукав целиком сваливается с плеча—» «И-или как насчёт вмешать что-то, чтоб растворялся под дождём?»). Но Мосмун и вправду хочет поговорить о Пойнтсмене: «Как нам быть с Пойнтсменом?»

– Мне попались такие прелестные сапожки на Портобелло-Роуд,– возвещает сэр Маркус, которого всегда трудно подвести к обсуждению дела.– На тебе будут смотреться изумительно. Кроваво-красный Кордован до середины твоих ляжек. Твоих голых ляжек.

– Мы попробуем,– отвечает Клайв, по возможности бесстрастно (хотя это мысль, старая Скорпия чертовски раздражительна в последнее время). Мне, возможно, нужен будет случай расслабиться после обсуждения Пойнтсмена с Высшими Эшелонами.

– Ах ты, *собака*. Слушай, ты когда-нибудь подумывал о Сенбернаре? Здоровенные мохнатые милашки.

– При случае,– Клайв не отстаёт,– но я больше думаю о Пойнтсмене.

– Он не твоего типа, дорогуша. Совсем нет. И он справляется, бедняга.

– Сэр Маркус,– последняя надежда, обычно гибкий рыцарь настаивает, чтобы его именовали Анжеликой, и похоже уже не осталось иного способа привлечь его внимание,– если этот спектакль накроется, мы станем свидетелями национального кризиса. Эти Рыжие Групперы суют нос в мой почтовый ящик день и ночь...

– Мм. Я бы тоже хотел сунуть в твой ящик, Клайвичек—

–… *и* Комитет 1922 лезет в окна. Брендан и Бивербрук продолжают, знаешь ли, как ни в чём ни бывало, будто этих выборов и не было даже—

– Милый *дружок*,– с ангельской улыбкой,– не будет никакого кризиса. Лейбористы хотят поимки Американца не меньше нашего. Мы послали его погубить чёрного, и теперь ясно, что он эту работу не исполнит. Какой от него вред, если бродит по Германии? Насколько нам известно, он отплыл на корабле в Южную Америку вместе со всеми теми миленькими усиками. Пусть так и будет какое-то время. У нас есть Армия, когда наступит момент. Слотроп был неплохой попыткой умеренного решения, но подведение черты всегда за Армией, не так ли?

– Откуда у тебя такая уверенность, будто Американцы посмотрят на это сквозь пальцы?

Долгое противное хихиканье: «Клайв, ты такой малыш. Ты не знаешь Американцев. А я знаю. Мне приходится иметь с ними дело. Они захотят

убедиться насколько мы разобрались с *нашими* чёрными скотинками—о, Боже, ex *Africa semper aliquid novi*, они такие большие, такие сильные—прежде чем попробуют на своих, э-э, целевых группах. Они могут наговорить массу грубостей, если мы подведём, но до санкций не дойдёт.

– А мы подведём?

– Мы все подводим,– сэр Маркус охорашивает свои кудряшки,– но Дело никогда.

Да. Клайв Мосмун чувствует себя на подъёме, словно из трясины тривиальных срывов, политических опасений, денежных проблем: очутился на здравом побережье Дела, где под ногами только твердь, где «я» всего лишь мелкий уступчивый зверёк, что когда-то плакал посреди своей топкой темноты. Но здесь скулить не приходится, здесь в Деле. Здесь нет мелкого «я». Вопросы здесь слишком значительны для вмешательства мелкого «я». Даже в комнате наказаний в поместье сэра Маркуса «Берёзки», эротическое стимулирование остаётся игрой вокруг обладающего истиной властью, вокруг того, кто имел её всегда, пусть даже в цепях и корсете, вне этих скованных стен. Унижения хорошенькой «Анжелики» сверены со степенью фантазии. Ни радости, ни истинной отдачи. У каждого из нас своё место, только жильцы приходят и уходят, но место остаётся...

Не всегда было так. В траншеях Первой Мировой Войны, Англичане начали любить друг друга пристойно, без стыдливости или притворства, под очень близкой вероятностью их нежданных смертей, и чтобы найти в лицах других молодых людей доказательство посещений из другого мира, некую слабую надежду, что могла помочь искупить даже грязь, говно, гниющие куски человечьего мяса... Это было концом света, тотальной революцией (не вполне в смысле заявленном Вальтером Ратенау): каждый день тысячи аристократов, новых и старых, всё ещё в нимбах своих идей о правильном и неправильном, отправлялись на гремящую гильотину Фландрии, управляемую день за днём, без остановки, невидимыми руками, конечно же, не людей—Английский класс истреблялся, ушедшие добровольцами умирали за тех, кто должен был знать, но не знали, и несмотря на всё это, несмотря на знание, у некоторых, что преданы, пока Европа мерзко умирала в собственных отходах, мужчины любили. Но крик о жизни той любви давно уж сменился шипением вот этой, не более чем праздной и разнузданной педерастии. Гомосексуализм на высших постах всего лишь плотская «мысля» что приходит «опосля», а истинная и единственная ебля идёт теперь на бумаге...

*** * * * * * ***

4

Сила Противодействия

—*Что?*

Ричард М. Никсон

* * * * * * *

Бетте Дэвис и Маргарет Дюмонт посреди салона в Кювилье-виньеточном стиле чьего-то дома-дворца. За окном, в какой-то момент, раздаётся звук казу, что наигрывает мелодию поразительного безвкусия, вероятно «А это ещё кто?» из Дня на Скачках (во многих смыслах). Кто-то из вульгарных дружков Грочо Маркса. Звук низкий, зудящий и гортанный. Бетте Дэвис замирает, встряхивает головой, сбивает пепел со своей сигареты: «Что»,– вопрошает она,– «это такое?» Маргарет Дюмонт улыбается, выставляет грудь, смотрит вдоль своего носа. «Ну звучит оно»,– отвечает она,– «как казу».

Насколько Слотропу известно, то и был казу. Пока он пробудился, рокот растаял в утре. Уж что бы это ни было, оно его разбудило. А было то или есть, ни что иное как Пират Прентис в более или менее угнанном P-47, курсом на Берлин. Инструкции ему кратки и чётки, как и другим агентам Папы, Папа кормчий религией, а вот отправляйтесь-ка да найдите того миннезингера, он хороший вообще-то...

Это старая модель с кабинкой словно крыша в теплице. Покрытое переплётом поле зрения вызывает приступы боли в шейных мускулах. Самолёт постоянно, как ему кажется, барахлит, хоть время от времени он таки щёлкает разные триммеры. Прямо сейчас пробует Специальное Боевое Питание, пусть даже ни боя, ни Войны вокруг нет, присматривает за панелью, где о/м, датчики давлений, температура головки цилиндров, все толкутся возле своих красных линий. Он сбавляет и летит дальше, а вскоре пробует затяжной крен над Целле, петлю над Брунсвиком и, что за чёрт, переворот Иммельмана над Магдебургом. На спине, ощерясь до коренных, он начинает крен чуть-чуть с запозданием, всего на одну тридцатую, и чуть не заглох, непонятная тряска—закончить просто петлёй или продолжить Иммельмана?—тянется к элеронам, не вздумай дёргать руль, штопор нам ни к чему… но в последнюю секунду всё же жмёт педаль слегка, небольшой компромисс (мне ж около сорока, Боже, неужто и я туда же?) и снова выравнивает, это будет-таки Иммельман.

Я Орёл Трубящий в Рог,

Тебе, Кайзер, дам урок,

На крышу бомбу сброшу,

Сюрпризом огорошу.

Всем фройлянам скажи,

А также всем мамзелям,

Готовятся пускай

К хорошим каруселям...

Ведь я в победный Рог Трубящий

Орёл настоящий!

Сейчас Осби Фил должно быть уже в Марселе, налаживает контакт с Бладгетом Ваксвингом, Вибли Силвернейл на пути в Цюрих. Катье поедет в Нордхаузен… Катье...

Нет, нет, она не сказала ему обо всех её планах. Его это не касается. Сколько бы она ему ни рассказала, всегда будет оставаться какая-то тайна. Потому что он такой как есть, потому что есть направления, по которым ему заказано двигаться. Но отчего они оба постоянно исчезают друг от друга, в бумажные города и полдни этого странного конца Войны и надвигающейся Строгой Экономии? Возможно, такие вот непредвиденные дела, как его нынешняя миссия, как-то сближают с людьми тебе нужными? а более формальные процедуры приводят, по природе своей, к отчуждению, к одиночеству? Ах, Прентис... А это ещё что такое, пропеллер захолостил? Нет, нет, проверь давление топлива—глянь, стрелка дёргается, очень низко, бак на исходе—

Небольшая полётная неприятность тут, ничего для Пирата серьёзного... Из его наушников призрачные голоса вызывают его или же упрекают: служба контроля полётов снизу из своего царства, ещё одно из наложений в Зоне, антенны нацелены в дебри как редуты, излучают полусферы влияния, определяют невидимые коридоры-в-небе, что существуют лишь для них. Громобой выкрашен Ирландским зелёным. Трудно не заметить. Идея Пирата. Серый был для Войны. Пускай ловят. Догони, если сможешь.

Серый был для Войны. Как, похоже, и странный дар Пирата переживать фантазии посторонних. После Дня Победы как отрезало. Но этим его психические затруднения не исчерпались. Его всё ещё «посещает», тем же окольным и неопределённым способом, предок Катье, Франс ван дер Грув, убийца додо и авантюрист. Полностью он никогда не появляется, но и не уходит насовсем. Пирата это злит. Он совместимый носитель Голландца, хоть и не хочет. Что Франс в нём находит? Связано ли это как-то—конечно, да ещё как— с Конторой?

Он вмастырил путаницу своих снов в те, что снятся Пирату, еретичные сны, экзегезы ветряных мельниц, что вертелись в тени по краям тёмных полей, каждое крыло указует на точку в ободе гигантского колеса, что проворачивается в небе, станет-сдвинется, всегда в соответствии с вращающимся крестом: «ветер» было переходным термином, условностью в обозначении того, что на деле движет крестом… и это применимо ко всякому ветру, повсюду на Земле, воющему между кондитерски розово-жёлтым гор Маврикия или шевелящему тюльпаны дома, красные чаши под дождём наполняющим, бусинка за чистой бусинкой, водою, у всякого ветра своё скрещённое движение, явно имеющееся либо подразумеваемое, каждый крест уникальная мандала, сводящая противоположности вращением (а скажи-ка мне, Франс, в каком я сейчас ветре,

тут на 25 000 футах? Что за мельница мелет там внизу? Что она мелет, Франс, кто смотрит за жерновами?).

Далеко внизу под брюхом Громобоя, нанесённые по зеленеющей местности, проплывают смягчённые временем контуры древних земляных работ, деревни покинутые во времена Великого Мора, поля позади хижин, чьих жильцов скосила безжалостно продвигавшаяся к северу чёрная чума. За холстом, холодным как простыни на мебели в запретном крыле дома, голос сопрано выпевает ноты, что никак не складываются в мелодию, распадаются точно так же, как мёртвые протеины...

– Это же яснее воздуха,– разглагольствует композитор Густав,– не будь ты старым дураком, то понимал бы—я знаю, я знаю, есть Благотворительная Ассоциация Старых Дураков, вы все друг друга знаете и голосуете за ограничения для наиболее беспокойных моложе 70 и моё имя первым в списке. Думаешь мне не начхать? Вы все на другой частоте. Нам в жизни не стать вам помехой. Слишком далеки от вас. У нас свои проблемы.

Криптозоя различных видов суетится среди крошек, лобковых волосков, винных выплесков, табачного пепла и волоконцев, россыпи крохотных фиал от кокаина, с крышечками из бакелита со штампом Мёрка в Дармштадте. Атмосфера насекомых заканчивается около трёх сантиметров над уровнем пола, идеальная влажность, затенённость, стабильность температуры. Никто их не беспокоит. Имеется невысказанная договорёность не топтать насекомых по месту жительства Кислоты.

– Вы захвачены тональностью,– вопит Густав,– как капканом. Тональность всего лишь игрушка. Любая из них. Вы слишком стары. Вам никогда не выйти за пределы игры, в Ряд. Ряд это светозарность.

– Твой Ряд тоже игра.– Кислота сидит ухмыляясь ложке из слоновой кости, перелопачивая невероятные кучи кокаина в свой нос, исполняя весь свой репертуар: вытянутая рука размахивается широким виражом *взык* в направлении целевой ноздри, и стряхивает порцию с расстояния в полметра, не обронив ни кристалла… вслед за чем заряд взлетает в воздух как одна штука попкорна и *нганьк* заглатывается носом, чья полость отполирована как эталон меры длины, ни реснички не видно со времён похорон Либкнехта, если не раньше… два-три раза ложка перелетает из руки в руку, быстрее, чем слоновая кость когда-либо рассекала воздух… рельсы исчезающие вмиг, не обнаружив направляющий туннель. «*Звук* всегда игра, если ты в состоянии это понять, ты, аденоидный клозетный провидец. Вот почему я слушаю Шпора, Россини, Спонтини, я выбираю *мою* игру полную света и добра. А ты застрял на той стратосферном чепухе и подводишь базу под её скукотищу, называя это «просвещением». Ты понятия не имеешь, что такое светозарность, *Kerl*, ты слепее меня».

Слотроп спускается по тропе к горному ручью, где оставлял свою гармошку отмокать всю ночь, втиснутую между парой камней в тихой заводи.

– Твой «свет и доброта» вилянье обречённого,– грит Густав.– Так и прёт мертвячиной от любого их тех игривых мотивчиков.– Озлоблено, он обезглавливает фиал с кокаином зубами и сплёвывает огрызки в гущу шелестящих насекомых.

Сквозь бегущую воду, дыры в старом *Hohner* Слотроп видит кривящимися, одна за другой, квадратики растягиваются, как ноты, визуальный блюз исполняемый чистым ручьём. Есть исполнители на губных гармошках и дульсимерах во всех реках, где течёт вода. Как пророчествовал Рильке,

И пусть Земное забыло тебя,

Замершей скажи Земле: я теку.

Бегущей воде говори: вот я.

До сих пор можно, даже на таком удалении, найти и расслышать призраки пропавших музыкантов. Вытряхивая воду из своей гармошки, язычки поют о его ногу, подбирая единственный блюз первого такта в этом утреннем отрезке, Слотроп, всего-навсего посасывая свою гармошку, ближе чем когда-либо к тому, чтобы стать медиумом спиритуалистом, но даже и не догадывается об этом.

Гармошка показала себя не сразу. Первые дни в этих горах, он набрёл на комплект волынок брошенных в апреле каким-то Шотландским подразделением. Слотроп приноровился вычислять вещи. Имперский инструмент был проще простого. За неделю он освоил ту мечтательную песню, что Дик Повел пел в кино «Позволь придти мне в тень и спеть тебе», и целыми днями её наигрывал, ВАНГ-дидл де-ди, ВАНГ де дам—де-доооооо… опять и опять, на волынках. Мало-помалу он начал замечать приношения еды, что оставлялись возле сарая, где он ютился. Кормовая свёкла, корзинка с ягодами, даже свежая рыба. Он никогда не видел, кто их оставляет. Может его посчитали духом волынщика, или же чисто самим звуком, а он знал достаточно об одиночествах и ночных голосах, чтобы догадаться что к чему. Он бросил играть на волынке, и на следующий день нашёл гармошку. Она оказалась той самой, которую он потерял в 1938 или -9, в унитазе, в Бальном Зале Роузленд, но то было слишком давно, чтоб он вспомнил.

Его оставляют в одиночестве. Если другие замечали его или его костёр, они не пробовали подойти. Он оброс волосами и бородой, носит рубаху из грубой ткани и штаны, которые Бодайн освободил для него из прачечной *Джон Е. Бэдэса*. Но ему нравится все дни проводить голым, муравьи заползают по его ногам, бабочки садятся на плечи, наблюдать жизнь гор, знакомиться с глухарями и сорокопутами, с барсуками, сурками. У него сколько угодно направлений, в каких надо двигаться, но ему охота остаться тут, пока что. Повсюду где он побывал, Каксэвен, Берлин, Ницца, Цюрих, сейчас наверняка слежка. Он мог бы попробовать найти Шпрингера или Бладгета Ваксвинга. Чего его так заклинило получить документы? На кой хуй документы, вообще? Мог бы попробовать какой-то из Балтийских портов, дождаться фрау Гнаб и отправиться в ту Данию или в ту же Швецию. ПеэЛы, конторы сгорели, записи утрачены полностью—может на документы в

Европе не так уж и смотрят… мин-минуточку, это и всё насчёт куда, Слотроп? А? А Америка? Блядь. Завязывай—

Ага. Всё ещё думает как-то можно вернуться. Он менялся, конечно, менялся, общипывая альбатроса своего «я», время от времени, от нечего делать, полубессознательно, как в носу колупаются—но единственным из призраков-перьев, что его пальцы всегда обходили, была Америка. Бедный долбоёб, никак не может с ней расстаться. Она шептала люби меня слишком часто ему во сне. Заманивала ненасытно его проснувшееся внимание своими ну-иди-же, обещаниями невероятного. Однажды—ему видится такой день—он, может, сумеет, наконец, сказать извини, конечно, и бросить её… но пока ещё нет. Ещё одна попытка, ещё один шанс, ещё одна сделка, ещё один перевод на линию посулившую надежду. Может это просто гордыня. Что если для него уже не осталось места в её конюшне? Если она его изгнала, она же не станет объяснять. Её «жеребцы» прав не имеют. У неё иммунитет на их никчёмные глупые вопросы. Она та самая Амазонская Сука, как именовали её твои фантазии.

И потом есть ещё Джамф, сочетание «Джамф» и «я» в изначальном сне. К кому он может обратиться с этим? такое не выдержит излишнего колупания, правда ж? Если он подберётся слишком близко, ему не сойдёт с рук. Сперва Они могут его предупредить, а могут и не предупреждать.

Предчувствия становятся всё различимее, определённее. Он следит за полётами птиц и за узорами пепла в его костре, он читает по внутренностям пойманной им и почищенной форели, клочки утерянных бумажек, рисунки на разрушенных стенах, где штукатурка сбита выстрелами до кирпичного нутра—разрушения в разных формах, которые можно прочитывать.

Однажды ночью, на стене общественного сортира, смердящего и созревшего тифом, он находит среди инициалов, дат, торопливых рисунков членов и ртов раскрытых принять их, трафаретов вервольфа тёмного человека с высокими плечами и в шляпе, официальный лозунг: willst du V-2, dann arbeite. Если хочешь V-2, тогда работай. Добрый Вечер, Тайрон Слотроп… нет, нет, погоди, всё в порядке, вон на другой стене тоже намалёвано willst du V-2, dann arbeite. Повезло. Нарастание голосов отступает, шутка объяснилась, он просто снова с Геббельсом, с неспособностью того оставить тебя в покое. Но понадобилось усилие над собой, чтобы подойти к той другой стене посмотреть. Там могло оказаться что угодно. Смеркалось. Вспаханные поля, линии электропередач, дренажные канавы и далёкие лесополосы расстилались на мили. Он чувствовал смелость и уверенность. Но тут на глаза попалось другое послание:

ТУТ БЫЛ РАКЕТМЭН

Сначала он подумал, что сам написал это, а потом забыл. Странно, что это стало его первой мыслью, но именно такой она была. Может быть, он начинал имплицировать самого себя, какую-то свою вчерашнюю версию, в Сочетании с тем, кем стал. В своей инертной коме, альбатрос шевельнулся.

Прошлые Слотропы, допустим по одному в день, какие-то из них сильнее остальных, уходили с каждым закатом на яростную рать. Они бойцы пятой колонны, внутри его головы, выжидают момент сдать его четырём остальным дивизиям снаружи, наступающим...

Поэтому, рядом с другими рисунками, куском камня, он выцарапывает этот знак: Слотроп в осаде. Только после того, как он оставил тот же знак ещё в полдюжине мест, ему доходит, что на самом деле его рисунок представляет ракету А-4, вид снизу. К тому времени он уже подмечал другие четырёхкратные выражения—вариации космической ветряной мельницы Франса Ван дер Грува—свастики, гимнастически символы FFFF в кругу симметрично вверх ногами и задом наперёд, *Frisch Fromm Frölich Frei* над аккуратными дверями в тихих улочках, и перекрёстки, где можешь сидеть и слушать дорожное движение на Той Стороне, услышать будущее (там никакой временно́й последовательности: все события там слиты в один и тот же вечный момент и потому определённые послания не всегда «содержат смысл» по ту сторону: им не достаёт исторической структуры, они кажутся фантастическими или безумными).

Крыши кирх песчаного цвета подпирают горизонты вокруг Слотропа, апсиды на все четыре стороны направляют, как стабилизаторы ракеты, обтекаемые шпили… резьбленным в песчанике находит он дожидающийся его знак посвящения, крест охваченный кру́гом. Наконец, однажды днём, лёжа привольно, раскинувшись на солнце, на окраине одного из древних городов Чумы, он и сам становится крестом, перекрёстком, живым пересечением, к которому явились судьи установить виселицу для обычного преступника приговорённого к повешению в полдень. Чёрные гончие и клыкастые ищейки, пронырливые как выдры, собачьих пород утраченных за 700 лет, гоняются за сучкой в течке, пока зрители собираются, это четвёртое повешение за весну, а тут представления случаются не часто, кроме как для такого вот, которому в последний момент примерещился кто знает где украденный жилет, кто знает что за толстомясая *gnädige Frau* и налетающая Смерть, член вскакивает, непомерное тёмно-пурпурное взбухание, и как раз когда трескает шея, он и вправду кончает в свою излохмаченную тряпку на чреслах, засаленную словно кожа святого под пурпурным плащом Поста, и одна капля спермы продолжает скатываться, капая с волоса на волос мёртвой ноги до самого низа, с конца заскорузлого пальца голой ступни спадает на землю точно в центре перекрёстка и там, под покровом ночи, превращается в корень мандрагоры. В следующую пятницу, на рассвете, Колдун, его собственный *Heiligenschein* рябит от инфракрасного до ультрафиолетового кольцами света вокруг его тени по росистой траве, приходит со своим псом, угольно-чёрным псом несколько дней не кормленным. Колдун осторожно копает вокруг драгоценного корня покуда лишь тончайшие корне-нити продолжают удерживать его—привязывает его к хвосту своего чёрного пса, затыкает себе уши воском, затем вынимает краюху хлеба приманкой некормленому зверю *ррpофг!* пёс бросается за куском, корень выдернут, издав свой пронзающий роковой вскрик. Пёс падает замертво на полпути к завтраку, его свято-свечение замирает и гаснет в миллионах росинок. Колдун уносит корень домой нежно, одевает его в белый кафтанец и кладёт рядом с ним деньги на ночь:

поутру монет вдесятеро больше. Представитель Комитета по Идиопатическим архетипам является с визитом. «Инфляция?»– Колдун пытается замести следы неясными мановениями рук,– «*Капитал?* Не слыхал ничего такого». — «Нет, нет»,– отвечает гость,– «не в текущий момент. Мы стараемся думать наперёд. Нам бы хотелось услышать об основой структуре этого. Насколько невыносимым был крик, например?» — «Держал уши заткнутыми, не слышал ничего». — Посланник сияет братски деловой улыбкой,– «Не могу сказать, что виню вас в этом...»

Кресты, свастики, мандалы Зоны, разве могут они не говорить что-то Слотропу? Он сидел на кухне Кислоты Бумера, в воздухе струились узоры анаши, читал рецепты супов, в каждой косточке и каждом капустном листе находя расшифровку самого себя… обрывки новостей, имена рабочих лошадок, что может пригодиться ему когда-то смыться... Ему приходилось работать лопатой и ломом на весенних дорогах Бёркшира, апрельские утраченные им дни, это называлось «работа по статье 81-й», вслед за скрепером счищающим зимнюю атаку-изнутри в кристаллах, её белую некрополизацию… подбирал ржавеющие банки от пива, жёлтые резинки с семенем обойдённых, Клинекс скрученный под вид мозга спрятать сопли обойдённых, слёзы обойдённых, газеты, битое стекло, части автомобилей, в дни, когда с суеверным страхом *он мог сложить это всё воедино*, чётко видя в каждом строку, записи, летопись: о нём, о его зиме, о его стране… наставляющую его, остолопа и никчемушника, в смыслах глубже, чем ему под силу объяснить, были лица детей из окон проходящих поездов, пара тактов танцевальной музыки где-то, на какой-то другой улице поздним вечером, иглы и ветви сосны в чистой светящейся дрожи на фоне ночных облаков, одна электросхема из сотен в смазанной желтеющей охапке, смех на краю пшеничного поля ранним утром, когда он шагал в школу, звук мотоцикла на холостом ходу в тяжёлый сумерками час лета… и теперь в Зоне, в тот же день, как он был перекрёстком, после сильного дождя, который уж и не упомнит, Слотроп видит очень широкую радугу, крепкий радужный хуй упёртый из лобковых облаков в Землю, зелёную, влажно раздавшуюся Землю, и грудь его переполняется, и он стоит и плачет, и ничего нет у него в голове, а просто одни чувства, как блаженный...

* * * * * * *

Со сдвоенным притопом переключения, пятка-носок, мчит прочь Роджер Мехико. Вдоль летнего Автобана, стыки покрытия ритмично бухают под его колёсами. Он гонит на до-Гитлеровском Хорх 870B через выгорело-пурпурную волнистость Люнебург Хита. Поверх ветрового стекла его треплет слегка поток воздуха пропитанный можжевельником. Овцы-Хайдшнюке вдалеке отдыхают, не шевелясь, словно упавшие облака. Болотца и ракитник проносятся по сторонам. Над головою небо в хлопотах, плывёт, живая плазма.

Хорх, армески-зелёный, с одним скромным нарциссом, нарисованным посреди капота, прятался в кузове грузовика на ближнем к Эльбе краю Бригадной стоянки в Гамбурге, под брезентом, кроме его передних фар, пытливые глаза дружелюбного инопланетянина улыбнулись Роджеру. Привет, Землянин. Уже в пути, он обнаружил, что пол усыпан непоседливыми стеклянными баночками без наклеек, типа детского питания, странная нездорового цвета хрень, от которой вряд ли какой людской младенец, съев, выживет, зелень с розовыми разводами, рвотно-бежевая с лиловыми вкраплениями, определить всё это никак невозможно, каждая крышка украшена улыбкой толстого, ангелоподобного младенчика, под ярким стеклом кишат токсины ботулизма с трупными ядами… время от времени новая банка выскакивает, сама собой, из-под сиденья и катается вопреки законам ускорения, среди педалей, чтоб его ноги сбивались с толку. Он знает, что надо бы заглянуть вниз и посмотреть, что там творится, но всё никак не соберётся.

Бутылочки катаются, звякая, по полу, под капотом толкатель клапана или два, частят со своей историей, на что у них жалобы. Дикая горчица хлещет мимо, по центру Автобана, совершенно двуцветная, лишь зелёный с жёлтым, роковая река различимая только под двумя волнами рябящего света. Роджер поёт для девушки в Каксэвене, которая всё ещё носит имя Джессики:

Мне снилось, будто снова вижу нас двоих,

Среди весны, за уймой чужих жизней,

Свободнее, чем ветер,

Вдоль моря мы брели,

Чтоб повторять набор чужих бумажных слов...

Нас переняли у ворот в зелень былого,

Слишком растерянных в тот миг, чтобы спросить за что—

Неужто дети могут повстречаться вновь?

Неужто остаётся хоть какой-то след

На ультраскоростных Июльских автострадах?

Тут он въехал в настолько ярко золотое слияние склона с полем, что почти забыл вписаться в прикрытый насыпью поворот...

Неделю назад она ушла, заглянув на прощанье в «Белое Посещение». За исключением пустячного охвостья от ПРПУК, это место снова стало дурдомом. Тросы аэростатов лежат ржавея на отсыревших лугах, превращаясь в чешуйки, ионы и в землю—жилы, что пели грозными ночами среди сирен воющих в терцию, сглаженных как далёкий ветер, вперемешку с буханьем бомб, теперь лежат вялые, старые, жёсткими кольцами металлического праха. Незабудки вскипают на каждом шагу под ногами, муравьи суетятся с чувством царствующих.

Углокрыльницы, лимонницы, красные адмиралы парят на термоклиньях вдоль скал. Джессика укоротила чёлку, с последнего раза как Роджер её видел, и проживает обычную полосу тревоги: «Вид просто ужасный, и даже не говори ничего...»

– Вид просто улётный. Люблю его.

– Ты издеваешься.

– Джес, зачем нам говорить о *причёсках*, ради Бога.

Пока где-то, по ту сторону Канала, барьер неодолимый как стена Смерти для поимки начинающего медиума, Лейтанта Слотропа, негодного, совсем пропащего, ширится по лику Зоны. Роджер не хочет махнуть на него рукой: Роджер хочет поступать правильно. «Я просто не могу бросить бедного обалдуя где-то там. Они хотят его прикончить—»

– Но, Роджер,– это же весна. У нас уже мир.

Нет, у нас его нет. Это ещё один кусок пропаганды. Нам это подсунуло ПВР. Итак, джентльмены, как вы видите из результатов исследований, оптимальное время у нас 8 мая, как раз накануне исхода Троицы, занятия в школах заканчиваются, погода предвещает урожайный год, заказы на уголь начинают свой сезонный спад, давая нам пару месяцев передышки, поставить наши квоты в Руре снова на их ноги—нет, он видит лишь всё те же быстрины власти, всё то же обнищание, в котором он бился с 39-го, его девушку вот-вот увезут в Германию, откуда должны отправить на дембель как всех. Никакого исхода кверху, что светил бы им хоть малейшей надеждой вывернуться. И что-то всё ещё продолжается, не называй это «войной», если оно тебя нервирует, возможно, показатель смертности снизился на пункт или два, баночное пиво наконец-то вернулось и на Трафальгарской площади собралось очень много людей в одну из ночей, не так давно… но Их операция продолжается.

Печальный факт, раздирающий его сердце, подчёркивающий его опустошённость, в том, что Джессика верит Им. «Война» была необходимым для неё условием, чтобы оставаться с Роджером. «Мир» позволяет ей оставить его. Его ресурсы, в сравнении с имеющимися у Них, слишком скудны. Давний Бобёр, чему ж удивляться, будет отвечать там за связь с воздушной обороной, так что они окажутся вместе в романтичном Каксэвене. Спасибо, безумец Роджер, это было великолепно, завихрение военного времени, и кончали мы крайне зажигательно, твои руки раскинуты как крылья Летающей Крепости, у нас имелись свои военные тайны, мы дурачили старых толстых Полковников направо и налево, но всему приходит стоп, у-юй! Мне надо бежать, милый Роджер, это было прекрасным сном...

Он рухнул бы перед её коленками пахнущими глицерином и розовой водой, вылизывал бы соль и песок из её ВТС башмаков, отдал бы ей свою свободу, свою зарплату за следующие пятьдесят лет на хорошей постоянной работе, свой

несчастный пульсирующий мозг. Да только всё слишком поздно. У нас уже Мир. Паранойя, опасность, лишённый мелодии посвист деловитой Смерти рядом, всё утихло, осталось на Войне, осталось в Годах с Роджером Мехико. День, когда ракеты перестали падать, стал началом конца для Роджера и Джессики. И чем яснее становилось, день за другим безопасным днём, что больше не будут падать снова, новый мир стал закрадываться в неё как весна—не столько из-за перемен, которые она ощущала в воздухе, в толпах магазина Вулворт, больше похожих на весну в плохом кино с бумажными листьями, цветом деревьев из ваты и фальшивой молнией… нет, никогда больше не будет она стоять перед их кухонной раковиной с фарфоровой чашкой попискивающей от её пальцев, звуки детских беззащитных всхлипов, с тонким эхом ВЫШИБЛЕНЫ ИЗ ВНИМАНИЯ ВЗРЫВОМ РАКЕТЫ разбиты в россыпь белого и синего по полу...

Эти смертоносные ракеты уже в прошлом. На этот раз она будет запускающей стороной, она и Джереми—разве не так всегда и должно было быть? запускать их в море: никаких смертей, только зрелище, огонь и грохот, возбуждение без убийства, разве не об этом она молилась в том увядающем доме, теперь уже возвращённом из реквизиции, занятом снова людскими придатками к бахроме, портретам собак, Викторианским стульям, спрятанным кипам *News of the World* в шкафу на втором этаже.

Ей надо ехать. Приказ свыше, выше непосредственных командиров, с кем она могла бы договориться. Её будущее связано с будущим всего Мира, а у Роджера только лишь с его странной версией Войны, которую всё ещё носит в себе. Он не может продвинуться дальше бедняжка, та его не пускает. Всё такой же пассивный, как и был под ракетами. Роджер жертва. Джереми из тех, кто их запускает. «Война мать моя»,– сказал он в самый первый день, а Джессика подумала какие леди в чёрном являются ему в снах, какие пепельно-белые улыбки, что за секатор прорежет комнату, отчикнет их зиму… так много в нём она никак не смогла понять… так много ненужного во время Мира. Она уже начинает думать об их времени как о череде взрывов, безумия нарастающего в ритмах Войны. Теперь вот вздумал отправиться спасать Слотропа, ещё одного ракето-сотворённого, вампира, чья сексуальная жизнь, фактически, *подпитывалась* ужасом Ракетного Блица—фу, жуть, жуть. Надо, чтоб его взяли, и не держали взаперти. Роджер должно быть больше думает о Слотропе, чем о ней, два сапога пара, вот они кто, ну—она надеется эти двое будут счастливы вместе. Усядутся себе пиво пить, рассказывать истории про ракеты, калякать уравнения друг другу. Ах, как весело. По крайней мере, она не бросает его в пустоте. Он не останется один, будет чем занять время...

Она отошла прочь от него, вдоль пляжа. Солнце сегодня такое яркое, что тень рядом с её Ахилловым сухожилием обрисовывается отчётливо чёрной: как шов от пятки шёлкового чулка. Её голова, как всегда, склонилась вперёд, прочь, открытая шея, которую он никогда не перестанет любить, никогда уже не увидит, беззащитна как её красота, её неведение насколько в постоянной опасности движется она в Мире. Она может знать слегка, может думать о себе, про лицо и тело, как о «симпатичной»... но он никогда не мог сказать ей остального, как много

прочего живого, птиц, ночей пахнущих травами и дождём, залитые солнцем минуты простого покоя, тоже вобрано в то, что она для него. Была. Он теряет больше, чем одну только Джессику: он утрачивает целый пласт жизни, где впервые ему было уютно в Миру Сотворённом. Теперь уходит обратно в зиму, вкладывается в его единственный конверт. Усилие необходимое для того, чтобы продолжать больше того, на которое он способен в одиночку.

Он не думал, что будет плакать, когда она ушла. Но он плакал. Соплей с полкубометра, глаза красные как гвоздики. Вскоре, всякий раз как его левая нога ударяла при ходьбе о землю, боль всплескивалась в половине его черепа. А, наверно это и есть то, что называют «боль разлуки!» Пойнтсмен являлся с охапками работы. Роджер чувствовал, что не может забыть Джессику и меньше беспокоиться о Слотропе.

Но в один из дней заскочил Мильтон Гломинг освободить его от этого ступора. Гломинг только что вернулся из прогулки по Зоне. Там, в одной с ним рабочей группе оказался некто Джозеф Шляйм, перебежчик вторичной величины, который когда-то работал на IG, в управлении д-ра Райтингера, ВАУІ—Отдел Статистики при НВ7. Там Шляйм получил назначение в Американский подотдел, собиравший экономическую информацию для IG, через подрядчиков и лицензиатов вроде Химнико, Дженерал Анилин, а также Филм, Анско, Винтроп. В 36-м он приехал в Англию работать в Империал Кемиклз, на должность, которая так до конца и не прояснилась. Он слыхал о Слотропе, да действительно… припоминал его по старым дням. Когда Лайл Бленд отправился в своё последнее застенное странствие, по кабинетам IG неделями листались секретные доклады, *Geheime Kommandosache*, слухи сплетались и расплетались, как молекулы угольной смолы под давлением, всё о том кому перейдёт наблюдение за Слотропом теперь, после кончины Бленда.

Это было ближе к началу великой борьбы за аппарат разведки IG. Департамент экономики министерства иностранных дел и департамент иностранных дел министерства экономики оба хотели заполучить его. И точно также военные, в особенности *Wehrwirtschaftstab*, секция Генштаба, которая заведовала связью ОВК с промышленностью. Собственную связь IG с ОВК координировали д-р Дикман и д-р Горр. Картина становилась ещё запутаннее из-за обычного дублирования офисами Нацистской Партии, Абвер-Организациями, что охватили всю Германскую промышленность после 1933. Нацистским контролёром за IG был так называемый « *Abteilung* А», располагавшийся в том же здании управления что и—и это считалось вполне приемлемым—группа связи IG с Армией, *Vermittlungsstelle* W. Но Технология, увы, девица с косами венчиком и золотистой попкой, всегда нарывается на такие вот лапанья. Скорее всего, грызня и разборки Армии с Партией и вынудили в конце концов Шляйма податься за бугор больше, чем какие-либо моральные чувства относительно Гитлера. Во всяком случае, он помнит, что наблюдение за Слотропом было поручено вновь созданному отделу *Sparte* IV при *Vermittlungsstelle* W. *Sparte* I занимался азотом и бензином, II красителями, химикатами, нитриловой резиной и фармацевтикой, III плёнками и волокнами. IV ведал исключительно Слотропом и больше ничем,

кроме—Шлям слышал разговор—одного или двух разношерстных патентов полученных через сделки с IG *Chemie* в Швейцарии. Обезболивающее, название которого он совсем не помнил и новый пластик, имя такое Миполам… «Полимекс» или типа того...

– Звучит, как должно быть бы под присмотром *Sparte* II,– заметил Гломинг в тот раз.

– Пара управляющих были недовольны,– согласился Шляйм. – Тер Мейер был весь такой *Draufgänger* и Хорляйн тоже, оба своего не упустят. Может, и перевели на себя.

– А Партия приставила *Abwehr* человека к тому *Sparte* IV?

– Должны бы, но я не знаю, был ли тот из SD или SS. Вокруг так много их было. Припоминаю какого-то тощего типа в толстых очках, раз или два выходил там из кабинета. Но он был в штатском. Не могу сказать, как его звали.

Что за чертовщина...

– Наблюдение?– Роджер тормошит вовсю свои волосы, галстук, уши, нос, костяшки пальцев.– IG Farben следили за Слотропом? До войны? Зачем Гломинг.

– Странно, не правда ли?– Пока-пока, бац и выпулился за дверь ни слова не сказав, оставив Роджера наедине с самым неприятным светом, что тихо начинает брезжить, острие откровения, ослепляющего, нарастающего, проникает на край его сознания. IG Farben, да? Пойнтсмен тёрся, почти исключительно, в последнее время, с людьми из ИК. У ИК картельные соглашения с Farben. Ублюдок. Он ведь наверняка должен был знать про Слотропа всю дорогу. Дело Джамфа было всего фасадом для… чёрт побери, что тут *творится?*

На полпути в Лондон (Пойнтсмен забрал обратно Ягуар, так что Роджер на мотоцикле из гаража ПРПУКа, где теперь всего лишь мото и Морис практически без коробки передач) ему приходит на ум, что Гломинг был специально подослан Пойнтсменом, как неясный тактический ход в этой кампании Найланда Смита, которую он похоже проводит (у Пойнтсмена подборка всех книг великой Манихейской саги Сакса Ромера, и он в последнее время может заявится когда вздумает, обычно когда Роджер спит или тужится посрать потихому, и в натуре стоит тут, напротив унитаза, вычитывает вслух подходящий текст). Ничто не укроется от Пойнстмена, он хуже старого Падинга. Может использовать кого угодно—Гломинга, Катье Боргезиус, Пирата Прентиса, никто не (Джессика) застрахован от его (*Джессика?*) Макиавеллиевских—

Джессика. О. Да канешканешно Мехико ты ёбаный *идиот*… нечего удивляться, что в 137 увильнули от ответа. Ничего удивительного, что приказ ей пришёл Слишком Сверху. А он даже, ягнёночек, топочет копытцами вокруг вертела, попросил *Пойнтсмена* походатайствовать, если есть возможность… Дурак. Дурак.

Он прибывает в Дом-Двенадцать готовым к человекоубийству. Угонщики велосипедов смываются в окраинные улицы, старые профи крутят педали трое в ряд. Молодые мужчины с модными усиками прихорашиваются в окнах. Детвора занята грабежом мусорных ящиков. По углам двора разметает официальную документацию, сброшенная кожа самого́ Зверюги. Дерево необъяснимо усохло на улице в окостенело чёрный труп. Муха сверзилась вверх брюхом на переднее крыло мотоцикла Мехико, дёргается секунд десять, складывает свои чуткие крылья в разводах и сдыхает. Вот так сразу. Роджер впервые такое видит. Эскадрильи Р-47 пролетают плотными формированиями, в каждом размашистый знак «птички» КрасноБелоСинеЖёлтой в неизменной форме беловатого неба, эскадрилья за эскадрильей: это либо военный смотр, либо следующая война. Штукатур работает на углу, затирает шрамы от бомб в стене, раствор кучей на его соколе словно сочный сыр, непривычный руке мастерок унаследован от мёртвого друга, всё ещё, в эти первые дни, оставляет борозды, как ученик, лопатка инструмента чуть великовата для его силы… Генри был здоровый увалень… Муха, которая не сдохла, расправила крылья и улетела дурачить ещё кого-то.

Ну погоди, Пойнтсмен, врывается в Дом-Двенадцать, пробковые доски встряхтадахнули во всех семи холлах с пролётами, руки регистраторов, удлиняясь, потянулись к телефонам, так, где же ты, падла.

В офисе нет. Но Гёза Рожавёлги тут и пробует умничать с Роджером: «Вы устраиваите це-лое представ-ление, мол-одой чел-овек».

– Заткнись Трансильванский олух,– рычит Роджер,– мне нужен босс, а ты попробуй дёрнуться и забудешь вкус первой группы крови, Джексон, эти клыки даже *овсянку* не осилят, после того как разберусь с тобой—

В испуге Рожавёлги, отступает за кулер с водой, пытаясь прихватить вращающийся стул для самозащиты. Сиденье отваливается и в руках Рожавёлги остаётся лишь основа сработанная—ну это ж надо!—в виде креста.

– Где он?– Мексиканский тупик, Роджер скрипит зубами, *не поддавайся истерике это контр-продуктивная роскошь, которую не можешь в момент такой уязвимости позволить...* – Говори, тварь, или уже не спрячешься под крышку ни одного гроба.

Вбегает невысокая, но отважная секретарша, такая тебе херувимочка, и начинает хлестать Роджера по голеням налоговыми записями об избыточной прибыли от 1940 до 44 Английской сталелитейной фирмы, у которой общий патент с Vereinigte Stahlwerke на сплав использованный для соединений линии проложенной в корму S-Gerät в А4 номер 00000. Но голени Роджера не расположены к получению такого рода информации. У секретарши падают очки. «Мисс Мюллер-Хохлебен»,– читает с бейджика у неё на груди,– «вы смотритесь *зверски* без своих очков. Одевайт обратно, битте»,– этот Нацистский прикол навеян её фамилией.

– Я не могу найти их,– и впрямь с Немецким акцентом,– я плохо вижу.

– Ну-ка посмотрим чем можно вам *помочь*—ага, это что? Мисс Мюллер-Хохлебен!

– *Ja*. . . .

– Как выглядят эти ваши очки?

– Они белые—

– С такими миленькими *стразами* по всей оправе, *Fräulein?* а?

– *Ja, ja, und mit*—

– И по дужкам тоже, а и с *перьями?*

– Страусиные перья...

– Перья страуса самца в синей павлиньей окраске, вытарчивают по краям?

– Это мои очки, *ja*,– грит, шаря вокруг, секретарша,– где они?

– А вот *тут!*– топает ногой ХРЯСЬ, разбивая их в арктическую россыпь по всему ковру Пойнтсмена.

– Я говорю,– отваживается Рожавёлги из дальнего угла: единственный угол в комнате, между прочим, который как бы затенён, да, тут типа световой аномалии, а ведь обычная квадратная комната, никаких странных многогранников в Доме-Двенадцать… и всё-таки эта странная призма тени в углу… и не один заскочивший посетитель застукивал м-ра Пойнтсмена не за столом, где тому следовало быть, а в том теневом углу—ещё страннее, *лицом в него*... Сам Рожавёлги не слишком-то жалует тот Угол, он пробовал его пару раз, но выходил, качая головой: «Мис-тер Пойнтсмен, мне это там сов-сем не нрав-ится. Какое удов-ольствие вообще можно нах-одить в таких ве-щах. А?»– приподымая одну злодейски задумчивую бровь. На что Пойтсмен с извиняющимся видом, не за себя, а за Рожавёлги перед чем-то, мягко отвечал: «Это единственное место, где я чувствую себя живым»,– и можешь спокойно прозакладывать свою задницу, что одна или две мемо поднимались до Министерского уровня на эту тему. Если они дошли до самого Министра, то стали вероятно кабинетным увеселением. «О да, да»,– покачивая своей старой умудрённой головой в овечьих завитушках, высокие, почти славянские скулы прячутся в морщинах рассеянного, но вежливого смеха,– «да знаменитый Угол Пойнтсмена, да… не удивлюсь если в нём водятся *привидения*, э?»– Рефлективный смех присутствующих подчинённых, хотя всего лишь угрюмые улыбки вышестоящих. «Вызовите сапёров, пусть проверят»,– хихикает кто-то с сигарой: «*Бедняга* решит, что он опять на *Войне*». «Точно, точно», и «Отличная шутка» раздаётся через напластования дыма. Розыгрыши просто повальное увлечение среди этих самых подчинённых типа классовой традиции.

– Ты говоришь *что?*– уже какое-то время орёт Роджер.

– Я говорю,– грит Рожавёлги, ещё раз.

– Ты говоришь «я говорю»? Так что ли? В таком случае тебе надо говорить «Я говорю ‘я говорю’».

– Я так и говорил.

– Нет, нет, ты говорил «я говорю» только *один раз* вот что ты—

– А-га! Но я гов-орил это ещё раз, я говорил это… *два-жды*.

– Но перед тем я задал тебе вопрос—ты не можешь утверждать, что два «я говорю» составляли одно высказывание, если только, это не попытка сделать меня излишне,– как будто есть ещё куда,– доверчивым, а в вашем положении это утверждение, будто мы одно и то же лицо, а весь этот разговор являлся ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ МЫСЛЬЮ *йаааргггхх* и значит,– сумасшествием, Рожавёлги—

– Мои очки,– хлюпает фройляйн Мюллер-Хохлебен, ползая сейчас по комнате, Мехико раскидывает осколки стекла носком своего ботинка, так что бедная девушка время от времени разрезает себе ладонь или коленку, начиная оставлять след из тёмных пёрышек крови всякий раз с тем, чтобы в конце концов—если предположить, что она ещё долго протянет—превратить ковёр Пойнтсмена в шлейф павлиньих платьев с иллюстраций Бидсли.

– У вас *отлично* получается, Мисс Мюллер-Хохлебен,– орёт подбадривая Роджер,– ну а *ты, ты* у меня сейчас— и замолкает, заметив как Рожавёлги стал сейчас почти невидимым в той тени, и как белки его глаз фактически светят белым, а сам вибрирует в воздухе, переключаясь из видимости в невидимость… Рожавёлги сто́ит немало усилий оставаться в том углу. Это никак, совсем нет, не его среда. Одно то, что комната как бы отдалилась, словно в видоискателе камеры. Ну а стены—они не кажутся… ну, *твёрдыми*, что ли. Они текут: крупнозернистое вязкое течение, с рябью как бы стоячего шёлка или синтетики, цвет водянисто серый, но время от времени с неожиданным островком посреди течения, абсолютно чуждым этой комнате: шафрановые веретена, пальмо-зелёные овалы, лиловые лиманы заходящие, в виде гребня, в рваные комиксо-оранжевые куски островка кружащего как подраненный самолёт-истребитель, хлещет горючее из баков, затем серебряный парашют, распахивается поверх кабинки, дёргает вверх и синий (вдруг, такой яростно синий!) врывается перед самым ударом, заслонка дросселя закрыта уххннхх! О блядь риф, мы сейчас разобьёмся об—о. О, здесь нет рифа? Мы-мы спасены? Мы да! Манго, я вижу много манго на том дереве! а-и там девушка—там *до хрена* девушек! Гля-гля, все такие классные, титьки их торчат, и они крутят юбчонками из трав, играют на укелеле и поют (хотя зачем их голоса такие твёрдые и гнусавые, как голоса в Американском мюзик-холле?)—

Белый человек привет тебе на Пуки-хуки-луки О-о-о-острове!

Попробуй-ка мою па-пайю и не захочешь у-ю-ю-ю-уходить!

Лу-на как жёл-тая ба-на-на!

Зависла над моей ка-ба-на,

И многа хула-хупа игр навпереди—

О звёзды падают на Пуки-хуки-луки Остров!

Гора облита лавой как вишнёвый торт—

Даже Милашка Лейлани в Шалашике из Трав

Любит сосать кокос с миссионерской погремушкой,

Гля-глянь-ка, сладенький, ты тут на Пуки-хуки-луки О-о-о-острове!

О-ёй, о-ёй—хо-чет окрутить меня, одна, из э-тих ост-ровных красото-чек, провести, оста-ток… мо-ей жизни, ку-шая па-па-йи, п-ахуч-ие как *пизда*, молод-ого рая—

Когда рай был молодым. Пилот превращается в Рожавёлги, который всё ещё обмотан стропами парашюта за спиной. Лицо скрыто шлемом, очками-банками, что отражают слишком сильный свет, кислородной маской—лицо из металла, кожи, слюды. Но теперь пилот поднимает очки, медленно, и чьи же это там глаза, такие знакомые, улыбаются привет, а я тебя знаю, а ты не узнаёшь? Ты вправду меня не узнал?

Рожавёлги вскрикивает и пятится из угла, дрожит, ослеплён слишком сильным тут светом. *Fräulein* Мюллер-Хохлебен ползает по кругу, по одному и тому же, всё быстрей и быстрей, почти смазывается, брюзжа истерически. Оба достигли состояния, до которого доводил их Роджер в предпринятой им тонкой психологической атаке. Негромко, но твёрдо: «Хорошо. Теперь в последний раз, где м-р Пойнтсмен».

– В офисе Мосмуна,– отвечают они, в унисон.

Офис Мосмуна от Уайт-Холла один разгон на роликах, обороняется, комната за комнатой, девушками-постовыми, на каждой платье расцветки радикально отличающейся от остальных (на что уходит достаточно времени и, пока суть да дело, можешь прикинуть до чего сблизились оттенки в 3-сигма цветах, если такая прорва может быть «радикально отличающимися», ты ж понимаешь, как, например—о, цве́та ящерицы, цве́та вечерней звезды, бледной Атлантики, не вдаваясь глубже) и которых Роджер соблазняет, подкупает, угрожает, запутывает и (вздох) да лупит, пробиваясь, пока наконец: «Мосмун»,– шарахнул по той великанской дубовой двери, в резьбе, как на входах в некоторые храмы,– «Пойнтсмен, танцульки кончились! Во имя последних остатков порядочности, что даёт вам доживать день до вечера и не оказаться пристреленными случайным незнакомцем при оружии, откройте эту дверь!» Это довольно длинная речь, а дверь и впрямь приоткрывается чуть-чуть, но Роджер довершает начатое ею движение. Он вглядывется в комнату яростно-лимоно-зелёного радикально

приглушённого, почти до молочного уровня абсента-с-водой, комната теплее, чем ряд лиц вокруг стола действительно заслуживает, но, вероятно, именно появление Роджера несколько углубляет свет, когда он, подбежав, вспрыгивает на гладь стола поверх полированной головы директора сталелитейной компании, скользит метров шесть по навощённой поверхности до сидящего во главе с небрежной (ну-ну, хлопец) улыбкой на лице. «Мосмун, попался». Неужто он пробился до конца, в гущу колпаков, с прорезями для глаз, золотых висюлек, курящегося ладана и скипетра из берцовой кости?

– Это не Мосмун,– м-р Пойнтсмен прокашливается, пока говорит.– Мехико, пожалуйста, сойдите со стола, будьте так добры… джентльмены, один из моих давних коллег по ПРПУК, весьма одарён, однако нестабилен, как вы могли заметить—о, Мехико, *право же*—

Мехико расстегнул ширинку, вынул свой хуй и сейчас во всю ссыт на сияющий стол, на бумаги, в пепельницы, а очень скоро и на этих людей с их застывшими лицами, которые, хоть и руководящее звено и, несомненно, люди цепкого разума, всё ещё как-то не хотят принять, что это происходит, сам знаешь, в мире, который действительно соприкасается, в слишком многих точках, с привычным *для них*… и в общем-то струя тёплой мочи вполне приятна, пока сбега́ет по галстукам за десять гиней, бородкам креативного вида, с ноздрей испятнанными циррозом печени, поперёк пары Армейских очков в стальной оправе, плещет вверх-вниз по крахмальным манишкам, значкам *Phi Beta Kappa*, Почётного Легиона, Орденам Ленина, Железным Крестам, Крестам Виктории, цепочкам именных часов, рукоятям служебных пистолетов и даже обрезов там подмышкой...

– Пойнтсмен,– хуй, упрямый, рассвирепевший, подпрыгивает как воздушный корабль среди пурпурных облаков (очень густой пурпур, как ворс бархата такого цвета) с наступлением ночи, когда бриз с моря обещает нелёгкую посадку.– Я приберёг тебя напоследок. Но—боже, похоже, моча вся кончилась. Ни капли больше. Какая жалость. Тебе ничего не осталось. Понимаешь? Я готов *и жизнь отдать*,– слово так и вылетело и, возможно, Роджер преувеличивает, а может и нет,– чтобы для тебя вообще нигде ничего не осталось. Что тебе достаётся, я заберу. Если ты поднимешься чуть выше, я приду и достану, и сдёрну тебя обратно. Куда бы ты ни пошёл. Даже если улучишь момент для отдыха, с понимающей женщиной в тихой комнате, я буду за окном. Я всегда буду рядом. Ты от меня никогда не отделаешься. Ты выйдешь на минуту, я войду и твоя комната будет осквернена, наполнена нечистью, и тебе придётся искать другую. Если останешься взаперти, я всё равно войду—я буду преследовать тебя из комнаты в комнату, пока не загоню в угол самой последней. У тебя будет последняя комната, Пойнтсмен, и в ней тебе придётся доживать твою затруханную, проститутскую жизнь.

Пойнтсмен не смотрит на него. Отводит глаза. Вот этого Роджер и хотел. Появляется охрана, как антиклимакс, хотя любители сцен погони, те, кто не может взглянуть на Тадж Махал, Уфици, Статую Свободы, не перетекая мыслью на сцену погони, сцена погони, вот это да, Дуглас Фэрбенкс припрыжку на фоне

минаретов под луной—такие энтузиасты могут заинтересоваться нижеследующим:

Роджер ныряет под стол застегнуть свою ширинку, а тупые фараоны прыгают друг в друга поверх столешницы, сталкиваются и бранятся, но Роджер удрал вниз в обутый конской кожей, подбитый гвоздями, в тонюсенькую полоску, ромбо-узоро-носочный под-уровень тех сговаривающихся там, наверху, рискованный проход, любая нога может лягнуть его без телеграфного уведомления и прикончить—пока он не оказывается возле того сталелитейного магната, дотягивается ухватить того за галстук или за хуй, как удобней, и затащить его под стол.

– Хорошо. Сейчас мы выходим отсюда и ты мой заложник, дошло?– Он вылезает, волоча посинелого руководителя не то за галстук, не то за хуй, тащит его как детские салазки, давящегося и апоплектичного за дверь, мимо модально необычайной радуги дам-постовых теперь в испуге, во всяком случае, *с виду*, сирены уже воют на улице, Нападение Маньяка На Нефте-переговоры *Оттеснен Успев Обосс—ть Договаривающиеся Стороны*,а он уже из лифта бежит по служебному коридору взык! Над головами пары чёрных сторожей, которые передают друг другу и обратно сигарету, свёрнутую из какого-то Западно-Африканского наркотического растения, засовывает заложника в гигантскую печь, что остановлена по случаю весны (такая жалость) и убегает задним ходом между рядами платанов в маленький парк, через забор, прыг-скок, быстроногий Роджер и Лондонские полицейские.

Ничего не осталось в «Белом Посещении» ему действительно нужного. Ничего без чего ему не обойтись. Одежда на плечах да мотоцикл из гаража, карман набитый мелочью и злость безмерная, что ещё нужно 30-летнему простаку, чтобы пробиться в городе? «Да я же ёбаный *Дик Витингтон!*»– Приходит ему на ум, мчащему вдоль Кингз-Роуд: «Я прибыл в Лондон. Я твой Лорд-Мэр...»

Пират дома и явно ждал Роджера. Части его верного Мендозы лежат на трапезном столе, натирает маслом или кислотой для воронения, тряпочки, шомпола, бутылки сменяют друг друга в его руках, но глаза безотрывно на Роджере.

– Нет,– прерывает обличение Пойнтсмена, когда там мелькнуло имя Мильтона Гломинга,– это мелочь, но тут не газуй. Пойнтсмен его не подсылал. Мы его послали.

– Мы.

– Ты начинающий параноик, Роджер,– впервые Прентис зовёт его по имени и это трогает Роджера настолько, чтобы остановить его тираду.– Конечно, хорошо развитая система-Они необходима—но это лишь половина истории. Для каждой Они должна быть и Мы. В нашем случае она имеется. Творческая паранойя подразумевает развитие системы-Мы, наряду с Они-системой.

– Подожди, подожди, сначала где два стакана с виски, будь радушным хозяином, во-вторых что за «система-Они», я же тебе не излагаю Теорему Чебышева, правда?

– Это я о том, что Они и Их наёмные психиатры называют «бредовыми системами». Само собой, «бредовость» всегда определяется официальной сторона. Нам ни к чему вдаваться насколько реальны бредни или нереальны. Это решает их выгодность. Всё определяется системой. Расположением её данных. Что-то согласуется, другое не вписывается. Твоё предположение будто Пойнтсмен послал Гломинга это выбор не того поворота на развилке. В отсутствие какого-либо противоположного набора бредней—бреда о нас конкретно, кого я называю системой-Мы, мысль про Гломинга могла бы оказаться верной—

– Бредни про нас самих?

– Те, что не реальны.

– Но официально определены.

– Как выгоднее, да.

– Ну так ты играешь в Их игру, выходит.

– Пусть тебя это не беспокоит. Увидишь, как легко у тебя получится. С учётом, что мы до сих пор не победили, это совершенно не проблема.

Роджер окончательно сбит с толку. И кто тут входит, если не Мильтон Гломинг с чернокожим, в котором Роджер узнаёт одного из траво-курильщиков в кочегарке под офисом Мосуна. Его зовут Ян Отйийумбу и он связной от *Schwarzkommando*. Один из подручных апашей Бладгетта Ваксвинга появляется со своей девушкой, которая не столько ходит, как танцует, очень текуче и медленно, танец, в котором участвует Осби Фил прирудивший из кухни без рубашки (и с татуировкой Хрюшки Хрюнделя на животе? с каких это пор *это* у Фила?), что стопроцентно свидетельствует о воздействии героина.

Это малость изумляет—раз тут «система-Мы», как она не догадается взаимодействовать порассудительнее, как это делает «система-Они»?

– Это-то, что и надо!– кричит Осби и своим танцем живота доводит Хрюнделя до широкой тревожащей улыбки.– Они берут рациональностью. Мы ссым на Их рациональные распорядки. Правда же… Мехико?

– Ура!– Кричат остальные. Круто выдал, Осби.

Сэр Стивен Додсон-Трак сидит у окна, чистит автомат *стен*. Снаружи, опрокинувшись на спину в свой летний покой, Лондон может ощутить сегодня охлаждения Режима Экономии. В голове сэра Стивена ни единого слова сейчас.

Он совершенно поглощён оружием. Он больше не думает о своей жене, Норе, хотя она существует где-то, в какой-то комнате всё ещё окружена своими планетарными физиками, и нацеливается на какую-то особую судьбу. За последние недели, в стиле чистого мессианства, ей стало ясно самой, что истинная её суть, буквально-таки, Сила Притяжения. Я Гравитация, я То, Что должна преодолевать Ракета, Чему покоряются доисторические пустыни, трансмутируя в саму субстанцию Истории... Её уродцы на каталках, её провидцы, телепортальщики, астральные скитальцы, и трагические людские интерфейсы, всё знают о её приходе, но ни один не различает для неё способа свернуть. Она должна обосновать себя теперь—найти более глубинные формы самоотречения, глубже, чем отречение Шабатая Цви перед Блистательной Портой. Ситуация не лишена возможностей для хорошей хохмы, время от времени—бедную Нору заманивают на séances, которые не смогли б надуть и твоих пра-тётушек, визиты от подобных Рональду Черикоку в одёжке под Иисуса Христа, шлют сигналы по проволоке в замаскированную ультрафиолетовую родинку, которой он начинал светиться в самом двусмысленном вкусе, бормоча обрывки из Евангелия, спускаясь со своих высот распятия, чтобы откровенно лапать зад Норы под эластичным корсетом… глубоко оскорблённая она выбегала в тёмные коридоры полные потных невидимых рук—полтергейсты устраивали ей извержения унитаза, женоподобные какашки шлёпались на её девственную макушку, и с криком йагх! мокрой жопой и с корсетом на коленях, она убегала в свою гостиную, чтобы и там не найти покоя, нет, кто-то подстроил материализацию видения перед ней: лесбианский слоновий soixante-neuf, лоснящиеся хоботы симметрично ходуном, словно поршни, в сочных вульвах слоних, а при попытке избежать этот жуткий порнушник, она обнаруживала, что какой-то игривый призрак запер за нею дверь, а другой вот-вот шмякнет ей в лицо холодным Йоркширским пудингом...

В мезонине Пирата все поют сейчас походную песню силы противодействия, вместе с Томасом Гвенхидви, который не поддался всё же диалектическому проклятию Книги Пойнтсмена, аккомпанирующем на крвзе из розового дерева:

Они дрыхли на плечах твоих

В твоё пиво слёзы подливали,

Распевали заунывье «баю-бай» своих,

А ты не знал, что так Они душу твою кромсали,

А поумнеть тебе Они не давали,

Но сегодня скажу, ты пойми,

В мире иные пути есть где-то,

Ты перестанешь дерьмо это жрать—

Они тебе платят, чтоб нравилось это,

Но время пришло Их послать,

И хватит уже бунтовать,

Время пришло войну начать.

– Войну начать,– поёт Роджер, на пути в Каксэвен, думая при этом о том, как Джессика постригла волосы для Джереми, и как тот невыносимый педант будет смотреться с ракетным соплом на шее,– это война...

Затянись на дорожку,

Когда-то ты рад был целовать Им ножки,

Но время пришло Их послать,

Время пришло войну начать.

* * * * * * *

Эти ветви сосны, потрескивая своим водянисто синим, похоже совсем не дают тепла. Конфискованное оружие и боеприпасы наполовину в ящиках либо свалены кучами в периметре Третьей Роты. Несколько дней Армия США прочёсывала Тюрингию, врываясь в дома посреди ночи. Определённая ликантропофобия или страх Вервольфов, заполонила умы в кругах вышестоящих. Приближается зима. Скоро начнёт не хватать еды или угля в Германии. Урожаи картофеля под конец Войны, например, целиком переработаны в спирт для ракет. Но огнестрельного оружия всё ещё валом, как и боеприпасов к нему. Где не можешь прокормить, там забираешь оружие. Оружие и продовольствие неразрывно увязаны в правительственном уме со времён появления того и другого.

На горных склонах, поблескивают просветы яркие как Неопалимая Купина в июле при церемониальном прикосновении огня зажигалки. Ефрейтор Эдди Пенисьеро, из пополнения тут, в 89-й Дивизии, тоже энтузиаст амфетамина, уселся, нахохлившись, чуть ли не в самый костёр, вздрагивает и присматривается к дивизионному шеврону на рукаве, который обычно напоминает кучу ракетных носов теснящихся из растянутой дыры в жопе, все в чёрном и тускло-оливковом, но которые сейчас выглядят даже более дико чем обычно, и через минуту Эдди надумает на что оно похоже.

Вздрог, одно из излюбленных занятий Эдди Пенисьеро. Не тот вздрог, что бывает у *нормальных* людей, типа как если кто-то-наступил-на-твою-будущую-могилу и прошло, а вздрог который не проходит. Очень трудно втянуться поначалу. Эдди знаток вздрогов, он даже может их *читать*, как Кислота Бумер читает косяки, как Миклош Тананц читает шрамы от хлыста. Но этот дар не ограничивается лишь *собственными* вздрогами Эдди, о нет, это распространяется и на *других* людей! Ага, они приходят один за другим, они случаются вместе, группами (с недавних пор он начал развивать в мозгу схему дискриминатора, научаясь как различать их). Самые неинтересные из вздрогов это отмеченные

совершенно неизменной частотой, вообще без вариаций. Следующие по неинтересности, частотно-переменная разновидность, когда почаще, когда замедленнее, в зависимости от информации вводимой на входе, уж где бы там тот ни располагался. Затем переходишь к неравномерным синусоидам, в которых меняется как частота, так и амплитуда. Их надо анализировать в гармониях Фурье, а это малость заковыристей. Зачастую в них заложена кодировка, определённые под-частоты, определённые уровни мощности—нужно здорово поднатаскаться, чтобы просечь что к чему.

– Эй, Пенисьеро.– Это Эддин Сержант, Говард («Медляк») Лернер.– Убрай сва жопу с таво кастра.

– О, Сыржа,– начинает разговорчики Эдди,– д'ладна я прос хтел сыгреца.

– Ат-ставить, Пенисьеро! Адин с Палконикав хатит пастритца, вы-пал-няй!

– А-а, всех вас,– бормочет Пенисьеро, переползая к своему спальному мешку и роясь в рюкзаке за расчёской и ножницами. Он ротный парикмахер. Его стрижки, на которые уходят часы, а иногда дни, узнаваемы по всей Зоне, свидетельствуют каждым волоском о целеустремлённости постоянного клиента у «бензедринщика».

Полковник сидит, в ожидании, под светом электрической лампочки. Лампочка получает электроэнергию от другого военнослужащего в тени, что накручивает рукоять сдвоенного генератора. Это приятель Эдди, рядовой Пэдди («Электро») МакГонигл, Ирландский парень из Нью-Джерси, один из миллиона той добропорядочной самообеспечивающейся бедноты, известной тебе по кинофильмам—ты видел их пляшущими, поющими, развешивающими стирку на верёвках, напивающимися на поминках, переживающими из-за плохой успеваемости детишек, *но на высокую оценку я не знаю, Паапа*, он х'роший мальчик, но связался с пл'хой к'мпанией, в каждой подлой Голливудовской лжи, вплоть до такого популярного в этом году *Растёт в Бруклине Дерево*. Этой ручной педалью молодой Пэдди тут демонстрирует другую разновидность дара как у Эдди, хотя он производит, а не получает. Лампочка с виду горит постоянно, но на самом деле это последовательность электрических пиков и долин, чередующихся в зависимости от скорости, с которой Пэдди вращает рычаг. И просто потому, что нить проволоки внутри лампочки гаснет медленнее до появления следующего пика, она дурачит нас видимостью постоянного света. В действительности это цепочка, неощутимая, из света и темноты. *Обычно* неощутимая. Случается передача светового послания, что никогда не осознаётся, со стороны Пэдди. Его посылают мускулы и скелет, вся схема тела втянувшегося работать источником электроэнергии.

В данный момент Эдди Пенисьеро вздрагивает и не слишком обращает внимание на ту лампочку. Его собственное послание и без того интересно. Кто-то неподалёку, в вечерней темноте, играет блюз на губной гармошке. «Эт' чё?»–

хочется знать Эдди, стоя под белым светом позади полковника в его парадной форме,– «эй, МакГонигл, ты чёт'та слышь?»

– Ага,– веселится Пэдди позади генератора,– мне слышна, как твой выперд улитаит, здоровенны крыла у нё из заду. Хек, хек!

– Эт' всё *трипатня!*– отвечает Эдди Пенисьеро.– Ни'кова выперда те не слышна, ты Ирланска асталопина.

– Эй, Пенисьеро, знаш как Ит'лянска *падводка* звучит на новам радаре? А?

– И… как?

– *Ит-ит-ит* ляашки! От'так! Хек, хек, хек!

– Далбаёб,– грит Эдди Пенисьеро и начинает расчёсывать Полконичьи серебристо-чёрные волосы.

С прикосновением расчёски к его голове, полковник включается говорить. «Обычно мы проводим не больше 24 часов на повальный обыск дом-за-домом. От захода солнца до захода, из дома в дом. Смотрятся чёрным с золотом с обоих концов, таким образом, силуэты, перетряхнутые небеса, чистые как циклорама. Но эти закаты, тут, я не знаю. Такое впечатление что-то взорвалось где-то? Серьёзно —где-то на Востоке? Ещё один Кракатоа? С другим названием, по крайней мере, таким же экзотичным… цвета сейчас совсем не такие. Вулканический пепел, или другая измельчённая субстанция, в атмосфере, может преломлять цвета странным образом. Ты это знал, сынок? Трудно поверить, а? Концы подлиннее, если ты не против, а наверху просто, чтоб расчёской приглаживались. Да, Ефрейтор, цвета меняются, и ещё как! Вопрос в том, меняются ли они *вследствие чего-то?* Что-то модулирует ежедневный спектр солнца? Не как попало, а систематически, через неизвестный мусор в преобладающих ветрах? Несёт ли это какую-то информацию для нас? Глубокие вопросы, и тревожащие.

Сам ты откуда, сынок? Я вот из Кеноши, Висконсин. У моих стариков там маленькая ферма. Кругом поля под снегом и стойки ограждений аж до самого Чикаго. Снега наваливает на старые машины вдоль квартала метрами… большущие белые кучи… смахивает на Учёт Могил, там в Висконсине.

Хех, хех…

– Эй, Пенисьеро,– окликает Пэдди МакГонигл,– ты сё щё слышь тот звук?

– Ага, и кажись эт' губная,– Пенисьеро сосредоточен на вчёсывании каждого волоса по отдельности, подрезая их на чуть разную длину, повторяет снова и снова, касается тут и там… Бог тот, в чьей власти знать число им. Атропос, кто в силах обрезать каждый на разную длину. Итак, Бог в личине Атропос, которую невозможно остановить, овладели Эдди Пенисьеро в эту ночь.

– У м’ня естя губная для тя,– веселится Пэдди Мак,– прям тута! Гля! Италяшкин кларнет!

Каждая долгая стрижка событие. Волосы это ещё одна разновидность модулированной частоты. Достичь состояния благостыни, в которой все волосы когда-то распределялись абсолютно поровну, времён невинности, когда они спадали совершенно ровно, по всей голове Полковника. Ветры дня, рассеянные жесты, зуд, нежданные сюрпризы, метровые падения на пороге сна, осмотр небес, припоминание стыдобищ, всё с той поры отметилось на той безукоризненной обрешётке. Проходясь по ней в этот вечер, перестраивая её, Эдди Пенисьеро является агентом Истории. Попутно с переработкой головы полковника, длится вздрого-рождённый блюз—долгие переливы по дырам 2 и 3 соответствуют, по крайней мере в эту ночь, прочёсам по глуби волос, стволам берёз во влажно сгустившихся сумерках лета, подходам к каменному дому в густом парке, оленям парализованным вдоль плиток дорожки...

Блюз дело более низких, побочных частот—ты втягиваешь чистую ноту, в тональности, а потом понижаешь её мускулами своего лица. Твои лицевые мускулы часто смеялись, заходясь от боли, часто старались не выказать ни малейшей эмоции, сколько живёшь на свете. В какое из их расположений посылаешь чистую ноту как раз, отчасти, и воздействует на звучание в результате. Вот светское обоснование блюза, если духовный подход тебе не в жилу...

– Я не понимал куда попал,– рассказывает Полковник.– Просто спускался вниз вдоль тех здоровенных кусков разбитого бетона. Чёрная арматура вытарчивала из него… чёрно-ржавая. В воздухе посвечивали проблески королевско-пурпурного, недостаточно яркого, чтоб оттенить их концы, или растворить густоту ночи. Они выгибались вниз, удлинялись, одна за другой—когда-нибудь видел зародыш цыплёнка, только начавшийся? О конечно нет, ты же парень городской. Много чего узнаёшь, на ферме. Научает тебя виду зародыша цыплёнка, так что когда приходится карабкаться по горе бетона в темноте, и увидишь одного, или нескольких в небе вверху, но пурпурных, то знаешь на что оно похоже—это куда полезней, сын, чем город, там ты просто попадаешь из кризиса в кризис, каждый нового типа, нет опоры на то, что случалось уже повидать...

Ну вот он, осторожно пробирается по громадной развалине, его волосы в этот момент выглядят очень странно—наёжились вперёд от единой затылочной точки, большими длинными стрелками, образуя чёрный подсолнух или шляпу от солнца вокруг его лица, в котором основная черта длинные разползшиеся губы Полковника, лилового цвета. Всякая всячина цепляется за него из трещин в руинах, типа быстренькое радостное погружение наружу и обратно, тонкие руки-пинцеты, ничего личного, просто подумалось, *подышу-ка чуть-чуть ночным воздухом*, ха, ха! Когда они промахиваются по Полковнику—как у них всякий раз, похоже, и случается—так они просто вдёргиваются обратно с *гм-хм* игрока, ну может, в другой раз...

Проклятье, отрезан тут от моего полка, сейчас схватят и сожгут живьём эти дакойты! О Иисусе *вот и они*, Звери, пригибаясь, подбегают в отсветах версии города от Большой Пятёрки, красные и жёлтые тюрбаны, наркоманьи рожи в шрамах, обтекаемые как передок Форда ’37, те же глаза вразбежку, та же неподвластность Молоту Кармы—

Форд ’37 не под властью М.К? Да ладно чушь пороть! Они кончают на свалке металлолома, как и все остальные!

О, ты так в этом уверен, Скиппи? А откуда ж тогда такая прорва их на дорогах?

Н-ну ух, э, Мистер Всезнайка, из-за Войны это, новых машин сейчас не производят, вот мы все и должны держать нашего Старого Надёжного в отличном состоянии, потому что не слишком много механиков осталось на внутреннем фронте, а и нельзя делать запасы бензина, и мы должны держать А-наклейку в надлежащем приметном месте, внизу справа—

Скиппи, ты дурачок, у тебя опять пошли твои тупо тормознутые заезды. Вернись обратно, сюда, к стрелкам. Это где пути разделяются. Видишь там человека. На нём белый капюшон. А ещё коричневые туфли. У него приятная улыбка, но никто её не видит. Никто не видит, потому что лицо его всегда в тени. Но он хороший человек. Он стрелочник. Он так называется, потому что он дёргает рычаг, который переводит стрелку. И мы едем в Счастьеполь вместо Больграда. Или Der Leid-Stadt’а как его называют Немцы. Есть даже жуткий стих про Leid-Stadt, который написал Немец по имени м-р Рильке. Но мы его читать не будем, потому что мы едем в Счастьеполь. Стрелочник сделал так, чтоб мы туда попали. И у него это запросто. Рычаг очень гладкий и легко движется. Даже ты смог бы переключать, Скиппи. Если бы знал, где тот находится. Но взгляни, какую громадную работу он сделал всего одним щелчком. Он послал нас всех в Счастьеполь вместо Больграда. Это потому что он знает, где находятся стрелки и где рычаг. Он один такой, кто вкладывает совсем мало работы и делает великие дела, во всём мире. Он может направить тебя по верной дороге, Скиппи. Ты можешь иметь свои фантазии, если хочешь, вряд ли ты заслуживаешь чего-то лучшего, но сегодня Мистер Всезнайка в хорошем настроении. Он покажет тебе Счастьеполь. Начнёт он с освежения твоей памяти насчёт Форда-1937. Почему это авто с лицом дакойта до сих пор на дорогах? Ты сказал «Война», как раз когда тарахтел по стрелкам в неправильном направлении. Война состояла из набора стрелок. А? Дада, Скиппи, правда в том, что Война придаёт жизнь всему. Всему. В том числе Форду. Эта история с Немцами-Япошками была только одной, довольно сюрреалистичной версией настоящей Войны. Настоящая Война никогда не кончается. Смертность снижается время от времени, но Война продолжает убивать много-премного людей. Просто теперь убивает их похитрее. Часто слишком усложнёнными способами, чтобы даже мы, на этом уровне, смогли уследить. Но кому надо гибнуть те гибнут, как в сражениях армий. Это те, которые встают, в Учебке, при отработке действий под пулемётным огнём. Те, кто не верит своим Сержантам. Те, которые промахиваются и проявляют момент растерянности перед Врагом. Таких вот Война не может использовать и потому

они умирают. Выживают подходящие. А другие, как говорят, даже знают про свой краткий срок жизни. Но продолжают поступать как и раньше поступали. Никто не знает почему. Вот было б неплохо извести их вовсе? Тогда никого не убивали б на Войне. Здорово было б, правда, Скиппи?

Охренеть, ещё как здорово, Мистер Всезнайка! Ух,ты! Я-я не дождусь скорей увидеть Счастьеполь!

К счастью, ему и ждать-то не надо. Один из дакойт несётся прыжками аж присвистывает, шнур экрю шёлка гудит туго меж кулаков, нетерпеливая ну-давай-уже ухмылка, и как раз в тот же момент пара рук выклещивается из трещины в руинах и сдёргивает Полковника вниз, в безопасность, как раз вовремя. Дакойт падает на жопу и сидит, дёргает шнур, чтоб порвался, бормочет у блядь, потому что даже у дакойтов такая привычка.

– Ты под горой,– объявляет голос. Каменная пещеро-акустика тут.– С этого момента, пожалуйста, помни подчиняться всем надлежащим правилам.

Его проводник типа приземистый робот, светло серый пластик, с крутящимися фарами глаз. По форме смахивает на краба. «На Латыни это Канцер»,– грит робот,– «и в Кеноше тоже!» Как оказалось, он любитель одностиший, которые мало кому доходят кроме него.

– А вот и Вафельница-Роуд,– грит робот,–обрати внимание на смеющиеся лица у всех домов тут.– Окна наверху это глаза, забор зубы. Входная дверь тут нос.

– Посто-о-ой,– спрашивает Полковник, от вдруг пришедшей ему мысли– а как со снегом тут в Счастьеполе?

– С кем как?

– Ты увиливаешь.

– Я увильчивый любитель вин из Висконсина,– напевает грубиянистая машина,– и видел бы ты, как виляют медсёстры. Так что ещё новенького, Джексон?– Коротышка натурально *жуёт жевательную резинку*, вариацию Ласло Джамфа на поливинил хлориде, очень податливую, даже выделяющую отделяющиеся молекулы, которые благодаря остроумной Osmo-elektrische Schalterwerke, разработанной в Сименс, передаёт, закодировано, чертовски близкое подобие привкуса лакрицы Бимена в мозг робота-краба.

– Мистер Всезнайка всегда на вопрос выдаёт ответ.

– Да только вот его ответы под вопросом. Бывает ли снег? *Конечно*, в Счастьеполе идёт снег. До хрена снеговиков психанули бы без снега.

– Вот помню, ещё в Висконсине, ветер дул обычно вдоль дорожки, будто гость, который ждёт, что его впустят. Наметает снег на дверь, оставляет там сугробом… В Счастьеполе так бывает?

– Старый фокус,– грит робот.

– А кто-нибудь открывал дверь, когда ветер вот так метёт, а?

– Тысячу раз.

– Тогда,– взвивается полковник,– если дверь это у дома нос, а дверь открыта, а-и все те снежно белые кристалы вдуваются от Вафельницы-Роуд большущим облаком прямо в—

– Ааггххк!– вскрикивает робот и убегает в узкий переулок. Полковник оказывается в коричневом и выдержан-винном районе города: цвета самана и известняка простираются в длящихся прочь стенах, крышах, улицах, нигде ни деревца, и кто это променадит по Шоколаденшрассе? Поа! Да это же сам Ласло Джамф, глубоко зашедший в старческий возраст, хранимый как ’37 Форд, назло взлётам и падениям Мира, которые не более, как увлажнённые перемены улыбки, от широко-жемчужной до грустно-туманной, тут внутри Счастьеполя. Д-р Джамф в галстуке-бабочке определённого вяло-сероватого оттенка лаванды, цвет долгих умирающих дней сквозь окна консерватории, минорно-тональных lieder о днях минувших, горестных пианиссимо, табачного дыма в набитых гостиных, облачных воскресных прогулок у каналов… вот два человека, процарапанные отчётливо, с прилежанием, по этому дню, а колокола с той стороны канала отбивают час: эти двое пришли очень издалека, после странствия, которое ни один из них не упомнит, с каким-то особым заданием. Но от каждого скрыта роль второго...

И оказывается, что эта электролампочка тут над головой Полковника, та самая Osram лампочка, под которой Франц Пёклер обычно спал на своей койке в подземном ракетном заводе Нордхаузена. По статистике (так Они утверждают), каждая n-тысячная электролампочка должна оказываться совершенством, накопление дельта-q идёт как положено, так что нам нечего удивляться, что эта всё ещё тут, ярко светит. Однако, истина ещё ошеломительнее. Эта лампочка бессмертна! Она была и есть, фактически, с двадцатых, у неё тот старомодный выступ на кончике и менее грушевидная форма, чем у современных лампочек. Ух и потрясная история у этой лампочки, если б могла говорить—ну, дело в том, что она умеет таки говорить. Она диктует мускульные модуляции верчения Пэдди МакГониглом в этот вечер, тут имеется закольцованная петля, с обратной связью через Пэдди снова к генератору. Вот она:

История Байрона Лампочки

Байрона должны были произвести на заводе *Tungsram* в Будапеште. Скорее всего, его бы прихватил асс по продажам, отец Гёза Рожавёлги, Шандор, который покрывал всю Трансильванскую территорию и сделался настолько местным там, что головной офис чувствовал себя неясно параноидным относительно его

способности наложить жуткое проклятье на товарооборот в целом, если они не давали чего он захочет. В сущности, он был продавцом, который хочет, чтобы его сын стал доктором, и это осуществилось. Но возможно, проявилась подозрительная на ведьмовство аура Будапешта, и рождение Байрона в последний момент было переназначено на *Osram*, в Берлине. Переназначено, да. Существует Рай Лампочек Младенцев, над которым дружелюбно подшучивают, как если б это был кинофильм или ещё там что, ну таков уж Большой Бизнес, ха, ха! Однако, не позволяйте Им вас одурачить, он в первую очередь бюрократия, а Рай Лампочек Младенцев уже всего лишь как нечто побочное. Все накладные расходы—да, из своего собственного кармана Компания раскошеливается на квадратные лиги органди, бочонки розовой и голубой Бэби Краски от IG Farben, центнеры хитроумных Siemens сосок для Младенчиков Электро Лампочек, для питания Лампочек-сосунков током в 110 вольт без малейшей потери энергии. Так или иначе, эти Лампочные дельцы заняты созданием видимости мощи, мощи против ночи, вне реальности.

Вообще-то, Р.Л.М. довольно-таки убогий. С коричневых стропил свисает паутина. Время от времени таракан покажется на полу и все Младенчики пытаются провернуться посмотреть (будучи Лампочками, они выглядят совершенно симметричными, Скиппи, но не забывай про контакт наверху резьбы), начинают у-а! уу-аа! слабо светясь на таракана, что парализовано сидит на голых досках—только дави!—удирает затем, заново переживая некий нежданный разряд тока из ниоткуда, а высоко над головой лучистая, всевидящая Лампочка. В своём неведении, Лампочки Младенцы не знают как истолковать такую тараканью абреакцию—они чувствуют его испуг, но не знают что это такое. Они просто хотели с ним подружится. Он интересный и так ловко движется. Все в возбуждении кроме Байрона, который считает остальных сборищем простачков. Приходится всякий раз бороться, чтоб обратить их внимание на что-то стоящее. Привет, Младенчики, я Байрон-Лампочка, пропою вам песенку, вот такую,

Вспы-хните и заси-яйте—на-каливания Лампочки Младенцы!

А то будто у-вас водобо-язнь,

Всё лежите, кричите, пускаете пену, как куча чертенят,

Вы в царстве тараканов, но это чепуха

В сравненьи с ощущеньем висеть под потолком

И изливаться светом на их смешной дурдом,

Они к вам приползут с любовью до самого рассвета,

Но разбегутся кто куда как вспыхните вы светом!

Ну так светите, Лампочки Младенцы, вы светлого грядущего волна,

Я тут, чтоб вас завербовать

Участие принять

В великом походе, так пойте же со мной:

Мы-целый-мир-осветим-собой!

Беда Байрона в том, что в нём старая, очень старая душа, закованная в стеклянную темницу Младенческой Лампочки. Он ненавидит это место: лежи и дожидайся, пока тебя произведут, а в динамиках ничего кроме музыки Чарльстона, а время от времени обращение к Нации, кому бы тут понравилось? Байрону хочется поскорее выбраться и *приступить*, не удивительно, что он подвержен всем видам нервных расстройств, Пелёночная Сыпь Лампы Младенца, что проявляется в заржавелости ниток резьбы, Младенческие Колики Лампочки, тугая спазма высокого сопротивления в глубине витков вольфрамовой нити, Гипервентиляция Лампочки Младенца, такое чувство, будто вакуум треснул, хотя этому нет органичной основы...

Когда наконец-то подкатывает Выпускной День, можете представить восторг Байрона. Он провёл время, вынашивая некие грандиозно безумные планы—он объединит все Лампочки, обоснует мощную базу в Берлине, ему уже известна Тактика Стробирования, всего и делов-то развить в себе способность (почти как Йог) помаргивать с частотой близкой альфа-ритму человеческого мозга, и ты можешь в натуре вызвать *припадок эпилепсии!* У Байрона было видение среди стропил его палаты о 20 миллионах Лампочек, по всей Европе, в заданной синхронизированной пульсации подстроенной одним из его агентов в Электро Сети, и все эти лампочки начинают стробировать вместе, люди колотятся в 20 миллионах комнат, как рыба на отмелях Совершенной Энергии—Внимание, люди, это было предупреждением вам. В следующий раз кое-кто из нас *взорвётся*. Ха-ха. Да мы задействуем наши *Отряды Камикадзе!* Слыхали про Кыргызский Свет? Так это задница светлячка по сравнению с тем, что мы вам—о так вы не слышали про—о, ну так тем хуже. Потому что некоторые Лампочки, скажем, миллион, всего лишь 5% от нашего числа, очень хотят вспыхнуть грандиозным жаром вместо того, чтоб терпеливо ждать пока истечёт их срок годности… Вот так Байрон мечтает о своей Силе Партизанских Боевиков, собирается покончить с Гербертом Гувером, Стенли Болдвином, со всеми ними, прямо в лицо, одним скоординированный взрывом...

Ну так Байрона ждёт жёсткое отрезвление! Уже существует организация, людская, известная как «Фебус», международный картель лампочек освещения, чья штаб-квартира размещается в Швейцарии. Управление в основном осуществляют ДжиЭл Интернешнл, Osram, и Объединённая Электропромышленность Британии, которые, в свою очередь, на 100%, 29% и 46% принадлежат компании Дженерал Электрик в Америке. Фебус устанавливает цены и определяет срок эксплуатации всех лампочек в мире, от Бразилии до Японии, до Голландии (хотя Голландский Philips это бешеная собака в картеле, может в любой момент вырваться и сеять неразбериху в Комбинации). С учётом такого состояния тотального подавления, похоже что не найти места для новорожденной Лампочки Младенца, кроме как начинать от самого дна.

Но в Фебусе ещё не знают, что Байрон бессмертен. Он начинает свою карьеру в притоне курильщиков опиума с женским персоналом в Шарлотенбурге, почти в пределах видимости статуи Вернера Сименса, светясь в бра, один из множества лампочек, повидавших самые апатичные формы Республиканского декаданса. Он познакомился со всеми лампочками в заведении, Бенито Лампоне из следующего бра, который постоянно планировал побег, Берни, что горел у туалета в конце коридора и имел неисчерпаемый запас анекдотов про уролагнию, и с его матерью Брендой на кухне, у которой только и разговоров что про шарики гашиша, про членозаменители, вызывать потопы болеутоляющих оргазмов в капиллярах влагалища, про молитвы обращённые к Астрате и Лилит, царице ночи, про заходы в истинную Ночь Иных, продрогших и голых на линолеуме полов после нескольких суток без сна, грёзы и слёзы становятся его естественным состоянием...

Одна за одной, из месяца в месяц, лампочки перегорают и нет их больше. Поначалу, это болезненный удар Байрону. Он всё ещё новичок, всё ещё не постиг свою бессмертность. Но накручивая часы горения, он начинает понимать преходящесть остальных: осознание, что надо любить их, пока они ещё тут, идёт успешнее, а также всё интенсивнее—любить, словно каждый час эксплуатации последний. Байрон вскоре становится Постоянным Старожилом. Другие могут распознать его бессмертность с первого взгляда, но она никогда не обсуждается, разве что в общих высказываниях, когда доходит, помаргивая, фольклор из прочих частей Электросети, сказания о Бессмертных, один в кабинете кабалистики в Лионе, владеющий, как полагают, магией, другой в Норвегии, над входом в склад, лицом к лицу с арктическою белизной, полон стоицизма, при одной лишь мысли о котором более южные лампочки впадают в ослабелую пульсацию. Если где-то есть ещё Бессмертные, то они отмалчиваются. Но это молчание таящее многое, возможно всё, в себе.

Вслед за Любовью, таков черёд, у Байрона начинается урок Молчания.

Когда его горение продляется до 600 часов, контролёры из Швейцарии начинают присматриваться к Байрону. Зал Наблюдений Фебуса расположен в малоизвестных Альпах, холодное помещение до потолка забитое Германской электроаппаратурой, стекло, медь, эбонит, массивные блоки терминалов, обросшие латунными зажимами и вкрутками, и работник в сверхчистом белом халате, что бродит от счётчика к счётчику, невесомый как снежные бесы, проверяя, что всё идёт штатно, что ни у одной лампочки средний срок эксплуатации не зашкалил. Можешь себе представить как скажется на рынке, если такое начнёт случаться.

Байрон минует красную черту на табло Наблюдающих, и тут же, как полагается, его мигом проверяют на сопротивление нити, температуру свечения, вакуум, потребление энергии. Всё в пределах нормы. После этого, Байрона проверяют теперь уже каждые 50 часов. Мелодичный звонок раздаётся на станции слежения по истечении срока.

На 800 часах—ещё одна рутинная предосторожность—Берлинская представительница отправлена в опиумный притон вывинтить Байрона. На ней перчатки козлиной кожи на асбестовой подкладке и двадцатисантиметровые каблуки, не для того, чтобы не затеряться в толпе, а чтоб дотянуться до бра, где вкручен Байрон. Остальные лампы смотрят в едва сдерживаемом ужасе. Новость распространяется по Электросети. С чем-то близким к скорости света, каждая лампочка, Азосы глядящие в улицы из бакелита, Нитралампен и Вотанг Жс освещающие ночные футбольные матчи, Юст-Вольфрамы, Моноватты и Сириусы, каждая лампочка в Европе узнаёт о случившемся. Они молчат в бессилии, покоряясь перед лицом насилия, которое полагали всего лишь мифом. *Мы не в силах помочь*, это общая мысль гудит над отарами спящих овец, вдоль Автобанов, и до резких окончаний угольных причалов на Севере , *никогда не могли мы хоть что-то поделать*... Стоит кому-то заронить в нас наиничтожнейшую надежду, выступить против, тут же вмешивается Комитет по Аномалиям Накаливания и его забирают. Некоторые всё же протестуют, быть может, тут и там, но это лишь информативно, приглушая свет, безвредно, ничего подобного взрывам в лица власть предержащих, как виделось когда-то Байрону, ещё в его Младенческой палате, в пору невинности.

Он перевезён в Нойкёльн, в подвальное помещение, в дом стеклодува, который боится темноты и станет держать Байрон включённым день и ночь взирающим на все те кремневые кубки, грифонов и цветы-кораблики, на прыгающих козерогов, зелёную паутину, угрюмых льдо-божеств. Это один из так называемых «пунктов контроля» для удобства наблюдений за подозрительными лампами.

Не прошло и недели, как грянул гонг в коридорах из льда и камня штаб-квартиры Фебуса и лица кратко вздёрнулись от своих счётчиков. Гонги тут не часты. Гонги особая весть. Байрон миновал 1000 квт-часов свечения и теперь следует стандартная процедура: Комитет по Аномалиям Накаливания направляет в Берлин убийцу.

Но тут происходит нечто странное. Да, чертовски странное. Планировалось разбить Байрона, измельчить и в той же мастерской расплавить—вытащив вольфрам, разумеется—чтобы мастер перевыдул из него свой следующий сюжет (воздушный шар отправляется в путешествие с верхушки небоскрёба). Вообще-то, не слишком плохой исход для Байрона—ему не хуже Фебуса известно сколько на нём уже часов. Здесь в мастерской он насмотрелся достаточно стекла перерасплавленого в бесструктурную массу, из которой возникают и перевозникают все стеклянные формы, и не прочь сам пройти через это. Но он оказался пойманным в Кармическое колесо. Сияние оранжевой купели было просто насмешкой, издевательством. Для Байрона нет избавления, он осуждён на бесконечный круговорот электрических патронов и лампочных ворюг. В мгновенье ока юный Ганс Гешвиндиг, Ваймарский уличный беспризорник—выкрутил Байрона из потолка в насторожённый карман и Гешшшшвинннд! обратно за дверь. Тьма пеленает сны стеклодува. Из всех неприятностей, что проникают в его сны из ночной атмосферы, погасший свет всего жутче. Свет, в его снах, всегда дарил надежду: обыкновенную, смертную надежду. Когда контакт спирально оборвался,

надежда обернулась тьмой, и стеклодув резко пробуждается в ночи, крича, «Кто? *Кто?*»

Фебус не то, чтобы прямо тебе с ума сходил. Такое уже случалось. Имеется ещё одна процедура к исполнению. Она выливается в сверхурочные для некоторых сотрудников, так что тут присутствует то неопределённое удовольствие избавления кишечника от распиравшего ветра, с настолько же неясной возбуждённостью от ломки рутины. Хочешь эмоций покруче, забудь про Фебус. Их непроницаемо-лицые поисковые партии выдвинулись на улицы. Им, в общих чертах, известно где вести поиск в городе. Они исходят из предположения, что никто среди их потребителей не догадывается о бессмертии Байрона. Так что инструкции по Не-бессмертным Лампоперехватам вполне приложимы также и к Байрону. Ну а инструкции с чего-то приебались к нищим секторам, Еврейским секторам, наркоманским, гомосексуальным, проститутским и шулерским секторам столицы. Именно тут самые логически допустимые ламповоры, исходя из характера преступления. Сверьтесь со всей пропагандой. Это же *моральное* преступление. Фебус открыл—одно из самых великих необнародованных открытий нашего времени—что потребителям необходимо ощущать чувство греха. Что вина, в правильных невидимых руках, самое сильное оружие. В Америке, Лайл Бленд и его психиатристы располагали цифрами, показаниями экспертов и деньгами (деньгами в Пуританском смысле—открытое и явное «добро» их намерениям) достаточными, чтобы приоткрыть Открытие Вины на стыке между научной теорией и фактом. Темпы роста в поздние годы должны были изнурять Бленда (вообще-то, Бленда изнурил секстет почётных гробоносцев из Салитиери, Пура, Наша, де Брутуса и Бленда Младшего, который чихал. Бадди в последний момент решил посмотреть Дракулу. Ему повезло). Из всего наследия оставшегося после Бленда, Ламповоровская Ересь была, пожалуй, его самой грандиозной. Она не означает лишь, что кто-то просто не покупает лампочку. Она ещё означает, что тот же самый кто-то не подаёт напряжение на её патрон! А это грех как против Фебуса, так и Электросети. Ни тот, ни другая не допустит, чтобы подобное сходило с рук.

Итак, спущены ищейки Фебуса, найти украденного Байрона. Но беспризорник уже покинул город, добрался до Гамбурга, сбагрил Байрона проститутке на Рипербан, чтобы ему *кольнуться морфинчиком*—клиентом молодой женщины в эту ночь явился бухгалтер смет, которому по кайфу, *когда ему в жопу вкручена электролампочка*, да ещё этот жучара принёс с собой малость гашиша, чтоб курнуть, так что, уходя, он уже напрочь забыл про Байрона у него в жопе—да так, фактически, и не узнал, потому что когда он, наконец-то, садиться (простояв в троллейбусе всю дорогу до дома), то это уже у себя, на унитаз, и плюсь! Байрон выскочил в воду да фррр! По канализации в устье Эльбы. Он достаточно заокруглён, чтобы везде проскакивать. Несколько дней его носит по Северному морю, пока не достиг Гельголанда, того красного-с-белым торта Наполеон сброшенного в море. Там он пробыл какое-то время в отеле между Хенгтом и Мёнхом, пока однажды его не доставил на материк один очень старый священник, проинформированный о бессмертии Байрона в ходе рутинного сна про вкус Хохаймера урожая 1911… откуда ни возьмись, большой Берлинский Ледовый

дворец, гулкая, неясная пещера в железных колоннах, запах женщин в синих сумерках—духи, кожа, мех костюмов для катания на коньках, пыльца льда в воздухе, мельканье ног, выпуклых задов, желание наплывами гриппозного жара, беспомощность в конце под резкий-щёлк-бича, взлёт ракетой сквозь чересполосицу солнечных лучей, приглушённых вспудренным льдом, и голос в затуманенном зеркале под ногами возвещает: «Найди свершившего это чудо. Он свят. Огласи его. Добейся его канонизации...» Имя в списке, который старик вскоре составил, из около тысячи туристов побывавших на Гельголанде с той поры, как Байрона нашли на пляже. Священник начинает поиски на поезде, пешком и на Хиспано-Суизе, проверяя каждого туриста из его списка. Но он добрался не далее Нюрнберга, где его чемодан, с завёрнутым в стихарь Байроном, подтибрил транссектит, Лютеранин по фамилии Маусмахер, который любит одеваться в Римско-Католические регалии. Этот Маусмахер не удовольствовался тем, чтобы стоять себе перед зеркалом и крестить его жестами папского благословения, он думает, что будет круто выйти на аэродром Цеппелинов, где факельное шествие Нацистов в полном разгаре, и прогуляться там, крестя всякого, кто подвернётся. Зелёные факела пылают, красные свастики, мерцание духовых и Отец Маусмахер, просматривает титьки, жопы и линии талий и корзинок, мурлыча клерикальный мотивчик, какой-то рифф из Баха, улыбается, продвигаясь сквозь Зиг Хайли и хоры «Die Fahne Hoch». Не почувствовал, как Байрон выскользнул из украденного одеяния на землю. Затем рядом с ним протоптались несколько сот тысяч сапог и ботинков, не один даже не прикоснулся, есессна. Он подобран на следующий день (поле уже мертвяще пусто, с торчащими колоннами, бледное, в полосах длинных луж грязи, утренние облака удлиняются позади позолоченых свастик и гирлянд) нищим Еврейским тряпичником и унесён дальше, дальше в 15 лет сохранности вопреки случайностям и вопреки Фебусу. Он будет вкручиваться в одну мамашку (*Mutter*) за другой, как обозначается женская резьба в Германских патронах для лампочек, по причине с чего бы она так именуется вне постижения кем-либо.

Картель перешёл уже на План Б для Непредвиденности, который предусматривает семилетний статус ограничений, после чего Байрон будет по закону считаться перегоревшим. Тем временем, персонал, снятый с дела Байрона, приступили к выслеживанию лампочки долгожительницы, что однажды находилась в патроне на крыльце армейского аванпоста в джунглях Амазонки, Лампы Беатриз, которую совсем недавно украла, загадочно, банда грабителей индейцев.

За все годы его выживания, все эти различные спасения происходят словно бы случайно. Когда только у него появляется возможность, он старается просветить все близвисящие лампочки относительно злобной природы Фебуса, и о необходимости солидарности против картеля. Он пришёл к пониманию того, что Лампа призвана отбросить роль всего лишь передатчика световой энергии. Фебус ограничил Лампу для всего помимо одной лишь этой участи. «Но есть и другие частоты, выше и ниже видимой широты. Лампа может производить тепло. Лампа может давать энергию растительному миру, для выращивания запрещённых законом растений, в шкафах, например. Лампа может проникать в спящий глаз и

воздействовать на сны человека». Некоторые лампочки внимательно слушали—другие обмозговывали способ настучать Фебусу. Некоторые из старшего поколения анти-Байронистов умели подделывать свои параметры статистическим образом, что отражалось на эбонитовых счётчиках под Швейцарской горой: случились даже несколько само-наветов, в надежде вызвать присылку убийц.

Всякие толки о скрытых возможностях Лампы, конечно же, чистой воды подрывная деятельность. Фебус всё основал на ламповой эффективности—отношение исходящей пригодной энергии к энергии вложенной. Электросеть требовала, чтобы это отношение оставалось насколько возможно меньшим. Таким образом, навару получали больше. С другой стороны, низкая эффективность означала большую длительность часов свечения, а это подрывало продажи Фебуса. Вначале Фебус пытались увеличивать сопротивление нити, снижая часы жизни неприметно и понемногу—пока Электросеть не обнаружила снижения годовых доходов, и начала вопить. Обе стороны постепенно достигли соглашения по компромиссной цифре лампо-жизни, которая принесёт достаточно денег им обеим, и о несении равных, пятьдесят на пятьдесят, расходов на анти-лампокрадскую кампанию. А также на более завуалированную атаку на криминальные души, которые отказываются от лампочек совершенно и пользуются свечами. Давнишнее соглашение Фебуса с Мясным Картелем было нацелено на сокращение оборота твёрдого жира с его стеариновой кислотой путём оставления жира в мясе, несмотря на болезни сердца, в которые это могло вылиться, и перенаправкой большей части срезанного на производство мыла. Мыло в те дни являлось цветущим бизнесом. Среди потребителей, Институт Бленда выявил глубокие чувства относительно говна. При всём при этом, мясо и мыло оставались лишь мелкими дополнениями для Фебуса. Куда важнее был вопрос вольфрама. Ещё одна причина, по которой Фебус не мог в снижении срока жизни ламп зайти слишком далеко. Избыточные вольфрамовые нити поглотили бы запасы данного металла—к тому же то, что основной поставщик данного сырья Китай, привносило весьма щекотливые вопросы Восточной политики—и вредило соглашению между Дженерал Электрик и Круппом о квотах производства вольфрамового карбида, где и когда, и по какой цене. Согласованные рекомендации составляли $37–$90 за фунт в Германии, $200–$400 за фунт в США. Это напрямую сказывалось на производстве станков и оборудования, а таким образом на всей лёгкой и тяжёлой промышленности. Когда пришла Война, нашлись такие, кто считал непатриотичным предоставление подобного преимущества Германии. Но властью никто из них не располагал. Не переживай.

Байрон, продолжая светить, всё более и более чётко различает очертания этой системы. Он узнаёт как вступать в контакт с другими видами электротехники, в домах, на заводах, на улице. У каждого есть что ему рассказать. Очертания накапливаются в его душе (Seele, как основа ранней углеродной нити именовалась в Германии), и чем грандиознее и чем отчётливее они разрастаются, тем в большее отчаяние приходит Байрон. Придёт день, когда он будет знать всё, но всё равно останется бессильным, как и прежде. Его юношеские мечты организовать все лампочки в мире кажутся теперь неисполнимыми—Электросеть широко открыта, любые послания могут прослушиваться, а доносителей на линии

более, чем достаточно. Пророки, как водится, долго не тянут—их либо сразу убивают, или устраивают несчастный случай достаточной серьёзности, чтобы тормознули и призадумались, и большинство из них заворачивают оглобли. Но Байрону досталась судьба погорше. Он обречён продолжать вечно, зная правду и не имея сил что-то изменить. И больше он не будет стремиться покинуть колесо. Его ярость и разочарование разрастутся без пределов и ему откроется, несчастной лампочке извращенцу, что так оно ему даже и в кайф...

Ласло Джамф уходит вдоль канала, в котором плывут сейчас псы, стаями, собачьи головы подёргиваются в загаженных каналах… собачьи головы, шахматных коней тоже, можно найти, невидимых, над секретными авиабазами, в густейших туманах, температурных условиях, давление и влажность формируют Шпрингер-контуры, которые опытным пилотам удаётся чувствовать, радары могут видеть, беспомощные пассажиры почти могут замечать, одним глазком, время от времени, в маленьком оконце, словно бы через слоя испарения… это добрый Пёс, Ему никогда человек не прививал вторичных рефлексов, Который для нас есть в началах и у окончаний, и в странствиях, что мы должны совершить, беспомощно, но не совсем противясь... Складки костюма Джамфа отшелушиваются прочь как листья ириса под ветром с саду. Полковник остался один в Счастьеполе. Стальной город ожидает его, ровный облачно-свет возносит белёсую полосу под каждым высотным зданием, все они расставлены в модуляциях совершенной сети улиц, всякая башня срезана на другой высоте—а где же Расчёска, что пробежит через это и восстановит старинное совершенство Картезианской гармонии? где великие Ножницы с небес, что переупорядочат Счастьеполь?

Нет нужды вносить кровь или насилие тут. Но Полковник таки запрокинул свою голову, как бы и впрямь покоряясь: его горло открыто излучению боли Лампы. Пэдди МакГонигл единственный другой свидетель и он, электростанция в одну человечью силу со своими мечтами, хочет, чтобы Полковника не стало, не меньше, чем кто-либо другой. Эдди Пенисьеро, с блюзом, переполняющим вздроги его мышц, опущенный, смертный блюз, ухватил свои ножницы не так, как делают парикмахеры. Острия, трепеща в электрическом конусе, нацелены вниз. Кулак Эдди Пенисьеро стискивается вокруг колец, покинутых его пальцами. Полковник, в последнем наклоне головы выставляет свою сонную артерию, явно недовольный, что чего уж оно так—

* * * * * * *

Она прибывает в город на краденом велосипеде: белый платок венчает её, плещет позади язычками, чрезвычайный посланник от осушенной и завоёванной земли, сама носительница древнего титула, но без всякой реальной власти, о том даже и мечтать не приходится. На ней простое белое платье, теннисное платье из довоенных летних пор, спадающее теперь не заточено-лезвенными сборками, а мягче, случайнее, полурассыпчато, касания синевы в складках поглубже, платье для перемен погоды, платье, чтобы его овевали тени деревьев, перечёркивали

крохи коричневого с солнечно-жёлтым, пока она проносится в задумчивости, но без улыбок обращённых в себя, под листвой деревьев окаймляющих укатанный грунт дороги. Её волосы свиты в косы, поверх головы, которую она держит не слишком высоко, но и не так, чтоб назвать «понуро», а навстречу (скажем, наперекор) некоему будущему, впервые со времён Казино Герман Геринг… и она не из нашего мига, не из нашего времени, никак.

Самый крайний часовой выглядывает из своей ржаво-костлявой развалины и на два полных педальных прокрута они оба, он и Катье, под открытым светом дня, сливаясь с утоптанной землёй, ржавчиной, с кляксовыми проколами солнечного света, холодно золотого и сглаженного как стекло, со свежим ветром в деревьях. Гипертиреозно Африканские глаза, их радужка в осаде, словно ранние подсолнухи в переполненных белках… Уга-буга! Двай бегом к там-таму, двай! Скажи в деревню, племени, ну жа!

Итак, ДУМдумдумдум, ДУМдумдумдум, ладно, но всё равно в её манере нет места даже любопытству (а как же, разве не бьют тут барабаны? шанс для насилия? Бросок змеи с ветвей, что-то громадное ждёт там среди тысячи кланяющихся древесных вершин, вскрик внутри неё, подскок в первобытном ужасе, покорность ему и тем самым—так ей мечталось—возвращение себе своей души, её давно утраченного «я»…). Не станет она тратить больше мимолётного взгляда на Германские газоны разбегающиеся так глубоко прочь в зелёные марева или холмы, на бледные отростки мраморных балюстрад рядом с санаторными дорожками в непрестанных извивах, горячке, в одышке, на гущу каплечленных побегов и шипов настолько старых, до того безутешных, что глаза отдёрнулись, стиснулись слёзными железами, переведены найти, найти во что бы то ни стало, тропу исчезнувшую так сразу… или же оглянуться назад и цепляться за какой-либо след курорта, уголок Sprudelhof’а, самую макушку оркестровой раковины, что-то противопоставить шёпоту Пана из тёмной поросли *Войди же… забудь о них*. Иди сюда... Нет. Только не Катье. Она уже бывала в чащах и гущах. Она плясала голой и расставляла свою пизду под рога зверья из дебрей. Она ощущала луну подошвами своих ступней, принимала её приливы поверхностями своего мозга. Пан никудышный любовник. Сегодня, на людях, у них нет ничего кроме нервных взглядов друг для друга.

Что случается прямо сейчас, внося тревогу, так это вдруг взявшийся из ниоткуда полный хор мужчин Иреро. Они одеты в белые матросские костюмы в стиле подчёркивающем задницы, выпуклость паха, тонкие талии и рельефы грудных клеток, и они несут девушку всю в серебряной парче, громогласную крутую даму на манер Алмазной Лил или Гины из Техаса. Как только они её опустили, все начинают плясать и петь:

Па—ра—нооойййя, Па-ра-нойя!

Как рад вновь свидеться с тобой я!

Па-ра-ной-я, боже ж мой

Па-ра-ной-я, боже ж мой

Ты, сама знаешь, малость чего

Ещё со времён времён того!

Даже Гойя

Не смог тебя намалевать,

Паранойя,

Раз ты взялась ту дверь сшибать,

Вели нотариуса звать,

Хочу я жопу завещать

Тебе мою о, Паранойя!

Затем Андреас и Павел выходят в туфлях для степа (освобождённых у довольно фривольного АНРС шоу, что гастролировали тут в Июле) исполнить один из тех номеров песня-под-чечётку:

Па-ра- ной—(клиппети-клиппети-клиппети кл[йя,]оп!)

Па-ра- ной—(шухтоп! шухтоп! шухтоп!

[и] кл[йя,]оп! кликети кл[Как]оп!) классно (клоп)

сно(клоп)ва свидеться(клиппиклоп) с тобой!

etc.

Ну, Катье врубается ещё задолго до первых 8 тактов, что эта наглая блондинка-бомба ни кто иной, как она сама: она выплясывает танец с этими чёрными моряками на берегу. Догадавшись также, что она является аллегорической фигурой Паранойи (классная старушенция, малость того, но сердцем чистая), она должна отметить, что находит джазовую вульгарность музыки несколько огорчительной. Вообще-то ей представлялось нечто под Айсидору Дункан, классическое и полно кисеи, и к тому же—ну *белое*. В кратком обзоре Пирата Прентиса для неё были фольклор, политика, Зональные стратегии—но никак не чернота. А ведь именно об этом ей нужно было знать в первую очередь. Как ей пройти теперь через столько черноты для собственного искупления? Разве так сможет она найти Слотропа? Посреди такой черноты (грассируя это слово, как старик произносил бы имя общественной фигуры, придавая гортанности до полной черноты: чтоб вовсе не произносилось). Здесь присутствует тот упрямый, давящий жар в её мыслях. Ничего подобного тем *явно* расистским мурашкам, нет, но чувство ещё одной обузы, в дополнение к нехватке пищи в Зоне, к курятнику, пещере или подвалу в виде приюта при закате, к фобиям военной оккупации и уклончивостям ничем не лучшим, чем в Голландии в прошлом году, по крайней мере, тут хоть удобно, уютно-лотосно, но катастрофично, в Реальном Мире снаружи, в который она всё ещё верит, и никогда не перестанет надеяться на

возвращение в него однажды. Мало ей этого всего, так нет же, теперь она должна ещё и черноту терпеть. Её неготовность к этому должна её выручить.

С Андреасом она очаровательна, она излучает ту чувственность, что присуща женщине озабоченной безопасностью отсутствующего любовника. Однако, ей нужно видеть Тирлича. Их первая встреча. Каждого, по-своему, любил капитан Блисеро. Каждому пришлось как-то стерпеться с этим, просто стерпеться, и уже достаточно давно, день за днём... .

– Оберст. Я счастлива— голос её обрывается. Сам собой. Её голова склоняется над его столом не дольше, чем необходимо для благодарности, объявить свою пассивность. Чёрта с два она счастлива.

Он кивает, поводит бородой к стулу. Вот, стало быть, Золотая Сука из последнего письма Блисеро, из Голландии. Тирлич не пытался представить её тогда, слишком охваченный, слишком стиснутый жалостью к тому, что творится с Вайсманом. Она казалась тогда одной из предсказуемых форм ужаса, что должно быть наполнял его мир. Но, этнически, когда ему меньше всего хотелось бы, чуть погодя Тирлич начал думать о ней как о великом наскальном рисунке Белой Женщины в Калахари, белой от пояса вниз, с луком и стрелами, вслед за ней её чёрная служанка по неверному пространству, камню и провалам, фигуры всевозможных размеров, движутся туда-сюда...

Но тут и впрямь Золотая Сука. Он удивлён насколько она стройна и молода— бледность как у начавшей покидать этот мир, готова исчезнуть вовсе при слишком бездумной ухватке. Она осознаёт собственную хрупкую истончённость, её лейкемию души, и ею она подманивает. Ты должен хотеть её, но никогда не показывать этого—ни взглядом, ни движением—не то она рассеется, исчезнет напрочь, как дым над тропой уходящей в пустыню, и у тебя никогда не будет возможности снова.

– Вы должно быть видели его не так давно, как я.– Говорит он негромко. Она удивлена его вежливостью. Разочарована: ждала большей напористости. Губа её начала приподыматься.– Как он выглядел?

– Одиноким.– Её отрывистый кивок на сторону. Не сводит с него взгляда со всей нейтральностью, которую может позволить себе при таких обставах. Она подразумевает, Тебя с ним не было, когда ты был ему нужен.

– Он всегда был одинок.

Тут она поняла, что это не робость, она ошибалась. Это порядочность. Человек хочет быть порядочным. Он оставляет себя открытым. (Она поступает также, но лишь потому, что всё, что может ранить, давно сведено в онемелость. Тут нет большого риска для Катье). Но Тирлич рискует чем рискуют бывшие любовники в присутствии Возлюбленного, фактически или на словах: глубочайшими опасностями пораниться о стыд, о возвращение чувства утраты, нарваться на издёвки и осмеяние. Следует ли ей насмехаться? Сделал ли он это слишком

простым—а затем, наоборот, ждёт от неё честной игры? Может ли она быть честной как он, не рискуя слишком многим? «Он умирал»,– говорит она ему,– «он выглядел очень старым. Я даже не знаю, выбрался ли он живым из Голланидии».

– Он— и это колебание может быть (а) чтобы не ранить её чувства, (б) из соображений безопасности *Schwarzkommando* или (в) и то, и другое… но затем, к чёрту, Принцип Максимизации Риска снова берёт своё: – Он добрался до Люнеберг Хита. Если вы не знали, вам следует знать.

– Вы искали его.

– И Слотроп делал то же самое, хотя не думаю, что Слотроп догадывался об этом.

– Слотроп и я— она обводит взглядом комнату, глаза отскакивают от металлических поверхностей, бумаг, граней соли, не могут найти где затихнуть. Словно делая отчаянно нежданное признание,– Всё как-то теперь ушло. Не знаю толком, зачем меня сюда посылали. Я уже не знаю, кем Слотроп был на самом деле. Какой-то сбой *освещения*. Не могу различить. Всё от меня отдаляется...

Ещё не время коснуться её, но Тирлич дотягивается дружески похлопать по тыльной стороне ладони, воинское слушай-сюда. «Есть вещи за которые нужно держаться. Всё может казаться нестóящим, но кое-что есть. Вправду».

– Вправду.– Они оба начинают смеяться. У неё устало-Европейский, медленный, с покачиваием головы. Когда-то она прикидывала во время смеха, в разговоре о гранях, провалах, выгоде и затратах, о часе атак и точках за пределами возможности возврата—она могла смеяться *политично*, реагируя на ляпы власти или когда ничего другого не оставалось делать. Но сейчас она просто смеялась. Как когда-то смеялась со Слотропом в Казино Герман Геринг.

Выходит она просто говорила с Тирличым про общего друга. Это так заполняется Вакуум?

– Блисеро и я,– начинает он мягко, следя за нею поверх полированных скул, сигарета дымит в его скрюченной правой ладони,– мы были близки лишь определённым образом. Оставались двери, которые я не открыл. Не смог. Здесь я изображаю всеведущего. Надо бы добавлять, только не выдавай, но это не имеет значения. Их понятие уже установилось. Я Берлинская Верховная Морда, *Oberhauptberlinerschnauze* Тирлич. Всё это я знаю, а мне они не верят. Сплетничают в общих чертах обо мне и Блисеро, как мотают пряжу на клубок—истина не изменит ни их недоверие, ни мой Безграничный Доступ. Просто начнут пересказывать историю, ещё одну историю. Но для тебя истина может кое-что и значить.

Блисеро, которого я любил, был очень молодым человеком, влюблённым в империю, поэзию, в своё собственное нахальство. Это всё однажды должно быть было важным для меня. Из этого вырос я нынешний. Прежний «я» всегда дурак,

невыносимый долбодон, но всё же человек, ты ведь не станешь прогонять его упорней, чем любого другого калеку, правда?

Он вроде как и впрямь спрашивает её совета. И на вопросы такого рода тратит он своё время? Как же насчёт Ракеты, Пустых, опасного младенчества его нации?

– Что может значить для вас Блисеро?– Вот что она в результате спросила.

Он не раздумывал долго. Ему часто представлялось появление Вопрошающего. «Тут я должен бы вывести тебя на балкон. Какую-нибудь площадку наблюдения. Я бы показывал тебе Ракетен-Штадт. Плексигласовые карты связей, что установлены нами по всей Зоне. Подпольные школы, систему распределения продовольствия, лекарств… Мы бы взглянули вниз на комнаты персонала, центры коммуникаций, лаборатории, клиники, и я бы сказал—»

– Я всему этому поверю, если только вы—

– *Отрицательный*. Не тот случай. Я бы сказал: вот чем я стал. Отчуждённая фигура в некотором отдалении и возвышении... – который смотрит на Ракетен-Штадт янтарными вечерами, с промытой и темнеющей пеленой облаков позади него— который утратил всё, кроме этой точки наблюдения. Нет ни одного сердца, нигде теперь, ни одного не осталось человеческого сердца, в котором бы я существовал. Знаете, каково чувствовать это?

Он лев, этот человек, эго-сдвинутый—но, не смотря ни на что, он нравится Катье. «О если бы он всё ещё был бы жив—»

– Невозможно предугадать. У меня есть письма, написанные им, когда он покинул город. Он менялся. Ужасно. Вы спрашиваете что он мог значить для меня. Мой стройный белый землепроходец, двадцать лет превращавшийся в больного и старого—последнее сердце, в котором для меня ещё мог сохраниться уголок—менялся, жаба в принца, принц в баснословного монстра... «если он ещё жив», он мог измениться до полной для нас неузнаваемости. Мы могли бы проехать под ним в небе сегодня, но так и не увидеть. Что бы ни произошло в конце, он превозмог. Даже если он всего лишь погиб. Он вышел за пределы своей боли, своего греха—загнанный глубоко в их владения, в контроль, синтез и контроль, дальше чем— ну он чуть не сказал «мы», однако «я» подходит лучше, в конце концов,– я не превзошёл, я всего лишь вознесён. Это должно быть настолько пустым, как только может быть: это хуже, чем когда тот, кому ты не веришь, скажет тебе, что ты не умрёшь...

Да он значит для меня, очень много. Он прежнее «я», дорогой альбатрос, с которым не могу расстаться.

– А я?– По её расчётам, он ожидает от неё, чтоб прозвучало как у женщин 1940-х.– И я,– вот уж право. Но у неё не получается так сходу найти другой способ помочь ему, дать ему миг передышки...

– Вы, бедная Катье. Ваша история всего печальней.– Она поднимает взгляд проследить, как именно он станет над ней издеваться. Её ошеломил вид слёз вместо этого, бегущих, бегущих по его щекам.– *Вас всего лишь освободили*,– его голос прерывается на последнем слове, его лицо упало вперёд, на секунду, в клетку рук, потом вспять из клетки, на попытку её собственного беззаботно вальсирующего смеха висельника. О нет, он же не окажется для неё тоже глупым? То, что ей нужно именно в этот момент её жизни, от какого-то мужчины в её жизни, это стабильность, умственное здоровье и сила характера. Нет, кажется.– Я говорил Слотропу, что он свободен, тоже. Я говорю любому, кто, возможно, услышит. Я говорю им, как говорю вам: вы свободны. Вы свободны. Вы свободны...

– Как может моя история быть печальней такого?– Бессовестная девчонка, она не подыгрывает ему, она действительно флиртует с ним сейчас, любой из приёмов, которым осветление волос и курсивная вязь девичества её обучили, лишь бы не окунуться в его черноту. Пойми, это не его чернота, а её собственная—недопустимая темень, которую она пытается приписать на момент Тирличу, нечто за пределами даже уже и центра рощи Пана, нечто отнюдь не пасторальное, а городское, набор способов, которыми естественные силы отводятся в сторону, втаптываются, очищаются или сливаются наземь и становятся совсем как злобный мертвец: Клипот, которого Вайсман «превозмог», души, чей переход на ту сторону оказался до того неудачным, что они утратили всю свою доброту вдоль пути в синей молнии (долгие морские борозды её зыби), и превратились в полоумных убийц и насмешников с невразумительными вскликами в пустоте, сухощавыми и оголённо тощими как крысы—городская тьма, это её собственная, наслоённая темень, в которой всё растекается в разные стороны, и ничто не начинается, ничто не кончается. Но с течением времени там становится шумнее. Втряхивается в её сознание.

– Флиртуйте, коли есть охота,– Тирлич сейчас изыскан, как тот Гэри Грант,– но будьте готовы к тому, что вас воспримут всерьёз.– О, хо. А вотаньки и оно, на чё вы, люди, посходились.

Но не обязательно. Его горечь (всё надлежаще заактировано в Германских архивах, которые могут, однако, быть уже уничтожены) засела чересчур глубоко для неё, правда. Он должен был освоить тысячу масок (поскольку Город продолжает маскировать себя против вторжений, которые мы часто и не видим, не знаем чем кончаются, молчащие и незамеченные революции в складских районах, где стены глухие, на участках, где трава растёт густо), и эта вот, вне всяких сомнений, этот Учтивец В Летах, Экзотичный, одна из них.

– Я не знаю как быть.– Она поднимается в долгом, затяжном пожатии плечами и начинает прохаживаться грациозно по комнате. Её давнишняя наработка: девушка около 16, которая думает, что все на неё смотрят. Её волосы спадают словно капюшон. Руки часто соприкасаются.

– Вам незачем углубляться в это дальше, чем обнаружение местонахождения Слотропа,– он опамятовался сказать ей, наконец,– Всё, что вам требуется, это поддерживать с нами связь, и ждать когда он снова покажется. Зачем переживать об остальном?

– Потому что у меня такое чувство,– её голос, возможно так и задумано, в полной нерешительности,– что «остальное» именно то, что мне следует делать. Я не хочу уйти с каким-то мелким выигрышем. Я просто хочу—ну не знаю, вернуть ему долг за осьминога или что-то вроде. Разве не следует мне знать почему он тут, что я сделала ему, для Них? Как можно Их остановить? Как долго я смогу отделываться лёгкой работой, дёшево отделываться? Не должна ли я пройти до самого конца?

Её мазохизм [писал Вайсман из Гааги] для неё опора. Что её всё ещё возможно ранить, что она человек и способна плакать от боли. Потому что, часто, она забывает. Я могу лишь гадать насколько ужасно это должно быть... Поэтому ей нужен хлыст. Она подставляет зад не из покорности, а от отчаяния—как твои страхи импотенции, и мои: может он ещё… а если подведёт… Но от истинной покорности, от того чтобы отпустить своё «я» и перейти во Всё, тут нет и капли, уж только не у Катье. Она не та жертва, которую я бы выбрал развязаться с этим. Возможно, перед концом появится другой. Возможно я размечтался… Не для того я тут, не так ли, чтоб исполнять её фантазии!

– Вам назначено выжить. Да, возможно. Неважно сколько боли вы хотите себе причинить, вам всё же всегда удастся прорваться. В вашей воле избрать насколько приятным будет каждый переход. Обычно это достаётся в награду. Не стану спрашивать за что. Мне жаль, но похоже вы и вправду сами не знаете. Потому-то ваша участь самая печальная.

– Награда— она вот-вот взорвётся.– Да это пожизненный приговор. Если по-вашему это награда, то кто тогда я, по-вашему?

– Политическое ничто.

– Чёрный ублюдок

– Это в точку.– Он позволил ей высказать правду. Часы бьют в каменном углу.– У нас есть кое-кто из бывших с Блисеро в Мае. Перед самым концом. Вам не обязательно—

– Идти и слушать, да, Оберст. Но я хочу.

Он поднимается, сгибает свою официальную и джентльменскую руку, усмехаясь на сторону и чувствуя себя клоуном. Её же усмешка направлена вверх, как у зловредной Офелии только что заглянувшей в страну сумасшедшего и ей теперь не терпится покинуть двор.

Обратная связь, улыбка-на-улыбку, прикидки, колебания: всё это сваливается в *мы никогда не узнаем друг друга*. Сияющие, незнакомцы, ла-ла-ла, вышли

выслушать про конец человека, которого мы оба любили, и мы, незнакомцы в кино, обречённые на разные ряды, проходы, выходы, дороги домой.

Далеко в другом коридоре шумно надрывается сверло, дымит, перед тем как заклинить. Подносы кафетерия и стальная посуда позвякивают, невинный и добрый звук позади знакомых областей пара, жира на грани прокисания, сигаретного дыма, шума воды, жидкости для мытья—кафетерий посреди дня.

Ещё есть за что удерживаться...

* * * * * * *

Вам подавай причину и последствие. Хорошо. Танаца смыло за борт тем же штормом, что унёс Слотропа с *Анубиса*. Его спас Польский гробовщик на весельной лодке, что выплыл в ту штормовую ночь убедиться сможет ли его трахнуть молния. На гробовщике, в надежде что это притянет электричество, сложный металлический костюм, что-то вроде как для водолаза, и каска Вермахта, в которой он понасверливал пару сот дырок и продел гайки, болты, пружины и токопроводящие палочки всякого рода, и потому он звенит и звякает всякий раз, когда кивает или качает головой, что с ним часто бывает. Он бинарный собеседник в полном смысле, что ни спросишь, в ответ лишь да или нет, а двуцве́тные шахматные доски странных контуров и фактуры прямо-таки расцветают в ночном ливне вокруг него и Танаца. С момента как он прочитал листовку Американской пропаганды про Бенджамина Франклина, про воздушный змей, грозу и разряд, гробовщик одержим этим делом, чтоб его трахнуло молнией по голове. По всей Европе, озарило его однажды ночью (хотя не той вспышкой на какую надеялся), на данную минуту, найдутся сотни, кто знает, может, тысячи людей посреди остальной толпы, трахнутых молнией и выживших. Что смогли бы *они* порассказать!

Листовка обошла молчанием факт, что Бенджамин Франклин был плюс к тому Масоном и предавался космическим формам хохмачества, за одну из которых Соединённые Штаты Америки вполне бы сошли.

Короче, тут всё дело в протяжённости. Жизнь большинства людей имеет подъёмы и спады, все относительно постепенные, синусоидальная кривая с начальными производными у каждой точки. Это для тех, кого никогда не трахает молния. Тут и близко нет идеи катаклизма. Зато действительно трахнутые переживают небывалый момент, обрыв протяжённости в кривой жизни—вам известно какова скорость в точке соскока с кривой? Вечность, вот какая! А и сразу после точки *минус* вечность! Как вам такое в виде нежданных перемен, а? Бесконечность миль в час сменяется той же скоростью в обратном направлении, всё это за Δt поперёк точки не шире вошьей жопы или волоска от рыжей пизды. Вот что значит трахнуться молнией, народ! Вас заносит на острый как игла пик горы, и не думайте, будто там не ширяют бородатые грифы в зловеще красных

высотах вокруг, что только и ждут случая вас зацапать. О да. Их пилотируют голоспинные гномы в пластмассовых масочках на глазах, что, типа как случайно, повторяют знак бесконечности: ∞. Человечки с негодяйскими бровями, острыми ушами, а сами лысые, хоть есть и одевшие иностранный головной прибор, вовсе не повседневную зелёную федору Робин Гуда, нет, им подавай шляпы *Кармен Миранды*, например, из бананов, папай, виноградных гроздьев, груш, ананасов, манго, охренеть, из арбузов даже—и есть остроконечные Вильгельм-шлемы из Первой Мировой Войны, и чепчики младенцев и поперечные треуголки Наполеона с «Н» и без «Н» спереди, не говоря уже про красные костюмчики и зелёные накидки, и тут они склоняются к ушам своих безжалостных птиц, пришёптывают как жокеи, готовые схватить тебя, диковину, прямо как ту жертвенную обезьяну с небоскрёба Импайр Стейт, да только упасть тебе не дадут, унесут тебя прочь, в места откуда присланы как агенты. Там всё выглядит как в мире оставленном тобой, но будет уже по-другому. Между совпадающим и тем самым появилась как бы ещё и прослойка схожего, но доступная лишь молние-головым. Другой мир наложен поверх предыдущего, а с виду не отличишь. Ха-ха! Но молние-трахнутые знают! Даже если могут и не знать, всё равно знают. Вот это-то и вышел тот гробовщик проверять в шторм той ночью.

Интересуется ли он всеми теми иными мирами, что посылают своих гномиков-полпредов на орлиных спинах? Фиг там. И вовсе не собирается писать классический труд по антропологии, о суб-культуре молне-трахов, даже при всей их тайной организации, рукопожатиях с острым тычком ногтями, частном ежемесячнике *Сбережённая Копейка* (что выглядит вполне невинно, старина Бен Франклин после инфляции, если только ты не знаешь вторую половину пословицы: «... это промышленные запасы меди». С подзаголовком из дословной цитаты медного магната Марка Ханна: «Ты занимался политикой достаточно долго, чтобы знать, что ни один человек на службе обществу ничем ему не обязан». Так что на самом деле название журнала *Достаточно Долго*, о чём Те, Кто Знает, знают. Текст в каждом номере ежемесячника, если вывернуть таким макаром, несёт немало интересных сообщений). Для тех кто не в курсе, это всего лишь приятный бюллетень новостей небольшого клуба—Джед Планкит устроил барбекю для Отделения Айовы в последний уик-энд Апреля. Наслышан про Турнир Силы Тока, Джед. Не повезло! Но к следующему Барбекю вернёшься как новенький… Минни Калкинс (Отделение 1.793) вышла замуж в Пасхальное Воскресенье за продавца дверей-сеток из Калифорнии. Можно лишь сожалеть, что он до сих пор не подходит для Членства. Но вокруг столько мохнатых сейфов, что сетки им не помешают!... Ваш Редактор получил много, очень много «Шо за дела ващще?» относительно Весеннего Съезда в Декатуре, где всё освещение погасло в момент благословения. Рад сообщить теперь, что причина, наконец, отслежена до гигантского скачка в электролинии,– «Типа электрической приливной волны»»,– грит Хенк Фафнер, наш инженер-на-месте-происшествия,– «до единой лампочки все перегорели, весь потолок из почернелых стерильных яиц».– Просто поэт, Хенк! Теперь узнать бы только что стало причиной скачка—

Но есть ли дело Польскому гробовщику в весельной лодке до взламывания данного кода, тайных организаций или выявленных суб-культур? Нет, ему пофиг.

Им движет предположение, что общение с такими людьми поможет ему в его деле. Вы можете догнать такое, чуваки? Он хочет знать как ведут себя люди до и после ударов молнии, чтобы понять как поспособнее обходиться с членами семьи покойного.

– Ты извращаешь великое открытие на потребу коммерции,– грит Танац ступая на берег.– Ты должен стыдиться самого себя.– Не минуло и пяти минут как вошёл он в город, когда на краю болота вдруг хрясь ККАХХАНН! хрясьхрясь хрясь чудовищный взрыв света и грома сотрясает воду там, где гробовщик, озлобленный тем, что считает неблагодарностью, гребёт прочь

– О,– доносится его ослабелый голос,– О, хо! О-хо-хо-хо-хо!

– Тут никто не живёт кроме нас,– Некая твёрдая фигура, шепчущий силуэт, цвета древесного угля, материализовался на пути Танаца.– Мы не причиняем вреда гостям, но тебе лучше избрать другой путь.

Они, это 175 лагерных заключённых за гомосексуализм. Они ушли на север из лагеря Дора в Норденхаузен, всё время на север, пока не кончилась земля, основали общину из одних мужчин между болотом и устьем Одера. При нормальных обстоятельствах, Танац посчитал бы это раем, не будь настолько невыносимым для каждого из них расставание с Дорой—Дора была их домом и они тоскуют по родине. Их «освобождение» стало изгнанием. Так что тут, на новом месте, они создали гипотетическую SS цепочку подчинения—не ограничиваясь уже теми тюремщиками, что предоставила Судьбина, они теперь смогли создать действительно мокрожопых вымышленных Нацистских игровых партнёров, от *Schutzhäftlingsführer'a* до *Blockführer'a*, и выбрали внутреннюю иерархию себе тоже: *Lager* и *Blockältester*, *Kapo*, *Vorarbeiter*, *Stubendienst*, *Läufer* (что означает бегун или посыльный, но так случилось, что на Немецком это ещё и название шахматного слона… если вам приходилось видеть его бегущим через мокрые луга очень ранним утром, его красное одеяние вьётся и полощется потемнев почти до цвета коры дерева между заводнённых низин, у вас зародилось некоторое понятие о его истинном назначении тут, в общине—он носитель священных стратегий, меморандумов совести, и при его приближении по тростниковым равнинам утра вас цапануло за склонённый загривок и охлестало побочными волнами Великого Мига—потому что Läufer здесь священней всего, это он носит послания в искоренённый интерфейс между зримым Лагерем и невидимыми SS).

Завершает данную структуру *Schutzhäftlingsführer* Блисеро. Имя смогло продвинуться так далеко на восток, как бы продолжая отступление человека, после его заключительной битвы в Люнебург Хите. Он самый жуткий призрак Зоны. Он злобен, он наполняет собой удлиняющиеся летние ночи. Как заражённый корень, он меняется, разрастаясь в сторону зимы, белея, к безделью и голоду. Кого ещё могли избрать 175 себе верховным притеснителем? Власть его абсолютна. И не подумай, будто он и на самом деле не ждёт, возле

разбомблённой и ржавеющей газовой фабрики, под винтовыми лестницами, за баками и башнями, ждёт первого рассветного бордово-полого посыльного с известиями как прошла ночь. Ночь его наиглавнейшая забота, так что ему должны докладывать.

Это призрачное правление SS основано тут не столько на том, что узники узнали в Доре, но и на их предположениях о Ракето-структуре в соседнем Mittelwerke. А4, по-своему, тоже скрывалась за непроходимой стеной, что отделяла реальную боль и ужас от призванного мучителя. Присутствие Вайсмана/Блисеро проникало сквозь стену, корёжась, подрагивая, в зловонные казармы нар, с тем же переходом в другую форму, как у слов пытающихся пробиться сквозь сны. Того, что 175 слышали от своих реальных SS охранников, было достаточно, чтобы тут же, не сходя с места, возвысить Вайсмана—те, его собственное элитарное братство, *не знали* что можно ждать от этого человека. Когда узники оказывались поблизости, охранники переставали перешёптываться. Но отголоски их страха оставались: страх не перед Вайсманом лично, но страх самого времени, времени настолько отчаянного, что он мог теперь ходить по Mittelwerke как по своей собственности, времени, которое облекло его властью не имевшейся в Аушвице или Бухенвальде, власти недоступной им...

При звуках имени Блисеро сейчас, жопа Танаца малость напряглась. Не то, чтобы он подумал, будто имя подставлено нарочно или ещё там что. Паранойя не главная проблема у Танаца. Его *беспокоит напоминание вообще*—напоминание о том, что не дошло до него и словечка, с того полудня в Хите на запуске 00000, о нынешнем статусе Блисеро—жив или мёртв, властитель иль в бегах. Он даже и не знает что он предпочёл бы лично. Пока *Анубис* держал свой путь, не нужно было выбирать: память могла остаться настолько далеко позади, что однажды «реальность» больше не будет иметь значения. Конечно, так всё и было. Конечно, ничего такого и не было.

– Мы думаем, он всё ещё,– представитель города говорит Танацу,– жив и в бегах. Время от времени до нас доходят слухи о чём-то—вполне совпадающем с Блисеро. Так что мы ждём. Он нас найдёт. Для него тут шаблонная болванка основы власти, дожидается его.

– А если он не останется?– чисто из подлости,– что если он посмеётся над вами, да и пройдёт мимо?

– Тогда у меня нет предположений,– говорящий начинает пятится обратно в дождь,– тут просто вера.

Танац, который клялся, что никогда больше не станет отыскивать Блисеро, ни за что после 00000, ощущает лезвие жути приложенное плашмя. «Кто у вас посыльный?»– вскрикивает он.

– Иди сам,– цедится шёпот.

– Куда?

– На газовую фабрику.

– Но у меня сообщение для—

– Там и передашь...

Белый *Анубис*, уплыл к спасению. А тут позади, за кормой, остались обойдённые, плывут и тонут, в трясине и на тверди, несчастные пассажиры на закате, что заблудились бродя наобум в отбросах других, в очистках, в тоскливом барахле воспоминаний—всё за что они вынуждены держаться—барахтаясь, путаясь, подымаясь, падая. Люди за бортом и наши общие обломки...

Танац остаётся дрожать и злиться в не на шутку разгулявшемся дожде под аркадой из известняка. Я должен был плыть дальше, хочет он заорать, а вскоре так и делает. «Мне не положено оставаться среди ваших отходов...» Где апелляционный суд, что выслушал бы его печальную историю? «Я споткнулся!» Какой-то кок скопытился в луже элитных блёв и разлил целый оцинкованный бак кремово-жёлтой куриной тошнотины у правого борта верхней палубы, Танац не увидел, он искал Маргрету... Очень жаль, *les jeux sont faits*, никто не слушает, а *Анубис* пропал. Уж лучше тут, в плавучих обломках, Танац, никогда не угадать какая может подвернуться золотая рыбка, спроси Оберста Тирлича, он знает (есть некий ключ, среди пустошей Мира… и его не найти на белом *Анубисе*, потому что они всё ценное выбрасывают за борт).

Итак—Танац на газовой фабрике, перед осмолённой стеной, макрелевы глазищи вылупились из мокрой шерсти воротниковой тени, всё чёрно-белое, перепуган до невозможности, дыхание дымится из уголков его рта, когда зелень рассвета занимается там среди *gassen*. Его тут не будет, он просто мёртв, просто мёртв? Чем тут не «интерфейс»? сообщающаяся поверхность для пары миров… конечно, но которых двух? И не приходится рассчитывать ни на какой позитивизм, тот не спасает, он не срабатывал даже ещё в Берлине, до Войны, на посиделках у Петера Сачсы… он только мешал, раздражал остальных… ширма из слов между ним и сверхъестественным всегда была лишь тактическим ходом… никогда не давала чувствовать себя свободнее от… А уж теперь-то в этом даже ещё меньше смысла. Он знает, что Блисеро жив.

Это не сон. Тебе же хочется, чтоб так и было. Обычная горячка, что рано или поздно пройдёт, отпуская тебя в холодную реальность комнаты… ты не обязан исполнять то долгое запутанное задание, вовсе нет, пойми, это только горячка… это не наяву...

На этот раз, наяву, Блисеро, живой или мёртвый, реален. Танац, сейчас малость чокнутый от страха, хочет подманить его, он больше не в силах ждать, он хочет знать что призовёт Блисеро через интерфейс. Какой визг, какое виляние покорной жопы может привлечь его обратно...

Но это привлекло лишь Русскую полицию. Имеется рабочее соглашение не покидать пределы 175-Штадта, о котором, конечно же, никто не сказал Танацу.

Газовая фабрика пользовалась дурной славой места шумных сходняков, пока Русские не провели серию массовых облав. Последний гаснущий отголосок Хорала 175-Штадта скачет прочь по дороге, распевая некий жуткий гимн педерастии, типа,

Ямси-намси пуки-пук ий-ийе

Уж коль я дегенерат, так ты тем более...

– Теперь тут попадаетесь только вы, туристы,– грит лощёный гражданский с белым платочком в его нагрудном кармане, хмыкая в тени полей своей шляпы.– И, когда-никогда, шпион, конечно.

– Это не я,– грит Танац.

– Не ты, да? А ну-ка расскажи подробнее.

Такое вот попадалово по полной. Меньше, чем за полдня, Танац перешёл от нечего беспокоиться, ни даже думать о Блисеро, к постоянной необходимости иметь под рукой какое-то о нём пояснение перед всяким приблудным лягашом. Это стало одним из его ранних уроков каково быть обойдённым: ему не избежать последствий того, что сам себя подставляет, разве что случайно отвертится.

Например, на окраине Штеттина, случайно, группа Польских партизан, только что вернувшись из Лондона, по ошибке принимают полицейскую машину за ту, что перевозила одного анти-Люблинского журналиста в тюрьму, строчат по шинам, подбегают, убивают водителя, ранят следователя в цивильном, и скрываются таща Танаца как мешок картошки.

– Не я,– грит Танац.

– Блядь. Он прав.

Они сваливают его за дверь машины на привале ПеЭлов за несколько миль дальше. Его загоняют в загородку из колючей проволоки вместе с другими 1 999, которых ведут на запад, в Берлин.

Неделями, он едет на товарняках, вися по очереди снаружи назначенного вагона, пока внутри кто-то другой спит на высвобожденном им месте на соломе. Потом они меняются местами. Это помогает не уснуть. Ежедневно Танац видит с полдюжины ПеэЛов, что, задремав, валятся с поезда на всём ходу, и иногда смешно смотреть, но слишком чаще нет, хотя юмор ПеэЛов очень переменчивая штука. Он проштемпелёван на руках, на лбу и на жопе, обезвошен, протолкан, прощупан, пронумерован, предназначен, зачтён, не туда отправлен, проигнорирован. Он переходит из одной в другую бумажную хватку Русских, Британских, Американских и Французских надсмотрщиков, круг за кругом в оккупационном цикле, начиная узнавать лица, покашливания, пары ботинок на новых владельцах. Без карточки рациона или *Soldbuch*, ты обречён переводиться

в партиях по 2000, из центра в центр, по Зоне, возможно навсегда. Так что, среди прудов и стоек забора в Мекленбурге где-то, Танаца ждёт открытие, что он не исключается ни из чего. Во вторую ночь по железной дороге его туфли украдены. Он слёг с глубоким бронхиальным кашлем и высокой температурой. Целую неделю никто не приходит посмотреть его. За две таблетки аспирина ему пришлось отсосать у дежурного, которому чем дальше, тем больше нравилось трение обросших бородою щек нагретых до 103°F об его ляжки, пышащее раскалённым жаром дыхание у себя на яйцах. В Мекленбурге Танац крадёт окурок сигареты у спящего однорукого ветерана и его полчаса бьют и пинают люди, языка которых он в жизни не слыхал, чьих лиц он так и не увидел. Жуки переползают по нему, слегка раздражаясь, что он путается под ногами. Его дневную пайку хлеба забирает ПеэЛ меньше него, но с видом имеющего полное право, Танац такой вид может лишь изображать—так что он боится наброситься на тощую спину в тряпье печёночного цвета, на жующую взъерошенную голову… а другие смотрят: женщина, которая рассказывает всем, что Танац пристаёт к её дочке ночью (Танац никак не может посмотреть ей в глаза, потому что да, он хочет стащить со стройной дозревающей милашки солдатские штаны на несколько размеров больше, сунуть член меж бледных мелких ягодиц, что так напоминают о Бианке, кусать хлебно-мякушные ляжки, дёргать длинные волосы, выгибая горло Бианки, заставить стонать, метаться головой, как она это любит) и ещё Славянин со скошенным лбом, который заставил Танаца рыскать за окурками после отбоя, жертвуя сном не столько ради шанса найти действительно окурок, сколько подчиняясь праву Славянина потребовать это—Славянин тоже смотрит—фактически, круг врагов, все наблюдали отнимание хлеба и неспособность отобрать. Их приговор ясен, ясность в их глазах, которую Танац никогда не видел на *Анубисе*, откровенность, которую не может избежать, не может отмахнуться… наконец-то, наконец он вынужден встретить *лицом* к лицу, буквально личным настоящим лицом, прояснённость, *истинный* свет того...

Мало-помалу, его припоминание того ракетного запуска в Хите становится отчётливей. Полировка огнём горячки, боль, снимают наслоения. Постоянно повторяющийся образ—грязно-коричневое, почти чёрное глазное яблоко отражает ветряную мельницу и рваную сеть ветвей дерева силуэтом… двери по сторонам ветряной мельницы распахнулись и тут же захлопнулись, как незакрытые ставни в бурю… в небе радужки одиночное облако, в форме беззубки, всплывает, очень пурпурное по краям, вспых взрыва, что-то ярко охровое на горизонте… ближе в нём словно рычащий пурпур вокруг жёлтого, что разгорается, утроба жёлтого затемнилась яростным изливом наружу, наружу брюхатым изгибом к нам. И странно (не затем, чтоб оборвать живописную сцену, но) довольно странно, когда доходит, ведь никаких ветряных мельниц нет в Люнебург Хите! Танац даже проверял, глянул по сторонам мгновенно, просто убедиться, нету никаких тут мельниц и близко, тогда, но с чего глаз Блисеро, глядя на Хит, отражает мельницу, а? Ну, честно говоря, сейчас там мельница не отражается, в нём отражена бутылка джина. Никакой бутылки джина тут в Хите тоже нет. Но ведь ветряк отражался. Как же так? Возможно ли, что глаза Блисеро, в которых Грета Ердман видела карты его Царства, для Танаца отражают прошлое? Такое и впрямь странно. Что бы ни происходило на тех глазных яблоках, когда туда не

смотришь, просто утрачивается. Тебе останутся лишь фрагменты, оттуда-отсюда. Катье оглядывается через плечо на свежие рубцы от хлыста. Готфрид на утреннем построении, тело обмякшее как у *Wandervogel*, ветер относит его униформу широкой рябью назад от разветвленья его ляжек, волосы вьются на ветру, нахальная улыбка в сторону, рот чуть приоткрыт, челюсть вперёд, веки опущены. Собственное отражение Блисеро в овальном зеркале, состарившееся лицо—он собирается одеть парик, паж Драконихи с чёлкой, но повременил, всматриваясь, лицо спрашивает что? что ты сказал? парик отведён в сторону и чуть ниже так, что другое лицо в тяжёлых тенях парика почти неприметно… но присмотревшись, можешь различить выступы костей и скопления жира, начинают возникать сейчас, матово белая стрижка, маска в руке, поверх теней в порожнем колпаке—два лица оглядываются разом, и Танац, ты хочешь тут разобрать хоть что-то, мэн? Танац, разве не любил ты хлыст? Не были тебе желанны прикосновения и шёпот женских одежд? Разве не хотелось тебе убить ребёнка любимого тобою, убить с весельем, нечто настолько беспомощное и невинное? Поднявшее к тебе глаза в последнюю возможную минуту, с доверием к тебе, с улыбками, тянется губами поцеловать, как раз когда удар обрушивается на череп… что может быть лучше этого? Плач, что прорывается в твоей груди затем, тяжкое прибытие потери, потери навсегда, необратимый конец любви, надежды… теперь не отнекаться кто ты, в конце концов, есть… (но до чего же страшно принять его, лицо змия—раскинуть руки и ноги, и позволить пройти в тебя, в твоё истинное лицо, это убьёт тебя если—)

Он рассказывает об этом *Schwarzkommando* теперь, об этом и многом другом. Спустя неделю ора *я знаю*, выкриков *я видел Schwarzgerät*, всякий раз едва лишь чёрное лицо мелькало позади потока проволоки оград, у навалов шлака или на перекрёстках, слово дошло. Однажды днём они пришли за ним: он поднят с соломы такой же чёрной от угольной пыли как они сами—поднят легко, как ребёнок, таракан соскочил, не ерепенясь, с его лица—и перевезён дрожащий, забран стонущий на юг в *Erdschweinhöhle*, где теперь они сидят вокруг костра, жуют и курят, глаза прикованы к синему Танацу, который не умолкает семь часов кряду. Только он привилегирован, некоторым образом, поведать столько, он, тот самый тютя, который проиграл, чмошник,

Просто лох-что-ни-разу-не-выиграл, в любви,

Хоть-играет, почти-каж', ду ночь...

Баран-для-стрижки-Теми, Наверху,

Кто карты-сдаёт, что можно, что нет...

О лох никогда не-поставит-всё, и-он никогда-не-играет ва-банк,

Он знает хоть-раз-не-вышло, то можешь все-гда проиграть-опять!

Прото-овца в игре, в любви…

Ночь за ночью будет о-о-о-дин!

Он проиграл Готфрида, проиграл Бианку, и ему только-только начинает доходить, так запоздало, что они же тот самый проигрыш, тому же самому кто в выигрыше. На этот момент он забыл в какой последовательности. Не знает кого из детей проиграл первым, или даже—осиные тучи памяти роятся—даже не два ли это имени, разные имена одного и того же ребёнка… но затем в обломках чужих отбросов, острых углов, и слишком раскрученных скоростей, ты ж понимаешь, он замечает, что не может долго держаться за эту мысль: скоро он снова барахтается на открытой воде. Но он будет помнить, что недолго удерживался за неё, видел её фактуру и цвет, чувствовал её своей щекой, когда очнулся от спячки в такой близи от неё—что эти двое детей, Готфрид и Бианка, одно и то же...

Он проигрался Блисеро, но это было уже как-то вне-реальным. После последнего пуска, пропущены ночные часы пути в Гамбург, перелёт из Гамбурга в Бидгошч на краденом P-51 Мустанге, до того Прокаловски-средь-ясного-неба-из-машины, что Танацу стало представляться будто он избавился от Блисеро тоже, и тем же весьма условным, металлическим образом. И разумеется, метал уступил плоти, поту и долгой говорильне по ночам, когда Блисеро, скрестив ноги, заикался себе в пах, я п-п-п-п— «Пришёл», Блисеро? «Поставил»? «Прошу»? «Постараюсь»? Блисеро в ту ночь рассекретил все свои батареи, выложил все карты своих заграждений и лабиринтов.

Танац в самом деле задаётся вопросом: когда смертные лица тянутся мимо, уверенные, самодостаточные и никогда не видящие меня, они настоящие? Они одушевлённые, на самом деле? или просто приятная скульптура, залитые солнцем лица облаков?

И: «Да как мне любить их?»

Но ответа нет от Блисеро. Его глаза продолжают рассыпать руны с силуэтами ветряных мельниц. Несколько подброшенных сцен промелькивают сейчас у Танаца. От Прапорщика Моритури: пол под листьями банана где-то возле Мабалакат на Филлипинах, конец 44-го, младенец выкручивается, катается, сучит ногами по каплям солнечного света, поднимая пыль с усыхающих листьев, а соединения для спец-атак с рёвом проносятся над головой, Зиро уносят товарищей прочь, наконец, как опадающий вишнёвый цвет—этот излюбленный образ Камикадзе—по весне… От Греты Эрдман: мир под поверхностью Земли или грязи—он расползается как грязь, но плачет как Земля, с запрессованными в слоя поколениями притяжений и потерями в них—потерями, провалами, последними мигами, а следом пустоты от судорог вернуться, серии герметичных пещер захваченных удушенными слоями, теми утраченными навсегда… от кого-то, от кто знает кого? Промельк Бианки в тонком ситцевом платье, одна рука отведена назад, гладко пудренная впадинка подмышки и выпрыгнувший лук одной маленькой грудки, её опущенное лицо, всего только лоб и скула в тени, повёрнуты так, теперь её ресницы, которые ты молил подняться… увидит ли тебя? приостановлено навечно на краю сомнения, этого нескончаемого сомнения в её любви—

Они помогут ему разобраться. *Erdschweinhöhlers* будут сидеть всю ночь на этом безостановочном инфо-брифинге. Он ангел, на которого они надеялись и очень логично, что он явился именно сейчас, в день когда вся их Ракета собрана, их единственная А4 собиравшаяся всё лето кусок за кусочком по всей Зоне от Польши до Нижних Земель. Веришь ты в это или нет, Пустой или Зелёный, опизденелый или хранящий политический целибат, у тебя есть чувство—подозрение, подспудное желание, какая-то скрытая десятина от твоей души, что-то—к Ракете. Это то самое «что-то», которое сейчас проясняет Ангел Танац, каждому по-своему, для всех слушающих.

Ко времени, когда он умолкнет, они все будут знать чем являлся Schwarzgerät, как применялся, откуда запускалась 00000, и куда она была нацелена. Тирлич угрюмо улыбнётся и со стоном подымется на ноги, решение для него уже принято несколько часов назад, и скажет: «Ну что ж, составим расписание». Его *Erdschweinhöhle* соперик, Пустой Джозеф Омбинди, хватает его за предплечье — «Если мы чем-то можем...» Тирлич кивает: «Продумай для нас план надёжной охраны, ’куранде». Он не называл так Омбинди уже довольно давно. И это немалая уступка, дать Пустым составление списков охраны, по крайней мере в продолжении этого странствия…

… которое уже началось, на полутора уровнях в глубину, мужчины и женщины заняты блоками, стропами, и пакуют каждую из секций ракеты на её каталку. Ещё больше *Schwarzkommando* ожидают в коже и комбинезонах среди автомобилей у пандусов ведущих наружу, вдоль нынешних и последующих векторов натяжения по дереву настилов и желобов, Пустые, Нейтральные и Зелёные, сейчас все вместе, ждут или тянут, или присматривают, некоторые разговаривают в первый раз с тех пор, как началось разделение по линиям жизни расы или вымирания расы много лет назад, примирились, пока что ради единственного Случая, что мог ещё сблизить их (я не смог, думает Тирлич и содрогается перед тем, что случится, когда это закончится—но возможно то продлится лишь для заполнения своей частицы дня, а почему бы и не хватило? постарайся чтоб стало достаточным…).

Кристиан проходит мимо вниз, подтягивая армейский ремень, не слишком ерепенится—прошлой ночью его сестра Мария приходила к нему во сне сказать, что она не хочет мести никому, а хочет, чтобы он верил и любил Нгуарарореру—так что сейчас их глаза встречаются не совсем радостно, но всё же и без вызова, но зная, что вместе их больше, чем были до сих пор, и рука Кристиана в момент прохождения вздёргивается наполовину козырнуть, наполовину отметить торжество, направленное в Хит, северо-западнее, в Царство-Пути-к-Смерти, а Тирлич отвечает тем же, ийа, ’куранде! когда, в какой-то миг две ладони таки проскальзывают слегка, таки касаются, и этого прикосновения и доверия достаточно, пока что...

* * * * * * *

Нежданно-негаданно, эта страна приятна, да, когда втянешься, вполне даже приятна, вообще-то. Даже хотя тут есть и негодяй, опасный смертельно. Такой типичный для Американского подростка собственный Отец, что раз за разом пытается убить своего сына. И паренёк об этом знает. Представьте себе. Пока что, ему удаётся избегать ежедневные покушеньица папани—но никто ж не сказал, что так и будет избегать.

Он весёлый и достаточно смелый парнишка, и ничего такого не держит против отца в частности. Тот старый Саймон просто убийственный дурак, чёрт побери, что он ещё отмочит?

Тут, это гигантский завод-государство, Город Будущего полный предсказанных в 1930-е покатых фасадов и опоясанных балконами небоскрёбов, стройных хромовых кариатид в короткой стрижке, классных летательных аппаратов всяческого вида, снующих сквозь гул и тишь городских ущелий, золотистые красотки загорают на крышах-садах и оборачиваются помахать, когда проходишь. Это Ракетен-Штадт..

Далеко внизу, тысячи детей бегают по дворам полным ветра и по переходам, вверх и вниз по лестничным маршам, тюбетейки на их головах с пластиковыми пропеллерами, что трещат и вращаются неясным ореолом, дети бегают как посыльные среди пластмассовой растительности в и из мягкопластиковых офисов —Вот сообщение тебе, Тайрон, отправляйся на поиски Светлой Минутки (Ни хрена! Даже не знал, что она пропала! Похоже старик Папаша опять за свои фокусы!) так что ходу в толчею коридоров, где полно резвящихся собак, велосипедов, катят симпатичные девчонки-секретарши на роликовых коньках, лотки с колёсиками, вечный водоворот шапок-бини под лампами, дуэли на пистонных или водяных пистолетах на каждом углу, ребятишки укрываются за искрящимися фонтанами ОПА! а это настоящий уже пистолет, тут настоящая пуля зинннггг! Неплохая попытка Папаша, но ты не такой проворный как Паренёк сегодня!

Вперёд, на выручку Светлой Минутки, которую выдернули из ежесуточных 1440 коллеги Отца, для своих зловещих целей. Тут передвижение становится сложнее —система движущихся зданий, под прямыми углами, вдоль прорезей сети улиц Ракетен-Штадта, ты можешь также поднять или опустить само здание, на дюжину этажей в секунду, до нужных высот или ярусов под землёй, как капитан подлодки свой перископ—хотя некоторые проезды тебе недоступны. Они доступны для других, а тебе нет. Шахматы. Твоя цель не Король—тут нет Короля—а задачи данного момента, как, например, Светлая Минутка.

Бинг вскакивает пацан в вертящейся бини, вручает Слотропу ещё сообщение и уматывает прочь. «Светлую Минутку держат в плену, если хочешь увидеть её при демонстрации всем заинтересованным клиентам, явись по этому адресу в 11:30.»—в небе как раз проплывает белый циферблат, хмм всего полчаса на сборы моей спасательной команды. В составе команды будет Мёртл Чудотворица, что влетает сюда в бордовом платье с подложенными плечами,

кудряшки всё ещё торчком в её волосах и недовольная хмурость, что вытащили её из Страны Дремли… затем Негр в жемчужно-сером зуте и в Макинтоше, по имени Максимилиан, прилизанная в стоячий квадрат причёска «каре» и тонюсенькие усики выныривают прямиком с его рабочего места «для прикрытия», шикарный менеджер Клуба Угабуга где аристократия с Бикон-Стрит трётся плечами кажну' ночь с пропойцами и нарколыгами Роксбери, а приве' Тайрон, вота я, приве' Мёрли беби, приве' приве' приве'. Чё за спех, мэн? Поправляет свою гвоздику, окидывает взглядом комнату вкруговую, все теперь тут, кроме того Марселя, но слышь! знакомая тема музыкальной шкатулки, да, та старомодная музыка Стивена Фостера и, конечно же, через окно балкона теперь является Марсель, механический шахматист времён Второй Империи, фактически изготовленный для великого фокусника Роберт-Худин, очень серьёзного вида Французский ребёнок-беженец, забавная причёска с ушами в превосходной окантовке волос, что начинаются с чётким отступом на полсантиметра голой пластиковой кожи, волосы чёрной ваксы, очки в роговой оправе, довольно замкнутая манера, к сожалению, чересчур буквалист с людьми (представь что произошло в первый раз, как Максимилиан заявляется с его приве'-ка'-ту'-без-м'ня в дверях, крутит воздух на пальце видит метал-эбонито-пласмассового юного Марселя, что сидит тут над красотками в журнале и говорит: «Эй, мэн, да' мне чуток кожи, мэн!» ну так Марсель не только задолбал его по полной насчёт кожи, кожи во всех её смыслах, о нет это лишь поверхностно, затем вот вам протяжённый трактат относительно понятия «давать», и тот не скоро кончился, а в заключение начинает выдавать по теме «Мэн». Со всеобъемлющим подходом. Фактически, Марсель всё ещё и близко её не закончил.) Однако, его тщательно изготовленные мозги 19-го столетия—уровень человеческого мастерства необходимый для чего-то подобного давно утрачен, утрачен как птица додо—здорово пригождались Бухты-Барахтной Четвёрке во многих, очень многих раундах с Отеческой Угрозой.

Но где внутри Марселя карлик Гроссмейстер, крохотный Иоган Алгайер? Где пантограф и магниты? Нигде. Марсель на самом деле механический шахматист. Ни малейшей внутренней подделки для придания ему хоть какого-то штриха человечности вообще. Каждый в ББЧ, фактически, одарён и вместе с тем сдвинут своим даром—непригоден для человеческой жизни. Мёртл Чудотворица специализируется на сотворении чудес. Ошеломляющие деяния, непосильные людям. Она утратила своё уважение к ним, люди неуклюжи, они подводят, она очень хочет их любить, но любовь единственное непосильное ей чудо. Любовь для неё недоступна вовеки. Другие, такого же уровня как она, становятся гомосексуалистами, фанатиками закона и порядка, отправляются в странные религиозные экскурсии либо так же нетерпимы к недостаткам как и сама она, и хотя её подруги, такие как Мэри Чудо или Чудо Женщина постоянно приглашают её на вечеринки встретить подходящего мужчину, Мёртл знает что это бестолку… Что до Максимилиана, у него природное чувство ритма, имеется ввиду какие только есть, всех ритмов, вплоть до и включая космические. Так что он никогда не сунется туда, где поджидает бездонная западня, где сверху со свистом падает сейф, завывая как авиабомба—он лоцман через самые опасные минные поля Земли, если только держаться к нему поближе, находиться там где и он, по мере

возможности—Максимилиану никак не суждено подвергаться опасности выходящей за рамки опрятности, за пределы первого бегущий по коже холодка...

Такая вот отличная команда готовятся выступить за Светлой—что говоришь? какой такой у Слотропа особый дар и Фатальный Недостаток? О, д' брось—э, за Светлой Минуткой, собирают своё снаряжение, Мёртл мечется туда-сюда, материализует то да сё:

Мост Золотые Ворота («Ну, как, подойдёт?»– «Э, давай посмотрим тот, опять, а? С теми, знаешь э...»– «Бруклинский?»– что-то вроде старомодного переглядывания,– «Бруклинский Мост?»– «Да, тот самый, с такими торчащими… как там их...»)

Бруклинский Мост («Понимаешь, для сцены погони, Мёртл, нам следует соблюдать пропорции...»– «Да, расскажи, ещё ты мне расскажи»: «Вот если б мы были на гоночных авто, тогда, конечно, Золотые Ворота подошёл бы… но гнать по воздуху нам понадобиться что-то более старое, поинтимней, что ли, человечнее...»)

Пара изысканно элегантных Ролс-Ройсов («Хватит дурачиться, Мёртл, мы уже договорились, правда же? Никаких автомобилей...»)

Пластмассовый самокатик для малышей («О хорошо, я знаю, что ты не уважаешь меня как лидера, но послушай, может всё же будем посерьёзнее...»)

Чему уж тут удивляться, что трудно быть уверенным в этих идиотах в момент их ежедневных выходов на противоборство с Пагубным Папашей? Тут никакого прямого подчинения, ни линий власти, ни сотрудничества. Решения никогда, по сути, не принимаются—в лучшем случае возникают из хаоса досад, причуд, галлюцинаций и всестороннего дурачества. Это не бойцовская команда, а скорее гнездо раздражений, тяжб, капризов и обид, не такая уж редкая жар-птица на общем фоне. Её выживание, как ни крути, скорей всего лишь бормотанье слепой фортуны выщупывающей путь в тяжкой мраморности небес одной Ночи Титаника за другою. Вот почему теперь Слотроп оглядывает свою коалицию с надеждами на успех и упованьями на провал в примерно равной мере(и нет, это не переходит в наплевательскую апатию—это создаёт колючий диссонанс, что топорщится в тебе как острые ножи). Его и впрямь уже достала такая собственная несобранность, настолько абсолютная неспособность принять одну сторону или другую. Из Тех, кого старинные Пуританские проповеди обличали как «ни нашим, ни вашим, но полны нареканий», тащиться путём потруднее лишь потому, что не доходит, ещё не означает, что это неправильно! Подспудная энергия настолько же реальна, так же неотступна и неотвратима, как и вырвавшаяся на волю. Когда ты в последний раз чувствовал себя нестерпимо вялым? а? Ни-вашим-ни-нашим такие же люди, как герои и злодеи. А вот возьми, прямо сейчас, где и кто бы ты ни был, городской прохиндей или деревенщина, нежишься ли в постели или трясёшься в автобусе, просто повернись к соседнему Ни-вашим-Ни-нашим, хотя бы даже к собственному отражению в зеркале и… просто… запой,

Как ты приятель, как ты сосед?

Трудно же—признайся, дай честный ответ—

Жить день-за-днём и молчать,

Ни улыбнуться кому-то, ни слова поддержки сказать?

Скажу тебе прямо, друг,

Всё может рухнуть вокруг—

Пока мы рядом в пути,

Поможем друг другу идти.

И может светлее стать!

Если вместе шагать!

Пока 4 снаряжается, голоса продолжают петь какое-то время, в зависимости от того кому насколько не пофиг в этот момент—Мёртл предоставляет щедрый обзор изящной ножки, а Максимилиан заглядывает под юбки тараторящей цыпочки, вызывая своими замечаниями смущённое хихиканье Марселя, который, возможно, чуть подавлен.

– Теперь,– Слотроп с дурацкой, хочу-быть-приятным улыбкой,– время для Паузы Освежаузы!– и он уже в холодильнике, прежде чем эхо от «О, Иисусе» Мёртл успело отзвучать… свет холодной крохотной лампочки оборачивает его лицо в летне-синий, теневое чадо Саймона и Нэйлин, их неисповедимый, их чудовищный сынок, который родился с гидравлическими клещами вместо рук и знает только тянуть и хватать… и с сердцем, что слышно как булькает, словно брюхо толстого шутника… но посмотри какое у него растерянное, какое неспокойное лицо только что было, в те 1½ секунды мерцания старого общительного холодильника, что гундит на Рефрижераторно-Бостонском диалекте, «Да-давай, Тайран, заваливай, тута харашо и уютна в маём живате, стока вкусняшак, как та Мавкси али та Бэби Рат...», бродит теперь среди головокружительно глубинных полок и продуктовых гор или продуктовых городов Хладолэнда (но осторожней, может проскочить и явно Фашистский тут, за расцвечено конфетной массой, термодинамический элитаризм в своей чистейшей форме—лампочки могут смениться свечами, а радиоприёмники умолкнуть, но основная функция Сети в данной Системе холодильничная: замораживать обратно беспорядочные циклы дня, чтобы хранить этот мирок без запаха, этот куб неизменности), взбирается на кряжи петрушки, где стакашки из сыра высятся, лоснясь, на средней удалённости, поскальзывается на блюде с маслом, вжирается в арбуз до кожуры, чувствует себя жёлтым и ярким, пока ты чуть не задел бананы, заглядевшись вниз на проступившую прозелень плесени в покрытой коркой территории старой, уже больше не опознаваемой, кастрюли—бананы! кто-кто положил бананы—

В-мор о зил-ку!

О нет-нет-нет, нет-нет-нет!

Чиквити Банана грит так нельзя! Случится ужасное что-то! Кто мог такое сделать? Не может быть что Мама, а Хоган влюблён в Чиквиту Банану, Тайрон не раз, заходя в комнату заставал своего брата с банановой наклейкой прилепленной на его вздроченный хуй, для проверки рекламы, заблудшим в мастурбационных грёзах, где он пялит эту привлекательную хоть и староватую Латинскую дамочку пока на ней её шляпа, громадная фруктово-рыночная шляпа и широкая вызывающая улыбка ¡Ай, ай, эти янки такие страстные!… а и это не мог быть Папаша, нет Папаша не стал бы, но если это (тут что-то холоднее стало?) никто из нас, тогда (что не так с пластинкой Спайка Джонса «Прямо Фюреру в морду», что играла в нашей гостиной, звук пропадает как-то)… если только я не переложил по невнимательности (глянь назад, что-то поскрипывает на петлях), то может это значит, что я схожу с ума (с чего так разгорается лампочка, что за—) ШАРАХ ну кто бы то ни был, что так нагло пренебрегает Юнайтед Фруктовской радиорекламой, он, к тому же, только что запер Тайрона в холодильнике и теперь ему приходится рассчитывать лишь на выручку Мёртл. Вот же стыдобище.

– Хорошо пристроился, босс.

– Салют, Мёртл, сам не знаю что случилось…

– А когда ты знал? Хватайся за мою накидку.

Вжиик—

– Уфф. Ладно, грит Слотроп,– э, так мы всё…

– Та Светлая Минутка возможно уже за несколько световых лет отсюда,– грит Мёртл,– а у тебя сопля висит сосулькой и́з носу.– Марсель подскакивает к консоли управления мобильным зданием, настукивает в Центральный Надзор запрос на допуск движения во всех направлениях на полной скорости, который иногда дают, а иногда нет, в зависимости от скрытого процесса среди заведующих разрешениями, тот процесс одно из предстоящих поручений 4-ке раскрыть и огласить всему миру. На этот раз они получают Медленное переползание в Загородном Направлении, предельно низкий статус движения в Ракетен-Штадте, выдававшийся всего лишь раз в задокументированной истории, против гомосексуального детоубийцы Индейца, тот после этого любил ещё обтирать свой орган Флагом и так далее—«Блядь!»– вопит Максимилиан Слотропу,– «Медленное Переползание, Загородное Направление! Чё за хуйня, мы типа плывём этта или блядь как?»

– Ээ, Мёртл,– Слотроп подкатывает к МЧ в её золотом ободке малость заискивающе,– э, как ты считаешь, ты могла бы... –Исусе, у них всякий раз прогон одной и всё той же этой рутины—до чего ж Мёртл охота, чтоб Слотроп заткнул это пустое сюсюканье и был бы хоть раз мужчиной! Она закуривает сигарету, попускает ту свесится из уголка рта, подбоченивается в бедро с другого бока и вздыхает: «Да ясно»,– просто зла уже не хватает с этим мудилой—

И Los! чудо сотворилось, они уже мчатся по коридоро-улицам Ракетен-Штадта подобно длинношеему морскому чудовищу. Малышня копошатся как мурашки на паутинных виадуках в вышине ниспадающего камня, город, словно Испанский мох окаменевший на полдороге, малыши перескакивают ажурные перила и на дружескую спину лоснящегося чудовища в круизе по городу. Они вскарабкиваются из окна на окно, слишком полные ловкой грации, чтоб когда-либо свалиться. Некоторые из них, разумеется, шпионы: та крошечка-хорошечка с медовыми кудряшками, в синем фартучке в клеточку и в синих гольфах, там наверху возле водостока у окна, подслушивает Максимилиана, который принялся пить как не в себя, едва лишь здание пришло в движение и сейчас разливается в бесконечном обличении Марселя, маскируясь утончённо академическим определением возможности наличия в Галльском Гении «души» на самом деле. Юная дама под водостоком стенографирует всю эту хрень. Весьма ценные данные для ведения психологической войны.

В первый раз сейчас становится ясно, что 4 и Отеческий заговор не полностью заполняют свой мир. Их борьба не единственная, и даже не окончательная. Действительно, здесь не только много других противостояний, но здесь имеются также и зрители, следящие, как и всякие зрители, сотни тысяч их тут, сидящих вокруг в этом сомнительном жёлтом амфитеатре, сиденье за сиденьем в ниспадающих рядах, ярусах бесконечных миль, вниз к огромной арене, коричнево-жёлтым огням, еда рассыпана по каменным склонам повыше, разломленные булочки, арахисовая скорлупа, кости, бутылки до половины с зелёной и оранжевой сладостью, костры в закоулочках без ветра, где сиденья были вырублены прочь, мелкие углубления в камне и слой вишнёвых угольев, на которых старухи готовят хлёбово из подобранных огрызков и крошек и хрящеватых кусков еды, разваривая в сером бульканье маслянистой воды, покуда лица детей теснятся кругом в ожидании пищи, а на ветру тёмный молодчик, молодой резак, который подкарауливает твою девушку за железными воротами по Воскресеньям, который увозит её в парк, авто чужака и разновидность любви, которую ты никогда и представить не сможешь, стоит сейчас с волосами встрёпанными ветром, голова отвёрнута от костра, чувствует холод, холод горных вершин, своими висками и высоко под челюстью… пока у других костров женщины болтают, а какая-нибудь одна, время от времени, наклоняется взглянуть за мили вниз на сцену, не начался ли ещё там новый эпизод—толпы студентов сбегаются, тёмные как во́роны, в наброшенных на плечи пиджаках, назад в сумеречный сектор сидений, куда традиционно не заходят никогда (зарезервированы для Предков), их голоса сбавляют громкость, но всё же очень напряжены, драматичны, стараются звучать хорошо, или по крайней мере приемлемо. Женщины всё так же заняты, играют в карты, курят, едят. Сходи одолжить одеяло у Розы возле того костра, сегодня ночью будет холодно. Эй—и пачку Армейских, пока там—и сразу же обратно, слышишь? Конечно же, сигаретным автоматом оказывается Марсель, кто же ещё, в одном из его маскировочных механических прикидов, а в одной из пачек послание одному из зрителей. «Я уверен, что вам ни к чему чтобы Они узнали про лето 1945. Увидимся в Туалете Мужских Трасвеститов, уровень L16/39C, станция Метатрон, сектор Огонь, секция Неклюж. Время сам знаешь. Тот же час. Не опаздывать».

Это ещё что? Что тут антагонисты делают—просачиваются среди своих же зрителей? Ну вовсе нет, вообще-то. Это зрители кого-то ещё, на данный момент, а эти ежевечерние спектакли значительная часть жизни часов тёмной стороны в Ракетен-Штадте. Возможность каких-то парадоксов тут, на самом деле, много меньше, чем может показаться.

Максимилиан далеко внизу на дне оркестровой ямы, прикидывается музыкантом на альт-саксафоне, укомплектован Интеллектуальный Книгой для Сортира, Мудрость Великих Лётчиков-Камикадзе, с иллюстрациями от Волт Дисней—визжащие, волосо-носые, передние зубы враскорячку, раскосые глаза (вытянутой, тщательно закруглённой формы), курносые чёрно-лакричные собачьи носы Япошек, взыкают чер'з кажд' страницу! и всякий раз как у него пауза в игре на том саксофоне, можете не сомневаться, что Максимилиан будет, с точки зрения обычного зрителя, поглощён этим рассеянным, хотя и полезным, произведением. Мёртл тем временем вернулась в леденцовый отсек управления, следит за распределительным щитом и готова к резкому виражу в любую минуту спасти остальных, которые наверняка (по их собственной безалаберности и больше ничего) уже опять вляпались в глубокую проблему. А сам Слотроп выжидает в Туалете Трансвеститов, в дыму, в толпе, в стрекоте флуоресцентных ламп, моча горяча, как кипящее масло, подмечает весь шахер-махер ведущийся среди загородок, унитазов и писсуаров (ты должен смотреться сучарой, но не той сучарой, а ещё не вздумай козырять пушкой на собирушках, больше чем на десять марок никто не спустит, а единственный бонус от неё такой: пустить кровь с первой попытки, за что накинут ещё 20—) думает дошло ли сообщение в пачке сигарет и явятся ли они лично или Папаша подошлёт убийцу в попытке нокаута в первом же раунде.

Ну в этом-то вся суть: монументально жёлтое строение, в той трущобно-пригородной ночи, неусыпная фильтрация жизни и предприимчивости сквозь его скорлупу, Наружность и Нутро взаимопронизываются друг другом слишком скоро, слишком тонко залабиринчены для каждой из двух категорий, чтобы не чересчур гегемонилась. Безостановочное ревю пересекает свою сцену, уплотняясь и редея, изумляя и вызывая слезу на глазах бесконечной протяжкой:

Прослушка на Низких Частотах

Германские подводные лодки на связь выходили на волне в 28 000 метров, что округляется примерно в 10 килоциклов. Высота антенны для половины такой волны должна составлять 9 км, либо иметь такую же длину, и даже если её перегнуть, тут и там, всё равно это ещё та антенна. Она расположена в Магдебурге, там же, где и штаб-квартира Германского филиала Свидетелей Иеговы. Так что, какое-то время, Слотроп вовсю пытался связаться с подлодкой анархистов из Аргентины, находившейся тогда в неизвестных водах. Зачем оно ему понадобилось уже и самому неясно. Возможно, его каким-то образом посетил Сквалидози или он однажды наткнулся на Сквалидози случайно, либо же при невнимательном перетряхивании своих карманов, тряпья или постели, обнаружил записку вручённую ему для передачи ещё на зелёной опушке Ариеса в Café

l'Éclipse, давным-давно в Женеве. Он знает лишь одно, что неотложный контакт со Сквалидози нужен ему позарез.

Смотрителем Антенны служит Свидетель Иеговы по фамилии Рохр. Он только что из лагеря Равенсбрюк, пробыв там с 36-го (или с 37-го, он уже не помнит). С подобным лагерным сроком он политически достаточно благонадёжен для местных представителей Большой 5-ки, чтобы приставить его, по ночам, для присмотра за эфиром самой длинной радиоволны в Зоне. Хоть это могло быть и чистой случайностью, но, вероятнее всего, некая эксцентричная справедливость с каких-то пор начала действовать тут, в чём Слотропу следовало бы разобраться. Ходят слухи о Трибунале Военных Преступлений проходящем в Нюрнберге. Ни один из услышанных Слотропом не ясен насчёт кто судит кого и за что, однако, не будем забывать, что это были мозги выполосканные антиобщественными и бездумными удовольствиями.

Так вот, единственно кто—если таковые вообще найдутся—способен выходить на связь в эти дни на 28 000 метрах (расстояние от Испытательной Платфоры VII в Пенемюнде до Хафенштрассе в Грайсфелде, где Слотроп в начале Августа мог увидеть определённый газетный снимок), помимо оголтелых Аргентинских анархистов, остаются неперековавшиеся Нацисты, всё ещё бродящие в неучтённых субмаринах и устраивающие свои трибуналы над изменниками Рейху. Так что ближайшее подобие раннему Христианину в Зоне приставлен к прослушиванию новостей о самочинных распинаниях.

– Прошлой ночью кто-то опять умирал,– рассказывает Рохр Слотропу,– не знаю, в Зоне он был или в море. Умолял о священнике. Может мне стоило включиться и сказать ему про священников? Принесло бы ему утешение это? Иногда всё болезненно так. Мы же стараемся быть Христианами...

– Мои старики были конгрегационалисты,– вставляет Слотроп,– как мне кажется.– Всё труднее становится вспомнить кого-либо из них двоих, Саймон преображается в Папашу Губителя, а Нэйлин в шшшхххгххх… (в кого? Что за слово-то было? Уж что бы там ни было, чем больше он старается, тем скорее оно ускользает).

Письмо Мамы Слотропа Послу Кеннеди

Ну приветули Джо как ты там. Слушай: Джу-зепе—мы запереживались про нашего младшего опять. Мог бы ты побеспокоить тех старых Лондонских знакомцев просто ещё разок? (Обещай!!) Даже если новость будет старая всё равно это хорошая новость для Папани и для меня. Я всё ещё помню что ты сказал когда пришло ужасное известие про торпедный катер, а ты ещё не знал что с Джеком. Об этом мечтает каждый родитель, Джек, как раз об этом.

О, и Хозей (ой-ой, не обращайте внимание, перо просто поскользнулось, как видите! Капризная Нэйлин на своём третьем мартини, позволим вам заметить).

Папаня и я слушали твою замечательную речь на заводе ДжиЭл на прошлой неделе. Ты в ударе, Мистер К! До чего верно! Мы должны модернизировать в Массачусетсе или будет всё хуже и хуже. У них голосование о забастовке тут на следующей неделе. Разве ВКТ создали не затем чтобы не допускать такого? Это не начало конца, нет, Джо? Иногда, ты знаешь эти чудные Бостонские Воскресения, когда небо над Горкой всё разломлено в облака как белый хлеб появляется из корочки, когда держишь в руках и разломишь... Ты же знаешь, правда? Золочёные облачка? Иногда, я думаю—ах, Джо, я думаю, что они куски Небесного Города и падают вниз. Извини—я не хотела этого стать такой печальной так сразу вдруг, это просто… но это же не начинает разваливаться, правда же нет, мой добрый друг по родительскому комитету Гарварда? Иногда просто не всё ясно, вот и всё. Иногда кажется, что всё против нас, и хотя потом оказывается всё хорошо в конце и мы можем всегда оглянуться и сказать, о конечно так и должно было случиться, а то бы то-то и то-то не случилось бы—и всё равно пока оно ещё случается, у меня в сердце держится этот ужасный страх, такая пустота, и очень трудно в такие времена верить в План где все начертания больше, чем я могу видеть...

О, ладно. Прочь ворчливые старые мысли! Пошли вон! Мартини Номер Четыре на подходе!

Джек, хороший мальчик. Правда, я люблю Джека как Хогана и Тайрона, просто как сына, моего собственного сына. Я даже люблю его как не люблю своих сыновей, ха-ха! (она квохчет) но я ведь нехорошая старая бэби, сам знаешь. Такие как я безнадёжны...

О Фразе «Назад Жопой»

– Кое-что я никогда не понимал в вашем языке, Янки хряк.– Кислота зовёт его «Янки хряк» уже целый день, шумная шутка, которую никак не бросит, часто сдерживаясь не дальше, чем «Янк—», перед тем как впасть в жуткий гнусавый чахоточный хрип смеха, выкашливая тревожаще верёвчатые сгустки множества цветов с мраморными прожилками—зелёный, например, зелень старой статуи в лиственных сумерках.

– Канешша,– отвечает Слотроп,– те ахота учить Аглиски, моя учить тя Аглиски. Спрашуй шо хошь, Капусник.– Это как раз тот вид широкого предложения услуг, из-за которого Слотроп вечно попадает впросак.

– Почему вы говорите про какой-нибудь облом—технику не так подключил, например, «назад жопой»? Я не могу понять этого. Жопа обычно и так сзади, верно? Вам следовало бы говорить «жопой наперёд», если имеешь ввиду зад не туда.

– Ух,– грит Слотроп.

– Это одна из многих Американских Загадок,– вздыхает Кислота,– которую мне хочется, чтоб мне разъяснили. Не ты, как видно.

У Кислоты до хренища жёлчи для придирок, вот так вот, к языку других людей. Однажды ночью, ещё когда он был форточником, ему невероятно пофартило вломиться в богатенькое гнёздышко Минны Хлэтш, астролога Гамбургской школы, которая, похоже из-за конгенитальности, не могла произносить, а и воспринимать даже, умлауты над гласными. В ту ночь она как раз откидывалась по причине того, что оказалось бы передозировкой Хиропона, когда Кислота, который в те дни был кудрявым и симпатичным парнем, обломал ей пушнину в её собственной спальне, наложив руку на шахматного коня слоновой кости с саркастичной усмешкой на морде, а внутри полно хорошего неочищенного кокаина из Перу, всё ещё вперемешку с Землёй— «Не вздумай звать на помощь»,– советует Кислота, выдёргивая свою фальшивую бутылочку,– «или это хорошенькое личико сползёт со своих костей как ванильный пудинг». Но Минни раскусила его блеф и начинает сзывать на помощь всех дамочек того же возраста в её здании, которые чувствуют такое же материнское помогите-помогите-но-только-дайте-ему-время-изнасиловать-меня раздвоение чувств относительно взломщиков достигших брачного возраста. Она хочет орать «*Hübsch Räuber! Hübsch Räuber!*» что означает «Красавчик грабитель! Красавчик грабитель!», но она не может выговорить тех умлаутов. Так что получается «*Hubschrauber! Hubschrauber!*», а это уже «Вертолёт! Вертолёт!», ну это 1920-е, и никто в пределах звукодосягаемости даже понятия не имеет что это слово вообще значит, Верти в лёд? что за—никто, кроме одного кусающего пальцы параноидного студента аэродинамики, далеко во дворе многоквартирного дома, который слышит крик посреди Берлинской ночи, под бряк трамваев, стрельбу из ружей в другом квартале, новичка обучающегося сыграть на губной гармошке «*Deutschland, Deutschland Über Alles*» вот уже четыре часа кряду, раз за разом пропускает ноты, заёбывается с ритмом, с дыханием… *ü . . . berall... es... indie... ie…* потом долгая долгая-долгая пауза, ну давай уже, падла, найди её, ты сможешь—*Welt*, фальшиво, ах, тут же поправил… через всё это до него доносится крик *Hubschrauber*, верти-в-лёд, спираль штопора в пробку воздуха над вином Земли, всё ярче, да, он знает в точности—а может крик тот был пророчеством? предостережением (всё небо полно их, серые полицейские в дверях свесив луч-винтовки между ног под каждым винтящим штопором *мы видим тебя сверху* бежать некуда, это твой последний закоулок, твоё последнее убежище от торнадо) сидеть у себя и не вмешиваться? Он остаётся у себя и не вмешивается. Впоследствии он станет «Шпёри» из исповеди Ахтфадена перед *Schwarzkommando*. Но он не пошёл посмотреть о чём Минни орала в ту ночь. Она бы кончилась от передозировки без её приятеля Вимпе, активно-дельного продавца в IG занятого Восточной Территорией, который привеялся в город после того, как толкнул все свои образцы Онерина группе Американских туристов ищущих новых острых ощущений в холмах Трансильвании—это я, Liebchen, не знал, что так скоро обернусь—но тут он увидел распростёртое создание в атласе, прочёл размер зрачков и оттенок лица, тут же прошёл к своему кожаному саквояжу за стимулянтом и шприцем. Они, и ещё ванна полная льда, вернули её вспfive как положено.

– «Жопа» просто для усиления,– предлагает теперь Моряк Бодвайн,– говорят же «пьяный в жопу», «тупой в жопу»—ну когда что-то очень не так, по аналогии говоришь «назад жопой».

– Но «назад жопой» с усилением становится «назад жопой в жопу»,– возражает Кислота.

– Но зато не делает «жопой наперёд»,– моргает Бодайн с неподдельно дрогнувшим голосом, как будто кто-то замахнулся его ударить—вообще-то это малость для личной потехи задорного морехода, такая вот имитация Вильяма Бендикса. Пусть другие подделываются под Кегни и Кери Гранта, Бодайн специализируется на ролях второго плана, он может в совершенстве выдавать Артура Кеннеди-в-роли-младшего-брата-Кегни, каково, а? Или Сэма Джаффе, верного Индийского носильщика воды для Кери Гранта. Он безукоризненно служит во флоте жизни и это распространяется на имитацию поддельных фильмо-жизней чужаков.

Кислота тем временем погрузился в нечто как у тех исполнителей-солистов на каком-нибудь инструменте или пробует, учится методом проб и ошибок, сейчас вот ии-ии-оо-оо-вит во всю, в виде какой-то гипотетичной одарённости играющей свою собственную каденцию из редко исполнявшегося скрипичного концерта Россини (op. posth.), и заодно доводит весь дом до безумия. Однажды утром Труди просто топнула ногой и ушла под групповой прыжок 82-й Десантной над завоёванным городом, миллион пушистых парашютов в небе, падали медленно как белый пепел вслед вокруг силуэта её прощального топанья. «Он из меня чокнутую делает!» «Привет, Труди, ты куда?» «Да говорю же—чокнутую!», и не подумайте, что этот гнусный старый взбудораженный торчок её не любит, потому что любит, и не подумайте, что он не молится, не пишет свои желания старательно на папиросной бумаге, не заворачивает в неё свою самую улётную шмаль и выкуривает до ожога на губе, такова нарко-версия загадывать желание по вечерней звезде, надеясь сердцем, что это у неё просто очередной взбрык, пожалуйста, всего лишь взбрык, пусть пройдёт в течение суток, просто ещё только раз, пишет он на каждом косяке на сон грядущий, и всё, я больше не попрошу, буду стараться сдерживаться, ты меня знаешь, не суди слишком строго, пожалуйста… но сколько таких взбрыков может ещё быть? Один из них станет последним. Всё так же продолжает он ии-ии-оо-оо-вничать с Россини, лучась своим гнусным, тощим, живущим-на-самом-краю улично-долголетием доходяги, нет, он, похоже, не может остановиться, это привычка старика, он ненавидит себя, но это просто на него находит, как ни пытался бы уделять внимание этой проблеме, он не может не срываться обратно в чарующую каденцию... Моряк Бодвайн понимает, и он пытается помочь. В виде подходящей помехи он скомпоновал свою собственную контр-каденцию, на манер тех других поп-мелодий с классически крутыми названиями 1945-го («Моя прелюдия к Поцелую», «Симфония многоэтажки»)—при каждом удобном случае, Бодвайн станет напевать её еженедельным новосёлам, Лалли, только что прибывший из Любека, Сандра убежавшая с Кляйнбургерштрассе и, тут как тут, негодник Бодайн со своей гитарой, выруливает следом, вихляя тазовою костью по коридору за каждым

непослушным уклонистом, каждому представлена небольшая сексо-хулиганская грёза о плоти, поёт и выдаёт переборы трогательного исполнения каденции:

Моя Каденция Торчка

Когда слышишь, что «коробка» звенит,

Каждая струна о страсти говорит,

Знай это МОЯ КАДЕНЦИЯ ТОРЧКА-А-А-А-А!

Мелодия крутая такая,

Откуда берётся, я не знаю

(х-ха!) Это просто МОЯ КАДЕНЦИЯ ТОРЧКА(А)-А-А-А-А!

[пошла "каденционная" часть]

Хоть нету в ней изысканности старика Россини,

[звучит отрывок из *La Gazza Ladra* тут]

Не так возвышена как Бах, Брамс иль Бетховен

(бу-бу-буб-бу[уу]

уу [пропето на вступление 5-й симфонии Бетховена в исполнении полного оркестра]

Но я отдал бы славу сотни Гарри Джеймс

... погоди-ка, славу? сотен Джеймс? Джеймсов…

... э… сотню слав? Хмм…

[скерццозо]

И-и-и-е сли песен-ка тебя-в-мои объятья приве-дёт

Дум де дум, де-дум де ди,

Счастье ждёт нас впереди,

Тому порукою МОЯ КАДЕНЦИЯ ТОРЧКАААА!

Сейчас этот жилой комплекс называют *Der Platz*, и он заселён полностью, аж до центрального двора, дружками Кислоты. Всё неожиданно переменилось—намного больше растительной жизни вроде стало произрастать в грязи комплекса, хитроумная система обструганных вручную светопроводов и зеркал день-деньской пересылают свет солнца, впервые тут вообще, вглубь, в эти задние дворы, открывая цвета невиданные прежде… имеется также поливочная конструкция, направлять дождь по желобам, воронкам, брызго-отражателям, водяным колёсам, патрубкам и водосливам создающим систему рек и водопадов для игр в летний период… оставшиеся комнаты, что всё ещё могут запираться

изнутри, отведены затворникам, фетишистам, заплутавшим приблудам из оккупации снаружи, которые нуждаются в одиночестве, как наркоман в своём наркотике… и раз уж зашла речь, повсюду в комплексе можешь встретить останки заначек армейской наркоты любого вида, от подвалов до мансард этажи усеяны проволочными колечками и пластиковыми крышечками от одноразовых сиретт на ½ грана тартрата морфина, тюбики выдавлены насухо, разбитые ампулы амилнитрита от комплектов противогазных масок, защитного цвета жестянки из-под бензедрина… ведутся работы по сооружению противо-полицейского водного рва вокруг всего комплекса: чтобы не привлекать внимания, этот ров является первым в истории, который копают изнутри наружу, пространство непосредственно под Якобиштрассе медленно, параноидально, потрошится-выпоражнивается, вылепливается, подзакрепливается под тонкой корой улицы, чтобы случайный трамвай не пошёл на непредвиденное расписанием погружение —хотя подобный случай известен, посреди ночи, с внутренним освещением под потолком тепловатого цвета, как пустой бульон, меж отдалённых окраинных остановок, долгие проезды вдоль неосвещённого парка или гулких ограждений длинных складов, вдруг словно рот раскрытый сказать «ёбтвою» асфальт распахивается и ты внизу в каком-то протекающем параноидном рву, ночная смена уставились огромно-круглыми глазами коренных граждан подземелья, занятые не так тобою лично, как жгучей проблемой принятия решения: настоящий ли это автобус, или эти «пассажиры» переодетые лягаши, в общем, это деликатное дело, весьма даже.

Где-то в Der Platz сейчас, ранним утром, чей-то двухлеток, малыш упитанный как поросёнок-сосунок, только что научился слову Sonnenschein.

– Сонцесвет,– грит кроха и показывает.– Сонцесвет,– бежит в соседнюю комнату.

– Сонцесвет,– каркает спросонья чей-то взрослый голос.

– Сонцесвет!– кричит малышонок, топоча прочь.

– Сонцесвет,– звучит улыбчиво-девичий голос, может его мамы.

– Сонцесвет!– ребёнок у окна, показывает ей, показывает любому другому, кто присмотрится, хорошенько.

Shit ’n’ Shinola

– Ну-ка,– грит Кислота,– вы мне растолкуйте Американское выражение Shit от Shinola.

– Это ещё что,– орёт Моряк Бодвайн,– задания мне давать надумал? Это какое-то Продлённое Изучение Американского Сленга или ещё какой-то shit? Отвечай мне, старый дурак,– схватив Кислоту за горло и за лацкан трясёт ассиметрично,– ты тоже один из Них, так что ль? Говори,– старый Тряпичный Энди у него в руках,

плохое утро с наплывом подозрений у обычно сдержанного Бодайна. «Стой. Стой».– хнычет изумлённый Кислота, изумление сменяется, то есть впрямую, хнычущим убеждением, что волосатый Американский мореход рехнулся...

Ну. Тебе случалось слышать выражение *Shit* от *Shinola*. Типа там: «А, да ты не отличишь Shit от Shinola в этом деле». Или: «Матрос—ты не отличаешь *Shit от Shinola!*»– и тебя посылают драить гальюн, или ещё похуже. Одно из предположений, что *Shit и Shinola* относятся к дико различным категориям. Тебе представится—наверное просто из-за того, что они пахнут так по разному—что *Shit и Shinola* никак не могут сосуществовать. Просто невозможно. Какой-нибудь посторонний в Английском языке, какой-нибудь Немецкий наркоман вроде Кислоты, не зная ни одного из этой пары слов, может принять «*Shit*» за юмористичное междометие, из тех, что адвокат в котелке, складывая бумаги, впихивая их в коричневый портфель, может обронить с улыбкой: «*Shit*, Герр Баммер»,– и он выходит из твоей камеры, лощёный ублюдок, навсегда… или же *Scchhit*! хряснула в карикатуре гильотина какого-то чёрного-с-белым политика, голова катит подгору, чёрточки изображают забавные, сферично круговоротные узорчики, пока ты думаешь да, так тебе и надо, да отчикнули, одним грызуном меньше, schitt ja! А насчёт *Shinola* обратимся к университетчикам, Францу Пёклеру, Курту Мондаугену, Берту Фибелю, Хорсту Ахтфадену и другим, их *Schein-Aula* лучится, в алебастровом стиле Альберта Шпеера, стадион на открытом воздухе с гигантскими хищными птицами из цемента в каждом углу, крылья вскинуты вперёд, укрывая под каждой крыло-тенью затаённое Германское лицо… при взгляде снаружи, Аудитория золотится, белое золото, в точности как у одного ландышевого лепестка под солнцем в 4 часа пополудни, безмятежна, на вершине небольшого, искусственно насыпанного холма. В ней есть талант, в этой С-виду-Аудитории, к возвышенному преподношению привлекательных профилей, перед благородными толпами, к внушению основательности, через повторы возвращений вёсен, надежд любви, таяния снега и льда, академически Воскресного покоя, запахов травы просто растёртой или срезанной, или позже превращающейся в сено… но внутри *Schein-Aula* всё синее и холодное, как небо над головой, как отпечаток через синюю копирку или же планетарий. Никто внутри не знает куда надо смотреть. Начнётся над нами? Там внизу? Позади нас? Посреди воздуха? и когда уже...

Но есть таки место, где *Shit и Shinola* сходятся воедино и это мужской туалет Бального зала Розаленд, откуда Слотроп отправился в своё путешествие через унитаз вниз, как представлено в Бумагах Св. Вероники (сохранившихся, загадочно, при великом разрушении этого госпиталя). *Shit*, в общем-то, того цвета, который белый народ боится больше всего. *Shit* это присутствие смерти, не какого-то абстракт-артного персонажа с косой, но околелого и гниющего трупа внутри тёплой и персональной, личной жопы белого человека, что придаёт крайнюю интимность. Вот зачем и нужен тот белый унитаз. Много ты видел коричневых унитазов? Фиг там, унитаз цвета надгробных камней, классических колонн мавзолеев, тот белый фарфор сама эмблема Лишённой Запаха и Официальной Смерти. Shinola, крем для обуви, как-то совпала с *Shit* по цвету. Чистильщик обуви Малькольм наяривает Shinola, отпахивая меру наказания

вынесенную белым человеком за грех оказаться рождённым такого же цвета, как Shit и Shinola. Приятно думать, что в одну из Субботних ночей, в одну этаже-трясную Линдипопную ночь Розеленда, Малькольм поднял глаза от туфлей какого-то Гарвардского паренька и перехватил взгляд Джека Кеннеди (сына Посла), в то время третьекурсника. Приятно думать, что у молодого Джека могла быть одна из тех Бессмертных Лампочек над головой—придержал ли Красный свою яростную бархотку на какой-то микрон бита, на достаточную щёлку в том муаре, чтобы белый Джек увидел сквозь, не сквозь неё, а поверх неё сквозь блеск туфлей своего однокурсника Тайрона Слотропа? Составлялись ли эти трое когда-то уже таким образом—воссевший, присевший, проходящий сквозь? Впоследствии Джек и Малькольм были убиты. Судьба Слотропа неясна. Может быть, Они удумали что-то другое для Слотропа.

Происшествие в Туалете Трансвеститов

Небольшой обезьян или орангутанг, держа что-то за спиной, заходит бочком, неприметно, среди в сеточку очулоченных ног, носков скатанных в кольцо ролика пониже лодыжки, молодёжных шапочек заткнутых в аквамарин искусственного шёлка кушаков на талиях. Наконец, он приближается к Слотропу, на котором парик блондинки и тот самый длинный волнистый прикид со скрещёнными лентами, что был на Фэй Рэй в её кинопробе сцены с Робертом Армстронгом на корабле (учитывая его случай в туалете Розаленда, Слотроп выбрал это платье не только из некоего подавленного желания нарваться на содомию, невообразимо, от чёрного гориллы великана, но также из спортивной невинности к Фэй, о которой он никогда не говорил, разве что показывал пальцем и шептал: «О, погляди...»—какая-то честность, отвага, чистота самого наряда, его широченные рукава, так что где ни прошвырнёшься видно где отирался…).

В тот первый миг, задолго до полёта:

Ущелье, динозавр (летающие кони

И челюсти разбиты вдрызг) шипящий змей,

Что на тебя напал в твоей пещере,

Птеродактиль либо паденье, нет—пронесло…

Пока висела там я, ночь и лес сливались вместе,

И полыхали факелы на стенах,

Висела в ожидании Явления из ночи,

Я тогда молилась не за Джека мешкавшего глупо

На палубе—о, нет. Я думала о Денхаме,

Лишь он, вооружённый камерой и пистолетом,

Прокрадывался с умудрённостью бродяги

По Земле Темнейшей, снимая всё подряд,

То камерой, то из пистолета—

Карл Денхам, режиссёр мой, мой незабвенный Карл…

Ах, укажи куда смотреть, шепни мне реплику...

Мы видели их под тысячью имён… «Грета Эрдман» всего лишь одно, этих дам, чья работа всегда покорно съёживаться в Ужасе… ну а дома после работы они засыпают, как и мы, и видят в снах убийц, заговоры против хороших, порядочных людей...

Примат приблизился к Слотропу, передаёт ему в руки то, что нёс йааггхх это круглый чёрный шар анархистской бомбы, вот это что такое, и бикфордов шнур уже горит... Обезьяна скачками бросается прочь. Слотроп всё так же просто стоит там, в скользких сырых залахах, его макияж начинает расплываться, оцепенение в глазах несомненно, как полированный мрамор, а губы стиснулись в тугой волдырь пчелиного укуса: ну-и-что-мне-на-хрен-теперь-делать? Он не может вымолвить ни слова, связной всё ещё не явился, а его голос выдаст его маскировку... Шнур горит, становясь всё короче. Слотроп озирается. Все писсуары заняты. Может просто сунуть шнур перед чьим-нибудь хуем, в струю мочи… уф, но если подумают, что я заигрываю или ещё чего-то там? Блин, иногда хочется, чтоб я не был таким нерешительным… м-может если я выберу кого-то слабее себя… но с другой стороны у недоростков рефлексы резче, не забывай—

Его избавил от нерешительности высокий, толстый, несколько Восточного вида, трансвестит, чей идеал, личный и киносценичный, скорее всего Маргарет О’Брайен. Этому Азиату как-то удаётся выглядеть грустным и с косичками даже когда он выхватывает у Слотропа шипящую бомбу, бегом уволакивает плюхнуть её в унитаз и спустить воду, возвращается к Слотропу и остальным с выражением гражданского долга исполненного как следует, когда вдруг—

КРАППАЛУУМА гремит грандиозный взрыв: вода взмётывается изумлённым зелёно-синим языком (когда-нибудь видел туалет орущий «Ой!»?) из всех и каждого покрытого крышкой унитаза, трубы сорвались и визжат, стены и пол содрогаются, штукатурка начинает осыпаться полумесяцами и пыльными полотнищами, а все тараторившие трансвеститы смолкают, тянутся притронуться к кому-нибудь рядом жестом, подготовить к Голосу из Репродуктора, огласившего:

– Это была натриевая бомба. Натрий взрывается при контакте с водой.– Значит шнур был уловкой, грязная крыса... – Вы были свидетелями кто бросил её в унитаз. Это опасный маньяк. Схвативший его, получит большое вознаграждение. Ваш клозет мог бы превратить вид Нормы Ширер в корзину для мусора из подвала глазной клиники Гимбела.

Тут они все они набросились на бедного протестующего фаната Маргарет О'Брайен, покуда Слотроп, которому унижение, а также (раз прибытие полиции всё больше и больше запаздывает) сексуальные издевательства и пытки всерьёз грозили (Ну ты мне ответишь, Папочка!), ускользает, развязывает, приближаясь к выходу, атласные тесёмки своего платья, неохотно сдёргивает, с намащенно-зализанной головы, сияющий парик невинности...

Реприза с Такеши и Ичизо, Комичными Камикадзе

Такеши высокий и толстый (но волосы не заплетает в косы как Маргарет О'Брайен), Ичизо невысокий и худой. Такеши пилотирует Зиро, Ичизо пилотирует Охку, это длинная бомба, вообще-то, с кабинкой, где сидит Ичизо, с короткими крыльями, ракетным двигателем и парой контрольных манометров позади. Такеши отзанимался в Школе Камикадзе две недели, на Формозе. Ичико пришлось учиться в школе Охка пилотажа шесть месяцев в Токио. Они так же несхожи, как арахисовое масло и варенье. Нечестно спрашивать кто из них кто.

Их всего лишь двое Камикадзе на этой авиабазе, которая довольно удалённая на самом деле, на острове, который мало кого, честное слово, уже заботит. Сражения ведутся на Лейте… потом на Айто Джива, продвигаясь к Окинаве, но всегда чересчур далеко, чтоб долететь отсюда до боя. Но у них есть приказ, и есть их ссылка. Не слишком много развлечений, кроме как бродить по пляжам в поисках дохлых остракод. Это такие рачки трёхглазые, формой как картошка и кошачьи усы с одного бока. Если высушить и измельчить, остракоды отличный источник света. Чтобы пыль засветилась в темноте, тебе надо просто воды добавить. Свет от них синий, странный синий с множеством оттенков—зелёный есть в нём, и есть индиго—на удивление холодный, полуночно синий. В безлунные или облачные ночи, Такеши и Ичизо снимают свою одежду и брызжут друг на друга Остракодным светом, бегают и хохочут под пальмовыми деревьями.

Каждое утро, иногда и вечером, Бесшабашные Друзья-Самоубийцы отправляются к покрытому листьями сарайчику с локатором, узнать не появились ли Американские цели, стоящие чтоб в них садануться, в пределах радиуса их полёта. Но всякий раз одна и та же история. Старый Кеношо, сдвинутый оператор радара, что постоянно гонит саке в помещении передатчика, а змеевик склепал из трубки магнетрона каким-то злостно-Японовским способом, который Западной науке не постичь, и всякий раз с приходом парней этот старый подлец-пропойца начинает квохтать: «Никак не помереть сегодня! Никак не повезёт вам помереть! Дико извиняюсь!» и показывает на пустой экран локатора, зелёные радиусы молча бегают круг за кругом по пустой сетке зелёного шампуня, ничего кроме моря не отражается дальше, чем можешь пролететь к роковой мандале, к которой рванулись бы два юных сердца, ни зелёного пятна авианосца в окружении чёрточек эсминцев, ничего… нет, каждое утро одно и то же—только белые буруны на волнах и старый истеричный Кеношо, который сейчас на полу захлёбывается слюной и языком, в своём Припадке, заранее предвкушаемая часть

каждодневного визита, каждый из приступов старается превзойти предыдущий, или по меньшей мере привнести новую деталь—заднее сальто, укус-другой за сине-жёлтые патентованные краги Такеши, импровизированное хайку:

Любимый сиганул в вулкан!

Там метра три,

И он потухший—

пока два пилота кривляются, хихикают и скачут вокруг, стараясь избежать брыканий седого старого локаторщика—что? Тебе не понравилось хайку. Прозвучало не слишком воздушно? Не Японисто вовсе? Фактически, смахивает на что-то прямиком из Голливуда? Ну Капитан—да-да, вы, Морской пехоты Капитан Эсберг из Пасадены—вы только что Магически Угадали! (ахи-охи и предварительные аплодисменты) и потому вы—становитесь нашим Параноиком… Дня! (оркестр грянул «Застегни своё пальто» или другим подходящим паранойно бодрящим маршем, пока изумлённый участник конкурса буквально вздёрнут на ноги и вытащен в проход этим Врачом из Комиссии с раскраснелым лицом и ходуном ходящей челюстью) Да, это кино! Ещё одна комедия положений Второй Мировой Войны и вам повезло узнать каково оно на самом деле, потому что вы—выиграли (барабанная дробь, ещё ахи с охами, аплодисменты усиливаются прорезаемые посвистами) бесплатное путешествие, в один, конец на одного, на реальное место съёмок, экзотический Пуки-хуки-луки-и Остров! (секция укулеле в оркестре подхватывает теперь звенящую репризу из той мелодии «Привет, Белый человек», что мы в последний раз прослушали в Лондоне обращённой к Гёза Рожевёгли) в гигантском ТВА Созвездии! Вы станете там ночи коротать, извлекая москитов из вашего собственного горла! Напрочь слепнуть в потоках тропического ливня! Вычерпывать крысиные какашки из бочки питьевой воды для военнослужащих! Но не одни же головокружительные ночные восторги, Капитан, потому что днём, с пяти утра ровно, вам предстоит ознакомление с Камикадзевым Зиро, который и будете пилотировать! Все рычаги и кнопки управления отсоединены, вам достаточно знать лишь где предохранитель бомбы! Аа-ии конечно же, держитесь подальше от этих двух Несмышлёных Япов, Такеши и Ичизо! пока они переживают свои шумные еженедельные приключения, явно забыв о вашем присутствии, и откровенно зловещей направленности распорядка вашего дня...

Улицы

Куски изоляции обвисли в утреннем тумане, вслед за ночью, когда луна словно сама по себе то прибавляла свет, то тускнела, потому что плывущий туман был таким ровным, таким едва различимым. Теперь, когда поднялся ветер, жёлтые искры рассыпаются, с треском гремучей змеи, с чёрных изношенных проводов на фоне неба, серого словно шляпа. Изоляторы зелёного стекла туманятся и слепнут днём. Деревянные столбы клонятся и пахнут преклонным возрастом: тридцать-с-чем-то-летняя древесина. Заляпанные дёгтем трансформаторы гудят поверху.

Похоже, днём и вправду будет полно дел. Поодаль тополя начинают проступать из дымки.

Наверно это была Земловер-Штрассе в Штралзунде. У окон одинаково растерзанный вид: нутро всех комнат выпотрошено до черноты. Возможно, появилась бомба способная взрывать только внутренности строений… нет... это было в Грайсвальде. По ту сторону мокрых рельсов железнодорожной ветки высились краны, надстройки, снасти, запах канала… Хафенштрассе в Грайсвальде, спиной вниз упала тень какой-то массивной церкви. Но разве это не Петритор, та невысокая кирпичная башня-арка над улицей идущей дальше… это могла быть Шлютерштрассе в старой части Ростока… или Вандфарберштрассе в Люнебурге, с блоками наверху кирпичных фронтонов, резные флюгера на самых маковках… почему он смотрел вверх? Вверх, из каждой пары десятков этих северных улиц, однажды утром, в тумане. Чем дальше к северу, тем проще всё становится. Одна сточная канава посреди улицы, чтобы сбегал дождь. Камни мостовой лежат ровнее и уже не так много попадается сигарет. В гарнизонных церквях эхо скворцов. Приходить в северный город Зоны это заход в незнакомую гавань, с моря, в туманный день.

Но в каждой из этих улиц какой-то остаток человечности, Земли, непременно встречается. Неважно, что было сделано с ней, неважно для чего использовалась...

Были люди, которые назывались «армейскими капелланами». Они проповедовали внутри каких-то из этих зданий. А ещё были солдаты, теперь уже мёртвые, которые сидели или стояли, и слушали. Удерживались, за что могли. Потом они выходили и некоторые из них умирали прежде, чем попадали в гарнизонную церковь снова. Церковники, работавшие на армию, стояли и толковали с людьми, которым уходить на смерть, про Бога, смерть, небытие, искупление, спасение. Такое вправду происходило. Это было вполне обычным.

Даже на улице использовавшейся для такого, иногда случался один раз, один раскрашенный день (невозможная угольная смола, оранжево-коричневая, чистая насквозь, или один дождливый день, что расчищался под вечер, а во дворе одна лишь мальва, колышась кругами под ветром, свежая от дождя, кремовая, хоть жуй… одинокое лицо у длинной стены из песчаника и хромая поступь всех обречённых лошадей по другую сторону, часть гривы отброшена в синюю тень поворотом её головы—один автобус лиц, проездом среди ночи, ни одного неспящего на тихой площади кроме водителя, постовой Ortsschutz в какой-то коричневой, официального вида униформе, старый Маузер ухвачен за дуло, снятся не враги в болотах или тенях снаружи, а дом и постель, теперь прогуливается с гражданским другом, который не на дежурстве, никак не спиться, под деревьями полными дорожной пыли и ночи, сквозь их тени на тротуаре, наигрывает на губной гармошке… дальше мимо ряда лиц в автобусе, зелень утопленников, бессонных, табачно-изголодалых, страшащихся, не завтрашнего дня, нет пока ещё, а этой остановки в их ночном проезде, того как легко будет утратить, и до чего больно станет...

Хотя бы один миг проведённый, один, который больно будет потерять, нужно найти для каждой улицы, теперь уже безразлично серой от торговли, войны, подавления… отыскивая его, учась ценить утраченное, не найдём ли мы путь обратно?

В одной из этих улиц, в утреннем тумане, облепив два скользких камня мостовой, обрывок газетного заголовка с телетайпным фото гигантского белого хуя свесившегося с неба прямо из белого лобкового куста. Буквы

МБА БРО

РОСИ

набраны вверху вместе с лого какой-то оккупационной газеты, усмешливая гламурная девуля уселась верхом на дуло танка, стальной член с прорезями в головке змея, бугрятся гусеницы и треугольник 3-й Бронетанковой поперёк её титек. Белая картинка несёт ту же связность, то же эй-ты-сюда-глянь самодовольство, что и Крест. Это не только нежданное вторжение гениталий в небо—это ещё и, возможно, Дерево...

Слотроп сидит на бордюре вглядываясь в него, и в буквы, и в девушку со стальным хуем, что машет привет парень, и туман забеливается в утро, в фигуры с тележками или в собак, или в велосипеды, чтоб прокатиться мимо коричнево-серыми контурами, похрипывая, кратко приветствуя туманно-сдавленными голосами, минуя. Он не помнит, что сидел так долго на бордюре уставясь на ту картинку. О так оно и было.

В момент, когда это произошло, бледная Дева поднималась на востоке, голова, плечи, груди, 17° 36’ до её целки на горизонте. Несколько из обречённых Японцев знали её как Западное божество. Она поднималась в восточном небе, оглядывая город внизу приносимый в жертву. Солнце пребывало у Льва. Испепеляющий взрыв явился с рёвом и царственно...

Прислушиваясь к Унитазу

Основная идея, что Они явятся и перекроют воду, сперва. Криптозой обитающих вокруг счётчика будет парализован громадным приливом света сверху… затем рванут кто куда, где пониже, потемней, помокрей. Отключение воды отменяет унитаз, всего с одним бачком в запасе, ты уже не можешь от чего-то наспех избавиться, если этого много, от наркотиков, говна, документации, Они остановили приток/отток и вот ты уловлен в Их кадре, отходы твои скапливаются, жопа зависла над Их киноскопом в ожидании Их редактирующих ножниц. Тебе напомнили, слишком поздно, насколько ты от Них зависишь, от небрежности, если не от доброй воли: Их небрежность твоя свобода. Но когда они принимаются всерьёз, это как публичный концерт Апполона заигравшего на своей лире

БРЗДЫЫННЬ

Всё застывает. Сладкий неотвязный аккорд зависает в воздухе… и это вовсе непереносимо. Если заикнёшься: «У вас всё, Управляющий?»– гамбит, ответом будет: «Нет, фактически… нет, ты подлый мокро-ротый прохиндей, ещё и вполовину не всё, не дождёшься...»

Так что всегда правильный подход держать унитазный клапан чуть надтреснутым для создания постоянного стока в унитазе и, когда течение останавливается, у тебя ещё есть дополнительная минута или две. А это уже не обычная паранойя с ожиданием стука в дверь или телефонного звонка: нет, требуется особый вид умственного расстройства, чтобы сидеть и ждать прекращения шума. Но—

Представь эту весьма тонкую научную ложь: будто звуки не могут распространяться в открытом пространстве. Ну а предположим, что могут. Предположим Они не хотят, чтоб мы знали об имеющемся там посреднике, который было принято называть «эфиром», способном переносить звук в любую часть Земли. Звуконосный Эфир. Миллионы лет солнце издавало рёв, гигантское горнило, 93-миллиономильный рёв, до того совершено ровный, что поколения людей рождались под него и уходили снова, даже не обратив внимания. Если тот не меняется, как хоть кому-то услышать?

Если не считать что иногда по ночам, в некоторых частях затемнённого полушария, из-за вихрей в Звуконосном Эфире, будет случаться очень недолгий промежуток отсутствия звука. На пару секунд, в определённом месте, почти каждую ночь где-то в Мире, звуковая энергия из внешнего пространства отключается. Рёв солнца замирает. За свою краткую жизнь, точка звуковой тени может установиться на тысяче футов над пустыней, между этажами пустого офисного здания или же точнёхонько вокруг сидящего индивида в рабочей столовой, которую моют из шланга в 3 часа утра… вокруг всё белый кафель, столы и стулья прочно приболтованные к полу, еда покрыта твёрдым саваном прозрачного пластика… вскоре снаружи, ррннн! бряк, стук, скрип открываемого крана о да, а да, Это Работники Со Шлангами Промыть Тут—

И в тот же момент, без предупреждения, приподнявшийся кончик пёрышка Звуко-Тени касается тебя, окружает тебя на э, у, скажем с 2:36:18 до 2:36:24 по Центральному Военному Времени, если это происходит не в Данганоне, Виржиния, Бристоле, Тенесси, Ашвилле или Франклине, Северная Каролина, Апалачиколе, Флорида, и разумеется в Мунро Макензи, Южная Дакота, или Филипсбурге, Канзас, или Стоктоне, Плейнвилле, или Эллисе, Канзас—да звучит как Реестр Славы зачитанный где-нибудь в прерии, раскалённые цвета длинными полосами, красные и пурпурные, темнеет толпа гражданских стоящих плотно друг к другу, как пшеничные колосья, и один старик в чёрном у микрофона оглашает города войны павшие, Данганон… Бристоль… Мунро Макензи… его белые волосы относит назад вылепляющий о-дым-отечества ветер в львиную гриву, его отёчно-пористое старческое лицо полируется ветром, песчанисто при таком свете, честные безутайные уголки его век складываются пока, один за другим, отдаваясь эхом от наковальни прерий, оглашаются имена смерть-городов и, конечно же, Бляйхероде и Блисеро прозвучат в любую минуту...

А вот и не угадал, дорогуша—это всё города расположенные на границе Часовых Поясов, только и всего. Ха, ха! Застукал тебя с рукой запущенной в портки! А ну-ка, покажи нам всем, чем ты там занимался или покинь помещение, нам ни к чему тут такие как ты. Нет ничего отвратней сентиментального сюрреалиста.

– Итак, перечисленные нами восточные города относятся к Восточному Военному Времени. Все прочие города вдоль интерфейса к Центральному. Западные города из зачтённого списка находятся в Центральном, тогда как прочие города на том интерфейсе к Горному...

Вот и всё, что наш Сентиментальный Сюрреалист, покидая помещение, успевает разобрать. И поделом. Он больше поглощён, или «болезненно зациклен», если угодно, на моменте молчания солнца внутри бело-кафельной забегаловки с жирными ложками. Чем-то смахивает на место где он бывал (Кеноша, Висконсин?) уже, хотя никак не припомнит в связи с чем. Его называли «Паренёк из Киноши», хотя это в достаточной степени апокрифично. На данный момент, единственная другая комната, в которой он себя помнит, была двуцветной, ничего кроме двух отчётливых цветов, потому что все лампы, мебель, шторы: стены, потолок, ковёр, радио, даже обложки книг на полках—буквально всё было окрашено в (1) Глубокий Дешёво-Парфюмерный Аквамарин, либо (2) Кремово-Шоколадный ФБР-Обувной Коричневый. Она могла находиться в Кеноше, а могла и нет. Если он постарается, то вспомнит, через минуту, как он попал в комнату облицованную белым кафелем за полчаса до её шлангования. Он сидит с чашкой кофе наполовину полной, гуща сахара и сливок, крошки ананасного Датского под блюдцем, куда не залезть пальцами. Рано или поздно ему придётся отодвинуть блюдце, чтобы собрать их. Он просто оттягивает. Но это не рано и это не поздно, потому что

звуко-тень опускается на него,

замирает вокруг стола поверхностями вытянутого невидимого круговращения, что принесло её сюда отлетевшую прочь как завитки Эфирного Датского, слышимую лишь благодаря случайным крапинкам звуковых осколков, что возможно налипли при вращении, обрывки голосов из далей над морем заходим на позицию два семь градусов два шесть минут северной, женский крик на каком-то языке с высокими тонами, волны океана в штормовых ветрах, голос декламирующий на Японском

Hi wa Ri ni katazu,

Ri wa Ho ni katazu,

Ho wa Ken ni katazu,

Ken wa Ten ni katazu,

что является лозунгом соединения Камикадзе, подразделения Охка—и означает

Несправедливость не в силах одолеть Принцип,

Принцип не в силах одолеть Закон,

Закон не в силах одолеть Власть,

Власть не в силах одолеть Небо,

Hi, Ri, Ho, Ken, Ten продолжает Японо-блаблакать прочь на протяжённой солнце-круговерти и оставляет Парнишку из Кеноши за приболтованным столом, где стих рёв солнца. Ему слышна, в первый раз, могучая река его крови, Титано-барабан его сердца.

Зайди под сияние лампочки и сядь рядом с ним, с незнакомцем за маленьким общественным столом. Вот-вот начнётся промывка шлангом. Посмотри, получится ли и тебе неприметно присоседится в тень. Частичное затмение лучше, чем никогда не узнать—лучше, чем ползать всю твою оставшуюся жизнь под громадным Вакуумом в небе, как тебя учили, и под солнцем, чьё молчание ты никогда не слыхал.

Что если нет никакого Вакуума? А если и есть—что если Они применяют его к тебе? Что если Им на руку проповедывать об островке жизни в окружении пустоты? Не просто о Земле в пространстве, но о твоей собственной индивидуальной жизни во времени? Что если в Их интересах заставить тебя верить в это?

– Отдохнём от него немного,– говорят Они друг другу.– Я только что спровадил его в Тёмную Грёзу.– Они выпивают вместе, колются очень-преочень синтетической наркотой подкожно и в кровь, вгоняют сигналы невероятных форм в Их черепа, прямо в мозговой ствол, и подпихивают друг друга, игриво, прихохатывают—сам знаешь, так ведь? а в тех лишённых возраста глазах… Они говорят, как взяли Того-то-и-Того-то и «спровадили его в Грёзу». Они используют это выражение и применительно друг к другу тоже, со стерильной нежностью, когда разносится печальное известие, на ежегодных Жарки́х, когда бесконечное умство-игрище застукает коллегу врасплох—«Эге, таки спровадили мы его в Грёзу». Сам знаешь, а?

Остроумная Выходка

Ичизо выходит из хижины, видит Такеши в бочке под какими-то пальмовыми листьями принимает ванну и напевает «Ду-ду-ду, ду-ду», выдавая какую-то мелодию като через нос—Ичико взвизгивает, бежит обратно, возвращается с Японским пулемётом Хочкис, Модель 92, начинает устанавливать его, выпучив глаза и кряхча как в джиу-джитсу. И вот, когда он вставил ленту пулемёта, готовый изрешетить Такеши в корыте,

ТАКЕШИ: Погоди, погоди! Что это всё?

ИЧИЗО: О, это ты! Я думал это Генерал Макартур в своей шлюпке.

Интересное оружие, Хочкис этот. Появляется у многих национальностей и умудряется этнически вписаться повсюду. Американские Хочкисы это те, что косили безоружных Индейцев у Вундед-Ни. С другой стороны пикантные 8 мм Французский Хочкис, когда строчит, выдаёт хо-хо-хо-хо, немного в нос и с галантностью кинозвезды. Что до нашего кузена Джона Буля, множество Британских Хочкисов тяжеловесов были либо частным образом проданы после Первой Мировой Войны, или сожжены огнемётами. Эти расплавленные пулемёты выныривают иногда в самых странных местах. Пират Прентис видел один в 1936, в Челси во время своей экскурсии со Скорпией Мосмун в дом Джеймса Челло, короля клоунов Богемии—но из королей помельче, из ветви склонной к тем гадким наследственным болезням: идиотизм в семье, сексуальные особенности оказывающиеся на виду публики в самые неподходящие моменты (голый член болтающийся из мусорного ящика одним лезвие-чистым, дождём промытым утром, в переулке на заводской окраине, который вот-вот затопит толпа разгневанных рабочих в просторных кепках с пуговкой на макушке, с метровыми гаечными ключами в руках, монтировками, кусками цепи и, нате вам, голожопый Принц Короны Порфирио с гигантским нимбом алюминиевой стружки на голове, рот накрашен чёрной смазкой, мягкие ягодицы поёживаются от холодных отбросов, выбирает стальные занозы, что колют так изысканно, глаза страстные и чёрные как и его губы, но о боже это что, о какая неловкость, вот они вываливают из-за угла, он чует чернь даже отсюда, тогда как они не знают как быть с Порфирио—колонна останавливается в замешательстве пока они, эти недоделанные революционеры, затевают спор может данное явление отвлекающая падлянка подброшенная Управлением или же он вправду Декадентская Аристократия и его надо обменять на выкуп, а если да то за сколько… Между тем на крышах, из кирпича и жестяных дверей, начинают появляться коричневые Правительственные войска вооружённые Британскими Хочкисами из тех, что не были расплавлены, но скуплены пулемётными дельцами и перепроданы малозначительным правительствам по всему миру). Возможно, то было памяткой о Принце Короны Порфирио в тот день массового расстрела, что Джеймс Челло держал расплавленный Хочкис у себя в гостиной— или же очередной полёт гротескности со стороны милого Джеймса, знаете ли, он так далёк от всего такого...

Начистоту, Мужчина-с-Мужчиной

—Сынок, вот всё думаю про эти, э, «болтики-винтики», которыми вы, ребятня, так увлеклись. Это типа как колоться электричеством в голову, ха-ха?

—Волны, Пап. Не просто так электричество. Оно для тупых.

—Да, э, волны. «Волны с помехами», верно? Ха-ха. А скажи мне, сынок, на что оно похоже? Я вроде как наркоман был ’сю сво’ жизнь, а и—

—О Пап. Блин. Это не как наркотик вовсе!

—Ну мы отправлялись в очень классные «улёты в отпуск» как мы их тогда называли, в здорово «крученные» места они нас доставляли, фактически—

—Но вы всегда возвращались, нет?

—Что?

—Имею ввиду, всегда знали что это будет тут, когда вернётесь, всё так же, в точности такое же, верно?

—Ну, ха-ха, догадайся, почему мы называли их «улёты в отпуск», сынок! Потому что ты всегда прилетал обратно в старый Реалленд, не так ли.

—Ты уж точно возвращался.

—Послушай, Тайрон, ты не знаешь какая это опасная херня. Допустим, однажды ты просто втыкаешь и отправляешься и тебе уже никогда не вернуться? А?

—Хо, хо! Хотел бы я! О чём, по-твоему, мечтает каждый электросдвинутый? Вот ты отсталый! А и кто грит это только мечта, а? А м-может она существует. Может есть такая Машина, что заберёт нас, заберёт полностью, высосет нас через электроды из черепа и прям в Машину и живи там вечно с другими душами, что она уже набрала. Она могла бы сама решать кого высосать, а и когда. Наркотик никогда не давал тебе бессмертие. Ты долж' был возвращаться, каждый раз, в умирающий кусок вонючего мяса! Но Мы можем жить всегда в чистом, честном, освобождённом Электромире—

—Блядь, дождался я сыночка двойную Деву...

Некоторые Характеристики *Imipolex G*

Imipolex G является первым пластиком действительно способным к эректильности. При соответствующем стимулировании, в цепочках возникают перекрёстные связи, от которых молекула твердеет с повышением межмолекулярного притяжения так, что этот Особый Полимер выходит далеко за фазовые диаграммы, от вялой резиновой аморфности до удивительно совершенной тесселяции, твёрдости, блестящей прозрачности, высокой устойчивости к изменениям температуры, погоды, к вакууму, любым сотрясениям (медленно мерцает в Пустоте. Серебро и чернота. Искривлённые отражения звёзд проплывают поперёк, во всю длину, круг за кругом по меридианам столь же чётким, как меридианы иглоукалывания. Да и что такое звёзды, если не точки в теле Бога, куда мы вонзаем оздоровительные иглы нашего ужаса и страстного желания? Тени костей и протоков создания—истекающего, раненого, облучённо белого—примешиваются к нему. Он вмешан в кости с протоками, его собственную форму определяет то, как Эрекции Пластика предстоит продолжиться: где-то быстрее, а где-то медленнее, где-то болезненно, а где-то скользко-прохладно…

следует ли зонам обмениваться характеристиками твёрдости и блистания, следует ли позволить некоторым зонам протекать поверхностно с тем, чтобы движение было лаской, а где-то оркестровать неожиданные прерывистости—удары, выкручивания—посреди этих более ласкающих моментов).

Очевидно, стимулу следует быть электронным. Альтернативы подачи сигналов пластиковой поверхности оказались ограниченными:

(a) тонкая матрица проводов, образующая довольно плотную систему координат на Imipolectic Поверхности, посредством которой эрективность и другие команды могут быть посланы в зоны довольно специфические, скажем до ½ $см^2$;

(b) лучевая сканирующая система—или несколько—аналогичная хорошо известному видео электронному потоку, модулируемая сетками и отклоняющими платами расположенными, по мере необходимости, на Поверхности (или даже под внешним слоем Imipolex'а, и до самого интерфейса с тем, Что находится в самом основании, Что было введено или Что фактически нарастило себе покров из Imipolex G, смотря какой ереси вы придерживаетесь. Нам нет нужды долго останавливаться на Первичной Проблеме, а именно, что всё, под плёнкой пластика, пребывает в Области Неопределённости, разве что подчеркнуть для начинающих студентов, которые могут испытывать склонность к Schwärmerei, что термины относящиеся к Под-Imipolexности, такие как «Сердцевина» или «Центр Внутренней Энергии» имеет, за пределами теоретическими, не больше реальности как «Сверхзвуковая Область» или «Центр Притяжения» в других областях Науки).

(c) альтернативно, проекция, на Поверхность, какого-либо электронного «образа», аналогично кинематографии. Это потребует как минимум три проектора, а возможно больше. Точность определения сколько именно окутано иным порядком неопределённости: так называемое Отношение Недетерминированности Отйийумбу («Вероятное функциональное деранжирование γ_R производное от физической модификации φ_R (x,y,z) прямо пропорционально наибольшей степени p от под-imipolectic деранжирования $\gamma_Б$, p не обязательно должно являеться целым числом и определяется эмпирически»), где нижний индекс R стоит за *Rakete*, и Б за Блисеро.

* * * * * * *

Тем временем, Чичерин счёл нужным бросить доводящую до смегмы слежку за Аргентинскими анархистами. Лягавый, он же Николай Рипов из Комиссариата Шпионской Деятельности, нагрянул и подбирается всё ближе. Верный Джабаев, от ужаса или отвращения, сорвался по крыжовным болотам в долгий запой с парой местных ханыг, и может вообще не вернуться. По слухам, он нынче колесит по Зоне в краденом прикиде Американских Спец-Служб, выдавая себя за Френка Синатру. Явившись в город, находит кабак и заводится петь на тротуаре, глазом

не моргнёшь, вокруг уже толпа, подростковые красотки, любая не дешевле $65 и цена оправдана, валятся в эпилепсоподобных припадках беззаветными кучами из вязаных жгутов, вискозных складок и аппликаций рождественской ёлки. Годится. Непременно раскрутится на бесплатную выпивку, до упаду, хлыщут Фудер и Фас в шумных сельских процессиях по песчаным улицам, куда бы ни закатились Трое Выпивох. Никому не приходит в голову спросить чего это Френк Синатра подпирается парой отпетых алкашей. Ни у кого нет и минутного сомнения, что это и впрямь Синатра. Местные знатоки обычно принимают остальных двух за команду комиков.

Покуда благородные плачут в своих ночных цепях, оруженосцы распевают. Ужасная политика Грааля их никак не касается. Песня волшебный плащ.

Чичерин понимает, что теперь он окончательно один. Что бы его ни ожидало, оно с ним сойдётся один на один.

Он чувствует, что нужно держаться на ходу, но ехать ему некуда. Теперь, слишком поздно, воспоминания о Вимпе, давнишнем V-человеке в IG Farben, находят его. Не отстают, уговаривают скрыться. Чичерин надеется завести собаку. Собака нечто идеальное, безупречная честность, по которой можно проверять собственную, день за днём, до конца. Иметь собаку было бы неплохо. Но может быть неплохо бы и альбатроса, только без проклятия при нём: милое воспоминание.

Молодой Чичерин оказался тем, кто затронул политические наркотики. Опиум для народа.

Вимпе улыбнулся в ответ. Старая-престарая улыбка, способная заморозить огонь даже в ядре Земли: «Марксистская диалектика? Это же не опиум, а?»

– Это противоядие

– Нет.– Одно из двух. Торговец наркотиками может знать всё, что случится с Чичериным и решить, что оно того не стоит—или же, в порыве величия, взять да и выложить всё молодому дурню.

– Основная проблема,– предлагает он,– всегда была в том, чтобы заставить других людей умирать за тебя. Ради чего человек отдавал бы свою жизнь? Тут религия всегда имела фору, столетиями. Религия постоянно толковала о смерти. Она применялась не столько как опиум, но как способ—заставляла людей умирать за набор определённых представлений о смерти. Извращённость, *natürlich*, но кто ты такой, чтоб осуждать? Неплохой был приёмчик покуда срабатывал. Но с тех пор как стало невозможным умирать во имя смерти, у нас имеется светская версия—твоя. Умри, чтобы помочь Истории дорасти до своей предопределённой формы. Умри, сознавая, что своим деянием ты чуть приблизишь хороший конец. Революционное самоубийство, чудесно. Но смотри: если Исторические перемены неизбежны, то почему бы и не умирать? Вацлав? Если всё равно случится, то какая разница?

– Но у тебя никогда не бывает выбора, так ведь.

– Если б у меня был, то можешь не сомневаться—

– Этого нельзя знать. Пока не там, Вимпе. Не можешь сказать.

– Звучит не слишком диалектично.

– Не знаю это что.

– Тогда, до самого мига решения,– Вимпе любопытен, но осторожен,– человек может быть совершенно чист…

– Он может быть каким угодно. Мне без разницы. Но настоящим становится лишь в точках решения. Время в промежутках значения не имеет.

– Настоящим как Марксист.

– Нет. Настоящим перед собой.

Вимпе по виду засомневался.

– Мне приходилось. Тебе нет.

Тсс, тсс. Шприц, игла номер 26. Крови душно в гостиничном номере коричневого дерева. Продолжить или раздувать этот спор значит становиться врагами на словах, ни один из них не хочет этого. Онейрин теофосфат один из способов обойти эту проблему. (Чичерин: «Ты имеешь ввиду тиофосфат?» Думая, означает присутствие серы… Вимпе: «Я имею ввиду теофосфат». Думая, означает присутствие Бога.) Они укалываются: Вимпе уставился на водный кран нервно, вспоминает Чайковского, сальмонеллу, скорое попурри из подходящих к насвистыванию мелодий из Патетической. Но глаза Чичерина только на игле, её Германская точность, её мелкая стальная зернистость. Вскоре он познакомится с циркуляцией медсанбатов и полевых госпиталей, также подходящей для послевоенной ностальгии, как циркуляция по курортам мирного времени—армейские хирурги и дантисты будут вшивать и вбивать патентованную сталь в его страждущую плоть. И вытаскивать что вошло в неё насильно электромагнитным аппаратом, купленным между войнами у Шумана, Дюссельдорф, с лампочкой и регулируемым рефлектором, 2-осными крепящимися ручками и полным набором дикого вида *Polschuhen*, кусков железа, что меняют магнитное поле… но там в России, в ту ночь с Вимпе, было его первым вкушением—его посвящением в брательство стали… никак не выйдет отделить это от теофосфата, отделить сосуды стали от безбожного безумного бурления...

15 минут они вдвоём бегают с воплями но номеру, спотыкаясь о круги, протянувшиеся по диагоналям комнаты. Так проявляется особый завиток в прославленной молекуле Ласло Джамфа, так называемая «особенность

Пёклера», появляющаяся в определённых кольцах индола, который более поздние Онейринисты, как академические, так и практикующие профессионалы, в основном согласны считать причиной галлюцинаций столь уникальных в данном препарате. Не только аудиовизуальные, они затрагивают все чувства, в равной мере. И они повторяются. Определённые темы, «мантические архитипы» (как именует их представитель Кембриджской Школы Джолифокс), находят определённых индивидуумов снова и снова, с постоянством, которое было хорошо продемонстрировано в лабораторных условиях (см. Воб и Хуэтон, «Дистрибуция Мантичных Архитипов Среди Студентов из Среднего Класса», Жур. Онейр. Пси. Фарм., XXIII, стр.-стр. 406–453). Поскольку аналогии с призрачной жизнью регулярно прослеживаются, этот феномен повторяемости известен, на жаргоне, как «посещение». Если прочие виды галлюцинаций имеют тенденцию уплывать, взаимосвязанные глубинным, недоступным обычному наркоману образом, данные по Онейриновым посещениям демонстрируют определённую нарративную продлённость, так же отчётливо, как скажем, средней длины статья из Читательского Дайджеста. Зачастую они настолько обыденны, настолько стандартны—Яахк называет их «скучнейшими из галлюцинаций известных психофармакологии»—что они опознаются как посещения лишь через какую-нибудь радикальную, хоть и правдоподобную, ломку возможного: присутствие мертвеца, поездка одним и тем же маршрутом и теми же средствами передвижения, при которой какое-то лицо выезжает позже, но прибывает раньше, отпечатанная диаграмма, которую при наличии любого количества света невозможно прочесть... Определив, что у него посещение, субъект незамедлительно переходит во «вторую фазу», которая, будучи различной по интенсивности от субъекта к субъекту, всегда неприятна: зачастую успокоительное (0.6 мг атропин подкожн.) доказывает свою необходимость, пусть даже Онейрин классифицируется как депрессант ЦНС.

Что до паранойи, часто отмечаемой после препарата, она не представляет ничего необычного. Как и в прочих видах паранойи, она является не более и не менее как начальным натиском, остриём клина, открытия что всё взаимосвязано, всё в Творении, вторичное озарение—не слепящее Оно, но во всяком случае, из того же ряда и, возможно, некий путь Внутрь для подобных Чичерину, удерживаемых с краю...

Чичеринское Посещение

Тот ли это или нет Николай Рипов: прибывает он именно так, как поговаривают о Рипове: весомо и неотвратимо. Он хочет поговорить, всего только лишь поговорить. Но каким-то образом, по ходу их продвижения, во внутренние коридоры-сумятицы слов, он снова и снова заманит Чичерина в еретические высказывания, к приговору самому себе.

– Я здесь чтобы помочь тебе яснее видеть. Если у тебя есть сомнения, нам нужно их развеять, честно, как мужчина с мужчиной. Никаких последствий. Чёрт, думаешь, у меня не бывает сомнений? Даже у Сталина они бывают. У всех у нас.

– С этим порядок. Ничего такого, что я сам бы не справился.

– Да вот не справляешься, а то бы меня сюда не прислали. Думаешь, они не знают, когда у кого-то нужного есть проблемы?

Чичерин не хочет спрашивать. Он сдерживается, напрягая мускулы своей сердечной сумки. Боль сердечного невроза, пульсируя, опускается в левую руку. Но он спрашивает, чувствуя, как стиснулось дыхание: «Мне полагалось умереть?»

– Когда, Вацлав?

– На Войне.

– О, Вацлав.

– Ты же спрашивал что меня тревожит.

– Но разве тебе не ясно как они это воспримут? Ладно, давай начистоту. Мы потеряли двадцать миллионов душ, Вацлав. Такими обвинениями не бросаются. Им на всё нужна бумажка. Даже твоя жизнь может быть в опасности—

– Я никого не обвиняю… пожалуйста, не начинай… Мне просто нужно знать должен ли я был погибнуть за них.

– Никто не хочет, чтобы ты погиб.– Успокаивает,– С чего ты взял?

Так выманиваются из него терпеливым эмиссаром, скулящие, отчаянные, слишком лишние слова—параноидные подозрения, неотвязные страхи, обрекая себя, наращивая капсулу вокруг своей личности, что отделит его от общности необратимо…

– Но в этом и есть самая сердцевина Истории,– мягкий голос говорит сквозь сумерки, ни один из них не поднимался включить свет.– Сердце сердец. Как может всё, что ты знаешь, всё что видел, к чему прикасался в нём, питаться ложью?

– Но жизнь после смерти…

– Нет никакой жизни после смерти.

Чичерин имеет ввиду, что ему пришлось биться, чтобы поверить в свою смертность. Как билось его тело, принимая свою сталь. Биться против всех своих надежд, пробиваться в эту горечь свободы. До недавних пор он никогда не искал утешения в диалектическом балете силы, противодействия, борьбы и нового

порядка—пока не началась Война и на ринг вышла Смерть, первый взгляд Чичерина после лет тренировки: выше, мускулистее, меньше тратит движений, чем он ожидал—лишь на ринге, чувствуя жуткий холод, что приносил с собой каждый удар, вот когда обратился он к Теории Истории—из всех патетически холодных утешений—попытаться придать этому какой-то смысл.

– Американцы говорят: «В окопах не бывает атеистов». Ты никогда не был верующим, Вацлав. Ты обратился на смертном одре, из страха.

– Из-за этого вам теперь надо, чтобы я погиб?

– Не погиб. От мёртвого тебя пользы мало.– Ещё два агента защитного цвета заходят и стоят, уставившись на Чичерина. У них правильные ничем не примечательные лица. Это, в конце концов, Онейриново посещение. Мягкое, обычное. Единственный намёк на его нереальность это—

Радикальная-хоть-и-правдоподобная-ломка-реальности—

Все трое улыбаются ему теперь. Это не ломка.

Это вскрик, но он выходит рёвом. Он прыгает на Рипова, почти въехал кулаком, но остальные с более быстрыми рефлексами, чем он рассчитывал, подскочили схватить его с двух сторон. Он не может поверить, до чего они сильны. Нервами бедра и жопы он чувствует, как его Наган выдернули из кобуры, и чувствует, как его собственный хуй выскальзывает из Немецкой девушки, которую не может припомнить теперь, в последнее утро сладкого вина, в последней тёплой постели, последнего утреннего расставания...

– Ты пацан, Вацлав. Лишь прикидываешься, будто понимаешь идеи, которые тебе не постичь. Придётся нам говорить с тобой попроще.

В Центральной Азии ему рассказывали об обязанностях Мусульманских ангелов. Одна из них испытывать недавно умерших. Когда уходит последний из участвовавших в похоронах, ангелы приходят в могилу и устраивают мертвецу допрос о его вере...

Показывается ещё одна фигура теперь, на краю комнаты. Она того же возраста, что и Чичерин, одета в форму. Её глаза ничего не хотят сказать Чичерину, она лишь только наблюдает. Не слышно никакой музыки, никаких летних вылазок… ни одной лошади не видать в степи в угасающем свете дня...

Он не узнаёт её. Впрочем, значения это не имеет. Для данного положения вещей, нет. Но это Галина, вернулась в города из молчаний, всё же, снова в области звеньев-цепей Слова, сияющего, уверенно льющегося и всегда достаточно близко, всегда ощутимо...

– Почему ты охотился за своим чёрным братом?– Рипову удаётся озвучить вопрос вежливо.

О. Спасибо что спросил, Рипов. Я охотился в прошедшем времени. «Когда это началось… уже очень давно—сначала… Я думал, что я наказан. Обойдён. Винил его в этом».

– А теперь?

– Не знаю.

– С чего ты взял, будто он твоя мишень?

– А чья же ещё?

– Вацлав. Ты когда-нибудь повзрослеешь? Это всё древнее варварство. Кровные линии, личная месть. Ты думаешь, всё это делалось ради тебя, облегчить твои глупые вожделеньица.

Ладно. Ладно. «Да. Возможно. А что?»

– Он не твоя мишень. Его хотят другие.

– Выходит, вы мне позволяли—

– До сих пор. Да.

Джабаев мог бы тебе растолковать. Тот непросыхающий Азиат прежде и после всего остаётся рядовым. Он знал. Офицеры. Ёбаный офицерский менталитет. Ты выполняешь всю работу, потом приходят они, подгребают, слава достаётся им.

– Вы перехватываете у меня.

– Поедешь домой.

Чичерин присматривался к двум остальным. Он видит теперь, что они в Американской униформе, и вероятно не поняли ни слова. Он протягивает свои пустые руки, свои загорелые запястья для окончательного приложения стали. Рипов, поворачиваясь уходить, похоже удивлён. «О. Нет, нет. У тебя тридцать дней отпуска уцелевшего. Ты уцелел, Вацлав. По приезде в Москву, доложишь в ЦАГИ, что прибыл, вот и всё. Будет другое задание. Мы переводим персонал по Германской ракете в пустыню. В Центральную Азию. Полагаю, им понадобится Центрально-Азиатский старожил».

Чичерин понимает, что по его диалектике, в развитии его жизни, возвращение в Центральную Азию есть, по сути, смертью.

Они ушли. Железное лицо женщины, в самом конце, не обернулось. Он один в выпотрошенной комнате с пластмассовыми зубными щётками семьи всё ещё в их подстаканниках на стене, расплавлены, свисают вниз разноцветными усиками,

щетинки топырятся во все и каждую чёрную плоскость, и в угол, и в ослеплённое сажей окно.

* * * * * * *

Самая близкая родина та, что не протянет дольше нас с тобой, общее движение по милости смерти и времени: непредвиденное приключение.

—Из Резолюций Оборзело Сосунячьей Конференции

На север? Каких искателей когда-либо направляли на север? То, что тебе следует искать лежит южнее—те сумеречные туземцы, верно? Навстречу опасностям и предприимчивости тебя направляют на запад, за видениям на восток. Но что такое север?

Маршрут побега *Анубиса*.

Кыргызский Свет.

Страна смерти Иреро.

Мичман Моритури, Карол Эвентир, Томас Гвендхидви, и Роджер Мехико сидят за столом на красно-кирпичной террасе *Der Grob Säugling*, гостиницы на краю маленького синего озера Холштейн. Солнце искрится в волнах. Крыши домов красные, шпили белые. Всё миниатюрно, аккуратно, мягко пасторально, включено в подъём и спад сезонов. В закрытых дверях контрастирующие деревянные Х. На носу осень. Корова грит му. Доярка пукает в молочное ведро, которое откликается эхом с тончайшим звяком, а гуси гогочут или шипят. Четвёрка распивают разбавленное водой Мозельское и говорят о мандалах.

Ракету запускали на юг, запад и восток. Пускали на юг, по Антверпену, азимут составлял примерно 173°, на восток, во время испытаний в Пенемюнде, 072°. Запускали на запад, по Лондону, около 260°. Прикинув с параллельными линейками, недостающий (или, если хотите, «искомый») азимут выходит где-то 354°. Это направление выведено из всех прочих, пуск-призрак, который, по логике мандал, либо уже состоялся, совершенно секретно, или же произойдёт.

Так что совещающиеся на Конференции в Оборзелом Сосунке, как её начнут именовать впоследствии, сидят вокруг карты со своими инструментами, сигаретами и соображениями. Не хмыкайте. Это один из величайших дедуктивных моментов в послевоенной разведке. Мехико придерживается взвешенной системы, чтобы сделать длину векторов пропорциональной действительному количеству запусков вдоль каждого из их. Томас Гвендхидви, всегда придирчивый к событиям в географическом пространстве, хочет запуск 1944 в Ближну (тоже восточное направление) принять в расчёт, что сдвинет стрелку с 354°—и даже

ближе к истиному северу, если пуски по Лондону и Норвичу из Валхерен и Сталверен также учитывать.

Данные и интуиция—и возможно осадок нецивилизованного ужаса, что сидит в нас, всё— указывает на 00°: истинный Север. Что может быть лучшим направлением для запуска 00000?

Да вот беда, какой толк в азимуте, даже в мифично-симметричном азимуте, не зная откуда Ракета запускалась, для начала. У тебя имеется режущая бритва, 280 км длиной, проносится на восток/запад по исковырянному лицу Зоны, бесконечно несётся, как в наваждении, колеблясь, поблескивая, невыносимо, безостановочно...

Ну в общем, Под Знаком Оборзелого Сосунка. Покачивающаяся разноцветная картина противно жирного слюнявого младенца. В одном пудингоподобном кулаке Здоровенный Сосунок стискивает капающую голяшку (простите, свиньи, ничего личного), другой рукой тянется к Материнскому Соску, который вдвигается в картину от левого края, взгляд его остановился на приближающейся титьке, рот раскрыт—радостный вид, зубы нацелены и чешутся, застывшее выражение ЕДАмняммнячдаковтьыммм в его глазах. Оборзелый Сосунок 37-я карта Подкидного Дурака Зоны...

Роджеру нравится считать это снимком Джереми в детстве. Джереми, который Знает Всё, простил Джессике её время с Роджером. У него у самого был пикничок или два, он может понять, у него либеральный склад ума, Война, в конце концов, сняла определённые барьеры, можешь сказать Викторианизмы (побаска от тех же хохмачей, которые изобрели знаменитый Поливинил Хлоридный Плащ)… и что за дела, Роджер, он хочет впечатлить тебя? Веки глаз вскинуты дружелюбными полумесяцами, при наклоне вперёд (более мелкий парень, чем Роджер думал) стискивая свой бокал, посасывая самую безвкусную Трубку, что Роджер вообще видал, репродукция в чашечке курительной трубки головы Винстона Черчиля, не упущена ни одна деталь, даже сигара во рту головки с просверлённой дырочкой, так что чуточка дыма и впрямь высачивается из конца… тут это паб для военнослужащих в Каксэвене, где прежде был двор портового склада, так что одинокие солдаты сидят в мечтах и за выпивкой среди всего этого морского хлама не на одном уровне, как у кого-нибудь в обычном кафе на воздухе, нет, кто-то повыше на скошенных настилах к дверям и воротам, или на подвесках для окраски бортов, в бочках вперёдсмотрящего, сидят над горьким среди цепей, оснастки, кабелей, арматуры чёрного железа. Уже стемнело. Фонари принесены на столики. Мягкие мелкие ночные волны стихают вдоль гальки. Запоздалая водоплавающая птица кричит над озером.

– Но не достанет ли это нас, Джереми, меня и тебя, вот чём вопрос... – Мехико произносит эти свои оракульские—часто, как сегодня в Клубе за ланчем, такая неловкость—фразы с тех пор как появился.

– Э, достанет меня что, дружище?– Сегодня весь день «дружище».

– Ни’гда не чу’ст’ал, будто что-то хочет достать тебя, Джереми?

– Достать меня.– Он пьяный, он чокнутый. Мне явно нельзя допускать его к Джессике, у этих математиков, как и у музыкантов на гобое, мозги повреждаются или типа того...

Ага, но, раз в месяц Джереми, даже Джереми, видит сны: про карточный долг… разные Сборщики появляются… он не может вспомнить тот долг, или кому проиграл, ни даже что за игра была. Он чувствует большую организацию за этими посыльными. Угрозы никогда не высказываются до конца, предоставляют Джереми додумать… всякий раз ужас врывался через прогал, кристаллический ужас...

Хорошо, хорошо. Другой верняковый тест подгонки начал уже применяться к Джереми—в условленном месте в парке, два безработных Огюста, белолицые и в рабочей одежде, начинают лупить друг друга огромными (метра два, два с половиной) членами, с чёткими деталями, натуральных цветов. Эти фривольные фаллосы оказались хорошим вложением. Роджер и Моряк Бодайн (когда выныривает) переплюнули даже концерты АРНС. Отличный источник сбора мелочи—толпы собираются на окраинах этих северных Германских деревень, смотреть как мутузятся пара клоунов. Элеваторы, в основном пустые, тянутся вверх над крышами кое-где, простирая руки деревянных виселичных перекладин на фоне неба. Солдаты, гражданские и дети. Столько смеху бывает.

Похоже, людям можно напоминать о Титанах и Отцах, будут смеяться. Не настолько уморно как тортом в морду, но, по крайней мере, настолько же чище.

Да, гигантские резиновые хуи по-прежнему часть арсенала...

А Джессика—волосы намного короче, рот темнее, иных очертаний, помады добавилось, её пишущая машинка в одной фаланге с кипами писем, разделяющей их—сказала: «Мы поженимся. Вовсю стараемся ребёнка завести».

И сразу же не осталось ничего, кроме его жопы между Гравитацией и Роджером. «Мне всё равно. Рожай его ребёнка. Я буду любить вас обоих—только идём со мной, Джессика. Ты нужна мне...»

Она щёлкает красным рычажком на своём интеркоме. Где-то вдалеке включается зуммер. «Охрана». Её голос совершенно твёрд, отзвук слова всё ещё в воздухе, когда в сетчатую дверь ангара-офиса с запахом приливных низин являются мордовороты. Охрана. Её заветное слово, заговорное, против демонов.

– Джес— блядь, он хочет расплакаться? Чувствует, как подкатывает, словно оргазм—

И кто же его спасает (прерывает оргазм)? Надо же, Джереми собственной персоной. Старый Бобёр появляется и кивком отсылает держиморд, угрюмо блеснувших клыками, назад мастурбировать в *комиксы Преступления не*

Окупаются, дремотно глазеть на пришпиленные в караулке фото Эдгара Гувера или чем уж они там занимались, а романтический треугольник соберётся вдруг, все, на ланч в Клубе. Совместный ланч? Это Ноэл Ковард или что за херня? Джесика в последнюю минуту охвачена каким-то фиктивным женским синдромом, который оба мужчины принимают за утреннюю тошноту при беременности, Роджер прикидывает, что она сделает всё назло по полной, Джереми рассматривает это как хитрую приватную солодушку для двушки. Так что она оставляет приятелей наедине, хлёстко обсуждать Операцию Ответный Огонь, которая есть Британской программой собрать какие-никакие А4 и выпустить их по Северному морю. А о чём ещё им разговаривать?

– Зачем?– не перестаёт спрашивать Роджер, чтобы разозлить Джереми.– Зачем вы хотите собрать их и запустить?

– Мы же их захватили, не так ли? Что ещё делать с ракетой?

– Но зачем?

– Зачем? Чёрт, посмотреть, ясное дело. Джесика говорит ты—э—по математической части?

– Малая сигма, умноженная на Р в степени эс-над-малой сигмой равняется одному над корнем квадратным двух пи, умноженному на е в знаменателе минус эс в квадрате над два малая-сигма в квадрате.

– Боже милостивый.– Смеётся: оглядывает комнату.

– Это старинная поговорка среди таких, как я.

Джереми знает как разобраться с этим. Роджер приглашён на вечеринку, неформальный интимный обед в доме Стефена Утгарталоки, бывшего члена правления завода Круппа тут в Каксэвене. «Ты можешь привести какого-то ещё гостя, конечно же,– вгрызается усердный Бобёр,– тут масса смазливых ФАВСЗовок, ты бы запросто—»

– Неформальный значит в костюме свободного кроя,– прерывает Роджер. Жаль, у него нет такого. Шансы нарваться на арест в этот вечер очень хороши. Вечеринка с участием (а) оперативника в Операции Ответный Огонь, (б) руководителя предприятия Круппа, должна обязательно включать (в) не менее одного корпоративного отростка, который слышал об Инциденте Обоссания в офисе Клайва Мосмуна. Если б только Роджер знал что Бобёр и его друзья готовят на самом деле!

И он таки приводит гостя: Моряка Бодвайна, который по своим связям заказал передать ему из зоны Панамского Канала (где докеры носят их как униформу в изумительных тропичеки-попугайных сочетаниях жёлтого, зелёного, лавандового, алого) костюм зут небывалых пропорций—углы лацканов приходится закреплять вешалками-плечиками, настолько они выдаются за пределы остального костюма

—под свою, лиловый-с-пурпурным, рубаху пижонистый матрос одел корсет, сжав себе талию до сильфидного метра в обхвате, чтобы резко сошёлся пиджак, который затем спадает до колен Бодайна пятикратно-разделённый на ярды складок, как у кильта, что огибают его спину покрывая зад. Штаны на ремне подмышками, внизу сходятся настолько, что он вынужден использовать потайные зипперы, чтобы протиснуть ноги. Весь костюм синий, не костюмно-синий, нет—настоящий СИНИЙ: нитрокрасочно-синий. Он моментально бросается в глаза, куда бы ни появился. На собирушках он мозолит периферийное зрение, делая пристойную болтовню ни о чём невозможной. Этот костюм заставляет тебя размышлять о вещах настолько же основополагающих как его цвет или чувствовать себя поверхностной мелочью. Подрывной прикид, по полной.

– Только ты и я, кореш?– грит Бодайн.– Чё, так типа, стеснительно?

– Послушай,– Роджер издаёт нездоровый смешок на то, что только что пришло ему в голову,– мы даже не можем прихватить с собой те большие резиновые хуи. Сёдня придётся полагаться на свою смекалку!

– Тогда так, пошлю мотоцикл к Пуци подогнать нам взвод клоунов и—

– Знаешь что? Ты утратил свой дух любителя приключений. Ага. Раньше ты таким не был, знаешь ли.

– Слышь, братиш,– произнося на Флотском Диалекте: братиишь,– брось, братиишь. Поставь себя на моё место.

– Я б и не против, но… утону ж в таком-то.

– Простой скромный парень,– смуглый морепроходец глубин чешет свой пах мозолистым пальцем за увёртливым крабом, взбалтывая волны в широких складках ткани своих брюк,– простой веснушчатый пацан из Альберт Ли, Миннесота, там на шоссе 69, где ограничение скорости жми во всю, ночь напролёт, просто старается как-то перебиваться здесь, в Зоне, тот веснушчатый мальчишечка, что втыкал булавку в пробку для точечного контакта, не спал и слушал голоса от побережья до побережья, когда мне не было и 10, и ни один из них никогда не советовал ввязываться в бандитские войны, братиишь. Радуйся, что ты всё ещё так охуенно наивен, Родж, подожди как увидишь первую разборку Европейского гангстера, они любят делать три контрольных: в голову, желудок и сердце. Ты врубился, что желудок? В этих краях желудок не считается вторым классом и это хорошая осенняя мысля обмозговать на досуге.

– Бодайн, разве ты не дезертировал? Но за это смертная казнь, правда?

– Блядь, это я могу уладить. Но я всего лишь винтик. Не начинай думать, будто я во всём разбираюсь. Всё я знаю только в своём деле. Могу тебе показать как промывать кокс и как его проверить, я могу пощупать брюлик и по температуре скажу тебе подделка или нет—подделка не будет сосать столько температуры из твоего тела, «стекло ленивый вампир», говорили в старину деловые, а и я могу

отличить фальшивую банкноту так же легко как Ш на проверке у окулиста, моя зрительная память одна из лучших в Зоне— Так что Роджер потащил его с собой, с его монологом, в его зут костюме, на Круппное увеселение.

Ещё в дверях, первое, что отмечает Бодайн, так это струнный квартет, что тут сегодня играет. Второй скрипкой оказывается Густав Шабоне, частый непрошенный партнёр Кислоты Бумера по торчалову, «Капитан Ужас», как его ласково, но не без оснований, кличут в Der Platz—а на виолончели ученик-подмастерье Густава в искусстве внушать самоубийственную депрессию любому оказавшемуся в радиусе 100 метров (кто там стучит и подхихикивает у тебя под дверью, Фред и Филис?), Андрэ Омнопон, с пушистыми усами Рильке и татуировкой Хрюнделя на животе (что становится «крутяком» последнее время, даже в глубинке Зоны среди Американских подростковых блядюшек катит за «у! ты чё!»). Густав и Андрэ на этом вечере Внутрение Голоса. И это крайне странно, потому что в программе редко исполняемый квартет Гайдна Оп. 75, так называемый «Казу» Квартет в Соль-Бемоль Миноре, который окрещён так по части *Largo, cantabileemesto*, в которой Внутренним Голосам надо играть на казу вместо обычных своих инструментов, создавая проблемы динамики для виолончели и первой скрипки, весьма уникальные в музыкальной литературе. «Вам и впрямь приходится местами чередовать спикатто с де́таше́»,– Бодвайн торопливо растолковывает Корпоративной Жене, типа как ложась на курс к столу бесплатного ланча в углу комнаты заваленному холодными закусками из раков и сэндвичами с каплуном,– «поменьше смычка, поднять, вы ж понимаете, смягчить —к тому же там около тысячи взрывов ppp-к-fff, но только один, знаменитый Один, идёт в обратную...» Действительно, одна из причин редкого исполнения произведения в этом подрывном использовании fff стихающего до ppp. Тут штрих бродячей звуко-тени, *Brennschluss* Солнца. Они не хотят, чтоб ты чересчур наслушался такого—во всяком случае, не так как представлено у Гайдна (странный ляпсус в поведении почтенного композитора): виолончель, скрипка, высокие тремоло двух казу сплетаются в мелодии, что звучит как песня из кинофильма Доктор Джекил и Мистер Хайд «Ты б Видел Как Пляшу Я Польку», когда вдруг посреди нечётного такта казу просто останавливаются полностью, и Внешние Голоса начинают выдавать не-мелодию, которая, как грит традиция, представляет двух Деревенских Кретинов 18-го столетия блямкающих на своих нижних губах. Друг на друга. Так продолжается 20, 40 тактов, это пицикатто расслабленных, Крупписты среднего звена скрипят кривыми ножками бархатных стульев, блимбубублимбубу, это не похоже на Гайдна, *Mutti!* Лица из ICI и GE сгибают шеи пытаясь прочитать в свете свечей программку с любовью выписанную от руки спутницей по жизни Утгарталоки, *Frau* Утгарталоки, никто точно не уверен какое её первое имя (что очень даже на руку Стефену, потому что в них всех это вселяет настороженность к ней). Она блондинистая копия твоей покойной матери: если когда-нибудь видел ту обряженной в сусальное золото, щёки пообвисали, деформировались, брови слишком тёмные, белки чересчур белые, в каком-то нулевом безразличии, как злобно Они исказили её лицо, тебе знаком этот вид: Нэйлин Слотроп до приёма своего первого мартини тут как тут, духом, на этой Крупп-пирушке. Точно так же и сын её Тайрон, но лишь потому, что сейчас—начальная пора Девы—он стал типа ощипанным альбатросом. Ощипан,

чёрт—догола. Рассеян по всей Зоне. Сомнительно, что его когда-либо найдут снова, в привычном смысле «неопровержимо опознан и задержан». Одни только перья… избыточные и регенерируемые органы, «которые нас так и подмывает классифицировать в раздел «*Hydra-Phänomen*» не отличайся они полным отсутствием какой-либо вредоносности...»— Наташа Раум, «Регионы Неопределённости в Анатомии Альбатросов», Записки Международного Общества Воистину Увлечённых Носологией Альбатросов, Зима 1936, великолепный небольшой журнал, они даже посылали корреспондента в Испанию в ту зиму, для освещения, некоторые номера целиком посвящены анализу вопросов мировой экономики, несомненно связанных с проблемами Носологии Альбатросов—относится ли так называемый «Ночной Червь» к Псевдо-Голдсрасской группе или же его правильнее полагать—показания почти идентичны—более коварной формой Хебдомериасзиса Моппа?

В общем, если бы участники Противодействия лучше знали что стоит за этими категориями, то занимали бы более выгодную позицию, чтобы обезоружить, обесчленить, разобрать Человека на части. Но они не знают. Вообще-то знают, но скрывают это. Печально, но факт. Они шизоиды, при виде денег их сознание расщепляется надвое, как у любого из нас, и это неоспоримая истина. У Человека имеется филиал, в мозгах любого, кого ни возьми, его корпоративная эмблема белый альбатрос, и каждый местный представитель известен под личиной Эго, а их миссия в этом мире Дерьмо Поганое. Нам в точности известно что происходит, и мы позволяем этому твориться. Лишь бы только нам позволялось глазеть на них, зырить, на тех купающихся в деньгах, хоть иногда. У нас такая потребность. И ведь до чего ж они знают это—как часто, при каких раскладах... Нам хочется рассматривать репортаж популярного журнала о Ночи Когда Родж и Бобёр Дрались Из-за Джессики Пока Она Плакала в Объятиях Круппа, и захлёбываться слюной над каждым расплывчатым фото—

Роджеру должно быть примерещились тут, на минуту, потные вечера Термидора: неудавшееся Противодействие, прославленные былые бунтари, наполовину под подозрением, но всё ещё с официальным иммунитетом и украдкой любимые, сто́ящие щёлканья камер, где бы ни появились… обречённые ручные чудаки.

Они воспользуются нами. Мы поможем им узакониться, хотя Им не так уж это и нужно, для Них это ещё один дивидент, однако не решающий...

О да, разве не именно так Они и сделают. Вернёмся теперь к Роджеру, оказавшемуся в ещё менее подходящее время и место в рядах Оппозиции, пока мысли первой в его жизни настоящей любви только лишь о том, чтобы уйти домой и получить очередной комок спермы Джереми и тем самым выполнить их дневную норму—так посреди всего этого его ещё угораздило (уй-ёбтвою) втаранится в интересный вопрос, что и того хуже: жизнь в роли Их ручной зверушки или смерть? Это не из тех вопросов, что он когда-либо мог представить встающим перед ним всерьёз. Он возник нежданно, но теперь уже не отмахнуться, он действительно должен решить, причём довольно скоро, приемлемо скоро, чувствуя холодок жути в кишках. Жуть, от которой никак не отгородиться. Он

должен выбрать между своей жизнью и своей смертью. Позволить этому немного отстояться станет не компромиссом, но решением жить на их условиях...

Виолончель призрачна, смазанно-коричневата, прозрачна, вздыхает туда-сюда средь прочих Голосов. Динамичных скачков обилие. Неощутимые взмывы, расстановка нот по ранжиру или подготовка к перемене громкости, то, что Немцы называют «паузами дыхания», подрагивают посреди фраз. Возможно, сегодня это вызвано игрой Густава и Андрэ, но вскоре слушатель и впрямь начинает замечать паузы вместо нот—его ухо совращено, как твой глаз долгим вглядыванием в фото аэрофотосъёмки пока воронки от бомб не вывернулись, превратившись в тесто булочек подошедших в формах или в складки кряжа у долин, море и суша мелькают между ртутных краёв—так же и тишина вытанцовывает теперь в этом квартете. А и подожди пока вступят те казу!

Это музыкальный фон к тому, что готовится произойти. Заговор против Роджера составлялся с потрясным, умопомрачительным весельем. Переход к обеденному столу становится процессией священодейства, полной секретных жестов и пониманий. Это очень изысканный обед, согласно меню, полный всяких релеве, пуассон, антреме. «Что это тут за ‘ *Überraschungbraten?*»– спрашивает Моряк Бодайн у своей застольной соседки справа Костанс Фламп, журналистки в хаки свободного кроя и крепкой в выражениях подружки каждого солдата от Айво до Сэнт-Лу.

– Да просто так и значит, Матросик,– отвечает «Конни Командос»,– на Немецком это «сюрпризное жаркое».

– По моей части,– грит Бодайн. Она же—возможно ненароком—просигналила глазами—вероятно, Пойнтсмен, существует такая вещь как рефлекс доброты (сколько молодых мужчин навидалась она приконченными с ’42?), который кое-где, также и вне Зоны, уцелел от вымирания... Бодайн смотрит вдоль стола, мимо корпоративных зубов и полированных ногтей, мимо инструментов для еды с увесистыми монограммами, и в первый раз замечает облицованное камнем углубление для барбекю с парой вертелов чёрного железа, для прокрутки вручную. Слуги в довоенных ливреях хлопочут, подкладывают макулатуру (старые циркуляры ШВКОС/ШОКСС в основном), растопку, расчетверённые сосновые поленья, и уголь, соблазнительные, с кулак, вороньего крыла куски, из тех что когда-то оставляли трупы вдоль берегов каналов, когда-то, в Инфляцию, когда его действительно удерживали настолько смертельно дорогим, прикинь… На краю углубления, где Юстус уже зажигает свечу, пока Гретхен обрызгивает топливо войсковым растворителем, из доков в порту, Моряк Бодвайн узрел голову Роджера, которую две или три пары рук удерживают кверх ногами, губы отодраны от зубов и обнажённые дёсны уже занемело белеют, словно череп, покуда одна из служанок, классическая атлас-с-кружевом, ушлая, полапатьбыбельная девка, чистит зубы Американской зубной пастой, старательно соскабливает никотинные пятна и винный камень. Глаза у Роджера такие обиженные и умоляющие... Со всех сторон, гости перешёптываются. «Как эксцентрично, Стефен придумал даже голову сыра!»– «Нет уж, я дождусь другую часть, чтоб откусить...»– хиханьки,

возбуждённое дыхание, а что это за очень синие штаны такие все в складках… и чем измазан пиджак, а что на вертеле, краснее до хрусткой жирной корочки, поворачивается, чьё лицо сейчас обернётся, ба! так это же—

– Кетчупа нет, кетчупа нет,– мохнач синепиджачный развязно роется меж уксусниц и подносов,– похоже, вовсе нет… что за ёбанная тут забегаловка, Родж,– кричит вдоль стола наискосок через семь вражеских лиц,– эй, братиишь, возле тебя там кетчупа не видать?

Кетчуп сигнальное слово, ясное дело—

– Странно,– отвечает Роджер, который явно видел точно ту же картину в углублении,– я как раз собирался спросить у тебя то же самое!

Они ухмыляются друг другу, как два клоуна. Ауры обоих, для протокола, зелёные. Не пиздю. Ни разу с зимы ’42 в морском караване посреди шторма в Северной Атлантике, с оборвавшимися тоннами 5-дюймовых боеприпасов, что катались по всему судну, Германская волчья стая невидимо из-под воды сшибает соседние корабли направо и налево, по Боевому Расписанию, внутри расчёта 51, слушая анекдоты Паппи Хада про полный капец, смешные до чёртиков, весь расчёт орудия хватались за животы в истерике, задыхались от хохота—ни разу с того дня Моряк Бодайн не чувствовал такого кайфа при явных шансах накрыться.

– Ничего себе сервировочка, а?– восклицает он.– Еда называется!– Разговоры стихли почти полностью. Поворачиваются вежливо любопытствующие лица. Языки пламени под барбекю подпрыгивают. Они не «чувствующее пламя», но если были бы, то смогли бы сейчас отреагировать на присутствие Бригадного Генерала Падинга. Он теперь член Противодействия, благодаря усилиям Карела Эвентира. Это его заслуга, да. Сеансы с Падингом изматывают никак не меньше, чем прежние Еженедельные Летучки в «Белом Посещении». Падинг раскрывает халяву шире, чем при жизни. Участники сеансов начали уже скулить: «Да мы когда-нибудь от него избавимся?» Но через Падингову преданность кулинарным шуточкам была разработана нижеследующая тошнотворная уловка.

– Даже не знаю,– Роджер тщательно небрежен,– я как-то не нахожу в меню суп из соплей.

– Ага, и я бы сам не отказался от гнойного пудинга. Думаешь у них найдётся?

– Нет, но может оказаться молофьяное суфле!– вскрикивает Роджер,– с добавкой из менструального мармелада!

– А ещё бы не прочь от сочного жаркого под сметаной со смегмой!– предлагает Бодайн,– или как начёт кастрюльки тромбов?

– Мы бы составили обед получше этого,– Роджер помахивает меню в руке.– Для аппетита закуски с плацентной прослойкой, возможно, какие-то сэндвичи со

струпьями, хорошо расчёсанными, конечно… и или клиторные клёцки! Ммм, вкуснятина, сдобренные майонезом из мукуса.

– О, мне дошло,– грит Конни Командос,– тут должна быть аллитерация. Как насчёт… э… пережёванных пельмешков?

– Мы составляем суповые блюда, крошка,– грит с прохладцей Моряк Бодвайн,– так что позволь мне просто предложить козявочное консоме, или заблёванный бульон.

– Рвотный рататуй,– грит Конни.

– Ты врубилась.

– Простой салат из салями с глистами,– продолжает Роджер.– с нарезкой из абортированных абрикосов и посыпанный перхотью.

Раздаётся звук благовоспитанного сдерживания, и региональный менеджер продаж ICI торопливо покидает застолье, изрыгая длинный полумесяц комковатой бежевой рвоты, что расплёскивается по паркету. Салфетки подняты к лицам вокруг всего стола. Серебряные вилки-ложки положены вниз, серебро отзванивает белые блики, изумлённая нерешительность опять тут, та же самая что и в офисе Мосмуна...

Так оно и шло, через фондю с флюсом (ломтики анальных ананасов поверх сливок со слизью, объеденье), заслюненное заливное, изблёваные блинчики, Обдристанные Овощи под сифилисным соусом...

Одно из казу прекращает играть. «Затруханная запеканка!»– верезжит Густав

– Обоссанные оладьи, с сычужным сиропом,– добавляет Андрэ Омнопон, когда Густав возобновляет игру, Внешние Голоса тем временем сбились в замешательстве.

– И с присыпкой из экстрата экскрементов,– бормочет виолончелист, который не ставит себя выше невинных забав.

– Геморроидные гренки,– Конни с восторгом лупит ложкой,– поносные пирожки!

Фрау Утгарталоки вскакивает на ноги, перевернув поднос болячек бламанже—иззвиняюсь, то были поданы яйца с начинкой—и выбегает из комнаты с трагическим взрыдами. Её галантный сталелитейный муж, тоже встаёт и идёт следом, бросая через плечо на нарушителей взгляды, грозящие неизбежной смертью. Нервные смешки давно рассыпались в шёпот с проклятьями.

– Отборный гангренозный гуляш, или восхитительная кремово-белая порция проказы,–Бодвайн слегка нараспев «порция [и на терцию ниже] проказы», игриво

травит насилу сдерживающих напор, д’вай-д’вай, засранчики, поблюйте для милого зутника...

– Фунгусное фрикасе!– вопит Роджер Разгильдяй. Джессика в слезах опёрлась на руку Джереми своего суженого, что сопровождает её, окаменев руками, качая головой на выходку Роджера, прочь навсегда. Пронзил ли Роджера миг боли при этом? Да. Конечно. Тебя бы тоже пронзил. Ты мог бы даже усомниться в правоте своего дела. Но тут ещё спагетти со спермой надо подавать жирными и дымящимися, сливочную слякоть и кашу из какашек разливать черпаком в миски хныкающего поколения будущих директоров, выкатывать трипперный трайфл с белым шоколадом на террасу с окостенело холокостным небом, или околевающим к осени.

– Карбункульные котлеты!

– С паховой подливой!

– Корейка с кольцевыми червями!

У леди Мнемосин Глуб какой-то припадок, настолько сильный, что ожерелье её рвется, и жемчужины раскатываются по шёлку скатерти. Царит общая утрата аппетита, не говоря уже про тошноту. Пламя под жарким угасает. Не капает жир подкормить его в этот вечер. Сэр Ганнибал Грант-Гобинет грозится, между спазмами жёлтой жёлчи пенящейся из его носа, поднять этот вопрос в Парламенте. «Я вас обоих в тюрьму упеку, если меня убьёт такое!» Ну...

Мягкий, на полусогнутых, исход за двери, Бодайн помахивает своей широкополой гангстерской шляпой. Па-ка, народ. От гостей осталась сидеть лишь Констанс Фламп, которая всё ещё продолжает орать десертные варианты: «Мокротные моти! Вонючие вагаси! Плесневые плюшки!» Ох, и влетит ей завтра. Лужи такого и сякого поблёскивают на полу, словно водные миражи в Шестой Прихожей к Трону. Густав и остальной квартет забросили Гайдна и сопровождают Роджера и Бодайна к выходу, казу и струнные аккомпанируют Тошнотному Дуэту:

У, дайте отех прыщиков à-la-улю,

Налопаюся до усрачки!

Скажи, братиишь, как ты глядишь

На тему Палубных Десертов после качки?

– Я должен вам признаться,– торопливо шепчет Густав.– Мне ужасно неловко, но наверное вам ни к чему такие как я. Понимаете… Я был Штурмовиком. Очень давно. Знаете, как Хорст Вессель.

– Ну и что?– смеётся Бодайн,– может я был стрелком у Мелвина Пёрвиса.

– Кем?

– За Пост Тостис.

– За кого?– Немец вообще-то думает, что Пост Тостис это имя какого-то Американского Фюрера, что смутно смахивает на Тома Микса или какого-то другого такого длинногубого ковбоя с лошадиной челюстью.

Последний чёрный дворецкий отпирает последнюю дверь наружу, и к побегу. Сегодня убегайте. «Тифозный торт с коклюшным кремом, джентльмены»,– кивает он. И с той стороны рассвета можешь различить улыбку.

* * * * * * *

В своём рюкзаке Гели Трипинг несёт несколько ногтевых обрезков с пальцев ног Чичерина, седеющую волосинку, кусочек простыни со следом его спермы, всё увязано в белый шёлковый платок, рядом с куском корня Адама и Евы и буханкой хлеба испечённого из пшеницы, которую она прикатила голой и смолола против солнца. Она перестала пасти своих жаб на ведьмовских склонах и передала свой белый посох другой ученице. И отправилась отыскать своего храброго Атиллу. На текущий день в Зоне наберётся добрая пара сот молодых женщин, сохнущих от любви к Чичерину, все пронырливы как лисы, но ни одна упрямством не сравнится с Гели—и ни единой ведьмы среди них.

В полдень она приходит в деревенский дом с полом из синих и белых плиток на кухне, изысканный китайский фарфор в старинных тарелках развешанных по стенам как картины, и кресло-качалка. «У тебя его фото с собой?»– старуха протягивает ей жестяную армейскую миску с объедками её утреннего *Bauernfrühstuck*: «Я научу тебя заклятию».

– Иногда я могу вызывать его лицо в чашке с чаем. Но травы надо собирать очень внимательно. Я ещё не очень хороша в этом.

– Но ты влюблена. Технические приёмы всего лишь подмена этому, когда стареешь.

– Зачем не оставаться влюблённой всегда?

Две женщины наблюдают друг друга через солнечную кухню. Шкафчики со стеклянными дверцами сияют со стен. Жужжанье пчёл за окнами. Гели выходит накачать воды из колодца, и они заваривают земляничный чай. Но лицо Чичерина не появляется.

В ночь, когда чёрные выступили в свой великий переход, Норхаузен ощущался как мифический город под угрозой какого-то особенного разрушения—поглощение кристаллическим озером, лава с неба… на один вечер, чувство сбережённости пропало. Чёрные, подобно ракетам в Миттельверке, давали Нордхаузену

преемственность. Теперь чёрные ушли: Гели знает, что они идут курсом лобового столкновения с Чичериным. Она не хочет дуэлей. Пусть университетские юнцы дерутся на дуэлях. Она хочет своего седеющего стального варвара живым. Ей невыносима мысль, что она, быть может, уже прикоснулась, ощутила его иссечённые шрамами и историями руки, в последний раз.

Позади, подталкивая её, сонливость города, а ночью—странными канареечными ночами Гарца (где барыги канарейщики колют птичкам-самочкам мужские гормоны, чтоб те щебетали достаточно долго пока их продадут лохам, что оккупируют Зону)—тут слишком всё переполняется заклятьями, соперничеством ведьм, политикой их шабашей… она знает, что волшебство не в этом. Ведьмо-Штадт, с его святыми горами с кругами покосов по всем их зелёным лицам рядом с козочками на привязи, превратился просто в ещё одну столицу, занятую исключительно управлением—такое же чувство как среди верхушек музыкальных профсоюзов— никакой музыки, лишь стеклянно-кирпичные перегородки, плевательницы, домашние растения—не осталось практикующих ведьм. Ты либо приходишь на Студию Звукозаписи имея ввиду бюрократическую карьеру, либо избираешь мир. Есть два различных вида ведьм, и Гели принадлежит к Миро-избирающим.

Вот он Мир. На ней серые мужские штаны, закатанные до коленок, полощутся вокруг её ляжек, когда она проходит вдоль полей ржи… идёт, опустив голову, отводя волосы с глаз, часто. Иногда мимо проезжают солдаты, подвозят её. Она прислушивается к новостям про Чичерина, о переходе *Schwarzkommando*. Если чувствует, что можно, она даже и спросит про Чичерина. Разнообразие слухов изумляет её. Я не единственная кто его любит… хотя их любовь конечно дружеская, восхищённая, не сексуальная. Гели одна на всю Зону, кто любит его полностью. Чичерина, известного в некоторых кругах как «Красный Наркоман», вот-вот подвергнут чистке: прислан никто другой как правая рука самого Берии, зловещий Н. Рипов, лично.

Брехня, Чичерин давно мёртв, ты разве не слыхал, уже несколько месяцев как убит…

…его кем-то подменили, покуда проведут аресты остальных из его Блока…

... нет, он приезжал в Люнеберг неделю назад, мой кореш его раньше видел, точно он…

... он здорово похудел и выходит только с усиленной охраной. Не меньше двенадцати. В основном Азиаты…

... и среди них Иуда Искариот, как пить дать. Но верится с трудом. Двенадцать? Откуда столько людей, чтоб он смог довериться? Особенно когда он ходит по краю…

– По какому краю?– Они трясутся в кузове 2½-тонного грузовика по очень зелёной волнистой местности… гроза раздувается немым пурпуром, с жёлтыми

прожилками, позади них. Гели распивает вино с этим подразделением цинготных солдатиков, взвод подрывников, что целый день расчищали каналы. Они пахнут креозотом, болотной тиной, аммиаком от динамита.

– Ну ты знаешь какое у него задание.

– Ракеты?

– Не хотел бы я оказаться на его месте, вот и всё.

На гребне холма геодезическая партия восстанавливают разбитую дорогу. Один силуэт склонился, глядя в теодолит, другой держит рейку. Чуть в стороне от теодолитчика ещё один инженер стоит, раскинув руки в стороны, его голова поворачивается взглянуть вдоль каждой, затем руки сходятся вместе… если закрыть глаза, а руки натренированы двигаться сами собой, твои пальцы установятся под совершенно прямым углом к своей прежней позиции… Гели наблюдает это небольшое действо: оно благочестиво, грациозно, и она чувствует крест, который человек сделал в своём кругу зрения видимой земли… бессознательно мандала… это знак ей. Он указывает куда ей дальше. Уже вечером она видит коршуна летящего над болотами в том же направлении. Вечер золотисто-тёмен, уже ночь почти. Вокруг ни души и Пан очень близко. Гели участвовала в достаточно многих Шабашах, чтобы справиться—так она считает. Но куда синему укусу дьявола в ягодицу до вопля рвущегося в каменное эхо, где нет ни добра ни зла, в светящихся пространствах, куда Пан утащит её. Готова ли она к чему-то настолько реальному? Луна взошла. Она сидит сейчас на том месте, с которого увидала коршуна, в ожидании, ждёт чего-то, что придёт забрать её. Ты когда-нибудь ждал этого? Не зная извне оно придёт или изнутри? Окончательно отбросив бесполезное гаданье что может случиться… время от времени стирая всё в мозгу, чтобы держать его чистым для Посещения… да, разве не так это было? Вспомни, разве не ушёл ты украдкой из лагеря на минуту остаться с Тем, что чувствовал шевелящимся в земле вокруг… было равноденствие… зелёные равные ночи весны… ущелья раскрываются, на дне исходят паром фумаролы, пар тропической жизни там, словно зелень в горшке, резкая, нарко-пахучая, накидка запаха… людское сознание, искалечено убогое, деформированное, обречённое нечто, вот-вот родится. Это просто Мир до появления человека. Слишком яростно натянуты жилы в живом непрестанном потоке, чтобы люди когда-либо смогли разглядеть напрямую. Они различимы лишь умершими, в недвижных слоях, трансокаменелыми в нефть или уголь. При жизни, это являлось угрозой: было Титаном, зашкаливанием жизни настолько гремящей и безумной, такой зелёной короной вокруг тела Земли, что потребовалось внести некий прерыватель потока, прежде, чем Созданное взорвётся на куски. Тогда мы, увечные надсмотрщики, были посланы размножаться, господствовать. Божьи прерыватели, Мы. Контрреволюционеры. Наша миссия в том, чтоб поддерживать смерть. В том, как мы убиваем, в том, как мы умираем, в нашей уникальности среди Созданий. Вот в чём наше назначение, исторически, персонально. Строить с нуля до нынешнего статуса, как реакцию,

почти настолько же сильную как жизнь, подавлять зелёное восстание. Но сильную лишь почти.

Всего только лишь почти, из-за уровня дезертирства. Какая-то часть продолжает перемётываться к Титанам каждый день, в их жажде к основотворению (как может плоть быть столь изменчивой и спотыкливой, не становясь вовеки менее прекрасной?), в покои Смерти из народных песен (пустые каменные коморы), прочь, сквозь, и вниз под сеть, вниз, вниз в ряды восстания.

Среди эха с колкими кромками, Титан ворочается глубоко внизу. Это присутствия, которых нам не положено видеть—бога ветров, бога холмов, бога закатов—от которых мы тренируем себя держаться подальше, не вглядываться, хотя немало кто из нас не слушаются, оставлять Их поразительные голоса за спиной, в сумерках на краю города и двигаться в вечно нараспах плаще своей ночной прогулки пока

Вдруг Пан—прыжком—с лицом невыносимой красоты, прекрасный Змий, кольца его сплетаются в радугу небес—в несомненные кости страха—

Не иди домой средь ночи по пустым полям. Не заходи в лес в неверном свете, слишком позднем даже и днём—он ухватит тебя. Не сиди возле такого дерева, прижавшись щекой к его коре. Невозможно в этом лунном свете видеть мужского или женского ты пола сейчас. Твои волосы рассыпаются, серебряно белые. Твоё тело под серой тканью так явственно хрупко, осуждено на унижения снова и снова. Что если он проснётся, а тебя нет. Он теперь всегда одинаков, бодрствующим или спящим—он никогда не покидает одного единственного сна, где больше нет разницы между мирами. Танац и Маргрет были, наверное, его последней связью с прежним. Может поэтому они остались так надолго, в своём отчаянии, он хотел продержаться, он нуждался в них… но, взглядывая на них теперь, он больше их не видит, чаще всего. Они тоже теряют свою реальность, что привнесли сюда, как Готфрид утратил всю свою давно, отдав Блисеро. Теперь юноша продвигается от образа к образу, из комнаты в комнату, иногда вне действия, порой как часть его… что должен, он делает. У дня своя логика, свои потребности, ему никак не изменить этого, не уйти, не жить вне его пределов. Он беспомощен, он спеленат надёжно.

Это вопрос нескольких недель, и всё кончится, Германия проиграет Войну. Покуда что рутины неизменны. Юноша не может представить что-либо за последней капитуляцией. Если он и Блисеро разлучатся, что станет с течением дней?

Умрёт ли Блисеро, нет пожалуйста, не дай ему умереть... (Но он умрёт). «Ты переживёшь меня»,– шепчет он. Готфрид стоит на коленях у его ног, в собачьем ошейнике. Оба одеты в армейскую форму. Уже давно ни один из них не одевался женщиной. В эту ночь важно, чтобы оба они были мужчинами. «Ах, ты ж воображала, подлец эдакий...»

Это ещё какая-нибудь игра, наверное, ещё один повод для порки? Готфрид помалкивает. Когда Блисеро хочет услышать ответ, он так и говорит. Часто случается, что он просто хочет выговориться, и это может длиться часами. Никто вообще не разговаривал с Готфридом раньше, уж так получилось. Отец его только лишь командовал, оглашал приговоры, пустопорожние суждения. Мать была эмоциональной, великий поток любви, разочарованности, и тайного ужаса передался ему от неё, но, в сущности, они никогда не разговаривали. Это до того непривычно… он чувствует, что должен удерживать каждое слово, не потерять ни единого. Ему понятно, что Блисеро хочет отдать, не ожидая ничего взамен, отдать то, что любит. Он верит, что он всё ещё существует для Блисеро, даже если все остальные уже перестали, что в новом царстве, по которому они теперь продвигались, он был вторым из них, двух его обитателей. Это ли ожидается от него, что возьмёт его, примет. Семя Блисеро выплёскивается в отравленный навоз его кишечника… это пустая трата, да, бесполезность… но… как мужчина и женщина, совокупясь, сотрясаются до зубов своим приближением к вратам жизни, не чувствовал ли он нечто большее, более достойное поклонения, чем эти предуготовления для вхождения, стилизация, одежды для побоев без страстности, обычный трикотаж, бренный как шкурка змеи, привычные наручники и цепи взамен подчинения, которое он чувствует в своём сердце… всё становится театром, когда он приблизился к воротам того Другого Царства, ощутил гигантские белые сопла где-то внутри, невыразимые зверюги, замороженные добела, толкающие его прочь, гул мантии и коры тайны за пределами его убогой слышимости… должны быть эти тоже, любовники чьи гениталии посвящены дерьму, концовкам, к отчаянным ночам на улицах, когда связь выходит из-под личного контроля, продолжается или не удаётся, сборище падших—в акте смерти столько же, как и в акте жизни—или приговор остаться в одиночестве на ещё одну ночь... Неужто они не будут допущены, обойдены? отвергнуты все?

Со своим приближением к этому, взятый внутрь снова и снова, Готфриду остаётся лишь держаться открытым, расслабить сфинктер своей души...

– А иногда я мечтаю найти край Света. Открыть, что есть край. Мой горный горечавка знал это всегда. Но мне далось так дорого.

Америка была краем света. Посланием Европе, величиной с континент, такого не пропустить. Европа нашла место для своего Царства Смерти, той особой Смерти изобретённой Западом. У дикарей были свои опустошённые регионы, Калахари, озёра такие туманные, что не различить другого берега. Но Европа пошла глубже —в одержимость, зависимость, прочь от всяких дикарских невинностей. Америка стала даром от невидимых сил, путь к возвращению. Но Европа отвергла его. Не это стало Изначальным Грехом Европы—последнее из наименований которого Современный Анализ—однако, Следующий Грех труднее замолить.

В Азию, Африку, Америндию, Океанию явилась Европа и установила там свою власть Анализа и Смерти. А что не получалось использовать убивала или переделывала. Со временем смерто-колонии набрались достаточно сил, чтобы вырваться. Но тяга быть империей, миссия к распространению смерти, структура

её, сохранились. Теперь мы в заключительной фазе. Американская смерть явилась оккупировать Европу. Она научилась имперскому владычеству от своих прежних метрополий. Но нам теперь досталась лишь структура, никаких грандиозно радужных оперений, никаких заклёпок из золота, никаких эпических переходов через моря щелочи. Дикари других континентов, испорченные, но всё ещё оказывающие сопротивление во имя жизни, продолжили, несмотря ни на что… тогда как Смерть и Европа разделены как и прежде, любовь их не увенчалась браком. Смерть всего лишь только правит тут. Она никогда, по любви, не совокупилась...

Закончился ли один цикл и теперь готов начаться новый? Найдётся ли нам новый Край, наше новое Смертоцарство, на Луне? Мне снится громадная стеклянная сфера, порожняя, высоченная и очень далёкая… колонисты научились обходиться без воздуха, сплошь вакуум, внутри и снаружи... само собой, что людям уже нет возврата… все они мужчины. Есть способы вернуться, но до того усложнённые, настолько зависящие от милости языка, что пребывание обратно на Земле лишь временно, и никогда «реальное»… переходы оттуда опасны, шансы на неудачу неимоверно блестящи и глубоки... Весь путь к холодной сфере во власти Гравитации, с постоянным риском падения. Внутри колонии, десяток мужчин заиндевелой внешности, едва ли твёрдые, не более живые, чем воспоминания, ничего не потрогать… только их приблизительные образы, чёрно-белые фильмо-образы, зернистые, прерывистые год за обледенелым годом в белых широтах, в порожней колонии, с нечастыми визитами случайных, как и я...

Хотел бы я обрести всё это. Те люди однажды прошли через трагичный день—взмыв, огонь, отказ, кровь. События того дня, давно минувшего, сделали их изгнанниками навсегда… нет, они не были действительно астронавтами. Ещё здесь, они хотели нырнуть между мирами, в падение, поворот, достижение и лёт в странствиях изогнутых сквозь блеск, сквозь зимние ночи пространства—они мечтали о месте встречи, о номере на трапеции исполненном в одиночку, в стерильной грации, с полным пониманием, что никто никогда не увидит, что их любимые утрачены навеки...

Связи, на которые был ихрасчёт, всегда окажутся мимо на триллионы тёмных миль, на годы замёрзшего молчания. Но я хотел принести историю к тебе обратно. Я помню твой убаюкивающий шёпот с историями, что однажды мы будем жить на Луне… или тебе уже не до этого? Ты уже намного старше. Чувствуешь ли ты своим телом Насколько сильно я заразил тебя своим умиранием? Мне полагалось так: когда наступает тому время, думаю, всем нам полагается. Отцы носители вируса смерти, и сыновья заражены… и, чтобы инфекция была неизлечимой, Смерть в своём коварстве подстроила так, чтобы отец и сын были прекрасными друг для друга, как мужчина и женщина… о, Готфрид, да, конечно ты прекрасен для меня, но я умираю… я хочу пройти через это так честно насколько способен, а твоё бессмертие разрывает мне сердце—неужто ты не видишь почему я хочу разрушить это, о, эту глупую чистоту в твоих глазах… когда я вижу тебя на утренних и вечерних построениях, таким открытым, таким готовым

вобрать мою болезнь и дать приют ей, приютить внутри твоей ни о чём не ведающей любви...

– Твоей любви,– он несколько раз кивает. Но глаза его слишком опасно расставлены между словами, безвозвратно остолбенев далеко от настоящего Готфрида, вдали от слабых, от незадачливых реальных запахов дыхания, за барьерами неподатливыми и ясными как лёд, и безнадёжными как бесповоротное течение Европейского времени...

– Я хочу вырваться—разорвать этот цикл заражения и смерти, хочу быть принятым в любовь: принятым так, что ты и я, и смерть, и жизнь, слились бы неразрывно, в сиянии, которым бы мы стали...

Готфрид стоит на коленях, немо, в ожидании. Блисеро смотрит на него. Глубоко: лицо белее, чем юноша когда-либо видел его. Сырой весенний ветер бьёт по брезенту их палатки. Близится закат. Через минуту Блисеро выходить для принятия вечерних докладов. Его руки рядом с горкой сигаретных окурков в подносе из столовой. Его близорукие ведьмацкие глаза, сквозь толстые линзы, возможно, смотрят в Готфридовы в самый первый раз. Готфрид не может отвести взгляд. Он знает, как-то, не до конца, что должен принять решение… что Блисеро ждёт чего-то от него… но решения всегда принимал Блисеро. Почему он вдруг спрашивает...

На этом-то всё и держится. Коридоры рутины, всё ещё достаточно обоснованной, всё ещё подгоняющей нас, в общем стаде, через время… железные ракеты ждут снаружи… родильный вскрик последней весны сорвался поверх залитых дождём миль Саксонии, обочины шоссе усеяны последними конвертами, разобранными запчастями, заклинившими подшипниками, гниющими носками и кальсонами, что отдают уже грибком и грязью. Если здесь остаётся ещё надежда для Готфрида, в этот хлещущий ветром момент, значит где-то ещё есть надежда. Сама по себе, сцена должна читаться как гадальная карта: что будет. Что бы ни случилось с тех пор с фигурами в ней обозначенными (черновой этюд заеложенно белым, армейским серым, сдержанно, как набросок на разрушенной стене) она сохранилась, хотя без названия и, как и Шут, не имеет общепризнанного значения в колоде.

* * * * * * *

Вот он Тирлич, гонит свою новенькую ракету сквозь ночь. Когда идёт дождь, когда туман сгустится, прежде чем охрана успеет укрыть как надо брезентом, лоснящаяся кожа ракеты с виду явно становится цвета тёмного шифера. Наверно всё же перед самым пуском её покрасят чёрным.

Это 00001, вторая в своей серии.

Русские репродукторы через Эльбу обращались к тебе. Американские слухи приходили потрепаться у костров и вызывали, на фоне твоих надежд, жёлтые Американские пустыни, Красных Индейцев, синее небо, зелёные кактусы. Как относился к старушке Ракете? Не сейчас, когда она обеспечивает тебя надёжной работой, а тогда давно—ты хоть помнишь каково было это, выкатывать их вручную, дюжина вас в то утро, почётный караул в простом приложении ваших тел к её инерции… все ваши лица тонут в одинаково самозабвенном выражении—муары личности всё мягче, мягче, каждая волна прибоя чуть-чуть не в фокусе покуда все превратились в неуловимые градации облака—вся ненависть, вся любовь, размыты в кратком расстоянии, на которое вы должны протолкать её по зимнему уступу над водами, стареющие мужчины с полами пальто хлещущими о голенища ваших сапог, дыхания белыми струйками разбиваются в клубы, как волны у вас за спиной... Куда все вы уйдёте? В какие империи, какие пустыни? Вы ласкали её тело, звериное, морозящее сквозь ваши перчатки, тут, все вместе, без стыда или скрытности, вы, двенадцать, напрягались в любви, на этом Балтийском берегу—не Пенемюнде возможно, не официальное Пенемюнде… но однажды, годы тому назад… юноши в белых рубашках, тёмных жилетах и шапках… на каком-то пляже, детского курорта, когда вы были моложе… на Испытательной Платформе VII снимок, наконец, вы не могли оставить—ветер пах солью и умиранием, звук зимнего прибоя, предчувствие дождя, что ощущали вы затылками, шевелилось в остриженных волосах… На Испытательной Платформе VII, на святом месте.

Но молодые люди все постарели и мало осталось цвета в этой сцене… они выталкивают на солнце, слепящий свет застал их жмурящимися в ухмылках, яркий тут, как в утреннюю смену на заводе Сименс с кентаврами в схватке высоко на стене, часы без цифр, поскрипывание велосипедов, ведёрки с обедами, сумки с обедами и опущенные лица натруженных, послушных долгу потоков мужчин и женщин к тёмным входам… это напоминает Дагерротип заснятый в раннем Ракетен-Штадте забытым фотографом в 1856: тот снимок, что, фактически, убил его—он умер неделю спустя от отравления ртутью, надышавшись парами нагретого металла в своей студии… ну у него была привычка к парам ртути в умеренных дозах, он чувствовал это идёт как-то на пользу его мозгам, что и могло стать основанием для фотографий подобных «Der Raketen-Stadt»: она представляет, с высоты топографически невозможной в Германии, церемониальный Город, в четырёхкратной симметрии, как и ожидалось, сверхъестественная чёткость всех линий и оттенков архитектурных и людских, построенный в мандальной форме как деревня Иреро, над головой великолепнейшее небо, мрамор доведённый до буйства белой лавины и свечения… похоже строительство или разрушение, проводится в различных частях Города, потому что ничто не остаётся одинаковым, мы можем различить капельки пота на тёмных шеях рабочих проталкивающихся вниз в погреба с асфальтовой отмосткой… мешок цемента лопнул и его отдельные крупицы зависли на свету… Город будет постоянно меняться, новые отпечатки шин в пыли, новые обёртки сигарет в мусоре… инженерные изменения в Ракете создают новые пути обеспечения, новые распорядки жизни, отражающиеся в густоте дорожного движения рассматриваемого с этой необычайной высоты—и впрямь

существуют таблицы Функций, что увязывают такие Градо-перемены с Ракето-модификациями: не более чем производные, вообще-то, от приёмов, с помощью которых Констанс Бабингтон-Смит и её коллега Р.А.Ф. Медменхэм раскрыли Ракету по развед-аэроснимкам 1943-го над Пенемюнде.

Но вспомни, любили ли вы это. Если да, то как вы это любили. И насколько—ведь вы привыкли спрашивать «насколько», привыкли измерять, сравнивать замеры, вставлять их в формулы для определения сколько больше, сколько чего, сколько когда… а здесь, в вашем общем движении к морю, чувствуй сколько влезет ту тёмную двусмысленную любовь, которая ещё и стыд, бравада, инженерская геополитика—«сферы влияния» сведённые к торусам радиуса действия Ракеты, что параболичны в сечении…

... не, как могло бы нам представляться, ограничены снизу линией Земли «с которой поднимается» и Земли «в которую ударяет» Но Ведь Ты В Самом Деле Не Думал Что Так Правда Же Конечно Она Начинается Неизмеримо Под Землёй И Уходит Неизмеримо Обратно В Землю нам позволено видеть всего лишь пик, отрыв от поверхности, из другого молчащего мира, резко (реактивный самолёт срывающийся в сверхзвуковую скорость, через сколько-то лет космический крпаль срывающийся в сверхсветовую) Помни Пароль В Зоне На Этой Неделе БЫСТРЕЕ —ЧЕМ СВЕРХСВЕТОВАЯ По Ходу Голос Ускоряется В Разы—Линейные Исключения Лишь Для Случаев Жалоб На Верхние Дыхательные, на каждом из «концов», пойми, огромный переброс энергии: прорыв вверх в этот мир, в контролируемое горение—прорыв вниз снова, неконтролируемый взрыв… это отсутствие симметрии ведёт к предположению о наличии, подобно Эфиру, потоков во времени, подобных потокам Эфира в пространстве. Предположение Вакуума во времени вело к обособлению нас друг от друга. Но море Эфира несущее нас из-мира-в-мир может вернуть нас к неразрывности, открыть нам более благоприятную вселенную, более вольную...

Так что, да да, тут покатила схоластика, космология состояний Ракеты… это Ракета уводит на такой путь—из всех прочих—мимо этих видимых извивов змея, что всхлёстываются над поверхностью Земли радужным светом, в стальных судорогах… эти шторма, это всё в недрах Земли, о чём нам никогда не говорилось… мимо них, через стремительность, в исчисляемый космос, причудливый обшитый панелями коричневого дерева, Викторианский вид Войны Мозгов, как между кватернионами и векторным анализом в 1880-е—ностальгия по Эфиру, серебряным, маятниковым, камне-основанным, исчечено-латунным, филигранным, элегантно функциональным формам наших дедушек. Со всеми оттенками сепии, разумеется. Но Ракета должна быть множеством всего, должна соответствовать всевозможным формам в снах тех, кто входил в контакт с нею—в бою, в туннеле, на бумаге—она должна выстоять перед ересями сияющей, не сбиваемой с толку… а еретики непременно будут: Гностики привлечённые порывом ветра и огня в палаты Ракето-трона… Кабалисты, что изучают Ракету словно Тору, букву за буквой—заклёпки, чаша горелки и латунная роза, её текст для их перестановок и изыскания новых откровений, непрестанно раскрывающихся всё дальше и дальше… Манихейцы, различающие две Ракеты,

добра и зла, что говорят совместно священной идиолалией Первобытных Близнецов (некоторые утверждают что их имена Тирлич и Блисеро) про добрую Ракету, что понесёт нас к звёздам, и про злую Ракету для самоубийства Мира, обе в вечной борьбе.

Но еретики эти будут находиться и владычество молчания взрастать с падением каждого из них… их всех отыщут. Для каждого будет его персональная Ракета. В её программу отыскания цели будут загружены его ЭЭГ, всплески и шумы его пульса, призрачные цветы персонального инфракрасного, каждая Ракета будет знать своего предназначенного и охотиться за ним, преследовать его зелёно-лакированная и молчаливая охотничья собака, по нашему Миру, блестящая и заострённая в небе за его спиной, его хранитель-палач мчащий следом, мчащий всё ближе...

Задачи таковы. Проехать по железной дороге, чьи рельсы могут внезапно оборваться на речном берегу или в сожжённом депо, вдоль дорог, чьи даже грунтовые альтернативы патрулируются теперь Русскими, Британскими и Американскими войсками в ужесточающейся оккупации, страх зимы обесцвечивает людей в растущий формализм, в сбрую Бдительности, которую они игнорировали во время лета, в неуклонное следование бумажным требованиям теперь, когда цвета деревьев и кустов начинают меняться, когда пурпур выстирывается из долгих миль вереска, а ночи наступают раньше. Приходится попадать в дожди начальной Девы: дети, которые украдкой примкнули к переходу несмотря на все приказы, теперь слегли с кашлями и температурой, сопят по ночам, хриплые голоски из слишком просторных кителей формы. Заваривать им чай из укропа, буковицы, шиповника, подсолнухов, листьев просвирника—воровать сульфамидные препараты и пенициллин. Стараться не поднимать пыли, когда солнце просушит колеи и кроны к полудню опять. Ночевать в полях. Прятать секции ракеты в стогах сена, за единственной уцелевшей стеной железнодорожного склада, среди мокрых ив вдоль русла реки. Рассыпаться при малейшей тревоге, а часто и так, просто для тренировки—течь словно сеть, вниз из Гарца, вверх по оврагам, спать в сухо остекленелых местах брошенных курортов (официальная боль, официальная смерть смотрит всю ночь из фарфоровых глаз статуй) окапываться в периметрах ночлега, в запахах сосновой хвои растёртой сапогами и лопатами... Не разувериться, что это не переход в данном случае, и не борьба, но и вправду Судьба, что 00001 вскальзывает как смазанный болт в принимающую систему железной дороги подготовленной в минувшую весну, коммуникации разрушены лишь с виду, всё тщательно подготовлено Войной, специальными приёмами бомбардировки, чтобы принять эту самую машинизированную технику, Ракету—Ракету, этот самый ужасный потенциал бомбардировки…

00001 перевозится разобранной, секциями—боеголовка, управление, баки горючего и окислителя, хвостовая секция. Если смогут доставить к месту пуска, придётся собирать там.

– Покажи мне общество, что ни разу не говорило «я создано среди людей»,– Кристиан шагает с Тирличым в полях повыше привала,– «чтобы защитить каждого из вас от насилия, дать убежище в час катастрофы», но Тирлич, какая там защита? Что может защитить нас от этого?– указывает в долину на сети серо-жёлтеющей маскировки, сквозь которую оба, рентгеноглазые для единственно этого путешествия, видят насквозь...

Тирлич и молодой человек как-то втянулись в эти затяжные прогулки. Никакого умысла ни с одной стороны. Так и возникает преемственность? Каждый начеку. Но уже нет прежних неловких молчаний. Никакого соперничества.

– Это приходит как Откровение. Показывает, что никакое общество не может защитить, никогда не могло—такая же нелепость как щиты из бумаги... — Он должен пересказать Кристиану всё, что знает, всё, о чём подозревает или мечтал. Не выдавая ничего за истину. Но он не должен ничего сохранить для себя. Нет ничего личного для хранения. «Они лгали нам. Им не под силу не позволить нам умереть, значит они лгали про смерть. Система самообеспечивающего вранья. Что, хоть когда-нибудь, дали Они нам взамен веры, любви—Они лишь произносят «любовь»—и за это мы должники Их? Разве могут Они уберечь нас хотя бы от простуды? От вшей, от одиночества? Хоть от чего-нибудь? До Ракеты мы верили, потому что хотели этого. Но Ракета может грянуть, с неба, в любую заданную точку. Не осталось безопасных мест. Мы не можем верить Им больше. Нет, если мы ещё в своём уме и любим истину.

– Один к одному,– кивает Кристиан.– Это про нас.– Он не взглядывает на Тирлича для подтверждения, при этом.

– Да.

– Тогда… в отсутствие веры…

В одну из ночей, под дождём, их лагерь-корраль остановился на ночёвку в брошенном исследовательском центре, где Немцы, под конец войны, разрабатывали звуко-смерть. Высокие параболоиды из бетона расставлены, белые и монолитные, на равнине. Идея в том, чтобы устраивать взрыв перед параболоидом в точке фокуса. Бетонное зеркало отразит затем взрывную волну, уничтожая всё на своём пути. Тысячи морских свинок, собак и коров были экспериментально взорваны тут насмерть—кипы данных о кривой смертности собраны. Но проект оказался дохлым номером. Хорош лишь на близком расстоянии, и быстро достигаются точки спада, где количество необходимой взрывчатки можно применить и по-другому. Туман, ветер, едва заметные складки или выступы в местности, что угодно отклоняющееся от идеальных условий, могло разрушить смертоносную форму взрывной волны. Однако, Тирлич может представить войну, место для их применения,– пустыня. Замани врага в пустыню. Калахари. Дождись когда не будет ветра».

– Кто станет воевать за пустыню?– хочет знать Катье. На ней зелёный дождевик с капюшоном, по виду был бы велик даже на Тирлича.

Кристиан сидит на корточках глядя вверх на бледную дугу рефлектора, у основания которого они собрались, в дождь, курят вместе, на минуту отделившись от перехода,– «не 'за'. Он говорит ‘в’»

Впоследствии меньше хлопот, если исправляешь Тексты как только они произнесены. «Спасибо»,– грит Оберст Тирлич.

Метров за сто дальше, нахохлившись в другом параболоиде, за ними наблюдает толстый ребёнок в серой куртке танкиста. Из его кармана выглядывают пара залохмаченных ярких глазков. Это толстый Людвиг и его пропажа, лемминг Урсула—он нашёл её, наконец, всё-таки и несмотря ни на что. Около недели они тащились за переходом, чуть за пределами видимости, следуя за Африканцами каждый день… среди деревьев поверх привалов, у края костров по ночам, Людвиг тут, смотрит… накапливает данные, или условия уравнения… мальчуган и его лемминг, гуляют осмотреться в Зоне. В основном, насмотрелся много жевательной резинки и много иностранного хуя. А как ещё перебиться беззаботному ребёнку посреди Зоны в эти дни? Урсула сбереглась. Людвиг угодил в судьбину горше смерти и усвоил, что можно договариваться. Так что не все лемминги бросаются со скалы, и не все детишки избегают того, чтобы свернуться калачиком в доходном грехе. Ожидать чего-то большего, или меньшего, от Зоны, значит переть против условий Сотворения.

Когда Тирлич едет в передней машине у него привычка грезить, неважно болтает водитель или нет. Ночью, фары не включены, туман достаточно крупный, чтобы моросить или, время от времени, тереться как мокрый шёлковый шарф об лицо, внутри и снаружи одна и та же температура и темень, сходные балансы позволяют ему дрейфовать на грани пробуждения. Руки-ноги упираются, как у перевёрнутого жука, в резиново-стеклянистую поверхность-натяжение между обоими уровнями, увязая в ней, в неге сна кисти и ступни становятся сверхчувствительными, хорошая, по-домашнему, дрёма без горизонтальности. Мотор краденого грузовика приглушён старыми матрасами, увязанными на капот. Генрик Заяц, за рулём, держит опытный глаз на датчике температуры. Его зовут «Зайцем», потому что он никогда не понимает порученного как надо, как в старинной истории Иреро. Так вымирает почтительность.

Фигура возникает на дороге, фонарь кружит медленно. Тирлич отстёгивает слюдяное окошко, свешивается в тяжкий туман и восклицает «быстрей, чем скорость света». Фигура машет проезжать. Но на последнем краю взгляда обернувшегося назад Тирлича, в отсвете фонаря изморось облепляет чёрное лицо крупными каплищами, так вода пристаёт к чёрному гриму, но не к Иреро коже—

– Получится тут развернуться?– Откосы обочин коварны, и они оба знают это. Позади, со стороны лагеря линия плавно-волнистой равнины полыхнула гулкой абрикосовой вспышкой.

– Блядь,– Генрик Заяц врубает заднюю, ожидая приказов Тирлича, пока они медленно едут задом-наперёд. Тот с фонарём мог быть просто разведчиком, возможно вражеских скоплений нет на мили вокруг. Но—

– Тут.– Возле дороги тело навзничь. Это Мечислав Омузире с тяжёлым ранением головы.– Заберём его, давай.– Они поднимают его в кузов фырчащего грузовика, прикрывают до половины. Нет времени проверять насколько он плох. Чернолицый часовой исчез вовсе. Со стороны, куда они едут на задней скорости, доносится сухой треск автоматных очередей.

– Нам так и ехать туда задом?

– Миномётный огонь был?

– После стрельбы? Нет.

– Андреас, значит, справился.

– О, с ними всё будет в порядке, Нгуарорерue. Я беспокоюсь про нас.

Орутйене убит. Окандио, Екори, Омузире ранены, состояние Екори критическое. Нападали белые.

– Сколько.

– С дюжину, наверное.

– Мы не можем рассчитывать на безопасный периметр,– сине-белый фонарик разливает эллипс-в-параболу по вздрагивающей карте,– до Брауншвига. Если даже и там.– Дождь бьёт по карте громкими шлепками.

– Где железная дорога?– вставляет Кристиан. Ему достаётся заинтересованный взгляд от Андреаса. Это у всех. Тут повальный интерес ко всему в последнее время. Железная дорога в 6 или 7 милях к северо-западу.

Люди подходят свалить свои пожитки рядом с тягачом-подъёмником ракеты. Валят молодые деревца, каждый удар громок и гулок… сооружается каркас, скатки одежды, кастрюли и чайники подкладываются тут и там под длинный брезент между гнуто-деревцовыми ребро-обручами, симулируя части ракеты. Андреас командует: «Все, кто пойдёт с макетом, собраться у прицепа с кухней»,– роется по карманам за своим списком. Отвлекающий переход направится к северу, не слишком крутая перемена курса—остальные свернут на восток, обратно в сторону Русской Армии. Если они хорошо приблизятся, Американским и Британским войскам придётся осторожничать. Возможно, получится пройти вдоль

интерфейса, как в скольжении по краю грозового фронта… до конца между армиями Востока и Запада.

Андреас сидит, болтая ногами, и бьёт в задний борт бам… бам… сигнал к выступлению. Тирлич вопросительно смотрит вверх. Андреас хочет сказать что-то. Наконец: «Кристиан идёт с тобой, значит?»

– И что?– Помаргивает из-под бровей в капельках дождя.– О, ради Бога, Андреас.

– А? Отводящим тоже ведь надо прорваться, верно?

– Слушай, бери его с собой, если хочешь.

– Я просто хотел узнать,– Андреас пожимает плечами,– на чём остановились.

– Мог бы меня спросить. Ни на чём не «останавливались».

Тирлич опускается на колени и начинает поднимать увесистое железо заднего борта. Он знает до чего фальшиво это смотрится. Кто поверит, что он всем сердцем хочет быть одним из них, множественного Смирения, лишённого сна, открытого смерти, боли по всей Зоне? Обойдённые, которых он любит, зная, что никогда не сможет стать одним из них... Цепи тарахтят над ним. Когда край борта вровень с его подбородком, он взглядывает вверх в глаза Андреаса. Руки напряжены. Боль в локтях. Это жертвоприношение. Он хочет спросить, Сколько ещё остальных списали меня? Есть ещё судьба, к которой только меня держали слепым? Но привычки не сдаются, в их жизни. Он с трудом поднимается на ноги, молча, подтягивая мёртвый груз, захлопывая на место. Вместе, они просовывают болты в каждом углу. «Там встретимся»,– Тирлич машет, и отворачивается. Он глотает Германский дезоксиэфедрин, затем забрасывает в рот плитку жевательной резинки. Торопливость заставляет зубы пробуксовывать, резинка жуётся буксующими зубами, жевание резинки это техника разработанная женщинами за время минувшей войны, чтобы сдерживать плач. Не то, что ему хочется плакать от расставания. Ему хочется заплакать по самому себе: о том, что должно, как все они верят, случиться с ним. Чем больше они в это верят, тем больше шансов, что так и будет. Его народ хочет его уничтожить, если получится...

Чвак, чвак, ммм, добрый вечер дамы, красиво получилась эта вязка, Любика, как голова Мечислава, могу поспорить они ошалели, как увидали, что пули рекошетят от неё! хех-хех, чвак, чвак, привет «Искры» (Озохаде), что-нибудь слышно из Гамбурга про жидкий кислород, чёртов Оуруру, что он молчит-то, пусть бы поторопился, не то заморимся прятаться пока он—о, блядь, а это тут кто—

Это Джозеф Омбинди, вот кто, предводитель Пустых. Но пока он не перестал улыбаться, целых пару секунд, Тирлич думал это дух Орутйене. «Говорят, ребёнок Окандио тоже убит».

– Зря говорят.– Чвак.

– Она была моей первой попыткой не допустить рождения.

– Тогда ты до смерти заинтересованное лицо,– чвак, чвак. Он знает, что это не так, но этот человек его раздражает.

– Самоубийство это свобода доступная даже самым приниженным. Но ты бы отказал в этой свободе людям.

– Хватит идеологии. Скажи-ка лучше, когда твой друг Оуруру собирается выкатить генератор ЖК. Или меня ждёт милый сюрприз в Гамбурге.

– Хорошо, хватит идеологии. Ты бы отказал своему народу в свободе, которая достаётся даже тебе, Оберст Нгуарореруе.– Опять улыбается как призрак человека погибшего этой ночью. Выискивает место, прощупывает что? Что? Хочет сказать этим что, Оберст? Пока не видит усталость в лице Тирлича и понимает, что это не подвох. – Свобода, которую ты скоро можешь получить. Я слышу, как душа твоя говорит во сне. Я знаю тебя как никто.

Чвак, чвак, о я должен дать ему список вахт, не так ли. О, ну и дурак же я. Да он ведь может выбрать ночную... «Ты галлюцинация, Омбинди»,– вкладывает столько паники в свой голос, что если даже не сработает, всё равно будет достаточно оскорбительным: «Я составляю список моих собственных пожеланий смерти, а она, выходит, она на тебя похожа. Уродливей, чем мне даже снилось».– Уделяет ему Улыбку Космонавта на целых 30 секунд, через 10 из которых Омбинди уже отвёл глаза, вспотел, стянул губы, глянул в землю, отвернулся в сторону, посмотрел назад, но Тирлич всё длит её, никакой милости сегодня, народ мой, Улыбка Космонавта обращает всё в радиусе мили в цвета обледенелого мороженого ТЕПЕРЬ раз мы все в настроении, почему бы не закрыть батареи крышками, Джуро? Так и есть, рентгеновское зрение, увидел сквозь брезент, запиши это как ещё одно чудо… а ты Власта заступишь на следующую радиовахту, забудь что там стоит в списке, в Гамбург готовились не больше, чем рутинные сообщения, и я хочу знать почему, хочу знать что передаётся, когда на вахте люди Омбинди… связь на частоте командования переходом ведётся морзянкой, точками и тире—не выдать и одного голоса. Но радисты клянутся, что могут распознать руку передающего по почерку. Власта одна из лучших его радисток, и она умеет отлично подделывать почерк большинства людей Омбинди. Так натренирована, на всякий случай.

Остальные, кто всю дорогу думали, пойдёт ли Тирлич вообще на Омбинди, теперь получили ответ из выражения на его лице и по походке—Так что, не более чем прикосновениями к козырьку своей фуражки, что сигналят План Такой-то-и-Такой-то, люди Омбинди, по тихому, без насилия, освобождены от всех дежурств на сегодня, хотя оружие и боеприпасы при них. Никто и не забирал. Нет причин. Тирлич не более уязвим сейчас, чем когда-либо, что случалось не раз.

Толстый малыш Людвиг белый светлячок в тумане. Игра в том, что он лазутчик большой белой армии, всегда на его фланге, готовы спуститься с холмов по слову

от Людвига и размазать чёрных по земле. Но он никогда не позовёт их вниз. Лучше он будет идти с переходом, невидимо. Тут в долинах его не обижают. Их странствие не включает его. Им есть куда идти. Он чувствует, что должен идти с ними, но отдельно, чужой, не больше или меньше зависимый от милости Зоны...

*** * * * * * ***

Это мост над потоком. Очень редко кто-нибудь проезжает над головой. Когда смотришь вверх, то видно целый склон деревьев с шишками, возносятся прочь вдоль одной стороны дороги. Деревья скрипят горестно от раны пролёгшей через их местность, их территорию в земном покрове. Коричневая форель промелькивает быстро в потоке. Кто-то из ютившихся под мостом оставили письмена на влажной арке стены. *Забери меня, Хромоногая, чего тянешь? Ничего хуже, чем эти дни. Ты будешь как тихий сон. Разве это не просто сон? Пожалуйста. Приходи скорей—Рядовой Рудольф Эфиг, 12.IV.45*. Рисунок, чёрным гримом Командосов, Мужчина вглядывается в цветок. В отдалении, или же помельче, похоже, женщина, подходит. А может что-то типа эльфа или ещё там что. Мужчина не смотрит на неё (или него). На среднем плане стога сена. Цветок в форме пизды молодой девушки. Есть светило смотрящее с неба вниз, лицо в нём совершенно бесстрастно, как у Будды. Пониже, кто-то другой приписал, на Английском: *Хороший рисунок! Закончи!* А под этим, другими почерками, *Он ЗАКОНЧЕН, ты, придурок. Сам дурак*. Рядом, на Немецком*, Я любил тебя Лизель всем своим сердцем*—никакого имени, звания, подразделения или серийного номера… Инициалы, крестики-нолики игранные, сразу понятно, самим с собой, игра в висельника, где предложенное слово так до конца и не разгадано: GE_ RAT _ а повешенное тело виднеется аж под другим краем моста, даже в такую рань, потому что это узкая дорога без особо уплотнённой тени. Велосипед не полностью спрятан травой у обочины дороги. Поздняя бабочка, бледная как веко глаза, помаргивает бесцельно над копнами нового сена. Высоко на склоне, кто-то вгоняет топор в живое дерево… и это именно тут и когда юная ведьма находит Вацлава Чичерина, наконец.

Он сидит над потоком, не удручённый, не упокоенный, просто ждёт. Пассивный соленоид в ожидании подключения. На её шаги, голова его приподымается и он видит её. Она первое существо с прошлой ночи на кого он взглянул и увидел. Это сделано ею. Заклинание, что она произнесла при этом, повязав шёлковой бубну выдранную из её лучших трусиков на глаза куклы, его глаза, Восточные и плывучие, хотя они были всего лишь прочерчены по глине её длинным ногтем, было таковым:

Пусть он будет слеп теперь ко всем кроме меня. Пусть обжигающее солнце любви сияет в его глазах всегда. Пусть это, моя собственная тьма, укроет его. Всеми святыми именами Бога, Ангелами Мелкхидаелом, Йахоелом, Анафилем, и великим Метатроном, я заклинаю тебя и всех, кто с тобой, пойти и исполнить мою волю.

Секрет в сосредоточенности. Она отрешает всё прочее: луну, ветер в можжевельниках, диких псов, что бродят в ночи. Она прикипает к припоминанию Чичерина и его уклончивых глаз, и даёт нарастать этому, соразмеряя свой оргазм с ритмом заклинания, так что под конец, выкликая последние Имена Сил, она визжит, кончает не пособляя себе пальцами, которые вскинуты к небу.

Позже она разламывает кусок волшебного хлеба пополам и съедает одну часть. Другая для Чичерина.

Он принимает сейчас этот хлеб. Поток течёт. Щебечет птица.

Ближе к ночи, любовники лежат голыми на холодной траве берега, слышат шум колонны приближающейся по узкой дороге. Чичерин натягивает штаны и подымается наверх посмотреть получится ли выпросить еды и сигарет. Чёрные лица минуют его, мба-кайере, некоторые взглядывают с любопытством, другие слишком заняты своей усталостью, или внимательно охраняют прицеп с секцией боеголовки от 00001. Тирлич на своём мотоцикле останавливается на минутку, мба-кайере, перемолвиться с небритым белым в шрамах. Они на середине моста. Говорят на ломаном Немецком. Чичерину удаётся выцыганить полпачки Американских сигарет и три сырые картофелины. Двое мужчин кивают, не слишком формально, не слишком улыбчиво, Тирлич отпускает сцепление своего мотоцикла, держит путь дальше. Чичерин закуривает сигарету, глядя им вслед, дрожит в сумерках. Потом он идёт обратно к молодой девушке возле потока. Они должны раздобыть топлива для костра прежде, чем совсем стемнеет.

Это магия. Несомненно—но не обязательно, фантазия. Конечно же, не впервые человек проходит мимо своего брата, на краю вечера, часто навсегда, не догадываясь об этом.

*** * * * * * ***

Теперь город настолько вырос в высоту, что лифты оснащены для долгого пути, с залами внутри: набивные кресла и скамьи, бары лёгкой закуски, газетные киоски, где можешь перелистать целый номер журнала Life между остановками. Для малодушных, которые со входа начинают отыскивать Сертификат об Испытаниях, на борту лифта имеются молодые женщины в зелёных заморских шапочках, зелёных бархатных басках и сужающихся брюках в жёлтую полоску—эффект женственного зута—которые хорошо натасканы по всем вопросам лифтоведения и чья работа расслабить вас: «В начальную эпоху»,– выдаёт Минди Блот из Карбон-Сити, Иллинойс, отсутствующе улыбаясь в профиль, вблизи латунного муара алмазных бликов пролетающих, пролетающих вертикальными тысячами—её взрослеющее лицо, мечтательное и практичное как у Королевы Кубков, никогда не оборачивается к вам полностью, всегда в преломлении прочь под определённым углом в коричнево-золотистом пространстве между вами… сейчас утро и цветочник в конце лифта, парой ступенек ниже, за небольшим фонтаном,

принёс сирень с ирисами, свежие и ранние—«до Вертикального Решения весь транспорт был, фактически, двумерным—ах, я догадываюсь о чём вы хотите спросить»—покуда улыбка, знакомая и непреломленная для того давнего лифтного завсегдатая, проходит между девушкой и мудозвоном—«'Как же насчёт полётов на аэропланах, а?' Вот что вы хотели спросить, правда же!»– на самом деле, он собирался спросить про Ракету и всем известно это, однако на данной теме табу, любопытно с чего бы, и вежливая Минди дала сейчас возможность реального нарушения, нарушить подавление—обесцвеченное утреннее небо Сентября обращённое к восходу, и шершавый край утреннего ветра—в этот интимно кубическом интерьере скользящем так гладко вверх через пространство (пузырёк подымающийся в Кастильском мыле где всё вокруг него озарено зелёным неторопливой подсветки), через уровни с бурлением голов оживлённее, чем в сперме и яйцах в море, мимо некоторых уровней без освещения, без отопления, как-то под запретом, что смотрятся странно опустошёнными, уровни где никто не бывал с Войны аааааа-аххх! С воем проносятся мимо, «обычный аэродинамический эффект»,– объясняет терпеливая Минди,– «включая наш собственный пограничный слой и форму отверстия, через которое проходим—» «О, выходит пока не войдём»,– заводится ещё один приставала,– «форма другая?» «Ага, и после как пройдём тоже, Мак».– Минди отшивает его, широко изображает то же самое своим ртом, надуть-расслабить-улыбнуться—эти рваные провалы воют, воют заброшено и сдавленно, этажи уже ушли ниже подошв твоих туфель, вой гнётся ниже, как нота гармоники—но почему ни один из занятых этажей не производит звука пролетая мимо? В огнях с тёплым сиянием как на рождественских вечеринках, этажи манящие тебя в гущу стеклянных граней или занавесей, добродушных кофейников, ворчания, да чёрт побери, ещё один день наступает, привет Мари, куда это вы дамочки запрятали чертежи SG-1 . . . что значит Полевая Служба забрала их… опять? Разве Инженерный Дизайн совсем прав не имеет, всё равно что смотреть как убегает твой ребёнок, видеть часть оборудования отправляемого в Поле (Der Veld). Точь-в-точь. Разбитое сердце, материнская молитва... Постепенно, голоса Клуба Развесёлой Гитлеровской Молодёжи Любека стихают позади (нынче парни поют в офицерских клубах по всей Зоне под своим дорожным именем, «Кожештанники». Они одеты соответственно и поют—когда публика в настроении—спиной к слушателям, их хитрые личика обёрнуты поверх плечей флиртовать с вояками:

Но горше, чем Мамины слёзы,

Порка Маманьки моей...

с прекрасно скоординированным вилянием при этом каждой парой половинок зада под лоснящейся кожей настолько тесной, что малейший напряг ягодичных мускулов отчётливо виден, и можешь побиться об заклад нет хуя в помещении, что не дрогнул бы при этом зрелище, и вряд ли хоть единому глазу не примерещилась та материнская розга, впивающаяся в каждый голый зад, прелестные красные полосы, строгое и прекрасное женское лицо, в улыбке книзу сквозь приспущенные ресницы, лишь блик света из каждого глаза—когда ты начинал учиться ползать, её икры и ступни видел ты больше всего—они сменили

её груди как источник сил, когда ты узнал запах её кожаных туфель, и суверенный запах поднимался насколько у тебя хватало глаз—до её колен, а возможно—в зависимости от моды в том году—до её ляжек. Ты был младенцем в общении с ногами из кожи, с кожаными ступнями…).

– Невозможно разве,– шепчет Танац,– что все мы научились той классической грёзе у маминых колен? Что где-то меж страниц плюшевого альбома в мозгу всегда найдётся кроха в одёжках Фонтлероя, милая француженка-служанка умоляющая, чтобы её высекли?

Людвиг отводит свой довольно жирный зад из-под руки Танаца. У обоих имеются периметры, которые им не положено пересекать. Но они отползли однажды прочь, на клочок интерфейса, холодные заросли, где они утоптали место посередине, чтобы лечь. «Людвиг, немножко Садо-Маза никогда никому не повредит».

– Кто это сказал?

– Зигмунд Фрейд. Откуда мне знать? Но почему нас приучили чувствовать рефлективный стыд, стоит лишь затронуть эту тему? Почему Структура позволяет всякий иной вид сексуального поведения кроме такого? Потому что покорность и владычество именно те ресурсы, что обеспечивают само её существование. Их нельзя растрачивать на приватный секс. На секс любого вида. Ей нужна наша покорность, чтобы она оставалась у власти. Ей требуется наша тяга к владычеству, чтобы она смогла вобрать нас в свою собственную игру власти. В ней нет радости, одна только власть. Я тебе говорю, если бы Садо-Маз можно было ввести повсеместно, на семейном уровне, Государство усохло бы.

Это Садо-анархизм, и Танац его ведущий теоретик в Зоне нынче.

Вот и Люнебург Хит, наконец. Встречи состоялись прошлой ночью с группами доставлявшими баки топлива и окислителя. Группа хвостовой секции всё утро выходила на радиосвязь, стараясь определить местоположение, если только небо расчистится. Так что сборка 00001 производится географически, Диаспора устремляется вспять, семена изгнания летят внутрь в скромном предварительном просмотре гравитационного обвала, Месианского сбора среди рассыпанных искр...

Помнишь историю про малыша, который терпеть не может креплах? Ненавидит и боится это блюдо, покрывается той жуткой зелёной сыпью, что переходит в рельефные карты по всему телу, от одного лишь вида креплаха. Мать ребёнка ведёт его к психиатру. «Страх неизвестности»,– ставит диагноз эта серая знаменитость,– «пусть он увидит, как вы готовите креплах, чтоб перестал бояться». Дома, с Матерью на кухню. «Сейчас»,– грит Мать,– «приготовлю нам вкусненький сюрприз». «Ух-ты!»– кричит малыш,– «классно, Мамуля!» «Смотри, я просеиваю муку и соль в одну миленькую кучку». «А это что, Мам, гамбургер?» «Гамбургер и лук. Я всё обжариваю на этой сковородочке». «О-йой, не могу дождаться! Как здорово! А что ты теперь делаешь?» «Делаю маленький вулканчик

тут в муке и разбиваю туда яйца». «Можно я помогу тебе месить? Ух-ты!» «Теперь, я буду раскатывать тесто, видишь? в хорошенький плоский лист, вот нарезаю квадратиками—». «Здоровски, Мам!» «Теперь я ложечкой немножко гамбургера в этот квадратик, сворачиваю треуг—» «ГААХХХХ!»– визжит малыш в абсолютном ужасе,– « *креплах!*»

Подобно тому, как некоторые тайны были даны Цыганам на сохранение от центробежной Истории, а какие-то кабалистам, Храмовникам, Розокрестцам, с тем, чтобы этот Секрет Ужасной Сборки, и другие, просочились бы в неувядающие пространства того или иного Этнического Анекдота. Есть также история про Тайрона Слотропа, который был послан в Зону присутствовать на его собственной сборке—возможно, нашёптывают тяжко параноидные голоса, на сборке его времени—и тут полагается концовка с сюрпризом, но её нет. План сорвался. Он вместо этого разбился на части и рассеялся. Его карты были разложены, в Кельтском стиле, в порядке предложенном мистером А. Е. Вэйтом, разложены и прочитаны, но это карты пропойцы и слабака: они указывают лишь на долгое и шаркающее будущее, на бездарность (не только в его жизни, но и, хех, хех, его хроникёров тоже, да да, ничего подобного перевёрнутым 3 из Пентакла покрыть сигнификатор при второй попытке, вот и отправлен ты к телеку смотреть седьмой повтор Шоу Такеши и Ичизо, закури сигарету и забудь всё это дело)—никакого несомненного счастья или искупительного катаклизма. Все сулящие ему надежду карты вверх ногами, наибольший прокол в Повешенном, который должен бы висеть головой вниз вообще-то, повествуя о своих тайных надеждах и страхах...

– Никогда не существовал никакой Д-р Джамф,– выразил своё мнение всемирно известный аналитик Мики Вакстри-Вакстри,– Джамф был всего-навсего фикцией, чтобы помочь ему разъяснить то, что он чувствовал так жутко, так непосредственно в своих гениталиях из-за тех ракет всякий раз, как начинали взрываться в небе… помочь ему отвергнуть с чем никак не мог согласиться: что он, возможно, влюблён, сексуально влюблён в свою, и всей его расы, смерть.

– Эти ранние Американцы, по своему, являлись захватывающей комбинацией незрелого поэта и психического инвалида...

– Нас никогда не интересовал Слотроп qua Слотроп,– представитель Противодействия признал недавно в интервью для *Журнал Уолл-Стрит.*

Интервьюер: Вы имеете ввиду, стало быть, что он был скорее точкой схождения.

Представитель: Нет, даже и не это. Мнения, даже в самом начале, разделились. Это оказалось одной из наших фатальных слабостей. [Я уверен вам хотелось бы услышать про наши фатальные слабости.] Некоторые называли его «поводом». Другие чувствовали, что он являлся истинным, один-к-одному, микрокосмом. Микрокосмисты, как вам должно быть известно из стандартных пересказов, сорвались в преждевременный старт. А мы—это была очень странная форма преследования еретиков, честное слово. Через Нижние Страны, летом. Оно

велось в полях ветряных мельниц, в болотах, где было слишком темно, чтобы хорошенько прицелится. Вспоминаю случай: когда Кристиан нашёл старый будильник, и мы ободрали радий, чтобы покрыть цепочки спуска воды. Они светились в сумерках. Вы видели такие запирающие пробки, руки характерно собраны в паху. Тёмная фигурка с люминесцирующей струёй, что падает на землю метров за пятьдесят… «Явление, ссущее», это стало дежурной шуткой среди обучающихся. Заеложена до блеска по всему Ракетен-Штадту, можно сказать... [Да. Круто сказано. Я выдаю их всех… самое худшее, мне известно что нужно вашим редакторам, что в точности им нужно. Я предатель. Ношу это в себе. Ваш вирус. Распространяемый вашими неутомимыми Тифозными Мэри, что шатаются по маркетам и станциям. Нам таки удалось устроить засаду на некоторых из них. Мы однажды застукали нескольких в Подземке. Это было ужасно. Моя первая кровь, моё посвящение. Мы гнались за ними в туннелях. Прямо-таки чувствовали их страх. На развилках туннелей нам оставалось полагаться лишь на обманчивую акустику Подземки при выборе. Легко было заблудиться. Освещения почти никакого. Рельсы отблескивают, как с ними бывает на поверхности дождливыми ночами. И тот шёпот тогда—тени, что дожидались, изломанно крючились на станциях ремонтников, лежали вдоль стен туннелей, следили за погоней. «Конец лишком далеко»,– шептали они,– «Вернись. На этой ветке нет остановок. Поезда пробегают и пассажиры проезжают мили глухих горчичных стен, но остановок нет. Это затяжной проезд в половину дня...» Двое из них скрылись, но мы взяли остальных. Между двух станционных отметок, жёлтым мелом по годам смазки и проездов, 1966 и 1971, я вкусил свою первую кровь. Вы хотите и это вставить?] Мы пили кровь наших врагов. Поэтому Гностики такие на вид измождённые. Таинство Евхаристии на самом деле в том, чтобы пить кровь врагов. Грааль, Санграаль, кровавый двигатель. С чего ещё его скрывали бы так свято? Зачем почётному чёрному караулу ехать через полконтинента по разнесённой в щепы Империи, каменный день за зимней ночью, всего лишь приложиться к сладкому краю убогой кружки? Нет, они несли смертный грех: поглотить врага, вниз в скользкие соковыделения, чтобы разошлось по всем клеткам. Ваш официально определённый «смертный грех», вот зачем. Грех против вас. Раздел в вашем уголовном кодексе, всего-навсего. [На самом деле грех на вас: запретить такое единение. Провести ту черту. Объявить нас худшими, чем враги, которые вообще-то увязли в тех же областях дерьма—сделать нас чужаками.

Мы пили кровь наших врагов. Кровь наших друзей мы смаковали.]

Экспонат Т-1706.31, Фрагмент Нижней Рубахи, Собственность Флота США, с коричневым пятном, предположительно крови, от низа слева к верху справа.

Не включён в Книгу Памятных Вещей данного приложения. Кусок ткани был передан Слотропу Моряком Бодвайном, однажды ночью в Баре Чикаго. По-своему, тот вечер явился повторением их первой встречи. Бодвайн, дымящийся толстый косяк засунут под струны на грифе гитары, горестно поёт песню, отчасти

Роджера Мехико, отчасти некоего безымянного моряка, что застрял в Сан-Диего военной поры.

На прошлой неделе я бросил тортом в чью-то Маму,

На прошлой неделе вкоромыслил гулянку себе по уму,

Последне', что помню, 6:02 верезжал над моей головой,

А мож' то даж' был уж' 11:59…

[Припев]:

Слишком много обвязанных цепью оград вечерами,

Слишком много людей дрожат под дождём,

Мне сказали, ты всё же заводишь ребёнка,

И вряд мне когда доведётся побыть с тобою вдвоём.

Иногда мне охота обратно на север,

Иногда на восток мне охота, проведать родню…

Иногда я уверен, что мог бы почти быть счастливым

Если б знал, ты меня вспоминаешь, хоть раз на дню...

У Бодвайна есть пищик-сирена того типа, ради которых ребятишки посылают крышки от коробок с кашей, ловко вставленный себе в жопу, так что он может запускать его, всякий раз пёрданув с определённой магнитудой. Он здорово наловчился перемежать свою музыку этими выперднутыми УУИИИИииии, теперь работает над тем тем, чтобы они звучали в правильной тональности, новейшая рефлективная дуга, ухо-мозг-руки-жопа, и возвращение в невинность тоже. Толкачи в эту ночь все торгуют малость тормознуто. Сентиментальный Бодайн думает это оттого, что они слушают его песню. Может и слушают. Вязанки свежих листьев Коки, только что из Анд, превращают заведение в какой-то гулкий Латинский склад, накануне революции, которая никогда не наступит ближе, чем дым грязнящий небо над тростниками, иногда, в долгие кружевные послеполудни у окна...

Уличные пострелята заняты Рутиной Работящего Эльфа, оборачивают каждый листок вокруг бетельного орешка в аккуратный пакетик для жевания. Их покрасневшие пальцы живые уголья в тени. Моряк Бодайн поднимает взгляд вдруг, умудрённое, небритое лицо ужалено всем дымом и невниманием в комнате. Он смотрит прямо на Слотропа (будучи одним из немногих, кто ещё в состоянии видеть Слотропа как целостное существо по-прежнему. Большинство остальных давно оставили попытки удерживать его воедино, хотя бы даже как понятие—«это стало слишком отдалённым»,– всё что они обычно говорят.) Почувствовал ли сейчас Бодайн, что его собственная сила однажды вскоре может оказаться недостаточной: что скоро, как всем остальным, ему придётся

отпустить? Но кто-то же должен удерживать, не может же это случиться со всеми нами—нет, это было бы уже чересчур... Ракетмэн, Ракетмэн. Несчастный ты долбоёб.

– Слушай сюда. Я хочу, чтоб ты взял это. Понимаешь? Это тебе.

А он вообще может слышать? Может видеть эту тряпку, это пятно?

– Слушай, я был там, в Чикаго, когда они устроили засаду на него. Я был там в ту ночь, чуть дальше от Биографа, я слышал стрельбу, всё. Блядь, я был просто салага, я подумал на то и свобода, вот я и сорвался бежать. Я и пол-Чикаго. Из баров, туалетов, аллей, дамы вздёргивали свои юбки повыше, чтобы шибче бежать, мисус Кродобли, которая пила без продыху всю Большую Депрессию, дожидаясь, когда пробьётся луч солнца, и кто бы подумал, половина моего выпускного класса на Великих Озёрах, в синих парадках с такими же отпечатками кроватных пружин как у меня, а там заслуженные проститутки и педики в оспинах, с дыханием вонючим как нутро у рукавицы машиниста, старушки с Задворков, девчушки только что из кино со всё ещё холодным потом на их ляжках, корифан, все были там. Они сдёргивали одежду, вырывали чеки из чековых книжек, отрывали куски газет друг у друга, лишь бы им нашлось, чем промакнуть кровь Джона Дилинджера. Мы обезумели. Агенты не вмешивались. Просто стояли, а дым ещё курился из их стволов, покуда люди все набросились на ту кровь на улице. Наверно, я поддался не думая. Но в этом было что-то ещё. Что-то наверное нужное… поэтому я отдаю это тебе. Окей? Это кровь Дилинджера тут. Была ещё тёплой, когда я собирал. Им не хотелось бы, чтоб его ты считал чем-то ещё, кроме как «обычным преступником»—но голова у Них слишком высоко над Их жопой—он всё же сделал то, что сделал. Пошёл и отмутузил Их прямо в сортирной уединённости Их банков. Какая разница о чём он думал, раз это ему не мешало? А и неважно почему мы это делаем, тоже. Роки? Да не нужно нам резонных оснований, а просто лишь та милость. Физическая милость, чтоб всё получилось. Храбрость, мозги, конечно, Окей, но без той милости? Забудь и думать. Ты когда-нибудь—пожалуйста, ты слушаешь? Эта вот штука работает. Правда-правда. Для меня срабатывала, но я уже миновал стадию Дамбо, я могу летать и без неё. Но ты. Роки. Ты...

Это не стало последней их встречей, но впоследствии рядом всегда оказывался кто-то ещё, кризисы с наркотой, возмущение из-за палева, настоящего или нависшего, а потом, как и боялся, Бодайн помалу начал, беспомощно, со стыдом, отпускать Слотропа. При определённых запарках теперь, когда он видит белую сеть, разметавшуюся по всем направлениям, он толкует её как эмблему боли или смерти. Он начал уделять больше своего времени Труди. Их подругу Магду повязали за мелкое правонарушение первой степени и увезли в Леверкузен, в заросшие задворки, где электролинии плюются над головой, пыльные кирпичи разводят сорняки из трещин, ставни постоянно заперты, трава и сорняки превращаются в горчайший осенний пол. По некоторым дням ветер приносит пыль аспирина с завода Байер. Люди вдыхают её и становятся присмиревшими.

Они оба чувствуют её отсутствие. Бодайн вскоре обнаруживает, что его характерно наглый смех, хйех, хйех, стал более Немецким, тйахц, тйахц. Он также принимает некоторые из давних обликов Магды. Добродушные и удобные для вхождения облики, как на балу маскараде. Это трансвестизм заботливости и случается с ним в первый раз в жизни. Хотя никто не спрашивает, слишком заняты делами, он считает, что это нормально.

Свет в небе натянутый и чистый, в точности ириска после двух первых вытяжек.

– Умереть странной смертью,– Гость Слотропа мог к тому времени нацарапать строки углём на стене, голосами в трубе, людскими созданиями на дороге,– цель жизни в том, чтобы умереть странной смертью. Сделать так, что когда бы она ни нашла тебя, нашла бы тебя при очень странных обстоятельствах. Такою жить жизнью...

Экспонат Т-1729.06, Бутылка содержащая 7 кс Майского вина. Анализ показывает наличие сушёного ясменника, лимонной и апельсиновой кожуры.

Веточки ясменника, известного также как Хозяин Лесов, носили ранние воины Тевтоны. Он приносит успех в битве. По-видимому, какая-то часть Слотропа влетела в самовольщика Джабаева однажды ночью в сердце центральной части Нидершаумдорфа. (Некоторые полагают, что фрагменты Слотропа разрослись в полноценные отдельные личности. Если так, то невозможно определить какие из нынешнего населения Зоны являются отпрысками его изначального рассеивания. Предположительно, его последним фото стала обложка единственного альбома из когда-либо записанных Дураком, Английской рок-группой—семеро музыкантов позируют, в нахальном стиле ранних Стоунз, возле давней воронки ракеты-бомбы, в Ист-Энде, или к Югу от Реки. Вокруг весна и Французский тимьян цветёт изумительным белым кружевом по накидке зелени, которая теперь прячет и смягчает истинный вид старого бута. Невозможно определить, которое из лиц является Слотропом: единственное приложимое к нему печатное упоминание «Гармоника, казу—друг». Однако, зная его Таро, нам следовало бы ожидать его в Смиренности, среди серых и отринутых душ, искать его дрейфующим во враждебном свете неба, во тьме морской...)

И вот лишь только раскосо кошачий глаз заката остался на равнине этого вечер, ярко серый на фоне пурпурного потолка облаков, с радужкой из более тёмного серого. Он скорее видится над, чем смотрит на, эту собирушку Джабаева и его друзей. Внутри города, проводится странный сход. Деревенские идиоты из деревень по всей Германии стекаются сюда (течёт изо рта тоже, оставить позади яркий след цвета, чтоб людям было на что указывать в их отсутствие). Ожидается, что сегодня они примут резолюцию с обращением к Великобритании о предоставлении статуса члена Содружества и возможно даже подадут заявку на членство в НАТО. Детей в приходских школах попросили молиться за их успех.

Может быть, 13 лет скрытного сотрудничества Ватикана прояснил разницу между тем, что свято, а что нет? Ещё одно Государство формируется в ночи, не без театральщины и увеселений. Потому-то в эту ночь преобладает *Maitrinke*, которого Джабаев раздобыл несколько литров. Пусть деревенские идиоты празднуют. Пусть святость изливается от них в рябь интерференции, аж пока не застит свет фонарей в зале собрания.

Пусть шеренга хора выступит героически: 16 оборванных пучеглазых старожилов, что несогласованно шаркают по сцене, сдрачивают в унисон, вертят членами в пародии на упражнения с пиками, размахивают попарно и потройно своими зелёно-лиственными древками, выставляют изумляющие шанкры и повреждения, кончают фонтанами спермы с пронизью крови, что плещут на заскорузлые складки штанов, пиджаки цвета грязи, с карманами обвисшими как 60-летние титьки, щиколотки без носков постоянно извоженные пылью маленьких площадей и обезлюженных улиц. Пусть уракают и колотят по спинкам сидений, пусть течёт слюна по-братски. В этот вечер кружок Джабаева добыл, через плохо скоординированный вломись-схвати-и-ходу!, в доме единственного в Нидершаумдорфе доктора, здоровенный шприц для уколов и иглу. Сегодня будут вводить вино. Если полиция в пути, если далеко на дороге некие одичалые уши могут уже различить рокот оккупационной колонны за километрами ночи, машут из-за пределов видимости, из-за наислабейшего брезжания первых фар, всё равно никому не удастся сломить кружок. Вино будет править всем, что предстоит. Разве тебе не случалось очнуться с ножом в руке и головой в унитазе, муть длинной крови вот-вот сплюнется из-под верхней губы, и рухнуть обратно на истёртый капилляристо-красный ворс, где ничего такого никак не могло ведь случиться? И очнуться опять к женскому визгу, к воде канала, что леденит твои полузатопленные ухо и глаз, опять к несчётным Крепостям, пикирующим с неба, опять, опять... Но нет, никогда до конца.

Винное ускорение: винное ускорение смеётся над притяжением, оказываешься под потолком лифта, что взмывает вверх и уже ни за что не опуститься. Ты разделяешься надвое, на Двух основных, и каждое «я» в курсе про другое.

Оккупация Мингборо

Грузовики катят подгору, где шоссе Штата сужается, примерно в три часа дня. Все фары горят. Упорный электрический взгляд за взглядом переваливают через гребень холма, между деревьев клёна. Шум ужасный. Коробки передач трещат, когда каждая из машин скатывается до конца спуска, усталые крики «На двойное сцепление, идиот!» долетают из-под брезента. Яблоня у дороги в цвету. Ветви мокрые от утреннего дождя, тёмные и мокрые. Под ним сидит, с кем угодно кроме Слотропа, голоногая девушка, блондинка и коричневая как мёд. Её зовут Марджери. Хоган вернётся с войны на Тихом океане и станет за ней ухаживать, но его обскачет Пит Дюфей. У неё с Дюфей будет дочка по имени Ким, а косички Ким

будут обмакиваться в школьные чернильницы Хоганом-младшим. Всё так и будет, при оккупации или там без, с или без дяди Тайрона.

Дождя в воздухе прибывает. Солдаты собираются у Гаража Хикса. На задворках участка смазочная свалка, яма, полная подшипников, дисков сцепления, кусков трансмиссии. На парковке пониже—пополам с подстриженной зеленью кондитерской, откуда он дожидался первого кусочка очень жёлтого школьного автобуса появлявшегося из-за угла в 3:15, и знал у кого из старшеклассников можно выпросить мелочь—шесть или семь старых автомобилей Корд на разных стадиях запылённости и развала. Сувениры из ранней империи, они блестят как катафалки сейчас в предчувствии дождя. Рабочие отделения уже выкладывают баррикады, а группа захвата вторглась в серую вагонку Магазина Пиццини, что стоит здоровенным амбаром на углу. Ребятишки крутятся возле погрузочной платформы, щёлкают семечки из пеньковых мешков, слушают, как солдаты освобождают туши телятины из холодильника Пиццини. Если Слотроп хочет добраться домой отсюда, ему надо скользнуть на тропку рядом с двухэтажной кирпичной стеной Гаража Хикса, зелёная тропа, вход в которую прячется за мусоросжигалкой магазина и навесом, где Пиццини держит свой грузовик доставки. Потом срезаешь через два участка, которые не точно прилегают спиной-к-спине, так что огибаешь один забор, а дальше по проезду. Эти оба, окаменело смолистые и почернелые дома старушек, полные кошек, живых и чучельных, запятнанных абажуров, салфеточек и скатёрочек на стульях и столах, и предсмертного сумрака. Потом пересекаешь улицу, идёшь по подъездной дорожке миссис Снод вдоль ряда штокроз, через проволочные ворота и задний двор Сантора, обогнуть забор-перила, где ограда заканчивается, пересечь свою улицу, и дома...

Но тут оккупация. Возможно, уже издан запрет детям срезать напрямик, как и на передвижения взрослых. Может уже слишком поздно идти домой.

Снова в Der Platz

Густав и Андрэ вернулись из Коксэвена, свинтили мембранодержатель и мембрану из казу Андрэ и заменили их фольгой—прокололи дырочки в фольге, и сейчас курят гашиш из казу, клапанируя пальцем короткий конец, па-па-пах для смешивания с воздухом—оказывается проныра Кислота подрядил экс-Пенемюндовских инженеров, из отдела двигателя, для проведения долгосрочного изучения оптимального дизайна трубки для гашиша—в значениях скорости потока, передачи тепла, контроля отношения воздух-дым, самой совершенной формой оказалась форма классического казу!

Ага, ещё одна странная вещь у казу: поворотная резьба над мембраной в точности такая же как у патрона электролампочки. Густав, старый добрый Капитан Ужас, в очень жёлтых Английских очках для стрельбы («помогает тебе быстрее попасть в вену: по-моему»), любит провозглашать это несомненной подписью Фебуса. «Вы дураки думаете, будто казу подрывной инструмент? А вот»—он

всегда прихватывает электрическую лампочку в свои дневные обходы, незачем упускать возможность депрессировать подвернувшегося наркомана… ловко вкручивает лампочку поверх мембраны, заглушая её,– «Видал? Фебус стоит даже за казу. Ха! Ха! Ха!» *Schadenfreude*, хуже затяжного лукового бздения, заполоняет комнату.

Но лампочка Густава—никто иной, как наш друг Байрон—хочет сказать нет, это вовсе не так, это Казу провозглашает братство со всеми пойманными и угнетёнными электролампами...

Здесь идёт кино, по секрету. На этаже, 24 часа в сутки, как ни заглянешь, так и есть, всё тоже грёбанное кино! Откровенно наглый и безвкусный фильм Герхарда фон Гёля из ежедневных, фактически, съёмок для проекта, который никогда не будет завершён. Шпрингер планирует просто так и крутить без конца, по секрету. Называется Новый Наркотик, и всё кино об этом, новейший вид наркотика, о котором никто вообще не слыхал. Самое паскудное свойство у этой хрени, что стóит только принять и ты уже неспособен когда-либо хоть кому-то сказать как оно вообще действует или, ещё хуже, где это можно достать. Толкачи тоже без понятия, как и любой другой. Всё, на что остаётся надеяться, что прижучишь кого-то в момент приёма (впрыскивает? курит? глотает?) дозы. Это такой наркотик, что сам тебя находит, как видно. Часть вывернутого мира, чьи агенты бегают с пистолетами, которые как пылесосы действуют в направлении жизни—нажал на курок и пули высосались обратно из недавно убитого, в дуло, и Великое Необратимое по сути обратилось и труп оживает под аккомпанимент обратно направленных выстрелов (можешь себе представить до чего наркозадроченное и превратное понятие про развлекуху нужно иметь для ежедневного звукоредактирования всего этого). Мелькают титры вроде

ГЕРХАРДТ ФОН ГЁЛЬ АМИТАЛ-НАТРИЕВЫЙ МУДАК!

А вот он и сам, напыщенный лицедей, сидит на унитазе, на… ну на чём-то смахивающем на необычно большой горшок, чтобы приучать малыша им пользоваться, высоко между ног сидящего подымается фарфоровая голова шакала с тем, что оказывается, надо же, какая неловкость, косяком, в довольно распущенно ухмыляющемся рту—«Посредством зла и орлов»,– мелет Шпрингер,– «климат блондинит себе потихоньку, ибо они не в силах под развязанной войной. Нет, не для проказ пока не явятся наблюдатели в рвущихся простынях земли совокупляться и говорить медошница блилар медуметноз и бергамот в игривой фантазии под троном и носом наименее милостивого короля...»– ну там катит немало ещё такой же потетени, как раз время отвлечься на попкорн, за который в Platz впаривают семена ипомеи разжаренные до коричневых взрывчиков. Никакая регулярная компания здесь вообще-то не собирается, отсматривать помногу фильма по секрету—только гости забредают: друзья Магды, перебежчики из большого аспиринового завода в Левенкузене, там в уголке, брызгают освобождённым кукурузным крахмалом с водой на голые тела друг друга, с нездоровым хихиканьем… последователи Ай Чинг, у которых излюбленная гексаграмма вытатуирована на каждом пальце ступней, что не способны

оставаться долго на одном месте, а почему? Из-за гексаграммного зуда! приспотыкиваются также бродячие магистры магии, которые не могут сдержаться, чтоб не распахиваться настежь перед разрушительными посещениями Клипота, хохмачи с доской Уиджи, полтергейстами, всякой сволочью астрального уровня, сплошь алкаши да хлюпики—да, все они зачастили в Der Platz нынче. Но альтернатива в том, чтобы кого-то не пускать, а других да, но никто не готов к такому... Решения такого рода для ангела на очень высокой должности, что смотрит на нас и на наши бесчисленные извращённости, ползание по чёрному атласу, затыкание рта рукоятью хлыста, слизывание крови с укола в вену любовника, и тому подобное, каждый вырвавшийся смешок или вздох, так оно и продолжается под приговором к смерти, а глубокая красота во всём этом ангелу и близко никогда не доходила...

Таро Вайсмана

Таро Вайсмана лучше, чем у Слотропа. Вот настоящие карты, в точной последовательности, как они выпали.

Сигнификатор: Рыцарь Мечей

Покрыт: Башней

Прекрещен: Королевой Мечей

Венчание: Король Кубков

Под: Тузом Мечей

Впереди: 4 Мечей

Позади: 4 Пентаклов

Сам: Паж Пентаклов

Дом: 8 Кубков

Надежды и Страхи: 2 Мечей

Что Выйдет: Весь Мир

Он является сперва в сапогах и знаках различия верхом на чёрной лошади скачущей галопом, которого ни он, ни конь не могут контролировать, по пустоши и великим могильным курганам, размётывая чёрномордых овец врассыпную, покуда темень стоит можжевельником замечтавшись, смертолюбивая, поперёк пути его параллаксом неспешной фатальности, высясь словно монументы над зелёным и загорелым исходом лета, низины цвета пыли и наконец походно-серое море, прерии моря темнеют до пурпурного, откуда пробивается солнечный свет, громадными кругами, прожектора на танцевальной площадке.

Он отец, которого тебе никогда не удастся убить до конца. Эдипова ситуация в Зоне просто ужасна нынче. Никакого благородства. Матери омужичились до состояния старых потёртых мешков с деньгами, ни в ком не вызывают никакой сексуальной заинтересованности, но всё же вот их сыновья, всё ещё в путах инерции похоти устаревшей на 40 лет. У отцов никакой власти сегодня и никогда не имели, но потому что 40 лет назад мы не смогли их убить, теперь мы обречены на всё ту же пассивность, всё те же мазохистские фантазии, что лелеяли и они, втайне, а ещё хуже, мы обречены, в своей слабости, прикидываться мужами власти, которых наши собственные дети малые вынуждены ненавидеть, и стремиться узурпировать место, а у них не получается… Так, поколение за поколением, люди влюблённые в боль и пассивность отбывают свой срок в Зоне, молча, испуская запах увядшей спермы, страшась смерти, отчаянно втянувшись в удобства, что им продают со стороны, насколько угодно ненужные, безобразные и мелкие, соглашаясь, чтоб жизнь их определяли другие, чей единственный дар в смерти.

Из 77 карт что могли выйти, Вайсман «покрыт», то есть его нынешнее состояние представлено, Башней. Это загадочная карта и каждый толкует её по-своему. На ней изображён удар молнии по высокому фаллическому сооружению, и две фигуры, одна в короне, падающие с него. Некоторые прочитывают её как семяизвержение и останавливаются на этом. Другие видят символ Гностиков или Катаров, для Римской Церкви, что сводится к любой другой нетерпимой к ереси Системе: по своей природе, такая система, должна рано или поздно пасть. Теперь нам известно также, что это ещё и Ракета.

Последователи Ордена Золотистого Рассвета считают, что Башня олицетворяет победу над роскошью и мстящую силу. Как Гебельс, несмотря на весь профессионализм своих разглагольствований, верил в Ракету как в мстителя.

На Древе Жизни кабалистов, путь Башни соединяет сефиру Нецах, победу, с Ходом, славой. Отсюда интерпретация Золотистого Рассвета. Нецах пылок и эмоционален, Ход водянист и логичен. В теле Бога эти две сфироты являются ляжками, столпами Храма, а вместе разрешаются в Йесод, органы секса и экскреции.

Но каждая из Сфирот преследуется соответствующим ей демоном или Клипотом. Для Нецаха это Гараб Церек, для Хода это Шамаел, Отрава Господа. Никто не звал демонов ни на один из уровней, но тут, возможно, срабатывает малюсенькая незащищённость перед ощущением падения, тот вид очень отвесного и несоразмеримого падения, которое встречаем во снах, падение скорее сквозь пространства, чем среди предметов. Хотя каждый из различных Клипотов может производить только лишь свой определённый сорт зла, действие на пути Башни, от Нецаха в Ход, похоже, привело к возникновению демона нового вида (что, диалектическое Таро? Да и ещё ж как, народ человечий! А и если думаете, будто нет Марксистов-Ленинистов занятых магией, то лучше задумайтесь по второму разу!). Вороны Смерти отведали теперь Отравы Господа… но в дозах достаточно малых, чтобы не окачурится, а поиметь, как от Amanita muscaria, весьма

необычное состояние ума... Они не имеют официального наименования, но именно они демоны покровители Ракеты.

Вайсман перекрещён Королевой его масти. Возможно, что и сам себя, по таскалову. Она главное препятствие на его пути. В его основании это единственный меч пылающий внутри короны: снова Нецах, победа. В Американской колоде эта карта превратилась в Туза Пик, которая малость зловеща: вам знакома тишь охватывающая комнату при его появлении, в какой угодно игре. Позади него, уходя из его жизни как влияние, 4 или Четвёрка Пентаклов, что показывает фигуру незначительного достояния отчаянно цепляющуюся за имение своё, четыре золотых монеты—этот хлюпик держит две из них наступив ногами, балансируя одной на голове и прижимая четвёртую крепко-накрепко к своему желудку, что ведёт к язве. Это стационарная ведьма, что пытается уберечь свой конфетный домик от неисчислимых откусчиков из тьмы снаружи. На подходе, перед ним, является пир кубков, сытость. До хрена винища и хлебов ожидает Вайсмана вскоре. Повезло ему—хотя в своём доме он виден уходящим, отвергая восемь составленных золотых чаш. Возможно, ему достанется лишь то, от чего должен был уйти. Возможно оттого, что в осадках последнего кубка ночи есть горькое присутствие женщины сидящей на каменистом берегу, Двойка Мечей, одна у края Балтики, глаза завязаны в лунном свете, держит два клинка крест-накрест у себя на груди… значение обычно толкуется как «вооружённое согласие», достаточно точное описание Зоны в наши дни, и это описывает его глубочайшие надежды, или страхи.

Сам же, каким Мир его видит: обучающийся наукам юный Паж Пентаклов, в размышлениях над своим магическим золотым талисманом. Паж может также представлять собой молодую девушку. Но Пентаклы описывают людей очень тёмной наружности, так что паж, почти наверняка, Тирлич в молодости. А Вайсман может, наконец, таким ограниченным способом доски для объявлений, стать тем, что он любил сперва.

Король Кубков, венчающий его надежды, светловолосый король-интеллектуал.

Если вам интересно куда он делся, поищите среди успешных академиков, Президентских советников, символических интеллектуалов сидящих в собраниях директоров. Он почти наверняка там и будет. Ищите повыше, а не внизу. Его будущая карта, карта о том, что будет, это Мир.

Последняя Зелень с Лиловым

Хит зарастает зелёным с лиловым во всех направлениях, земля и вереск, во всех направлениях, мужая—

Нет. То было весной.

Конь

В поле, вне поляны и деревьев, последний конь стоит, потускнелый до серебряно-серого, едва ли больше, чем скопленье теней. Германцы, язычники жившие тут, приносили в жертву лошадей когда-то, в их древних ритуалах. Позднее роль лошади изменилась от священного жертвоприношения в поставщика силы. К тому времени великая перемена работала над Хитом, меся, переворачивая, налегая пальцами, сильными как ветер.

Теперь та жертва стала политическим актом, актом Цезаря, последнего коня интересует лишь как начинается ветер сегодня: приподымется сперва, старается удержаться, поймать, но не выходит… всякий раз, конь чувствует похожий подъём в своём сердце, в краях глаза, уха, мозга... Наконец, с верняковым началом ветра, что становится также поворотом дня, его голова поднимается, и дрожь пробегает по телу. Его хвост хлещет по чистой увёртливой плоти ветра. Жертвоприношение в роще начинается.

Исаак

В одной из Агадских легенд из 4-го примерно столетия говорится, что Исаак, в момент, когда Авраам был готов принести его в жертву на Мовре, увидел преддверия Трона. Для практикующего мистика, различение и прохождения чрез эти чертоги один за другим, ужасно и сложно. Ты должен не только быть натаскан в противозначениях и печатях, не только иметь физическую подготовку через тренинг и воздержанием, но ещё и пучком стоячую решимость, которая никак у тебя не падает. Ангелы у дверей попытаются обжулить тебя, запугать, сыграть всевозможно жестокие шутки, чтоб сбить тебя с пути. Клипоты, скорлупа мертвецов, будут использовать всю твою любовь к друзьям, что пересекли уже, против тебя. Ты выбрал активный путь, и тут уж не остаётся промашек, которые не подвергнут тебя смертельной опасности.

Другой путь тёмен и женственен, пассивный, самоотречение. Исаак под ножом. Блестящий край ширится в приближении, вниз, на котором душа несётся неодолимым Эфиром. Герхардт фон Гёль на каталке своей камеры, ухает от радости, верхом на бочке вдоль длинных коридоров Нимфенбурга. (Оставим-ка его тут, в его восторженности, в его невинности...) Сверхъестественный свет брезжит впереди, почти синий, среди всей этой позолоты и стёкол. Позолотчики работали голышом и с обритыми головами—для получения статичного заряда, чтобы удерживать трепетный листок, им приходилось сперва провести кистью по своим паховым волосам: генитальное электричество будет сиять вовеки в этих золотых просторах. Но мы давно оставили безумца Людвига и его Испанскую плясунью оплывать, гаснуть ало на мраморе, сияющем предательски, как сладкая вода… всё это уже позади. Вознесение в колеснице Меркаба, несмотря на его последние слабые проблески человечности, последние жесты к возможности магии, надвигается неотвратимо...

Пред-Старт

Гигантская белая муха: стоячий член жужжит в белом кружеве, в свернувшейся крови́ или сперме. Его гладкие ступни, связаны вместе, в белых атласных тапочках с белыми бантиками. Его красные соски́ торчат. Золотистые волосики на его спине, сплав Германского золота, бледно-жёлтый до белого, сбегают симметрично вдоль хребта, сбегают в арки тонкие и закрученные, как арки отпечатка пальца, как опилки вдоль магнитных линий силы. Каждая веснушка или родинка это тёмная, чётко посаженная, аномалия в поле. Пот скапливается в ложбинке у него под затылком. Его рот заткнут белой перчаткой козлиной кожи. Вайсман составлял весь символизм сегодня. Перчатка это женский эквивалент Руки Славы, которую форточники применяют для освещения в твоём доме: свеча в руке мертвеца, торчком, как встанут и все твои фибры при первой сладостной пробежке язычка твоей любовницы Смерти. Перчатка это полость, куда входит Рука, так же как 00000 лоно куда возвращается Готфрид.

Всуньте его. Не Прокрустово ложе, но подогнанное для его приёма. Оба, мальчик и Ракета, спроектированы одновременно. Её стальная задница выгнута так превосходно… он вместится как раз. Они спариваются друг с другом, Schwarzgerät и соседняя более высокая сборка. Его голые конечности в узах из металла выгибаются среди топливных, окислительных, паропроводящих линий, рамы двигателя, батареи сжатого воздуха, выхлопного патрубка, декомпозера, баков, вентилей, клапанов… и один из этих клапанов, одна контрольная точка, один переключатель давления именно то, что нужно, истинный клитор направленный прямиком в нервную систему 00000. Она не должна быть для тебя загадкой, Готфрид. Найди зону любви, лижи и целуй… у тебя есть время—остаётся ещё пара минут. Жидкий кислород бежит, обмораживая, так близко к твоей щеке, кость мороза обжечь тебя до потери чувств. Скоро и огонь будет, тоже. Печь, для которой мы тебя откармливали, разгорится. Вон Сержант несёт *Zündkreuz*. Пиротехнический Крест стартовать тебя. Солдаты стоят по стойке смирно. Будь готов, *Liebchen*.

Конструкция

Ему уделили оконце искусственного сапфира четыре дюйма шириной, выращенного IG в 1942 в форме шляпки гриба, чуть добавили кобальта для зеленоватого оттенка—очень жароустойчив, прозрачен для большинства видимых частот—он искажает вид неба и облаков снаружи, но приятно, как *Ochsen-Augen* в дни Пра-прабабушек, в дни до оконного стекла...

Часть испаряемого кислорода направлена через Imipolex-саван Готфрида. В одно его ухо хирургически вживлён крохотный динамик. Он блестит как красивая серьга. Сигнал приходит через систему управления полётом и слова Вайсмана, какое-то время, вперемешку и поправками курса, будут посылаться на Ракету. Но

нет обратного канала от Готфрида на землю. Точный момент его смерти никогда не будет установлен.

Музыка Погони

И наконец-то, после крутой скачки восклицаний, «Боже мой, мы опоздали!», всегда с налётом насмешки, снисходительности для проформы—потому что, конечно же, он никогда не прибывает с опозданием, всегда случается отсрочка, ошибка какого-нибудь из наёмных бестолочей Жёлтого Вражины, в самом худшем случае неопровержимая улика оставлена рядом с трупом—теперь, наконец, Сэр Дэнис Нейланд Смит, прибудет, Боже мой, слишком поздно.

Супермэн влетит, ботинками вперёд, на покинутую поляну, стартовый подъёмник выдыхает масло через изношенную прокладку, смола выжата из деревьев, горькая манна для этого горчайшего из случаев. Цвета его накидки увянут в позднем солнце, в кудрях его головы начнут проглядывать первые нити седины. Филип Марлоу с жутким приступом мигрени потянется по привычке за пинтой ржаного в кармане своего костюма, и почувствует, как он стосковался по кружевным балконам Бредбери Билдинг.

Субмаринер и его многоязычная банда упрутся в неполадки с батареей. Пластикмэн заблудится в цепочках Imipolex’а и топологи по всей Зоне выйдут из себя и перестануть оплачивать его гонорарные чеки (а считался «совершенно деформабельным»!), Одинокий Рейнджер ворвётся во главе отряда, раздирая колёсиками шпор белую шкуру жеребца, найти своего юного друга, невинного Дэна, болтающимся на суку дерева со сломленной шеей. (Тонто, дай Бог, наденет рубаху призрака и найдёт какой-нибудь остывший костёр, чтобы присесть на корточки и поточить свой нож.)

«Слишком поздно» никогда не было в их программировании. У них вместо этого на миг отключалась рассудительность—но потом: раз и прошло, фьють, и уже опять в колее, опять к *Daily Planet*. Да, Джимми, должно быть в тот день, как я столкнулся с той непонятностью, те пара секунд абсолютной загадки… ты знаешь, Джимми, время—время странная штука... Найдётся тысяча способов забыть. Герои станут продолжать, переводиться повыше, для присмотра как идут дела у новейшего персонала среднего звена, и они увидят, как идёт вразнос их система, увидят, что непонятности начинают случаться всё чаще и чаще, объявляя перекройку ткани старомодного времени, и они назовут это раком, и просто не будут знать к чему всё идёт или что всё это значит, Джимми...

В эти дни он понимает, что ему просто не хватает собак. Кто бы подумал, что он когда-нибудь станет сентиментальничать из-за своры слюнявых шавок? Но здесь в Под-министерстве всё до того лишено запаха, лишено прикосновения. Сенсорное голодание, на какое-то время, и впрямь стимулировало его любопытство. Какое-то время он прилежно вёл ежедневную запись своих психологических изменений. Но это больше напоминало Павлова на смертном

одре, что записывал сам себя до конца. У Пойнтсмена это просто привычка, ретро-научность: прощальный взгляд вспять на дверь в Стокгольм, что закрылась для него навсегда. Записи начали обрываться, а вскоре остановились. Он подписывал доклады, он заведовал. Он выезжал в различные части Англии, позднее в другие страны, высматривать новый талант. В лицах Мосмуна и других, в отдельные моменты, он мог подметить рефлекс, о котором никогда бы не позволил себе даже и помечтать: терпимость людей при власти к тому, кто никогда не Сделал Свой Ход или сделал его неправильно. Конечно, всё ещё оставались моменты творческого вызова—

Да, что ж, он экс-учёный теперь, из тех, кто никогда не Продвинулся Настолько, чтобы начать говорить о Боге, в румянощёком милом седовласом эксцентричном лепете с удобной позиции своего Лауреатства—нет, ему так и оставаться с Причиной и Следствием, и прочими частями его стерильного арсеналиума… его минеральные коридоры не сияют. Они так и останутся того же нейтрального безымянного тона отсюда и до центральной из палат, до превосходно отрепетированной сцены, что предстоит ему сыграть там, в конце концов...

Обратный Отсчёт

Обратный отсчёт каким мы его знаем, 10-9-8-u.s.w., был изобретён Фрицем Лангом в 1929 для Ufa фильма *Die Frau im Mond*. Он вставил его в сцену пуска для нагнетания напряжённости. «Это ещё одно из моих чёртовых ‘туше’»,– сказал Фриц Ланг.

– В момент Творения,– поясняет представитель Кабалистов Стив Эдельман,– Бог послал импульс энергии в пустоту. Тот вскоре разделился и рассортировался в десять различных сфер или граней, соответствуя числам 1-10. Эти известны как Сефироты. Для возвращения к Богу, душа должна договариваться в каждым из Сефиротов, от десяти обратно к одному. Многие секреты Кабалистов направлены на то, чтобы сделать странствие успешным.

– Итак, Сефирот укладывается в структуру, которая именуется Древом Жизни. Оно же также тело Бога. Между десятью сферами проложены 22 пути. Каждый путь соответствует одной букве Еврейского алфавита, а также какой-либо каре из именуемых «Главная Аркана» в Таро. Поэтому хотя обратный отсчёт для Ракеты кажется сериальным, на самом деле он скрывает Древо Жизни, которое следует воспринимать всё целиком, вместе, в параллельности.

– Некоторые Сефироты активны, или мужские, другие пассивны, или женские, но само Древо является единством коренящимся точно в *Bodenplatte*. Это ось определённой Земли, нового распределения, призванного к жизни Великим Пламенем.

– Но с новой осью, с Землёй крутящейся по-новому,– доходит посетителю,– что происходит с астрологией?

– Знаки меняются, идиот,– резко бросает Эдельман, доставая свою баночку Торазина семейного объёма. Он превратился в настолько втянувшегося пользователя данного транквилизатора, что цвет его лица угрожающе потемнел до шиферно-пурпурного. Это делает его диковинкой на здешних улицах, где все гуляют загорелыми и красноглазыми, если не от одного раздражающего средства, то от другого. Дети Эдельмана, проказливые дьяволята, недавно навострились подкладывать пластинчатые конденсаторы из выброшенных транзисторных приёмников в Папашину банку с Торазином. Для его невнимательного глаза они едва ли отличались: так что какое-то время Эдельман считал, будто в нём определённо развивается терпимость, и что Бездна подобралась невыносимо близко, отделяемая всего каким-нибудь лишь одним происшествием—сиреной на улице, реактивный самолёт взрокочет на холостом ходу—но, к счастью, жена его обнаружила проделку вовремя и теперь, прежде чем проглотить, он тщательно проверяет каждый Торазин на наличие ножек, мю, цифровой маркировки.

– Вот,– вскидывает увесистую отксеренную кипу,– Эфемерис. Основано на новой ротации.

– Вы имеете ввиду кто-то действительно нашёл *Bodenplatte?* Полюс?

– Сама дельта-т. Это публиковалось, естественно. Находка «экспедиции Кайзербарт».

Псевдоним по всей видимости, ведь всем известно, что Кайзер брил бороду.

Настройка в Апполонову Грёзу...

Когда что-то реальное вот-вот произойдёт с тобой, ты движешься навстречу, неся перед собой какую-то прозрачную параллельную поверхность, что с низким гудением делит твои уши пополам и делает глаза всё подмечающими. Свет клонится к мелово-синему. Кожа твоя ноет. Наконец-то: что-то реальное.

Тут в хвостовой секции 00000, Готфрид нашёл эту чистую поверхность перед собой, и даже буквально: саван из Imipolex. Обрывки собственного детства всплывают в его насторожённости. Он вспоминает кожуру яблока, что лопается выпрысками, взгляд в изогнутое краснеющее пространство. Его глаза вобраны, прикованы, и дальше… Пластиковая поверхность микронно трепещет: серо-белый, издевательский, враг цвета.

День снаружи холоден, а жертва в лёгком одеянии, но ему тепло тут. Его белые чулки туго натянуты от резинок. Он нащупал лёгкий извив в трубе, куда может опереться щекой, всматриваясь в саван. Он чувствует, как его волоски щекочут ему спину, плечи. Это тусклое, обелённое пространство. Место для возлежания, свадебно и раскрыто бледным просторам вечера, в ожидании того что на него нагрянет.

Микрофонные переговоры бубнят в его подключённое ухо. Голоса металлические и резко сплющены. Они жужжат как голоса хирургов, когда отключаешься под действием эфира. Хотя сейчас они поизносят слова ритуала, он может их отличать.

Мягкий запах Imipolex'а, окутывающего его полностью, знаком ему. Его не пугает этот запах. Такой же был в комнате, где он заснул, очень давно, так глубоко в сладком парализованном детстве… это там он начал видеть сны. А теперь пришло время просыпаться, дыхание что становится уже совсем реальным. Ну же, просыпайся. Всё хорошо.

Орфей Опускает Арфу

Лос-Анжелос (ПНС)—Ричард М. Жлаб, ночной менедер Театра Орфей на Мельроуз, выступил против того, что он называет «безответственным употреблением гармоники». Или, собственно, «гарбодики», поскольку Менеджер Жлаб страдает хроническим аденоидным расстройством, что сказывается на его речи. Его друзья и хулители единообразно, про себя, именуют его «Аденоидом». Как бы то ни было, Жлаб утверждает, что его очереди, особенно на вечерние сеансы, впали в состояние почти анархии по причине данного музыкального инструмента.

– Это продолжается с нашего Фестиваля Фильмов Бенгта Экерота / Марии Сазарес,– жалуется Жлаб, которому под пятьдесят, жировые складки под лицом в постоянной пятичасовой щетине (худшая по сю пору среди Почасовых Теней), и с привычкой вскидывать руки в виде перевёрнутой эмблемы «боритесь за мир», которой случилось совпасть с буквой У в семафорной азбуке, демонстрируя при этом несчётные ярды Французских манжет.

– Эй, Ричард,– насмешничает прохожий,– я поймал твою Французскую манжету, глянь-ка,– выставляет себя при этом в наиотвратительнейшей манере и гоняет свою крайнюю плоть с ухваткой, которую ваш корреспондент не может поместить на этих страницах.

Менеджер Жлаб слегка морщится: «Это один из заводил, определённо»,– делится он: «У меня с ним немало хлопот. С ним и со Стивом Эдельманом».– Он произносит это «Эдельбадоб»: «Я де боюсь назвать их ибеда».

Упомянутый им случай всё ещё в процессе слушания. Стив Эдельман, бизнесмен из Голливуда, обвинён в прошлом году по делу 11569 (Попытка Подстрекательства с Незаконным Инструментом), пребывающему сейчас в Атаскадеро под неопределённым учётом. Эдельман обвиняется в том, что, пребывая в несанкционированном состоянии, попытался сыграть последовательность аккордов на Списке Департамента Юстиции, на улице прилюдно, в присутствии свидетелей из целой очереди за билетами в кино.

– А и теперь они все это делают. Ну не «все», позвольте мне тут пояснить, конечно, действительные правонарушители это всего лишь незначительное, но громогласное меньшинство, а я хотел сказать, все подобные Эдельману, разумеется, а не все ненормальные люди в очереди. А-ха-ха. Вот, позвольте показать вам кое-что.

Он препровождает вас в чёрный Менеджерский Фольксваген, и прежде, чем успеваете опомниться, вы уже на автострадах. Возле разъезда на Сан-Диего и Санта-Моника, Жлаб указывает на участок асфальта: «Вот тут я впервые увидал одного. За рулём Фолькса. Представьте. Я не мог глазам своим поверить».– Но трудно сосредоточить внимание целиком на Менеджере Жлабе. Автострада на Санта-Монику традиционно является сценой всех форм немыслимых автомобильных безрассудств известных человеку. Она не белая и благовоспитанная, как на Сан-Диего, и не коварно спланированная, как на Посадену, и не настольно гетто-самоубийственная, как в Гавань. Нет, некоторые не осмеливаются сказать этого, но автострада Санта-Моника для уродов, и все они тут сегодня, затрудняя восприятие поучительной истории Менеджера. Невозможно сдержать некоторый вздрог отвращения, почти рефлексивного Осознания Какого Сорта, в их присутствии. Они гонят, тараторя к тебе со всех сторон, роятся, пялят глаза на тебя в боковые окна, играют на гармониках и даже на казу, с полным неуважением к Запретам.

– Расслабься,– в глазах Менеджера характерный блеск,– найдётся хорошо охраняемый дом для этих всех, в О́круге Орандж. Как раз возле Диснейленда,– и делает тут паузу, в точности как комик в ночном клубе, совсем один посреди своего дегтярного круга, в белом, как мел, ужасе.

Тебя охватывает хохот. Несдержанный хохот преданной аудитории, врывающийся из четырёх точек в обивке интерьера. Ты понимаешь, с неясным чувством уныния, что это какая-то тут стерео прибамбаса, и взгляд внутрь бардачка открывает целую библиотеку подобных записей: ЛИКОВАНИЕ (ЛЮБЯЩЕЕ), ЛИКОВАНИЕ (ВОЗБУЖДЁННОЕ), ВРАЖДЕБНАЯ ТОЛПА в выборе на 22 языках, РАЗНЫЕ ДА, РАЗНЫЕ НЕТ, СТОРОННИКИ НЕГРОВ, СТОРОННИКИ ЖЕНЩИН, СПОРТ—у, да ладно—БОРЬБА С ОГНЁМ (ОБЫЧНЫМ), БОРЬБА С ОГНЁМ (ЯДЕРНЫМ), БОРЬБА С ОГНЁМ (ВЕЖЛИВО), СОБОРНАЯ АКУСТИКА...

– Нам приходится применять определённый код в общении,– продолжает Менедер.– Всегда так было. Но любой код не так уж трудно и взломать. Противники нас обвиняли, вполне резонно, в презрении к людям. Но право же, мы поступаем так вполне в духе честной игры. Мы не чудовища. Мы знаем, что нужно оставлять им некий шанс. Нельзя же отнимать у них надежду, верно?

Фольксваген теперь в центре Л.А., где поток машин теснится колонной из тёмных Линкольнов, нескольких Фордов, даже GMC, но ни одного Понтиака среди них. На каждом ветровом стекле и заднем окне светящаяся оранжевая полоса с надписью ПОХОРОНЫ.

Менеджер засопел. «Он был одним из лучших. Я не мог присутствовать лично, но послал нескольких помощников высокого ранга. Разве его кто-то заменит, спрашивается»,– нажимает потайную кнопку под панелью. Хохот на этот раз из размеренных мужских о-хо-хо с налётом сигарного дыма, и выдержанного бурбона. Редко, но громко. Фразы типа «Дик, ну ты и типус!», а так же «Во даёт!» тоже можно разобрать.

– У меня есть грёза о том, как я умру. Думаю, что они вам платят, но это ничего. Вот послушайте. В 3 часа утра, на Автостраде Санта-Моника, тёплая ночь. Все окна у меня открыты. Иду на скорости 70, 75. Ветер задувает внутрь и с пола у заднего сиденья поднимает тонкий пластиковый пакет, обычный пакет сухой химчистки: он плывёт по воздуху, двигаясь сзади, ртутные огни делают его белым как призрак… он окутывает мою голову, настолько сверхтонкий и прозрачный, что я даже не замечаю, пока не становится слишком поздно. Пластиковый саван удушает меня насмерть...

Мчась по Голливуд Автостраде, между таинственным прицепом под брезентом и цистерной жидкого водорода, гладкой как торпеда, мы нагоняем вероятную колонну любителей играть на гармонике. «Ну хоть тех тамбуринов нет»,– бормочет Жлаб: «Уже не столько тамбуринов как в прошлом году, слава Богу».

Обшитые жестью грузовики общественного питания, крест-накрест, после полудня. Их рябь блистает как озеро питьевой воды после перехода через пустыню. Это День Сбора и грузовики мусоросборки все направляются к северу к Автостраде Вентура, катарсис мусорных ящиков, всех расцветок, форм и вмятин. Возвращение к Центру со всеми собранными фрагментами Сосудов...

Звук сирен застаёт тебя врасплох. Жлаб смотрит резко в своё зеркало: «Ты не выдерживаешь, нет?»

Но звук мощнее, чем у полиции. Он охватывает бетон и смог, он переполняет долину и горы глубже, чем любой смертный когда-либо мог продвинуть… мог продвинуться во времени...

– Не похоже на полицейскую сирену.– Твоё нутро стиснуто спазмой, ты тянешься к ручке настройки AM радио.– Не думаю—

Поляна

– Räumen,– кричит Капитан Блисеро. Перикись и премангaнат поданы. Гироскопы подняты. Наблюдатели приседают в окопах-щелях. Инструменты и соединения с лязгом заброшены в кузов урчащего на холостом ходу грузовика. Команда зарядки батарей и сержант, который ввинтил ударный штифт, влезают следом, и грузовик тянется прочь по свежей колее коричневой земли, в деревья. Блисеро остаётся на пару секунд на площадке пуска, оглядывается убедиться, что всё как надо. Затем

он поворачивается и шагает, с равномерной скоростью, к машине управления пуском.

– Steuerung klar?– спрашивает он парня за панелью направления.

– Ist klar.– в огоньках от панели, лицо Макса твёрдое, упрямое золото.

– Treibwerk klar?

– Ist klar,– от Морица от панели двигателя ракеты. В микрофон, висящий у него на шее, он передаёт в Отсек Управления,– Luftlage klar.

– Schlüssel auf schiessen,– приказывает Блисеро.

Мориц поворачивает главный ключ на ПУСК: «Schlüssel steht auf schiessen».

Klar.

Здесь полагаются затяжные драматические паузы. Голова Вайсмана должна переполняться последними картинами сливочных ягодиц стиснутых страхом (не обосрался, Liebchen?) последняя занавесь золотых ресниц над юными глазами умоляет, заткнутое горло пытается сказать то, что должен был сказать прошлой ночью в палатке… глубоко в горле, глотке, где головка хуя Блисеро взорвалась в последний раз (но что это за спазмой шейки матки, за Изгибом в Темень в Вонь… Белый… Угол… Ждёт… Ждёт Чтобы—). Но нет, ритуал стиснул своей бархатной хваткой их всех. Такой сильной, такой тёплой...

– Durchschalten.– голос Блисеро спокоен и ровен.

– Luftlage klar,– откликается Макс от панели направления.

Мориц нажимает кнопку с пометкой vorstufe: «Ist durchgeschaltet».

Пауза в 15 секунд пока кислородный бак набирает давление.

Свет вспыхивает на панели Морица.

Entlüftung. «Beluftung klar».

Загорается лампа зажигания: Zundung. “Zundung klar.

Затем, «Vorstufe klar». Vorstufe последняя позиция, с которой Мориц всё ещё может переключить обратно. Пламя вырастает у основания Ракеты. Цвета меняются. Тут отрезок в четыре секунды, четыре секунды неопределённости. В ритуале есть место даже для этого. Разница между классным офицером запуска и обречённым на посредственность в точном знании когда, в пределах этого набатного и переполненного мифами отрезка, скомандовать Hauptstufe.

Блисеро мастер. Он с самого начала научился впадать в транс, ожидая миг озарения, который всегда приходит. Он никогда не говорил об этом вслух.

– Hauptstufe.

– Hauptstufe ist gegeben.

Панель задвинута напрочь.

Два огонька заморгали. «Stecker 1 und 2 gefallen»,– докладывает Мориц. Запальные свечи валяются на земле, подпрыгивая в плеске огня. На гравитационной подаче, пламя ярко жёлтое. Затем турбина начинает реветь. Пламя вдруг становится синим. Звук его нарастает до полного крика. Ракета остаётся ещё миг на стальной подставке, затем медленно, дрожа, яростно напряжённо, начинает подъём. Через четыре секунды она уходит ввысь. Но пламя слишком яркое, чтобы хоть кто-то разглядел Готфрида внутри, теперь лишь разве что как эротическую категорию, примерещившуюся в этом синем бушевании, в целях самовозбуждения.

Взлёт

Этот взлёт будет выдан Гравитации. Но двигатель Ракеты, глубокий крик сгорания, что разрывает душу, обещает спасение. Жертва, связанная для падения, возносится на обещании, пророчестве Спасения...

Двигаясь теперь к такому свету, где яблоко будет, наконец, цвета яблока. Нож прорезает яблоко, как нож разрезающий яблоко. Всё там, где оно есть, ничуть не яснее обычного, но, конечно, более здесь. Так много должно быть оставлено позади теперь, так быстро. Придавленный вниз-и-к-корме в его эластичных узах, придавленный до боли (грудь сдавило, одна из ляжек внутри закоченела), пока лоб его дотянется прикоснуться к одному колену, где волосы его потрутся в касании плачущем или покорном, как пустой балкон под дождём, Готфрид не хочет расплакаться… он знает, что его не услышат, но всё-таки лучше уж… к ним радиосвязи нет… это сделано из пощады, Блисеро хотел, чтобы мне было легче, он знал, что я попытаюсь хвататься—удерживаться за каждый голос, шум или треск—

Он думает про их любовь в иллюстрациях для детей на последних тонких страницах пролистанно захлопнутых, линии мягко, пассивно не завершаются, пастельная нерешительность: волосы Блисеро темнее, до плеч, и в постоянной завивке, он юный оруженосец или паж, заглядывает в какой-то оптический прибор и подзывает маленького Готфрида материнским или хочу-научить взглядом… теперь он вдалеке, сидит в конце оливковой комнаты вслед за очертаниями не в фокусе, очертания в которых Готфрид не может различить друзья это или враги, между ним и—куда же он—уже пропало, нет… они начинают ускальзывать скорее, чем он в состоянии удержать, это как будто засыпаешь—они начинают сливаться

ДЕРЖИСЬ ты можешь удерживать достаточно чётко пояс для чулков оттянутый вниз к твоим ляжкам, белые резинки стройные как ноги оленёнка и острия чёрного… чёрного ДЕРЖИСЬ ты пропустил уже несколько из них, Готфрид, важных, которые нельзя пропускать… ты знаешь, это последний раз… ДЕРЖИСЬ когда уже остановится рёв? Brennschluss, когда случился Brennschluss, не может чтобы так быстро… но выгоревшее хвосто-жерло качнулось поперёк солнца и в жёлтых волосах жертвы призрак Брокена, чья-то, чего-то тень отброшенная ярким отсюда солнцем в темнеющее небо, в области золота, белизны, нарастающей тиши как под водой, когда Гравитация исчезает кратко… что оно смерть если не выбеливание, сведение белого в ультра-белый, если не отбеливатели, моющие средства, окислители, абразивы— Streckefuss вот чем явилась она сегодня измученным мышцам юноши, но ещё точнее она Блиц, Бляйхероде, Белильный Бак, Блисеро, растворяет, разжижает Кавказскую бледность до отмены пигмента, меланина, спектра, отдельности оттенка от оттенка, до того бело что ДЕРЖИСЬ тот пёс был рыжим сеттером, голова последней собаки, добрая псина пришла проводить его не могу вспомнить что значит красный, голубь за которым он гонялся был шиферно-сизым, но они оба белые теперь рядом с каналом в ту ночь запах деревьев о, я не хочу терять ту ночь ДЕРЖИСЬ волна между домов, поперёк улицы, оба дома корабли, один уходит в далёкое, важное плавание, и машут вслед так легко и приязненно ХВАТАЙСЯ последнее слово от Блисеро: «Край вечера… длинная дуга людей, загадывают желание на первой звезде... Всегда помни тех мужчин и женщин вдоль тысяч миль суши и моря. Истинный момент тени, когда видишь точку света в небе. Единственная точка и Тень, что только что вобрала тебя в свой лёт…

Помни всегда.

Первая звезда зависла меж его ступней.

Пора—

Падение

Ритмичное прихлопыванье отдаётся между этих стен, которые тверды и блестящи как уголь: Да-вай! Начи-най! Да-вай! Начи-най! Экран, неясная страница раскрытая перед нами, белая и немая. Плёнка порвалась или перегорела лампа в проекторе. Трудно даже для нас, давних любителей, что всю жизнь ходят в кино (мы ведь такие?) определить, пока не упала темень. Последний кадр был слишком мгновенным для любого из глаз ухватить. Возможно, фигура человека, в мечтах о раннем вечере в каждой великой столице настолько светлом, чтобы сказать ему, что он никогда не умрёт, вышедший загадать по первой звезде. Но это была не звезда, оно падало, яркий ангел смерти. А в затмении и жуткой шири экрана что-то удержалось, плёнка, которую мы не научились видеть… сейчас это ближний план лица, лица, которое все мы знаем—

И оно прямо здесь, прямо в этом тёмном и немом кадре, в котором заострённая маковка Ракеты, падающей почти на милю в секунду, абсолютно и навсегда беззвучно, замыкает свой неизмеримый зазор над крышей этого старого кинотеатра, в заключительную дельта-t.

Остаётся время, если нуждаешься в утешении, прикоснуться к сидящему рядом или дотянуться между своих похолоделых ног.. или, если требуется песня, вот одна, которой Они никогда не обучали, гимн Вильяма Слотропа забытый на века и не печатанный, что исполняется на простой и приятный мотив того же периода. Придерживайтесь метронома:

Есть Рука перевернуть время,

Что в Стекле течёт сегодня,

Пока свет опрокинувший Башни

Отыщет Обойдённых всех до одного…

Пока Всадники спят возле каждой дороги,

По нашей по всей изувеченной Зоне,

Лицом припав к любому склону гор,

Душою ко всякому камешку...

И теперь вместе—

* * * * * * *